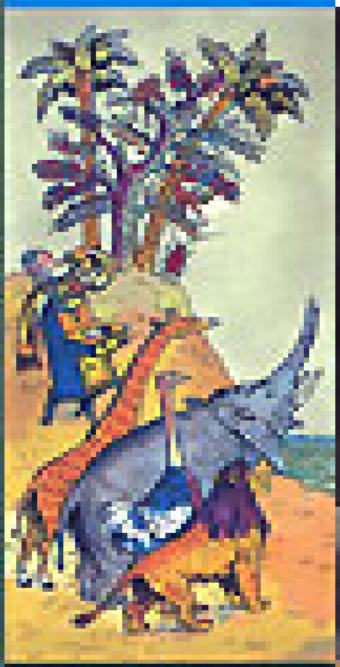
КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ



Ирина Лукьянова

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

- Ирина Владимировна Лукьянова
  - Часть первая
    - Глава первая
      - Мама
      - Третья столица
      - Мамин секрет
      - «Серебряный герб»
      - «Поклонник Канта и поэт»
      - Просто Коля
      - Самоценный идеал
      - «А я читал опять…»
      - Смех и слезы
      - Немарксистская критика
      - Англия
      - Где же корни у Корнея?
      - «Мы должны идти, родные»
    - Глава вторая
      - «Море пламенем горит»
      - «Громить ненавистных врагов»
      - Водевиль
      - «Спасаюсь от самого себя работой»
      - Эстетика ради эстетики
      - «Мы с тобою радостно поплачем»
    - Глава третья
      - Новое время – новые песни
      - Дачники
      - Городская литература

- «Длинная фанатическая мысль»
- Слово и душа
- Румяная фефела
- Первая слава
- Пинкертон
- Песни самоубийцы
- Критика и публика
- Дачные будни

- Глава четвертая
  - «Спасите детей»
  - Поэзия ухода и поэзия труда
  - Полоса бессонницы
  - Футуроедство
  - Пир во время чумы
  - Маяковский
  - Катастрофа неминуема
  - «Жил да был Крокодил»
  - Бумажные дни

- Часть вторая
  - Глава пятая
    - Катастрофический хаос
    - «Смешные в снаряде затеи»
    - «Нет житья уже»
    - «Затеяли журнал…»
    - Старшие и младшие
    - «Делайте веселые лица»
    - Дом искусств
    - Долгожданное дитя
    - Литературные портреты
    - Важное и значительное
    - Фантасмагория Герберта Уэллса
    - Главная причина молчания
    - «Дальше – смерть»
    - «Уже растет зеленая трава…»
  - Глава шестая
    - Опять тоска
    - История с письмом
    - «Новые страшные люди»
    - «Таракан, Таракан, Тараканище!»
    - Некрасов
    - «Хлопочу о различных писателях»
    - Творить чудеса
    - «Современный Запад»
    - «Две души»

- «Не выдержал и убежал»
- Опекун
- Добрый доктор Айболит
- Волчий оскал

- Глава седьмая
  - «Лицом к лицу с самим собою»
  - «Нельзя делать литературу совсем одиноко»
  - Переодетая принцесса
  - «Глядите: солнце!»
  - Мимикрия и антропоморфизм
  - «Путь правильный, но только он – не мой»
  - Фактор классового воспитания
  - «Тайный политический смысл»
  - О чем он умолчал
  - Великий перелом
  - «Лучше не писать о современности»
  - Кипарисы шелестят
  - «Ни стонов, ни слез»

- Часть третья
  - Глава восьмая
    - Тоска
    - Чрезмерность любви
    - Административное благополучие
    - Непрощаемый грех
    - Самый крупный подкуп
    - «Формалистическое кривляние»
    - «Сокрушим, раздавим, уничтожим, растопчем…»
    - «Уехать от тамошнего климата»
    - Победившая ночь
  - Глава девятая
    - Посмертная усталость
    - Книги и бомбы
    - Ташкент
    - «Одолеем Бармалея!»
    - «Подумай и помоги»
    - «Сказка моя печататься не будет…»
    - Социально опасные дети
    - «Как побили – так салют!»
    - Последняя сказка
    - Наваждение страха
    - Преодоление Диснея
    - «Да-да, это национальное бедствие!»

- Сдавленное племя
- Наступает весна
- «Линия усиления показа трагизма судьбы»

- Часть четвертая
  - Глава десятая
    - «Тянет в могилу»
    - Отравленная радость
    - «Строю свою библиотеку»
    - «Никто из нас не уцелел»
    - Один с тоской
    - «Пенять на зеркало»
    - Не парадокс ли это?
    - Auctor Crocodilii
    - «Сильное, сильное негодование»
    - Солженицын
    - Ничему не научились
    - «Наследство отцов моих»
  - Глава одиннадцатая
    - Вечерняя радуга
    - «Стыдно за вас»
    - Опиум для народа
    - Психическая атака
    - «Обмозолился»
    - «Надо многое успеть»
    - Упоительная свобода
- Послесловие
- Основные даты жизни и творчества К. И. Чуковского
- Библиография
  -
  - Основные издания произведений К. И. Чуковского
  - Переписка
  - Исследования
  - Воспоминания

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27

Ирина Владимировна Лукьянова
Корней Чуковский

Часть первая
Провинциал

Глава первая
Одесса

Мама

Рожденного 19 марта 1882 года младенца Николая Корнейчукова крестили во Владимирской церкви Санкт-Петербурга. Мать новорожденного – девица Екатерина Осиповна Корнейчукова, крестьянского сословия, – «приписана» была к «Херсонской губернии, Ананьеве кого уезда деревне Гамбурово волости Кондратевской». А жила где-то неподалеку от церкви – у «Пяти углов» (то есть на нынешнем Загородном проспекте).

К этому времени у девицы Корнейчуковой уже имелась трехлетняя дочь Мария. Отца у обоих детей по документам не было. Отчество «Васильевич» младенец Николай, видимо, получил по имени совершившего крещение батюшки.

В Петербурге мать с детьми прожила до тех пор, пока мальчику не исполнилось три года, а затем вернулась с детьми в Одессу.

Екатерина Осиповна была статной красавицей – «чернобровой, осанистой, высокой», писал потом ее сын. Необразованная крестьянка, вынужденная зарабатывать на жизнь стиркой, она носила по выходным шляпку и кружевные перчатки и умела казаться барыней – едва ли у кого повернулся бы язык звать ее Катькой. Даже родной брат робел и обращался к ней по имени-отчеству, а случайные торговцы – «мадам». «Я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь называл мою маму прачкой, и очень удивился бы, если б услышал», – говорил потом Николай Корнейчуков, уже ставший Корнеем Чуковским.

О детстве Коли и семейном быте Корнейчуковых можно судить разве что по повести «Серебряный герб» – не будучи вполне документальной, она все-таки чрезвычайно достоверна во многих мелочах, сохраняет множество живых подробностей, вполне согласующихся с фрагментарными дневниковыми записями, воспоминаниями дочери Корнея Ивановича Лидии, письмами Чуковских друг другу.

Судя по косвенным обмолвкам в повести, стиркой Екатерина Осиповна стала зарабатывать после того, как Коля переболел скарлатиной (ему тогда было лет двенадцать). Визиты врачей съели все деньги и накопления, в ломбард ушли семейные драгоценности – «и мамина брошка из слоновой кости, и золотая браслетка с бонбончиками, и самовар, и медные кастрюли, и

перламутровые круглые запонки, и даже черные Марусины часики…» Принадлежности скорее скромной мещанки, чем крестьянки. Но чем занималась мама до тех пор, пока лечение сына не разорило ее, – еще один неотвеченный вопрос. Может быть, шила? В документах 1897 года (перепись жильцов дома 3 по Канатному переулку, куда к этому времени переехала семья) она записана не прачкой, а швеей. Вышивкой она занималась и потом, когда заработки детей дали ей возможность оставить стирку. В первых вариантах «Серебряного герба» (они назывались «Секрет» и «Гимназия») говорилось, что маме присылал какие-то деньги отец детей, а потом перестал присылать, и она занялась стиркой, чтобы прокормить семью.

Но пока они живут во флигеле в доме Макри, одесского домовладельца – ныне не сохранившемся доме 6 на Ново-Рыбной улице. Бедная комната, к которой вели три некрашеные ступеньки, с погребом под полом и помойной ямой под окнами (подробность из «Серебряного герба» – наверняка автобиографическая), стараниями мамы превратилась в уютный и любимый дом. Если судить по повести, она была как раз из тех баснословных женщин, которые останавливают скачущих коней и входят в горящие избы; ее жизнь была повседневным подвигом, непрестанным усилием воли. Она не опускала рук, когда их опустил бы любой другой, и под неприязненными соседскими взглядами, при общем осуждении (незамужняя, а с детьми) сохраняла спокойное достоинство, в одиночку зарабатывая на прокорм себе и двум малышам – даже сейчас в такой ситуации иные предпочитают идти по миру или на панель, искренне считая себя жертвами обстоятельств.

Екатерина Осиповна себя жертвой не считала. Быт она установила крепкий: никто не увидел бы в этой сильно нуждающейся семье привычных и почти неизбежных признаков бедности – грязи и лохмотьев: «Комната была небольшая, но очень нарядная, в ней было много занавесок, цветов, полотенец, расшитых узорами, и все это сверкало чистотой, так как чистоту моя мама любила до страсти и отдавала ей всю свою украинскую душу». Это из повести.

А это из дневника Корнея Ивановича: «Мама воспитывала нас демократически – нуждою». Образ жизни и распорядок дня семьи определялись необходимостью работать. Мама днем гладила, стирала ночью, «тайно от всех». Для работы ей нужно было бесконечно много воды, и дети изо дня в день наполняли ненасытную бочку. Сохранились в дневниках и воспоминания о ритуале мытья и вытирания посуды, о подготовке подарков для мамы к празднику – и всякий раз «случайно» находящихся для

этого случая трехрублевках…

Из дневников, воспоминаний, художественной прозы Чуковского складывается портрет мамы, «мамочки» – набожной, строгой, величавой, всегда занятой делом, сосредоточенной молчуньи, чьи руки все умеют – и делать дивные вареники, и творить искусную вышивку, и белить, скоблить, красить, стирать, крахмалить. Мамы, которая все понимает, без дела не отругает и когда надо пожалеет. Которая прекрасно поет, а слушая Гоголя, хохочет так, «что странно смотреть», – и шепотом читает «Братьев Карамазовых». Которая спит два-три часа в сутки, а может и вовсе не спать, зато вся медная посуда сияет, погреб выбелен, крыльцо вымыто. Чуковский с нежностью писал о мамином неподражаемом юморе, бесстрашии, доверчивости, редкой деликатности и стройности души.

Мама из «Серебряного герба» спасла от тюрьмы горе-грабителя Циндилиндера и наставила его на путь истинный; во время еврейского погрома прятала в погребе в кадушке лавочницу Длинную Лизу. Человеческая мерзость вызывала у нее скорее недоумение и жалость, чем ненависть и страх, – на негодяев она смотрела сострадательно, как на калек. Эту способность жалеть увечную душу Чуковский унаследовал от нее в полной мере. Так же, как редкую работоспособность и нелюбовь к безделью, праздным посиделкам и походам в гости. И его привычка спасаться работой от любого горя – тоже, пожалуй, мамина.

Мама преклонялась перед умом и образованностью. Стыдилась своей украинской речи, считая ее малограмотной, и мечтала о том, чтобы дать детям образование. Шестилетнего Колю даже отдала в дошкольное учебное заведение – детский сад мадам Бухтеевой. Детский сад по тем временам был редкостью небывалой. «Там было еще 10–15 детей, не больше. Мы маршировали под музыку, рисовали картинки. Самым старшим среди нас был кучерявый, с негритянскими губами мальчишка, которого звали Володя Жаботинский. Вот когда я познакомился с будущим национальным героем Израиля – в 1888 или 1889 годах!!!» – вспоминал Корней Иванович в 1968 году.

«Был на Ново-Рыбной, там, где прошло мое раннее детство. Дом номер шесть, – записывал Чуковский, приехав в Одессу в 1936 году. – Столбики еще целы – каменные у ворот. Я стоял у столбиков, и они были выше меня, а теперь… И даже калитка та самая, к-рую открывал дворник Савелий. И двор. Даже голубятня осталась. И замечательные нищенские норы, обвитые виноградной листвой…» Сейчас не осталось ни дома, ни столбиков, ни голубятни.

В более ранних дневниковых записях есть и другие подробности: «Горище – это чердак в доме Макри. Ход в него был из подъезда по дробинке: дверь была в потолке. В д. № 6 не было над подъездом чердака, и потому было видно небо, а в доме № 14 – можно было во время дождя „сховаться“ в подъезде. Из этой двери горища свешивался канат, туда по блоку поднимали колеса. Я однажды захотел подняться по блоку, встал на один канат (узел в конце), а за другой тянул, и упал навзничь, и до сих пор помню ощущение свинцовой примочки, которую мне прикладывали. В садике, который был возле кухни г. г. Макри была верба (пушинки от нее летали по всему двору), и розы, и „бузок“. Я помню змея, которого я пускал с Леней Алигараки, и как окна того двора, что выходил на Малую Арнаутскую были заколочены досками, и как шла через двор проволока со звоночком к дворнику, и какой был большой ключ от ворот, и как смолили „перерезы“ и жолоба для подполья воловьих стойл, и как я читал „Энеиду“ Котляревского хохлам – биндюжникам, – и как приходил дядя Даня, и как я был у Бухтеевой с Гоннором, Мочульским, и как нас учила m-lle Вадзинская, и висел календарь с якорем и матросом».

Первые действующие лица на этой сцене – мама и соседи. Милая рябая Маланка, которая носила Екатерине Осиповне белье на стирку, а потом вешала его на просушку «на горище». И ее муж, звероподобный, заросший бородой, грубый дворник Савелий, и их две дочки, которых по недосмотру дьячка тоже обеих назвали Маланками, как мать и бабку… И полногрудая Мотя, кухарка биндюжников. Во дворе бегали вместе со всеми мальчишками и дети домовладельца Макри, составляя клан «макрюх», воевавший с соседним двором. Один из этих детей, Спиридон, впоследствии студент-медик, был свидетелем на свадьбе Чуковского, крестным отцом его жены и сына.

Третья столица

«Раньше всего в этом городе есть просто материальные условия, чтобы взрастить мопассановский талант», – говорил Бабель.

Одесса времен своей *belleépoque*была как будто специально создана для того, чтобы внести в русскую литературу с ее темными городскими дворами, увядающими усадьбами и бескрайней, как родное бездорожье, тоской много солнца и моря. Одесса была исключительно пригодна именно для того, чтобы воспитать несколько поколений отчаянных, задумчивых, свободных, влюбленных мальчиков и девочек, из которых потом

выйдут писатели и поэты, журналисты и режиссеры, политики и мученики. Иные талантом и силой натуры не уступали Мопассану; а их судьба часто дает материал и вовсе не мопассановский – скорее гомеровский, шекспировский, толстовский.

«Третья столица» Российской империи и уж точно первый город ее по пестроте и музыкальности была населена русскими, евреями, украинцами, греками, итальянцами, французами, персами и кем угодно еще – и наводнена моряками и купцами, офицерами и контрабандистами, православными и мусульманскими паломниками, путешественниками и коммерсантами. В те времена она переживала время никогда более не превзойденной славы и расцвета. Город кипел страстями, музыкой, запахами, ошеломлял дикими сочетаниями строгого имперского классицизма с веселым южным разгильдяйством, молчаливого мраморного великолепия богатых дач с чиненными сетями, орущими рынками и портовыми драными кошками.

Здесь было все, чтобы удовлетворить ненасытное любопытство мальчика, наделенного жадным сердцем, цепкими глазами и чутким ухом, – все нужное, чтобы детство было если не счастливым (а счастливым оно не было), то уж точно состоявшимся.

Типичные занятия одесского мальчишки из небогатого семейства – лодочные прогулки к маяку, рыбалка, починка сетей и шпаклевка шаланд, первые приключения в море, ныряние до головокружения, тир и кегельбан, ловля тарантулов на пустыре, изготовление воздушных змеев. И бесконечные самостоятельные исследования города.

Семья Коли Корнейчукова жила на Ново-Рыбной – по общему мнению, улице бедной и не престижной. На ней находились полицейский участок, монастырское подворье, общественные бани, лавки и мастерские. Здесь же стояла и Пятая мужская гимназия – «подлая пятая гимназия», откуда Колю Корнейчукова впоследствии исключили.

Ново-Рыбная, она же Пантелеймоновская, жила продажей сначала рыбы, затем фруктов. «По обеим сторонам улицы тянулись фруктовые магазины, магазинчики, лавки, склады, торгово-посреднические конторы», – рассказывает историк города Ростислав Александров. Окраинная, соседствовавшая с Куликовым Полем, Привозом, Старым кладбищем и вокзалом, Ново-Рыбная улица давала возможность крестьянам, приезжавшим торговать на Привоз, закупиться всем необходимым, от игрушек и глиняных горшков до овса и сена.

Совсем рядом, на Канатной, чуть позже жил младший современник Чуковского и его будущий сосед по Переделкину Валентин Катаев, оставивший чрезвычайно колоритные описания Одессы во всей ее красоте и славе. Присутствует в них и Ново-Рыбная: «сияющее видение фруктовой лавки, где персы обмахивали шумящими султанами из папиросной бумаги прекрасные крымские фрукты». Есть и «кошки, крикливые, как торговки с Новорыбной улицы». Упомянуты также «Кулички – Куликово поле, пустырь с кустарником, норками тарантулов и исключительно богатой помойкой». В этих декорациях прошло детство не только Вали Катаева, но и десятком лет ранее – Коли Корнейчукова.

Район был рабочим, ремесленным, самым что ни на есть демократическим. Смотреть на чужую ловкую работу было тоже одной из маленьких детских радостей. Катаев среди «увлекательных занятий одесского мальчика» упоминает и блаженство стоять возле паяльщика, наблюдая его «волшебное искусство», Чуковский в «Серебряном гербе» пишет о давнем недруге героя – кузнеце Печенкине (в первых вариантах повести его звали Хацкель Кур): «В будни мы готовы были часами стоять неподвижно у порога его крохотной кузницы на углу Канатной и Базарной и с почтительным любопытством следить за всяким движением его проеденных копотью рук». Так же, затаив дыхание, дети наблюдали за священнодействием заделывания кастрюльной дыры или натягивания шины на колесо – и незаметно учились тому, что труд может быть радостью.

Соседние улицы жили в постоянном труде, часто совершенно безрадостном. Мастерских по соседству было множество: картонажная, ящичная, мастерская металлических решеток. Дальше к центру мастерские сменялись прачечными, трактирами, ресторанами. А дальше была другая, «чистая» Одесса – Одесса бульваров, разносчиков, «буфетов искусственных минеральных вод». В парках стояли Катаеве кие «трехрукие фонари» и раковины для оркестра, там шуршали крахмальные юбки и шины по асфальту, там с эспланады ресторана гремела музыка, там неслись экипажи и цвели каштаны. Другая Одесса – это и дачи с мраморными статуями на изумрудной траве. Это и запавшие в душу Олеше розы на оградах и блеск черепичных крыш.

Олеша сравнивал Одессу с гриновским Зурбаганом: «Одесса – была уже в путешествии. Как бы оторванная от материка, она находилась уже во власти моря и матросов». В портовом городе со всеми его приметами – кабачками, матросами, шлюхами, контрабандистами, – шумели элеваторы, чумазые грузчики грузили на корабли зерно и выгружали табак, чай, пряности,

фрукты, и все эти заморские прелести запирались в пакгаузы из волнистого железа. «Я с детства помню чудесные восточные запахи перца, ванили, кардамона, корицы, фиников, шафрана, изюма, какао, витавшие вокруг этих складов», – вспоминал Чуковский.

Но главным было море, к которому амфитеатром развернута вся Одесса, и которое видно отовсюду – а в море паруса. Они свели с ума не одного мальчишку, заставляя безудержно мечтать о странствиях и проситься юнгой на суда в порту. Мечты об Индии, Африке, Америке никого из этого поколения, кажется, не обошли стороной. Герой «Серебряного герба» тоже любил помечтать о дальних странах – «говорить про Багдад», забравшись с другом Тимошей в «каламашки» – большие ящики для вывоза мусора во дворе. Первые стихи он тоже сочинял в каламашках, и посвящались они южной экзотике – акулам, людоедам и так далее.

Бешеным мечтам о странствиях много способствовало чтение – Жюль Берн, Фенимор Купер, Густав Эмар и «бурнопламенный» журнал «Вокруг света». Капитаны, путешественники, первопроходцы, покорители индейцев и туземцев, мечтательные дети, потенциальные беглецы в Америку, они и представить себе не могли, какие приключения их ждут дальше, какими дорогами они пойдут, какие новые миры будут строить, каких Пятниц просвещать – и с какими людоедами им придется сражаться…

Еще только приоткрылась дверца в двадцатый век. Здесь с воздушных змеев начиналось воздухоплавание, где-то на пустыре запускали монгольфьер. На циклодроме гонщик Сергей Уточкин соперничал с французами и немцами, неизменно побеждая; дань восхищения ему отдал каждый юный одессит, в том числе и Коля Корнейчуков, бывший его страстным поклонником. Поколение постарше вписало рыжего Уточкина в свои мемуары как мотоциклиста и велосипедиста, поколение помладше – как летчика.

В космополитичной Одессе быстро появлялись иностранные новинки: кинематограф, самолеты, первые «форды» и «мерседесы». Грохот производства, ритм жизни, «Болеро», поступь прогресса… Время было открытое будущему, место – открытое культурным влияниям. Можно предположить, что отсюда – и убежденный демократизм Чуковского, и вера в прогресс, и уважение к труду, и желание строить своими руками лучшую, правильную, новую жизнь.

Однако не все так просто и красиво. На самом деле Чуковский не любил Одессу и не считал себя одесситом. Где-то в дневнике обмолвился даже: омерзительный город. Чуковский

никогда не гордился тем, что вырос в Одессе. Всегда подчеркивал: «я – петербуржец», «моя родина – Петербург». Попав в столицу уже юношей, он радостно осознал: вот это наконец мое место. И без колебаний покинул Одессу.

Легендарная «третья столица» была пыльным городом, изнемогавшим от зноя и мух. Его пронизывали не столько поэтические портовые и фруктовые, сколько прозаические бытовые запахи подгоревшей каши, масляного чада, керосина и навоза. В сырых до дрожи подвалах и темных вонючих закутках, задернутых задрипанными занавесками, скандалили семьи и плакали дети. На Малой Арнаутской мастеровые, сидя по-турецки, «делали всю контрабанду». Город населяли не столько романтические матросы, красавицы и благородные разбойники, сколько самые прозаические акушерки, мастеровые, хмурые дворники, горничные и кухарки, лавочники и аптекари, дантисты и воры, сапожники, приставы, прачки. Сердитые хозяйки с красными руками варили варенье. Томились от скуки барыни в папильотках, тявкали болонки, фланировали кавалеры. Усталые волы с грохотом волокли биндюги по булыжной мостовой. Мужья били жен, отцы пороли детей, на это зрелище сбегалась вся улица. Соседи яростно лаялись через двор. Не эта ли тоскливая повседневность провинциального городка, саднящая скука – «лет сорок с ключницей бранился, в окно смотрел да мух давил», – заставила гимназиста Корнейчука взяться за «Современного Евгения Онегина», густо заселенного одесскими обывателями?

Этот город Чуковский не любил. Или нет: за что-то все-таки любил. Достаточно почитать его первые корреспонденции, присланные в «Одесские новости» из Петербурга, а потом из-за границы – с каким жаром он говорит об одесской культурной жизни, как ревниво сравнивает ее с Петербургской и европейской! Достаточно вчитаться в «Серебряный герб» и относящиеся к городу воспоминания… Нельзя, пожалуй, однозначно сказать «не любил». Скорее так: Одесса навсегда осталась для него сплошной детской травмой, незаживающей раной. Он был здесь совсем чужой, как андерсеновский гадкий утенок на птичьем дворе.

Даже три четверти века спустя, за год до смерти Чуковский вспоминал незабвенные едко-зеленые плюшевые кресла «с густой бахромой из длинных лохматых шнурков, словно специально созданной для собирания пыли», и ту же бахрому на плюшевых портьерах, составлявших предмет сословной гордости компатриотов. В его «Онегине» тщательно выписаны одесские тетушки и дядюшки, чтение «Нивы», засиженные мухами картинки на стенах, полуживой попугай в клетке, которому давно

все надоело. Кузина Зина сводит пятна с рукавов потоками бензина, зной, зевота, пронзительное мушиное «зззззз», звон тоски…

Поросшие символическими уже фикусами и геранями, в залоснившихся халатах, пропахшие уксусом и нафталином, потирая помятые невыразительные физиономии, с липкой настойкой в не очень чистых рюмочках, на сцену выходят одесские мещане во всем своем грозном провинциальном безобразии. «Кушать хочете?», «нэврастэник», «антипат», «мадамочка», «я за ним скучаю»… Вездесущая одесская «пиль»…

Чуковского с детства и до конца жизни ужасала и занимала эта особая порода людей: почему они говорят чудовищным плоским языком? Почему безошибочно выбирают из всего разнообразия мировой культуры только третий сорт? Почему живут, не приходя в сознание? Почему человек так обращается с самой большой драгоценностью, которая у него есть, – со своей живой, единственной душой?

Уже в двадцатых годах К. И. присутствовал на судебном процессе по делу растратчиков – и никак не мог понять, зачем совершать преступление ради того, чтобы потратить все деньги на вино, карты и женщин. «Неужели никто не сказал им, что Шекспир много слаще всякого вина?» – изумлялся он. Он изучал обывателей, как ядовитых букашек, внимательно и осторожно – сам он никак не мог понять, что заставляет человека жить скучно и думать мелко, когда можно жить интересно и думать глубоко. И, вдумавшись в безмысленную, бессознательную жизнь, ужаснувшись тому, что люди сделали с собой и своими детьми, – просто сострадал: «О бедные, обокраденные души!»

Что они за люди, чем отличается мещанин от человека – ведь не пресловутыми фикусами же? (Кстати, у мамы нашего героя, которую назвать мещанкой ни у кого бы язык не повернулся, фикусов были огромные заросли.) Тема «обокраденной души» так или иначе присутствует в большинстве книг Чуковского – жизнь неизменно предоставляла к его услугам самый свежий материал. Корней Иванович имел возможность проследить развитие мещанства на протяжении десятков лет его истории. Впрочем, уже первые годы дали массу интересных наблюдений, обобщив которые, он первым в России и едва ли не первым в мире заговорил о феномене массовой культуры, о мировом мещанстве, о его связи с фашизмом, далеко опередив позднейших исследователей. Но об этом – позже.

Всю жизнь он не оставлял попыток понять бушующее вокруг самодовольное безмыслие. Видимо, тема была болезненно важной не только для него – об этом думали и говорили

окружающие, дочь, друзья. Лидия Корнеевна записывала один такой разговор о мещанстве: «Тамара Габбе определяет так: тот слой населения, который лишен преемственной духовной культуры. Для них нет прошлого, нет традиции, нет истории, и уж конечно нет будущего. Они – сегодня. В культуре они ничего не продолжают, ничего не подхватывают и ни в какую сторону не идут. Поэзия Ахматовой, напротив, вся – воплощенная память; вся – история души, история страны, история человечества; вся – в основах, в корнях русского языка. У мещанина ж и языка нет, у него в запасе слов триста, не более; да и не основных, русских, а сиюминутных, сегодняшних…»

Чуковский сам был – воплощенная память русской культуры. При этом он отличался невероятной чуткостью ко всему «сегодняшнему, сиюминутному» – всю жизнь тщательно собирал словесные приметы сегодняшнего дня: в Чукоккале, в дневниках, в черновиках сохранились длиннейшие списки слов. Одни – просто в качестве картинки из жизни, другие – для работы над статьей о языке, третьи – чтобы сделать детскую сказку максимально приближенной к жизни… Но первые списки в ранних дневниках – это списки слов для работы над собой: юный Чуковский внимательно вслушивался в грамотную речь и сознательно истреблял в своей речи признаки провинциальности, мещанства, знаменитого одесского говора – конечно, смешного и своеобразного, но недопустимого у работника слова.

Мамин секрет

Отношение окружающих к маленькому Коле Корнейчукову было каким-то странным – немножко брезгливым, что ли. Чем старше мальчик становился, чем больше понимал, тем яснее видел, что с его семьей, с его любимой мамой связана какая-то неприятная тайна. Первый вариант повести «Серебряный герб» даже назывался «Секрет». У мамы был секрет, из-за которого она «в густонаселенном дворе жила, как в безлюдной пустыне», писал Чуковский. Секрет сделал ее печальной и молчаливой, заставлял плакать и хвататься за сердце всякий раз, как мимо дома проходил почтальон. «Из-за этого секрета однажды, когда к нам пришел какой-то „Щупак из Варшавы“ и тихо сказал ей какое-то слово, она прожгла утюгом наволочку мадам Чумаченко (потому что как раз в это время стояла у гладильной доски), а когда „Щупак из Варшавы“ ушел, села на пол и стала раскачиваться и все хотела выговорить какое-то слово, но губы у нее закоченели, как на сильном морозе, и у нее выходило одно „вить, вить, вить, вить“».

Тайна делала и маму, и Колю, и его сестру Марусю уязвимыми для насмешек и издевательств. Секрет был довольно прост: дети были внебрачными. Или, как тогда писали, «незаконными». И поэтому – второсортными, «дурным обществом». Безотцовщина в России, не знавшей пока ни мировых войн, ни репрессий, еще не стала бытовым явлением, еще считалась позором, хотя вне брака рождалась пятая часть всех детей империи (для справки: сейчас – почти половина). Столетие-полтора назад наличие внебрачных детей означало для матери пожизненное клеймо «гулящей», да и детям приходилось несладко: недаром чуть не во всех языках мира худшее оскорбление звучит примерно как «сын блудницы». Незаконный – значит, хуже меня, ниже меня, как бы плох и низок я ни был; ниже низшего и хуже худшего. На незаконном можно отыграться за свои унижения, потому что за него никто не вступится. Семья живет, как зачумленная: приличные люди с такими не водятся.

«Секрет» полон горьких воспоминаний об унижениях и обидах. Одна из них – отказ предоставить семье обещанную новую квартиру, где был водопровод, жизненно важный для мамы с ее бесконечной стиркой. Они даже вещи уже упаковали для переезда, но стоило маме подать паспорт важному лицу, от которого зависело решение вопроса, как она услышала в ответ: «Тю-тю-тю! Что же это вы суетесь к нам с такими… пейзажами? Слава богу, не маленькая. Сами должны понимать: *этаким* в нашем доме не место» («Секрет»). В паспорте у мамы записаны абсурдные слова: «девица с двумя детьми».

С невенчанной матерью-одиночкой не здороваются соседи, ей не кланяются, и незаконные дети никогда не угадают, где их подстерегают новые унижения.

«– А ваш отец… Скажите… Он тоже военный?

– Отца у меня нет, – говорю я краснея.

– То есть как это так: нет отца?

Я еще сильней конфужусь и виновато молчу. Всякий раз, когда кто-нибудь спрашивает у меня об отце, я испытываю отчаянный стыд.

– Где же ваш папа? Умер?

– Нет, он жив… Только мама… Только я… Я его ни разу не видел…»

Даже от самых доброжелательных слышно: «От как худо дитю без батька! Был бы у тебя в доме папаша, не вышла бы из тебя шантрапа…» «Притянут – не вывернешься. Тем более, что ты незаконный… Нет папаши, чтобы за тебя заступиться…» Это все из «Серебряного герба». Первый его вариант, «Секрет», вышел в журнале «Пионер» в 1938 году. Со временем Чуковский переделал

повесть: жгучая боль от унижений из-за незаконнорожденности уступила место не менее жгучей обиде на социальную несправедливость, о чем речь пойдет позже. Однако мучение ребенка, безвинно презираемого и беззащитного, больно отзывалось всю жизнь.

Стыдно ему было и тогда, когда спрашивали об отце. И когда сестра Маруся получила аттестат с отличием, где между именем и фамилией не было отчества: строчка получилась постыдно короткая – и аттестат показался Коле «позорным клеймом, издевательством». В «Секрете» рассказывается, что в аттестате была еще более безобразная запись: «дочь крестьянки, девицы такой-то». Маруся, лучшая ученица, могла рассчитывать на место домашней учительницы – но ей брезгливо выговаривали: «Неужели вы думаете, что с таким аттестатом вас примут в какой-нибудь порядочный дом?» Маруся, получив оскорбительный документ, не пошла праздновать окончание школы с одноклассницами, а ушла плакать в «каламашки». Во втором варианте повести, вышедшем под названием «Гимназия», говорится, что Маруся скомкала свой аттестат и засунула глубоко в ящик стола.

Стыдно было, когда дети говорили о своих семьях. Когда взрослые требовали его документы: «А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не читал. Страшно было увидеть глазами эти слова», – гласит запись в дневнике, сделанная уже взрослым Чуковским, отцом четверых детей. Документы и впрямь было страшно предъявлять: в «Секрете» рассказывается, как пьяный ударил маленького героя кулаком по лицу, обоих доставили в участок, а в участке, едва взглянув на метрику ребенка, поверили обидчику, который утверждал, что мальчик украл у него кошелек.

Стыдно было потом, когда уже юношей он давал уроки и писал в газету. «Как вас по батюшке?» – «Зовите меня просто Колей». Стыдно за свой стыд. Стыдно за сам факт своего существования. Он защищался, выставляя колючие иголки навстречу чужому любопытству, прятался за фамильярностью, шутовством, иронией, скрывая свою уязвимость. Он пытался понять, где его место в мире, кто он такой. Это только в книжках несправедливого и благодушного девятнадцатого века безотцовщины в конце концов оказывались наследными принцами или, по крайней мере, лордами. А кем был этот мальчик, ощущавший в себе и силу, и ум, и талант, но всеми презираемый? Кто знает, что за мысли бродили в пылкой голове отчаянного и начитанного фантазера? Что он мог ответить себе

на простые детские вопросы: на кого я похож, кто я? С кем мог себя идентифицировать? «Страшна была моя неприкаянность ни к чему, безместность, – у меня даже имени не было: одни звали меня в письмах „Николаем Емельяновичем“, другие „Николаем Эммануиловичем“, третьи „Николаем… извините не знаю, как вас величать“, четвертые (из деликатности!) начинали письмо без обращения. Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? еврей? русский? украинец?), – был самым нецельным непростым человеком на земле… Мне казалось…что я единственный – незаконный, что все у меня за спиной перешептываются и что когда я показываю кому-нибудь (дворнику, швейцару) свои документы, все внутренне начинают плевать на меня. Да так оно и было на самом деле, – писал он много позже. – И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь – никогда не показывать людям себя – отсюда, отсюда пошло все остальное».

Отец – первая и одна из главных загадок в долгой жизни нашего героя. С ним связана страшная травма, так и не зажившая никогда. Обида на отца, бросившего своих детей, сохранилась на всю жизнь. Детям Корнея Ивановича запрещались всякие разговоры и расспросы о таинственном отце, отсутствующем дедушке. Имя, отчество и фамилию Николай Корнейчуков сменил, сначала взяв псевдоним, а потом узаконив его.

О своих родителях Корней Иванович рассказывал скупо, об отце практически не упоминал. Вот самая полная версия семейной истории в его изложении, записанная литературоведом Ольгой Грудцовой (это дочь питерского фотографа Наппельбаума, с семьей которого Чуковский был дружен): «Отец, кажется, инженер. Я отца не знал. Отец очень любил мать, хотя она была полуграмотная, прачка. Он вывез ее в Петербург, они жили внебрачно. У них родилась дочь, моя старшая сестра Маруся. Я был маленький, когда отец разошелся с матерью. Он женился на женщине своего круга. Но, как видно, продолжал любить мою мать. Она переехала с детьми в Одессу. Он много раз посылал ей деньги, но она была гордая и отсылала их обратно. В доме хранилась пачка писем отца к матери. Он посылал ей розы в письмах… Мне очень жаль, что письма эти не сохранились». В «Секрете» суть семейной тайны изложена так: «Моей маме не было 19 лет, когда в нее, полтавскую крестьянку, влюбился заезжий студент, обещал жениться и увез в Петербург, но через несколько лет разлюбил ее, бросил, уехал в Варшаву и там женился на какой-то избалованной барышне. А мама осталась с нами, с детьми, опозоренная, без мужа, без денег, без какой бы то

ни было помощи. Впрочем, деньги мой отец присылал иногда. Но какие-то гроши, да и то очень редко. А потом и совсем перестал посылать, так что маме поневоле пришлось приняться за стирку чужого белья».

Сейчас энциклопедически принято писать, что настоящее имя Корнея Ивановича Чуковского – Николай Васильевич Корнейчуков. Но в церковных книгах и других дореволюционных документах, относящихся к будущему писателю, «Васильевич» фигурирует далеко не везде – встречается «Степанович», «Мануилович», «Эммануилович», «Н. Е. Корнейчуков»; «Емельянович» и «Эммануилович», – пишет и он сам. Сестра Мария в сохранившихся бумагах именуется Мануиловной и Эммануиловной. Некий Мануил-Эммануил прослеживается, во всяком случае, последовательнее, чем Василий или Степан. Но это только тень отца, его призрак.

В десятых годах двадцатого века, когда Коля уже назывался Корнеем Ивановичем и был известным литературным критиком, он приехал из Петербурга, куда часто ездил по делам, домой в Куоккалу вместе с отцом. «Высокий, худощавый, прямой, с квадратной бородкой» – вот все, что осталось в памяти детей К. И. Свидетельница внезапного явления деда, Лидия Корнеевна Чуковская, тогда еще просто Лида, рассказала в своих воспоминаниях, чем это кончилось: коротким разговором за закрытой дверью – и изгнанием деда вон вместе с подарками и свертками.

И все-таки у Екатерины Осиповны всю жизнь висел на стене портрет бородатого человека, и всю жизнь она продолжала его любить, и уже семнадцатилетней внучке Лиде говорила: «Твой папа его не любит. За меня. Но твой папа не прав: он очень, очень хороший человек». Есть в дневнике К. И. и другое высказывание мамы – о том, что Э. С. (мой отец, комментирует Чуковский) «был эгоист». Это уже 1925 год – а мама, сказав это, выходит в другую комнату поплакать.

Он всю жизнь жалел мать, тяжело переживал ее боль. Она чувствовала себя самой плохой, самой низкой, бесконечно виноватой перед детьми. В «Секрете» рассказывается, что она пела детям печальную песню, которая оказалась стихами Шевченко: «Мене, прокляту, я твоя мати – мене клени». Уже взрослым Чуковский писал, что никогда не мог без слез читать эти строки: «Сейчас для какой-то цитаты развернул Шевченка – открылось это стихотворение, и глаза сами собой мокреют».

В том же «Секрете» есть и совсем душераздирающая сцена: мальчик рассказывает маме, что его исключили из гимназии, мама отвечает, что уже знает это (получила казенную бумагу), –

но, вместо того чтобы ругаться, кидается обнимать сына со словами «Прости меня… Прости меня… Прости меня». И добавляет: «Это я, а не ты, это я… это я виновата во всем». А потом лунной ночью, сидя в обнимку с сыном на топчане, рассказывает ему свой горький секрет. Из «Серебряного герба» это «прости меня» было исключено.

Тайна отсутствующего отца стала приоткрываться совсем недавно, когда усилиями отчасти исследователей, отчасти мемуаристов пробелы стали заполняться. Нужно ли их заполнять – отдельный вопрос. Едва ли Корней Иванович хотел бы этого: к его портрету сведения о личности отца ничего не добавляют. Но, пожалуй, избавиться от белых пятен все-таки следует, иначе вакантное место займут сплетни и домыслы.

Поисками отца Коли Корнейчукова занималась украинская исследовательница Наталья Панасенко, прояснившая множество непонятных моментов в одесском периоде жизни Чуковского. Она окончательно установила, что отцом Николая Корнейчукова действительно был некто Эммануил Левенсон. Косвенное подтверждение можно найти в дневнике Чуковского: «Э. С», «Эммануилович», в 1924 году сделана запись о зверском убийстве его «полусестры Рохлиной». Чуковский не знал даже, как ее зовут. Полусестра (сестра по отцу) Рохлина была дочерью Эммануила Соломоновича Левенсона (после революции эту фамилию иногда писали как «Левинсон») и матерью известного советского математика Владимира Рохлина. Начальник санинспекции в Баку, она и в самом деле была зверски убита в 1923 году.

Математик Рохлин тоже знал о своем родстве с Чуковским. Его рассказ приводит в своих воспоминаниях академик С. П. Новиков. Цитировать Рохлина в пересказе Новикова, по справедливости, вообще не стоит: источник этот абсолютно недостоверен. Однако воспоминания Новикова опубликованы отдельной книгой, вывешены в Интернете безо всяких комментариев и продолжают служить источником сплетен. Нелепости в этом мемуаре громоздятся одна на другую: «Горничная – девица Корнейчук – произвела от него Левенсона на свет младенца мужского пола, которому с помощью полиции (за деньги) был изготовлен чисто русский православный паспорт на имя Корнея Ивановича Чуковского»; «Он фигурировал как писатель православно-монархической ориентации. Написал около 1908–1910 гг. блестящую пародию на революцию 1905–1907 гг. („Крокодил“)…» Правды во всем этом фрагменте – только слова «девица» (бродят еще слухи, что Екатерина Корнейчукова и в самом деле была у Левенсонов горничной) и «произвела от него

на свет младенца мужского пола». Все остальное – стопроцентная чушь. Новиков приводит со слов Рохлина и другой рассказ – о том, как в конце 30-х годов, осиротев (отца расстреляли), тот приехал в Москву, испытывал трудности с поступлением в университет, пошел за помощью к Чуковскому, тогда уже именитому писателю, но тот его не принял. А много позже, когда Рохлин стал именитым ученым, Чуковский пытался найти его, но тут уже на контакт не пошел сам Рохлин – из гордости, пишет Новиков. Проверить это уже невозможно, но стоит ли доверять сведениям Новикова – вопрос открытый.

Кстати, в дневнике Чуковского еще в 1928 году (6 сентября, в самый разгар борьбы с «чуковщиной») появилась запись: «Я на заседание к Горькому попал прямо после катастрофы: трамвай помял Рохлина, я возил его в скорой помощи в Петроп. больницу, не имел секунды подготовиться—и… впрочем, ну его к черту!» Кто именно был этот Рохлин и в каких он состоял отношениях с Чуковским – пока непонятно.

Кем же был таинственный отец? Наталья Панасенко подняла городские архивы Одессы, церковные книги, справочники – и обнаружила, что Эммануил Левенсон, 1851 года рождения, был потомственным почетным гражданином Одессы. Некоторое время он жил в Петербурге, и этот период совпадает со временем проживания там Екатерины Осиповны с детьми. В его паспорте записано множество петербургских адресов, и среди них – дом у Пяти углов, где жила и она. В своих автобиографиях Чуковский иногда называет отца «петербургским студентом». Возможно, в то время Левенсон действительно учился.

Дедом Чуковского, отцом Эммануила Соломоновича, был врач Соломон Михайлович Левенсон, глава большой семьи (помимо Эммануила, в ней было еще семеро детей), получивший почетное гражданство Одессы в 1872 году. Брак между родителями К. И. был невозможен. Студенты вообще должны были получать родительское разрешение на брак, а Эммануилу пришлось бы еще и креститься. Подобные мезальянсы ни в одном слое общества, пожалуй, всерьез не рассматривались, бедная православная крестьянка войти в еврейскую интеллигентскую семью никак не могла.

Сколько родители Коли и Маруси прожили вместе – не установишь; где-то Корней Иванович пишет, что отец оставил семью почти сразу после его рождения, где-то – «мне было года три, когда они разошлись…» В любом случае, срок получается довольно солидный: учитывая, что была еще и старшая дочь, – от четырех до семи лет, а то и больше. В дневниках Чуковского упоминается, что мама подарила ему свое обручальное кольцо,

которое носила 45 лет. Значит ли это, что родители были обручены, но не венчались?

Весьма возможно, что они действительно всю жизнь любили друг друга. Что послужило причиной расставания после долгой совместной жизни, мы сейчас вряд ли узнаем, да и не стоит из праздного любопытства копаться в чужих семейных трагедиях. Как бы то ни было, к 1885 году Эммануил Левенсон навсегда ушел из семьи, а брошенная гражданская жена с детьми вернулась из неласковой столицы на теплый юг, в Одессу.

Пытался ли отец помогать детям? В одном месте Чуковский говорит, что он посылал деньги, а гордая мама их возвращала. В другом – «вероятно, отец давал ей вначале какие-то деньги на воспитание детей: меня отдали в одесскую гимназию, из пятого класса которой я был несправедливо исключен». Можно предполагать, что именно отец какое-то время платил за обучение сына и дочери. Переписка шла, розы в письмах посылались, мама обмирала при виде почтальона…

Может быть, поведи себя кто-то из старшего поколения иначе – и мальчик мог оказаться не Корнеем Ивановичем Чуковским, а Николаем Эммануиловичем Левенсоном; как бы сложилась его судьба в этом случае – не будем даже гадать. В формировании личности след оставил не отец, а его отсутствие: «Он, каким он был и каким создавал наше детство, сам был создан своею покинутостью», – писала в воспоминаниях об отце Лидия Корнеевна.

Отсюда не только привычка нападать, защищаясь, постоянное ношение маски и шутовство, о котором говорит он сам и вторят исследователи. Отсюда же, что важнее, его внимательное, вдумчивое, серьезное отцовство, его желание построить для своих детей то самое детство, которого ему так не хватало. Отсюда внимание к внутреннему миру детей и желание помочь становлению человеческой личности. Так бывает иногда: человек становится хорошим учителем, потому что у него были плохие учителя, и замечательным отцом, потому что сам рос без отца и на горьком опыте понял, как надо воспитывать.

«Серебряный герб»

Сестра Маруся училась в Епархиальном училище, Колю мама отдала во Вторую одесскую прогимназию. С годами гимназической учебы Чуковского возникает много путаницы, не в последней степени благодаря усилиям самого Корнея Ивановича. Одни его воспоминания противоречат другим, а все они вместе – свидетельствам современников и историческим документам.

Установить, когда Коля Корнейчуков пошел в первый класс, оказалось возможно только потому, что с ним в классе учился будущий писатель Борис Житков. Наталья Панасенко доказала на основании его биографических данных, что учиться во второй прогимназии Житков и Корнейчуков начали в 1892 году, когда Коле исполнилось десять лет. В «Серебряном гербе» о персонаже, наделенном некоторыми чертами Житкова, сказано: «мы подружились еще в первом классе, на девятом году жизни, чуть только он поступил к нам в гимназию». Если не принимать в расчет, что в гимназию вообще брали с полных девяти лет, и считать годом поступления 1890-й (с 8 лет), а годом исключения – 1895-й или 1896-й (5-й класс, как Чуковский сам везде писал), – тогда возникает полная неразбериха.

Ту же Вторую прогимназию посещал и Владимир Жаботинский – будущий писатель и политик, один из основателей государства Израиль. У исследователей часто возникает вопрос, был ли Жаботинский одноклассником Чуковского, он ли стал прототипом Муни Блохина из «Серебряного герба» и соответствующего ему Думмэ в «Нынешнем Евгении Онегине» (на рукописи против «Думмэ» Чуковский карандашом написал «Муня»). Мирон Петровский считает Жаботинского одноклассником и «вероятным прототипом»; Наталья Панасенко нашла в одесских архивах вполне реального С. (Семена) Блохина. Жаботинский был старше Коли на два года и, видимо, учился в другом классе. А дальше будущий сионист и вовсе перешел в Ришельевскую гимназию.

Жаботинский тоже рос без отца – осиротел в шестилетнем возрасте. Точно так же его мать боролась с нескончаемой нуждой, воспитывая сына и дочь. И гимназию Чуковский и Жаботинский, судя по всему, покинули одновременно – в 1898 году, первый насильственно, второй добровольно, если верить его автобиографии. Оба потом пытались сдать гимназический курс экстерном, чтобы получить аттестат. Затем оба работали в «Одесских новостях», потом жили в Петербурге и вместе публиковались в «Свободных мыслях». В 1917-м вышла книга генерала Паттерсона с предисловием и под редакцией Чуковского, с приложением статьи Жаботинского. Но уже к этому времени пути друзей навсегда разошлись: Жаботинский еще с дореволюционных времен жил за границей. Последняя их встреча состоялась в Лондоне в 1916 году – и прежней духовной близости между ними уже не было; Чуковский выбрал литературу, Жаботинский предпочел политику. Он посвятил себя делу сионизма и умер под Нью-Йорком в 1940 году.

Может быть, и за английский язык Чуковский взялся не без

влияния старшего товарища, и к итальянскому позднее примерялся по той же причине: Жаботинский отлично владел обоими языками. Уже в преклонных годах К. И. отзывался о друге юности восторженно: «От всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация. В нем было что-то от пушкинского Моцарта, да пожалуй, и от самого Пушкина. Он казался мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его дружбой…» Возможно, именно этот фрагмент письма к Рахели Марголиной и дает основания считать Жаботинского прототипом неутомимого выдумщика Муни.

Как принимали мальчиков в гимназию – в русской литературе описано много раз: читать «от сих до сих», считать, для православных еще вопрос по Закону Божию… И вот страшные вступительные испытания пройдены – о великое счастье! Приятные школьные хлопоты, так трогательно описанные Катаевым в «Парусе», – покупка ранца и пенала, школьной фуражки с гербом… Описан даже сам герб: у Катаева «05Г», Одесская пятая гимназия, у Чуковского – «два дубовых листочка, между ними две буквы и цифра – название нашей гимназии» (пятой гимназия стала позднее).

Учиться Коля Корнейчуков явно очень любил – даже жупел всех российских гимназистов, латынь, он знал на «отлично», умея понять ее звучную красоту и логику. Задатки будущего филолога в нем проявились сразу. В «Серебряном гербе» он пишет: «В нашем классе я считался чемпионом диктовки. Не знаю отчего, но чуть не с семилетнего возраста я писал без единой ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался никогда». Правда, писал он медленно и сажал неизбежные кляксы. Да и вряд ли он тогда вообще отличался опрятностью: в повести там и сям раскиданы замечания о вихрах, грязных руках, всклокоченном виде. Скорей всего, в этом случае не стоит сомневаться в автобиографичности подробностей.

Другие воспоминания гимназического и дворового детства остались жить в «Евгении Онегине»: часть их Чуковский отдал двум своим героям – «Худому» и Ленскому – а часть рассказывает сам, «от автора». Вот он обращается к читателю:

Скажи, играл ли в тёпки ты?
Скажи, считал ли ты, бледнея,
Шаги от ямки до стены
И рвал ли новые штаны
Для козыряющего змея?
И после вешнего дождя
Гулял ли, луж не обходя?

Скажи, мой друг, сбирал ты марки?
Был у тебя «зеленый Крит»?
Скажи, – твой ум, бесспорно яркий, —
«Цейлон» от «Явы» отличит?
И воду пил ты из-под крана,
Презрев достоинства стакана?
Скажи, зажав рукою кран,
Бросал ты радужный фонтан
На горе дворнику Федоту
И Ваське рыжему на смех?

Вторую прогимназию Чуковский вспоминал с любовью. В 1936 году, приехав в Одессу, он записывал в дневнике: «в эту прогимназию я побежал раньше всего». Может быть, потому, что с ней не были связаны горестные воспоминания об исключении. Судя по прозе, которую можно условно считать автобиографической, безоблачным время учебы назвать нельзя: были и конфликты с учителями, одноклассниками и старшими учениками, но были и друзья, и любимые преподаватели.

В 1896/97 учебном году прогимназия стала шестиклассной, а в 1897/98-м – восьмиклассной. Переименованная в Пятую мужскую гимназию, она летом 1898 года переехала в новое, специально для нее построенное здание. Здесь Коля Корнейчуков проучился совсем недолго – но поучиться успел, иначе не возникла бы в тех же его дневниках 1936 года «подлая пятая гимназия». По подсчетам Натальи Панасенко, распутывавшей историю исключения, получается, что по этой причине из «подлой пятой» Колю исключить могли не раньше седьмого класса. Петербургский филолог Лев Коган, учившийся в той же гимназии в то же время, пишет, что из шестого. Чуковский в «Серебряном гербе», воспоминаниях о Житкове и некоторых других произведениях вообще называет пятый класс. «Исключен из пятого класса по указу о кухаркиных детях» – это повторяется в любой его биографии, о пятом классе говорит даже неумолимо преданная фактам Лидия Корнеевна. Да и в «Серебряном гербе» героя выгоняют из школы года через два после смерти Александра III, то есть в 1896 году.

И сам герой повести кажется гораздо более инфантильным, чем полагалось бы шестнадцатилетнему (и даже четырнадцатилетнему, каким он был в 1896-м) парню: возится с ежиком, размазывает слезы грязными кулаками, всей душой отдается запусканию воздушных змеев, ходит хвостом за знаменитым Уточкиным и все еще думает о том, что из

камышинки можно сделать пику… Чуковский чуть сдвинул события, сделав своего героя на несколько лет моложе, чем требует историческая справедливость. Горе стало более детским, несправедливость – куда более острой и очевидной: одно дело – исключать из гимназии за социальное происхождение еще несмышленого двенадцатилетку, и совсем другое – шестнадцатилетнего парня, уже усатого и читающего Писарева и Добролюбова, – даже если повод и в том, и в другом случае надуманный. Но о причинах исключения из гимназии мы еще поговорим.

«Гимназия наша до сих пор считалась далеко не из лучших; она помещалась на бедной Новорыбной улице и частью окон выходила на Куликово поле и на вокзал, и в ней получали образование главным образом дети железнодорожников – конторских служащих, иногда даже обер-кондукторов или контролеров, что у некоторых вызывало презрительную улыбку и пожимание плечами», – вспоминал Катаев. И он, и его брат Евгений, будущий соавтор Ильфа, тоже учились в Пятой мужской – уже после того, как оттуда был изгнан Николай Корнейчуков. Крепче всего из школьных подробностей в катаевском «Роге Оберона» запоминается запах свежей замазки: стекольщик в начале декабря выскребает из рам старую замазку и вмазывает новую. А еще – сводчатые окна актового зала, стеклянные двери в классах, плиточный пол коридора… Так и слышатся гулкие шаги в напряженной гимназической тишине. У Чуковского в повести и ранней поэме «Нынешний Евгений Онегин» находим другие детали: тяжелая дубовая дверь, запах мастики – полотеры натирают пол. Шинельная с учительскими калошами, молельня в коридоре и «рыдальня» – кабинет директора. Директор-немец, истово верноподданный, с чрезмерно стилизованной, псевдорусской речью. Инспектор, во всем старающийся подражать директору («Инспектор Прошкой назывался и был великим шутником, зане еврея звал жидом»). Молебны перед началом уроков. Греческие глаголы, подстрочники, дроби. Воспитание любви к государю. «Страховка от дурного балла», придуманная одноклассником. Перемена: кто-то жует завтрак, кто-то молится… «И грек вошел, и все мы встали, как волоса на голове».

Мальчик был далеко не паинька. В воспоминаниях о Житкове Чуковский пишет: «Я принадлежал к той ватаге мальчишек, которая бурлила на задних скамейках и называлась „Камчаткой“». В русской литературе гимназические порядки описывались не раз; очевидно, что почти непременная скука, обязательная зубрежка и жесткая дисциплина не могли не

угнетать непоседливого умного мальчишку. Он то и дело выдумывал новые развлечения и игры, которые гимназическому начальству казались злонамеренным бунтом. Обострилась ситуация уже к третьему классу: мальчики вступили в трудный возраст.

Первый бунт был совершенно анекдотическим – он описан в тех же воспоминаниях о Житкове. Директор гимназии Юнгмейстер, словесник, говоря об устаревших словах, объявил, что слово «отнюдь» скоро умрет. «Я от всей души пожалел умиравшее слово и решил принять самые энергичные меры, чтобы предотвратить его смерть и влить в него, так сказать, новую жизнь: упросил всю „Камчатку“, около десяти человек, возможно чаще употреблять его в своих разговорах, тетрадках и на уроках, у классной доски», – рассказывает Корней Иванович в воспоминаниях. Полкласса всякий раз вместо «нет» хором вопило «отнюдь», и подстрекатель этого «бессмысленного бунта» был на два часа оставлен без обеда. Зато с этого случая началось сближение с одноклассником Борисом Житковым, умным и замкнутым мальчиком, до тех пор не обращавшим на «вертлявого и болтливого» (это самохарактеристика) Корнейчукова ни малейшего внимания.

В третьем классе случилась и та самая диктовка с «телефоном», которая вошла и в автобиографическую повесть, и в «Нынешнего Евгения Онегина»:

«Ты помнишь, привязал бечевку / К его ноге, пиша диктовку, / Дабы при каждой запятой / Он дергал связанной ногой. / Вы это звали телефоном… / Но сей полезный телефон / Начальством не был оценен…»

Из-за разницы в скорости письма друзья понаставили запятых и восклицательных знаков посреди слов. Получили свои «нули» (худший балл) и намяли чемпиону диктовок бока так, что он три дня отлеживался дома.

Были среди подвигов Коли Корнейчукова и прогулы, о чем он сам упоминает. В «Онегине» – вскользь: «… и скоро ль ты познал казну, как я когда-то в старину?» Среди одесских школьников чуть не до сих пор сохранилось слово «казенничать» – прогуливать. В дневниках – в 1926-м – прямым текстом: «Я казенничал. То есть надевал ранец и вместо того, чтобы идти в гимназию, шел в Александровский парк. Помню один день – туман, должно быть, октябрь. В парке была большая яма, на дне которой туман был еще гуще. Я сижу в этой яме и читаю Овидия, и ритм Овидия волнует меня до слез». Казенничал он много: слишком уж несовместимы были любопытный подвижный подросток и убийственная гимназическая рутина. Маму вызывали

в школу – и легко догадаться, что она могла услышать от директора. Она приходила домой убитая горем, «с почерневшими веками», ложилась, страдая жестокой мигренью, и сестра Маруся бросала на Колю сердитые взгляды, и сам он мучился, чувствуя себя виноватым и жалея маму.

В «Евгении Онегине» Чуковский перечисляет вехи жизни обычного школьника: в первом классе «увлекался чехардою», «пытался во втором идти в Америку пешком», в третьем «бредил спортом» и пробегал походкой знаменитого Уточкина «чрез реакционный зал» (то есть рекреационный – большой коридор, где школьники проводят перемены). В четвертом писал стихи и посылал в «Одесский водосток» (в названии легко угадывается «Одесский листок») драму «Бешеный прыжок» – и, разумеется, получил отказ.

Коля много и без разбору читал – ровно то же, что и все мальчишки конца века: в поэме упомянут характернейший Майн Рид, прикрытый не менее характерным латинским учебником Ходобая. Но читал и совсем нехарактерное – уже с детства влюбился в стихи, множество их знал наизусть, интуитивно умел их понимать, соотносить с собой, жить ими. Редкого школьника ритм Овидия взволновал бы до слез. Читал он и упомянутый «Одесский листок», еще второклассником, учеником прогимназии – ему, больному скарлатиной, каждый день доставали газету с фельетоном Дорошевича – «и я с тем восторгом, с которым читают величайшие произведения искусства, читал эти фельетоны – необыкновенно талантливые». Читал и «Ниву», с которой позднее стал сотрудничать, и свидетельствовал позднее, что именно этот журнал приобщил его к литературе, заставил влюбиться в нее.

Разумеется, он пробовал писать стихи. Единственный сохранившийся стихотворный опыт маленького Коли приводится в автобиографическом рассказе «Бранделяк», который не появлялся в печати после единственной публикации в «Мурзилке» в 1940 году. В «Бранделяке» говорится об индюке, который жил во дворе, тряс красной бородой, и на приветствия отвечал по-французски: «Куркулю! Муркулю!» Мальчик звал индюка герцогом Бранделюк де Бранделяк и посвятил ему стихи. Стихи были такие:

Господин де Бранделюк —
Замечательный индюк.
Как я рад, что я знаком
С этим важным индюком!
Сам не знаю почему

Я завидую ему.

Кончались стихи так:

Если б не был я знаком
С этим важным индюком,
Не узнал бы я никак,
Что спесивый и хвастливый
Господин де Бранделяк —
Просто-напросто трусливый
Задающийся дурак.

Стихи тоже сочинялись в полукруглых ящиках для вывоза мусора – каламашках-колымажках, тех самых, где мальчики «говорили про Багдад» и где плакала, получив аттестат, Маруся Корнейчукова. В стихах говорилось «о каких-то людоедах, жирафах, акулах и неграх» (к этим темам он обращался всю жизнь; даже Бранделяк всплыл больше чем через полвека в «Бибигоне»). Стихи были собраны в тетрадь, на обложке которой мальчик вырезал: «Полное собрание моих сочинений». Тетрадку он носил за подкладкой фуражки, откуда она однажды выпала, верзилы-старшеклассники выхватили ее и начали издевательски зачитывать стихи вслух. Вскоре к «Бранделяку» досочинили какие-то гадкие слова и задразнили автора «Бранделяком». Дразнилку распевала вся школа. Инспектор Прошка принял стихи на свой счет, возненавидел мальчика и не успокоился до тех пор, пока его не исключили из школы.

«Все это надолго отбило у меня охоту к писанию стихов, – заключал Чуковский свой рассказ. – Ведь учителя и товарищи как будто нарочно приняли все меры, чтобы я не сделался писателем. Правда, качаясь в своей колымажке, я по-прежнему шептал иногда какие-то певучие строки, но уж не записывал их.

Не то чтобы боялся, а так: опротивело».

Некоторые обмолвки, раскиданные в дневнике там и сям, заставляют предположить, что юный Чуковский был не то чтобы религиозен… но и религия, и литература вызывали в нем сходное чувство священного трепета. Примечательна дневниковая запись 1928 года о Мандельштаме: «Его слова так находчивы, так своеобразны, так глубоки, что вся его фигура вызывала во мне то благоговейное чувство, какое бывало в детстве по отношению к священнику, выходящему с „дарами“ из врат».

Есть свидетельства и обратного свойства – «стало скучно, как

ребенку в церкви…» Впрочем, к религии Коля относился серьезно – хотя в отрочестве и таскал из церквей огарки, чтобы Житков сварил из этого воска гектограф, и в повести о детстве вывел отвратительного, лицемерного попа-законоучителя – ненавистного еще и потому, что говорил на уроках, что (цитируем по «Секрету») «женщины, подобные маме, суть безбожные грешницы», – и косился на юного героя. Религиозность Коли была, рискнем сказать, во многом неосознанная, не структурированная, не соотносимая с Законом Божьим и Библией, – скорее это было внутреннее чувство доброго «диккенсовского» Бога, о котором Чуковский тоже говорит в дневнике. Пасхальная ночь с огоньками во тьме, ветер, поле, огромное небо над головой, путь незнамо куда, неопределенное волнение до слез, смутная радость – эти образы возникают в его юношеских дневниках и ранних стихах. Его религиозность сродни пантеизму, растворенности в гармоничном мире, сопричастности его шири и выси. Оттого, пожалуй, так ошеломил его Уитмен, умевший выразить эти неопределенные юношеские чувства ясно и мощно.

В дневниках сохранился и фрагмент повести, написанной 15-летним Колей Корнейчуковым: «Захотелось ему в пост мяса – он сейчас заставляет себя думать: нет, мне мяса не хочется, мне хочется гороху, и так всегда и во всем. А как он зато был счастлив! Даст ли он милостыню, выучит ли уроки, поможет ли калеке перейти улицу, – он уверен, что там где-то наверху кто-то радуется, что все эти поступки кем-то и куда-то засчитываются и что в конце концов душа его получит воздаяние. И он старался изо всех сил делать как можно больше добрых дел, т. к. себя он любил больше всех, т. к. хотел для своей души как можно лучшее достояние… А теперь, теперь он с тоской жмется к подушке, стараясь отогнать мысли, которые еще не роятся в его голове, а стоят где-то в стороне, вне его; он чувствует их присутствие в мозгу. Но он еще борется и мучительно старается думать о другом, о том, что сказала ему Лиза, о том, что…»

Кстати, приводятся в дневниках и ранние стихи, написанные «под Лермонтова», такие писывал едва ли не всякий литературный ребенок: «Когда весь класс волнуется, как нива, / учитель уж дошел до буквы К…» «Когда глаза обращены в бумагу, / А сам я жду, когда бы поскорей / Наш страж порядка, наш Фаддей / Пролепетал звонком таинственную сагу…» А в «Серебряном гербе» рассказывается о поэме «Гимназиада», написанной на чердаке, носившем название «Вигвам», и там же спрятанной за потолочную балку.

Дружба с Борисом Житковым и его семьей серьезно расширила Колин круг чтения и интересов. Его привлекала сама атмосфера интеллигентного, открытого, радушного дома, где всех принимали, всех кормили, спорили о литературе, любили музыку и науку – и рады были щедро делиться не только едой, но и книгами, и знаниями. Борис с детства отличался необыкновенной эрудицией и постоянно учил Николая всему, что сам знал: «гальванопластике, французскому языку (который знал превосходно), завязыванию морских узлов, распознаванию насекомых и птиц, предсказанию погоды, плаванию, ловле тарантулов…» (это из воспоминаний Чуковского о Житкове). Черты Житкова есть в Тимоше из «Серебряного герба» – необыкновенно эрудированном мальчике, который помогает герою с учебой. Его семья похожа на семью Житковых, и мама главного героя относится к Тимоше с тем же глубоким уважением и доверием, что и Екатерина Осиповна к Борису. Разница лишь в том, что Тимоша – человек мягкий и душевный, а Борис был резким и властным (впрочем, и в «Гимназии» Тимоша берет героя с собой кататься на лодке и пытается довольно жестко командовать). В воспоминаниях Корней Иванович описывает, как они поссорились в пятнадцатилетнем возрасте. Оба собрались в поход, Борис как безусловный лидер расписал время привалов, нормы еды и воды. Николай на полпути отказался подчиняться, не желал больше воспитывать волю и требовал себе поблажек… Житков ушел один и надолго прервал знакомство. «Это многому научило меня, и я признателен ему за урок», – писал уже пожилой Чуковский.

В пятнадцать-шестнадцать лет Коля, как многие ровесники, уже влюблялся, пописывал стихи, почитывал революционных демократов… уже вел дневник и пробовал перо в эссеистике – не мог ведь прирожденный гуманитарий этого не делать! Должно быть, он собирался пойти обычным путем – закончить восемь классов и пойти в университет. Не вышло.

«Поклонник Канта и поэт»

Общеизвестно, что Колю Корнейчукова исключили из гимназии по пресловутому указу о кухаркиных детях. Это как-то даже не принято оспаривать. Указ был подготовлен министром просвещения Иваном Деляновым еще в 1887 году, при царе Александре III. Царь вообще был отнюдь не сторонником народного просвещения и на губернаторском отчете о массовой безграмотности в Тобольской губернии написал: «И слава Богу!» Получив среднее образование, простолюдины получали доступ к

высшему и шли в студенты. Студенты и так доставляли самодержавию много хлопот, и пополнять их ряды людьми из низов власти боялись. Указ требовал «допускать в гимназии и прогимназии только таких детей, которые находятся на попечении лиц, предоставляющих достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для занятий удобства. Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила, гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и других тому подобных людей». Доступ к высшему образованию для всех перечисленных был закрыт – единственным вариантом оставалась разве что духовная семинария. Недаром среди революционеров-разночинцев было множество семинаристов (вот, кстати, и Сталин из них же). Ленинский образ кухарки, управляющей государством, родился из деляновского указа.

Указ дал основания к неимоверным злоупотреблениям и самым свободным толкованиям. Работая над «Серебряным гербом», Чуковский напечатал в 1937 году в журнале «Смена» небольшую статью к пятидесятилетию деляновского детища, где рассказывал, основываясь на документальных свидетельствах, что в Одессе в гимназии стали брать только тех, у кого дома не меньше четырех комнат, а также есть кухарка и горничная («необходимые для занятий удобства», должно быть). Прием в гимназии резко сократился. Ввели процентную норму для евреев: три еврея на сотню христиан в столицах, десять – в черте оседлости. Плата за обучение резко повысилась. Вдобавок гимназическое начальство стало брать за прием детей огромные взятки.

Но в 1887 году Коле было только пять лет. В 1892 году, когда он поступал в прогимназию, указ уже пять лет как действовал. Почему же мальчика взяли в ученики? Почему исключили спустя шесть лет? В послесловии к «Гимназии» Чуковский поясняет: через несколько лет после издания указ этот забылся, но с воцарением Николая II кухаркиных детей снова стали изгонять из гимназий «с необычайной жестокостью».

Очень может быть, что все упиралось в банальные взятки. Определить дитя в нужную школу за «спонсорский взнос» и сейчас-то обычное дело, а уж в царской России, как мы помним, и борзыми щенками не брезговали. Должно быть, обучение детей стоило Екатерине Осиповне огромных сил и серьезных по ее меркам денег – или все-таки помогал отец? Седьмой класс стал для Коли последним не только из-за деляновского указа более чем десятилетней давности. Возможно, отцовская помощь

прекратилась; возможно, мама не зарабатывала достаточно для того, чтобы удовлетворять аппетиты директора гимназии Юнгмейстера – Бургмейстера из «Серебряного герба» – «самого неистового, самого бесстрашного хабарника (взяточника. – *И. Л.)* и самого знаменитого из всех», – и покрывать новым подношением каждую воображаемую или настоящую провинность сына. А провинностей наверняка набегало немало, учитывая веселую изобретательность, живой ум и кипучий темперамент подростка. Эти качества всегда осложняют жизнь их обладателю и его наставникам. И памятная диктовка, и пересчет междометий в речи учителя Закона Божия… Лев Коган писал: «Ему был свойственен особый тип озорства: тихого, артистического; никаких типично школьных шалостей за ним не числилось, но он отличался способностью организовывать такие выходки, которые в голову не пришли бы обычным шалунам. Его считали отъявленным лодырем, а он в то же время был одним из самых начитанных учеников гимназии». По свидетельству Когана, учителя и директор Корнейчукова «дружно терпеть не могли».

Будь социальное происхождение иным – может быть, еще и не исключили бы. В «Секрете» инспектор Прошка, выставляя из школы уже исключенного героя, который пришел на уроки, невзирая на исключение, приговаривает со смехом: «Кто же тогда будет чистить помойные ямы?.. Если все портные пойдут в гимназисты, кто же, спрашивается, сошьет нам штаны?.. Что же это будет, скажите, пожалуйста, если вся эта голопузая рвань рассядется тут на партах? Что скажут дети благородных родителей?» В «Серебряном гербе» от этого колоритного монолога осталось только «Ваши товарищи – вон они!» – и жест в сторону окна, за которым виднеются бездомные «босявки». В довершение позора Прошка выломал из фуражки героя драгоценный серебряный герб.

В воспоминаниях Когана история исключения выглядит совсем иначе, чем в «Серебряном гербе». Однажды Корнейчуков повел Когана на публичные лекции по философии, которые профессор Ланге читал в актовом зале университета. Ученикам гимназии ходить на эти лекции запрещалось. «Значит, что-нибудь очень интересное и надо пойти во что бы то ни стало», – заключил Николай. Денег хватало не на весь цикл лекций, а только на одну, заговорщики долго выбирали, на какую пойти, – и выбрали Канта (что явно лежало за пределами интересов героя «Серебряного герба»). Билеты добыл Корнейчуков, места взяли под балконом, чтобы там, в тени, никто их не увидел. И первым, кто заметил уже тогда длинного Колю, был директор гимназии Юнгмейстер. «На следующий день директор разбранил

Корнейчукова, который по обыкновению выслушал выговор молча, с видом страдающей невинности. Свое присутствие на лекции Ланге он объяснил желанием уяснить себе строку из „Евгения Онегина“, в которой о Ленском сказано, что он „поклонник Канта и поэт“», – пишет Коган.

Другим преступлением стал рукописный журнал с критикой гимназических порядков и учебников. В «Современном Онегине» тоже фигурирует журнал, где его издатель «…даже батюшку Попова / Отцеубийцей называл. / Где Иловайского, Бычкова / За каждое бранил он слово / И где зато – что было сил – / Он Добролюбова хвалил». Иловайский, Бычков, Попов – это все авторы учебников.

«Журнал явно был оппозиционным, – вспоминает Коган, – и попал в руки директора. Юнгмейстер рассвирепел. Во время большой перемены… директор, потрясая журналом, топая ногами, кричал на издателей… и грозил им всеми возможными карами. Прошло две недели, и вот снова появился новый номер журнала… На большой перемене к директору подошли оба издателя и вручили ему один экземпляр… Юнгмейстер больше не распекал издателей, а созвал педагогический совет, который и исключил из гимназии обоих издателей». Вторым «издателем» Коган называет другого шестиклассника, «впоследствии известного фельетониста „Одесских новостей“ под псевдонимом Альталена» – нельзя же было в советской газете попросту написать «Жаботинского»: его имя давным-давно стало в печати запретным.

Но Жаботинский в пятой гимназии не учился. Упоминание о некоем журнале в автобиографической «Повести моих дней» присутствует: «Печатал» я их (свои стихи. – *И. Л.)* в рукописном журнале, который издавали два молодых человека, ученики не моей школы…» Однако далее Владимир Евгеньевич пишет, что позднее, в шестом классе, и сам стал издавать газету… а шестой класс Жаботинского никак не мог быть позже седьмого класса Корнейчукова. Учитывая, что нелегальным изданием школьных газет и журналов в бурлящей вольнодумством Одессе занимались не одни только Жаботинский и Чуковский, а к моменту исключения Чуковского из пятой гимназии будущий сионист, похоже, уже оставил Ришельевскую, – речь может идти о совсем разных изданиях.

Наверняка полный самоуверенного юношеского свободомыслия журнал переполнил чашу терпения начальства – тем более что школьная журналистика прямо запрещалась гимназическим уставом. Или директор и впрямь получил приказание «изъять из гимназии полдюжины кухаркиных детей»,

как говорит в повести любимый учитель героя? Как бы то ни было, понятно, что положение можно было поправить только такими деньгами, каких у семьи не было. И то вряд ли: терпеть у себя вольнодумца, нарушителя дисциплины, да еще прачкина сына, гимназическое начальство не собиралось. Мать напрасно просидела шесть часов в приемной директора.

«Его изгнали… Бледный, кроткий, / Предстал он перед старой теткой / С ненужной книжкою в руках, / С мольбой в испуганных очах /… Сначала он хотел в монахи, / Потом в гусары, а потом / Назвал Евгенья подлецом, / Стал красные носить рубахи / И на челе изображать / Глубокомыслия печать».

Евгений Онегин молодого Чуковского – собирательный образ противного юноши из одесской мещанской среды. В «Серебряном гербе» ему, пожалуй, соответствует «Зюзя Козельский, подлиза и трус» (и в другом месте «плакса, попрошайка и трус»). И, может быть, Валька Тюнтин, «сонный, тупой и надменный». Именно Зюзин дневник с протертыми до дыр единицами, по совету Тюнтина закопанный на пустыре из боязни отцовского гнева (отец его страшно порол, что тоже отразилось в «Онегине»), стал хлипким поводом для отчисления героя «Серебряного герба» из гимназии «за малоуспешность в науках и вредное влияние на учащихся». Роль Чуковского Онегина в исключении Ленского (почему он «назвал Евгенья подлецом»?) из поэмы неясна.

Позорное изгнание из гимназии было настоящим горем – в повести об этом много сказано. Оно закрывало пути к образованию. Захлопнулась дверь в тот умный прекрасный мир, который Николай уже научился ценить и любить. На этом кончались мечты, зато открывались другие перспективы: стать «босявкой» и «шантрапой». Шантрапы в Одессе было много, к этому моменту у босяков уже вошло в моду сравнивать себя с героями Горького и этим обосновывать требование дать им денег. Такой судьбы для своего мальчика мама очень боялась, а основания предполагать худшее, к сожалению, были.

Юный Чуковский был созданием колючим и нескладным. Длинный, рукастый и сутулый, он горбился еще больше от застенчивости. За это его звали «гандрыбатым» – горбатым; он и на поздних фотографиях, и тем более на карикатурах, похож на букву «Г». Переходный возраст осложнил и прежде не особенно легкий характер. Гордый, самолюбивый, бесконечно страдающий от униженного положения мальчик терзался, должно быть, самыми Достоевскими муками. И в детстве он, если была возможность ответить обидчику, не спускал: налетал и лупил, мог бешено раскричаться – и в такие минуты был поистине страшен. Такие эпизоды есть в повести. Вот, например: «Неожиданно для

самого себя я набрасываюсь на Тюнтина, выхватываю его тяжеловесную трость, ломаю ее пополам и швыряю ему прямо в лицо. Ни раньше, ни потом я не мог бы совершить это чудо: трость была крепкая, словно стальная, и в обыкновенное время я не мог бы не только сломать ее, но даже согнуть». Эти приступы бешенства накатывали на него и в последующей жизни, и очень часто от него жестоко доставалось домашним. Даже горячо любимой маме, даже сестре Марусе, которую он, по собственному признанию, часто понапрасну изводил. В дневнике 1901 года описана совершенно невозможная сцена: «Только что побил свою больную маму. Сволочь я такая. Сильно побил. Она стала звать дворничиху. Стучала, рвала окно. Я держал ее, что есть силы… Черт возьми, какая я дрянь». В дальнейшем такого безобразия уже не было, но взрывной темперамент часто приводил к ссорам с близкими. Потом он извинялся, раскаивался, старался работать над собой; пожалуй, во второй половине жизни он и в самом деле научился быть мягче и спокойнее.

Просто Коля

«Меня выгнали из гимназии, я живу чем попало: то помогаю рыбакам чинить сети, наживлять переметы, то клею на перекрестках афиши о предстоящих гуляньях и фейерверках, то, обмотав мешковиной свои голые ноги, ползаю по крышам одесских домов, раскаленных безжалостным солнцем, и счищаю с этих крыш особым шпателем старую, заскорузлую краску, чтобы маляры могли покрасить их заново», – рассказывал Чуковский («Как я стал писателем»).

Это первая настоящая работа подростка. Его радует и возможность проводить дни наедине с солнцем и смотреть на город сверху, и удовольствие от сделанного большого дела, и заработанные рубли. Александра Бруштейн вспоминает, как Корней Иванович говорил: «Это очень интересно! И знаете, у меня был огромный талант маляра! Я хорошо красил, например, „под дуб“! А резиновым гребешком я выводил замечательные завитушки!»

Смущает юношу, что теперь он ходит чумазым работягой, а не гордым гимназистом в шинели и фуражке: «Чтобы не показать никому, что я чувствую себя отщепенцем, я нарочно напускал на себя гордое презрение к насмешливым взорам, которые бросали на меня окружающие. Это была пустая бравада, потому что в душе я испытывал боль» («Серебряный герб»). В это время у него родился план самостоятельно закончить образование, собственными силами одолев гимназические учебники. В повести

герою помогал Тимоша; помогал ли Чуковскому Житков – неизвестно, особенно если считать, что в пятнадцатилетнем возрасте они раззнакомились на несколько лет. В любом случае именно в это время Чуковский впервые по-настоящему проявил недюжинную волю, которую, казалось бы, тщетно воспитывал в нем Борис Житков. В шестнадцать лет заставить себя сидеть за скучными учебниками, систематически трудиться, одолевать непонятное, не имея при этом права учиться, без нужных книг, без преподавателей, без консультаций, поперек течения, против всей системы образования, которая выпихивает вон; в одиночку заделывать дыры и прорехи в своей подготовке, составлять для себя план и придерживаться его, при этом еще имея необходимость работать для прокорма, – мало кто был способен на это тогда и едва ли кто способен сейчас.

Возможно, тогда же или чуть позже свершилось и еще одно судьбоносное событие, с любовной иронией описанное в «Серебряном гербе»: Коля купил самоучитель английского языка профессора Оллендорфа (в повести – Мейендорфа); эта книга фигурирует в списке учебников в дневниках почти 19-летнего Корнейчукова, собирающегося сдавать гимназические экзамены экстерном. Самоучитель не учил произношению (или в нем попросту недоставало этих страниц), зато излагал грамматику и лексику, составляя слова в самые причудливые сочетания: «Есть ли у вас одноглазая тетка, которая покупает у пекаря канареек и буйволов?», «Любит ли двухлетний сын садовника внучку своей маленькой дочери?» «Я всю осень и зиму зубрил английские слова по самоучителю Оллендорфа, лелея обычную мечту тогдашних неудачников – убежать куда-нибудь в Австралию», – рассказывал Чуковский в 1962 году в оксфордской речи, принимая звание почетного доктора литературы.

Забавный метод оказал свое воздействие: накопился изрядный словарный запас, появились представления о грамматических правилах, и вскоре Николай уже смог читать и понимать прочитанное. «Словно о высшем блаженстве мечтал я о том сладостном миге…», «никогда не забуду того сумасшедшего счастья…» – казалось бы, эти выражения могут относиться разве что к первым восторгам любви. Но у Чуковского они относятся к способности легко понимать Диккенса и Шекспира, Вальтера Скотта и Эдгара По. К его главной страсти, пожизненной, пламенной и неизменной – к литературе. О том, что литература для Чуковского была почти религией, писалось и говорилось очень много. Но любил он не столько сами книги или даже писателей, сколько величие воплощенного в литературе человеческого духа; литература питала его веру в людей.

Скорей всего, успехами в изучении английского языка Чуковский обязан не методике веселого профессора Мейендорфа-Оллендорфа, а собственному упорству и большому лингвистическому таланту, умению самостоятельно анализировать новый материал, устанавливать связи, понимать закономерности. Своих и чужих детей Корней Иванович учил впоследствии тем же методом: задавал им списки самых странных слов, а затем дома и на прогулках беспрестанно заставлял переводить с русского на английский и с английского на русский: «Сухопарая экономка знаменитого лысого путешественника, заболев скарлатиной, съела яичницу, изжаренную ею для своего кудрявого племянника. Вскочив на гнедого скакуна, долгожданный гость, подгоняя лошадь кочергой, помчался в конюшню». Это задание для дочери Лидии, тогда школьницы. Такие же фразы он предлагал для перевода и переделкинским детям, с которыми иногда занимался английским. Не всякий дипломированный переводчик справится с подобной задачей сразу и без запинки. Дети языком овладели, но знали его хуже, чем отец: не было того азарта, напора, да, пожалуй, и той редкостной филологической одаренности. Им не очень-то хотелось зубрить слова, предложенные отцом.

«В молодости он был горяч и несдержан, – писала Лидия Корнеевна, – и из-за плохо выученных слов случалось ему и по столу кулаком стукнуть, и выгнать из комнаты вон или даже – высшая мера наказания! – запереть виновного в чулан. Тут уже не пахло игрой. Тут было искреннее отвращение.

– Убирайся! – кричал он мне, когда я отвечала с запинкою, не сразу. – Только б лентяйничать и в постели валяться! Я сегодня с пяти утра за столом!»

В труде он умел видеть смысл, наслаждение, поэзию; во всяком человеке ценил именно его «усилие быть человеком», как сформулировал Ницше. Сам Чуковский всю жизнь «не позволял душе лениться». «Он все, что знал, узнавал из книг, – вспоминает Лидия Корнеевна. – и притом сам, без учителей и наставников, постоянным напряжением ума и воли; он сам переступил порог, может быть, один из труднейших на свете: шагнул из мещанства в интеллигенцию. Всю жизнь им владело смирение и гордость самоучки: преувеличенное смирение перед людьми более образованными, чем он, и смиренная гордость за собственные, добытые вопреки помехам, познания».

Однако при всей своей огромной тяге к знанию, слову, созидательному труду не избежал он и типичных для всякого подростка соблазнов. С тоской и сокрушением описывает он в «Серебряном гербе» «самую постыдную полосу своей жизни» –

время, когда он стал лентяйничать вместо того, чтобы заниматься по программе седьмого класса. Ходил на циклодром смотреть гонщиков, в гавань любоваться кораблями, «либо на пожар, либо на бой петухов, либо просто гонять голубей».

«Шестнадцати лет я ушел из дома, – рассказывал Корней Иванович Ольге Грудцовой. – Снял комнату, поселился один. Голодал. Если я знал, что сегодня удастся съесть початок кукурузы да еще обмакнутый в масло, – я был счастлив».

Что это было? Не то возрастной кризис, не то метафизический бунт в поисках себя, не то просто сила инерции и лени, а скорее все сразу: и острое переживание несправедливости, и детская безответственность, и обида на мир, и обычное подростковое желание делать еще хуже назло себе и другим. «Разгильдяйство мое продолжалось месяца три, даже больше, и за это время я раз навсегда всем своим сердцем увидел, какая смертельная скука с утра до вечера искать развлечений; я увидел, что быть шалопаем – это мучительный труд, что безделье не только позор, но и боль». Это говорит герой «Серебряного герба»; как все было на самом деле, всякий волен догадываться сам.

Внутренние терзания Коля прикрывал противной подростковой бравадой: большой мальчик ругался как биндюжник, наговорил маме «омерзительных грубостей» (возможно, вымещал на ней обиды за свою незаконнорожденность), ушел из дому, бродяжничал, спал на холодном песке у моря и лишь изредка, совсем оголодав, приходил обедать к Маланке. А мама, которую сын категорически не желал больше видеть, снабжала Маланку едой для него. Должно быть, такой опыт – опыт тоски, неприкаянности и отвращения к себе – тоже важен для становления личности. Наконец, согласно повести, блудный сын вернулся домой и радостно возобновил свои занятия – запоем читал и продолжал одолевать программу гимназии.

Трудно провести здесь границу между героем «Герба» и молодым Чуковским – его-то в период разброда и шатаний вряд ли так уж сильно занимали петушиные бои и гонщики на циклодроме. Его увлекали поэзия, философия, подростковые метания: я царь, я раб, я червь, я Бог, я тварь дрожащая или право имею. «Друзья моей матери жалеют меня, считают меня безнадежно погибшим. Они не знают, что тайно от всех сам я считаю себя великим философом, ибо, проглотив десятка два разнокалиберных книг – Шопенгауэра, Михайловского, Достоевского, Ницше, Дарвина, – я сочинил из этой мешанины какую-то несуразную теорию о самоцели в природе и считаю себя

чуть ли не выше всех Кантов и Спиноз. Каждую свободную минуту я бегу в библиотеку, читаю запоем без всякого разбора и порядка – и Куно Фишера, и Лескова, и Чехова», – рассказывает Чуковский в статье «Как я стал писателем».

Юношеские дневники К. И. переполнены конспектами трудов по философии, экономике, эстетике: Маркс, Бельтов (Плеханов), Шестов, Пешехонов, Рескин; пересказы, комментарии, собственные мысли по поводу. «Разрушение общины тоже двухсторонний процесс». «Критикуя с точки зрения материализма борьбу идей современного общества, мы должны признать прогрессивной ту систему, которая представляет экономическую структуру ведущей к росту матерьяльных богатств». «Попадая в обращение, товары первым делом выставляют свою субстанцию». «Признаки нефтепроизводящего кризиса». «Узнай, что любит человек, и ты узнаешь его всего, целиком. Отсюда Рескин выводит, что наука вкуса – эстетика важнейшая, в своем роде единственная наука. Мне кажется, выдвигаемое им мерило наук глубоко неверно». «Отмечу еще то, что причиной философии Ницше выставляется исключительно его недуг. Про социальные причины ни гугу. Вы – свиньи, вы не были так больны, как Ницше, вы не выдержали бы и дня его страданий – как же вы смеете претендовать на понимание его!» «У Толстого проповедь довлеет себе. Его завлекает поэзия проповеди». «Кант порицал эвдемонистов за то, что они сводят долг на склонность». Таких конспектов и комментариев – много-много страниц.

Мальчик стал уже совсем большим и усатым. В своих и чужих воспоминаниях он всегда обтрепанный, часто голодный, плохо одетый. Периодически падает в обморок, скорее всего от недоедания; эти внезапные обмороки есть в его дневниках и прозе повсюду, от раннего детства до голодной зимы в послереволюционном Петрограде. Александра Бруштейн приводит по рассказу Чуковского его ежедневное меню тех времен: на копейку пшенной каши, еще на четыре – квас и хлеб.

Он всегда и всюду читает – в парке на скамейке, на улице, стоя под фонарем. Он настолько переполнен мыслями и стихами, что, как пишет Мирон Петровский, «чуть было не угодил в городские сумасшедшие из-за стихов, которые непрерывно бормотал, шагая по улице. Порой настолько забывался, что начинал громко декламировать онегинские строфы или монолог Ричарда, к неслыханному восторгу жадных до зрелищ одесситов». Матрос в порту дал ему книгу Уитмена – и Николай увидел, что понимает эту странную, ни на что не похожую, нерифмованную поэзию, и впервые стал переводить – и потом переводил его всю жизнь и всю жизнь писал о нем.

Он открыл для себя Чехова – «чеховские книги казались единственной правдой обо всем, что творилось вокруг». Чехов надолго – навсегда – стал для него мерилом человеческой правоты и душевной прямизны, постоянной темой. Уже в старости, сожалея о поспешном решении отдать статью о Чехове не тому журналу, которому она была обещана, он говорил, что поступил «не по-чеховски».

Молодость далеко не всегда так прекрасна, как ее малюют, Чуковский свою называл «мутной и раздребежженной». Он был уже взрослый, *мыслящий индивид,* уже читал необходимых такому индивиду Спенсера и Бокля, одолел Писарева, проникся передовыми идеями, стал размышлять – как и все прогрессивное юношество – о прогрессе, о путях развития России, об идеале, морали и конце века (век и впрямь подходил к концу)… и между тем оставался бастардом, незаконнорожденным, изгнанным из гимназии, лишенным социального положения. Теперь он зарабатывал уже не очисткой крыш и расклейкой афиш, а более умственными занятиями: давал уроки. Нынче это называют репетиторством. Будущего репетитора непременно спрашивали: кто ваш отец, как вас по отчеству… И мыслящий индивид готов был провалиться сквозь землю, и мямлил, и паясничал – «зовите меня просто Колей», и ненавидел своих мучителей и себя.

«Нынешний Евгений Онегин» с того и начинается, как «юноша убогий», названный Худым, читает в пивной Брунса газету: «его внимание манит одна четвертая страница», на которой давали объявления. «Две пары сухопарых строк – ему сулят урок, урок!..»

Дальше начинается мучительство: разговор с родителем потенциального ученика. В поэме с ненавистью изображаются кабинет с портретом Иоанна Кронштадского, мухи над блюдечком с ядом, лысый важный хозяин. «Худой (такое имя было / У юноши) стоит пред ним / И чует сердцем молодым, / Что небо злое не сулило / С достойной прибылью продать / Свои познанья в букве ять /…И начал тощими ногами / Он версты мерить каждый день, / И проверять его часами / Патрону щедрому не лень».

В «Серебряном гербе» хождение по урокам описано веселее: «Я должен был заниматься латынью с двумя шустрыми и неглупыми мальчиками. Их отец был молдаванин, капельдинер городского театра… Мало того, что он платил мне огромные деньги – двенадцать рублей ежемесячно, – он пускал меня бесплатно на галерку театра». Знаменитого, великолепного и чуть не самого большого в Европе одесского оперного театра, где пели

лучшие певцы и шла мировая классика.

Вот вложенное в дневник письмо 1898 или 1899 года: «Утром даю уроки, объясняю, что мужеский род имеет преимущество пред женским и что Бог есть дух, но (!) в 3-х лицах, смотрю на толстые ноги моей ученицы и удивляюсь, как это при таких толстых ногах можно изучать придаточные предложения… Потом завтракаю – почтительно выслушиваю от мамаши, что хорошим человеком быть хорошо, а дурным – дурно, что она меня даром кормит, и что завтра же пойдет она к директору…» И дальше: «Дал урок Вельчеву, пошел к Косенко…» К Вельчеву он ходил на уроки к шести утра – и по дороге смотрел на окна возлюбленной, удивляясь, кто же там так рано не спит.

Герой «Серебряного герба» учителем оказался несолидным: «Уже на втором или третьем уроке я вступал со своими питомцами в длинные разговоры о посторонних вещах – о том, как ловить тарантулов, как делать камышовые стрелы, как играть в пиратов и разбойников, а также о подвигах Уточкина, о „Копях царя Соломона“, о приключениях Шерлока Холмса». Очень может быть, что человек, который и в восемьдесят лет способен был увлеченно играть с детьми в пиратов и разбойников, в восемнадцать проделывал все то же с не меньшей прытью… «Сколько я ни пыжился, мне никак не удавалось напускать на себя солидность и строгость. Не помогали ни длинные волосы, ни толстая суковатая палка, которой во время ходьбы я внушительно стучал по камням тротуара…»

Одним из последних учеников Коли Корнейчукова стал Володя Швейцер, будущий сценарист знаменитых советских фильмов: «Праздника святого Йоргена», «Бесприданницы», «Василисы Прекрасной», «Кощея Бессмертного». Швейцер описывает в воспоминаниях свою соседку, девушку со смелыми, живыми глазами – будущую жену учителя, и «полную женщину с добрым лицом – мать учителя», самого учителя – «длинноногого, длиннорукого юношу в гимназической куртке, рукава которой, казалось, были ему коротки», его «полные румяные губы, а над ними увесистый любопытный нос, смеющиеся светлые глаза и над ними низко остриженные черные, еще мокрые от мытья волосы». И его удивительную, ни на что не похожую речь: «это был особенный, со своим внутренним ритмом, певучий и бравурный речитатив». Разумеется, первым делом новый учитель спросил, что читает ученик, а вторым – умеет ли тот играть в лапту и жмурки. Это первый портрет взрослого Чуковского – во всех позднейших мемуарах и на всех позднейших портретах он так же широко шагает, импровизирует на ходу, у него такие же румяные губы и большой нос, разве что черный чуб делается все белее и

белее.

Самоценный идеал

Кончается девятнадцатый век, и начинается двадцатый. Кончается Коля Корнейчуков, начинается Корней Чуковский.

В «Серебряном гербе» герой констатирует: они с сестрой стали зарабатывать репетиторством, и «мама наконец-то получила возможность отказаться от черной работы и принялась за свое любимое дело: вышивание украинских рушников и рубах». В чужих воспоминаниях, относящихся к 1900–1901 годам, он по-прежнему плохо одет: «Утверждали (правда, с улыбкой), что у него не было брюк (просидел)! Только две штанины! Они были пришиты к старенькому пальто и снимались только вместе с ним», – писал эстрадный артист и режиссер Алексей Алексеев.

Одноклассники уже ходили в студентах, а он все никак не мог сдать экзамены экстерном за курс гимназии. В дневнике за 1901 год есть запись: «М. б. мне надо кончать гимназию» – почти сразу за размышлениями о женитьбе: он был давно и серьезно влюблен в «девушку со смелыми, живыми глазами» – Марию Гольдфельд. В марте 1901 года он говорит всем, что едет в Аккерман держать экзамен. На самом деле – похоже, он собирается убежать, причем вместе с любимой. «Уедем, Коля, отсюда», сказала она ему. Он собирается поселить ее у сестры своего товарища, составляет список гимназических учебников – взять с собой – и узнает у какого-то Вольдемара, где жить и можно ли достать уроки в Екатеринославе. В качестве возможных пунктов назначения в эти дни в дневнике перечисляются самые разные города – вплоть до Батума, Баку и Тифлиса.

Герой «Гимназии» говорит, что, увидев «оскорбительный и злой» аттестат сестры – «дочь девицы такой-то», – вообще расхотел учиться. «И я выбрал себе другую дорогу». Во втором издании автор уточняет – стал писателем. Герой «Серебряного герба» два года подряд проваливался на экзаменах – а верней, его «самым бессовестным образом проваливала нарочно» экзаменационная комиссия по той же причине неподходящего социального положения. И только на третий год он смог сдать экзамены при Ришельевской гимназии, где с недавних пор стали преподавать любимые учителя из пятой гимназии, и получил аттестат «с очень неплохими отметками». «И было даже как-то обидно, что дело, которое доставило мне столько страданий, обошлось так просто и легко», – пишет Чуковский в повести, и, возможно, так и было. Тогда, если считать, что Колю Корнейчукова выгнали из седьмого класса в конце 1898 года, то

примерно в 1901 году он и должен был получить заветный аттестат.

Дневниковая запись за 3 марта 1901 года гласит: «Был у меня сегодня Кира. Я рассказывал ему свои гимназические похождения». 6-го марта: «Мамочка, – прости меня. Разве я имею право иметь какие-то там настроения, писать пустые дневники, любить, терять аппетит – не оправдав твоих надежд, не сделав ни шагу к тому, чтобы оправдать их. „Ах, на что мне судьба буржуазии, если я не окончил гимназии“ – вот моя пословица». После этого – какой-то загадочный отъезд, и потом даже слово «гимназия» пропадает из дневника. Так или иначе, вопрос решился; экзамены за гимназический курс были сданы в другой гимназии или даже в другом городе.

В дневнике 18-летнего Чуковского неплохие рисунки (портрет Белинского, голова протодьякона) соседствуют с рассуждениями о потребительской стоимости товара, наброски сочинения «Разбор баллады Толстого „Василий Шибанов“» для гимназистки 8-го класса – с мыслями о самоценном идеале, впечатления о прочитанном (Бурже, Пушкин, Успенский, письма Тургенева Флоберу, дневники Толстого, Белинский) – со строчками о любви, «вечном присутствии Маши в душе». Впрочем, присутствует там и некая Ф., Федора, Феодора, но чаще о ней говорится пренебрежительно. С Машей все иначе – и труднее. «Стыжусь неталантливой небрежности, этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего, – стыжусь перед нею, перед Машей. Дневника этого я ей не покажу ни за что». «Маша! Как бы нам устроить так, чтобы то, от чего мы так бежим, не споймало нас и там? Я боюсь ничтожных разговоров, боюсь идиллии чайного стола, боюсь подневольной, регламентированной жизни».

В дневник торопливо заносятся горячие и трогательные планы, как устроить семейную жизнь без обыденности и скуки, чтобы не пропала «таинственность (я готов сказать: поэтичность) отношений, без которой(ых) такие люди, как мы с Машей, не можем ничего создать, не можем ни любить, ни ненавидеть…» Планы такие: путешествовать, жить отдельно, не устраивать обедов и вообще – «долой эти кофейники, эти чашки, полочки, карточки, рамочки, амурчики на стеночках!» Юношество конца девятнадцатого века стремилось уничтожать быт, мешающий духу; сознательные молодые пары даже планировали не вести никакого совместного хозяйства, чтобы не потерять духовной близости. А уже в начале двадцатого века Чуковский стал с тоской писать о безбытности русского городского жителя, об отсутствии у него корней, о той пошлости, которая произрастает

на опустевшем святом месте… Под бытом он понимает уже не кофейники и карточки, а принадлежность к национальной, культурной, языковой, духовной традиции, преемственность поколений.

Но пока Николай только размышляет, как сохранить духовное единство с Машей. Приходит к выводу, что следует вместе изучать что-нибудь новое для обоих: «Политическую экономию мы с ней проштудируем так, что только держись». Весь март они планируют бегство – встречаются, вместе читают, расходятся, ссорятся, он ищет денег, а денег нет, ехать без денег было бы дико…. Просит друзей подыскать ему квартиру, уроки, чтобы чем-то жить… Побег назначен на двадцатые числа марта – вместо этого в дневнике появляются отрывистые отчаянные записи: «вчера совершил безумное дело», «ну да этого я записывать не буду, да и незачем». 27 марта он в Николаеве – без Маши. Пишет о тоске и одиночестве. К Пасхе, к началу апреля, возвращается—и опять проводит время с ней. В середине апреля снова куда-то уезжает.

Весенняя, благоухающая и благосклонная ко всем влюбленным Одесса тоже есть в его «Онегине»: «И упоительно и страстно / Вокруг акация цветет, /Ив кущах парка пешеход / Взыскует отдыха напрасно, / Зане там юные четы / Прилежно страстью заняты». И вот еще: «О, мы любили, мы умели / Блуждать по городу без цели, – / Когда покорливый закат / Какой-то тайною объят; / Когда все женщины красивы; / Когда какой-то тихий грех / Витает на челе у всех».

Правда, в последней строфе по городу бродят приятели. Но он действительно любил и умел блуждать по городу без цели, говорить своим напевным речитативом, заговаривать, завораживать… Даже с учеником Швейцером уроки перешли в прогулки: учитель шел и говорил, ученик едва успевал догонять и понимать. «И что только не занимало ум молодого Чуковского в далекие те дни! Были тут мысли о литературе и живописи, парадоксы о спиритизме и философии, афоризмы о толстовстве и политической экономии… И стихи, очень много стихов собственного сочинения, и чужие, среди последних – часто Шевченко на украинском языке… Пахло на улицах морем и зноем, Чуковский шагал длинными своими шагами, я едва поспевал за ним, увлеченный звучной его речью. Это была острая и озорная, серьезная и ироническая импровизация. Это был своего рода театр – и я понял это позднее, – театр, где играл, резвился, набирал силы оригинальный интеллект».

Маша, дочь бухгалтера частной конторы Арона-Берга

Рувимовича Гольдфельда, жила на той же Ново-Рыбной, через два дома от того, где провел детство Николай. В семье было восемь детей – три мальчика и пять девочек. Старший брат Марии Александр некоторое время учился в одном классе с Троцким, указывает Наталья Панасенко.

Дом Тарнопольского, где проживало семейство, виделся тогда Коле Корнейчукову великолепным – а в приезд 1936 года показался «чрезвычайно невзрачным». «Мы здесь бушевали когда-то любовью», – грустно записывал Чуковский. Девушка была веселая и решительная; Коля замечал в ней и чрезвычайно ценил некое «босячество» – готовность идти куда глаза глядят, совершать отчаянные поступки, не обращая внимания на одобрение или неодобрение общества. Он находил в ней поэтичность, искренность, душевное здоровье, он страшно боялся, что совместная жизнь не объединит, а разъединит их: «Вот мы сидим в сырой лачужке. Говорить нам нечего. Все выговорено, мы выдохлись и на самом деле интересны друг другу, как вот этот стол…» Однако на самом-то деле наговориться они все никак не могли. В одной дневниковой записи сказано, что пара проводила вместе не меньше 3 часов в день, а чаще – по 10. Читали, разговаривали, спорили, ходили в гости, сидели в библиотеке, гуляли по улицам.

Уклад многодетной еврейской семьи Гольдфельдов устрашал и злил непрошеного жениха: «Парадная лампа (с красным колпаком), которую зажигают только при гостях… Дряхлое пианино, изрыгающее целый день из своего нутра бесконечные гаммы, от которых начинают ныть зубы, а вечером улыбающееся гостям старческой, беззубой улыбкой, насвистывая пестрые польки и вальсы; клочки изодранных обоев, совершенно незаметные вечером при мягком полусвете лампы с красным абажуром – хорошо быть гостем в этом неискреннем доме! И я очень рад, что я – гость, и больше ничего. Но каково ей, бедной Марусе!»

Семейство наверняка не желало выдавать дочь за такого кандидата: иного вероисповедания, без профессии, без образования, без денег, байстрюк, босявка… Но Маша предпочитала его всем остальным – в дневнике Чуковского есть даже запись, что некий поручик застрелился, когда она его отвергла. Николай и Маша лелеяли мысль о бегстве, о настоящей жизни – с легкой руки Чехова и других властителей дум вся прогрессивная молодежь считала свою жизнь ненастоящей и собиралась однажды начать иную – деятельную и разумную.

И они убегали на улицу, сидели на скамейках, слонялись по паркам и улицам Одессы. «Вот она в бархатной кофточке, и я

помню даже запах этой кофточки (и влюблен в него), вот наши свидания за вокзалом у Куликова поля, когда она сказала „Милостивый государь“ и т. д., вот она на Ланжероне, мы идем с ней на рассвете домой, вот ее отец за французской газетой – „L’Aurore“, – вот мы на Коломенской…» – это он пишет в 1955 году, тоскуя, только что ее похоронив. «Моя искренняя, любимая девчурка», – запись в декабре 1901-го. В Рождество под 1902 год они уходят из гостей и плачут вместе на лестнице – «хорошо, хорошо».

Январь 1902-го. Они сидят в сумерках на полянке перед парком, разговаривают, – лето прошло, осень, прошел год, другой – они все здесь, на этой скамейке, на ветру… Они любят друг друга уже четыре года, у них по-прежнему ничего нет, он ничего ей не может предложить, он в ужасе записывает, как она пожелтела, исхудала, стала маленькая и жалкая, а надежд на будущее никаких… Она говорит: вон в том белом домике живет Ферапонт Ильич, чиновник почтовый… Она спрашивает: скажи, Коля, ты меня любишь? Скажи!

Он внезапно взрывается – кто виноват, что все так плохо? «Маленькая, ничтожная, растрепанная, в нелепой, безобразной позе – зачем она такая?» «И бешеная злоба закипает во мне. Эта шляпка, этот Ферапонт Ильич, эта изогнутая, жалкая фигурка – о! как я ненавижу все это! Ветер надоедливо и беспрестанно дует мне в спину, с каким удовольствием я измял бы это, изодрал, истоптал!»

А потом почти без перехода – заметки о Щеглове, о Ницше… Спустя день – опять все хорошо: сижу в библиотеке, М. Б. сидит рядом… Они то ссорятся, то мирятся, ходят друг к другу, слушают доклады в литературном кружке, бесконечно много читают – от Шестова до Неведомского, от Маркса до Михайловского. И никак не могут придумать, что делать.

Коля запоем читал – от классиков до нелегальной литературы, часто уходил в море на лодке, готовился к экзаменам сам, готовил своих учеников, начал писать своего «Евгения Онегина», пытаясь создать свою энциклопедию одесской жизни.

Один из одесских адресов юного Чуковского – дом Баршмана в Канатном переулке, «где внизу была конфетная фабрика и работницы грязными руками 12 часов заворачивали карамельки в бумажки». «Дом Баршмана! Я заплакал бы, если бы увидел его… Там прочел я Бокля, Дарвина, Маркса, Михайловского, там я писал первые стихи, там вообще наметился пунктиром я нынешний. Стихи я читал (Пушкина, Некрасова) со слезами – и думал, думал, выдумал свою философию – самоцели или

самодовления – и писал об этой философии целые тетради… Помню жаркое ощущение, что *я один* знаю истину о мире – что я должен открыть эту истину людям, погрязшим в заблуждениях, – и сознание своего бессилия из-за необразованности, незнания физики, психологии, вообще слабый научный багаж – о! как тяжко мне было фельетонничать!» – вспоминал он в 1936 году.

Судьбу книги о самоцельном идеале он воскрешает в статье «Как я стал писателем»: «Моей философией заинтересовался один из моих школьных товарищей, он был так добр, что пришел ко мне на чердак, и я ему первому прочитал несколько глав из этой своей сумасшедшей книги… Он слушал, слушал и, когда я окончил, сказал: „А знаешь ли ты, что вот эту главу можно было бы напечатать в газете?“ Это там, где я говорил об искусстве. Он взял ее и отнес в редакцию газеты „Одесские новости“, и, к моему восхищению, к моей величайшей радости и гордости, эта статья появилась там…» Товарищем (школьным – это не совсем точно) был все тот же неназываемый Жаботинский, который уже работал в «Одесских новостях».

В переписке с Рахелью Марголиной история изложена подробнее: «Я был в то время очень сумбурным подростком: прочтя Михайловского, Спенсера, Шопенгауэра, Плеханова, Энгельса, Ницше, я создал свою собственную „философскую систему“ – совершенно безумную, – которую и проповедовал всем, кто хотел меня слушать. Но никто не хотел меня слушать, кроме пьяного дворника Савелия, у которого я жил, и одной девушки, на которой я впоследствии женился. Свою „философию“ я излагал на обороте старых афиш, другой бумаги у меня не было. И вдруг я встретил *его.* Он выслушал мои философские бредни и повел меня к Израилю Моисеевичу Хейфецу, редактору «Одесских новостей», и убедил его напечатать отрывок из моей нескончаемой рукописи… <Я> стал из оборванца – писателем. Это совершенно перевернуло мою жизнь».

Александра Бруштейн замечает: «Автор, вызванный в редакцию, явился туда, прикрывая большой книгой наиболее зияющую рану на своих штанах». В редакции удивились, что он много читал, знает английский… 27 ноября 1901 года Чуковский записывает в дневнике: «В „Новостях“ напечатан мой большой фельетон „К вечно-юному вопросу“. Подпись: Корней Чуковский. Редакция в примечании назвала меня „молодым журналистом, мнение которого парадоксально, но очень интересно“. Радости не испытываю ни малейшей. Душа опустела. Ни строчки выжать не могу». На следующий день запись уже такая: «Угощал Розу, Машу и Альталену чаем в кондитерской Никулина. Altalena устроил мне дело с фельетоном… В конце сентября я принес ему рукопись –

без начала и без конца, спросил, годится ли. Он на другой день дал утвердительный ответ. Я доставил начало и конец – он сдал в редакцию и там, провалявшись около месяца, статья появилась в свет».

Так в литературе появился Корней Чуковский. В 20-х годах, уговаривая Лидию Гинзбург взять псевдоним (по причине многочисленности Гинзбургов в литературном деле), он в пример приводил себя: «Вот я, например, Корнейчук. Я понял, что фамилия эта мужицкая, хохлацкая, и сделал себе Чуковского». Гинзбург отказалась: «В еврейских псевдонимах всегда дурной привкус, что-то от фальшивого вида на жительство».

Идею книги о самоценном идеале Чуковский не оставлял еще много лет, и в том или ином виде мысли, впервые сформулированные в дебютной статье, рассеяны по разным его критическим работам. Он долго сожалел, что жизнь сложилась иначе, что он не смог написать философский труд, о котором так долго мечтал, что стал «фельетонистом по пятачку за строчку», что пришлось кормить большую семью и разменяться на мелочи, тоскуя по большому, серьезному труду.

Позднее об этой работе Чуковский вспоминал как о юном бреде, написанном полудетским почерком, отмахивался – «плохо помню эту статью», «где-то у меня хранится», – во что трудно поверить при его-то памяти. Трудно любить свои юношеские писания, трудно любить и себя девятнадцатилетнего. И так нормально в этом возрасте, разочаровавшись во всем человеческом опыте, пытаться создать единую философскую систему, которая даст все ответы на все вопросы. В том числе и главные вопросы времени, конечно. Тогда в литературе главным был вопрос о цели искусства, и молодой Чуковский уже слышал все, что имели об этом сказать отечественные критики-позитивисты, которые неустанно в течение полувека твердили об общественной пользе. Уже появились символисты, и Брюсов уже призвал закрыть бледные ноги, и Уайльд с великолепным презрением уронил свое «All art is quite useless» – «Всякое искусство совершенно бесполезно»».

Конечно, в девятнадцать лет велик соблазн быстро и просто положить конец затянувшемуся спору. Но все же «эпохальный труд» Чуковского был прежде всего попыткой построить свой собственный философский фундамент, нащупать свое «на том стою и не могу иначе», ответить на вопросы, ставимые прежде всего перед собой. В чем смысл человеческой жизни вообще? Чем я должен заниматься и есть ли в этом высший смысл? Ну и так далее.

Чуковед Евгения Иванова не без иронии напоминает, говоря о

желании юного Чуковского открыть миру свет истины и создать всеобъемлющее учение: «Одним десятилетием раньше молодой Василий Розанов, издавая свою книгу „О понимании“ и обдумывая ее продолжение – теорию потенциальности, мечтал, что созданная им философская система обнимет собой „ангелов и торговлю“. А утраченный философский трактат малоизвестного поэта-символиста Александра Добролюбова (ну, „малоизвестный“ – это все-таки несправедливо. *– И. Л.)* носил название «Опровержение Шопенгауэра и всех философов»».

Статью «К вечно-юному вопросу» читать не легче, чем народническую критику, – какое-то «Русское богатство», тяжелозвонкое скаканье, обращения к читателю а-ля Чернышевский… «Как и деньги, искусство не может быть естественной потребностью нашей, и, имея основанием другие потребности, оно идет в услужение тем, из которых оно построено, – так что говорить про искусство, как про вещь, отвечающую высшим потребностям нашим, – это значит считать потребности эти висящими в воздухе, без всякого отношения к земным, материальным, „основным“ нуждам человека, нуждам *sine qua non*».[1] Уф.

А объясняет он в этой статье (громоздко объясняет, многословно) одну простую мысль, которую много раз еще потом будет объяснять непонятливому российскому обществу, где одни кричат «искусство должно служить народу», а другие – «искусство ради искусства!», одни – «форма!», другие – «содержание!», и никак нельзя примирить эти крайности. Саша Черный еще не предложил своего компромисса: «Ведь можно наливать… *вино в хрусталь».* Но шаг в этом направлении сделал и молодой Чуковский. Мысль его заключается в том, что искусство будет служить народу (или обществу, или чему оно там еще должно служить) только тогда, когда оно искусство. Тогда, когда оно делается для себя, – как песня сама поется, как дама наряжается из любви наряжаться, а не чтобы привлечь кавалера. На средство надо смотреть как на цель, и только тогда цель будет достигнута. Абсолютное добро, истина, красота, справедливость и прочее искусство ради искусства – все это «полезные, нужные ошибки», ибо служат благу общества, потому что то, что «вчера считалось вредным и бесполезным, – становится сегодня необходимейшей и полезнейшей вещью», то есть ведет к общественному прогрессу.

Эти мысли он развивал и дальше, поскольку в кипящую эпоху первой русской революции вопрос об искусстве ради искусства обострился до классовой ненависти, и Чуковский со своей умеренной и взвешенной, а потому максимально уязвимой точкой зрения оказался под огнем и тех, и других. И всю жизнь он

отвечал отказом тем, кто пытался навязать искусству исключительно социальные задачи, и ядовитой отповедью – тем, кто видел в художественном произведении исключительно «сумму приемов». А писать про общественную полезность и силы, движущие обществом, со временем перестал. Социальным философом он оказался не слишком могучим, а вот силы обществом начали двигать нешуточные. Впрочем, трудно предположить, что в литературу Чуковский просто сбежал – сначала из социальной философии, потом из политической журналистики. Просто он очень любил литературу и свое служение обществу представлял себе главным образом в рамках служения литературе, вполне в согласии со своей ранней теорией самоцельности искусства.

Надо ставить себе непрагматические цели – и тогда достигнешь выдающихся прагматических результатов, доказывал он. Забота о «презренной пользе» никогда еще не приводила к выдающимся достижениям. И в глубокой старости Чуковский повторял молодым гостям одну и ту же мысль, которую записал стихами Валентин Берестов: «Пишите бескорыстно, за это больше платят». В сущности, его теория непрагматизма (или «бесполезности», «бесцельности») оказалась совершенно справедливой – и не вспоминал он о ней вслух только потому, что уж очень немарксистской она была по самой своей природе: ценность имеет только то, что уводит как можно дальше от нужд низкой жизни. Он развивал эту мысль уже в десятые годы, контрабандой протаскивал и позже – и всю жизнь не выносил разговоров о практической пользе, о деньгах, о выгодном трудоустройстве… Заметим кстати, что та же самая теория самоцельности отчетливо проступает, например, сквозь размышления Камю об абсурдности бытия: преодоление само по себе бессмысленно, конец один, можно находить смысл жизни только в величии своего обреченного подвига. В XX веке, когда все цели скомпрометировали себя, постановка «самоцельности» во главу угла была единственным возможным выходом – и делает честь интуиции молодого Чуковского, чья философская книга, будь она написана, имела бы успех не меньше розановской. И сборники тех самых фельетонов, которые он ненавидел, проводят эту мысль с редким постоянством – поэтому все, что надо, он написал.

«А я читал опять…»

Газета заплатила Чуковскому огромный гонорар – целых семь рублей, и он, наконец, купил себе на толкучке штаны.

Мама была счастлива. «Словно выйдя на волю, после многолетнего заключения в тюрьме, она стала разговорчива, общительна, страшно любопытна ко всему окружающему… Она как будто впервые заметила свою красоту, впервые за многие годы купила себе новую шляпку, а на зиму сшила у портнихи „ротонду“ – новое пальто без рукавов», – это все случилось в «Серебряном гербе», еще когда герой получил аттестат. Теперь мама получила право радоваться еще больше и всем знакомым рассказывать: «Сын у меня, знаете, писатель».

Но писателем сын сделался далеко не сразу. Он приносил статьи в «Одесские новости», и они там валялись, как это и до сих пор водится в российских газетах и журналах, пока не подвернется случай, свободная полоса, дыра в номере, чтобы опубликовать залежавшийся материал молодого автора. Или пока у главного редактора не дойдут руки. Руки доходили долго: Чуковский долго еще ходил во внештатниках, таская небольшие заметочки, чаще о спектаклях или художественных выставках, и тщательно выбирая время, чтобы – чаще всего безуспешно, – поинтересоваться их судьбой. Об этом в дневнике есть забавные и горестные строки: «Хейфец был занят, статьи моей не прочел, и она сегодня не пошла. Я встретил Хейфеца на улице. Раскланялся – и, памятуя совет Альталены, – даже не заикнулся о статье. Так – лучше». Со временем Чуковский стал публиковаться больше и, наконец, стал профессиональным газетчиком. Изредка выступал с большими, «программными» статьями. Но в основном работа была мелкая, будничная. Чего он только не писал – святочные рассказы, рецензии, мелкие заметки, какие порой даже не подписываются и не имеют ровно никакого отношения к личности пишущего. Это нормальная безумная газетная работа, одинаковая во все времена, – тогда его еще не начало тошнить от мелкой поденщины.

Денег журналистика поначалу больших не приносила, и он по-прежнему учительствовал (три рубля в месяц с ученика), писал сочинения на любые темы (три рубля штука) и чего только еще не писал ради лишнего полтинника. А когда он стал зарабатывать по 25–30 рублей в месяц, – искренне счел себя настоящим богачом: и впрямь, рабочие в тогдашней России зарабатывали вдвое меньше. Жизнь вроде бы наладилась. И все-таки много позже, в 1925 году, на разграбленной куоккальской даче, перечитав чудом сохранившиеся письма этого времени, Чуковский разорвал их с ненавистью: «мучительно читать те письма, которые относятся к одесскому периоду до моей поездки в Лондон», «порвал все письма – уничтожил бы с радостью и само время».

Крупных газет в Одессе было три: «Одесские новости», «Одесский листок», знаменитый фельетонами Дорошевича, и менее знаменитое «Южное обозрение», где Корней Иванович тоже немножко печатался. Дорошевич уже уехал к этому времени в Петербург, а затем фактически возглавил выходящее в Москве «Русское слово». Звезда «Листка» закатилась. А «Одесским новостям» предстояло сыграть «большую, почти выдающуюся роль в истории русской провинциальной печати», как выразился более молодой сотрудник газеты, автор известных мемуаров Дон-Аминадо (Аминад Шполянский). Главным редактором «Одесских новостей» к началу двадцатого века стал Израиль Моисеевич Хейфец, он же «Старый театрал» – автор «блестящих и резких» рецензий, и муж певицы Изы Кремер, которая сама писала и исполняла декадентские песенки в духе Вертинского. Певица эта, по отзыву Бабеля, была «с небольшим голосом, но с радостью, художественно выраженной радостью в их существе, с задором, легкостью и очаровательным – то грустным, то трогательным – чувством жизни». Изе Кремер, кстати, Чуковский в 1914 году посвятил легкомысленный стишок: «О, Иза, Муза кукурузы! / К тебе так благосклонны Музы: / Ты и певунья и плясунья и попрыгунья стрекоза./ А я… без песен и без солнца в болотах темного чухонца, / Я только плачу, вспоминая твои веселые глаза».

Дон-Аминадо рассказывает, что работал Хейфец тихо и эффективно, вел ожесточенную борьбу с «репортерами огнедышащего типа», в первую очередь со знаменитым Леоном Трецеком, и «требовал целомудренной краткости, существа, экстракта, самого главного». Не будем цитировать уморительный мемуарный фрагмент, как «бедный Трецек» строчит нечто пышное о звоне набата, всполохах и разбушевавшейся стихии, а редактор вычеркивает все красным карандашом и в отделе городской хроники «оскорбительно мелким шрифтом» печатает скупое сообщение о ложном вызове пожарной команды Бульварного участка. Ровно тот же процесс, почти в тех же выражениях, описан и у Жаботинского в автобиографической «Повести моих дней», только там фигурирует убийство из ревности.

«Искусство Хейфеца как редактора проявлялось главным образом в умении учуять, раскопать, найти и привлечь новые силы, молодые дарования. В „Одесских новостях“ начинали свою литературную карьеру Корней Чуковский, К. В. Мочульский, Петр Пильский, В. Е. Жаботинский, явивший весь свой искрометный и иронический блеск в легких, в совершенно новой манере поданных фельетонах, за подписью Altalena», – говорит Дон-Аминадо. Перечисляет он и старую гвардию: «тишайший Инбер,

полиглот и начетчик (и, кстати, первый муж поэтессы Веры Инбер. – *И. Л.),* С. Соколовский (Седой), скучный и почтенный передовик, и, разумеется, милейший Петр Титыч Герцо-Виноградский, избравший себе совершенно немыслимый в настоящее время псевдоним – Лоэнгрин и писавший длинные, ежедневные, многоуважаемые фельетоны в совершенно забытой теперь форме нравоучительной публицистики и якобы ядовитого, дозволенного цензурой радикализма». (Никто не забыт, ничто не забыто – сейчас эта манера возродилась повсеместно.) Поляков, Ценовский, Леонид Гроссман, Александр Биск, Горелик, Можаровский… Мемуарист, правда, почему-то забыл одного из лучших сотрудников газеты – знатока одесского социального дна Лазаря Кармена (настоящая фамилия его была Коренман), отца известного кинодокументалиста Романа Кармена.

Именно Лазарь Кармен, Жаботинский-Altalena и фельетонист Чуковский стали, как выражается Владимир Швейцер, «тремя китами», на которых стояли «Одесские новости». Жаботинский вспоминал в «Повести моих дней»: «Журналист – это было важное звание в русской провинции тех лет. Приятно пройти (бесплатно) в городской театр, один из лучших в стране, и приятно, что капельдинер, одетый в ливрею эпохи Марии-Антуанетты, кланяется тебе и провожает к креслу в пятом ряду, в начале которого прибита табличка с гравированной надписью „г-н Альталена“. Редактор Хейфец умел подбирать способных молодых людей: под его крылышком начали свою литературную деятельность Кармен, автор рассказов о жизни босяков в одесском порту и голытьбы из нищих предместий, и Корней Чуковский, который ныне считается крупнейшим писателем красной России. Когда мы входили с ними в кафе, соседи перешептывались друг с другом: может, было бы лучше, если бы мы не слышали, что они шептали, но, поверьте мне, они пели нам дифирамбы, и Кармен подкручивал кончики своих желтых усов, Чуковский проливал свой стакан на землю, ибо его чрезмерная скромность не позволяла ему сохранить спокойствие духа, а я в знак равнодушия выпячивал свою нижнюю губу, и без того слишком выпяченную от природы».

Коллектив газеты был небольшим, но душевным. Они любили сами себя, друг друга, попойки и чествования. Все сочиняли эпиграммы, ходили в театр и на лекции заезжих знаменитостей, сидели в знаменитых одесских пивных, кухмистерских, кафе и кондитерских. Первой среди прочих была, разумеется, пивная Брунса, которая фигурирует во всех одесских мемуарах той эпохи – как Уточкин, как Куприн, как оперный театр с итальянскими певцами, цирк с французской борьбой, циклодром и биоскоп.

Пивная Брунса на Дерибасовской «считалась первой на всем земном шаре, подавали там единственные в мире сосиски и настоящее мюнхенское пиво», – сообщает все тот же Дон-Аминадо, а Чуковский на первой же странице своего «Онегина» восклицает: «О Брунс! Мы воспоем тебя!» Здесь встречались журналисты, писатели, артисты – Бунин пародировал Бальмонта и сидевшего тут же Александра Федорова, Куприн братался с Уточкиным и замышлял полет на одном из первых самолетов. Информационным спонсором полета, как выразились бы сейчас, были те же «Одесские новости». Чуковский перезнакомился со всеми одесскими знаменитостями и с приезжавшими из Москвы – среди них были Аким Волынский, Сергей Городецкий… С Буниным он познакомился еще раньше – в 1899 году, на Большом Фонтане под Одессой.

В Одессе были свои звезды, боготворимые всем городом – приехавший из Петербурга артист императорских театров Николай Ходотов, актриса Вера Юренева (ее муж, Александр Вознесенский-Бродский, тоже сотрудник «Одесских новостей», переводил драмы, а потом стал первым русским профессиональным киносценаристом). Здесь жил обожаемый публикой писатель Семен Юшкевич… и многие, многие другие, и писать обо всем этом надо совсем другую книгу. И почти все они были знакомцами Чуковского или героями его первых статей – а чаще и теми, и другими.

Общественная жизнь во всяком городе Российской империи, тем более в ее третьей столице, отличалась двойственностью: с одной стороны, неизменны были чеховские жалобы на бесцельную бессмысленность существования, тоску и провинциальную скуку, с другой, нескончаемой чередой неслись события – от невероятно популярных тогда лекций и докладов (иногда даже с картинами из «волшебного фонаря») до балов, премьер и лотерей-аллегри. Чуть ли не в каждом доме старались завести свой салон, свои «вторники» или «пятницы», везде спорили о главном, пели у рояля, и главным местом споров, докладов и встреч, бесспорно, было Одесское литературно-художественное общество. Оно появилось на свет в 1898 году и в начале XX века уже было местом, куда стремилась «вся Одесса», – та Одесса, которая претендовала на интенсивную духовную жизнь… или просто убегала от скуки…

Сюда же у Чуковского в «Онегине» прибежала и кузина Зина, и стоит у дверей «Литературки» – «средь барынь, продающих / Билеты в пользу неимущих, / Средь вундеркиндов в сорок лет, / Досель надежды подающих; / Средь дев, у коих пола нет; / Среди поэтов прыщеватых, / Страстями юности богатых; / Среди

марксисток, чей кузен / В литературном клубе член; / Среди дантистов, символистов, / И вновь дантистов, и опять…» Здесь, в «Литературке», проходили вечера и балы, здесь в Виноградной комнате встречались герои романа Жаботинского «Пятеро». Зал назывался Виноградным потому, что его стены «украшены были выпуклым переплетом лоз и гроздей», рассказывал еще один сотрудник «Одесских новостей», Александр Биск. В его воспоминаниях читаем: «Помещение кружка занимало целый особняк (сейчас в этом здании Литературный музей. – *И. Л.)*. Он находился в лучшем месте города, на самой границе двух его миров: верхнего и гаванного. У самого особняка «Литературки» начинался один из спусков в пропасть порта, и в тихие дни оттуда тянуло смолою и доносилось эхо элеваторов. В то подцензурное время «Литературка» была оазисом свободного слова; мы все, ее участники, сами не понимали, почему ее разрешило начальство и почему не закрыло». Возглавлял общество редактор «Одесских новостей» Хейфец, просуществовало оно до конца 1904-го. А в следующем году всем стало не до того.

Но и тогда уже чувствовалось дуновение ветра перемен. «В правительственных кругах уже замечались признаки смятения, – пишет Жаботинский. – Ослабла узда: вопреки предварительной цензуре (всякая строка без исключения, даже хроника и объявления, подлежали цензурной проверке перед печатаньем), в каждой газете появлялись крамольные статьи; опасные слова „конституция“ и „социализм“ произносились вслух на публичных лекциях. Я застал в Одессе „Литературно-художественный клуб“: раз в неделю, по четвергам, мы собирались, чтобы обсудить новую книгу или пьесу, которую ставил в те дни городской театр, но во всех речах и докладах звучали намеки на „освобождение“, и в спорах по поводу „Потонувшего колокола“ Гауптмана сталкивались (каким образом – не знаю) принципы Маркса и „Народной воли“».

С докладами в «Литературке» выступали чуть ли не все пишущие одесситы и, разумеется, сотрудники «Одесских новостей». Чуковский читал регулярно – именно здесь он учился публичным выступлениям, которых потом в его жизни будут тысячи: постигал науку держать аудиторию, не терять ее внимания, полемизировать, отвечать на записки, реагировать на выкрики из зала – и сносить провалы, которых тоже будет немало. Первым докладом Чуковского был, естественно, доклад о самоценном идеале. «Люблю наш клуб. Там сердцу отдых. / И всех – за что, не знаю сам, / – в его гостеприимных сводах / люблю…», «Там даже Старый Театрал / Нередко молодым бывал;

/ Там подвизались мы с Луцканом: / Он шубы крал, а я читал / Про самоценный идеал. / Один удел судьба дала нам, / В тюрьме таится юный тать, / А я… а я читал опять…»

И опять читал, и опять – «О критике», «Нужен ли народный театр…» Читал и Жаботинский, и оба участвовали в несколько наивных, но пламенных прениях по множеству вопросов. Публикации обоих авторов в это время вообще лучше рассматривать вместе (именно это и сделала Евгения Иванова в книге «Чуковский и Жаботинский: история отношений в текстах и комментариях»). Их статьи рождались в долгих – практически ежедневных – обсуждениях и спорах, которые затем переходили на страницы газеты; авторы делали сообщения на заседаниях общества, аргументация оттачивалась в полемике после выступления, затем спор вновь возвращался на газетные страницы. Такая диалогичность публицистики Чуковского и Жаботинского сохранилась надолго: в 1908 году подобным же образом строилась дискуссия о евреях в русской литературе, о чем речь пойдет ниже.

Сейчас пока обоих увлекал спор об индивидуализме, начатый Жаботинским. Тот писал о гнете «идей», о том, что критики играют плохую роль, заставляя читателя искать у писателя идеи, а не музыку, чувства, желания. Чуковский пытался отвечать, набрасывая в дневнике мысли, развивающие и продолжающие тему: «Для оценки индивидуума… не существенно, не важно, нравственна она (личность. – *И. Л.)* или безнравственна, любит она или ненавидит – важно одно: с какою силой делает она это»; эти «довольно примитивные философские основания индивидуализма» оказались редкостно плодотворны. «И сотни тысяч положительно влюбились в эту идею, улица приветствует ее от всего своего сердца, – а г. Альталена черкнул пером, и нет новых идей!» Кстати, в этих набросках Чуковский впервые высказывает мысли об философских идеях, ставших достоянием улицы (о том, как изменяются идеи, спускаясь вниз, превращаясь в «чижика-пыжика» и «паюсную икру», К. И. будет писать подробно куда позже, в 1907–1908 годах). Вообще в дружеской полемической перестрелке двух молодых коллег можно обнаружить множество мыслей, которые будут обдуманы и развиты Чуковским спустя много лет. Оба выступили с докладами в литературном кружке; К. И. продолжал возражать Жаботинскому в дневнике, в кружке кипели страсти, «Одесские новости» периодически публиковали отчеты и возражения.

В феврале 1903 года в дневнике Корнея Ивановича появляется вклеенная заметка: «„Контрасты современности“ (доклад К. Чуковского в лит. арт. о-ве) вызвали настоящий

словесный турнир между докладчиком и отстаивавшими его положения гг. Жаботинским, Меттом с одной стороны и резко восставших против идеализма гг. Брусиловским, Гинзбургом и др. Прения затянулись до 12 ч. ночи. Следующее собеседование состоится через 2 недели». В декабре 1902 года – печальная запись: «Сидел дома и все время занимался. Результатом чего явилась следующая безграмотная заметка: „В лит. артистическом обществе в четверг состоится очередное литературное собеседование. Г. Карнеем-Чуковским будет прочитан доклад ‘К вопросу об индивидуализме'“. Что-то будет!» И на другой день: «Что я буду возражать оппонентам?»

Всякий раз Чуковский был недоволен своими выступлениями. «Аплодисменты, поздравления, а мне лично кажется, что я могу в тысячу раз лучше, что вчера я читал очень плохо». «Я стоял возле кафедры и слушал, как меня бранили. Слушал и удивлялся. Неужели я говорил так неясно?» Говорил, да и писал он пока действительно неясно: наукообразно и сложно. Однажды Чуковский раскритиковал публициста Оболенского, тот язвительно ответил ему, и Жаботинский выступил в защиту молодого критика. «В ответе Жаботинского несомненно присутствует спор и с местными, одесскими недоброжелателями Чуковского», – комментирует Е. Иванова в вышеупомянутом труде. «Я вспоминаю, – писал Владимир Евгеньевич, – как г. Чуковский прочитал два доклада в Литературно-артистическом обществе, где среди посетителей, как известно, очень много таких людей, умственный уровень которых равен умственному уровню г. Оболенского, – и там тоже многие говорили, что г. Чуковского трудно понять. Это все так; но ведь если я не в состоянии понять чужую мысль – это еще не резон для того, чтобы заговорить с автором свысока».

Лев Коган вспоминал, что однажды Чуковский сделал на заседании общества доклад о забытом поэте XIX века, чьи биографические данные и стихи он раскопал где-то в архивах. И жизнь поэта, и его произведения весьма впечатлили слушателей. Когда овации стихли, Чуковский заявил, что биографию придумал сам, а стихи взял у Тютчева, Фета, Жуковского и других знаменитых поэтов. Это он хотел доказать кому-то из друзей, как плохо нынче знают русскую классическую поэзию. Доказал.

Смех и слезы

В «Нынешнем Евгении Онегине» сохранилось многое, чем жил юный Чуковский начала века. Здесь нашлось место кратким портретам коллег: «жгучий Вознесенский, отваги полон

декадентской», «уверения Кармена, что босяков лихую рать читатель должен непременно своими братьями считать…» Здесь и «Литературка»: шум, звон колокольчика, несчастный докладчик пьет воду и идет на кафедру, почтеннейший ареопаг повесил головы, и кто-то уже рисует профили на бумажке. Доклады делались на темы серьезные и почтенные: скажем, Жаботинский читал «О литературной критике» и «О капитализме и некоторых моментах современной психики». На страницах поэмы мы найдем множество имен участников клуба, представляющих иногда даже не литературоведческий, а историко-краеведческий интерес. И наблюдений вроде: «И сонмы девственниц в уборной спешат оправить локон черный, и Цензор – дерзостный поэт – украдкой тянется в буфет…»

Здесь и шатания по городу среди разговоров, и бесконечная полемика, в которой, кажется, вся мыслящая Одесса предпочитала проводить свои досуги: «Мила мне русская беседа, где, разум собственный любя, / Никто не слушает соседа, и всякий слушает себя…» И болтовня в гостях, за столом, освещенным висящей лампой: «На стенке рядом с Баттистини – / Толстого сумрачный портрет, / Крик, говор, корки апельсина, / Давно беззубое пьянино,/Давно безмолвный попугай, / Горячий спор, холодный чай, / Кузина Зина и Мальвина, / Безусых лиц шумливый рой…» Беззубое пианино вкупе с лампой сильно напоминают обстановку в доме Гольдфельдов, как она описана в дневнике К. И. И в романной, и в реальной семьях, кстати, были девушки на выданье.

В «Онегине» Чуковского во время общей беседы старушка мать, сидящая в уголке, тоскливо наблюдает, как аппетит гостей разгорается, – а что поделать, надо терпеть, иначе девушек замуж и не выдать. Над чайной колбасой кипят нескладные споры «о том, что родина святая уж tiers-etat[2] рождает нам; что, по словам науки строгой, чужою мы идем дорогой; что русской суждено земле в фабричном выкипеть котле…». О буржуазии, Бальмонте, Канте, Заратустре, Чехове и Горьком. А на самом деле – тоска, скука, кокетство…

Мирон Петровский говорит, что Чуковский поместил пушкинских персонажей в быт из сатиры Саши Черного. Но герои здесь не пушкинские – они тоже из мира Саши Черного, который позднее и гораздо полнее воспроизвел и осмыслил этот мир, насытив свои сатиры ненавистью и тоской. Почти тем же ядом и ненавистью брызжет перо юного Чуковского, когда он описывает онегинского отца – его «смиренномудрый вид», малиновый жилет «и к золотым часам цепочку из продырявленных монет», «старенькую бричку, и канарейку, и жену, патриархальную

привычку к послеобеденному сну», и обычай сечь сына по субботам, и антисемитизм… Нашлось в поэме место и одесским дачникам в полосатых штанах, и золотушным детям, и пошлым кавалерам с нафиксатуаренными усами… – той, по выражению Лидии Корнеевны, «бездельной, бескнижной, невежественной, вульгарной, болоночной и картежной» Одессе, которую сам Чуковский в письме к приятелю мстительно обозвал однажды «фабрикой пошляков».

В поэме Чуковского встречаются строчки умелые, легкие, точные – вот хоть в описании августа, «когда и семечки, и пыль, и квас, и мухи – все постыло, и даже дачный водевиль был в помещении купален уже поставлен и провален»… И тем не менее читать «Нынешнего Евгения Онегина» сегодня совершенно невозможно: удачные наблюдения и бонмо теряются в каше рыхлых, вязких строф, хотя кажется, что онегинская строфа рыхлой быть не может, она обязана быть подтянутой и мускулистой. У молодого Чуковского большинство строф, как это ни печально, слеплены кое-как: «Но что там? Чья-то длань трепещет, / Кого-то кто-то рукоплещет, / Уж мы – вокруг, а он на нас / Пугливых не подъемлет глаз. / Улыбка жалкая вначале / По исполосанным щекам / Блуждает робко тут и там, / А вот – и щеки задрожали, / И… дева, радуйся со мной, / Передо мной стоял герой». Все это словоблудие означает, что одному из героев дали пощечину, в этой строфе он еще улыбается, а в следующей заплачет. Сюжета как такового нет, а если он и есть, то тоже вязнет и теряется, и (ужасно хочется перейти на тогдашний слог нашего героя) – право, было бы лучше, если бы г-н Чуковский не замахивался на эпопею, а всего лишь последовательно записал свои живые наблюдения…

Он и сам понимал, что не дотягивает до избранного высокого образца, что ему не хватает ни поэтической мощи, ни силы обобщения, что лишь отдельные фрагменты поэмы вообще имеют право на существование.

Чуковский заболел пушкинским «Онегиным» в ранней юности – похоже, еще в гимназии. Как этот роман умеет не отпускать, знает каждый филолог – едва ли не всякий профессионально пишущий по-русски пытался в старших классах создать своего «Онегина», как и свое «Кому на Руси жить хорошо». До Чуковского попытки продолжить пушкинский роман или написать свой совершались несколько раз, самые заметные сделаны Дмитрием Минаевым (1865), Lolo – Леоном (Леонидом) Мунштейном (1896) и Константином Михайловым (1899).

Видимо, еще в гимназические времена Коля Корнейчуков создал несколько удачных строф, – а затем уже было жалко

расставаться с замыслом. Весь первый вариант, написанный в 1901–1902 годах, Чуковский зачеркнул, но потом все равно вернулся к идее «Нынешнего Онегина». Дописывал он его в Англии, в 1904 году, и в том же году опубликовал в «Одесских новостях», хотя и не стал заканчивать. Потом переделал уже на петербургском материале – и снова опубликовал три года спустя, и собирался издавать отдельной книжкой…

Неужели литературный вкус на этот раз ничего не подсказал обычно беспощадному к себе и требовательному к каждой своей поэтической строке Чуковскому? Почему же, подсказывал. В дневниковой записи 1904 года он пытается взглянуть на роман глазами рецензента: «Мы никак не ожидали от г. Чуковского столь несовершенной вещи. К чему она написана? Для шутки это слишком длинно, для серьезного – это коротко. Каждое действующее лицо – как из дерева. Движения нет». Дальше воображаемый рецензент ставит автору в вину «фельетонный, бульварно-легкомысленный тон», кощунство по отношению к Пушкину – и отмечает, что «стих почти всюду легкий, ясный и сжатый» (что, кажется, несколько преувеличено). Чуть не месяц спустя опять в дневниковой записи автор долго и подробно отвечает воображаемому критику, что это не кощунство… Комментатор поэмы Мирон Петровский справедливо отмечает, что здесь предвосхищены и стиль Чуковского-критика («парадоксальное доказательство собственной мысли – через ее же опровержение»), и будущие упреки в бульварности, фельетонности и легкомысленности.

Почему же Чуковский, ясно понимая несовершенство своего произведения, все-таки не расставался с мыслью его завершить и опубликовать? Может быть, разгадка в том, что он остро чувствовал зияния в литературе – а к началу XX века русская литература, и в особенности русская поэзия, слишком много плакала и слишком мало улыбалась? Последним, кто от души в ней смеялся, вероятно, был Курочкин со своими политическими сатирами (в прозе, пожалуй, еще Антоша Чехонте); в литературное меню давно не входило шампанское. Хорошим тоном в литературе считался смех сквозь слезы, но повседневная одесская жизнь сама по себе была несовместима с преобладающими в российской словесности сумрачными тонами, неизобразима и невообразима в суровом, строгом духе русской классики. Очень скоро русская литература научилась и хихикать, и язвительно смеяться, и хохотать, надрывая животики, но пока на месте легкой, иронической, сатирической, бытовой поэзии было зияние – и Чуковский пытался сам заполнить пустоту, и так носился со своим «Онегиным», пока место было вакантно, и

пытался довести его до ума. А когда появились во множестве сатирические журналы, когда вышли из печати первые стихи Саши Черного, – оставил попытки. Тем же ощущением зияния и попыткой восполнить ощутимый пробел собственными силами, реагируя на куда более насущную потребность, порожден и другой крупный поэтический провал Чуковского – сказка «Одолеем Бармалея!», о печальной судьбе которой речь еще впереди.

Немарксистская критика

Ближайшие друзья К. И. занимаются революционной работой. Борис Житков печатает на гектографе что-то запретное, распространяет прокламации, его сестры тоже участвуют в подпольной деятельности. Иногда Житков приносит и прячет что-то у Корнейчукова – Екатерина Осиповна безоговорочно предоставляла под это «что-то» свой погреб. Иногда Николай дает Борису денег на его революционную деятельность. «Помню наши встречи в книжной лавчонке общего нашего приятеля Моника Фельдмана (на Троицкой улице), который щедро снабжал нас нелегальной литературой, начиная „Колоколом“ Герцена и кончая последними брошюрами Каутского», – пишет Чуковский в посвященной Житкову главе воспоминаний.

С подпольной работой Житковых связана и странная история, о которой в журнале «Каторга и ссылка» в 1924 году рассказал революционер Наум Осипович. Сестру Бориса, курсистку Надежду, арестовали. Чуковский в буфете Литературно-артистического общества, сидя в большой компании коллег, во всеуслышание назвал виновником ее ареста и шпионом человека по фамилии Хавкин, общего любимца, тоже сотрудничавшего с «Одесскими новостями». Хавкин не стал вызывать Чуковского на дуэль, как ему советовали репортеры. Вместо этого созвали товарищеский суд, на котором присутствовали и Житков (свидетель), и Жаботинский в качестве одного из двух судей – второго привел Хавкин. На заседании «Хавочка» сказал речь, которая заставила всех, включая истца – Чуковского, – хохотать чуть не до слез (впрочем, замечает рассказчик, смех его был, по-еврейски выражаясь, «с камнями», то есть через силу). Жаботинский выразился в том духе, что Чуковский вообще склонен к преувеличениям. «Финал суда был таков, – рассказывает Осипович. – Корней Иванович Чуковский, буквально на коленях, просил у Григория Павловича (Хавкина. – *И. Л.)* прощения». Тот спокойно простил, и оба ушли обнявшись.

Заслуживает внимания эта история вот почему. Во-первых,

много лет спустя выяснилось, что Хавкин все-таки провокатор и Корней Иванович был абсолютно прав. Во-вторых, третейские суды – характерная примета литературной жизни тех лет: Чуковский в воспоминаниях о «Сигнале» приводит историю такого суда в 1903 году, когда Аким Волынский пытался установить, справедливо ли Тэффи назвала Федорова и Каменского плагиаторами; ему и самому не раз приходилось требовать такого суда или быть перед ним ответчиком. Любопытно, наконец, и это дикое вымаливание прощения на коленях. И мемуаристу, и читателю кажется, что Чуковский был совершенно деморализован. Но едва ли не в каждом мемуаре о К. И. – даже тех времен, когда тот уже был очень стар, – он непременно бухается перед кем-нибудь на колени, изображая то безмерное преклонение, то покаяние, то покорнейшую просьбу.

Как речь его была своеобразным речитативом, так и пластика его – маленьким театром. Многие рассказывают о его удивительной гибкости, о размашистой и емкой жестикуляции. Ему ничего не стоило воздеть руки, вспрыгнуть на стул, рухнуть на пол, вскочить – все это были элементы его повседневной игры. Матери маленьких детей, например, все как одна вспоминают, как он умел зачаровать малышей, как удерживал в равновесии стул, стоящий одной ножкой у него на ладони, вертел чернильницу так, что из нее не выливались чернила…

Не чужд революционным идеям был и Жаботинский, в 1902 году арестованный за хранение нелегальных брошюр. «По выходу из тюрьмы за Жаботинским было установлено наблюдение, и почти сразу среди тех, с кем он встречался, появляется имя Николая Корнейчукова, его невесты Марии Гольдфельд и ее родственника – Григория, за каждым из которых также некоторое время велось наблюдение», – пишет Евгения Иванова в книге «Чуковский и Жаботинский». Она опубликовала уморительные материалы слежки за этими персонажами. Каждый, как положено, получил кличку. Жаботинского именовали «Бритым», Корнейчукова – «Большеносым», а Марию и Григория – «Симпатичной» и «Симпатичным». Из донесений следует, что Бритый, Большеносый и Симпатичная встречались чуть не каждый день. Поднадзорные частенько останавливаются поболтать друг с другом на улице (шпики старательно фиксируют: «и простояли 1/4 часа», ходят друг к другу в гости, заходят в кофейню, к друзьям. Места пребывания такие: «Одесские новости», Литературно-артистическое общество, библиотека. Вот несколько отчетов, датированных разными числами октября 1902 года:

15 октября. «Крестьянин Херсонской губ. Николай

Эммануилович Корнейчук, 20 лет (кличка Большеносый), проживающий в д. № 4 по Ново-Рыбной улице, в $9^1/_2$ утра вышел из дому с ношей, которую определить нельзя, и около юнкерского училища утерян спустя 10 мин. Был встречен на Ришельевской улице и приведен в контору «Одесских новостей» в Пассаже…»

17 октября. «В $3^1/_2$ дня пришел домой. В $4^1/_4$ часа вышел с одесской мещанкой Марией Арон-Беровой Гольдфельд, 22 лет (кличка Симпатичная), проживающая в д. № 13 по Стурдзовскому переулку, кв. № 3. <…> встретили неизвестного человека лет 24, шатен, росту среднего, в бородке, черная шляпа и серое пальто, коему дана кличка Симпатичный, и все трое зашли в квартиру Корнейчука. В 7 час. вечера вышли и в клуб при д. № 6 по Ланжероновской ул. В 1 час 40 мин ночи вышли, пришли на угол Пушкинской и Ришельевской ул., разошлись, и Корнейчук там же был утерян, а те пошли домой…»

«18 октября в 4 часа дня вышел из дому с Симпатичною, и оба в городскую библиотеку. В 7 час. вечера вышли и к нему на квартиру, больше не видали».

Хотя в одном из полицейских документов и Николай Корнейчуков, и его сестра, и его невеста названы «лицами, занимавшимися политической пропагандой», никаких признаков их революционной деятельности, по-видимому, не обнаружилось, и слежку вскоре сняли, оставив потомству любопытные подробности повседневной жизни одесских журналистов в 1902 году. В сочетании с программой клуба, текстами выступлений и дневниковыми записями картина получается достаточно полной. Чуковский встает рано, из дому уходит около девяти, делает какое-нибудь дело, затем отправляется в контору «Одесских новостей»; днем встречается с Машей – идут к ней или к нему (судя по дневникам, читают вместе, вдвоем или втроем с кем-нибудь из приятелей). Дома работает: пишет статьи, обдумывает статью об индивидуализме, готовит доклад к выступлению в клубе. Вечером, около семи часов, направляется в клуб, где засиживается допоздна.

Марксистом, однако, Чуковский так и не стал, как не стал и философом. Марксизм для него только одно из модных идейных течений, которые он пытается анализировать и даже использовать в своих ранних статьях – таких же тяжеловесных, обстоятельных и доказательных, таких же умеренно-язвительных, какой была его первая работа. Таков был вообще доминирующий стиль российской публицистики. Это сейчас мы, говоря о начале века, научились воображать себе легкие завитушки, стиль модерн, декаданс… Но все это будет позже, а пока законодателями мод были народники, легальные марксисты, позитивисты. И

Чуковский следовал лучшим образцам своего времени. В основе его философии лежал своего рода объективный материализм, общество в ней предстает как некий саморегулируемый механизм, и все то, что марксисты именуют «надстройкой», а он «полезными обманами», – нужно этому обществу для движения вперед, к лучшему будущему…

Кстати, с марксистами Чуковский немало полемизировал – даже в революционнейшем 1905 году он упрекал Плеханова, выпустившего под псевдонимом «Бельтов» книгу литературной критики «За двадцать лет», в механистичности подхода к писателям. Чуковский называет автора «машиной», «марксометром», который измеряет степень идейного соответствия писателя теории Маркса. Статья эта не переиздавалась вплоть до последнего времени, а марксометром уже через полтора десятилетия вооружились все литературные критики.

Отход от преобладающих в публицистике принципов, приемов и идеологии появляется тогда, когда Чуковский заговаривает о литературе. Тут же и синтаксис его становится проще, и предложения короче, и выражается он яснее. К 1902 году в статьях уже прорисовывается необщее выражение лица – и даже первые намеки на того Чуковского, который любит огорошить читателя первыми же строчками: «Господа. У вас нет сознания. Ибо вы читаете Максима Горького. А в майской книжке „Русского Вестника“ сказано: „Если у человека есть сознание, он не станет читать Максима Горького“». Корней Иванович и через шестьдесят лет умел удивить первой строкой: «Был ли Гомер мужчиной? Нет, Гомер несомненно был женщиной».

В первых статьях только вырабатывается индивидуальный почерк, манера письма, появляются любимые приемы. Он и дальше будет двигаться в уже наметившемся направлении. Станет писать точнее, короче, парадоксальнее, ехиднее. Недаром в его похвалах в это время так часто встречаются слова «точный», «сжатый», «легкий», «жизнь», а ругается он словами «схема», «общее место», «исследования домашнего свойства»… В статье 1903 года «Паки о „Дне“» он говорит: «Ежели писатель по той или иной причине – хочет отдаться „философским изысканиям“, то пусть он производит их „в чистом виде-с“, ибо все его стремления в сторону художественности будут приняты: одними – за художественное бессилие, а другими – за бессилие философское». Конечно, он и много лет спустя жалел, что не стал философом, о чем прямым текстом писал сыну. А все-таки «художественность» слишком сильно притягивала его, слишком уж большую власть

над ним имели Овидий и Гораций, Чехов и Толстой, чтобы отдать жизнь наукообразным рассуждениям об утилитаризме, прагматизме, «и прочих кощунственных измах» (его же собственное выражение, правда, полвека спустя и по другому поводу; пока что он предпочитает говорить «о драгоценных сердцу нашему „измах“»). Тем не менее социальный философ в нем не погиб окончательно: его статьи каждого определенного периода (дореволюционные критические; посвященные преподаванию литературы в школе в тридцатых годах; языковедческие в пятидесятых – шестидесятых) рисуют своеобразный портрет общества с его болезнями, привычками, идеологией, языком.

Собственного критического метода у него еще нет – хотя в упомянутой статье о Горьком заметны черты, характерные для позднейшего Чуковского-критика. Его не интересует общеизвестный портрет писателя, ему неважно, что говорит об этом писателе критика, что думает о нем общество. Интересно лишь то, что сообщает о писателе его текст. А текст, оказывается, может говорить совсем не то, что кажется на первый взгляд. И нашумевшая пьеса «На дне» вдруг оказывается у критика не пьесой, а трактатом – чем-то вроде сократических диалогов. Пока Чуковский ограничивается цитатой из Сократа и указанием на схожесть ее с горьковскими текстами. Лет через пять статьи его стали куда раскованней; рискну предположить, что, возьмись он за эту тему позднее, – непременно бы схулиганил. Заменил бы, к примеру, русские имена древнегреческими, сделал бы и в самом деле из драмы сократический диалог: «Гиппий: Человек может верить и не верить. Это его дело. Человек свободен. Он за все платит сам…»

Философа начинающий критик нашел и в Леониде Андрееве (статья 1902 года «Дарвинизм и Леонид Андреев»). На эту статью он получил отзыв от самого Андреева: «Верно то, что я философ… верно и остроумно подмечено и то, что „типичность людей я заменил типичностью положений“». Чуковский пытается нащупать основания, на которых позже построит свой критический метод, прояснить для себя наблюдаемые противоречия, объяснить зазор между текстом и сложившимся в общественном мнении обликом писателя, между стилем и идеологией. В дневниковых записях того же 1902 года мы читаем: «Граф Толстой понимает про себя одно, а говорит публике другое. Есть у него такие вещи, которых он публике не покажет».

Глаз у молодого критика острый, вопросы он ставит оригинальные. Заезжих знаменитостей торопится спросить не о том, «чего там у вас в столицах новенького появилось», – а сразу о

предмете своих напряженных размышлений. «Захлебываясь, <я> сыпал один за другим нескладные, жгучие, наивные вопросы ненастоящего человека, человека из атмосферы газетных „заметочек“», – рассказывает он в статье «Наши гости», торопясь поделиться с читателем тем, что едва прояснил для себя сам, схватясь «за случай разрешить давнишнее свое недоумение». Что же так долго мучило юного журналиста? А вот что: почему Горький, «прошедший такую тяжелую школу практической жизни… сам так склонен к надуманному, логическому, кабинетному творчеству?» Заезжая знаменитость Иван Бунин отвечает смущенному и торопливому одесситу подробно и вдумчиво. Впоследствии из бунинской мысли вырастет блестящий очерк о Горьком в книге «От Чехова до наших дней».

Но пока статьи молодого Чуковского еще многословны, вялы, неуклюжи, неточны в выражениях, утопают в повторах и авторских рефлексиях: «Теперь попытаюсь объяснить, почему мне показалось, что трактат написан не Горьким… Только как бы это сделать попроще и покороче?» «Но прежде чем касаться этой надоевшей темы, мне хотелось бы напомнить вам два-три банальнейших трюизма…» Ах-ха, зевает читатель. Позднее все эти излишества Чуковский будет истреблять у себя беспощадно. Иронически относится он и к своей славе, отчетливо понимая собственные несовершенства, и эта ирония у него сохранится на всю жизнь. Даже в преклонном возрасте он записывал в дневник по поводу юбилейного чествования: «Я чувствовал себя мазуриком».

Забавную историю о славе Чуковский рассказал своему бывшему ученику Швейцеру: «Художник Буковецкий, модный в Петербурге в начале века портретист, вдруг попросил меня позировать ему для портрета. Тогда я печатал небольшие заметки о живописи и решил, что предложение художника означает, что ко мне пришла слава. Заканчивая портрет, Буковецкий спросил: „Чем вы, собственно, занимаетесь, молодой человек?“ Я упал с облаков и в свою очередь спросил: „Почему вы решили писать именно мой портрет?“ – „Из-за мягкой молодой бородки, окружающей ваше лицо, – сказал Буковецкий, – если ее сбрить, будет совсем не то…“»

Тем не менее в 1902–1903 годах он действительно стал одним из лучших одесских журналистов и уж наверняка одним из самых многопишущих. С публикой он спешит поделиться свежими впечатлениями – с выставки, из театра, из Москвы, из Петербурга… В дневниках тех времен – постоянные записи о том, что надо торопиться, надо многое сделать, многое прочитать: «Приняты решения: сидеть дома и только раз в неделю под

воскресенье уходить куда-ниб. по вечерам. Читать, писать и заниматься. Английские слова – повторить сегодня же, но дальше по-англ. не идти. Приняться за итальянский, ибо грудь моя ни к черту. И приняться не самому, а с учителем. И в декабре не тратить ни одного часа понапрасну. Надо же – ей-Богу – хоть один месяц в жизни провести талантливо».

Талантливо провести месяц для молодого Чуковского – значит, в постоянной работе и учебе. Бездарно – значит, в развлечениях и праздности. «Талантливо» и «бездарно» для него всегда были главными оценочными категориями. Лидия Корнеевна пишет, что он привык делить людей на вдохновенно-талантливых и ремесленно-равнодушно-бездарных и даже о погоде отзывался как о «гениальной» и «боговдохновенной». «Однажды он убеждал меня, – рассказывал киевский переводчик Александр Дейч, – что все существующие в мире (литературном. – *И. Л.)* направления только выдумка неучей и досужих ученых. Есть только два направления, сказал он, – талантливое и бездарное. Талантливый романтик дороже бездарного реалиста, а одаренный реалист куда нужнее, чем пустопорожний романтик». Эта мысль тогда казалась такой смелой, что Дейч даже подумал, что Чуковский шутит.

Коллега по «Одесским новостям» Александр Биск писал о тогдашнем Чуковском: «Он был высокий и злой». Высокий, да. Жаботинский сочинил эпиграмму: «Чуковский Корней, таланта хваленого, в два раза длинней столба телефонного». (Судя по фотографиям, рост и впрямь был изрядный – где-то за метр восемьдесят, пожалуй.) И злой. О злости Чуковского много говорили коллеги-литераторы: скажем, Алексей Толстой в дневнике записывал, что Чуковский похож на собаку, которую много били, и она теперь без причины рычит и кусается. Злым его запомнил и описал Евгений Шварц. Это потом уже в массовом сознании укрепился образ доброго сказочника, «дяди Чукоши», благостного всенародного дедушки Корнея. Агния Барто при исключении Лидии Корнеевны из Союза писателей восклицала: ваш отец был очень, очень добр, опомнитесь, подобрейте! Фантастический образ сахарного дедушки оказался невероятно живучим; он и сейчас нет-нет да вынырнет где-нибудь – то в глянцевом журнале, то в аннотации на издание аудиосказок прочитаешь: «Да и мог ли по-другому писать человек, оставшийся в нашей памяти как добрейший долговязый старичок со скрипучим трогательным голосом?»

Не был он «добрейшим старичком» никогда! Он был нервным и неровным человеком, у которого вспышки безудержного веселья чередовались с приступами ярости, с периодами мрачнейшего

отчаяния, вдохновение сменялось разочарованием в себе и своей работе. Еще в молодости его начали мучить бессонницы – скорей всего, на почве повышенной чувствительности и переутомления. Он говорил потом, что между двадцатью и тридцатью годами никогда не отдыхал, никогда не высыпался. А бессонница провоцировала раздражительность. В гневе он мог побить посуду, сломать что-нибудь, кричать, потом просить прощения… И всю жизнь воспитывал себя по Чехову. «Для К. И. он был, кроме всего прочего, еще и образцом человеческого поведения, он старался себя душевно превратить в Чехова, – писала Лидия Корнеевна Давиду Самойлову. – Смолоду – никакого сходства: К. И. был вспыльчив, несдержан, истеричен, часто несправедлив (выручала природная доброта). Годам к 50 он многому научился – в смысле обращения с людьми. Учился же – у Чехова».

Добрым – был. Не в смысле ласковости, которой отличались Платон Каратаев или горьковский Лука – ласковость Чуковского была скорее опасной, хитрой, обманчивой; свою доброту и даже сентиментальность он умел прикрыть иронией. В воспоминаниях, относящихся ко второй половине жизни Чуковского, он уже не злой. Хитрый – да, неуловимый, неискренний, льстивый, ускользающий – да. Но и готовый помочь, мягкий, терпимый, понимающий, бесконечно сострадательный.

Англия

Крупные перемены принес 1903 год. Чуковский, «двадцатилетний, худой и голодный», по его собственной характеристике, поехал в Петербург, затем в Москву – и «в две-три недели перезнакомился чуть не со всеми литераторами». «Никаких особенных прав на знакомство с писателями у меня не было и быть не могло, кроме юношеской фанатической страсти к литературе, к поэзии», – это он пишет в воспоминаниях о работе в журнале «Сигнал». Изо дня в день молодой одесский гость ходил от литератора к литератору – от Минского к Дымову, от Дымова к Сологубу, а дальше к Чюминой, Куприну, Тэффи, к старикам, которые помнили еще Некрасова и Тургенева. В Одессу немедленно полетели корреспонденции: «Дневник одессита в Петербурге», «Одесса в Петербурге», «Московские впечатления». Судя по воспоминаниям «Две королевы», денег на номер в гостинице у молодого журналиста не было, и он поселился в номере у одесского поэта Александра Федорова на коротком диванчике: «Днем я бегал по редакциям, но моих рукописей не брали нигде, и, принося их обратно, я горько жаловался своему покровителю».

С трудоустройством в столицах ничего не получилось. Получилось другое: он побывал у Леонида Андреева, был на заседании Московского литературно-художественного кружка, присутствовал на анекдотическом третейском суде: Каменский и Федоров против Тэффи, назвавшей обоих плагиаторами… Увидел «своими глазами писателей, которых в своем захолустье я знал лишь по портретам и книгам», попал в среду, к которой стремился, где мог дышать, – и понял, где хотел бы жить и работать; недаром он всюду называет Петербург «своим родным», «родиной», подчеркивает, что именно там родился, что в Одессу «был увезен». «Самые названия петербургских улиц, площадей, переулков, связанные так или иначе с писателями, вызывали во мне бурную радость», – он шел и узнавал места, освященные для него именами Некрасова, Достоевского, Белинского.

Писатели приняли юношу, восторженно влюбленного в литературу, приветливо. Некоторые даже знали его одесские статьи – «довольно сумбурные», по собственной характеристике Чуковского. Однако столичные газеты им как сотрудником не заинтересовались, деньги кончились, пришлось вернуться в Одессу, где все-таки была постоянная работа.

В мае 1903 года «Одесским новостям» понадобился собственный корреспондент в Лондоне. Корреспонденты у газеты были почти во всех европейских столицах, Жаботинскому чуть раньше предлагали на выбор только остававшиеся неохваченными Рим и Берн. Чуковский на тот момент был единственным сотрудником «Одесских новостей», кто владел английским, кроме Жаботинского, – тот, кстати, его и порекомендовал. К этому времени юноше Корнейчукову часто поручали перевод заметок из иностранной печати, он был молод, талантлив, мобилен, не обременен семьей… Но главное – знал язык, который к тому времени был в России известен крайне мало.

А вот семьей Чуковский обременился. Отъезд означал разлуку с Машей, что обоим казалось немыслимым, причем разлуку на неопределенный срок. Свататься официально при таком мезальянсе едва ли было возможно. Решение молодые приняли стремительно. «Она прибежала ко мне в одном платье, крестилась, чтобы обвенчаться со мной», – рассказывал Корней Иванович Ольге Грудцовой. Наталья Панасенко нашла в церковных книгах и запись о крещении от 24 мая 1903 года: «Просвещена св. крещением Одесская мещанка Мария Ааронова-Берова Гольдфельд, иудейского закона, родившаяся 6 июня 1880 г. Во св. крещении наречена именем Мария, в честь св. равноапостольныя Марии Магдалины, празднуемой св. Церковью

22 июля».

26 мая в метрической книге той же Крестовоздвиженской церкви, где крестилась Мария Борисовна, появилась новая запись: «Жених: Ни к какому обществу не приписанный Николай Васильев Корнейчуков, православного вероисповедания, первым браком, 21 года. Невеста: Одесская мещанка Мария Борисова Гольдфельд, православного вероисповедания, первым браком, 23 лет. Поручители. По женихе: бывший студент Александр Сергеев Вознесенский и Никопольский мещанин Владимир Евгеньев Жаботинский; по невесте: Одесский мещанин Юлий Абрамов Ямпольский и врач Спиридон Герасимов Макри».

Жених был беден, как церковная мышь. Невеста удрала из дома. Оба собирались в чужую страну, не имея решительно ничего, кроме отчаянной храбрости или юной беспечности. Медовый месяц, первая заграница… кто же отказывается от таких предложений? «На свадьбу пришли все одесские журналисты, принесли массу цветов, – цитирует Чуковского Ольга Грудцова. – Когда мы вышли из церкви, я сказал: „Что мне цветы? Мне деньги нужны“. Снял шапку и пошел собирать. Все смеялись и бросали в шапку деньги. Получилась порядочная сумма. Еще дал денег в долг Короленко (Илларион, брат Владимира Галактионовича. – *И. Л.),* которому сказали, что появился талантливый журналист, ему не на что ехать в Англию, потому что газета не в состоянии оплатить проезд».

Газета обещала 100 рублей ежемесячно. В первой половине июня молодожены выехали в Лондон поездом – веселые, счастливые, с огромной корзинкой, в которой среди прочего необходимого лежали «два увесистых российских утюга», как рассказывает со слов нашего героя писательница Александра Бруштейн (два – потому что утюги еще не были электрическими: одним гладили, другой в это время грелся). Чуковский ехал в причудливой широкополой шляпе, чрезвычайно забавлявшей всех окружающих. Вскоре обнаружился неприятный сюрприз: английским произношением Корней Иванович не владел, обращенных к нему слов не понимал, его тоже не понимали, приходилось жестикулировать или писать. По свидетельству Лидии Корнеевны, Чуковский и своих детей не учил произношению и вообще устной речи: «если приведется жить среди англичан, объяснял он, научимся в две недели». Вторым неприятным сюрпризом стало то, что приветливый спутник молодой семьи сразу по прибытии стащил у них заветную корзину, а вызванный полицейский решительно не понимал Чуковского, пока тот не начал писать. Тогда вора поймали и вещи вернули.

Говорить по-английски К. И. действительно научился, хотя и не в две недели, но от сильного акцента никогда не избавился. «Английское произношение у меня самое варварское», – признавался он; пренебрежительный отзыв о «плебейском произношении» Чуковского есть в «Других берегах» Набокова, но о Чуковском и Набокове речь впереди. Жену он тоже заставлял учить английские слова, пытался научить ее любить и понимать то, что сам любил и понимал. И так же, как раньше по Одессе, теперь они гуляли по Лондону, с удивлением узнавая места, о которых раньше только читали.

Первые британские заметки в дневнике – смешные стишки о том, что в Лондоне вовсе не дымно, а в воде «не плавают микробы, словно в Черном море рыбы». И скупая констатация: «Маша – моя жена». И явно продиктованные усталостью от впечатлений и ответственности строки: «Работа моя никудашняя. Окончательно убедился, что во мне нет никакого художественного таланта. Я слишком большой ломака для этого… Женитьба моя – совсем не моя. Она как будто чья-то посторонняя» – и дальше жалобы на скуку, пустоту, неумение заразиться лондонским духом, отсутствие единства с женой… В следующей записи, спустя несколько месяцев, он сам себе весело возражает: «Вру и вру. Я в Лондоне – и мне очень хорошо. И влиянию я поддался, и единства с женой много – и новых чувств тьма. Легко».

Первая статья лондонского корреспондента появилась в газете 19 июня. Он и с дороги умудрился прислать заметку о художественной выставке: 13 июня вышла «Шаблонная новизна (Письмо из Берлина)» – едва прибыв в Берлин, Чуковский отправился на выставку художников-экспрессионистов, о которых узнал и которых полюбил еще во время жизни в Одессе. Затем каждый месяц, с июня 1903-го по июль 1904 года, газета печатала от трех до одиннадцати статей Чуковского.

Главным в лондонской жизни для самого К. И. было не написание корреспонденции, а непрестанная учеба и чтение. Как на работу, он ходил в библиотеку Британского музея, занимаясь самообразованием, планомерно ликвидируя пробелы в знаниях. Он «читает Диккенса, Ренана, Теккерея, переводит Браунинга, Суинберна, Россетти, изучает философию и политэкономию», рассказывает Марианна Шаскольская в «Летописи жизни и творчества». Жаботинский в это время писал Чуковскому в Лондон: «Вашими корреспонденциями я недоволен. Знаете, что я думаю? Вы просто для них мало работаете, а больше для Чехова и для самообразования. Вещи прекрасные, но все-таки уменьшите рвение в эту сторону и приналягте на газетную часть Вашего

существования… Не сидите в библиотеке, тогда все пойдет хорошо».

Однако корреспонденции от Чуковского шли на родину постоянно – кроме «Одесских новостей» их публиковали еще несколько киевских газет и «Южное обозрение». Всего в «Одесских новостях» вышло 89 статей К. И., и большинство из них написаны вовсе не в библиотеке: это живые рассказы о событиях британской жизни, о самых заметных культурных явлениях, о зацепивших чем-то встречах. Темы статей самые разнообразные: отношение к иностранцам, жизнь иммигрантов, выборы, судебные процессы, лондонские нищие, спиритизм, митинги в Гайд-парке… Но заметно тематическое родство разных публикаций: Чуковскому больше всего интересен средний англичанин, буржуа, многие корреспонденции посвящены его кругу чтения, политическим воззрениям, ценностям, вкусам. Статьи складываются в точный портрет лондонского обывателя – трудолюбивого, делового, консервативного, основательного, но также косного, скучного, равнодушного. Много пишет молодой журналист и о новом искусстве для этих людей – литературе «для отдыха, для досуга, для развлечения», о книжном рынке, заполненном политическими памфлетами либо «описаниями убийств, привидений, клятвопреступлений – и вообще всего того, чем так богат наш Никольский рынок для услаждения жеребцов во образе человеческом». Пока Чуковский публикует только первые заметки о первых наблюдениях; впоследствии он сможет их обобщить, и на свет появится одно из лучших его культурологических исследований – «Нат Пинкертон и современная литература».

Из корреспонденции видно, как тоскливо иной раз делалось Чуковскому в Лондоне. Как противны ему квартирные хозяйки, непременно требующие, чтобы у квартиранта висели шторы, и деловые люди, смотрящие в первую очередь на ваши башмаки. Как ему голодно и неуютно среди буржуазного самодовольства. Как трудно в стране, где никто не заметил смерти Чехова, а Толстого зовут «социалистом». Как плохо среди людей, озадаченных вопросом, выгодно ли покровительствовать колониям пошлинами, – и забывших о вечном. Да-да, прямо так и говорит: «Душа народа ушла в политику. Это хорошо – если человек сам ведет свое хозяйство, но ведь должен же он помнить, что, помимо кухни, существует еще огромный мир с необъятною бездной синего неба, с вечным звездами…» И как радует его Британский музей, где так удобно работать, где столько удивительных богатств и где царит «атмосфера доверия, уважения, внимательности», в которой «оживает человеческое

достоинство».

Но и тех часов, которые Корней Иванович проводил в Британском музее, ему казалось мало; позднее он с горечью писал сыну Николаю, когда тот собрался жениться: «С величайшим трудом, самоучка, из нищенской семьи вырвался я в Лондон – где столько книг, вещей, музеев, людей, и все проморгал, ничего не заметил, так как со мной была любимая женщина». И предостерегал: «ребенок для тебя в твои годы – могила», «вы будете так поглощены друг другом, что самые драгоценные люди пройдут мимо вас, как в тумане». И всерьез советовал молодым расстаться «на 3–4 месяца, чтобы запастись духовным капиталом».

Со своей женой ему, правда, пришлось временно расстаться совсем по другим причинам. Деньги из «Одесских новостей» поступали нерегулярно, а затем вовсе иссякли. Молодая пара кочевала из одного пансиона в другой, выбирая все более дешевые варианты: *Montague Place,* где жили сначала; *Store Street* недалеко от *Circus,* где собирались проститутки, – хозяйка воровала у постояльцев еду, ставила в счет по два шиллинга за каждый порез на скатерти и, наконец, прогнала их; *Titchfield Street,* откуда пришлось немедленно съехать, когда в супружеской постели обнаружилась мышь; *Gloucester Street,* где все время потухал камин, а сосед сверху по воскресеньям напивался и лупил жену.

Причиной прекращения денежных поступлений из Одессы стало то, что градоначальник запретил розничную продажу «Одесских новостей». В результате Чуковский с беременной женой остался в Лондоне без средств к существованию. Жену весной 1904 года удалось отправить домой, а сам он остался жить впроголодь. О пансионах с завтраком пришлось забыть и переехать на *Great Church Street*– «страшную улицу, где жили в основном безработные»; в дневниках еще упоминается *Upper Bedford Place.* В воспоминаниях «Как я стал писателем» Чуковский рассказывает, как жил в холодной комнате, где из камина валила сажа («руки у меня всегда были черные, как у трубочиста»), питался только молоком и булкой, доставку которых на месяц вперед заказал прежде живший в этой комнате вор, и надо было опередить других голодных соседей, мчавшихся за дармовой едой. «И вот шатаюсь по Лондону, предлагая свои услуги в разных предприятиях. Меня отовсюду гонят, потому что я небритый, потому что у меня грязный воротничок, потому что я не внушаю никакого доверия». Спасло то, что сотрудники библиотеки Британского музея скоро обратили внимание на молодого человека, который самозабвенно читает и никогда не

ходит обедать, да еще ничего не говорит, а только пишет. «Узнав, что он русский, ему поручают работу по составлению каталога русских книг, – рассказывает Александра Бруштейн. – Это работа, это заработок в размере одного шиллинга в день! А в шиллинге содержится двенадцать пенсов, а за шесть пенсов можно съесть ленч!»

Судя по дневникам 1904 года, в это время он пишет своего «Онегина», увлекается шахматами, ходит в гости к знакомым русским, разговаривает с живущими по соседству англичанами. Мается тоской и зубной болью. Иногда катается на лодке, бродит по лондонским паркам, по-прежнему много читает. «Я с остервенением сажусь за свои книги, – писал он жене в это время. – Я бесконечно учу слова (их уже очень немного), я читаю в постели, за обедом, на улице. В музей я прихожу в 9—10, а ухожу после звонка… Все я делаю для тебя, для того, что когда мы свидимся, я мог бы тебе рассказать, тебя научить». И посылает жене (находящейся на сносях) списки слов к Карлейлю и Теккерею с прелестным примечанием: «Я тебе пошлю эту книжку, подготовься по ней, и – если ты до родов прочтешь ее – знание языка тебе обеспечено».

2 июня по европейскому календарю пришла телеграмма о рождении сына Николая. Молодому отцу 22 года. Он шагает по пустой комнате «громадными шагами, совсем новой для меня походкой». Он думает о страданиях любимой жены, идет фотографироваться, чтобы потом показать сыну себя в день его рождения, и не понимает еще толком, что произошло в его жизни, еще не ощущает себя отцом. Потом, когда Чуковский вернулся в Одессу, он даже забыл спросить о сыне, не привык к мысли, что у него есть сын…

«Девочка, я безумно одинок, вокруг меня свиные морды какие-то», – пишет он жене. Ходит голодный, и в читальне тоже сидит голодный, и обдумывает свою книгу о бесцельности-самоцельности, подбирая для нее цитаты. В библиотеке Британского музея Чуковский познакомился с московским профессором Лазурским и узнал от него, что Валерий Брюсов начал издавать литературно-художественный журнал «Весы». На свой страх и риск Корней Иванович послал Брюсову статью о только что умершем художнике Джордже Уотсе. Статью взяли – так начались сотрудничество с «Весами» и многолетняя дружба с Брюсовым.

Пишет он и стихи – серьезным делом считает одного «Онегина», продолжает создавать лирику, которая вся остается в дневнике и черновых набросках, переводит англичан (об этом речь впереди). Между тем куда удачнее у него выходят

экспромты, веселые, разговорные, плясовые, в которых отдаленно чувствуется будущий Корней Чуковский:

Уж уехал я из Сити,
Не живу на Глостер Стрите,
Так что вы благоволите
Адрес мой переменить.
Поклонитесь вашим детям
И скажите крошкам этим,
Что Чуковский
Не таковский,
Чтобы их забыть.

Летом в Германии умер Чехов. Чуковский узнал об этом из газет – и всю ночь ходил вокруг решетки сквера и плакал, как о родном, и колотился головой о чугунную решетку, и бесконечно было его сиротство в огромном городе, где он ни с кем не мог поделиться своим горем. Он и ощущал писателей родными людьми, и литературные дружбы считал самыми крепкими: родство душ ни в чем так не проявляется, как в любви к одним и тем же стихам. Он никогда не знал Чехова лично, но уже привык мерить людей чеховским аршином, – и еще недавно мысленно вписывал новых знакомых в контекст чеховских произведений, проверяя, как они там смотрятся, и пытаясь так составить свое суждение о них. Таким же личным горем для него стала потом смерть Блока, потом Маяковского – так же он ехал и плакал о Блоке, ходил и плакал о Маяковском, а потом о Горьком, и вспоминал все самое хорошее, что с ними связано. В дневниках за много лет набралось немало записей, сделанных после известия о чьей-то смерти. И почти всегда, за редчайшим исключением, Чуковский находит об умершем добрые слова и искренне горюет о нем – даже если не был с покойным дружен и не очень любил его.

К концу лета 1904 года положение корреспондента «Одесских новостей» в Англии становится совершенно безнадежным. В дневнике появляется молитва: «Боже, пошли мне рубли». Надо возвращаться на родину, но обносившийся и обросший щетиной Чуковский не может даже пойти к нужному человеку договариваться об этом, потому что «нет 2-х пенсов на бритье».

Несмотря на свою взрослость, интеллектуальные занятия и статус отца семейства – он во многом еще мальчишка. В середине августа он вдруг покупает себе фотоаппарат и предается новому увлечению (и хвастливо записывает: «Я достал камеру по оптовой

цене за 15 р., ту, что стоит 23 р. – и снимаю запоем»). А ведь 15 рублей – большие деньги. Не так давно сестра Маруся прислала ему на день рожденья в чужую страну «5 карбованцев, так трудно ею заработанных». Более того, в этот же день он жаловался, что нет денег на бритье, что не может вовремя вернуть долг. И вот он целыми днями снимает Лондон – тоскуя по Маше, снимает только то, что видела она, чтобы показать ей, и с восторгом проявляет пластинки при красной лампе, и записывает в дневник нежные слова о жене. А на следующий день, измотанный предотъездными хлопотами, пишет ей «грубое, резкое письмо» – и потом мучится совестью. «Она для меня все, – записывает он на обратном пути в Россию. – И больше всего».

Александра Бруштейн пишет, что фотокамеру он купил, когда «Одесские новости» выслали ему четыреста рублей на обратную дорогу: «Корней Иванович купил чемодан, фотоаппарат, купил золотые часы с медной цепочкой – на золотую денег не хватило, да и медная, хорошо надраенная, сверкала, как золото. Корней Иванович подарил свою корзину с утюгами трущобным соседям и сел на пароход, отправлявшийся из Кардиффа в Константинополь. Устроил его на этот пароход муж русской дамы». Пароход назывался «Гизелла Гредль». В воспоминаниях «Как я стал писателем» Чуковский ни о каких четырехстах рублях не упоминает и пишет, что на пароход его устроили бесплатно.

Дневниковые записи, сделанные на пароходе, – удивительно благостные для нашего героя: «Никогда не думал, что море умеет быть таким голубым, пена такой белой, облачка такими легкими и воздух таким чистым». «Боже мой, за что мне все это счастье? Лучшего неба, лучшего моря, лучшего настроения – у меня никогда не было». Ему впервые за последние несколько лет ни о чем не надо заботиться, ничего не нужно делать, можно привести в порядок мысли и тетради. На пароходе он вычеркнул всю первую часть «Онегина», замечая в дневнике: «Вкус у меня страшно развился за последние 2 года – совсем несоразмерно с моими способностями». Разумеется, жадный до людей Чуковский не упустил шанса перезнакомиться со всеми пассажирами, капитаном, командой. Он представить не мог, как это можно – ехать рядом с людьми и не узнать их ближе, не поговорить со всеми, не обогатить себя новыми знаниями, когда это так просто. Он пишет о неимоверно синем Средиземном море, Португалии, Алжире, Греции, Мальте, о радугах в водяной пыли за пароходом, о слишком красивых закатах и звездных ночах. А вот через несколько лет в статье о Бенуа и Репине он заметит: «Я помню, когда был на Средиземном море, – все чувствовал ложь, мне

казалось, что и море фальшивит, и небо фальшивит, и впервые постиг, что правда – только в линиях и красках моего Пятисобачьего переулка». Чем ближе к дому – тем больше он тоскует по жене. Наконец, «Гизелла Гредль» прибыла в Константинополь, и оттуда в начале сентября 1904 года Чуковский вернулся в Одессу—к Маше и незнакомому трехмесячному сыну. Двадцать лет спустя он вспоминал этот день в дневнике: «Кругом олеандры и жена, как олеандр, – горько-сладкая. Сидим, счастливы, и вдруг жена:

– Что ж ты не спросишь о Коленьке?

А я и забыл о нем. Вынесли черненького, с круглым лицом, и я посмотрел на него, как на врага. Тогда он был мне не нужен».

И с новой силой на него навалились житейские хлопоты: семья выросла, и семью надо было кормить. Безденежье не кончилось ни в этом году, ни в следующем, ни потом, стабильные заработки у Чуковского стали появляться только в 1907-м. А сейчас он пишет в своем «Онегине» об одном из героев: «Он к одиночеству стремился / И в 19 лет женился! / И стал как горьковский Сокол / Свободен, смел, могуч и гол. / Стремясь к мистическим высотам, / Поклонник Канта и поэт – / Все вдохновенье юных лет / Он меркантильным отдал счетам».

И замечает в дневнике: «Написал реферат о Чехове. Плохи мои дела. Денежные и духовные». Позднее он постоянно упрекал себя, что слишком рано обзавелся семьей, что не смог как следует выучиться, потому что постоянно надо было работать, и проклинал поденную работу, фельетоны, газетные столбцы, необходимость зарабатывать в десяти разных местах на прокорм все разрастающемуся семейству. И все-таки, наверное, жена была не так уж несчастна с ним, как можно подумать, вспоминая о безденежье, бессонницах, тяжелом характере и частых ссорах. Он не зацикливался на бытовых неприятностях и умел быть безоглядно, заразительно счастливым. Хотя так же отлично умел и отчаиваться, уверяя себя и всех остальных, что жизнь не удалась, он бездарен, стар, болен и ни к чему не пригоден. Требования к себе и другим людям у него всегда были завышенными: душевного застоя и скуки он не выносил, постоянного движения, развития, самовоспитания постоянно требовал от каждого – и в первую очередь от себя.

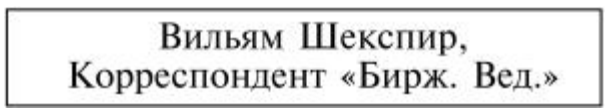
Где же корни у Корнея?

С октября 1904 года снова начинается поденная работа: многочисленные публикации о выставках и спектаклях, книжные рецензии, отклики на лекции, прочитанные в Литературно-

художественном обществе. Он и сам почти сразу по приезде выступил с докладом о Чехове. Среди написанного в это время выделяется разве что опубликованная в газете «Еврейская жизнь» статья «Случайные заметки» – одно из немногих свидетельств его озабоченности национальной проблематикой. Чуковский замечает, что национальность – не фикция, не совокупность стереотипов; что Пушкин, Толстой и Достоевский так громадны потому, что за ними стоит многовековой и многомиллионный народ: «у них не было ничего случайного, ибо все было национально…» А продиктованы «Случайные заметки» беспокойством о еврейской молодежи, которая в Одессе «ведает всю духовную культуру» – ходит на лекции, пишет в газеты, читает доклады и т. д. Молодые люди оторвались от своей национальной культуры, говорит Чуковский, и не примкнули к культуре русской, воспринимая ее «лишь постольку, поскольку она классовая, а не национальная».

Здесь впервые у него встречается мысль о том, что человеку необходима почва под ногами, нужно знать свои корни и примыкать к долгой духовной и культурной традиции; иначе – беда: «Отсюда такая поразительная легкость, с которою у нас меняются всякие течения, направления, идеологии: самопожирающая беспочвенная мысль летит, куда придется, бесплодная, лишенная благодати творчества, оторванная от внутренней, сердечной, народной правды». Об этом он не раз еще будет писать в своих статьях, говоря о связи беспочвенности с фрагментарностью и неустойчивостью мировоззрения, с безмыслием и готовностью слепо слушаться моды. Евреи в русской литературе для него только особенно ярко иллюстрируют, к чему приводит попытка отказаться от своей культуры. Этому посвящена его статья 1908 года, вызвавшая длинную и бурную дискуссию, которая в конце концов свелась к полемике между историком и писателем Таном (Богоразом) и Жаботинским – один говорил о неотъемлемом праве рожденного в России еврея писать по-русски, другой – о необходимости быть евреем. Чуковский писал, собственно, что евреи не дали на тот момент русской литературе ни одного выдающегося писателя – как будто для них какой-то генерал ввел в ней черту оседлости, замечал К. И. Кто-то высказывал уже мнение о слепоте Чуковского: что значит «ни одного», ведь уже совсем немного оставалось до Пастернака и Мандельштама! Да, немного: Мандельштам начал публиковаться через три года, в 1911 году, Пастернак – в 1913-м, а оценить их значимость для русской поэзии стало возможно еще позже. Пророческий дар для литературы, конечно, не редкость, но ведь тут Чуковский даже не

пророчил, а констатировал статус-кво на 1908 год. Чуковский, собственно, не о евреях даже говорит, а о трагедии человека, лишенного связи с родной культурой: «Еврей, вступая в русскую литературу, идет в ней на десятые роли не потому, что он бездарен, а потому, что язык, на котором он пишет, – не его язык; эстетика, которой он здесь придерживается, – не его эстетика, – и я уверен, что приведи сюда самого Шекспира и сделай его русским литератором, он завтра же заказал бы себе визитную карточку:



И поехал бы интервьюировать Стесселя;[3] или перевел бы Ведекинда;[4] или написал бы стихи в стиле Валерия Брюсова».

Собственно, речь идет не столько о национальном вопросе, сколько о феномене беспочвенности человека, духовной пустоты, обусловленной отпадением от традиции; и упомянутые Пастернак и Мандельштам не могут быть доказательством неправоты Чуковского, ибо и тот и другой были накрепко связаны с мировой культурной традицией тысячами нитей.

Статья эта, где К. И. вдруг заговорил на темы, поднимать которые было не то чтобы неприлично, но абсолютно неполиткорректно – хотя такого термина тогда и не было, – стала предметом горячего обсуждения в обществах и кружках (к примеру, вызвала яростный спор в Еврейском литературном обществе), в прессе и частных разговорах (подробно об этом можно прочесть в «Чуковском и Жаботинском» Е. Ивановой). Тэффи иронизировала в «Зрителе»:

Говорят, Корней Чуковский
Нынче строчит ахинею.
Говорят – на ахинею
Строчат все ответ Корнею.
«Ах! держитесь вашей расы!
Ах! еврей лишь для еврея!
Папуасам папуасы»!..
Где же корни у Корнея?
…
Ах! Индей поймет пампасы,
Аш[5] до слез еврея пронял…
Но Корней какой же расы,
Что никто его не понял?

Какой же расы Корней? Национальное, народное для

Чуковского практически синонимично подлинному, истинному, искреннему. В писателях и художниках он высоко ценит их верность национальному духу – русскому, грузинскому, ирландскому – какому угодно, но родному. В дневниках Корнея Ивановича и воспоминаниях о нем мы встречаем множество свидетельств его живого интереса к чужим национальным культурам; всякое переводное стихотворение он хотел услышать на языке оригинала, будь то польский, аварский или киргизский, в каждую национальную культуру умел влюбиться, находя в ней нечто неповторимое и величественное. Космополитизм Чуковского – не «безродный», как стало принято говорить полвека спустя, а самый почвеннический: он понимал, какие богатства дает родная культура, и был невероятно жаден до чужого духовного добра. Его космополитизм вырос из любопытства, желания понять – и, наконец, из любви. Можно здесь, кстати, вспомнить и мысль Андрея Вознесенского о том, что в имени, которое он выбрал для себя, прячутся «корни». Можно вспомнить и о том, как Чуковский, не зная языка, пытался прочитать книгу Льва Квитко на идиш, подаренную ему автором: вот эти закорючки, должно быть, значат «Лев», а это слово – «Квитко»… Подписи к картинкам дали ему еще несколько букв… так, буква за буквой, как в «Пляшущих человечках» (которых, кстати, перевели его сын с женой, а сам он отредактировал), Чуковский увлеченно разбирал еврейскую грамоту. Просто из желания понять, как звучат эти звонкие, легкие стихи на самом деле, разобраться в природе их обаяния.

Сам он, однако, не уверен в собственных корнях. Он – незаконный сын мамы-украинки и отца-еврея, выросший в редкостно космополитичном городе, говорящий по-русски. «Кто я – украинец, русский, еврей?» – задается он вопросом в дневнике. Пожалуй, он был и тем, и другим, и третьим. Украинскую культуру Чуковский воспринял от мамы – прекрасно говорил по-украински, любил и знал Шевченко… Русским он был не по крови, но по языку – так и вписался в русскую традицию, и через русский вошел в мировую культуру. Осознавал ли он себя вполне евреем, трудно сказать. Его одесское окружение в юности было в значительной степени еврейским – это та самая молодежь, которая «ведала всю духовную культуру» города. К тому же в Одессе, где в ту пору в самом буквальном смысле били «не по паспорту, а по морде», ему наверняка доставалось от антисемитов, невзирая на формальную принадлежность к православию. Чтобы обозвать жидом, свидетельства о крещении не спрашивали. Косвенным доказательством может служить рассказанная Чуковским в воспоминаниях о журнале «Сигнал»

история о том, как в 1906 году он прятался от полиции в Латвии, выдавая себя за англичанина, и запойный местный фельдшер, одержимый желанием вывести его на чистую воду, утверждал: «Это не англичанин, а жид».

Чуковский не мог не солидаризироваться с евреями – он и сам сызмальства был отверженным, а борцы за общественную нравственность, гонители незаконных детей и жидо-борцы сливались для него в одну самодовольную, ханжескую рожу. Таков у него инспектор Прошка, таков отец его Онегина – да мало ли их было таких, равнодушно-бездарных, агрессивных, безмысленных! Еврейские погромы случались в Одессе регулярно (вспомним, как мама в «Серебряном гербе» прятала еврейку от погромщиков в кадушке), а к началу XX века ситуация стала совсем уж взрывоопасной. Несомненно, Чуковский принимал живое участие в обсуждении еврейского вопроса – не мог же он не обсуждать больную проблему с близким другом Жаботинским, который был судьей со стороны Чуковского на упомянутом товарищеском суде и свидетелем на его свадьбе. В 1905 году Жаботинский под впечатлением от зверского погрома в Кишиневе занимался организацией еврейского отряда самообороны. Занимался не зря: погром в Одессе случился осенью того же года.

О дружбе с Жаботинским Чуковский молчал до 60-х годов: до тех пор близкое знакомство с фактическим основателем Израиля было смертельно опасным. Свидетельствуют о том показания, выбитые сотрудниками НКВД из Бабеля в 1939 году: «Из антисоветских моих встреч в Париже я должен упомянуть о свидании с Жаботинским, руководителем фашистского крыла сионистской партии. Свидание это состоялось на квартире моего друга детства, известного сиониста Иосифа Фишера».

Еврейские погромы не могли не зацепить Чуковского – и не потому, что в нем текла еврейская кровь, что он был женат на крещеной еврейке, дружен с будущим сионистом, что одесская интеллигентская среда, в которой он вращался, была почти полностью еврейской. Дело не в голосе крови или сердечной привязанности, не в чувстве «наших бьют» – точно так же возмущало и мучило российских граждан разной национальности и вероисповедания недавнее дело Дрейфуса и более позднее дело Бейлиса, и «мултанское дело», где в ритуальном убийстве обвиняли не евреев, а вотяков-удмуртов. И отнюдь не голос крови заставлял украинца Короленко взяться за их защиту – скорее зов совести и одинаковое во все времена чувство «не могу молчать». А Чуковским, пожалуй, еще двигало острое осознание несправедливости ситуации, когда государственная машина принудительно отрывает целый народ от его корней.

Однако едва ли правильно будет изображать Чуковского пламенным борцом за еврейское культурное самосознание. Переводы сонета Р. Гернетта «Песни Сиона» и стихов Лонгфелло «Сандалфон», опубликованные в «Еврейской жизни» в 1904 году; одна статья в 1904-м (упомянутые «Случайные заметки») и две в 1908-м (обе под заглавием «Евреи и русская литература», первая, упомянутая выше, вызвала бурную дискуссию в печати) плюс работа над книгой генерала Паттерсона о Еврейском легионе (еврейское подразделение, воевавшее в Первой мировой на стороне англичан и созданное тем же Жаботинским) – это почти все, что он сделал в этой области. В центре его внимания всегда оставалась русская литература.

«Мы должны идти, родные»

Подходит к концу 1904 год. Воздух сгущается, брожение все сильнее – министр внутренних дел Святополк-Мирский в докладе императору пишет, что обстановка в стране «катастрофическая». Грядет революция, которой Чуковский, конечно, сочувствует – просто потому, что он всегда на стороне обиженных и всегда за справедливость; потому, что сам он – крестьянский сын, пария, что с гимназических лет он ненавидит существующий строй. Однако серьезно заниматься революционной работой он не может, это не его стихия, он попросту ничего в этом не понимает. Но смотреть на происходящее спокойно, ничего не делая, он тоже не в силах. Он пытается понять, что может сделать, – и пока только смотрит и думает. Характерно его полное молчание в печати с 4 декабря по 20 января – период забастовок, царского указа, Кровавого воскресенья и следующей за ним волны митингов, забастовок и ответных репрессий. Но расстрел демонстрации 9 января и годы спустя не давал ему покоя: Лидия Корнеевна упоминает в «Памяти детства», как взволнованно он рассказывал о событиях этого дня своим детям, рисовал им план: вот здесь шли рабочие, вот тут уже ждали их вооруженные и готовые стрелять солдаты… Значит ли это, что в январе 1905 года он снова был в Петербурге? Едва ли. Скорее долго думал, впитывая рассказы о трагических событиях, пытался понять, что произошло в день, когда государство стало стрелять в своих безоружных граждан.

Тем не менее ему надо как-то кормить семью, что-то писать и публиковать – причем публиковать в условиях жесткой цензуры. В полном соответствии с теорией бесцельности Чуковский продолжает писать книжные рецензии: Каутский, Андреев, Минский… Самое злободневное, пожалуй, – рецензия на книгу В.

Водовозова «Всеобщее избирательное право на Западе». Основная масса статей – о литературе: рассказы Андреева, Куприн, Толстой, Чехов, Юшкевич… Он ссорится и мирится с женой, много работает, читает, ходит к друзьям. В городе идут разговоры о готовящихся погромах, о том, что в ожидании всеобщей забастовки хлеба негде купить…

Все чаще он думает, что надо ехать в Петербург, обсуждает это решение со знакомыми – и уезжает-таки туда в марте 1905 года. Оттуда шлет в Одессу «Заметки читателя» – Арцыбашев, Андреев, Дорошевич, Чехов, Минский… Пишет жене восторженные письма, полные впечатлений об увиденном и прочитанном. В середине марта Мария Борисовна приехала в Петербург, и молодые супруги провели две идиллические недели: ходили в театры, в гости к литераторам, в Эрмитаж, в музей Александра III. «Словом, отдохнула моя девочка, – радуется К. И. в дневнике. – Она поздоровела, повеселела, пополнела – выспалась, поела всласть, пива выпила. Мы только 2 раза поссорились».

Его письма жене в это время полны планов и надежд: «Деньги, ты знаешь, они у нас будут, будут непременно, стоит только работать. Будут деньги, чуть только мы переедем в Питер, устроимся здесь – лучше, удобнее, самостоятельнее. Я летом буду читать, заниматься философией, как когда-то, а то я слишком кинулся в область художественных восприятий». Мы еще молоды, убеждает он ее, у нас еще все впереди.

Наконец, в Петербурге нашлась постоянная работа – Чуковский стал корреспондентом газеты «Театральная Россия» и теперь почти в каждом номере публикует отчеты о прочитанных книгах и просмотренных спектаклях. В столице кипит революция: возводятся баррикады, бурлят митинги, скачут казаки с нагайками; у всех еще свежи в памяти январские воспоминания. Есть Чуковскому по-прежнему нечего, в кармане ни гроша, вообще он здорово напоминает д'Артаньяна на парижских улицах: так же молод, худ, вспыльчив и беден… Параллель можно продолжить: этот темпераментный брюнет со специфическим южным акцентом так же любопытен, так же хочет все видеть, во всем участвовать – наверное, и прославиться он тоже не прочь. Разве что этот д'Артаньян уже отец семейства, никаких рекомендательных писем не имеет и надеется только на собственное бойкое перо – журналистский эквивалент шпаги. Но даже не за славой и деньгами он едет в столицу, а за возможностью реализовать себя, быть в гуще событий – и литературных, и политических.

Весной 1905 года в его дневнике рядом с обычными лирическими и переводными стихами появляется нечто темпераментно-революционное:

> «Гряньте, гряньте барабаны, трубы трубы загремите,
> Ваши звуки пронесутся беспощадною толпой —
> В церкви, церкви величавой – богомольцев разгоните,
> В школу душную бегите, книгу пыльную долой,
> Новобрачные забудут сладострастные восторги,
> Вы разбудите безумных в упоеньи шумных оргий, —
> Вы ворветесь в двери, в окна беспощадною толпой.
> Громче, громче барабаны!
> Трубы, трубы загремите».

Это одна из попыток переводить Уитмена. Революция уже разгорается, грядут большие перемены. Чуковский впитывает электричество из грозового воздуха, оно потрескивает в его стихах, полных непонятных призывов. Зачем бежать в душную школу? Зачем разгонять богомольцев? В какие окна и двери должна врываться беспощадная толпа?

Наконец, на свет появилось стихотворение «Загорелою толпою» – по определению Мирона Петровского, «чрезвычайно свободный, ориентированный на события 1905 г. перепев стихотворения Уолта Уитмена „Бей, бей, барабан!“» (в 1906 году в «Свободе и жизни» Чуковский называет это стихотворение «Зачинатели»). Первая публикация состоялась в журнале «Сигнал», о котором поговорим позже. Чуковский особо оговаривал там, что строчка «в барабаны застучите, наточите топоры» – перевод с английского, чтобы цензура не придралась. В 1906 году он уже подчеркивал: «Повторяю: эта „оргия“ не оргия политических страстей; эти „развалины“ вовсе не „развалины старого строя“, – это безумная страсть творческого, созидательного дела, радости победы над дикой, непокорной природой его родины». Петровский замечает, что Чуковский «разглядел в стихотворении Уитмена иной пафос – пафос созидания» и «позднее сделал более корректный перевод».

Разумеется, в эпоху первой русской революции все это воспринималось отнюдь не в смысле покорения природы. «Подымайтесь, собирайтесь, для потехи, для игры», «мы должны идти, родные, нас удары ждут в бою», «мы пируем, мы ликуем на развалинах горящих», «мы бросаемся по скалам, мы вздымаем новь степную, мы взрываем рудники…» То, что в итоге вышло из-под пера Чуковского, весьма показательно для своего времени: сплошь общие места (да какие! – «если мертвыми падете, вас

живые заместят», ничего себе утешеньице), программы нет, смысла почти нет, зато есть топоры и готовность «бросаться по скалам», толпою, в упоенье шумных оргий – «а сегодня по могилам с ликованием пойдем…» Эдакое брожение умов и юношеское возбуждение: сидеть на месте невозможно, а что делать – непонятно. Герои катаевского «Паруса», помнится, во время уличных боев стали подтаскивать большевикам патроны, Чуковский для этого был уже великоват, но не терял надежды найти себе осмысленное занятие в этом общем брожении.

Он вспоминал потом: «Теперь мне странно даже, что эти убогие вирши казались мне в то время нисколько не хуже других и что я даже декламировал их на каком-то студенческом вечере».

К лету Чуковский уже обжился в Петербурге и вернулся в Одессу за женой и сыном. И здесь неожиданно вновь оказался в гуще событий.

Глава вторая
События

«Море пламенем горит»

Одесса 1905 года бурлила так же, как и вся страна, а может быть, темпераментнее и веселее. Это уже было не просто ожидание событий – события начались. Россия встала на дыбы, стачки, забастовки и митинги бушевали повсеместно от столиц до Кавказа, Польши и Прибалтики. Уже в феврале повсеместно всколыхнулось крестьянство, началась рабочая забастовка в Иваново-Вознесенске. Всюду создавались советы уполномоченных депутатов – причем советы не только рабочие или крестьянские, но и студенческие, тоже всерьез готовившиеся взять власть. Жаботинский в «Повести моих дней» вспоминает, что когда революция добралась до Одессы, «рабочие-электрики обратились к студенческому совету и потребовали, чтобы тот дал приказ: тушить фонари на улице или нет?»

Весной 1905 года в России бастовало 220 тысяч человек. Чуковский в это время коротко записывает в дневнике: «Перевожу Байрона для Венгерова», «поместил в „Театр. Рос.“ заметку о Сольнесе», «сижу и пишу рецензию о спектакле в Художественном театре». Он публикуется и в Петербурге, и в Одессе, куда посылает свои корреспонденции. Судя по дате публикации в «Одесских новостях» заметки о народной выставке картин в городском саду Одессы (об этом-то уж заочно написать вряд ли возможно), 28 мая он уже вернулся на юг – трудно сказать, зачем и надолго ли; скорей всего – повидаться с семьей и завершить дела перед окончательным переездом в Петербург. В Одессе уже шли многомесячные забастовки, в июне стачка охватила весь город. Страна загоралась, как дом, подожженный со всех сторон. 15 июня, в «потемкинский» день, столичные газеты сообщали о потерях на японском фронте, крупных беспорядках в Лодзи, еврейском погроме в Киеве, слухах о погроме в Белостоке, литовских волнениях в Ковно («трое городовых опасно ранены ножами»). В Риге выстрелом из револьвера убит полицейский надзиратель, в Варшаве забастовка, в Ченстохове полицмейстер ранен, в Петербурге – убит. И так – каждый день.

Накануне прибытия «Князя Потемкина» в одесский порт в городе взрываются бомбы, бастующие рабочие кидают камнями в полицию, войска, казаков. В городе остановилось движение трамваев, прекратилась торговля. 16 июня Чуковский делает в

дневнике сбивчивую, неоконченную запись: «Началась бомбардировка. Броненосец норовит в соборную площадь, где казаки. Бомбы летают около. В городе паника. Я был самым близким свидетелем всего, что происходило 15-го. Опишу все поподробнее».

Он описал этот день в дневнике (запись короткая, невнятная, неоконченная) и дважды – в печати. Один раз – по горячим следам; статья эта вышла в «Биржевых ведомостях» только через год, и Корней Иванович жаловался, что ее изуродовал редактор, опасавшийся, что иначе она не пройдет. Так что к цитатам из этого материала следует относиться с некоторой осторожностью – кто знает, не цитируем ли мы «отсебятины» редактора «Биржевки». Второй раз потемкинский день описан в книге «Из воспоминаний», вышедшей в 1958 году и тоже не свободной от цензуры. По этим рассказам, мемуарам других очевидцев, правительственному отчету и газетным сообщениям попытаемся восстановить последовательность событий в Одессе 15–16 июня 1905 года, свидетелем которых стал наш герой.

Часов в 10 утра 15 июня Чуковский пошел на бульвар пить пиво: день уже с утра был жаркий. Под мышкой он нес связку книг, которую полдня таскал с собой и лишь потом отдал какому-то бродяге – отнести домой; тот отнес. Взбудораженный город бежал смотреть на трехтрубный мятежный броненосец далеко в море. В толпе передавали слухи один другого страшнее: что команда перебила всех офицеров, что собирается стрелять по городу, от которого останется «только пиль»… В мемуарах актера Ходотова и других источниках есть упоминание о том, что восставшие надеялись построить в Одессе «Южно-Русскую республику». И особенно рассчитывали на поддержку броненосца, а за ним и всего Черноморского флота. Богатые жители бросились уезжать из города.

Заметим в скобках: 22 июня «Правительственный вестник» и «Биржевые ведомости» опубликовали правительственное сообщение о «беспорядках» в Одессе. В его основу были положены показания офицера с «Потемкина» и матроса, который ночью бросился за борт и доплыл до берега. В официальном документе говорится: матросы убили офицеров (шесть человек) и все судовое начальство – «около тридцати человек», в том числе судового врача, избили священника Пармена. Советская историография двадцатых годов утверждает, что убитых было куда меньше, врач покончил с собой, а священник упал с лестницы, будучи «как всегда, пьян». Согласно газетным сообщениям 1905 года, восставшие убили офицера Гиляровского, который застрелил матроса Вакулинчука (в печати 1905 года его

называли Омельчук), а затем стали отыскивать офицеров на корабле и отстреливать по одному. Некоторые офицеры бросались за борт, но матросы стреляли в воду – не только из винтовок, но и из 47-миллиметровых пушек. После этого с броненосца на берег отправилась шлюпка с телом убитого матроса.

«Говорю я соседу, судейскому: пойдем в гавань, поглядим матроса убитого. – Не могу, говорит, у меня кокарда. Пошел я один. Народу в гавань идет тьма. Все к Новому молу», – пишет Чуковский. Он собственными глазами видел то, что мы представляем разве что по фильму Эйзенштейна, – и все описал: забастовку на иностранных судах, трезвон корабельных колоколов, красные флажки идущих в Новую гавань рабочих с Пересыпи, повсеместно произносящих речи ораторов. «Испытываю прилив необыкновенной энергии, мне хочется кричать и безумствовать, и я готов расцеловать краснощекого, очень молодого студента, который взобрался на бочонок и с жестами записного оратора произносит горячую речь» – это описание потемкинского дня в книге «Из воспоминаний».

Чуковский спустя много лет точно и подробно описал все, что видел: палатку на конце мола, убитого матроса и его усталого товарища, повторяющего одно и то же: отмстите тиранам. По горячим следам он цитирует в дневнике далеко не хрестоматийную версию матросской прокламации: «Осените себя крестным знамением (а которые евреи – так по-своему). Да здравствует свобода!» В дневнике матрос «черненький такой, юркий», а в советской версии воспоминаний «приземистый и дюжий», и выкрикивает: «Смерть ненавистным гадам!» В статье, опубликованной в 1906 году, есть и другие подробности: возле палатки с телом убитого царит праздничное настроение, много веселых детей, все покупают и едят вишни, а в тенечке пристроились бабы с водкой и колбасой – «не революция, а пикник».

На улицы вышло множество народу, жители окраин и предместий тоже стеклись в город, все выжидали каких-то событий. И события грянули. О дальнейшем в дневнике Чуковского ничего не говорится: видимо, не хватило душевных сил описать увиденное по горячим следам. Из сложенных вместе двух версий воспоминаний следует: К. И. встретил Лазаря Кармена, тот сказал, что в городе строят баррикады, а буржуи бегут. Войска начали оцеплять гавань. Чуковский, с детства знавший городские тропки, дорожки и обходные пути, выбрался из гавани через парк и служебные ходы ресторана. Встретил в ресторане друзей, и все вместе решили плыть на броненосец.

Зачем – трудно сказать: скорей всего, из невозможности усидеть на месте, когда рядом творится история. «Зачем – мы не знали; повидать „потемкинцев“, расспросить – о чем – это было нам неизвестно, рассказать им – что – об этом мы тоже не задумывались», – писал К. И. в статье 1906 года.

На «Потемкин» вообще началось паломничество, – по сообщениям некоторых источников, приплывали в основном любопытствующие, разгуливали по кораблю. Явились члены РСДРП – Фельдман и некто «Кирилл», которые взяли на себя руководство. Правительственное сообщение возмущенно констатирует: «Не ограничиваясь произнесением зажигательных речей, агитаторы, посещая на шлюпках стоящий на рейде броненосец, уверили бунтовщиков, что войска де всего одесского гарнизона сложили оружие и все суда черноморской эскадры перешли на сторону команды „Князя Потемкина“. По словам очевидца—офицера, особенно деятельное участие в совещаниях, происходивших в адмиральском помещении, принимали двое лиц из учащейся молодежи».

Итак, два студента, актер Ходотов, доктор Яблочков, Чуковский и некий художник отправились на броненосец. Пошли в гавань тем же обходным маршрутом (через подвал, парк, забор). Взяли лодку, повезли на броненосец квас – кто-то припомнил, что на судне дефицит воды. И много лет спустя Корней Иванович с явной мукой вспоминал, что ничего лучшего они не придумали, и пытался отмыться от адресованной потемкинцам чужой глупой фразы «Здорово, ребята!» – которую Ходотов в воспоминаниях приписал ему (заметив, что Чуковский был более всех находившихся в лодке экзальтирован, не мог усидеть на месте и выкрикивал «Мы накануне великих событий!»). Поездка вообще оказалась неудачной: «Поставили мы квас на пол, сами стоим лицом к лицу с героями-потемкинцами и не знаем, что с собой делать. Ни одного слова нет на языке». Единственное, что утешало его потом, – мысль о матросских письмах родным, которые он увез с броненосца за пазухой и отправил по назначению.

В статье 1906 года читаются между тем другие важные подробности: совершенно очевидна общая растерянность – и власти, и восставших в городе, и потемкинцев. Накануне какие-то граждане все пытались лечь на рельсы, чтобы останавливать поезда, но всякий раз при приближении поезда вставали. Ораторы на митинге не согласны друг с другом, бундовцы выясняют отношения с эсерами, эсеры с эсдеками, и никто не говорит о том, что надо делать, чтобы революция состоялась. Какие-то девицы разбрасывают прокламации и сами их

подбирают, в толпе внезапно убивают человека в форме морского стражника, объявив его провокатором… В городе надеются, что на броненосце знают, что надо делать. Но на «Потемкине» тоже не знают: там тоже стихийный бунт и несогласие, и «двое лиц из учащейся молодежи» тоже не руководят восстанием: Чуковский вспоминает прощальные слова тоненького студентика, отвечавшего на вопрос, не страшно ли оставаться на броненосце: «Не то что страшно, а нехорошо, очень нехорошо. Никакого ладу у нас нет. Один говорит одно, другой другое. Мы надеемся на вас, вы надеетесь на нас». Не знали, что делать, и городские власти, и войска, которые даже не пытались предотвратить дальнейших беспорядков в гавани, а бестолково «не пущали» и колотили народ наверху. Лодка отчалила от броненосца и взяла курс на гавань.

Там тем временем начался пьяный бунт и грабеж пакгаузов. Чуковский подробно рассказывает в обеих статьях, как взламывали склады, лакали вино с земли, как среди грабителей шныряли скупщики. Ходотов вспоминает, что Чуковский восклицал: «Скоты!» В статье 1906 года К. И. упоминает об изящных барышнях, которые торговались с грабителями, о вдове с дочерью десяти лет: «Спроси его, Соня, что он хочет за этот подсвечник»; о пожарных, которые примчались молодцевато, с блеском и звоном, и, вместо того чтобы разогнать бесчинствующую толпу, набили карманы лимонами, чаем, табаком, «сели обратно на свои места и, так же блестя и звеня, молодцевато уехали обратно». В воспоминаниях советского периода упор сделан совсем на другое: босяки безобразничают бесцельно, напиваются и валятся замертво, зато заметна четкая, слаженная работа «другой категории преступников – опытных профессионалов, матерых громил, под руководством черносотенцев». Правительственное сообщение гласило: «Порт оказался во власти черни, которая бросилась повально грабить все без разбора: пакгаузы, частные склады, портовые здания, пароходы, бросала в море товары, распивала вино из разбиваемых винных бочонков. С наступлением сумерек начались поджоги, вскоре принявшие ужасающие размеры: выгорела почти вся территория порта, так как толпа не допускала пожарных к тушению огня».

Когда начался пожар, Чуковский снова был наверху, в том же ресторане, где теперь военные наблюдали за событиями внизу в подзорные трубы. В это время броненосец осветил памятник Екатерины, и рядом раздался взрыв. Очевидцы единодушно пишут: «думали, броненосец выстрелил, а оказалось, бросили бомбу»; официальная хроника утверждает, что стреляли с

«Потемкина». Выстрелов было пять – три холостых и два боевых, и только по счастливой случайности никто не пострадал.

Очень скоро гавань заполыхала вся: конторы, корабли, эстакада, электростанция, пакгаузы, склады, вагоны… И – «чудо», пишет Чуковский: загорелось море, в которое вылилось немало нефти, керосина, масла… «Море горит оранжево-фиолетовым пламенем», – пишет он, и кто не угадает здесь образа из будущей «Путаницы»: «Море пламенем горит…». «Во время пожара сгорело, согласно донесениям, немало бунтовщиков и грабителей, опьяневших до потери сознания от выпитого вина», – сообщает официальный отчет.

Власти потеряли весь день, не зная, что делать. Никто не мешал толпам идти в гавань, никто не прекратил грабеж и безобразия, когда их можно было еще прекратить: власти боялись «анфиладного огня броненосца». Но с началом катастрофического пожара власть очнулась. «И тут произошло нечто невозможное, сверхъестественное, – писал Чуковский в статье 1906 года. – Раздались внизу выстрелы». Согласно правительственному сообщению, «несколько раз в течение ночи, стреляя из револьверов, толпа надвигалась в сторону войск, но каждый раз разбегалась после залпа воинских частей». Корреспондент «Нового времени» тоже говорит: «Перепившаяся толпа хотела из порта прорваться в город». Чуковский вспоминает иное: людей, большей частью пьяных и ослабевших, бегущих из горящей гавани, встречали пулеметным огнем, они метались, прыгали в горящее море и гибли. «Бездарные полицейские власти, не имея возможности справиться с растущим революционным движением, решили отыграться на усмирении „бунта“, который сами же и спровоцировали при содействии преданных им черносотенцев. Стянув отовсюду войска, они организовали массовое убийство безоружных людей и, как потом обнаружилось, сожгли и расстреляли на узком пространстве между эстакадой и морем тысячи две человек» – это воспоминания 1958 года. «Мы, охваченные ужасом, протестовали. Против нас направили ружейные дула, – мы в панике разбежались», – это написано по горячим следам. Пулеметного огня все-таки не было: был ружейный, «пачками». Стрельба всю ночь стояла такая, замечал Чуковский в статье 1906 года, «что если случайно выстрелы прекращались хоть на пять минут, уже казалось, что чего-то не хватает».

На рассвете в гавани и на улицах собирали трупы и увозили в мертвецкие городских больниц и кладбищ. Чуковский вспоминает сотни обгорелых тел, которые вывозили подводами. О подводах со свисающими из-под рогожи синюшными руками и ногами

упоминает и Жаботинский в повести «Пятеро». К. И. всю ночь смотрел на пожар с крыши гостиницы «Лондон», а утром измазанный, грязный, в чужой крылатке, чтобы не арестовали за растерзанный вид, мимо дворницко-полицейских засад пошел домой.

В статье 1906 года он рассказывает: невыспавшиеся, злые дворники стояли группами по 3–4 человека и избивали тех, кому удалось ускользнуть из гавани, оборванных, обгоревших – «били… по глазам, по голове, били каблуками, а потом отпускали, поджидая другого. На том месте, где они стояли, установилась лужа крови, и я увидел, как они своими метлами размазывали ее по асфальту. Почему-то это ужаснуло меня больше всего – больше трупов, больше взрывов, больше пожаров – голова у меня закружилась, и я тут же на мостовой впал в беспамятство».

Дома он свалился, совсем больной. Проснувшись, пробовал писать дневник – не смог закончить. Позже, когда кончилась забастовка почты, вместе с сестрой и Лазарем Карменом рассылал письма потемкинцев, вкладывая их в конверты и надписывая разными почерками.

Наутро, согласно «Новому времени», в городе царила «полная паника»: «Хотя на улицах города спокойно, но все в ожидании, что вот сейчас „начнется“, а что и с какой стороны – неизвестно». В городе было объявлено военное положение. Одесский градоначальник Нейдгарт разместил в газетах поразительно идиотское предупреждение: «Убедительно прошу всех жителей Одессы, в виду тревожного настроения, не собираться на улицах и не примыкать к толпам во избежание несчастных случаев от стрельбы войск».

Днем продолжалось бегство жителей из города, завязались уличные бои, на улицах рвались бомбы. Правительственный отчет гласил: «Точная цифра убитых и раненых бунтовщиков пока не установлена, но составляет несколько сот человек… Кроме того, как указано выше, немало погибло и во время пожара». Вскоре бегство обывателей стало повальным. «Богатейшая и даже средняя часть населения уезжает из Одессы, оставляя свое имущество на произвол судьбы», – сообщал «Рассвет». В Кишиневе все гостиницы были забиты одесситами, а извозчики драли втридорога. Леонид Пастернак писал 26 июня П. Д. Эттингеру: «В Одессе-то что было?! Что-то невероятное, непонятное, какие ужасные последствия, ведь ни одна революция европейская не знала столько жертв, сколько у нас за последнее время!!!»

Страшнее всего было в гавани, почти полностью сгоревшей.

«Черные обломки зданий, как кости изломанных им (пламенем. – *И. Л.)* скелетов, торчали там, где накануне бился мощный пульс жизни, – вспоминал поэт Александр Федоров. – И среди обломков зданий грудами валялись скелеты да кое-где стонали, умирая, обгорелые, раненые, искалеченные люди. Доктора, санитары, полиция подбирали их, сваливали в уцелевшие вагоны, на телеги, увозили в больницы. Это была, однако, только часть. Множество народа, застигнутого пламенем и выстрелами, ища спасения, бросалось в воду и погибало в море. Долго потом всплывали трупы, и водолазы и рыбаки захватывали со дна человеческие тела…» Федоров и Чуковский вспоминают жуткую подробность: расплавленный сахар из пакгаузов заливал трупы и застывал красной коркой; санитары вырубали тела топором.

Тем же вечером «Потемкин» покинул гавань и направился навстречу эскадре, вышедшей на его усмирение. Город, объятый ужасом от происшедшего, умолк и перестал бушевать. Попытка революции кончилась кровавым безобразием. Одесская катастрофа разом выявила и наивность революционных надежд, и дикость масс, и полную несостоятельность властей, не умевших и не желавших найти иного выхода, кроме бессмысленной жестокости. На сегодняшний взгляд старинные события кажутся не так масштабны и ужасающи, как террор рубежа тысячелетий, – но сухие цифры говорят другое. Официальные и неофициальные сведения о числе жертв в России всегда расходятся чуть не на порядок. Власти говорят о нескольких сотнях, Чуковский – о двух тысячах убитых. Если он не преувеличивает (а очевидцы больших трагедий это делают часто) – то по числу жертв 15 июня 1905 года в Одессе сопоставимо с 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. И, что особенно дико, людей убивали не хорошо законспирированные террористы, а собственные власти.

За долгую свою жизнь Чуковский еще не раз убедится, что бездарность и жестокость далеко не всегда синонимичны самодержавию; он еще увидит красный террор и ежовщину, переживет аресты и смерть близких в нескольких волнах репрессий, услышит известия о расстреле демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, о событиях в Венгрии и Чехословакии, – и едва ли сохранит какие-то иллюзии относительно природы власти. Но пока и он, и страна не имеют опыта жизни при иной власти, кроме царской. Пока он разделяет общие надежды на более справедливое мироустройство. Он еще не «обмозолился», не «одеревенел», как стал говорить о себе позже, когда потрясения и смерти стали явлением повседневным, чуть ли не бытовым.

Это была его первая встреча со скотской бессмысленностью

толпы и зверской жестокостью властей. Недоумение и тоска, овладевшие им, особенно хорошо заметны в написанной по горячим следам статье. Вот он спрашивает на «Потемкине» коротконогого, толстого матроса с серьгой в ухе, отчего у того на голове ссадина.

«– Это ночью один офицер, об койку меня головой.

– Что же вы сделали с этим офицером?

Он засмеялся и потупился. В эту ночь они убили многих офицеров, эти обыкновенные, спокойные люди. Вот у «Матюшенки» – я таких много видал – у него дома есть канарейка, есть японские веера, в кармане у него часы с цепочкой из серебряных пятачков – и он убийца! И он борец за свободу!» (В советской версии воспоминаний от всех размышлений об убийствах на «Потемкине» остались два слова: «упразднили начальство».)

День этот для него значил больше, чем для иного человека год. Подобный опыт не дает уже дальше жить по-прежнему. Но если нынешний человек после похожих потрясений все чаще уходит в религию, задумывается о смысле жизни или замыкается в семье, то человек столетней давности поступал ровно наоборот, направляя усилия не внутрь, а вовне, стараясь усовершенствовать мир вокруг. И молодой Чуковский, надолго заболев «Потемкиным» (он и сам пишет, что долго еще ни о чем больше говорить не мог), попытался с головой уйти в революцию. К подпольной работе, которой давно уже занимался его друг Борис Житков, он – громкий, болтливый, любопытный, нетерпеливый – был органически не способен, качества эти едва ли совместимы с нелегальной деятельностью, да и не понимал он ничего в революционной борьбе, невзирая на проштудированных Маркса и Каутского.

21 июня газеты уже сообщали, что в городе «установлен образцовый порядок, во всех частях население вздохнуло свободнее». Градоначальник устроил яростную выволочку одесской прессе, которая «достигла апогея разнузданности», «систематически подготовляя темную массу к кровавой развязке последних дней». Работать в городских газетах стало невозможно. Проведя лето в томлении по настоящему делу, опубликовав несколько заметок о книгах и картинах, Чуковский уже не мог сидеть на месте – и вскоре снова направился в столицу.

Осталось добавить несколько слов относительно двух версий воспоминаний К. И. о потемкинском дне. Над первой потрудился трусливый редактор, над второй – самоцензура и веяния времени. Но существенные различия все же есть. Статья 1906 года явственно свидетельствует о всеобщей растерянности,

неготовности к революции: руководства не было, идеологии не было, был стихийный взрыв, которым немедленно воспользовались одесские обыватели и криминальный мир; власть не смогла предупредить бесчинства и устроила в ответ чудовищную карательную акцию. Воспоминания 1958 года подчеркивают сознательность рабочих и руководящую роль партии; соответственно, ярче проявляется и роль черносотенцев, руководивших беспорядками. В «советской» версии вместо сидящих в тенечке баб с водкой фигурируют нарядные, чинные, сознательные рабочие. Убитый матрос Вакулинчук оказывается видным подпольщиком и деятелем РСДРП, а его товарищ, требуя мести, не призывает перекреститься. Даже студентик с «Потемкина» превратился в похожего на студента матросика.

Впрочем, где в обоих случаях авторская воля и где насилие над текстом, сейчас уже не установить. В основной же части обе версии воспоминаний совпадают, и небывалая одесская трагедия предстает во всей полноте. Все это – несогласованность действий революционеров, растерянность власти и ее мстительная жестокость, хищничество и свинство толпы – еще покажет себя в полной мере и принесет горькие плоды, от которых Чуковскому вместе со всем народом предстоит вкусить.

«Громить ненавистных врагов»

«Осенью я уехал навсегда к себе на родину – в Петербург», заключает Чуковский свои воспоминания о памятном июне. Последняя статья в «Одесских новостях» вышла 30 августа, а первые петербургские пошли в сентябре-октябре, так что все вроде бы сходится. Однако из воспоминаний о «Сигнале» – главного источника сведений о жизни Чуковского в Петербурге в 1905 году – следует, что в столице он был уже в августе, к концу которого успел проесть все деньги и начал бедствовать. Впрочем, даты здесь не очень важны; Чуковский часто рассказывал об одном и том же по-разному – может быть, это даже хорошо. Во всяком случае, стариковских «пластинок» – по выражению Ахматовой, историй, которые рассказываются каждому слушателю в одних и тех же выражениях, – у него не было, и у других он их замечал с неприязнью. Последняя дневниковая запись, еще одесская, датирована восьмым августа: «Манифест… Ночь. Маша отослала Кольку к маме, а сама меня мучает и себя. Просто не знаю, что с ней. Она, бедная, психически больна. И серьезно. Эх, деньги, деньги! Ей бы полечиться, а я в Петербург хотел. Нет, уж дудки-с! С суконным рылом в калашный ряд! Мне Машу ужас как жалко, – да только не права она».

Бог весть, что он имел в виду. Скорей всего, Маша, измотанная безденежьем, тревожными событиями, перебоями с продуктами, и в самом деле стала нервозна и раздражительна. А может быть, просто поссорились. Писать об этом он больше не хочет, дописывает стихи о Ламе («Их Лама подобрел – и так их обожает, / Что в дар для них приготовляет / Всемилостивый Манифест»). Стихи эти он потом опубликовал в «Сигнале», где они читались уже как намек на октябрьский манифест с дарованием свобод, однако появились на свет после опубликования 6 августа совсем другого документа – о созыве Первой Государственной думы.

В Петербург К. И. приехал вместе с женой и годовалым сыном и вновь занялся поисками работы, способной приносить стабильный заработок и общественную пользу. В Петербурге едва не на каждом углу происходили митинги, Чуковский даже выступил на каком-то из них со сбивчивой речью о потемкинских днях – по собственному признанию, ни о чем другом он в эти дни не мог думать и говорить.

Настоящее дело молодой журналист придумал себе еще летом в Одессе: «После того как я побывал на „Потемкине“ и впоследствии – там, в Одессе, – наблюдал изо дня в день кровавый разгром революции, я был охвачен непреодолимым стремлением примкнуть к общей борьбе. Так как в политике разбирался я плохо, о партиях не имел никакого понятия и был весь с головой в литературе, мне еще в июле, тотчас после потемкинских дней, примерещился некий журнал, вроде „Искры“ Василия Курочкина, – журнал, который стихами и прозой стал бы громить ненавистных врагов».

Средств для издания журнала у него не было – как не было и денег на прокорм семьи. Переезд в столицу оказался чистой авантюрой, деньги таяли, пока не растаяли совсем, и Чуковский снова стал по-настоящему голодать, а вместе с ним и его семейство. Отчего-то ни дневники, ни воспоминания современников не сохранили свидетельств о том, как ко всему этому относилась Мария Борисовна. Лондон, Одесса, Питер – это, конечно, не поездка в Сибирь за мужем-декабристом, но необходимость решительно менять жизнь и уезжать в неизвестность – то беременной, то с маленьким ребенком, – постоянные отъезды мужа, хроническое отсутствие денег, еды, минимальных удобств вряд ли особенно способствовали семейному счастью. Но нет, оба были молоды, влюблены и никакого особого достатка, как мы помним, изначально не хотели. Появление маленького Коли не могло не внести корректив в эту бессребреническую идиллию, но юные родители

не жаловались – по крайней мере письменно. В воспоминаниях об этом периоде в качестве фона постоянно наблюдаются полное отсутствие денег, долги, а также заложенные в ломбард одеяла, подушки и перламутровый бинокль жены. «Со мной голодали и жена, и ребенок», «моя больная жена», «спали на полу, укрываясь тряпьем», «галлюцинация, порожденная голодом» – вот начало жизни Чуковских в столице империи.

В воспоминаниях есть и рассказ о первом заработке: Чуковский случайно попал под казацкую нагайку, когда разгоняли демонстрацию, чудом убежал от казаков, добрался до «Биржевых ведомостей», куда шел занять денег, рассказал там о происходящих событиях, едва не теряя сознание от голода и волнения, – и получил пять рублей за новость: ввиду революции в газете не работали телефоны, новости добыть было трудно, свидетельство очевидца оказалось очень кстати. Опубликованных статей и дневниковых записей за этот период практически нет – должно быть, не до того было.

Вскоре Чуковский нашел временную работу корректором в издательстве Сойкина. Это несколько облегчило проблему, но не решило ее окончательно: «У нас не было ни корыта, ни посуды, ни лампы. Голые стены, за которые уже второй месяц не плачено. Жена не выдержала отчаянной жизни, заболела и уехала с ребенком к родным. Я же задержался в Петербурге, так как мне до смерти не хотелось расстаться с неотвязной мечтой о журнале». Добавим к этому стачки и забастовки, сильно осложнявшие быт. «К половине октября вся жизнь в Петербурге замерла, – писал Корней Иванович в 1925 году, комментируя стихи в составленном им сборнике „Русская революция в сатире и юморе“. – Жителей лишили электрического света, телефонов и прочего. Правительство было напугано. Никакие полицейские меры, даже приказ Трепова – патронов не жалеть, не оказывали действия на восставших рабочих».

Мечта о журнале была вполне иллюзорной: цензура вряд ли дала бы разрешение на подобное издание. Однако царский манифест 17 октября, объявивший в числе прочих свобод свободу печати, отменил необходимость цензурного разрешения. Общая радость по поводу манифеста оказалась несколько преждевременной: уже вечером войска разогнали собрание в Технологическом институте, причем некий корнет Фролов, увлекшись процессом, рассек шашкой голову профессору Тарле – так выглядела свежедарованная свобода собраний. В Одессе градоначальник убрал полицию с улиц, где ликовали массы, и те сразу же отправились громить еврейские кварталы. Погром был чудовищным по размаху и жестокости: детей убивали, разбивая

им головы о стены. Погибло около четырехсот человек.

Вера в свободу прессы какое-то время сохранялась. В Петербурге, Москве и провинции немедленно стали появляться журналы политической сатиры. «Сигнал» стал бы первым, если бы не технические проволочки, в результате которых он вынужден был разделить триумф с «Пулеметом» (который вышел в тот же день, 13 ноября). Чуть раньше появился «Зритель», чуть позже – «Жупел», «Светает», «Адская почта», за ними последовало множество других. Вскоре в разных городах России стало выходить больше пятисот журналов политической сатиры – откуда набралось в тогдашней русской жизни явлений, достойных осмеяния! За два первых месяца после царского манифеста только в двух российских столицах появилось на свет 84 сатирических издания (интересно, сколько вы насчитаете сейчас? Поистине за сто лет русская жизнь колоссально улучшилась). И Чуковский со своим удивительным чутьем на пробелы и неполноту во всем, что касалось печатного слова, здесь оказался одним из первых.

Издавать журнал он никакого права не имел, невзирая на царский манифест. Ему не было необходимых для этого двадцати пяти лет, кроме того, крестьянам подобная деятельность не дозволялась. Тогда Чуковский назвался купеческим сыном и взялся за формирование редакции. Главными сотрудниками журнала стали писатель Осип Дымов, тогда ближайший друг Корнея Ивановича (этому другу, кстати, посвящено несколько нелицеприятных статей – «Мещанское и его поэзия», «Ваше сиятельство, прокачу!»), и немолодая поэтесса Ольга Чюмина. Затем появились художник Петр Троянский, поэт, тогда еще студент Петр Потемкин и другие. На последней полосе «Сигнала» в списке авторов неизменно присутствует Жаботинский, о котором в мемуарах о журнале не говорится ни слова – по понятным причинам. В 1906 году в этом списке появляется и Михаил Арцыбашев, который через год-два станет объектом язвительной критики Чуковского и прославит себя проповедью «свободной любви» в романе «Санин».

Корней начал обходить литераторов с просьбой дать материалы для нового журнала. На призыв писатели откликнулись охотно: согласилась сотрудничать Тэффи, даже сухой и замкнутый Сологуб, особым революционным рвением не отличавшийся, дал стихи: «Вместе с ловкой забастовкой очень весело идет / Хоть и маленький, но все же удалой и злой бойкот». Чуть позже в редакцию сам пришел Валерий Брюсов, приехавший в Петербург, – и потащил сотрудников к себе в гостиницу, читал им стихи, сам слушал чтение Петра Потемкина. Нашлась типография, наконец, чудесным образом появились деньги:

пятьсот рублей дал певец Леонид Собинов, охотно помогавший революционным начинаниям. Потом Куприн привел издателя – некоего Бориса М., импортера угля, временно безработного по причине забастовки моряков. Хаос всегда был наиболее плодотворной средой для отечественной журналистики.

Об участии Куприна Чуковский рассказывает не без ухмылки: тот обещал ему для журнала рассказ, но увидел в кабачке бывшего одесского тюремного надзирателя и увлек его в гостиницу, где зачем-то выкрасил старику голову в зеленый цвет. На следующий день – потащил Чуковского с собой кружить по городу, по кабачкам, затем к какой-то мнимой англичанке, которой несчастный Корней переводил, пока та не начала хихикать… Правда, рассказ Куприна в «Сигнале» все-таки появился.

Журнал делался веселой компанией, делался азартно и с удовольствием. Историю «Сигналов» Чуковский достаточно полно излагает сам, нет нужды ее пересказывать. Довольно заметить, что рисунок Петра Троянского со знаменитым призывом «Тронов не жалеть!» не только обеспечил бешеный успех первого номера, но и вписал журнал в историю революционной журналистики. Такой же успех выпал на долю конкурента – «Пулемета» под редакцией Шебуева: этот потряс читателей кровавой ладонью Трепова на царском манифесте.

В первом номере «Сигнала» читателю предлагали написать буриме «на современные темы», давая рифмы «реформа-проформа, манифест-протест-арест, конституция-проституция, губернатор-провокатор, резолюция-экзекуция, Иоанн-хулиган».[6] Удивляли уроками французского: «сотня – cent, черная сотня – million, хулиган – le chuligan, хулиганы – la manifestation patriotique». Чем заканчивались патриотические манифестации черной сотни, все еще слишком хорошо помнили. О погромах «Сигнал» тоже писал – например, в «Телеграммах с театра войны»: «Ростов-на-Дону. 12 ноября. Убиты: Яков Финкелыптейн 2 лет и Сора Крумер 3 лет. С нашей стороны потерь нет».

Любопытно вот что: интеллигентная редколлегия журнала ничего не имела против террора, если он направлялся против властей. Чуковский призывал «наточить топоры», оговаривая, правда, как уже говорилось, что это цитата из Уитмена. В первом номере появился рецепт бомбы: «Берут скверного министра, двух хороших лошадей, одного кучера и оставляют четыре колеса». В третьем – «Перехваченное письмо» редактора автору: «М. Г. В присланных Вами стихах на злободневные мотивы не только нет смысла, но даже и рифма отсутствует. Вы, например, рифмуете *«Кирилл»*[7] и *«стрелял»*. По нашему мнению здесь было бы лучше:

«убил» или «*застрелил»* или что-нибудь в этом роде. Если *«стрелял»* – то уж лучше *«наповал».* В первом номере «Сигналов» изображалась могилка «болярина Вячеслава», умершего в 1904 году, – то есть министра внутренних дел Плеве, убитого эсером Сазоновым, догадывался читатель. По забору вокруг могилы вилась немецкая надпись: «Hier liegst der Hund begraben» – «Здесь зарыта собака».

Правительству подобный юмор понравиться не мог, и с новорожденными журналами началась борьба. Если раньше неблагонадежные статьи задерживала цензура, то теперь напечатать можно было что угодно – но зато потом за печатное слово приходилось отвечать по статьям уголовного уложения. «Сигнал» писал: «Печатай книги и брошюры, / Свободой пользуйся святой / Без предварительной цензуры, / Но с предварительной тюрьмой». Под судом оказались десятки журналистов. Редактора «Пулемета» приговорили к году крепости. Некоторые пустились в бега. В тюрьме сидели Минский («Новая жизнь»), Ходский («Наша жизнь»), Милюков и Гессен («Свободный народ»), Суворин («Русь») и многие другие. Суворина, правда, освободили под залог в 10 тысяч рублей.

Чуковский успел издать три номера «Сигнала», сдать в типографию четвертый и получить немного денег: «Я выкупил пальто и постель (бинокль так и погиб безвозвратно), уплатил хозяйке за комнату, и ко мне воротилась жена, оставившая ребенка у матери». Уже 1 декабря его вызвали на Литейный к судебному следователю по важнейшим делам Санкт-Петербургского окружного суда Цезарю Обух-Вощатынскому. Следователь предъявил редактору «Сигнала» обвинения в оскорблении величества (ст. 103), в оскорблении членов императорской августейшей семьи (ст. 106), в потрясении основ государства (ст. 128). Все это содержалось только в одном, третьем, номере журнала. Перед Чуковским стояла дилемма – внести залог в размере 10 тысяч рублей или сесть в тюрьму до суда. Всех денег у преступного редактора было три рубля. Популярные верования, что на эту сумму до революции можно было купить корову, совершенно лишены основания, но недорого поесть в течение нескольких дней она позволяла. Для вечно голодного Чуковского сумма в десять тысяч была астрономической, что отмечала даже пресса: такие, мол, деньжищи можно требовать с маститого Суворина, но не с начинающего журналиста.

В итоге начинающий оказался в предварительной тюрьме на Шпалерной улице. Там, судя по позднейшим дневниковым записям, он читал Твена «и хохотал до икоты», переводил

Уитмена и Роберта Браунинга, закончил статью об Уитмене для «Весов». Обвинения предъявили и Ольге Чюминой за опубликованные в журнале стихи о принцессе Поль-Мари, но сажать не стали из уважения к летам. К стихам была сноска: «По-венгерски имя ставится не впереди, а позади отчества или фамилии». Разумеется, всякий читатель производил требуемую операцию, получал в результате великую княгиню Марию Павловну и к ней уже относил строки о том, что она не блещет чистотой, что ей не по плечу горностаевое манто: «Средь измен перед страною, что должна мне быть родною – я в грязи его влачу». Это стихотворение и подпало под статью 106.

Кроме этих стихов, крамольными были признаны: сообщение о митинге самодержцев, где государи требовали восьмичасового рабочего дня и других льгот («Об окончательном расчете народ обязан заявить Rex'у не позже, чем за 2 месяца, дабы он мог приискать себе другие занятия и не оказался бы вместе с семьей выброшенным на улицу»); строфа стихотворения Чуковского – «А ты, пигмей и телом и душой…» (оскорбление императора) и упомянутое выше «Перехваченное письмо» (должно быть, призывы к насильственному свержению строя). Наконец, упоминался также портрет портного на последней странице. Портной сидит, поджав ноги, и что-то сшивает – при отвратительной полиграфии на чернющей картинке очень трудно разглядеть в портном Витте, а в тряпье мантию с двуглавым орлом, но все, кому надо, – разглядели.

На следующий день после ареста редактора «Сигнала» столичная пресса встала на дыбы, особенно возмущаясь непомерной суммой залога. Издательница журнала «Современный мир» Мария Карловна Иорданская, жена Куприна, взяла требуемую сумму из средств издания и внесла залог. Через девять дней после ареста Чуковского выпустили. Как раз к этому времени в Москве начался разгром вооруженного восстания, вспыхнувшего в ночь с 9 на 10 декабря – логического продолжения бушевавших в городе стачек и забастовок. В городе шли уличные бои.

В столице большинство ежедневных газет пропустили восемь номеров подряд, а в Москве экспроприаторским порядком издавались одни «Известия Совета рабочих депутатов». Давая ретроспективную хронику московских событий, газета «Русское слово» писала: 12 декабря – «на окраинах бой», «стреляют тяжелые орудия», «передвижение по улицам по-прежнему затруднено, так как пули продолжают бороздить воздух во всех направлениях». 14 декабря – «Общее число убитых и раненых обывателей и революционеров еще не определено, но говорят, что

цифра превысила уже 1000 человек». 18 декабря – «Весь вчерашний день войска громили Пресненский район». «Москву брали, как неприятельский город, осыпая дома картечью», – писал Чуковский двадцать лет спустя. Революцию задавили. По всей России карательные отряды занялись усмирением бунтов.

«Революционные вихри девятьсот пятого года стали понемногу затихать. Впервые после тюрьмы оказавшись на Невском, я сразу почувствовал это по тысяче мелких признаков», – пишет Чуковский, перечисляя среди примет наступившей реакции нарядных дам в огромных шляпах, чиновников, царские портреты в витринах книжных магазинов, розовые и голубые лампадки, вновь затеплившиеся перед иконами, шествия с хоругвями и опять-таки царскими портретами. Не упоминает он, однако, других событий, главным среди которых было создание политический партий и созыв Государственной Думы: удушение революции сопровождалось ограничением самодержавия конституционными рамками.

Неутомимый прокурор Камышанский тем временем возбуждал все новые и новые дела против прессы. Сатирические издания закрывали через несколько недель существования, редакторов привлекали к суду – в основном по статьям 103, 128 и 129 (оскорбление величества, покушение на свержение существующего строя, призывы к восстанию). Дела о потрясении основ государства, объяснял юридический еженедельник «Право», рассматриваются только при закрытых дверях. Журнал «Бурелом» констатировал: «Нельзя писать о бюрократе, / Об офицерстве, о солдате, / О забастовке, о движеньи, / О духовенстве, о броженьи, / О мужике, о министерстве, / О казни, о казачьем зверстве, / О полицейских, об арестах, / О грабежах, о манифестах, / Но остальное все – печать / Должна сурово обличать. / Когда ж напишешь – посмотри / „128“ и „103“».

Журналы не сдавались: один редактор садился в тюрьму, другой продолжал его дело, один номер арестовывали – выходил второй, под слегка измененным названием. Пока Корней Иванович сидел в тюрьме, в свет вышел четвертый номер «Сигнала», не менее ядовитый, чем первые три. Наконец, – где-то между 16 и 20 декабря – Чуковского приговорили к заключению в крепости на полгода и на пять лет лишили звания редактора, а «Сигнал» запретили. Издатель скрылся, а зять квартирной хозяйки долго изводил Марью Борисовну и, наконец, вышвырнул «политического» с женой из квартиры, так что Чуковские перебрались на Васильевский остров.

Чуковского и Чюмину взялся защищать известный адвокат Оскар Осипович Грузенберг, тогда уже входивший в славу: он

добился оправдания подзащитного в одном из первых дел о ритуальных убийствах, зимой 1905/06 года без конца защищал редакторов и журналистов (Чуковский впоследствии посвятил ему книгу как «защитнику писателей»), а позднее прославился тем, что стал одним из трех бескорыстных адвокатов Бейлиса в нашумевшем деле о ритуальном убийстве мальчика Ющинского. Приговор был опротестован, и Грузенберг добился оправдания сотрудников журнала в одной из судебных инстанций. Куприной-Иорданской вернули ее десять тысяч.

Дело Чуковского—Чюминой слушалось несколько раз, и всякий раз Грузенберг придерживался одной и той же стратегии защиты: а вы докажите, что здесь идет речь именно о царе и членах его семьи. С чего вы это взяли, где это написано? Это вы сами придумали, г-н прокурор, что здесь говорится об особах императорской фамилии, вы, получается, сами их и оскорбляете. Уже в январе Петр Потемкин ехидничал в «Сигналах»: «Не будь прокуроров, скажи, кто оскорблял бы Его Величество?»

«Сигналы» стали выходить вместо запрещенного «Сигнала» уже в другой типографии и с другим редактором: Чуковский был лишен права издавать журнал, и подставным редактором стал Владимир Турок, известный сатирическими стихами, которые он публиковал под псевдонимом «Вилли». Первый номер «Сигналов» вышел 8 января; вдогонку появилось «Экстренное приложение к журналу „Сигнал“» – по свежим следам московского восстания. На обложке московский генерал-губернатор Дубасов кромсал свежий труп, а по стене, как туши в мясницкой, были развешены распотрошенные люди. Другая иллюстрация изображала рождественскую елочку, увешанную трупами, пистолетами, патронами, пулеметами и кандалами. Осип Дымов опубликовал святочный рассказ следующего содержания:

«Страшное происшествие.
Святочный рассказ.
1905 г.».

Тем временем прокурор Камышанский, возмущенный четвертым номером «Сигнала» (там на обложке кого-то душили в кровати – явный намек на судьбу Павла I), снова обратился в сенат, сенат вернул дело в суд… и все началось сначала. Чуковского снова призвали к следователю, чтобы предъявить новые обвинения по 103 и 129 статьям. Обвинения были не так уж беспочвенны: и оскорблений величества, и призывов к восстанию в журнале хватало, как ни жаловался наш редактор в дневнике, что следователь цепляется к невиннейшим заметкам.

Опять начались допросы, опять встал вопрос о тюремном заключении или внесении залога, Чуковский снова попал в тюрьму на Шпалерной, но залог (на сей раз в тысячу рублей) внесла Ольга Чюмина. «Жена редактора склонность к одиночеству имеет», – комментировал Петр Потемкин в своих «афоризмах Фомы Пруткова».

Издание «Сигналов» уже становилось Чуковскому в тягость: новый подставной редактор вовсе не горел желанием сидеть в тюрьме, и потому журнал становился номер от номера тише и глаже. В двух номерах подряд он печатал поэму Алексея Константиновича Толстого «Сон Попова». Она только что появилась в бесцензурном виде и даже не утратила актуальности, о чем сам Чуковский только что написал в «Ниве». И злободневность эту «Сигналы» подчеркнули, изобразив на иллюстрациях современных политиков в виде героев старой сатиры. Однако при всем уважении к Толстому это была уже не журналистика.

Кроме того, ожидая закрытия издания и нового периода безденежья, Чуковский устроился секретарем к Евгению Ляцкому – критику журнала «Вестник Европы». Эта работа оказалась довольно важной – и потому, что он смог хоть немного печататься в одном из самых уважаемых российских журналов, и потому, что Ляцкий и его жена Вера Пыпина, родственница Чернышевского, привлекли К. И. к работе над архивом отца Веры Александровны, известного историка Александра Пыпина. Чуковский, чтивший русских литераторов больше, чем любых святых, получил возможность увидеть оригиналы писем Тургенева, Белинского, Некрасова, вести серьезную литературоведческую работу. Он ходил в гости к Ольге Сократовне Чернышевской – хотел узнать у нее, как Некрасов относился к Николаю Гавриловичу, спрашивал, какие некрасовские стихи тот больше всего любил. «Мы разошлись на полпути, мы разлучились до разлуки», – прочитала она. Стихи нигде не были опубликованы, Чуковский нашел их только спустя двадцать лет и опубликовал в 1931 году, поразившись памяти 73-летней Ольги Сократовны, рассказывала ее внучка Нина Чернышевская.

Пока что Корней Иванович роется в литературных и житейских историях минувшего века только потому, что это его живо интересует, – идея всерьез заняться некрасоведением появится несколько позднее. В январе он приводит в дневнике престранное письмо к Куприну, означающее денежные расчеты за уже присланные строчки и аванс за будущие: «Я, верный твоего превосходительства Корней, шлю вам дифференцию в 41 линию, сия же суть 20 руб. с полтиною…» и с иронией записывает

дальше: «Я уже не тот, который писал сюда до сих пор. Я уже был редактор-издателем, сидел в тюрьме… сейчас состою под судом, за дверью висит моя шуба (до этого года у него всегда было плохо с теплой одеждой. – *И. Л.)* – и обедаю я почти каждый день».

Жена уехала в Одессу проведать сына, он рассказывает ей в письме: «Журнал наш сегодня законфисковали – но на этот раз мы не были идиотами – и полиции досталось только 10 000 экземпляров. Сатирический журнал издавать в Петербурге теперь невозможно, и я проэктирую преобразовать „Сигналы“ в чисто литературный журнал с легким оттенком сатиры. Да ну их к дьяволу – эти „Сигналы“ – не пиши о них ничего». Гораздо интереснее, по его словам, вот что: в «Сигналы» к нему явился сам Валерий Брюсов – «пришел просить моего постоянного сотрудничества в „Весах“». Примечателен постскриптум: «Ты должно быть, не знаешь, что из-за моих „Загорелою толпою“ убили в Москве человека. Нашли у него стихотворение, сочли за прокламацию и убили».

Весь январь он читает, учит английский, ждет приезда жены, которая снова уехала к сыну, пишет о Плеханове и Брюсове, знакомится с Вячеславом Ивановым, усердно занимается английским, переводит Браунинга.

В конце января приходит очередная повестка от следователя – «это уже третье дело, воздвигающееся против меня», фиксирует К. И. Он скучает без жены, боится, что его снова арестуют сразу после ее приезда, и она останется «на улице без куска хлеба». У него ячмени на обоих глазах, неделю он пролежал с завязанными глазами и даже не мог читать – и все равно сделал за этот месяц невероятно много. Он в жестокой тоске: «тут у меня нет ни одной души, кому бы до меня было хоть немного дела»; «большей частью занимаюсь, а если нет, – шляюсь – у меня бесконечная, тяжелая, неразгоняемая тоска. Душа болит, как зубы, – как никого мне не надо, и ничего не хочу, и смерть, смерть, смерть – вот одно, что я знаю, о чем я думаю, что я ношу с собой». «Машенька, дорогая, приезжай».

31 января он был у следователя, о чем записал в дневнике: «Плохо мое дело. Придирка к совершенно невинной статье, лишь бы меня погубить». Прищемил палец дверью, боль страшная, палец опух. Ячмени еще не прошли. Чуковский несколько ночей не спал. На 7 февраля назначен суд. Друзья советуют бежать за границу, но он пока гонит эти мысли прочь: «Чепуха. Я почему-то верю в свое счастье». Тем более снова приехала жена, которую он так ждал.

Во втором и третьем номерах «Сигналов» появляется объявление о скором выходе в свет книги литературных очерков

Чуковского «Не кстати», куда должны были войти его последние статьи. Книга так и не вышла.

7 февраля Грузенбергу снова удалось добиться оправдания Чуковского. 19 февраля еженедельный журнал «Право» посвятил рассмотрению дела целую статью. Остроумная линия защиты создала интересный с юридической точки зрения казус: можно ли считать оскорблением статью или рисунок, где оскорбляемый не назван прямо, а есть только намек на его личность. «Санкт-Петербургская судебная палата нашла, – писал журнал, – что для ответственности за оскорбление кого-либо в статье или изображение без названия имени и титула оскорбленного, необходимо, чтобы по содержанию этой статьи или рисунка можно было легко распознать личность, имевшуюся в виду оскорбителем; надругательство над кем-либо в статье должно быть объективно явно, а не субъективно-допустимо». Палата, как следует из статьи, рассматривала жалобу, принесенную Чуковским: он просил прекратить судебное преследование или хотя бы изменить меру пресечения. Судьи не нашли в третьем номере «Сигнала» ничего криминального и постановили дело прекратить. Однако исполняющий должность прокурора обжаловал приговор в Сенате, поскольку полагал, что оскорбление достаточно явно, журналы для того и говорят загадками, чтобы читатели их разгадывали. Согласно «Праву», Сенат жалобы и. о. прокурора не удовлетворил. Тем не менее вскоре дело вновь вернули в Судебную палату «для нового рассмотрения в новом составе», и 14 февраля следователь Обух-Вощатынский вновь прислал Чуковскому повестку.

И тут приключилась странная история, которую Евгений Ляцкий удачно окрестил «Меддумским водевилем». Не очень хочется пересказывать Чуковского, но его воспоминания – единственное сохранившееся свидетельство, и далеко не всякий их читал.

Водевиль

Новая повестка означала неминуемый арест: Обух-Вощатынский предпочитал содержать государственного преступника под стражей. Впрочем, в государственных преступниках и потрясателях основ ходили чуть не все столичные редакторы. 7 февраля, в один день с Чуковским, судили Юрицына («Сын отечества») и Равинга (латышская газета «Peterburgas Awisas») – эти двое потребовали вызвать в суд графа Витте, чтобы он засвидетельствовал, что в стране объявлена свобода печати. Интересней всего, что суд их требование удовлетворил, признав,

правда, что министр имеет право дать показания, не являясь в суд. В тот же день обвинение в потрясении основ государства предъявили Нотовичу («Новости»), Скирмунту («Борьба»), Пятсу (эстонская «Teataja»), Зимину («Овод»). В тот же день конфисковали журнал «Паяц», издаваемый студентами Вышомирским и Грюнеберг-Вальгисом, причем последний уже сидел в тюрьме. Произвели обыск у сотрудников журнала «Буревестник». На следующий день, 8-го февраля, обвинение по той же статье было предъявлено Бронштейну («Молодость»), Эрастову («Буря»), Дучинскому («Русская газета»), Ходенкову («Петербургская газета»). Некоторых журналистов даже защищал тот же Оскар Грузенберг.

Несмотря на такую большую и теплую компанию коллег, в тюрьму Корнею Ивановичу совсем не хотелось. 18 февраля Чуковский собрал вещи, написал длинное письмо жене и сел ждать, пока за ним придут. И за ним действительно пришли. Но пока полицейские и дворники поднимались, подследственный вдруг вскочил и удрал: по черной лестнице наверх, через соседскую квартиру до парадного – и парадной лестницей на улицу. Пока что он еще собирался отправиться к следователю, но только своим ходом, а не под конвоем. Решил проститься с Ляцкими. Они приняли его тепло, дали новый заграничный чемодан взамен потертого, клетчатую кепку взамен старой дрянной шапки, и Ляцкий заметил, что Чуковский стал похож на некоего англичанина Вильямса. Дал ему сто рублей – за работу над архивом и две рецензии в «Вестнике Европы». Пришел Михаил Николаевич Чернышевский, сын Николая Гавриловича, и вслух помечтал о том, чтобы удрать на праздники в Меддум – местечко под Двинском, нынешним Даугавпилсом, где у семей Пыпиных и Чернышевских были свои небольшие владения.

Чуковский вышел от Ляцких, сел на извозчика – и вместо тюрьмы, к своему удивлению, направился на Балтийский вокзал: «Кто же станет отправляться в тюрьму с таким великолепным чемоданом, в такой замечательной кепке, имея от роду двадцать три года, а в кармане сто десять рублей, и зная, что где-то есть Меддум, очаровательный Меддум, в снегах которого, как только что сказал Михаил Чернышевский, так хорошо отдохнуть после промозглой петербургской зимы». Конечно, петербургская зима с ее ветром, темнотой и хмарью сама по себе безрадостна – но добавьте к этому постоянное балансирование на грани голода, ответственность за жену и ребенка, добавьте руководство журналом, ожидание суда, перспективу в третий раз оказаться в тюрьме, на сей раз уже на полгода-год, а потом снова искать работу… «Мое двадцатитрехлетнее сердце было в эти последние

месяцы сдавлено такими тисками, что едва – хоть на несколько дней – оно вырвалось из этих тисков, оно захотело куролесить и школьничать, опьяненное непривычной свободой».

Он несколько раз повторяет: «будто это не я, а кто-то другой» – нет, это был он сам, до конца жизни сохранявший способность совершать странные для взрослого человека поступки: валяться на полу, прыгать через стулья, кричать от радости во весь голос, на улице играть с дочерью в хозяина и собаку и вести ее, изнемогающую от восторга, на поводке, не обращая ни малейшего внимания на прохожих… Он даже учил детей лаять на злую собаку. Нонконформизм не вылился у него в открытое противостояние обществу или власти, да он и не ставил перед собой таких задач после 1906 года – но безусловно помог сохранить себя и некоторое пространство внутренней свободы.

Через тридцать с лишним лет, в ситуации куда более трагической, он уговорил бежать из Ленинграда дочь Лидию. Уже был выписан ордер на ее арест – и бегство в Киев, а из Киева в Ялту спасло ей жизнь.

Решение удрать принято, и дальше поступки нанизываются сами один на другой, это получается так азартно, просто и музыкально, что Чуковский не устает поражаться происходящему. Он взял билет на поезд до Двинска. Вспомнил, что генерал Ушаков, владелец имения Меддум, дешево продает земельные участки. Послал туда телеграмму, что едет покупать участок, потребовал выслать лошадей к поезду – и подписался «Вильяме» (квитанция на телеграмму вклеена в дневник). Пошел к парикмахеру, сбрил усы, сделал английский пробор. Уселся в поезде читать Суинберна в оригинале. Спорол с белья метки «К. Ч.», вынул из калош медные инициалы, чтобы никто в нем не опознал русского, и отправился в имение Ушакова, где прожил несколько дней. Полвека спустя Чуковский назвал их лучшими в жизни, единственными беззаботными днями, какие подарила ему молодость.

Его теперь зовут Уильям Уильфред Уиллз Уильяме, или по-русски Владимир Федорович. Он изъясняется по-русски с английским акцентом. Ест медовые оладьи и сахарные пышки, гуляет по окрестностям, собирает вокруг себя стаи детей, которым рассказывает английские сказки, знакомится с местными жителями и морочит им головы. Некоторые, впрочем, что-то подозревают; мы уже упоминали выше пьяницу-фельдшера, который кричал: «Какой он англичанин? Он жид!» – и рылся в бумагах Чуковского, и непременно разоблачил бы его, если бы не ушел в запой.

Вокруг благостного имения – тоже революция: повсюду бушуют восстания латышских крестьян, их подавляют карательные экспедиции, и губерния на военном положении, а «беспаспортного, убежавшего от суда самозванца» могут в любую минуту разоблачить и отправить обратно под конвоем. Окончательно убедила его в этом поразительная случайность, живо и весело описанная в воспоминаниях. За ним заехал военный, чтобы показать свое выставляемое на продажу имение, привез к себе, где вверил попечению тещи и очаровательной жены-польки. С нею Чуковский долго и с удовольствием беседовал о польской литературе («Я с неподдельным восхищением слушаю в подлиннике музыкальнейшие строки Мицкевича и буквально изнемогаю от счастья»), упорно изъясняясь на ломаном русском: образованная хозяйка знала английский и неминуемо обнаружила бы обман.

В какой-то момент английский гость вдруг решил выяснить у хозяйского денщика, как фамилия хозяина. И окаменел: того звали Владислав Иванович Обух-Вощатынский. Подследственный угодил в гости к родному брату следователя, от которого так удачно удрал! В итоге Чуковский ночью бежал из Меддума в Двинск, оттуда в Петербург и сразу к первому Обуху, который чрезвычайно обрадовался новостям от родственника – и посулил суровый приговор. Правда, не стал добавлять к «оскорблению величества» новые статьи – за слишком молодой для редактора возраст и неподходящее социальное положение.

На этот раз суд был назначен на 22 марта, обвинителем стал сам прокурор Камышанский. В зал подсудимого ввели двое солдат с обнаженными шашками, из всех близких пустили только Марию Борисовну, которая снова приехала в Петербург. Оскар Грузенберг блестяще выиграл дело, вновь объяснив суду, что если прокурору Камышанскому мерещатся в изображении «осла, дегенерата, пигмея» черты императора, то в оскорблении величества виноват прокурор, а не журналисты, опубликовавшие упомянутое изображение. Чуковского оправдали – и он, «потрясенный неожиданным счастьем», вдруг начал «реветь – реветь неприлично, со всхлипами здесь же, в зале суда, на плече у жены», и долго не мог остановиться.

Затем Грузенберг отыскал сбежавшего издателя «Сигнала» и вынудил его отдать Чуковскому гонорар. Наконец-то кончилась зима, наступила свобода, появились деньги, приехала жена. Счастливая пара решила уехать на Пасху в тот же Меддум; отправились туда и друзья – Ляцкие, Пыпины, Чернышевские. В имении все, как ни странно, оказались рады «Владимиру Федоровичу», и только фельдшер заметил: «Я сразу угадал, что ты

бомбист», да дьякон посматривал укоризненно. «Это, впрочем, не помешало мне в первый же день пасхи сразиться с ним на бильярде, – замечает Чуковский, – и (так как он неизменно проигрывал) всякий раз вскакивать к нему на спину и гнать его галопом из комнаты в комнату, согласно условиям игры». И снова – несколько дней счастья, общения с друзьями, беззаботного веселья. В это время он встречался и с Ольгой Сократовной Чернышевской, сидел с ней на скамеечке над озером, слушая рассказы о прошлом. Сам Чуковский говорит, что как раз тогда с ней познакомился, но Нина Чернышевская упоминает о визите Корнея Ивановича к ее бабушке в 1905 году; неизвестно, кому из мемуаристов следует верить, да не так уж это и важно.

В марте, однако, дело все равно не закончилось, а пошло на новый круг. В это время в стране прошли выборы, появилась новая редакция «Основных законов», гарантирующих основные гражданские свободы, – фактически абсолютная монархия стала превращаться в конституционную. Заработала первая Государственная Дума, сразу прозванная в печати «Думой народного гнева» и сильно смахивавшая на Первый съезд народных депутатов в перестройку: много эмоций, саморекламы, сотрясения воздуха и освистывания, но мало реальной законотворческой деятельности. Дума первым делом потребовала амнистии для всех совершивших преступления в период с 17 октября 1905 года до конца апреля 1906 года (21 октября уже было объявлено помилование тем, кто совершил «преступные деяния без насилия» до провозглашения Манифеста). Редакторы, судимые за потрясение основ государства и призывы к свержению строя, попадали под возможное помилование, и Чуковский, измотанный судами, следствием и перспективой оказаться в крепости, несомненно, возлагал на амнистию большие надежды. Однако Дума требовала «освобождения всех пострадавших» – то есть участников уличных боев, террористов, поджигателей, экспроприаторов… На это правительство пойти не могло.

Последнее газетное сообщение о «деле Чуковского» датировано 7 мая: «Об освобождении К. Чуковского под залог». 14 мая в дневнике появляется запись: «Сегодня наверное убедился, что амнистии не будет. Значит, самое большее, через 2 недели – меня посадят в крепость». 6 июня: «Что делать, не знаю. Но и не забочусь, ибо болен, и слаб, и голоден. У меня жар. Завтра, может быть, будет в Сенате рассматриваться мое дело».

В крепость его, правда, не посадили, и чем конкретно закончилось дело – не особенно понятно. Ясно только, что он остался на свободе. Однако все эти судебно-тюремные перипетии решительно отбили у Корнея Ивановича желание заниматься

политикой: «Из истории с журналом „Сигнал“ я вывел одно заключение: я для этих дел не гожусь; общественного деятеля из меня никакого не выйдет». Стало быть, пора вернуться к литературе.

«Спасаюсь от самого себя работой»

Весной 1906 года Чуковский особенно тесно сотрудничает с «Весами», часто переписывается с Брюсовым. Во втором номере «Весов» вышла его статья о Плеханове, в номере 3/4 – рецензии на того самого Суинберна, которого он читал в поезде, едущем в Двинск, и «Книгу отражений» Иннокентия Анненского (об истории этой рецензии будет сказано позже); в пятом – «Хамство во Христе». Брюсову он пишет: «Я свободен, работаю как лошадь. Пишу в тысяче изданий».

Теперь он много переводит – Мура, Браунинга, Лонгфелло, Уитмена, Пиндемонте – и публикует переводы в «Ниве», «Мысли», «Русской мысли», «Народном вестнике», «Родной земле»… В дневниках и письмах радость освобождения чередуется с нарастающей тоской: жизнь возвращается в свою колею – с ее буднями и газетной работой, которая давно его тяготит. Еще в Лондоне Чуковский записывал в дневнике: «Благословлю ту минуту, когда вырвусь из газетных столбцов». Но пока одни газетные столбцы и способны его кормить, да и то кое-как: постоянной работы нет, приходится постоянно бегать между редакциями и ждать гонораров из нескольких мест.

29 мая: «Эту неделю мы благодушествовали: я продал стихи в „Ниву“ и в „Народный вестник“, отовсюду получил деньгу. Теперь у Струве моя заметка о Горьком». 4 июня: «Мой „Штрейкбрехер“ не пошел в „Адской почте“. Зато в „Ниве“ за этот месяц принято 5 моих стихотворений – и, благодаря им, мог работать над Уитменом. Спасибо им, дорогие!»

Он пишет и лирику, но публикует в основном переводы и сатирические стихи на политические темы: скажем, о любви штрейкбрехера и эсерки, где фигурируют «митинг звезд», «провокатор-соловей» и «агитатор-дрозд». В дневниках стихи и записи о полученных гонорарах перемежаются тоскливыми жалобами: «ничего не могу сочинить», «денег ни копейки, в голове ни одной мысли. Ни одной надежды. Никого не хочу знать». «Переводил Суинборна. Но придется бросить. Трудность не по мне. Мне рецензировать марксистские брошюры». Брюсову он в это время пишет: «Петербургская газетная среда меня гнетет до головной боли». Постоянной работы нет, где-то заметки берут, где-то нет, где-то безжалостно режут, издания лопаются,

гонорары задерживаются, приходится постоянно общаться с редакторами, секретарями, журналистами и заниматься чем угодно – только не творчеством.

Лето 1906 года проходит в будничных хлопотах: Чуковский замышляет новую статью о самоцели, читает англичан, бранит в дневнике декадентов. В «Биржевых ведомостях» к годовщине восстания на «Потемкине» выходят, наконец, его воспоминания, безжалостно искалеченные цензурой и перестраховавшимся редактором (впрочем, даже сравнивая с поздней версией воспоминаний, трудно определить, что уж такого вырубили оттуда цензура и редактор – разве что предположение о том, что правительство само спровоцировало бунт и грабеж пакгаузов).

Чуковский постоянно думает о том, где бы взять денег, чтобы платить за жилье и нормально питаться. Он потрясен роспуском Думы, означающим очередное крушение политических надежд, – об этом есть запись и в дневнике, и в статье памяти Ольги Чюминой: мрачную новость принесли в день ее именин, когда уже немолодая и смертельно больная именинница весело мяукала кошкой, гости орали песни на мостике и хохотали, как сумасшедшие.

В конце июля, получив аванс от «Нивы», Чуковские переехали: сняли три комнаты, купили новую мебель и посуду. На этом их средства иссякли. Дневниковая запись: Маша дребезжит на кухне новой посудой, а Корней, запершись в кабинете, тоскует о проходящей молодости, свободе, настоящем деле: «У меня точно нет молодости. Что такое свобода, я знаю только в применении к шатанию по мостовой. Впечатлений своих я не люблю и не живу ими. Вот был в Гос. Думе – и даже лень записать это в дневник. Что у Аладьина Чемберленовская орхидея – вот и все, что я запомнил и полюбил как впечатление».

3 августа он отчаянно пишет в дневнике: «На пальце от писания мозоль выскочил», «Спасаюсь от самого себя работой». От чего же он спасался всю жизнь – с отрочества до самой смерти в глубоко преклонном возрасте, почему он глушил себя работой, как другие водкой, что это за звук ему требовалось постоянно заглушать? Что не давало ему жить, наслаждаться молодостью, семейной жизнью, новыми впечатлениями? По дневникам явственно видно, что некий червь точил его изнутри всю жизнь:

«Все мысли, какие приходят в голову, вялы, бесцветны, бессодержательны, – мышление не доставляет, как прежде, удовольствия…»

«Уже лет пять я не жил так однообразно, так гнило».

«Нет, я не могу писать об этом, я все лгу, все лгу. О если б опять вернулась ко мне способность… Нет, не то, не то, не то.

Боже, помоги мне. Я плачу – оттого, что я ничего не понимаю, оттого, что я один, совсем один, оттого, что я чего-то ужасно хочу – но как, где, почему нет у меня ничего. Пусто. Не нужно слов. Пусто…»

Это все – на первых страницах дневника, в 1901 году.

А это – почти в самом конце, в 1964-м:

«А в 1975 году вдруг откроют, что я был ничтожный, сильно раздутый писатель (как оно и есть на самом деле) – и меня поставят на полочку».

И в 1965-м: «Сумбурно и безрадостно проходят мои предсмертные дни».

Первое прочтение его дневника вообще больно ушибает: всю жизнь думаешь, что это был веселый счастливый человек, а чтение оказывается поразительно депрессивным. «К. И. был человек одинокий, замкнутый, сломанный, бессонный, страдавший тяжелыми приступами отчаяния, – писала Лидия Корнеевна Давиду Самойлову, изумленному глубиной страдания, излитого в дневнике. – Считал себя бездарным. Мучился – долго – незаконнорожденностью».

Впрочем, самая глубокая и безысходная тоска всю жизнь уживалось в нем с лучезарной детской радостью. «Конечно, было в нем и природное веселье, – это опять из письма Лидии Корнеевны, – но, кроме того, он *требовал* от себя веселья – в особенности на людях; жаловаться он считал невежливым; вот иногда в Дневнике, иногда в письмах (в особенности ко мне)».

В преклонных годах, услышав от Татьяны Литвиновой, прочитавшей его дневник: «Боже мой, какой вы были несчастный человек», – он удивился и тут же записал: «А я и не знал, что я несчастный. Все время чувствую приливы счастья – безумные». Безудержное веселье всегда чередуется у него с безудержным же отчаянием; «мастером отчаяния» называла его Лидия Корнеевна. Дневники вообще мрачнее своих владельцев, на их страницах находит приют все то, чем совестно, страшно, тяжело делиться с окружающими – а вот счастье вспыхивает фейерверками, радует других и тает, не оставляя записей и следов. Это обычное свойство едва ли не всякого дневника – тем более дневника много пишущего человека, имеющего привычку со всякой душевной болью справляться именно так: выписывая ее – или заглушая, тоже письменной работой.

К. И. был наделен массой качеств, способных сделать человеческую жизнь невыносимой: острым чувством справедливости, чуткостью ко всяким обидам, унижениям и нелепостям. Ему очень легко было сделать больно. Он был горд, самолюбив и редкостно внимателен к мелочам. Мучительное

самокопание безнадежно отравляет юношеские годы таких людей – в его случае все усугублялось унизительным положением незаконнорожденного. Склонность к анализу своих мыслей и поступков, к поиску своей вины приносит сладкие плоды самосовершенствования и горькие – самоедства. Особенно мучительны бессонные ночи, когда перед тобой, как призраки вокруг императора в андерсеновском «Соловье», толпятся твои ошибки и оплошности, вспоминаются самые позорные и трудные минуты.

Упоминаний о бессоннице не счесть в его дневниках и письмах. Одно из самых жутких относится к 1924 году: «Вчера в тени было 22 градуса – в комнате, за шкафом. Под утро постлал на полу и заснул. Спал часа два – спасибо, хоть на минуту я *прекратился.* В неспанье ужасно то, что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе – и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника, – затуманить, погасить. Страшно жаждешь погашения своего *я.* У меня этой ночью дошло до отчаяния. Неужели я так-таки никогда не кончусь. Ложишься на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы маленький какой-то кусочек – и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: сплю я или не сплю? засну или не засну? шпионишь за вот этим маленьким кусочком, увеличивается он или уменьшается, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаками по черепу! Бил до синяков – дурацкий череп, переменить бы – о! о! о!»

Бессонница была прямым следствием тонкости натуры, ее способности остро реагировать на мельчайшие раздражители – сейчас это называют сверхчувствительностью, гипер-сенситивностью. Все он замечал, на все откликался, все волновало его, заставляло думать и страдать. Он слишком много чувствовал, понимал, воспринимал, он брал у жизни слишком много материала для обработки и временами не мог с ним справиться.

С другой стороны, бессонница проистекает от страха смерти – так утверждает психология со времен Фрейда. Боялся ли смерти Чуковский? Наверняка. Думал он о смерти постоянно. Из дневников эта тема не уходит надолго никогда.

1902: «Куды мне стихотворствовать! Дай Бог и так что-нибудь сделать – прозою. Эх! А время проходит. Ну не нужно, боюсь я думать про это. Мысль о смерти, было прогнанная мною почти на год, снова посетила меня».

1904: «Мои интересы к жизни понизились – и вот уже дней 11

я живу, как улитка. Думаю о смерти – и ничего. Ни страха, ни ужаса, ни даже равнодушия не ощущаю».

1906: «Душа болит, как зубы, – как никого мне не надо, и ничего не хочу, и смерть, смерть, смерть – вот одно, что я знаю, о чем я думаю, что я ношу с собой».

1907: «Ночью у меня бессонница. Думал о смерти. Все мне кажется, что я в Куоккала этой зимой умру».

Из года в год он носил в себе мысль о смерти. О том, что слаб здоровьем и может умереть. О том, что умрет, не сделав ничего хорошего, прожив жизнь напрасно. Со временем, когда смерть подберется ближе, он станет меньше писать о ней, но едва ли меньше думать. Смерти будет слишком много, слишком близко. В начале века он еще чувствует смерть как таковую, в химически чистом, экзистенциальном виде, – то, что стоит у каждого из нас за спиной и дышит в затылок. Безысходное одиночество, богооставленность, пустота, пронзительная тоска, которая прячется за разные причины, но имеет только одну.

Десятилетие спустя смерть станет являться ему в разных обличьях, станет более будничной и материальной. Он переживет голод, войны, репрессии, смерть троих детей и жены, близких друзей и родных. И всякий раз он будет отгонять ее исступленной работой, работой, работой без конца. Наконец, она подойдет близко и задышит совсем уж громко, и каждый год станет казаться ему последним, и ночной шепот воспоминаний у изголовья станет совсем уж несносным, и снотворные не будут помогать. Оглядываясь назад, он будет думать в тоске – нет, все плохо, все не так, – и, принимая поздравления и награды, думать, что это какая-то ошибка… Пушкинская дилемма: «Я скоро весь умру» – «Нет, весь я не умру» – один из лейтмотивов дневника Чуковского. И конечно же, он старается не то что памятник себе воздвигнуть упорными своими трудами, а хотя бы просто оправдать свое существование. Может быть, и жил он так долго потому, что постоянно отгонял от себя смерть. Она и прибрала его как-то крадучись, обманом, исподтишка.

Эстетика ради эстетики

Мелкая газетная работа изматывает, но отвлекает от тяжелых мыслей о собственной несостоятельности. Начинается кризис, надо что-то менять, сделать что-то важное и существенное, чем можно гордиться, – но что?

Осенью начались перемены. Чуковские сняли дачу в финском местечке Куоккала под Петербургом и переехали туда жить. Работа тоже появилась новая: с сентября К. И. начал

публиковаться в газете «Свобода и жизнь» под рубрикой «Революция и литература». Сначала вышла статья «Почему?», где автор ставил закономерный вопрос: «Почему именитые наши писатели думают, что, когда пишешь стихи о звездах, о женщинах, о волнах, – нужно писать изысканно, тонко, каждое слово на весу, а когда касаешься сюжетов революционных, то нужно быть безграмотным и непременно фальшивым?» Здесь он говорил о том, что русские литераторы пренебрегают формой, предпочитая быть революционными по содержанию, тогда как «в любом заморышном стишке того времени (накануне первой русской революции. – *И. Л.)* было больше вреда для буржуазного сознания, чем во всех брошюрах, которые написал и еще напишет Карл Каутский». Затем под этой рубрикой вышли статьи об Уитмене, Дорошевиче, Розанове и Брюсове. Наконец, в октябре среди этих серийных материалов появилась «Анкета».

Чуковский выступил с речами, которые революционное общество сочло совершенно недопустимыми. Ничего реакционного, впрочем, он не говорил. Он просто в очередной раз излагал свою теорию самоцельности: «Литература – абсолютна. Нельзя делать ее служанкой тех или других человеческих потреб. Нужно служить ей, обожать ее, жертвовать для нее здоровьем, счастьем, покоем – нужно, словом, никогда не думать о том Костеньке, которого она произведет в результате всего этого…» «Нужно, полезно, выгодно, необходимо, чтобы все орудия нашего бытия забыли о своей орудийности; чтобы наука даже оскорблялась, когда ей навязывают прикладные стремления. Чтобы поэт верил в искусство для искусства. Чтобы религиозный человек не подозревал о выгоде и пользе своей религиозности. Только тогда и религия, и наука, и искусство, и патриотизм, и любовь – словом, все, что ни существует для нашего бытования, – только тогда оно сослужит нам пользу, и только тогда оно достигнет тех результатов, которых мы втайне от себя чрезвычайно желаем». «Революция всегда, везде и во всем вредна литературе. И не говорите мне, что это временно, что *потом,* через революцию и благодаря революции литература расцветет пышным цветом. Во-первых, это неверно, а во-вторых, разве любовники откладывают объятия на завтра?» В конце концов Чуковский обратился к литераторам и деятелям искусства с вопросами об отношениях искусства и революции.

Что за этим последовало – рассказывает он сам в статье, озаглавленной «К анкете». Читатели возмутились: «Люди же искусства, удостоившие меня своими ответами, не соблаговолили считаться с вышеизложенными моими соображениями, а просто предпочли представить себе, что я просто-напросто выбежал на

улицу и крикнул: „Долой революцию! Да здравствует искусство!“ И предпочли в своих ответах возражать не мне, а этому мифическому чудаку».

До начала декабря «Свобода и жизнь» публиковала ответы на анкету (отозвались Андреев, Брюсов, Балтрушайтис, Репин, Станиславский, Арцыбашев, Чириков, Альбов, Куприн – и многие другие). Повалили валом и читательские отклики – тоже в основном адресованные «мифическому чудаку». Первый опубликованный ответ принадлежал Луначарскому, который доказывал, что литература обязана заниматься общественным служением, что искусство не «бесполезно», а «полезно» – потому, что «удовлетворяет запросы человека, оно смягчает его жажду, оно несет с собой наслаждение». Цели художника, говорит Луначарский, совпадают с целями революции: к уже существующим сокровищам чувств, мыслей, форм добавить новые. Поэтому истинный художник должен рассуждать в таком духе: «Так как для существования множества Данте и рассвета искусств нужен социализм, то я хочу служить ему всем, чем могу, а в том числе и моей кистью, моим пером». «Но г. Чуковский требует, чтобы художник не раздумывал над такими вопросами, а фанатически занимался ремеслом, – объявлял Луначарский. – Это-то я и считаю посягательством со стороны Чуковского на священную свободу художника».

Полемику Чуковского и Луначарского подробно анализировал Александр Гангнус в 1989 и 1991 годах, говоря о «позитивной эстетике», которой придерживался Луначарский и которая легла в основу метода соцреализма. «Гангнусу удалось показать, как „позитивная эстетика“, замешанная на модернизированном ницшеанстве, в конце концов привела не к образной, а к вполне реальной „железной руке“ казарменно-лозунговой эстетики, к „военному коммунизму“, сталинским чистками и т. д.», – резюмирует Павел Крючков в комментариях к серии статей «Революция и литература». Это было не первое и не последнее столкновение К. И. с марксистами, прямолинейно понимавшими задачи искусства. Но нельзя думать, будто Чуковский отстаивал крайние идеалистические позиции «искусства ради искусства» – его точка зрения была довольно густо замешена на материализме, разве что менее вульгарном и более диалектическом.

Закончить публикацию откликов на злободневные вопросы газета не успела – ее закрыли.

В октябре в «Весах» вышла короткая статья Чуковского «Русская Whitmaniana» – о переводах Уитмена. Больше всего в ней досталось Бальмонту – за неточности и поэтические отсебятины в

переводах жестких и физиологичных текстов Уитмена. За честь поэта сумбурно и зло вступилась его гражданская жена Елена Цветковская, подписавшаяся «Елена Ц.». Брюсов, разочарованный в недавнем соратнике – и весьма скептически относящийся к Цветковской, – поручил Чуковскому ответить. Тот откликнулся куда более ехидной статьей «О пользе брома», а в 1907 году еще больнее высек поэта за то же самовольное отношение к поэзии Шелли: строгие стихи последнего, полагал К. И., стали в переводе парфюмерно-красивыми и невнятными.

Блок, который в это время относился к молодому критику с большой брезгливостью и видел в нем не более чем глупого и нахального провинциала, писал в статье «О современной критике»: «Допускаю, что и облик Уитмана Чуковский передает вернее, чем Бальмонт, но факт остается фактом, облик Уитмана, хотя бы и придуманный, придуман поэтом; если это и обман, – то „обман возвышающий“, а изыскания и переводы Чуковского склоняются к „низким истинам“». Хвалебную рецензию К. И. о «Яри» Городецкого Блок назвал «кабацкими рекламами Чуковского».

Нельзя сказать, однако, что Корней Иванович был безусловно хорош, только люди его недопонимали. Часто недопонимал он сам – и рубил с плеча, и потом долго сожалел о содеянном. Так бывает с критиками и публицистами: кидаясь на врага, они разят в его лице ненавистное общественное явление и бывают поражены потом, обнаружив перед собой вместо грозного исполина живого человека, который может испытывать такую же боль и так же недоумевать, за что его ненавидят.

Корнею Ивановичу не раз приходилось раскаиваться в своей запальчивости. Если оставить пока в стороне более поздние истории, где свою роль сыграла и его склонность к злословию, и чужая непорядочность, – то хуже всего, пожалуй, вышло с Иннокентием Анненским. Его «Книгу отражений» Чуковский отрецензировал в «Весах» в № 3/4 за 1906 год под заголовком «Об эстетическом нигилизме»: «суконнейшая статья о суконнейшем Писемском», «записки из подполья», «думаю, что у него болит печень», «самое злое и самое желчное, что было сказано о Толстом», «злорадствует», «подпольный нигилизм», «пафос его подделен, интимный стиль его часто переходит в вульгарный». Анненский жестоко обиделся, поскольку, как справедливо замечает Евгения Иванова, такая оценка исходила из лагеря символистов, на чье понимание он мог бы рассчитывать.

«Летом 1908 года Чуковский близко познакомился с племянницей Анненского – Т. А. Богданович, через которую состоялось и его знакомство с обиженным им автором, –

комментирует Иванова. – В итоге Чуковский даже помогал найти издателя для „Второй книги отражений“ и намеревался также написать о ней, чтобы загладить свою вину». Чуковский пытался и лично извиниться перед Анненским, но ничего не получилось, а вскоре Иннокентий Федорович умер, и Чуковский написал о нем некролог… однако ничего поправить уже было нельзя, и до конца жизни критик чувствовал «горькую вину» перед Анненским. Между тем впереди были новые горести и недоразумения – прежде всего потому, что, защищая горячо любимую русскую литературу, Чуковский не щадил ни ее рядовых, ни ее генералов.

Подводило его и желание быть нелицеприятным и беспристрастным. Он не мог молчать, если против литературы грешил даже близкий ему человек: как детям доставалось за небрежные переводы, как не щадил он самолюбия маленькой дочери Муры (поздней самой близкой и любимой) и критиковал ее неудачные стихи по взрослому гамбургскому счету, – так и в печати он не разбирал своих и чужих. Доставалось от него и соратнику по «Сигналам» Дымову, и Леониду Андрееву (что надолго испортило отношения между ними), и куоккальскому соседу Алексею Толстому, и много еще кому. Уже в 1946 году Чуковский припомнил небольшую небрежность Евгению Ляцкому, о котором весьма доброжелательно говорит в цитированных выше воспоминаниях. После революции Ляцкий эмигрировал и умер в 1942 году. Чуковский, работая над Некрасовым, язвительно напомнил в статье «Григорий Толстой и Некрасов» о небольшом недосмотре своего бывшего патрона – недосмотре времен Первой мировой войны: «Хитроумнее всех поступил Е. А. Ляцкий», «Ляцкий, даже не пытаясь дознаться, что это был за Толстой, зарегистрировал его фамилию без имени-отчества и тем самым надолго сохранил его инкогнито…» и т. п. В дневнике 1922 года, кстати, Ляцкий назван «пройдохой» и «тупицей».

Чуковский, пожалуй, никогда не испытывал колебаний, выбирая между истиной и Платоном. Разве что к старости научился об этом сообщать так, что Платоны еще долго не могли сообразить, похвалили их или оскорбили: «Так понравилась ваша новая книга – больше никогда не буду вас читать, чтобы не испортить впечатление».

Осенью 1906 года Валерий Брюсов звал Корнея Ивановича в Москву читать лекцию об Уитмене. «Мой парадный сюртук чрезвычайно плох, – отвечал тот. – Говорить от себя я совершенно не умею, так что, если даже лекция и сойдет благополучно, на прениях я непременно провалюсь. А лекция может сойти отнюдь не благополучно: стихи я читаю с завываниями, прозу –

речитативом – и т. д. Оцените все эти контра, а то как бы мне не поставить в неловкое положение Вас или Уитмена».

Лекция тем не менее прошла с успехом: ее слушали семьсот человек. Читал Чуковский и в Петербурге. Лектором он оказался замечательным, держать аудиторию умел как мало кто, но каждой лекции боялся, как первой, готовился со всем тщанием. А провалы все-таки случались – и всякий раз после провала он искал, в чем причина, и делал выводы. «Когда я приехал из Одессы в Петербург и впервые выступил с докладом на литературном вечере, – рассказывал Чуковский Ольге Грудцовой, отчитывая ее за неправильные ударения в речи, – я сделал девяносто два неправильных ударения. Городецкий подсчитал и сказал мне об этом. Я тотчас засел за словарь, и больше уже этого никогда не повторялось. А вы!!!»

Это была поистине титаническая работа по превращению разночинца в настоящего интеллигента: работа над правильным произношением звуков, ударениями, интонацией… Нечто подобное описано в «Пигмалионе» Шоу – правда, наш герой удивительным образом сочетал в себе профессора Хиггинса и Элизу Дулиттл.

«Но провинциальность в чем-то и помогала выделиться в среде критиков, слишком хорошо знавших правила, по которым следовало играть, – пишет Евгения Иванова. – Может быть, именно благодаря неискоренимой провинциальной наивности Чуковский любил и не боялся „вторгаться“, „въезжать“ в самые острые вопросы, не признавая условностей, из которых сотканы литературные отношения столицы, построенные на табу и умении обходить подводные рифы. Статьи Чуковского всегда задевали за живое, и вокруг них возникали дискуссии, появлялись письма в редакцию, дело доходило до третейского суда; словом, они почти всегда имели отклик, обратную связь».

Он действительно умел найти тему, которая волнует всех. Его анкета в «Свободе и жизни» вызвала лавину откликов, а в следующем году почти каждая его статья собирала целый урожай сочувственных писем и отповедей.

6 декабря 1906 года Чуковский извещает Брюсова: «Ночью в нашей типографии была полиция, рассыпала шрифт, прекратила навсегда газету и тем самым снова выкинула меня на улицу». И снова началось: «Нива», «Родная земля», «Маяк», «Судьба народа», «Сегодня», «Свободные мысли» – прыжки по льдинам в ледоход, утомительная жизнь внештатного автора. Позднее он называл время сотрудничества в мелкой прессе худшей полосой в своей писательской жизни. Он уже полгода тяжко тоскует по Англии и все чаще задумывается о том, чтобы снова уехать туда. Делится

этой мыслью с Брюсовым, тот отвечает: «Я всегда говорил, что ежедневная работа в газетах для вас губительна. Вернее, не самая работа, а необходимость при этом ежедневно видеть газетных людей, говорить с ними, быть с ними. Пишите, хотя бы и ежедневно, – но из Лондона». Чуковский и сам понимал не хуже Брюсова, что поденной газетной работой губит свой недюжинный талант, разменивает его на мелочи. Но выбора не было, надо было кормить семью. Той осенью-зимой Мария Борисовна уже ждала второго ребенка.

Подрастал сын Коля – начал разговаривать, превращаться из младенца в самостоятельную личность, и молодой отец, до той поры не слишком занятый сыном, вдруг понял, что ребенок становится ему интересен, как всегда были интересны чужие дети. С ним можно гулять, играть, читать ему; в дневниках появляются записи о Колиных словечках, Чуковский начинает интересоваться детской литературой. В декабре 1906 года в газете «Молодая жизнь» вышла заметка «О детских журналах» – первое обращение К. И. к его будущей главной теме. Затем появился замысел сделать силами лучших писателей сборник для детей. В начале 1907 года Чуковский предлагает Брюсову «дать свое имя» для этого сборника. «Дать имя» Брюсов согласился, только вот детских стихов у него не было. Издать сборник в то время не удалось, но Чуковский не оставил эту мысль, и книга вышла несколькими годами позже.

Нелепая жизнь на разрыв между несколькими редакциями продолжалась до мая 1907 года, когда Чуковский стал сотрудником солидной кадетской газеты «Речь». И началась полоса стабильности, нормальных заработков и серьезной критической работы. Сейчас он был наконец равен себе, находился на своем месте и занимался своим делом.

«Мы с тобою радостно поплачем»

В дневниках 1900-х годов записано немало лирических стихотворений. Часть из них опубликована в «Ниве» и других изданиях, часть так и осталась неопубликованной. Позднее Чуковский решительно не хотел вспоминать этих стихов. Михаил Слонимский, помогавший в 20-е годы Корнею Ивановичу в работе, выполняя его просьбу найти в старой «Ниве» его материалы, выписал оттуда несколько стихотворений и принес автору. «Его всего передернуло, и лицо у него стало таким, словно он проглотил жука или осу, – он увидел свои старые лирические стихи… Откинувшись к спинке стула, он швырнул карандаш на пол и уже без смягчающих интонаций, обиженно,

почти возмущенно заговорил:

– Кто бы мог подумать, что человек из интеллигентной семьи…»

Стихи эти, кстати, вполне сознательно не были включены Мироном Петровским в подготовленное им собрание стихотворений Чуковского: «За пределами этой книги остались некоторые юношеские стихи Чуковского, публиковавшиеся в „Ниве“ и других журналах… Расширение круга известных читателю произведений едва ли способно изменить поэтическую репутацию Чуковского: его сказки и стихи для детей всегда будут безусловно главным и принципиально новым вкладом в русскую поэзию».

Это совершенно справедливо. Ничего нового в русскую поэзию юношеские стихи К. И. действительно не вносят и публикации вряд ли заслуживают. Однако они дают очень много для понимания самого молодого Чуковского, и поэтому не привести их нельзя – так разительно отличается их автор от привычного Корнея Ивановича. И от Коли Корнейчукова, который конспектирует Каутского. И от юного журналиста, который мучится зубной болью и помышляет о смерти. И от молодого отца, который строит с детьми плотины, катается на лодках, жонглирует палками, а в гостях подкидывает стулья. И от мизантропа, который, уходя из этих гостей, со злой тоской записывает в дневнике: «Общество их кошмарно по своей пошлости: Кранихфельд – добрый, глупый, должно быть, влюбчивый; заика душевный – Цензор, Поликсена Соловьева с остановившимся лицом; Дымов – нечуткий и самодовольный – скука, скука», одна – «так деревянна», другой – «так добросовестно пришиблен Богом», эт сетера, эт сетера…

Чуковский-лирик – совсем другой человек. Так что придется уж процитировать. Простите, Корней Иванович.

Вот это – из дневника, август 1906 года:

> В небе ли светлая полночь таится,
> В сердце ль моем?
> Небо в бреду разметалось и бледными снами томится,
> Сердце весенним обвито венком.
> Тише молчания, тише лесной тишины
> Эти томные стоны весны.
> Все словно светлую тайну, заветную тайну узнали,
> Словно приветная весть прозвучала для всех.
> Девушки в сумраке окон грезят о светлой печали,
> И всех осеняет какой-то бесстрастный, какой-то безрадостный грех…

Последнюю строфу не привожу просто потому, что она ничем не отличается от других. Цитировать плохие стихи скучно. Вот еще пара строф из стихотворения 1907 года.

Мы с тобою радостно поплачем,
Мы оплачем миновавший бред
Промелькнувших, обманувших лет.
А когда видением незрячим
В зеркалах зазыблется рассвет, —
Ты уйдешь, и люстра затрепещет,
И рояль откликнется во сне,
И хрусталь тревожная заблещет,
И метнутся тени по стене.

Стихи на удивление женские. Как минимум два из напечатанных «Нивой» даже написаны от женского лица. Такие в изобилии сочиняют двадцатилетние студентки, обчитавшиеся классики: рояль, хрусталь, зеркала… Еще в одном стихотворении говорится о печальных березках, обманутых весенним ветерком: он «прельстил и улетел», а они стоят «среди снегов, как девушки в растрепанной прическе». Здесь вам и сентиментальность девятнадцатого века – «невесты робкия – наивныя березки!», «томные стоны весны…» и вполне декадентские «бледные сны», «миновавший бред промелькнувших, обманувших лет». Даже мороз оказывается каким-то анемичным: «и мороз рукою утомленной на стекле выводит терема». Всяческие девушки и березки, робко-склоненные и нежно-влюбленные, стоны, звоны и заветные тайны наводняли тогдашнюю поэзию, и раннего Чуковского почти невозможно отличить от других эпигонов и графоманов начала 1900-х годов. Вот хотя бы для сравнения строфа из Леонида Семенова. Поэт был не бездарный, любимый символистами, притом старше Чуковского всего на два года. Стихи опубликованы в 1905 году.

В темную ночь над памятью снов вдохновенных
Песни раздались мои стонами робко-звонкими.
В теплую ночь так цветы на могилах священных
Тянутся в звездную высь стеблями нежно-тонкими.

А это Чуковский напечатал в приложении к «Ниве» тремя годами позже:

Старые люди
По талому снегу
Усталые шли
И двери к ночлегу не знали вдали, —
Во мраке не веря,
Что девушки, грустно-влюбленные,
И травы, луной напоенные,
И плавные, влажные тучи,
И сладкие звезды весны —
С ними замрут, утомленные,
У пыльной могильной стены.

Хорошо видно, что автор внимательно читал современную поэзию; в темах, лексике, ритмике его произведений с первого взгляда угадывается влияние Брюсова, Сологуба, Бальмонта, Метерлинка… список можно продолжать и продолжать. Но особенно заметен, конечно, Блок. Вот здесь, например (это написано в 1906 году и напечатано двумя годами позже в том же приложении к «Ниве»):

За окном проходили ненужные люди.
В улице беспомощно мерцали огоньки.
И плакал я весело – о Боге, о счастье, о чуде
У белой холодной руки.

Стихи 1900-х годов откровенно незрелы – забавно даже, что их сочинял человек, умеющий разглядеть малейшую соломинку в чужом поэтическом глазу, автор крепких, сильных, злых критических характеристик. Вполне понятна и его позднейшая ненависть к этим стихам: рядом с Блоком и Брюсовым они не имели права на существование. Но, невзирая на явную подражательность, в них есть совершенно самостоятельные черты. Попробуем применить к самому Чуковскому тот метод, с которым он подходил к писателям и поэтам: выделим в его ранней лирике повторы, ключевые образы, бессознательные проговорки – и вот что мы обнаружим.

В стихах этого десятилетия у Чуковского на удивление часто попадается один и тот же более или менее оксюморонный образ: «мы с тобою радостно поплачем», «и плакал я весело», «девушки грезят о светлой печали». Эта светлая, слезная печаль есть во всех его стихах, в том числе и переводных. Из Китса: «напевы восторженно-грустные»; из Теннисона: «И, как вешние грозы, веселые грозы, / Набежали, нахлынули *светлые слезы»;* из

Пиндемонте: «И вечернюю благословляя тьму, / Сам Господь, печальный и стыдливый, / Шествует над радостною нивой. / И былинка каждая Ему / Молится молитвою счастливой, / Облекаясь радостно во тьму».

Лирический герой Чуковского – человека язвительного, злого, страдающего, часто одержимого тоской, – постоянно пребывает в состоянии умиленного, благодарного, печального восторга перед миром, испытывает благоговение перед его грустной красотой, которой он навеки уязвлен. Пронзительную до слез радость Чуковский умел чувствовать, глядя на обычный речной берег, слушая скрип ставни, бродя по полям. Его преклонение перед природой совершенно пантеистично, и раз за разом он возводит в своих стихах алтарь «неведомому богу»:

И за прелесть речного изгиба,
Уходящего в яркую тьму,
Кому-то кричу я спасибо,
И рад, что не знаю кому.

Это крохотное стихотворение, написанное еще в 1904 году, было у него одним из самых любимых. Оно запоминается с первого прочтения, оно емко формулирует метафизическую позицию автора… наконец, это просто хорошие стихи. Другое, 1906 года, не так крепко сделано, но не менее показательно:

Бог и Смерть – ничего я не знаю.
Я знать не могу, не хочу,
Я верю певучему маю,
Я молюсь огневому лучу.

И струится песня из души,
Но о чем – не ведаю о чем.
Все загадки мира хороши,
Не руби же их безжалостным мечом.

Все его стихи и отчасти переводы 1900-х годов – это вдохновенная песня неведомо о чем, и потому так много в этих стихах неопределенности: «Я знать не могу, не хочу»; «На землю падешь – зарыдаешь, а в чем твое горе – не знаешь»; «Я был уже здесь когда-то. / Когда, – отгадать не могу» (перевод стихотворения Россетти); «Как неспетая песня, как радость забытая, / Как могила, неведомо чья» (стихи памяти Чехова). Это даже не песня – это робкая, стыдливая (еще одно ключевое слово

в его лирике) певучая молитва миру, природе, гармонии, «огневому лучу», веселый плач «о Боге, о счастье, о чуде…».

Он славит мир – такой, какой он есть. В 1906 году, переводя стихотворение Эмерсона, Чуковский пишет: «Мне близко все, ушедшее далеко, / Я свет и тень боготворю равно. / Я славлю всех богов, и тех, что, волей рока, / Низвергнуты давно». А больше полувека спустя в сборнике библейских сказаний «Вавилонская башня», который собирал и редактировал Корней Иванович, чуть не дословно то же самое поют три отрока в огненной печи, благословляя – вполне кощунственно по отношению к оригиналу – вместо Господа человека, и всю природу, и все, что в мире, включая свет и тьму.

Именно молитвенное, благоговейное преклонение перед миром, природой, человеком было в высшей степени свойственно Чуковскому. Такой же – почти религиозный – отклик рождали в нем Чехов и Толстой, и недаром он говорит о них почти словами своих ранних стихов: «…И вся эта правда жизни, и эта величайшая простота, и эта мудрость, и это первобытное влечение к природе, и эта строгая, трезвая, суровая, застенчивая, сдержанная красота – она вся насквозь наша, умиляешься до слез и чувствуешь, что не было бы большего счастья, как припасть к этой старческой руке, осчастливившей нас, и целовать ее и покрывать благодарными слезами» («Толстой как художественный гений»). «Но когда читаешь эти вещи, без фабулы и без сюжета, почему-то, неизвестно почему, радость грустная, молитвенная, о людях, о мире, о себе самом, – такая, какой не знал никогда, вдруг обрадует тебя, неизвестно с чего, и смотришь: а щеки у тебя мокрые, и какое тебе дело тогда до какого-то маляра, до архиерея, – то понимаешь: это обо всем, обо всех, и о Боге, и обо мне» («Чехов и христианство»).

А в старости он с той же теплотой писал о Пастернаке: «И в его поэзии та же безмерная пылкость эмоций: тут и „слезы от счастья“, и веселая благодарность природе за то, что она существует»; «о таком же радостном умилении говорит и Борис Пастернак, очутившись в милой его сердцу народной стихии»; «Любовь такого большого накала, такая страстная, что ее всю жизнь приходилось „превозмогать“ и таить, наконец-то вырвалась наружу в этих беглых, торопливых стихах, сказанных как бы мимоходом застенчивым шепотом»; «освобождение, которое испытывает каждый из тех, кому дано хоть на миг раствориться в природе». Чуковскому, безусловно, это было дано с ранней юности, и потому он сразу увидел нечто очень родное в поздней, ясной, прозрачной лирике Пастернака. Раннюю он не очень любил, считая хаотичной; в поэзии ему вообще не нравился

сумбур, опущенные смысловые звенья, необходимость расшифровывать образы – может быть, поэтому он так ценил Ахматову, но прошел мимо Цветаевой, называя ее поэтику «неряшеством». И Уитмена он всю жизнь любил еще и потому, что тот умел выразить глубоко родственное Чуковскому чувство безграничности каждой человеческой души, соприродности всему миру, причастности его тайнам, родства с каждым человеком и каждой травинкой.

Человек, который умел до слез чувствовать красоту, так же остро чувствовал и безобразие, и потому всякая фальшь, всякая пошлость его жестоко оскорбляли. Поэтому с такой ненавистью набрасывался он на плохую литературу, поэтому такой болезненной была его реакция на книги. Плохая литература причиняла ему почти физические страдания, смеялась над ним, мучила его, доводила до острой, как зубная боль, тоски и вызывала желание с корнем вырвать, вытоптать, уничтожить оскорбительное явление. Он совершенно серьезно писал: книга издевалась надо мной, плевала мне в лицо, я отшвырнул ее, не смог читать дальше.

Именно так он потом и отнесся к собственным стихам: «лицо у него стало таким, словно он проглотил жука или осу».

Но в 1906 году он еще позволяет себе писать стихи и относится к этому занятию со всей серьезностью. Между тем куда более важную поэтическую задачу Чуковский поставил той же осенью в совершенно легкомысленных строчках довольно дежурной политической сатиры о думских деятелях:

Говорил Горемыкин Аладьину:
Я тебя раздавлю, словно гадину.
И Аладьин твердил Горемыкину:
Я тебя, Горемыкина, выкину.
А Столыпин, неусыпен, ничего не говорил.

Крокодил уже собирался выйти на Невский.

Глава третья
Куоккала

Новое время – новые песни

С осени 1906-го до лета 1907-го молодой критик успел немало написать, опубликовать и упрочить свое положение в литературе. Его герои в это время – по-прежнему Горький, Андреев, Куприн, Уитмен. Но появляются и новые – Городецкий, Сергеев-Ценский, Алексей Толстой. Чуковский печатается главным образом в «Родной земле», «Ниве» и литературно-художественном приложении к ней. К сотрудничеству с «Нивой» Корней Иванович привлек и Валерия Брюсова, в чьих «Весах» продолжал публиковать свои материалы. Статья Чуковского о петербургских театрах вышла даже в роскошном декадентском «Золотом руне». А вот политика постепенно отодвигается на второй план и, наконец, совсем уходит из его жизни. Даже разгон второй Думы в 1907 году – фактически государственный переворот, ознаменовавший конец первой русской революции, – вообще никак не отразился в журналистике и дневниках Чуковского; вспомним – новость о роспуске первой он называл «страшным известием».

В 1907 году в газете «Родная земля» Чуковский опубликовал довольно важную статью под названием «Игрушечная Дума» (она с тех пор не переиздавалась, так что процитируем ее подробнее). Она как раз и объясняет, почему бывший редактор сатирического журнала полностью отошел от политики. К. И. писал в этой статье, что русская литература всегда пыталась подменить собою отсутствующий парламент: только она позволяла обсуждать то, что не подлежало общественному обсуждению ни в какой другой форме. Все литераторы были «переодетыми Пройдами» (Пройда – думский депутат, заслуживший скороспелую известность своими речами). Литератор и читатель встречались друг с другом «у позорного столба Чернышевского, у виселицы Желябова, на веселых ходынских полях». Положение в литературе создалось невозможное: «писатели делились не на талантливых и бездарных, а на правых и левых, как во всяком парламенте». Толстые журналы занимались не литературой, а политикой, и закрытие журнала – «был акт политический, а не литературный». Это нанесло русской литературе огромный вред: журналы и критика пропагандировали бездарных, но «правильных» писателей, уничтожая талантливых, но занимающих враждебную

политическую позицию. Одни только «Отечественные записки», говорит Чуковский, «утаили Тютчева, Фета, Алексея Толстого, Щербину, Мея, Полонского, Случевского, Страхова» – и выдвигали при этом Скабичевского, Засодимского и иже с ними.

Теперь, считает критик, когда народ обрел право говорить о своих страданиях с парламентской трибуны, «ему журнального шепота не нужно». Журналам стоит заняться своим делом – литературой. Но картина не меняется: толстые журналы живут стачками, синдикатами, заседаниями Думы и ненавистью к Столыпину… Журналов 6–7, подсчитывает Чуковский, «на журнал десять статей антистолыпинских, в год 120, итого – в год 720–840 статей о Столыпине, и больше ничего… Читатель остался так-таки безо всего: ни одной статьи по естествознанию, по педагогике, по философии, ни одной строки о западной литературе, о живописи, о новых научных теориях, о веселой, красивой, культурной жизни!.. Россия живет не одним Столыпиным – не крадите же у нас этой жизни». Унылые, однообразные журналы «обращаются с нами так, как будто мы уже перестали любить женщин, бояться смерти, пьянеть от весеннего ветра», – негодовал Чуковский. Пора литературе перестать быть «игрушечной Думой», убеждал он. Разумеется, общество могло расценить эту позицию только как ренегатство и предательство идеалов.

Смена занятий и жанров в творчестве Чуковского поразительно совпадает с крупными социальными сдвигами – это замечено давно и не мною. Скажем, Мирон Петровский в предисловии к тому стихотворений Корнея Ивановича в «Библиотеке поэта» отмечает: «Достаточно набросать хронологический перечень дат, отмеченных наиболее выразительными переменами жанра: 1905, 1907, 1916, 1921, 1929, 1934, 1941 – вплоть до 1956-го… Известная дефиниция критика XIX столетия – „жанр есть форма времени“ – получает здесь неожиданную и зловещую интерпретацию».

Остается добавить, что происходило это не только и не столько вследствие давления извне или колебаний вместе с линией партии, как на то иногда намекают. Не потому он фактически перестал заниматься политической сатирой после первой русской революции и литературной критикой после Октябрьской, что ему это запрещали, не брали статей, не печатали, мешали, – хотя и поэтому тоже, и мешали ему бесконечно много и настырно, в особенности после 1917 года. Нет, – всякий раз с новым временем приходило и новое ощущение этого времени, менялась сама атмосфера; может быть,

поэтому он перескочил на новую стадию в 1916-м, а не в 1917 году: грозу принесло раньше, чем грянул гром с «Авроры».

Чуковский всегда точно знал, какое тысячелетье на дворе; его отличала редкостная чуткость к самым крохотным мелочам эпохи. Потому самым недвусмысленным сигналом конца первой русской революции для него стали не крупные изменения в политической жизни, а «тысяча мелких признаков» – витрины, афиши, вывески, книжные обложки, лампады перед иконами. Именно поэтому он однажды говорил о том, что Каутскому стоило бы написать об отражении буржуазного самосознания в модах дамских шляпок.

В изменившемся воздухе надо было учиться дышать иначе. Всякий раз при смене парадигмы он заново определял свое место в мире и находил возможное занятие. Он должен был работать. Это Блок, как соловей, умел только петь и умер, когда музыка кончилась. Чуковский был не соловей, а литератор, это совсем другая птица: она поет и когда есть музыка, и когда ее нет, а не сможет петь – будет стучать чечетку, писать летопись леса, выступать с лекциями на колхозных птицефабриках и учить птенцов нотной грамоте в надежде воспитать хоть одного соловья.

Чуковский не мог не трудиться, работа была и спасением его, и проклятием. И не в том даже дело, что ему надо было кормить семью, – прокорм семьи был своего рода универсальным оправданием его невозможного трудоголизма. Причины его между тем лежат скорее в области душевного устройства. Это и темперамент, бешеная энергия, ищущая применения, и жесткий нравственный императив, заставлявший его искать себе не просто дела и заработка, а служения ради общественной пользы – как мы помним, он был убежден в полезности «бесцельного» литераторского труда. Плюс постоянные сомнения в осмысленности и полезности собственной жизни, в своей творческой (да и человеческой) состоятельности, плюс множество других неудобных, неуютных, острых вопросов метафизической природы, которые делают жизнь невозможной, если не имеешь на них четкого ответа, – все это заставляет нырнуть в работу как можно глубже и как можно дольше не выныривать. Пока работаешь – ты приносишь пользу и зарабатываешь деньги на несколько человек, а что ты такое, когда ты не работаешь?

И работа эта дается нелегко. За каждой воздушно-легкой строчкой – десятки зачеркнутых вариантов, кипы измаранных черновиков. Месяцами, а то и годами, он пишет, когда «не пишется», – и дневники в такие времена изобилуют записями вроде «не могу выжать ни строчки». Иные эпохи были настолько

немузыкальны, что всякое творчество могло состояться только вопреки, – но звучала музыка или нет, мог он писать или не мог – все равно каждое утро он садился за стол и работал. И в награду за упорство или по волшебному произволу, никак не связанному с его мучительными усилиями, – на него внезапно обрушивалась музыка, и он сочинял легко и свободно, и в это время был абсолютно счастлив.

Итак, революция кончилась. Наступило время, которое в советской историографии принято было называть «глухими годами реакции». Удивительным образом оно сочеталось с феноменом Серебряного века в литературе и искусстве – временем потрясающей власти слова и художественного образа над умами.

Это была та самая «Россия, которую мы потеряли» – та, что безвозвратно кончилась с началом Первой мировой войны. После перестройки ее стали представлять каким-то конфетно-бараночным царством с изобильными рынками, заговорили о благочестии крестьян, меценатстве просвещенного купечества, благородстве офицерства («Весь досрочный выпуск кадетского корпуса с восторгом принял известие о назначении всех поручиков в карательные отряды», – однажды процитировал Чуковский газету 1905 года). Чем дальше это время уходит в историю, тем больше появляется подобных мифологем. Мы сейчас воспринимаем это время как небывалый расцвет – а современники говорили о распаде и упадке. И не только те, кто твердил о вырождении и ругался словом «декадент».

В стране стало трудно дышать, душами завладела тоска, воздух все сгущался и плотнел. Неизбывной тоской пронизано едва ли не каждое значимое литературное произведение 1907–1910 годов – глубокой экзистенциальной тоской людей, которые еще не знали слова «экзистенциализм», но уже мучились вполне сартровой тошнотой. А в конце 1908 года чуткий Блок произнес: «вокруг уже господствует тьма». Ниточки от нашего «глухого времени реакции» тянутся не только к экзистенциализму, но и дальше – к постмодернизму, как европейскому, так и русскому; к жестокой ситуации тотального цинизма, иронии, игры в литературе конца уже двадцатого века, оказавшейся в той же внезапной ценностной пустоте.

Социальная тема перестала наполнять национальную культуру, стержень традиционной религиозной нравственности ослаб в ней еще раньше; гуманистический пафос во время неверия в человека тоже иссяк. Провалился всякий фундамент, рухнуло все, что держало великую русскую литературу. Еще

стояли крепкими башнями серьезные литературные журналы «с направлением», искренне считавшие себя наследниками великих традиций, но не те уже были защитники у твердынь, не те стали силы, жизнь и талант уходили оттуда. Литература затосковала, стала зачарованно вглядываться в смерть. Ее уже не так занимали даже богоискательство, богоборчество, поиски смысла. «Чую с гибельным восторгом – пропадаю!» – было сказано куда позже и по другому поводу, но, как ни странно, настроение русской интеллигенции к концу 1900-х годов выражает точно. О том же «самозабвении восторга и самозабвении тоски, отчаянья, безразличия» говорил Блок, у которого в «Народе и интеллигенции» возникает даже образ бешено несущегося коня. Птицу-тройку неудержимо несло к катастрофе, а литература с гибельным восторгом созерцала приближение неминуемого, мефистофельски хохоча.

На смену авторитетному утверждению пришли сомнения и эмоциональное отрицание. Пафос сменился цинизмом, проповедь – литературными играми. Явилась неизбежная во времена крушения ценностных парадигм «проблема пола», опустевшее святое место густо заросло махровой пошлостью.

Чуковский внимательно наблюдал за происходящим и пытался его осмыслить. Художественная интуиция у него была огромна, но академических знаний, нужных для этого осмысления, ему отчаянно не хватало. До всего приходилось доходить собственным умом и бесконечным трудом. К тому же значительная часть работ, нужных для понимания момента, вообще еще не была написана – и одесскому самоучке предстояло стать одним из первооткрывателей в российской культурологии.

Дачники

Молодая пара с малышом появилась в Куоккале на Балтийском заливе осенью 1906 года. Именно этим временем датируют переезд Марианна Шаскольская в летописи жизни Чуковского и Лидия Корнеевна в «Памяти детства». Есть предположения, что критик впервые оказался в финском поселке годом раньше, однако документальными подтверждениями этого мы не располагаем. Сам Корней Иванович писал «в 1907 или 1908», но особенно полагаться на его свидетельство не стоит: он чрезвычайно скрупулезно относился к датировке событий в жизни своих героев, литераторов-шестидесятников, но, говоря о себе, называл даты очень приблизительно.

Очень может быть, что осенний выезд на дачу был связан с тем, что гонорары Чуковского в мелкой прессе не позволяли ему

платить за квартиру в столице и содержать семью. Аренда дома в дачном поселке в несезон обходилась дешевле. «Деревянный домишко, над которым торчала несуразная башенка с разноцветными, наполовину разбитыми стеклами», – так описывает Чуковский свое первое куоккальское жилье. Башенка над дачей была почти обязательным элементом архитектуры: их придумали, чтобы из их окон было видно море. Увенчанные причудливыми шпилями, они присутствуют на множестве старых фотографий. Впрочем, первое жилье К. И. располагалось далеко от моря. Тогдашние путеводители извещают: лучшие дачи находятся на первой береговой линии, снять их – довольно дорого. Чем дальше от берега, тем дешевле, затем местность разделяет железная дорога, к северу от нее дачи еще дешевле, а дороги хуже. К северу от станции и поселился молодой безденежный журналист – даже не в самой Куоккале, а в финской деревушке *Luutahantä* (русское написание варьируется: Лутахенда, Лютагенде, Лутахянта и т. п.) недалеко от Козьего болота. В ней жил и молодой Алексей Толстой. Обратный адрес на письме Чуковского Альбову (1906 г.) гласит: «Лудахенде, дача Кондратьева»; затем на репинских письмах, адресованных К. И., значится «Куоккала, за Новой Деревней, дача Кондратьева» или «д. Андерсена».

Сотрудники музея «Пенаты» еще при жизни Чуковского пытались отыскать дом с «несуразной башенкой», даже сфотографировали в Лутахенте две дачи, соответствующие описанию, и послали Корнею Ивановичу в Переделкино. Одну из них он признал, о чем на обороте фотографии написала его секретарь Клара Израилевна Лозовская. Но в бывшую Куоккалу, ныне Репино, он после визита на разграбленную дачу в 1925 году так больше и не приехал, хотя такая возможность у него, несомненно, была. Не было той Куоккалы.

Окончательный переезд в Финляндию состоялся не сразу, семья еще какое-то время жила в городе, на Коломенской улице, откуда Марию Борисовну в марте 1907 года увезли в ближайшую больницу. Там 24 марта родился второй ребенок Чуковских – дочь Лидия. «Я пошел в Пале-Рояль, где внизу была телефонная будка, чтобы позвонить в родильный дом д-ра Герзона, и узнал, что родилась девочка. Сзади стоял И. А. Бунин (в маленькой очереди). Он узнал от меня, что у меня дочь, – и поздравил меня – сухим, ироническим тоном», – вспоминал Корней Иванович 60 лет спустя.

«Пришел поздравить родителей поэт Сергей Городецкий, – рассказывает сама Лидия Корнеевна в повести „Памяти

детства“, – и написал на дверях маминой спальни:

О, сколь теперь прославлен род Чуковских,
Родив девицу краше всех девиц.

…Вскоре после того, как я родилась, Валерий Яковлевич Брюсов прислал Корнею Ивановичу письмо с приложением стихов, которые просил пристроить в один из петербургских журналов. Если же стихотворение не понравится редакции, добавлял поэт, дарю его в приданое Вашей новорожденной дочери.

– Это я! – кричала я, – это мне! – А Корней Иванович, отозвавшись обычно «ты у меня не бесприданница», произносил, торжественно выпевая звук «и»:

Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида,
в царстве пламенного Ра,
Ты давно меня любила, как Озириса Изида,
Друг, царица и сестра!
И клонила пирамида тень на наши вечера».

Более оседлой жизнь не стала: Чуковский продолжал бегать из редакции в редакцию, семья еще несколько раз переезжала с одной дачи на другую – Анненковых, Дальберга… пока куоккальский сосед Репин в 1912 году не помог выкупить одну из них.

Куоккала – это был не город и не деревня, не Россия и не заграница, не столица и не провинция, не то и не другое – и в то же время все сразу. А еще здесь было море. Море удивительным образом задает координаты внутренней жизни, дает правильный масштаб: что важно, что неважно, что соизмеримо с ним, что нет.

Курортная местность под общим названием Териоки, в состав которой входили поселки Оллила, Куоккала и Келломяки (сейчас – Солнечное, Репино и Комарово), тянулась вдоль моря длинной узкой полосой. В конце XIX века здесь построили железную дорогу, и петербуржцы получили возможность быстро добираться до пляжей. Небольшие финские поселки стали понемногу превращаться в модный курорт: дачники могли жить у моря круглый год и ездить в Петербург на работу; именно такой образ жизни и выбрал К. И., не обязанный каждый день ходить на службу.

Большинство новоселов привлекала близость к столице, тишина и приморский климат. Но многим была важна и

относительно спокойная политическая погода. Финляндия пользовалась правами автономии, жандармский надзор был не особенно силен, поэтому здесь в большом количестве селились «неблагонадежные» писатели, ученые и общественные деятели. В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Грэнхагена говорится: «В последние годы русской революции здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккалы (Хаапала) „фабрики бомб“ финляндская администрация в силу закона 1826 года пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в Петербургское охранное отделение».

Хаапала – это совсем рядом с первым обиталищем Чуковского. «Когда в 1907 или 1908 году я приехал в Куоккалу, – писал он, – мне говорили шепотом, что на даче „Ваза“ скрывались большевики (они, кстати, находили особую прелесть в том, что дача называлась в честь шведской королевской династии). В Куоккале на мызе „Лентулла“ жил Горький – в 1905 году он готовил здесь издание сатирических журналов „Жупел“ и „Жало“».

В основном, конечно, Териоки и окрестности обживали не революционеры, а средний класс, творческая и научная интеллигенция. Еще в конце XIX века здесь поселились Салтыков-Щедрин, Дмитрий Менделеев, Иван Павлов. Со временем в финских поселках у моря осели Леонид Андреев, Илья Репин, Валентин Серов, к ним из Петербурга приезжали именитые гости. Скромная дачная местность понемногу превращалась чуть ли не в культурный центр империи. В 1910-х годах в Териоках снимал дачу Блок, здесь его жена играла в театральной труппе у Мейерхольда. Собственно в Куоккале, кроме Репина, жила семья виолончелиста Мариинки Альберта Пуни, на даче Николая Федоровича Анненского (брата поэта) гостил Короленко. К 1910-м годам в этом поселке сложился свой дачный мир, свободный от множества столичных условностей и пронизанный счастливым творческим озорством. На улицах можно было встретить цвет тогдашней культуры, и довольно скоро это осознали газетные репортеры; чего стоит один рассказ Чуковского о том, как Короленко закрывался портфелем, мешая бойкому папарацци сфотографировать его.

«Дачи множились, как сыроежки, – писал в своей „Повести о пустяках“ художник Юрий Анненков (под псевдонимом „Борис Темирязев“), – искусственные канавы пили болотную воду; морошка, клюква и комары все глубже уходили в нетронутые сырые леса, в росянку, в багульник, в кукушкин лен; песок

окутывали дерном и засаживали соснами, останавливая движение дюн. За заборами множились клумбы: табак, георгины, левкои, гелиотроп, анютины глазки, львиный зев. Душистый горошек потянулся к окнам балконов; загоралась настурция». Цепкий взгляд художника поймал и сохранил для нас то, что казалось другим чересчур очевидным, будничным, не заслуживающим упоминания, – возможно, слишком мелким на фоне крупных событий эпохи. На страницах «Повести о пустяках» остались жить стеклянные шары на грядках, гипсовые гномы в кустах, разрисованные аисты; гимназисты с папиросками и гимназистки с бантами в длинных косах; велосипеды и теннисные площадки, «афиши любительских спектаклей; танцевальные вечера в разукрашенном сарайчике», вальсы «Осенний сон» и «Дунайские волны»… Вот она – Куоккала столетней давности: «Несложный рокот залива; голубые стрелы осоки; сосновый янтарный дух, смоляной налив, золотистые волны дюн, золотистое лоно юности; песок, стволы, огни керосиновых ламп на балконах, тепло июльских вечеров, отдых, свистки паровозов, хвойная тишина, легкокрылые бабочки шелкопряды-монашенки, ночницы сосновые и жуки-короеды: типограф, гравер и стенограф». Мелкие волны Балтийского залива с купальнями на сваях, купальщики в цветных трико…

В повести возникает и Чуковский – вернее, намек на Чуковского, его призрак – писатель Апушин: «Шагает босиком через канавы и лужицы журавль Апушин, плотный и загорелый нос его блестит на солнце». На даче Апушина собираются пить чай и беседовать, сочиняют экспромты и записывают их… но все это позже, уже в 1910-х, когда мы еще вернемся к повести Анненкова. Пока – в 1906–1907 годах – Чуковский еще не стал влиятельным критиком, еще почти ни с кем из соседей не знаком, к нему не тянутся нескончаемой чередой гости из города. Однако босиком он начинал разгуливать, как только это позволяла погода. Это было не особенно принято даже на дачах; териокский житель Леонид Андреев в своих «Мелочах жизни» саркастически повествовал о некоем господине, которому взбрело в голову выйти из дома без шляпы, потому что жарко, и все сочли его чуть не опасным сумасшедшим. Если не безумием, то позой казалась окружающим босоногость Чуковского. Художник Леонид Пастернак, навещавший в 1910 году в Куоккале Репина, разумеется, встретил у него Корнея Ивановича и писал домой: «Пришел Корней Чуковский, – Боря, слышишь; босой, с женой (дождь лил, а они босые ходят – тоже блажь и „стиль“)». Впрочем, справедливый Пастернак-старший добавлял: «Парень дошлый – одессит!» и «Умный парень, очень был рад, узнав, что: „Вы,

значит, настоящий тот Пастернак Л. О.?“».

Дмитрий Лихачев, чье детство прошло в Куоккале, тоже вспоминал, как Чуковский ходил босым, но «в отличном костюме». Отличный костюм появился позже, и воспоминания Лихачева относятся, скорее, к предвоенному времени. Дмитрий Сергеевич, кстати, замечал: «Чего только не вытворяет Корней Иванович Чуковский в местном театрике или прямо в вагонах Финляндской железной дороги, возвращаясь из города, или на пляже». Тихо и одиноко ездить в поездах Чуковский никогда не умел – непременно знакомился со всеми пассажирами, задавал десятки вопросов, заводил разговоры со всеми детьми, показывал фокусы, чудил. Не отставали по части чудачеств и другие жители поселка, в первую очередь Репин с женой; Сергеев-Ценский, например, вспоминал, как почтенная чета, явившись к нему на дачу в 1909 году, устроила у дверей дикий кошачий концерт, ошибочно полагая, что это дача Чуковского.

Счастливое дуракаваляние Чуковского, Репина и их гостей во многом и создало особую куоккальскую культуру – «чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов», по словам Лихачева. Тот называл поселок «царством детей», и впрямь, детям в Куоккале жилось весело и уютно. Воспоминания жителей этого царства пронизаны удивительным светом и счастьем. В рассказах Лихачева сохранились трогательные подробности: вот пляжные будки – у каждой семьи своя; вот солнечные лучи, скользя сквозь витражные стекла дачи, оставляют разноцветные пятна на белоснежной скатерти; вот на станцию приходит паровоз в сетчатой юбочке, дачники выходят из синих вагонов и разъезжаются на двуколках; вот на берегу лежит сухой тростник, принесенный морем из Петергофа…

Сейчас от этой Куоккалы мало что осталось. Но песок по-прежнему завален тростником, из которого дети строят шалашики, и те же гранитные глыбы охраняют берег, не давая морю обгрызать его, и так же пахнут черничники, и сосны так же цепляются за берег корнями, и на горизонте виден Кронштадт, и в жаркую погоду пляж так же звенит голосами. И ручей, когда-то протекавший мимо дачи Чуковских, по прежнему течет там же, только дачи уже нет, как нет уже и летнего театра, и казино, и станционных построек. Войны, время, а больше всего историческое беспамятство здорово потрудились над обликом поселка. Густые заросли за рестораном «Оллила» и свалка в этих зарослях – вот, пожалуй, и все, что сейчас можно найти на месте куоккальской дачи Корнея Ивановича.

Дачная жизнь позволяла Чуковскому соблюдать собственный

режим – при его бессонницах и ярко выраженном трудоголизме это трудно переоценить, – и сократить круг вынужденного общения. Среди соседей были люди замечательные, и общение с ними было полноценным и насыщенным; пустопорожние и поверхностные разговоры в гостиных и редакциях ничего подобного дать не могли. Он освободился, наконец, от суеты, грязи, сырости большого города, от газетного и богемного окружения, от литературных кружков с либеральными адвокатами, кокетливыми дамами и прочими «фармацевтами», от пышного дурновкусия, от желтой прессы, в изобилии появившейся на пепелище революции. Куоккала дала Чуковскому спасительную изоляцию от мелочей, в которых утопал и продолжает утопать поныне всякий газетный работник, дала ту дистанцию и тишину, которая необходима, чтобы посмотреть на происходящее со стороны, выделить главное и сосредоточиться на нем. Может быть, еще и поэтому именно с осени 1906 года его критика становится более точной и четкой, ее объекты – менее случайными. Среди статей уже почти нет откровенных неудач, в них проявляется афористичность, воздушная легкость, парадоксальность. Возникают и постоянные темы.

Городская литература

В январе 1907-го двумя частями вышел в «Родной земле» его «Евгений Онегин» – в первой части он назывался «сегодняшним», во второй – «нынешним». От одесской версии осталась примерно половина, фрагменты поменялись местами. Что-то дописано, что-то переделано, и все насыщено реалиями 1905–1906 годов – от керосиновой лампы и выборгского кренделя до теоретика избирательного права Водовозова, чью брошюру Чуковский когда-то рецензировал. Упоминаются и думские деятели, и еврейские погромы, и отец Григорий Петров, и жандармы, и Чириков с Юшкевичем… Вместо «сумрачного портрета» Толстого на стене у Лариных висит не менее сумрачный Лассаль, а разговоры о «Мещанах» и «Дяде Ване» сменились такими:

– Вы Луначарского читали,
Что Пшибышевский – большевик?
– А вы читали в «Перевале»,
Что лик у Минского двулик?

Но политические намеки очень быстро потеряли остроту, а смысла, сюжета, ясности в поэме не прибавилось. Читатели и

критики ее не заметили, да и замечать особенно было нечего. Больше Чуковский к своему «Онегину» не возвращался. Зато все больше внимания привлекают к себе его критические работы. Редкая из них остается незамеченной. За одну только статью «На бирже „Знания“» Александр Измайлов упрекнул его в «литературной ноздревщине», Александр Богданов обозвал «птеродактилем» и «честным ужом», Александр Изгоев – «газетным соколом»… Статья больно зацепила участников горьковских сборников и им сочувствующих.

Сборники издательства пользовались бешеной популярностью, 20-тысячные тиражи раскупались мгновенно. А Чуковский, верный принципу оценивать качество литературного труда не по идеологическим критериям (и даже не по успешности продаж), а с точки зрения мастерства, резко и ядовито раскритиковал стереотипные приемы и сюжетные ходы авторов «Знания»: «Почему ровно за три страницы до конца всякой повести (или драмы), все равно чьей, – появляются на сцену мужики, или рабочие, или казаки, или солдаты – и неизменно производят целый ряд избиений и поджогов?» «В „Детях солнца“ бьют, у Кипена в „Бирючьем острове“ жгут, в „Полевом суде“ у Скитальца опять бьют, у Чирикова в „Мужиках“ опять жгут (или бьют – не помню), у Телешова в „Крамоле“ опять бьют и т. д. и т. п.». Богданов усомнился в чистоте намерений критика, предположив, что он просто пытается устранить конкурента и расчистить дорогу какому-то новому издательству. Оскорбленный Чуковский ответил Богданову открытым письмом и требованием третейского суда.

Весной 1907 года в литературном приложении к «Ниве» – журналу, переплетенные годовые комплекты которого хранились едва ли не в каждом читающем доме по всей России, – вышла статья Чуковского «О современной русской поэзии», которая потом в переработанном виде вошла в сборник «От Чехова до наших дней». В ней было впервые замечено, что в русской литературе появился город. До сих пор литература жила на природе, в имениях и усадьбах, время от времени выходила, ужасаясь, в народ, в деревню – и разве что наездами бывала в городе. Она могла изображать город – «но по духу, по стилю, по форме русская литература, эта медлительная, черноземная, строгая, неулыбающаяся литература была сплошь созданием лесов и степей и затерянных редких усадеб»; она была «либо барской, либо мужицкой – и никакой другой». Но «с тех пор, как оторванный от земли мужик стал у фабричного колеса, – город сделался творцом, город сделался созидателем новых ценностей, промышленных, культурных, социальных, этических».

Важно уже само по себе то, что это было отмечено; внимательные читатели запомнили и сохранили эту мысль. Правда, Троцкий позднее уверял, что мысль о влиянии города на поэзию Чуковский позаимствовал у марксистов. Лев Давыдович вообще инкриминировал нашему герою целый ряд смертных журналистских грехов: невежество, плагиат, непоследовательность и т. п. Позаимствовать мысль Чуковский мог: он невообразимо много читал, легко впитывал прочитанное, проникался близкими ему мыслями и образами и строил на их основе свои оригинальные конструкции. Но насчет плагиата – спорно. Как бы то ни было, никто из марксистов не высказал мысли о городской литературе так ярко и убедительно.

Вообще о влиянии города на человеческую психику, а значит, литературу и искусство, в России заговорили чуть позже – и, вполне возможно, не без влияния Чуковского. Впрочем, трудно было не заметить роли города в формировании культуры. Бенедикт Лившиц в своем «Полутораглазом стрельце» упоминает, как совсем молодой Маяковский в 1912 году читал ему стихи, исполненные «наивного урбанизма», и замечает: «В овладении тематикой города ему мерещился какой-то прорыв к новым лексическим и семантическим возможностям, к сдвигу словаря, к освежению образа: более широкие задачи его как будто не интересовали». Есть у Лившица и свидетельства об идущих в том же русле поисках французских авангардистов Фернана Леже и Гийома Аполлинера: «Ландшафт, пересеченный автомобилем или экспрессом, говорили они, давая меньше поводов к описательному подходу, выигрывает вместе с тем в смысле синтетическом: окно вагона, стекло лимузина, в сочетании со скоростью передвижения, меняют обычный вид вещей. Современный человек получает в сто раз больше впечатлений, чем люди восемнадцатого века». Это были уже попытки передать не впечатление, а движение, скорость, динамику; это были шаги от импрессионизма к экспрессионизму.

Чуковский говорит о богатстве городских впечатлений почти теми же словами, что и французские авангардисты в пересказе Лившица: «Каждый из нас, городских людей, переживает теперь в один день столько, сколько иному человеку прошлого столетия хватило бы на всю жизнь. Смело можно сказать, что мы, теперешние люди, живем, по сравнению с прошлыми людьми, в тысячу раз дольше: до того обильны количеством наши переживания». Но если художники и поэты ставят перед собой задачу передать стремительную смену впечатлений, то дело критика – их осмыслить. И Чуковский заговорил о том, что изобилие впечатлений ведет к их обеднению и упрощению:

«переживаний теперь больше, но каждое из них как бы укоротилось». «Пошехонский поэт описывал то, что есть; поэт городской – то, что ему кажется, – пишет критик. – Прежним поэтам была важна точность и логика мысли. Нынешним поэтам важна *ложь мимолетного чувства».*

Чуковский замечает в городской литературе новые – иногда любопытные, иногда пугающие черты. Прежде всего это внимание к форме и нежелание вникать в суть вещей: «для него (города. – *И. Л.)* форма и есть содержание». Город готов довольствоваться суррогатами чувств, красоты, поэзии; за брошенным вскользь замечанием о суррогатах уже различима главная мысль одной из самых нашумевших статей Корнея Ивановича – «Остерегайтесь подделок!». В городе человек, окруженный другими людьми, постоянно «заботится о приличии» – помнит, что он среди людей, видит себя со стороны, «вечно относится к себе как к постороннему»; «мысли о смерти, крики ужаса и страдания, восторги безумия и любви – все это сопровождается у горожанина такими вторыми мыслями: как бы красивее крикнуть от ужаса, как бы изящнее выразить ужас, как бы стильнее подумать о смерти». Город создал заботу о стильности, констатирует Чуковский, стилизация – способ горожанина прятать свои чувства от толпы. (Несколько десятилетий спустя флагман постмодернизма Умберто Эко писал в послесловии к «Имени розы»: современный человек вместо «я люблю тебя безумно» скажет: «как говорил такой-то, я люблю тебя безумно». Правда, постмодернизм уверяет, что это оттого, что все уже сказано и все слова затерты. В начале XX века сказано было еще далеко не все, но свое, уязвимое, уже охотно прятали за цитаты и упоенно предавались стилизации, достигая в этом небывалых высот.)

Наконец, горожанин ни к чему не прилепляется душой. У него нет философии, нет системы, нет направления; все одинаково интересно, одинаково привлекательно – и случайно. Здесь Чуковский пока говорит о приспособляемости души горожанина, равной готовности принимать все, «что ни бросит ему жизнь», о равнодушии городского человека. Но уже в ближайших его статьях из этой мысли вырастет другая, и критик заговорит о случайности всех верований и убеждений, об отсутствии принципов и позиций, о готовности верить во все сразу, – о том, что он называл мозаичностью убеждений, короткомыслием, отсутствием фанатизма.

Важно было не только отметить факт, но и обратить внимание на его следствия: неизбежную поверхностность, массовость, механистичность литературы, стереотипность приемов. Чуковский фактически первым в России и одним из

первых в мире обратил внимание на те изменения, которые происходят в сознании жителя мегаполиса, – то, что мы сейчас называем «информационной перегруженностью», «клиповым сознанием» и т. п. Нет, конечно, Дорошевич куда раньше сформулировал: «Голубушка, длинного не читают» – но вот почему не читают, анализировать до Чуковского никто не пытался. Однако несть пророка в своем отечестве: услышать-то его услышали (недаром же Ахматова чуть ли не полвека спустя говорила Лидии Корнеевне о важности этого открытия) – но всерьез не приняли. Принимать Чуковского всерьез долго еще считалось невозможным, большинство писало о нем с плохо скрываемой или вовсе не скрываемой неприязнью: явился тут некий юноша, сильно нашумел и вот что брякнул… Даже лучшие отзывы были выдержаны в духе незабвенного пушкинского «дура врет, врет, да и правду соврет».

Русская литература на рубеже веков все больше напоминала священнодействие, а критики – суровых жрецов. Одни служили гражданственности, другие имманентному, понимая под этим Бога, дух или что-то совсем свое. Шла ли речь о роли общины или о дионисийстве, об избирательном праве или Шопенгауэре – это было торжественно и благообразно. Чуковский ворвался в храм литературы с одесской ухмылкой, с шумом, топотом и жестикуляцией, с россыпями острот и фейерверками парадоксов – и не мог не показаться на общем скрипуче-серьезном фоне циркачом, наездником, фигляром. «Что хочет он на освященном месте?» – недоумевал Блок. И мало кто из коллег умел разглядеть, что этот жонглер служит тому же божеству – не менее истово, но по-своему.

Профессиональный газетчик, фельетонист (слово это неизменно произносилось с презрением и оппонентами, и им самим) – он не терпел банальностей и искал новые темы и углы зрения; умел обратить внимание на никем не замеченное, указать на новые тенденции в общественной жизни и заговорить о них вслух. Наверное, именно с этого времени во всем, за что Чуковский брался, он оказывался первопроходцем: издал такую книгу критики, что в течение года вышло три ее издания, первым обратил общее внимание на расхождение между формой и содержанием у большинства литераторов, их образом в общественном представлении и реальным смыслом их творчества… Первым заговорил о городской литературе, о массовой культуре, устроил газетную акцию с выступлениями известных писателей против смертной казни. Позже – первым взялся за литературу для малышей, исследования детского языка, теорию перевода… список можно продолжать и продолжать.

При этом он оставался все тем же болтливым, нескладным, любопытным юношей с жадным блеском в глазах, страшно много пишущим чуть ли не во всех изданиях сразу (это в любой век неизменно бесит литературные круги; необходимость кормить семью тут служит не смягчающим, а отягчающим обстоятельством). Одни умели замечать в его обильных торопливых речах искренний интерес и любовь к тому, что любили сами, и принимали его; так приняли Чуковского куоккальские соседи – Репин, Короленко, Николай Анненский. Другие долго видели одну поверхностность, нахальство и развязность. Коллеги не давали молодому критику спуску. Впрочем, вскоре пришла самая большая писательская награда – оценка читателя. Это у последующих поколений Чуковский ассоциировался с первыми яркими воспоминаниями детства; поколение, чья юность пришлась на эпоху между двумя русскими революциями, помнило его по-другому.

Нина Чернышевская, в ту пору курсистка, полвека спустя говорила о прославивших Чуковского книгах «От Чехова до наших дней» и «Лица и маски»: «После гимназических учебников от этих книг веяло какой-то свежестью, недозволенной дерзостью и свободой мысли». А позднее и советские студенты-литературоведы оглашали торжественно-тихие залы публичных библиотек фырканьем и сдавленным хохотом, читая, как лихо критик разносит по кочкам тогда неведомого Арцыбашева, величественного Алексея Толстого или даже самого Горького. В первые годы перестройки еще не опубликованный, но уже воскресший в памяти литературы Чуковский-критик принес в окостеневший мир литературоведения и истории критики шальную новизну и отчетливый сдвиг акцентов – и совсем не в сторону антисоветского бунта, как основная масса тогдашней публицистики. Скорее – в сторону радости и свободы.

Оказалось, что можно писать о литераторах живыми словами, обходясь без «плана показа» и «изображения действительности в ее революционном развитии», с одной стороны, и «метаметафоричности» или «десакрализации дискурса» – с другой. Можно видеть в писателях не только носителей идеологии или творцов стиля. Можно выворачивать их наизнанку, сталкивать лбами, выискивать характерные проговорки, вытаскивать наружу противоречия и при этом вслух и всерьез говорить о самом важном в литературе: о человеческой душе – понятии одинаково неприличном как в советском, так и в отчетливо несоветском литературоведении. И говорить смешно, точно и темпераментно, не впадая в пафос проповедничества.

Чуковский любил литературу, а не себя в ней – себя-то в ней

он явно и очевидно не любил. Всю жизнь переписывал и переделывал когда-то написанное: так безнадежно плоха казалась ему собственная работа много лет спустя. О ранних своих статьях он неизменно отзывался в том смысле, что дурак был, но дурак искренний, и в искренности его единственное оправдание («мало мне радости, что я был искренний идиот», безжалостно записывал он в дневнике на склоне лет). Единственное ли – мы еще поговорим.

Литературный почерк Чуковского резко изменился после поездки в Англию и еще больше – после переезда в Петербург. Он повзрослел и набил руку, отошел от юношеской тяги ко всемирным обобщениям и напыщенной глубокомысленности. Изменилась даже манера вести дневник – уже в Англии записи становятся гораздо менее нервными, желчными и обрывочными, более ясными, связными и точными.

Жизнь в Англии, по которой он потом так скучал, приобщила Чуковского к миру, вписала в его культурный контекст, придала взглядам необходимую широту. Отсюда берет начало и его англофильство, и даже политико-экономические воззрения («По мировоззрению Ч. был западником, считавшим американизм, деловитость лекарством от многих бед, тормозящих развитие России», – формулирует Евгения Иванова). В памяти многих он остался изысканно вежливым джентльменом; кто-то даже обратил внимание на его английскую привычку обращаться к людям по фамилии. Возможно, утонченная вежливость была еще одной маской; Чуковский по-прежнему оставался задиристым и непримиримым, но даже обидеть теперь умел изящно.

В Англии и сейчас еще поневоле чувствуешь себя недостаточно образованным, нескладным, разболтанным и невоспитанным на фоне леди и джентльменов, взращенных отлаженной за много веков системой, умеющих безупречно держать спину и великолепно поддерживать разговор. Там невольно начинаешь следить за осанкой, выражением лица и интонацией. Там со всей очевидностью понимаешь, сколько теряет общество при насильственном вмешательстве в ход истории и пренебрежении ею. Там особенно заметна актуальность прошлого, ощущение прочной связи и причинной обусловленности сегодняшнего дня вчерашним и позавчерашним, – эта концепция нашла выражение даже в английской грамматике, которая обладает столь нетипичным для русского языка временем *Present Perfect*.[8] В Англии прошлое не давит тяжким грузом, не держит, как мертвый живого, – оно спокойно и естественно живет в сегодняшнем дне. А это

порождает удивительное чувство собственной принадлежности к истории и желание понять свое место в ней.

Приобщение к одной из самых старых, сложных и мощных мировых культур стало для Чуковского хорошей школой. Англия сыграла большую роль в том, что основой его системы ценностей стала непрерывность духовной традиции, принадлежность к определенному укладу жизни. Такая мощная тяга к преемственности даже удивительна для человека, который толком не знал своей национальности и не имел формального образования, не принадлежал к числу детей, выращенных в элитных семьях с многовековыми устоями, не учился в университете. Кстати, вскоре после возвращения из Англии Чуковский ставил русским писателям в пример британских, с горечью замечая, что при всем обилии талантов наши писатели лишены дисциплины мысли, кругозора, эрудиции, хорошего тона, укорененности в литературной традиции – всего того, чем с лихвой обладают английские литераторы даже второго и третьего ряда, не наделенные ни такой глубиной чувства, ни такой яркостью таланта, как российские. Учиться надо, убеждал он. Свое, кстати, тоже лучше видно на расстоянии, и еще из заграницы К. И. писал жене, что Англия «учит многому, и главное, любить Россию. Это самая драгоценная наука – умение полюбить свое».

Нельзя, однако, объяснять становление личности Чуковского одним только английским влиянием. Живое общение с крупнейшими величинами русской культуры имело для него важность ничуть не меньшую: редкостная среда Серебряного века, богатая необыкновенными по силе и разнообразию талантами, выпрямила Чуковского, укрупнила, помогла осознать себя.

Но главной силой, формировавшей его характер и направляющей его дар, была его собственная воля к самосовершенствованию, тяга к знанию, любовь к слову. К 1907 году Чуковский уже стал самостоятельным, оригинальным критиком, что признавал даже Блок, симпатиями к нашему герою в это время не отличавшийся. Блок не только читал его публикации в далеко не самых авторитетных (за исключением «Весов») изданиях, но и выделял его среди прочих. «Вот уже год, как занимает видное место среди петербургских критиков Корней Чуковский. Его чуткости и талантливости, едкости его пера – отрицать, я думаю, нельзя. Правда, стиль его грешит порой газетной легкостью», – писал Александр Александрович в статье «О современной критике». Осенью и Чуковский записывал в дневнике после встречи с Блоком: «Я ему, видимо, не нравлюсь, но он дружествен».

Кое-что из написанного Чуковским в первый год куоккальской жизни интересно уже только историкам литературы – нормальная текучка, рутина, реакция на повседневные события, которые история размыла, как прибой рисунки на песке. Но их сравнительно немного. Другие работы удивляют точностью попадания в болевые точки эпохи. И не только той эпохи: некоторые статьи Чуковского после века забвения неожиданно приобретают поразительно актуальное звучание. 30 апреля (13 мая) 1907 года в газете «Судьба народа» (она же «Понедельник») вышел материал Чуковского «Спасите!».

«Прошли уже святые, задушевные времена кустарной литературы, и начинается литература фабричная – газетный период российской словесности – с биржевым размахом, шулерским политиканством, с бешеными гонорарами, сводническими рекламами, с репортерами, взятками, ежеминутными знаменитостями, – литература хрупкая, выдуманная, несуществующая – и несется куда-то? и что-то творит, ежедневно рождаясь снова, и снова умирая, всюду залезая коротенькой своей строчкой и отражая в себе любопытного и ленивого, бездарного духом читателя», – констатирует Чуковский, и каждую строчку можно легко приложить к сегодняшнему дню, и все это будет правда, и в современной действительности легко найти героя старой статьи: «Он не пишет, а „заведует отделом“, он рыщет в кулуарах, он читает чужие рукописи, он выпускает номера, он сортирует телеграммы, принимает посетителей, выполняет командировки, интервьюирует генералов, вообще делает полезную и нужную работу, – без которых газета немыслима и невозможна».

Читаешь и диву даешься – ну хорошо, вместо ножниц и клея теперь компьютеры, а вместо фармацевтов, дантистов и сутенеров русской литературой заведуют менеджеры по пиару и маркетингу, но по-прежнему «весь ужас в том, что эти прекрасные молодые люди – не привезли с собой ничего, кроме мышечной силы и прекрасно развитого аппетита. Там, в недрах, у них не созрело ни одной мысли, ни одного чувства, которые принесли бы они сюда, чтобы прокричать о них во всю силу. Они привозят только готовность писать что угодно, интервьюировать кого угодно, „заведывать“ чем угодно. Все они создадут здесь, напишут здесь, в этом проклятом, оторванном, выдуманном Петербурге. И стоит только появиться какой-нибудь специально петербургской религии, петербургской философии, петербургской эстетике – этим куцым созданиям двух-трех гостиных и одной жидковатой брошюры, – как сволочь создаст им фон, сволочь

подхватит их стоголосым газетным эхом, и вот худосочная петербургская выдумка кажется громадным событием духовной жизни России». Замените «петербургское» на «московское» – и ста лет как не бывало.

Газету почти сразу закрыли, но статью заметили многие. М. Н. Василевский в «Вестнике литературы» писал: «В литературных кругах это выражение („сволочь“. – *И. Л.)* вызвало сенсацию: о нем усиленно заговорили – и за, и против. Впрочем, гораздо больше против».

Борис Бразоленко в «Вестнике знания» замечал: «Впервые после долгих лет слащавой угодливости критика осмелилась назвать вещи своими именами». Но в основном отклики были в духе «чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться». Марксист Степан Иванович (Семен Португейс) ядовито замечал, что Чуковский «говорил о мертвецах в доме покойника, говорил очень ясно и убедительно, обнаруживая весьма близкое знакомство с предметом». Влиятельный сотрудник «Речи» и впоследствии один из авторов сборника «Вехи» Александр Изгоев (Ланде) полагал, что критик «требует спасения от себя самого, от своих товарищей по газете». Впрочем, заметил Изгоев и то, чего предпочитали не замечать другие коллеги-критики, – неизменную любовь Чуковского к литературе: «Он со всех явлений, даже политических, совлекает их политическую одежду и любуется какой-то другой их сущностью». «Такое отношение к критической деятельности Чуковского одного из столпов кадетской газеты „Речь“ А. С. Изгоева сделало возможным начавшееся вскоре постоянное сотрудничество Чуковского на страницах этой газеты», – указывает Евгения Иванова. Она же высказывает предположение, что честь изобретения понятия «литературная сволочь» принадлежит Чуковскому, – «и, надо полагать, что отсюда родилось и выражение Андрея Белого „обозная сволочь символизма“». Справедливость требует заметить, что выражение это существовало в русском языке и до Чуковского: оно встречается у самых разных авторов, от Пушкина (который, правда, писал его по-французски) до Александра III, однако в активный литературный обиход оно все-таки вошло с легкой руки нашего героя.

«Длинная фанатическая мысль»

В мае 1907 года началось десятилетнее сотрудничество Чуковского в газете «Речь» – началось с мощного залпа по Михаилу Арцыбашеву. Его «Санин» наделал много шуму и на

некоторое время стал едва ли не главной темой русской критики, писали о нем много – справедливо и несправедливо, талантливо и бездарно, но Чуковский просто убил писателя наповал. Арцыбашеву в основном доставалось от критики за доморощенное ницшеанство, «глумление над человеческой сущностью любви» или «порнографию» (хотя по нынешним представлениям роман трудно классифицировать даже как эротический). Некоторые отмечали ляпы: «светловолосая фигура», «от него пахло запахом…». Чуковский, разумеется, не преминул заметить, что можно быть каким угодно анархистом, но не в русской же грамматике… но разносил он Арцыбашева не за это, а за ненавистную вялость слога, которым нельзя писать «даже о лошадных и безлошадных» (это из более поздней статьи об Арцыбашеве), за несоответствие уровня мастерства заявленной теме («Говорят, что „Санин“ порнография. Боже мой, если бы это было так!»), за стремление доказывать, а не показывать.

«Бедный Юрий Сварожич, симулянт сладострастия, после бессильных поползновений на девичью честь пошел и застрелился, но разве не мог он остаться в живых, пойти в литераторы, написать роман, назвать его „Санин“ и поместить в „Современном мире“?»

«…и читатель, чихая от пыли, видит… суфлерскую будку, где посажен Максим Горький…»

«…стоит только раз послушать, как этот герой разговаривает с кем-нибудь, чтобы убедиться, что он по большей мере – престарелый канцелярист какой-нибудь земской управы, из тех, что пьют чай из блюдца, имеют золотые часы и лечатся от геморроя…»

«Ах, Боже мой, если ты бунтовщик – бунтуй. Хочешь славить плоть – славь. Но если для бунта тебе нужна таблица умножения, а для прославления плоти – канцелярия, так уж лучше оставь это занятие и окончательно займись выпиливанием по дереву.

Если «не можешь и не хочешь», то зачем же, спрашивается, «лезть»?»

Все это было смешно и оскорбительно. Марианна Шаскольская пишет, что Арцыбашев пытался вызвать Чуковского на дуэль. Подробностей этой истории практически не сохранилось; удивительно другое – в 1908 году Корней Иванович записал в дневнике: «Сейчас мне вспомнился Арцыбашев: какой он хороший человек. Я ругал его дьявольски в статьях. Он в последний раз, когда я был у него в „Пале Рояле“, так хорошо и просто отнесся к этому». А в следующем году Чуковский дал новый критический залп по хорошему человеку Арцыбашеву. Истина дороже.

Затем статьи в «Речи» стали выходить еженедельно, при этом молодой критик продолжал сотрудничать с «Нивой» и другими изданиями. Видимо, в мае – июле Чуковскому хорошо работалось в Куоккале – даже невзирая на присутствие в доме грудного ребенка, на постоянные бессонницы, которые в белые ночи становились еще более невыносимыми.

«С послезавтрева решаю работать так, – пишет 25-летний Чуковский в дневнике 17 июля, – утром чтение до часу. С часу до обеда прогулки. После обеда работа до шести. Потом прогулка до 10 – и спать. Потом еще: нужно стараться видеть возможно меньше людей и читать возможно меньше разнообразных книг. Своими последними статьями в „Речи“ я более доволен: о Чехове, о короткомыслии, о Каменском. Дельные статьи».

Статьи были не просто «дельные», но, что называется, программные – «О мозаике», «О короткомыслии», «Остерегайтесь подделок!», «В бане». Некоторые из них в несколько переработанном виде вошли потом в состав книги «От Чехова до наших дней» вместе с другими работами, написанными в течение последнего года. Именно в них он сформулировал постулаты, на которых основывался, и продемонстрировал блестящую работу своего критического метода.

Статья «О короткомыслии», опубликованная в июле 1907 года, в сборник «От Чехова до наших дней» не вошла, хотя ее главная идея там все же присутствует. Чуковский сравнивает старую критику и новую, словно пытаясь определить, на чьей стороне его симпатии. И выходит, что ни на чьей. Старое и новое в русской литературе вообще и в критике в частности к этому времени кто только ни противопоставлял – например, в 1905 году Борис Садовской выступил в «Весах» со статьей, которая так и называлась – «О старой и новой критике». Грехи русской публицистической критики неисчислимы, заявлял он, вред, принесенный ею, громаден, она ничего не смогла сделать, она только мерила каждого писателя мерой его гражданственности и никого не смогла правильно оценить. Садовской приветствовал приход «новой критики» и ставил перед ней задачи сохранять беспристрастность и развивать у публики художественное чутье. Чуковский наверняка читал Садовского, читал и «новую» критику, и «старую», но в дискуссию ввязался не для того, чтобы в сотый раз противопоставить два непримиримых лагеря – условно говоря, идейных народников и безыдейных декадентов. У него было что предъявить обоим.

Старая критика, констатирует Чуковский, – критика фанатическая, тенденциозная, она присматривается к писателям только для того, чтобы подкрепить их примером свою концепцию

и лишний раз прославить свою правду – будь то правда религиозная, политическая или социальная. Она легко игнорирует факты, которые в эту концепцию не вписываются. Новая критика идейную тенденциозность отвергает. Она вообще отказывается от фанатизма и догматизма, она только присматривается и фиксирует впечатления, она не дедуктивна, а индуктивна – не идея подсказывает, какой материал отбирать, а материал подбрасывает идеи. Случайность как принцип отбора, отсутствие почвы под ногами, обобщающей идеи и твердых принципов – вот ее беда, считает Чуковский. В статье «О мозаике» он обращает внимание на другую примету времени – фрагментарность мировоззрения, при котором в одной и той же голове (книге, брошюре, журнале) мирно уживаются рядом несовместимые мысли, стили, идеи – безо всякой попытки хоть чем-то связать их воедино.

В первых статьях в «Речи» Чуковский продолжал развивать концепцию, пунктирно намеченную в статье «О современной русской поэзии». Выводы окончательно сформулировал в конце 1907 года в обзоре «Русская литература»: толстые журналы кончились, на смену им пришел альманах – «случайный наездник, отчасти мародер, без мыслей, без систем, без программ, но с полными горстями беллетристики», свободный «от каких бы то ни было попыток теоретически обосновать свое бытие, выкинуть то или иное знамя, сплотиться ради той или иной общей идеи». Это – свидетельство «распайки тех духовных течений, которые еще так недавно определяли русскую культурную жизнь». Не для чего жить, не для чего писать, не за что воевать и нечего строить. Мировоззрения нет, куда идти – непонятно.

В «Апофеозе случайности» – довольно несправедливой статье 1908 года, направленной против критика Аркадия Горнфельда, Чуковский прямо-таки кричит: «Из жизни нашей интеллигенции исчезло всякое „во имя“, и, повторяю, если бы я встретил сейчас среди пишущих ну хоть изувера, сектанта, фанатика, я пошел бы и стал ослом его, чтобы он въехал в Иерусалим, – и все кричали бы ему „Осанна“, и повели бы его на Голгофу, ибо без Голгофы разве можно нашей литературе остаться хоть на минуту? Хоть бы маленькую соорудить Голгофу, крошечную, двухвершковую какую-нибудь, чтобы собрать последние крохи фанатизма и понести их туда, – а то без нее мы все рассыпаемся, разрыхляемся, превращаемся в порошок и сводим на нет наше духовное бытие». Это не претензия к Горнфельду, не особенно виноватому в грехе случайности и произвольности, в котором винит его неистовый Корней, – это вопль тоски о настоящем деле,

настоящей жизни: «Я буду писать только о Горнфельде, но читатель пусть понимает, что то же самое я мог бы написать об Айхенвальде, об И. Ф. Анненском, об Евгении Ляцком, о самом себе и десятке других. Мы все больны, и пора уже поставить диагноз».

Отчасти в статьях этого времени находит отражение кризис самого Чуковского, ищущего путей – и, возможно, потому коллеги-критики единогласно твердят ему «сам такой», едва только не поднося к его большому носу злорадное зеркало.

Его постоянно упрекали в субъективности, поверхностности, импрессионизме (тогда еще этим словом можно было пользоваться как ругательным), отсутствии четкой позиции, нежелании искать закономерности. В декабре 1907 года Блок в статье «О современной критике» тоже заговорил о критике старой («предвзятой») и новой («беспочвенной»), безоговорочно причисляя Корнея Ивановича к «беспочвенной» и ставя ему в вину те самые грехи, в которых Чуковский упрекал коллег – короткомыслие и мозаичность: «Вот у Чуковского есть тенденция – ухватиться за „бланк“ или за какую-нибудь одну мысль. Для него это хвост, за который он вытащит всех писателей, потом бросит этот хвост и ухватится за другой… Мне кажется, у самого г. Чуковского нет одной „длинной фанатической мысли“, и поэтому он всех тянет за разные хвосты и совсем не хочет постараться объединить литературные явления, так или иначе найти двигательный нерв современной литературы». Зинаида Гиппиус тремя годами позже писала: «Он в светлые минуты видит свой нигилизм, понимает его последствия, он горько тоскует о „точке зрения“». Коллеги видели в нем разве что стремление низвергать авторитеты, оригинальничать во что бы то ни стало, припечатывать хлестким словцом ради дешевой славы – таких примеров можно было бы набрать не одну страницу. Конечно, современники могли судить о Чуковском-критике только по разрозненным работам, тогда как в нашем распоряжении относительно полный корпус текстов (хотя и не переизданный полностью), – и все-таки не оставляет впечатление, что тогда его не хотели и не могли понять ни «старые», ни «новые». Одни искали, достаточно ли у него бытие определяет сознание, другие обижались за Андреева, Ремизова, Бальмонта: недооценил, обозвал, ему лишь бы гадость сказать, лишь бы пустым парадоксом блеснуть… Странно даже, что почти никто не попытался понять и оценить не такую уж сложную мысль Чуковского – он словно кричал в пустоту.

Цену этим упрекам сейчас каждый может определить самостоятельно. Но ведь и сам Чуковский часто задумывался о

том же, тоскуя о позитивной программе, направлении, о чем-нибудь, помимо всепоглощающего плюрализма, при котором и это хорошо, и то хорошо, и поэты одновременно славят Бога и дьявола.

Немногочисленные исследователи советского времени предъявляли ему те же претензии, что и «старая» критика, – в конце концов, именно она в этот период задавала тон. На «нечеткость идейной позиции» и «приверженность абстрактным общечеловеческим идеалам» дореволюционной критики Чуковского указывал даже Мирон Петровский, лично знавший и горячо любивший Корнея Ивановича. Понятно, что в 1966 году, когда вышла «Книга о Корнее Чуковском», высказать альтернативную точку зрения было невозможно, а вообще умолчать о критической деятельности Чуковского – неприлично; остается только радоваться, что времена на дворе стоят иные. С несправедливыми упреками вековой давности пора покончить: если современники не смогли разглядеть, какими критериями руководствуется Чуковский и не увидели за его блестящими (общее место) парадоксальными (еще одно общее место) эскападами – напряженной работы мысли, если сочли его блестящей пустышкой, если твердолобые марксисты подходили к нему со своей меркой и не нашли что мерить, – это не значит, что мы должны повторять те же банальности и ошибки.

Как ни жаловался Чуковский, что ему не хватает таланта, способностей, образования и «длинной фанатической мысли», – все это у него было. Он постоянно искал для себя большой серьезной работы, скучал по умному фундаментальному труду, которому мог бы посвятить себя, не размениваясь на эффектные газетные заметки. Даже в 1907 году он еще продолжал вынашивать свою книгу о самоцели. «Напишу ли я ее – эту единственную книгу моей жизни? Я задумал ее в 17 лет, и мне казалось, что, чуть я ее напишу, – и Дарвин, и Маркс, и Шопенгауэр – все будут опровергнуты. Теперь я не верю в свою способность даже Чулкова опровергнуть и только притворяюсь, что высказываю мнение, а какие у меня мнения?» – записывал он в это время в дневнике.

А мнения у него тоже были, и небезынтересные. Из статей-однодневок вырастал тот самый труд, о котором он мечтал, – возможно, гораздо более важный и нужный, чем философский трактат, который он так и не написал. Когда разрозненные статьи собрались под одной обложкой, оказалось, что все они объединены и общей мыслью, и оригинальным методом, и актуальностью темы. К тому же всякий раз, работая над сборником, Чуковский убирал повторы, прояснял мысль,

переставлял из статьи в статью целые фрагменты, сшивая статьи в единое полотно, придавая циклу логическую стройность.

Рассматривая работы критика в совокупности, остается только удивляться тому, что самоучка, не имевший никакого последовательного, фундаментального образования, смог создать вполне работоспособную систему критической оценки литературных явлений, под которые легко и непротиворечиво подводится филологический (психологический, социологический, какой хотите) базис.

Слово и душа

Стихийный филолог (а не прирожденный философ, как он полагал), Чуковский основывался на предпосылках, которые вряд ли мог и хотел тогда прописывать подробно. Однако его критическая мысль развивалась в полном согласии с филологической мыслью того времени. Судя по отклику на работу Ивана Бодуэна де Куртенэ над словарем Даля, по ссылкам на работы Александра Веселовского и ряда иностранных исследователей, – Чуковский следил за развитием филологии. А при своей читательской всеядности – наверняка читал и фундаментальные филологические труды, причем скорее всего взялся за них осенью 1906 года – в рамках ликвидации собственной безграмотности.

Если предположить, что с ними Чуковский знаком не был, – тогда поистине удивительно, как ему удалось интуитивно постичь то, к чему совсем недавно пришла академическая наука. До сих пор язык изучали с точки зрения логической или грамматической, затем явилось представление о нем как явлении психофизиологическом. А на рубеже веков появилось представление о языке как о явлении одновременно психологическом и социальном. В этом направлении работал тот же Бодуэн де Куртенэ, которого Чуковский, кстати, весьма ядовито критиковал (но не за то, что ставили ему в вину современники – попытку осовременить словарь Даля, а наоборот – за то, что в новую редакцию словаря не вошло огромное количество новых слов, важных для понимания эпохи). Этот лингвист подчеркивал тесную связь языка с индивидуальной психологией; он обращал внимание на то, что язык «принадлежит всецело к области явлений социально-психических», что он «существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей, составлявших данное языковое общество», что «каждому человеку свойственна речь особая, речь индивидуальная, как со стороны „внешней“,

звуковой, так и со стороны „внутренней“, идейной… свойствен особый способ выражаться, особый слог (стиль) как в устной речи, так и на письме». Собственно, эта простая на сегодняшний взгляд мысль и оказалась так созвучна идеям молодого критика: «особый способ выражаться» – это источник информации о личности, единственной и неповторимой. Соответственно, язык и литература – источник информации о «данном языковом обществе».

Человеческая душа и то, как она выражает себя в речи, в языке, в литературе, – это и была главная тема Чуковского на всю жизнь, поэтому он никогда не занимался строго литературной критикой, литературоведением, языкознанием, а всегда придумывал новые жанры – критические рассказы, литературные портреты, популярное языковедение – все для того, чтобы говорить о живых людях и обществе, в котором он живет. «Я – о душах, которые в языке раскрываются, только о них и пишу», – замечал он. И если не мог прямо сказать: ваше общество чудовищно, – говорил, что чудовищен способ выражаться, принятый в этом обществе.

Впоследствии он снова и снова переформулировал мысль «язык писателя – зеркало его души», втолковывая ее непонятливому читателю… но никак… Наконец, осердясь, заявлял задиристо: «Снобизм, пшютизм, как и все остальное, имеет право раскрыться в искусстве, и от художника нам нужно одно: пусть он полнее, пышнее, рельефнее выявит перед нами свою душу, не все ли равно какую».

Полнота раскрытия человеческой души (нет, не все равно, какой, – достаточно вспомнить рассеянные по дневникам, письмам, критике и публицистике разных лет горестные возгласы о ничтожных, бедных, скудных, обокраденных душах) была для Чуковского куда важнее всякой идеологии. Мирон Петровский писал: «Отсутствие твердых критериев не субъективного, а объективного характера нередко играло злую шутку с Чуковским: там, где, по всем признакам, от критика следовало бы ожидать отрицательных оценок, он, вместо того чтобы проклинать произведение, идейно ему враждебное, хотя и талантливое, попадал под обаяние таланта—и благословлял восторженно и безоговорочно». Но ведь «идейно враждебными» Чуковскому были как раз попытки оценивать творчество с точки зрения идеологии, как раз здесь-то и «следовало бы ожидать отрицательных оценок» такого подхода к литературному произведению. «Надо оценивать идеологии не по художественному *что,* а по художественному *как,* памятуя, что эстетика единственный надежный критерий общественной ценности поэтических произведений», – говорит он

в книге «От Чехова до наших дней». Естественно, что «обаяние таланта» и было его главным мерилом даже, как мы помним, в оценке погоды: талантливый день, бездарный дождь…

Мысль об эстетическом критерии как единственном возможном встречается в разных вариациях едва ли не в каждом его критическом выступлении. В начале работы в газете «Речь» он подробно изложил свою позицию в статье «Чехов и пролетарствующее мещанство». Чуковский говорит в ней о том, что форма – это именно та сторона художественного творчества, которая поддается «научному учету», что «только в форме может стихийно и непроизвольно отразиться создавший ее класс». Приводит в пример прозаика Анатолия Каменского: вроде бы он бунтует против буржуазии, эпатирует ее (одна героиня у него шокирует мещан, являясь к гостям нагой, в золотых туфельках), но сделано это так ремесленно, так мещански, с таким откровенным желанием понравиться публике, что критик замечает: «Эпатировать буржуазию стало у нас самым буржуазным занятием». А вот другой пример: «Недавно также пришлось нам отметить революционное содержание стихотворений г. Скитальца при вялости, равнодушии, бесцветности его формы. Содержание говорит: революционер; форма говорит: обыватель. Кому верить? Конечно, форме. Ибо если человек твердит самые пламенные молитвы, но твердит их зевая, то не по словам этой молитвы должны мы судить о его молитвенном настроении, а именно по этой зевоте». Точно так же достается от Чуковского Горькому, воспевающему безумство храбрых «размеренно и методически».

Дисгармония формы и содержания – самый интересный вопрос для молодого критика. Что писатель думает на самом деле, что прячет от себя и других? В чем его пунктик помешательства, его тайна? Каждая статья становится расследованием и заканчивается срыванием масок, извлечением из писательских шкафов таких скелетов, о которых они и сами не подозревали. Валерия Брюсова, например, Чуковский подверг совсем неожиданному анализу: проанализировал строй предложения и выяснил, что в стихах явно преобладают определения, прилагательные. Другой бы пожал плечами, увидев такой курьез, и остановился; Чуковский идет дальше, вытаскивая за эту тонкую ниточку серьезное противоречие: «С виду как будто гимн, восторг, упоение, ода, а на самом деле – перечисление свойств, качеств, определений, взвешенных и строго обдуманных. С виду глаголы, а на самом деле прилагательные. И такого рода стихи обнаруживают ум созерцательный, пассивный, всматривающийся в сущность вещей, но не знающий их в

действии, способный создать целый ряд великолепных определений – но не знающий сказуемого, того сказуемого, которое придало бы всем этим предметам, с такими прекрасными свойствами, прекрасное движение и прекрасную жизнь». «Отсутствие сказуемого – не грамматическая трагедия, а душевная», – резюмирует Чуковский: для него это говорило о неспособности Брюсова быть не искусным мастером, а настоящим вдохновенным творцом. Здесь он попал в точку, эта трагедия и впрямь была совсем не синтаксического свойства, и задетый за живое Брюсов, укрывшись за псевдонимом «Аврелий» и воздавая в рецензии хвалу критику, отмечал: «Я думаю, что Валерий Брюсов, прочтя статью о себе в книге г. Чуковского, несколько дней не мог отделаться от навязчивой мысли: а что, если я в самом деле – поэт прилагательных».

«Литературный стиль, художественный стиль… является единственным правдивым мерилом всякого художественного творения, – писал Чуковский в 1909 году в очередной статье про Арцыбашева, снова и снова объясняя себя. – Оценивать художника по *содержанию* его творений, по их *сюжету* нельзя: ибо самый неблагородный художник может сочинить самый благородный сюжет. А стиль – всегда выдает художника с головой».

Стиль как его понимает Чуковский, – уникальная для каждого писателя система отбора выразительных средств из всего того богатства, которым располагает язык. Стиль – это его неосознаваемый, подсознательный выбор, часто даже противоречащий его сознательным установкам. В часто цитируемом письме Горькому в 1920 году Чуковский сформулировал свою уже откристаллизовавшуюся, неоднократно проговоренную позицию так: «Я затеял характеризовать писателя не его мнениями и убеждениями, которые могут меняться, а его органическими, инстинктивными, бессознательными навыками творчества, коих часто не замечает он сам. Я изучаю излюбленные приемы писателя, пристрастие его к тем или иным эпитетам, тропам, фигурам, ритмам, словам, и на основании этого чисто-формального, технического, научного разбора делаю психологические выводы, воссоздаю духовную личность писателя».

«Подсознательное», «бессознательное» и прочий филологический фрейдизм появились в текстах Чуковского уже после революции, однако и за десять лет до нее он руководствовался принципом, который в 1924 году в книге «Две души Максима Горького» сформулировал так: «Изучая писателя, я всегда ставил себе задачей подметить те стороны его дарования, которых он сам не замечает в себе, ибо только инстинктивное и

подсознательное является подлинной основой таланта. Критик лишь тогда имеет право верить девизам, которые провозглашает художник, когда девизы эти гармонируют с бессознательными методами его творчества, с его стилем, ритмами и проч.».

К выводам об интуитивном и подсознательном Чуковского подводит строгий формальный анализ. Правда, всякий раз разный: каждое произведение диктует ему собственный подход. У Леонида Андреева он может пересчитать всякие «кажется», «вроде» и «как если бы» – «недоверчивые, приблизительные слова», и сделать вывод о том, что писатель «мало считается с реальностью жизни и горячо привержен к *«кажется»».* У Бальмонта в переводах Шелли – выписать все отсебятины, проанализировать их и отождествить с хлестаковскими «лилейными шейками» все эти *лучистые сны, роскошные неги* и *живые сочетания созвучий,* которыми переводчик заменил стоявшие в оригинале «сон» и «звук». И тут уже Чуковский негодует: «До чистоты ли мыслей, когда все ясные слова превращены в сплошную „сень струй“, когда каждая шейка фатально делается лилейной»…

По статьям видно: наверняка он читал с карандашом в руках. Читал и подчеркивал излюбленное, повторяющееся: ошибки, шаблоны, любимые созвучия, сравнения. У Горького он считает уже не ляпы, вводные слова или прилагательные, а количество повторений одного сюжетного стереотипа – и насчитывает девять вариаций конфликта Ужа и Сокола: Гаврила и Челкаш, Яков и Мальва… Чуковский выписывает их столбиком и сообщает: «Вот эти имена, – которые слева, те Ужи, а которые справа – Соколы. Будто жизнь – это большая приходно-расходная книга, где слева дебет, а справа кредит». «Рассказывать Горький ужасно не любит, всегда что-нибудь доказывает».

Надо сказать, правда, что далеко не всегда этот метод работал успешно: чем лучше, чем многообразнее писатель, тем меньше о нем говорят (и уж конечно, его не исчерпывают) свойственные ему повторы и проговорки. Отсюда и претензии критики, писателей, литературоведов: подносит увеличительное стекло к бородавке и уверяет, что это портрет, переворачивает стул и демонстрирует дно – а кому это интересно?

Станислав Рассадин писал о Чуковском-критике: «Конечно, фельетонный принцип, сформулированный в книге „От Чехова до наших дней“: „Каждый писатель для меня вроде как бы сумасшедший“, – мало способствовал тому, чтобы постичь сложную суть Чехова или Блока. Остроумие, с которым у них отыскивался „особый пункт помешательства“, могло создать разве что эффектную схему писателя а-ля Чехов или а-ля Блок.

Перечитывать эти статьи интересно и сегодня, они – проявление личности, а не отметки педанта на полях литературы, однако истинное содержание большого искусства протекало сквозь цепкие пальцы фельетониста. Но статьи о втором и третьем сорте были на редкость точными».

В статье «Третий сорт», имевшей довольно-таки артиллерийский эффект, Чуковский проявил чудеса изобретательности и виртуозности в разделывании писателей под орех. Должно быть, не одному начинающему графоману эта статья временно или насовсем отбила охоту писать. Первым досталось Георгию Чулкову: критик воспроизвел как верлибр титульный лист его сборника, утверждая, что это единственные стихи на всю книгу:

Книга «Весною на Север»
Отпечатана в типографии «Сириус»
В октябре 1907 года!..
Обложка работы М. В. Добужинского…
Из общего числа экземпляров сто нумерованных
На бумаге Лолан!
На бумаге Лолан!!

А остальных стихов – нет. Есть запятые, есть «несомненный восклицательный знак», а стихов нет. То, что есть, – «скорее рукоблудие, чем поэзия». Целое поколение читателей еще многие годы спустя со смехом вспоминало язвительное восклицание: «Бедная бумага Лолан!»

Стихи поэта Ленского Чуковский переписал задом наперед, от конца к началу, демонстрируя их аморфность:

Белые лилии, низко склоненные…
Речи и ласки, весной опьяненные…
Кажется, крылья над ней серебристые,
Стройное тело и взоры лучистые…

… и так переписано 16 строк, и то еще не конец… Получилось эффектно.

Ардова он просто прихлопнул, как муху, на четвертой строке: «О г. Ардове мы будем говорить восторженно. Он упивается такими словами, как „мираж“, „кортеж“, „чертог“, „аккорд“, „фимиам“, „лазурная пучина“, „волшебный храм цветов“, и мы рады приветствовать в его лице даровитого поэта полковых

писарей».

Надо сказать, что Ардов (Владимир Тардов) в долгу не остался. «Третий сорт» впервые вышел в январском номере «Весов» за 1908 год. А 28 февраля Ардов напечатал в газете «Раннее утро» безобразный даже на сегодняшний взгляд фельетон «„Румынская“ критика». «В этом памфлете-фельетоне, изобличая нравы современной литературной критики, Ардов в карикатурном виде представляет К. Чуковского и Нину Петровскую (обыгрывается заглавие ее книги рассказов „Sanctus amor“), а также, по всей видимости, и Брюсова (в образе „купца-благодетеля“)», – рассказывают Александр Лавров и Николай Богомолов в комментариях к переписке Брюсова и Петровской.

Петровская изображена разомлевшей барынькой. Чуковский – подхалимом, если не лакеем, который по велению купца («Эй, Чуковский! Поди, поцелуй ей мордализацию!») – «бежит, извивается, шебаршит, тараторит…».

«– Ах, махайте на меня, махайте! Дайте мне атмосферы! – томничает новообретенная знаменитость.

– Ах, махайте на нее! – поддакивает критик. – Дайте ей атмосферы! Видите, она задыхается среди современной узости, пошлости, надутости, одутловатости…»

Выступление Ардова было продиктовано, казалось бы, добрыми побуждениями – заботой о русской словесности. «Да, я был груб, но был груб потому, что бывают минуты, когда возмущение столь сильно, что чувство меры теряется и не замечает грубости», – оправдывался потом он в письме Брюсову. Оправдываться же пришлось потому, что восемнадцать писателей (в их числе – Брюсов, Белый, Бунин, Ауслендер, Зайцев и др.) в ответ на публикацию в «Раннем утре» выступили в газете «Руль» с письмом, где заявляли, что фельетон, содержащий «в высшей степени цинические и непристойные суждения о двух писателях, ставит его автора за порогом литературы». К ним присоединилась редакция «Руля». Ардова осудили.

Но вернемся к Чуковскому. Он фактически стал первым формалистом среди критиков. Он первым обратил внимание на то, чем постоянно пренебрегали его коллеги: формальным анализом. И пошел значительно дальше тех, кто этим анализом не пренебрегал, а, скорее, злоупотреблял. Горькому он писал в 1920 году: «Наши милые „русские мальчики“, вроде Шкловского, стоят за формальный метод, требуют, чтобы к литературному творчеству применяли меру, число и вес, но они на этом останавливаются; я же думаю, что нужно идти дальше, нужно на основании формальных подходов к матерьялу конструировать то, что прежде называлось душою поэта».

«Критика должна быть универсальной, научные выкладки должны претворяться в эмоции, – убеждал Чуковский Горького. – Ее анализ должен завершаться синтезом, и покуда критик анализирует, он ученый, но, когда он переходит к синтезу, он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека. Критика должна быть и научной, и эстетической, и философской, и публицистической». Кстати, многие работы Корнея Ивановича построены как гегелевские триады: тезис – антитезис – синтез. Современников это выводило из себя: полстатьи доказывает одну мысль, затем бросает ее на полдороге и начинает доказывать обратное, злились они. «Г. Чуковский в первой части своего очерка доказывает, что у Андреева нет ничего заветного, во второй – что у него есть заветное (абсолютная человеческая личность). Это есть противоречие в существе, и объясняется оно тем, что сущность Андреевского творчества, то заветное, что есть у Андреева, г. Чуковский оказался не в силах уловить», – негодовал Гершензон в 1908 году, прочитав книгу «Леонид Андреев большой и маленький». А ведь подобное построение, даже если оставить в покое Гегеля, шло на пользу статье уже потому, что сразу создавало интригу: читателю сразу хочется узнать, почему такое странное противоречие раздирает душу писателя. А кроме того, этот принцип особенно удобен для выполнения задачи, которую критик ставит себе: показать двойственность, сложность большой человеческой души.

Эстетический идеал Чуковского – это гармония между душой и творчеством, формой и содержанием, исповедуемыми принципами и их воплощением на бумаге, сознанием и подсознанием. Но, как любой идеал, это только конечная цель бесконечного движения. Даже гениальный Толстой, даже Чехов не достигли его вполне, хотя они-то как раз ближе всего к идеалу критика. Человек мал и грешен, человек пребывает в сомнениях и борениях, он далек от совершенства. И этим он особенно дорог Чуковскому. Несовершенство, текучесть, изменчивость человеческой натуры, дисгармония и разлад в душе художника становятся объектами его пристального и сочувственного внимания. В 1900-х годах Чуковский не ставил еще цели создавать законченные портреты писателей – в основном он говорил о том неожиданном, непривычном, незамеченном, что ему удавалось обнаружить в каждом из них. В конце 1910-х – начале 1920-х годов он взялся именно за литературные портреты и выказал незаурядное мастерство и психологизм, о чем мы поговорим позже. В это время он и сформулировал окончательно суть своего критического метода.

При всем этом Чуковский не признавал никаких разговоров о политической платформе, группировках и литературных направлениях: «Лучше таланты и умы без программы, чем программа без умов и талантов». В России времен реакции эту позицию еще терпели, хотя и поругивали – Чуковскому досталось даже от Ленина, заметившего мимоходом в «Наших упразднителях», что критик «лягал марксизм», а Троцкий посвятил нашему герою длиннейшую громокипящую главу в своем труде «Проблемы культуры» (1914). А вот после революции терпеть такие взгляды уже никто не собирался, и о своем критическом призвании Чуковскому пришлось навсегда забыть.

Румяная фефела

Одной из примет послереволюционной России стало бурное раскрепощение плоти: «„Проклятые“ вопросы, как дым от папиросы, / Рассеялись во мгле, / Пришла Проблема пола, румяная фефела, / И ржет навеселе». Саша Черный, естественно.

Не успели остыть угли социальной революции, как вспыхнула революция сексуальная. Ее даже можно датировать и записать в учебники обществоведения: первая русская сексуальная революция 1907–1908 годов. Не в том, пожалуй, дело, что общество хотело свободы; скорее оно просто устало от постоянно навязываемых ему канонов сурового подвига, самопожертвования, альтруистической любви. Канонов, в которых оно разочаровалось, постулатов, в которые оно больше не верило, идей, которые успели надоесть, – так к позднему застою в Советском Союзе устали от строительства коммунизма. И точно так же еще до свободы экономической и законодательной в стране восторжествовала свобода сексуальная. В 1908 году Чуковский писал в «Идейной порнографии»: «Это было душевное ощущение интеллигентской России, которая вся, всеми своими книжками, брошюрами, всеми словами и всеми действиями вдруг заявила:

– Долой, долой кожаный мешок «направленства»! Не хочу сидеть в кожаном мешке, хочу погулять на свободе.

И бросилась вон из мешка».

И тогда же Чуковский предупреждал, и только сейчас мы понимаем, насколько важно было услышать это его предупреждение: «Свобода, конечно, хорошая вещь, но выдержим ли мы эту свободу? Достаточно ли мы сильны для этой свободы – чтобы на свой собственный страх жить вне всяких партийных рамок, ходить без направлений, творить без программы?»

Оказалось, сильны были недостаточно. Интеллигенция предалась апатии; разочаровавшись в идеалах, – заговорила о красоте порока; разочаровавшись в религии, – увлеклась культами, жертвенниками, треножниками, радениями и каждениями. Занялась мистериями, зашепталась об оргиях, началось обжорство, распутство, швыряние денег, мистические искания. Девушки задались вопросом, с какой стати им блюсти себя. Писатели, кажется, тоже. Все взялись раскрепощать плоть: Кузмин писал о гомосексуализме, Сергеев-Ценский – о некрофилии, Арцыбашев – о свободной любви, Зиновьева-Аннибал – о любви лесбийской.

Вот, к примеру, недавно было опубликован сборник дамской

эротической прозы конца 1900-х «В поисках ощущений»: «Тридцать три урода» Зиновьевой-Аннибал, непостижимо дурновкусная «Вакханка» бессмертной Чарской и некто Альга с повестью, давшей имя сборнику. Первые два имени широко известны, Альгу ни история русской литературы, ни критика не помнят, Чуковский тоже такой не замечал; между тем ее банальная, вялая, «травянистая» проза словно нарочно сконструирована по шаблону, многократно им описанному в статьях; шаблону, которым пользовались и Каменский, и Арцыбашев, и прочие мелкие герои фронта эротической прозы, имя же им легион. Всех нынче издают со сладострастным удовольствием, полуприличными картинками на обложке и без какого-либо историко-литературоведческого комментария.

Альга – просто ярко типичный пример, будто нарочно написанный для иллюстрации нашей темы (может быть, и нарочно: вдруг мистификация? Но нет, слишком уж кропотливый был бы труд ради вполне ничтожной цели). Вот героиня жалуется: «Кто наполнит мою жизнь, если из нее исчезнет любовь? Останется такая пустота, что жутко подумать… Ведь у меня ничего нет, кроме любви. Я дитя безвременья, типичная представительница никчемной, беспочвенной интеллигенции, выросшей в затхлом сумраке девяностых годов. У меня нет ни веры, ни идеалов, ни стремлений, ничего, ровно ничего…» В промежутках между случайными связями и просто флиртом она предается метаниям: «читала я беспорядочно, для науки у меня нет подготовки и усердия, для художественного творчества – таланта, общественная деятельность не привлекает…» «Или идти в революцию? Но, чтобы идти в нее, нужно верить. А у меня нет веры, нет подъема, нет энтузиазма…» «И что же мне остается?» – вопрошает героиня. Остается, как водится, одно: *carpe diem*,[9] падай в объятия, наслаждайся и подводи под это теоретические обоснования. «И смятая кофточка падает на пол… Безумный порыв поцелуев. Жгучим дождем раскаленного пепла они осыпают меня…» А вот на следующих страницах нам встречаются: социалист Леон Блюм, Осип Дымов, Кауфман, Каменский, Зиновьева-Аннибал, Сологуб, жрецы, лупанарий, «Лига высших наслаждений», Клод Фаррер, «если бы мы ввели в брачные отношения градацию, предложенную Фурье…». Воистину, прав Чуковский, горестно провозглашавший в «Идейной порнографии», что у одних только порнографов и остались какие-то идеи, какие-то искания.

А вот Саша Черный продолжает тему: «Разорваны по листику программки и брошюры, / То в ханжество, то в мистику нагие прячем шкуры. / Славься, чистое искусство с грязным салом

половым! / В нем лишь черпать мысль и чувство нам – ни мертвым, ни живым». И то, что и нынче это творчество (если кому и интересное, то историкам литературы) продолжает издаваться в рамках серий вроде «запретная словесность» или «эротика по-русски» даже без выходных данных оригинала, демонстрирует глубокую правоту Чуковского в отношении общей читательско-издательской культуры в России. Как раз об этом была написана статья «В бане», по каким-то причинам не вошедшая в 15-томное собрание его сочинений. Так что остановимся на ней подробнее.

Действие происходит, действительно, в бане. Некий посетитель выкрикивает рекламу поднимающих потенцию средств вперемежку с названиями нашумевших произведений Кузмина, Сергеева-Ценского, Каменского – тех самых, где герои демонстрируют все степени раскрепощения тела, от публичного обнажения до некрофилии. Под маской этого банного рекламиста прячется сам Чуковский: она позволяет ему высказать несколько крамольных мыслей от лица персонажа – самого его бивали в печати и за куда более невинные высказывания. От этого посетителя бани автор статьи специально дистанцируется. Текст написан от первого лица. Я, мол, это услышал и спросил: что общего имеет Кузмин «с какими-то гнусными презервативами?». Странный посетитель охотно поясняет: для читателя, для потребителя «спермин и Кузмин – одно и то же»; «Кузмин, по многому видно, образованный, способный человек, благороднейший. Но ведь потребитель-то Кузмина – хам, слюноточивец, полуграмотный жеребчик, – вы-то отметьте, что ведь спрос на Кузмина и на спермин возрос в одно время. Параллельно. Рядом. Заметьте: я про спрос говорю, а не предложение. Я читателя изучаю, а не писателя».

Знаменательно здесь то, что Чуковский впервые так ясно заявил о своих социологических устремлениях, – до сих пор критика не ставила перед собой четкой задачи изучать читателя, выяснять причины спроса и степень его влияния на предложение.

У Чуковского есть вполне определенное мнение о том, почему читатель – «хам и слюноточивец». О причине этой беды он неустанно говорил в первые годы после русской революции: это все та же неукорененность, бескультурность, отсутствие духовной преемственности между поколениями. Мысль кочует из статьи в статью, всякий раз обогащаясь новыми оттенками. Ему приходилось уже говорить о том, что западный писатель в среднем культурнее российского; теперь мы слышим то же самое о читателе: «В Европе читатель как рос? Туго, потихоньку, – как клубок наматывался. А у нас мотают, мотают, – дерг! – и порвана нитка. Снова начинай. И снова – дерг!» Сколько таких «дерг»

случалось с момента написания этой статьи по сей день – каждый волен сосчитать сам, а логика развития российской культуры описана точно.

Русская культура, пишет критик, как старая торговка луком в рассказе из еврейской жизни, выползает после очередного погрома на рынок… «Чорт ее знает, до чего она живуча: громи ее каждый день и каждый день она будет выползать со своей корзинкой, всякий раз там будет что-нибудь съедобное, и часто думаешь: нет, уж ей не выползти, уже больше нельзя, смотришь – ползет».

Немудрено, что послепогромный читатель таков – с чего ему быть другим? «Мы прямо от тараканов, грамотные со-вчера, в сапожищах, прыгаем в Кузмина, и пусть Кузмин дает нам тончайший стиль, изощреннейший юмор, острую диалектику – наша ли вина, что мы заметим в нем только его общность со спермином и кремом „Ренессанс“? Литература теперь нужна не как хлеб, а как спермин, возбуждающее средство», – констатирует Чуковский; и кричащие названия книжек, и дикие их сюжеты – все потому, «что вне щекотки у нас нет никаких способов проникнуть в читательскую душу». И щекотать приходится все больше, иначе происходит привыкание, и читателю опять будет скучно.

Как некультурный человек в Лувре «после двух-трех залов— уже изсмотрелся», так и читатель устал от культуры, потому что «этой культуры было вокруг него больше, чем внутри него». Учиться надо, опять убеждает Чуковский: «Мало ли как можно переждать реакцию. А вы только и знаете, что спермин да Кузмин. Очень уж это однообразно. Культура тем уже хорошая вещь, что много она дает разных развлечений, когда тебя свяжут и сядут тебе на голову во всю ширину своего седалища. Займитесь же культурой!»

Комментировать это – только впечатление портить. В чем в чем, а в пророческом даре нашему герою не откажешь.

Первая слава

В 1907 году в издательстве «Кружка молодых» вышла первая книжка Чуковского – «Поэт-анархист Уолт Уитмен». Об Уитмене он к этому времени прочел немало лекций, сделал довольно много переводов из любимого поэта, их и издал с небольшим предисловием.

В начале осени 1907 года состоялось знакомство Чуковского с Репиным. Художник сам пришел к нему на дачу, принес ему от кого-то из города письмо, вспоминал потом Корней Иванович. 7

сентября Чуковскому писала Нордман-Северова, жена мастера. 9-го он был у Чуковского в гостях. «Прост. Чуть пришел, взобрался на диван, с ногами, взял портрет Брюсова работы Врубеля. – Хорошо, хорошо, так это и есть Брюсов», – фиксирует Чуковский в дневнике.

Пожилой знаменитый художник и молодой критик, мало кем воспринимаемый всерьез, быстро сдружились – просто потому, что были друг другу интересны. К. И. обладал поразительным умением разговорить любого человека, находя обоюдоинтересные темы для разговора. Позднее Николай Гумилев назвал его идеальным собеседником. И уж тем для обсуждения с Репиным у Чуковского было немало. Корней Иванович часто позировал Репину. Илья Ефимович настолько любил свое дело, что хотел всем дать почувствовать наслаждение от художественного творчества, – рисовать у него начинали все. Чуковский тоже. Однако быстро убедился, что не получает от этого никакого удовольствия.

Репин очень скоро стал посылать за соседом, когда в «Пенаты» приезжали гости, а гости у Репина обычно бывали незаурядные. Замечателен был и сам репинский дом, светлый и радушный, и замечателен не только и не столько причудами взбалмошной Натальи Борисовны Нордман – обедами «из диких трав» или «раскрепощением прислуги», сколько своей особой атмосферой. Обеды, где за круглым столом с вращающейся серединой самообслуживание доходило до того, что запрещалось даже помогать друг другу, где подавался картофельный салат, репа в вине и орехи с грушами, в мемуарной литературе описаны многократно, и притчей во языцех стали голодные толпы репинских гостей, опустошающих по средам буфет на станции Белоостров, где поезд стоял на таможне. За столом были приняты свои правила: «Председатель обязан прежде всего важничать», «за помощь ближнему виновный наказуется речью…». Штрафники произносили речи, забравшись по лесенке на возвышение в углу столовой. «Мы старались штрафовать Чуковского, потому что он произносил интересные и блестящие по форме речи, и Репин любил его слушать», – вспоминал художник Исаак Бродский.

Здесь за обеденным разговором или сеансом в мастерской обсуждались самые важные темы дня, создавались экспромты, рождались новые идеи, которые скоро начинали энергично претворяться в жизнь. Репин и Нордман-Северова стали привлекать Чуковского и его жену к реализации своих проектов по обустройству Куоккалы. За десять лет совместных усилий таких проектов оказалось немало: театр, чтения, лекции, собрания, библиотека, кооперативные елки… Куоккала – редкий

пример такого деятельного изменения среды обитания: в России мыслящие, деятельные люди искони тоскуют, чахнут и спиваются, не находя себе применения, и рассеянно мечтают о какой-то иной жизни. Здесь эти люди объединились и начали творить иную жизнь собственными усилиями, и среда даже стала им поддаваться. Но и люди были не совсем типичные – не рефлексирующие интеллигенты (хотя и этого в Чуковском было немало), а творцы, трудоголики, влюбленные в работу и при этом находящие время и силы заниматься социальными и культурными преобразованиями, пусть и в масштабе дачного поселка.

Жизнь Чуковского в 1907–1908 годах – это возня с детьми, бесконечная работа над статьями, быстро создавшими ему славу, поездки в Петербург. В мемуарах и газетных заметках он мельком встречается там и сям: в салонах, в редакциях журналов, в литературно-художественных кружках. Он выступает с лекциями – иногда успешно, иногда проваливаясь, – ездит к Леониду Андрееву, ходит в гости к Репину. В дневнике – записи о встречах: Сытин, Блок, Рославлев, священник Григорий Петров, публицист и исследователь Владимир Тан-Богораз (он жил рядом, в Куоккале, и вместе с Чуковским работал в «Свободных мыслях» Ильи Василевского-Не-Буквы).

«В Куоккале познакомился я с В. Г. Короленко (это произошло в 1910 году. – *И. Л.)* и Н. Ф. Анненским. Бывали месяцы, когда я посещал их почти ежедневно. К этому времени у меня появилось немало друзей и знакомых в литературно-артистическом мире: я близко узнал Алексея Толстого, Леонида Андреева, Н. Н. Евреинова, Аркадия Аверченко, Тэффи, Минского, Александра Бенуа, Кустодиева, Добужинского, Шаляпина, Комиссаржевекую, Яворскую, Собинова и нашел истинного друга в лице академика Анатолия Федоровича Кони», – писал сам Корней Иванович.

С Николаем Федоровичем Анненским и его воспитанницей Татьяной Богданович Чуковский познакомился и подружился в 1908 году. У Татьяны Александровны было четверо «отличных», по выражению Корнея Ивановича, детей – Таня, Соня, Володя и Шура. Звали их «ангелятами», поскольку отцом детей был критик Ангел Иванович Богданович. С ангелятами Чуковский играл, ходил на море, катал их в лодке. Чрезвычайно характерна дневниковая запись этого времени: «Были у меня вчера Куприн и Щербов – и это было скучно. Потом я бегал вперегонки с Шурой и Соней Богданович – и это было весело». Исаак Бродский пишет: «Чуковский всегда, сколько я его помню, был окружен детьми… Он часто играл с детьми около своей дачи, на берегу залива, строил с ними разные крепости, затевал увлекательнейшие игры,

в которых сам принимал главное участие».

Сын Коля стал интересно и много говорить. Теперь Чуковский часто с ним гуляет, и его дневники наполняются записями детских словечек, разговоров с Колей: «Шишки на дерево полезли как-то», «У волн черные спинки и белые животики», «Бабочки – трусишки, они большие, только трусишки. Они улетают: они думают, что люди – волк». Особенно много они говорят о Боге. «Отчего Бог держится на небе и не падает вниз? У него есть крылья? А у Бога есть жена?» – спрашивает Коля. Своих ответов Корней не приводит. Судя по интенсивности общения со священником Петровым, по тому постоянству, с которым в его статьях этого времени возникают евангельские реминисценции и цитаты из Писания, а в дневниках – теологические дискуссии с сыном и мысли о смерти, – должно быть, он много думал о Боге. Позднее, кстати, из этих разговоров и мыслей выросли интереснейшие размышления о религиозном воспитании детей в никем еще толком не прочитанных его работах—«Бог и дитя» (1908), «Малые дети и великий бог» (1911) и брошюре «Матерям о детских журналах» (1911).

Это уже та жизнь, которую любовно и подробно описала Лидия Корнеевна в «Памяти детства» – с морскими купаниями и лодкой, с постоянным строительством запруд, чтобы не дать ручьям и морю размывать землю, с лыжами и буерами – зимними санями под парусом, с игрой в городки, детским весельем и постоянным трудом. Жизнь вошла в колею, устоялась, в ней появился быт – тот самый ненавистный быт, с которым так воевала передовая молодежь конца XIX века и который якобы «умер».

Первым о «смерти быта» – дворянского, усадебного уклада – заговорил Дягилев в 1905 году, и мысль эта, как часто бывало с чужими мыслями, пришлась Чуковскому ко двору – он подхватил ее, развил, продумал и сделал своей. Но теперь уже Чуковский относится к быту иначе, нежели в пору войны с кофейниками: в статьях 1908 года он говорит о быте с нежностью и с тоской – о безбытности, беспочвенности, оторванности от корней и традиций. Об этом он пишет в статье о Куприне «Быт. Бытие. Событие. Обычай», в «Евреях и русской литературе» и даже в упомянутых выше работах о детях и Боге.

Ребенку не под силу понять абстракции и сложные концепции, невозможно осилить догматы, убеждает Чуковский, но дети легко и с радостью принимают народное, фольклорное, сказочное и бытовое христианство – обряды, традиции, сказки, которые и прививают им нравственное чувство, и приближают

далекую, торжественную, таинственную религию к их повседневной жизни. «Если у Руси нет школы, нет педагогики и вообще нет никакой культуры, то у Руси есть быт, и к этому быту мы, особенно теперь, должны устремиться всеми силами и других за собой позвать, – теперь, когда всюду свирепствует безбытность, беспартийность, „адогматизм“ – эта поистине духовная азефовщина», – пишет он в брошюре «Матерям о детских журналах». «Не школьная религия, не догматическая, не „бессеменное зачатие“ и не „искупление рода человеческого“, а религия бытовая, народная, национальная, – такая близкая к нам, такая несомненная, переплетающаяся с нашей природой, с нашими деревнями, снегами, свиньями, курами, – почти растущая в наших лесах, почти текущая в наших реках, – вот где необходимая религиозная пища для наших детей». Вслед за педагогом Каптеревым он говорит о том, что православие есть «известный уклад жизни, своеобразный быт, сумма народных особенностей», круговорот праздников, свод сказок и преданий, вводящих ребенка в духовный мир, где он находит столь необходимое ему чудо. В статье «Спасите детей» (1909), которая вошла в брошюру в новой редакции, он писал: «Педагогика, пекущаяся о создании гармоничнейшего человека, как же она смеет выбрасывать прочь тот единственный источник гармоничности – быт, среди которого и которым будет жить этот человек?» Он говорит дальше о том, что быт, пресловутые «нравы и обычаи» – это компас для человека, что без него человек блуждает и «судорожно прыгает», что «быт нужно привить с детства, как оспу, потом он не привьется». Что быт – это амулет, ладанка, которая потом убережет детей «от многих и многих несчастий».

Религиозность Чуковского – народная, детская, органическая, привязанная к повседневности. «И чем я здоровее, чем бодрее, тем более привязчив к таким мелочам, – записывал он в дневнике еще в 1904 году. – Отчего это? Значит ли это, что у меня нет „Бога живого человека“? Или это значит, что мой бог жизнь, все равно где, все равно какая – бессвязно плетущаяся – вне доктрин, вне наших систем, вне наших комментариев, вне нашего знания». Пожалуй, тут он довольно ясно сформулировал свои религиозные представления: Бог Чуковского совершенно пантеистичен, это почти бергсоновская витальность… а в общем-то это как раз и есть жизнь – весь изумительный, узорчатый, разноцветный мир, на который человек взирает с неиссякаемым любопытством и наивной радостью. Этот мир настолько Чуковскому интересен, столько в нем возможностей, тайн, красоты, счастья, что совсем ему не нужно никакого другого мира, того света, вечности,

мистики… Он весь – по эту сторону жизни. По ту сторону его ничего не интересует, там для него ничего нет.

1908 год стал первым по-настоящему удачным годом Чуковского. В «Речи» он в это время почти не печатался, но много работал над книгами и докладами. В январе вышел сборник «От Чехова до наших дней», объединивший лучшие статьи предыдущего года. Его быстро раскупили, и в течение года он переиздавался еще дважды. Успех для критического сборника небывалый даже в те насквозь литературные времена – но вполне понятный, если взглянуть на контекст и перечитать «марксометров» Плеханова и Луначарского, неприятного Измайлова и противного Пильского, скучнейшую Колтоновскую и утомительного Кранихфельда… И даже остроумная и злая Зинаида Гиппиус, даже проницательный Горнфельд или умнейший Брюсов – большинство пишет для какого-то воображаемого читателя или просто для тех, кто «в теме». «Теургия», «неугасимый огонь Весты», «касание к многогранной Тайне», «у Шопенгауэра эстетика слишком связана с его метафизикой», «посредники между миром нуменов и феноменов…» (последнее, правда, уже *неудобовразумительный* Вячеслав Иванов)… А в том, что писал Чуковский, была простота, волшебная свобода от стереотипов и бесшабашная, веселая раскованность. Тогда это качество расценивали как хамство, бескультурье и расхлябанность.

Он писал ясно, внятно и очень смешно, и его понимал всякий российский читатель – гимназисты и курсистки, инженеры и присяжные поверенные, которые были вовсе не в состоянии продраться сквозь нумены и феномены, хотя и пытались это скрывать. Он всю жизнь говорил о литературе не для «своих», а для всех – так, чтобы его могли понять «не только Гумилевы и Блоки, но и желторотый студент, и комиссариатская барышня», постулировал он сам в письме к Горькому значительно позже. Конечно, и у него был свой идеальный читатель, и год от года идеальных читателей становилось все меньше – вечная трагедия Чуковского; и всю жизнь он пытался такого читателя воспитывать, приучать человека к чтению, прививать ему вкус к этому занятию, заставлять его задумываться о языке и литературе, понимать их как сложный процесс, а не застывший свод правил. И свои архивные и текстологические изыскания обычно предварял предисловием, где всякий раз твердил: эта повесть Некрасова очень важна для понимания того-то и того-то! Рассказывать о ней птичьим языком в специальных профессиональных сборниках – это скрывать сокровища мысли и духа от миллионов читателей!

Давайте с ними делиться!

Напрасно все-таки Самуил Лурье в предисловии к переписке Чуковского с дочерью несколько брезгливо иронизирует, называя труды К. И. «самоучителем хорошего тона для бедных», – для многих советских читателей эти статьи стали открытой дверью в филологию. Тут кто-нибудь должен задаться вопросом, а надо ли вообще открывать двери в филологию для всех… но сам Чуковский вряд ли обрадовался бы такой постановке вопроса.

В том же году отдельной книгой вышли собранные и переработанные статьи о Леониде Андрееве – они составили сборник «Леонид Андреев большой и маленький». Особенно впечатлил публику «Словарь», впервые опубликованный в газете «Свободные мысли» к юбилею писателя. В этом словаре Чуковский тщательно собрал и расположил в алфавитном порядке, со ссылками на первоисточники всю брань, которой удостаивали Андреева современные ему критики, от Пильского до Мережковского: гадость, галиматья истерическая, грязная лужа полового извращения, идиотские глупости, навоз, поток патологической и порнографической беллетристики, сумасшедший бред, смердящие выражения, смрадное дыхание пошлости… «Я не думаю, чтобы этот лексикон совсем верно и точно передавал душевные качества Леонида Андреева, но мне нравится то единодушие, с которым русское общество пестует и лелеет своих выдающихся культурных работников», – ядовито резюмировал Корней Иванович. Очень рекомендую статью современным писателям: утешительнейшее чтение.

Отношения художника и критика – вообще одна из болевых точек Чуковского; немного позже он написал об этом статью «Волки и овцы», где говорил об ответственности критика перед читателем, о его обязанности распознавать крупные литературные явления и поддерживать лучших писателей. Говорил о вине русской критики, не увидевшей своевременно ни Гоголя, ни Толстого, ни Достоевского, ни Шевченко. Потерпеть от коллег пришлось и ему самому: чем популярнее он становился, тем больше, злее и глупее его ругали: «это самый яркий типик современного распада», «бойко», «резво», «лихач», «разухабистый», «развязный», «цепляется к мелочам»… список претензий у всех был один и тот же. Зинаида Гиппиус, руководимая желанием наставить заблудшего на путь истинный, писала ему, что жалеет, что его «дешевая книжка» так расходится. «Жаль именно потому, что вы очень талантливы и при этом, кажется, умны. Посмотрите, какой „тон“ вас засасывает, какой он скверный, гаерский, иногда прямо хулиганский», – увещевала она, особенно горюя о том, что автору его «тон и „легкость пера“

самому нравятся» – «Нравятся, нравятся, чую и вижу это сквозь ваши улыбчивые жалобы и скромные отмахивания». Другие вцепились в предисловие к книге «От Чехова до наших дней», где Чуковский говорил, что критик должен быть сыщиком и выискивать, как Нат Пинкертон, у писателя «пунктик помешательства», который сам писатель пытается скрыть. И понеслось: «Нат Чуковский», «Пинкертон критики»…

Слава Чуковского уже стала довольно громкой – в газетных отзывах только и слышится: «модный», «популярный», «прогремел», «блеснул». В феврале 1908 года Владимир Тан заявляет в «Свободных мыслях»: «О К. Чуковском в последнее время пишут во всех газетах от „Русского знамени“ до „Столичной почты“, и все пишут одно и то же. „Талантливый молодой человек, подающий надежды, но, к сожалению, не страдает избытком идей и эрудиции“. Мне это так надоело, что я готов написать как раз наоборот: По личным и достоверным сведениям могу сообщить – „г. К. Чуковский – почтенный старик, с бородой, как у Фауста, с лысиной, как у П. И. Вейнберга, состоит ученым корреспондентом Академии Наук и готовит к печати…“ Без шуток, я готов противоречить общему мнению и признать, что, когда К. Чуковский пишет о том, что ему близко знакомо, то есть о русской литературе, у него есть и эрудиция, и общие идеи, или по крайней мере общие настроения». Дальше, правда, Тан уверял, что, когда Чуковский пишет о еврейском вопросе, ничего этого у него нет. Аркадий Горнфельд почти одновременно с Таном замечал, что у критика есть вкус, интерес к литературе и любовь к ней, – но сделал и обидное замечание о «безбрежном легкомыслии, с которым здесь перепрыгивают через факты и попирают логику». Чуковский обиды не стерпел и тоже посвятил Горнфельду статью с ничуть не более обоснованными упреками в случайности тем, беспочвенности выводов и других смертных для критика грехах.

Обид проглатывать он еще не умел и предпочитал последнее слово оставлять за собой. Иногда получалось довольно глупо: в 1911 году, например, он довольно много писал о журнале «Сатирикон» и его авторах, и Аркадий Аверченко высмеял его в «Сатириконе», сочинив издевательский некролог. Чуковский поторопился ответить сердитой статьей «О моем некрологе», но Аверченко в следующем номере принес ему извинения за ошибочную публикацию не предназначенных для печати заметок, а в следующей статье выставил его полным глупцом: «Если бы г. Чуковский не торопился так ответить мне, он, просмотрев „Сатирикон“, не сказал бы, что только тип проститутки по-настоящему изучается „Сатириконом“, – потому что в

„Сатириконе“ проститутке отведено гораздо меньше места, чем, например, ему, г. Чуковскому… Кого же Вы имеете в виду, упрекая нас за излишнее внимание к проститутке?» «Хотя тон был взят довольно хамский, – завершает свой рассказ об этой истории Евгения Иванова, комментируя статью „О моем некрологе“, – он исключал возможность серьезного ответа, и Чуковский был обезоружен».

Количество язвительных комментариев и обидных эпитетов возрастало пропорционально славе. В 1909 году в дневнике К. И. появляется запись: «Из всех газет сыплются на меня плевки». В 1911-м он не выдержал и печатно ответил своим хулителям программной статьей «О мелочах», где защищал свой критический метод: «Простоватый и дубоватый читатель, конечно, вправе подумать, и даже со злобой, что вот, шутовства какого-то ради, я придираюсь к мелкому, ничтожному словечку, выдираю его из страницы, раздуваю одно словечко, как огромный мыльный пузырь, долблю этим словечком писателя, а души его совсем не замечаю. Но люди, хоть немного изощренные, с мышлением художественным, люди, умеющие на лету, по двум, по трем порою намекам схватить сложный богатый образ, те, я верю, увидят, что… всеми этими черточками я только о душе и пишу, только *душу* и стараюсь выследить, пренебрегая всем остальным».

Пинкертон

Популярность, конечно, не может не радовать Чуковского. Но он уже поставил перед собой огромную новую задачу – и не может к ней подступиться, и в сентябре 1908 года записывает в дневнике: «Из „Слова“ письмо – боюсь перечесть. Я у них взял аванс в 100 р. и не дал ни строки. С „Натом“ я мучаюсь страшно. 2 недели пишу первые сто строк, и впереди нет ни одной мысли. Ужасно то, что я не несу никакого учения, не имею никакого пафоса. Я могу писать только тогда, если хоть на минуту во мне загорится что-нб. эмоциональное. Если б у меня была „идея“, я был бы писатель. А когда нет „пафоса“, я почти безграмотен, беспомощнее всех и завидую репортерам, которые связно могут написать десять строк». И здесь же он пишет об отличной погоде, «умилительных березках» (должно быть, тех самых «невестах робких» – стихи об обманутых березках как раз были написаны в 1908 году)… «Сегодня с Машей ходил в парк. Было изумительно хорошо. Коля болтал без умолку. Мы садились на скамейки, смотрели высокие сосны, видели школу, основанную Репиным, любовались кленом: он, как из золота…»

Трудная работа, которую Чуковский задумал в 1908 году – это одно из первых в России (и в мире) исследований, посвященных массовой культуре. Коллективное, соборное, народное творчество давно уже занимало его. Рассуждая о быте и укладе, он постоянно возвращается мыслями к корням, фольклору, народности. В это же время он написал и небольшую работу о средневековых народных мистериях («Дары средних веков»), где иронизировал над общепринятыми представлениями о средневековой культуре: «Это было время утонченного изящества» – и дальше говорил о совсем других, куда более типичных признаках этого времени: о людях, которых превращали в «куски четвертованного мяса», о проститутках, которым «отрезали косу и верхнюю губу», о народившемся мещанстве… и доказывал, что мистерии – «идеальное воплощение интересного, невозвратного, подлого, наивного, жестокого и красивого века», «создание мещанства, купечества».

Именно творения коллективного народного сознания начинают занимать ум Чуковского все больше и больше. Фольклор сотворен мужиком, мистерии – купечеством, это яркая, пестрая, своеобразная форма культуры. Не менее оригинальна и та культура, которая появляется во времена массового производства, и именно к ней Чуковский внимательно присматривается: ходит в кинематограф (характерна забавная жалоба в дневнике: «Надо посетить кинематограф. А где его возьмешь в Куоккала?»), скупает издания дешевых брошюрок о приключениях непревзойденного сыщика Пинкертона (в статье он упомянул, что прочитал 58 выпусков о нем). Современников феномен массовой культуры не особенно интересовал, об этом и говорить как-то было неприлично – ну в самом деле, что такое Нат Пинкертон. Чуковский стал первым; нынешние исследователи, собирающие и пристально изучающие детективы в бумажных обложках, дамские романы и тупые американские комедии, дружно шагают по путям, которые он проторил без малого сто лет назад. «Ведь и холерные вибрионы мелочь, да сама холера не мелочь», – заметил критик однажды, явно парируя упреки в том, что «иногда Корней Белинский сечет господ, цена которым грош». Это стихотворение Саши Черного появилось позднее, но обвинение было типичное.

Недаром он еще в 1906 году уверял: «Напиши Карл Каутский статью „О классовой борьбе в области дамских шляп“ – это была бы совсем не такая нелепая статья, как кажется с первого взгляда». И в «Нате Пинкертоне» говорил, что кинематограф – это коллективный эпос, который ждет «нового Буслаева и нового Александра Веселовского». И позднее, в статье о Чарской писал:

«Если какой-нибудь Дюркгейм захочет написать философский трактат „О пошлости“, рекомендую ему сорок томов сочинений Лидии Чарской. Лучшего материала ему не найти». А пока ни Каутский, ни новый Буслаев или Веселовский, ни какой-нибудь Дюркгейм не вдохновились идеей изучения массовой культуры, уличной моды, шрифтов, обложек, архитектуры, – Чуковский пытается сам выполнить эту масштабную задачу.

Как творчество художника – отражение его души, так и совокупное народное творчество – отражение души народа. А в том, что кинематограф и бульварная литература – это форма народного творчества, Чуковский не сомневается: это предложение, порожденное спросом, кинокартины «как бы прямо и непосредственно созданы зрителями, и потому они правдивее, точнее и резче выражают идеологию этих людей, чем любая картина, любая опера и поэма».

Что же это за люди, которые с восторгом смотрят, как «кого-нибудь бьют, или кто-нибудь хлопнулся оземь и больно ушибся, или вышла какая-нибудь путаница, неразбериха, галиматья»? Если так убого творчество, что же делается с народом, задумывается он. Вопросом о том, отчего «все пошлеет и мельчает», задавались еще раньше Милль, Герцен и Мережковский. Милль заговорил о «сплоченной посредственности» и (процитируем говорящего о Милле Герцена) «о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния». Герцен поставил проблему одичания целых социальных слоев и опасности мещанства. Мережковский в «Грядущем Хаме» попытался подобраться к решению и увидел его только в религии: «Христос освободит мир – и никто, кроме Христа. Со Христом – против рабства, мещанства и хамства». Брюсов, рецензируя «Грядущего Хама» в 1906 году, так обозначал главное в мировоззрении Дмитрия Сергеевича: «Черт, по определению Мережковского, это – воплощение „смердяковского духа“, „лакей“ по природе, вечная „срединность“ и „серость“, „бессмертная пошлость людская“… Черт есть вечная половинность, полу-вера, полу-знание, полу-искусство. Поэтому борьба с Чертом начинается борьбой за полноту, за цельность, за истинную веру, за истинную науку, за истинное искусство».

Чуковский, кстати, всю жизнь примерно этой борьбе и посвятил – разве что нигде не говоря прямо о Христе и редко говоря о Боге. В чем была его истинная вера и каков Бог Чуковского, мы пытались разобраться выше, а каков же его

дьявол? О черте Корней Иванович и вовсе не упоминает, но его черт – очевиднейшим образом тот же, что и у Мережковского. В статьях 1908–1910 годов Чуковский постоянно говорит о том, что пошлость и мещанственность эпохи, и тоска, и эпидемия самоубийств, прокатившаяся по России, – это все следствия общей болезни общества, в котором нет идей и ценностей. «Чуть из сердца уходит Бог, туда проникает недотыкомка, – замечал он в статье 1910 года „Юмор обреченных“. Сологубовская недотыкомка из „Мелкого беса“ стала для Корнея знамением времени, символом измельчания и оскудения души, олицетворением пустоты, тоски и отвращения к миру, из которого исчезли Бог, любовь, радость и красота. „Ощущать эту красоту мира – значит, жить и жить. Утратить красоту – умереть… Мне кажется, мы все теперь такие: утратившие красоту. Для нас, для нашего поколения, весь мир встает, как некое уродство, как отвратительный музей карикатур. И не потому ли смерть – наша неизбежная тема, и самоубийство – ежедневная рубрика газет“.

Единобожие интеллигенции пропало, интеллигенция умерла, на смену ей пришел готтентот, – вот основной пафос «Ната Пинкертона и современной литературы». Когда людям незачем жить и не за что умирать – они умирают просто так. «Когда какой-нибудь старый почтенный публицист клеймит наступившую эпоху и порицает всех нас за то, что мы не сектанты, я знаю, что ответить ему: „Посмотрите в сегодняшней газете хронику самоубийств, – хочу я ответить ему, – сколькие среди нас, нефанатиков, ежедневно лишают себя жизни. Или вы еще не понимаете… что не всякий может прожить без сектанства, что альманах в голове и альманах в душе – это наше проклятие и наше страдание, а вовсе не наша вина, за которую нас следовало бы журить и ставить отечески в угол“».

Тяжелую общественную болезнь Чуковский разглядел за «Бегами тещ», «Видениями водолаза» и «Приключениями с цилиндром игрока», за пристрастием публики к погоням, мордобою и альковным сюжетам. До тех пор никто толком не брался за подробный анализ легкого жанра в России, поэтому лекции Чуковского о Пинкертоне стали сенсацией. Не в последнюю очередь потому, что и тема была неизбита, и способ преподнесения нестандартен. Верный себе Чуковский собирал мелочи – афишки кинематографа, бульварные сочинения, газетную рекламу, анализировал, сопоставлял – и по совокупности незначительных симптомов ставил обществу страшный диагноз – по его собственному определению, «опошление, загнивание души». А загнивание души – верный путь

к ее смерти; с этим-то душевным некрозом Чуковский и пытался бороться.

Во второй половине XIX века промышленное производство в России уже стало серьезным фактором ее развития: страна начала превращаться из преимущественно аграрной в преимущественно индустриальную, что привело к огромным социальным переменам. Крестьянство стало уходить в города, пласты общества начали сдвигаться и перемешиваться, веками отлаженные механизмы жизни – рушиться. Голые люди на голой земле взялись начинать все заново, города наполнились массами людей, не могущих толком себя идентифицировать. Теперь они отождествляли себя не с частью семьи, рода, нации, а с толпой, массой, ощущали себя винтиками огромного механизма. Герцен еще раньше говорил о том, что нарождающийся пролетариат пополнит собой мещанство, поскольку для него «нравы, понятия, образ жизни мещанства – единственная цель стремлений». В этом с ним соглашался Мережковский в «Грядущем Хаме». Сегодня предпочитают говорить не о «мещанстве», а об «обществе потребления»; изменилась ли суть явления, читатель волен додумывать сам.

Масса мещанства разрасталась, пополняемая не только снизу, за счет вчерашних крестьян, но и сверху: омещанивалась интеллигенция, лишившаяся своего мотора – фанатизма, единобожия, по определению Чуковского. Нет, это даже не мещанство, во всеуслышание извещал К. И., мещанство еще хоть говорить умело, хоть чего-то стеснялось, а это вообще не люди, даже не дикари, а какая-то сплошная животная масса. Чуковский называет эту массу примитивных организмов «устрицами», и – вслед за Герценом – «готтентотом», «паюсной икрой», спрессованной из мириад отдельных икринок. Пастернак в 1917 году высказывался резче, называя все это «общелягушачьей икрой».

В обзоре русской литературы за 1910 год Чуковский пишет: «Пришел какой-то новый, миллионный читатель – и это, конечно, радость, но дело в том, что читатель этот почему-то без головы или с булавочной, крошечной головкой. Читатель-микроцефал. И вот для такого микроцефала в огромном, гомерическом количестве печатаются микроцефальские журналы и книги». Многие статьи Чуковского в 1908–1911 годах посвящены этой микроцефальской культуре: дешевым журнальчикам, якобы призванным просвещать массы, бульварным бестселлерам, кинематографу.

Критик исследует жанры едва народившейся массовой

культуры – фантастику, комедии, «азартные произведения» (то есть нынешние боевики); говоря о дамах-писательницах, выявляет и некоторые закономерности дамского романа. Все эти жанры и по сей день пребывают в добром здравии; пока не хватает разве что триллера (впоследствии К. И. заполнил и этот пробел: «триллерам и чиллерам» посвящена одна из его последних работ). Но и о предпосылках появления этого жанра у него кое-что найдется: в литературе той эпохи появилось как никогда много жути, мистики, смерти и всяческих покойников, и все это тоже стало объектом интереса критика.

Вот он пишет о типичном персонаже и литературы, и действительности: «Безгорестный, безогненный, безлюбый герой текущего дня, обыватель, для которого все эти смерти и смехи – приятное щекотание души. Ему, который раз навсегда „покончил со всякими марсельезами“, очень на руку, чтоб его чуть-чуть попугали могилой и чуть-чуть пощекотали хихиканьем» (статья «Проклятый род», 1911; в 6-м томе прижизненного собрания сочинений включена в статью «Веселое кладбище»). Эта мертвая душа, гиппиусовская «чертова кукла», не способна радоваться, страдать, умиляться, и чтобы она хоть что-то почувствовала, нужны сильнодействующие средства. «Новая читательская волна хлынула в литературу: полуобеспеченные, полуобразованные, раздраженные верхами городской цивилизации, взращенные на асфальте, воспитанные газетными фельетонами, эти люди требуют для себя маленькой, едкой, щекочущей, гомеопатической словесности» – так он описывает нового человека в главе «Осип Дымов» книги «От Чехова до наших дней».

Мертвая душа ищет сильных раздражителей – и во все времена это оказываются секс, смех, ужас и азарт погони. Отсюда и первобытный юмор массовой культуры, и своеобразие ее героя – рыцаря без страха, упрека и вообще душевных движений: «Душа Пинкертону оказалась излишней. У Пинкертона вместо души – кулак, вместо головы – кулак, вместо сердца – кулак, и действие этого кулака от него только и требуется».

Первым в России и, видимо, одним из первых в мире Чуковский заметил, что идеи и образы высокой культуры перерабатываются и присваиваются культурой массовой. Он проследил, как Шерлок Холмс Конан Дойла превратился в героя бульварных копеечных книжек, неотличимого от сыщика Ната Пинкертона. Чуковский одним из первых стал писать о том, как масса подминает под себя, перемалывает, приспособляет к себе любые идеологии и лозунги, как превращает их в удобоваримую кашицу, как из всякой трагедии о Прометее делает песенку о чижике-пыжике («Идейная порнография», 1908), как Заратустра

становится Пинкертоном, а Дионис готтентотом («Нат Пинкертон»). Для нас сейчас это дело привычное: по книге снимается фильм, из фильма делается сериал, к нему создается сиквел, к сиквелу приквел, потом он расходится на уличные брошюрки, картинки на футболках, тетрадные обложки – пока не израсходуется коммерческий ресурс. Перемалывается все, мещанством становится сам бунт против мещанства – и неизвестно еще, что ярче иллюстрирует эту идею, сладострастное описание борющейся с ханжеством обнаженной Леды в золотых туфельках у Анатолия Каменского (пример Чуковского) или растиражированный, коммерциализированный Че Гевара на предметах ширпотреба (пример Пелевина в «Generation П»).

«Открываю газету, читаю: „Презервативы“, „Спермин“, „Дамы и девицы могут приобрести красивую грудь“, „Муйрацитин“, „Тугоухим“, „Спутник успеха“, „Нет больше алкоголиков“, „Я был лысым“, „Сила внутри нас“, „Кривые и уродливые носы могут быть исправляемы у себя на дому“ – и вижу, что надежды нет, ибо это тот фон, та основа, на которых творится теперь наша общественная жизнь… Я мог бы, вместо кинематографа, взять современный театр или фарсовую „борьбу“, или судебную хронику, или „дневник происшествий“ – и все говорило бы об одном и том же».

Ну что, возьмем первую попавшуюся сегодняшнюю газету? «Только для мужчин», «Лесбиянки продавали липовые ксивы», «Волосы растут», «Летний марафон! Азартная игра!», «Я стала сама себе нравиться». Готтентот, готтентот сплошной!

«Известный хиромант и физиономист по линиям руки точно предсказывает будущую судьбу и определяет настоящее и будущее, а также дает советы, кому что дорого и мило в жизни».

«Проанализирую ваши проблемы и найду оптимальное решение. Сниму сглаз, порчу, проклятие».

«Хиромантка – гречанка».

«Потомственный маг высшей категории. Приворот мужа без греха и вреда здоровью».

«Молодая дама за десять рублей готова на все».

«Приедем за 30 минут! Лучшие девушки Москвы для вас».

Это вперемежку из «Ната Пинкертона» почти столетней давности и газеты, только что извлеченной из почтового ящика.

«Готтентот, готтентот сплошной! Или вы думаете, что он только в кинематографе и только в „Петербургском листке“, а в альманахе „Шиповник“ его уже нет? А в каждой строчке наших поэтов, а в Думе, а на Невском, а в ресторане „Вена“, а в Академии наук, а в редакции толстого журнала, вы думаете, его уже нет? О, камо пойду от духа твоего и от лица твоего камо

бежу!»

Какое же средство предлагает Чуковский, чем победить готтентота? Никакого рецепта у него нет. Есть только надежда. «Ведь есть же в городе не один Пинкертон, ведь может же интеллигенция стать носителем пролетарской идеологии, и не интеллигенция, а хоть что-нибудь в нашей культуре может же очиститься этой идеологией, освежиться, просветлеть ею, как солнцем, и хоть немного облагородить наше современное бытие».

Чуковский, как и шестидесятники XIX века, связывал пошлость с косным социальным строем, который не дает человеку быть человеком, – о пошлости именно в этом социальном понимании он говорил позднее в своем «Мастерстве Некрасова». А потому главные надежды Чуковский возлагал на демократию – правление сознательного народа, – вдумчивого, осознающего себя, понимающего свою связь с историей, ищущего путей. «Демократия! Только в ней наш удел, только в ней наше неизбежное будущее, наш истинный футуристический быт», – провозглашал критик несколько лет спустя на лекциях о футуристах.

В статье 1911 года «Мы и они» (в 6-м томе прижизненного собрания сочинений – «Темный просветитель») он обращал внимание на появляющееся в социальных низах поколение людей, стремящихся к знанию и читающих журналы для самообразования. В первую очередь Чуковский говорит о журнале «Вестник знания», издаваемый Вильгельмом фон Битнером. «В приложении к его журналам выходили просветительные брошюры, руководства по самообразованию и т. п. Битнер пытался сплотить своих читателей в некое подобие секты, широко публиковал их письма с рассказами об их жизни, организовывал через журнал переписку между ними, проводил читательские съезды, где его подписчики могли знакомиться друг с другом, и даже собирал средства на коллективное приобретение дома, где могли бы проходить читательские съезды и встречи для коллективного приобщения к знаниям… Однако уровень просветительской деятельности был невысок, разнообразие и обилие сведений способствовало не столько расширению кругозора, сколько бессмысленному накоплению несвязанных между собой сведений», – комментирует статью «Мы и они» Евгения Иванова. Читатели, поклонники, подписчики Битнера, «полунищие полуневежды», «полуинтеллигенты и четвертьинтеллигенты» одновременно и противны Чуковскому своей дремучестью и дурновкусием, и внушают глубокое уважение активностью, энергией, желанием «нести какое-то знамя», – всем тем, чего нет у интеллигентов, готовых разве что

«спать и хныкать и пальцем в небо тыкать», как выразился Саша Черный.

«„Мы“ и „они“ – это два враждующих стана, и битва между нами неизбежна, – предупреждает Чуковский. – И больше всего меня радует ныне эта грядущая битва – бой между „нами“ и „ими“! И как это будет отлично, когда они нас победят!»

«Мы и они» стали естественным продолжением «Ната Пинкертона». Иванова пишет: «В архиве Чуковского сохранилась обложка, на которой обе эти работы – „Мы и они“ и „Нат Пинкертон“ объединены, и на обложке приписка: „здесь отразилось мое предчувствие катастрофы, прикрытое напускным нигилизмом“».

Статья «Мы и они» обратила на себя внимание Блока, увидевшего в ней свою тему – народ и интеллигенция (статью об этом он опубликовал в 1909 году в «Золотом руне») – и то самое *предчувствие катастрофы,* которому посвящены и его собственные статьи. В дневнике Блок записывал неприязненно: «Чуковский вопит о „народе и интеллигенции“». К. И. по-прежнему оставался для него одесским выскочкой, – важным Александру Александровичу, скорее, казалось то, что тема, когда-то поднятая самим поэтом, по-прежнему остается актуальной. Тогда же Блок начал писать ответ Чуковскому, мрачно констатируя: «Тот самый пафос, растерянность, отчаянье в голосе, точно не прошло с тех пор целых три года (с того времени, как сам Блок прочитал в Религиозно-философском кружке доклад „Россия и интеллигенция“, который не встретил понимания у интеллигенции. – *И. Л.)*… Итак, «интеллигенция и народ», вопрос, самая постановка которого в том виде, как она делается, не только «не научна», но и «безграмотна» (тогда в 1908–1909 гг. приходилось слышать немало таких возражений), оказывается вечным лейтмотивом, одним из главных лейтмотивов той торжественной музыкальной драмы, которая фантастичнее и гениальнее многих сочиненных драм и имя которой – русская жизнь».

Мысли Блока и Чуковского при всей тогдашней противоположности этих литераторов оказались созвучны друг другу. Блок говорил о том, что «интеллигентных людей, спасающихся положительными началами науки, общественной деятельности, искусства, – все меньше», что в отсутствие высшего начала интеллигенты богоборчествуют и стремятся к самоуничтожению, противопоставлял «волю к смерти» интеллигенции – «воле к жизни» народа. «Гоголь и многие русские писатели любили представлять себе Россию как воплощение тишины и сна; но этот сон кончается; тишина

сменяется отдаленным и возрастающим гулом, не похожим на смешанный городской гул», – писал он.

Тот же гул расслышал и Чуковский, и писал в «Мы и они»: «Если бы я захотел собрать воедино все их чуть слышные жалобы, упреки, причитания, ропоты, то многих они ошеломили бы, как громчайший оглушительный рев; в этом реве слышатся угрозы; в этих угрозах – злорадство». Радуясь появлению новой, народной интеллигенции, унаследовавшей «основные, коренные черты былой интеллигенции русской», К. И. все-таки не закрывает глаза и на их нестерпимую вульгарность, и на нестерпимое равнодушие, с которым относится к новой общественной группе «старая» интеллигенция.

Кстати, это далеко не единственный случай, когда Блок и Чуковский одновременно обращали внимание на какое-то явление; оба писали в конце 1908 года о всепоглощающем цинизме, мертвом смехе русской литературы: Блок – в статье «Ирония», Чуковский – в фельетоне «О хихикающих». «Ирония» была написана раньше и Чуковским прочитана. Блок говорил о том, что люди вокруг, да и он сам тоже, больны иронией, что «из опустошенной души вырывается уже не созидательная хула и хвала, но разрушающий, опустошительный смех». Чуковский, отталкиваясь от мысли Блока, – о том, что смех свидетельствует о слабости литературы: «мир создают наивные люди, а хихикающие импотенты всегда его губят». Правда, здесь Чуковский задел Блока ровно так же, как коллеги-критики задевали Чуковского, – по извечному принципу «сам такой»: вот, говорит об иронии, а в то же время сам «хихикает». Поэт сердито набросал в записной книжке: «Чуковский – его фельетон о хихиканьи („Речь“ 20 декабря) и книжонка „От Чехова (до наших дней)“. „Что хочет он на освященном месте“? Легкомысленное порхание, настоящее хамство. Привязывается к модным темам, сам ничего не понимая. Лезет своими одесскими глупыми лапами в нашу умную петербургскую боль. Ничто ему не дорого, он только криво констатирует. Всего лиричнее говорит о себе подобных (О. Дымов). Так быстро кончаются *безграмотные* люди, хотя бы с талантом, хотя бы у них было что-то «свое»».

Но – возвращаясь к Нату Пинкертону в 1908–1910 годы – пока Чуковский осторожен в прогнозах и надеждах, хотя исподволь, осторожно пророчит новую революцию. Более всего он опасается сейчас, что правы Герцен, Бердяев, Философов и Мережковский, говорящие о том, что пролетарии стремятся только к мещанству. «Мы будем ждать еще год, еще два, и, если в готтентотскую, в пинкертоновскую нашу культуру не врежется, наконец, ниоткуда какая-то струя новых, небывалых, освежающих мыслей и чувств,

если не свершится чудо и к нам снова, хотя бы как некое слабое дуновение, не сойдет отошедшая от нас благодать, не должны ли мы будем прийти к самому страшному выводу и громко спросить друг у друга:

– Неужели и в синей блузе и с красным знаменем к нам пришел все тот же Пинкертон?»

Новая струя освежающих мыслей и чувств, как свидетельствует статья «Мы и они», явилась, и после затхлости 1900-х годов в стране задули новые ветры, и в литературе, занятой до тех пор пышным умиранием, появились новые громогласные герои, готовые жить. И все-таки в конечном итоге Герцен и Мережковский оказались правы. В синей блузе и с красным знаменем явился все тот же Пинкертон с воображением новорожденной устрицы и пудовыми кулачищами.

При переиздании статьи в 6-м томе прижизненного собрания сочинений заключительный фрагмент – тот самый, где говорилось о тяготении пролетариата к мещанству и о Пинкертоне с красным знаменем, из текста был выброшен. Зато появились там другие важные слова: «Теперь, через столько лет, умудренные горьким историческим опытом, мы, к сожалению, хорошо понимаем, что в тогдашнем тяготении мирового мещанства к кровавым револьверным сюжетам таились ранние предпосылки фашизма». Только назвав тоталитаризм фашизмом, Чуковский мог хотя бы отчасти поделиться своими прозрениями в стране торжествующего готтентота. Ведь не о Германии же он писал всю жизнь и не только мировое мещанство имел в виду, говоря о горьком историческом опыте, и не американские пинкертоны, не в гестаповских застенках выбивали неутомимыми кулаками зубы его близким.

Именно эта, заключительная часть вызвала ярость Троцкого, который дважды (в 1912 и 1914 годах) писал о Чуковском в «Киевской мысли», а затем издал эти статьи в своем собрании сочинений (том XX – «Культура старого мира»). «Если низы, впервые пробужденные к жизни, – вещал он, – жадно поглощают поддельную романтику и маргариновый сентиментализм, проделывая в сокращенном, убогом, обобранном виде ту эстетическую эволюцию, которую в пышных формах проделывали в предшествующие десятилетия и столетия имущие классы, то здесь нет никакого нашествия готтентотов на культуру, а есть первые шаги приобщения низов к культуре. Тут не угроза культуре, а ее упрочение. Тут нет опасности возврата от Шекспира к Пинкертону, а есть восхождение от бессознательности – через Пинкертона – к Шекспиру. За тяготением к сыскному героизму и кинематографной

мелодраматике скрывается глубочайший, хотя еще полуслепой социальный идеализм. Завтра он станет зрячим. Пинкертон будет превзойден, а миллионами, впервые пробужденными к сознательной духовной жизни, будет заложена основа для несравненно более широкого и человечного искусства, чем наше… Но какое Чуковскому дело до великих проблем, до чередования культурных эпох, до исторических перспектив!» – негодовал Троцкий. За кем осталась историческая правота – пусть судит читатель.

В октябре 1908 года Чуковский прочитал лекцию о Нате Пинкертоне и «литературе кинематографа», затем издал статью «Кинематограф» в журнале «Театр и искусство». В том же году книга «Нат Пинкертон и современная литература» вышла отдельным изданием, а в 1910-м была переиздана в исправленном и дополненном виде.

Чуковский горестно замечал в послесловии, что статья эта – самое грустное из того, что ему довелось написать. А публика гоготала – и «мне становилось еще грустнее от таких готтентотских похвал». На лекции валили валом, о них писали в газетах… и услышали только, что «единобожия нет» и «интеллигенция умерла». И увидели желание поразить, блеснуть, показать себя. И Розанов тут же спросил, кто же судит о людях по их развлечениям, и критики закричали, что нечего пугать общество смертью интеллигенции и нашествием готтентота. «Большинство рецензентов сходилось во мнении, что Чуковский сгущает краски, переоценивает „разлагающее“ влияние развлекательного кинематографа, „легкого“ чтения и преждевременно хоронит интеллигенцию», – замечает Евгения Иванова.

Довольно показательно в этом отношении письмо Натальи Борисовны Нордман-Северовой, которая писала Чуковскому: «Читала „Пинкертона“, и в неестественно громадные размеры развился передо мною кинематограф и 4-я или 6-я страница объявлений. Этой мечте своей вы принесли в жертву „русскую интеллигенцию“, русский пролетариат, русскую жгучую действительность… Нет, не 4-я страница в газетах с ее двусмысленными объявлениями делает современную жизнь. Делает ее 1-я страница газеты, в которой с упоением прочтете вы о просыпающемся сознании народа, о неприкосновенности нации, о раскрепощениях во всех сферах жизни, не смерть интеллигенции вы увидите в ней, а захватывающую, страстную жизнь, полную идей гражданственности, свободы, труда».

Точно так же не хотели услышать и Блока, который в том же

1908 году, слыша подземный гул, предупреждал о кризисе, замечая: «В сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа». Куда там! «Когда я заговорил о разрыве между Россией и интеллигенцией, более всего поразил меня удивительный оптимизм большинства возражений: до того удивительный, что приходит в голову, не скрывается ли за ним самый отчаянный пессимизм, – комментировал он дебаты, которые вызвала его статья. – Говорил я о смерти, мне отвечали что болезнь излечима… Я говорил о расколе, мне говорили, что нет раскола, да и нечему раскалываться. Я говорил о том, что мы любим и ненавидим далекую от нас Россию – набегающую гоголевскую тройку; мне отвечали: „Мы сами – Россия“».

Точно так же, только куда глупее и желчнее, отвечали Чуковскому. С подробной подборкой отзывов можно ознакомиться в комментариях к «Пинкертону» в 7-м томе нового собрания сочинений, выходящего в издательстве «Терра – Книжный клуб». Однако не могу удержаться от цитаты.

Вот в «Раннем утре» пишет Lolo, когда-то сотрудничавший у Чуковского в «Сигнале»:

Это самый яркий типик
Современного распада.
Он сверкнул огнем филиппик,
Полных злобы, полных ада.

Вот в той же газете некий «Гость»:

Я – Буренина «отрыжка»
В отношеньи руготни.

Вот критика более корректная, от Давида Герценштейна в «Новой Руси»: «Неужели можно серьезно говорить о том, что они (Пинкертон и т. п. – *И. Л.)* вытеснили серьезные книги, журналы, хорошую изящную литературу?.. Нат Пинкертон заменил Бову Королевича, но не русскую литературу, а те, кто не замечает этого, просто слишком близко поднесли этих Натов к глазам, закрыли этим все остальное».

Тем не менее были и люди, оценившие новизну изысканий Чуковского. Историк Евгений Тарле называл статью о Пинкертоне классической, достойной пера Ипполита Тэна. Леонид Андреев чрезвычайно увлекся идеями Чуковского и рассказал о них Льву Толстому. Патриарх литературы сначала слушал недоверчиво, но затем тоже проникся и даже заявил: «Непременно буду писать для

кинематографа!» Кстати, вот неожиданная параллель: в словаре, завершающем книгу «Леонид Андреев большой и маленький», после омерзительной брани, которой критики осыпали этого писателя, Чуковский приводит доброжелательное толстовское письмо к Андрееву: «Благодарю вас, Леонид Николаевич, за присылку вашей книги. Я уже прежде присылки прочел почти все рассказы, из которых многие очень понравились мне».

Песни самоубийцы

1908 год подходил к концу. В стране было по-прежнему неладно. Столыпинские реформы вроде бы шли, но без особого успеха, две Думы уже оказались распущены, третья не пользовалась большим общественным доверием. Правительственный указ о военно-полевых судах от 1906 года, не утвержденный Думой, не был, однако, отменен, и в России ежедневно выносились и приводились в исполнение скоропалительные смертные приговоры. «Ценность человеческой жизни, никогда в России высоко не стоявшая, упала еще ниже», – с горечью замечал Александр Изгоев. Александр Керенский в своих воспоминаниях писал: «Все образованные граждане России, независимо от их классовой принадлежности и исповедуемых взглядов, с чувством глубокого возмущения воспринимали каждое сообщение о новой расправе». Однако выступать против «столыпинских галстуков» было трудно: тексты калечила внутренняя цензура газеты, опасаясь судебного преследования и закрытия.

Россия протестовала. Лев Толстой заявил: «Не могу молчать!», Леонид Андреев написал «Рассказ о семи повешенных»… «Единственное, чем по-настоящему жила литература минувшего года, – это смертная казнь», – замечал Чуковский в подводящих итог 1908 года традиционных заметках о русской литературе. Самому К. И. казни тоже не давали покоя, и еще тяжелее было оттого, что он даже сказать об этом вслух не мог. «Написал о смертной казни – в печати так переделано, что больно смотреть», – жаловался он в дневнике 23 сентября 1908 года. Голос его не был услышан, статью никто толком не заметил, и только в 1910 году он смог совершить что-то заметное.

Что может сделать литературный критик в стране, переживающей кризис? Самому ему кажется, что ничего. С дистанции в сто лет видно, что сделать можно многое. Критик – безошибочный диагност, в мельчайших событиях литературной жизни, в стихотворных образах, в героях прозы он видит симптомы тяжелой общественной болезни: все смыслы

обесцениваются, нравственное чувство и мысль скудеют, пошлость набирает все более страшную силу. Критик может не только ставить диагнозы, но и отыскивать пути выхода из кризиса; беда в том, что оценить его правоту или неправоту можно только через много лет.

В упомянутых итоговых заметках «Русская литература» 1908 года Чуковский пытался нащупать ясную доминанту творчества российских писателей и находил ее в «Моих записках» Леонида Андреева: «Жизнь – это тюрьма». «Писатели наши в этом году, словно сговорившись, отбросили все мелкие вопросы и решали главный: что есть жизнь? И, словно сговорившись, отвечали: кошмар. И, словно сговорившись, спрашивали: как уйти от кошмара? И наперебой отвечали – каждый свое, и каждый для себя. Делали дырку в стене, не одну, а тысячу дырок, и говорили: вот. Читателю же нужна не тысяча дырок, а одна большая, общая для всех, общий выход, общее освобождение – и потому он относится к современной литературе полупренебрежительно и легкомысленно в высшей степени». Добавим, что у Чуковского были свои ясные представления о том, что это за один большой общий выход. В 1900-х годах он, разумеется, не мог написать в статье слова «революция», поэтому говорил об «освобождении», о «демократии».

В конце мрачного десятилетия к печальным симптомам социального неблагополучия добавился еще один, куда более страшный, чем все остальные. В России стало расти число самоубийц. В статье, посвященной этому общественному явлению, Чуковский приводит собранную врачом Дмитрием Жбанковым статистику, опубликованную в журнале «Современный мир»: в Петербурге в 1905 году было совершено 205 покушений и самоубийств, в 1908 году– 121 в месяц и в 1909-м – 199 в месяц; то есть не в «пять с лишним раз больше», как писал «Современный мир» и цитировал Чуковский, а (возьмите калькулятор!) в 7 и почти 12 раз больше.

Чуковский заговорил об этом явлении, когда оно еще не приняло эпидемических масштабов, и возвращался к нему все чаще. Сообщения о самоубийствах стали привычной темой отдела хроники ежедневных газет, вопрос о самоубийстве немедленно подняла и литература, причем вставал он не только в творчестве существующих во все времена вычурных молодых людей. «Большая литература» уже несколько лет говорила о смерти (что тоже отмечал Чуковский), но это была Смерть с большой буквы, смерть-загадка или смерть-избавительница… и вдруг она стала смертью-соседкой. Жизнь как-то внезапно опротивела всем и сразу, и расставание с ней стало даваться поразительно легко. К.

И. видел в этом закономерность: нежелание жить следует за разрушением идеологического фундамента общества, вслед за девальвацией ценностей происходит обесценивание жизни.

Может быть, поэтому Чуковский счел таким знаменательным явлением публикуемые журналом «Сатирикон» стихи Саши Черного (Александра Гликберга) – в них, как в фокусе линзы, собрались в точку и ярко высветились все те черты современного интеллигента, о которых без устали говорил К. И.: тоска и душевная усталость, отказ от «внешних» социальных устремлений и всецелая поглощенность собственной пустотой. (Кстати, в статье «Юмор обреченных» критик назвал «Сатиры» Саши Черного «песнями самоубийцы».) О том же духовном банкротстве интеллигенции размышляли и авторы вышедшего в 1909 году сборника «Вехи», сразу вызвавшего ожесточенную полемику в печати. Чуковский в «Современных Ювеналах» и обзоре литературы за 1909 год вперемежку процитировал Сашу Черного и Гершензона, утверждая, что оба говорят об одном и том же: «А ведь главный мерзавец – я!»

К «Вехам» Чуковский отнесся скорее отрицательно, хотя в определенной диагностической точности им не отказывал. «В том-то вся и суть, повторяю, что „Сатирикон“ – это „Вехи“, а Саша Черный – это Гершензон, – интриговал читателя Корней. – И даже „Сатирикон“ важнее, показательнее „Вех“, потому что „Вехи“ – это уже рецепты и диагнозы, а „Сатирикон“ – это еще слепая боль. Рецепт, он может солгать, но боль ведь не лжет никогда».

Блоковский «подземный гул» и Чуковский, и авторы «Вех» уловили одновременно. Но если Чуковский радостно приветствовал тот день, когда «они» победят «нас», и Блок ожидал того же дня с гибельным восторгом обреченного погибнуть в буре, то инициатор создания «Вех» и один из авторов сборника Михаил Гершензон с ужасом предупреждал: «КАКОВЫ МЫ ЕСТЬ, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной». Удивительно, что и здесь российское общество умудрилось увидеть не горечь и обличение, а охранительский пафос и ренегатство.

«Слепую боль» Чуковский и веховцы чувствовали одинаково остро (Чуковский даже в послесловии к «Пинкертону» писал, что «Вехи» поднимают ту же тему). Диагнозы ставили тоже схожие – хотя то, что Чуковский именовал «загниванием души», веховцы называли богооставленностью, которую понимали в прямом, религиозном смысле слова. Различны были и рецепты спасения: для авторов «Вех» выход был не во «внешнем устройстве

общественной жизни», а во «внутреннем совершенствовании человека». Преобразовывать общество, оставляя без внимания его духовные основы, не имеет смысла, убеждали они. Чуковский же, при всем его внимании к жизни души, при всем своем культуртрегерстве, даже при некоторой религиозности (впрочем, неопределенной и расплывчатой), в своих социальных представлениях все-таки склонялся к материализму и позитивизму, под влиянием которых, собственно, эти представления и сложились. Для него скорее бытие определяло сознание, чем наоборот, и все свои надежды он возлагал на установление более справедливого социального строя. Именно уродливое общественное устройство калечит человеческую душу, считал он, не дает ей расправить крылья. Революция должна раскрепостить человека, сделать из него свободного творца. Он ждал революции и, похоже, естественным образом принял ее.

Первые статьи Чуковского о Саше Черном были довольно желчны (позднее, в предисловии к тому сочинений сатирика в «Библиотеке поэта» Чуковский признавался, что недооценил его). К. И. не особенно старался разделить автора и его литературную маску: «Сатира его главнейше устремляется против него же самого, против Саши Черного, – против собственных его изъянов и грехов»; «Из каждой его запятой так и бьет в глаза, что надоел себе человек до последнего краю…»

Два литератора были знакомы друг с другом еще с 1905 года, указывает автор предисловия и комментария к одному из изданий поэта Анатолий Иванов; в архиве Чуковского сохранились стихи Гликберга, датированные 1905 годом. Они продолжали дружить и общаться, пока не вышли «Современные Ювеналы», на которые Александр Михайлович очень обиделся. Возможно, этой обидой продиктовано не только злое стихотворение «Корней Белинский», но и куда более знаменитое посвящение «Критику» («Когда поэт, описывая даму…»), подчеркивающие разницу между автором и лирическим героем. Впрочем, разницы этой не увидел почти никто. «Пожалуй, разве что К. Чуковский и В. Амфитеатров провели в своих рецензиях четкую границу, отделив поэта от его литературной маски», – говорит А. Иванов. Чуковский тоже сделал это далеко не сразу, наиболее четко эта граница проведена в «Юморе обреченных» и поздних воспоминаниях о Саше Черном, умных, печальных и человечных.

Обида поэта была особенно жгучей оттого, что Чуковский был «свой». У замкнутого, обидчивого, щепетильного Гликберга было мало друзей; а вот с Чуковским отношения начинали

складываться, они встречались, писали друг другу… Евгения Иванова замечает, что обличающие литераторские нравы стихи Саши Черного «После посещения одного „литературного общества“» (со строчками «Бьем, конечно, языком, – но больней, чем кулаком…») несомненно навеяны бешеной полемикой после лекции Чуковского о Гаршине. Корней Иванович вспоминает, как Саша Черный заезжал к нему в Куоккалу, возвращаясь от водопада Иматра. Поэт «признался, что водопад Иматра нагнал на него смертельную скуку и что бывали минуты, когда ему страшно хотелось броситься туда вниз головой». А вскоре появились стихи: «И сказала в пляске шумной сумасшедшая вода: „Если ты больной, но умный, – прыгай, миленький, сюда!“» «И тогда я увидел, – пишет Чуковский, – что это нисколько не маска, что это – он сам, Александр Михайлович, говорит о себе, о своем». Тогда в «Ювеналах» и появилась «справедливая мысль, что его сатиры, воплощая в себе громкий протест против тогдашней действительности, сами являются в известном смысле ее порождением». И все-таки Саша Черный не мог ожидать, что довольно близкий и понимающий человек назовет его «последышем славных „рыцарей свистопляски“» и напишет, что этот «странный поэт» «в каком-то экстазе самооплевания еженедельно в „Сатириконе“ выводит себя на позор».

Александр Михайлович не простил. В книжном издании «Сатир» он снял посвящение стихотворения «Обстановочка» Чуковскому, с которым совсем недавно дружески делился в письме своими мучениями над компоновкой книги; зато появилось вышеупомянутое «Критику»… В 1910 году вышел «Юмор обреченных», где Чуковский назвал Сашу Черного «подающим надежды самоубийцей», и отношения были окончательно разорваны. В 1911 году «Сатирикон» опубликовал длинную и не особенно удачную сатиру Саши Черного «Корней Белинский» со стандартными упреками в случайности тем, в преувеличенном внимании к мелочам стиля, в пристрастии к сенсационным заголовкам («Корявый буйвол», «Окуни без меха», «Семен Юшкевич и охапка дров», издевался поэт). «Акробатичноново», «на белых нитках пляшет сотня строк», «кустарит парадокс из парадокса, холодный пафос недомолвок – гол, а хитрый гнев критического бокса все рвется в истерический футбол, – злился Саша Черный. – Post scriptum: иногда Корней Белинский сечет господ, цена которым грош, – тогда кипит в нем гений исполинский и тогой с плеч спадает макинтош!»

Такая же печальная история, и почти в это же время, вышла у Чуковского и с Леонидом Андреевым. Они давно дружили, Корней Иванович ездил к нему в гости в Ваммельсуу, целыми

ночами, как он вспоминает, слушал надрывные излияния писателя… Андреев поделился с ним замыслом трагедии «Океан», Чуковский этот замысел одобрил. Но когда пьеса была опубликована, критику она показалась ходульной, воспроизводящей горьковское схематичное деление людей на ужей и соколов, которое давно уже набило оскомину. Об этом и была немедленно написана жесткая и хлесткая статья «Устрицы и океан». Устрицы – это обыватели, так их окрестили в журнале «Сатирикон»; посрамлять их стало так общепринято, что они давно уже ничего не боятся: «Теперь, когда… каждая устрица – ницшеанка, и каждый мещанин уже умеет по всем правилам проклясть мещанство, теперь все такие трагедии о великих героях и о презренной толпе – поневоле звучат для нас как какие-то шарманные арии. Та-ра-ра-бумбия! Та-ра-ра-бумбия! Намозолили уши, и мы говорим: шарманщик, перемени же валик!»

Андреев отреагировал болезненно: заклеймил Чуковского прозвищем «Иуда из Териок» (в своих воспоминаниях о писателе Чуковский упоминает об этом прозвище, но не признается, что оно относилось к самому мемуаристу) и написал большое обиженное письмо, продиктованное, как ему казалось, даже не обидой, а заботой о заблудшем критике, который встал на скользкую дорожку. Так с Чуковским случалось не раз: друзья готовы были признавать его замечательным критиком до тех пор, пока он не пытался вынести суждение о их творчестве.

Критика и публика

В конце 1900-х годов Чуковский продолжал выступать с публичными лекциями, докладами, чтением рефератов. Делал он это всегда – начал еще в одесской «Литературке», продолжил у Брюсова в Московском кружке, входил в состав питерского «Кружка молодых», постоянно присутствовал на разных «вторниках», «средах», «пятницах» у столичной творческой интеллигенции, где тоже часто читал доклады или выступал в прениях. К устным выступлениям Чуковский готовился тщательно – об этом свидетельствует Лидия Корнеевна, рассказывая в «Памяти детства», как ездила с ним на лекцию в Тенишевское училище в 1913 году. Вот Чуковский собирается в город, берет с собой шестилетнюю Лидочку – ей надо показать сфинксов и «Последний день Помпеи», отвести к врачу… По дороге читает ей Шевченко, в поезде играет с мальчиком-попутчиком, затем раскладывает на коленях папку с докладом – и все пропало. Доклад ему не нравится, он недоволен собой, он должен срочно его переделать, люди раздражают его, дочь мешает, жандарм,

проверяющий паспорта в Белоострове, не может до него докричаться… Папа стал не-папой, тоскливо замечает Лидочка. В гостинице он выводит ее в коридор, сажает в кресло у окна, а сам запирается на ключ – на два оборота! на пять часов! – в надежде хоть что-то успеть выправить… Нервничает, мечется, не может застегнуть запонку…

Наконец, они отправляются в училище: отец спешно передоверил кому-то Лидочку, вышел на эстраду и заговорил. Память шестилетней дочери не сохранила темы доклада – так девочка волновалась за отца. Зато она запомнила, как студенты пытались освистать докладчика, а тот их высмеял: свистеть, мол, тоже как следует надо, сейчас покажу вам образцовый свист – вложил два длинных пальца в рот и оглушительно свистнул к великой радости аудитории.

А вот каким предстает Чуковский-лектор в воспоминаниях Александра Дейча: «Корней Иванович все время держал перед собой на кафедре написанный им текст, но он так незаметно пользовался рукописью, так тонко интонировал фразы, что это совсем не походило на „чтение по бумажке“. Да и, кроме того, лекция была прочитана, по-видимому, не раз и „испробована“ на публике. Лектор уже знал, где публика будет живо реагировать на его остроумное, меткое слово. Вместе с тем ничего актерского или наигранного не было. В каждом слове и жесте чувствовалась убежденность в правоте выдвинутой лектором концепции… Отточенность слова казалась работой ювелира, а ритм речи неизменно оттенялся красивым, гибким голосом лектора».

Он любил публичные выступления. «Корней Иванович, читая лекцию, идет каждый раз покорять», – догадывалась дочь. Конечно, он был прирожденный просветитель, культурный миссионер, педагог, и двигало им в первую очередь желание делиться, одарять людей тем, что он сам любит и ценит, учить ненавидеть то, что враждебно ему самому. Но не отнять у него и лицедейства, любви к представлениям, желания играть, нравиться публике, впитывать ее любовь и восхищение, остроумно отражать ее нападки… Отчасти это помогало справиться с постоянным отчаянием и неуверенностью в себе. В старости, снимаясь для документального фильма о «Чукоккале», он говорил (как всегда, полушутя-полусерьезно), что актерство и есть его призвание.

По воспоминаниям и рисункам очевидцев можно представить себе, как выглядели его выступления. У всех сохранилась в памяти его необыкновенная подвижность, точность поющих жестов; недаром на карикатуре Ре-Ми «Салон Ее Светлости

русской литературы» Чуковский змеей обвивается вокруг колонны (и рукава, кажется, слишком коротки, и запястья далеко выдаются из манжет). Невестка Корнея Ивановича, Марина Чуковская, запомнила его выступавшим в Тенишевском училище, «высоким, тонким, бесхребетно гнущимся», а Ольга Дьячкова описала в стихах его «аршинный шаг» и самостоятельной жизнью живущие большие руки. Бенедикт Лившиц обронил: «он размахивал своими конечностями осьминога». А вот Ольга Форш пишет в «Сумасшедшем корабле»: «На сцене извивался, закручиваясь вокруг себя самого, как веревка на столбе гигантских шагов, высоченный человек. Он то прядал на публику, весь изламываясь в позвоночнике, подобно червю-землемеру, то выбрасывал в своеобразном ритме одни долгие руки вперед или вдруг он сжимался и весь делался меньше…»

Самую подробную зарисовку Чуковского-лектора сделал Василий Розанов в 1909 году (цитируется по статье Бенедикта Сарнова «Единственный Чуковский»): «Высокий-высокий тенор несется под невысоким потолком; если опустить глаза и вслушиваться только в звуки, можно сейчас же почувствовать, что уж конечно ни один „господин купец“ и ни который „попович“ не заговорит этим мягким, чарующим, полуженственным, нежным голосом, который ласкается к вашей душе и, говоря на весь зал, в то же время имеет такой тон, точно он вам одному шепчет на ухо… „Те не поймут, но вы поймете меня“. И слушателю так сладко, что лектор его одного выбрал в поверенные своей души… Я поднимаю глаза, чтобы рассмотреть, кто это говорит. Лектор читает не сидя, а стоя, и вы в ту же секунду чувствуете, как к нему не шло бы сидеть… То опуская глаза к тетради, то поднимая их на публику, он в высшей степени естественен в своей грации, до того занят темой чтения, что, кажется, забыл и о публике и о себе. Нервным движением он составил стул, все-таки для чего-то торчащий позади него, с возвышения кафедры на пол. Это оттого, что он не стоит на кафедре, как монумент, как колонна, – способ чтения стоя русских чтецов, а хоть незаметно, но постоянно движется изгибом, выгибом, торсом… Но какое соответствие между голосом и человеком…»

Шкловский, злой и пристрастный, в своей книге о Маяковском, совершенно взбесившей К. И. (об этом речь впереди), говорил о его голосе, «похожем на звук какого-то драгоценно-гнусавого старинного виоль-де-гамбистого инструмента». Репин в одном из писем назвал голос Чуковского «ангельским тенором».

В «Чукоккале» есть рисунок Чехонина, запечатлевший К. И. за чтением лекции в Доме искусств («в моей привычной позе», замечал портретируемый). Наклонившись над столом, опираясь

на него длинными руками с большими кистями, он весь находится в движении, весь устремлен навстречу аудитории, готов пружинно распрямиться, взмахнуть руками, в глазах азарт, на устах хитрая улыбка. Запомнили все и его интонацию – то поющую, то почти плачущую, и его манеру читать лекцию ясно, плавно, певуче, почти не заглядывая в бумаги и не путаясь в придаточных предложениях. Даже его критические выступления в печати – и те часто созданы по законам устного жанра, они легко читаются вслух и легко воспринимаются. В них есть внутренняя интрига, есть яркие иллюстрации и резкие смены темы – есть все необходимое, чтобы читатель и слушатель не утратили нити повествования, чтобы не ослабело их внимание, чтобы заключительные выводы были восприняты ими как ясно и логично следующие из сказанного.

Но когда знакомишься с критическими откликами современников – поневоле удивляешься: неужели люди настолько не умели читать, не понимали очевидного, ожесточенно спорили даже с бесспорным и яростно бранились. И такова была участь не одного только Чуковского – воистину, надо было писать разве что «о лошадных и безлошадных» или о непостижимых метафизических материях, чтобы в тебя не палили из всех орудий. Стоило подступиться к чему-то живому, приблизиться к болевым точкам эпохи, попробовать высказать небанальное суждение, осмелиться не то чтобы посягнуть на авторитеты, а хотя бы взглянуть на них с неожиданной стороны, – и начинался смертный бой. Даже в «Памяти детства» Лидии Корнеевны сохранились крепко запавшие в душу шестилетней девочки отзывы публики, уходящей с лекции: «Вот видите, я вам говорила, это всегда свежо, талантливо, ново». – «Помилуйте, что же тут талантливого? Никакой философской основы. Какие-то мыльные пузыри. Это вообще не литератор, а гаер какой-то».

К концу первого десятилетия XX века Чуковский уже был влиятельным критиком влиятельной газеты; его уже называли одним из тех, кто создает и крушит репутации, кто определяет литературную политику. Вместе с тем литературная политика-то как раз не особенно интересовала нашего героя – его волновала литература, а не возня и грызня вокруг нее. И тем не менее в это время он сам постоянно оказывался причиной возни и грызни, а то и настоящего крупного скандала. Ему не раз намекали – и консерваторы, и либералы, – что он ведет себя неприлично, мысли высказывает неподобающие, что ему место в «Новом времени» рядом с «нерукопожатным» Бурениным… Подробности нескольких таких историй можно найти в предисловии Евгении Ивановой к 7-му тому нового собрания сочинений, – мы только

кратко отметим некоторые из них.

Статья «Владимир Короленко как художник» вышла в «Русской мысли» в 1908 году. В ней нашли отражение представления молодого Чуковского о Короленко как «духовном кадете» (такое определение встречается в дневниках критика). «Он слишком благообразен для нас», пишет Чуковский, «слишком хорош», он «слишком прочно стоит на ногах», «душевная здоровость его… обидна и неуместна», он «украшает жизнь», стремится «искоренять из нашей жизни трагедию, изображать человечество изъятым из-под ее губительной власти». Горький в печати назвал эту (весьма невинную) статью «грубой выходкой»: посягать на святое не следовало, во-первых, и Чуковский ругал горьковские сборники «Знание», во-вторых. Впоследствии Чуковский издал эту статью в составе «Книги о современных писателях», предварив сумбурным пояснением: «Статья… не вполне выражает мои личные взгляды. Она скорее написана от лица того поколения, которое выдвинуло и санкционировало поэзию Ремизова, Сологуба, Андреева. Это опыт критики беллетристической. Подлинные мои воззрения на творчество Вл. Г. Короленко изложены мною в другом месте». К этому времени Чуковский уже познакомился с Короленко, проникся к нему искренней симпатией и дальше писал о нем уже совсем в ином ключе – как о деятельном человеколюбце, борце с несправедливостью, всенародном заступнике, который настолько печется о других, что это мешает его собственной жизни и творчеству. Таким предстает Короленко, например, в книге воспоминаний «Современники».

1 марта 1909 года в «Речи» вышла статья Чуковского о Тарасе Шевченко – горячая, живая, с любовью и состраданием написанная. Но, конечно, не без крушения стереотипов, не без выпячивания незамеченных до сих пор черт: кобзарь пишет о покинутых женщинах, о покинутой Украине, и так тоскует о покинутых, так любит их, что кажется, только покинутое он и может любить… Вы обливаете его глазурью – ну так получите: «У него, не знаю, было ли великое сердце, но великая печень у него была несомненно, и создания его великой печени – непревосходимо-прекрасны». Это Чуковский говорит о шевченковской язвительности, его гневе, его умении ненавидеть и жаждать мести. А вот о том, как Шевченко умел любить: «Этот пьяный, лысый, оплеванный, исковерканный человек, когда садился за стол и брал в руки перо, становился как бы иереем: совершал богослужение…» и дальше о том, как он поклонялся своей Украине, каким нежным умел быть в своих стихах, какие выбирал для выражения своей нежности обороты, какими

гласными и согласными гудел, пел, шуршал, передавая все великое многообразие мира… И что же публика? Увидела только «лысого и пьяного» и закричала: не дадим обижать Шевченко, руки прочь от Шевченко!

Шквал негодующих читательских писем оказался так огромен, что очень скоро Чуковскому пришлось выступить с новой статьей – «Излишнее рвение», как раз о том, как его поняли читатели. «Я забыл, что уже лет сорок всевозможные „поклонники“ скандируют перед русским читателем: Шевченко это, так сказать, яркий светоч, это, так сказать, путеводная звезда наших идеалов, прогресса и свободы, той свободы, которая…

Я забыл, что таким юбилейным враньем Шевченко весь обмазан, как патокой, что его самого, живого, жизненного, близкого, из-под этой патоки давно не видать; что он давно уже перестал для русского человека быть человеком, а стал каким-то оселком, на котором гг. почитатели давно уже пробуют свое юбилейное красноречие».

Чуковский отчаянно защищается: «Разве лысого я его меньше люблю, чем лохматого; разве пьяный он менее гениален, чем трезвый?» Нет, читатель неумолим: низззя! Низззя трогать святое! Обыватель полагает, что «у гения должна быть шевелюра», – тоскливо замечает критик. – «И нет таких оскорблений, которых он (читатель, обыватель. – *И. Л.)* в письмах и газетных заметках мне не нанес бы за то, что я осмелился отступить от этого канона его, обывательской, эстетики… И как это не нашлось у меня ни одного читателя, который бы понял, что эту «лысину» и это «пьянство» я упомянул с величайшим благоговением, и что, может быть, еще никто никогда не любил так горячо великого украинского поэта, как я его любил, когда набрасывал такие строки…»

Напрасно он объяснял все это. В октябре того же года с докладом о Гаршине приключилась ровно такая же история, только еще громче. К. И. долго готовился к нему, перечитывал писателя. Характерна дневниковая запись: «В Гаршине покуда открыл одну только черту, никем не подмеченную: точность, отчетливость» – везде-то он стремился открывать никем не подмеченные черты. Разговаривал с теми, кто знал Гаршина. Изучал критические статьи о нем. 30 апреля 1909 года Чуковский записывает: «У Мережковских: читал свою статью о Гаршине: слезы. До чего я изнервничался». 10 мая: «Этой статьи я никогда не забуду. Раньше я написал ее для себя – прочитал Мережковским, оказалось: слабовата. Тогда я переделал ее для „Речи“. Не подошла. И вот теперь я третий раз заново пишу один печатный лист – и если включить сюда месяц подготовки, то

выйдет, что я дней 45–50 томлюсь над одной, довольно незамысловатой статейкой». Но самое незабываемое было еще впереди.

Мережковским и собравшимся у них гостям лекция не понравилась, возможно, не только потому, что была «слабовата». Может быть, еще и потому, что они в большинстве своем принадлежали к поколению, которое причисляло Гаршина к своим святыням, а Чуковский обошелся со святыней не то чтобы непочтительно, а как-то неколенопреклоненно.

Осенью состоялся доклад о Гаршине в Петербургском литературном обществе, частью слушателей освистанный, частью – воспринятый с восторгом. «Зал был буквально переполнен», – сообщалось в редакционном отчете «Речи» о лекции. Уже ожидали скандала – Чуковский даже начал с того, что в публике распространяются слухи, будто он собрался обесславить Гаршина: «Нет, я буду его больше, чем славить, – я буду его изучать». Текст доклада (правда, переработанный уже для книги «Лица и маски») читатель найдет в 7-м томе нового собрания сочинений – и наверняка изумится тому, что такой доброжелательный и умеренный анализ текста и личности был воспринят как святотатство.

Больше всего публику, пожалуй, возмутило то, что Чуковский осмелился подойти к Гаршину с неканонической точки зрения (подход для него обычный и вполне закономерный). Гаршин к этому времени уже был вполне вписан в интеллигентские святцы, «и его трагическая гибель сформировала вокруг его судьбы некое подобие жития, со всеми присущими агиографическому жанру чертами», – отмечает Евгения Иванова. А Чуковский – нет, он не посягнул на незыблемый канон, он просто не стал о нем говорить, оставил все привычное славословие в стороне и осмелился предложить свежее прочтение: «Почему этот безумный художник так удивительно был пунктуален?» Он не оспаривал ни места Гаршина в русской литературе, ни его символического значения для русской интеллигенции, – он занимался своими кропотливыми выкладками и выводил из них: вся гаршинская пунктуальность, обилие цифр и научных подробностей – это попытка спастись от хаоса и безумия, обступавшего несчастного писателя: «Та Палата мер и весов, которую они (Гаршин и Эдгар По. – *И. Л.)* так безнадежно устрояли в своей сумасшедшей палате – душе, разве это не драгоценнее и не патетичнее, чем какая-то «сверкающая радость безумия», и какая-то «жажда мгновенных озарений, мига всеразрешения, всеоправдания, всеспасения», – которою одаряют Гаршина его словоблудные критики».

Чуковский говорил с любовью и состраданием; слушатели ни

того ни другого не поняли. «Вообще, реферат носил характер чисто литературного, психологического исследования, чего, очевидно, не усвоили многие из возражавших Чуковскому, – сообщалось в цитированной уже заметке в „Речи“. – Они усмотрели здесь какую-то демонстрацию. Все, за исключением г. Морозова, ответили тоже демонстрацией». Яростно ругал Чуковского писатель Дмитрий Линев (Далин). «Он никому не позволит трогать литературу. Разве можно трогать литературу! Литературу трогать нельзя!.. Когда г. Далин опустил руку в карман, я испугался до чрезвычайности. Я был убежден, что он вытащит из кармана знамя, на котором написано, что трогать литературу нельзя, и что полиция закроет собрание, – издевался в том же номере „Речи“ Владимир Азов (Ашкинази). – Но г. Далин вытащил только носовой платок, утер себе лоб и предложил публике побить каменьями К. И. Чуковского, осмелившегося неодобрительно отозваться о г. Скабичевском». Трудно предположить, что же Чуковский произнес об этом почтенном литераторе вслух («бла-а-роден, но очень глуп», если верить Розанову); в печатном варианте сохранилась только фраза «… и право же, нужно быть Скабическим, чтобы после всего этого заключить» (дальше после двоеточия идет цитата из Скабичевского. – *И. Л.)*. Повод для побивания каменьями все-таки недостаточный.

Чуковский потребовал «фактического опровержения выставленных им доводов, а не дутых фраз». Далин закричал, что это фельетон, что ему место в газете, докладчик ответствовал, что гордится тем, что он фельетонист, за него заступался Осип Дымов… все это происходило под неумолчный свист, аплодисменты, шиканье. «Когда я слушал доклад, – писал Азов, – мне казалось, что я в провинциальном театре, в который приехал гастролер. Он играет „Отелло“; но публика видела или читала „Отелло“ давно и твердо знает только то, что „Отелло“ – классическое произведение, а Шекспир – гениальный писатель. Ах, батюшки, он что-то не то играет. Ах, батюшки, он с Отелло обращается запросто, как будто Отелло вовсе не мавр и герой, а какой-нибудь мулат и простой ревнивец. Да нет ли здесь поношения Шекспиру? Да не пора ли вступиться за Шекспира?»

Через пару дней в бой вступил достопочтенный профессор Федор Батюшков. В длиннейших и скучнейших периодах он надрывно обвинял Чуковского в том, что тот провозгласил «манифест агрессивного характера против отошедших или отходящих деятелей», что с помощью «усвоенного им метода» хочет устроить «полную переоценку тех мнений и суждений, которые установились у нас с 80-х гг.». А еще – в том, что

Чуковский слишком большое значение придал «некоторым техническим приемам» Гаршина и не увидел его «как цельный и глубоко симпатичный образ человека, больного, но и болевшего душою за многое и за многих, обладавшего в высшей степени пафосом к идее, понимавшего силу и значение подвига, как-то особенно стремившегося всю жизнь к героическому подвижничеству…». М-да.

Чуковский немедленно ответил. Объяснил, что изучение стиля – а не «некоторых технических приемов» – и помогло ему изобразить душу писателя и его жизнь. Полемика на этом не закончилась – о Чуковском и Гаршине еще писали и Д.Левин, и Розанов… и лекция эта, толковая, спокойная и ничем не заслужившая такого бурного возмущения, долго продолжала волновать умы. Настолько, что в предисловии к «Лицам и маскам», куда вошла эта статья, Чуковский писал: «Порицания были так яростны, что автор им поверил и сам, и лишь теперь, перечтя свой набросок, снова увидел, что прав, если не во всем, то во многом». Были и люди, поддерживавшие критика: Брюсов, например, очень высоко ценил созданные им литературные портреты Гаршина и Сологуба: «Вы угадали самую сущность их души». А дипломат Константин Дмитриевич Набоков (брат Владимира Дмитриевича и дядя Владимира Владимировича) писал Чуковскому, с которым тогда был особенно дружен: «Вы опять гусей раздразнили! Опять про Вас говорят, что вы „злой“!! Как это хорошо, и сколько тысяч раз Вы правы!»

Но не в том даже дело, кто был прав, а кто нет в споре о Гаршине. Да и не о Гаршине, не о литературе были эти споры, о чем сокрушались наиболее трезвомыслящие их свидетели. Суть в том, что литература в России и в самом деле заменяла все: политику, социологию, философию, религию, даже экономику. Говоря о литературе, можно было высказать то, что не получалось сказать никак иначе, – оттого всякая филологическая дискуссия превращалась в спор о самом главном. Литература служила только поводом. И уж конечно, лекция о Гаршине, столкнувшая девятнадцатый век с двадцатым, высекла столько искр, что вспыхнувшее пламя совершенно поглотило и лекцию, и Гаршина, и Чуковского.

А в начале 1910 года Чуковский задел в печати журнал «Современный мир», отметив, что он не выполняет данные подписчикам обещания. «В ответ редактор „Современного мира“ Н. И. Иорданский потребовал от издателя газеты „Речь“ И. В. Гессена в ультимативной форме либо опубликовать опровержение, либо принять его вызов на дуэль, – рассказывает Иванова. – Дуэль в журналистском сообществе была вещью

неслыханной, и такое требование, выдвинутое главному работодателю Чуковского, не сулило ничего хорошего. Дело дошло до третейского суда, который после долгого разбирательства осудил обе стороны».

А ведь была еще схватка с Бенуа, где Чуковский пытался поддержать Репина, и битва с Владимиром Поссе – критик разделал его под орех, и тот слабо пытался защищаться; затем долгий период полудружбы-полувражды с «Сатириконом» – его авторов К. И. ценил за талант, но никак не одобрял пристрастия к сюжетам вроде «возвращается муж домой, а там…». Была беспрестанная – заинтересованная, горячая, пристрастная полемика с Василием Розановым; оба чувствовали друг в друге и правоту, и неправоту, и биение таланта, и часто бывали друг к другу несправедливы. А что уж говорить о бессчетных рыцарях пера и бумаги, непрестанно твердивших о ноздревщине, литературном паясничестве, легкомыслии и тому подобных грехах.

Но неверно было бы изображать нашего героя трагической жертвой журнальных волков, он и сам был вооружен большими зубами и спуску никому не давал («Ты, батюшка, всех съешь, у тебя аппетит волчий», – иронизировал Розанов). Из-под пера Чуковского вылетали не только газетные и журнальные статьи, но и негодующие эпистолы в редакции по поводу сокращения его материалов или нарушения его авторских прав, объяснения по разным поводам, открытые письма литераторам, возражения тем, кто так или иначе задел его в печати. Не стоит забывать и о том, что он долгое время вел в «Речи» рубрику «Литературные стружки», где высмеивал чужие ошибки, ляпы, опечатки, которые неизменно выхватывал своим острым глазом в огромном потоке современной словесности, проходившем через его руки каждый день; все глупости, несуразности и странности, которые он заметил, читая русские и зарубежные книги, газеты, журналы.

В феврале 1909 года, например, он рассказывает о том, что:

– влиятельный английский критик Вильям Арчер печатно извещает, что берет от 15 до 25 рублей за чтение рукописи и консультацию («то-то было бы хорошо и у нас завести такие порядки!»);

– в первом томе сочинений Мопассана Сологуб написал, что у французского писателя был «невысокий лоб», а Поль Невэ – что «большой» («так какой же был лоб у Мопассана?»);

– на юбилейном вечере, посвященном Эдгару По, председательствовал «сэр Артур Конан-Дойл, постылый автор постылого Шерлока Холмса, которого напрасно считают наследником По в детективном жанре»;

– фамилии всех декадентов начинаются на букву «Б», и с той же буквы начинается Бог («дарю это наблюдение одному знаменитому критику»);

– в детском журнале «Задушевное слово» опубликована «Табель о рангах» («так печатайте уж тогда и „Прейскурант заграничных ликеров“, и „Руководство к игре в преферанс“, и „Адреса петербургских своден“»);

– критик Леонид Оболенский, не подозревая о существовании двух Васнецовых, Аполлинария и Виктора, адресует одному упреки, предназначенные другому;

– Ф. И. Булгаков «сочувственно цитирует английского писателя Сэнт-Джона, который при ближайшем рассмотрении оказался святым апостолом Иоанном»;

– у Куприна голубь держал письмо *в зубах,* а в «Вестнике Европы» с арены волокли убитого быка с окоченелыми *лапами*…

Часть этих заметок потом была использована при подготовке статей (такой материал у Чуковского обычно не пропадал даром), часть канула в Лету.

Не нажить врагов на этой работе было невозможно – тем более при таком темпераменте и стремлении быть максимально объективным в литературе. В теории стремление к объективности звучало отлично, но на практике означало, как мы видели, бесконечные осложнения в отношениях с коллегами-литераторами. Отсюда пошла слава К. И. как человека двуличного, готового не пощадить и отца ради красного словца…

«Литераторы стали очень бояться Чуковского, – писал Василий Розанов в статье „Обидчик и обиженные“ (1909). – „До кого-то теперь дойдет очередь“. Все ежатся и избегают быть „замеченными“ умным, зорким критиком». Розанов, кстати, первым сравнил Чуковского с волком. Уже много позже вышли довольно мрачные воспоминания Евгения Шварца «Белый волк», где Корней Иванович изображен именно волком-одиночкой, мрачным, язвительным, больно кусающим, никому не показывающим своего истинного лица. Алексей Толстой, как мы помним, в дневниках сравнивал его с битой злой собакой. Даже в дружественной «Чукоккале» постоянно встречаются иронические образы хищного, злобного и беспощадного Корнея. Вот Гумилев, например, пишет в акростихе: «Но кажется, попал тебе, Чуковский, на зуб, на твой огромный, страшный зуб…» Вот переводчик Левик четверть века спустя: «…сам большой Корней Чуковский, который может съесть живьем…» А вот Розанов в своей статье изображает перепуганных литераторов: «Съест нас, собака». И пугает еще больше: «Колыбельную песню пела ему не няня, а выли степные волки».

Розанов с усмешечкой описывает, как вся петербургская публика, опасаясь Чуковского, пытается догадаться, кем он подкуплен; «обвинение в провокации сторожит его у самой двери…». Но он никем не подкуплен, он либерал, его так просто не ухватишь. «На последнем чтении Чуковский даже „решился на Скабичевского“, сказал, что „бла-а-роден, но очень глуп“. Публика повскакивала со стульев. Я думал, что Чуковского убьют. Хорошо, что он либерал: а то бы убили. Непонятно, что будет дальше, если его не убьют».

Дачные будни

В 1909 году Чуковские два раза переезжали. В первый раз – с дачи Анненкова на другую, должно быть Дальберга. Там Корнею особенно хорошо работалось в уединенном кабинете на втором этаже: на анненковской даче работать постоянно мешали дети, прислуга, гости, родственники… А ему для работы нужен был покой и тишина, чтобы ни звуки, ни люди не мешали сосредоточиться: слишком уж легко он на все отвлекался, слишком остро на все реагировал.

Хотя, пожалуй, жилось ему не так уж плохо: в этом году впервые в дневнике нет жалоб на каторжный труд, нигде не говорится о работе как о проклятии. Наоборот: «Здесь же меня осеняет такое „счастье работы“, какого я не знал уже года три. Я все переделываю Гаршина – свою о нем статью – и с радостью жду завтрашнего дня, чтобы снова приняться за работу. Сейчас лягу спать – и на ночь буду читать „Идиота“. Есть ли кто счастливее меня. Слава Тебе, Боже мой! Слава Тебе!» – это сразу после переезда, в 1909 году. И в 1910-м: «Работы гибель – и работа радостная». Он много занимается физическим трудом, возится с детьми, пишет, ездит в город на выступления, ходит к Репиным. Правда, Альбову он писал в это время: «Доктор неожиданно открыл у меня больное сердце, запретил пить кофе и чай…»

Прелестный эпизод рассказывает в своих воспоминаниях Сергеев-Ценский, которого Чуковский соблазнил житьем в Куоккале и даже снял ему дачу «Казиночка». Оба литератора отправились на лыжную прогулку и довольно сильно устали.

«Когда мы отдыхали, сидя под соснами на пеньках, Чуковский сказал мне совершенно потухающим голосом:

– Я очень, очень устал… Я, должно быть, сейчас умру… А у вас в «Печали полей» сказано: «Снега лежали палевые, розовые, голубые…»

– Да, именно так и сказано, – подтвердил я.

– Сергей Николаевич, – обратился он ко мне очень нежно и

ласково, – хотя бы вот теперь, перед самой моей смертью, скажите, что вы тут наврали, а снег, он обыкновенный – белый!»

Сергеев-Ценский, напротив, уверял, что снег, в котором отражается зелень сосен, совсем даже не белый, а зеленый. Умирающий Корней вскочил и понесся к Репину выяснять, какого цвета снег. Оторвал того от работы. Репин подтвердил: белого цвета в природе не существует, а вот тот снег, под деревьями, – зеленоватый… даже зеленый. А через пару месяцев после этого разговора вышла статья «Апостолы трусости», где Чуковский рассказывал о необыкновенном мире, где живут герои Сергеева-Ценского: «Луна у них не желтая, а то зеленая, то красная. Трава не зеленая, а красно-оранжевая. Гуси не белые, а синие, точно окунули их в жидкую синьку». И дальше говорит о фиолетовых глазах лошади, о коричневых до красноты голубях… и о снеге, розовом и голубом. Позднее Чуковский сердито писал в дневнике, что Ценский преувеличил его неосведомленность о природе белого цвета.

Софья Богданович – одна из четверых детей Татьяны Богданович, внучка Н. Ф. Анненского, вспоминает беседы за обеденным столом (Чуковский часто бывал в гостях у этой семьи), розыгрыши, игру в рифмы, попытки приобщить консерватора Анненского и его постоянных гостей, чету Редько, к современной поэзии. Чуковский и сам рассказывает в воспоминаниях, как, отчаявшись убедить этого приверженца «гражданской лирики», написал тушью на низком потолке в изголовье кровати: «Николай Федорович! Блок – замечательный русский поэт!» Богданович вспоминает и о том, как он умел удивить, отвлечь детей от драки (улегся на полу и разрешил щипать, тянуть, хватать за нос, – но ни в коем случае не трогать подбородка, а то «произойдет что-то ужасное»). И в любых воспоминаниях – он всегда с детьми, или за письменным столом, или за разговором о литературе. Летом катается на лодке, зимой – на буере с парусом, всех зовет, втягивает в это дело, увлекает лыжами, купанием, греблей. Или шагает куда-то, босой, без воротничка, с расстегнутым воротом. Весело размахивает руками, оживленно что-то рассказывает. Или усталый, огорченный, опять не заснув, уходит к морю, чтобы успокоиться.

В дневниках Чуковского в это время – короткие записи о повседневных занятиях: работа, работа, работа. Разговоры с Репиным, его гостями, своими гостями. Дачные заботы: «копаю снег», «у меня теперь азарт – полоть морковь». Дачный отдых: «дурацки делал фокусы на лыжах», купался, ходил на море. Играл с детьми, своими и чужими. Строил с Колей снежный домик. «Обсуждались проекты, как сделать крокодила умнее. Коля

говорит: пускай крокодила родят люди, вот он и будет умнее». «Вчера забрал детишек Блинова и двух девочек Поповых и бегал с ними под солнцем весь день, как бешеный. Костер, ловитки, жмурки – кое-где сыро, кое-где снег, но хорошо удивительно. Коленька весь день со мною». «Сегодня хорошо играли в свинки». «У нас белые мыши».

А вот отношения с женой то совершенно идиллические, то весьма натянутые. Летом в дневнике появляются довольно загадочные строки, которые можно счесть за отзвуки оставшегося за кадром романа: «Как я рад, что кончилась эта дикая полоса:

От почты до почты живу я,
От почты до почты я жду
И с почты, тоскуя, ревнуя,
За нею влюбленный иду».

В июле 1909 года он делится с неведомой корреспонденткой (строки письма вписаны в дневник) вечными сомнениями в себе: «Не сердитесь на меня <нрзб> за тон, сегодня я последний из последних, и ничего не знаю, и сам на себя сержусь. Вы обо мне пишете, как о писателе, и даже, пожалуй, хорошем. Но, милая, ведь это неверно, ведь я еще ни одной строчки не написал и не напишу, и не хочу написать, – т. е. очень хочу, но до того знаю, что не напишу, что уж даже и не хочу. Я только притворяюсь перед другими, будто я „писатель“ и будто „Чуковский“ это что-то такое. Но пред собою, пред своими зачем же я стану притворяться!»

Летом у Марии Борисовны умер отец, она плакала, не могла успокоиться. Чуковский сухо регистрирует в дневнике: «У Маши была истерика».

Трудно сказать, удачен ли был их брак. Оба отличались незаурядным темпераментом и нервозностью – должно быть, могли наговорить друг другу и гадостей, и глупостей, и затем просить прощения, и снова расходиться по разным комнатам в обиде. В дневниках можно найти только отзвуки и отголоски семейных драм, настолько невнятные, что их даже нельзя осмысленно цитировать; зато семейное счастье выписано коротко и ясно: «Вчера у Жаботинских. Потом ехали вместе с Машей домой. На площадке. Поцелуи. Тащили домой под луною корзины» (март 1909 года).

«Репины нас проводили – потом на санях – и потом мы с Машей обратно на море – под луной – на лыжах. Она встала на мои лыжи – и несмотря на 5 месяцев беременности – носилась по морю с полчаса» (январь 1910-го). 30 июня 1910 года родился

третий ребенок Чуковских – Борис. В этот день К. И. отправил записочку Репину с уведомлением, что не сможет позировать ему для портрета, потому что жена рожает, и роды осложнились: «Чем кончится, не знаю, – но, надеюсь, Вы поймете, что уйти из *этой* комнаты я не могу». Потом Чуковский писал Михаилу Альбову, что рожала М. Б. тяжело, двадцать часов кричала, хлороформ, щипцы… и все это дома… «так что я совсем измучился, ни писать, ни читать не мог…».

В «Чукоккале» есть редкий стихотворный портрет Марии Борисовны – акростих Бориса Садовского:

Мои мечты стремятся далеко,
А ноги все несут меня на дачу.
Рокочет море, на душе легко
И здесь я даром времени не трачу.
Я вижу стол: тарелка глубоко
Чудесным супом налита. Я плачу,
Увидя хлеб, жаркое, молоко.
Кричит щегленок. Нет не наудачу
Осветит солнце черных кос намет,
Взор ласковый и прошивной капот;
С каким радушием я встречен ею,
Как сердцу мил супруг ее босой,
А между тем из-под косы густой
Янтарь, спускаясь, золотит ей шею.

Фотографические и живописные портреты жены Чуковского – не редкость, но в воспоминаниях она всегда тень, всегда оттеснена к полям: «супруг босой» ее совершенно заслонил. Никому из мемуаристов не пришло в голову сказать о ней хотя бы несколько слов.

«Ты и не подозреваешь, как горька и мучительна была ее жизнь: она, ради семьи, закопала свою молодость в Финляндии, нигде не была, ничего не видела, думала – только о вас», – писал Корней Иванович сыну Николаю. Из чего еще состояла ее жизнь? Принимала гостей по воскресеньям (отчего-то и в «Чукоккале», и в воспоминаниях Лидии Корнеевны о детстве сохранилась память о копченом сиге, который, видимо, нередко подавали к столу), занималась детьми и хозяйством, выполняла поручения мужа, иногда ездила по редакциям – отвозить материалы, забирать деньги. За невыполненные поручения могла получить нагоняй. Особенно примечательна сатирическая песенка «Барыня», написанная коллегой Корнея Ивановича по «Одесским новостям», а потом тоже жителем Куоккалы Лазарем Карменом. Она

появилась в «Чукоккале» в 1915 году (сразу прошу прощения, что забегаю вперед на целых пять лет – но когда в этом повествовании наступит 1915 год, найдутся и другие темы). Кармен сочинял длинные сатирические стихи на мотив русской плясовой; в альбоме Чуковского таких «Барынь» две. В этой повествуется, как критик, утомленный бессонницей и работой над Уитменом, лег спать и доверил жене отвезти статью в газету. Та опоздала на поезд, пошла к Карменам, засиделась у них, опоздала и на второй, а затем вернулась восвояси. И вот Чуковский, пробудившись, видит: «Крепким сном подруга спит, / Рядышком статья лежит. / Барыня…/ Как не плакать, не орать, / И вещами не швырять?/ Барыня… / И чернильницу о пол, / И ногой в дубовый стол…» Может, это и преувеличение, но не на пустом месте оно возникло. Кармен вышучивает и Марию Борисовну, которая жалуется на судьбу, «связавшую ее с русской критикой» («Измоталася я за ночь, все не спит Корней Иваныч… Спать и мне он не дает, со статьями пристает»). Судя по комментариям Чуковского и Кармена, песня основана на совершенно реальных событиях.

Все-таки Мария Борисовна старалась сохранять свою автономию, не растворяясь полностью в муже и детях. В альбоме Репина часто встречаются списки гостей или участников какого-нибудь мероприятия, Корней Иванович и его жена всегда присутствуют в них по отдельности, как «Чуковский» и «Чуковская», и часто даже в разных местах списка. В денежных делах Мария Борисовна тоже была самостоятельной единицей, долговые расписки часто подписывала она. Кстати, есть в альбоме Репина и разные анкеты – это увлечение было чрезвычайно популярно (К. И. тоже отдал ему дань, однако его анкеты всегда посвящались литературе). Один из вопросов – «как вы относитесь к накрашенным женщинам?». Как к раскрашенным розам, отвечает Чуковский, добавляя, что его жена не красится и он очень этим доволен.

Он часто уезжал, она оставалась с детьми. Насколько жизненно (и биографически!) достоверны следующие строки из «Крокодила», поймет каждая мать двоих и более детей:

Говорит ему печальная жена:
– Я с детишками намучилась одна:
То Кокошенька Лелёшеньку разит,
То Лелёшенька Кокошеньку тузит.
А Тотошенька сегодня нашалил:
Выпил целую бутылочку чернил.
На колени я поставила его

И без сладкого оставила его.
У Кокошеньки всю ночь был сильный жар:
Проглотил он по ошибке самовар, —
Да спасибо, наш аптекарь Бегемот
Положил ему лягушку на живот.

В 1911-м, когда он отправился в долгое путешествие по Волге, Коле было семь, Лиде четыре, Бобе год. В 1912–1913 годах он объехал с лекциями чуть не пол-России. Она снова сидела одна (не считая прислуги, конечно) на даче с детьми. То Кокошенька Лелёшеньку… то Тотошенька чернил… Вот и вся жизнь, казалось ей. Она писала ему нежные письма. И он ей тоже: «Если бы я не скучал по тебе и по детям, то я чувствовал бы себя счастливым».

Он не был безупречным мужем. Часто балансировал на грани нервного срыва, а то и срывался. Требовал полного покоя, когда работает, – очень скоро в доме научились ходить на цыпочках, не скрипеть дверями и вести себя тихо как мышки. Мог страшно накричать. Мог неожиданно обрадовать – вспыхнувшей нежностью, остроумной репликой, дурачеством. Он был потрясающе хорош в добрую минуту и невыносим в дурную.

Пожалуй, он ей изменял. В опубликованной переписке с сыном есть фраза: «Какие травмы наносил я ей своей неверностью, своими увлечениями, сколько раз я бывал не прав перед нею!» Он был обаятельный мужчина, умевший и в старости шутя покорять дам. А может быть, женское восхищение тоже было ему постоянно нужно – так же, как восхищение публики на лекциях. В историю, однако, он вошел как семьянин, однолюб, верный муж и прекрасный отец. Отчасти это обусловлено его, как ни странно это звучит, удивительным целомудрием во всем, что касается личной, частной, семейной жизни: то, что не предназначено для посторонних глаз, на них и не попадало. И если находится на него какой-то компромат, пользуясь сегодняшним выражением, – то практически всегда это его собственноручные записи. А может быть, дело еще и в том, что он умел выбирать эти увлечения и расставаться с ними, – и никто из них не оставил откровенных мемуаров.

Все, что может быть инкриминировано Чуковскому, – почти всегда записано им самим, будь то ностальгическое воспоминание о романе с художницей Киселевой, мучительное – о планах писать «Веселую Колхозию» или восторженная дневниковая запись о том, как они с Пастернаком слушали Сталина. Все это было им пережито, осмыслено, осознано,

оставлено в бумагах. Не свидетельствуй он сам против себя – почти нечего было бы и предъявить любителям выискивать во всякой биографии большого человека глупости, мерзости, ошибки. Частная человеческая жизнь вообще с трудом выдерживает разглядывание каждого прожитого дня в увеличительное стекло, да еще спустя годы, когда кажется уже, что знаешь правду и имеешь право судить. Удивительно, что жизнь Чуковского все-таки выносит и это пристрастное разглядывание при многократном увеличении. Хотя, конечно, желающие могут обнаружить в дневниках «чухонцев» и «жидов», и саркастические заметки об окружающих, и множество резкостей. Но всякий раз, наводя на героя лупу, стоит помнить о том, каким беспощадным судом он сам судил себя, как пытался исправить неловкости и ошибки, загладить вину, восстанавливать разорванные отношения, как болезненно переживал это, как строго относился к себе, как непреклонно воспитывал себя. Кто из нас смог бы прожить такую жизнь в таких обстоятельствах – еще большой вопрос.

В 1909–1910 годах Наталья Борисовна Нордман-Северова инициировала в Куоккале особенно много общественно полезных проектов. Чуковский уже успел переменить свое мнение о ней. Поначалу она казалась ему «дурой с затеями», но вскоре он и сам стал принимать в некоторых затеях живейшее участие и даже, пожалуй, проникся определенным уважением к этой увлекающейся, часто бестактной и безвкусной, но цельной и деятельной натуре. Он был один из немногих людей, которые вообще смогли оценить то хорошее, что, безусловно, было в характере взбалмошной, тщеславной и не очень умной репинской жены. А ведь среди ее затей были не только такие, о которых Чуковский с досадой записывал «втравила меня в дело с женской типографией, которая оказалась штрейкбрехерской», но и вполне заслуживающие внимания.

Одной из главных идей Нордман-Северовой была кооперация – организация всевозможных мероприятий сообща. Идея эта была связана с ростом интереса к кооперативному движению в России после первой русской революции. Жена Репина еще в 1908 году предлагала супругам Чуковским стать членами «Общества для благоустройства Куоккалы», руководимого сенатором Сергеем Ивановым. Это были и кооперативные елки (сохранилось письмо, где Наталья Борисовна просит у жены Чуковского небьющихся игрушек для них), и устройство школы (в другом письме Репин подробно обсуждает с Чуковским дела школы, организованной куоккальским землевладельцем Ридингером). В примечаниях к переписке Репина и Чуковского (авторы – Елена Левенфиш и

Галина Чурак) говорится: «В „Пенатах“ кооперация приняла преимущественно просветительский характер. В частности, на этих собраниях друзья Репина, ученые, писатели выступали с общеобразовательными лекциями, сами участники собрания устраивали занятия с целью помочь друг другу в получении профессиональных навыков (в пчеловодстве, сапожном деле и т. д.). Н. Б. Нордман пропагандировала свои вегетарианские и другие идеи». В письмах Нордман-Северовой довольно часто встречаются упоминания о «кооперации у нас в саду» – это были встречи местных жителей в «Пенатах». Репин в 1923 году, тоскуя, вспоминал это время в письме к Чуковскому: «Помните, как на наших народных гуляньях в саду Вы угощали нашу пролетарскую публику – дешево – чаем? 1 копейка стоил стакан чаю, копейка – печенье. Как любили Вас бабы и девки! Да, Вы всегда были душою общества, вселяли смелость и свободу. Помните лекции? Чтения Маяковского (это уже позже – в 1915 году. – *И. Л.),* Сергея Городецкого, Горького, пение Скитальца и др. в Киоске, а не в храме Изиды, где читали И. Тарханов, Леонид Андреев, А. Свирский». Дальше Репин вспоминает гостей «Пенатов» – молодого Куприна, приезжавшего на велосипеде, Николая Морозова, возвращавшегося к жизни после 25-летнего заключении в Шлиссельбурге: приехал с молодой женой, учился танцевать…

Репин написал устав товарищества кооперативов, каждый член-учредитель должен был принести присягу, в которой обещал служить целям общества (цели по уставу были «просвещение и разумные развлечения») и не давать «впоследствии практическим людям превращать кооперацию в корыстное предприятие… Предусматривалось, что при кооперации могут быть организованы детский сад, библиотека, ремесленные мастерские. Деятельное участие в пенатских кооперативных собраниях принимали Чуковский и его жена», говорится в комментариях к переписке Репина и Чуковского. Затем появилась идея народного дома: «Там могли бы быть копеечная чайная, ночлег для ищущих места, библиотека, театр, ежедневный клуб, гимнастика, лыжный спорт, лекции ремесла, детский сад, амбулатория». Эту идею Чуковский в дневнике коротко прокомментировал: «Уррра!» Предполагалось начать с выступления сатириконцев, однако план Народного дома так и остался неосуществленным.

Самый большой успех, пожалуй, имела репинская идея просветительской работы: кружки, чтения, лекции по самым важным вопросам современной культуры. Первое заседание состоялось в гостинице Иванова возле станции Куоккала в июле 1909 года. Репин читал о памятнике Александру III работы Паоло

Трубецкого, Чуковский – о творчестве Гаршина. Воскресные собрания проходили регулярно. «На литературных воскресеньях присутствовали В. В. Розанов, критик В. П. Кранихфельд, Н. И. Иорданский, М. К. Куприна, А. М. Редько, Н. А. Морозов, Н. П. Ашешов, П. А. Берлин, М. Гошкевич, И. К. Брусиловский, беллетрист А. А. Киппен, редактор „Нового журнала для всех“ Н. Г. Бернштейн, редактор „Сатирикона“ А. Т. Аверченко, карикатурист Реми, Ол Д'Ор и другие», – говорится в комментарии к переписке Репина и Чуковского.

В 1910 году Анненские познакомили Чуковского с Короленко. «Очарование, – записывает Чуковский в дневнике. – Татьяна Александровна (Богданович. – *И. Л.)* тревожно, покраснев, следила за нашим разговором. Как будто я держал пред Короленкою экзамен – и если выдерживал, она кивала головою, как мать». Точно так же сам Чуковский потом переживал, понравится или не понравится Владимиру Галактоновичу Леонид Андреев (но они-то как раз друг другу не понравились), а Татьяне Александровне – Маяковский (тут все получилось лучше).

У Чуковского сразу сложились дружеские, открытые и душевные отношения с Короленко. Естественно, говорили обо всем – но больше о главном. Вот он записывает в дневнике реплику писателя – они вспоминали о том, как Короленко в 1892 году, когда его дочь была при смерти, занимался Мултанским делом, когда крестьян-вотяков несправедливо обвиняли в убийстве: «В 80-х гг. безвременья – я увидел, что „общей идеи“ у меня нет, и решил сделаться партизаном, всюду, где человек обижен, вступаться и т. д. – сделался корреспондентом – удовлетворил своей потребности служения».

Как раз об этом-то Корнею Ивановичу поговорить и не с кем. Он давно мучится тем, что во времена безвременья у него нет общей идеи. Сам склад его характера, его душевное устройство требует от него служения, но служить нечему, некому, он висит в пустоте и не видит никакой общественной пользы от своей газетной работы. Поиски «длинной фанатической мысли» – это не идефикс, а постоянно присутствующая, привычная боль. Мысль о том, к чему можно применить себя, пришла Чуковскому в голову под влиянием борьбы Короленко за человеческую жизнь – тот как раз готовил к публикации в виде брошюры свою статью «Бытовое явление» – документально подкрепленный протест против ставших уже привычными смертных казней.

В воспоминаниях говорится: К. И. прочитал гранки, разволновался, не смог заснуть, побежал («по своему тогдашнему обыкновению – без шляпы, босиком») на взморье и встретил там Короленко. Того тоже мучила бессонница: стал пересматривать

материалы о смертниках, заснешь ли после этого. Наконец, Чуковский поделился с Короленко планом, который обдумывал уже несколько дней: попросить лучших людей России написать несколько строк против смертной казни, опубликовать разом их протест в одном из номеров «Речи» (в дневниках, правда, говорится, что этой идеей он поделился с Короленко еще 20 июня, в день знакомства). «Мне почему-то думалось, что, если голоса знаменитых во всем мире людей сольются в одно дружное проклятие столыпинским виселицам, этому разгулу палачества будет положен конец», – горько замечает он.

В августе-сентябре 1910 года Чуковский собирает протесты против смертной казни. Лучшие люди страны и в самом деле горячо взялись за дело. Короленко написал для «Речи» статью «Один случай». Посоветовал обратиться к Андрееву. Пригласил участвовать в акции Горького, но тот отказался: принципиально не желал печататься в кадетской газете. Чуковский обратился и к Андрееву, и к Репину; тот дал очень резкую статью, совершенно по тогдашним цензурным условиям непроходную, Чуковский редактировал ее вместе с Репиным, добиваясь «цензурности», – но, как оказалось, напрасно.

В октябре Корней Иванович написал Толстому с той же просьбой. Заметим особо, что Чуковский просит не только выразить протест, но и сделать это так, чтобы все проникнись: «Не кажется ли вам, что все протесты против смертной казни – и ваше „Не могу молчать“, и Леонида Андреева „Рассказ о семи повешенных“, и Короленко „Бытовое явление“ имеют один очень большой недостаток? Они слишком академичны, недоступны уличной толпе, слишком для нее длинны и сложны, похожи на диссертации и, увлекая наиболее чуткую часть нашего общества, равнодушных так и оставляют равнодушными». Пафос К. И. остается прежним: увлечь всех, зажечь всех, чтобы никто не остался в стороне, заставить людей расшевелиться, выйти из состояния равнодушного тупосердия. «Это сразу возбудило бы обывателя, подхлестнуло бы его; я не очень верю в действие печатного слова, но нужно, чтобы как гром внезапно грянули слова всех лучших граждан России. Правительство не посмеет выступить с какой-нибудь карою против газеты, – Столыпину и другим как будто стыдно вступаться за смертную казнь, – писал Чуковский Репину еще в конце августа 1910 года. – Я поставил себе это как бы целью жизни – добыть эти строки от 5 или 6 „лучших людей“ и преподнести их засыпающему русскому обывателю».

А это из письма Толстому: «Представьте себе, что в газете „Речь“, на самом видном месте, появляются *в черной рамке* строки

о казни – ваши, И. Е. Репина, Л. Н. Андреева, Вл. Короленко, Мережковского, Горького, – внезапно, неожиданно, – это всех поразит, как скандал, – и что же делать, если современное общество только к скандалам теперь и чутко, если его уснувшую совесть только скандалом и можно пронять…»

Толстой откликнулся и написал статью «Действительное средство» – последнюю, вскоре он умер и убитый горем Чуковский, примчавшись на его похороны, получил рукопись от Владимира Черткова. Мережковский тоже одобрил план, но предложил сделать хитрее: в одном номере дать лишь несколько статей, а в другом, через несколько дней – уже множество, причем не толстовских, а подписанных обыкновенными людьми: это даст иллюзию того, что общество зашевелилось. Чуковский взялся собирать «голоса из общества».

Но дальше получилось грустно. Редакция «Речи» поначалу одобрила план, но затем испугалась (что с редакциями бывает нередко: самоцензура и боязнь судебного преследования наносят куда больше вреда, чем цензура внешняя и судебное преследование как таковое; «это мы опубликовать не можем» – приговор окончательный и обжалованию не подлежит). «Напечатать четыре „прокламации“ сразу, на одной полосе – да ведь за это штраф, конфискация номера! – заявили мне заправилы газеты. – Отдельно, порознь – это, пожалуй, возможно, да и то через большие промежутки, но в один и тот же день – ни за что!»

В результате в печати появились только статьи Толстого и Короленко. Толстого – уже после его смерти, в день похорон, с комментарием Чуковского. Россия, ошарашенная смертью гения, статью прочитала как его завещание. Хотя бы в этом цель была достигнута, и усилия оказались не напрасны (посвященная этой истории глава в книге Чуковского «Современники» так и называется «Напрасные усилия»). Через некоторое время в печати появилась и статья Короленко. Репинская и андреевская показались редакции слишком резкими. Смертные казни продолжались. Никаких официальных документов по их поводу издано не было, однако после убийства Столыпина в 1911 году казнить стали меньше.

И все-таки Короленко помог молодому критику найти для себя серьезное дело на всю жизнь. Вот как рассказывает об этом сам Чуковский в воспоминаниях о Владимире Галактионовиче:

«Это было вечером; мы возвращались со станции и присели отдохнуть на полпути у колодца. Зашел почему-то разговор обо мне, и Короленко сказал без обиняков, напрямик, что я иду по неверной литературной дороге, отдавая все свои силы газетным

статьям-однодневкам. Что я пишу слишком звонко, задиристо, „с бубенцами и блестками“. Что многие мои парадоксы производят впечатление фейерверков: „Но ведь фейерверк взовьется и потухнет, и кто же варит себе пищу на фейерверках!“

– Добро бы вы были записной фельетонщик. Тогда и разговаривать не о чем. Но вот вы любите Некрасова, Шевченко, а между тем… Может быть, – продолжал он, – мой совет покажется вам тривиальным, но другого пути у вас нет: если вы хотите сделаться серьезным писателем, вы должны взвалить на себя какой-нибудь длительный, сосредоточенный, вдумчивый труд, посвятить всего себя единой теме, которая была бы насущно нужна широкому кругу людей».

К. И. стал делиться с Короленко своими планами и замыслами, «из коих он одобрил лишь один – посвятить себя изучению Некрасова (который в ту пору был совсем не изучен): исследовать его эпоху, его жизнь, его мастерство и во что бы то ни стало восстановить те пробоины, которыми с давних времен исковеркала произведения поэта цензура».

Чуковский считал этот разговор «одним из важнейших событий своей писательской жизни». Он действительно всерьез занялся Некрасовым. В ноябре 1912 года вышла статья «Мы и Некрасов», а затем публикации стали появляться регулярно – на протяжении всей жизни Чуковского. Уже в начале некрасоведческих штудий его ждал неожиданный подарок. «Академик А. Ф. Кони, обладавший огромным фондом некрасовских рукописей, прочел мои газетные статьи о Некрасове и решил предоставить мне хранившиеся у него материалы», – рассказывал Чуковский. Он внимательно изучал рукописи из собрания Кони, отыскивал новые у родственников поэта, исследовал, публиковал, комментировал, уточнял даты. Работа была точной, подробной, скрупулезной. На свет появились статьи не только о Некрасове, но и о людях, составлявших его окружение, забытых драмах минувшего времени. Но слава лучшего отечественного некрасоведа была еще впереди.

Глава четвертая
У последней черты

«Спасите детей»

Когда дети начали подрастать, Чуковский, естественно, начал приобщать их к тому, что любил сам: к книгам. И обнаружил проблему, масштаб которой современному родителю, пожалуй, даже не понять. Ведь почти все то, на чем выросли мы и наши дети, – стихи, народные потешки, загадки, переводные, народные и авторские песенки, сказки, приключенческие повести – всего этого не было; более того, все это богатство в большой степени создано талантом и организационными усилиями Чуковского. Но до Чуковского читать было почти нечего.

Он берется за детские журналы – и не находит в большинстве из них ничего достойного внимания. Берется за детские книги – и обнаруживает Чарскую, которую нынче принято жалеть: хорошая писательница, ее любили, зря ее злой Корней так отделал… Затем он берется за взрослые книги – и там не находит ни одного ребенка:

«Мы все в России поголовно будто бездетные. Детей у нас не слышно, не видно; если и появится иногда в литературе ребенок – у Сологуба, у Гиппиус, у Ремизова, у Зиновьевой-Аннибал, – так это непременно самоубийца или, мало-мало, мистический анархист. В лучшем случае – „тихий мальчик“… Я перед таким ребенком всегда чувствую себя семилеткой; воображаю, какая у него борода. И все журналы у нас издаются, в сущности, для такого бородача». Это статья «Спасите детей», опубликованная в самом начале 1909 года.

То, что нам кажется неотъемлемой частью нормального детства, еще не написано, не собрано, не переведено. В литературе еще господствуют старые представления: дети – это те же взрослые, только маленькие, нежные и глупые. Поэтому и чтение для них готовят соответствующее: малюсенькое, обшитое кружавчиками, залитое сиропчиком, снабженное уменьшительно-ласкательными суффиксиками.

Само представление о том, что мир ребенка кардинально отличается от мира взрослых, еще только начинало зарождаться в педагогике и психологии. Двадцатый век фактически открыл человечеству, что такое детство: до тех пор взрослые об этом как-то не задумывались. Во всем мире еще только начинали изучать ребенка, игрушку, игру, постигать законы детского творчества,

понимать, как следует писать для детей, как их учить, во что с ними играть, чем занимать их досуг. Чуковский стал одним из отечественных первооткрывателей и исследователей этого обширного материка. В России до него мало кто так ясно и отчетливо говорил о том, что дети живут, учатся и мыслят по другим законам. «Дети – это сумасшедшие, которым выздороветь суждено не скоро, – удивлял он читателя. – Скажи ребенку, что на дереве растут башмаки, он поверит и даже не удивится» (видите, откуда выросло «Чудо-дерево»?).

Первая статья Чуковского о детском чтении была опубликована еще в 1906 году, и с тех пор он не оставлял этой темы. В 1911 году он собрал все свои вышедшие статьи в брошюру «Матерям о детских журналах» (кстати, высказывание о том, что дети – это сумасшедшие, он в этом издании снял, уточнив и смягчив свою мысль: «Дети живут в четвертом измерении, они в своем роде сумасшедшие, ибо твердые и устойчивые явления для них шатки, и зыбки, и текучи. Мир для них, воистину, – „творимая легенда“»).

К. И. сделал великое дело: он не только заставил литературу повернуться лицом к ребенку – он побудил взрослых задуматься о том, что дети – это не уменьшенные и ухудшенные копии взрослых, а совершенно иные существа. «Нет, задача детского журнала вовсе не в том, чтобы лечить детей от детского безумия – они вылечатся в свое время и без нас, – а в том, чтобы войти в это безумие, вселиться в этот странный, красочный, совершенно другой мир и заговорить с детьми языком этого другого мира, перенять его образы и его своеобразную логику (потому что своя в этом другом мире логика!)… Нужно педагогам „обратиться“ и самим „стать, как дети“… Если мы, как Гулливеры, хотим войти к лилипутам, мы должны не нагибаться к ним, а сами сделаться ими».

Все «за» и «против» в его статьях очень ясны и не утратили своей актуальности до сих пор. Что ему не нравится в детских журналах? Анемичность, отвлеченность, расчет на воображаемого ребенка. Стремление во что бы то ни стало набить его голову самой разной информацией – сомалийскими ослами, ипомеей пурпуровой, кометами и кислотами, фарфоровыми фильтрами и параболическими траекториями, Акрополем и товарами на Калашниковской бирже. Все эти журналы он называет «Вестниками Европы для детей», их идеологию формулирует кратко: «Сиди смирно и читай про Линкольна». «А для практики, для дела, для рук они не дают ребенку решительно ничего», – негодует он.

Зато Чуковский находит в детских журналах удручающую

серьезность: взрослые хотят поскорей приучить ребенка к законам рынка, воспитать из него работника. И совсем нет в этой продукции, предназначенной для детского чтения, того, что ребенку как раз нужно: ни волшебства, ни игры, ни озорства, ни веселых самоделок, ни поэзии, ни радости. «Не дают ничего для дела» – это совсем не о «деле» в купеческом его понимании говорится. Пожалуй, у Чуковского нигде нет прямых высказываний о том, должен ли ребенок работать или нет, а если да – то как и с какой целью. Но по там и сям оброненным замечаниям, по воспоминаниям о том, как он сам воспитывал своих детей, можно сказать наверняка: он считал, что детей надо приучать к постоянному труду – но к труду радостному и творческому, не из-под палки, не ради заработка; работать как дышать, работать как петь – вот нормальный его подход к работе. Праздности он не терпел и у детей, однако не терпел и попыток лишать детей детства ради скорейшего выращивания из них работников. Тонкую эту грань он определял для себя скорее интуитивно. Своим детям не давал лентяйничать. «Увидев, что мы слоняемся без толку, он мигом находил нам занятие: обертывать учебники разноцветной бумагой, ставить по росту книги на полках у него в кабинете, полоть клумбы или, открыв окно, выхлопывать пыль из тяжелых томов», – вспоминала Лидия Корнеевна.

Но не всякую незанятость он воспринимал как праздность – в тех же воспоминаниях дочери есть важнейшее наблюдение: «Он старательно оберегал от посторонних и даже собственных вторжений наши самостоятельные утехи и выдумки – в особенности те, в которых чувствовал ростки одухотворенности, творчества». Далее в «Памяти детства» следует рассказ о том, как Корней Иванович отвлекал рисунками маленькую Лиду, чтобы она не мешала Коле «мечтать» на берегу Финского залива, сражаясь с воображаемыми врагами: «Боба, Лида, не ходите в ту сторону! Там Коля мечтает!»

А потом уже приходилось оберегать детское право на творчество и фантазию от куда более серьезной опасности. Отсюда – вся его борьба за сказку с теми, кто пытался изгнать ее из детской жизни: стремлением поскорее приставить ребенка к делу отличались не только буржуазные детские журналы, но и самые антибуржуазные педагоги: «нам бы что-нибудь о дизелях». При всей полярности политических позиций родство взглядов на ребенка очевидное. Позицию Чуковского и здесь, как всегда, трудно определить одним словом – это и не за, и не против, это сложнее, гибче и тоньше. Он всегда выбирает срединный путь между Сциллой и Харибдой, ортодоксальностью и новациями,

западничеством и почвенничеством, консерватизмом и либерализмом, жесткостью и мягкостью, формой и содержанием… таких бинарных оппозиций можно нагнать еще строк на пять, и всегда позиция Чуковского – на лезвии бритвы. Раньше это называли диалектикой, термин стал немоден, как и вся философская парадигма, к которой он принадлежал… Ну давайте называть это взвешенностью.

К золотой середине тяготели и его представления о том, как воспитывать у ребенка любовь к родине. То, что у нас сейчас называют военно-патриотическим воспитанием, ему было до глубины души ненавистно. Сама эта безусловная связка «военного» и «патриотического» казалась ему довольно фальшивой, и, хотя напрямую он говорил не о патриотическом воспитании, а о барабанно-палочной, казенной эстетике, очевидно: Чуковский полагал, что любовь к родине воспитывается иначе, и не внушить ее рассказами о потешных полках и доблестном истреблении нескольких тысяч неприятельских солдат. В своих статьях он только аккуратно издевался над «Задушевным словом», которое внезапно наполнилось апрошами, фрунтами, пушками, осадами и воспитанниками кадетских корпусов: «И действительно, рады стараться, – я верю, вполне бескорыстно». Но четверть века спустя, на Первом съезде советских писателей, рассказывал, что в 1910 году обнаружилось, ко всеобщему негодованию, что «самый популярный и влиятельный из детских журналов „Задушевное слово“ получал от военного министерства субсидию на пропаганду милитаризма среди юных читателей. Многотысячные ссуды этот журнал получал и от министерства двора за прославление царской фамилии».

Все эти министерские ссуды еще считались дурным тоном в журналистике, тем более детской; именовалось это *продажностью,* но говорить об этом вслух не приходилось, ибо и куда более невинные намеки заканчивались вызовами на дуэль, судами чести, а то и полноценным судебным разбирательством. Так что Чуковский только замечал для умеющих читать между строк родителей: вот Главное управление военно-учебных заведений разрешило военным школам и кадетским корпусам подписку на этот журнал, вот им восторгаются газета «Россия» и журнал «Русский инвалид», и даже какая-то «Русская конница». Он обрушивался на «Задушевное слово» и его примадонну Лидию Чарскую за этот барабанный бой, за ура-патриотизм, за стереотипность образов и приемов, за бесконечную пошлость даже в описании самых трогательных движений души (на чем, по выражению Чуковского, писательница «набила руку»). И впрямь,

стоит только открыть любое из ее бойких, стремительных и безнадежно одинаковых сочинений: его/ее синие/черные глаза смело/отчаянно сверкнули, и он/она бросился/бросилась… на врага/на колени… Ну да можно взять Чарскую и по выписывать, рекомендую. Но о ней речь еще впереди.

Своих детей он воспитывал совсем иначе, без громких слов – просто учил их замечать красоту природы, любить литературу, понимать прелесть фольклора, знать историю, уметь различать в ней не только цифры и даты, но и судьбы, и трагедии, и величие, и ненавидеть глупость и подлость. А любовь сама следует за пониманием и восхищением.

В каждом из небезнадежных изданий Чуковский выбирает самое ценное и радостно рассказывает о своих находках читателям. Больше всего ему нравится «Тропинка», которая относится к миру с любовью и нежностью, обращает внимание на тот самый спасительный быт с его буднями и праздниками, ненавязчиво воспитывает религиозное отношение к жизни, создает дружелюбный, сказочный, трогательный мир. «Маяк», хотя и скучноват иногда, силен в этическом воспитании, он ясно и страстно объясняет, что хорошо, а что плохо. А кроме того – «учит детей самобытности, творчеству, инициативе – и мы все, кто из гимназии вышли, словно без рук и без глаз, с одним только „поведением и прилежанием“, должны бы завидовать нашим детям, что пред ними такие возможности». «„Маяк“… каждою своею строкой привлекает и манит детей к вольному и легкому делу: то сделай бумажного змея, то ступай посмотри головастиков, то вырежь из дерева куклу и т. д. и т. д.». Легкомысленные «Путеводный Огонек» и «Светлячок» нравятся Чуковскому своей пестротой, затейливостью, стремительной краткостью. Наконец, у него появляется мысль о настоящем, хорошем журнале, который соберет в себе все лучшее, – журнале, соединяющем серьезную этическую позицию, вдумчивое отношение к культуре и искреннюю любовь ко всему живому с хорошими стихами, с разными затеями, играми и брызжущим весельем.

Уже в 1911 году Чуковский попытался воплотить этот замысел в жизнь – благо издательство «Шиповник» предложило ему составить детский альманах. Сорок лет спустя он писал в воспоминаниях о Горьком: «Я давно носился с соблазнительным замыслом – привлечь самых лучших писателей и самых лучших художников к созданию хотя бы одной-единственной „Книги для маленьких“, в противовес рыночным изданиям Сытина, Клюкина, Вольфа. В 1911 году я даже составил подобную книгу под сказочным названием „Жар-птица“, пригласив для участия в ней

А. Н. Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, Сашу Черного, Марию Моравскую, а также первоклассных рисовальщиков, но книга эта именно из-за своего высокого качества (а также из-за высокой цены) не имела никакого успеха и была затерта базарной дрянью». Включил он в эту книгу и свою сказку «Собачье царство». Альманах вышел в свет в 1912 году. Красивый, дорогой, проиллюстрированный Судейкиным, Добужинским, Чехониным, Белкиным и Радаковым. И не был замечен. «Большая литература в ту пору, как это часто бывает в эпоху реакций, была увлечена „тайнами смерти и вечности“, „богоборчеством“, „богоискательством“, мистикой, и вопрос о литературе для пятилетних-семилетних детей казался ей чересчур незначительным. На меня стали смотреть, как на маньяка, надоедливо скулящего о малоинтересных вещах», – жаловался Чуковский.

Как раз во время совместной работы над детским альманахом и начали налаживаться расстроенные отношения К. И. и Саши Черного. Отсюда началось творческое сотрудничество с Добужинским, из прогулочной болтовни с которым потом вырастет «разбойник Бармалей». И, наконец, усилия Чуковского сделать хорошую книгу для детей обратили на себя сочувственное внимание Горького. А это уже начало всей советской детской литературы, явления настолько сложного, что и до сих пор еще этот феномен не вполне осмыслен.

Нападки Чуковского на Чарскую крепко запали в душу и современникам, и потомкам. Между тем, ничуть не меньше доставалось от него Анастасии Вербицкой, и ее никто не защищает, и давно уже благополучно сброшена она с корабля современности, хотя и продавалась в свое время лучше Чехова. Точно так же «загрыз» Корней Иванович Александра Рославлева и Анатолия Каменского, и камня на камне не оставил от Арцыбашева, за которого заступаются разве что исследователи его творчества… Но именно Чарскую вновь стали издавать большими тиражами в сериях для «девочек», именно ей посвященная критическая статья продолжает задевать читателей до сих пор, именно ее Чуковскому не могут простить. В чем же дело?

Если коротко, вот за что Чуковский бранит Чарскую.

За культ ее личности в «Задушевном слове».

За казенный патриотизм.

За обмороки и ужасы, пожары и нападения разбойников, которые в ее повестях сыплются, как из рога изобилия, – но дело даже не в их обилии, а в их стереотипности. «Фабрика ужасов» –

называет Чарскую Корней Иванович.

За такую же фабричную стереотипность истерик, которым подвержены ее герои: «словно узор на обоях, повторяется на этих страницах один и тот же припадок»; «она так набила руку на этих обмороках, корчах, конвульсиях, что изготовляет их целыми партиями (словно папиросы набивает)…» «Здесь ни малейшего участия души, а все винтики, пружинки, колесики!..»

За пошлость, наконец. И в самом деле, человеку с мало-мальски развитым вкусом читать Чарскую почти так же невыносимо, как смотреть ток-шоу или рекламу на современном телевидении, и так же невозможно воспринимать это всерьез. Есть, конечно, любители и коллекционеры кича, а флер времени придает ему совершенно особое качество; современная открытка с котятами в бантиках – просто гадость, старинная – уже артефакт…

Но дети – другое дело, дети еще не искушены в стилистике, дети все принимают за чистую монету. И горячо сострадают глупым истеричным героиням (автор говорит, что они умные и мужественные, – читатель верит), и льют слезы над их обмороками и смертельными болезнями. В конце концов, в маленьких читательницах совершается активнейшая работа души, и работа позитивная: ими движет любовь, сострадание, жажда подвига. Лучше всего позицию защитников высказала Юлия Друнина: «Уже взрослой я прочитала о ней очень остроумную и ядовитую статью К. Чуковского. Вроде и возразить что-либо Корнею Ивановичу трудно… Упреки справедливы. И все-таки дважды два не всегда четыре. Есть, по-видимому, в Чарской, в ее восторженных юных героинях нечто такое – светлое, благородное, чистое, – что… воспитывает самые высокие понятия о дружбе, верности и чести… В сорок первом в военкомат меня привел не только Павел Корчагин, но и княжна Джаваха – героиня Лидии Чарской».

Тоже верно. Чуковскому не могут простить того, что он пытался отвратить читателя от одной из немногих писательниц, доступно и занимательно писавших для девочек о главном – о дружбе, любви, самопожертвовании, о добрых чувствах. Девочки не замечают обильных слюней и соплей, и примеси сиропа в слезах, и шаблонности истерик, и невозможной моветонности. Кто видел, как маленькие дети ведут себя в театре, – понимает, почему они любят Чарскую. Кстати, она и была ведь актрисой. Герои у нее грубо загримированы, позы эффектно-шаблонны, декорации картонные, шепот суфлера оглушительный… А зрители сопереживают и плачут.

Дети часто ценят монету не по весу, а по номиналу, а потому

легко обманываются. Оттого, кстати, так различается отношение к Чарской у тех, кто прочитал ее в детстве и во взрослые годы. Но что же плохого, спросим, в том, чтобы дать ребенку не самую умную, не самую душевно-тонкую, но ужасно благонамеренную книжку, которая учит быть смелым и добрым? И правильно ли делает рассерженный дяденька, который мешает девочкам оплакивать сладкими слезами погибающую героиню и сотрясает декорации?

Все-таки правильно. Все-таки кто-то должен был об этом сказать. Наивность аудитории, готовой благодарно принимать то, что дают, не должна служить индульгенцией для графомана и его публикатора. Когда дети вырастут и станут более искушенными – они обязательно увидят, какая ерунда их приводила в восхищение и умиление. И в разряд ерунды очень легко попадает не только автор, но и те ценности, которые он так бездарно утверждал. Неразборчивость в средствах в конечном счете обязательно служит не утверждению ценностей, а разочарованию в них.

Все-таки девочкам тоже нужна хорошая литература. И ее не хватало в царской России, не хватало в Советском Союзе и не хватает теперь, иначе не переиздавалась бы Чарская такими тиражами. К сожалению, борьба Чуковского против пошлости привела к совсем неожиданному результату уже в советское время: вместе с опальной писательницей из детской литературы надолго ушла девичья дружба, задушевные разговоры, первые влюбленности, романтика, сентиментальность, драма, и воцарился боевитый и озорной дух. Советская детская литература была в основном «для мальчиков». Либо Сцилла, либо Харибда, либо озорство, либо сентиментальность, – как-то фатально наша литература не может вместить всего одновременно. И мягкость, и эмоциональность, и вообще внутренняя жизнь обычной, а не героической человеческой души стали дозволяться только в либеральные шестидесятые.

Хотел ли Чуковский такого поворота событий? Едва ли. Уж он-то воевал не за то, чтобы из детской литературы ушло всякое движение души и остались только эрудиция и озорство. И не его вина, что для девочек по-прежнему пишут мало, а переиздают худшее. Что в нынешнем детском чтении обозначился заметный перекос в сторону веселых фантазий и вредных советов. Что на мусорную массовую литературу издательства подсаживают уже с детства. И так далее.

Наконец, Чуковский едва ли не объявлен самым главным ответственным за послереволюционную судьбу Чарской. И статья 1911 года начинает выглядеть едва ли не полноценным доносом, который привел к отлучению писательницы от литературы, а сам

Чуковский – злым гением, погубившим безвинную женщину. И надо ли доказывать, что статья была написана, когда Чарская находилась в зените громкой славы? Надо ли напоминать, что Корней Иванович навещал ее, больную и немолодую, в 1922 году – специально для того, чтобы ей помочь, – и включил ее в списки бедствующих писателей для получения американской гуманитарной помощи? Пласты времени сместились, причинно-следственные отношения смешались, сложились новые мифы… все идет своим чередом.

Поэзия ухода и поэзия труда

Самоубийства были одной из постоянных тем Чуковского в конце 1900-х – начале 1910-х годов, и мы это уже видели, когда говорили о Саше Черном. Конечно, он писал о самоубийствах применительно к литературе. Но и в литературе они появились не сами собой, как внезапно возникшая мода. Здесь литература точно отражала реальность – даже в самых сюрреалистических произведениях.

Когда читаешь хронику в газетах за 1908, 1909, 1910 год – оторопь берет. Может быть, потому, что даже столичные газеты тогда не отличались особым имперским размахом, и городская хроника фиксировала все – от сцен ревности с нанесением ножевых ранений а-ля «Московский комсомолец» до штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах. В хронике среди пожаров, грабежей, «арестов аферистов» – обязательно упоминаются самоубийства и покушения на них. Несколько лет подряд читать изо дня в день на последней странице газеты сообщения о суицидах – как хотите, для нормального человека невозможно (современные психиатры говорят, что эпидемию самоубийств может спровоцировать и усилить тиражирование информации о суицидах в СМИ). И ведь это не сухая статистика, а люди – каждый с собственным лицом, именем, судьбой.

26 апреля 1909 года газета «Речь», например, извещала, что:

– 19-летняя Клавдия Буканова, приезжая, оставшись в Петербурге без средств, стала проституткой, не вынесла позора и выпила уксусной эссенции;

– на почве нервного расстройства повесилась 35-летняя жена архитектора фон-Бок;

– торговец Игнатьев, 19 лет, принял карболовой кислоты;

– рабочий Максим Лесников, 29 лет, нанес ножом себе рану в живот;

– отравился из-за безработицы и безысходности рабочий Гаврилов.

8 июля того же года (беру просто наугад, в случайно выбранной газетной подшивке): неизвестный молодой человек выстрелил в себя на Полицейском мосту; драматическая артистка Лидия Кашина выпила уксусной эссенции.

10 июля: повесился приказчик галантерейного магазина, бросился под поезд ремонтный рабочий Петров, «столяр, германский подданный Фридрих Бюлов, принял мышьяку и умер», «близ Кадетского моста с плота бросилась в реку Ждановка молодая девушка Вера Шурыгина, но была живою извлечена из воды. Шурыгина рассказала, что покушалась на самоубийство, разочаровавшись в жизни».

14 июля: 16-летняя крестьянка Антонина Свирская пыталась отравиться от несчастной любви, 19-летний Яков Лазарев без объяснения причин наглотался уксусной эссенции, «служащий пункта бесплатной медицинской помощи во время холерной эпидемии Михаил Скерс, 28 лет, выпил раствор сулемы» – тоже от разочарования в жизни; молодая крестьянка Ольга Арефьева пила уксус, а крестьянка Анна Мартыненко – нашатырный спирт…

24 июля публикуется статистика: в армии самоубийств происходит в 4 раза больше, чем среди гражданского населения. Солдаты стреляются, вешаются, кидаются под поезд, бросаются с высоты и находят любые возможные способы свести счеты с жизнью. 6 августа – статистика самоубийств среди учащейся молодежи: суициды в основном вызваны «нервными расстройствами» и скандалами в семье. Приводятся предсмертные записки, в том числе гимназистки четвертого класса: «Мамочка, прости…» Достаточно? А это только несколько дней одного года.

Тут хочешь не хочешь, а закричишь от ужаса: что же это делается такое? Почему жизнь настолько потеряла всякую привлекательность для этих детей, подростков, юношей, взрослых, что всякий пустяк, всякий несданный экзамен, всякая несчастная любовь заставляют их так издеваться над собой – пить серную кислоту и сулему, бросаться под поезда и резаться ножами? Почему они так легко швыряются жизнью, оставляя стереотипные записки и стереотипно объясняя: «разочаровался в жизни»? Артистки, рабочие, присяжные поверенные, приказчики в лавке, крестьянские девушки, богатые домохозяйки, студенты, курсистки, гимназистки, солдаты, поручики, молодые князья, мещаночки бальзаковского возраста и почтенные ремесленники – любого возраста, любого сословия, любого достатка – пишут на бумажке какую-то ерунду, вешаются и топятся, а если их удается откачать, не могут даже объяснить, зачем это делали.

«Новый рассказ Максима Горького:

«Макар решил застрелиться».

Новый рассказ Ивана Бунина:

«Захлестнул ремень на отдушнике и кричал от страха, повесился…»

Новый рассказ Валерия Брюсова:

«Она отравилась…»

Новая книга З. Н. Гиппиус:

«Прошлой весной застрелился знакомый, студент…»; «Муж и жена отравились…»; «Смирнова выпила флакон уксусной эссенции…»»

Это уже не газетная хроника, а начало статьи Чуковского «Самоубийцы»: «В наших современных книгах свирепствует теперь, как и в жизни, эпидемия самоубийств. Удавленники и утопленники современнейшие нынче герои. И вот новая, небывалая черта: эти люди давятся и травятся, а почему, – неизвестно». «Откуда эта странная мода – убивать себя „просто так“?»

В 1910 году, в статье «Юмор обреченных», Чуковский уже пытался ответить на этот вопрос. И отвечал так: люди утратили красоту жизни. Мир стал для них «эстетически невыносим». «После этого – только смерть». Еще раньше он говорил о повсеместной утрате идеи, желания служить какому-то делу и преследовать какую-то цель. А еще раньше он обратил внимание на убийственную скуку и тоску, разлитую в повседневной жизни (и литературе), на повсеместную «недотыкомку», которая прячется за газетными строками, книгами стихов и длинными повестями. Литература, как высохшая пряность, еще сохранила цвет, структуру, форму, но безнадежно утратила аромат жизни – потеряла радость, любопытство, умение любоваться и удивляться. Поэтому Чуковский так дорожит всяким проявлением любви к миру, так радостно пишет о красоте природы у Бунина, о купринском метком взгляде, о толстовском интересе к каждой человеческой душе. Поэтому так больно ему видеть, как Горький сознательно подавляет в себе большого художника, умеющего именно это – видеть многообразие красок мира, любить, жалеть, удивляться.

Вся современная литература, замечает Чуковский, – сплошное торжество мерзости и страха, леонид-андреевская «буффонада и свистопляска калек», ремизовская «вселенская тошнота», сплошная змея Скарапея о двенадцати головах, «пухотных, рвотных, блевотных, тошнотных, волдырных». Вселенское уродство Саши Черного:

О дом сумасшедших, огромный и грязный!

К оконным глазницам припал человек:
Он видит бесформенный мрак безобразный —
И в страхе, что это навек!

Это тоже Чуковский цитирует. А вот из другой его статьи, «Мировой восторг», она вышла в июле 1909 года: «Все в мире тошнотворно, весь мир словно наелся „блевотного“, – твердят теперь наши книги, – и кто из нас посмеет не согласиться с ними».

Критик только что прочитал сборник Городецкого «Кладбище страстей» и обременен впечатлением. «Свальный блуд, блуд вчетвером, впятером, вшестером, какие-то вытравления плода, какие-то кровавые пятна, чудовищные какие-то зародыши, волосатые красные головастики – поистине, слюною дьявола причастил меня сегодня Городецкий. Но как я смею роптать на Городецкого, если Городецкий – это я, если и у меня в жилах течет та же дьяволова слюна, если по читателю и писатель». И конечно, Чуковский торопится дать читателю, который отравлен тем же ядом, какое-то противоядие. Вот Уитмен, например (почему-то он стал его писать как «Витмэн», но потом вернулся к прежнему написанию). «Здесь изумление, восторг, благодарность – неужели мир так прекрасен? Здравствуй, здравствуй же, мир! – Здесь источники нового счастья и новой какой-то надежды, и в этих строках я хочу, как могу, поделиться с вами той радостью, которой обрадовал меня Витмэн».

Именно поискам причин эпидемии и противоядия посвящено несколько статей 1909–1912 годов. В 1912 году Чуковский даже прочитал о самоубийцах в русской литературе отдельную лекцию. В том, что касается причин, он полностью согласен с французским социологом Эмилем Дюркгеймом. Его классическая работа «Самоубийство» (1897) на русском языке вышла как раз в 1912 году. Дюркгейм приводит статистику, из которой следует, что «человек и вправду лишает себя жизни „просто так“, почти без всякой причины, а все, что он почитает причиной, есть выдумка, иллюзия, фантом». Не пьянство, не нищета, не сумасшествие… Дюркгейм называет эти беспричинные самоубийства «анемическими» и доказывает, что они происходят оттого, что разрушаются социальные связи; что человек перестает чувствовать себя частью общества; что рушится система социальных норм. «Все связи с общим и целым утратились, и каждый сам с собою остался наедине, а это так рискованно для многих!» – формулирует Чуковский.

Он превращает сухие научные выкладки социолога в

страстный монолог о потерявшем себя обществе и потерянных в нем людях. Все эти герои-самоубийцы, подмечает он, терпеть не могут свою работу. Заинтересовало-то его вначале, хорош ли как педагог один из героев романа Арцыбашева «У последней черты» (где чуть не все персонажи кончают с собой тем или иным способом). Нет, нехорош: и преподавать ему скучно, и детей он не любит. Такой педагог уже был до него в русской литературе, Передонов его звали, и так же противны были ему и работа в школе, и жизнь вообще. А потом оказалось, что и чиновник у Арцыбашева ненавидит свое казначейство, и офицеры плохие, и инженеры, и художник не хочет писать картины – «пиши не пиши, все равно когда-нибудь умрешь» (а вот Уитмен, о котором в этой статье, правда, нет ни слова, не боится смерти и вечности, вечность для него – «источник неиссякаемой радости»). Русская литература, пишет Чуковский, вся такая: «Она постигает человека вне его дела, профессии; в ней, даже в зародыше, еще не создалась поэзия культурного труда. Героических дел сколько угодно, но ежедневной, насущной работы она ни за что не прославит; не то что не прославит, – не заметит; и здесь-то залог нашей гибели».

Ну хоть большими буквами напиши на плакате и повесь на Кремлевскую стену: у нас не создалась поэзия культурного труда! «Не может душа ни минуты прожить без веры в какие-то ценности, без служения каким-то самоцелям, которые, пускай иллюзорно, она считала бы выше себя (и которые создаются исключительно обществом в обществе), – пусть это будет честь армии или торжество революции, преуспеяние кубизма или расцвет эсперанто».

Литература славит героев, которые уходят из общества—в пустыню, странствовать по белу свету, как Лев Толстой, надолго впечатливший Россию своим предсмертным уходом. «Эстетика слияния с обществом для нашей литературы (а значит, и для нашей души) чужда совершенно, а вот эстетика ухода от людей („чтоб они передохли все!“) у нас теперь так пышна и богата».

Совсем другую эстетику Чуковский находит в англосаксонской литературной традиции – и не только об Уитмене здесь стоит говорить. Вот и в «Апостолах трусости» он приводит в пример Киплинга, для которого «главное – наша (мужицкая) трудная, упоительная работа и такая поэтичная – устроительство жизни на земле». И очень радовался, обнаруживая в русской литературе хотя бы одного такого певца хозяйственной деятельности и творческого обустройства – Николая Гарина-Михайловского, умевшего «в обольстительных красках» изобразить постройку железной дороги, работу над инженерным

проектом, вообще всякую хозяйственную деятельность. Чуковскому больно оттого, что гаринский созидательный пафос никем не был оценен и подхвачен. Ведь именно в труде он видит неосвоенные, неоткрытые еще «залежи поэзии». Залежи эти советская литература довольно скоро откроет и начнет разрабатывать, сначала вручную, затем поточным методом, – и разработает до полного истощения.

И все-таки. Все-таки позитивист Дюркгейм, видевший за самоубийствами только общественную причину, и воспитанный на позитивизме Чуковский, во всем с ним согласный, при всей своей правоте, кажется, что-то важное упустили. Да, Чуковский говорит и о внутренних путях спасения от пустоты, об индивидуальных усилиях, о собственной душевной работе, и о чувстве причастности к мировой работе, ко всему человечеству. И о необходимости «заняться культурой», которая здорово помогает жить, когда на голову садятся всем седалищем… Он и сам – редкостный пример постоянной работы над собой.

Другую, весьма непопулярную в это время точку зрения высказывали в печати – помимо тех, кого прямо причисляли к охранителям, – разве что Мережковский и авторы «Вех». Чуковский только бегло ронял обмолвки о том, что для них было центральным вопросом бытия вообще и существования человека в обществе в частности. О безусловной потребности человека ощущать не только родство с обществом, но и родство с вечностью. О необходимости стоять на прочном философском фундаменте. О том, что человеку нужно чувство осмысленности его жизни не только для общества, но и для себя. О том, что звездно-травяной уитменовской вечности, превращения в ростки и побеги, возвращения в могучий круговорот органики мыслящему индивидууму может быть недостаточно. И даже если понимаешь: сделал что мог, и сделал много, и многое после тебя останется другим, – этого тоже мало.

Чуковский, пожалуй, сделал все, что мог сделать сам. Он во многом пошел значительно дальше своих современников и увидел значительно больше. Он смог полностью переделать себя и раз за разом восставать из пепла – оказалось, для этого он обладал обилием душевных сил. Но когда они кончались, он тянул на одной только самодисциплине и привычке к труду. Иногда этого было достаточно, чтобы дотянуть до следующего взлета. А иногда самодисциплины, самообмана, самоцели и других полезных иллюзий не хватало. И тогда он не спал ночами, окруженный пустотой, и думал о смерти. Потому что и книжно-культурной, и звездно-травяной вечности ему не хватало, а

другой он не знал, да и не хотел.

До предела своих человеческих сил доходит когда-нибудь любой человек, если он живет ради какого-то «надо», а не ради своего «хочу». Человеку религиозному потому и легче жить на свете, что в этой формуле у него вместо пустого конечного «потому» есть Бог. Ему есть где черпать силы, когда его силы на исходе, а веры в человека не остается: человечество раз за разом подводит, демонстрируя глубины глупости, низости, дикости, бесчеловечности. Чуковский, воспитанный на позитивной философии и, пожалуй, давно утративший детскую религиозность, жил ради самоцельного «надо», полезного обмана, под которым все-таки таилась мировая пустота. Эта позиция чрезвычайно много требует от человека и чрезвычайно мало ему дает, это жизнь из чувства долга, в основе которого одно только «потому что потому», только убежденность в конечной победе добра, вера в спасительную силу культуры, сохраняющей лучшее, что есть в человеке. Горький, героический, одинокий путь – из последних собственных сил, на одном категорическом императиве.

Наконец, остается добавить только кое-что о самоубийствах. В 1910–1913 годах в Петербурге уровень самоубийств составлял примерно 30 случаев на 100 тысяч населения. Несколько меньше – в Одессе, несколько больше – в Москве. Больше половины случаев – молодежь. С началом Первой мировой войны уровень самоубийств упал втрое. В 1925–1926 годах Советский Союз занимал одно из последних мест в мире по этому показателю (7–8 на 100 тысяч). Не будем описывать статистические кривые, скажем только, что к последним годам уровень самоубийств в России, хотя и упал с пиковых 1994–1995 годов, но по-прежнему остается значительно выше уровня кризисных 1910-х: в 2006 году – примерно 35 на 100 тысяч населения. Россия входит в тройку мировых лидеров в этой области, а по числу самоубийств среди подростков 15–19 лет в 2003–2004 годах стала абсолютным лидером. Самые популярные способы свести счеты с жизнью тоже не изменились со времен газеты «Речь» – повешение и отравление. И картина мира та же: мерзость и страх, вселенская тошнота, дом сумасшедших, огромный и грязный – словно весь мир наелся блевотного; не забудьте выключить телевизор. И портрет самоубийцы рисуют современные исследователи тот же – человек, которого ничто не держит: часто безработный или неудачливый в работе, не имеющий семьи, еще не научившийся ценить жизнь или уже разочаровавшийся в ней. Да и национальная идея как-то все не находится…

К сожалению, даже здесь статьи Чуковского не потеряли актуальности.

Полоса бессонницы

Ахматова говорила, что 1910-е годы были куда лучше 1900-х. И в самом деле, климат в стране ощутимо изменился. Революция и последовавшая за ней реакция постепенно отходили в прошлое. Урожайные 1909 и 1910 годы позволили стране выйти из экономической депрессии, наметились пути преодоления финансового кризиса, жить стало легче. Но моральный и ценностный кризис преодолеть было не так легко – социальный пожар притаился, превратясь в менее заметное, но не менее опасное тление торфяников. Крестьянские бунты на рубеже 1910–1911 годов, Ленский расстрел в 1912-м, новые забастовки, появившийся в царской семье Распутин – вот фон тогдашней жизни. И тем не менее стабильность все-таки появилась.

Смена эпох сказалась и в том, что в русской литературе появились новые лица, новые темы, новые звуки. Символизм выполнил свою роль и сходил со сцены, на которой уже зазвучали незнакомые пока голоса. Закрылись «Весы», и закрытие их словно подвело черту под эпохой символизма. Появился «Аполлон», где Гумилев стал подробно и обстоятельно писать о русской поэзии. Если сравнить, каких героев выбирали для своих статей Гумилев и Чуковский (скажем, в 1911 году), может показаться, что Гумилев уже обращен в новое десятилетие, Чуковский еще в старом. Оба отдают дань «старшим богатырям „модернизма“» (Чуковский) – Блоку, Балтрушайтису, Вяч. Иванову. Оба пишут о Брюсове, Бальмонте, Сологубе. Но при этом Гумилев говорит о Клычкове, Северянине, «Садке судей» и Бенедикте Лившице, Эллисе и Марине Цветаевой, Эренбурге и Ходасевиче, Волошине, Клюеве, Шершеневиче и тьме совершенно уже забытых поэтов. А Чуковский из «нынешней декадентской молодежи» замечает пока разве что Северянина, и героями его обзора «Русская литература» за 1911 год становятся Гиппиус и Мережковский, Андреев и Горький. «Минувший год был до странности беден поэзией», – пишет Чуковский, заметивший, впрочем, «Жемчуга» самого Гумилева. Но тут дело не в том, что один обращен в прошлое, а другой в будущее; разными были задачи двух критиков. Гумилев анализировал поэзию, читая все, что появлялось, – и ценное, и менее ценное, и старался ничего не пропускать в этом потоке, и говорил о скучном и интересном, успешном и неуспешном, талантливом и бездарном. Чуковский писал только о том, что выделялось ярким талантом либо становилось общественным

явлением. Много позже Шкловский упрекал Корнея Ивановича в том, что он не открыл ни одного нового имени. Очевидно, что Шкловский в своей оценке Чуковского как критика был несправедлив, и мы еще будем говорить о их отношениях. Но Чуковский и не ставил перед собой задачу открывать новые таланты – он говорил о явлениях уже заметных, уже состоявшихся и социально значимых. А вот подмечать такие явления он умел очень своевременно.

В феврале 1912 года «Речь» перестала платить Чуковскому жалованье. Должно быть, солидной газете надоело терпеть постоянные скандалы, которые вызывала едва ли не каждая публикация злоязычного критика. Корней Иванович узнал об этом из письма жены в одном из своих лекционных туров. «Ты не можешь себе представить, какое облегчение я испытал, прочитав у тебя в письме, что „Речь“ лишила меня жалованья, – ответил он Марии Борисовне. – Это меня мучило непрерывно. Наконец-то я свободный человек!»

Сотрудничать с «Речью» он не перестал – просто теперь печатался в ней реже. К этому времени жалованье фельетониста уже не было для него основным источником существования: начиная с 1911 года он разъезжал по стране с лекциями. Весной 1912-го он читал об Оскаре Уайльде, которым вплотную занимался, готовя первое в России собрание сочинений писателя. Собрание выходило в качестве приложения к «Ниве» – в этом журнале Чуковский еще осенью 1911 года напечатал этюд об Уайльде. Работу пришлось проделать колоссальную: на русский язык было переведено далеко не все, а существующие переводы порой никуда не годились. Что-то К. И. переводил сам, что-то заказывал другим переводчикам. Работа доставляла ему видимое удовольствие. «Я нисколько не жалею, что взялся за Уайльда: мне нужно было, для моего образования, пройти *сквозь* этого писателя; я многому у него научился, а его стиль, его парадоксы, его блестящая манера, надеюсь, окажут на меня *новое* влияние. Последние два года я так искал этого обновления, – писал Чуковский в цитированном выше письме к жене. – …У меня по поводу Уайльда есть столько мыслей, что хватило бы на целый том. Только бы здоровье, чтобы записать хоть капельку того, что я думаю и знаю».

Жалоба на здоровье здесь не пустячная: постоянные разъезды, когда спать приходилось в поездах и гостиницах, привели к стойкой бессоннице. Даже дома, где вся семья оберегала его сон, он засыпал с трудом. В феврале 1912 года он ездил лечиться в санаторий Гранкулла (на деньги Леонида

Андреева, записывал он в дневнике в 60-х годах). Оттуда писал Репину: «…начинаю понемногу оживать, и надеюсь, Вы скоро меня увидите, каким не видали никогда: нормальным. Я за последнее время сам себя ненавидел: неряшливый, истасканный, противный. Здесь же какое солнце, какие сосны, какое одиночество – доктора, ванны и проч., и проч.». Наталья Борисовна Нордман презрительно выговаривала Чуковскому в письме за «господские», «высосанные из пальца страдания»: «Если бы меня попросили вас вылечить – послала бы вас на месяц к русскому мужику *в работники»;* далее идут рассуждения о пользе физической работы, свежего воздуха и единения с крестьянами. К. И. отвечал вежливо, но жестко: «Страдания мои не „высосаны из пальца“ – как думает Наталья Борисовна, – я шесть месяцев перемогался в жестоких муках, и мне, отцу троих детей, поденному работнику, любящему до самозабвения свою работу, незачем выдумывать себе какие-то „нервы“, какие-то дамские истерики, которые я сам так же искренне презираю, как и Наталья Борисовна. Я не верю ни в какие лекарства, кроме покоя, воздуха, природы и физического труда… потому-то я и уехал сюда, в этот пансион, который так пышно и напрасно зовется санаторией: насчет же мужика, повторю за Алексеем Толстым:

…есть мужик и мужик:
Если он не пропьет урожаю,
Я тогда мужика уважаю».

В апреле 1912 года Чуковский пишет Репину: «Третьего дня я читал лекцию в Минске, вчера в Гомеле, сегодня буду читать в Витебске. *Скоро сделаюсь миллионером.* Уже *V/i* месяца я скитаюсь по России – из Киева в Ковно, из Белостока в Одессу – и никак не могу добраться до Петербурга». Из Витебска в те же дни К. И. писал жене: «В Минске я читал с колоссальным успехом: сбор полный, аплодировали, даже когда я проходил по улице. В Гомеле меня чуть не растерзали от восторгов… Я опять попал в полосу бессонницы. Со слезами (!) меня умоляла публика читать еще и еще – но я так измучился, что после Витебска сейчас же махну в Питер».

Его любопытство к людям было поистине ненасытным. «А вот я, если бы в дороге не перезнакомился со всеми людьми, да не в своем купе, а в целом вагоне, да не в одном вагоне, а целом поезде, со всеми пассажирами, сколько их есть, да еще с машинистом, кочегаром и кондукторами в придачу, – я был бы не я», – приводит его дочь нотацию, прочитанную застенчивой барышне, которая рассказала Чуковскому, что за всю дорогу ни

словом не перемолвилась с попутчиками.

Июль 1911 года, письмо жене из Казани: «Ты, конечно, понимаешь, что больше всего я с детьми. Схожу вниз – в четвертый класс – там мужики в красных рубахах – этакие Стеньки Разины – и опять-таки множество детей. Вчера я с ребятишками лепил из глины: сани, мельницу, свиней – а третьего дня играл в бабки…»

В Витебске он три дня не расставался с четырьмя детьми, которые написали ему «дерзкое письмо», недовольные тем, что он обругал Чарскую. «Во время прогулок по городу и его окрестностям, за обедом, за чайным столом Корней Иванович рассказывал о Куоккале, о Репине, о его супруге Нордман-Северовой и о многом другом», – вспоминает Елена Хаскина, одна из этой четверки. Серьезно говорил с детьми об их первых стихотворных опытах, сочинял с ними экспромты. В Вильно он жил у доктора Шабада, который стал прототипом доктора Айболита; однажды ему даже принесли кошку, у которой язык был проткнут рыболовным крючком, и доктор вылечил ее.

В Киеве Чуковский встретился с юным переводчиком Александром Дейчем, предложившим «Ниве» свои услуги в работе над собранием сочинений Уайльда. В воспоминаниях Дейч с удовольствием рассказывает о «буйном темпераменте» и огромной эрудиции Чуковского, о долгих беседах и серьезной, вдумчивой совместной работе над переводами Уайльда. Похоже, в каждом городе Корней Иванович искал знакомых по переписке, вообще людей, с которыми можно было бы содержательно говорить, – дети ли это были или взрослые, студенты или писатели.

«К Чуковскому приходили многочисленные посетители – журналисты, репортеры, молодые авторы, дарившие ему свои книги с надписью, – пишет Дейч. – А он проявлял живейшее участие ко всему: к людям, к улицам, обсаженным цветущими каштанами, а особенно к книжным магазинам и библиотекам». А расплатой за неуемное любопытство, кипучий темперамент, постоянное интенсивное общение, за чуткость и обилие впечатлений была бессонница. Он жаловался потом, что самое плодотворное время своей жизни провел в дороге и бессоннице: «У меня бессонницы с 20 лет. Лютые. Переутомление зверское. Между 20 и 30 годами я ни разу не отдыхал. Газетная работа – к спеху, к сроку – изматывала все нервы. Лекции с разъездами по России в третьем классе без сна».

«Ведь два года я был полуидиотом и только притворялся, что пишу и выражаю какие-то мысли, а на деле выжимал из вялого, сонного, бескровного мозга какие-то лживые мыслишки!» –

замечал он в дневнике весной 1913 года, когда поездки временно прекратились и он смог выспаться. И писал Короленко: «Я теперь после бессонных разъездов по России с лекциями, когда не спал сплошь 5–6—7 ночей, дома в Куоккала отдыхаю».

В июне (запись датирована 17–18—19—20 числами) 1912 года К. И. записывает в дневнике: «Он Репин стал говорить: почему я не куплю дачу, на к-рой живу. Я сказал: я беден, я болен. И. Е. подмигнул как-то мило и простодушно: – Я вам дам 5 или 10 тысяч, а вы мне отдадите. Я ведь кулак, вы знаете, – и всю дорогу он уговаривал меня купить эту дачу на его деньги.

– А если вы купите, – и она вам разонравится, то я… беру ее себе… видите, какой я кулак!

Н. Б. горячо убеждала нас согласиться на эту сделку».

Дело решилось довольно быстро. 29 июня Мария Борисовна взяла у Натальи Борисовны 4 тысячи рублей в долг (расписка сохранилась в архиве Академии художеств СССР) с обязательством вернуть их «по частям, без ограничения времени, по 4 % в год, по возможности». Чуковский приписал на этом документе: «Вышеизложенный долг моей жены я также признаю. Николай Корнейчуков». Примерно в то же время Мария Борисовна взяла у Репиных еще тысячу. С долгами Чуковские расплатились через несколько лет: тысячу Мария Борисовна вернула в 1916 году, четыре тысячи выплачивали по частям. На цитированной выше расписке есть репинская надпись: «Большая часть этого долга, а может быть, и весь, внесен Корнеем Ивановичем в Питере, дочери моей Вере. По справке я запишу. Илья Репин. 1919 г.».

Уже 5 июля Наталья Борисовна Нордман писала Л. Яворской: «Чуковские купили близ нас и моря дачу, на которой будут жить и зимою». А вот сам Чуковский пишет в воспоминаниях о Репине: «Он купил на мое имя ту дачу, в которой я жил тогда (наискосок от Пенатов), перестроил ее всю от основания до крыши, причем сам приходил наблюдать, как работают плотники, и сам руководил их работой. Уже по тому изумлению, с которым он встречал меня в позднейшие годы, всякий раз, когда я приходил возвращать ему долг (а я выплачивал свой долг по частям), можно было видеть, что, покупая мне дачу, он не ждал возвращения затраченных денег».

Вот как описывает эту дачу Виктор Шкловский в книге «О Маяковском»: «Дача выходит в море нешироким и не покрашенным забором. Дальше от моря участок расширяется. Дача стоит на берегу маленькой речки. Она двухэтажная, с некоторыми отзвуками английского коттеджа». Лидия Корнеевна, правда, в своих воспоминаниях о заборе не упоминает: «С двух

сторон наше поместье отделено было от соседей забором, с третьей стороны – водою ручья, с четвертой, от берега моря, его не отделяло ничего». Сада в «поместье» не было, был «сосново-еловый перелесок», «а сад, собственно, только возле крыльца: одна клумба, да две посыпанные песком дорожки, да грядка настурций вдоль веранды».

На этой даче у К. И. была возможность уединения. Он записывал в дневнике чуть позже: «Великолепный кабинет, прекрасные условия для работы…» Шкловский писал: «У Корнея Ивановича кабинет в верхнем этаже дачи. К нему даже зимой приезжают писатели. Он пишет в „Речи“. Но в „Речи“ его не любят, больше терпят за талантливость». А вот чуть раньше: «Корней Иванович много работал в газете… Нервы его были утомлены, и он, как и Леонид Андреев, зимой жил на даче».

Лидия Корнеевна писала: «Двадцатипятилетний человек, молодой, общительный, жадный до всякой новизны, раз и навсегда отрубил от своего дня самое многолюдное время – вечер, а вместе с вечером – всю увлекательную пестроту городской, шумной и разнообразной жизни: театры, диспуты, юбилеи, споры до утренней зари, поездки на острова, рестораны. (Было, было все это: случались и премьеры, и юбилеи, но в виде великого исключения…)». Его не запомнили ни в одном из модных мест, в мемуарах его не перечисляют среди завсегдатаев салонов. Невозможность спать делает его раздражительным и несчастным – весь дом затаивается, если «папа не спал». Он принимает бром, пытается побороть бессонницу физическим трудом и работой над статьями – ничего не выходит. Его рабочий день начинается в пять утра и продолжается иногда по двенадцать часов. Иногда становится круглосуточным. В оставшееся время Чуковский занимается хозяйством. Дочь его рассказывала: «В куоккальские времена всю черную мужскую работу по дому он делал сам. Сам воду носил, колол дрова, топил печи. Сам был за кухонного мужика и за дворника, разметал метлой лужи, или ломом скалывал с крыльца лед, или деревянной квадратной лопатой прокладывал дорогу от крыльца до калитки: узкую яму среди сугробов».

В восемь вечера он ложится спать. В воспоминаниях дочери этому засыпанию посвящено несколько горьких страниц: «Как я помню эту измученную, сотни раз с одной стороны на другую перевернутую подушку, эти закапанные стеарином жалкие листки рукописи, по полу разбросанные книги, это истерзанное одеяло, эти скрученные, свисающие до пола простыни! Словно сонмище бесов или шайка разбойников побывала здесь ночью. „Нет, Лидочек, не спал ни минуты. Ты меня усыпила, а я проснулся,

чуть только ты ушла“». Она, маленькая, едва выучив буквы, читала ему вслух, пока он не засыпал. Иногда, промучившись часдва и отчаявшись заснуть, он отправлялся к морю или в гости. Или снова садился работать. В июне 1913 года Чуковский записывает в дневнике: «Не сплю третью ночь, хотя скоро лекция. Именно потому и не сплю. Между тем лекция пустяшная – и будь здоровье, в два дня написал бы. Поэтому откладываю ее до здоровой головы. В интересах самой статьи – я должен отказаться от лекции. Не буду даже заглядывать в нее, покуда не высплюсь. С больной головой я только *гажу* и гажу лекцию. И притом нет вдохновения».

Дома отдохнуть не особенно удается: там дети, по воскресеньям гости, постоянно визитеры, часто гостит родня. После небольшой летней передышки снова начинаются лекции. 22 сентября 1913 года Чуковский пишет Сергею Михайловичу Боткину: «Привет из Минска. Сижу в гостинице – слышу, как внизу в ресторане играют румыны. Но не долго мне их слушать – завтра я в Витебске, послезавтра в Смоленске, 25 в Двинске, 26-го в Либаве; 28 в Гомеле, 30-го в Витебске. 3-го в Бобруйске и т. д. Пожалейте меня, больного… Пожалейте меня – и позавидуйте: сколько я людей вижу новых, сколько сценок, образов, пейзажей и т. д.».

Футуроедство

«Все ликовало, все пенилось, все чванилось, все грешило и обжиралось в этом 1913 году, – писал художник Владимир Милашевский. – И все распевали „Пупсика“:

Когда я был ребенок,
Я был ужасный плут,
Меня еще с пеленок
Все Пупсиком зовут:
Пупсик, мой милый Пупсик…»

Год этот, который во всех советских учебниках истории оказался уровнем отсчета, последний благополучный год перед бедствиями, войной, революцией, террором, голодом – был бешеным, пьяным, разгульным и веселым. Это время осталось жить во множестве мемуаров и в ахматовской «Поэме без героя». Невский, завешанный яркими вывесками, Пассаж с дорогими кокотками, накрашенные юноши в белых кашне у решетки набережной. Семга, балык, осетрина. Офицерские, чиновничьи,

студенческие мундиры. Яростные споры об искусстве. Танго. Оправдание Бейлиса. Разоблачение Розанова, печатавшегося под разными псевдонимами в черносотенной и либеральной прессе. Костюмированный русский бал в Зимнем. 300-летие дома Романовых. Сплетни о Распутине и фантастические слухи о всемогущем докторе Бадмаеве. «Вена» и «Квисисана». Чествования, собрания, литературные салоны, «Бродячая собака».

Если и присутствует Чуковский в мемуаристике о последнем предвоенном годе Петербурга – то лишь вскользь: он не вел светской жизни, не был «тусовщиком» (слово появилось сравнительно недавно, но род занятий известен человечеству довольно давно). Он ненавидел юбилеи, банкеты, именины и прочие празднества, терпеть не мог пышных речей, тосковал от необходимости быть с чужими людьми и не иметь возможности поговорить о важном. Поэтому в мемуарах он редко сидит среди чьих-нибудь гостей (а если и сидит – то непременно убежав от всех в тихий уголок, читать книгу или беседовать с интересным человеком). Обычное место Чуковского в мемуарах о Серебряном веке – в перечислении докладчиков на вечерах, в кружках и обществах: читали такой-то, такой-то и Чуковский…

Он продолжал кропотливо заниматься своим делом: писал о Некрасове, следил за развитием литературного процесса, оценивал новинки. Он несколько лет уже смутно пророчил, что в литературе должно появиться нечто новое и небывалое, полагая, что русская словесность настоятельно требует героя, подобного Уитмену с его демократизмом, всемирностью, выражением чаяний миллионных городских масс. Он называл Уитмена «первым футуристом» и предвидел, что поэзия будущего окажется на него чем-то похожей.

И новые герои в русской литературе появились, влетев в нее с уханьем и свистом, бульканьем, щебетом и звоном, с размалеванными лицами, ряженые, никем поначалу не воспринятые всерьез. Но Чуковский давно ждал нового героя – и поэтому в камлании этой пестрой, почти цирковой труппы, казавшейся обывателю сборищем площадных шарлатанов, расслышал то, чего так давно ждал, – принципиальную новизну мысли и поэтического языка.

Летом 1913 года (как раз в это время критик писал о футуризме Уитмена) он познакомился в Куоккале с Алексеем Крученых и оставил об этом знакомстве короткую заметку в дневнике:

«Был у меня Крученых. Впервые. Сам отрекомендовался. В учительской казенной новенькой фуражке. Глаза бегающие. Тощий. Живет теперь в Лигове с Василиском Гнедовым:

– Целый день в карты дуем, до чертей. Теперь пишу пьесу. И в тот день, когда пишу стихи, напр. «Бур шур Беляматокией», – не могу писать прозы. Нет настроения.

Пришел Репин. Я стал демонстрировать творения Крученых. И. Е. сказал ему:

– У вас такое симпатичное лицо. Хочу надеяться, что вы скоро сами плюнете на этот идиотизм.

– Значит, теперь я идиот.

– Конечно, если вы верите в этот вздор».

«Отношение мое к футуристам было в ту пору сложное, – писал Корней Иванович в воспоминаниях о Маяковском, – я ненавидел их проповедь, но любил их самих, их таланты. В моих глазах они были носителями ненавистных мне нигилистических тенденций в поэзии, направленных к полному уничтожению той проникновенной, гениально утонченной лирики, которой русская литература вправе гордиться перед всеми литературами мира. В то же время многие отдельные вещи Елены Гуро, Василия Каменского, Хлебникова, Давида Бурлюка и других были в моих глазах зачастую подлинными произведениями искусства, и я не мог чувствовать себя солидарным с беспардонными газетными критиками, предававшими анафеме не только „будетлянство“, но и самих „будетлян“».

Осенью 1913 года кубофутуристы под предводительством Бурлюков взялись эпатировать Москву чтением стихов, заумью, докладами и нарядами. В Петербурге эгофутуристы, короновавшие Северянина, давали поэзоконцерты. Будетляне предоставляли прессе множество новостных поводов, и газеты, захлебываясь слюной, восторженно измывались над их кофтами и «сухими черными кошками», над туалетной бумагой афиш, над парфюмерией Северянина и навозом Крученых… Бенедикт Лившиц замечал: «Мы стали хлебом насущным для окололитературного сброда, паразитировавшего на нашем движении, промышлявшего ходким товаром наших имен».

Как только лицо русского футуризма определилось, Чуковский стал писать о нем обзоры и читать лекции. «Октябрь и ноябрь тринадцатого года отмечены в будетлянском календаре целой серией выступлений, среди которых не последнее место занимали лекции Корнея Чуковского о футуризме, прочитанные им в Петербурге и в Москве. Это была вода на нашу мельницу. Приличия ради мы валили Чуковского в общую кучу бесновавшихся вокруг нас Измайловых, Львовых-Рогачевских, Неведомских, Осоргиных, Накатовых, Адамовых, Философовых, Берендеевых и пр., пригвождали к позорному столбу, обзывали и паяцем, и копрофагом, и еще Бог весть как, но все это было не

очень серьезно, не более серьезно, чем его собственное отношение к футуризму», – констатировал Лившиц. Впрочем, Вадим Шершеневич, один из самых одиозных и бездарных представителей направления, вовсе не «приличия ради», а с нескрываемым раздражением (и совершенно в духе обыкновеннейшей бессильно-язвительной петербургской критики) обличал Корнея Ивановича:

«Ах, как все пышно у Чуковского! Ах, как все убийственно-остроумно! Не критик, а какой-то беспроигрышный пулемет! („Беспроигрышный пулемет“ – это сильно сказано; поразительная лексическая неопрятность. – *И. Л.)* Кто появится в литературе – бац камнем и наповал. Это все равно, что прежде попал в Вербицкую, а потом с той же грацией швыряет в футуристов! Ему самое важное разбить скрижаль. Если кто-нибудь спросил Чуковского:

– Как вы проводите день?

Он ответил: Завтракаю, обедаю, а от трех до пяти разбиваю скрижали».

Шершеневич предъявляет Чуковскому уже набившие оскомину обвинения: ничего не понимает, а хочет только ниспровергать авторитеты, завоевывая дешевую славу и зарабатывая на этом деньги. Обвинения в «футуроедстве» – критиков вообще и Чуковского в частности – стали общим местом публичных дискуссий о футуризме и печатных выступлений будетлян. Критики не оставались в долгу, отвечая футуристам, что делают им рекламу.

Впрочем, самые даровитые и проницательные из этих возмутителей спокойствия относились к Чуковскому все-таки не так однозначно. Об этом свидетельствует и его недолгая дружба с Маяковским, и теплые воспоминания о Василии Каменском, и цитированный уже «Полутораглазый стрелец» Лившица, который, впрочем, можно процитировать и еще: «Чуковский разбирался в футуризме лишь немного лучше других наших критиков, подходил даже к тому, что в его глазах имело цену, довольно поверхностно и легкомысленно, но все же он был и добросовестней, и несравненно талантливей своих товарищей по профессии, а главное – по-своему как-то любил и Маяковского, и Хлебникова, и Северянина. Любовь – первая ступень к пониманию, и за эту любовь мы прощали Чуковскому все его промахи. В наших нескончаемых перебранках было больше веселья, чем злобы. Однажды сцепившись с ним, мы, казалось, уже не могли расцепиться и собачьей свадьбой носились с эстрады на эстраду, из одной аудитории в другую, из Тенишевки в Соляной Городок, из Соляного Городка в Психоневрологический

институт, из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург и даже наезжали доругиваться в Куоккалу, где он жил отшельником круглый год».

О том же говорил и Чуковский: «Хотя футуристы официально враждовали со мной на эстрадах и в своих выступлениях, хотя во многих своих манифестах они едко ругали меня, валя меня в общую кучу своих оголтелых противников, но в жизни, в быту, так сказать, за кулисами, у нас были отношения добрые; „будетляне“ охотно навещали меня в моем уединении в Куоккале, читали мне свои опусы в рукописях, публично выступали со мной в разных аудиториях».

Чуковскому футуристы были чрезвычайно дороги и своим отказом от торных путей, войной против пошлости, мальчишеством – он ценил веселое артистическое хулиганство и был готов ему всячески способствовать. Выступления футуристов собирали массу публики, не обходилось без полиции, приставов, скандалов, а иногда и рукоприкладства. Вот Корней Иванович вспоминает о лекции в Политехническом: «Помню, Маяковский как раз в ту минуту, когда я бранил футуризм, появился в желтой кофте и прервал мое чтение, выкрикивая по моему адресу злые слова. В зале начался гам и свист. Эту желтую кофту я пронес в Политехнический музей контрабандой. Полиция запретила Маяковскому появляться в желтой кофте перед публикой. У входа стоял пристав и впускал Маяковского только тогда, когда убеждался, что на нем был пиджак. А кофта, завернутая в газету, была у меня под мышкой. На лестнице я отдал ее Владимиру Владимировичу, он тайком облачился в нее и, эффектно появившись среди публики, высыпал на меня свои громы».

Виктор Шкловский, примыкавший тогда к футуристам, относил Чуковского к «футуропитающимся», как и Шершеневич. В книге «О Маяковском» он с плохо скрываемой неприязнью рассказывал, как Чуковский последовательно принижал великие таланты Хлебникова и Маяковского, не понимал их, выставлял дураками на потеху публике: «К Маяковскому Чуковский снисходителен». «Но это только начало. Критик ведет снижение дальше». «Хлебников в то время, когда писал Чуковский, уже обнародовал свои поэмы, уже давно был известен „Зверинец“, но так смешнее, так удобнее для читателя, чтобы все были маленькие». «Мы поехали в Бестужевский институт. Доклад читал Корней Иванович. Он закончил возгласом о науке и демократии:

– Ничего не выйдет у футуристов! Хоть бы голову они себе откусили, – выпевал он…

Аудитория решила нас бить.

Маяковский прошел сквозь толпу, как раскаленный утюг

сквозь снег. Крученых шел, взвизгивая и отбиваясь галошами. Наука и демократия его щипала. Я шел, упираясь прямо в головы руками налево и направо, был сильным – прошел.

А Корней Иванович повез свой доклад дальше».

Здесь все замечательно – и Чуковский в роли злонамеренного провокатора, и это трогательное «мы», и образ сильного автора (почти такого же сильного, как Маяковский), проходящего сквозь драчливую толпу. А замечательнее всего время, когда Шкловский опубликовал свое произведение – 1938 год.

Понимал ли Чуковский футуристов? Он сам признавался позже, что недооценивал Хлебникова. Называл его «кабинетным экспериментатором в области создания новых слов на основе старинных суффиксов». С Маяковским обходился и впрямь непочтительно: «Когда привыкнешь к его надсадному крику, почувствуешь здесь подлинное». «Хорош урбанист, певец города, – если город для него застенок, палачество!» «Хочется взять его за руку и увести из этого кирпичного плена…» – в прижизненном издании собрания сочинений Чуковского этой фразы, язвительно приводимой Шкловским, уже не осталось, стоит нейтральное: «уйти бы ему отсюда – на поляны, в леса!».

Но и в самом деле: если Хлебников уже успел опубликовать значительные произведения, Северянин вполне проявил себя и никогда уже не сделал ничего большего, а Елена Гуро сказала почти все, что могла, и была занята сосредоточенным тихим – вскоре свершившимся – умиранием, если в эпигонстве Шершеневича и малозначимости Гнедова Чуковский не сомневался и история только подтвердила его выводы, то с Маяковским осенью 1913 года далеко не все было понятно. Он еще не только не был выдвинут на роль лучшего и талантливейшего поэта и трибуна революции (легко было Шкловскому обличать Корнея Ивановича задним числом с такой выигрышной позиции), но даже не написал почти ничего из впоследствии прославивших его стихов – более того, всячески замалчивал все, что писал до 1912 года. Поэтический стаж у Маяковского к этому времени был совершенно младенческий – и все-таки Чуковский разглядел в нем огромную поэтическую силу, о чем и написал сразу в «Русском слове». Однако авансов пока не выдавал: на авансы он вообще был не особенно щедр. Кстати, об Ахматовой, к тому же 1913 году уже довольно знаменитой, он тогда и вовсе ни словом не обмолвился – и заговорил о ней, когда стало понятно: это действительно большой поэт. В художественном исследовании Чуковского «Ахматова и Маяковский» оба этих поэта стали символами послереволюционной России. Но до тех пор и Ахматовой, и

Маяковскому, и Чуковскому, и всей стране оставался долгий путь в семь трудных лет.

В 1913 году Чуковский разглядел ровно то, что в Маяковском тогда было, – и то, чем он до сих пор дорог большинству читателей: исключительный талант, лирическую и трагическую мощь. Правда, в те годы, когда Маяковский уже стоял памятником на Триумфальной площади, а по учебникам и хрестоматиям кочевал постоянный набор утвердившихся фраз о пролетарском поэте, – о нем уже невозможно было написать так, как диктовала собственная душа, совесть и память. И потому воспоминания Чуковского о Маяковском в «Современниках», в отличие от любой другой главы в той же книге, – какие-то натужные, мучительные, извиняющиеся… «Мне чудилась подлинная человеческая тоска…» «Должно быть, я слишком субъективно воспринимал некоторые из его тогдашних стихов, но они казались мне раньше всего выражением боли…» «Я не вполне понимал свои собственные утверждения о нем…» «Я в маленьком дачном театрике пытался истолковать Маяковского как поэта мировых потрясений, все еще не понимая каких». Прекрасно он понимал каких – его и самого одолевали трагические предчувствия, разве что он отчаянно не хотел им верить.

В 1940 году Чуковский писал дочери, говоря о предъявленных Шкловским обвинениях: «В 1913 году я был единственный критик, который дал хвалебный отзыв о трагедии „Влад<имир> Маяковский“. И где? В „Русском слове“, самой распространенной газете, которую редактировал Дорошевич, не любивший Маяковского. Этого отзыва Шкловский не приводит». Надо сказать, правда, что отзыв был не такой уж хвалебный, – но, безусловно, сочувственный: «Автор несомненно талантлив… прекрасно то, что он пробует говорить в поэзии от лица апаша, стоящего на грани отчаяния и сумасшествия, но, к сожалению, это – единственная струна, на которой он умеет играть и играет хорошо, но однообразно, а потому обычно присутствие скуки». Впрочем, другие рецензии были такие: «Кто сумасшедший? Футуристы или публика?» («Петербургская газета»), «Нервный поэт. Кретины» («Петербургский листок»), «Бобок» («Современное слово»), «Трюк футуристов» («Колокол»). На этом фоне рецензия Чуковского выглядит чудом доброжелательности. Филолог Юлиан Оксман, прочитав воспоминания Чуковского о Маяковском, заметил в них явную несвободу и писал автору: «Читатель придирчивый, вроде меня, чувствует, что вы здесь „стали на горло собственной песне“… Но, бога ради, не умиляйтесь и не оправдывайтесь – не стоил он того в то время – это был еще „Володя маленький“, а вы были уже большой. Не мне

Вам напоминать об исторической перспективе, извращать которую не следует, – мемуары в этом отношении жанр более строгий, чем исторические монографии».

Конечно, статьи о футуристах были написаны по законам газетного фельетона. Конечно, лекции строились в расчете на восприятие непрофессиональной аудитории, чье внимание надо было держать в неослабевающем напряжении, – этому служила гиперболизация, парадоксы, неожиданные цитаты, удивительные постулаты, которые Чуковский храбро брался доказывать. Но эксцентричность лекции о футуристах была обусловлена еще и тем, что вслед за критиком выступали они сами, и две части действа должны были как-то соответствовать друг другу.

О чем же говорил Чуковский в своих лекциях и статьях? О том, что при всей своей вульгарности Северянин – «сильный и властный поэт», наделенный недюжинной «певучей силой» и смелостью, которая проявляется прежде всего в области формы. О том, что русский язык давно нуждается в обновлении выразительных средств, что его медлительные описательные обороты давно требуют сжатия, что нужны «слова-молнии, слова-экспрессы». Такими словесными экспериментами всегда занимаются дети, ставили их и такие мастера, как Герцен и Жуковский. (Любопытно, что «и был надолго край наш обезмышен» из «Войны мышей и лягушек» Жуковского вспоминают в связи с футуристическими «окалошиться» и «онездешниться» и Чуковский, и молодой Ходасевич в обзоре «Русская поэзия», вышедшем в 1914 году. Цитату из Жуковского Корней Иванович снял в последней прижизненной публикации статьи о футуристах в 6-м томе собрания. Интересно, кто у кого позаимствовал наблюдение.)

Чуковский замечает, что другие эгофутуристы – Шершеневич, Ивнев, Олимпов – никакие, в сущности, не футуристы, а «последыши вчерашних модернистов». Он говорит об общем стремлении футуристов к примитиву, к дикарям, к первобытным первоосновам; о том, что хрупких петербургских эгофутуристов «пожрал целиком бурлюкизм». Об антиэстетизме – «свинофильстве» Крученых. Лившиц, кстати, иронизировал над тем, что никто не понял, зачем эта фигура была воздвигнута футуристами на подходах к «становищу речетворцев»: «Это было первое испытание для всех, кого привлекали шум и гам, доносившиеся из нашего лагеря. Кто только не спотыкался об эту кучу, заграждавшую подступ к хлебниковским грезогам и лебедивам! Чуковский растянулся во весь свой рост, верхний нюх Бурлюка еще раз оправдал себя на деле, а бедный Крученых,

кажется, до сих пор не понявший роли, на которую его обрек хитроумный Давид, возгордился пуще прежнего». А Чуковский утверждал, что бунт Крученых скучен, что фокусы у него тусклые, «как будто со всей России, из Крыжополя, Уфы и Перми, собрали эту зевотную нуду и всю сосредоточили здесь».

О Хлебникове К. И. писал, что его поэзия совершенно прекрасна – даже вне всяких смыслов: «Иной, прочитав эти строки, станет допытываться, какое же в них содержание, что же они, в сущности, значат. А что, по-вашему, значит изумрудно-золотой узор на изумительном павлиньем хвосте? Или журчанье лесного ручья?»

Читателю вряд ли было очевидно, насколько глубоко Хлебников подействовал на Чуковского. «Смехунчики еще и тем хороши, что, не стесняемый оковами разума, я могу по капризу окрашивать их в какую хочу окраску. Я могу читать их зловеще, и тогда они внушают мне жуть, я могу читать их лихо-весело, и тогда мне чудится, что пасха, весна и что мне четырнадцать лет». Пасха, весна, четырнадцать лет – это одно из самых глубоких юношеских впечатлений Чуковского. Вспомним ранние дневниковые записи: «Когда я говорю слово „босячество“ (то самое трудноопределимое качество, которое он так ценил в своей будущей жене. – *И. Л.),* мне представляется человек, идущий по весеннему полю в пасхальную ночь. Колокола, огоньки, гул толпы… Где-то позади. А тут ветерок, жирная земля, травка. Идешь себе, – раз, два – и никаких. Руки в карманы. И кричать, и петь, и плакать. Смотришь, над полем медлительные вороны обделывают свои темные делишки… сбираются в какую-ту шайку. Кричишь им: «Эх вы, вороны! Вороны! Ну что такое вороны! Глупые вы вороны! Зачем?»»

… Со мною иногда
Весенней ночью так бывает:
бежишь вперед, не знаешь сам куда,
вперед, вперед, пусть ветер догоняет…
Болтаешь руками, бежишь и кричишь,
а в поле и в небе обидная тишь…
На землю падешь – зарыдаешь,
а в чем твое горе – не знаешь…

Эти стихи 14-летнего Чуковского – тоже отголосок той пасхальной ночи, сильнейшего экзистенциального переживания. И лихо, и весело, и смеяться, и плакать хочется… читаешь чужие стихи совсем о другом – и вспоминаешь когда-то пережитое чувство отчаяния и восторга… Никто даже не заметил, какую

похвалу он на самом деле отвесил Хлебникову.

Чуковский говорил дальше, что русские футуристы отличаются от итальянских и французских тем, что урбанизм их напускной. Как и вся мировая культура, русский футуризм и стремится к цивилизации, и бежит от нее. Но вместе с тем в нем выражена третья, чисто национальная тенденция: вечный русский бунт, анархический, нигилистический, дикий. И критик сокрушается: ну Италия-то со своей тысячелетней культурой понятно – а мы куда? «Но мы, новорожденнные, когда же мы успели изведать эту тиранию прошедшего, этот гнет преданий и предков? Ведь только что начали снова и снова завязываться слабенькие узелочки культуры, какие-то законы, каноны, уставы, как вот уже рявкнула дикарская глотка: сарынь на кичку, трабабахнем, сожжем!» Это его и угнетает: не успела культура как следует народиться – недаром он столько говорил в 1908–1910 годах о необходимости «заняться культурой», – а вновь призывают ее уничтожить, освободиться от нее; проповедь, совершенно отвратительная Чуковскому. И отчаянной разрушительной силе бунта К. И. противопоставляет своего любимого Уитмена с его пафосом демократического созидания (Хлебников писал в 1913 году: «Словесный пират Чуковский с топором Уитмена вскочил на испытавшую бурю ладью, чтобы завладеть местом кормчего и сокровищами бега»).

Оттого, может быть, он и доказывает с такой яростью, что нет никакого футуризма, что и Маяковский – не урбанист, и Елена Гуро – святая, и Хлебников – кабинетный словотворец, и Лившиц – скрытый парнасец, что не хочется ему такого будущего, в котором нет никакого разумного созидания, а есть только «наплевать», только разрушительная стихия. И предостерегает, увещевает, заклинает волшебным словом «демократия», словно предвидя, как взметнется нутряная, страшная, серо-коричневая сила, дремлющая за вековечными осинами, избами и мокрыми заборами, и рявкнет «наплевать», и перевернет все, и смоет с лица земли не только то, что Чуковскому на ней ненавистно, но и все, что дорого.

Пир во время чумы

В 1913 году Влас Дорошевич, о котором Чуковский написал злую статью, позвал его сотрудничать к себе в «Русское слово». Первым делом вынул из ящика статью, вспоминал Корней Иванович, и стал ее разбирать: здесь вы правы, тут неправы… – «…дал 500 рублей авансу. Это был счастливейший день моей жизни. Тогда казалось, что „Русское Слово“ – а значит, и Дорошевич – командует всей русской культурной жизнью». В «Русском слове» Чуковский опубликовал важные работы: о Джеке Лондоне, о Сергееве-Ценском, об Уитмене, несколько статей о футуристах, в том числе упомянутый хвалебный отзыв на трагедию «Владимир Маяковский». Чуковский пытался даже познакомить Маяковского с Дорошевичем. Этого хотел сам поэт. «Как стремился Маяковский понравиться, угодить Дорошевичу, – писал Чуковский в дневнике. – Он понимал, что тут его карьера. Я все старался, чтобы Дорошевич позволил Маяковскому написать с себя портрет. Дорошевич сказал: ну его к черту». От контактов отказался и даже прислал телеграмму с угрозой: «Если приведете мне вашу желтую кофту позову околоточного сердечный привет».

В 1914 году критик особенно много пишет об Уитмене и футуристах. О текущих литературных событиях – почти ничего; отметить стоит разве что большую и важную статью «Смерть, красота и любовь в творчестве Бунина», где критик, рассказывая о творческой эволюции этого литератора, подводит читателя к мысли, что Бунин стал одним из лучших русских писателей.

В это время к Чуковскому в Куоккалу часто заезжали футуристы – и не только «доругиваться», как говорил Лившиц, – некоторые даже оседали там надолго, если позволял кошелек. По воскресеньям у Чуковского бывало множество гостей. Чаще всего – драматург Николай Евреинов, художник Юрий Анненков, который недавно вернулся из Парижа, поэт и критик Борис Садовской, художники Александр Арнштам и Борис Григорьев, поэт Сергей Городецкий, члены многочисленного семейства Пуни. Приходил «футуристический доктор» Иван Кульбин. Приплывал на лодке Виктор Шкловский. Появлялся Мандельштам. Часто захаживали по-соседски Лазарь Кармен и Репин (Репин и Чуковский, кстати, делились друг с другом гостями: художник «угощал» критика Шаляпиным, критик художника – футуристами). Изредка приезжал из Ваммельсуу Андреев. Дни проходили в насыщенном общении, чтении вслух, совместном творчестве, обдумывании общих замыслов.

Надо сказать, бурное общение мешало собственным

замыслам настолько, что в марте 1914 года Чуковский просил у Леонида Андреева, уезжавшего в Италию, разрешения пожить в его пустующем доме: «Замыслил я написать лекцию: *Тайна Мережковского*… План лекции уже отработан до точки… Я хожу и брежу о ней. Но писать ее не могу: мешают. То приезжает Шаляпин, да у нас – воскресения; да черт знает что: какие-то родственники; Сытин, Руманов, – а там Пасха, а там съедутся дачники, а там нужно писать для заработка, и пропадет моя лекция к черту. Вот я и придумал молить Вас – предоставить мне в Вашей даче на месяц апрель комнатушку, крошечную, но совершенно отдельную, где бы я спал и писал».

Разумеется, Корней Иванович уже не мог вынести, что остроты, экспромты, импровизации, которыми фонтанировали его гости, их шаржи, наброски, стихотворные упражнения пропадают для истории. Так на свет появился альбом, которому Репин дал не требующее пояснений название «Чукоккала». Тогда никто не мог еще предположить, что альбом этот будет пополняться автографами более полувека и превратится в настоящее сокровище русской культуры.

На обложке «Чукоккалы» Арнштам изобразил писателей и художников, прибывающих к долговязому хозяину морем. Садовской вписал эпиграф:

> Наследник и сомышленник Шевченки,
> Сюда с искусства ты снимаешь пенки.

Первые пенки были сняты летом 1914 года.

«Интересы детей, их развлечения господствовали, – рассказывал о своем куоккальском детстве Дмитрий Лихачев. – Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, Кульбин, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, „большую крокодилу“, матчиш… Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись, озорное сочинительство (пьес и стихов), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове… На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Мировича (Дунаева) „Графиня Эльвира“. Но были и „серьезные“ спектакли. Репин читал свои воспоминания. Чуковский читал „Крокодила“. Жена Репина знакомила с травами и травоедением. Почти все

(кроме новичков) были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи». (Детская память Лихачева смешивает времена: когда Чуковский написал «Крокодила», Нордман-Северовой уже не было в живых.)

Этот идиллический мир казался вечным, и даже первые громовые раскаты приближающейся грозы не внушили его обитателям никакого страха. Впрочем, Чуковский давно уже исподволь чувствует приближение бури. 15 апреля 1914 года в его дневнике появляется запись, каких давно уже не бывало, лет десять, – такая же, как в молодости, растерянная, несвязная, отчаянная: «Лимон – все спасение в лимоне – как бы найти такой лимон – футуризм – акмеизм – переменить бы душу, не книгу, а все – хочется выйти и завыть по-собачьи. Завыть бы по-собачьи, завизжать. Исцарапать себе ногтями лицо, закричать: перестаньте, не надо, не так! Все это очень благополучно. Танцы Далькроза, Мейерхольд… Все ищут… Сатирикон выходит… Как же! Акмеизм в пустяке переделался, а в крупном такой же ужас». Но акмеисты и футуристы, сатириконцы и мейерхольдовцы, и сам Чуковский – все ведут себя, как Людовик Гонзаго, поразивший современников и потомков ответом на вопрос, что бы он делал, узнав за игрой в мяч, что через четверть часа мир погибнет. «Продолжал бы играть в мяч», – отвечал святой.

Они и продолжали играть – в мяч, в городки, в буриме. (С другой стороны, а что надо было делать? Крупу закупать?) Жили нормальными интеллигентскими буднями: у футуристов намечается раскол, только что овдовевший Репин заводит в «Пенатах» новые порядки и пишет воспоминания, у Чуковского голова болит о запрещенной цензурой книге про Уитмена («Поэзия грядущей демократии») и деньгах на прокорм семьи (он уже очень мало печатается в «Речи»; в «Русском слове», «Ниве», «Журнале журналов» – и то больше его статей). Публикует новонайденные некрасовские рукописи. Пишет лекции и выступает с ними. «По-прежнему в эти годы газетные статьи и рецензии, литературная поденщина и разъезды по России с лекциями: „Тайна Некрасова“, „Тайна Мережковского“, „Футуристы“, „Оскар Уайльд“, постоянная, повседневная работа, – писала Марианна Шаскольская. – В 1914 году, в канун Первой мировой войны, вышли книги „Лица и маски“ и „Книга о современных писателях“, где собраны наиболее замечательные статьи Корнея Чуковского: об Уайльде, о второсортных писателях той поры: „Веселое кладбище“, о Чарской, о Вербицкой».

«Лето четырнадцатого года выдалось бездождное и жаркое, – писал Бенедикт Лившиц. – Все, кто имели малейшую возможность, уехали из города. Петербург обезлюдел». Зато на куоккальских пляжах было полно дачников.

Последний мирный день сохранился в описании Лившица: Анненков поет «свежевывезенные из Парижа шансонетки», Кульбин «ярчайшими красками расписывает шелковые зонтики купальщиц», Репин, лежа на песке, ругает Мунка и чертит фигуры. Чуковский вздыхает о том, что не может подсунуть ему бумагу и сохранить рисунок. «Все еще были объяты пылом домоустройства и накопления, никто не собирался срываться со своего насеста», – констатирует поэт.

20 июля по старому стилю Репин праздновал именины и семидесятилетие. Ожидая многочисленных визитеров и делегаций с поздравлениями, он сбежал к Корнею Ивановичу на дачу. Погуляв с детьми, попросил Чуковского почитать ему Пушкина. Пока тот читал (не что-нибудь – «Пир во время чумы»), Репин рисовал его и сидящего рядом писателя Юрия Волина. Юрий Анненков в это время рисовал его самого со спины, оба рисунка есть в «Чукоккале». Дети, тайком посылаемые на репинскую дачу, возвращались с известием, что никаких делегаций в помине нет. «Как потом оказалось, все поезда были заняты воинскими частями и связь с городом на время прервалась», – записал Чуковский в альбоме, комментируя репинский рисунок.

Гостей у Чуковского, когда пришло известие о войне, было больше десятка. «Н. И. Кульбина потребовали немедленно в Гл. Штаб. За Арнштамом прислали артельщика для немедленного отъезда из Куоккала. Е. П. Кульбина пришла с опозданием, но без вечерней газеты и сообщила о взятии немцами какого-то Люксенбурга, о к-ром мы все спрашиваем, где он? Все обсуждали, что делать, и оказалось, что твердо решили остаться в Куоккала и не поддаться общей панике, за исключением Арнштамов, к-рые ушли укладывать вещи», – записали в «Чукоккале» собравшиеся. Панике они не поддались совершенно. На страницах альбома розыгрыши и взаимные уколы чередуются теперь с ответами на вопросы «Когда кончится? Чего жду?». Ждут в основном окончания войны к Рождеству, победы, краха Вильгельма. Илья Василевский печально предрекает, что «война – дело лет, а не месяцев».

Юрий Анненков, один из этой компании, описывал потом эти дни в своей «Повести о пустяках»: «Над толевыми крышами, над цветочными клумбами и гипсовыми аистами, над немощеными улицами, над чередой сосновых участков, разгороженных

заборами, плетнями и канавами, никогда еще так часто, так взволнованно и тревожно не носились свистки паровозов. Поезда проходят один за другим, нарушая привычное расписание и станционный порядок (ветер перемещает вывески), поезда бегут мимо дюн, мимо смолистых рощ и торфяных болот, мчатся все в одном и том же направлении, летят к Петербургу. От тендеров до багажных вагонов, до открытых товарных платформ, на которых обычно перевозят бревна, поезда заполнены женщинами, детьми, картонками, тюками, самоварами. Берутся с боя свободные вершки пространства. Шляпки сползают с причесок, женщины, бранясь, цепляются друг за друга, дети плачут…»

Дачники в панике бегут в город. У Чуковского играют в бисер. Следующий фрагмент анненковской повести – едва ли не стенограмма разговоров во время этих дачных вечеров и скромных пиров духа в начале всемирной чумы. Различимы даже отдельные голоса, особенно четко слышится репинское «Браво, браво!»:

«На даче у писателя Апушина – очередное чаепитие с разговорами. Печенье Эйнем, голубоватый рафинад заводов Кенига, варенье собственной варки.

– Да здравствует искусство!

– Та-ра-рам, та-ра-рам, бум!

– Да здравствует Россия, черт возьми!

– Разумеется, и Россия.

– Та-ра-рам, бум-бум!

– Возможен ли здесь десант? Десант возможен.

– Не раньше чем через неделю. Паника глупа.

– Десант вообще неосуществим.

– Если не завтра, то никогда.

– Десант вполне вероятен, но совершенно бесполезен.

– Десант имеет решающее значение.

– Стратегически, пожалуй, он объясним.

– Десант, как таковой, – пустой звук.

– Зато моральное значение десанта огромно.

– Десант опасен только для кухарок.

– И для твоих стихов!

– Во всяком случае – не для России…

– Война закончится через месяц в Берлине. Кайзеру публично остригут усы, помяните мое слово.

– Идет в поход Мальбрук, усат и сухорук.

– Браво! Запишите!

– Неусыпно усатинить усы легче, чем вселенную усыпать мертвыми костями.

– Запишите.

– Грохочут тяжкие шпалеры
Тевтонских войск в пыли заката.
О, келомякские рантьеры,
Вы скоро будете рогаты!
…Так начались разговоры о войне.

Вечером прошел по линии первый поезд в обратном направлении, из Петербурга: воинский. Солдатам кричали ура, солдаты пели песни.

Много времени спустя, в 17-м году, писатель Апушин записал на обрывке чистой бумаги: «Пили чай с печеньем, говорили о войне. Ни очевидные (для меня и, надо думать, для остальных) предпосылки к затяжной бойне, ни гибель культуры, ни безумие вдруг ослепшего человечества, ни миллионы внезапно приговоренных к смерти людей – в центре внимания оказались усы Гогенцоллерна. В этот вечер я постиг обреченность России, и мне представлялась чудовищной людская недальновидность».

Подумав, Апушин пометил эти строки задним числом: июль 1914».

«Веселая и озорная дачная жизнь Куоккалы приобрела в 1914 году тревожные нотки, – рассказывал Дмитрий Лихачев. – В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач… Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук, – точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Все чаще было видно, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба».

Август 1914 года: в «Чукоккале» записывают буриме на рифмы «десант, канонада, Белграда, аксельбант». Были у Кульбина, играли в «чепуху», отмечает Чуковский в дневнике. Евреинов острит и поддевает друзей, его рукописный журнал «Подкукелка» яростно полемизирует с «Чукоккалой». Позднее Чуковский, комментируя альбомные записи, специально замечал: «Иной читатель, пожалуй, подумает, будто во время войны мы только и делали, что забавлялись альбомными виршами. Такое заключение было бы крайне ошибочно. Из участников „Чукоккалы“ и Бенедикт Лившиц, и Гумилев ушли на фронт добровольцами, Репин с утра до ночи работал над своими полотнами, Евреинов писал свою трехтомную книгу „Театр для себя“, так что „Чукоккала“ была для нас отдыхом, отдушиной, своего рода „пиром во время чумы“…»

В газетах и журналах не платят. В Петербурге, который с 18 августа стал Петроградом, меняют немецкие вывески на русские; немцев бьют; появляются объявления «По-немецки говорить

запрещается» (они отзовутся потом в «Крокодиле»). Арестовывают этнических немцев: в августе Репин и Чуковский хлопочут о жене художника Бориса Григорьева, немке-лютеранке, взятой под арест вместе с грудным ребенком. В небе над Финским заливом ночью носятся столбы света из прожекторов – войска проверяют, не летят ли вражеские дирижабли.

Бена Лившица забрали в солдаты. Он оставил в «Чукоккале» прощальное стихотворение: «Куоккала, давно ль на пляже / Твоем златом я возлежал?» Городецкий вписал в альбом патриотические стихи. Аверченко поиздевался над ошибками кайзера, долженствовавшими привести к скорому краху германского милитаризма. «Репин во время всеобщей паники, когда все бегут из Финляндии, красит свой дом (снаружи) и до азарта занят насыпанием в Пенатах холма на том месте, где было болото», – записывает Чуковский в дневнике в первую неделю войны.

В один из дней по Невскому проспекту должны были пройти мобилизованные. Чуковский и Анненков отправились на Невский, где встретили Мандельштама и уходящего в армию Лившица с деревянной ложкой за голенищем сапога и глиняной кружкой, бренчащей в тюке за спиной. Сфотографировались. Фотография сохранилась. Потом все, кроме Мандельштама, описали тот день. Чуковский и Лившиц оба жалуются: у всех лица нормальные, а у меня рожа идиота. Надежда Яковлевна Мандельштам писала в мемуарах, что фотографию напечатали во время войны «в какой-то газете для иллюстрации того, какие кретины сейчас лезут в литературу».

Описывая солдатские проводы, Анненков (единственный, кто увидел признаки идиотизма не в портретируемых, а вовне) пишет: «Навстречу двигалась процессия, неся над головами трехцветные флаги и портрет государя; извозчики; городовые; люди неопределенных категорий – в чесучевых пиджаках, в картузах, в соломенных шляпах; сенновцы, писаря, приказчики; шли ряженые в студентов вышибалы и дворники; маршировали в патриотическом азарте гимназисты. Под портретом величествовал пристав, впервые возвышенный до человека. Пожарные топили национальный гимн в грохочущей меди. Над Петербургом оседала копоть погромов».

Государь выступил с речью и издал манифест. Гости Чуковского анализируют стилистику царских посланий. Анненков записывает один такой разговор на прогулке с Апушиным-Чуковским и Житомирским-Шкловским. «Стиль определяет собой содержание, – говорит юноша в матросской блузе, крутолобый Толя Житомирский, – по существу, безразлично, что именно в данном случае подлежит анализу: этот идиотский манифест, Дон

Кихот Ламанчский или „Тристрам“ Стерна. Мы объявляем новый метод анализа…»

Над Чуковским навис призрак мобилизации. «У меня весь день омрачен тем, что, заглянув в свой паспорт, который я только вчера разыскал, я увидел в графе „отношение к воинской повинности“: совершенно пустое место. Я отправился к воинскому начальнику с карточкой от одного чиновника – но ничего не мог добиться; сволочь писарь в Пскове – в мещанской управе спьяну не проставил, что я единственный сын!» – записывал он 26 июля. Идти на фронт ему совершенно не хочется: всеобщим воодушевлением он не охвачен, по закону служить не должен; кроме того, он не только единственный сын, но и единственный кормилец семьи с тремя детьми. Он всей душой ненавидит войну, демонстративный ура-патриотизм ему противен. И в этом он был не одинок – так или иначе неприятие войны выражали многие его друзья. Герой повести Анненкова, Коленька Хохлов, в первые дни войны доказывал своему отцу, старому демократу, упрекавшему его в том, что он не идет на фронт добровольцем: «Я не иду на войну, потому что не вижу в ней смысла, потому что не понимаю – слышишь? – не понимаю, какого черта меня туда посылают?»

Призыв в армию грозил Чуковскому довольно долго: он ив 1916 году опасался мобилизации, о чем свидетельствуют дневниковые записи. Все-таки он был человек сугубо мирного времени. Война делает таких людей с их многочисленными яркими талантами ненужными, и талант уходит в одно: быть бы живу, остаться бы человеком, принести бы хоть немного пользы, когда все, что ты умеешь делать, резко обессмыслилось. В Первую мировую Чуковский писал военные очерки об Англии, во вторую – статьи для английского вещания Совинформбюро. И в обе мировые войны он задумывался о том, что вообще уходило из поля зрения большинства: о детях, о том, что несет им война и как с ними о ней разговаривать, как «хоть частично обезвредить то ядовитое, злое, что за эти кровавые месяцы внесли мы в души детей». В конце 1915 года в «Ниве» вышла большая статья «Дети и война», где Чуковский спрашивал: «Что станется с этим роковым поколением, взрастающим среди громов и пожаров? Как пожнет оно наш кровавый посев?»

Он писал об опасности «нервической болезненной ненависти», которая зарождается в детском сердце, о неизбежных жестоких играх в войну, где никто не хочет быть немцем, – и на эту роль назначают бессловесных собак и кошек, которых потом в азарте битвы могут замучить. О ксенофобии, которая просыпается в детях (Чуковский рассказывает в статье о детях врача, которые

предложили отцу не лечить, а отравить ни в чем не повинных немецких колонистов, живших по соседству). «Хорошо ли это, что шестилетний ребенок жаждет убивать и калечить? Хорошо ли, что он непрерывно живет впечатлениями крови, убийства и злобы? – спрашивал автор. – Что делать отцам, матерям, учителям, воспитателям? Как спасти драгоценные души детей от катастрофического влияния войны?»

И отвечал: военные игры – неизбежный этап взросления ребенка, гневаться – его «законное право»: «возмущенное нравственное чувство есть огромная социальная сила, и подавлять ее в будущем гражданине нельзя. Нужно только, чтобы воспитатель умел разумно направлять это чувство, обуздывать, регулировать его».

Война, писал Чуковский, может научить ребенка не только жестокости и ненависти – но и любви, братству, состраданию. Он приводит многочисленные примеры «помощи трудовой, рабочей». И ругает ура-патриотические журналы, рассказывающие о детях на войне: «Как смеем мы, взрослые, завлекать детей под огонь!» Сочувственно цитирует офицера, который говорит, что дети на фронте – помеха, обуза, «курят махорку, пьянствуют, мерзнут, голодают, ругаются». И от всей души предлагает современным журналам вместо эффектного геройства изображать геройство подлинное, незаметное, будничное – и написать «повесть о мальчике Юшке, который спас мать от пожара или братишку от бешеной собаки, в то время как Дима болтался у всех под ногами, всем надоедал, всем мешал, попадал непрерывно впросак и – без подвигов, ощипанным цыпленком, возвратился уныло домой. Это была бы чрезвычайно полезная повесть, полезная и для детей, и для армии».

К концу 1914 года Чуковский почти сменил род занятий. Теперь из-под его пера выходит совсем немного критических и литературоведческих статей (в 1915-м, например, – работы о Городецком, Лонгфелло, Горьком и Гарине). Зато в «Ниве», «Русском слове», «Речи», «Журнале журналов» один за другим появляются его материалы о том, как войну воспринимают в союзной Англии: как относятся к врагу, как ведут себя солдаты, что делается в тылу…

Каждая из его критических статей, опубликованных в это время, по-своему значима. Хороша рецензия на «Цветущий посох» Городецкого – с легкой издевкой над акмеизмом и знаменательным заключением: «Итак, я люблю акмеизм? О нет, я к нему равнодушен. Для многих он опасен и вреден. Городецкому он помог, а для Садовского он был бы губителен. Я знаю немало

поэтов, которым было бы очень полезно пройти чрез футуризм, бурлюкизм. Сколько поэтов, столько и поэтических школ; сколько темпераментов – столько поэтов».

«Путеводитель к счастью» о Гарине – рассказ о редком для русской литературы (и столь необходимом для нее) таланте, находящем красоту, радость, поэзию в труде и созидании. Наконец, знаменательна статья «Утешеньишко людишкам» о «Детстве» Горького. Здесь Чуковский впервые пишет о Горьком без обычной своей иронии – и не только потому, что почувствовал в его судьбе селф-мейд-мэна что-то близкое и родное, но прежде всего – потому, что Горький перестал проповедовать и доказывать, а начал рассказывать – и рассказывать с любовью и великой жалостью к людям. В этой повести Чуковский не находит уже ненавистного догматизма и схематизма, в чем он неустанно упрекал писателя несколько лет подряд (помните – «Рассказывать Горький ужасно не любит, всегда что-нибудь доказывает»; «какое же солнце в геометрии»). Не то теперь: «И все слова в нем какие-то радующие. Пестрые, заново-крашенные. Не повесть, а прелестная церковка, где-нибудь на откосе, над Волгой – игрушечная, точно из пряников, узорчатая, разноцветная, вкусная! Весело бегут друг за дружкой ее нарядные, шустрые главки, кувыркаются, играют в чехарду. Горький еще никогда не писал такой воздушно-очаровательной повести. Это лучшее изо всего, что им создано». Чуковский удивляется: даже блевотная, пьяная, плесневая жизнь у Горького получается цветно и талантливо, и каждый человек, даже самый скверный – «красивейшая, огромная душа». «К нам, как с неба свалился новый, неожиданный Горький», – извещает критик. Все в новой книге Чуковского встречает его горячий отклик – и прежде всего желание помочь всем людям, уврачевать их раны, «ибо в мире нет ничего драгоценнее, чем этот стонущий и плачущий калека».

«Детство» так поразило и обрадовало Чуковского, что он немедленно прочитал об этом лекцию (она состоялась на «Белом вечере» в куоккальском Летнем театре – об этом ниже). «Лекция и статья „Утешеньишко людишкам“ обозначили перелом в отношении Чуковского к Горькому и подготовили почву для их последующего сотрудничества по изданию сборника для детей „Елка“, – комментирует Евгения Иванова. – …Под впечатлением „Детства“ он смягчил и некоторые формулировки, касающиеся общественной позиции Горького, что нашло отражение еще в одной предреволюционной лекции Чуковского „Больная Россия и ее целитель Горький“».

Маяковский

Дневниковых записей К. И. за 1915 год совсем не сохранилось. Весной Чуковский ездил по делам в Москву и там (как сам он писал в комментариях к «Чукоккале») сблизился с Маяковским. Уже в апреле в альбоме появляются портреты Корнея Ивановича, исполненные Маяковским. Вскоре молодой поэт приехал в Куоккалу, где жил то у Чуковских, то у Ивана Пуни, то в гостинице Трубе возле станции.

Маяковский в автобиографии «Я сам» потом утверждал, что учредил «семизнакомую систему (семипольную)»: «Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье „ем“ Чуковского, понедельник – Евреинова и т. д. В четверг было хуже – ем репинские травки». Чуковский, прочитав это, возмутился и прямо заявил Маяковскому, что тот ходил к нему не за этим. Маяковский обещал обидную строчку снять, но не снял. В примечаниях к «Чукоккале» Корней Иванович уже безо всяких обид констатирует, что у Репина приемные дни были по средам, а Чуковских поэт «ел» не только по воскресеньям: «В то время ему было двадцать три года, и аппетит у него был колоссальным».

1915 год оказался лучшим временем во взаимоотношениях критика и поэта. «Он постоянно торчал у нас в нашем куоккальском доме, – вспоминал Николай Корнеевич. – Лето пятнадцатого года он прожил у нас, но и тогда, когда он жил в Куоккале и других дачах, он почти ежедневно обедал у нас, а когда жил в Петербурге, приезжал к нам по воскресеньям со своими приятелями – Василием Каменским, Бенедиктом Лившицем, Хлебниковым и Кульбиным». Маяковский уклонялся от воинской повинности, говорит Николай Корнеевич, но «не из трусости, а оттого, что ненавидит войну».

Маяковский в мемуарах Николая Корнеевича – совсем не агитатор, горлан и главарь. Сосредоточенный, застенчивый, мягкий с детьми. Вот он ходит по высоченной каменной стене на берегу моря, сочиняя «Облако в штанах», – стена эта называлась тогда Бартнеровской по имени воздвигшего ее домовладельца, она стоит до сих пор. Вот он является к обеду и всякий раз читает новые стихи («Отец мой шумно выражал свое восхищение и заставлял его читать снова и снова. Многие куски „Облака в штанах“ я помню наизусть с тех пор»). Вот Маяковский и Репин сидят в кабинете Чуковского – «один в одном углу, другой в другом» – и, слушая общие разговоры, что-то рисуют. Несколько таких рисунков есть в «Чукоккале» – и, глядя на работы Маяковского, вполне понимаешь и то, почему Репин называл его «матерым реалистом», и почему Николай Корнеевич говорит о его деликатном и нежном обращении с детьми: достаточно посмотреть на сделанный им портрет маленькой Лидочки.

В воспоминаниях самого Корнея Ивановича Маяковский выхаживает километры по берегу с потухшей папиросой, записывает новые строфы на папиросных коробках. Декламирует вслух Блока. Гости Чуковского бегут к дверям, когда поэт начинает читать свое: «Известный адвокат Владимир Вильямович Бернштам, человек шумный, трусливый и толстый, притворявшийся широкой натурой, после первых же стихов Маяковского выбежал из-за стола, стуча и фыркая, и, когда я провожал его к дверям, охал, всхлипывал, хватался за голову, твердя, что он не может допустить, чтобы в его присутствии так преступно коверкали русский язык».

Дневник украинского писателя Бориса Лазаревского: «… после обеда я надумался пойти к Чуковскому… и встретил там „поэта“ Маяковского и художника Репина… Я предложил прочесть кое-что из Шевченко. Читали я и Чуковский. Репин искренне наслаждался… Затем началась „Маякоккала“. Явление совсем новое. Это сплошное издевательство над красотой, над нежностью и над Богом».

Воспоминания Софьи Богданович: Маяковский, одетый «много лучше Чуковского», «серьезный человек с красивым и печальным лицом», пришел вместе с Чуковским в гости к Татьяне Богданович и сидит молча на крылечке. Чуковский поддерживает разговор, поглядывая то на хозяйку, то на Маяковского, – ему очень хочется, чтобы тот понравился Татьяне Александровне (точно так же она сама когда-то сводила молодого Корнея с Короленко и волновалась, понравится ли). Вот Маяковский играет в крокет с девочками Соней и Шурой Богданович; Шура в него немножко влюблена. Играющие мешают Корнею Ивановичу спать или работать – у них стучат молотки, малейший звук раздражает его.

Поэт приходит к критику каждое утро. «После раннего обеда К. И. с М. Б. и Маяковским и мы с мамой и старшей сестрой собирались на берегу залива, против дачи Чуковских, – пишет С. Богданович. – К. И. обращался к Маяковскому:

– Владимир Владимирович, почитайте нам.

Маяковский никогда не отказывался… К. И. слушал Маяковского с напряженным вниманием. Его необыкновенно подвижное лицо делалось сосредоточенно-серьезным. Лукавой насмешливости, так ему свойственной, в его глазах теперь не было. Взгляд его становился мягким и каким-то радостным. Иногда он оглядывался на нас и чуть улыбался. Он чувствовал, как мы воспринимаем Маяковского, как покоряемся обаянию его слов и его голоса. И мне казалось, что вот сейчас он дарит нам Маяковского, Маяковского, которого он открыл для себя, а теперь

щедро делится с нами своей радостью».

Делиться радостью – это была естественная потребность. Куоккальская компания не замыкалась в своем кругу, не ограничивалась посиделками в гостях, разговорами, прогулками, крокетом – они старались приобщить к своим находкам, к искусству, к поэзии всех земляков. Летом 1915-го в Куоккале работал театр. Юрий Анненков в «Дневнике моих встреч» приводит афишу «Белого вечера» (о нем, кстати, даже писали петербургские газеты):

> «И. Е. Репин: Вступительное слово (памяти Н. Б. Северовой).
> А. Ц. Пуни: Solo на виолончели.
> Л. Н. Шувалова. } Разговор двух дам из "Мертвых
> В. И. Репина } душ" Н. Гоголя.
> Юлия Пуни (балерина): Variation de la folie из балета "Весталка".
> Корней Чуковский: Статья о "Детстве" М. Горького.
> Владимир Маяковский: Свои стихотворения.
> Г. Ф. Гнесин: Ария Фигаро из оперы "Севильский цирюльник" Россини.
> Е. Анненкова: Египетский танец.
> Режиссер вечера: *Н. Н. Евреинов*
> Декоратор: худ. *Ю. П. Анненков*».

Это лето было как-то особенно насыщенно поэзией, творчеством, влюбленностью. Лазарь Кармен подшучивал над соседкой Валентиной Блиновой, женой учителя рисования, которая от любви к Маяковскому подалась в футуристки – или, наоборот, познакомилась с поэтом на почве внезапно вспыхнувшей любви к футуризму (а может быть, любила не она его, а он ее, такие утверждения тоже можно найти). На страницах «Чукоккалы» Кармен записал «Барыню-поткукелку»: «С футуристами спозналась, в футуристки записалась барыня…» У К. И. возник «короткий, но бурный роман» с художницей Еленой Киселевой, ученицей Репина и дочерью того самого Киселева, по учебникам которого несколько поколений россиян учились алгебре. О романе этом он молчал всю жизнь (впрочем, как и об остальных, о которых вовсе не сказал ни слова) и только в 1967 году записал в дневнике: «Помню, как волновал меня ее красный зонтик, с которым она выходила на пляж». Сохранился портрет Чуковского, созданный тогда же любящей рукой художницы, – у К. И. на нем выражение лица необычно мягкое. Сам он приписал на обороте: «Немного Иисус, немного каторжник. Ох, ужас!»

У Лидии Гинзбург в воспоминаниях есть запись: «Ч. рассказывал Боре Бухштабу, как Маяковский писал в Одессе

„Облако в штанах“ и читал Корнею Ивановичу наброски.

Там был отрывок, который начинался «Мария, отдайся!»

– Что вы! – сказал Ч. – Кто теперь говорит женщине «отдайся»? – Просто «дай».

Так Маяковский создал знаменитое: Мария, дай».

Наброски, естественно, писались и читались в Куоккале, это события поэмы происходили в Одессе.

В мемуарах Софьи Богданович Чуковский и Маяковский идут рядом – одного роста, «оба высокие, черноволосые, на вид одного возраста, хотя К. И. был старше на одиннадцать лет, но такие разные. К. И. тонкий, гибкий, необыкновенно подвижный, лицо все время меняется, даже когда он молчит, точно каждая мысль отражается во взгляде, то в движении губ, то в морщинке, пробегающей по лбу».

Роднило их и другое – в то лето оба были жестоко недовольны собой; Маяковский неприкаянно болтался от дома к дому, метался от одной возлюбленной к другой, пока (в том же году) не встретил Лилю Брик, которую полюбил на всю жизнь… Маяковского не признавали настоящим поэтом, Чуковского по-прежнему считали поверхностным критиком… Они-то друг в друге видели и ум, и талант, и глубину, во многом совпадали и их взгляды на литературу. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить написанную в 1914 году статью Маяковского «2 Чехова» и многочисленные статьи Чуковского – о том же Чехове, о Шевченко, о Гаршине, – где автор пытается стирать «хрестоматийный глянец» и говорить о живых писателях, а не их бронзовых бюстах. Так же и Маяковский говорит о Некрасове, который «как вкусные сдобные баранки, нанизывал строчки на нитку гражданских идей», о Пушкине, «который был веселым хозяином на великом празднике бракосочетания слов», о Чехове – «сильном, веселом художнике слова», и ему невыносимо, что «всем кажется, что писатель корпит только над одной мыслью, которую он хочет защитить, исправить вас, и что ценить его будут только, если он, объяснив жизнь, научит бороться с нею». Совпадение подходов замечательное, и поговорить Чуковскому с Маяковским наверняка было о чем.

Уже в 1960-х, отвечая на письмо, автор которого обвинял Маяковского в «холопстве», Чуковский писал: «Это был очень прямой, очень гордый, очень убежденный 23-летний человек. В нем никогда не было ни грамма сервилизма. Он верил во всё, о чем писал. В этой вере было его счастье. Какой он был силач, видно из его стихотворения „Во весь голос“. Но я согласен с Вами, он часто бывал слабоват, когда „наступал на горло собственной песне“. Во всяком случае – это был чудесный образец русского

человека – верного своим друзьям, прямолинейного, верующего и – бескорыстного. Я не всегда был с ним согласен, но всегда любовался им».

Кончилось это сосуществование поэта и критика каким-то конфликтом, о котором нигде ясно не рассказывается: есть только смутные свидетельства, легенды, отголоски. В июле 1915 года житель Куоккалы и участник всех местных артистических затей, близкий к футуристам художник Иван Пуни писал Малевичу среди прочих дачных новостей: «Маяковского выкатили из Куоккала, где он торчал все время. Сделал какое-то свинство, и его больше не пускают к себе ни Чуковский, ни Евреинов. Хлебников говорит, что Маяковский написал новую вещь, и уверяет, что она очень хороша. Вряд ли. По моему мнению, Маяковский совершенно выдохся, прямая ему дорога в бордельные вышибалы».

Николай Чуковский вспоминал: «По нашим семейным преданиям, тщательно скрываемым, Маяковский в те годы был влюблен в мою мать. Об этом я слышал и от отца, и от матери. Отец вспоминал об этом редко и неохотно, мать же многозначительно и с гордостью. Она говорила мне, что однажды отец выставил Маяковского из нашей дачи через окно. Если такой эпизод и был, он, кажется, не повлиял на отличные отношения моего отца с Маяковским».

Эпизод, похоже, все-таки «повлиял». А если не этот, то какой-то другой. И в дневниковых записях Чуковского, посвященных Маяковскому, и в воспоминаниях о нем чувствуются напряженность, сложности, недоговоренность, которые вряд ли стоит объяснять одной только идеологической самоцензурой.

Конечно, нельзя сводить долгую историю трудных взаимоотношений двух незаурядных людей к простому «перечню взаимных болей, бед и обид». Многое объясняется складом личности того и другого, их взглядами на мир, теми требованиями, которые они предъявляли к людям (вспомним хотя бы у Чуковского: «я любил его самого, а ему этого было мало – он хотел, чтобы любили его дело»)…

Однако нельзя не сказать о двух обстоятельствах, омрачивших и без того непростые отношения.

Из книги в книгу, из статьи в статью до сего дня кочует еще одна история, где постоянно путаются даты и имена, но неизменной остается суть: сплетня о сифилисе Маяковского, якобы запущенная Чуковским. Вот ее суть в передаче шведского русиста Бенгта Янгфельдта в комментариях к переписке Лили Брик с Маяковским – со слов Лили Брик. Янгфельдт датирует

историю началом 1918 года, «когда Чуковский „узнал“ от одного врача, будто Маяковский заразился сифилисом и сам заразил одну женщину этой болезнью (что не соответствовало истине). По каким-то причинам Чуковский решил „информировать“ об этом М. Горького, который, в свою очередь, „предупредил“ Луначарского… Эта история наложила печать не только на последующие отношения между Маяковским и Чуковским, но и между Маяковским и Горьким».

Попробуем собрать свидетельства из первых или хотя бы вторых рук.

Вот Зиновий Паперный приводит рассказ Чуковского:

«Корней Иванович:

– Это было в 1913 году. Одни родители попросили меня познакомить их дочь с писателями Петербурга. Я начал с Маяковского, и мы трое поехали в кафе «Бродячая собака». Дочка – Софья Сергеевна Шамардина, татарка, девушка просто неописуемой красоты. Они с Маяковским сразу, с первого взгляда, понравились друг другу. В кафе он расплел, рассыпал ее волосы и заявил:

– Я нарисую Вас такой!

Мы сидели за столиком, они не сводят глаз друг с друга, разговаривают, как будто они одни на свете, не обращают на меня никакого внимания, а я сижу и думаю: «Что я скажу ее маме и папе?»

О дальнейшем, после того как Маяковский и Сонка (так звали ее с детства) остались вдвоем, рассказывает она сама в своих воспоминаниях. Как они ночью пошли к поэту Хлебникову, разбудили, заставили его читать стихи. Однажды, когда они ехали на извозчике, Маяковский стал сочинять вслух одно из самых знаменитых своих стихотворений: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно?»

Дальше Паперный со слов Лили Брик повествует о том, как Горький распространял сплетню о сифилисе Маяковского.

Бенедикт Сарнов в недавно опубликованных воспоминаниях тоже приводит рассказ Лили Брик:

"Еще до революции, году этак в четырнадцатом, был у Маяковского бурный роман с прелестной восемнадцатилетней девушкой – Софьей Шамардиной, «Сонкой», как ее называли. «Сонка» забеременела, и то ли был у нее аборт, то ли родился мертвый ребенок, но продолжать свои отношения с по-прежнему влюбленным в нее поэтом не захотела. И они расстались. Некоторое время она где-то пропадала, ее не могли отыскать. Но потом – нашлась. Разыскал ее Корней Иванович Чуковский, который тоже был в эту «Сонку» влюблен и, как видно, имел на

нее кое-какие виды.

Она ему все рассказала.

И тут – некоторая неясность: то ли Корней Иванович искренне так истолковал ее исповедь, то ли вполне сознательно оклеветал Маяковского, чтобы дезавуировать соперника.

Так или иначе, но он стал говорить направо и налево о том, какой, мол, Маяковский негодяй, – напоил и соблазнил невинную девушку, обрюхатил и даже – будто бы – заразил дурной болезнью.

Старая эта история получила вдруг неожиданно бурное развитие уже в послереволюционные годы.

Л. Ю. стала замечать, что Луначарский, с которым у них были самые добрые отношения, смотрит на них волком. Поделилась своим недоумением по этому поводу со Шкловским. А тот говорит:

– Ты что, разве не знаешь? Это все идет от Горького. Он всем рассказывает, что Володя заразил Сонку сифилисом, а потом шантажировал ее родителей".

Сама Софья Шамардина в воспоминаниях «Футуристическая юность» рассказывает, как в январе 1914 года сама «исповедовалась» Чуковскому – тот тревожился о ней, долго искал, нашел, стал расспрашивать – пришлось отвечать. «Теперь-то я знаю, что не нужно было этого делать. В развитии дальнейших наших отношений с Маяковским нехорошую роль сыграл К. И. со своей бескорыстной „защитой“ меня от Маяковского».

Чуковский, вспоминает Шамардина, таскал ее весь день с собой по своим делам, затем исповедь завершилась в куоккальской дачной бане: «Домой меня нельзя было пригласить из-за Марии Борисовны. Хорошо, что баня в тот день топилась. Он принес туда свечу, хлеба, колбасы и взял слово, что с Маяковским я больше встречаться не буду, наговорив мне всяких ужасов о нем».

И дальше (цитируется по сборнику «Владимир Маяковский. Люблю», составитель Б. Сарнов): «От меня Маяковский никогда не слышал, что о нем говорил К. И. И не от меня Маяковский узнал и о моей беременности, и о фактически преждевременных родах (поздний аборт), который сорганизовали мои „спасители“. Совершенно гнусная, не имеющая под собой никакой почвы клевета К. И. (а может быть, он сам добросовестно заблуждался) все же впоследствии стала известна Маяковскому. Но об этом мы в то время с Маяковским не говорили, никогда».

Дважды опубликовано (в альманахе «Встречи с прошлым» и в вышеупомянутом сборнике) ошибочно датированное 1915 годом

письмо Чуковского к Сергееву-Ценскому от 25 февраля 1914 года: «Водился осенью с футуристами: Хлебников, Маяковский, Крученых, Игорь Северянин были мои первые друзья, теперь же, после того как Маяковский напоил и употребил мою знакомую курсистку (милую, прелестную, 18-летнюю) и забеременил и заразил таким страшным триппером, что она теперь в больнице, без копейки, скрываясь от родных, – я потерял к футуристам аппетит».

Интересно вот что: случилась вся эта беда с Сонкой в 1914 году; об «утраченном вкусе к футуристам» К. И. пишет именно в феврале 1914-го – а весной 1915-го начинается его серьезная, настоящая дружба с Маяковским – тот живет у Чуковских на даче, обедает у них, рисует в «Чукоккале» Корнея Ивановича, Лидочку, гостей; позднее Чуковский писал в дневнике, что Маяковский называл его братом… И так же внезапно дружба надолго обрывается летом того же года («Маяковского выкатили из Куоккала», «сделал какое-то свинство», «выставил через окно»?). А сплетня неожиданно всплывает через несколько лет, уже после революции.

Послереволюционную часть истории и Паперный, и Сарнов, и Шкловский, и Янгфельдт рассказывают одинаково: Маяковский собирался бить морду Горькому, Лиля Брик его не пустила, отправилась к Горькому сама и взяла с собой Шкловского, своими ушами слышавшего от Горького сплетню. Приперли Горького к стенке, но тот толком ничего не сказал, заметив только, что слышал это «от очень уважаемого человека» (Шкловский) или даже «врача» (Лиля Брик). Адреса доктора и «уважаемого человека» не дал, ибо «лицо, которое могло бы сообщить мне это, выехало на Украину с официальными поручениями». Этим все и кончилось. «Эта история не просто „отложила отпечаток“ на отношения Маяковского и Горького, – пишет Паперный. – Она явилась началом долголетней вражды двух писателей, которая уже не прекращалась. Примирения быть не могло».

Не будем копаться в диагнозах Маяковского – желающие могут самостоятельно ознакомиться с рассказом Лили Юрьевны в записи Бенедикта Сарнова в «Континенте». Не будем строить лишних предположений, действительно ли это Чуковский насплетничал Горькому, когда и зачем это сделал; заступался ли К. И. за обиженную девушку (к которой, как пишут, сам был неравнодушен), или, обычно несдержанный на язык, сказал лишнее; сознательно клеветал или искренне верил в то, что говорил, а может быть, и вовсе – сболтнул кому-то что-то в 1914-м, а Горькому кто-то пересказал спустя пять лет… Об этой сплетне оставили свои записи Галина Катанян (тоже со слов Лили

Брик) и Виктор Шкловский (единственный, кто не ссылается на Лилю Юрьевну, ибо сам ходил к Горькому) – и любопытно, что ни он, ни Галина Катанян имени Чуковского не назвали. Зато чуть не десяток современных журналистов повторяют: Корней Чуковский из ревности оклеветал Маяковского перед Горьким, специально поссорил великого писателя с великим поэтом.

Заметим вот что: Горький не сказал, что это за «серьезный человек». Даже Шкловский, не особенно любивший Корнея Ивановича, не написал прямым текстом: это, мол, Чуковский. Напрямую обвиняла Чуковского одна Лиля Юрьевна, а уж с ее слов и остальные. Для большинства современников история кончилась в 1919 году и там осталась; чем дальше от нее человек, тем более он склонен судить, обвинять, искать подлые мотивы. Сплетниками в конечном итоге оказываются потомки.

Вторая серьезная обида, которая еще больше отдалила Чуковского и Маяковского друг от друга, тоже возникла из-за чьего-то злоязычия.

Летом 1915 года Маяковский писал и публиковал в «Сатириконе» гимны. Одним из них был злобный «Гимн критику», который Чуковский едва ли сразу принял на свой счет. Обида проявилась куда позже, уже после революции, в 1920 году, когда поэт вписал в «Чукоккалу» шуточные «Окна Чукроста» с частушками: «Скрыть сего нельзя уже: я мово Корнея третий год люблю (в душе) аль того раннее». Неизвестный доброжелатель немедленно предположил, что это намек на «Гимн критику». Маяковский не возразил.

Намек был жестокий. Даже не потому, что поэт презрительно поносит критика, – прежде всего потому, что намекает на обстоятельства, о которых приличные люди вслух не говорят:

> От страсти извозчика и разговорчивой прачки
> Невзрачный детеныш в результате вытек.
> Мальчик – не мусор, его не вывезешь на тачке.
> Мать поплакала и назвала его: критик.
> …
> Как роется дворником к кухарке сапа,
> Щебетала мамаша и кальсоны мыла;
> От мамаши мальчик унаследовал запах
> И способность вникать легко и без мыла.

Дальше повествуется о построчных пятачках, выдаивании «брюк, и булки, и галстука» из вымени «обладателя какого-то имени», о том, как теперь «легко смотреть ему, обутому и одетому, молодых искателей изысканные игры…».

Но Бог с ними, «построчными пятачками», стандартной таксой газетного фельетониста (Чуковский много и горячо жаловался на работу «по пятачку за строчку»), да и «выдаивание галстуков» тоже довольно общее место. Куда обиднее и персональнее – намеки на незаконнорожденность и мать-прачку. В 1920 году Чуковскому было уже 38 лет, у него было заработанное тяжелым трудом литературное имя, в жизни его с тех пор произошло немало радостей и горестей, и, казалось бы, об одесском детстве можно было забыть с концами, сменив имя и отчество, да и кого на третьем году советской власти волновала незаконнорожденность взрослого человека? Но детская рана так и не зажила. И если неизвестный доброжелатель был прав, – то удар Маяковский нанес страшный и ниже пояса.

Чуковский «почувствовал себя горько обиженным» и написал поэту письмо с просьбой подтвердить или опровергнуть догадку об адресате гимна. Маяковский ответил: "К счастью, в Вашем письме нет ни слова правды… Если б это было – отношение – я моего критика посвятил бы *давно и печатно.*

Ваше письмо чудовищно по не основанной ни на чем обидчивости.

И я Вас считаю человеком искренним, прямым и простым и, не имея ни желания, ни основания менять мнение, – уговариваю Вас – бросьте!"

Казалось бы, инцидент исчерпан. Однако отношения все же замутняли какие-то облака. Лиля Брик в одном из писем Маяковскому в 1923 году неприязненно писала о нежелании видеться с Чуковским.

Затем был отвратительный по своей грубости отказ Маяковского в 1926 году помочь сосланной в Саратов Лидии Корнеевне – Чуковский пришел просить помощи и услышал: «Я бы послал ее в Нарымский край». Правда, потом-то Маяковский помогал хлопотать даже не только о Лиде, но даже о ее подруге Кате Ворониной, тоже ссыльной.

Они так окончательно не рассорились и не разошлись, но и не сблизились.

«В последний раз он встретил меня в Столешниковом переулке, обнял за талию, ходил по переулку, как по коридору, позвал к себе – а потом не захотел (очевидно) со мной видеться – видно, под чьим-то влиянием: я позвонил, что не могу быть у него, он обещал назначить другое число и не назначил, и как я любил его стихи, чуя в них, в глубинах, за внешним, и глубины, и лирику, и вообще большую духовную жизнь, – писал К. И. в дневнике, узнав о смерти Маяковского. – …Казалось, что он у меня еще впереди, что вот встретимся, поговорим, „возобновим“,

и я скажу ему, как он мне свят и почему…»

Горе его было огромно и неподдельно. «Все эти дни я реву, как дурак, – писал он Галине Катанян. – Мне совестно писать сейчас Лиле Юрьевне, ей теперь не до писем, не до наших жалких утешений, но пусть она помнит, что она и сейчас нужна Маяковскому, пусть она напишет о нем ту книгу, которую она давно затеяла написать. Это даст ей силу вынести тоску. Я помню первый день их встречи. Помню, когда он приехал в Куоккалу и сказал мне, что теперь для него начинается новая жизнь, – так как он встретил единственную женщину – навеки – до смерти. Сказал это так торжественно, что я тогда же поверил ему, хотя ему было 23 года, хотя, на поверхностный взгляд, он казался переменчивым и беспутным…»

Дневниковая запись К. И. о смерти Маяковского – сбивчивая, путаная, пронзительная: «Один в квартире, хожу и плачу и говорю: „Милый Владимир Владимирович“, и мне вспоминается тот „Маякоуский“, который был мне так близок – на одну секунду, но был, – который был влюблен в дочку Шехтеля (чеховского архитектора), ходил со мною к Полякову; которому я, как дурак, „покровительствовал“; который играл в крокет, как на биллиарде, с влюбленной в него Шурой Богданович; который настаивал, чтобы Дорошевич позволил ему написать свой портрет, и жил на мансарде высочайшего дома, и мы с ним ходили на крышу, и он влюбился в Марию Борисовну, и я ревновал, и выбегал, как дурак, с биноклем на пляж глядеть, где они прячутся в кустах, и как он влюбился в Лили, и приехал, привез мое пальто, и лечил зубы у доктора Доброго, и говорил Лили Брик „целую ваше боди и все в этом роде“, и ходил на мои лекции в желтой кофте, и шел своим путем, плюя на нас, и вместо „милый Владимир Владимирович“ я уже говорю, не замечая: „Берегите, сволочи, писателей“…»

Строчки о влюбленности в М. Б. были исключены из первого издания дневников и восстановлены впоследствии. Да, выходит, Маяковский и впрямь был недолго увлечен Марией Борисовной. Хотя вряд ли это так уж много добавляет к мучительно-печальной истории разладившейся дружбы большого поэта и хорошего критика.

Катастрофа неминуема

В последние предреволюционные годы Чуковский почти оставил привычные занятия, переключившись на публицистику, творчество для детей, редактуру. Редактировал он не только заново издаваемого Некрасова. В 1915 году ему пришлось

проделать большую работу по подготовке к печати репинских воспоминаний (ранее он печатал их фрагменты в «Ниве» и тоже редактировал). Воспоминания, написанные цветистым, чудесным, размашистым слогом, изобиловали тем не менее ошибками и откровенными глупостями, и Чуковскому пришлось немало повоевать с упрямым художником, который то соглашался на правки, то требовал оставить все как было.

Какой-то большой период в жизни сам собой завершался: обрывались нити, заканчивались дела, появлялись новые интересы. Годы эти неожиданным образом подвели черту и под детскими бедами Чуковского: видимо, в это время (если судить по тому, что дочь Лида была достаточно велика, чтобы запомнить подробности) он выставил с куоккальской дачи своего отца после недолгого разговора. Был и еще один эпизод в том же роде, и вот как о нем со слов главного героя рассказывает Ольга Грудцова: "Директор гимназии Бургмейстер, фигурирующий в книге («Секрет» – «Гимназия» – «Серебряный герб». – *И. Л.),* приехал к нему в Куоккалу о чем-то просить. Корней Иванович сначала согласился, и они отправились на станцию, чтобы вместе поехать в Петроград. Был сильный ветер, мороз, сани опрокинулись в яму. Корней Иванович вылез и стал вызволять Бургмейстера, а потом вдруг подумал: «Он меня исключил из гимназии, с какой стати я буду помогать ему?» И пошел домой". Судя по тому, что Чуковские еще живут в Куоккале, но Петербург уже переименован в Петроград, – это было как раз во время Первой мировой; правда, в финале «Гимназии», перечисляя, о чем автор мог бы рассказать, если ему «случится продолжать эту повесть», говорится: «как через десять лет я отомстил Шестиглазому за все его обиды и жестокости». Выходит, случай этот произошел раньше – но все-таки несомненно имел место.

В начале 1916 года Чуковского включили в состав приглашенной в Лондон делегации российских деятелей печати – ради укрепления союзнических отношений. Другими делегатами стали Алексей Толстой, который в это время работал в периодической печати, Владимир Дмитриевич Набоков, редактор-издатель «Речи», писатель Василий Немирович-Данченко, журналист Александр Башмаков, еще один журналист – нововременец Ефим Егоров. Сопровождал делегацию российский корреспондент лондонской «Тайме» Роберт Арчибальд Вильтон.

Чуковский писал жене подробные отчеты едва ли не о каждом дне своей поездки. Первое письмо – воодушевленное и веселое; Чуковский явно рад, что едет в Англию, по которой так скучал много лет. Он дает краткие выразительные характеристики коллегам, рассказывает о многочисленных дорожных

знакомствах: он и здесь цепляется за малейший шанс поговорить с попутчиками. Дорога была чрезвычайно длинной: из Петербурга поездом в Финляндию, затем в Швецию, по Скандинавскому полуострову вверх, потом вниз к Стокгольму, оттуда в Христианию (Осло), оттуда пароходом в Ньюкасл, из Ньюкасла поездом в Лондон… А впереди новые заманчивые перспективы: «нас ведь будут катать на броненосце, мы будем летать на аэропланах, ездить в подводных лодках и т. д.». Его не особенно мучит бессонница, он полон надежд, делегация, утомленная долгой дорогой, вовсю дурачится.

Ольга Грудцова записала такой фрагмент воспоминаний Чуковского:

«Пароход подплывал к берегу, все высыпали на палубу: „Земля!.. Земля!“ Я пришел в такой экстаз, что бросил в воду свою шляпу (конечно, рядом стояла молодая красивая дама). Когда мы высадились, я пошел по магазинам покупать себе новую шляпу. А за мной шла толпа норвежцев, и они говорили друг другу: „Это русский! Тот самый, который бросил шляпу в воду!“»

В «Чукоккале» рассказывается, как на корабле кто-то подшутил над Толстым, насочиняв ему, что в море полно мин, а за кораблем охотится германская субмарина; Толстой побежал строчить корреспонденцию о минах; узнав о розыгрыше, – разозлился, бросился к старцу Немировичу-Данченко, ни в чем не повинному, и едва не выбросил за борт его вставную челюсть.

По приезде в Лондон делегацию на вокзале "встретили репортеры, К. Набоков, *Aladin* и проч.", – писал Чуковский жене (*Äladin* – это Аладьин, тот самый думский деятель, который «твердил Горемыкину: я тебя, Горемыкина, выкину»; за границу он убежал в 1906 году, когда был приговорен к ссылке за пропаганду среди рабочих. Он тоже оставил в «Чукоккале» свой автограф). Дальше Корней Иванович живописует превосходную гостиницу, где поселили русских, – с трехкомнатными номерами, живой сиренью и десятками зеркал… "А башмаки у меня дырявые, и вчера я должен был спешно покупать себе фрак… русско-английское общество давало нам обед сверхъестественный. Рядом со мною сидел Конан-Дойл, автор Шерлока, дальше *Edmund Gosse,* знаменитый критик, редакторы *«Morning Post», «Spectator», «Westminster Gazette»,* и, конечно, я сейчас же соорудил «Чукоккала» – и получил множество редчайших автографов".

В комментариях к собранным в этот день альбомным записям Чуковский пишет, что в эту поездку он, «чтобы не тратить времени на встречи с официальными лицами, старался при всякой возможности оторваться от других делегатов, дабы

познакомиться с теми английскими авторами, книги которых полюбил еще в России». Среди этих авторов были упомянутый критик Эдмунд Госс («из книг которого я так много узнал о Мильтоне, о Шекспире»… и т. д.); будущий генерал-губернатор Канады, шотландский писатель Джон Бьюкен, Конан Дойл, прогулку с которым по Лондону Чуковский и Толстой, единственные из всей делегации, предпочли посещению «какого-то немаловажного министра».

Однажды в гостиницу «Савой» к Чуковскому пришел Роберт Росс – друг Оскара Уайльда, который – «единственный из тысячи друзей… не покинул его в несчастии», выплатил его долги, взял на воспитание сыновей, публиковал его книги… Пришел он потому, что знал статью русского критика об Уайльде, хотя вряд ли мог ее прочитать. Чуковский рассказывает об этом визите не так уж много: говорили о том-то, сходили на выставку Бердсли… Остается только предполагать, насколько сильно эти разговоры разбередили Россу душу, как зацепили его – если на прощание он подарил Чуковскому единственное, что у него осталось от Уайльда, – рукописную страничку «Баллады Редингской тюрьмы». «Я хочу, – сказал он, – чтоб в России, где так любят Уайльда, сохранилась память о нем, – эта рукопись». Впрочем, так ли уж в тогдашней России любили Уайльда, – это еще вопрос; Чуковский со свой колоссальной эрудицией и неподдельной любовью к литературе смог бы даже папуаса убедить, что в России любят и ценят новогвинейских писателей, и даже процитировал бы какого-нибудь местного классика…

Росс написал в «Чукоккале», что Англии предстоит весь двадцатый век преодолевать идеалы девятнадцатого; имелась в виду, как сформулировал Чуковский, борьба с предрассудками и догматами лицемерной викторианской эпохи. В ту пору Корней Иванович был всецело на стороне борцов; отзвуком тех разговоров и увлеченности Уайльдом (наверняка Чуковский обсуждал отношение англичан к нему и с другими членами делегации) стала апокрифическая история, которую Владимир Владимирович Набоков приводит в своих «Других берегах», якобы со слов отца, любившего рассказывать ее за обеденным столом в числе других историй, привезенных из той поездки:

«Во время аудиенции у Георга Пятого Чуковский, как многие русские, преувеличивающий литературное значение автора „Дориана Грея“, внезапно, на невероятном своем английском языке, стал добиваться у короля, нравятся ли ему произведения – „дзи воркс“ – Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно выговаривает, вежливо

выслушал его и спросил на французском языке, не намного лучше английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман – „бруар“. Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества, – замалчивания гения писателя из-за безнравственности его личной жизни». В 1961 году «Другие берега» попали к Чуковскому. «Вздор! – отреагировал он. – Король прочитал нам по бумажке свой текст и Вл. Д. Набоков – свой. Разговаривать с королем не полагалось. Все это анекдот. Он клевещет на отца…»

Обычные люди интересны Чуковскому не меньше, а то и больше, чем король и политики: "В поезде из Нью-Кастля в Лондон я ехал 3-м классом, и всю дорогу болтал с солдатами и матросами, чуть прибыл в Лондон – с *Miss* Peacok и десятком интервьюеров, потом с портным, потом на банкете со всеми лордами и джентльменами", – пишет он жене.

Важная часть лондонского визита – встречи со старыми друзьями: Шкловским-Dioneo и его семьей, Константином Набоковым, Владимиром Жаботинским. Правда, дружеские встречи становились вместе с тем и расставанием: с К. Набоковым Чуковский совсем разошелся (потом в дневнике писал, что отчасти из-за его гомосексуальных наклонностей – «его любовь ко мне была любовью урнинга»); с Жаботинским, всецело посвятившим себя сионизму, уже почти не осталось общих интересов. Правда, явным следствием встречи с давним знакомым стала статья в «Речи» «Под знаменем Сиона» и публикация книги генерала Паттерсона «С еврейским отрядом в Галлиполи» – о еврейском легионе, в организации которого Владимир Евгеньевич принимал деятельное участие. Книгу в 1917 году издало Русское общество изучения еврейской жизни (председательствовал в обществе граф И. И. Толстой, заместителем был Горький, ставились цели изучения еврейской культуры, быта, религии, идеологии и т. п.). Чуковский отредактировал сделанный М. Благовещенской перевод и написал предисловие о том, с какой удивительной отвагой сражаются еврейские солдаты в составе британской армии (с ними, в том числе и с героем войны Иосифом Трумпельдором, он встречался в Англии): «Пусть мечта таких людей утопична, несбыточна, тем ревностнее они ей служат, несмотря ни на что, вопреки всему»; «Вот какой был тогда подъем. Этим людям шепнули только одно слово Палестина, и слово оказалось волшебным. Мы, христиане, и не подозревали, как оно неотразимо властительно над современными еврейскими душами… Они охотно умрут за Россию, но умереть за прародину – для них удесятеренное

счастье».

Отводя предвкушаемые упреки в сионизме, Чуковский замечает: «Издавая книжку о сионском отряде, мы отнюдь не намерены проповедовать и прославлять сионизм. Прежде чем судить о сионизме, нам, неосведомленным русским читателям, нужно познакомиться с ним. В современном еврействе есть много других, враждебных сионизму течений, о которых мы тоже не знаем почти ничего, и, прежде чем идейно примыкать к тому или иному течению, нам надлежит добросовестно их изучить».

Российскую делегацию принимали министр иностранных дел Англии Эдвард Грэй, министр обороны лорд Китченер, командующий флотом Джон Джеллико. Русских возили смотреть строящиеся суда и самолеты, показывали флот, заводы, казармы (Чуковский писал жене, что в лагере австралийских солдат он задержался на целый день, так они ему понравились – ходил из казармы в казарму, разговаривал, нашел героя для одной из статей). Изо дня в день – дорога, поезда, встречи, речи, банкеты, поездки, разговоры, мелькание лиц.

Постепенно письма Чуковского домой становятся все печальнее: «Детей я никаких видеть не могу, так скучаю по своим». «Так нас мотают целые дни – не давая никакой возможности написать ни строки, отдохнуть, сосредоточиться, очнуться. Французское правительство пригласило нас также во Францию – но я отказался, ибо чувствую, что изнемог окончательно и писать ни о чем не умею. Мне в этих огромных палатах кажется раем маленькая комнатушка в Куоккале». «У меня такая почему-то тоска, что я боюсь оставаться один».

Опять началась бессонница.

Чуковский писал позднее в дневнике, вспоминая Владимира Дмитриевича Набокова: "В 1916 году, после тех приветствий, которыми встретила нас лондонская публика, он однажды сказал:

– О, какими лгунишками мы должны себя чувствовать. Мы улыбаемся, как будто ничего не случилось, а на самом деле…

– А на самом деле – что?

– А на самом деле в армии развал; катастрофа неминуема, мы ждем ее со дня на день…

Это он говорил ровно за год до революции, и я часто потом вспоминал его слова".

Делегация вернулась в Россию в марте. Они все-таки успели побывать в Париже, еще с кем-то встречались, куда-то ездили, обо всем этом Чуковский упомянул лишь вскользь, записывая в дневнике отрывочные воспоминания: «В 1916 году я был в Париже – с Ал. Толстым, Вл. Набоковым и Вас. Немировичем-Данченко. К нам в гостиницу явился сладкоречивый г-н Цейтлин

и от имени своей супруги пригласил нас к ним на обед…» Г-н Цейтлин четырьмя годами раньше купил портрет Чуковского кисти Репина, проданный на римской выставке по недоразумению за смехотворную сумму. Парижская встреча с Цейтлиными была первой из многих попыткой Корнея Ивановича вернуть принадлежавший ему портрет (впрочем, не вернувшийся в семью до сих пор).

Репину К. И. писал из Парижа в марте 1916 года: "Здесь весна, деревья в цвету, я так восхищаюсь всем, что хочется камни целовать!.. Приехал вчера вечером, бросился в Латинский квартал. Видел собор Парижской Богоматери, бродил над Сеной и чувствовал, что здесь моя настоящая родина. Сегодня утром пошел на *Rue de Rivoli,* отыскал № 210 и предположил почему-то, что здесь жил Тургенев; побродил по Вашим местам, по Латинскому кварталу, ужаснулся Эйфелевой Башне – и вот теперь тороплюсь набросать две строки – ибо пришел негодяй репортер и выматывает всю мою душу".

Больше о своем пребывании в Париже он ни разу не обмолвился ни словом.

В 1917 году вышла его книга «Англия накануне победы», в которой немало замечательных наблюдений и горячего желания перенести лучший опыт на родную почву. Чуковский искренне восхищается всенародной готовностью делать все для победы, женщинами и детьми, заменившими мужчин у станков, на транспорте и в конторах, иностранными легионами, с солдатами которых подолгу беседовал. Он даже летал на аэроплане: «…и вот после недолгих хлопот на меня напяливают неуклюжую куртку, кожаные желтые брюки и теплую шапку с наушниками. Мне весело, хочется петь и мальчишествовать. Я никогда не летал; панически боюсь высоты; на высоких балконах и лестницах прямо-таки умираю от страха и однажды, увидев на колокольне красильщика, в ужасе пригнул к мостовой голову да так и прокоченел минуты две. Почему же в этой хрупкой коробочке я чувствую себя так мажорно и лихо? В стуке пропеллера есть восторг и экстаз и обетование какой-то свободы, о которой мы тоскуем всю жизнь…»

Он старался увидеть все, запомнить все, рассказать русскому читателю; сокрушался между прочим, что в Англии знают Россию, интересуются ею, пытаются даже выговаривать непостижимые русские топонимы вроде «Перемышль», он же «Пржемышль»… а русские Англией не интересуются, ничего о союзниках знать не хотят.

Самое, пожалуй, тяжелое его впечатление – осмотр бельгийского города Ипра после бомбежки. Зрелища войны

Чуковский не выносит. Его тошнит. «Мне гадки эти исковерканные здания», – пишет он. Смотрите, говорят ему сопровождающие. «Но я не смотрю – я бегу. Мне кажется, что мир сошел с ума и умеет только пакостить, портить, ломать, как бездарный, отупелый идиот». Он не может и не хочет быть военным журналистом. Его не занимает война – только люди, в экстремальных условиях остающиеся людьми.

Первые газетные публикации по материалам английской поездки стали появляться в газетах только в начале мая.

Среди сохранившихся писем Чуковского Репину есть одно, написанное в сентябре 1916 года из лечебницы Кальмейера – петроградского Института скорой помощи «по внутренним, хирургическим и нервным болезням».

«Попал я в больницу потому, – писал Чуковский, – что у парикмахера в прошедший понедельник вдруг лишился чувств (это секрет от Марии Борисовны) и потом долго не мог ни рукой ни ногой. Истощили проклятые бессонницы. Здесь я сплю, но мало; водолечение действует волшебно». Сказалось напряжение заграничной поездки, усталость, обилие впечатлений и спешная работа над книгой. «Всякие большие впечатления – для меня яд и вред… – жалуется Чуковский в этом письме. – Лечат меня умно, без лекарств, – ваннами, душами и строгим вегетарианским режимом. Гуляю я на крыше, на 7-м этаже, или по нелюдным улицам». В этом году он на удивление мало (по его меркам, конечно) печатается в периодике: всего семь «английских» статей в «Речи», «Русском слове» и «Ниве» с мая по сентябрь; предисловие к Паттерсону; две книжные рецензии, ни одной статьи о Некрасове, ни одной критической. Летом он сам жалуется в дневнике на то, что его «безделье – подлое – достигло апогея». Чем же он занимался между поездкой в Англию и революцией? Готовил второе издание вышедшей в прошлом году книги «Заговорили молчавшие», о солдатских письмах англичан, и писал новую – «Англия накануне победы». Похоже, он приостановился перед новым качественным скачком – сменой жанра, которая, как обычно, совпала у него со сменой вех эпохи.

«Жил да был Крокодил»

«Крокодила» принято датировать 1916–1917 годами. Чуковский в дневнике (в 1955 году) вспоминал о первом появлении замысла этой сказки так: "В Хельсинки мы ездили с ним (сыном Колей. – *И. Л.)* и Марией Борисовной в 1914 году до войны (или в 1913-м). Там он зазевался на улице, и на него наехал экипаж. Мы в ужасе отвезли его к хирургу, думали: он

повредил ногу! Хирург (финн) с омерзением оглядел ногу русского мальчика, даже ушиба не было к его огорчению, и Коля от всех потрясений мгновенно уснул. Чтобы развлечь его дорогой в поезде, я рассказывал ему сказку о Крокодиле: «Жил да был Крокодил» под стук поезда. Импровизация была длинная, и там был «Доктор Айболит» – в качестве одного из действующих лиц; только назывался он тогда: «Ойболит», я ввел туда этого доктора, чтобы смягчить тяжелое впечатление, оставшееся у Коли от финского хирурга".

В предисловии к книге «Стихи», озаглавленном «Об этой книжке», Чуковский рассказывал примерно то же. Только на сей раз оказывается, что замысел поэмы был подсказан Чуковскому Горьким, с которым Корней Иванович познакомился в 1916 году. Чуковский пытался последовать совету Алексея Максимовича и написать «эпическую вещь из современного быта», но «вирши выходили корявые и очень банальные». Наконец, "случилось так, что мой маленький сын заболел, и нужно было рассказать ему сказку. Заболел он в городе Хельсинки, я вез его домой в поезде, он капризничал, плакал, стонал. Чтобы как-нибудь утихомирить его боль, я стал рассказывать ему под ритмический грохот поезда:

Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил…

Стихи сказались сами собой. О их форме я совсем не заботился. И вообще ни минуты не думал, что они имеют какое бы то ни было отношение к искусству. Единственная была у меня забота – отвлечь внимание ребенка от приступов болезни, томившей его. Поэтому я страшно торопился: не было времени раздумывать, подбирать эпитеты, подыскивать рифмы, нельзя было ни на миг останавливаться. Вся ставка была на скорость, на быстрейшее чередование событий и образов, чтобы больной мальчуган не успел ни застонать, ни заплакать. Поэтому я тараторил, как шаман…".

Здесь возникает множество неувязок. Во-первых, защищая в конце 1920-х годов свою сказку, которую резко критиковала Крупская и многие другие, он указывал, что читал ее еще в 1915 году на Бестужевских курсах, а в 1916-м – Горькому, так что она не может быть антисоветской. Во-вторых, в 1916 году Коле было уже 12 лет, и вряд ли он мог так ныть, капризничать – и утешаться, слушая сказочку, рассчитанную на дошкольника.

Наконец, поездка в Хельсинки, несчастье с ребенком и возвращение в поезде и в самом деле были – но в 1911 году, о чем

в дневнике Чуковского есть запись: "Колю переехал извозчик – он соскочил с трамвая, и мы с Машей не доглядели за ним. Маша кричала, Коля кричал, изо рта у него кровь – сбежались люди – *herurgissa* – неизвестно, куда везет нас извозчик… Доктор молодой, никаких слов утешения, – разденьте его – оденьте его – ждал, когда я его спрошу: *is it broken!* – нет, холодную воду". Но тогда с Колей ничего плохого не случилось: он встал, пошел своими ногами, после этого семья еще съездила на «Звериный остров», где мальчик любовался зверями и «бегал безумно», и только на следующий день Чуковские сели в поезд и поехали домой – безо всякого нытья и капризов.

Ребенок, жестоко мучимый в дороге приступами болезни, и отец, который тараторит, как шаман, пытаясь заговорить боль, – это тоже было, но позднее, в 1930 году, когда Чуковские везли младшую дочь, больную костным туберкулезом Мурочку в санаторий в Крыму: «Мура проснулась с ужасной болью. Температура (с утра!) 39°… Боль у Муры дошла до предела. Так болела у нее пятка, что она схватилась за меня горячей рукой и требовала, чтобы я ей рассказывал или читал что-нб., чтобы она могла хоть на миг позабыться; я плел ей все, что приходило в голову, – о Житкове, о Юнгмейстере, о моем „телефоне для безошибочного писания диктовки“. Она забывалась, иногда улыбалась даже, но стоило мне на минуту задуматься, она кричала: ну! ну! ну! – и ей казалось, что вся боль из-за моей остановки».

Чуковский действительно «заговаривал», забалтывал боль, – отвлекал больных детей от мучений рассказами и сказками; есть свидетельство издателя Алянского о том, как Корней Иванович разговорами заставил Блока забыть о больной ноге…

Собственно, не так уж важно, при каких обстоятельствах возник «Крокодил» и какую роль в его рождении сыграли Коля, Хельсинки и Горький. Мирон Петровский высказывает догадку, что Чуковский мог говорить о том, что замысел поэмы принадлежит Горькому, спасая ее от нападок.

В дневниках есть и совсем ранние крокодильи следы. 1901: "Кстати: нужно писать рождественский рассказ. Назвать его: *Крокодил.* (Совсем не святочный рассказ)". 1909: «Обсуждались проекты, как сделать крокодила умнее. Коля говорит: пускай крокодила родят люди, вот он и будет умнее». 1914: «Перед этим я читал Достоевского и „Крокодил“, и Репин фыркал, прервал и стал браниться: бездарно, не смешно. Вы меня хоть щекочите, не засмеюсь, это ничтожно, отвратительно».

Генезису «Крокодила» посвящено большое и остроумное исследование Мирона Петровского (см. предисловие к тому

стихотворений Чуковского в «Новой библиотеке поэта»). Он находит черты, роднящие крокодилов Достоевского и Чуковского (например, оба они пустые внутри и могут заглотить человека целиком, в обоих произведениях присутствует тема зверя, который мучается у людей в неволе). Он же обращает внимание на то, что были у этого пресмыкающегося и другие предшественники: «Едва ли мимо слуха литератора, столь внимательного к проявлениям низовой культуры, прошли песенки о крокодилах, повсеместно зазвучавшие как раз в ту пору, когда Чуковский начинал сочинять свою сказку. Словно эпидемия, прокатилась песенка неизвестного автора „По улицам ходила большая крокодила“, заражая всех своим примитивным текстом и разухабистой мелодией. Огромной популярностью пользовалось – и тоже распевалось (на музыку Ю. Юргенсона) – стихотворение Н. Агнивцева „Удивительно мил, жил да был крокодил“. Еще один поэт с восторгом и ужасом восклицал: „Ихтиозавр на проспекте! Ихтиозавр на проспекте!“ Так что Чуковский, выводя своего Крокодила на Невский, мог ориентироваться на широкий круг источников – „высоких“ и „низких“: в прецедентах недостатка не было».

Петровский подробно говорит о главной особенности «Крокодила» – новом поэтическом языке: так раньше с детьми никто не разговаривал. В поэзии для детей появилась новая ритмика – народная, фольклорная, с одной стороны, с другой – размеры и ритмы детских поэм Чуковского явственно отсылают к литературной классике, приучают детей к звучанию классического стиха. «Первый, кто слил литературную линию с лубочной, был Корней Иванович, – писал Самуил Маршак. – В „Крокодиле“ впервые литература заговорила этим языком. Надо было быть человеком высокой культуры, чтобы уловить эту простодушную и плодотворную линию. Особенно вольно и полно вылилось у него начало. „Крокодил“, особенно начало, – это первые русские Rhymes».

Здесь отмечена очень важная заслуга Чуковского перед отечественной литературой: он действительно создал первые литературные *Nursery Rhymes* на русском языке, аналог фольклорных прибауток и считалок для первого детского чтения. В английском были «Сказки матушки Гусыни», в русском пока не было ничего, кроме устной традиции. Потому Чуковский потом так тщательно собирал, записывал, любовно и бережно обрабатывал фольклор для детей.

Еще одна важная черта, подмеченная не только Петровским, – это родство между «Крокодилом» и блоковской поэмой «Двенадцать», тоже выросшей из низовой, массовой поэтической

стихии. Петровский говорит, например, об известной и Блоку, и Чуковскому частушке «Пила чай с сухарями, / Ночевала с юнкерями!/ Маланья моя/ Лупоглазая!» как ритмическом источнике строки «Крокодил, Крокодил, Крокодилович» у одного и «В кондовую, в избяную, в толстозадую» – у другого, хотя невооруженным взглядом видно, что родство это довольно отдаленное. Подобных источников было немало; достаточно привести еще одну дневниковую запись Чуковского от 15 июня 1914 года о театральном представлении в Териоках: "…частушка, спетая хором, с припевом:

Я лимон рвала,
Лимонад пила,
В лимонадке я жила.

Певцы загримированы фабричными, очень хорошо. Жена Блока, дочь Менделеева, не пела, а кричала, по-бабьи, выходило очень хорошо, до ужаса. Вообще было что-то из Достоевского в этой ужасной лимонадке, похоже на мухоедство, – и какой лимон рвать она могла в России, где лимоны?"

Таких песен и частушек с монорифмическими строфами, со скачущим от строки к строке размером, повсюду звучало множество, и самые чуткие уши эпохи их быстро услышали. Кстати, в записных книжках Блока в 1915–1916 годах много рассуждений о литературе для детей – и они очень созвучны мыслям Чуковского; например, Блок говорит о необходимости «объяснять детям все народное».

Детские поэмы Чуковского – настоящая антология русского стиха, от былины и частушки до Некрасова, Лермонтова, Хлебникова, убедительно и подробно доказывает Петровский. "«Крокодил» представляет собой «младшую», «детскую» ветвь *эпоса революции* (и шире – демократического движения), – еще в 1975 году замечали Михаил Гаспаров и Ирина Паперно. – В этом смысле «ирои-комическая» поэма «Крокодил» представляет собой интересную типологическую параллель к «большому» революционному эпосу – поэме Блока «Двенадцать». Последняя, как известно, также построена на цитатах и отсылках, источники которых частично совпадают с «Крокодилом»: газетные заголовки и лозунги, Пушкин, Некрасов, плясовые ритмы, вульгарно-романсная сфера…"

А вот фрагмент стихотворения Александра Кушнера «Современники», наглядно иллюстрирующий «типологические параллели»:

Никому не уйти никуда от слепого рока.
Не дано докричаться с земли до ночных светил!
Все равно, интересно понять, что «Двенадцать» Блока
Подсознательно помнят Чуковского «Крокодил».
Как он там, в дневнике, записал: «Я сегодня гений»?
А сейчас приведу ряд примеров и совпадений.

Гуляет ветер. Порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Через болота и пески
Идут звериные полки.

И счастлив Ваня, что пред ним
Враги рассеялись, как дым.

Пиф-паф! – и буйвол наутек.
За ним в испуге носорог.

Пиф-паф! – и сам гиппопотам
Бежит за ними по пятам.

Трах-тах-тах! И только эхо
Откликается в домах.

Но где же Ляля? Ляли нет!
От девочки пропал и след.

А Катька где? Мертва, мертва!
Простреленная голова.

Помогите! Спасите! Помилуйте!

Ах ты, Катя, моя Катя,
Толстоморденькая…

Крокодилам тут гулять воспрещается…

Закрывайте окна, закрывайте двери!

Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!

И больше нет городового.

И тут живой
Городовой
Явился вмиг перед толпой.

Ай, ай!
Тяни, подымай!

Новизна сказки не ограничивается областью формы. Содержание «Крокодила» – тоже довольно новаторское: ребенок чуть ли не в первый раз в русской литературе оказался главным героем событий, происходящих на городских улицах, – первым на это обратил внимание Тынянов. До сих пор дети резвились в усадьбах, играли в детских, а в опасном, но соблазнительном городе нуждались в сопровождении взрослых. «Процесс обновления детской книги, начавшийся в конце XIX века, европейские педагоги связывали с обращением литературы к городу и городскому ребенку, – пишет исследовательница детской литературы М. Костюхина. – …Новая концепция детства связывалась с городским ребенком… На рубеже XIX–XX веков городские дети становятся популярными литературными героями, а городские кварталы – привычным местом действия. Это характерно как для детских книг, так и для взрослых произведений о детях. Среди авторов произведений о городском ребенке – В. Немирович-Данченко, Д. Мамин-Сибиряк, И. Шмелев, А. Свирский, А. Куприн и многие другие. До неузнаваемости меняется поведение ребенка на улицах города. Из робкого ученика он превращается в наглого школяра, бойкого уличного торговца или бесстрашного Ваню Васильчикова, про которого сказано: „он боец, молодец, он без няни гуляет по улицам“». «Ребенок перестал быть только объектом, на который направлено действие поэтического произведения для детей, и превратился в поэтический субъект, в самого действователя», – подчеркивает Мирон Петровский. Ребенок в «Крокодиле» – герой, спаситель, победитель, а не опекаемый взрослыми наивный гость в чужом мире.

Чуковский, как мы помним, говорил о вторжении города в литературу задолго до мировой войны. И поэма у него насквозь городская, стремительная, с частым изменением ритма, полная движения и событий. Позднее он подведет под свои интуитивные догадки крепкую теоретическую базу: заговорит о том, как ребенок воспринимает мир, проанализирует стихи, сочиняемые детьми, создаст заповеди для детских поэтов. И будет особо

подчеркивать роль глаголов в детском творчестве и творчестве для детей.

Остается добавить, что «Крокодил» важен еще и тем, что эта сказка при всей ее плясовой веселости чрезвычайно серьезна по тематике. Чуковский написал ее на третий год мировой войны. Влияние войны на детские умы и души давно беспокоило его, и сказка продиктована жарким желанием помочь детям найти нравственные ориентиры в мире, где все становится с ног на голову. Во Вторую мировую он тоже взялся за антивоенную сказку… но об этом рассказ впереди.

Первые строфы «Крокодила» – действительно импровизационные, игровые. Дальше Чуковский уже планомерно дописывал сказку, читал разным людям и разным аудиториям, проверял, как она звучит, легко ли произносится вслух, как воспринимается. Об одном из таких чтений рассказывается в дневнике: в феврале 1917 года автор читал свою сказку Мережковским: «Выслушали „Крокодила“ с большим вниманием. Гиппиус похвалила первую часть за то, что она глупая, – „вторая с планом, не так первобытна“».

Была сказка прочитана и Горькому. Писатель и критик, наконец, встретились лично – 22 сентября 1916 года в вагоне поезда. В воспоминаниях о Горьком Чуковский писал: «Именно из-за детской литературы он и познакомился со мною. Когда я пытался печатно обличать ее беспринципность и дрянность, я и не подозревал, что Горький сочувственно следит за моими попытками. Но однажды… ко мне пришел от него художник Зиновий Гржебин, работавший в издательстве „Парус“, и сказал, что Алексей Максимович намерен наладить при том издательстве детский отдел с очень широкой программой и хочет привлечь к этому делу меня. Было решено, что мы встретимся на Финляндском вокзале и вместе поедем в Куоккалу, к Репину, и по дороге побеседуем о „детских делах“».

Дневник: «Гржебин сказал, что едем к Репину в 1 ч 15 м. Я на вокзал. Не нашел. Но, глянув в окно купе 1-го класса, – увидел оттуда шершавое нелепое лицо – понял: это он. Вошел. Он очень угрюм: сконфузился. Не глядя на меня, заговаривал с Гржебиным: – Чем торгует этот бритый, на перроне? Пари, что это русский под англичанина. Он из Сибири – пари! Не верите, я пойду, спрошу. – Я видел, что он от застенчивости, и решил деловитыми словами устранить неловкость: заговорил о том, почему Розинеру до сих пор не сказали, что Сытин уже купил Репина».

В воспоминаниях Чуковский говорит о том, что первые минуты знакомства оказались тяжелыми: Горький хмуро отмалчивался, в его сторону не смотрел, изредка роняя «две-три

фразы Зиновию Гржебину». Должно быть, критик, написавший о Горьком столько нелестных слов, и впрямь чувствовал себя не лучшим образом – и «затосковал от обиды».

"Но вдруг в одно мгновение он сбросил с себя всю угрюмость, приблизил ко мне греющие голубые глаза… и сказал повеселевшим голосом с сильным ударением на *О́:*

– По-го-во-рим о детях".

Горький говорил о том, что мало бороться с пошлостью в детской литературе – надо дать что-то взамен. Надо подготовить программу книгоиздания для детей. Именно этим-то он и предложил заняться Чуковскому. Тот оробел: надо было сразу приступать к этому огромному делу. Тем не менее в «Парус» пришел и составлением списка занялся. Так началась та детская литература, которой наша страна до сих пор по праву гордится.

Списки и в самом деле были громадные, именно из них потом выросли планы советских детских издательств: русская литература, зарубежная литература – что переведено и нуждается в редактировании, что надо перевести заново, что – впервые. Горький поражал своей эрудицией, так что «к каждому нашему совещанию мне пришлось готовиться, словно к экзамену, – писал Чуковский, – и впоследствии это принесло мне немалую пользу».

Первой совместной работой Горького и Чуковского стал сборник «Елка», который изначально назывался «Радуга» и должен был выйти весной 1917 года, но из-за революции и разрухи появился только в январе 1918-го. В его создании участвовали лучшие художники и писатели и делали это совершенно в куоккальской манере безоглядного веселого озорства. История сборника подробно изложена в воспоминаниях о Горьком, и нет смысла ее пересказывать. Те, кому эта библиографическая редкость попадала в руки, наверняка обращали внимание на то, как современно звучит большинство стихов и сказок (за редким-редким исключением); для литературоведов и искусствоведов там припрятано особое удовольствие: в ребусе «ночной сторож» художник Добужинский среди «ста рож» изобразил множество собратьев по искусству. Лучше всех угадываются нарисованные нос к носу Горький и Чуковский, легко распознается Алексей Толстой… а еще там есть Станиславский, Грабарь, Сологуб и многие другие. «Хотя этот юмор был, так сказать, домашнего свойства и не предназначался для малолетних читателей, Горький любил культивировать его в нашей работе, дабы создать атмосферу веселья, которая, по мнению Алексея Максимовича, была нужна для творцов детской книги», – рассказывал Чуковский.

Отличительной чертой «Елки» стало изгнание из нее

всяческого детского благочиния – в первую очередь рождественских персонажей, которые у создателей сборника ассоциировались даже не с религией, а со скукой, послушанием и паиньками. И когда «Радугу» пришлось переименовать в «Елку», а на форзаце картинку с радугой впопыхах заменили картинкой с елочкой, а вокруг нее возникли ангелочки и «младенец Христос, благословляющий обеими руками всю эту небесную ораву», – тогда и Горький, и Чуковский весьма огорчились. Благочестивые паиньки решительно не вписывались в их концепцию боевого, озорного, радостного детства. Со временем из детской литературы вслед за сусальностью и благочестием была вытравлена и религия – и когда она стала возвращаться, возвращение это зачастую пошло по старым путям: свечечки, ангелочки, послушные детишки…

«Сборник вышел неплохим, – писал Чуковский, – но во время его составления я опять-таки с горечью чувствовал, что детская литература пустыня, в которой нет даже миражей и оазисов. Сборник, в сущности, строился из произведений „взрослых“ писателей – Горького, Ал. Толстого, Валерия Брюсова, а талантливых детских прозаиков и детских поэтов не было, за исключением разве Марии Моравской, которая в своих детских стихах становилась все более жеманной».

Именно этой пустынностью детской литературы, да еще поддержкой Горького Чуковский и объясняет свое желание взяться за детскую сказку: «После первой же встречи с Горьким я решился на дерзость: начал поэму для детей („Крокодил“), воинственно направленную против царивших в тогдашней детской литературе канонов. Прежде я никогда не осмелился бы на такое „новаторство“. Так как детский отдел в издательстве „Парус“ очень скоро закрылся, мне пришлось печатать „Крокодил“ в крохотном журнале „Для детей“, выходившем под моей редакцией при „Ниве“ в девятьсот семнадцатом году». «Крокодил» выходил в этом издании маленькими выпусками во всех двенадцати номерах. Сотрудники «Нивы» были в ужасе: как это, при таком уважаемом журнале печатать сказку «для уличных мальчишек»? А дети пришли в восторг, о чем и писали в редакцию.

Первого января 1917 года К. И. записывал в дневнике: "Лида, Коля и Боба больны. Служанки нет. Я вчера вечером вернулся из города, Лида читает вслух:

– Клянусь Богом, – сказал евнуху султан, – я владею роскошнейшей женщиной в мире, и все одалиски гарема…

Я ушел из комнаты в ужасе: ай да редактор детского журнала, у к-рого в собственной семье так".

Бумажные дни

Между тем подпочвенный гул, слышавшийся все это время, становится громче и громче, и магма все ближе поднимается к поверхности, и стрелка сейсмографа неумолимо отклоняется. Удивительно, что Чуковский, который одним из первых услышал далекую бурю и предугадал ее последствия, оказался поразительно неподготовленным к тому, что сам предсказывал.

Наконец, грянуло. 4 марта Чуковский записывает в дневнике: «Революция. Дни сгорают, как бумажные. Не сплю. Пешком пришел из Куоккала в Питер. Тянет на улицу, ног нет. У Набокова: его пригласили писать амнистию». Естественно, первым делом он пошел к тому, кто еще год назад пророчил катастрофу – и, должно быть, понимал, что происходит.

И все же он продолжает жить прежней жизнью: невзирая на революции, демонстрации, митинги, надо каждый день кормить детей, заниматься их образованием, держать корректуры. Выходят две книжки и крупная публикация в «Ниве» – неизданная прежде некрасовская повесть «Каменное сердце», где в героях с ничего не значащими фамилиями Чуковский узнал Достоевского, Белинского и Тургенева; Корней Иванович подготовил ее к печати, снабдил предисловием и нужными комментариями.

Прежняя жизнь продолжается и в Куоккале: Чуковский беседует с Репиным и его гостями – о картинах, об архитекторах, о прошлом… Занимается издательскими делами. Возится с детьми, катает их в лодке, читает им, играет в шарады. Купается. Дети пишут стихи, занимаются танцами, играют в крокет. Идет последнее куоккальское лето. Последнее лето настоящего детства и прежней жизни. Пока что кажется, перемены будут вызваны совсем иным. Революция меньше отражается на жизни семьи, чем грядущий переезд в город: Коля поступил в Тенишевское училище, детям решено дать серьезное образование.

19 июня, дневник: «Совсем не сплю. И вторую ночь читаю „Красное и Черное“ Стендаля, толстый 2-томный роман, упоительный. Он украл у меня все утро. Я с досады, что он оторвал меня от занятий, швырнул его вон. Иначе нельзя оторваться – нужен героический жест; через пять минут жена сказала о демонстрации большевиков, произведенной в Петрограде вчера. Мне это показалось менее интересным, чем измышленные страдания Жюльена, бывшие в 1830 г.».

Дети решили разыграть в дачном театре пьесу, Чуковский взялся ее сочинять – по мотивам сказки о Царе Пузане. Текста не сохранилось, хотя она была поставлена, и Лида, инициатор затеи, сыграла в ней роль Хранительницы Королевской Зубочистки.

Сообщение между городом и дачным поселком периодически рвется, с продуктами давно перебои (в «Чукоккалу» вклеен листок отрывного календаря за 3 марта с постным и скоромным меню – должно быть, «котлеты, рисовый каравай, черничный суп, судак жареный» уже казались издевательством).

В Петрограде большевики пытаются взять власть, Мария Борисовна испуганно говорит о диктатуре, Чуковский записывает в дневник, что «история своего никому не подарит», – ему кажется, через три недели власть окажется у кадетов. Летом он работает в «Англо-русском бюро», работы много. Сам он живет в Петрограде, семья – еще в Куоккале.

В конце августа он пишет десятилетней дочери: «Увы, твой бедный папа не может выдраться в Финляндию, потому что посол не едет. А посол не едет, потому что Корнилов дерется с Савинковым… Скажи маме, что теперь многие мои знакомые собираются со страху в Финляндию, но я твердо намерен вывезти вас в Петроград». Просит прислать материалы по Некрасову и головную щетку. (Посол здесь – это английский посол Бьюкенен, которого Чуковский должен был везти в Куоккалу к Репину для написания портрета, но из-за корниловского мятежа поездка откладывалась.) Репину сообщает, что посол приедет сразу, как в Петрограде успокоится, и добавляет: «В Питере паники нет! Все как будто поумнели и подтянулись».

В «Чукоккале» появляются злые стихи старика Буренина о Керенском, позднее – каллиграфические выписки Набокова-старшего из Карлейля (в назидание «товарищам» – о том, что революции трагичны и неизменно кончаются тиранией) и стихи 18-летнего Набокова-младшего, озаглавленные «Революция»:

> В том слове был извив неведомых страстей:
> рычанье, вопли, свист, нелепые виденья,
> стеклянные глаза убитых лошадей,
> кривые улицы, зловещие строенья,
> кровавый человек, лежащий на спине,
> и чьих-то жадных рук звериные движенья…
>
> … и мысли страшные ночами роковыми
> шуршат как серые газетные листы!

Тревожные разговоры, брожение в умах, брожение на улицах. Что-то будет…

Наконец, к осени все Чуковские вернулись в Петроград и поселились на углу улицы Лештукова и Загородного проспекта. «Нам живется в Питере хорошо. Дети учатся. Бессонницы не

донимают меня, как бывало. Я работаю целые дни, работа оплачивается отлично, и, если дело пойдет и дальше таким образом, мне удастся, я надеюсь, к Рождеству отдать Вам изрядную долю моего долга. Исполнится моя давнишняя мечта!» – писал К. И. Репину.

В октябре Чуковский поехал в Куоккалу – узнать, в какой форме Репин возьмет плату за портрет посла, и отдать часть долга за купленную в 1912 году дачу. Поездка получилась печальной, прощальной: «Симфония осенних деревьев в парке. Рябина. Море, новый изгиб реки, в которую я уложил столько себя…» На даче, которая почти окончательно стала собственностью Чуковских, они больше никогда не жили.

10 октября Корней Иванович, снова одержимый бессонницей и тоской, пишет в дневнике: «Целые дни трачу на организацию американского и английского подарка русскому народу: 2 000 000 экземпляров учебников – бесплатных, – изнемог – не сплю от переутомления все ночи – старею – голова седеет. Скоро издохну. А зима только еще начинается, а отдыха впереди никакого. Так и пропадет Корней ни за что».

Отдыха и впрямь впереди не предвиделось, и зима еще только начиналась.

После 10 октября Чуковский надолго пропадает. Ни записей в дневнике, ни писем, ни публикаций, ни абзаца воспоминаний, ни строчки на страницах «Чукоккалы». Чем он жил, где был, что делал, о чем разговаривал – мы почти не знаем.

Жизнь застыла, замерла в ожидании. Социальные катаклизмы, как цунами, совершенно скрывают такую заметную в обычное время фигуру Корнея. Он чужой в мире войн, революций и потрясений.

Чуковский ненадолго выныривает из небытия в декабре—в канун рождества, 24 декабря 1917 года, к 40-летию со дня смерти Некрасова он опубликовал сразу три статьи в трех разных газетах, спустя три дня – еще одну. И снова скрылся. До начала февраля 1918-го о нем почти ничего не известно.

Часть вторая
Просветитель

Глава пятая
Интеллигенция и революция

Катастрофический хаос

Что делал Чуковский в последние дни октября 1917 года, весь ноябрь и декабрь – неизвестно. Можно предположить: обсуждал, как и вся русская интеллигенция, с друзьями и коллегами, что будет дальше. Размышлял над тем, как быть. Думал о текущих литературных делах: где-то в типографии мытарили сборник «Радуга», в декабре отмечали некрасовский юбилей, власть сменилась, а семью надо было по-прежнему кормить… За границей, отрезанная от Петрограда, оказалась Куоккала – дача, книги, архивы, вещи, – не столько собственность, сколько ушедший в небытие кусок жизни. Кажется, и сам Чуковский, и мало кто вообще сразу понял, как крепко и бесповоротно все перевернулось.

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она.
И я своих не знаю берегов.

Это написала Ахматова несколько десятилетий спустя, и подписаться под этими строчками могло целое поколение. Они еще доделывали дела, начатые в прошлой жизни, договаривали те разговоры, думали в тех категориях, а их уже несло по новому руслу.

Дни эти, темные, путаные, смутные, пронизанные ветром и простроченные стрельбой, вообще немного оставили следов в мемуарах. Начало Первой и Второй мировых войн – это да, это хорошо помнилось: был летний день, делали то-то и то-то, когда вдруг узнали: война.

Чуковский через полвека сумел описать потемкинские дни со всеми красками, запахами, звуками, лицами, основываясь на короткой и неполной дневниковой записи и старой статье. Почему же он ни словом не обмолвился о куда более важных и трудных днях в октябре 1917-го, о страшных вестях из Москвы, о первых днях 1918 года? Почему ни слова нет в дневнике, куда он уже много лет заносил все мало-мальски достойное внимания,

все, что хотел сохранить на будущее?

Может быть, время оказалось настолько насыщено событиями, что сил не было записывать (как в июне 1905-го), а рассказать о пережитом в воспоминаниях не позволяла эпоха. Зинаида Гиппиус уже после бегства из России закончила дневник 1919 года пассажем, где были и такие слова: «Писать даже и то, что я писала, было безумием, при вечных повальных обысках… Дневник в Совдепии – не мемуары, не воспоминания „после“, а именно „дневник“, – вещь исключительная: не думаю, чтобы их много нашлось в России после освобождения».

И даже если записи все-таки были – наверняка их впоследствии уничтожили. Многие дневники советского времени многократно подвергались самоцензуре, которая стала особенно жестокой в 30-е годы. В дневниках Чуковского некоторые страницы вырваны, у других оторваны или отрезаны части, вырезаны отдельные слова. В «Чукоккале» чудом сохранилось несколько «несоветских» стихотворений и прозаических фрагментов разных авторов, над ними видны начертанные рукой Марии Борисовны вердикты: «вырезать…»

Если представить себе, что были какие-то записи – и о людях, с которыми Чуковский мог встречаться и обсуждать перспективы, и о характере этого обсуждения, насколько его можно представить по записям предыдущих лет и месяцев, – то вполне допустима и мысль, что все это в какой-то момент оказалось совершенно не подлежащим хранению дома и было уничтожено. Или потеряно. А может, ничего и не было.

Конец 1917-го: Зимний взят и загажен. На улицах повальные грабежи, пойманных воров толпа забивает до смерти или топит в Неве. Каждый вечер громят винные погреба и до утра дерутся с воплями. Новая власть ведет себя по-хамски («Орут на всех, орут, как будочники в Конотопе или Чухломе», – возмущался в «Новой жизни» Горький). В деревнях громят дворянские усадьбы, жгут библиотеки, растаскивают барское добро. Ходят слухи – то ли немцы возьмут Питер, то ли калединцы, то ли корниловцы… «Служащие не служат, министерства не работают, банки не открываются, телефон не звонит, Ставка не шлет известий, торговцы не торгуют, даже актеры не играют», – записывает Зинаида Гиппиус. Электричества нет. Есть нечего. В Москве бойня, расстрел Кремля, погромы, грабежи, озверевшие толпы.

Свободе слова наступил конец. Одним из первых шагов новой власти стало запрещение буржуазных, кадетских органов печати. «Декрет о печати» был принят на третий день революции. Публиковаться стало негде: по сведениям, которые приводит А. Блюм («За кулисами министерства правды»), уже в первый

послереволюционный месяц закрылись 60 буржуазных органов печати. Работники слова (впрочем, как и многие другие) лишились заработка. Запрет поначалу считался временным – но, как известно, нет ничего более постоянного… Протестовал Горький (опять-таки в «Новой жизни», которая стала чуть не самым оппозиционным органом печати). Появлялись, как и в эпоху первой русской революции, газеты-однодневки с протестами, но участь печати уже была решена. 18 декабря 1917 года «Революционный трибунал печати» объявил, что собирается карать органы печати, «но этим не отрицается право подвергать аресту лиц… выступления которых в печати свидетельствуют о наличии активной контрреволюционной борьбы с их стороны…». Затем у газет отняли главный хлеб: право публиковать частные объявления (это как если бы сейчас государство объявило монополию на всю рекламу). Что делал Чуковский, лишившись возможности печататься? Чем предполагал зарабатывать и кормить семью? На что надеялся?

Ирина Арзамасцева рассказывает: «Чуковский говорил в одном из своих выступлений, что в 1917 году Совет депутатов конфисковал у него „Крокодила“ как произведение, необходимое рабоче-крестьянской власти. В нем усмотрели карикатуру на Керенского и напечатали сказку большим тиражом для распространения среди солдатской аудитории».

Начало 1918-го: Учредительное собрание, отмена старой орфографии, митинг «Народ и интеллигенция», стрельба, аресты, обыски, убийство бывших министров Временного правительства Шингарева и Кокошкина. Отделение церкви от государства, изменение календаря, ночные дежурства, мороз. Еще не голод, но уже постоянное недоедание. Черный ветер, белый снег. Война подбирается к Петрограду, мир пока не заключен. Трамваи не ходят, зато в театрах вновь пошли спектакли. В нескольких уцелевших газетах интеллигенция выясняет отношения друг с другом и большевиками. Интеллигенция и народ, интеллигенция и Россия, интеллигенция и революция – вот постоянные темы статей, интервью и дискуссий: люди, внезапно оказавшиеся в невесомости, пытаются решить главный вопрос: как себя вести, что делать, чем заниматься, ради чего теперь жить. Те, кто на этот вопрос так или иначе ответил, собираются уезжать, выжидают – или заседают. Начинаются бесконечные совещания: о репертуаре театров, об издательских планах – новое государство собирается начинать с нуля строительство новой культуры, и для начала необходимо договориться, кто, что, когда и как будет делать… В конце самого короткого в истории России февраля в голодном Петрограде футуристы, собравшись в Политехническом, венчают

короля поэтов: коронован Северянин, на втором месте Маяковский, на третьем Бальмонт.

Где в это время Чуковский? Чем он занят? Ни одной статьи в периодической печати – после того как «Нива» завершила публикацию «Крокодила» и вышли три юбилейные статьи о Некрасове, Чуковский молчит до марта 1918 года – тогда в «Петроградском эхе» появилась статья «Розанов и Уитмен». Ну еще вышла наконец в январе многострадальная «Радуга», по причине несезона переименованная в «Елку», продолжалась работа над некрасовскими рукописями. В письме Алексею Толстому (1922) Чуковский упоминал, что в 1917 году пошел по детским клубам читать «Крокодила», что ему было вменено в вину: вроде как поддерживал этим самым правительство…

В общих чертах послереволюционную жизнь нашего героя все-таки можно восстановить – пунктиром, по косвенным свидетельствам современников, по его собственным воспоминаниям о Горьком и Луначарском, по редким автографам в «Чукоккале».

30 января 1918 года Блок вписал в этот альбом только что написанные строки из «Скифов»:

> Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,
> И обливаясь черной кровью,
> Она глядит, глядит, глядит в тебя,
> И с ненавистью, и с любовью!

24 и 31 января заседала «Комиссия по изданию русских классиков при Комиссариате народного просвещения» – Блок, Бенуа, Альтман, Лебедев-Полянский и Керженцев: решали вопрос издания Некрасова. Редакторскую работу над собранием сочинений с легкой руки Блока поручили Корнею Ивановичу. У Блока в «Записных книжках» читаем: «14 февраля. Заседание (Зимний дворец)… Луначарский предложил мне Некрасова. Я ссылаюсь на Чуковского и Евгеньева. Утверждается Чуковский». К. И. с величайшей охотой взялся за дело.

1 февраля (или уже 14-го по только что введенному новому стилю) нарком просвещения разразился на страницах «Чукоккалы» длинной напыщенной сентенцией о коммунизме и всечеловеке – и подписался: «А. В. Луначарский. К своему несчастью народный комиссар».

17 февраля Блок делает малопонятные заметки в записной книжке: "К. И. Чуковский: 1) Некрасов 2) письмо А. В. Гиппиуса ему 3) Μέλος[10] – с ним".17 апреля: "Чуковский с Гиппиусом зовут на *решительное* заседание в Зимнем дворце сегодня, а

Мейерхольд – на *решительное* заседание завтра… Слушать разговоры умных и глупых, молодых и старых людей я больше не могу: умру с голоду". 18 апреля: «Чуковский опять требует моего присутствия на заседании о Некрасове».

Евгения Иванова пишет о послереволюционной работе Чуковского: «…его имя мы находим в Комитете по реформе орфографии, где он работал вместе с Блоком и Ивановым-Разумником, а главное – среди сотрудников почти всех горьковских прожектов этих лет – от „Всемирной литературы“ до Секции исторических картин, журнала „Завтра“ и „Литературной газеты“».

Корней Иванович после революции предпочитал не вспоминать о том, «чем занимался до семнадцатого года». Литературный критик авторитетной газеты в одночасье стал «буржуем» и «бывшим», а причастность к кадетской газете – несмываемым клеймом. Почему-то каждый пишущий на тему «Чуковский после революции» считает необходимым ответить на вопрос, отчего он не эмигрировал, оправдать его выбор, и есть в этом что-то неправильное: человек должен оправдываться, почему он не уехал из своей страны и продолжал добросовестно заниматься делом, которое считал важным и нужным; как будто такое решение автоматически одобряет любые действия нового правительства страны.

Ну, в 1917 году и даже в начале 1918-го еще мало кто уезжал. Еще ничего не было понятно с этой властью, еще не определился ее характер, еще верили, что это ненадолго, – у Чуковского в дневнике, кстати, уцелели проговорки вроде «а чуть только дело большевиков прогорит…». Отчего он не бежал позже, когда бежали те же Мережковские, отчего не уехал потом – в 1920-х, когда одних высылали, другие спасались сами, – это другой разговор.

Ему надо было, во-первых, кормить семью и, во-вторых, делать дело. Считать, что революция сразу перекрыла ему всякую возможность заниматься критикой и он вынужден был переквалифицироваться в детские писатели, – это слишком прямолинейно. Он почти отошел от газетной критики еще в первые годы мировой войны. Его привлекали теперь социально значимые проекты, сколько бы ни говорил он, что живет только литературой. Его некрасоведение, его попытки наладить журналистику и книгоиздание для детей, его занятия переводами, его работа во время войны, когда он пытался рассказывать англичанам о воюющих россиянах и наоборот, – это не столько литература (или искусство ради искусства), сколько наведение мостов между разными слоями населения и народами,

попытка их консолидировать на универсальном основании культуры. Попытка растить новых людей для нового общества, уже сызмальства принадлежащих к долгой культурной традиции – а значит, надежно привитых от множества социальных болезней.

Он искренне верил, что решение большинства политических, экономических, духовных и культурных проблем – в смене социального строя. Революция отчасти была и его революцией. Он давно хотел заниматься действительно полезным делом, но настоящей возможности и серьезных полномочий для этого у него до сих пор не было. Революция, казалось ему, позволяла, наконец, взяться за осуществление давно необходимых преобразований – и Чуковский чуть не с первых дней нового строя окунулся с головой в стихию культуртрегерской работы. Занятие на первый взгляд странное – в распадающейся, бунтующей стране, где все только что переворотилось и даже не собирается укладываться. Присмотревшись, понимаешь, как много именно в это время сделала для будущего горстка вечно голодных и мерзнущих людей, сочинявших несбыточные проекты книгоиздания.

Наконец, Чуковский был русский писатель, ясно ощущавший свою связь с языком и культурой. Такому человеку трудно уезжать, тяжко отрываться от среды, где ему есть место и занятие, и отправляться туда, где его таланты, знания и умения никому не нужны. Интеллигенты, порожденные Россией в XIX веке, – люди высокообразованные, много работающие, подчиняющие свою жизнь ясным этическим и эстетическим идеалам, – были идеально приспособлены для культурной работы в огромной стране, которую надо было учить и воспитывать, и совершенно не востребованы в других местах. Они оставались, не рассматривая других вариантов или отвергая их. Ахматова «равнодушно и спокойно» отказалась от мысли оставить «край глухой и грешный». Блок добавлял: «Ахматова права. Это недостойная речь. Убежать от русской революции – позор».

Не станем перечислять уехавших и оставшихся – у тех и других были свои резоны. Социальный оптимизм и надежды на справедливое мироустройство, вера в демократию, принадлежность к русской культурной традиции, желание приносить пользу (а в какой-то степени, может быть, и опыт одинокого, голодного и бесприютного существования за границей) – все это повлияло на выбор Чуковского.

Уже в начале 1918 года Корней Иванович появился в Манежном переулке у наркомпроса Луначарского. К Анатолию Васильевичу шла вся интеллигенция – с вопросами, предложениями, просьбами о помощи: все в одночасье лишились

куска хлеба и искали способа себя применить. «И артисты Имп. Театров, – записывает Чуковский в дневнике, – и бывш. эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты – все – к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при каждом новом звонке».

Чуковский пришел с предложением переиздать для демократических масс Уитмена, «певца демократии». Луначарский не сошелся с визитером во взглядах на всемирно-историческое значение американского поэта – в его представлении, тот был куда всемирнее, чем предполагал Чуковский; наконец, Корней Иванович предложил Анатолию Васильевичу написать предисловие для книги, оно было надиктовано, и книга, предваряемая словами наркома, вышла в том же 1918 году.

В дневнике остались ехидно подмеченные подробности: Луначарский принимает посетителей по двое, и пока разговаривает с одним, другому позволяет любоваться его государственной мудростью; Луначарский обожает слушать себя и диктовать машинистке… В мемуарном очерке в «Современниках» этот герой предстает другим. Не то чтобы «в белом венчике из роз Луначарский наркомпрос», – но без этого мелочного самолюбования, замутнявшего, заслонявшего то доброе и ценное, что было в первом советском министре просвещения, действительно самом образованном из всех наркомов и министров на этом посту на многие десятилетия вперед. «Обаяние его образованности, пылкое увлечение искусством, искреннее, ненапускное уважение к людям ума и таланта» – вот о чем Чуковский считает нужным и важным рассказывать читателю. «Кокетство», «легкомысленный», «говорил заискивающе» остаются в дневниках, – хотя дневниковыми записями Корней Иванович всегда пользовался при подготовке воспоминаний.

Разумеется, в советское время было немыслимо написать о Горьком или Луначарском так, как о них говорится в дневнике К. И. Но ведь он мог и не писать вообще: никто не заставлял. Идеализированные Горький и Луначарский – не столько политический заказ или самоцензура, сколько сознательный отказ от злословия, которого немало в дневниках. Театральный пафос и экспансивность Луначарского от читателя не скрыты – они просто не выпячиваются; акценты расставлены сознательно: главное в смешном, легковесном, увлекающемся наркоме – любовь к старой культуре, к которой он «привязан тысячью ниточек», и готовность строить новую культуру на ее фундаменте.

Даже разглядеть это в Луначарском не каждый мог (сравним воспоминания Чуковского, например, с отталкивающим портретом декадентствующего комиссара в «Белом коридоре» Ходасевича). Чуковский пишет здесь не о политике, министре, чиновнике, а о «душе человеческой», сложной, не сводящейся к простым «да» и «нет», неодномерной, интересной, полной полярных противоположностей – благодушный и воинственный, воск и кремень… В том, как К. И. отбирает материал для своих статей, крепко чувствуется учитель, задумавший научить своих подопечных лучшему, что может предложить человечество, показать им замечательных людей, очищенных от случайного сора, во всей их красоте и сложности.

Дневники Чуковского первых революционных дней полны искреннего, счастливого, детского изумления сродни его позднейшей «Путанице»: надо же, рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают!

Кабинет наркома, толпы посетителей – «и тут же бегает его сынок Тотоша, избалованный хорошенький крикун, который – ни слова по-русски, все по-французски, и министриабельно-простая мадам Луначарская – все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле». Комендант почт и телеграфов Царев «оказался матрос с голой шеей, вроде Шаляпина, с огромными кулачищами. Старые чиновники в виц-мундирчиках, согнув спину, подносили ему какие-то бумаги для подписи, и он теми самыми руками, которые привыкли лишь к грот-бом-брам-стеньгам, выводил свою фамилию. Ни Гоголю, ни Щедрину не снилось ничего подобного».

«Путаница», написанная в 1924 году, – это чистая стихия революции: «Замяукали котята: „Надоело нам мяукать! Мы хотим, как поросята, хрюкать!“» Чиновники в вицмундирах подают бумаги матросу, кухарки управляют государством, графоманы вершат судьбы русской культуры, жена Каменева командует Блоком, министр проводит долгие часы в обсуждении поэтики зарубежных авторов, покуда посетители ждут приема… «Мыши кошку изловили, в мышеловку посадили». Новые хозяева жизни еще не вполне чувствуют себя хозяевами, но скоро, скоро! Пока по стране разливается стихия бунта, все делается странно, вдохновенно, по наитию, и кукушки заливаются лаем, и воробьи мычат коровами, и матрос распускает Учредительное собрание, поскольку караул устал…

Помните июнь 1905 года и горящее море в ночной Одессе? Революция, игры со спичками: к морю синему пошли, море синее зажгли, море пламенем горит. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Очевидных параллелей между Блоком и Чуковским множество; разглядеть именно эту не так уж трудно.

И. В. Кондаков, автор обширной статьи о политических подтекстах сказок Чуковского, замечает и эту параллель, и очевидную связь «Путаницы» с революцией: «Неудивительно и отсутствие результатов – тушение мирового пожара бессмысленно: „Тушат, тушат – не потушат, / Заливают – не зальют“. Только бабочке удалось, нежно помахав крылышками, потушить море – противоестественную революционную стихию. Противоядие революции – не насилие и диктатура, не борьба всех против всех, не произвол любого и каждого, творящих, что кому в голову взбредет, а любовь и доброта, мирное согласие, общая песня…»

Конечно, в детские стихи при желании можно вчитать любой смысл, ведь додумался же кто-то в перестройку написать, что знаменитая речь заиньки-паиньки: «Кому велено чирикать – не мурлыкайте! Кому велено мурлыкать – не чирикайте!» – учит детей быть рабами и конформистами, послушно брести той дорогой, которую уготовило им государство. А можно наскрести смысл и совсем другой – обнаружить тихий ужас человека, измотанного семью годами всероссийской путаницы, усталого и седого, замученного невеждами и перестраховщиками, которые вполне уже осознали свое право указывать другим, как воспитывать детей, писать стихи и издавать журналы. Он не может уже кричать, да и бессмысленно. Он в сотый раз взывает к разуму: одумайтесь, займитесь своим делом, не рулите процессом, в котором вы ничего не понимаете, не бывать вороне коровою, не летать лягушатам под облаком!

У-у, куда там.

Впрочем, для детей все кончается благополучно: лягушата квакают, а утята крякают, и Мурочку баюкают… Если бы вы знали, дети, холод и мрак грядущих дней…

Нет, конечно, Чуковский вовсе не имел в виду написать сатиру на русскую революцию. Какую-нибудь антисоветчину или просоветчину в его стихах, однако, постоянно кто-нибудь где-нибудь усматривает: то Сталина разглядят в Тараканище, то Троцкого, что хотя бы ближе хронологически, то Лялечка – девочка буржуазная, то Муха – скрытая принцесса… Подобных предположений, умных, глупых и просто шизофренических, не перечесть – начиная с «пародии на Некрасова» и «буржуазной мути», обнаруженных Крупской в «Крокодиле», и кончая позднейшими изысканиями филологов, психологов и просто наивных читателей, которые чего-чего только не обнаружили в хрестоматийных строчках – от постмодернизма до наркотических видений, от сионизма до антисемитизма, от кровожадного садизма до коммунистической пропаганды. Один удивительный

инок даже в строчках «а букашки по три чашки, с молоком и с кренделькoм» ухитрился выявить число зверя: положите-ка три кренделька на стол – а?!

Нет, конечно, «Путаница» и есть путаница, нормальные детские стихи безо всяких скрытых или зашифрованных посланий; но в них не мог, пусть даже неосознанно, не сказаться жизненный опыт автора. Стихи просто помогают малышам разобраться в том, что есть нормальный порядок вещей. Искажения этого нормального порядка не могут не смешить ребенка (этому посвящена глава «Лепые нелепицы» в фундаментальном труде «От двух до пяти»).

Для взрослых, впрочем, советская действительность первых лет тоже являла собою неисчерпаемый источник смеха. Если не смеяться – можно было и с ума сойти.

Оттого, должно быть, так много смеялись и шутили друг над другом во «Всемирной литературе», где Горький собрал ученых и писателей для работы над планом книгоиздания.

«Нужно вспомнить, что такое был восемнадцатый год, – писал Чуковский в воспоминаниях о Луначарском. – Гражданская война, контрреволюционные заговоры, интервенция иностранных держав, изнемогающий от лютого голода Питер и злостный саботаж так называемых мастеров – и подмастерьев! – культуры. Всякого, кто соглашался работать с Советами, объявляли предателем и подвергали бойкоту. Чиновники всех ведомств – в том числе продовольственники, а также почтово-телеграфные, банковские – тысячами покинули свои департаменты, усиливая катастрофический хаос в хозяйственной жизни страны. Педагоги отказывались учить детвору, актеры не желали играть, писатели чурались той комнаты в Смольном, где находилось тогда „Издательство рабочих, крестьянских и солдатских депутатов“».

Обратим внимание и на эти «контрреволюционные заговоры», и на «интервенцию», и на «саботаж», не хватает разве что «Советской республики в огненном кольце фронтов», еще одного штампа первых послереволюционных лет. Что делать: воспоминания писались тогда, когда восемнадцатый год уже оброс мифами и невозможно стало сказать, что не одним только саботажем был вызван всероссийский хаос, и не зря писатели чурались не только «той комнаты», но и самого Смольного… Обратим внимание на другое: насколько сильно слышатся здесь отголоски обид и старых счетов тех времен, когда писатели и читатели вдруг разделились на нерукопожатных предателей, с одной стороны, и злостных саботажников, с другой. Чуковский (как и многие другие) стал в глазах вчерашних друзей «красным». Но те, кто отказывался от работы, в его глазах совершали куда

худшее предательство – предательство по отношению к культуре.

Вокруг скрипела и лязгала, свистела и завывала, утробно ухала и яростно пела музыка революции. Блок в эти дни писал «Двенадцать» – в его февральских записях 1918 года мы находим заметки о новых строчках, подсказанных женой (о той же строке «шоколад Миньон жрала» вспоминает и Чуковский: Блок ему об этом рассказывал).

Новая жизнь судорожно пытается отстроиться, целыми днями в промерзающих зданиях идут заседания комиссий и комитетов, где немногочисленные профессионалы, а чаще волею случая взявшиеся за дело новички пытаются в срочном порядке решить все вопросы устройства новой жизни – от реформы орфографии до снабжения армии продовольствием. Блок и Чуковский теперь встречаются довольно часто.

Отношение поэта к критику меняется. Впрочем, изменились они оба. И Блок – не тот молодой красавец в венце золотых кудрей, который белой ночью, на крыше «башни» Иванова читал «Незнакомку»; он устал, голоден, измучен, волшебная музыка его стихов зазвучала скорбными и страшными пророчествами. И Чуковский – уже не тот юный и нахальный жонглер в храме русской литературы, который ужасал ее суровых служителей. Ему 35 лет, скоро 36. Он стал серьезнее и спокойнее, упорным трудом завоевал себе имя и авторитет. Другими стали даже его дневники: автор предреволюционных записей – человек умный и взвешенный, он уже не столь катастрофически несчастен, он понимает, чего хочет от жизни и от себя… «Теперь я понял блаженство отцовства». «Я и сам старался нравиться не себе, а публике. А теперь мне хочется понравиться только себе – и поэтому я стал впервые мерить Уитмена собою». Он полон сил, замыслов, интересов, он примеряется к большим и серьезным делам, он вступает в лучший, самый плодотворный период своей жизни. Он, кажется, как раз понял, как надо, вот сейчас дай ему волю – и он станет делать совершенно уже замечательные вещи.

Как же, дали…

Однако он и в неволе умудрился в следующие десять лет сделать для русской культуры столько, сколько иной за всю жизнь свою не сделает.

«Смешные в снаряде затеи»

Март 1918 года. Чуковский пишет Репину: "Я до слез завидую энергическому Гегеру Нелюбину (писатель и журналист. – *И. Л.),* что он прорвался в милую Куоккала – и видел Вас. Мне так насточертел наш сифилитический город, так хочется послушать,

как поют (утром) куоккальские птицы, как звенят куоккальские волны, как шумит в Пенатах Ваш колодец. Здесь нас всех одолела бесхлебица. Бедный А. Ф. Кони был вынужден продать свою библиотеку, чтобы купить себе хлеба и масла. С. А. Венгеров бегает с кошелкой по городу – из лавки в лавку – ищет дешевой картошки, единственное, что ему по карману. Вас. Ив. Немирович-Данченко открыл в каком-то переулке книжную лавку – стоит за прилавком весь день. Я и мой Коля – не раз продавали на улицах и в трамваях газеты". В том же письме он сообщает, что продолжает отдавать дочери Репина Вере Ильиничне деньги в счет долга: «и мне опять стыдно: ведь нынешняя тысяча рублей это не то, что прежняя»; «в последнее время я устроил несколько детских спектаклей и собрал столько денег, что мог бы вручить Вере Ильиничне хоть завтра еще тысячу, но меня смущает нынешний курс: выйдет похоже, будто я получил от Вас золотом, а расплачиваюсь черепками».

Через несколько лет в одном из писем Репину появится констатация: «Революция почти меня раздавила».

Ветер революции ободрал с Петрограда вывески и рекламу, обнажилась строгая и печальная красота старых построек. Поздняя весна, город плывет в белых ночах, ветер гоняет шелуху от семечек. Поэты и чиновники, старики и старухи дежурят у ворот, неизвестно чего ожидая: должно быть, немцев. «Пришествие немцев – дело нескольких дней», – записывает Блок в мае.

Голодные литераторы зарабатывают кто во что горазд – большинство живет одной только продажей своих вещей. Только у Горького на Кронверкском есть еда, тепло, вино, белый хлеб… В воспоминаниях то и дело читаешь: «у Горького топилась ванна», «у Горького был керосин…» У Горького собираются для разговоров, хлопочут об арестованных или голодающих близких, к нему приходят все, кому нужна работа, деньги, лекарства, записка от авторитетного лица в инстанции… «Вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных, – словом, все, чего нельзя было достать без протекции», заключал Ходасевич.

«Из сотен независимых газет к лету 1918 года осталось 10, – рассказывает Арлен Блюм. – Газеты закрыты, типографии конфискованы, редакторы посажены». Разразившийся бумажный кризис почти полностью остановил книгоиздание. Петроградский комиссар по печати извещал, что из-за кризиса «является необходимостью ограничить печатание книг, брошюр и плакатов, не вызванных потребностью настоящего момента».

По данным, которые приводит Блюм в своем исследовании «За кулисами министерства правды», книжная

производительность после революции снизилась в 3–4 раза по сравнению с 1913 годом, репертуар книгоиздания в основном составляли агитационно-пропагандистские брошюры. Литераторы стали лишними людьми.

С начала лета начинаются новые беды. И житейские – уплотнение: домкомбеды пошли занимать жилплощадь буржуев. И глобальные: нескончаемой чередой вспыхивают мятежи против советской власти; наконец, грянула Гражданская война – все против всех. В июле расстреляли царскую семью. Еще до этого в Петрограде убили большевика Володарского, и началась новая волна арестов и казней.

Семья Чуковских проводила лето в поселке Ермоловка (станция Ермоловская) под Сестрорецком. «Там, на Ермоловском проспекте, Литературный фонд владел дачей, которую на лето предоставлял писателям, – вспоминал Николай Корнеевич Чуковский. – Так как из-за белогвардейского переворота в Финляндии мы лишены были возможности вернуться на свою дачу в Куоккала, мои родители решили провести лето с детьми на этой даче Литературного фонда». Из Ермоловки можно было даже разглядеть Куоккалу. В том же доме жили Замятин с женой, Леткова-Султанова с сыном, еще несколько литераторов, художник Петров-Водкин.

Корней Иванович, по обыкновению, совмещал дачный отдых с поездками в город по делам. В дневнике он в это время рассказывает об очередном визите к Луначарским, о посещении бывшего сенатора Кони. С Кони его связывает большая дружба; напомним, что Анатолий Федорович передал Чуковскому огромный некрасовский архив, над которым тот продолжал кропотливо работать.

Судя по сохранившимся заметкам, статьям, дневниковым записям современников, жизнь интеллигенции летом 1918 года состоит из совещаний, поисков новой службы, кипучих обсуждений «Двенадцати» Блока, продажи книг и вещей, уличных дежурств, театральных премьер, встреч с представителями власти и повседневных хлопот по добыванию еды.

Август. Убийство германского посла Мирбаха, стрельба, холера, хлеба нет, есть только вобла. 4 августа вышел очередной декрет Совнаркома, закрывающий недобитые еще газеты, типографии заняты еще раньше. «В воздухе – какая-то невыразимая пакость», – заносит Блок в записную книжку 8 августа. Красная армия терпит поражение за поражением. После убийства Урицкого и покушения на Ленина начинается террор, официально объявленный только 5 сентября. Но уже 1-го Зинаида Гиппиус заносит в дневник: «Нет ни одной буквально семьи, где

бы не было схваченных, увезенных, совсем пропавших». Теперь у большинства тех, кто не уехал и продолжал работать, едва ли не все время занимают заседания и хлопоты об арестованных.

Осенью стала обязательной новая орфография, но этот вопрос, который в иное время вызвал бы ожесточенные дебаты, сейчас уже почти никого не волновал.

«Город был мертв и жуток, – вспоминал Ходасевич, приехавший в Питер из Москвы ранней осенью. – По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленых домах пахло воблой. Электричества не было». Однако творческая жизнь в мертвом городе продолжалась. Маяковский написал «Мистерию-буфф», ее поставили к октябрьским торжествам. К празднику чуть не все художники Петрограда занялись оформлением города. Торжественное и странное зрелище голодного, мрачного, полузимнего Питера в футуристическом убранстве многим запало в душу.

Осенью 1918 года подросток Коля Чуковский вписал в отцовский альбом мрачно-жалобные, голодные стихи о прелестях дореволюционной сытой жизни: «Спросишь: копейку мне, мамочка, дай-ка, / Сбегаешь в лавку – и куплена сайка, / Бублики с маком, те стоили грош…»

Этой осенью у каждого начали умирать близкие знакомые и друзья. До сих пор смерть была случайной, стихийной – гибли те, кто почему-либо попал под колеса несущейся революции, и смерть рисовалась пьяным матросом с пистолетом, озверевшей толпой. Теперь смерть стала привычным спутником живых. Голод, холод, чудовищный грипп-испанка, повседневные стрессы – коса начала косить так, что со смертью как-то сжились, притерпелись. Только и мелькает в разных дневниках и записных книжках в следующие два-три года: известие о смерти К., известие о смерти Л., умер М., скончалась Н… А это было еще только начало.

В это дикое время начало работу издательство «Всемирная литература» под руководством Горького, Гржебина, Ладыжникова и Тихонова. Договор между издателями был заключен 20 августа, 4 сентября Горький подписал договор между Наркоматом просвещения и редакционно-издательской группой об организации издательства. Сам Горький получил по этому договору полную автономию: свободу подбирать сотрудников, выбирать книги для издания (по договору определялся только период: конец XVIII и весь XIX век – от Великой французской революции до Великой Октябрьской).

Книгоиздание до этого времени развивалось стихийно, деятельность издательств никак не координировалась, планы их как таковые только начинали составляться, сферы интересов

часто пересекались. Это нормально в условиях цивилизованного рынка, но нерационально при тотальном дефиците всего, включая бумагу, и огромных масштабах работы, которую еще только предстояло сделать. Централизованная политика книгоиздания, с одной стороны, позволяла экономить ресурсы и контролировать качество, с другой – давала государству возможность идеологического контроля, который становился все сильнее и пристальнее.

Предполагалось, что новое издательство озаботится отбором и изданием лучших произведений мировой литературы. Фактически «Всемирная литература» занялась подведением итогов культурного развития человечества. «Замысел, положенный в его основу, был громаден и универсален: дать рожденному революцией многомиллионному читателю все ценное, созданное человечеством в области литературы за всю историю его существования на всех языках, – писал Николай Чуковский. – Свою деятельность редакционная коллегия „Всемирной литературы“ начала с создания обширнейшего каталога своих будущих изданий». Каталог был издан в 1919 году на русском, французском, английском и немецком – чтобы иностранцы видели, что «российский пролетариат не токмо варвар, а понимает интернационализм гораздо шире, чем они, культурные люди», как писал Горький Ленину.

Шкловский сердито замечал потом об этом колоссальном проекте: «Не надо, чтобы русский писатель писал что хочет, надо, чтобы он переводил классиков, всех классиков, чтобы все переводили и чтобы все читали. Прочтут все и всё, всё узнают». Но добавлял чуть ниже: идеологически это было неправильно, а практически полезно – спасло писателей от вымирания.

24 сентября Блок записывал: «Горький и Тихонов – договор с правительством на три года: издавать в типографии „Копейки“ под фирмой „Всемирная литература“: 1) томов 800 больших – основные произведения всемирной литературы с историко-литературными предисловиями и примечаниями; 2) томиков 2000… – тоже с маленькими предисловиями (листа 2–3). Первое мерило – имеющее художественное значение». (Правда, сам Блок стал участвовать в заседаниях издательства гораздо позже, с января 1919 года.)

Писатели должны были создать предварительные списки «имеющих художественное значение» авторов и произведений, обсудить их, утвердить окончательные списки, отобрать качественные переводы, отредактировать, прокомментировать, снабдить книги предисловиями и т. п. Попутно выяснилось, что имеющиеся переводы по большей части никуда не годятся, да и

новые, выполненные оголодавшими барышнями, уволенными чиновниками или старушками-аристократками, – за редким исключением ничуть не лучше старых. А это ставило проблему отбора переводов – а значит, критериев такого отбора – а следовательно, принципов художественного перевода.

Выяснилось заодно, что и комментарии надо уметь создавать и излагать. Что, прежде чем начинать огромную работу по изданию всемирного литературного наследия, жизненно необходимо договориться о принципах, на которых эта работа будет базироваться. То есть издание должно быть, с одной стороны, строго научным, с другой – не следует забывать о читателе, которому что-то надо объяснить, к чему-то привлечь внимание, да и написать так, чтобы ему было понятно. Только с возвращением рыночных отношений в российское книгоиздание в конце XX века, когда продуманная издательская политика, стандарты качества, научная добросовестность и принципы редактирования, перевода, комментирования были похерены (хотя, по счастью, не окончательно), стало вполне понятно, сколь многим мы обязаны редколлегии «Всемирной литературы».

Но выработка принципов означала новые и новые заседания. И дополнительную теоретическую работу. При этом заседавшие были заняты не только во «Всемирной литературе»: каждый читал лекции ради куска хлеба, вел занятия в поэтических, прозаических, драматургических студиях.

Чуковского пригласили во «Всемирную литературу» в середине октября 1918 года – заведовать англо-американской секцией (совместно с Евгением Замятиным). 28 октября он занес в дневник: «Вот уже две недели с утра до ночи я в вихре работы. Составление предварительного списка далось мне с колоссальным трудом. Но мне так весело думать, что я могу дать читателям хорошего Стивенсона, ОТенри, Сэмюэля Бетлера, Карлейла, что я работаю с утра до ночи, – а иногда и ночи напролет».

В комментариях к записям членов «Всемирной литературы» в «Чукоккале» Корней Иванович рассказывал: «Сперва наша редакция ютилась в тесноватом помещении на Невском невдалеке от Аничкова моста (бывшая редакция газеты „Новая жизнь“), но к зиме переехала в великолепный особняк на Моховой, с мраморной лестницей, с просторными и светлыми комнатами. Мы собирались по вторникам и пятницам вокруг длинного стола, покрытого красным сукном, и под председательством Алексея Максимовича тщательно обсуждали те книги, которые надлежало выпустить в ближайшие годы… К зиме наша коллекция разрослась, и мы с удесятеренными силами принялись за работу,

чтобы возможно скорее поставить на рельсы многосложное дело».

Одновременно Чуковский продолжал тщательно заниматься Некрасовым: текстологией, поэтикой, письмами, изучением эпохи. Своими находками он непременно делился с коллегами, и опубликованные последующие статьи, посвященные Некрасову, носят следы этих обсуждений – иногда серьезных, иногда веселых (фрагмент о «Тарбагатае», например, явно возник из разговоров с Гумилевым).

Блок в это время жаловался Чуковскому, что нет времени даже на сны порядочные – снится сплошная канцелярская работа. Сам К. И. в начале зимы 1918/19 года записывал, что запутался, некогда взяться за Некрасова, которым он только и должен заниматься… Перечень дел, как обычно, ужасает: редактура, принципы прозаического перевода, два предисловия, введение в историю английской литературы. Это спешная, торопливая, судорожная работа, уже непонятно ради чего – денег, пайков, просвещения масс или самогипноза. Примерное представление о степени его занятости можно получить из «Трудов и дней», составленных много позже его секретарем Кларой Лозовской: 20 ноября – написал статью о Райдере Хаггарде. 21 ноября – написал статью о Марке Твене. 22 ноября – написал статью об Оскаре Уайльде…

Годом позже Блок насмешничал, сочиняя монологи Корнея Ивановича для драмы, изображающей заседание редколлегии «Всемирной литературы»:

> Мне некогда! Я «Принципы» пишу!
> Я гржебинские списки составляю!
> Персея инсценирую! Некрасов
> Еще не сдан! Введенский, Диккенс, Уитмэн
> Еще загромождают стол! Шевченко,
> Воздухоплаванье…

А к заседаниям издательства добавлялись другие – Секции исторических картин (писатели должны были писать пьесы на историческом материале для разъяснения его массам), Союза художественных деятелей и т. п. Плюс обильная лекционная деятельность. Но работа, судя по тону дневников, была Чуковскому в радость. Он трудится много и азартно, хотя иногда и ругает себя за то, что занимается редактурой ради денег, которые и так есть, вместо того чтобы погрузиться в некрасоведение; проклинает в дневнике «плантатора» Тихонова… И все-таки работа придавала существованию осмысленность, замазывая экзистенциальные дыры в повседневности. Голосом

практической пользы заглушались голоса страха, сомнения, недовольства.

В дневниках Чуковского множество заметок посвящено заседаниям под председательством Горького. Отношения Корнея Ивановича с Алексеем Максимовичем продолжают эволюционировать. Еще до революции они ближе сошлись и начали лучше понимать друг друга, совместно работая над детским журналом. Примерно в это же время Чуковский заметил в писателе совсем другие стороны таланта, нежели то схематичное проповедничество, о котором он столько писал в 1900-е годы. И вот они видятся каждый день – и странно, какое-то притяжение возникает между ними. «Я при нем глупею, робею, говорю не то, трудно повернуть шею в его сторону – и нравится мне он очень, хотя мне и кажется, что его манера наигранная», – записывает в дневнике Корней Иванович. Впрочем, и Чуковский нравится Горькому, и оба они – обаятели, шармеры, умницы, – переживают краткую профессиональную и человеческую влюбленность друг в друга. Вчитайтесь в точные, внимательные описания горьковских жестов, манеры говорить, манеры вести заседания: вроде бы сухо, иронично, скупо – а все-таки с любовью написано.

Впрочем, увлечение Горьким было отнюдь не слепым: «Скуксив физиономию в застенчиво-умиленно-восторженную гримасу (которая при желании всегда к его услугам)…» – это и едко, и точно, и таких наблюдений, иногда почти неприязненных, в дневниках Чуковского немало. Но в позднейших воспоминаниях о Горьком – как и в случае с Луначарским, – Корней Иванович обойдет вниманием цепко подмеченные и хорошо памятные горьковские черты – самолюбование, повторяемость, дурацкие словечки, способность подзаводить себя, разжигать в себе восторг и умиление… Конформизм ли это и самоцензура, или действительно попытка отказаться от мелкого, выделить, укрупнить и описать прежде всего человечески ценное, заслуживающее уважения? Должно быть, и то и другое: написать объективный портрет вполне канонизированного Горького уже не позволяло время. Хорошо же – напишем о том, чем он действительно был ценен, расскажем о Горьком – спасителе культуры и зачинателе детской литературы, а «буревестника» и «великого пролетарского писателя» пусть мусолят другие.

Дневник 1919 года – хроника очарования и разочарования: «Я был у него на прошлой неделе два дня подряд – часов по пяти, и он рассказывал мне многое о себе. Ничего подобного в жизни своей я не слыхал. Это в десять раз талантливее его писания. Я слушал зачарованный. Вот „музыкальный“ всепонимающий

талант. Мне было особенно странно после его сектантских, наивных статеек о Толстом выслушать его сложные, многообразно окрашенные воспоминания о Льве Николаевиче. Как будто совсем другой Горький». И здесь же: «Думаю, что вся его огромная и поражающая эрудиция сводится именно к этому – к номенклатуре. Он верит в названия, в собственные имена, в заглавия, в реестр и каталог». Со временем разочарования все больше: «сер, тускл, малодаровит», начинает прожекты и бросает их, с большевиками говорит как большевик, при интеллигенции зовет их «они» и ругает на чем свет стоит… На рубеже десятилетий Чуковский в разговорах и дискуссиях с Горьким в окончательном виде сформулировал свою критическую концепцию: "Я говорил ему, что мне приятнее писать о писателе не *sub specie* человечества, не как о деятеле планетарного искусства, а как о самом по себе, стоящем вне школ, направлений – как о единственной, не повторяющейся в мире душе – не о том, чем он похож на других, а о том, чем он не похож". О том же он писал ему и позже, в 1921 году. И тогда же задумал написать о самом Горьком – «как о единственной, не повторяющейся в мире душе» – с ее противоречиями, раздвоенностью, сложностью. Результатом стала книга «Две души Максима Горького».

Итог работы «Всемирной литературы» впечатляет. Редакция подготовила для издания основную и народную библиотеки. Первая – «систематически подобранная библиотека», «материал к изучению мировой литературы». Она насчитывала около 1500 томов. Народную библиотеку составляли небольшие книги (2500 томов), «доступные пониманию и восприятию самых широких масс русской демократии». При бумажном кризисе книги все-таки выходили – Твен, Франс, Уайльд, Лондон, Уэллс, Вальтер Скотт, Гюго, Вольтер, Беранже, – книги тщательно вычитанные, продуманные, отредактированные лучшими мастерами слова (среди сотрудничавших с редакцией деятелей литературы и искусства были Айхенвальд, Бенуа, Бальмонт, Брюсов, Вячеслав Иванов, чета Мережковских, Куприн, Кузмин, Ремизов, Цветаева…). «„Всемирная литература“ за шесть лет своей весьма энергичной деятельности (с 1918 по 1924 г.), конечно, не издала и пяти процентов намеченного, но грандиозная программа изданий, лежавшая в основе этого горьковского каталога, осуществлялась мало-помалу впоследствии целым рядом других советских издательств: Academia, ГИХЛ», – писал Николай Чуковский.

В повальном увлечении культуртрегерством, просветительством, переводами и совершенно уже невообразимыми проектами вроде исторических картин был еще

один важный аспект. Никогда больше в истории XX века – и, может быть, во всей российской, – не реализовалась так буквально страстная мечта всех истинных художников о том, чтобы искусство стало жизнью. Никакой другой жизни, в сущности, не осталось. Быт исчез, существование оказалось поставлено на ту грань, за которой только тьма, холод и небытие. Именно такой обстановкой поверяется подлинное искусство—и именно этой реальностью поверяли члены «Всемирной литературы» свой эстетический выбор.

«Смешные в снаряде затеи», – иронизировал позднее Замятин в очерке памяти Блока, вспоминая тогдашнюю петроградскую литературную жизнь и сравнивая ее с бешено несущимся неизвестно куда артиллерийским снарядом, внутри которого заседает ученая коллегия, отбирает для печати тексты, напечатать которые заведомо невозможно…

Иной раз задашься вопросом: почему Замятин с Чуковским так друг друга недолюбливали? Доходило до ситуаций неловких, о которых будет рассказано ниже: Чуковский в дневниках и письмах постоянно обижался на Замятина, обличал его, всячески подчеркивал его прагматизм, расчетливость, хитрость… Пожалуй, Замятин – храбрец и еретик, которого выдавили-таки из страны в 1931 году, – отличался от Чуковского именно инженерской расчетливостью, технократическим прагматизмом, и потому «затеи в снаряде» были ему прежде всего смешны. Это не мешало ему, впрочем, самозабвенно руководить кружком «Серапионовых братьев», где он был на положении мэтра и от души этим положением наслаждался.

Для Чуковского же «Всемирная литература» прекрасна именно тем, что бесполезна (невзирая на всю ее предполагаемую полезность), и это подлинное торжество его эстетической концепции, о которой уже говорилось. Она восходит не столько даже к Уайльду, сколько к Рескину, провозглашавшему в своих лекциях высшую, бессмысленную, жертвенную красоту. Чуковский отлично понимал: только то и нужно, что неосуществимо; в наши дни, применительно к другой исторической ситуации, это сформулировал поэт-иронист: «И невозможное возможно, когда не нужно никому».

Ошибкой было бы слишком доверять дневнику Чуковского – не потому, что он в этом дневнике рассчитывает угодить будущему читателю или замаскировать перед властями свои подлинные мысли, но потому, что дневник часто служит ему для самогипноза, самоуспокоения. Он множество раз повторяет там, как счастлив отдаться просветительской работе, – и сам себе противоречит, ворча на то, как надоели лекции.

В самом деле, он отлично сознавал бессмысленность всех этих занятий – вроде составления гигантского списка шедевров мировой словесности (этот титанический замысел, да и то в сильно усеченном виде, осуществился только пятьдесят лет спустя, когда вышла, наконец, двухсоттомная «Библиотека всемирной литературы» – в некоторых разделах дотошно следующая списку Чуковского, Блока и Горького). Было вполне очевидно, что в 1919 году никакой Гржебин этого не потянет, а главное – что во всем этом нет никакой необходимости. Матросы и проститутки зевали, слушая лекции. Солдаты ничего не понимали в представлениях Большого драматического театра, на которые их сгоняли силком (а Блок тратил последние месяцы жизни на работу с артистами и адаптацию старых пьес к запросам новой аудитории). Все это было самоцельным эстетством, чистым искусством ради искусства – никогда Чуковский не жил в таком призрачном, насквозь литературном мире, как Петроград девятнадцатого, и нигде больше он не был так счастлив. Удивительное дело – все обитатели Дома искусств, выжившие члены «Всемирной литературы», серапионы, будущие эмигранты и будущие возвращенцы в один голос утверждали, что нигде и никогда не испытывали они такого блаженства, как в послереволюционном пустом городе, где на мостовых пробивалась между торцами трава. Это была осуществившаяся утопия – слово стало хлебом (и оно им сделалось в самом буквальном смысле – за переводы и лекции давали хлеб и крупу). Самое высокое и самое низкое сплелись неразрывно; Пастернак писал об этом времени:

…Поэты
Уже печатают тюки
Стихов потомкам на пакеты
И нам под кету и пайки.

За стихи платили пайками, в стихи заворачивали кету. «Так начинают жить стихом».

Чуковский не питал никаких иллюзий насчет того, что пролетариат, освободившись, тут же начнет читать роман Карлейля *«Sartor Resartus»* (о необходимости включения которого в состав Библиотеки они с Горьким часами спорили в голодном разграбленном городе!). Хотя, пожалуй, верил, что, если новые поколения правильно воспитывать, они все-таки станут читателями, освободятся от гнета пошлости (потому в советское время и ходил столько по школам, сидел на уроках литературы, разговаривал с детьми, беседовал с учителями…). И все-таки

прекрасно понимал, что борьбу за души выиграть почти невозможно и навязывать народу культуру – дело безнадежное. Более того: уже в 1919 году стало ясно, что никакой платоновской диктатуры философов не предвидится, что под красным знаменем пришел-таки Пинкертон, что сама большевистская власть далеко не так дружелюбно настроена к интеллектуалам, как прокламировалось поначалу. Только в Петрограде, с 1918 по 1924 год (до закрытия «Русского современника») была у Чуковского возможность реализовать свою эстетическую и философскую программу; и оттого только в это время он по-настоящему равен себе. С 1925 года страницы его прозы, статей и дневников становятся словно тусклее.

«Нет житья уже»

1919 год был еще труднее предыдущего: уже в январе к привычным горестям и трудностям – морозу, грабежам, голоду – добавился тиф. И добро бы только он. Не менее страшным бедствием была свирепеющая Чрезвычайная комиссия (вскоре в «Чукоккале» остроумцы начнут обыгрывать: К. Ч. – Ч. К.). По приказу нового хозяина Питера Зиновьева ЧК усердно взялась за дело, хватая всех подряд. В два дня арестовали Иванова-Разумника, Ремизова, Петрова-Водкина, Блока – как сотрудничавших в левоэсеровских изданиях… Разобравшись, отпустили. Пока еще отпускали.

«Время было грозное и первобытное, – вспоминал потом Шкловский. – При мне изобрели сани». И рассказывал, как мешки начали тащить за собой по тротуару, а потом – ставить на полозья, как ели один картофель и хлеб, как не заживали раны, нанесенные топорами при неумелой колке дров, как лопнули водопроводы – и Ремизов таскал в квартиру воду в баночках и бутылочках, – как топили книгами и мебелью, как отмирал стыд, потому что слабость была сильнее, как возили трупы на ручных салазках или подбрасывали в пустые квартиры, потому что дорого было хоронить.

Пережить это время – уже было геройство. Взрослые, сильные, не обремененные семьями мужчины писали, что в это время погибали и чуть не погибли. А у Чуковского к тому же были дети, и детей надо было кормить. Удивительно, что он не только сам справился, но еще и ухитрялся помогать другим.

Гражданская война ужимала Советскую Россию до размеров удельного княжества, все воевали со всеми, все грабили всех. Красные собирали последние ресурсы, чтобы ударить по белым. Объявили о военном коммунизме. Ввели продразверстку. Создали

лагеря принудительного труда для «контрреволюционеров».

Зато заявили о себе имажинисты, открылся Большой драматический театр, начавший с постановки «Дон Карлоса». В Петрограде работало множество театров, где кормились не только актеры и режиссеры, но и музыканты, и художники, и литераторы. В 1919-м можно было увидеть и услышать что угодно: танго и тирольские песни, оперетты и водевили, «Грозу» и какого-то «Сатану ликующего». В газете «Жизнь искусства» объявления о репертуаре цирка Чинизелли, «Кабаре» и «Парижианы» чередуются с извещениями о погребении Карла Либкнехта и газоформалиновой дезинфекции завшивленных театральных костюмов в Народном доме. На первомайские торжества тридцать тысяч красноармейцев устроили на Дворцовой площади «Действо о III Интернационале». Зрелища заменили собой хлеб.

Дневники Чуковского в 1919 году полны лаконичных зарисовок повседневной жизни разоренного, мертвого, грязного Петрограда, своих и чужих наблюдений: кусок колбасы, оброненный с неба вороною на детей Лозинского; «коллекция дыр» на подметках обуви у молящихся в церкви; мятые люди, которые спят в одежде; ни одного дымка над морозным городом – печи уже не топят; туша палой лошади у дома – по ночам от нее кто-то отрезает куски. О том же тогда же писал молодой поэт Константин Вагинов: «Толпы белых людей лошадь грызут при луне». В строчках этих – не только фантасмагория ночного Петрограда, но и горечь унижения «белых людей», ввергнутых разрухой в дикарское состояние.

Новые беды пришли, но старые не отступили: Чуковский переживает новый приступ многомесячной бессонницы. Весной записывает: «Не сплю четвертую ночь. Не понимаю, как мне удается это вынести. Меня можно показывать за деньги: человек, который не спит четыре ночи и все еще не зарезался». Лида читает ему по нескольку часов подряд, чтобы он мог уснуть. Репину, впрочем, он пишет: «Здесь в Питере очень тяжело, но не все так плохо, как пишут в газетах… Живем не сытно, но дружно. Все работаем. Я служу в издательстве „Всемирная литература“, заведую английским отделом – вместе с Горьким, – который делает здесь много добра». В этом же письме говорится, что К. И. отдал Вере Репиной в счет долга еще несколько тысяч рублей.

Разочарование строительством новой жизни в России постепенно нарастает. В дневниках К. И. сквозь искренний оптимизм и натужное самовнушение то и дело прорываются злость и тоска: кругом грязь, невежество, тупые, равнодушные лица, никому нет дела до культуры, строители новой жизни

предъявляют самые буржуазные запросы, комиссариатская барышня стрекочет о «своей портнихе»… «Пишу главу о технике Некрасова – и не знаю во всей России ни одного человека, которому она была бы интересна», – жалуется Чуковский. Тем не менее именно о технике Некрасова он прочитал несколько лекций. Слушатели были – но вряд ли так уж много. Слушать Гумилева о Блоке и самого Блока, к примеру, явилась совсем небольшая кучка девиц. Да и главный смысл таких мероприятий, как публичные лекции, был отнюдь не просветительским, а самым бытовым: не дать писателям умереть с голоду. В начале июля Чуковский записал в дневнике: «Сегодня Шкловский написал обо мне фельетон – о моей лекции про „Технику некрасовской лирики“. Но мне лень даже развернуть газету: голод, смерть, не до того». Блок записывал 11 июля: «В городе обыски, выключают все телефоны. В Петрограде осадное положение, ездить в пригороды нельзя».

К лету 1919 года в стране уже стало совсем трудно дышать: разгулялся красный террор. В «Чуккокале» в это время появилась присланная из тюрьмы на Шпалерной стихотворная просьба работавшей во «Всемирной литературе» переводчицы Анны Ганзен к подруге прислать еды, гребень, мочалку и работы – «предисловья; но не прочь/ и проверкой я заняться, / чтобы праздной не болтаться…». Лидия Корнеевна Чуковская вскользь упомянула в «Прочерке», что в этом году приходили и за Чуковским, он отсиживался в другом месте, дома три дня ждала засада – и дождалась. Увели, но отпустили, сажать не стали. Почему, зачем – кто знает?

Именно в это время государство решило навести порядок в издательском деле: 20 мая 1919 года был создан Госиздат РСФСР – «единый госаппарат печатного слова». Дискуссии о том, нужно или нет централизовать издательское дело, были завершены. Власть брала под свой контроль типографии, издательства, бумагу; вопрос был не столько экономический, сколько политический: с этого момента идеологические тиски начали неумолимо сжиматься, а государственная монополия на печатное слово – укрепляться. «Издательская деятельность всех ученых и литературных обществ, а равно всех прочих издательств, подлежит урегулированию и контролю Государственного издательства», – значилось в постановлении.

Блок вписал в «Чукоккалу», отвечая на невиннейший вопрос Корнея Ивановича об окраске звуков: «Я не умею заставить себя вслушаться, когда чувствую себя схваченным за горло, когда ни одного часа дня и ночи, свободного от насилия полицейского государства, нет, и когда живешь со сцепленными зубами. Было

бы кощунственно и лживо припоминать разсудком звуки в беззвучном пространстве». В его записных книжках царит жестокая тоска: «СКУКА существования не имеет предела».

Писатель Александр Амфитеатров, принимавший участие в горьковских проектах (в том числе во «Всемирной литературе»), в 1919 году записал в альбом К. И. стихотворение с замечательно емкими строчками: «Не живем на свете – маемся, / Как в подполице глухой; / Вместо дела занимаемся / Подневольной чепухой». Два года спустя Амфитеатров с семьей сбежал за границу через Финский залив на лодке.

За границу не выпускали, но обиженная, изможденная голодом и абсурдом интеллигенция стала искать выходы из захлопнувшейся мышеловки. К этому времени деятели культуры уже были бесповоротно поделены на два враждующих лагеря – даже не просоветских и антисоветских, а тех, кто считал работу при этой власти необходимой, с одной стороны, и недопустимой, с другой (они, кстати, несмотря на убежденный саботаж, тем не менее работали для «Всемирки» – например, Мережковские или тот же Амфитеатров). Чуковский был одной из самых заметных фигур в лагере сотрудничающих. При этом личные отношения между членами этих лагерей могли быть уважительными и даже дружескими, свидетельство тому – хотя бы записанное в «Чукоккалу» стихотворение Зинаиды Гиппиус, где упоминается «мальчик седой с душою нежной» (правда, сам К. И. и некоторые его современники замечали, что, уехав за границу, она принялась бранить Чуковского, «как торговка», «на всех углах»).

«Все руководители лагеря врагов сотрудничества интеллигенции с Советской властью – и Мережковский, и Гиппиус, и Амфитеатров, и Ремизов, и Куприн, и Валерьян Чудовский – все, одни немного раньше, другие немного позже, уехали из России. Это было, в сущности, осуществимо для каждого, кто этого хотел», – писал Николай Корнеевич.

Если бы Чуковский хотел бежать – он мог: хоть бы и на лодке через залив, гребец он был отличный. Но он не хотел. И Гумилев не хотел, и Блок. И Замятин до какого-то момента не хотел, о чем позже.

Сейчас часто спрашивают: почему они не убежали, они что – не понимали? Да понимали, конечно, доказательства тому – не уничтоженные записи в «Чукоккале», отзвуки разговоров в дневнике – «большевиков ругали все», стихи самого К. И. к юбилею Горького – «И желаем, чтобы Ваш Челкаш / прекратил ералаш. / Потому что от этого вашего протеже / Нет житья уже…».

По словечку, по крупинке – таких свидетельств набирается

множество: Чуковский вовсе не был «красным Чуковским», каким его пыталась представить эмигрантская пресса. Он-то как раз все понимал. И все равно оставался, и работал с «большевиком» Горьким, как и Гумилев, и Блок, и Замятин. Что их держало? Просто и ясно это объяснил Гумилев, отвечая на эмигрантские обвинения членов редколлегии в невежестве и неблаговидной политической роли, которую они играют: «„Всемирная литература“ – издательство не политическое. Его ответственный перед властью руководитель, Максим Горький, добился в этом отношении полной свободы для своих сотрудников… В числе шестнадцати человек, составляющих ее, нет ни одного члена Российской Коммунистической партии. Однако все они сходятся на убеждении, что в наше трудное и страшное время спасенье духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал себе прежде».

Гумилеву и Чуковскому, в отличие от Амфитеатрова, их дело не казалось «подневольной чепухой». Вряд ли они питали иллюзии – скорее надежды. Вопреки всему, невзирая на попытки добиться от них единомыслия, на хамоватый Пролеткульт, на бесконечную, бесчеловечную бюрократию советской власти, на обыски и аресты. Надежды продержались еще несколько лет. Затем пошла еще одна волна отъездов, и вновь встала необходимость делать выбор.

«Затеяли журнал…»

По выражению Шкловского, Горький был Ноем для русской интеллигенции, а его проекты – ковчегом, где спасались во время потопа; «спасались не для контрреволюции, а для того, чтобы не перевелись грамотные люди в России». Литераторы пытались не только спастись физически, но и отвоевать себе возможность дышать и говорить, когда и самому трудно от слабости, и сверху давят сапогами.

Спасение культуры и борьба с «бытом» – вот цели, которые ставили перед собой Горький, Чуковский и Замятин, начиная новый проект – издание литературного журнала. О нем Горький упоминал в письме Вацлаву Воровскому в июне 1919 года. Кстати, с Воровским Чуковский встречался в августе в Москве по рекомендации Луначарского, тогда же виделся с Гржебиным и Горьким – а касались ли эти встречи издания журнала, в дневнике не сказано: весь московский фрагмент посвящен самому главному впечатлению – сытости («огромное множество молока, варенца, хлеба», «огромная кружка простокваши», «швейцарский сыр, чай», «именины: пироги, вино, конфеты – и все в огромном

количестве», «еда: рыба, телятина, щи, пирожное – в изобилии», «угощала вишнями, кашей, хлеба вдоволь и т. д.»).

Впервые проект журнала обсуждался на заседании редколлегии Союза деятелей художественной литературы 13 января 1919 года. Журнал должен был называться «Литературный современник» (Чуковский пришел и привел за собой призрак Некрасова). «Горький назначил себя главным редактором, а Замятина и Чуковского – соредакторами, но основная редакторская работа легла тогда именно на плечи Замятина. Поступившие в редакцию рукописи были им отобраны и даже отредактированы. К сожалению, этот ежемесячник так и не вышел в свет, как, впрочем, и все другие издания, задуманные в СДХЛ», – пишет исследовательница творчества Замятина Мария Мисонжникова.

В июне Блок упоминает о совместной поездке с Чуковским в Смольный по поводу журнала, который он, правда, называет «Завтра». Тогда же и Чуковский пишет в дневнике: "Мы с Тихоновым и Замятиным затеяли журнал «Завтра». Горькому журнал очень люб. Он набросал целый ряд статеек – некоторые читал, некоторые пересказывал – и все антибольшевистские. Я поехал в Смольный к Лисовскому просить разрешения; Лисовский разрешил, но, выдавая разрешение, сказал: прошу каждый номер доставлять мне предварительно на просмотр. Потому что мы совсем не уверены в Горьком.

Горький член их исполнительного комитета, а они хотят цензуровать его. Чудеса!"

Возможно, журнал не вышел именно из-за своей потенциальной антибольшевистской направленности.

«В архиве Чуковского сохранилась программа „ежемесячного внепартийного журнала ‘Завтра', посвященного вопросам литературы, науки, искусства, техники, просвещения и современного быта“. Сообщается, что ответственный редактор журнала – М. Горький, издатель – З. И. Гржебин, что журнал „издается независимой группой писателей“», – пишет в комментариях к дневникам Е. Ц. Чуковская. А вот программа журнала: «борьба за культуру, защита культурных завоеваний и ценностей, объединение всех интеллектуальных сил страны, восстановление духовных связей с Западом, прерванных всемирной войной, приобщение России к великому Интернационалу Духа, который будет неминуемо создан – и уже создается – в ЗАВТРАШНЕЙ преображенной Европе».

Стоит обратить внимание не столько даже на борьбу за культуру, сколько на «восстановление духовных связей с Западом» и «Интернационал Духа». Это не Третий

Интернационал, чей учредительный конгресс прошел в Москве в марте 1919 года, а слегка замаскированная модной терминологией любимая идея Чуковского о необходимости быть включенным в мировой контекст, быть связанным с культурной традицией. Российская интеллигенция страдала не только от бытовых лишений, но и от культурной изоляции. Именно желание восстановить «духовные связи с Западом» стало причиной того, что Чуковский и Замятин впоследствии стали издавать журнал «Современный Запад».

От идеи о собственном печатном органе было невозможно отказаться: так много было увидено, понято, осмыслено, столь о многом хотелось – и негде было – сказать… Один проект погибал – они продолжали вынашивать новые: «Дом искусств», «Современный Запад», невышедшая «Литературная газета»; наконец, «Русский современник», после которого невозможность осуществления идеи стала очевидна. Но пока они этого не знают. Собирают рукописи. Обсуждают планы.

Старшие и младшие

Самая, пожалуй, большая радость для Чуковского в это время – дети. И чужие, и собственные. Он читает не только лекции красноармейцам, но и «Крокодила» своей любимой аудитории; аудитория благодарно реагирует, но «тысячу порций мороженого» понимает как небывалые горы мороженой картошки, тогдашнего петроградского лакомства.

Дневники вновь заполняются заметками о дочери и сыновьях: Коля подает литературные надежды, он несомненный поэт, у Лиды замечательно благородная душа, Боба пишет поразительные по чувству слова былины. К. И. берет детей с собой к Луначарскому, на заседания «Всемирной литературы», на лекции, как раньше ходил с ними по редакциям (отсюда Бобина смешная трактовка строчки «Уж я Киев-град во полон возьму» – «в „Аполлон“ возьму»).

"Чествование Горького в *Всемирной Литературе.* Я взял Бобу, Лиду, Колю и айда! По дороге я рассказывал им о Горьком". «Вчера повестка от Луначарского – придти в три часа в Комиссариат Просвещения на совещание: взял Кольку и Лидку – айда!» Так незаметно детям ставится высокая планка – литературная, этическая, поведенческая. Дети привыкают к хорошим стихам, хорошим манерам, содержательным разговорам и осмысленному времяпрепровождению – не потому, что их этому специально учат, а потому, что такова атмосфера, окружающая их. На фотографии с чествования Горького младшие Чуковские

сидят на переднем плане: милый черноголовый Боба, нескладный Коля, Лида с бантиком.

Удивителен сам семейный уклад Чуковских, в нем почти не чувствуется обычного для большинства семей разделения на взрослую и детскую жизнь. Дети не замкнуты в своем изолированном мире прогулок, игрушек и школьных друзей, а сызмальства учатся понимать заботы взрослых. Вечно занятый отец не отталкивает их, а, напротив, включает в свой круг занятий, дает им возможность видеть, наблюдать, размышлять; кое-что из усвоенного даже не осознается толком и не проговаривается вслух, так незаметно формируются убеждения, эстетическая и этическая позиция.

Наконец, отец был частым гостем в школе, где учились дети, – Тенишевском училище, которое славилось и качеством преподавания, и демократическими порядками. Чуковский принимал участие в подготовке школьных спектаклей, выступал в школе, приглашал выступать других литераторов. Дети, в свою очередь, включались в его заботы – в дневнике К. И. есть запись о том, как они вместе с отцом готовили афиши для вечера памяти Леонида Андреева.

Дети почти равноправны: к их мнению прислушиваются, со временем они даже становятся советчиками: «По дороге я рассказывал Коле план своей работы о Некрасове. Он, слава Богу, одобрил».

Прогулки, семейные игры, чтение. Сыновья взахлеб читают об экзотических островах. Лида занимается английским и музыкой. Как будто это происходит не в призрачном Петрограде 1919 года, а в уютной довоенной Куоккале. В свой день рождения Чуковский записывал: «Теперь сижу и волнуюсь: что подарят мне дети». Дети подарили часы. Другие драгоценные подарки на 37-летие – бумага, карандаши, перья, баночка патоки.

Люди искусства и дети особенно потянулись друг к другу в эти троглодитские времена. Не уходили на дно зверского быта только те, кого держало на плаву нечто нематериальное: религия, идеология, культура. Дети и художники были похожи друг на друга тем, что единственные во всей стране еще были способны отвлечься от политики, экономики, быта, подняться над ними, забыть о них, играть и даже смеяться.

Музыканты, художники, артисты особенно много возились с детьми, когда другие взрослые были заняты мрачными и важными делами. Открывались студии, детей учили танцевать, рисовать, писать стихи – просто видеть, думать, чувствовать. Дети остались их единственной надеждой на то, что культура не погибла, историческая традиция не прервалась.

Именно с послереволюционных времен начинается последовательная педагогическая деятельность Чуковского: он неутомимо учит, приобщает к поэзии, спасает от глупых экспериментов, рассказывает, смешит, утешает, радует, учит взрослых работать с детьми, присматривается к качеству учебников, борется за хорошую детскую литературу… и ставит, и ставит им градусники… И, как ни странно, как ни казалось ему, что все бессмысленно и культурная среда окончательно погибла, – многих удалось научить, воспитать, сделать нужные прививки.

В отчете «Всемирной литературы» за 1919 год говорится: «На первых же порах работники „Всемирной литературы“ оказались лицом к лицу с чрезвычайными затруднениями: невыработанностью методов и недостаточностью литературных сил. Искусство перевода до наших дней оставалось в России промыслом кустарным, лишенным теоретических основ и традиций. Выпущенная издательством брошюра К. И. Чуковского и Н. С. Гумилева о „Принципах художественного перевода“ стихов и прозы могла лишь частично восполнить этот пробел. Выяснилось, что вопрос о технике перевода неразрывно связан с общими вопросами литературного творчества, поэтикой, стилистикой, ритмикой, метрикой, историей литературы, языковедением. В то же время у руководителей издательства создалось убеждение, что лишь путем эмпирическим, путем совместной работы над методами анализа и созидания стихов и прозы – может быть создан кадр сознательных работников. Отсюда возникла мысль о „Литературной студии“, мастерской, не столько школы, сколько лаборатории. Задача ее не умозрительная, а действенная: добытые теоретические данные приложить к практической работе над переводами иностранной литературы».

В феврале 1919 года газета «Жизнь искусства» известила: «При издательстве „Всемирная литература“ организована литературная студия». В числе руководителей и лекторов названы Браун, Волынский, Замятин, Гумилев, Лозинский и другие, в том числе Чуковский, который должен был читать лекции об англо-американской прозе. Первоначально перед студией действительно стояла задача воспитать кадры молодых переводчиков. Чуковский вместе с Александром Тихоновым нашел затопленную квартиру в доме Мурузи на углу Литейного и Пантелеймоновской. Тихонов «мгновенно взялся за дело, и уже через несколько дней – в июне девятнадцатого года – состоялось торжественное открытие студии», – пишет К. И. в воспоминаниях о Зощенко. 28 июня Блок занес в записную книжку: «Открытие

Студии в „доме Мурузи“ (Литейный, 24). Чуковский и Гумилев читают».

Руководители заранее подготовили темы занятий: студистам предстояло прослушать лекции о мировой литературе на пороге XX века, о Малларме и Эредиа, о Бернарде Шоу и Джеке Лондоне. Однако оказалось, что и учителям, и ученикам нужны вовсе не теоретические занятия по истории литературы и даже не прикладные по технике перевода. «Вскоре она (студия) переменила свой профиль и по желанию студистов превратилась в нечто вроде факультета по изучению русской и иностранной литературы», – писал Корней Иванович в комментариях к «Чукоккале». В воспоминаниях о Зощенко он говорит подробней: «Дело в том, что среди студистов стали появляться такие, которые нисколько не интересовались мастерством перевода. Не переводить они жаждали, но создавать свои собственные литературные ценности… Не столько за тем, чтобы слушать чьи бы то ни было лекции, приходили они в нашу Студию, сколько за тем, чтобы встречаться друг с другом, читать друг другу свои литературные опыты, делиться друг с другом пылкими мыслями о будущих путях литературы, в создании которой они страстно мечтали участвовать». Студисты стали своим учителям скорее младшими братьями, чем учениками.

Слушателей набралось свыше 200 человек, как свидетельствуют Михаил Слонимский и Елизавета Полонская. Николай Чуковский (разумеется, старший сын К. И. принял самое деятельное участие в работе студии) даже называет точную цифру: 337 человек. Правда, среди них «были и такие люди, которые нисколько не интересовались литературой, а посещали студию только для того, чтобы иметь возможность посидеть в тепле». Были и будущие писатели и поэты – Зощенко, Вагинов, Одоевцева, Адамович, Георгий Иванов, Познер, Николай Никитин, Елизавета Полонская, Лев Лунц. Но большую часть слушателей составляла околотворческая молодежь, чей главный вклад в историю русской литературы – особая счастливая атмосфера игры, свободы, любви и творчества.

Студистам предлагали на выбор четыре отделения: прозы (им руководил Замятин), поэзии (Гумилев), переводов (Лозинский) и критики (Чуковский). К. И. «на первом же занятии… рассказал нам о широких замыслах Алексея Максимовича Горького, стоявшего во главе издательства „Всемирная литература“, которое хотело дать русскому читателю в образцовых переводах лучшие произведения литератур народов всего мира, – писала Елизавета Полонская. – …Корней Иванович вел занятия умно и непринужденно. Он рассказывал, над чем работает сам, и

предлагал нам, студистам, включаться в работу над этими же темами. Ведь кроме переводчиков издательству „Всемирная литература“ нужны были и квалифицированные редакторы, и авторы вступительных статей». Правда, отделение критики просуществовало недолго. «Отец, пылко взявшись за дело, скоро охладел к нему. И студисты его, весьма многочисленные, разошлись по другим семинарам», – писал Николай Корнеевич.

Были еще семинары Шкловского, Волынского, Лунина, Евреинова, Шульговского. Каждый из руководителей семинаров, по выражению Чуковского, тянул студию в свою сторону: «Шкловский – в свою, Замятин – в свою, Гумилев и Лозинский – в свою. Каждый пытался навязать молодежи свой собственный литературный канон. Мудрено ли, что в первый же месяц студисты разделились на враждебные касты: шкловитяне, гумилевцы, замятинцы». Скромный Корней Иванович, избегающий по возможности любого ячества в своих воспоминаниях, не упомянул, разумеется, что и сам тянул в свою сторону не хуже прочих, были среди враждебных каст и «чуковисты».

Гумилевцы вычерчивали таблицы, переводчицы у Лозинского трудились над сонетами Эредиа. У Замятина анализировали прозу. У Шкловского начинающие формалисты штудировали теорию сюжета. У Чуковского – писали собственные критические работы: доклады о Надсоне, Борисе Зайцеве, Маяковском, эпитетах у Бунина, о Блоке. В этом семинаре занимались Зощенко, Лев Лунц, Елизавета Полонская, Илья Груздев, Владимир Познер (позднее они разошлись по семинарам поэзии и прозы). Чуковский умел держать слушателей в постоянном напряжении: мог и поддеть, и с самой милой улыбкой разнести в пух и прах (Николай Корнеевич даже пишет, что Зощенко покинул семинар после разноса его первого доклада о Надсоне; правда, в архивах К. И. есть и другие доклады начинающего писателя – о Маяковском, например, о Блоке). По выбору тем понятно, что К. И. обсуждал со слушателями в первую очередь то, что живо волновало его самого: он в это время работал над книгой о Блоке и большой, программной статьей об Ахматовой и Маяковском. Было и другое.

"Корней Чуковский… на занятиях в студии «Всемирной литературы» придумал писать вместе с нами, студистами, веселую книжку, содержания которой мы даже не знали, но которая начиналась с того, что все куда-то бежали, ехали в самых невероятных сочетаниях, – вспоминала Елизавета Полонская. – Каждый из нас придумывал какую-нибудь смешную строчку, а Корней Иванович, вышагивая длинными своими ногами по

комнате, собирал все это вместе и выпевал своим тонким, убедительно-проникновенным голосом:

Ехали медведи
На велосипеде,
А за ними кот
Задом наперед…

Каждую строчку говорил кто-нибудь из нас, а у Корнея Ивановича получалось стихотворение, и он хвалил нас и говорил: «Ну, дальше, дальше, дальше!» – мы веселились и хохотали и продолжали выдумывать в полное свое удовольствие, не задумываясь над тем, пойдет ли это куда-нибудь, будут ли это редактировать, а может быть, запретят. Нет, этого не могло быть! Именно в такой атмосфере доверия и радостного желания сказать по-своему, так, чтобы было интересно детям, и возникла детская литература Страны Советов в начале двадцатых годов".

Читатель, разумеется, узнал строчки из «Тараканища». Впрочем, все это было уже позже – действительно в начале двадцатых. А первые месяцы существования Студии ознаменовались великим противостоянием «шкловитян» и «чуковистов». В своих воспоминаниях о Зощенко Чуковский называет учение, проповедуемое Шкловским, «модной литературной ересью» – впрочем, обаятельной по причине внимания, которое еретики уделяли форме литературного произведения.

Мейнстрим в литературе не пережил никакой особенной революции. То, что составило славу дооктябрьской русской словесности, получив название «Серебряный век», было лишь небольшим ее островком; материк состоял из тяжеловесных, идеологически выдержанных произведений, обличавших гнет самодержавия. Литература продолжала быть «игрушечной Думой», подменяя собой политику, экономику, идеологию. Положение это хотя и несколько пошатнулось в столыпинскую эпоху, но осталось неизменным. И февраль, и октябрь 1917 года только укрепили позиции сторонников, условно говоря, содержания. Художники надеялись на обновление искусства, смену засидевшихся на троне господствующих воззрений новыми веяниями – отсюда столько формальных изысков и поисков и в поэзии, и в живописи послереволюционных лет. Однако революция вместо ожидаемого раскрепощения формы принесла ее окончательное закрепощение и подчинение уже не просто идеологически выдержанному, а предначертанному содержанию (а дальше и вовсе – заданному подробной инструкцией

соцреализма).

Естественно, на фоне вульгарного социологизма формалисты выглядели ослепительными умницами. И ересь их оказалась «чрезвычайно притягательной» для юных умов, которые, как правило, расставляют форму и содержание по разные стороны баррикад. Причем форма, как правило, ассоциируется со свободой, прогрессом, новизной, будущим и либерализмом, а содержание – с идеологическим гнетом, косностью, прошлым и консерватизмом.

И Чуковский с его взвешенной позицией золотой середины оказался чрезвычайно уязвим для нападок с обеих сторон, а его «души, которые в языке проявляются», оказались и вовсе какой-то допотопной чушью, буржуазной мутью, идеалистической чепухой. Именно в это время он с горечью писал, что душа – центральное понятие его критики – это полузабытое, скомпрометированное, почти неприличное слово.

Ни на кого не похожая душа поэта – главное, что занимало Чуковского и его «семинаристов»; доклады Зощенко о Маяковском и Блоке вполне созвучны мыслям Корнея Ивановича. У Шкловского же и его питомцев речь шла о структуре, схемах, приемах; произведение вызывало не столько эмоциональный отклик, сколько задорный исследовательский интерес, с которым дети разбирают будильники и раздирают животы плюшевым медведям: что там спрятано внутри?

«Теперь все эти девочки, натасканные Шкловским, больше всего боятся, чтобы, не дай Бог, не сказалась душа», – пишет Чуковский в дневнике. В «Чукоккале» есть подробности диспута после особенно сухого доклада Аси Векслер. Зощенко разозлился: «Черствая чушь». Векслер написала в альбом: «Мое черствое сердце оставляет человечному Корнею Ивановичу память о том дне, когда чуковисты пошли в поход на шкловитян». Не остывший Зощенко сердито отозвался: «Поменьше литературной фармацевтики!» Не исключено, правда, что «фармацевтика» здесь не столько относится к вивисекторским упражнениям «шкловитян», сколько вообще восходит к «фармацевтам» времен «Бродячей собаки» – общеизвестно, что так завсегдатаи этого литературного кафе именовали часть публики, не имевшую отношения к литературе.

О накале страстей свидетельствуют яростные строки Чуковского в статье «Александр Блок как человек и поэт»: "Эта душа ускользнет от всех скопцов-классификаторов и откроется только – душе. Та гимназистка, которая разрезывает шпилькой «Стихотворения Блока» и не знает, что такое *Ante Lucem,* может воспринять его поэзию жизненнее, свежее, полнее, ввести ее в

свою кровь, забеременеть ею и постичь ее более творчески, нежели целый факультет обездушенных, которые так ретиво следят за всякими течениями и веяниями, что забыли о таком пустяке, как душа. Есть у нас, в нашей критике, целая плеяда таких обездушенных, которые принимают свою слепоту за достоинство и даже похваляются ими… Спорить с ними или порицать их – жестоко. Они и без того уже наказаны богом. «Они не видят и не слышат, живут в сем мире, как впотьмах»".

Но формалистам тоже еще достанется, и придут еще времена, когда Чуковский будет просить коллег не нападать на них. Но это в будущем, в далеком 1936 году, во времена кампании против формализма в искусстве. А пока в студии молодая русская литература ищет свои пути, литературоведение – свои. Ведутся поиски адекватных выразительных средств для описания нового опыта, обмен идеями, серьезная литературная учеба – а временами и нормальное щенячье веселье.

«После летнего оживления жизнь в Студии стала замирать, – пишет А. Д. Зайдман. – Многие студийцы ушли на фронт; другие, не вынеся разрухи и голода, предпочли покинуть Петроград; иным просто наскучили занятия. Ряды студийцев поредели, остались только по-настоящему увлеченные литературным трудом».

Зима настала, серебрился иней,
И толстым слоем льда покрылся зал.
На кухне был потоп, пожар в камине,
Никто уж боле лекций не читал, —

гласит запись в «Чукоккале», подписанная Познером («Не Познер, а Полонская», – приписал позже К. И.). Жизнь в Студии замерла.

«Делайте веселые лица»

Осенью 1919 года у К. И. в дневнике появляется коротенькая запись:

"У меня жена беременна,
но, конечно, это временно".

Кажется, звучит даже как-то легкомысленно. Мария Борисовна, уже не очень молодая и не совсем здоровая, ждала четвертого ребенка.

А вот в каком контексте появилась эта залихватская запись.

Неумолимо надвигается новая голодная зима. Литераторы и

художники живут исключительно «пайколовством». Чуковскому приходилось ловить особенно много пайков, чтобы накормить большую семью. Поэтому он читал лекции и матросам Балтийского флота, и милиционерам (в «Горохре» К. И. читал историю литературы, Кони – основы уголовного права, Добужинский – рассказывал о петербургских памятниках искусства, Юрий Анненков о скульптуре), и пролетарским писателям, и акушеркам в «Капле молока имени Розы Люксембург» – писатели иронизировали, что молоко там и впрямь давали по каплям. «Я читаю в Пролеткульте, и в Студии, и в Петрокомпромиссе, и в Оцупе, и в Реввоенсовете», – передразнивал Корнея Ивановича Блок, приплетая ко многочисленным петроградским организациям, где тот подвизался, еще и поэта Оцупа (его фамилия расшифровывалась как «Общество Целесообразного Употребления Пищи»). Коллеги даже ставили Чуковскому в вину умение получать пайки в разных местах, принимая отчаянные попытки выживать за оборотистость. А. Ю. Галушкин сообщает: в первом варианте воспоминаний Замятина об А. А. Блоке, датируемом 1921 годом, присутствовала фраза: «И в то время, как у ловких литераторов (вроде критика Чуковского) было по четыре-пять „пайков“ из разных мест, Блоку приходилось довольствоваться одним» – никаких скидок на многодетность.

В конце лета и осенью в городе проходят обыски, громыхает канонада, по ночам в небе стоит зарево от пожаров. Чуковский хлопочет о Блоке – его уплотняют. «Тоска, скука, холодно, хуже», – пишет Блок. Арестован бывший министр просвещения академик Ольденбург – коллеги хлопочут об освобождении.

Юрий Анненков, начавший портрет К. И., топит печку разрубленной на куски дверью. Портретом, написанным в протопленном дверью помещении, можно полюбоваться на суперобложке 8-го тома нового собрания сочинений: изображен человек «с отчаянным от усталости, лекций и заседаний взглядом», по выражению Замятина. Гумилев топит шкафом, но шкаф дает мало жару (Николай Корнеевич Чуковский вспоминал, что Гумилев пустил на растопку и собрание сочинений Шиллера, будучи убежденным галломаном и германофобом). Блок пытается продать библиотеку: очень нужны деньги.

«С Мережковским мы ходили в издательство „Колос“ – там читал Блок – свой доклад о музыкальности и цивилизации… Впечатление жалкое. Носы у всех красные, в комнате холод, Блок – в фуфайке, при всяком слове у него изо рта – пар. Несчастные, обглоданные люди – слушают о том, что у нас было слишком много цивилизации, что мы погибли от цивилизации», – гласит

одна из дневниковых записей К. И.

"Мы беседовали о политике – и о моем безденежьи. Они Шатуновские, друзья семьи выразили столько участья – отчаянному моему положению (тому, что у меня шесть человек, к-рых я должен кормить) (сам К. И., жена, трое детей и домработница. – *И. Л.),* что в конце концов мне стало и в самом деле жалко себя. В прошлый месяц я продал все, что мог, и получил 90 000 рублей. В этом месяце мне мало 90 000 рублей – а взять неоткуда ни гроша! – Сегодня празднества по случаю двухлетия Советской власти. Фотографы снимали школьников и кричали: шапки вверх, делайте веселые лица!"

«У меня от холоду опухли руки».

«Мои денежные дела ужасны, и спасти меня может только чудо».

«Мы самоуплотняемся: сдвинули всю мебель в три комнатки. Коля будет спать в комнате для прислуги. Темнеет – надо зажигать лампу, но керосину нет почти».

Осенью умер Леонид Андреев. Канул в небытие еще один огромный кусок прошлого. Жизнь стремительно упрощается, мельчает, сводится к набору простых действий и мыслей.

«Прежней культурной среды уже нет – она погибла, и нужно столетие, чтобы создать ее, – тоскует Чуковский. – Сколько-нб. сложного не понимают. Я люблю Андреева сквозь иронию, – но это уже недоступно».

«Говорили о деньгах – очень горячо – выяснилось, что все мы – нищие банкроты, что о деньгах нынешний писатель может говорить страстно, безумно, отчаянно».

«Был вчера на „Конференции Пролетарских Поэтов“, которых, видит Бог, я в идее люблю. Но в натуре это было так пошло, непроходимо нагло, что я демонстративно ушел – хотя имел право на обед, хлеб и чай. Ну его к черту с обедом!»

Замятин в воспоминаниях о Блоке описывает один из дней поздней осени 1919 года: "Петербург – выметенный, опустелый; забитые досками магазины; разобранные на дрова дома; кирпичные скелеты печей. Обтрепанные обшлага; поднятые воротники; фуфайки; вязанные свитеры… Лихорадочная попытка перегнать нужду и какие-то новые, минутные, непрочные затеи, какие-то новые заседания – из заседания в заседание. И вот – поздно вечером, после трех или, может быть, четырех заседаний – в одной из маленьких задних комнат «Всемирной Литературы»: столовая, под зеленым колпаком, лампа; лица в тени. Налево от дверей – теплая изразцовая лежанка и на лежанке, возле лежанки – Блок, Гумилев, Чуковский, Лернер, я – и кругленьким кубарем из угла в угол Гржебин.

Трудно починить водопровод, трудно построить дом – но очень легко – Вавилонскую башню. И мы строили Вавилонскую башню: издадим Пантеон Литературы российской – от Фонвизина до наших дней. Сто томов". Писатели обсуждают Пантеон всерьез – разве что с легкой тенью недоверчивой улыбки.

Надвигалась одна из самых тяжелых зим за всю историю Северной столицы – хуже была только следующая, да еще блокада в Великую Отечественную. Заботы о еде и дровах стали неотступным кошмаром. Топливный кризис достиг такой степени, что на заготовки дров стали мобилизовывать, как в армию. Электричества нет, потому что нет топлива. Денег нет, потому что экономика в коллапсе. Люди бегут из больших квартир в маленькие, сбиваются в самые крошечные комнаты, жизнь подтягивается поближе к буржуйкам и керосинкам. Особенно драматические описания этой зимы оставил Виктор Шкловский:

«Зимой замерзли почти все уборные. Это было что-то похуже голода. Да. Сперва замерзла вода, нечем было мыться… Мы не мылись. Замерзли клозеты. Как это случилось, расскажет история… Мы все, почти весь Питер, носили воду наверх и нечистоты вниз, вниз и вверх носили мы ведра каждый день. Как трудно жить без уборной».

«Была сломанность и безнадежность. Чтобы жить, нужно было биться, биться каждый день, за градус тепла стоять в очереди, за чистоту разъедать руки в золе».

«У мужчин была почти полная импотенция, а у женщин исчезли месячные».

«Умирали просто и часто… Умрет человек, его нужно хоронить. Стужа студит улицу. Берут санки, зовут знакомого или родственника, достают гроб, можно напрокат, тащат на кладбище».

«На ногах были раны; от недостатка жиров лопнули сосуды. И мы говорили о ритме, и о словесной форме, и изредка о весне, увидать которую казалось таким трудным…»

Как раз в начале этой зимы редколлегия «Всемирной литературы» и развлекалась сочинением прославленных впоследствии стихов для завхоза Левина (о дровах) и для мешочницы Розы Васильевны (о еде). «Святые слова „Дрова“» – это Блок. «Но у бледных губ моих / Стынет стих / Серебристой струйкой пара» – это Гумилев. А Чуковский иронически клеймил их за то, что они продали вдохновение за дрова и еду.

Корней Иванович, бесконечно занятый добыванием еды для семьи, заседаниями, лекциями, литературной студией, остатки времени и сил тратит на бескорыстную помощь другим. Постоянно носится по городу, хлопоча то о лошади для Кони,

которому трудно ходить, то о родственнице Некрасова, то о голодном литераторе – добывает пайки, работу, деньги, переводы (а переводы оказываются плохими, и их приходится заново редактировать)… Идет к Горькому (тот, впрочем, и сам находится в постоянных хлопотах о ком-нибудь), бегает по инстанциям, доказывает: это наше достояние, это замечательные люди, они находятся в нечеловеческих условиях! Скоро его начинают считать чуть ли не волшебником, который может все: к нему идут с просьбами, которые он, если бы и хотел, выполнить не в состоянии.

В конце концов становится понятно: его сил не хватит на то, чтобы позаботиться обо всех, надо что-то срочно делать, пока людей еще можно спасти.

Идея открыть в Петербурге «Дом искусств» появилась у Чуковского еще летом. «В июле 1919 года я посетил по делам „Всемирной литературы“ Москву и там прочитал несколько лекций во Дворце Искусств, которым заведовал поэт И. С. Рукавишников, – писал К. И. в комментариях к „Чукоккале“. – Дворец Искусств помещался в том самом доме, где теперь Союз Писателей. Мне пришло в голову, что такой же „дворец“ необходимо создать и в Питере. Я стал хлопотать об организации филиала Дворца Искусств в Петрограде. Дело долго не сдвигалось с мертвой точки, покуда во главе учреждения не стал А. М. Горький. Ему усердно помогал А. Н. Тихонов (Серебров), взявший на себя всю организационную работу».

11 ноября на заседании «Всемирной литературы» Чуковский поднял вопрос о питании литераторов: «Никаких денег не хватает – нужен хлеб. Нам нужно собраться и выяснить, что делать». Запись в дневнике кончается словами: «Дом искусств как будто на мази!»

12-го: «Встал часа в 3 и стал писать бумагу о положении литераторов в России. Бумага будет прочтена завтра в заседании Всемирной Литературы».

13-го: «Вчера встретился во „Всемирной“ с Волынским. Говорили о бумаге насчет ужасного положения писателей. Волынский: „Лучше промолчать, это будет достойнее“…»

Чуковский, слава богу, достойно молчать не стал: «Из „Всемирной“ к Гржебину. Выпросил десять тысяч – и в Комиссариат Просвещения к Сазонову. Гринберг обещает в ноябре полмиллиона и в декабре – полмиллиона. Оставил валенки – и с Оцупом и Слонимским к Тойво…» Так и пробегал весь день, и вечером лег голодный. Утром снова побежал на заседание и сокрушался: «Горький забыл о нем и не пришел!»

18-го: «Целый день в хлопотах о продовольствии для

писателей».

И снова заседания, и составление бумаг для Совнаркома, – и наконец 19 ноября Дом искусств открылся.

Дом искусств

«Итак, вчера мы открывали „Дом Искусства“, – писал К. И. на следующий день. – Огромная холодная квартира, в к-рой каким-то чудом натопили две комнаты, – стол с дивными письменными принадлежностями, все – как по маслу: прислуга, в уборной графин и стакан, гости». Присутствовали члены коллегии «Всемирной литературы». Гостям подали карамельки, горячий чай и булочки. Еда была явлением столь небывалым и значительным, что Анненков нарисовал в «Чукоккале» чай и булку, а Добужинский пририсовал на булке сверху шатер с флажком; получился Дом искусств, в фундаменте которого лежит булка (взгляд, конечно, варварский, но верный).

Открытие происходило не в знаменитом доме № 59 на Мойке (его только что сняли и в этот день ходили смотреть), а на Невском, 57 – в помещении «Петербургского Пулеметного Гнезда», как Блок написал в «Чукоккале» в протоколе заседания. Вести протокол его попросил К. И. Вот выдержка из этого документа:

"1. Избрание председателем В. И. Немировича-Данченко.

2. А. Н. Тихонов читает о целях и задачах «Дома Искусств» – сочинение И. С. Рукавишникова, в котором самое страшное – о мастере и о том, что мастером легко перестать быть и могут даже выгнать из мастеров.

3. Разносят настоящий чай, булки из ржаной муки, конфеты Елисеевские. Н. С. Гумилев съедает три булки сразу. Все пьют много чаю, кто успел выпить стакан, просит следующий, и ему приносят.

6. Ю. П. Анненков ест безостановочно.

7. П. В. Сазонов дополняет слова А. Н. Тихонова.

8. А. Е. Кауфман говорит о толках.

9. К. И. Чуковский спрашивает, какие?

10. А. Е. Кауфман рассказывает слухи.

11. К. И. Чуковский опровергает слухи.

12. С. Ф. Ольденбург благодарит К. И. «Аплодисман»". Дом искусств, задуманный как филиал Московского Дворца искусств (в блоковском протоколе отмечены слова Кауфмана о нежелании быть «филиальным отделением Рукавишникова» и ответ Тихонова «филиальность не связывает»), оказался учреждением совершенно самостоятельным и гораздо более значительным, чем московский Дворец.

Вскоре Дом занял квартиру купца Елисеева, и в ее причудливых круглых, полукруглых, Г-образных и прочих

комнатах поселились художники, писатели и студийцы.

Аляповатая квартира, вся в позолоте, завитушках и ангелочках, и огромный дом, занимавший (и занимающий до сих пор) целый квартал, описаны в русской литературе многократно, подробно, дотошно и талантливо. Едва не каждый из обитателей Дома оставил свои воспоминания об этом фантастическом месте и происходивших в нем событиях. Поэтому не будем повторяться, лучше коротко процитируем Корнея Ивановича: «Трехэтажная квартира Елисеевых, которую предоставили Дому Искусств, была велика и вместительна. В ней было несколько гостиных, несколько дубовых столовых и несколько комфортабельных спален; была белоснежная зала, вся в зеркалах и лепных украшениях; была баня с роскошным предбанником; была буфетная; была кафельная великолепная кухня, словно специально созданная для многолюдных писательских сборищ. Были комнатушки для прислуги и всякие другие помещения, в которых и расселились писатели: Александр Грин, Ольга Форш, Осип Мандельштам, Аким Волынский, Екатерина Леткова, Николай Гумилев, Владислав Ходасевич, Владимир Пяст, Виктор Шкловский, Мариэтта Шагинян, Всеволод Рождественский… И не только писатели: скульптор С. Ухтомский (хранитель Русского музея), скульптор Щекотихина, художник В. А. Милашевский, сестра художника Врубеля и др. Здесь же водворились три студиста, те, которые уже успели приобщиться к писательству: Лева Лунц, Слонимский и Зощенко».

В Доме искусств Чуковский встречал новый, 1920 год – пшенной кашей с ванилью, в компании молодых студийцев. «Крупу где-то достал мой папа, он же организовал встречу», – писал Николай Корнеевич, завсегдатай ДИСКА и слушатель студии. Корней Иванович же поначалу организовывал веселье: предложил писать сонет на заданные рифмы (год – урод, встречаем – чаем и т. п.). Сонет победителя, Михаила Слонимского, записан в «Чукоккале»:

Для нас Чуковский – Новый Год,
Его мы с радостью встречаем,
Он хоть и сед, но не урод,
Его мы угощаем чаем.
И длиннорук, как канделябр,
И громогласней громких арий,
Длиннее самых длинных швабр,
Он радостен, как пролетарий.
А завтра он – какой позор! —
Стоит торжественный, как ода,

Но склонный хрупнуть, как фарфор,
В дверях Компрос-Комбед-Компрода.

После горячей сытной каши, свидетельствует Николай Чуковский, править балом стал Лева Лунц, веселый и талантливый импровизатор – «и началось нечто сверкающее…».

ДИСК (так Дом искусств вскоре стали называть, повинуясь всесокращающему духу времени) оказался едва ли не единственным местом в Петрограде, где еще можно было о чем-то разговаривать на привычном языке и смотреть на человеческие лица (недаром в письмах и дневниках Чуковского так часто звучит жалоба: лица стали не те!).

Сам К. И. разрывался между лекциями, заседаниями многочисленных организаций, собственной литературной работой, хлопотами об организации Дома, продовольствии и топливе, расселении литераторов (и наверняка улаживанию обид – не в ту комнату поселили). Стоял в дверях и под дверями многочисленных компрос-комбед-компродов, временами действительно «склонный хрупнуть, как фарфор».

Он привел в ДИСК студию, собравшую молодые литературные силы. Занимался подбором библиотеки («таскали на себе мешки с книгами с Фонтанки из Книжного пункта»), продовольствием, организацией лекций, затем – изданием журнала. Собственно говоря, Дом искусств был детищем не столько Горького, сколько Чуковского: никто другой столько не сделал для создания Дома и его существования.

В 1921 году К. И. написал Акиму Волынскому гневно-обиженное письмо (на какие он был великий мастер), где перечислял, что сделал для выживания русской литературы. Цель письма не очень ясна, поскольку опубликовано оно (в 1982 году) в урезанном виде – без конца; кончается оно тем, что автор никогда не требовал за свои труды никакой платы и никакого признания, довольно было бы и доброго слова (читается между строк – которого он так и не дождался). Возможно, письмо связано с тем, что Аким Волынский упрекнул руководство Дома в отсутствии программы, после чего Чуковский подал в отставку (это случилось весной 1922 года, подробности есть в дневниках К. И.). Впрочем, и без конца текст звучит довольно грозно и впечатляюще:

"В самую черную пору, какую когда-либо переживала русская интеллигенция – и, в частности, русские писатели, – я задумал основать такой дом, где могли бы жить и работать деятели русского искусства. Я задумал его в августе 1919 г. И работал до

ноября, прежде чем его разрешили. Я пригласил Сазонова, который отыскал этот дом, пригласил Горького, Александра Бенуа и т. д. – и никто не отнимет у меня права называть себя инициатором и основателем «Дома Искусств».

Основав этот дом, я попытался вдохнуть в него душу: придумал еженедельные публичные лекции. Тогда этого обычая еще не было… Первая лекция была лекция Горького «Воспоминания о Толстом» 22 дек. 1919 года. С тех пор кафедра «Дома Искусств» предоставлялась всем деятелям русской культуры. У нас читали: Алекс. Блок, Андрей Белый, Горький, Мих. Лозинский, Вал. Чудовский, Н. Гумилев, Петров-Водкин, Н. Пунин, Волынский, Замятин, проф. Алексеев, проф. Ив. Ив. Лапшин, Вл. Маяковский, Викт. Шкловский, Грин, Чуковский – решительно все. Системы здесь не было никакой, да и не могло быть системы: речь шла о том, чтобы заменить отсутствующую книгу, дать возможность писателю общаться со своими читателями; эти лекции дали «Дому Искусств» большой доход, оказали существенную моральную и материальную поддержку писателям и служили просвещению общества".

Здесь важно обратить внимание на «отсутствующую книгу»: книг печаталось мало, между писателем и читателем пролегла пропасть бескнижья и безденежья. В книжных лавках стали появляться рукописные сборники – то, что Цветаева назвала «преодолением Гуттенберга». Дом искусств помогал эту пропасть преодолеть: если читатель не имел возможности читать, он все же мог прийти и послушать. ДИСК заново воссоздал утраченную среду.

Занесенный сугробами чуть не по самые крыши, заросший сосульками, заиндевевший, тифозный Петроград (где по-прежнему играют Моцарта, рисуют маркиз и спорят о переводах Эредиа) перестал различать явь и голодные видения. Гофман, фантастика, неправдоподобие – едва ли не самые популярные слова в воспоминаниях тех лет.

И у Чуковского в дневниках читаем: «Две недели полуболен, полусплю. Жизнь моя стала фантастическая. Так как ни писания, ни заседания никаких средств к жизни не дают, я сделался перипатетиком: бегаю по комиссарам и ловлю паек. Иногда мне из милости подарят селедку, коробку спичек, фунт хлеба – я не ощущаю никакого унижения и всегда с радостью – как самец в гнездо – бегу на Манежный, к птенцам, неся на плече добычу. Источники пропитания у меня такие: Каплун, Пучков, Горохр и т. д.».

Частью этой удивительно искривленной реальности стал Дом искусств с его комнатами дичайших расцветок и очертаний, со

странными, иногда полубезумными жителями, с походами за бумагой для растопки в разграбленный и брошенный банк; с литературными играми, чтениями, рисованием, лекциями, аукционами картин и пшенной кашей. «Вся жизнь художественной и литературной интеллигенции Петрограда в знаменательное четырехлетие с 1919 по 1923 год была связана с Домом искусств, – писал Николай Корнеевич Чуковский. – В Доме искусств завершилось многое из того, что пышно цвело в русской культуре в предыдущую эпоху. Дом искусств был колыбелью для многого, чему предстояло возмужать и расцвести в последующие годы». Здесь собрались вместе «Серапионовы братья», расцвел «Опояз» – общество изучения поэтического языка, заседал Цех поэтов.

Один из обитателей Дома искусств (их именовали «обдисками»), художник Владимир Милашевский, писал в воспоминаниях: «Проживание в Доме искусств давало право обедать в его столовой… Кроме обычного обеда для „прикрепленных“ по отрываемым талонам карточек, я мог за особую плату получать какие-то котлеты, без которых совсем бы погиб… „Котлетки“ Дома искусств меня спасали, и я полвека спустя благодарю устроителей, которые в то тяжелое время делали, что могли, для того, чтобы организовать помощь бедствующим литераторам и художникам».

Тощие эти котлетки спасли целый пласт российской культуры. Сохранили людей, которые казались не самыми нужными в эпоху огромных перемен. Именно эти жалкие, не имеющие средств к существованию люди и определили духовный климат Петрограда времен военного коммунизма, создали атмосферу, которая из нашего времени кажется невероятно притягательной, и сохранили ее для нас в беллетристике и мемуаристике.

Дом искусств вел огромную и серьезную работу. К. И. приводит в воспоминаниях о Зощенко программу мероприятий на март 1921 года (это последний месяц перед закрытием Дома):

1 марта Кони читает воспоминания о Некрасове;

2-го – профессор Котляревский – о поэзии;

3-го – Замятин об Уэллсе;

8-го – профессор Кареев – о французской революции в истории романа;

9-го – вечер «Опояза». 10-го – Чуковский читает о Некрасове и Муравьеве. 14-го – вечер стихов Цеха поэтов. 15-го – Горнфельд о Достоевском, 16-го – вечер памяти Писемского.

И так далее, и так далее. Почти каждый рабочий день в ДИСКе выступали поэты с чтением стихов, или критики с

докладами, или литературоведы делились результатами исследований. Выступали художники, искусствоведы, переводчики. ДИСК заменял и книгу, и журнал, и специализированные научные издания. Разумеется, рано или поздно должен был появиться и свой журнал – и два его номера даже увидели свет.

«Обдиски» не признавали ложного пафоса, не выносили канцелярщины, умудрялись иронизировать над самыми печальными сторонами своего быта, просто и мудро относиться к трагедии своего бытия – и находить в действительности поводы для веселья. Вполне естественно, что очень скоро выявились и обострились стилистические расхождения с советской властью – хотя Дом искусств считался заведением «красным».

По свидетельству Николая Чуковского, известные литераторы поначалу неохотно шли в ДИСК, появляясь там «только в те дни, когда в Доме искусств что-то выдавали или когда там совершалось что-нибудь особенно важное»; «он пустовал бы, если бы его не наполнила толпа молодежи из Студии». Причина переезда студии очень проста: в ДИСКе топили, там было освещение, там кормили, там можно было спастись от смертельной зимы. За этим начинанием стоял почти всесильный тогда Горький, пытавшийся играть роль посредника между интеллигенцией и советской властью. Однако его имени было достаточно не только для обеспечения Дома продовольствием и топливом, но и для того, чтобы отпугнуть многих от этого начинания. Известные литераторы совсем не по капризу своему «неохотно приходили» в Дом искусств – дело было принципиальное.

Дом искусств считался просоветским. Забота о культуре, отчасти надежда на построение справедливого социального строя, отчасти ненависть к старому строю или мрачное понимание его обреченности, вера в очистительную силу революционного катаклизма – вот что определяло позицию старших литераторов, сблизившихся с Горьким. Принятие власти, попытки сотрудничать с ней были для них глубоко драматичны. При этом неподавание руки или попреки пайками со стороны не признающих власть никак не способствовали укреплению взаимоотношений между двумя лагерями – хотя личные отношения могли оставаться довольно корректными.

Были в ДИСКе и молодые, с куда более резкими и бескомпромиссными взглядами. Одни уже прошли войну, другие состояли в партии большевиков, третьи горячо им сочувствовали. Молодые были заняты осмыслением гигантского опыта – своего и страны – и выработкой языка, адекватного времени великих

перемен. Мировоззренческое противостояние двух лагерей иногда соединялось с обыкновенной бытовой несовместимостью и приводило к трагикомическим ситуациям: студийцы, к примеру, подкладывали нечистоты под дверь критику Валериану Чудовскому (а он, по словам Николая Корнеевича, ходил с рукой в повязке, чтобы не подавать ее тем, кто сотрудничает с большевиками).

Наконец, противостояние материализовалось: в противовес Дому искусств появился Дом литераторов на Бассейной. К. И. упоминает о нем совершенно нейтрально: «являвшийся главным образом средоточием журналистов и газетных работников». Николай Чуковский вспоминает о нем с очевидной неприязнью. Собранные Домом литераторов сотрудники дореволюционных газет «проклинали большевиков и в прозе и в стихах», пишет он. Какого градуса достигала взаимная неприязнь между двумя домами – можно судить хотя бы по эпитетам, которыми Николай Корнеевич награждает рядовых обитателей Дома литераторов («ободранные, голодные, стремительно дряхлеющие и безмерно озлобленные»; «полупомешанные старухи» и т. п.) и его руководителей Волковысского и Харитона, бывших сотрудников «Биржевых ведомостей» («бойкие», «расторопные» и т. п.). Когда издаваемый ими журнал «Вестник Дома литераторов» («орган контрреволюционной обывательщины») был закрыт, рассказывает Н. К., – они «ускакали в Ригу и основали там русскую белогвардейскую газету „Сегодня“…». Николай Корнеевич несправедлив: не так все просто с «контрреволюционной обывательщиной», и Волковысский с Харитоном не «ускакали», а был высланы в 1922 году в составе большой группы интеллигенции, – но как симптоматична эта риторика!

Ненависть была взаимной и не выветрилась с течением времени: зимой 1929/30 года, когда загнанный в угол, полураздавленный Корней Чуковский вынужден был выступить в печати с письмом, обещающим некую «Колхозию» (речь об этом впереди), – именно рижская «Сегодня» заметила этот злополучный текст, опубликованный внутри статьи Артемия Халатова, и злорадно откликнулась ехидной заметкой «Чуковский „старается“»: «„Чуткий“ Корней понял, какой „заказ“ сейчас требуется выполнять…» Обилие пышущих ядом бездарных кавычек в тексте мешает даже процитировать его как следует.

А в 1921 году, после расстрела Гумилева, пожилая переводчица Мария Валентиновна Ватсон (которую Н. К. причисляет к «полупомешанным старухам» Дома литераторов) обратилась к Чуковскому с язвительным вопросом:

– Ну что, не помогли вам ваши товарищи спасти Гумилева?

"– Какие товарищи? – спросил я (пишет К. И. в дневнике).

– Большевики.

– Сволочь! – заорал я на 70-летнюю старуху – и все слышавшие поддержали меня и нашли, что на ее оскорбление я мог ответить только так".

Долгожданное дитя

Зимой двадцатого года семья Чуковского болела гриппом – в том числе и находящаяся на сносях Мария Борисовна. Дневниковые записи в это время печальны и наполовину состоят из «оттуда пошел туда, а оттуда бегом туда»:

«Вчера в Доме Искусств был диспут „о будущем искусстве“, – но я туда не пошел: измучен, голоден, небрит».

"Моя неделя складывается теперь так. В *понедельник* – лекция в Балтфлоте, во *вторник* – заседание с Горьким по секции картин, заседание по «Всемирной Лит.», лекция в Горохре; в *среду* лекция в Пролеткульте, в *четверг*– вечеринка в Студии, в *пятницу* – заседание по секции картин, по Всемирной Литер., по лекции в Доме Искусств".

«Я весь поглощен дактилическими окончаниями, но сколько вещей между мною и ими: Машины роды, ежесекундное безденежье, бесхлебье, бездровье, бессонница, Всемирная Литература, Секция Исторических Картин, Студия, Дом Искусств и проч., и проч., и проч.». "Описать бы мой вчерашний день – типический. Ночь. У Марьи Борисовны жар, испанская болезнь, ноги распухли, родов ждем с секунды на секунду. Я встаю – занимаюсь былинами, так как в понед ельник у меня в Балтфлоте лекция о былинах. Читаю предисловие Сперанского к изд. Сабашникова, делаю выписки. Потом бегу в холодную комнату к телефону и звоню в телефон Каплуну, в Горохр, в Политотдел Балтфлота и ко множеству людей, нисколько не похожих на Илью Муромца. Воды в кране нет, дрова нужно пилить, приходит какой-то лысый (по виду спекулянт), просит устроить командировку, звонит г-жа Сахар: нет ли возможности достать от Горького письмо для выезда в Швейцарию, звонит Штейн, нельзя ли спасти библиотеку уехавшего Гессена (и я действительно спасал ее, сражался за каждую книжку) и т. д. Читаю работы студистов об Ахматовой. Где-то как далекая мечта – мерещится день, когда я мог бы почитать книжку для себя самого или просто посидеть с детьми… В три часа суп и картошка – и бегом во Всемирную. Там заседание писателей, коих я хочу объединить в *Подвижной Университет".*

Только изредка выныривают из этого потока

дореволюционные, довоенные строчки и мысли – оттуда, из прошлой жизни: «Месяц пронзительный, весенний, небо зеленое, сладострастное, лужи – силуэты Зимнего Дворца, Адмиралтейства, деревьев – и звезды, очень редкие – и как будто впервые понимаешь, что такое жизнь, музыка, Бог». Все-таки жил, дышал, мог поднять голову и увидеть деревья и небо, все-таки не истреблен в нем до конца искренний подросток, умевший до растерянных слез радоваться ночному пейзажу.

Едва ли не каждый день его начинается беготней и заканчивается отчаянием: "После заседания я (бегом, бегом) на Вас. Остр, на 11-ю линию – в Морской Корпус – там прочитал лекцию – и (бегом, бегом) назад – черт знает какую даль! Просветители из-под палки! Из-за пайка! О, если бы дали мне месяц – хоть раз за всю мою жизнь – просто сесть и написать то, что *мне* дорого, то, что я думаю! Теперь у меня есть единственный день четверг – свободный от лекций. Завтра – в Доме Искусств. Послезавтра – в Управлении Советов, Каплунам. О! О! О! О!"

24 февраля появилось на свет «долгожданное чадо, которое – черт его знает – зачем захотело родиться в 1920 году, в эпоху Горохра и тифа». Описание этого дня в дневнике мучительно-длинно: лекция в Балтфлоте, потом к Каплуну, домой, потом за акушеркой, ночь, схватки, К. И. бежит за профессором, возвращается под утро – и «вдруг хрюкающий вопль – и плач-мяуканье: мяу – голос доктора: дочка! Коля входит на кухню: девочка! У меня никаких чувств: слушаю плач – и ничего».

Родился четвертый ребенок, девочка Мария, Мурочка. Она стала источником самой его светлой радости и самого мучительного страдания. Мурочка-муза, Мурочка-душа Чуковского, вдохновительница его лучших произведений.

Кажется, каждому из четверых детей Корнея Ивановича досталась и стала доминирующей какая-то из его черт, которые в нем все были смешаны. Любовью к литературе он наделил всех, даже инженера Бобу. Коле, предположим, достались писательская судьба, легкость таланта, легкость общения, да и некоторая поверхностность, которую отец его тщательно в себе истреблял. Лиде – его воля, его тоска и недовольство собой, его бессонницы, его принципиальность, трудоголизм, забота о «добрых нравах литературы» и страстное, религиозное служение ей. Бобе – обаяние, доброта, альтруизм – и, может быть, идущая от одесского детства и дружбы с Житковым любовь к мастерству, ручному труду, любопытным устройствам… А Мурочка была его душа, счастливая, летучая, хрупкая, уязвимая. Такие дети – поздние, прекрасные, нездешние, неправдоподобно чуткие и талантливые – кажется, не задерживаются в мире: вспомним хоть

толстовского Ванечку, умершего от скарлатины…

Мурочка родилась у немолодой матери в голодный год и много, тяжело болела, всякий раз приводя родителей в глубокое отчаяние и заставляя надеяться на чудо, – и чудеса иногда случались, но на все одиннадцать лет ее жизни их не хватило. Но за это время она дала отцу второе дыхание, позволившее ему заново вписать свое имя в историю русской литературы. Или советской, поскольку казалось, что дореволюционная страница перевернута навсегда, закрыта и забыта.

В день ее рождения Корней Иванович размышлял, что девочка доживет до 1985 года, и ей тогда будет всего 65 лет… Странно, что иногда его предсказания были совершенно точны, – говорил же он в двадцатом, что пройдет еще два года и пролетарии затребуют буржуазной жизни, – и вот вам нэп в 1922 году; социальные прозрения у него вообще не так уж редки, вспомним хоть Пинкертона под красным знаменем – а вот любые пророчества о личном неизменно оказывались неверны. Да и упаси Бог всякого отца от предвидения такой судьбы, какая ждала Мурочку.

Литературные портреты

Все это время Чуковский урывает минуты, чтобы работать над тем, что ему дорого. Он постоянно обсуждает предмет своей работы со студийцами, с коллегами по «Всемирной литературе», читает лекции в Доме искусств. Ему потому так и обидно, что приходится тащить себя с заседаний на лекции, заниматься популяризацией, писать предисловия для полуграмотного читателя, что именно в это время он понял, наконец, что ему интересно делать, что у него получается лучше всего и лучше всех… но время уходит на поиски дров, крупы, зарабатывание «капель молока»…

Слушательница студии Ольга Дьячкова в своей «Оде» 1920 года пишет о читающем – поющем – свою лекцию Чуковском:

> Но прежнего веселья не осталось,
> Он в шутку не пройдется на руках,
> Надломленная светится усталость
> В его молчанье и его словах.

Вот дневниковая запись К. И., очень горькая (простите за неуместную игру слов): «Это Горькому очень дорого: популяризация. Он никак не хочет понять, что Блок создан не для

популяризации знаний, а для свободного творчества, что народу будет больше добра от одного лирического стихотворения Блока, чем от десяти его же популярных брошюр, которые мог бы написать всякий грамотный полуталант вроде меня».

Но дело-то все в том, что в глубине души он вовсе не ощущает себя «полуталантом», призванным популяризировать знания. Когда удается отрешиться от домашних дел, от проблем повседневного выживания – и уединиться, заняться своей работой, «уйти под воду», куда не доносятся голоса и шум (у Лидии Корнеевны позже повесть о серьезном литературном труде так и называлась: «Спуск под во-ДУ»)> – тогда он чувствует в себе и силы, и способности заниматься критикой и литературоведением. Еще одна характерная запись 1920 года: «В сотый раз я берусь писать о Блоке – и падаю под неудачей. „Блок“ требует уединенной души. „Анну Ахматову и Маяковского“ я мог написать только потому, что заболел дизентерией. У меня оказался не то что досуг, но уединенный досуг».

Фактически он создает новый жанр – литературного портрета. Именно в это время в письмах и дневниках он оттачивает свое кредо, вырабатывает свою программу, окончательно определяет, кем должен быть критик («и социологом, и эстетом, и импрессионистом, и формалистом, и психологом, и чертом, и дьяволом», писал он Н. О. Лернеру), как он должен работать, к чему стремиться.

Он шел к этому очень долго и сейчас окончательно убедился в своей правоте и смог сформулировать правила для себя. Задача критика – тщательно, с карандашом в руках проанализировать творчество писателя и поэта, обращая внимание на каждую мелочь, не упуская из виду ничего. Фонетика, ритмика, метрика, строфика, рифмы, окончания, излюбленные части речи, конкретные слова и обороты, строй предложения – все это он тщательно исследует, как детектив, собирающий улики. Но и этого всего мало: надо собрать свидетельства современников, изучить социальную атмосферу, состояние общественной мысли, вообще контекст. Когда сыщик сделал свое дело, включается ученый: он анализирует собранный материал. А когда и ученый сделал все, что мог, наступает черед художника (Чуковский всегда отказывал себе в праве называться художником, но не мог им не быть) – и на смену анализу приходит синтез, воссоздание образа писателя.

Интересно, кстати, что Лидия Корнеевна занесла в «Свои чужие мысли» (выписки из других авторов, совпадавшие с ее взглядами) выписку из конспекта лекций о Пушкине Владислава Ходасевича: «Чтобы понять и оценить деяния поэта, должно

понять и изучить его личность. Для этого опять-таки – должно знать о нем все или хотя бы максимум возможного: происхождение, традиции, наследственность, воспитание, образование, среда, случайности личной жизни, литературные влияния, общественные и политические обстоятельства, среди которых жил. И вот все, что останется необъяснимым, неповторимым даже при условии, что все прочее будет повторено, и есть личность. То необъяснимое и чудесное, что рознит человека от человека, поэта от поэта».

В этом определении звучат отголоски общих обсуждений в Доме искусств, в нем есть то, что роднит Ходасевича с Чуковским: внимание к индивидуальному, особенному – в эпоху, когда человека пытались полностью определять его происхождением, классовой позицией, партийностью. Правда, Ходасевич больше говорит о внешнем – надо изучать контекст, влияние, среду и т. п. Чуковский не отрицал необходимости знать контекст – да и сам был замечательным знатоком некрасовского времени и общества. Однако свое внимание он сосредоточивал на средствах выражения индивидуальности. «Я люблю конструировать личность поэта по еле уловимым чертам его стиля, по его бессознательным тяготениям к тем или иным эпитетам, образам, темам. Мне кажется, что только в этих бессознательных навыках творчества сказывается подлинная личность поэта», – писал он в статье об Ахматовой и Маяковском.

В 1926 году в уже цитированном письме Лернеру К. И. говорил о своей борьбе «за критический всеобхват» – критику, не связанную никакими «церквами и догмами», под которыми наверняка подразумевается партийная идеология. Это и не критика, и не литературоведение – это литературное человековедение. В каких еще литературоведческих работах открытие о роли дактилических окончаний у Некрасова излагалось бы таким языком: «Он, чуть только дело доходило до особенно близкой, заветной (и потому наиболее волнующей) темы, переходил в середине пьесы к своим излюбленным дактилическим окончаниям стихов. Поэма „Рыцарь на час“ начата у него в анапестах, но едва только он вспомнил о материнской могиле, как сейчас же в его стихе заголосили, завыли пронзительные и тягучие дактили…» И не случайно Чуковский старательно облегчал язык своих работ. Скажем, в книге «Некрасов, как художник», предназначенной для «профанов», как автор выразился в предисловии (К. И. хотел привлечь к технике Некрасова внимание неспециалистов), присутствовали такие строки, относящиеся к некрасовской строфе «Не заказано ветру свободному…»: «Но в четвертой стопе Некрасов оставляет

пиррихий, два тесиса, два неударяемых слога, которые в сочетании с арсисом предыдущей стопы дают стиху унылейшее дактилическое окончание, выражающее, благодаря такому понижению голоса, упадок духа, утомление, ущерб». Уже в 1926 году («Его мастерство») из предложения вымараны и пиррихий, и тесисы. А через три десятилетия в книге «Мастерство Некрасова» эта строфа только обрамляется кратким комментарием: «…вдруг зазвучала подлинная некрасовская песня». И дальше: «Это возникновение песни сигнализировано и здесь, как почти всегда у Некрасова, внезапным появлением дактилических рифм».

О критическом методе Чуковского мы подробно говорили выше, в главе о его дореволюционной критике. К началу 20-х годов метод был полностью разработан, осмыслен, усовершенствован. Созданные в это время критические и литературоведческие работы К. И. не имели никаких аналогов и стали настоящей вершиной жанра. Это были литературоведчески грамотные и художественно верные портреты. И выбор портретируемых был безупречен. Можно сколько угодно улыбаться над гумилевским представлением о поэте как высшем выражении человеческого – но, пожалуй, в этом Корней Иванович был с ним солидарен; душа человека созидающего была для него самым интересным объектом исследований. Много сказано о его религиозном отношении к литературе, его служении ей; поэт в этой системе ценностей, пожалуй, равнялся святому, а критик был истовым проповедником.

«N как человек и поэт» – самое подходящее название и определение для этих работ. Некрасов как человек и поэт. Александр Блок как человек и поэт. А время требовало иного: N как типичный представитель, N как выразитель взглядов реакционного (революционного) класса (дворянства, крестьянства, мещанства).

Сочетание в одном человеке земной природы и неземной силы – таланта – само по себе создает интригу, конфликт, напряжение. Оно всегда привлекало Чуковского – вспомним «лысого и пьяного» Шевченко, создающего изумительные «литургические» стихи, и безобразного, спивающегося Николая Успенского, автора замечательной прозы… и Некрасова, барина и игрока, чью судьбу талант совершенно изменил…

Чуковский тщательно взвешивает соотношение преходящего и вечного в своих героях: Ахматова может описываться в его дневнике придирчиво и неприязненно, это нормальный бытовой взгляд на знакомого человека – но, рассказывая об Ахматовой читателю, он ни на секунду не забывает, что эта хрупкая женщина чуть не в одиночку несет на себе все бремя русской поэзии. Его

дневниковые описания – моментальные снимки, где знакомые ему люди схвачены врасплох; статьи, книги, воспоминания – большие, вдумчивые портреты.

Интересно, что такой взвешенный подход к герою редко находит у читателя понимание. Обыватель неизменно предъявляет к таланту требование абсолютной личной святости. И, обнаружив вместо титана и героя – живого человека, брезгливо фыркает: Толстой, оказывается, был противный старикашка, Лермонтов себялюбец… и злорадно повторяет старое: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы». Или бесится: неправда, что вы тут мне подсовываете, это наше все, лапы прочь от светоча! И всякий раз, как Чуковский пытался доказать, что поразительна сама способность несовершенного человека слагать дивные песни и писать мастерскую прозу, что искусство преображает грешную человеческую душу, – поднимался недовольный гул и раздавались обвинения в посягательстве на святыни.

Тема нецельности, раздвоенности, сочетания несочетаемого в одной человеческой душе всегда волновала Чуковского, задолго до того, как появился термин «диалектика души». Может быть, дело в том, что он с юности ощущал свою собственную сложность, двойственность; недаром он писал, что казался себе «самым нецельным и непростым человеком в мире», и дело тут не только в незаконнорожденности, о которой говорится в контексте. И в людях его интересовала сложность внутреннего устройства, богатство души (в особенности—души, просветленной талантом), ее движения, противоречия, борения. Его герои несовершенны, но прекрасны в своем несовершенстве.

Почти в каждом из них, как и в себе, он находит раздвоенность: в Горьком совмещаются художник и резонер, Чехов сочетает заразительный смех с неизбывной тоской, в Толстом противоборствуют любовь и отвращение к миру. Особенно много К. И. говорит о двойственности Блока, о противоречии между благополучной биографией автора и трагическим неуютом его стихов, о лирике, разъедаемой иронией, о хуле и хвале, вере и безверии, о Цинике и Романтике, двух ликах поэта.

А вот когда раздвоенности в своем герое он почему-то не увидел (хотя, казалось бы, Маяковский давал материала для темы предостаточно) – Чуковский нашел ему антипода: Ахматова и Маяковский оказались двумя сторонами одной мучительно двоящейся души – двумя Россиями, старой и новой, двумя «воплощениями грандиозных исторических сил». И заключил Чуковский противопоставление, как обычно, синтезом: «Мне кажется, настало время синтеза этих обеих стихий… Этот синтез

давно предуказан историей, и чем скорее он осуществится, тем лучше. Вся Россия стосковалась по нем. Порознь этим стихиям уже не быть, они неудержимо стремятся к слиянию. Далее они могут существовать только слившись, иначе каждая из них неизбежно погибнет».

Художественная литература к этому времени почти целиком ушла в искания новых путей: осмыслять происходящее и вырабатывать соответствующие средства выражения предстояло и поэзии, и прозе; все это происходило под неумолимым и все возрастающим идеологическим давлением. В результате сложный герой пропал из прозы, диалектика души уступила место внешним конфликтам, сотрясавшим эпоху. И лучшие из современников действительно заметили, что в то время, когда изменились и герой, и отношение автора к герою, традицию классической русской литературы подхватила критика. В дневнике 1928 года К. И. записал отзыв Мандельштама о его «Некрасове»: «Он говорил, что теперь, когда во всех романах кризис героя – герой переплеснулся из романов в мою книгу, подлинный, страдающий и любимый герой, которого я не сужу тем губсудом, которым судят героев романисты нашей эпохи». Судейской терминологией пользовался и А. Ф. Кони, расхваливая вышедшие в 1922 году (реально – в самом конце 1921-го) книги «Жена поэта» и «Поэт и палач»: «…во мне говорит старый судья, и я просто восхищаюсь Вашим чисто судейским беспристрастием и, говоря языком суда присяжных, Вашим „руководящим напутствием“, Вашим „resumé“ дела о подсудимых – Некрасове и его жене. Ваша книга настоящий судебный отчет, и Ваше „заключительное слово“ дышит „правдой и милостью“. Давно не читал я ничего до такой степени удовлетворяющего нравственное чувство и кладущего блистательный конец односторонним толкованиям и поспешно-доверчивым обвинениям…»

Но и в критике, и в литературоведении такой герой и такой подход при создавшихся условиях долго просуществовать не могли. Статья «Ахматова и Маяковский» сделалась поводом для разговора не столько о поэзии, сколько о новой России; критики выясняли, на какой стороне Чуковский, и достаточно ли советский поэт Маяковский, а Луначарский, хотя и высоко оценил статью, уверял в заключение, что разговоры о синтезе «этой полудохлой старой» и новой России – не обидны, а смешны. Новая советская критика, как и дореволюционная «фанатическая», «идейная» критика, концентрировалась исключительно на идеологической стороне художественного творчества. Писать в таких условиях что бы то ни было становилось опасно: примером тому стала часть об Ахматовой.

Остроумно сконструированный образ «влюбленной монахини», как бы ни торопился Чуковский «предупредить недогадливых, что все сказанное о ее монашеской схиме есть только догадка, не больше», был воспринят буквально и прямолинейно, вменен поэту в вину – и спустя два десятилетия выродился в пресловутую «полумонахиню, полублудницу». Судить своего героя «губсудом» Чуковский не мог и не желал; но даже умное и взвешенное критическое слово этим губсудом могло быть расценено как улика против автора. Для порядочного литератора это означало конец любым принципиальным спорам о художественном творчестве: стоит ли доказывать неправоту оппонента, если доказанная неправота станет основанием для вынесения уголовного приговора?

Очень скоро Чуковскому пришлось прекратить критическую деятельность и начинать литературную карьеру едва ли не с полного нуля. Талантливый критик в самом расцвете творческих способностей вынужден был замолчать. Это стало для него тяжелой травмой; рана, пожалуй, не зажила никогда. Пользуясь молчанием автора (даже переиздать некоторые старые статьи не было возможности; книга о Некрасове несколько лет томилась под спудом), не слишком разборчивые коллеги стали присваивать его находки. «Его эссеистика 1910—1920-х существовала словно за границей, вроде куоккальской дачи – заброшенная, нежилая, разграбленная владельцами советских диссертаций», – писал Самуил Лурье.

Кстати, о даче: уже в 1921 году Репин написал Чуковскому: ваша дача «приняла приложение рук диких». Дом стоял пустой, его потихоньку растаскивали. "Вашего шкапчика кустарного производства не нашел, писем так же нет, – рассказывал художник. – В Вашей болыпедиванной на полу слой книг и других писаний стал еще толще; но когда ступишь на этот наст в $^1/_4$ аршина, то слышно, что внизу трещат обломки стекол… Ах, какой грустный вид… На всех дорогах и тропинках и по дороге, и по саду, растет травка, засыпанная хвоей. Пусты все соседские обиталища – пустота… И нарочитая пустота – для картофеля, вероятно, привлекала внимание искателей серебра и прочего".

Важное и значительное

Живой и активный Дом искусств никак не устраивал власть. Непокорную вольницу следовало взять под контроль. 10 апреля 1920 года Чуковский рассказывает в дневнике, как в Комиссариате просвещения разбирали дело Дома искусств: «На нас накинулись со всех сторон: почему мы не приписались к

секциям, подсекциям, подотделам, отделам и проч.»; «И вот поднимается тов. Етманов и говорит от лица Пролеткульта, что он имеет основание не доверять „господам из Дома Щскусств“ и требует, чтобы туда послали ревизию». Чуковский защищался, говоря о культурной жизни, о просветительской работе Дома – и записывал в дневнике по горячим следам: «Ведь сущность ясна для всякого: у нас, и только у нас, бьется пульс культурной жизни, истинно просветительной работы. Все клубы – существуют лишь на бумаге, а в этом здании на Морской кипит творческая большая работа. Конечно, нужно нас уничтожить».

19 апреля – новое заседание и новая напасть: «против „Дома Искусств“ уже давно ведется подкоп. Почему у нас аукцион? Почему централизация буржуазии? Особенно возмущался нами Пунин, комиссар изобразительных искусств. Почему мы им не подчинены? Почему мы, получая субсидии у них, делаем какое-то постороннее дело, не соответствующее коммунистическим идеям? и проч.». В этот раз за ДИСК вступился Горький, объясняя: «Вы говорите, что у нас в „Доме Искусств“ буржуи, а я вам скажу, что это все ваши же комиссары и жены комиссаров». Дом искусств действительно проводил аукционы картин, но покупателями и впрямь были не столько «буржуи», сколько люди, приближенные к власти, имеющие свободные средства – и желающие удовлетворять культурные запросы.

В апрельских дневниковых записях К. И. обращают на себя внимание жалобы на «страшную способность женщин к мертвому бюрократизму», на комиссарских жен, женщин «акушерского вида, с портфелями» – или, пуще того, «акушерок» – так в кругу Чуковского называли дам из средней интеллигенции, стремящихся рулить творческими процессами, – определение сродни «фармацевтам». Пока комиссары занимались политикой и экономикой, их энергичные, полуобразованные, тщеславные жены взялись за «традиционно женские сферы деятельности»: искусство, культуру, педагогику и т. п. Именно от них Корнею Ивановичу и его друзьям и коллегам пришлось немало претерпеть в последующие несколько лет. Во времена «борьбы с чуковщиной» главными его гонителями были именно «кремлевские жены».

Гайки закручиваются сильнее. В ГИЗе создан Политодел, фактически исполняющий функцию цензуры. Литераторам со всех сторон мешают, не дают заниматься делом, пытаются вогнать в рамки циркуляров и постановлений, приписать к «отделам и подотделам», обложить отчетностью.

Кругом разливается море физически отвратительной пошлости, такой грубой и первобытной, что по сравнению с нею

«кафры и готтентоты» из давнишнего «Ната Пинкертона» кажутся утонченными эстетами. Дневники Чуковского полны неприязненных записей о глупостях и нелепостях повседневной жизни, о противных людях, с которыми приходится встречаться.

Куда меньше пишется о другом, само собой разумеющемся: несмотря на все это, писатели продолжали трудиться, веря, что погружением в голод и свинство, идеологическим давлением и репрессиями перемены в обществе не ограничиваются. Пожалуй, только это и давало силы выжить. Те, у кого этой веры не было, уезжали. В 1920 году уехали Бальмонт, Мережковский и Гиппиус, Давид Бурлюк, Сергей Судейкин и многие другие. Уезжали и писатели второго и третьего ряда, и критики, и журналисты – и, получив трибуну в эмигрантской прессе, обрушили на оставшихся в России шквал понятной горечи – и, разумеется, мелких обид, злопамятства, ехидных гипербол, а иногда и откровенного вранья. Недоброжелательное внимание бывших друзей и коллег причиняло оставшимся ощутимую боль. Весной 1921 года, например, в печати распространилась сплетня о Чуковском, что он «бывший агент». Коллеги выступили в его защиту. Блок писал тогда в статье, которую предполагалось разместить в «Литературной газете» в качестве редакционного возражения эмигрантской печати: «Появляется все больше настоящих литературных органов, сотрудникам которых понятно, что с Россией и со всем миром случилось нечто гораздо более важное и значительное, чем то, что г-жам Даманским приходилось читать лекции проституткам, есть капусту и т. п.». Писательница Даманская только что опубликовала в ревельской эмигрантской газете свои воспоминания о Доме искусств – но ее статья была только поводом для высказывания, горечи накопилось много.

Если бы не блоковское «нечто важное и значительное» – то и капусту (был месяц, когда весь Петроград ел ее одну, свидетельствует Шкловский), и лекции проституткам, акушеркам, милиционеркам, пролетарским поэтам, и ревизии, комиссии, претензии контролирующих органов, и необходимость служить в пяти местах, чтобы собрать продуктов на один пирог, – все это было бы невозможно вынести. Блок все чаще сомневался и спрашивал себя и Чуковского: «Что, если эта революция – поддельная? Что, если и не было подлинной?»

Силы были на исходе. Усталость давила неимоверная. К счастью, близилось лето – короткая передышка перед последней смертельной зимой.

Лето 1920 года Чуковские снова проводили в Ермоловке. Корней Иванович придумал продолжение «Крокодила», думал и писал о Блоке, работал над лекцией об Ахматовой и Маяковском

– как и раньше, свои мысли и открытия он представляет публике и в виде лекций, и в виде статей; лекция была прочитана вскоре (в сентябре), статья вышла в 1922 году. Лекция «Две России: Ахматова и Маяковский» имела успех. Маяковский несколько позднее нарисовал в «Чукоккале» серию из четырех картинок («Окна Чукроста», где изображались умильная Ахматова с нимбом и варвар-Маяковский) – и подписал: «Что ты в лекциях поешь, / Будто бы громила я, / Отношение мое ж / Самое премилое. / Скрыть того нельзя уже: / Я мово Корнея / Третий год люблю (в душе) / Аль того раннее».

Ахматова говорила К. И., что задрожала, узнав, что он собирается о ней писать, – однако лекцией и статьей, кажется, осталась довольна. Никто пока не мог предположить, что основные положения этой лекции потом будут подхвачены, перевраны и истолкованы в политическом смысле. Сама Ахматова называла «Две России» одной из трех причин, вызвавших первое посвященное ей партийное постановление в 1925 году. Правда, Лидия Корнеевна это постановление очень старалась найти – и никаких его следов не обнаружила.

Как бы то ни было, явственная перекличка доклада Жданова с давней статьей К. И. об Ахматовой, пусть даже и бессознательная, прекрасно иллюстрирует старую мудрость: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Литературным критикам еще только предстояло понять, что наступила пора тщательно выбирать выражения.

Фантасмагория Герберта Уэллса

В начале октября 1920 года Россию посетил писатель Герберт Уэллс, с которым Чуковский виделся в 1916 году в Англии. «Горький попросил моего отца как человека, хорошо знающего английский язык, водить гостей по достопримечательностям, – рассказывал Николай Корнеевич. – Дело это было нелегкое, потому что оба гостя (Уэллс приехал вместе с сыном) оказались на редкость неразговорчивыми и даже вопросов почти не задавали. Они как будто чего-то все время боялись, хотя чего именно, понять было невозможно. Суровый, голодный, оборванный, без света и тепла, без извозчиков и автомобилей, полупустой город со стоящими трамваями, с траншеями и брустверами посреди улиц и площадей для отпора белогвардейским бандам Юденича наводил на них ужас одним своим видом». Надо заметить, что память часто подводит Николая Корнеевича, и это один из таких случаев: Юденич осаждал Петроград годом раньше. Разве что с тех пор упомянутые

траншеи так и не успели засыпать.

Во время визита английского фантаста произошел довольно неприятный казус, широко известный еще и потому, что К. И. отреагировал на него чрезвычайно болезненно. Вот фрагмент его комментария к записи Уэллса в «Чукоккале»:

«Горький попросил меня показать именитому гостю какую-нибудь петроградскую школу. Я был очень занят в тот день, но, конечно, отложил все дела и тотчас повез Герберта Уэллса в ту школу, где учились тогда мои дети».

«Для нас, школьников, встреча с ним была большим событием. В те годы мальчики и девочки из интеллигентских семейств зачитывались Уэллсом, а в Тенишевеком учились преимущественно дети интеллигенции, – вспоминал Николай Корнеевич. – Радостной толпой встретили мы его в одном из наших длинных залов и жадно разглядывали… Отец мой, говорливый и веселый, как всегда на людях, спрашивал то одного мальчика, то другого, какую книгу Уэллса он любит больше всего. Ответы так и сыпались…»

Дети перечислили все до единой книги Уэллса. «Отец мой все это добросовестно и эффектно переводил на английский, – пишет сын Чуковского. – Но Уэллс слушал хмуро. Он ни разу нам не улыбнулся и не задал ни одного вопроса. Он не скрывал, что хочет поскорее уйти. Все пребывание его у нас в школе продолжалось не более получаса».

«Велико было мое негодование, – это уже комментарий К. И. к „Чукоккале“, – когда месяца через два я узнал, что Уэллс высказал в английской печати и в своей книге „Россия во мгле“ уверенность, будто я предуведомил тенишевцев о его предстоящем приезде и подучил их заранее оказать ему радушный прием».

Уэллс написал в книге «Россия во мгле» следующие «злоехидные», по выражению К. И., строки: «Сопровождающее меня лицо стало расспрашивать детей об английской литературе и о их любимых писателях. Одно имя преобладало во всех ответах – мое собственное… При дальнейших расспросах дети назвали более полудюжины моих книг… я понял теперь… что просто один из моих литературных друзей – критик К.Чуковский, желая доставить мне удовольствие и показать мне, как меня в России любят, подготовил детей к моему посещению, совершенно забыв о серьезности моих целей». Далее писатель говорил, что посетил еще одну школу, уже без Чуковского, и там никто его имени не слыхал.

Чуковский был оскорблен и возмущен. Он обратился во Всероссийский союз писателей, и тот посвятил заседание разбору

дела. Чуковский был искренне удивлен общим сочувствием. «Спасибо всем. Каждый сочувствовал мне и хотел меня защитить. Очень горячо говорил Шкловский, Губер, Гумилев. Я и не ожидал, что люди вообще могут так горячо отозваться на чужую обиду. Губер живо составил текст постановления, и я ушел с заседания в восторге», – записывал он в дневнике в феврале 1921 года.

Вскоре «Вестник литературы» опубликовал письмо Чуковского, озаглавленное «Свобода клеветы» и поддержанное резолюцией Правления Всероссийского союза писателей, где предлагалось «поставить вопрос об отношении зарубежной печати к оставшимся в России литераторам во всей принципиальной широте». «Этот текст был сразу же перепечатан просоветскими заграничными изданиями, – пишет Р. М. Янгиров, комментируя воспоминания Н. Волковысского о Замятине. – …В дальнейшем они регулярно освещали эту тему сообразно своей политической линии».

Бывший секретарь Союза писателей (до октября 1917 года) П. Рысс откликнулся на эти публикации письмом, в котором, в частности, писал: «Здесь мы часто думаем о вас, друзьях, живущих в России. Мы знаем, какой крест несете вы, мы понимаем, что вы делаете ваше и наше дело, оберегая русскую культуру. Но среди литераторов находятся люди, которые защищают подавление свободы печати. Вы знаете этих людей, называть ли вам эти фамилии? Почему не извергнете вы их из своей среды? Или великие традиции русской литературы, гордой и свободолюбивой, уже забыты и погребены на кладбище ненужных воспоминаний?»

Это письмо вышло в парижских «Последних новостях», петроградские писатели (в основном собиравшиеся вокруг Дома литераторов) ответили на него коллективным письмом, которое опубликовала пражская «Воля России», эмигрантская печать активно включилась в обсуждение вопроса о том, поддерживают ли петроградские писатели подавление свободы слова, но к Чуковскому эта история уже отношения не имела.

И все-таки даже много лет спустя обида на английского писателя продолжала грызть Чуковского. А еще больше грызло то, что «этот фантастический вымысел» перепечатан без всяких комментариев в русских изданиях «России во мгле». Корней Иванович изложил этот эпизод в комментарии к записи Уэллса в «Чукоккале» и посвятил ему отдельную статью под названием «Фантасмагория Герберта Уэллса», которая вышла в свет в 1964 году, – больше сорока лет спустя!

«Когда-то эта злая напраслина сильно волновала меня, – писал К. И. в ней. – Я писал протесты и письма в редакцию. Но

теперь, на старости лет, успокоился, так как понял, что среди моих старых и юных читателей едва ли найдется один, кто поверил бы этим измышлениям». Корней Иванович был не единственным, кого жестоко оскорбило недоверие Уэллса. В печати выступили бывшие тенишевцы: в России об этом эпизоде вспомнили Симон Дрейден и Николай Чуковский, в Англии в 1946 году было опубликовано письмо Жени Лунц (теперь уже Дженны Хорнстин); Владимир Познер даже пытался лично переубедить Уэллса, встретившись с ним за границей.

Почему же все были так задеты? Лучше всех, пожалуй, это сформулировал Николай Чуковский: "Он не поверил в нас, потому что слишком жалкими мы ему казались. И действительно, на человека, приехавшего из Лондона, мы, дети русского девятнадцатого года (мемуарист путает: 20-го. – *И. Л.),* должны были производить жуткое впечатление. С синими от голода прозрачными лицами, с распухшими от холода пальцами, закутанные в лохмотья, обутые в дырявые солдатские башмаки с веревками вместо шнурков, мы, выросшие в трагические годы, были гораздо начитаннее своих английских сверстников. Но оказалось, что чистенькое воображение не могло поверить в интеллектуальное преимущество столь убогих созданий". И дальше: "Уэллс не поверил ему (Чуковскому. – *И. Л.),* не поверил ничему, что видел. Всю жизнь человек писал о чудесах, но, единственный раз встретившись с настоящим чудом, не узнал его…"

Посещение Тенишевского училища было не единственным драматическим событием во время этого визита. Фантасмагорией стало и чествование писателя 18 октября во «Всемирной литературе». В елисеевской столовой натопили, натерли паркет и накрыли столы; подавалось даже невиданное лакомство – шоколад. Литераторы приоделись, насколько это было возможно, собрались за столом. Горький произнес приветственное слово, Уэллс, по свидетельству Юрия Анненкова, «выразил удовольствие, полученное им – иностранным путешественником – от возможности лично понаблюдать „курьезный исторический опыт, который развертывался в стране, вспаханной и воспламененной социальной революцией“».

Писатели в ответных речах обращались, пожалуй, не столько к Уэллсу, сколько к мировому сообществу в его лице. Каждый считал нужным прокричать ему несколько заветных слов. Николай Корнеевич вспоминает произнесенную Питиримом Сорокиным «длинную, полную намеков речь о том, как большевики притесняют великую русскую интеллигенцию». Юрий Анненков цитирует Амфитеатрова, говорившего о том, что

рубленые котлеты на столе куда более привлекательны для голодных писателей, чем встреча с Уэллсом; что под их пристойными одеждами – грязное рванье… Уэллс, пишет Н. К. Чуковский, слушал речи «с растерянным, страдающим видом человека, который хочет поскорей уйти и не знает, как это сделать».

Анненков продолжает: "Виктор Шкловский, большой знаток английской литературы и автор очень интересного формального разбора «Тристрама Шенди» Лоренса Стерна, сорвался со стула и закричал в лицо бесстрастного туриста:

– Скажите там, в вашей Англии, скажите вашим англичанам, что мы их презираем, что мы их ненавидим! Мы ненавидим вас ненавистью затравленных зверей за вашу бесчеловечную блокаду, мы ненавидим вас за нашу кровь, которой мы истекаем, за муки, за ужас и за голод, которые нас уничтожают, за все то, что с высоты вашего благополучия вы спокойно называли сегодня «курьезным историческим опытом!»"

Уэллс пытался отвечать, перепутал имена выступавших, те набросились друг на друга, «чем тотчас воспользовались их соседи, чтобы незаметно проглотить лишние пирожные, лежавшие на тарелках спорящих, – пишет Анненков. – По просьбе Горького Евгений Замятин, прекрасно говоривший по-английски, объявил с оттенком иронии, весьма ему свойственной, инцидент исчерпанным, и вечер закончился в сумятице не очень гостеприимной и не очень галантной, но все же – с оттенком добродушия».

Главная обида, пожалуй, заключалась в том, что писатель, коллега, великий фантаст оказался обывателем – «туристом». Он не сострадал – люди были ему скорее жалки и смешны; не смог понять глубины страдания и величия жертв, приносимых во имя будущего счастья, не оценил грандиозности замыслов; разглядел только «курьезный опыт». Мир посмотрел на великую драму русской революции – и отодвинулся с брезгливой гримасой недоверия. Потому и бросились писатели на защиту Чуковского от клеветы Уэллса и эмигрантской печати, что в его обиде каждый увидел собственную беду – «трехлетнюю травлю, которую вели против него соотечественники» (это К. И. пишет о Блоке), чужие попытки свести весь страшный и величественный опыт первых революционных лет к террору и бытовым трудностям; то есть фактически – объявить эти тяжкие три года прожитыми напрасно, трудный опыт – бессмысленным, работу – вредной, уничтожить сам смысл существования литератора в послереволюционной России, где ему и так приходилось несладко.

Главная причина молчания

"После чудесного, солнечного лета, надоедливой осени наступила страшная, лютая зима 1920–1921 года, – вспоминал Владимир Милашевский. – Мы, как рыбы, опускающиеся на дно в непривычные для них глубины, стали привыкать к иному давлению, втягиваться в иное существование. Холод усиливал голод! Голод усиливал холод!.. Снег валил, валил и наваливал свои подушки и перины. Его никто не разметал и не убирал.

Дворники были мобилизованы или удрали к себе на свою настоящую родину, в деревню. Европа побеждалась Скифией! Петербург занесло, замело. Сложился особый стиль жизни – экономящий силы".

«Жили мы в убогой роскоши Дома искусств, – писал Мандельштам. – Поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные… Это была суровая и прекрасная зима 20–21 года… Я любил этот Невский, пустой и черный как бочка, оживляемый только глазастыми автомобилями и редкими, редкими прохожими, взятыми на учет ночной пустыней».

Чуковский продолжал работу во взятом когда-то и уже привычном темпе: лекции, статьи, заседания. В начале этой зимы он выступал с лекциями о Некрасове – как всегда, с успехом. В дневниках К. И. опять жалуется на бессонницу.

В конце декабря дети Чуковского заболели скарлатиной; болезнь эта считалась тогда смертельной, а в почти вымершем городе не было никаких медикаментов. Колю отселили в Дом искусств, чтобы он не заразился, но он слег, и никто не мог толком сказать, скарлатина это или нет. Но будто какая-то неведомая сила хранила семью: и в этот раз все выздоровели.

Январь был отмечен новой фантасмагорией. Борис Гутманович Каплун, управляющий делами комиссариата Петроградского совета, авантюрного склада молодой человек, организовал в городе крематорий: трупы уже было трудно хоронить. Это учреждение даже на общем фоне нескончаемого безумия было выписано особенно дикими красками. И Чуковский, и Юрий Анненков (видимо, ошибочно датирующий этот случай 1919 годом) вспоминают о познавательных поездках в крематорий, где первые трупы сжигали на глазах у посетителей. К. И. зачем-то еще и 13-летнюю Лиду взял с собой – взял бы и Колю, но тот был болен. Анненков, кстати, делал обложку для рекламного проспекта крематория, где излагались «временные правила о порядке сожжения трупов» и констатировалось право каждого умершего гражданина быть сожженным. Впечатляющее

объявление о «праве быть сожженными» Блок и К. И. сорвали со стены в каком-то советском учреждении, и К. И. вклеил его в «Чукоккалу».

Анненков оставил лишь рассказ о посещении морга вместе с Гумилевым и неназванной барышней, К. И. подробно описал в дневнике и обстановку, и сам процесс сожжения. «Мы смеемся, никакого пиетета. Торжественности ни малейшей. Все голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивает места сожжения. Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах». «Комиссар был вполне доволен: особенно понравилось всем, что из гроба вдруг высунулась рука мертвеца и поднялась вверх—»Рука! рука! смотрите, рука!" – потом сжигаемый весь почернел, из индуса сделался негром, и из его глаз поднялись хорошенькие голубые огоньки. «Горит мозг!» – сказал архитектор…" В углу валялась груда костей; одну из них Чуковский даже сунул в карман и привез домой… Потом, правда, огорчался, что поддался всеобщему пренебрежению к смерти.

Отмена похоронных ритуалов во времена всеобщего упрощения была только логична: все было направлено на экономию сил, упразднение условностей. Да – но ведь культура (а похоронный обряд – неотъемлемая ее часть) – тоже условность, тоже излишество в эпоху первобытной простоты. Насколько же люди ко всему притерпелись, насколько спокойно, с каким усталым безразличием стали относиться к смерти, если и Чуковский, и Анненков, и Гумилев, и балерина Спесивцева, и другие представители интеллигенции, последние носители культуры, совершали развлекательные поездки в крематорий, не испытывая ничего, кроме праздного любопытства, – ну, максимум тоску от того, как все голо и бесстыдно! Разве что барышня, ездившая вместе с Анненковым, расплакалась.

Вечером Чуковский записывал: «Вчера Мура впервые – по своей воле – произносила папа: научилась настолько следить за своей речью и управлять ею. Все эти оранжевые голые трупы тоже были когда-то Мурочками и тоже говорили когда-то впервые – папа! Даже синяя старушка – была Мурочкой».

К рубежу 1920 и 1921 годов положение русских писателей еще более осложнилось: государство стремительно подгребало под себя все необходимые для книгоиздания ресурсы, избавлялось от частных издательств, ужесточало идеологический контроль. Все лимиты человеческого и писательского терпения были исчерпаны; терять было нечего. Собравшийся в это время съезд Всероссийского союза писателей подал Луначарскому докладную записку о положении литераторов, где, в частности,

говорилось: «Условия, в которых русское писательство находилось эти три года, не улучшаются, а ухудшаются. Доступ к типографиям не расширяется, а сужается. Последние рукописи ныне снимаются с очередей и возвращаются авторам. Русская художественная, критическая, философская, историческая книга окончательно замуровывается. Русская литература перестает существовать. Из явления мирового значения она превратилась в явление комнатного обихода для небольшой группы лиц, имеющих возможность услышать друг друга за чтением своих рукописей. История не забудет отметить того факта, что в 1920 году, в первой четверти века XX, русские писатели, точно много веков назад, до открытия книгопечатания, переписывали от руки свои произведения в одном экземпляре и так выставляли их на продажу в 2—3-х книжных лавках Союза Писателей в Москве и Петрограде, ибо никакого другого пути к общению с читателями им дано не было».

11 февраля на вечере памяти Пушкина в Доме литераторов выступил Блок – с речью, многих потрясшей. Чуковский записывал в дневнике, что Александр Александрович специально интересовался, будет ли кто-то из чиновников, затем «пошел к кафедре, развернул бумагу и матовым голосом стал читать о том, что Бенкендорф не душил вдохновенья поэта, как душат его теперешние чиновники, что Пушкин мог творить, а нам (поэтам) теперь – смерть». Ходасевич вспоминал, как Блок поворачивался к представителю властей и чеканил: «Чиновники суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня… Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение…»

Блока провожали овациями.

Через несколько дней он написал последние свои стихи для Пушкинского дома:

Пушкин! *Тайную свободу*
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

О свободе и непогоде, не сговариваясь, заговорили все. 1 февраля было создано объединение «Серапионовы братья», протестовавшее против идеологического гнета в литературе. В начале 1921 года вышел первый номер журнала «Дом искусств», где Замятин выступил с программной статьей «Я боюсь»:

«Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить». Писатели-классики читали бы сейчас лекции в Балтфлоте, переводили и служили в Комздраве, утверждал он. «Иначе, чтобы жить – жить так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей, Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре „Ревизора“, Тургеневу – каждые два месяца по трое „Отцов и детей“, Чехову – в месяц по сотне рассказов». Чуковский вспоминал позднее в дневнике, что обращался к Горькому с просьбой подписать какой-то протест, там шла речь о Чехове, который вынужден был бы ходить на службу с портфелем; Замятин «бессознательно усвоил» этот образ и использовал в статье. «Я боюсь» стало выражением общих мыслей: у всех наболело.

Но «главная причина молчания – не хлебная и не бумажная», убеждал Замятин; она в том, что писатель вынужден быть благоразумным, правоверным чиновником, а это для него губительно. Заканчивалась статья знаменитым мрачным пророчеством: «Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь – я боюсь, что у русской литературы одно только будущее – ее прошлое».

Первый номер «Дома искусств» с первых же страниц задавал тон серьезный, торжественный и мрачный. Подобран он был исключительно удачно. Начинался журнал с пространного рассуждения Ремизова о звездах и свиньях, которое заканчивалось так: «Только через труд тебе засветят звезды, и только через труд сам ты духом своим засветишь звезды». На той же странице – Ахматова: «А здесь уж белая дома крестами метит, / И кличет воронов, и вороны летят». Рядом на вклейке – «Тень» Добужинского: огромная тень паука на здании. Затем – «Заблудившийся трамвай» Гумилева («…Вместо капусты и вместо брюквы / Мертвые головы продают»), и мандельштамовское «Я слово позабыл, что я хотел сказать, / Слепая ласточка в чертог теней вернется…». В том же первом номере «Дома искусств» была опубликована статья Чуковского «Ахматова и Маяковский», вызвавшая множество откликов.

Горький, постепенно охладевавший к своим проектам, высказывал недовольство журналом. Чуковский пишет в дневнике: «Я сказал ему, что у публики другое чувство, что в „Доме Литераторов“, напр., журнал очень хвалили, что я получаю

приветственные письма, что статья Замятина „Я боюсь“ пользуется общим фавором, и разговор, как всегда у Горького, перешел на политику. И, как всегда, он понес ахинею». Критика встретила журнал неоднозначно: в лучшем случае его оценивали как серьезное явление и указывали на недостаточно правильное понимание момента (так сделал, к примеру, Александр Воронский); в худшем – сыпалась политическая трескотня о буржуазном старом искусстве и классовом подходе.

Особенную важность в журнале имел раздел хроники: он пытался поведать читателю обо всех важных культурных событиях, которые тот мог упустить из виду, живя в эпоху неработающей почты, исходящего транспорта, непечатающихся книг. Хроника рассказывала о повседневной работе ДИСКа: лекциях, которые там читаются, выставках и концертах, которые там проходят; о жизни Дома литераторов, работе литературных студий обоих Домов, о литературных вечерах, «живых альманахах», книжных киосках, публичных диспутах. В отдельной заметке – «Ненапечатанное» – говорилось о том, какие рукописи лежат в портфелях петроградских писателей, не могущих издать свои труды (у Чуковского, читаем мы, – книга о Блоке, книга «Некрасов, как человек и поэт»). В хронике рассказывалось об организации Петербургского отдела Всероссийского профессионального союза писателей весной 1920 года (в него вошли Волынский, Волковысский, Ганзен, Горький, Гуревич, Замятин, Ирецкий, Карпов и Чуковский). Правление занималось вопросами улучшения быта писателей и распределением пайков, читаем мы в отчете. Однако «ходатайство об увеличении числа литературных пайков, равно как и ходатайство об освобождении членов Союза писателей от трудовой повинности, не увенчалось успехом». Перечислен и вынесенный на заседания правления «ряд вопросов, имеющих важное профессиональное значение». В их числе, наряду с изданием своей газеты и повышением ставок оплаты литературного труда, названо «право получения писателями чернил, бумаги и перьев»!

Однако хроника не ограничивалась перечислением бед «русских писателей, оторванных от своей основной профессии и принужденных идти на чиновничью службу или, в лучшем случае, читать лекции в различных организациях». Дом искусств не сыграл бы такой роли в истории русской культуры, если бы занимался исключительно жалобами, перечислением бедствий и подачей просьб о пайках в Наркомпрос. Важно другое: старательная, кропотливая работа по восстановлению культурной среды, объединению литературных сил, наведению мостов через образовавшиеся пропасти. Хроника перечисляет не только то, что

не могут издать писатели в Петрограде, – она щедро делится новостями о новых публикациях эмигрантов, подробно рассказывает о творческой жизни за границей (несколько позже именно миссию преодоления культурной изоляции выполнял журнал «Современный Запад»).

Первый номер «Дома искусств» вышел тиражом пять тысяч экземпляров, второй – 500. После второго номера, вышедшего в ноябре 1921 года, журнал был закрыт.

В отделе хроники второго номера «Дома искусств» говорилось:

«Всё более возрастающая потребность в независимом литературно-критическом и профессиональном органе привела Правление к мысли об издании „Литературной Газеты“. По соглашению с Московским отделом союза „Литературная Газета“ должна была стать общим органом Всероссийского союза Писателей. Первоначальный план – выпускать газету два раза в неделю не мог осуществиться: соответствующими учреждениями разрешено было издавать „Литературную Газету“ только в форме двухнедельного журнала. Правлением были избраны в редакцию: А. Л. Волынский, Е. И. Замятин, А. Н. Тихонов и К. И. Чуковский; этой редакцией и был собран № 1 „Литературной Газеты“. В содержание его входили: „Неизданная страница“ Пушкина (отрывок статьи Пушкина о романтизме, с комментарием К. Козьмина); „Памяти предка“ (статья посвящена истории дельвиговской „Литературной газеты“), „Пора“ – статья Евг. Замятина; „Без божества, без вдохновенья“ – статья Александра Блока (об акмеизме); „Кисяз“ – статья К. Чуковского (о последних неологизмах русского языка); несколько писем В. Короленко, относящихся к последнему периоду революции; „С'езд Советов“ – Б. Пильняка (отрывок из романа); стих. Ир. Одоевцевой и В. Зоргенфрея; открытое письмо правления Союза Писателей П. Рыссу (ответ на его письмо, напечатанное в „Руле“); информация о деятельности Союза Писателей, о литературной жизни Москвы и Петербурга; ряд рецензий и литературная хроника, русская и иностранная. Нумер „Литературной Газеты“ был уже набран и свёрстан, имелась и бумага. По независящим от редакции обстоятельствам нумер выйти не мог, но, несомненно, попытка эта войдёт в летописи русской литературы».

Письма Короленко – это шесть писем к Луначарскому о разгуле красного террора на Украине (нарком на них не ответил). В конце газеты предполагалось опубликовать письмо Иванова-Разумника, где тот говорил о своем нежелании вступать в коммунистическую партию. Замятин в статье «Пора» призывал власть: «Пора снять с печати осадное положение. Свобода

печати… будет самым убедительным доказательством, что власть действительно верит в себя и в свою прочность». «Что ж, запрет „Литературной газеты“ на первом же номере стал красноречивым ответом на это требование», – резюмировал петербургский ученый Владимир Акимов, рассказывая в современной «Литературке» о ее неродившейся предшественнице.

Именно в 1921 году сложилась государственная система цензуры, появились Лито – фактически цензурные комитеты, которые к концу года получили право требовать у издателей рукописи на предварительный просмотр. До сих пор, как в царской России после 1905 года – «без предварительной цензуры, но с предварительной тюрьмой», – книгу можно было запретить, а автора привлечь к ответственности постфактум; теперь идеологически невыдержанная книга просто теряла шансы добраться до типографии. Все это значительно ухудшило условия существования не закрытых еще издательств, сотрудничавших с Госиздатом, в том числе и «Всемирной литературы». Арлен Блюм пишет, что переработке подверглось 54,8 процента всех представленных этим издательством рукописей, а по количеству вообще запрещенных рукописей оно лидировало среди всех прочих.

Способы удушения Дома искусств были иными: к нему пытались применить экономические меры. В феврале Чуковский коротко отметил в дневнике: «ревизия». Ревизия была не первой и не последней, а результаты пристального внимания власти к подозрительному учреждению не замедлили сказаться. Вскоре Блок уже записывал в «Чукоккале» новый протокол, рядом с протоколом открытия ДИСКа: «Заседание уже закрытого Дома Искусств 2-го апреля 1921 г. Гораздо многолюднее, чем, пока был открыт. Реформу закрытия правительству удалось осуществить менее, чем в полтора года. За это время все успели состариться; Анненкову есть уже нечего, ни чаю, ни булок, конфет. Он сидит в резиновом тулупе и грызет мраморный стол… Холодно по-прежнему. Читают отчет – приход с правительственной субсидией – 36 р. 50 коп., расход – около 90 миллиардов… Председатель говорит, что ни у кого больше нет никаких руководящих идей».

Дом искусств продолжал работу и после официального закрытия, еще не последнего. Чуковский в мае был у Луначарского в Москве, тот обещал заступиться. Только осенью 1922 года Дом был окончательно уничтожен и превращен в банальные коммуналки. В одной из таких квартир остался жить Зощенко – и, по свидетельствам других «серапионов», именно там наслушался неповторимой обывательской речи, которой насыщены его рассказы.

Между тем терпение лопнуло не только у писателей. Новое, еще более страшное наступление голода после трех лет бесконечных лишений вздернуло страну на дыбы. В январе началось мощное крестьянское восстание в Западной Сибири. В феврале экономический коллапс привел к остановке 64 крупнейших заводов Петербурга, в городе начались митинги и забастовки, из-за чего было введено военное положение. В конце месяца грянуло Кронштадтское восстание, и жизнь Петрограда шла под аккомпанемент канонады. Пожалуй, петроградцы не очень даже понимали, как относиться к мятежу и его подавлению: были испуганы, нервничали – и всячески избегали прямых высказываний. Блок написал в эти дни в стихотворении: «Как всегда, были смутны чувства». «Спутаны чувства», – повторила потом в дневнике Лидия Корнеевна. В начале марта ЧК приезжала арестовывать учившихся в Тенишевском училище сыновей генерала Козловского, объявленного руководителем мятежа. Чуковский записал в дневнике коротко и неясно: "Вчерашнее происшествие с Павлушей (сыном Козловского, соучеником Чуковских-младших. – *И. Л.)* очень взволновало детей". Яснее выражаться и в дневниках было трудно.

В России официально заговорили о голоде: разруха и продразверстка почти разорили деревню. Чуковский понял, что в городе прокормить семью уже не сможет. «Опять идет бесхлебица, тоска недоедания, – записывал он 13 февраля. – Уже хлеб стал каким-то редким лакомством – и Коле Мария Борисовна ежеминутно должна говорить: „Зачем ты взял до обеда кусок? Отложи“». И 14-го: «Завтра я еду вместе с Добужинским в Псковскую губернию, в имение Дома Искусств Холомки, спасать свою семью и себя – от голода, который надвигается все злее».

В конце марта Чуковскому после долгого перерыва попали в руки английские и американские газеты. «Читал с упоением: какой культурный стиль – всемирная широта интересов, – записывал он. – Как сблизились все части мира: англичане пишут о французах, французы откликаются, вмешиваются греки – все нации туго сплетены, цивилизация становится широкой и единой. Как будто меня вытащили из лужи и окунули в океан!» "Я вызвал духа, которого уже не могу вернуть в склянку. Я вдруг после огромного перерыва прочитал " *Times"* – и весь мир нахлынул на меня". Человек, ясно осознающий себя частью всемирной культуры, оказался надолго от нее отсечен и заперт, объявлен представителем отжившего класса, обречен на литературные дрязги, бессмысленное унижение, распределение пайков и борьбу за право голоса. Чуковский эйфорически постановляет в дневнике: "Отныне я решил не писать о Некрасове, не копаться в

литературных дрязгах, а смело приобщиться к мировой литературе. Писать для *«Nation»* мне легче, чем для «Летописи Дома Литераторов». Буду же писать для *«Nation»".*

«Дальше – смерть»

Весной 1921 года Чуковский решился выступить с лекциями о Блоке. Он готовил эти выступления долго, задавал поэту столько вопросов, что тот сравнил его со следователем в ЧК. Обсуждал с ним особенности его стихов. Неимоверно волновался перед выступлением. 25 апреля он записывает в дневнике: "Я в судороге. 3 ночи не спал… Я написал о Блоке книгу и вот теперь, выбирая для лекции из этой книги отрывки, замечаю, что хорошее читать нельзя в театре… нужно читать общие места, *то, что похуже.* Это закон театральных лекций. Мои многие статьи потому и фальшивы и неприятны для чтения, что я писал их как лекции, которые имеют свои законы – почти те же, что и драма. Здесь должно быть действие, движение, борьба, азарт – никаких тонкостей, все площадное".

Лекция никак не получалась – еще и потому, что писал ее очень голодный человек. В той же записи К. И. жалуется, что есть дома нечего, каждому члену семьи досталось «по крошечному кусочку хлеба». Вот он отправляется на лекцию: "Я совершил туалет осужденного к казни: нагуталинил ботинки, надел *одну* манжету, дал выгладить брюки и иду. Сердце болит – до мерзости. Через $^1/_2$ часа начало. Что-то я напишу сюда, когда вернусь вечером? Помоги мне Бог".

Евгений Замятин три года спустя вспоминал в «Русском современнике» этот вечер:

"И вот доверху полон огромный Драматический театр (Большой) – и в полумраке шелест, женские лица – множество женских лиц, устремленных на сцену. Усталый голос Чуковского – речь о Блоке – и потом, освещенный снизу, из рампы, Блок – с бледным, усталым лицом. Одну минуту колеблется, ищет, где стать, – и становится где-то сбоку столика. И в тишине – стихи о России. Голос какой-то матовый, как будто откуда-то уже издалека – на одной ноте. И только под конец, после оваций – на одну минуты выше и тверже – последний взлет.

Какая-то траурная, печальная, нежная торжественность была в этом последнем вечере Блока. Помню, сзади голос из публики:

– Это поминки какие-то!

Это и были поминки Петербурга по Блоку".

Чуковский читал плохо и провалился. Впрочем, Ольга Форш в «Сумасшедшем корабле» писала об этом его выступлении так:

«Нет, то было не случайно и не раздражающе, как сетовали иные корабельцы, что человек этот вышел дядькой при Гаэтане на похоронах романтизма. Был бессознательный вкус в том, как он путался, смущался и нес так явно не то, что предполагалось. Именно от этого косноязычия получилось живое – не „вступительное“ слово на сорок пять минут, а волнующая по чувству и не находящая формы защита. Это было безнадежное и любовное разведение рук. Длинные простертые руки вслед уходящему романтизму».

Блок, который выступил триумфально, утешал К. И., предложил вместе сняться на фотографии у Наппельбаума («так мы и вышли на снимке – я с убитым лицом, а он – с добрым, очень сочувственным: врач у постели больного»).

Кушнер в финале стихотворения «Современники» – того самого, где строки из «Крокодила» чередуются со строками из «Двенадцати», описывает этот знаменитый снимок:

> Фотография есть, на которой они вдвоем:
> Блок глядит на Чуковского. Что это, бант в петлице?
> Блок как будто присыпан золой, опален огнем,
> Страшный Блок, словно тлением тронутый, остролицый.
> Боже мой, не спасти его. Если вдруг спасти!
> Не в ночных, – в медицинских поддержку найти светилах!
> Мир, кренись,
> пустота, надвигайся,
> звезда, блести!
> Блок глядит на него, но Чуковский помочь не в силах.

Блок был уже болен; дыхание смерти чувствовали не только близкие и знакомые («опаленным» назвал его в воспоминаниях и двоюродный брат) – но даже самые грубые, самые нечуткие слушатели. В любых воспоминаниях о последних выступлениях Блока обязательно слышится: похороны, поминки, проводы, покойник, мертвец, эпитафия, кладбище…

И уж конечно, медленное это умирание с ужасом, жалостью и горем наблюдали те, кому доводилось видеть поэта изо дня в день. Записи в дневнике Чуковского о разговорах с Блоком в 1921 году похожи на хронику умирания поэта; смерть подбирается потихоньку, сквозит между строк.

В этом году Чуковский и Блок особенно сблизились. К. И. сохранял у себя его экспромты, на скучных заседаниях подсовывал ему «Чукоккалу» с предложением что-то написать, обсуждал с ним его стихи. Последние стихи Блока, последние его

записи, последние выступления чуть не все как-то связаны с Чуковским, и многое описано в дневниках К. И. Потом эти дневники, как всегда у Чуковского, легли в основу статей о Блоке. О многом там сказать было нельзя, пришлось по цензурным условиям обходиться намеками и умолчаниями – изъять, например, из блоковского текста «полицейское государство» – и оставить только оглохшую тишину, безвоздушное пространство: музыка кончилась. Но всякий, кто помнил призыв слушать музыку революции, все понимал правильно.

1 мая Чуковский увез Блока выступать в Москву: «Дело в том, что дома у него плохо: он знает об измене жены, и я хотел его вытащить из этой атмосферы». С ними поехал издатель Алянский. У поэта болела нога, Алянский вспоминал, что К. И. отвлекал Блока разговорами и почти «заговорил» ему ногу.

Первая лекция не задалась. Блок решительно не хотел читать: народу было мало, у самой сцены стоял красноармеец – «с вот такой звездой на шапке», записаны в дневнике слова поэта («неприятный слушатель в большой шапке», сказано в статье «Александр Блок как человек и поэт»). Он физически не мог читать красноармейцу в шапке; «они там все до одного в таких шапках», – сказал он Чуковскому в ответ на уговоры не обращать внимания на одного слушателя. Вышел и нехотя прочитал по-латыни эпитафию Полициано художнику Фра Филиппо Липпи, хотя сам перевел ее на русский…

> Здесь я покоюсь, Филипп, живописец навеки бессмертный,
> Дивная прелесть моей кисти – у всех на устах.
> Душу умел я вдохнуть искусными пальцами в краски,
> Набожных души умел – голосом бога смутить.

Латинские строки звучали эпитафией мастеру; слушатели «в шапках» не понимали, не догадывались. Чуковский понимал: Блок прощается.

«Вызвав нескольких знакомых барышень, я сказал им: чтобы завтра были восторги. Зовите всех курсисток с букетами, мобилизуйте хорошеньких, и пусть стоят вокруг него стеной. Аплодировать после каждого стихотворения».

Блок без конца повторял: «Какого черта я поехал?»

Следующий вечер задался куда лучше: явились и девушки с цветами, и студенты с восторгами, и Чуковского слушали хорошо – «и Блок читал, читал без конца, совсем иначе—и имел огромный успех». На эту лекцию пришел Маяковский. К. И. заметил: «Все наше действо казалось ему скукой и смертью».

Маяковский потом написал об этом вечере: «Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, – дальше дороги не было. Дальше смерть».

В «Доме печати» некий товарищ Струве, из бывших декадентов, а ныне пролеткультовец, так и брякнул во всеуслышание: «Товарищи! Я вас спрашиваю, где здесь динамика? Где здесь ритмы? Все это мертвечина, и сам тов. Блок – мертвец».

Блок, сидевший за занавеской, сказал Чуковскому: «Верно, верно. Я – мертвец».

В «Итальянском обществе» и Союзе писателей «публика слушала Блока влюбленно. Он читал упоительно: густым, страдающим, певучим, медленным голосом». Через день Чуковский и Блок расстались навсегда; в Петроград возвращались порознь.

В мае К. И. получил от Блока письмо с отчаянными строчками: "…сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается, и все всегда болит… Итак, *здравствуем и посейчас* – сказать уже нельзя: слопала таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка".

Чуковский продолжал работать над статьей, думать о Блоке, читать его. 6 августа, накануне смерти поэта, записывал, что книга Блока лежит у него на столе, но все вокруг мешает заниматься этой работой, которая кажется никому не нужной…

Прощанием, бесконечной любовью и тоской проникнуты и дневниковые строки, и воспоминания о последних годах жизни Блока в статье Чуковского.

Тоской не только о Блоке – тоской о *тайной свободе,* уходящей вместе с поэтом в ночную тьму.

«Уже растет зеленая трава…»

Еще в феврале Чуковский ездил вместе с Добужинским в Холомки, бывшее имение князей Гагариных под городом Порховом в Псковской губернии, чтобы договориться о размещении там и в соседнем имении Новосильцовых «Вельское устье» летней колонии Дома искусств. Добужинский, давний знакомец Гагариных, спасал художников с той же энергией, с которой Чуковский – литераторов; и в Доме искусств, и в Холомках между ними шло своеобразное соперничество: каждый лоббировал интересы коллег, каждый приглашал сначала в ДИСК, потом в Холомки «своих», ссылаясь на то, что плоды мучительных

трудов и организаторских усилий достаются всякий раз «чужим».

Гагарины продолжали жить в своем доме, на который Луначарским была выдана охранная грамота. Землю их отдали крестьянам, которые, впрочем, относились к бывшим господам с уважением.

Первые впечатления Чуковского от русской деревни оказались сильными. Не в том дело, что его накормили и приветили (вечно голодный Корней Иванович едва не всякий раз, как бывал сыт, с изумлением отмечал этот факт в дневнике; в первой же холомковской записи читаем: «Давно я не был так сыт, как теперь. Пью молоко, ем масло!!! От непривычки – тяжелею очень»).

Главное-то, конечно, в том, что он, крестьянин по паспорту, объездивший полстраны с лекциями и побывавший за границей, фактически впервые в жизни увидел крестьянскую Россию, с которой был хорошо знаком заочно – по русской литературе. Даже первые впечатления были немножко литературными: крестьянка «говорит как в романе»; «а какой язык, какие слова…». Сразу сложился план привезти в деревню детей: им это будет полезно. «Русский поэт должен знать Россию, – писал К. И. несколько позже сыну Коле. – А Россия – это деревня. Я затем и потянул вас сюда (причем вы все тоже сопротивлялись), чтобы показать тебе (главным образом тебе) русскую деревню, без знания которой Россию не понять».

"Вообще, я на 4-м десятке открыл деревню, впервые увидал русского мужика, – записывал Чуковский в дневнике. – И вижу, что в основе это очень *правильный* жизнеспособный несокрушимый человек, которому никакие революции не страшны. Главная его сила – доброта. Я никогда не видел столько по-настоящему добрых людей, как в эти три дня". Увидев деревенскую свадьбу, восхищался: «Ленты, бусы, бубенцы – крепкое предание, крепкий быт. Русь крепка и прочна: бабы рожают, попы остаются попами, князья князьями – все по-старому на глубине. Сломался только городской быт, да и то возникнет в пять минут. Никогда еще Россия, как нация, не была так несокрушима».

Прочитав в Порхове несколько лекций местным интеллигентам, договорившись предварительно о летней колонии, он вернулся в голодающий Петербург, весну провел в попытках отстоять Дом искусств, в работе над журналом, выступал вместе с Блоком, съездил с ним в Москву – и в конце мая вновь отправился в Холомки, предварительно обегав множество инстанций, добывая товары для натурального обмена в деревне. Дело это было не такое уж простое: в дневнике К. И.

рассказывается о неудачной попытке поменять пиджак на еду; Милашевский повествовал о привезенных Мандельштамом желтых платках, которые никто не хотел брать, и о клетчатой материи на брюки, которую не удавалось сменять ни на что, ибо деревенские предпочитали полоску, как у Добужинского…

Поезда, идущие в Петроград, были забиты горожанами, тайком везущими еду, – вспомним «ангел-бабу» Тэффи, приносившую оголодавшим питерцам сизые лоскуты мяса, на которых она сидела всю дорогу. В дневнике Чуковского находим прелестную зарисовку: «Мы попали в актерский вагон. Там ехал „артист“ Давидович – с матерью, к-рую он тоже записал в актрисы „для продовольствия“. У матери была очень пышная грудь, которая вдруг закокала: ко-ко-ко – и высунулись куриные головы!»

«Отцу, единственному нашему кормильцу, решительно нечем было кормить нас в голодном Петрограде. Оставался только один выход – уехать в деревню и жить там, меняя вещи на продукты, – вспоминал Николай Корнеевич. – Беда заключалась в том, что никаких вещей у нас не было. К двадцать первому году мы уже все обносились до предела. Но отец нашел выход – с запиской от знакомых работников Петросовета он обратился на один из петроградских металлургических заводов и получил там мешок гвоздей и четыре стальных косы… В Холомках мешок гвоздей и четыре косы мы обменяли на четыре мешка ржи. И жили там, пока не съели эту рожь, – до середины октября».

Первые радужные впечатления начали сменяться тоской от встречи с грязью и тупостью провинциальной русской жизни: «Канитель 3-часовая, чтобы попасть в служебный вагон – ужасный и набитый доверху».

«Сдуру я взял огромный портфель, напялил пальто и пошел в город Псков, где промыкался по всем канцеляриям и познакомился с бездной народу. Добыл лошадь для колонии и отвоевал Вельское Устье. Все время на ногах, с портфелем, я к 2 часам окончательно сомлел».

«Очень долго хлопотал в Уеисполкоме, чтобы мне разрешили пообедать в „Доме Крестьянина“ (бывш. Дворянское Собрание), наконец мне дали квиток, и я, придавленный своим пальто и портфелем, стою в десятке очередей – получаю: кислые щи (несъедобные), горсть грязного гороху и грязную деревянную ложку».

«Я смотрю на говорящих: у них мелкие, едва ли человеческие лица, и ребенок, которого одна держит, тоже мелкий, беспросветный, очень скучный. Таковы псковичи. Черт знает как в таком изумительном городе, среди таких церквей, на такой реке –

копошится такая унылая и бездарная дрянь. Ни одного замечательного человека, ни одной истинно человеческой личности».

Лето оказалось очень тяжелым. Чуковский постоянно ездил в Петроград и обратно, занимался делами «Всемирной литературы» и «Дома искусств», ходил к Горькому, решал вопросы выпуска второго (оказавшегося последним) номера журнала «Дом искусств». Отдохнуть и поработать в Холомках никак не получалось: К. И. взвалил на себя решение всех организационных вопросов колонии, ради чего ему постоянно приходилось ездить в Порхов и Псков, улаживать с местными властями проблемы, выпрашивать то лошадей, то кровати, то землю. 5 июля Чуковский записывал в дневнике: "Я единолично добыл Колонию *Вельское Устье,* добыл сад, из-за сада я ездил в город 4 раза, из-за огорода 1 раз, из-за покосов 4 раза (сперва дали, потом отняли), добыл две десятины ржи, десятину клевера, добыл двух лошадей, жмыхи, я один безо всякой помощи. Ради меня по моей просьбе Зайцев отделал верх для колонии, устроил кухню, починил окна и замки на дверях. Я добыл фураж для лошадей – и, что главное, добыл второй паек для всех членов колонии и их семейств – паек с сахаром и крупой.

Все это мучительная неподсильная одному работа. Из-за этого я был в Кремле, ездил в Псков, обивал пороги в Петербургских канцеляриях. Все это я должен был делать исключительно для литературного отдела, но я решил передать это и художественному, так как думал, что художники и будут мне надежными товарищами…" Дальше следует долгий список горьких обид на художников и особенно на семейство Добужинских. Где-то таится обида и на литераторов, которые не едут, несмотря на то, что для них все заботливо приготовлено. Он рассылает писателям письма с приглашением приезжать; Замятину пишет: «Здесь восхитительно – даже я немного отмяк, хотя у меня почти ничего не наладилось. (Трудно с такой огромной семьей.)».

Кроме того, ему постоянно приходилось читать в Порхове лекции. «Материальный быт наш несся в „неуверенном, зыбком полете“. Каждую минуту он мог на что-то налететь и разбиться, порховские власти могли заупрямиться и во всем отказать! Надо было их умасливать, читать лекции о Горьком, о Блоке, о Маяковском, как это делал Корней Иванович Чуковский!» – писал Милашевский.

Впрочем, Милашевский и прочие колонисты приехали в середине июля, когда конфликт между Чуковским, Добужинскими и художником Поповым достиг самого серьезного накала. В

дневниках К. И. – бесконечные, мучительные жалобы: бьюсь один, привожу рожь, молоко, никто не помогает, меня считают приказчиком… В течение одного дня 15 июля он доставал рожь, мешки под рожь, керосин, читал лекцию о Достоевском – и в довершение всего расплакался, когда жена Добужинского предложила измотанной заботами Марии Борисовне поделить привезенные Корнеем Ивановичем продукты на всех: Чуковский будет привозить еду, Чуковская ее делить, а вы есть? «Плакать было от чего. Проходит лето. Единственное время, когда можно писать. Я ничего не пишу. Не взял пера в руки. Мне нужен отдых. Я еще ни на один день не был свободен от хлопот и забот о колонии. А колонии и нету. Есть самоокопавшиеся дачники, которые не только ничем не помогли мне, но даже дразнят меня своим бездействием. Как будто нарочно: работай, дурачок, а мы посмотрим».

Наконец, вспоминает Николай Корнеевич, «литераторов понаехало в Холомки больше, чем художников. Появился Ходасевич с женой и пасынком, М. Л. Лозинский со своей лучшей ученицей Оношкович-Яцыной, Леткова-Султанова с сыном Юрием. Вслед за ними появилась и молодежь – Сергей Нельдихен, Миша Зощенко, Миша Слонимский, Лева Лунц и Муся Алонкина. Всех их вместить гагаринский дом не мог. И потому новоприбывших поселили в бывшем новосильцовском доме – Вельском Устье».

Колонисты довольно быстро освоились на новом месте. Наблюдали за деревенскими обычаями, ходили в гости – на свадьбы и именины, купались в Шелони, бродили по лесам, устраивали танцы. «Жили мы в „Холомках“ хотя и скудновато в смысле питательности, но весело и не без взаимных подковырок. Писались эпиграммы, рисовались карикатуры, – рассказывал Милашевский. – …Ну, конечно, во время прогулок читались стихи, люди той эпохи без стихов не жили. Особенно перенасыщен, переполнен стихами был Коля Чуковский».

Удивительно различаются по тону воспоминания колонистов – Ходасевича, «Коли Чуковского», Милашевского – и дневники Корнея Ивановича.

«Первое мирное лето после семи лет войны», «все чувствовали огромное облегчение, предавались мечтам и надеждам» – это Николай Корнеевич, вспоминающий счастливые месяцы, когда он, семнадцатилетний, бродил в зарослях, читая вслух «Заблудившийся трамвай», ухаживал за деревенскими девушками и гулял на именинах. Счастьем переполнены и воспоминания Милашевского, впервые в это лето нашедшего собственный путь в живописи (кстати, в «Чукоккале» он зарисовал

Корнея Ивановича, обросшего в Холомках бородой). Скукой и ядом сочится очерк Ходасевича, подробнее и желчнее всех описавшего псковский двухколесный экипаж для езды по разбитым дорогам – «беду», и поездку на этой «беде» в Порхов для чтения лекции, и жалкую местную коллегию Наробраза – кучку полукультурных людей, вырабатывавших принципы всемирной театральной реформы.

Ходасевич съездил в Порхов единожды, чтобы получить отметку в командировочном удостоверении: без него культурная миссия писателя в провинции не считалась выполненной и обратного билета получить было нельзя. Мухи, скука, свиньи и куры, равнодушные горожане, местный коммунист, ночующий на грязном матрасе…

Интересно сопоставить с воспоминаниями Ходасевича несколько выдержек из дневника Чуковского:

«За 40 дней я 30 раз ездил в город на гнусной лошади и на телеге, которую из деликатности зовут только бедой, а не чумой, дыбой».

"Добужинский не знает, даже не подозревает, что такое добыть клевер или жмыхи, или хомут, или рабочего, или вообще что-нибудь. Для этого надо не спать ночь, сбегать чуть свет на мельницу выпросить возжи, снести к дяде Васе кусок мыла, выпросить телегу, послать к Овсянкину за хомутом, потом трястись под дождем, не евши 12 верст, потом ходить из одной канцелярии в другую, выстаивать в очереди, потом, получив, напр., разрешение на хомут, – трястись в сторону, в деревню, где оказывается, что человек, у которого есть хомут, находится в поле – идти к этому человеку за три-четыре версты, дарить ему собственные папиросы – вернуться с ним и узнать, что хомута нет, и получить от него какую-то дрянь, и ехать обратно не евши 17 верст, с болью в голове, и думать:

– Боже, когда же я буду писать!"

«Я прочитал в Порхове 12 лекций».

Замятину он пишет в это время: "Я здесь читаю **с успехом** – вся интеллигенция слушает". Изредка извещает, что погода прекрасная, в Холомках чудесно, зовет приезжать – не напрасно же он трудился. Но все чаще звучит «я устал», «я болен».

В июле К. И. ненадолго уехал в Петроград – видимо, решать вопросы с Домом искусств или лечить больную ногу. Лида писала ему из Холомков: «У нас уже почти нет никаких вещей для меня, и те, что остались, мама выменивает только на хлеб». Рассказывала, что у нее и Бобы на ногах нарывы. Что хлеба нет. Что очень холодно.

Именно с этого лета началась переписка К. И. с двумя

старшими детьми. Коля раздражал отца праздностью и «шалопайством», Лиду он жалел: она почти в одиночку нянчила маленькую Муру, пока мать занималась хозяйством. Рассерженный, обремененный хозяйственными проблемами К. И. написал сыну длинное письмо с призывом одуматься, возобновить занятия английским языком, начать помогать семье.

Коля ответил ершистым посланием, где замечал, между прочим, касательно чтения английских стихов, что начинается оно обычно как совместное удовольствие, но если кто вздумает от него отказаться или выразит «на лице меньше энтузиазма», отец станет читать нотацию; так что ж это за удовольствие, если оно принудительное? В отношениях отца и сына назрел кризис.

В следующем письме – скорее записке – отец извиняется за что-то перед сыном, оправдываясь: «У меня нервы черт знает как измотались. Я тогда же увидел, что был не прав, и хотел перед тобой извиниться, но смалодушничал».

Но самое тяжелое было впереди.

11 августа Чуковский узнал от Добужинского о смерти Блока. На следующий день поехал по делам в Порхов, где получил письма с той же трагической новостью, с прибавлением, что Блока еще можно было спасти; с известием об аресте (пока еще аресте) Гумилева. На похороны Блока Чуковский не успевал.

Следующая запись в дневнике полна такой смертной, дремучей, выматывающей душу тоски, что и читать-то ее страшно.

"Никогда в жизни мне не было так грустно, как когда я ехал из Порхова – с Лидой – на линейке мельничихи – грустно до самоубийства. Мне казалось, что вот в Порхов я поехал молодым и веселым, а обратно еду – старик, выпитый, выжатый – такой же скучный, как то проклятое дерево, которое торчит за версту от Порхова. Серое, сухое – воплощение здешней тоски. Каждый дом в проклятой Слободе, казалось, был сделан из скуки – и все это превратилось в длинную тоску по Алекс андру Блоку. Я даже не думал о нем, но я чувствовал боль о нем – и просил Лиду учить вслух английские слова, чтобы хоть немного не плакать. Каждый дом, кривой, серый, говорил: «А Блока нету. И не надо Блока. Мне и без Блока отлично. Я и знать не хочу, что за Блок». И чувствовалось, что все эти сволочные дома и в самом деле сожрали его, – т. е. не как фраза чувствовалась, а *на самом деле: я* увидел светлого, загорелого, прекрасного, а его давят домишки, где вши, клопы, огурцы, самогонка и – порховская, самогонная скука. Когда я выехал в поле, я не плакал о Блоке, но просто – все вокруг плакало о нем. И даже не о нем, а обо мне. «Вот едет старик, мертвый, задушенный – без ничего». Я думал о детях – и

они показались мне скукой. Думал о литературе – и понял, что в литературе я ничто, фальшивый фигляр – не умеющий *по-настоящему* и слова сказать. Как будто с Блоком ушло какое-то очарование, какая-то подслащающая ложь – и все скелеты наружу…" И дальше полные любви и печали воспоминания о Блоке, и констатация: «Самое страшное было то, что с Блоком кончилась литература русская». Вскоре пришло известие о расстреле Гумилева.

В Петроград Чуковский вернулся осенью. Читал отрывки из своей книги на мемориальных блоковских вечерах. Расплакался в гостях у Ахматовой, когда она стала читать о Блоке.

Дел оказалось много: организация вечера Репина в Доме искусств, организация издания репинских воспоминаний, собственные книги. В декабре К. И. записывал в дневнике: "Вчера вышли сразу три мои книжонки о Некрасове – в ужасно плюгавом виде (в «Некрасовской библиотеке» издательства «Эпоха» вышли «Поэт и палач», «Жена поэта» и «Некрасов как художник»; датированы они все, по стандартной издательской практике, наступающим 1922 годом. Книги вышли на плохой бумаге, в тонких бумажных обложках. – *И. Л.)*. Сейчас держу корректуру «Книги о Блоке», которая (книга) кажется мне отвратительной. Вчера в оперном зале Народного Дома состоялся митинг, посвященный Некрасову по случаю столетия со дня его рождения. Я бежал с этого митинга в ужасе".

Огромная усталость и пережитое горе привели к долгой, незаметной депрессии. Ставить посмертные диагнозы – не наше дело, судить о депрессии можно по тому накалу тоски, который сквозит в дневниках, тому отвращению, которое Чуковский все чаще испытывает к окружающим, к жизни вообще, по его слезам – так плакал он разве что в 1931-м, когда болела, умирала и умерла Мурочка. Несколько лет голода, забот и горя при все усиливающемся внешнем давлении не могли не привести к определенным изменениям психики – а К. И. был еще из стойких…

Казалось, все кругом кончается, гибнет, сходит на нет. Дом искусств уже который месяц находился под угрозой закрытия, и конец был неизбежен – оставалось только гадать, сколько он протянет. Запретили «Литературную газету», закрыли журнал «Дом искусств». Тут подоспело очередное государственное решение по зажиму литературы: 12 декабря была издана инструкция о том, что каждая рукопись должна пройти предварительную цензуру Госиздата.

25 декабря умер Короленко. Почти одновременно с ним скончался Абрам Кауфман, один из тех, кто стоял у истоков Дома

искусств. «Кауфман был бездарный и непросвещенный писатель – и ничему он не мог придать никакого серьезного оттенка, – записывал Чуковский в дневнике. – В Одессе над ним потешались. Но его любовь к русской литературе была огромная. Он не понимал ее, и не читал ее, но любил ее – торжественно. И служил ей – нелицемерно, и сделал ей много добра. В гробу он лежал спокойно, истово и хорошо».

Новый, 1922 год К. И. пошел встречать в Дом литераторов, «потому что не спалось».

"Говорились речи, – писал он в дневнике. – Каждая речь начиналась:

– Уже четыре года…

А потом более или менее ясно говорилось, что нам нужна свобода печати. Потом вышел Федин и прочитал о том, что критики напрасно хмурятся, что у русской литературы есть не только прошлое, но и будущее. Это задело меня, потому что я все время думал почему-то о Блоке, Гумилеве и др. Я вышел и (кажется, слишком неврастенически) сказал о том, что да, у литературы есть будущее, ибо русский народ неиссякаемо даровит, «и уже растет зеленая трава, но это трава на могилах». И мы молча почтили вставанием умерших".

Глава шестая
«И в каждом овраге флаги»

Опять тоска

Голод в России достиг масштабов ужасающих. Появилось сразу несколько комитетов и комиссий помощи голодающим. Было, однако, ясно, что своими силами справиться с голодом истерзанная войной, разрушенная страна не сможет. В августе 1921 года советское правительство подписало соглашение с американской администрацией помощи АРА (American Relief Association), которая действительно очень много сделала для облегчения положения голодающих во всей России. Уже в октябре американцы открыли в Петрограде первую столовую. Помогали в первую очередь детям. Чуковский в 1922–1923 годах сотрудничал с представителями АРА, составляя для них списки нуждающихся писателей.

В начале августа Совнарком принял наказ о проведении в жизнь новой экономической политики. Впрочем, для того чтобы она дала какие-то плоды, должно было пройти еще немало времени. Петроград снова утонул в голодной и бездровной зиме. Зарабатывать литераторам по-прежнему было почти нечем, продать тоже нечего (за предыдущие годы все, что можно, было уже продано), издание книг всячески тормозилось и плохо оплачивалось.

Однако – и в этом сказались первые результаты нэпа – появились частные издательства, то есть стало возможно книгоиздание как таковое. В конце декабря Чуковский писал Репину: «Теперь мне легче жить: можно печатать книги. Я сразу печатаю пять книжек. Благодаря гонорару я имею возможность каждый день обедать, что кажется мне огромной роскошью после трехлетнего голода». Пять книжек – это, вероятней всего, упомянутые выше три книги о Некрасове («Поэт и палач», «Жена поэта», «Некрасов как художник»), «Книга об Александре Блоке» и «Оскар Уайльд».

1922 год стал поворотным для русской литературы, поскольку советская власть окончательно подмяла под себя книгоиздание, а институт предварительной цензуры вполне оформился. В Госиздате уже царил товарищ Ионов, брат Златы Лилиной, жены петроградского вождя Зиновьева – «сварливый, бездарный и вздорный маньяк», как в одном мемуарном фрагменте охарактеризовал его Чуковский, не называя, впрочем,

имени; Владимир Милашевский писал об этом персонаже: «Он был вечно как бы наэлектризован, взвинчен от упоения собственным величием, полнотой власти». 6 июня был создан Главлит – фактически цензурное управление во главе со старым большевиком Мещеряковым.

Зимой и весной Чуковский работал над очередным изданием Уитмена. Когда книга вышла, в Петрограде появился даже кружок поклонников поэта. Молодые люди искали в Уитмене прежде всего образец «делать жизнь с кого». Чуковский с удивлением записывал: "Я в последние годы слишком залитературился, я и не представлял себе, что возможны какие-нибудь оценки Уитмэна, кроме литературных, – и вот, оказывается, благодаря моей чисто *литературной* работе – у молодежи горят глаза, люди сидят далеко за полночь и вырабатывают вопрос: *как жить*… Им эстетика не нужна – их страстно занимает мораль. Уитмэн их занимает как пророк и учитель. Они желают целоваться и работать и умирать – *по Уитмэну*. Инстинктивно учуяв во мне «литератора», они отшатнулись от меня. – Нет, цела Россия! – думал я, уходя. – Она сильна тем, что в основе она так наивна, молода, «религиозна». Ни иронии, ни скептицизма, ни юмора, а все всерьез, *in earnest*[11]… И я почувствовал, что я рядом с ними – нищий, и ушел опечаленный". Вскоре, впрочем, и уитменианцы начали раздражать его эстетической глухотой, и в одной из следующих записей превратились в «уитмэньяков».

Дела Чуковского по-прежнему плохи. Дневниковые записи свидетельствуют:

"28 февраля. В субботу (а теперь понедельник) я читал у Серапионовых братьев лекцию об *O'Henry* и так устал, что – впал в обморочное состояние. Все воскресение лежал, не вставая…"

«Какое? 9-е или 10-е марта 1922. Ночь. Уже ровно неделя, как я лежу больной. У меня в желудке какие-то загадочные боли… Я не ем почти ничего, думаю взять голодом, но, видно, этого лечения недостаточно. Хлеб кислый, тухлый. У меня болит голова, и я чувствую себя какой-то тряпочкой…»

«10 апреля. Снег. Мороз. Солнца как будто и на свете нет. Безденежье все страшнее. Вчера я взял с полки книги и пошел продавать. Пуда полтора. Никто из книготорговцев и смотреть на них не захотел… Мои мечты о писательстве опять разлетаются. Нужно поступить на службу, но куда?»

«11 апреля. Видел в книжном магазине „Некрасовский сборник“, где между прочим много выпадов против меня, и не имел денег купить этот сборник!.. Дров нет. Я ломал ящик для книг и поцарапал себе ладонь. Но не беда! Настроение почему-то бодрое и даже веселое… Сяду опять за Ахматову, надо же кончить

начатое. Футуристы, проданные мною Лившицу, тоже, по-видимому, в печать не пойдут».

«29 апреля. Опять тоска, безденежье. Болит горло».

«25 мая. Сию минуту умирал. Лежал возле больной Лиды. Потом пошел к себе в комнату – и чувствую: во мне совершается смерть. Ухожу, ухожу, вся сила уходит из меня и меня почти нет. С интересом, с упоением и ужасом следил за собою. Вот уже больше месяца – лежу в постели: инфлуэнца, бронхит. Сегодня впервые 36.5°. Мария Борисовна тоже больна. Лида тоже… Ослабела воля. Не могу сидеть за столом».

Больной и голодный Чуковский почти постоянно занят делами: лекции, корректуры, предисловия, переводы. В конце мая или начале июня К. И. писал в Берлин редактору «Новой русской книги» профессору Ященко: "Как литератор многосемейный, я, по условиям современного Нэпа, должен печатать в месяц *три книжки* для того, чтобы существовать". И перечисляет сданное в печать: в декабре – «Поэт и палач», «Некрасов как художник», «Жена поэта», в январе сказки «Слоненок», «О глупом царе» и «Джэк», в феврале – «Книга об Александре Блоке», «Книга об Анне Ахматовой» (отдельной книги об Ахматовой в это время не выходило), «Футуристы» (новое издание старой статьи), в марте – «Щедринский сборник» (письма Щедрина к Некрасову, переписка царя с Поль де Коком) и два некрасовских сборника. «В апреле – ничего – голод». В мае – 5-е издание «Уолта Уитмена», брошюра об Оскаре Уайльде и Сэмюел Батлер…

Чуковский подсчитывает: в общем около 50 печатных листов – «не считая Воспоминаний о Блоке, Воспоминаний о Леониде Андрееве, Воспоминаний о Набокове, не считая работы для Всем. Литер, (в постели я напр. перевел роман О. Генри „Короли и Капуста“), не считая редактуры журнала».

«Журнал», о котором идет речь, – это очередное детище «Всемирной литературы». Идея нового журнала не оставляла Чуковского и его коллег с момента закрытия «Дома искусств». В январе 1922 года К. И. писал Репину, что замышляется новый журнал «вроде „Солнца России“, но только гораздо изящнее, литературнее, красивее», и сообщал, что его пригласили редактором. Весной 1922 года началась работа над журналом, и лицо его вполне определилось. Предполагались разные названия: «Новая Европа», «Запад», в конечном итоге он получил название «Современный Запад». В цитированном выше письме к Ященко К. И. делится с ним своими замыслами: «Хотим отразить нового человека, возникшего в Европе после войны и революции, хотя этот человек, кажется, не слишком пригляден» (это явный отзвук полученного им недавно письма Алексея Толстого, где тот пишет

о новой, послевоенной Европе). «Будьте добры, – приглашает Чуковский, – черкните нам корреспонденцию и других побуждайте к тому же: о новой науке, новом искусстве и т. д.».

Была у Чуковского и другая идея межкультурного моста: однажды он поделился с Ахматовой идеей «детской книги для Европы и Америки» – ради помощи голодающим. Этот проект так и не осуществился, как и многие другие.

Основной фон литературной жизни прежний: ежедневное неблагополучие. Книги плохо издаются и плохо расходятся. «Кругом кипы книг, и ни одного покупателя», – жалуется Чуковский после посещения издательства Алянского; "мой «Слоненок» (перевод из Киплинга. – *И. Л.)* лежит камнем. Ни один книгопродавец не мог продать и пяти экземпляров. На книжки о Некрасове и смотреть не хотят".

В цензуре пока царит неразбериха, нравственность несмышленого российского демоса еще пытаются охранять разные инстанции – кто во что горазд; что запретили одни, еще могут разрешить другие, и наоборот. С одной стороны, это прибавляет путаницы и глупости, с другой – позволяет еще на что-то надеяться.

Выходящие книги становятся предметом исключительно идеологического разбора: что нужно пролетариату, что не нужно… Писатели здесь отнюдь не выступают единым фронтом: они сами находятся в состоянии продолжительной войны – если не всех со всеми, то многих с многими. 19 февраля 1922 года в Москве в Политехническом музее Маяковский и футуристы устроили первую «чистку поэтов», созвав на судилище всех с фамилиями на буквы от А до К; первой «вычистили» Ахматову, запретив ей печататься на три года.

Чуковский в этом году часто встречался с Ахматовой. В дневнике есть запись ее жалобы на Голлербаха, посмевшего упомянуть ее настоящую фамилию – Горенко. «Бедная Анна Андреевна. Если бы она только знала, какие рецензии ждут ее впереди!» – пророчит Чуковский.

При всей сложности отношений между Ахматовой и Чуковским, при всей неоднозначности той роли, которую статья самого К. И. сыграла в судьбе Анны Андреевны, они двое прекрасно понимали значение друг друга. Дневниковые записи Чуковского об Ахматовой полны сухих, трезвых, иногда почти неприязненных наблюдений: Ахматова самолюбива, ее больше всего занимает, что о ней написали там-то, Ахматова играла такую-то роль… И среди этого вдруг: «Дав мне миллион, она порывисто схватила со шкафа жестянку с молоком и дала. – „Это для маленькой!“»

«Одна маленькая чайная ложка этого концентрата, разведенного в кипяченой воде, представлялась нашим голодным желудкам недосягаемо сытным обедом, – вспоминал он в статье „Анна Ахматова“, написанной через сорок с лишним лет. – А вся жестянка казалась дороже бриллиантов… Напрасно повторял я: „что вы! это никак невозможно! да я ни за что… никогда…“ Передо мною захлопнулась дверь и, сколько я ни звонил, не открылась».

И снова мы видим, что ни одно из ядовитых дневниковых замечаний о «петербургской даме из мелкочиновничьей семьи» на страницы его работ об Ахматовой не попало; а попали – благодарная память о жестянке «Нестле», ахматовский юмор, ее литературоведческая дотошность, великодушие. Это было принципиально: мелкое он отсеивал, важное и прекрасное сохранял. Надежда Мандельштам ядовито упрекала К. И. за то, что тот распространял «брехню», «сентиментальный рассказ» о том, как Горький пытался спасти Гумилева и не успел, отчего у великого пролетарского писателя сделалось кровохарканье. «Эренбург и Ч. считали, что защищают достоинство литературы, приписывая писателям спасение своих собратьев или, как в случае кровохарканья, по крайней мере, некоторый минимум чувств. В этом отголоски культа литературы и носителя литературы – писателя», – подводит итог Надежда Яковлевна. Едва ли мемуаристка права в отношении сознательного приписывания (и неправа в том, что касается Горького; по-видимому, тот действительно пытался спасти Гумилева – об этом упоминает Замятин в своих воспоминаниях «Лица»). Однако веру в нравственные силы писателя и великую роль литературы Чуковский сохранял сам и поддерживал в других (впрочем, речь об этом уже шла выше, в связи с его воспоминаниями о Горьком и Луначарском).

Однако и коллеги-литераторы далеко не всегда соответствовали своему высокому званию. Этот и следующие за ним годы были ознаменованы литературными схватками, сплетнями, мелкими пакостями и разносными рецензиями; бывали хуже времена, но не было подлей, – по крайней мере до тех пор, вскоре это станет нормой. Эмигранты борются с «красными» в России и в своей среде, «саботажники» борются с «сочувствующими» власти, а пролеткультовцы – со всеми сразу; «серапионы» выступают против идеологического диктата, а напостовцы – против «серапионов»… Каждую группу раздирают собственные противоречия, гремят манифесты и проклятия, заявления о выходе из состава и исключении из числа членов…

Одна историческая эпоха заканчивалась, сменяясь другой; к

этой смене люди подошли истерзанными, истрепанными, разочарованными и непримиримыми. На судьбе Чуковского эта нервозная обстановка идеологической и литературной борьбы сказалась самым печальным образом.

История с письмом

Сорокалетний Чуковский уже полностью поседел и очень устал. Повседневная работа на износ не приносит ничего – ни денег, ни признания, ни славы, ни похвалы, ни даже благодарности. Вместо созидательной культурной работы происходят тошнотворное топтание на месте, хождение по кругу, пробивание стен головой, ведется подковерная борьба. Вместо человеческих и дружеских лиц ему всюду мерещатся рожи, к каждому из сотрудников и даже друзей накопилось немало претензий, им овладевают раздражение и тоска – словно ему, как андерсеновскому Каю, осколок кривого зеркала попал в глаз. В дневниках едва не о каждом действующем лице К. И. говорит что-нибудь неприятное. Даже в друзьях он замечает что-то враждебное (сколько яда, иронии, ехидства, например, в его записях о Замятине, с которым он состоял в дружбе и превосходно сотрудничал). Единственное исключение – дети: они еще способны доставлять ему радость. Дневники наполнены записями разговоров с Мурочкой и ее песнопений, рассказами о ее поступках, жестах, настроении, поведении, самочувствии.

Сам он все чаще кажется себе банкротом, все чаще сомневается в правильности того, что делает, когда не может делать своего дела. Размышляет о расхождении с эпохой, ищущей новых этических ценностей; сам он, почти отождествляющий этику с эстетикой, трагически не совпадает с искренним, наивным примитивизмом, свойственным времени, – и не может не чувствовать себя реликтом, эдаким «изысканным жирафом», навсегда отравленным иронией, перегруженным лишними знаниями – и сопутствующей им печалью.

А есть и настоящие, открытые конфликты. Случилась неприятнейшая история с изданием репинских воспоминаний: дочь Репина Вера, переехав к отцу в Финляндию, всячески старалась рассорить Илью Ефимовича с Чуковским. В это время ощутимо меняется даже тон их переписки: впервые появляются обида и настороженность. Книга эта фактически была придумана Чуковским: он еще до революции предложил Репину записать и опубликовать в «Ниве» его устные рассказы о прошлом. К. И. собрал эти рассказы, отредактировал (вместе с Репиным), держал бесконечное множество корректур. Издаваться она должна была

выпусками-главами, первым в 1921 году вышел выпуск «Бурлаки на Волге» (по смыслу и плану Чуковского – пятый). Книга издавалась мучительно; приходилось хлопотать о тысяче разных вещей – бумаге, прохождении цензуры, выплате гонорара автору, о передаче его Репину.

Никакой прибыли издание не принесло, тираж долго оставался нераскупленным, редакция отправила Репину деньги, которые (не без влияния дочери) показались ему фальшивыми (в одном письме он пишет: «это издания фин. красных, их здесь не принимают»). Из Куоккалы в Петроград и обратно летали недоуменные письма, Чуковский извинялся, просил вернуть деньги, чтобы обменять их на другие, Репин почему-то предпочел их сжечь… От гонорара за книгу Чуковский категорически отказался.

Вера Репина в обход Чуковского, который собрал, отредактировал, выпестовал книгу воспоминаний художника, еще до своего отъезда отдала права на ее издание Обществу поощрения художников, член которого, Петр Нерадовский, также горячо желал помочь Репину. Однако фактически оказывалось, что Чуковского отстранили от издания книги, которая без него просто не могла существовать. К. И., заинтересованный в том, чтобы увидеть книгу изданной, переступив через обиду и самолюбие, вполне бескорыстно предлагал Нерадовскому передать ему свой редакторский план, корректурные листы – словом, всю большую подготовительную работу по изданию книги. Отказывался от гонорара – при условии, что Репин получит нормальные финские марки. Нерадовский ответил холодно и вежливо: «Из переписки с Ильей Ефимовичем я знаю о Вашем сообщении ему, что Вы считаете себя редактором предстоящего издания, но это, по-видимому, недоразумение, так как никаких переговоров по этому делу Вы с Обществом не вели».

К. И. был глубоко оскорблен и тоном, и смыслом письма: «К другой книге, которую Вы затеваете, я не имею никакого отношения, но та, которая стереотипирована, та действительно „взмурована“ мною. Почему же Вы третируете меня как самозванца? Почему? Ведь денег я у Вас не прошу. Все свои права (как редактора) я давно предоставил Вам. Никаких претензий на то, чтобы мое имя было поставлено на обложке, не имею. За что же Вы обидели меня?»

Такое же обиженное письмо ушло к Репину: «Я действительно не получил ни гроша за свою работу над этим изданием, а все издание предпринял для того, чтобы в самую тяжелую минуту поддержать Вашу дочь и послать Вам некоторую сумму денег». "На днях он Нерадовский прислал мне такое письмо, в котором

каждое слово рассчитано на то, чтобы уязвить и унизить меня. За что? За то, что я в свое время упросил Вас написать эту книгу, за то, что я помогал Вам трудиться над нею, подбирать для нее рисунки, редактировал текст, проверял даты, имена и цитаты, систематизировал входящий в нее материал, сносился с ее издателями, больше года следил за ее печатанием, – неужели за все это *художник* Нерадовский смеет мне, *писателю* Чуковскому, писать такие письма, каких не пишут и уличенным преступникам?"

Впрочем, и художник, и писатель все-таки оказались на высоте, и этот конфликт не перерос в бытовую дрязгу, каких много бывало в это время – да и до сих пор бывает.

«Вскоре недоразумения из-за репинской книги, возникшие между Чуковским и Нерадовским, рассеялись, их отношения восстановились и стали даже дружескими. В дальнейшем они совместно много делали для Репина», – говорится в комментарии к переписке Репина и Чуковского.

Другой конфликт привел к последствиям куда более печальным. К. И. долго враждовал с членом Совета Дома искусств критиком Валерианом Чудовским, пытался мириться, затем вражда вспыхивала вновь; Ахматовой он охарактеризовал недруга как «махрового дурака», в дневнике прокомментировал исключение его из Совета Дома так: «А мне это все равно. У меня нет микроскопа, чтобы заметить эту вошь». Были и сложности во взаимоотношениях с Акимом Волынским, обусловленные расхождениями по принципиальным вопросам жизни ДИСКа.

Сам Чуковский отошел от руководства Домом еще в январе; в марте он так описывал ситуацию: "В период черных годов 1919–1921 я давал оглушенным и замученным людям лекции Гумилева, Горького, Замятина, Блока, Белого и т. д., и т. д., и т. д. Волынский так павлинился, говорил, что есть высшие идеи, идеалы и проч., и проч., что я подумал, будто у него и в самом деле есть какая-то высокая программа, в тысячу раз лучше моей – *and resigned*.[12] Лекции, предложенные мною, были:

– О Пушкине.

– О Розанове.

– О Шпенглере.

– О Врубеле.

и еще три детских вечера – но Волынский сказал: «Нет, это не программа. Нужна программа» – и прочитал декларацию, пустопорожнюю и глупую. Я ушел в отставку – и вот уже 2 месяца ни одной лекции, ни одного чтения, Студия распалась, нет никакой духовной жизни – смерть. Процветает только кабак, балы, маскарады – да скандалы".

Чуть позже К. И. пишет: "Оказывается, в Доме Искусств нет денег. Изобретая средства для их изыскания, Дом Искусств надумал – устроить клуб: ввести домино, лото, биллиард и т. д. Вот до чего докатилась наша высокая и благородная затея. Я с несвойственной мне горячностью (не люблю лиризмов) говорил, что все это можно и нужно, но во имя чего? Не *для того,* чтобы 40 или 50 бездельников, трутней получали (не известно отчего и за что) барыши и жили бы припеваючи, а для того, чтобы была какая-то культурная плодотворная деятельность, был журнал, были лекции, было живое искусство, была музыка и т. д., и т. д.".

Обида за культуру, за погубленные начинания, за репутацию писателей смешивается с личной обидой и негодованием: «Где, в какой стране, на какой Луне, на каком Марсе, – существует такой аппарат для 12 000 людей: подошел, нажал кнопку, получил целую гору продуктов – ничего не заплатил и ушел!! А между тем прислушайтесь в очереди: все брюзжат, скулят, ругают Горького, Родэ, всех, всех – неизвестно за что, почему. Просто так! „Черт знает что! Везде масло как масло, а здесь как стеарин! Опять треску! У меня еще прежняя не съедена. Сами, небось, бифштексы жрут, а нам – треска“. Такой гул стоит в очередях Дома Ученых с утра до вечера».

В этой записи совершенно ясен подтекст: я – работаю и голодаю. Вы – ничего не делаете, едите и брюзжите, вы – дармоеды. «Дармоеды» вскоре и будут произнесены вслух. Оглушительно громко, с колоссальным резонансом.

В конце мая в Доме искусств разгорается новый скандал, влекущий за собой новые объяснения с Волынским и Чудовским, обмен неприязненными письмами. Волынский бранит старый состав Совета Дома, Чудовский написал о нем «наглое письмо», Чуковский рассказывает в дневнике, как объяснял Волынскому, что: «…бранить нас он имел бы право, если бы он сам хоть что-нибудь делал. Он за пять месяцев окончательно уничтожил Студию, уничтожил лекции, убил всякую духовную работу в „Доме Искусства“. Презирать легко, разрушать легко». Завершает своим излюбленным изречением: «Лучше таланты и умы без программы, чем программа без умов и талантов».

Засим последовали новые заседания с письмом на письмо Чудовского, и т. д., и т. п.

Надо сказать, что Чуковский, уже месяц лежащий в постели с бронхитом и плевритом, судил о происходящем в ДИСКе по рассказам тех, кто приходил его навестить. Картина складывалась безрадостная: Дом искусств умер, на нем появилась вывеска казино с тремя девятками… В конце мая или начале июня он писал в Берлин профессору Ященко, редактору журнала «Новая

русская книга»: «…делом завладела бездарная кучка во главе с Акимом Волынским, ввела картеж, кабак, уничтожила выставки, лекции, уничтожила студию – превратила Дом Искусств в Дом Паскудств. На днях мы все, члены Совета, заявляем о своем уходе: Замятин, Добужинский, я, Ю. Анненков, А. А. Ахматова». Разъяренный Чуковский и Алексею Толстому написал в эти дни несколько негодующих строк.

Но здесь нужна предыстория.

В то же время серьезные разногласия рвали на части русскую эмиграцию, где тоже были свой «просоветский» и свой «антисоветский» лагеря. Самым видным представителем «просоветского» был, пожалуй, граф Алексей Толстой, который уже перестал подписываться графом и с весны 1922 года начал сотрудничать в сменовеховской газете «Накануне», где стал заведовать литературным приложением. Газета вообще была наиболее лояльна к Советской республике из всей зарубежной печати; сотрудничество с ней Толстого вызвало резкое неприятие у части литераторов в эмиграции. Николай Чайковский, когда-то член Северо-западного правительства Юденича, а ныне видный деятель эмиграции, известный своей непримиримо антисоветской позицией, потребовал от Толстого объяснений, «следует ли его сотрудничество в „Накануне“ понимать как открытый переход на сторону „самозваной“ власти», – писал исследователь творчества Толстого Вадим Баранов.

Толстой ответил Чайковскому письмом, которое было воспринято и в эмиграции, и в России как программный документ, – и немедленно перепечатано советской прессой; публикация в «Известиях» сопровождалась взволнованной статьей Павла Когана «Раскол эмиграции»: автор сравнивал послание Толстого Чайковскому с философическими письмами Чаадаева и письмами Белинского к Гоголю. Впрочем, представители левого фланга в литературе презрительно морщились: если эмигрант тоскует по родине, это еще не значит, что он правильно понял и принял революцию. А многие знакомые и друзья Толстого сочли его позицию приспособленческой (о чем говорят, ссылаясь на З. Г. Минц, авторы сборника «Русский Берлин» Флейшман, Хьюз и Раевская-Хьюз, впервые подробно осветившие историю с письмом Чуковского Толстому).

Толстой называл фантастическим «представление о России, как о какой-то опустевшей, покрытой могилами, вымершей равнине». «Россия не пропала», – говорил он и призывал «признать реальность существования в России правительства, называемого большевистским, признать, что никакого другого правительства ни в России, ни вне России нет… Признав, делать

все, чтобы помочь последнему фазису русской революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго и справедливого и утверждения этого добра».

Эмиграция восприняла это послание совершенно иначе, чем советская Россия: одни увидели в нем предательство, другие – просто желание обставить свое возвращение на родину как можно большей шумихой и занять пустующую вакансию лучшего русского писателя (такого мнения придерживался, например, Алданов). Лавину публикаций о Толстом в эмигрантской прессе точнее всего было бы назвать травлей, но слово «травля» нам еще много раз пригодится на протяжении этой главы.

Особенно возмутил Толстой газету «Руль», возглавляемую Гессеном, бывшим редактором «Речи» и активным деятелем Союза русских журналистов и литераторов. 30 мая было созвано чрезвычайное собрание Союза, фактически ставшее судом над сотрудниками газеты «Накануне». Толстой на это мероприятие не явился, однако его вместе с некоторыми другими коллегами из Союза исключили «ввиду полного расхождения их теперешней деятельности с целями и намерениями Союза».

Толстой продолжал формировать литературное приложение к газете, получал из России рукописи для публикации. Железный занавес, отделяющий Россию от мира, еще не упал, сообщение между российскими столицами и Европой было постоянным, напечатанное в Москве немедленно комментировали в Париже, опубликованное в Берлине перепечатывала «Петроградская правда» (газета «Накануне» к тому же распространялась в России). В Берлин как раз приехал Горький, встреча с которым стала для Толстого, пожалуй, поворотным моментом: он окончательно принял решение вернуться.

В мае между Толстым и российскими писателями шла оживленная переписка. Чуковский и Слонимский посылали ему рукописи новых произведений «Серапионовых братьев», Чуковский, по-видимому, заказывал Толстому что-то для планируемого им детского журнала «Носорог» (он так и не вышел), шел интенсивный обмен мнениями по актуальным вопросам. Самым актуальным вопросом был раскол российской интеллигенции – и в России, и в эмиграции. Об этом шла речь и в переписке Толстого с Чуковским: 20 апреля «красный граф» писал Корнею Ивановичу, что эмиграции пора домой, радовался, что в России «нет зла на бежавших», что разделенный государственными границами народ становится одной семьей, просит прислать для «Накануне» стихов и прозы. К. И. это письмо опубликовал в журнале «Литературные записки».

Отвечая на это или одно из следующих толстовских писем, Чуковский написал: «Я радуюсь тому, что происходит с Вами. Ваш ответ Чайковскому – прекрасен. Безо всякого злорадства, а напротив: с умилением я читал его в „Известиях“ – да, это то, что чувствую я давно, – с самого начала революции. Слава Богу, ненависти к своему народу у меня и мимолетной не было. Я сразу пошел читать лекции матросам, красноармейцам, милиционерам – всем нынешним людям, которых принято так ненавидеть, и, читая, чувствовал: это Россия. И еще: „хороша Россия!“»

Чуковский писал дальше о том, как талантливы и жадны к жизни живущие в ней люди, которые «тысячу лет были немы», а теперь «впервые думают и говорят – еще косноязычно и нелепо»; «крепкий народ, правильный народ, он поставит на своем, не бойтесь. Хоть из пушек в него пали, а он будет возить навоз, любить землю, помнить зимних и вешних Никол, и ни своих икон, ни своих тараканов никому не отдаст».

А дальше К. И. писал вот что:

> "Говорить о «гибели» России, если в основе такой прочно духовно одаренный работящий народ, – могут только эмигранты в Париже, Софии и Праге. Теперь эмигранты каются и «прозревают» – Достоевский сказал им, что презревшему свой народ остается одно: Смердяковская или Ставрогинская петля, – все они чувствуют себя (в потенции) висельниками, но, дорогой Толстой, не думайте, что эмигранты только за границей. Когда я в 1917 году пошел по детским клубам читать детям своего «Крокодила», – мне объявили бойкот! Я поощряю правительство! Когда я проредактировал Некрасова – для широких масс, чтобы распространить его по всей России, – в этом увидели измену великим заветам и проч., и проч. Оторванность от России – ужасная.
>
> В 1919 году я основал «Дом Искусств», устроил там студию (вместе с Николаем Гумилевым), устроил публичные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа, Добужинского, устроили общежитие на 56 человек, библиотеку и т. д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают – эмигранты, эмигранты! Дармоедствовать какому-нибудь Волынскому или Чудовскому очень легко: они получают пайки, заседают, ничего не пишут и поругивают Советскую Власть. В этом-то я вижу Вашу основную ошибку: те, которые живут

здесь, еще более за рубежом, чем Вы. Вот сейчас вышел сборник молодежи – «Звучащая Раковина». И ни одного стихотворения о России, ни одного русского слова, все эстетические ужимки и позы. Нет, Толстой, Вы должны вернуться сюда гордо и с ясной душой. Вся эта мразь недостойна того, чтобы перед ней извинялись или чувствовали себя виноватыми. Замятин очень милый человек, очень, очень, – но ведь это чистоплюй, осторожный, ничего не почувствовавший. Серапионы – да! Это люди, прокипевшие в котле, – жаль, что Вы не знаете их лучших вещей, – но если бы Вы знали, как их душит эмигрантщина, в какой они нищете и заброшенности".

И разразилась катастрофа.

Толстой воспринял письмо как предназначенное для публикации – и, не запросив разрешения К. И., отправил его в печать: еще бы, оно так поддерживало его, так подкрепляло его позиции в эмигрантской среде. 4 июня оно появилось на страницах литературного приложения к «Накануне», а за ним были напечатаны стихи Николая Чуковского.

«До сих пор остается неясным, предполагал ли Чуковский, что письмо может быть опубликовано, во всяком случае, тон, в котором он описывал свою жизнь при новой власти, несколько отличался от того, каким та жизнь описывалась в дневниках», – замечает Евгения Иванова в предисловии к восьмому тому нового собрания сочинений К. И.

С этим можно соглашаться, а можно и не согласиться – общий тон дневников Чуковского почти всегда минорный и даже трагический; между тем сказанное о мужичках вполне совпадает с его мыслями о русском народе, мельком высказанными в холомковских записях среди многочисленных обид на художников Добужинского и Попова; оценка Волынского и Чудовского прямо вытекает из приведенных выше дневниковых записей, оценка Замятина даже мягче, чем в дневниках. Сомнительно, чтобы человек в здравом уме предназначал для публикации за границей письмо с такими резкими характеристиками коллег, с которыми еще предстоит работать. Впрочем, авторы «Русского Берлина» тоже считают открытым вопрос о том, предназначалось ли письмо Чуковского для печати. Во-первых, оно являлось ответом на письмо Толстого, прямо приглашавшее в «Накануне». С другой стороны, Чуковский сам только что напечатал «частное» письмо Толстого к нему в петроградских «Литературных записках». И в самом деле: куда

более умеренное письмо профессору Ященко Чуковский снабдил оговоркой, что оно не для печати; будь такая оговорка в письме Толстому, все было бы иначе.

Алексей Толстой готовил письмо к публикации вместе с Горьким. Горький настоял на том, чтобы вычеркнуть несколько фраз. Он писал потом Ольденбургу, что уговаривал Толстого «совсем не печатать эту… эпистолу» (публикаторы письма в «Литературном наследстве», судя по контексту, вырезали нелестный эпитет), но уговорить не смог: «Толстой, конечно, был заинтересован опубликовать это письмо, его, беднягу, так травят здесь».

«Мы вместе вычеркнули из него одну треть, – оправдывался потом Толстой. – Фраза же о Волынском была вычеркнута, но в типографии ее почему-то набрали. (Вычеркивал Горький карандашиком.)».

Общественное негодование поднялось, как цунами, и обрушилось на обоих – на Толстого и Чуковского. Письмо было воспринято как прямой донос властям на коллег и друзей; сам факт публикации Толстым личного письма расценен как подлость.

Альберт Пинкевич писал Горькому: «Всеобщее возмущение вызвало помещение письма Чуковского в „Накануне“ с указанием фамилий: получилось нечто вроде доноса… Разве можно такое письмо публиковать» (15 июня). «Здесь, как и в Москве, скандал вокруг письма Чуковского. Алексей Николаевич себе помещением этого письма очень повредил» (17 июня). Горький – Ольденбургу: «Письмо Чуковского, вероятно, очень оглушило многих?» (20 июня). Горький – Толстому: «Но, по словам Пинкевича, там весьма настроены против Вас литераторы?» (сентябрь). Толстой – Горькому: «Всеволод Иванов про Чуковского пишет, что тот ужасно оправдывается за свое письмо». Зинаида Гиппиус 21 июня писала жене Алексея Ремизова Серафиме Ремизовой-Довгелло: «О Толстом я больше и слышать ничего не хочу. Хорош и Чуковский. Впрочем, он как был – таким и остался. Всегда ведь был за „Советскую Власть“. Хорошенькое создание». (А помните – «к седому мальчику с душою нежной»… хотя за три года отношение Чуковского к власти кардинально не изменилось.)

Интересно поведение Горького: отзывается он обо всей этой истории чрезвычайно хладнокровно, и похоже, что Чуковского ему совершенно не жаль. И весьма сомнительно, чтобы он не мог отговорить Толстого публиковать письмо.

Одной из первых на публикацию отозвалась Цветаева в берлинской газете «Голос России». Она порицала Толстого за опубликование письма в газете, которая «продается на всех углах

Москвы и Петербурга», за то, что не постеснялся напечатать хвалебные строки Чуковского, посвященные его новой книге («… желая поделиться радостью с вашими друзьями, вы могли бы ограничиться этим отрывком»), напоминала о существовании ГПУ и возможных последствиях письма – «Допустите, что одному из названных лиц после 4Уг лет „ничего-не-делания“ (от него, кстати, и умер Блок) захочется на волю, – какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануньевское письмо?».

В бой очень быстро включилась тяжелая артиллерия: на первых полосах эмигрантских газет появились неподписанные, то есть редакционные, передовицы, посвященные Чуковскому и Толстому. 7 июня «Руль» характеризовал содержание письма как «гаденькие сплетни», «заглядывание в чужие пайки и нечто весьма похожее на критику обоснованности их получения» и замечал: «Все это венчается доносом по части советской неблагонадежности некоторых лиц». Замечание Чуковского о том, что «все сложилось для мужика», именовал «зловещим шутовством», напоминая о «миллионах погибающих с голоду мужиков и о иных, для которых временно спасительным пайком стали трупы их близких». 16 июня в том же «Руле» Александр Яблоновский именовал Чуковского «Корнеем верным, холопом примерным» (параллель с Яковом верным из «Кому на Руси жить хорошо»). Намекал, что дружеские чувства Чуковского к Толстому небескорыстны: тот, мол, приедет и станет советским литературным генералом. Заканчивал патетическим обращением к графу: «Там, в русских катакомбах, попрятались, как в каторжных норах, люди старой веры. Нищие писатели, нищие художники, не пожелавшие менять своих вех. В руках их еще теплится свечка древних христиан – все, что у них осталось. И Вам ли… спускаться в каторжные норы, чтобы задуть и затоптать эти бедные, едва мерцающие огоньки?»

Парижские «Последние новости», редактируемые Милюковым, презрительно рассуждали: «Оплевание великих заветов давно, задолго до революции, сделалось излюбленной задачей Чуковского, и в его литературных фельетонах, не лишенных таланта, всегда была большая примесь хулиганства, не помнящего родства, – примесь, которая всегда исключала, фактически ставила его вне избранного круга носителей великих заветов. К этому кругу людей, которые могут считаться светочами русской культуры и воспитателями поколений, Корней Чуковский никогда не принадлежал. Принизить до себя людей этого типа – это было всегдашней неосознанной подкладкой критики Чуковского». «Г. Чуковскому, не понимающему, за что именно ему „объявили бойкот“, – не понимающему и того, что в известном

смысле он всегда был предметом бойкота, вполне естественно сбрасывать в одну корзину все, что ему не нравится, всех, кому он не нравится». В тексте явно слышится надменное барское: выскочка! холоп! парвеню! да его ни в один приличный дом не пускали! Прослеживаются и отголоски давних литературных скандалов, связанных с лекциями и статьями Чуковского о Гаршине и Шевченко.

11 июня Толстой поместил в своем литературном приложении просьбу адресовать все упреки не Чуковскому, а лично ему. Через месяц добавил, что письмо было опубликовано не полностью, а частично.

Это лишь небольшая часть откликов на письмо; полный их перечень занимает в подробной биографии Дагмары Берман почти страницу мелким шрифтом. В печати вновь появился запущенный еще до революции термин «чуковщина», которому суждено было расцвести через несколько лет. Свои три пфеннига добавил даже Виктор Шкловский, выступивший в «Голосе России» с фельетоном, где были следующие строки:

"Нужно уметь работать, когда нечего есть. Грызть сухие коренья, работать при 0 гр. Работать перед угрозой смерти и писать, убегая от шпика на трамвае.

О боли не нужно думать.

Не нужно писать о большевиках. Не нужно писать о Корнее Чуковском, хотя он и неподражаемый исполнитель критических романсов.

Он ниже Павловской собаки".

Все это очень похоже на описанный Чуковским в книге «Поэт и палач» (она вышла полугодом ранее) литературный остракизм, которому был подвергнут Некрасов после злополучной оды Муравьеву. Вот посмотрите:

"Вся литература взволновалась. Поднялась неслыханная травля, которую год спустя Некрасов описывал так:

> Гроза, беда!
> Облава – в полном смысле слова…
> Свалились в кучу – и готово
> Холопской дури торжество,
> Мычанье, хрюканье, блеянье
> И жеребячье гоготанье —
> А-ту его! А-ту его!

…Оправдываться было невозможно".

И дальше Чуковский повествует, как журнал «Космос» доказывал, что Некрасов извлекал неверные звуки «для

приобретения жизненных благ», как бывшие товарищи называли его ренегатом, как Некрасов, по словам Михайловского, «как-то странно заикаясь и запинаясь, пробовал что-то объяснить, что-то возразить на объяснения брошюры и не мог; не то он признавал справедливость обвинений и каялся, не то имел многое возразить, но по закоренелой привычке таить все в себе не умел».

Читаем дальше: "В стихах он проповедует жертвы и подвиги, а сам… такова была общая формула всех направленных против него обвинений. Это *а сам* преследовало его на каждом шагу…"

Может быть, такова природа российской полемики, что всякий раз в поисках аргументов она переходит на личности: *а сам* и по сей день остается мощнейшим доводом во всяком идеологическом споре. Чуковскому припомнили все: и авторство «Крокодила» (конечно, только автор фантастических стихов мог считать, что Россия не умерла), и его фельетоны, и работу над Некрасовым, и вызывающую реплику «форма и есть содержание» (это доказывает, что у него нет ничего святого). Вспомнили даже, что еще Андреев называл его «Иудой из Териок», – неважно, по какому поводу называл, но разве можно упустить шанс попрекнуть оппонента какими-нибудь, пусть даже воображаемыми, сребрениками! Особенно отличился один из полемистов (не с эмигрантской, а с советской стороны, об этом чуть ниже), который вменил Чуковскому в вину не что-нибудь крамольное с марксистской точки зрения, вроде спора с Луначарским о революции и литературе, а невиннейшую репортажную книгу «Англия накануне победы»! И счастье еще Чуковского, что он был худ: Алексея Толстого даже «дородностью» попрекали, патетически противопоставив его, толстого, нищим писателям с бедными свечками в каторжных норах.

Всякий факт общественной биографии Чуковского еще не раз будет вытащен из Леты, очищен от ила, подан на блюдечке: вот! А сам Некрасова ненавидит! А сам в кадетской газете подвизался! А сам был записным буржуазным критиком! А сам лягал марксизм! А сам издавал «Сигнал»! А сам с Гессеном дружил! А сам сотрудничал с большевиками! С двух сторон, истово-эмигрантской и истово-советской, только и слышно: а сам! а сам! а сам! Обеим сторонам он был глубоко враждебен.

Интересно приглядеться, кстати, к рекламе и частным объявлениям в эмигрантских газетах 1922 года. В «Руле» и «Последних известиях», особенно свирепо бранивших Чуковского, львиную долю платных объявлений составляют извещения о скупке и продаже золота и бриллиантов, мехов, персидских ковров, а также «картин первоклассных русских художников». В

«Накануне» реклама совсем другая: домашние обеды, репетиторы, «дама, знающая хор. анг. фр. нем. пиш. маш. ищет подх. места», «лампы и всякого рода стеклянные изделия», «полное оборудование прядилен и ткацких»… С одной стороны – аристократия, «светочи культуры», которым эмиграция представлялась «неугашением священного огня», по выражению Толстого… и с другой стороны – разночинцы, для кого неугашение огня обернулось прежде всего «собачьей тоской», как сказал тот же Алексей Николаевич. Любопытно еще и то, что в «Руле» и в «Последних известиях» главными редакторами были Гессен и Милюков, бывшие руководители «Речи», где Чуковский проработал много лет. Это не только ничуть не смягчило священного гнева бывших коллег – напротив, даже усугубило его.

Как же отнеслись к публикации письма в советской России? По-разному. Флейшман, Хьюз и Раевская-Хьюз, авторы сборника «Русский Берлин», где еще в 1983 году подробно изложили историю с письмом, так описывают реакцию советской печати: "Илья Садофьев (в «Петроградской правде». – *И. Л.)* назвал опубликованное в *Накануне* письмо Чуковского к Толстому «хорошим, умным, правдивым», но порицал автора за попытку устроить посылку АРА для Серапионовых братьев. Иона Кугель же (в газете «Новости». – *И. Л.)* расценил выступление Чуковского как малодушие и увертливость и выразил удивление, почему Чуковский сам не пошел сотрудничать в *Накануне,* а послал вместо себя сына".

Хуже всего, пожалуй, что процитированную выше часть письма Чуковского перепечатала «Правда» – выделив в нем жирным шрифтом проклятую фразу о Волынском и Чудовском и предложение «не думайте, что эмигранты только за границей». Публикация снабжалась сочувственной припиской Л. Шмидта: "Нуждается ли эта убийственная характеристика «отечественных эмигрантов» в комментариях? Конечно нет. На страницах «Правды» неоднократно характеризовался истинный лик (так в тексте. – *И. Л.),* но это делалось на основании их творений. Письмо К. Чуковского – свидетельство человека, наблюдавшего их в повседневной жизни. Это лишнее доказательство правоты нашего анализа".

Чуковский был потрясен до помешательства, парализован ужасом. Евгений Шварц в «Белом волке» пишет: «Дом Искусств и Дом Литераторов задымились от горькой обиды и негодования. Начались собрания Совета Дома, бесконечные общие собрания. Проходили они бурно, однако в отсутствие Корнея Ивановича. Он захворал. Он был близок к сумасшествию. Но все обошлось. В те дни, когда мы встретились, рассудок его находился в

относительном здравии». (Шварц работал литературным секретарем у Чуковского в 1923 году.)

Письмом был особенно оскорблен Замятин, доселе числивший К. И. среди своих друзей. Судя по его письму, более всего его обидел не сам факт заочного злословия, а характеристика, данная ему Чуковским, – прежде всего, «осторожный» и «чистоплюй». Деморализованный и отчаявшийся Чуковский обратился к нему с просьбой «выбросить совершенно из души весь этот эпизод с письмом – выплеснуть его за окно, со всей его мутью и грязью»; надеялся доказать, что он «товарищ верный и надежный», – иначе совместная работа во «Всемирной литературе» и над журналом «Современный Запад» действительно становилась невозможной. «Если у Вас нет силы так же крепко жать мне руку, как Вы жали ее до сих пор, я больше не могу быть в Вашем обществе, потому что, по совести, я считаю себя не лукавым, не двуличным человеком, а просто – страшно искривленным, смертельно изнуренным, – писал дальше Чуковский. – То, что я пережил в эти пятнадцать дней, сделало меня другим человеком, и я думаю, что мне уже не поднять головы. Это последний удар, после которого – смерть. То время, когда я, больной и голодный, лежал в постели, кажется мне блаженством. Но жалости мне не надо: спросите у себя строго и твердо – и ответьте мне строго и твердо».

Замятин не простил. Он долго мучился над ответом. Написал один вариант. Потом второй. «После Вашего письма Толстому у меня есть ощущение, что именно друг-то и товарищ Вы – довольно колченогий и не очень надежный. Я знаю, что вот если меня завтра или через месяц засадят (потому что сейчас нет в Советской России писателя более неосторожного, чем я) – если так случится, Чуковский один из первых пойдет хлопотать за меня. Но в случаях менее серьезных – ради красного словца или черт его знает ради чего – Чуковский за милую душу кинет меня Толстому или еще кому».

«Как известно, именно „через месяц“ имя Замятина было включено в проскрипционные списки на высылку из Советской России, а еще спустя две недели он был арестован, – комментирует переписку двух литераторов А. Ю. Галушкин. – Это роковое совпадение не могло не быть замеченным Чуковским. Но его реакция на арест и несостоявшуюся высылку Замятина носила скорее характер психологической контрфобии». Исследователь иллюстрирует это утверждение выдержками из дневника К. И.: Замятин «либеральничал», «вся борьба Замятина бутафорская и маргариновая», «хитренькое, мелконькое благородство», «человек уезжает уже около года, и каждую субботу ему устраивают

проводы», «разыгрывает из себя политического мученика»…

Особенно взбесили К. И. строки из замятинской шуточной «Истории Всемирной Литературы», прочитанной на рождественских празднованиях 1923 года в издательстве («будто я читал пришедшим меня арестовать большевикам стихи моего сына в „Накануне“, и они отпустили меня на все четыре стороны, а он, Замятин, был так благороден, что его сразу ввергли в узилище»). В том варианте «Истории…», который был опубликован в «Сочинениях» Замятина (ФРГ, 1986 год), сказано: «Когда пришли воины к Корнию, он в страхе… окружив себя двенадцатью своими детьми, – жалобно закричал… И сделал тайный знак одному из младенцев, который, повинуясь, начал петь воинам свои стихи, сочиненные им накануне». Слово «накануне» здесь, естественно, стоит не просто так: наверняка оно намекает на письмо Толстому, где К. И. говорил о стихах своего сына, и на публикации стихов Николая Чуковского в «Накануне»… разумеется, К. И. обиделся и разозлился.

Замятин и Чуковский продолжали работать вместе, даже вместе отдыхали в Коктебеле, где Чуковский даже вновь, как и в Холомках, был конфидентом в сердечных делах Замятина. Если судить по дневнику К. И., отношения были почти прежними: добрыми и доверительными. Однако все его записи, касающиеся романа «Мы» и отъезда Замятина, остаются чрезвычайно резкими, переписка стала сухой и деловой – и вскоре совсем увяла, а Замятин в 1925 году писал американскому слависту Ярмолинскому, что Чуковский «безнадежно груб», и сравнивал его с шампанским «брют», быстро пьянящим, но не отличающимся тонкостью вкуса.

Толстому тоже пришлось оправдываться и извиняться. «Мне ужасно тяжела была вся история с письмом, – писал он Корнею Ивановичу (прежде этих слов, правда, рассказал о своем творчестве, согласился писать для „Носорога“, нашутил несколько шуток на носорожью тему и попросил К. И. написать о нем, Толстом, статью). – Но, дорогой Корней Иванович, я был введен в заблуждение: я был уверен, что ваше письмо есть ответ на мое письмо, и так как свое я послал Вам, предполагая, что Вы его напечатаете, то и Ваше я рассматривал как присланное для печати… Ругали меня с остервенением и сладострастием. Надоело и перестали. Но почему не говорить правду? Неужели надо всегда и везде притворствовать?»

Удивительно, но отношения с Толстым порваны не были. Уже осенью Чуковский послал Толстому поздравления с очередной творческой удачей, да и позже Чуковский подробно и радостно откликался на новые книги советского графа. Переписка

продолжалась, а когда Алексей Николаевич вернулся в Россию, Чуковский стал у него бывать. В 1924 году «Русский современник» опубликовал статью К. И. о Толстом.

Пытался Чуковский оправдаться и в зарубежной печати. Уже сразу, по горячим следам, он отправил Ященко в «Новую русскую книгу» письмо с объяснениями, и оно было опубликовано. К. И. писал в нем, что судил о происходящем в Доме искусств с чужих слов и напрасно сгоряча обвинял во всем Волынского, что тот и сам был встревожен происходящим, «что мерзкая вывеска появилась без его согласия и ведома, что в отсутствии лекций виноват не он, виноваты современные условия» (под этим туманным словосочетанием скрывается летнее наступление советской власти на Дом литераторов и Дом искусств). «Поэтому-то и не следует печатать в газетах наши частные письма, что в этих письмах сказываются впечатления минуты, случайные, беглые, скоропреходящие чувства», – замечает Чуковский. Пишет далее, что защищал Волынского от травли полтора десятилетия назад, и в этом выразилось его подлинное отношение к писателю. Чуковский и Волынский собирались обсудить, как бороться с превращением ДИСКа в «Дом Паскудства», но этому помешала публикация письма.

Кроме того, К. И. счел нужным специально заметить: «поругивают» – не значит «ругают». «Это не борьба, но отказ от борьбы. Бороться нужно творчеством, идеями, а не экивоками и анекдотцами». Пытался он отмыться от обвинений в том, что оскорбил петербургских писателей.

"Как бы я мог ругать петербургских писателей, если за все эти годы я и сам принадлежал к их числу, – пишет Чуковский, – если и для меня, как для них, за все эти годы каждый день был исполнен смертельного голода и смертельной тоски. Те четыре года, 1918—1921-й, торжественны для меня и священны. Всякий раз, когда я видел Блока, как он похоронно шагает по глыбам и ямам умершего города, я чувствовал, что все мы обреченные. Почти на моих глазах умер от голода Батюшков, умерли Измайлов, Венгеров, а потом Блок, Гумилев. Это свято, об этом я даже говорить не хочу.

Но в последнее время, в 1922 году, под влиянием новых условий, наша среда изменилась. В ней появились черты, которых не было раньше. Выдвинулись новые люди. Это-то и вызвало мое осуждение. Но я не мог приписать эмигрантские качества тем, кто мученической жизнью и смертью доказали свою преданность России.

Кто сомневается в этом, пусть прочтет мои «Воспоминания о Блоке»".

Еще один важный момент – опущенные редакцией «Новой русской книги» строки о газете «Накануне»: «Если бы во время писания письма я знал эту газету, как знаю ее теперь, я не послал бы такого письма. Но в то время я прочитал лишь 9 номеров этой газеты, в их числе был целый номер, посвященный Набокову. Это-то и обмануло меня». Эта фраза, комментируют авторы «Русского Берлина», "как нельзя лучше демонстрирует кристаллизацию негативного отношения советских литераторов его круга к *Накануне* в июне-июле 1922 г.".

Как раз к моменту публикации письма газета «Накануне» шагнула в Россию: открыла московское отделение, стала официально распространяться в стране, и вопрос о том, на какие деньги она издается, зазвучал особенно громко. Многие предполагали, что это деньги советского правительства. Поэтому и письма Толстого и Чуковского попали в контекст размышлений о нечистоплотности и откровенной продажности газеты. Но и у советской интеллигенции доброжелательное отношение к «Накануне» сменилось вскоре настороженным и неприязненным – как и в эмиграции. Ахматова и Пильняк перестали с ней сотрудничать. Кстати, и Горький советовал Толстому официально порвать с этим органом.

Письмо, почти полностью совпадающее текстуально с отправленным в «Новую русскую книгу», Чуковский послал и С. Каплуну-Сумскому, редактору издательства «Эпоха» (оно работало в Петрограде и Берлине), и тот опубликовал его в «Голосе России».

8 конце июля 1922 года Чуковский писал в дневнике:

«После истории с Ал. Толстым, после бронхита, плеврита, Машиной болезни, Лидиной болезни, безденежья уехал в Ольгино отдохнуть». В Ольгине тоже не было отдыха – раздражала и беспокоила барышня-соседка, трудно было сосредоточиться – впрочем, он все-таки начал «Тараканище» – и работа пошла.

А в августе в Петрограде заболела Мурочка. Болела она всегда тяжело, а в этот раз была почти при смерти: кровавый понос, ужас… 15 августа Чуковский и сам слег с дизентерией. Мура болела долго и выздоравливала с трудом. Кажется, полоса напастей в конце концов прошла. Не тут-то было.

9 августа в «Руле» появилась заметка «Письмо Корнея Чуковского» с предваряющими строками: "От сенатора С. В. Иванова (сенатор Иванов до революции был председателем «Общества для благоустройства Куоккала». – *И. Л.)* мы получили следующую выписку из полученного в Териоках письма Корнея Ивановича Чуковского".

Далее следует:

"5 июля 1922 г., Спб.

Мы остались в городе, на дачу нет средств, дачи теперь 200–300 миллионов. Под Москвой, говорят, еще дороже: 3, 4 миллиарда. Скоро нищие будут просить: «Подайте миллиард на кусок хлеба». Нищих теперь множество. Но еще больше жирных, наглых и вульгарных богачей. Все кутят, все пьянствуют, живут во всю. Стоило устраивать такую войну и такую революцию, чтобы вот эти гниды пили, ели, плодились и чванились. Наряды у них ослепительные. Автомобили, лихачи. А книг никто не покупает. Самые лучшие книги гниют в магазинах. Этим новобогачам не до книг. Ваш Чуковский".

Смысл этой публикации настолько темен (не сам ли «Руль» гневно выговаривал Толстому, что печатать частные письма недопустимо?), что Флейшман, Хьюз и Раевская-Хьюз указывают в комментариях к истории с письмом, что эту публикацию «следует рассматривать как пародийный отклик» на письмо Чуковского Сумскому. «Пародийным откликом» публикация названа и в биобиблиографическом словаре Дагмары Берман.

Трудно понять не только смысл выходки «Руля», но и мотивы, заставившие исследователей счесть публикацию пародией. Между нею и текстом письма Сумскому (как мы помним, практически совпадающему с обильно процитированным выше письмом Ященко) нет никакого сходства – ни тематического, ни стилистического, с той же долей вероятности можно счесть «полученное в Териоках письмо» пародией на «Тараканище». Должно быть, авторов «Русского Берлина» смутили тон откровенной бытовой жалобы, рваные короткие предложения. Но разве этого мало в дневниках К. И.? И разве не весной и летом 1922 года появляется в его письмах и дневниках уныло-пронзительный лейтмотив: кругом одни рожи, жрут и размножаются, книг никто не читает и не покупает…

Уже 26 августа В. Кн. (поэт Василий Князев) опубликовал в «Петроградской правде» статью «Ханжество и самореклама». Он-то это письмо не счел пародией. «Не везет Корнею Чуковскому с его „частными“ письмами, – издевался автор. – Не успело еще „Накануне“ нескромно опубликовать его письмо к Толстому, а Чуковский не успел досто-должно покаяться и самооплеваться, как – новая беда: „Руль“ публикует отрывки его частного письма в Гельсингфорс». Далее газета полностью перепечатывает письмо из «Руля». Публикатор, тоже нимало не смущаясь тем, что это частное письмо, с удовольствием его комментирует – и, поскольку никакой фактической вины Чуковскому вменить не может, обвиняет его в том, что тот «краешком, бочком, уголочком» участвовал в таких же наглых кутежах разбогатевших

на мировой войне купцов 15-го и 16-го года: «Вспомним его кадящие милитаризму Англии книжонки с многочисленными рисунками, клише которых оплачивались царским военным министерством».

А теперь, констатирует автор, «Корней – обнищал: видит, облизывается и скулит». Ну и так далее, цитировать эту гадость не хочется… дальше там о том, что «красная книга идет», а не берут Корнея, потому что читателя его милитаристских книжек «уже никогда и никому не возродить».

Все это не стоило бы упоминания, кабы не особые качества литературной полемики 1922-го, а также многих последующих лет. Все средства в ней становятся хороши. Представления о добрых нравах литературы стремительно уходят в прошлое. Приходят новые люди. Наступает новый этап в развитии русской словесности.

«Новые страшные люди»

Новая экономическая политика принесла не только некоторое облегчение, но и разочарование. Деятели культуры по-прежнему болели, страдали от безденежья, ели жидкую кашу и малоуспешно приторговывали чем придется. Правда, с началом нэпа несколько оживилось почти задушенное частное книгоиздание, благодаря чему Чуковский, например, смог сразу опубликовать несколько давно уже подготовленных к печати книг; в его жизни появился Лев Клячко, который (единственный) восторженно принял детские стихи К. И.

"…В трудную минуту, в разгар нэпа… я принес свои сказки одному из тогдашних издателей. Он перелистал их небрежно:

– Нет, что вы? куда же? в такое-то время?

Точно так же поступили и другие издатели. Никто и слышать не хотел о напечатании этих стихов, – рассказывал Чуковский в предисловии к сборнику стихотворений 1961 года. – Но нашелся один чудак, бывший газетный сотрудник, Лев Клячко, человек феноменальной энергии, который нежданно-негаданно решил на последние свои сбережения издать эти забракованные, бесприютные сказки".

В конце 1958 года Чуковский писал в дневнике: когда закрылась «Всемирная литература», ему не на что было жить, и он пошел в издательство Клячко редактировать рукописи для «Библиотеки еврейских мемуаров». Предложил изобразить на марке издательства Ноя, «который видит радугу и простирает руки к голубю». Издательство назвали «Радуга». Затем в гостях у Клячко – на именинах его дочери – К. И. прочитал недавно

написанные сказки «Мойдодыр» и «Тараканище».

"Не успел я закончить чтение, как он закричал, перебивая меня:

– Идьёт! Какой идьёт!

Я смутился.

– Это я себя называю идьётом! Ведь вот что нужно издавать в нашей «Радуге»! Дайте-ка мне ваши рукописи!"

Клячко, пишет К. И., выучил стихи наизусть, читал их даже парикмахерам, официантам, извозчикам. Он заказал иллюстрации Юрию Анненкову и Сергею Чехонину. «На основе этих двух маленьких книг возникло издательство „Радуга“, которое процвело и окрепло после того, как через несколько месяцев в нем по моему приглашению стал работать замечательный поэт С. Маршак».

«Мойдодыр» с тех пор переиздавался ежегодно (за исключением не самых лучших для Чуковского 1931–1932 годов, когда он едва не был выброшен из литературы вообще, и нескольких военных лет); «Тараканище» не выходило в свет с 1930-го по 1934-й – и тоже в войну. Похожие пробелы есть и в истории издания других детских книг К. И. – о причинах будет сказано ниже, в соответствующих главах.

Наладилось сотрудничество с издательством «Эпоха», где вышли «Книга об Александре Блоке», «Жена поэта», «Поэт и палач», «Некрасов как художник». Как пишет биограф К. И. Марианна Шаскольская, «Чуковский принял участие в организации детского отдела в издательстве „Эпоха“ и привлек к работе над иллюстрацией детских книг лучших художников».

«Эпоха» переиздала «Крокодила» и выпустила в свет его переводы английских сказок. Однако до настоящего литературного успеха было еще далеко. Чуковский продолжал трудиться, иногда уже просто по инерции, потому, что этот мотор нельзя было останавливать, – превозмогая работой любые обстоятельства.

Новую экономическую политику он встретил без радости, воспринимая ее как торжество всего самого враждебного: обывательской сытости, тупости, свинства, пьянства, чванства. Казалось, лучшее, что было в дореволюционной эпохе, ушло безвозвратно, а худшее, притихшее ненадолго, возродилось и торжествует там, где должна была воцариться новая, правильная, разумная и прекрасная жизнь, ради которой было принесено столько жертв. Нэп отпугнул и многих убежденных большевиков: рефреном разговоров, писем и предсмертных записок самоубийц звучало «за что боролись?». Лучшее воплощение этих настроений в русской прозе – пожалуй, «Гадюка» и «Голубые города» Алексея

Толстого.

Те же мотивы постоянно встречаются в письмах и дневниках Чуковского 1922–1923 годов. Петроградскому библиотекарю Якову Гребенщикову он пишет: «Недавно, больной, я присел на ступеньки у какого-то крыльца и с сокрушением смотрел на тех новых страшных людей, которые проходили мимо. Новые люди: крепкозубые, крепкощекие, с грудастыми крепкими самками. (Хилые все умерли.) И в походке, и в жестах у них ощущалось одно: война кончилась, революция кончилась, давайте наслаждаться и делать детенышей. Я смотрел на них с каким-то восторгом испуга. Именно для этих людей – чтобы они могли так весело шагать по тротуарам, декабристы болтались на виселице, Нечаев заживо гнил на цепи, для них мы воевали с Германией, убили царя, совершили кровавейшую в мире революцию… Вот они идут: „Извиняюсь!“ – „Шикарная погода!“ – „Ничего подобного!“ – „Ну пока!“ И для того, чтобы эта с напудренным носом могла на своих репообразных ногах носить белые ажурные чулки, совершилось столько катастроф и геройств. Ни одного человечьего, задумчивого, тонкого лица, все топорно и бревенчато до крайности. Какие потные, какие сокрушительные! Я должен их любить, я люблю их, но, Боже, помоги моему нелюбию!»

Да точно ли пародия – письмо в «Руле»?

А вот впечатления от поездки в Москву осенью 1922 года: "Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины с сладострастными, пьяными лицами прилипают грудями к оконным стеклам на Кузнецком, где шелка и бриллианты. Красивого женского мяса – целые вагоны на каждом шагу, – любовь к вещам и удовольствиям страшная, – танцы в таком фаворе, что я знаю семейства, где люди сходятся в 7 час. вечера и до 2 часов ночи не успевают чаю напиться, работают ногами без отдыху: Дикси, фокстрот, *one step* и хорошие люди, актеры, писатели. Все живут зоологией и физиологией – ходят по улицам желудки и половые органы и притворяются людьми. Психическая жизнь оскудела: в театрах стреляют, буффонят, увлекаются гротесками и проч. Но во всем этом есть одно превосходное качество: сила. Женщины дородны, у мужчин затылки дубовые. Вообще очень много дубовых людей, отличный матерьял для истории. Смотришь на этот дуб и совершенно спокоен за будущее: хорошо. Из дуба можно сделать все что угодно – и если из него сейчас не смастерить Достоевского, то для топорных работ это клад. (Нэп.)".

Вот оно, мурло мещанина, о котором писал Маяковский, вот они, персонажи Зощенко, вот зарождающаяся «Воронья слободка»

Ильфа и Петрова. Вот их корявый новый язык, вот они попирают истерзанную землю, куда легли миллионы людей, своими толстыми ногами.

Скольких славных жизнь поблекла, скольких низких жизнь щадит… Нет Андреева, нет Короленко, нет Блока, нет Гумилева, зато есть «безграмотные тупицы» и «самодовольные хамы». Именно этими словами Чуковский в начале 1923 года клеймил некоего Старостина, сотрудника «редакционно-инструкторского отдела», – то есть цензора, который вынес его работе следующий поразительный приговор: «Так как Чуковский выражает свои собственные мысли – выбросить предисловие».

Имеется в виду предисловие к пьесе Синга, над которым К. И. долго и мучительно трудился (как, впрочем, и над самим переводом пьесы). «Болван скудоумный», «хамоватый тупица», – не может успокоиться Чуковский, перечитывая малограмотные строки зачеркнувшего его труд постановления: «Пусть бы зарезали статейку, черт с нею, но как-нибудь умнее, каким-нб. острым ножом». И сам себя уговаривает: «Да и какая беда, если никто не прочтет предисловия, – ведь вся Россия – вот такие Старостины, без юмора, тупые и счастливые».

Вот как он отзывается о своих слушателях: «Я читал в Доме Печати о Синге, но успеха не имел. Никому не интересен Синг, и вообще московская нэпманская публика, посещающая лекции, жаждет не знаний, а скандалов».

Культурная жизнь бывшей столицы скудеет. Осенью 1922 года окончательно закрылись и Дом литераторов, и Дом искусств.

«У меня большая грусть: я чувствую, как со всех сторон меня сжал сплошной нэп – что мои книги, моя психология, мое ощущение жизни никому не нужно», – пишет Чуковский в начале 1923 года. И еще: «Страшно чувствую свою неприкаянность. Я – без гнезда, без друзей, без идей, без своих и чужих. Вначале мне эта позиция казалась победной и смелой, а сейчас она означает только круглое сиротство и тоску. В журналах и газетах – везде меня бранят, как чужого. И мне не больно, что бранят, а больно, что – чужой».

В июле 1923-го Чуковский пишет Репину, с болью вспоминая Куоккалу: «Здесь я на чужбине, не с кем душу отвести, и, кроме прошлого, у меня ничего нет. Люди испоганились ужасно».

Впрочем, окончательно разувериться в человечестве Чуковский и теперь не может. Настолько сильна его вера в спасительную силу культуры, что он пишет в цитированном выше письме Гребенщикову: «Я был раздавлен, и вдруг во мне сказалось одно тихое слово: книга… Эти колченогие еще и не знают, что у них есть Пушкин и Блок. Им еще предстоит этот яд.

О, как изменится их походка, как облагородятся их профили, какие новые зазвучат интонации, если эти люди пройдут, например, через Чехова. Можно ли пережившему Чехова, – рыгая, облапливать свою хрюкающую и потную самку? После „Войны и мира“ не меняется ли у человека самый цвет его глаз, само строение губ? Книги перерождают самый организм человека, изменяют его кровь, его наружность – и придите через 10 лет на Загородный, сколько Вы увидите прекрасных, мечтательных, истинно человеческих лиц!»

А это значит, что надо трудиться. Забывая о своем горе, нездоровье, тоске, работать, переводить, редактировать, читать лекции – нести людям книгу, кормить их вкусной и здоровой духовной пищей, убеждать их чистить зубы, говорить правильно, любить друг друга. Объяснять им стихи, учить их обращаться с детьми и выражать свои чувства… Значит, надо. Но сил нет. Чуковский замечает, что постарел: раньше был любопытен к людям, как щенок, а теперь они его утомляют. Но сам от себя он по-прежнему требует деликатности, предупредительности, внимания к людям, которых, если честно, он видеть уже не может. И приходится притворяться, лицедействовать, симулировать живой интерес и радость встречи.

В конце 1922 года в дневнике К. И. появилась странная запись: "Вчера самый неприятный день моей жизни: пришел ко мне утром в засаленной солдатской одежде, весь потный, один человек – красивый, изящный, весь горящий, и сказал, что у него есть для меня одно слово, что он хочет мне что-то сказать – первый раз за всю жизнь, – что он для этого приехал из Москвы, – и я отказался его слушать. Мне казалось, что я занят, что я тороплюсь, но все это вздор: просто не хотелось вскрывать наскоро замазанных щелей и снова волноваться большим, человеческим. Я ему так сказал; я сказал ему:

– Нужно было придти ко мне лет десять назад. Тогда я был живой человек. А теперь я литератор, человек одеревенелый, и изо всех людей, которые сейчас проходят по улице, я последний, к кому вы должны подойти.

– Поймите, – сказал он тихим голосом, – не я теряю от этого, а вы теряете. Это вы теряете, не я.

И ушел. А у меня весь день – стыд и боль и подлинное чувство утраты. Я дал ему письмо (ему нужно полечиться в психиатрической больнице). Когда я предложил ему денег, он отказался".

Очень может быть, что это был действительно сумасшедший. Мало ли получал Чуковский писем от полуграмотных и темных людей, от безумцев, отчего-то особенно искавших его общества?

(В самом деле, полусумасшедшие изобретатели, графоманы и просто юродивые осаждали его; на письмах писали «Корнелию Чуйковскому» – и все доходило. Вероятно, сумасшедшие наделены особенным, почти звериным чутьем на душевное здоровье – потому и тянутся к нему так жадно.)

Но что, если это был настоящий читатель, читатель-друг, каких единицы? Что, если он в своей засаленной солдатской одежде не зря ехал из Москвы в Петербург? Что, если Чуковский мог услышать от него то, что так точно назвала Ахматова – «победившее смерть слово и разгадку жизни моей»?

Эту разгадку Чуковский при жизни так ни от кого и не услышал и вынужден был мучительно искать ее сам. Он старательно собирал отзывы о себе, выписывал в дневник все, что говорили о нем и его писаньях друзья и враги, близкие и посторонние, – изо всех сил напрягал зрение, вглядываясь в свою душу, изувеченную беспрерывным насилием над собой. Ему столько приходилось смиряться и приспосабливаться – и далеко не только к социальным, внешним, грубым вещам, – что уже и не понять было, где собственная его личность, а где кожура бесконечной мимикрии. Может, вся суета его, вся беготня, ежедневный каторжный труд – зачастую отупляющий, буквоедский, – только для того и были ему нужны, чтобы отвлечься от самой страшной своей задачи: ловить собственное, вечно ускользающее «я», которое он сначала так успешно спрятал, а потом так мучительно искал.

«Таракан, Таракан, Тараканище!»

Всякий раз, когда Чуковский, кажется, окончательно уничтожен, раздавлен, растерт сапогом и выброшен на свалку истории, он находит в себе силы подняться и сесть за письменный стол. И непоседливая Чуковская муза – то ли сжалившись, то ли снизойдя, то ли просто набегавшись и наигравшись в мячик где-то за радугой, – является, и происходит чудо, которое на языке литераторов обозначается скромным словом «пишется». Полубольной, полуголодный К. И. летом 1922 года сидит в Ольгине – и ему пишется: «Целый день в мозгу стучат рифмы. Сегодня сидел весь день с 8 часов утра до половины 8-го вечера – и казалось, что писал вдохновенно, но сейчас ночью зачеркнул почти все. Однако, в общем, „Тараканище“ сильно подвинулся».

Дальше будут разочарования, как обычно: «„Тараканище“ мне разнравился. Совсем. Кажется деревянной и мертвой чепухой – и потому я хочу приняться за „язык“».

И снова кропотливая работа над каждой фразой.

Окончательный вариант «Тараканища» – это пять страничек текста. Работал над ними Чуковский очень долго, сочиняя (и затем отвергая) множество вариантов – вроде бы хороших и крепких, – но ненужных: «Облапошу, укокошу, задушу и сокрушу», «а за ними лани на аэроплане», «а за ними шимпанзе на козе», «а за ним тюлени на гнилом полене, а за ними – тарантас, в тарантасе – дикобраз. А за ними на теленке две болонки-амазонки поскакали вперегонки: берегись…», «бедные слоны сделали в штаны» (это, похоже, должно было следовать за «волки от испуга скушали друг друга»). «Испугался таракан и забрался под диван – я шутил, я шутил, вы не поняли». Последний вариант искренне жаль.

Были варианты непроходные и совсем по другой причине:

А кузнечики газетчики
Поскакали по полям,
Закричали журавлям,
Что у них в Тараканихе весело,
Не житье у них нынче, а масленица,
Что с утра и до утра
Голосят они ура
И в каждом овраге
Флаги…

(Помните – «делайте веселые лица»?)

Отвечает чиж:
Еду я в Париж.

И сказал ягуар:
Я теперь комиссар,
Комиссар, комиссар, комиссарище.
И прошу подчиняться, товарищи.
Становитесь, товарищи, в очередь.

Начинался «Тараканище» в 1921 году с литературных игр в Студии, о чем подробно рассказала в воспоминаниях Елизавета Полонская.

Автор, спрятавшийся за псевдонимом «М. Цокотуха», так передает в «Ex Libris-НГ» историю появления «Тараканища»: «Просматривая недоразобранный архив Корнея Чуковского, сотрудница музея писателя обнаружила среди присланных ему на просмотр рукописей 20-страничный рассказ из жизни

дореволюционной деревни (с попом-ретроградом и понятливым мужиком, которому палец в рот не клади), подписанный „Н.С. Катков“. Имя это в современных энциклопедиях отыскать не удалось. Автор довольно скучно и монотонно повторял истины, „давно уж ведомые всем“ „прогрессивно настроенным“ либеральным читателям начала века… На одной стороне рукописи обнаружилась карандашная запись, сделанная Чуковским: „У Н.С. – второй день милиционеры. Никого не впускают и не выпускают“. А дальше следовало то, что мог написать только Чуковский: „А ведь в доме маленькие дети…“ Переворачиваем рукопись – и на обороте, у правого поля, находим вписанный мелким, четким почерком Чуковского студийный экспромт: „Ехали медведи… пряники жуют“, которым теперь начинается „Тараканище“, а дальше, „неожиданно для себя самого“, размашисто и неровно, как всякий черновик, Чуковский записывает: „А за ними великан / Страшный и ужасный / Таракан / С длинными усами / Страшными глазами / Подождите / Не спешите / Усы длинные / Двухаршинные / Захочу / Проглочу“. А внутри карандашного наброска – формула, прямое средоточие перекрещивающихся лучей, оглушительное „Красный таракан“!»

Генезис «Тараканища» – длинная история, заслуживающая отдельного рассмотрения. Любой мало-мальски начитанный человек моментально установит интертекстуальные связи между героем Чуковского и многочисленными тараканами русской литературы, непременно сделав акцент на творчестве капитана Лебядкина (вот-вот, и «Крокодил» тоже отсылка к Достоевскому!). Можно и у Чуковского в дневниках и статьях найти немало тараканов («Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан» и т. п.), можно обсудить образ таракана в русской литературе и даже посвятить ему отдельное исследование, но эти игры мы оставим тем, кому они интересны.

«Тараканище» вызывало и продолжает вызывать у читателей исследовательские устремления совершенно другого плана: эту сказку – более чем какое бы то ни было произведение детской литературы – принято трактовать как политическую сатиру. О давней традиции искать в невинных сказках злободневную подкладку мы уже говорили выше, в главе «Интеллигенция и революция», и поговорим ниже – там, где речь пойдет о борьбе с «чуковщиной».

Кто и когда впервые обнаружил сходство Сталина с Тараканищем – неизвестно. Сразу несколько литературоведов, не сговариваясь, указывают на тождество «тараканьих усищ» у мандельштамовского Сталина и «тараканьих усов» у героя сказки.

К моменту развенчания культа личности миф об антисталинизме сказки Чуковского уже цвел махровым цветом, о чем есть запись в дневнике К. И. (Казакевич доказывает ему, что Тараканище – это Сталин, а Чуковский отпирается).

Елена Цезаревна Чуковская даже посвятила этому мифу статью «Тень будущего», где писала: «Вряд ли в те годы Чуковский, далекий от партийных дел, даже слышал о Сталине, чье имя начало громко звучать лишь после смерти Ленина и загрохотало в сознании каждого в конце 20-х годов. „Таракан“ – такой же Сталин, как и любой другой диктатор в мире… Очевидно, будущее бросает тень на настоящее. И искусство умеет проявить эту тень раньше, чем появится тот, кто ее отбрасывает».

Сталин стал Генеральным секретарем ЦК РКП(б) совсем незадолго до выхода «Тараканища» в свет – 3 апреля 1922 года – и действительно довольно долго оставался в тени. Воистину талант умеет уловить тончайшие колебания атмосферы, а потому способен предсказывать и прогнозировать; это не первый и не последний случай подобного предвидения у Чуковского.

Кстати, даже атмосфера ужаса и террора в «Тараканище» передана превосходно: «И сидят и дрожат под кусточками / За болотными прячутся кочками / Крокодилы в крапиву забилися / Ив канаве слоны схоронилися. / Только и слышно, как зубы стучат, / Только и видно, как уши дрожат». Есть в сказке и приметы послереволюционных лет: «А лихие обезьяны / Подхватили чемоданы / И скорее со всех ног / Наутек…»

Любопытно и то, что Сталин сам коротко пересказал сюжет «Тараканища» в речи, посвященной разоблачению правых уклонистов и произнесенной на XVI съезде партии в 1930 году (Чуковский знал об этом и называл Сталина «плагиатором» – тот не сослался на авторство). Подробному анализу сталинской речи посвящена статья М. Липовецкого «Сказковласть: „Тараканище“ Сталина» в «Новом литературном обозрении»; отсылаем читателя к ней. И. В. Кондаков также цитирует и анализирует сталинское выступление в своей статье «Лепые нелепицы». Этот автор усматривает даже в «Тараканище» и «Мойдодыре», вышедших одновременно, в конце 1922 года (по обычной издательской практике, год проставлен 1923-й), некий ответ Льву Троцкому – точнее, его осенним нападкам на Чуковского.

Наркомвоенмор, желавший быть еще и литературным демиургом, осенью 1922 года разбранил в «Правде» книгу Чуковского о Блоке и проехался по опубликованному Толстым злополучному письму. В 1923-м обе статьи вышли в составе книги «Литература и революция», куда вошла и статья о Чуковском 1914 года, полная отборной ругани.

Напомним: «критик всесторонне безответственный», «второстепенные стишки», «статья о футуристах, кривляющаяся и гримасничающая, как все, что он пишет», «юнкерская непринужденность», «теоретическая невинность», «ведет в методологическом смысле чисто паразитическое существование», «беспомощные отсебятины»… и так далее, в том же духе, на много-много страниц… Под конец автор еще инкриминирует критику «ненависть к Горькому» и отождествляет К. И. со «скверной эпохой, чтоб ей пусто было!». За долгие годы нелюбовь Троцкого к Чуковскому не выветрилась – лишь возросла. Как до революции никому не известный марксист поливал Чуковского бранью, так и после революции, уже будучи государственным лидером, не изменил себе. Критику Чуковского нарком-литературовед считал «нестерпимой», о «Книге об Александре Блоке» отозвался так: «…этакая душевная опустошенность, болтология дешевая, дрянная, постыдная!» В статье «Мужиковствующие» долго топтался на фразе из письма Чуковского Толстому «…и ни своих икон, ни своих тараканов никому не отдаст», доказывая, что Чуковский – «юродствующий в революции», как и большинство «попутчиков», идеализирующих крестьянство. Троцкий старательно издевается и над «тараканами», и над «иконами»… (Добавим в скобках: новосибирская дипломница Мария Никифорова, автор работы о Троцком-критике и публицисте, справедливо соотносит болезненную реакцию вождя на «тараканов» с его неприятными воспоминаниями молодости – когда он в ссылке, сидя в мужицкой избе, читал Маркса, смахивая тараканов с его страниц; тараканы, иконы и избы – для него, пожалуй, антоним Марксу.)

«У меня к нему Троцкому отвращение физиологическое, – писал Чуковский позже в дневнике. – Замечательно, что и у него ко мне – то же самое: в своих статейках „Революция и литература“ он ругает меня с тем же самым презрением, какое я испытываю к нему».

Кондаков замечает, что Троцкий «прямо глумится над критиком»:

«Но так как корнями своими Чуковский все же целиком в прошлом, а это прошлое, в свою очередь, держалось на мохом и суеверием обросшем мужике, то Чуковский и ставит между собой и революцией старого заиконного национального таракана в качестве примиряющего начала. Стыд и срам! Срам и стыд! Учились по книжкам (на шее у того же мужика), упражнялись в журналах, переживали разные „эпохи“, создавали „направления“, а когда всерьез пришла революция, то убежище для национального духа открыли в самом темном тараканьем углу

мужицкой избы».

Кондаков видит в сказках К. И. скрытые выпады против Троцкого: «В том же 1923 году Чуковский ответил всесильному Троцкому двумя „сказочками для детей“ – „Мойдодыром“ и „Тараканищем“. В первой из них словами: „А нечистым / Трубочистам – / Стыд и срам! / Стыд и срам!“ (почти буквально повторяя укоризны Троцкого) проповедует „чистоту“ страшилище Мойдодыр, в самом имени которого заключено гротескное приказание „мыть“ нечто „до дыр“, т. е. до уничтожения, порчи того предмета, который моют. Не каждый читатель, понятно, догадывался, что речь идет об „идеологической чистоте“ и, соответственно, о партийно-политических чистках в литературе и культуре в целом; тем более немногие могли прочесть весьма изощренный интертекст Чуковского».

Версия чрезвычайно соблазнительная. На совпадение «стыд-и-срама» обратил внимание и Борис Парамонов, да и кто бы не обратил? Впрочем, интертекстуальные изыскания совсем не обязательно выводят к истине, хотя и помогают строить очень красивые гипотезы. Парамонов упоминает также, «что „Мойдодыр“, по новейшим исследованиям, – сатира на Маяковского, с которым у Чуковского тоже были достаточно сложные отношения…». И. В. Кондаков предполагает, что Мойдодыр – это карикатурный портрет Троцкого, умывальников начальника и мочалок командира: стоит ему топнуть ногой, как на несчастного грязнулю-писателя налетят, и залают, и завоют, и ногами застучат…

«Политических „умывальников“, лаявших и вывших после малейшего сигнала со стороны большевистских „начальников“, было полно во всех редакциях и издательствах Петрограда, с которыми, увы, имел дело „нечистый“ литератор Чуковский, – говорит далее этот исследователь. – Целая свора остервеневших псов. И везде писателя встречали с поучениями в виде самых пошлых прописей, наподобие простейшей морали: „Надо, надо умываться / По утрам и вечерам…“ или „умываются мышата, / и котята, и утята, и жучки, и паучки“».

Все справедливо, все красиво, всякое лыко ложится в строку. Вот только «пошлые прописи» об умывающихся мышатах сам Чуковский упоминал (в письме Шкловскому, 1938 год) в числе своих самых ласковых и трогательных строк, говоря о том, что в его книгах– не только юмор, а есть и доброта, и человечность, и нежность… Вот только Мойдодыр, изображенный Анненковым, имеет портретное сходство не с Маяковским и не с Троцким, а с самим Корнеем Ивановичем (на что давным-давно указал Владимир Глоцер) – и наверняка с ведома автора; известно, как

требователен Чуковский был к иллюстрациям… Вот только и «Мойдодыр», и «Тараканище» вышли куда раньше, чем книжка Троцкого… Правда, что было раньше, а что потом, установить трудно: «Литература и революция» – 1923 год, а сказки – декабрь 1922-го, зато статьи Троцкого в «Правде» – осень 1922-го, но зато «Тараканище» задумано в 1921-м… Да и надо ли устанавливать, кто первый сказал «э»… И есть ли здесь действительно диалог сказочника с наркомом, и принимать ли на веру остроумную гипотезу о Троцком-Мойдодыре – каждый волен решать сам. Нам остается вслед за Умбер-то Эко напомнить, что произведение порождает множество интерпретаций, за которые его создатель никак не отвечает.

Чуковский об истории создания «Тараканища» рассказывает совсем просто (в предисловии к сборнику 1961 года): "Как-то в 1921 году, когда я жил (и голодал) в Ленинграде, известный историк П. Е. Щеголев предложил мне написать для журнала «Былое» статью о некрасовской сатире «Современники». Я увлекся этой интереснейшей темой… и принялся за изучение той эпохи, когда создавалась сатира. Писал я целые дни с упоением, и вдруг ни с того, ни с сего на меня «накатили стихи»… и пошло, и пошло… На полях своей научной статьи я писал, так сказать, контрабандой:

Вот и стал таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому,
(Чтоб ему провалиться, проклятому!)".

История создания «Мойдодыра» почти неизвестна. Разве что сам Чуковский в «Признаниях старого сказочника» рассказал о том, как долго работал над каждой строчкой, как вычеркивал вялые и беспомощные двустишия, как долго добивался хорошего звучания.

«На днях я перелистал свои старые рукописи и, вчитываясь в них, убедился, что максимально четкая фразеология сказки получалась у меня лишь после того, как я сочинял предварительно такое множество слабых стихов, что хватило бы на несколько сказок, – признавался он. – После того как в моих тетрадях скапливались сотни разнокалиберных строк, предстояло отобрать пятьдесят или сорок наиболее соответствующих стилю и замыслу сказки. Между ними происходила, так сказать, борьба за существование, причем выживали сильнейшие, а прочие бесславно погибали».

А что же вдохновение? Действительно, необыкновенная

радость и творческий азарт, и удивительное состояние «пишется», когда все получается как надо, – это было знакомо Чуковскому и, пожалуй, выручало его в самые скверные минуты, придавая веры в себя, свою правоту, свое предназначение. «Но в большинстве случаев тот радостный нервный подъем, при котором пишется необыкновенно легко, словно под чью-то диктовку, длился у меня не так долго – чаще всего десять-пятнадцать минут, – делился он самонаблюдениями. – В течение этих коротких мгновений удавалось занести на бумагу лишь малую долю стихотворного текста, после чего начинались бесконечные поиски определительной, ясной образности, чеканной синтаксической структуры и наиболее сильной динамики». Словом, труд, труд и труд – версификаторский и редакторский.

Эта сказка вышла с подзаголовком «Кинематограф для детей» (под кинематографом понимались быстро сменяющие друг друга эпизоды; вспомним «кинематограф» Левы Лунца в Студии – стремительные смешные сценки). Посвящение было такое: «Мурке, чтобы умывалась. К. Чуковский. – Ирушке и Дымку – чтобы зубы чистили. Ю. Анненков».

«Тараканище» проиллюстрировал Сергей Чехонин. Обе сказки вышли одновременно, перед самым новым, 1923 годом, в издательстве «Радуга» Льва Клячко. Критики сосредоточились на обстреле «Мойдодыра», которому в вину ставили и неуважение к трубочистам, и отношение к детям как к идиотам, и крамольное в эпоху антирелигиозной пропаганды восклицание «Боже, боже, что случилось?» (в конце концов Чуковский вынужден был заменить его на «Что такое, что случилось», пожертвовав внутренней рифмой к следующей строке «отчего же все кругом…»). К «Тараканищу», куда более неблагонадежному с нашей точки зрения, практически никаких претензий не предъявлялось.

Можно заметить, насколько часто и сознательно Чуковский пользуется в сказке дактилическими окончаниями, о которых в это время много думал и писал применительно к творчеству Некрасова. «Тараканище» изобилует ими: «Таракан, Таракан, Тараканище», «Проглочу, проглочу, не помилую», «И назад еще дальше попятились…», «Комарики – на шарике», «кусточками – кочками», «забилися – схоронилися», «победителем – повелителем»… Мысли Чуковского о дактилических рифмах наиболее полно сформулированы в книге «Некрасов как художник», которая увидела свет немного раньше «Тараканища». «Вообще дактилические окончания слов и стихов являются одной из главнейших особенностей нашей простонародной поэзии, ибо по крайней мере 90 % всех наших народных песен, причитаний, былин имеют именно такое окончание», – пишет Чуковский.

Замечает он и то, что «эти окончания в русской речи дают впечатление изматывающего душу нытья». Нытье – это прежде всего, конечно, о плачах, причитаниях и родственной им лирике Некрасова; но и в «Тараканище» дактилическими рифмами снабжены прежде всего стихи в сценах страха и ужаса.

Наблюдения К. И. над детской речью (издательство «Полярная звезда» собиралось выпустить их в 1922 году отдельной книгой «О детском языке» – она анонсирована в «Оскаре Уайльде», но так и не вышла) выливаются в стремительный вихрь хореев в «Мойдодыре», теоретические открытия в области метрики народной поэзии находят практическое применение в «Тараканище», биографические некрасовские штудии перекликаются с собственной бедой. Все, что Чуковский пишет, всегда взаимосвязано и вписано в широкий культурный контекст, нигде он не ограничивается руслом узкоспециальной темы. Потому он так легко переходит от одного занятия к другому; потому ему удается заметить то, чего не видят другие, – и пропустить через себя, изложить взволнованно, вдохновенно и просто.

Год этот заложил основу его славы некрасоведа и детского писателя. И тем не менее Чуковский записывал в ночь на 1 января 1923 года: "1922 год был ужасный год для меня, год всевозможных банкротств, провалов, унижений, обид и болезней. Я чувствовал, что черствею, перестаю верить в жизнь, и что единственное мое спасение – труд. И как я работал! Чего я только не делал! С тоскою, почти со слезами писал «Мойдодыра». Побитый – писал «Тараканище». Переделал совершенно, в корень, свои некрасовские книжки, а также «Футуристов», «Уайльда», «Уитмэна». Основал «Современный Запад» – сам своей рукой написал почти всю *Хронику* 1-го номера, доставал для него газеты, журналы – перевел «Королей и Капусту», перевел Синга – о, сколько энергии, даром истраченной, без цели, без плана! И ни одного друга! Даже просто ни одного доброжелателя! Всюду когти, зубы, клыки, рога! И все же я почему-то люблю 1922 год. Я привязался в этом году к Мурке, меня не так мучили бессонницы, я стал работать с большей легкостью – спасибо старому году!"

Некрасов

Трудно, кажется, понять, почему Чуковский, эстет, любитель парадоксов, поклонник Уайльда, сторонник самоцельности искусства, взялся за «крестьянского поэта» Некрасова. Почему отдал работе над его текстами столько лет жизни, чем так привлекал его этот печальник горя народного?

С легкой руки самого К. И. принято думать, что все дело в том, что прежде было принято считать, будто Некрасов ничем не хорош, кроме революционного содержания, а Чуковский разглядел в нем еще и мастера формы. Все это справедливо, хотя и несколько простовато; одним интересом к формальному совершенству некрасовской поэзии объяснить многолетние штудии нельзя.

Если присмотреться внимательно, между Некрасовым и Чуковским обнаруживается очень много общего. Кажется, иногда Чуковский пишет не о Некрасове, а о себе – своей тоске, своем безумном трудолюбии, погруженности в корректуры и редактуры, когда не то что писать свое – голову поднять некогда. О своей голодной и холодной юности. О своем, а не некрасовском, литературном одиночестве.

Интерес к Некрасову, страстная любовь к нему – возможно, единственный ключ к личности Чуковского, который остался у нас в руках (разве что добавить то, что он писал о Чехове). Эта страсть открывает в нем больше, чем самые личные дневниковые записи – часто бесконечно депрессивные, хотя о причинах этого неотпускающей депрессии они ничего не говорят. Причины глубже. Избыть их Чуковский пытался, занимаясь Некрасовым, потому что именно Некрасов был его двойником по темпераменту и предшественником по убеждениям; Некрасов – наиболее полное и эстетически убедительное выражение того типа, к которому принадлежал и сам Чуковский.

Чисто внешне – это тип журналиста-универсала, умеющего все, явившегося в литературу из сфер, от литературы чрезвычайно далеких (Некрасов был сыном богатого помещика, однако в Петербург сбежал без гроша в кармане и до 1843 года жил в унизительной, физиологически невыносимой нищете). Этому журналисту присущ холерический темперамент со всеми его издержками – внезапными припадками беспричинной черной меланхолии, которыми компенсируются бешеная общественная деятельность и неустанная литературная работа, по большей части поденная. Этот журналист наваливает на себя как можно больше такой работы – в силу двух причин. Первая – острое, интимное переживание социальной несправедливости, с которым все русские интеллигенты борются по-разному: одни опрощаются и идут пахать, другие столь мучительно воспринимают собственную праздность, что стараются не оставить себе ни единой свободной минуты. Второе – работа выступает в функции «отвлечения и замещения», как сказали бы ленинградские младоформалисты. И Некрасов, и Чуковский были людьми слишком сложными и трагическими, чтобы найти утешение в

общественной деятельности, в революции или контрреволюции, в консерватизме или либерализме. В силу развитой художественной интуиции им отвратительны все идеологии, главная задача которых – ограничить свободную личность, наклеить на нее ярлык и загнать в стадо. У Некрасова, долгое время числившегося по разряду певцов горя народного, ничуть не меньше язвительных сатир в адрес либералов и революционеров, нежели выпадов против бюрократии и реакции. Он не питал никаких иллюзий относительно народа – что вполне ясно не только из грандиозного эпоса «Кому на Руси жить хорошо», но и из «волжской были» «Горе старого Наума»: из нее охотно цитируют единственную строку – «Я верую в народ!» – забывая, что в полном виде она звучит так: «Мечты… Я верую в народ!», а собственно фабула ее сводится к тому, как разбогатевший мужик-кулак, реализовавший, казалось бы, крестьянскую утопию, понимает всю бессмысленность и все убожество своего процветания.

Возможно, причина непреходящей тоски Чуковского и Некрасова, их принципиальной неспособности успокоиться ни на одном из видов их бурной и разнообразной деятельности лежит в физиологии, в особенных врожденных свойствах темперамента. Есть материалисты, способные любую доктрину вывести из катара желудка; однако, думается, физиологией дело не ограничивается, хотя психотип, о котором идет речь, характеризуется в самом деле вполне конкретными особенностями (выносливость, работоспособность, стойкость в экстремальных ситуациях, полный упадок сил во времена праздности – Некрасов сам об этом сказал с предельной точностью: «Жить тебе, пока ты на ходу!»).

Дело тут еще и в социальной «промежуточности», шаткости и неопределенности положения, которое Некрасов и Чуковский занимали в литературе. Дворянин Некрасов, с его барской любовью к охоте и дорогим обедам, – всю жизнь работает с разночинцами, любит их и мучается смутной виной перед ними. Он, богатый владелец прибыльного журнала, – отлично сознает, что прибыльность этого журнала обеспечивается именно его революционной направленностью; сын помещика – ненавидит отца; друг крестьян – понимает, что «люди холопского звания сущие псы иногда». Чуковский, незаконный сын крестьянки (положение, ниже которого в социальной системе России вообще, кажется, не было), всю жизнь стремится к людям образованным, тянется к культуре – и с ужасом осознает, что понять то, что он пишет, могут от силы несколько человек во всей России; от своей среды он оторвался, к другой примкнуть не мог (вспомним

«Последние новости»: «…в известном смысле он всегда был предметом бойкота») – слишком многое мешало; любя мальчиков и девочек из хороших семей, он втайне не прощал им праздности, легкости получения всего, за что он платил годами трудов, ошибок и унижений.

Выпав из своей социальной ниши, оба так и не обретают никакой новой идентификации. Некрасову с Толстым, Достоевским, Чернышевским одинаково интересно – и одинаково неловко, и со всеми он рано или поздно ссорится или расходится. Исключение, впрочем, составляет Чернышевский; не зря, получив привет от него на смертном одре, Некрасов прошептал «Я теперь утешен» – думается, имея в виду не только свою биографию, полную литературных и человеческих компромиссов, но и отношения с конкретным Чернышевским, которые никогда не были безоблачными. Чуковский всего достиг работой – и никогда не стал среди «образованного класса» вполне своим, ибо чувствовал себя бастардом и пролетарием. Всю жизнь он получал выволочки, и не только со стороны тупой и бессмысленной цензуры; куда более мучительны для него были укусы академических ученых, филологически подкованных критиков – тех, кто мог с высоты своего подтвержденного дипломом статуса указывать самоучке, выскочке, всезнайке на его истинное место. Даже став патриархом, он подвергался бесконечным тычкам и с полным правом мог бы повторить за Некрасовым: «Вступление мое в литературу сопровождалось встречей с цензурными ножницами – и на смертном одре кромсают меня те же ножницы» (слова эти были сказаны по поводу запрета «Пира на весь мир»). Чуковский незадолго до смерти столкнулся с тем, что из его «Высокого искусства» вырезали все упоминания о Солженицыне, выбросили или обкорнали лучшие статьи в собрании сочинений, искалечили том критики…

Помимо неуравновешенности и социальной двойственности, от чего оба спасались журналистским трудоголизмом, проклинаемой и благословляемой поденщиной, тоннами корректур («С ума сойти, сколько я работал!» – восклицал Некрасов в семидесятые), их роднит еще одно – и, может быть, самое главное. Оба были последовательными и убежденными эстетами, сколь бы ни делали из Некрасова икону критического реализма. Гумилев, которому критическое чутье никогда не отказывало, говаривал студистам: «Прежде считалось, что у Некрасова прекрасное содержание и никуда не годная форма, тогда как дело обстоит ровно наоборот». Но потребовался опыт акмеистов с их насыщением стиха конкретикой, фактурностью, даже грубостью, с их вниманием к детали, восходящим к русской

психологической прозе, – чтобы новаторство Некрасова было оценено по достоинству. До того была актуализирована главным образом другая, «надрывно-рыдательная» составляющая его поэтической манеры: Надсон сильно повредил Некрасову в восприятии «восьмидесятников».

Но, помимо надсоновской пошлости, существовала и другая традиция, не дававшая Некрасову окончательно перейти в разряд унылых и полузабытых классиков: русская сатира продолжала питаться опытом Некрасова. Его «Современники» оказались в известном смысле живучее и актуальнее его же «Крестьянских детей». Помимо акмеистов опытом Некрасова вовсю пользовались поэты сатириконского круга, и в первую очередь Саша Черный: так совокупными усилиями русские литераторы нового поколения вернули Некрасову актуальность и общественное внимание. Его литературная отвага, героическая работа на стыке жанров, прозаизация стиха и поэтизация прозы, огромное жанровое разнообразие, множество открытых им приемов и интонаций – все это оказалось востребовано в начале века, когда русская литература после двадцатилетнего застоя принялась осваивать новые территории; Чуковский потому и сближал в своей знаменитой статье Маяковского и Ахматову, что оба они разрабатывали некрасовскую традицию – только разные ее составляющие: Маяковский, слушая, как Брик вслух читает «Юбиляров и триумфаторов», ахал: «Неужели это не я написал?!» Ахматова же недвусмысленно ведет свою родословную от некрасовской трагической любовной лирики и его точных, скупых, желчных зарисовок петербургского быта.

Эстетическое новаторство Некрасова было для Чуковского (да и для русской литературы в целом) важнее, масштабнее его революционных или народнических тенденций; отвага в фиксации собственной душевной раздвоенности – значительнее деклараций и проповедей. Некрасов почти всегда банален и натянут там, где берется что-либо утверждать, – но когда сомневается, мучается совестью, стонет над трагедией повседневного бытия (и уж конечно, не только крестьянского), он достигает высот, каких русская литература не знала. Многие, ставя его выше Пушкина и Лермонтова, имели в виду именно эту бесстрашную совесть, именно это мужество заглянуть в собственные бездны. Некрасов, безусловно, наследовал скорее Лермонтову, чем Пушкину, – и именно ему посвятил свое таинственное стихотворение «Демон», которое все желал прокомментировать для потомков, но не выбрал времени. Лермонтовская интонация, дух «Мцыри» вполне отчетливы в большинстве повествовательных опытов Некрасова, и не зря

лермонтовским четырехстопным ямбом с мужскими окончаниями написаны и знаменитые фрагменты «На Волге», и «Суд». Некрасов – желчный романтик, переродившийся байронист, и его сатира – именно трагическая ирония разочарованного одиночки; литературный генезис Чуковского таков же. Вкусы и пристрастия у него были самые романтические, его трогало героическое и влекло великое – а потому его зоркость к реальности, как и у Некрасова, была прежде всего зоркостью отвращения: «Начинается день безобразный – мутный, ветреный, сонный и грязный». Некрасов был певцом петербургских трущоб не потому, что их любил, а потому, что ненавидел. Кстати, и Чуковский лучшие свои критические тексты написал о том, что его бесило, а не о том, что по-настоящему влекло. У романтиков с «враждебным словом отрицанья» всегда обстоит лучше, нежели со «сладким ропотом хвалы». Вся поэтика Некрасова – поэтика оскорбленного эстета, а об эстетизме Чуковского мы уже говорили выше. Собственно, вся революционность Некрасова заключается именно в революционном переосмыслении русского стиха – как и весь эстетизм Чуковского заключается в абсолютизации литературной деятельности, поскольку из всех видов человеческой деятельности осмысленным является только этот.

Обратим внимание и на то, что Чуковский подчеркивает:

Некрасов дал новой читательской массе новый, родной ей язык, помог ей заговорить и быть услышанной; не в том ли видит он и свою задачу, когда пишет о «безъязычных» и «косноязычных» людях, которым революция дала право голоса?

Сразу после революции Чуковский взял на себя обязательство подготовить к печати собрание сочинений поэта, занимался его черновиками, очищал стихи от цензурных искажений, отбраковывал очевидные фальшивки, по ошибке включенные в предыдущие собрания сочинений, – то есть занимался нормальной публикаторской, редакторской, комментаторской работой. Работа эта, поначалу не особенно заметная, со временем привлекла к себе внимание коллег; с одними (скажем, Евгеньевым-Максимовым) К. И. всю жизнь полемизировал, с другими (с Оксманом, например) быстро нашел общий язык. В начале 1920-х годов он стал инициатором серии «Некрасовская библиотека» в петроградском издательстве «Эпоха»; в этой серии и вышли небольшими книжками «Поэт и палач», «Жена поэта», «Некрасов как художник». В течение следующих лет Чуковский не прекращал работы над Некрасовым, публикуя и комментируя текст за текстом, издавая сборник за сборником, собирая и совершенствуя собственные статьи.

«Некрасоведческие труды К. Чуковского не утратили своего значения и во многих случаях являются первоисточниками для современных исследователей, текстологов, – пишет Б. В. Мельгунов в комментариях к собранным в девятом томе собрания сочинений работам К. И. 1920-х годов. – Ему посчастливилось держать в руках, дать научное описание и опубликовать многие автографы Некрасова (и не только Некрасова)… Ему удалось добыть ценнейшие материалы для комментария к некрасовским (и не только некрасовским) произведениям из устных показаний еще живых современников поэта и многих семейных архивов. К. Чуковский был одним из первых и до сих пор остается крупнейшим и авторитетнейшим исследователем поэтического творчества Некрасова».

Одна из главных заслуг К. И. (и не только в некрасоведении, но и в литературоведении вообще) – это найденный им способ разговора с читателем о писателе. Чуковский всегда стремился писать ясно, просто, емко – и не для узкого круга специалистов, а для всех. Эта установка принципиальна. Он тщательно избегал профессионального, перенасыщенного терминологией языка – которым тем не менее превосходно владел (оттого особенно забавно читать современные работы в области чуковедения, изобилующие оборотами вроде «мифология вождя – центральный, без сомнения, элемент тоталитарной квазирелигии – в советской культуре активно манифестирована не только в официальном дискурсе, но и в жанре псевдофольклорных сказок»). Он публиковал неизвестные некрасовские рукописи не в специализированных изданиях, а в самых массовых газетах. Он фактически разработал новый жанр, соединивший литературоведение, критику и беллетристику, – жанр, продолжающий жить и пользующийся популярностью до сих пор. «Именно эта „манера“, допускающая более свободное, чем в академической науке, обращение с фактами и их субъективную интерпретацию, обеспечивала Чуковскому уход от господствовавшего в многие годы узко социологического освещения биографии и художественного творчества классиков литературы, – пишет Б. Мельгунов. – Чуковский едва ли не единственный из крупных советских некрасоведов, которого невозможно упрекнуть в чрезмерной, губительной для читательского восприятия, политизации наследия национального поэта».

Впрочем, даже Чуковскому – с его изумительным мастерством лавирования меж двух зол – не удалось вполне избежать идеологического пресса. В вышедших в 1930 году «Рассказах о Некрасове» старые работы были переизданы с

купюрами. О причинах будет сказано позже, сейчас заметим только, что предъявляемые автору претензии были старыми-престарыми, знакомыми еще со времен статьи о Шевченко и лекции о Гаршине: Чуковский покушается на святое! Нельзя писать про писателя плохо – это принижает его значение. Руки прочь от святынь! Поэтому несколько фрагментов, казавшихся ревнителям репутации Некрасова недостаточно почтительными по отношению к нему, из книги «Поэт и палач» были вычеркнуты – например, пассаж о том, что герои и мученики революции в какой-то момент показались Некрасову безумцами. Или абзац, где говорится, что он единственный из русских радикальных писателей, который никогда ничем не поплатился за свои убеждения. Или предложение, где поэт назван «еще большим изменником своим идеалам». Вымарано все о двуличии и лицемерии Некрасова, выброшен и последний абзац – о «целой секте опреснителей и упростителей», стремящихся сделать поэта похожим «на любого из них, туповатого и стоеросового радикала». Стоеросовым радикалам это было неприятно.

Мельгунов указывает и на нежелательное добавление – в 1931 году Чуковский вынужден был добавить к очерку «Жизнь Некрасова» абзац об участии нелегала Плеханова и «революционно настроенных петербургских рабочих» в похоронах Некрасова. Абзац заканчивается забавным теоретизированием: рабочие взяли с собой оружие, «и если бы полиция сделала попытку схватить его Плеханова, она встретила бы вооруженный отпор». Зная, что творилось в литературе в 1930–1931 годах, зная, как топтали Чуковского, как издевались над ним, – не такое уж это и черное предательство по отношению к собственному тексту. В конце концов, Плеханов и впрямь побывал на похоронах поэта. Оставим эти мелкие пакости на совести тех, кто выкручивал Чуковскому руки, требуя выполнения социального заказа.

«Хлопочу о различных писателях»

В 1923 году в жизни Чуковского отчетливо задул западный ветер: появились постоянные контакты с иностранцами, шла работа над «Современным Западом», над которым он работал вместе с Замятиным. Приезжал негритянский поэт Мак-Кей, с которым К. И. какое-то время общался, водил его в гости… потом переводчиком у Мак-Кея стал младший Чуковский, Николай.

В дневниках К. И. постоянно встречаются записи о встречах с представителем АРА мистером Кини, который предложил Чуковскому помочь ему в распределении пайков. «Я наметил: Гарину-Михайловскую, Замирайло, жену Ходасевича, Брусянину,

Милашевского и др. А между тем больше всех нуждается жена моя Марья Борисовна. У нее уже 6 зим подряд не было теплого пальто. Но мне неловко сказать об этом, и я не знаю, что делать».

Вот еще записи: «Бываю я в Аре – хлопочу о различных писателях: добыл пайки для Зощенко, П. Быкова, Брусяниной и проч.»; «нужно будет о Судейкиной похлопотать перед американцами». «Скоро пришел Кини. Насвистывая, читал и, читая, разговаривал. Сказал, что ему из Америки прислали 200 долларов для семьи Мамина-Сибиряка, а он не может эту семью разыскать… Я заговорил о том, что очень нуждается Анна Ахматова и Сологуб. Он сказал, что у него есть средства – специально для такой цели, и обещал им помочь». «Сегодня в пять буду у Кини: кажется, удастся достать денег для Ахматовой и Сологуба». «Ездил вчера с Кини по делам благотворительности». "Мне удалось выхлопотать у Кини денежную выдачу для Ходасевич (Анны Ивановны) (Ходасевич, уезжая за границу с Берберовой, заботу о бывшей жене передоверил Чуковскому и впоследствии искренне благодарил его за помощь и участие. – *И. Л.),* для сестры Некрасова, для Анны Ахматовой".

«Вот список для Кини, который составил я: Виктор Муйжель, Ольга Форш, Федор Сологуб, Ю. Верховский, В. Зоргенфрей, Ник. С. Тихонов, М. В. Ватсон, Иванов-Разумник, Лидия Чарская, Горнфельд, Римма Николаевна Андреева (сестра Леонида Андреева) и Ахматова». Обратим внимание хотя бы на Горнфельда, с которым К. И. когда-то обменялся полемическими выпадами, или Ватсон (помните яростное «сволочь»?), – не говоря уже о Чарской. Когда речь заходит о голодающих людях, литературная вражда отступает на второй план. К каждому из кандидатов на помощь надо было зайти, о положении каждого толково рассказать представителям АРА. Благотворительность отнимала массу времени и сил, остальное забирал «Современный Запад»; то, что оставалось, уходило на переводы. А ведь в этом году написаны и «Муха-Цокотуха», и «Муркина книга».

К. И. жалуется в дневнике на Ахматову и Замятина: Кини предложил им поучаствовать в составлении списка, но ни та, ни другой не назвали ни одной фамилии! Для него это немыслимо: в каждый из послереволюционных лет он не только мог сразу привести длиннейший список нуждающихся в помощи, но и сам ее оказывал – и не только литераторам, но и членам их семей. И не только материальную помощь – ходил хлопотать о спасении библиотек, вызволении из-под стражи, и т. д., и т. п. Как только появилась возможность принять участие в программе АРА, Чуковский немедленно втянулся в дело.

Быт не наладился, голод не кончился, книги по-прежнему не входили в число предметов первой необходимости платежеспособной части населения. Как летом 1922 года Чуковский горевал в письмах, что книги никому не нужны, никто их не покупает, так и осенью года следующего писал в дневнике: «„Ветер что-то удушлив не в меру“ – опять как три года назад. На лицах отчаяние. Осень предстоит тугая. Интеллигентному пролетарию зарез. По городу мечутся с рекомендательными письмами тучи ошалелых людей в поисках какой-нибудь работы… Госиздат не платит, обанкротился. В книжных магазинах, кроме учебников, ничего никто не покупает. Страшно. У меня впереди – ужас. Ни костюма, ни хлеба, управление домовое жмет, всю неделю я бегал по учреждениям, доставая нужные бумаги, не достал. И теперь сижу полураздавленный!»

Писатели одалживают друг у друга миллионы и миллиарды – на хлеб, на трамвайный билет. При этом считаются «лицами свободных профессий» и должны платить за квартиру огромные деньги – или разбираться с домкомбедом, ходить по инстанциям, добывать бумажки. У Чуковского весь март 1923-го тянулось разбирательство в конфликтной комиссии, и вот занесенные в дневник впечатления: «Портфель мой был тяжел, я очень устал, попросил позволения сесть, не позволили – два раза не позволяли – а среди них было две женщины, и то, что мне не позволили сесть, больше взволновало меня, чем два миллиарда, которые я должен заплатить. О, о! тоска!»

Зарабатывать писательским ремеслом невозможно. Ослабленное, нищее государство поддерживать писателей из человеколюбия не готово: в его интересах – поставить их себе на службу. Как только Гражданская война завершилась, власть обратила на творческую интеллигенцию особенно пристальный взор, решая, кого терпеть, а кого нет (и вот осенью 1922 года уплыл «философский пароход»), кого можно использовать и как контролировать.

Заработала предварительная цензура, с которой писатели встретились, наконец, воочию. Арлен Блюм в истории советской политической цензуры приводит документы Главлита, где говорится о кадровых проблемах: политически грамотных цензоров, да и просто грамотных взять было неоткуда. Писатели хватались за головы, читая бред, состряпанный литературными надсмотрщиками первого призыва, – и бежали жаловаться к вышестоящему начальству (так Чуковский обжаловал вынесенный

цензором приговор его предисловию к Сингу, обратившись к Мещерякову, начальнику Главлита). Исход мог оказаться благополучным: пока еще один запрещал, другой разрешал, циркуляры только вырабатывались, система училась работать с писателями и налаживала тотальный контроль. Что представляли собою люди, получившие власть над литературой, можно судить хотя бы по следующей дневниковой записи К. И.: «Вчера и третьего дня был в цензуре. Забавное место. Слонового вида угрюмый коммунист – без юмора – басовитый – секретарь. Рыло кувшинное, не говорит, а рявкает. Во второй комнате сидит тов. Быстрова, наивная, насвистанная, ни в чем не виноватая, а в следующей комнате – цензора, ее питомцы: нельзя представить себе более жалких дегенератов: некоторые из них выходили в приемную – каждый – карикатурен до жути. Особенно одна старушка, в рваных башмаках, обалделая от непрестанного чтения рукописей, прокуренная насквозь никотином, плюгавая, грязная, тусклая – помесь мегеры и побитой дворняги, вышла в приемную и шепотом жаловалась: „Когда же деньги? Черт знает что. Тянут-тянут“». «Тоска безысходная», – заканчивает эту зарисовку Чуковский.

До сих пор писатели были относительно равны перед читателем и властью, а процесс разделения интеллигенции происходил в основном по линии «за советскую власть – против советской власти» (хотя, конечно, вопрос о классовом происхождении ставился постоянно, и особенно любопытно, что Чуковский, крестьянин по происхождению, неизменно попадал в «буржуи»).

Теперь же процесс размежевания (изнутри) и отделения агнцев от козлищ (снаружи) понесся полным ходом. Именно в этом году в литературу вошел проклятый термин «попутчики». «Кто такой попутчик? – писал Троцкий. – Попутчиком мы называем в литературе, как и в политике, того, кто, ковыляя и шатаясь, идет до известного пункта по тому же пути, по которому мы с вами идем гораздо дальше. Кто идет против нас, тот не попутчик, тот враг, того мы при случае высылаем за границу, ибо благо революции для нас высший закон». Пока литераторы еще иронизировали над дурацким словечком, но через несколько лет термин стал официальным, а жребий «попутчика» – максимально горьким, простите за старую остроту; при этом Горький и сам попал в число «попутчиков». Тем не менее уже и в 1923 году попутчиков яростно третировали, особенно отличался в этом новый журнал «На посту».

Трещины понеслись во всех направлениях; каждый доказывает, что именно он прав с точки зрения марксизма и

задач текущего момента. Все против всех, каждый за генеральную линию, и всякий убежден, что она проходит именно через его окоп. Пролеткульт и отпочковавшаяся от него «Кузница», «ЛЕФ», «Октябрь»… каждый за себя, и все правы. Чем больше уверенность группы в том, что только она выражает интересы пролетариата, – тем беспощаднее она вытаптывает пространство вокруг себя. Литературная борьба больше напоминает литературную свалку, бои без правил. Государство еще толком не определилось, как именно собирается задействовать мастеров культуры, подробных правил не прописало, и пока те, что побойчее, сами пытаются угадать принципы, отстроить государственную политику и стать святее папы римского. Троцкий, ругая напостовцев, писал: «Во всей их бранчливой критике нет и тени классового подхода. Тут подход конкурирующего литературного кружка – и только!»

Впрочем, руководители государства никогда окончательно не выпускали художественную литературу из поля зрения. И Ленин, и Троцкий, и Луначарский уже немало сказали в печати и о старой культуре, и о новой, и о пролетарской литературе – однако пока еще не было партийного документа, не создан был катехизис пролетарского писателя. Наконец, не вполне ясны еще были даже принципиальные вопросы: что такое социализм, что такое коммунизм, какое общество следует строить, какова роль культуры в этом обществе. Согласия не было ни среди вождей, ни среди литераторов, независимо от их классовой принадлежности. Недаром Ленин считал необходимым обличать пролеткультовцев, а Луначарский – спорить с представителями левого искусства.

Недаром и новый, только что написанный замятинский роман «Мы» не был понят коллегами и друзьями, имевшими совершенно иные представления о том, каким должен быть (и каким, по их мнению, будет) социализм. Чуковский писал в дневнике: «Роман Замятина „Мы“ мне ненавистен. Надо быть скопцом, чтобы не видеть, какие корни в нынешнем социализме. Все язвительное, что Замятин говорит о будущем строе, бьет по фурьеризму, который он ошибочно принимает за коммунизм». Примерно такие же претензии к Замятину предъявляли Горький («отчаянно плохо», «гнев старой девы») и Пришвин («…привел идею социализма к абсурду. Разумеется, социализм от этого ничуть не пострадал, но мне стало очень досадно, что столько ума, знания, таланта, мастерства было истрачено исключительно на памфлет, в сущности говоря, безобидный и обывательский»). Между тем Замятин уже тогда предугадывал, каким стандартизованным безобразием может обернуться великая советская утопия. Горький, Чуковский и Пришвин – гуманисты, человеколюбцы, романтики – все-таки верили в возможность

построения справедливого, разумного и прекрасного государства и старались различать в повседневном свинстве черты идеального Города Солнца.

Чуковский и его коллеги пытаются заниматься повседневной культуртрегерской работой, но делать это все труднее и труднее. Среда делается все более вязкой, и каждый шаг требует все возрастающих усилий.

«Всемирная литература» уже не может издавать книги по намеченному плану, даже и при условии «марксистских предисловий»: теперь публикация каждой книги должна быть обоснована с идеологической точки зрения. "Мы должны были дать соответствующие рекомендации каждому автору, – пишет Чуковский в феврале 1923 года, – например:

> Боккаччо – борьба против духовенства.
> Вазари – приближает искусство к массам.
> Петроний – сатира на нэпманов и т. д.

Но как рекомендовать «Божественную Комедию», мы так и не додумались". Как только цензоры взялись за работу, деятельность «Всемирной литературы» стала пробуксовывать и останавливаться – и окончательно остановилась в конце 1924 года. Цензура браковала больше половины рукописей, и работа в этих условиях становилась совершенно бессмысленной, а экономические реформы завершили уничтожение издательства.

В дневнике Чуковского в этом году особенно много вырезанных строк и вырванных страниц. Часть дневника он попросту уничтожил (видимо, отдельную тетрадь, от которой уцелела одна страница коктебельских впечатлений).

Лейтмотив записей К. И. в 1923 году – горечь литературного одиночества, ощущение чужеродности, осознание своей ненужности, бессмысленности любых занятий в условиях, когда заниматься своим делом невозможно. Едва не на каждой странице – «тоска». «Тоска. Выбит из колеи – полгода без дела». Из Куоккалы пришли вести о том, что дача Чуковских разграблена. Репин писал о потемневшем брошенном доме, заросших дорожках – и безобразии, учиненном внутри: «Все это, с сокрушенным сердцем, я видел после в растерзанном виде на полу, со следами на всем грязных подошв валенок, среди ободранных роскошных диванов, где мы так интересно и уютно проводили время за слушанием интереснейших докладов и горячих речей талантливой литературы, разгоравшейся красным огнем свободы. Да целый помост образовался на полах в библиотеках из дорогих, редких изданий и рукописей; и под этим

толстым слоем нестерпимо лопались-трещали стекла. Какое-то остервенелое разрушение… к чему?»

Но К. И. машет на это рукой: «Мне гораздо больнее, что разгромлена моя жизнь, что я не написал и тысячной доли того, что мог написать». Однажды во сне он искал нужную дверь, не нашел, упал в яму: «Разбился и проснулся с тем чувством, что и в жизни со мною то же: не знаю, в какую дверь, не знаю, в какую дверь, – и яма».

«Одиночество не только в вагоне, но и в России вообще. Брожу неприкаянный».

Время самое неподходящее – и самое подходящее для чуда. «У меня бывали такие внезапные приливы счастья, совершенно ни на чем не основанные, – рассказывал Чуковский в статье „Как я стал писателем“. – Именно тогда, когда моя жизнь складывалась не очень-то весело, вдруг наперекор всему находили на меня приливы какого-то особенного нервного возбуждения». Профессиональный литератор, приливы этого возбуждения он не мог спутать ни с чем: пишется! Пишется!

29 августа 1923 года Чуковский, «дачный муж», вернувшийся в раскаленный город, чтобы сделать какие-то дела, «чувствуя себя человеком, который может творить чудеса», взлетает по лестницам в пустую городскую квартиру, чтобы записать, пока не сбежало капризное вдохновение, первые строчки праздничной-счастливой «Мухи-Цокотухи».

«Я еле успевал записывать на клочках бумаги каким-то огрызком карандаша, – рассказывал К. И. дальше. – И потом, к стыду своему, должен сказать, что когда в сказке дело дошло до танцев, то я, 42-летний, уже седеющий человек, стал танцевать сам. И это было очень неудобно, потому что танцевать и писать в одно и то же время довольно-таки трудно. Я носился из комнаты в коридор и на кухню, и вдруг у меня иссякла бумага. В коридоре я заметил, что у нас отстают обои. Я отодрал лоскут обоев и на этих обоях закончил все. Так я стал профессиональным детским писателем».

Чуковский сам говорил, что любит вспоминать о том, как писалась «Муха-Цокотуха». Он дважды записал эту историю (второй раз, более подробно – в «Признаниях старого сказочника») – не так уж много было в его жизни дней, исполненных такого чистого, ослепительного счастья, такой творческой свободы.

"Он давно уже был известный литературный критик – впечатлительный, проницательный, с эффектной манерой, – пишет Самуил Лурье. – …Но той литературы, которую он любил, в одночасье не стало. Теперь только старость предстояла ему.

И вдруг – это блаженство: текст ходит ходуном, высвобождая пляшущий голос.

На пятом десятке судьба сказала Корнею Чуковскому, как некогда Некрасову – Белинский: вы – поэт, и поэт истинный".

«Мухину свадьбу», так изначально называлась «Муха-Цокотуха», он заканчивал уже без плясок: как обычно, кропотливо работая за письменным столом. Несколько раз переизданный «Крокодил» и недавно вышедшие «Мойдодыр» и «Тараканище» пользовались читательским спросом, но не приносили автору большого дохода. В последующие годы Чуковский много раз удивляется в дневнике: книги расходятся, дети знают мои стихи наизусть… Как раз в тот момент, когда он вновь казался себе полным банкротом, оказалось, что он нужен, востребован, что может быть счастлив. Настолько душная тогдашняя атмосфера не располагала к творчеству, что непонятно даже, откуда взялась эта широкая, вольная, плясовая стихия. Чудо и есть чудо. Может быть, все дело в Мурочке, в обществе которой он находил отдохновение от свинцовых мерзостей цензуры и прочего: наедине с маленькой дочерью он позволял себе быть настоящим – позволял себе немного счастья, наконец. Исчезал издерганный неврастеник, обремененный работой и бидонами с керосином, оставался мудрый отец, у которого есть время и желание показать ребенку, как устроен этот мир – новый, страшный, опасный, но заманчивый, красочный и безумно интересный.

О сказках Чуковского столько написано, что и повторять нет ни возможности, ни смысла, разве что обобщить вкратце: написать их мог только человек, который чрезвычайно внимательно прислушивался и к ребенку, и к своему времени – отсюда абсолютная новизна поэтического языка; только человек, чья память насыщена образами и ритмами величайших мировых культур – отсюда литературная энциклопедичность сказок: они знакомят малыша с огромным разнообразием поэтических форм, помогают ему плавно войти в стиховую культуру. Отсюда и особая фольклорная крепость сказочной ткани – выделка изумительная, проходит сквозь колечко, но нигде не тонко, не толсто, не провисает, не рвется. Все это – неотъемлемые компоненты хорошей сказки, но сознательно из них сказку не сделаешь, нужна какая-то живая вода; без нее, на одном стремлении написать сказку, чтобы в ней было то-то и то-то – не выходит ничего, так провалилась впоследствии вымученная, головная сказка «Одолеем Бармалея».

Можно разбирать элементы конструктора, из которого сложена сказка – а все равно остается какая-то тайна: чем сбрызнуты эти разнокалиберные строки, что так крепко срослись?

из каких глубин души выскочили эти архетипические герои – поди пойми, откуда полезли эти хтонические чудовища – попробуй догадайся, хотя целая серия работ об архетипах коллективного бессознательного в сказках Чуковского к вашим услугам. Стихи апеллируют к чему-то совершенно первобытному, изначальному – исключительно важному и совершенно погребенному на дне взрослой души, задавленному грузом последующих впечатлений – к «глубоко архаичным (архетипическим), бессознательным побуждениям, выражаемым сказками К. И. Чуковского в наиболее удобной форме», как формулирует самарский психотерапевт Игорь Пудиков. Может быть – это умение смотреть на мир наивно, глазами ребенка, дикаря, первочеловека. Это – наше первое знакомство с миром, когда еще умывальник напоминает рожу на ножках, когда первый раз остро чуешь запах травы, первый раз пугаешься чудовищного паука. И первый раз видишь, как длинная туча зажимает закатное солнце челюстями и кажется, навсегда его сожрет. Первые неуверенные шаги, первые длинные мысли, первые храбрые сравнения. Первые книги и первые стихи, с которых уже восемь десятилетий начинают знакомство с книгой все читающие по-русски.

Как бы ни доказывал Чуковский, что он взрослый, взрослый писатель! – отныне его будет знать каждый – но знать как детского сказочника.

Весь сентябрь К. И. провел в Коктебеле у Волошина, где снова мучился бессонницей: «вечно люди, вечно болтовня». Замятин, отдыхавший там же, приговаривал: «Все спят, вся деревня спит, одна Баба Яга не спит» – пожалуй, одержимый бессонницей Чуковский и впрямь был похож на Бабу Ягу. Как всегда на отдыхе, – К. И. не мог не устроить чтений для местных детей: «Здесь было два детских утра, где я читал „Тараканище“, „Крокодила“, „Мойдодыра“, „Муркину книжку“ – и имел неожиданно огромный успех».

За месяц, проведенный в Крыму, он отдышался. Отошел от петроградских мучений и страстей. Загорел. Привез много винограда и груш. Увлеченно занялся изданием «Муркиной книги», которую сама Мура ждала с нетерпением. Начал собирать народные песенки для книжки «Пятьдесят поросят».

Осень снова оказалась трудная: безденежная, гриппозная, полуголодная, безработная, да еще с цензурными издевательствами. Довершил все неожиданный удар: 18 ноября Чуковский записывает: «Сейчас обнаружилось, что на чердаке украли все белье, мое, детское, все, все. Остались мы к зиме голыми». Через день – новая запись: «Редактирую Свифта – так

как надо заработать на покупку белья».

И снова: редактуры, предисловия, корректуры, Некрасов, детские книги, народные песенки, пересказ «Доктора Дулиттла» (из которого вскоре появился «Айболит»)… Благотворительные поездки с Кини, беседы с Мурочкой, детские утренники. И снова наплывы тоски, налетающей с сокрушительной силой, – и кажется, что счастья нет, что оно невозможно, и встреча нового, 1924 года оказалась грустной «до слез»: «Все лысые, седые, пощипанные. Я не спал две ночи перед тем. Были мы одеты хуже всех, у меня даже манжет не было… И несмотря на то, что заготовлено было столько веселых номеров, что были такие весельчаки, как Монахов, Ростовцев, я, Ксендзовский, – тоска была зеленая, и зачем мы все собрались, неизвестно».

И все-таки несколько десятилетий спустя Чуковский писал в «Признаниях старого сказочника»: "Особенно в такие периоды, когда надлежало бы хныкать и жаловаться, – вдруг вскакиваешь с постели с таким безумным ощущением радости, словно ты пятилетний мальчишка, которому подарили свисток. Не знаю, бывали ли у вас такие беспричинные приливы веселья, а я без них, кажется, пропал бы совсем в иные наиболее тоскливые периоды жизни. Идешь по улице и, бессмысленно радуясь всему, что ты видишь, – вывескам, трамваям, воробьям, – готов расцеловаться с каждым встречным и твердишь из своего любимого Уитмена:

> "Отныне я не требую счастья,
> я сам свое счастье"".

И Чуковский выводил главную заповедь детского поэта: «Писатель для малых детей должен быть счастлив. Счастлив, как и те, для кого он творит».

«Современный Запад»

Журнал «Современный Запад» был задуман издательством «Всемирная литература» вместе с журналом «Восток» и выходил в 1922–1924 годах. В редколлегию его вошли Замятин, Чуковский и А. Н. Тихонов (Серебров).

Всего свет увидели шесть номеров, после чего издание было закрыто. Видимо, потому, что получалось отчетливо несоветским. Не антисоветским, а именно несоветским, почти никак не реагирующим на наличие советской власти. Журнал ставил перед собой задачу познакомить читателя с тем, что происходит в

большом мире, от которого он оторван, рассказать ему не о политике (этого хватало и в газетах), а о культуре. Именно поэтому едва ли не самым важным в «Современном Западе» был раздел хроники, где публиковались новости текущего литературного процесса, науки и техники, театра, музыки, живописи и скульптуры, философии. Хроника была очень подробной, разделялась на страны, причем место находилось не только традиционным Англии, Франции и Германии, но и Румынии, и странам Скандинавии. Читатель понимал: да, у нас все переворотилось и только укладывается, мы заняты собственной жизнью и своей болью, но вокруг по-прежнему живет и дышит огромный мир, в котором создаются новые философские теории, издаются хорошие книги, и, какой бы великий исторический этап ни переживала Россия, она не должна замыкаться в культурной изоляции. В хронике неизменно присутствовал раздел «Rossica», где рассказывалось о восприятии русской культуры на Западе: новых изданиях русских авторов, постановках российских пьес и т. п.

Внимание хроникеров привлекали самые разные события. Например, Евгений Замятин первым в России откликнулся на выход романа Джойса «Улисс», назвав его «одной из наиболее выдающихся книг в английской художественной прозе за последний год». А Чуковский отрецензировал книгу стихов девятилетней англичанки Гильды Конклин «Башмаки ветра» и даже перевел оттуда пару стихотворений.

Для «Современного Запада» Чуковский написал десятки страниц хроники, отредактировал множество переводов, перевел «Королей и капусту» О. Генри и написал о нем большой очерк (о котором весьма кисло отзывался Горький в письме Федину: «болтовня Чуковского, который так нелепо и неуместно прославил О. Генри, писателя, утешающего продавщиц и клерков надеждами на счастье, замужество или женитьбу обязательно на богатых»).

В журнале увидели свет, часто впервые на русском языке, произведения Густава Мейринка и Шервуда Андерсона, Жюля Ромена и Жана Кокто. Здесь публиковались Шпенглер (с критикой марксизма, между прочим) и молодые зарубежные поэты (немцев переводил сам Луначарский), здесь можно было прочесть манифест Маринетти и узнать, кто такие дадаисты. И несмотря на покровительство Горького, становящееся все более номинальным, несмотря на участие наркома просвещения – отстоять журнал не удалось. Его не исправили бы никакие «марксистские предисловия»: утверждающемуся в обществе и в литературе порядку он был враждебен всем – самим своим духом,

установками, готовностью терпеть, понимать и принимать сложность явлений, неоднозначность толкований и неодномерность человеческой натуры.

В августе 1924 года Чуковский записывает: «А весь следующий день (вчера) я работал над редактурой Хроники для 6-го номера „Современного Запада“ – каторжная и никчемная работа, которая кажется еще более нелепой ввиду дурацкой придирчивости цензора Рузера – который выбросил статейки Ольденбурга, Сологуба и мн. других». В ноябре: "У меня неприятности с «Совр. Западом». Коллегия (видимо, «Всемирной литературы». – *И. Л.)* очень раскритиковала журнал, и я решил выйти в отставку".

Одновременно с «Современным Западом» заканчивали свое существование «Всемирная литература» и журнал «Русский современник» – последняя попытка выпускать независимое издание в советских условиях.

«Две души»

В 1924 году в издательстве Маркса вышли в свет две последние крупные критические работы Чуковского. Первая – «Александр Блок как человек и поэт» (в нее вошли «Книга об Александре Блоке», впервые опубликованная в 1922 году, и написанные для журнала «Записки мечтателей» воспоминания «Последние годы жизни»). Вторая – «Две души Максима Горького», которую Евгения Иванова называет «лебединой песней» критика, и понятно почему: больше Корней Иванович в критическом жанре не работал.

Как рождалась книга о Блоке – рассказывалось выше. Писать о Горьком Чуковский тоже собирался давно. Еще до революции он прочитал несколько лекций о Горьком, в послереволюционное время вновь вернулся к творчеству писателя, который стал стремительно бронзоветь. В 1919 году он вновь читал о Горьком (на вечере, организованном «Всемирной литературой»), и мысли, высказанные тогда, впоследствии включил в книгу. Оформив ее окончательно, он вновь пытался прочитать лекцию о Горьком: представлять новую работу в виде лекции и книги было для него обычной практикой. Однако теперь ничего не получилось. Он дважды пытался выступить, но дважды выступление запрещали – в феврале и в мае 1924 года. «Максим Горький как тема не подлежит в эти дни публичному обсуждению с какой бы то ни было точки зрения», – записывал Чуковский в дневнике. Горький стремительно отдалялся от единомышленников, отходил от руководства своими начинаниями, превращался в советскую

икону. «Две души Максима Горького» все-таки увидели свет, однако были встречены гробовым молчанием критики.

Чуковский в «Двух душах» удивляется тому, что человек, выросший в бесчеловечном окружении, стал не преступником, а неутомимым борцом за человеческое счастье: без устали проповедует и делится готовыми рецептами счастья – постоянно твердя их снова и снова. Каков же рецепт Горького? «Надо думать о людях, о переустройстве их жизни, а все остальное вздор», – формулирует Чуковский. Никакой метафизики. Никаких душевных исканий. «Трагедии бытия, мучившие прежних великих писателей, Горький заменил трагедиями быта. Кроме публицистических, социальных вопросов, он не знает никаких других». Человек, поднявшийся с социального дна, верит, что ключ ко всем проблемам – в социальном переустройстве, и потому в своих книгах настойчиво пропагандирует разнообразные – в зависимости от очередного увлечения – лекарства от социальных болезней. И ничего, кроме материального благополучия, не предлагает. Чуковский замечает острый конфликт между Горьким-проповедником культурной жизни и Горьким-художником. «Весь художественный аппарат Горького приспособлен исключительно для изображения дикой, некультурной России. В этой области он – уверенный мастер», – заявляет Чуковский. А стоит ему заговорить об интеллигенции, Блоке, Короленко – выходит скучно и плоско, "у Горького и органов нет, чтобы ощутить именно *культурное* значение Блока. Даже и представить себе нельзя, чтобы Горький мог изобразить в какой-нибудь повести такого человека, как Блок. <…> вся та культура, представителем коей был Блок, для Горького еще не существует. Горький – человек с большими сведениями, но культурность заключается не в том, чтобы не смешивать Ларошфуко с Фуко и Лавуазье с Демурье, а единственно – в тонкости, сложности чувств, в изощренной восприимчивости, в богатой оттенками идеологии". "Для изображения *процессов душевной жизни* у него нет никаких дарований", – припечатывает Чуковский и пророчит: «Начинается элементарная эпоха элементарных идей и людей, которым никаких Достоевских не нужно, эпоха практики, индустрии, техники, внешней цивилизации, всякой неметафизической житейщины, всякого накопления чисто физических благ, – Горький есть ее пророк и предтеча». И уж конечно, в этом мире Блоку делать нечего.

Горький-художник рисует яркую, узорчатую, шальную, хмельную жизнь, упивается ею, радуется… а публицист скучно твердит о необходимости культуры и машин… У художника огромная палитра, где сотни оттенков, а публицист знает лишь

черное и белое, безудержно обличает одно и славит другое. Художник славит жизнь такой, какая она есть – просто потому, что жить – хорошо! Публицист рассудительно доказывает полезность санитарии, гигиены, цивилизации, чего угодно, «и не смейте служить ничему абсолютному, самоцельному и самоценному, – только человечеству, только его удобствам и пользам!».

Вот на эту реплику, вложенную Чуковским в уста Горького, стоит обратить особое внимание. Она резко враждебна всей системе взглядов Чуковского, для которых понятие «абсолютного, самоцельного, самоценного» является ключевым.

Это становится особенно наглядно, если вспомнить финал книги «Александр Блок как человек и поэт», вышедшей в том же году. Чуковский пишет там о Бертране, герое драмы «Роза и крест», который считал Прекрасной Дамой бездушную пошлячку и стоял на часах под ее окном, пока она предавалась страсти с «ее пошлым любовником»: «Он счастлив своей жертвой Пустоте. Пусть его невеста – картонная, но сердце у него не картонное: человеческое, героическое сердце, преображающее своими ненужными жертвами Балаганчик мира в Храм».

Храм строится не только и не столько мускульным усилием и мастерством чертежника, сколько усилием души. Без него мир так и останется балаганчиком. Или пестрым, шумным, размалеванным горьковским ярмарочным балаганом.

Чуковский оставил Горького на распутье. Тогда, в 1920-х, когда писатель, казалось, отошел от примитивной, пафосной декларативности, которою было пронизано все его раннее творчество, когда создал несколько мастерских, зрелых, серьезных произведений – оставалась крепкая надежда на то, что художник возьмет верх над проповедником.

Однако проповедник одолел.

И именно самая ходульная, самая публицистическая, утилитарная, агитационно-пропагандистская часть наследия Горького стала считаться вершиной его творчества и вошла в школьные программы.

И, как пишет в комментариях к книге «Две души Максима Горького» Евгения Иванова, книга эта стала «своего рода жупелом для советских горьковедов, например, К. Д. Муратова не включила статью о Чуковском-критике в „Историю русской критики“, откровенно признаваясь наследникам, что не может простить ему статьи и эту книгу о Горьком. А Елена Цезаревна Чуковская вспоминает, что уже в 60-е годы Корней Иванович показывал ей письмо, автор которого требовал немедленно выслать ему какую-то сумму, угрожая, что в противном случае

перешлет имеющийся у него экземпляр книги „Две души Максима Горького“ куда следует».

Та же судьба постигла и книгу «Александр Блок как человек и поэт» – забытая читателем, растасканная блоковедами, она, как и «Две души Максима Горького», была переиздана только в 1990 году.

Книга о Блоке стала итогом огромной работы, начатой еще при жизни поэта; мать Блока, Александра Александровна Кублицкая-Пиоттух, высоко ценила эту книгу и даже говорила, что в ней сказаны «поистине драгоценные вещи». Но самое важное, пожалуй, – то, что в этой книге все сошлось: могучая сила любви и тоски, зрелое мастерство, научная добросовестность, наблюдательность внимательного друга. Чуковский наконец-то нашел свой жанр и своего героя. Книга о Блоке – уникальный синтез: личность и творчество она рассматривает как единое целое. Даже деление на две части – «Александр Блок как человек» и «Александр Блок как поэт» – очень условно, потому что в Блоке поэтическое и человеческое неразделимо: никакой другой биографии, кроме творческой, у него не было. В прежних своих статьях Чуковский часто задавался вопросом, как талант сочетается с личностью – варианты здесь самые разные: Уайльд, который заплатил жизнью за искусство; Некрасов, в чьей душе человек и поэт непрестанно конфликтовали друг с другом; Горький-публицист, подчинивший себе мастера; в Блоке он первый раз встречается с единством жизни и мастерства. И бытовые подробности, драгоценные воспоминания – как и где Блок читал «Незнакомку» – это тоже факт искусства, такой же, как текучие гласные в этой самой «Незнакомке». Чуковский и в Блоке находит раздвоенность – но это не конфликт поэта и человека, а внутренняя душевная драма веры и неверия, иронии и пафоса – мучительное развитие через отрицание, драма, разрешающаяся в гармонии: «Серафим несмотря ни на что. Падший и униженный, но серафим. Неверие только закалило его веру, кощунство только сделало ее человечнее. Оттого-то он так мучительно чувствовал мрак, что, в сущности, был светел и радостен». И заканчивает Чуковский свою книгу утверждением последней блоковской мудрости из «Розы и креста»: пусть мрак, пусть гибель, пусть ты никуда не придешь – но идти все равно нужно: «Если даже некого любить, будем любить, все равно кого и за что! Не в кого верить, но не верить нельзя. Идти некуда, но будем идти. Будем жертвовать собой во имя чего бы то ни было, потому что только жертвами освящается жизнь».

Этой истиной Чуковский заключает свои последние и лучшие критико-литературоведческие книги – и замолкает как критик,

сформулировав свое кредо на долгие годы вперед. Категорический императив. Самоцельный идеал. Надо, потому что надо. «Всюду беда и утрата, / Что тебя ждет впереди? / Ставь же свой парус косматый, / Меть свои крепкие латы / Знаком креста на груди». Он ставит парус, метит латы – и готовится к новым утратам и бедам.

«Не выдержал и убежал»

Дневник Чуковского удивляет иногда полным отсутствием всякой реакции на крупные события современности. Реакция одна: когда в стране происходит что-то серьезное, в дневнике на этом месте оказывается пробел в несколько месяцев. Так было в революцию, так потом произошло в Великую Отечественную; что уж говорить о временах репрессий… 1924 год: умер Ленин – и в дневнике дыра с 20 января по 15 апреля. Единственная ремарка сделана несколькими месяцами позже – о том, что Мурочка всякий раз, слыша слово «смерть», говорит «смерть Ленина», поскольку постоянно слышит это вокруг. Не стоит даже гадать, некогда было Чуковскому писать, или не хотелось, или записи были, но потом подверглись уничтожению, что он думал, как отреагировал на смерть вождя. Нет – значит, нет.

Чем жила страна в эти месяцы? Началась – пока еще внутрипартийная – борьба с Троцким и троцкистской оппозицией. Прошел Всесоюзный съезд Советов, утвердивший Конституцию СССР. Петроград был переименован в Ленинград. В литературе свирепствовала Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, ВАПП, боровшаяся не столько за идеологическую выдержанность литературы, сколько против всего мало-мальски хорошо написанного. Начал выходить журнал «Русский современник». Почти одновременно с ним родился и журнал «Большевик», орган ЦК партии под редакцией Бухарина. Роль проводников партийной политики в литературе отводилась в этом журнале левацким критикам, от которых впоследствии партия поторопилась отмежеваться. Это издание еще сыграет свою роль в жизни «Русского современника».

Чем жил Чуковский? Как всегда – работой. В апреле он снова начинает вести дневник, записывая: "Я только что закончил целую кучу работ: 1) статью об Алексее Толстом, 2) перевод романа Честертона *"Manalive"*,[13] 3) редактуру Джэка Лондона «Лунная Долина», 4) редактуру первой книжки «Современника» и пр.".

Репину он писал в начале года: «Мои детские книги неожиданно стали пользоваться огромным успехом и дают мне

изрядную ренту. Если бы условия книжного рынка были иные, я был бы богатейшим человеком».

Событий в жизни Чуковского в этом году много.

В апреле он был в Москве с редакцией «Русского современника»: журнал, издающийся в обеих столицах, устраивал там свои чтения. К. И. читал новую статью о Толстом. Замятин, читавший на вечере «Пепельную среду», записывал потом, что по-настоящему аплодировали только Ахматовой. Газеты откликнулись на это событие в обычном для всякого разговора о деятельности попутчиков тоне. «Вечерняя Москва» вопрошала: «Кому было показать суровый пафос революционных дней?» – и перечисляла: ни Чуковский, ни Замятин, ни Ахматова этого не могут. «Это не „Литературное сегодня“, а литературное вчера». «Правда» играла с теми же словами: «„Подсохшие“, пахнущие нафталином, чопорные сюртуки так и не заметили, что их „сегодня“ – вчерашнее „сегодня“».

К. И. записывал несколько дней спустя в дневнике, что читал плохо, провалился, и статья плохая. А много лет спустя филолог Юлиан Оксман сообщал ему в письме, что эта статья пробила брешь в его неприятии писаний Чуковского, что он рассказал об этом своим студентам на семинаре, и те загорелись желанием статью найти. В библиотеках Саратова нужного журнала не оказалось – и вот, читаем в письме Оксмана Чуковскому: «Недавно ездил в Москву один из моих саратовских дипломантов специально затем, чтобы прочесть в „Русском современнике“ вашу статью об Алексее Толстом. И что же? Он статью эту целиком переписал (от руки!), и сейчас эта тетрадка ходит по рукам в нашем университете совсем так, как ходило когда-то письмо Белинского к Гоголю или „Не могу молчать“ Л. Толстого».

«Я не очень хорошо понимаю, в чем тут дело», – признается Оксман. Человеку, причастному к непрерывной культурной традиции, возможно, и впрямь трудно представить, в чем дело. Однако советским студентам 1952 года (да и куда более поздних лет), выросшим и сформировавшимся под тотальным идеологическим контролем, критические работы Чуковского не могли не показаться глотком свежего воздуха. Они задавали совсем иную, чем привычная, систему координат; всякий писатель в них оценивался по строгому гамбургскому счету. Сам факт того, что о священных коровах советской литературы говорится свободно, без раболепного почтения и без всякой оглядки на классиков марксизма-ленинизма, – невероятно много значил для студента-гуманитария самой идеологизированной эпохи.

В июне на Чуковского с новой силой обрушилась бессонница.

Семья выехала в Ольгино на дачу. Корнею Ивановичу, кажется, и на даче было неуютно, и в городе плохо: мешают люди, мешает семья, мешает шум, жара, мухи, клопы, мешают мысли, мешает сам себе. Чуковский дошел до полного отчаяния, мечтал о смерти, как избавлении, бил себя кулаком по голове. «В голове не мозги, а грязные тряпки», – жаловался он.

Часть лета он провел в Сестрорецке, временами заходя к курортным врачам на процедуры: надо было, наконец, и подлечиться. В санатории превратились бывшие буржуазные дачи, и в дневниках Чуковского немало записей о том, как прекрасно, что дачи, курорты и парки, где раньше отдыхали небольшие группы людей, стали общим достоянием. Теперь и рабочие могут лечиться, у них двести слуг, радуется он… но потом «радость остывает: лица у большинства тупые, злые». И тем не менее Чуковский убеждает себя, что все правильно, что открыть детский санаторий в здании дачи Грузенберга (напомним, адвоката, который его защищал в 1906 году) – самое лучшее, что можно было сделать с этой дачей. Грузенберг сам был бы рад, убеждает он себя, вся его семья тяготилась дачей, а теперь здесь бегают загорелые дети. «Глядя на „Дома для детей“, на „Санатории для рабочих“, я становлюсь восторженным сторонником Советской власти. Власть, которая раньше всего заботится о счастьи детей и рабочих, достойна величайших похвал». Положа руку на сердце – так ли уж он в этом неправ?

Чуковскому очень близок всякий, кто искренне заботится о счастье детей. Из своего санатория он регулярно уходит в близлежащие детские здравницы – санатории для нервных детей, для больных костным туберкулезом. «Всевозможные уродцы», «страшное зрелище», записывает он – туберкулез вообще и костный туберкулез в частности косил ослабленное многолетним голодом население страны, а эффективного лечения еще не изобрели. Не избежали этой болезни и дети Чуковского: Лида была тубинфицирована, Мурочка умерла от костного туберкулеза.

К. И. с ужасом и жалостью пишет об «уродцах», которым читал сказки, с которыми долго беседовал. Его тянет к детям – гораздо больше, чем к взрослым, от которых он порой готов прятаться. В дневнике есть забавные записи о том, как он пытался сбежать от Леонида Собинова к его четырехлетней дочке Светланочке в день ее именин: «Я каждую минуту порывался встать и пройти к Светику, которая в саду под деревом стояла довольно растерянно и не знала, что ей делать с подарками: кукла Юрий, кукла Акулина, домик – вернее, комната: спальня зайца и мн. др. В конце концов я не выдержал и убежал к

Светлане… Когда, наконец, я добрался до нее, мы оставили в стороне все ее дорогие и в сущности ненужные игрушки и стали играть – еловыми шишками: будто шишка – это земляника. Шишка ей куда дороже всех этих дорогостоящих роскошей».

Чуковский жил отдельно от жены и детей – они ходили друг к другу в гости или встречались на территории курорта. Пытался наладить сон, загорал в домике для солнечных ванн, который называл «плюварием». Сочинял новую сказку, которая пока называлась «Метла и лопата», а потом стала «Федориным горем». Катался на лодке, писал новую статью о детях (она выйдет потом в последнем номере «Русского современника»), разговаривал с Мурочкой. Работал над материалами для двух журналов сразу – «Русского современника» и «Современного Запада»; для первого – с удовольствием, для второго – по необходимости, «Хроника» его сильно утомляла. Впрочем, утомляло все, что требовало педантичного, кропотливого труда – корректура, редактура, рецензирование, – все, что на полную катушку эксплуатировало его литературоведческую добросовестность, но не позволяло проявиться аналитическим способностям ученого и художественным склонностям творца. Уже в сентябре он перечисляет среди «каторжных и нисколько не интересных работ» не только «Хронику», но и книжные рецензии «Современника», и «Паноптикум» (нечто вроде рубрики «Ашыпки» в советских изданиях: ляпы в текущем книгоиздании и периодике), и разбор писем Леонида Андреева.

Что он еще делал? Наблюдал за жизнью отдыхающих, грустно замечая торжество воспрянувшей пошлости: «Потом мы пошли берегом среди стотысячной толпы купающихся. Мороженщики, спящие пары, бутерброды, корзины с вином, пивные бутылки, бумажки, гомерически жирная баба, купающаяся нагишом, под хохот всех присутствующих, тощая девица в грязном белье, жеманно вкушающая мороженое, крики, свистки, смехи, бородатые старцы с биноклями – демократия гуляет во всю». Стоит Чуковскому заговорить об этой «демократии» – и он с трудом унимает в себе желчного, нервного, издерганного Сашу Черного, к которому в годы нэпа особенно близок по духу – с кипучей ненавистью к толстым щекам, жирным задам, кривым крепким ногам и дубовым затылкам. «Я должен их любить, я люблю их, Господи, помоги моему нелюбию».

Впрочем, летний отдых оказался благотворен: надо же успеть перевести дух перед новым трудовым годом. При этом денег по-прежнему не хватало, еда была скудная, а цензура мытарила каждый материал «Современника». Об отъезде в город Чуковский думал с ужасом: в городе снова начнется суета, тоска, беготня по

ненужным конторам, разговоры с неинтересными людьми. Вернувшись в начале осени в Ленинград, К. И. записывал в дневнике: «Впервые за всю свою жизнь чувствую себя почему-то здоровым и, как это ни смешно, молодым». И почти сразу началось уничтожение всех серьезных проектов, в которых участвовал Чуковский, и к середине зимы завершилось.

Среди событий той же осени – самое крупное после «пушкинского» наводнение в Северной столице и борьба с троцкизмом. Троцкий опубликовал книгу «1917», которую немедленно начали ругать за неправильное освещение революции. В печати шла яростная полемика и ругань, в учреждениях снимали со стен портреты Троцкого, хотя «Правда» еще печатала стенограммы речей опального вождя. 15 ноября К. И. записывал: «Корректор по секрету показал мне корректуру статьи Троцкого обо мне: опять ругается. Очень». Что именно Троцкий написал – установить не удалось: вполне возможно, что статья не вышла именно потому, что звезда вождя начала закатываться. А в «Чукоккале» появились стихи Маршака:

Расправившись с бело-зелеными,
Прогнав и забрав их в плен, —
Критическими фельетонами
Занялся Наркомвоен.
Палит из Кремля Московского
На тысячи верст кругом.
Недавно Корнея Чуковского
Убило одним ядром.

Опекун

В начале мая 1924 года женился сын, Николай Корнеевич. Чуковский-старший этому совсем не обрадовался, вспоминая собственную судьбу и необходимость с юных лет зарабатывать на прокорм семье: «Предо мною все время стоит моя судьба: с величайшим трудом, самоучка, из нищенской семьи вырвался я в Лондон – где столько книг, вещей, музеев, людей, и все проморгал, ничего не заметил, так как со мною была любимая женщина. Горе твое, если основой твоей карьеры – будут переводы с английского. Это еще хуже моих фельетонов, на которые я убил мои лучшие годы», – предостерегал он сына.

Вместо родительских нотаций он писал детям письма. Послание Коле по поводу женитьбы – очень длинное и трагическое, даже чересчур трагическое. Еще немного – и станет

смешно: неужели отец мог всерьез полагать, что 20-летний сын почтительно примет его совет и отложит свадьбу ради саморазвития?

Ты поэт, увещевает К. И., твое дело – стихи, а женитьба помешает тебе развиваться. «Тебе нужно читать, путешествовать, повысить свое любопытство к людям, странам, культурам, вещам. Это нужно тебе именно сейчас, потому что только в твои годы определяется, творится человек, – увещевает отец сына. – Оттого я и говорю: ради своего будущего, ради Марины, ради своих стихов – уезжай до осени, один, побродить, пошататься, увидеть новых людей. Ты и не представляешь себе, до какой степени узок и тесен тот круг, в котором ты теперь вращаешься. Этот круг сузится еще больше, если ты женишься сию минуту. Женившись, ты сейчас же принужден будешь думать о скучных вещах, о копейках и тряпках – и тогда прощай поэт Н. Чуковский». К. И. пишет сыну, что замечает в нем «обывательские замашки» (к которым относит даже покупку обручальных колец), предупреждает об опасности заплесневения души, убеждает: «Тебе нужны героические усилия, чтобы не подчиниться той нечеловеческой пошлости, в которой теперь утопает Россия». Заклинает: не надо, не женись сейчас, пойдут дети, «а ребенок для тебя в твои годы – могила».

Коля, разумеется, увещеваниям не внял и женился. Чуковский-старший был, пожалуй, раздосадован. Со свадьбы ушел: и потому, что вообще не терпел застолий, именин, праздников, банкетов, с трудом выносил свадебные приготовления. И, может быть, потому, что ему казалось, будто сын отдаляется от него, рвет с ним духовную связь. "Еще два часа моему сыну быть моим сыном, потом он делается мужем Марины, – пишет он в дневнике. – Без десяти шесть. Коля идет венчаться. Вчера он побрился, умылся, готовится. В этих *приготовлениях* для меня есть что-то неприятное". Сам Чуковский в «приготовлениях» не участвует. Он работает. Как всегда – работает. Занят Честертоном: заканчивает статью о нем. «Я рад, что ушел от свадьбы, – пишет он. – Я кончил о Честертоне, и свадьбы не для меня».

Он думает о сыне, и даже сам, кажется, удивляется тому, как противился его браку. Вспоминает Колю в детстве. Пишет взвешенно, оценивающе – но все-таки с любовью. Почему «все-таки» – потому что памятны строки Евгения Шварца, бывшего в эти годы его литературным секретарем: Чуковский якобы не любил людей, ненавидел даже своего сына. Но нет: любил. Строгой, требовательной, но безусловной любовью.

Дети начали всерьез помогать отцу в работе: Николай писал

и издавал романы, переводил, переводила и Лидия. У отца, конечно, были претензии к качеству их переводов, но помощь все-таки была существенной.

Лида закончила школу и поступила на Государственные курсы при Институте истории искусств. Как и женитьба сына, этот шаг не вызвал у Корнея Ивановича особой радости. Институт пока еще был оплотом формалистов, задушевных врагов Чуковского еще со времен Студии, хотя и в нем торжествовал уже «марксистский подход к литературе». «В детстве и отрочестве „отец мой да я“ были тесно и, казалось, нерасторжимо дружны, а вот юности моей он не принял, – писала Лидия Корнеевна в „Прочерке“. – …А зачем поступила на курсы при Институте истории искусств? Хочешь изучать литературу? Изучай! Учись дома, учись в библиотеке! Пробуй писать сама!.. Ссадина, которая разъедала и жгла его: зачем я поступила именно на курсы при Институте истории искусств? Чему тамошние – враждебные ему – учителя меня научат? Тут он видел с моей стороны чуть ли не изменничество. Литературе и ему». «„Факультет обездушенных“, так, под сердитую руку, называл Корней Иванович в двадцатые годы своих оппонентов, – вспоминала Л. К. – А я, я не нашла ничего лучшего, чем на этом факультете обучаться. Будь он внимательнее и терпеливее, он заметил бы, что я и сама понимаю: не моя эта дорога, не пойду я по ней, ищу своей тропочки, мучаюсь, сбиваюсь, путаюсь, и ему надо потерпеть. Но любящие нас – как и мы! – нетерпеливы».

Чуковский еще вел полемику с Эйхенбаумом по поводу Некрасова, спорил с формалистами по принципиальным вопросам – однако наступало уже время, в которое такие дискуссии между профессионалами переставали быть возможны. При непрошеном вмешательстве третьей стороны проигравший отлучался от возможности печататься, а победитель обзаводился неизгладимым чувством вины: нечто вроде боксерского матча, где арбитром служит людоед с оглоблей. Писателям и ученым еще предстояло учиться отстаивать свою правоту в таких условиях, и мало кто не соблазнился идеей привлечь людоеда на свою сторону.

К. И. в декабре 1924 года читал в Институте лекцию об Эйхенбауме (потом издал статью «Формалист о Некрасове» – с возражениями Эйхенбауму) и был жестоко разочарован общением с аудиторией. «Когда заговорили слушатели, оказалось, что это дубины, фаршированные марксистским методом, и что из тысячи поднятых мною вопросов их заинтересовал лишь „социальный подход“», – записывал он в дневнике. И день спустя: «Вчера было заседание в институте, где приезжий из Москвы ревизор Карпов

принимал от сотрудников и профессоров присягу социальному методу. Была вынесена резолюция, что учащие и учащиеся рады заниматься именно социальными подходами к литературе (эта резолюция нужна для спасения института), и вот когда все единогласно эту резолюцию провели, один только Эйхенбаум поднял руку – героически – против „социального метода“».

Словом, при всем своем сложном дружески-неприятельском отношении к формалистам – не мог он принять выбора дочери. Временами возражал и против другого ее занятия – стенографии, которую она начала изучать зимой 1924/25 года. Удивлялся тому, с какой энергией она пытается решить для себя фундаментальные философские вопросы, – и с горечью видел, что она ищет правды на других путях, – не на тех, которые он ей указывал. Немного раньше, летом 1924 года, К. И. писал в дневнике: «Лида даже страшна своим интеллектуальным напором. Чувствуется в ней стиснутая стальная пружина, которая только и ждет, чтобы распрямиться. Она изучает теперь политграмоту – прочитала десятки книг по марксизму – все усвоила, перемолола, переварила, хочет еще и еще. Экономическая теория захватила ее, Лида стала увлекаться чтением газет, Англо-советская конференция – для нее событие личной жизни, она ненавидит Макдоналда – словом, все черты мономании, к которой она очень склонна. Жизнь она ведет фантастическую: ни секунды зря, все распределено, с утра до ночи чтение, зубрежка, хождение в библиотеку и проч.». От восхищения до страха, осуждения, раздражения – даже не шаг, а полшага.

Лида «вырабатывала мировоззрение». Пыталась читать Маркса, Гегеля, Фихте, Фейербаха, создавать собственную идейную платформу. Отца эти поиски скорее раздражали: он полагал (довольно справедливо), что сам может дать дочери не меньше института. Постепенно отношения накалились, весной 1925 года отец и дочь стали обмениваться письмами, чтобы спокойно разобраться с предъявляемыми друг к другу претензиями. «Не надо было объяснять мне, что эта работа – бессмысленна», – пишет она ему о стенографии. И еще: «Ты предлагаешь мне заняться Некрасовым. Не сомневаюсь, что эта работа очень интересная, тебе совершенно незачем меня в этом убеждать. Но разреши привести один пример…» – и приводит: а если бы тебе, занятому Некрасовым, предложили писать биографию Пушкина? «Ты и мама, вы не желаете никогда учитывать чужой внутренней последовательности, которая для вас совершенно непонятна и которую вы не желаете понимать». «Опекун – это тот, кто любит тебя и готов для тебя на все, но, не

зная внутренней твоей последовательности (опять!), часто не помогает, а мешает».

Добрый доктор Айболит

Осенью 1924 года Чуковский и Добужинский гуляли по Петербургу и задумались: откуда взялось название «Бармалеева улица». «Кто был этот Бармалей?» – заинтересовался Чуковский. Добужинский ответил, что Бармалей был разбойник, знаменитый пират, «в треуголке, с вот такими усищами». Нарисовал страшного разбойника и предложил Чуковскому написать о нем сказку. И сказка была написана, и в нее почти сразу попал положительный герой – доктор Айболит из пересказанной К. И. сказки Хью Лофтинга, наделенный, впрочем, самыми дорогими сердцу Чуковского чертами русского интеллигента.

Чтобы читателю не путаться, объясним сразу: «Доктор Айболит» – это пересказ Лофтинга, отдельным изданием вышел в 1936 году. Просто «Айболит» – это совершенно оригинальная поэтическая сказка Чуковского, опубликована в 1929-м. Некоторое родство есть, но лишь отдаленное. «Бармалей», где доктор Айболит пытается спасти от разбойника Таню и Ваню, написан в 1924 году. Невзирая на время публикации, все эти сказки восходят к началу 1920-х годов, когда Чуковский читал и пересказывал Лофтинга.

В перестройку было очень модно обвинять советских детских писателей в плагиате: мол, и «Волшебник Изумрудного города», и «Буратино», и «Доктор Айболит» – всего лишь украденные и опубликованные под собственным именем творения западных писателей. На самом деле все гораздо сложнее. В Россию так или иначе попадали иностранные книги, и автор, заболевший иностранной сказкой, не мог не думать о том, чтобы поделиться ею с русскими детьми (да-да, конечно: за это еще и деньги платили). Иногда книга была в распоряжении писателя, иногда только маячила в памяти, размытая, как сновидение. Очень часто писатели, сроднившись с заимствованными образами, создавали с ними собственные сказки: так поступил и Волков, и Толстой (которому пересказать итальянскую сказку совсем по-своему вообще посоветовал Маршак), и у Чуковского Айболит появляется в «Топтыгине и Луне», не имеющем к английскому Дулиттлу никакого отношения, в «Бармалее» 1924 года и в «Одолеем Бармалея» 1943-го…

А вопросы копирайта в советской России решались просто. Когда Чуковский делился с мистером Кини из АРА издательскими планами «Всемирной литературы», американец спросил: «А как

насчет копирайта?» Чуковский смутился и не смог толком объяснить, что в Советской России копирайт считают буржуазным пережитком. Ему-то самому эта позиция казалась дикой, и на прозаическом «Докторе Айболите» он честно указывал: «По Гью Лофтингу». Почему же не «Лофтинг в переводе Чуковского»? Сейчас увидим.

Вот пишет Лофтинг (подстрочный перевод мой. – *И. Л.):*

"Много лет назад, когда наши дедушки были маленькими, жил-был доктор, и его звали Дулиттл – Джон Дулиттл, д. м. (доктор медицины. – *И. Л.)*. «Д. м.» означает, что он был правильный доктор и знал довольно много.

Он жил в городке Лужинск-на-Болоте Puddleby-on-the-Marsh. Все люди – и стар и млад – знали его в лицо. И когда он шел по улице в своем цилиндре, все говорили: «Вот идет доктор! Он очень умный!» И собаки, и дети подбегали и шли за ним, и даже вороны, которые жили на колокольне, каркали ему и кивали головами.

Дом, в котором он жил на краю города, был довольно мал; но сад – довольно велик; в нем были просторная лужайка и каменные скамейки, над которыми нависали плакучие ивы. Его сестра, Сара Дулиттл, вела его хозяйство, но за садом доктор ухаживал сам.

Он очень любил животных, и многие жили у него дома. Кроме золотых рыбок в пруду в глубине сада, в кладовке у него жили кролики, в пианино – белые мышки, в бельевом шкафу – белка, а в подвале – ежик. Еще у него были корова с теленком и старая хромая лошадь двадцати пяти лет от роду, и цыплята, и голуби, и два ягненка, и много других животных. Но больше всего он любил утку Даб-Даб, голубя Джипа, поросенка Габ-Габа, попугаиху Полинезию и сову Ту-Ту".

А вот что сделал из этого Чуковский:

"Жил-был доктор. Он был добрый. Звали его Айболит. И была у него злая сестра, которую звали Варвара.

Больше всего на свете доктор любил зверей. В комнате у него жили зайцы. В шкафу у него жила белка. На диване жил колючий еж. В сундуке жили белые мыши.

Но из всех своих зверей доктор Айболит любил больше всего утку Кику, собаку Авву, маленькую свинку Хрю-Хрю, попугая Карудо и сову Бумбу".

Что происходит с текстом? Выпадают все подробности, придающие доктору национальность, конкретность, социальный статус. Теряется маленький домик с типичным английским садом, плакучими ивами и прудом, пропадает даже цилиндр и остается главное: «Жил-был доктор. Он был добрый». Если

сравнить эту работу над текстом с дневником, сразу видно: Чуковский пытается рассказывать эту сказку четырехлетней Мурочке, которой совершенно не важно, были у доктора в саду каменные скамьи или нет, ее интересует другое: «А он добрый?» (Запись в дневнике от 15 июля 1924 года гласит: «Вечером на террасе я пересказывал „Золотого гуся“ Муре – и всякий раз, когда в сказке появлялся новый персонаж, она спрашивала: „А он добрый?“ Ей надо знать, сочувствовать ли ему или нет, тратить ли на него свою любовь: – „И вот видит, в лесу у дороги сидит голодный старичок“. – „А он добрый?“ – „Да“. – „Ну так мне его жалко“».) А сестра доктора (Варвара, не Сара) была злая, сразу задает систему координат Чуковский; про Сару у Лофтинга нигде не говорится, что она была злая. Она просто предъявляла доктору претензии в рамках здравого смысла: в приемной полно мышей и ежей, самые лучшие пациенты от тебя отвернулись, чем жить-то будешь?

Для Мурочки, кстати сказать, придуманы даже новые имена зверей. «Авва» на ее младенческом языке значило «собака», «Бумбой» она звала секретаршу Чуковского Марию Никитичну Рыжкину, которая писала под псевдонимом «Памбэ»…

Текст сокращается, от него остается только костяк – самое существенное, чтобы малыш не потерялся в изобилии подробностей – пусть даже смешных (ревматическая пациентка доктора села в приемной на ежа и с тех пор к нему не приходила). Остается главное: доброта доктора, способность исцелить любого пациента, знание звериного языка и героизм. Конкретный английский доктор с именем-фамилией и научной степенью, с сестрой-экономкой Сарой, с бельевым шкафом и пианино совершенно превратился в сказочного доктора для детей от двух до пяти.

Интересны в айболитско-бармалейском цикле образы добра и зла по-чуковски: зло олицетворяет Бармалей – большой, грубый и жестокий, а добро – уютный, интеллигентный, милосердный доктор, родственный по духу Чехову в понимании К. И. Если почитать описание Чехова в «Современниках» и сравнить его с доктором Айболитом – типаж, несомненно, один и тот же: деликатный, самоотверженный интеллигент-бессребреник с крепким внутренним стержнем. Не в том дело, что Чуковский списывал своего доктора с Чехова или с виленского доктора Шабада, как он сам о том говорил; просто для него и тот, и другой, и третий доктор – лучшее олицетворение сил добра. Статья о Чехове написана куда позже «Айболита», и вряд ли Чуковский сам задумывался о родстве двух описанных им докторов, но тем яснее родство и тем понятнее, *что* Чуковский

мог противопоставить крепкозатылочному, кривоногому, бездарному, грубому злу, не имеющему даже зачаточных этических представлений.

Вот Чехов, больной и измученный, едет на Сахалин «с единственной целью принести хоть какое-нибудь облегчение бесправным, отверженным людям, хоть немного защитить их от произвола бездушно-полицейской системы»:

«Его так жестоко трясло всю дорогу, особенно начиная от Томска, что у него разболелись суставы, ключицы, плечи, ребра, позвонки… руки ноги у него коченели от холода, и есть ему было нечего, так как он, по неопытности, не захватил с собой нужной еды…»

«…пробираясь по весеннему разливу в тележке, он промочил себе валенки и должен был в мокрых валенках поминутно выпрыгивать в холодную воду, чтобы придержать лошадей».

А вот доктор Айболит идет в Африку помогать больным животным:

А в лицо ему ветер, и снег, и град:
«Эй, Айболит, воротися назад!»
И упал Айболит и лежит на снегу:
«Я дальше идти не могу».

Но доктор Чехов не останавливается: «И все же он пробирается вперед и вперед».

И не останавливается доктор Айболит:

И вперед поскакал Айболит
И одно только слово твердит:
«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо…»

И вот Чехов ночует в избе на полу в мокрой одежде, и обходит огромный остров пешком, чтобы составить перепись его населения, и вот Айболит десять ночей подряд «не ест, не пьет и не спит, / Десять ночей подряд / Он лечит несчастных зверят / И ставит и ставит им градусники…».

9 ноября Чуковский записывает в дневнике: Бармалей «мне не нравится совсем, я написал его для Добужинского, в стиле его картинок». Называет его «словесной опереттой», созданной специально для того, чтобы пробудить в детях чувство стихотворного ритма. Называл он «Бармалея» и авантюрным романом для самых маленьких. Впрочем, авантюрные романы – и для маленьких, и для больших – были не ко двору и не ко

времени. Время хотело строить и жить в сплошной лихорадке буден.

Волчий оскал

«Русский современник» выходил раз в два месяца «при ближайшем участии М. Горького, Евг. Замятина, А. Н. Тихонова, К. Чуковского, Абр. Эфроса». Участие Горького в редактировании журнала вскоре стало номинальным, однако он продолжал в нем публиковаться как автор. К этому своему детищу, как и ко всем остальным, он охладел довольно быстро.

Журнал с самого начала задумывался как частный, что позволяло ему сохранять независимость от государства и собственное лицо. Его издателем стал Николай Магарам. После запрета «Русского современника» ничего подобного в России уже не появлялось. Уже первый номер собрал лучшие силы русской литературы: в нем появились стихи Ахматовой и Сологуба, в нем печатались Горький и Замятин, Пильняк и Бабель. В разделе «Литературный архив» впервые увидели свет неизданное письмо Льва Толстого о Шекспире, стихотворение Тютчева «Байрон», неизвестные письма Достоевского. И неизвестные пока, но прославленные впоследствии стихи Козьмы Пруткова, написанные А. К. Толстым: «Мудрость жизни», «Божия коровка» и «Отрывок (речь идет о бароне Вельо)» – помните, «телеграфного депешею городничий извещен, что идет колонной пешею на него Наполеон…». А также балет «Comma» и «Басня о том, что дискать как один филосов остался без огурцов». Чуковский в дневнике приводит отзыв Маяковского: «Ну что ж! „Современник“ хороший журнал, в нем сотрудники – Лев Толстой, Достоевский».

В этом же номере были опубликованы воспоминания Горького «Владимир Ильич Ленин», фрагмент из которых стал обязательным чтением для многих поколений советских школьников («изумительная, нечеловеческая музыка», «матерый человечище», «так смеяться может только честный человек», «прост, как правда» и т. п.). Правда, в наши учебники литературы не вошли менее хрестоматийные строки из этих воспоминаний: «С коммунистами я расхожусь по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией»; «я очень сомнительный марксист»; «невозможен вождь, который – в той или иной степени – не был бы тираном. Вероятно, при Ленине перебито людей больше, чем при Уот Тайлере, Фоме Мюнцере, Гарибальди…». Или вот: «Старый знакомый мой… человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чеке», говорил, что «ведь Ильичу тоже, наверно,

частенько приходится держать душу за крылья…».

В журнале был огромный библиографический раздел, умно и со знанием дела анализирующий новые книги – не только художественные, но и мемуары, и теоретико-, и историко-литературные публикации. В первом номере особенно примечательна рецензия Шкловского на книгу Александры Коллонтай «Любовь пчел трудовых»: Виктор Борисович уверяет читателя, что Коллонтай – институтка, начитавшаяся Чарской и Вербицкой… да и сама она «коммунистическая Чарская и Вербицкая» (все-таки талантливый и независимый Шкловский внимательно читал старого недруга Чуковского).

Во втором номере появились Пастернак, Есенин, Мандельштам… Начал печататься «Ибикус» Алексея Толстого. Журнал делал ставку на «попутчиков», присутствовали в нем и эмигранты (Ходасевич, к примеру, или Цветаева; надо сказать, что редакция вообще не делила русскую культуру на две части, воспринимая ее как единое целое). Пролетарские поэты в нем появлялись, но не часто – и опубликованные стихи не были идеологическими. У издания было четко определенное собственное лицо. При этом он был совершенно не похож на «Дом искусств» – несмотря на то, что круг редакторов и авторов его был во многом тот же. «Дом искусств» был памятником великой и страшной эпохи, голодной и дикой, с его страниц веяла смерть, и многочисленные полосы его раздела хроники служили одной-единственной цели: поддержать слабенький огонек гибнущей культуры, известить людей о том, что он еще горит, связать потерявших связь, собрать рассеянных. И черно-белые художественные вклейки, и лаконичное оформление страниц, и даже сам альбомный формат – все придавало изданию скорбную торжественность реквиема.

«Русский современник» был совсем иным. Вдвое меньше размером, вовсе лишенный иллюстраций, он казался скорее будничным и деловитым. Задача перед ним стояла другая: отстоять свое право на творчество, на собственное видение мира, на свою позицию. Сохранить независимость мысли. Не оставлять филологии, не отдавать ее в руки вульгарным марксистам, напостовцам, вапповцам и лапповцам. Не терять широты кругозора – именно поэтому в журнале наряду с художественными произведениями, критикой и литературоведением появлялись научные статьи: о новых идеях в шахматах, о павловской теории условных рефлексов, о проблеме Востока в теории музыки и т. п. Кроме того, в журнале непременно присутствовала часть «Паноптикум» с эпиграфом из Блока «Открыт паноптикум печальный». В ней публиковалась

«Тетрадь примечаний и мыслей Онуфрия Зуева», родителями которого стали Чуковский и И. Н. Розанов; в «Чукоккале» К. И. пишет, что писал «Паноптикум» вместе с Замятиным: «Я доставлял Замятину почти весь материал, он искусно обрабатывал его». В «Паноптикуме» отчетливо прослеживается родство с «Литературными стружками» Чуковского в «Речи» – постоянной рубрикой, где К. И. ехидничал по поводу всякой глупости, ошибки и опечатки в новых книгах, газетах и журналах.

Онуфрий Зуев отличался большим ехидством и изъяснялся почти зощенковским языком – скажем, по поводу встреченной где-то описки «косметическая физика» вместо «космическая физика» размышлял (в четвертом номере): «Если в смысле косметики, так неужели они там до того дошли, что даже морды согласно науке раскрашивают?» По любому официозу он прохаживался немилосердно. Стоило «Красной газете» по ошибке написать о квартире, «подмоченной огнем», как Зуев язвил: «Извиняюсь, не могу поверить! А и не верить – не смею! Не какая-нибудь „Биржевка“, а вечерняя „Красная газета“. Господи, помоги моему неверию!» Замечал «выбившиеся из-под передника волосы» в переводе с немецкого и «старонэпмановскую Москву» в произведении об эпохе Ивана Грозного. Найдя фактическую ошибку и приводя справку из Брокгауза и Ефрона, ехидно присовокуплял, что все-таки «Брокгауз есть издание прогнившего старого мира». Обнаружив в некоем «Календаре рабочего» неуклюжую смысловую конструкцию – Коперник, мол, «опрокинул туманную надстройку буржуазных теорий о вращении земли», – комментировал: «Стало быть, насчет вращения земли – это есть гидра, и нынче вращение это отменяется».

Ничего антисоветского тут, как ни крути, не было. Но власти и критики, считающие себя выразителями интересов пролетариата, остро чувствовали враждебность «Русского современника». Дама-цензор, запретившая четвертый номер журнала, каждый материал которого уже прошел предварительную цензуру, на упреки в неразумности такой меры реагировала так: «Ваш журнал весь вреден, не отдельные статьи, а весь, его и нужно весь целиком вычеркнуть. Разве вы можете учесть, какой великий вред может он причинить рабочему, красноармейцу?»

Вредный журнал становился лучше от номера к номеру. В третьем номере были опубликованы стихи Есенина, Цветаевой, Пяста, проза Пильняка и Эльзы Триоле, литературоведческие работы Эйхенбаума и Шкловского, Грабарь писал об искусстве русской эмиграции, а Гроссман – об Аполлинарии Сусловой. В

рубрике «Уездное» Виктор Финк рассказывал в статье «Новый быт» о современной русской деревне, о том, почему клич «Срубай купола» был так охотно ею воспринят. «Современник» не упускал из виду и массовую культуру: В. Ш. (Шкловский) писал о «Тарзане», замечая: «Мы прозевали кинематограф, не изучаем газету и интересуемся, в сущности говоря, только друг другом. Тарзана можно не замечать и это будет традиционно, но глупо. Необходимо изучение массовой литературы и причин ее успеха». Вновь неожиданный пример влияния Чуковского на Шкловского?

Но главное в этом номере – пожалуй, материалы, посвященные памяти Блока: воспоминания его двоюродного брата, воспоминания Замятина, «Сцены из исторической картины „Всемирная литература“», опубликованные Чуковским. Журнал продолжал петь *тайную свободу,* уже вослед Блоку.

«Русский современник» можно без натяжки назвать эталонным литературным журналом. Практически каждый его материал с интересом читается и сейчас, а такого созвездия авторов, пожалуй, не удавалось больше собрать под одной обложкой ни одному изданию. Однако это не могло не вызывать раздражения у тех, кто стремился подчинить «все стороны нашей жизни и мысли революционным задачам».

Первый номер журнала подвергся яростной критике; дальше она понеслась лавиной. Чуковский писал в дневнике 12 мая: "Первый номер «Современника» вызвал в официальных кругах недовольство:

– Царизмом разит на три версты!

– Недаром у них обложка желтая.

Эфрос спросил у Луначарского, нравится ли ему журнал.

– Да, да! Очень хороший!

– А согласились ли бы вы сотрудничать?

– Нет, нет, боюсь.

Троцкий сказал: не хотел ругать их, а приходится. Умные люди, а делают глупости".

В мае прошло совещание ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы». По словам литературоведа Галины Белой, на этом совещании «напостовские критики, выражая идеологию казарменного социализма, поставили вопрос о неизбежном усилении классовой борьбы после революции». В этот раз против них выступил Николай Бухарин, говоривший о необходимости сотрудничества разных классов, однако довольно скоро «обострение классовой борьбы» стало официальным термином, а позицию Бухарина Сталин объявил классовым капитулянтством. На совещании Семен Родов заявил, что «за „Русским современником“ стоит Эфрос и заграничный капитал, и

этот журнал враждебен рабочему классу».

Вскоре партийный орган «Большевик» опубликовал статью напостовца Лелевича «Несовременный „Современник“». Уже после выхода этой статьи на членов редколлегии начали поглядывать как на зачумленных: молодой критик рассматривал материалы журнала как «политические документы» и сыпал политическими обвинениями: «нутряная антиреволюционность Ахматовой», Сологуб «горько сетует на совершающиеся гигантские сдвиги», Горький – «размагниченный интеллигент, сердито ворчащий на революцию и не понимающий ее» и т. п. В названии журнала он усмотрел «великоросский национализм» и попенял журналу за неправильное понимание революции через национальное. Попутно похвалил-обругал Чуковского за интерпретацию творчества Алексея Толстого: «Разумеется, было бы совершенно бесполезно искать у Чуковского – этого фельетонного идеалиста – социологического объяснения своеобразного восприятия революции у Толстого, но сам факт подмечен верно».

Наконец, молодой критик снабдил журнал характеристикой, которую даже выделил разрядкой: «блок художественных идеологов господствовавших до революции классов с художественными идеологами новой буржуазии, мечтающей об обволакивании и буржуазном „перерождении“ Советской власти» – и потребовал «немедленных и серьезных шагов в целях противопоставления фронту Замятиных, Чуковских, Сологубов, Пильняков фронта пролетарской и революционной литературы».

С осени дневники Чуковского превращаются в настоящую хронику борьбы за журнал. Он постоянно ходит к цензорам, пытаясь отстоять то один, то другой материал, большие и маленькие начальники постоянно хамят и грозят закрытием журнала, увольнением сотрудников и т. п. «Нет, не интересно мне жить», – заканчивает К. И. одну из записей о подобном визите в цензуру.

В ноябре на войну с «Русским современником» вышла газета «Правда». Критик Розенталь уверял, что в этом журнале «нэповская литература показала свое подлинное лицо». Он обвинял «Русский современник» в отсутствии «какой-либо самостоятельной положительной платформы», в «полной беспринципности», в том, что «сегодняшний день не вызывает в нем ничего, кроме равнодушного снисходительного презрения», в том, что журнал «живет вчерашним и завтрашним, которое, он думает, будет походить на вчерашнее, но только не сегодняшним». В качестве иллюстрации этого тезиса он тоже приводил стихи Сологуба:

День минувший вечно жив,
Душа, как птица, мчится мимо.

Для тех, кто не понял, что и зачем выделено жирным шрифтом, он пояснял: "Это мимо сегодняшних дней, вперед, в будущее, потому что

"Там расцветает та же роза
Под тою ж свежею росой"".

В строках Пастернака «Ты распугал моих товарок, / Октябрь, ты страху задал им» Розенталь разглядел картину облавы на Ильинке и «распуганных Октябрем товарок». Заканчивалась статья, разумеется, политическими выводами и обвинениями: «Словом, „Русский современник“ весь выдержан в одном тоне полнейшего непонимания происходящего, отрицания революции, боязливого мечтания о прошлом и будущем, похожем на прошлое, об „уюте домашней обстановки“, о меценате-коллекционере, любви, боге; и все это делается на фоне прикрытой клеветы и тонко выдержанного пасквиля на революцию, на все творчество рабочего класса».

Критик Горбачев, как и Лелевич, пользовался военной терминологией: его статья в шестом номере «Звезды» называлась «Единый фронт буржуазной реакции». О «Русском современнике» автор говорил в таких выражениях: «Решительное непризнание и отрицание революции слышится почти в каждой его странице»; «волчий оскал зубов этого журнала против революции в науке, искусстве, быту, против подчиненности всех сторон нашей жизни и мысли революционным задачам». Впрочем, ухватиться критику было не за что. «Все предосторожности, все средства мимикрии испробованы журналом», – негодующе замечал Горбачев; за неимением фактов оставалось ругаться и переходить на личности. Материалы журнала были заклеймлены как «несвоевременное словоблудие», а лично Чуковский удостоился титула «старого потешника буржуазной публики».

А ведь были еще выдержанные в том же духе критические разборы в «Октябре», в киевской «Правде», в «Батуме», в «Советской Сибири» – перечисляет «Русский современник» в своем послании «Перегудам».

Удивительно, но и после всего этого четвертый номер журнала все-таки вышел. Его авторами стали Антокольский, Алексей Толстой, Ходасевич, Замятин, Тынянов, Горький, пролетарские поэты Герасимов и Кириллов. Дебютировал с

рассказом талантливый брянский прозаик Леонид Добычин. В этом номере были опубликованы письма Леонида Андреева родным, стихи и рассказ Хлебникова, письма умершего в октябре 1924 года Брюсова к Перцову. Чуковский выступил со статьей «Лепые нелепицы», где отстаивал право детей на перевертыши, нескладицы и кажущиеся бессмыслицы. Кроме того, он подготовил для библиографического раздела несколько серьезных, больших и обстоятельных книжных рецензий на новые книги для детей и воспитателей. В этих рецензиях очень узнаваем совсем прежний слог совсем дореволюционного Чуковского: «Если к написанию этих стишков автора принудила нужда, мы, конечно, будем к нему сострадательны». Или вот еще: «Стихи, конечно, ситцевые, но и вся наша страна – не парчовая». «Обнародовав же (с такой неподобающей роскошью!) чуть ли не полное собрание стихотворений Пожаровой, Госиздат жестоко обидел ее».

Наконец, в четвертом номере появилась статья «Перегудам от редакции „Русского современника“» – ответ журнала на поток безобразной критики и политических обвинений. Статья вышла без подписи. Судя по дневникам Чуковского, идея принадлежала ему, а исполнение – Замятину. Ключевой образ взят из лесковского рассказа «Заячий ремиз», где повествуется о жизни станового пристава Ононрия Перегуда, человека набожного, глупого и усердного, которому губернатор велел отыскивать «сицилистов, или, то же самое, потрясователей основ, ибо они-то и есть те, що троны шатают». Перегуд взялся за это дело с таким рвением, что крамолу отыскал даже в евангельском тексте, – и в конце концов сошел с ума.

Редакция продемонстрировала, как крамолу и потрясовательство основ можно обнаружить в любом произведении, на примере стихов «Я помню чудное мгновенье»:

«Ныне перед нами выступление буржуазной литературы уже в открытом виде, без забрала… Покупает и продает фунты „делец“ с Ильинки, но где-то там, в глубине души, все еще не погасло, тлеет воспоминание о „чудном мгновеньи“. Всякому ясно, что для нэпмана этим – увы! – мгновеньем были те дни, когда власть была в руках Милюкова, которого автор стихов называет, конечно, „гением чистой красоты“».

Критиков редакция не щадила так же, как те не щадили журнала: «Пора же, наконец, понять, что услужливые друзья-перегуды для революции опаснее врагов». «Для Ононрия Розенталя, несомненно, учебником логики был сборник армянских анекдотов»; «Дорогие читатели, если сзади вас гудит грузовик, гибнет Содом, свистит милиционер, – не оглядывайтесь

назад, иначе Лелевич тотчас же запишет в свой листок то же самое, что записал он о бедной жене Лота: „Жена Лота, как известно, жестоко поплатилась за эту привязанность к прогнившему миру“». «Совершенно очевидно, что для Родова Эфрос – это название какого-то международного тайного общества, название, которое расшифровывается, скажем, так: „Эзотерическое Франко-Русское Общество Смерти“».

Заканчивалась статья так: "И вот, черным по белому, чтобы раз навсегда положить конец всем анекдотам:

Людей, враждебных революции, в «Русском современнике» нет, но здесь есть люди, враждебные отрыжке вчерашнего – угодничеству, самодовольству, правдобоязни, враждебные мусору и пыли. На русской литературе густо оседает сейчас эта серая пыль нового мещанства – и с ним мы боремся".

Цензоры разошлись во мнениях: Острецов считал нужным пропустить «Перегудов», Быстрова – запретить. Редакция решила отрезать у статьи окончание (оно сохранилось в «Чукоккале» с комментарием: «конец статьи Евг. Замятина, запрещенный цензурой»). Статья вышла в четвертом номере журнала, и на этом история его закончилась.

«Русский современник», «Современный Запад» и «Всемирная литература» окончили существование практически одновременно. Поводы для остановки их деятельности могли быть разными, но причина была единой: они не вписывались в устанавливающийся новый порядок.

Судя по дневниковым записям К. И., уже 12 декабря цензор Петров объявил ему, что «Современник» закрыт коллегией Гублита. Редакция пыталась убеждать руководство Гублита разрешить журнал, цензоры несколько раз меняли решение, не соглашались друг с другом. Четвертый номер запретили, затем разрешили, он смог увидеть свет, но анонсированный пятый номер уже не вышел. А в январе в «Звезде» появилось открытое письмо ее редактору за подписью Г. Горбачева, где тот обозвал «Русский современник» «реакционнейшим». Чуковский в дневнике называет готовящуюся статью Горбачева «доносительной» и пишет: «Если она появится к московскому совещанию, мы закрыты, в этом нет сомнений». 10 января К. И. дважды повторяет: «Удушье!..» – и опять: «тоска, тоска…»

В пятом номере «Русского современника» предполагалось опубликовать рассказы Бабеля и Добычина, «Голубую жизнь» Горького, «Бич божий» Замятина, стихи Ахматовой, Зенкевича, Пастернака, Всеволода Рождественского, Марии Шкапской; неизданную повесть Некрасова, неизвестные стихи Козьмы Пруткова. Тынянов, Пунин, Эйхенбаум выступали в разделе

критики и библиографии; в разделе «Из прошлого» публиковался рассказ Кони о деле Веры Засулич… Однако этот номер сохранился только в корректуре. На рубеже 1924 и 1925 годов журнал был закрыт.

«Замечательнее всего то, что свободы печати хотят теперь не читатели, а только кучка никому не интересных писателей. А читателю даже удобнее, чтобы ему не говорили правды. И не только удобнее, но, может быть, выгоднее. Так что непонятно, из-за чего мы бьемся, из-за чьих интересов», – записывал К. И. в дневник 16 января, на следующий день после последней встречи коллегии «Всемирной литературы», которая окончила существование почти одновременно с «Русским современником».

Госиздат пытался навести порядок в своих владениях, устанавливая полный идейный и финансовый контроль над московским и ленинградским отделами, причем стабильно работающий ленинградский ГИЗ должен был покрыть из своих доходов убытки московского. Ионов, руководитель ГИЗа, решил сократить расходы, урезать план книгоиздания «Всемирной литературы», сократить ее штат, передать ее в ведение Иностранного отдела. Коллегия издательства не соглашалась с предлагаемыми реформами, писала письма Ионову, но спасти «Всемирную литературу» уже было нельзя. Технический персонал уволили, столы и стулья из редакции вывезли… 15 января 1925 года члены редколлегии сфотографировались напоследок у Наппельбаума – и на этом все кончилось. Впрочем, издательство тоже было уже не то: иных уж нет, а те далече; ушла атмосфера, ушло чувство вместе делаемого живого дела… то, что осталось, Чуковский ощущал глубоко чужим. Он приводит в дневнике слова Замятина: «Как хорошо, что Коллегия кончилась! Сколько фальши, сколько ненужных претензий. Блок и Гумилев умерли вовремя».

Послереволюционная эпоха кончается. На «идеологическом фронте» происходит уже даже не наступление, а разгром: чудом выживших берут в кольцо, чтобы приступить к их неспешному уничтожению. Цензура запрещает книги и журналы, ученые в институтах присягают на верность социологическому методу в литературе, в школах героев русской классики рассматривают сквозь призму классового происхождения. Из жизни вытесняется не то что враждебное – а просто нейтральное к советской власти, вроде авантюрных романов, с которыми тоже решено бороться. В литературе настала засуха: выступающие от лица пролетариата громкие, дремучие, лишенные зачатков вкуса критики ВАППа (впоследствии РАППа) почти выморили в ней все живое – то, что не задушила цензура. Идеалом творчества стали «красные

псалмы», по выражению Александра Воронского – одного из немногих литературных критиков, кто рисковал любить и защищать «попутчиков».

А вот, кстати, и один из таких «псалмов», опубликованный «Правдой» к семилетию революции:

Раз… Два…
Три… Четыре…
Барабан выбивает бой.
Эй, утонувший в жире,
Шире.
Могилу рой.
… Всем, всем, всем!
Петроград и Москва
Вспенены,
И солнцем над ними горит голова
Ленина.

(Отрывок из поэмы В. Александровского «Октябрь»)

Хотел автор или не хотел, а из текста так и торчит: «Шире могилу рой всем, всем, всем!»

Глава седьмая
Современная тематика

«Лицом к лицу с самим собою»

Во второй половине января 1925 года Чуковский поехал в Финляндию – в Куоккалу. С этой его поездкой связано много досужих домыслов: ведь он там встречался с Репиным. Так, а зачем он поехал к Репину? Чтобы уговорить его вернуться? Советское правительство периодически передавало старому художнику через разных лиц настойчивые приглашения переехать в СССР, обещая райские условия для жизни и творчества. Репин неизменно отказывался. Версия о том, что Чуковский был эдаким красным эмиссаром, специально засланным в «Пенаты», чтобы заманивать старого художника в тоталитарный ад, стала особенно популярна в перестройку. Зачем бы иначе ему туда ехать? Должно быть, власти специально откомандировали Чуковского уговаривать и убеждать, как потом другие люди убеждали Куприна и Бунина, прощупывали почву, докладывали о настроениях? Нет, недаром, недаром в дневнике записано столько злобных высказываний Репина о «вашей лыворуции», «гнусной Совдепии» и «пролетариате, будь он проклят». «Зачем же Чуковский столько раз упоминал в своих дневниковых записях о репинском неприятии большевиков? – задается вопросом Станислав Ачильдиев в газете „Россия – Невский экспресс“. – Ведь куоккальский отшельник – его давний и близкий друг и, попади эти строки на глаза ГПУ, состряпать дело против друга махрового антисоветчика ничего не стоит. Однако если допустить, что, кроме официальной цели поездки, которая заключалась в том, чтобы получить согласие на публикацию репинских воспоминаний „Далекое – близкое“, существовала еще и другая – склонить куоккальского отшельника к реэмиграции, – все становится на свои места. Дескать, как же можно было выполнить такую миссию, если старик вдруг превратился в ярого контрреволюционера?»

Надо сказать, что вымыслам и домыслам о красном эмиссарстве Чуковского несть числа. Например, в воспоминаниях А. Боярчикова (сподвижника Троцкого, а затем в течение многих лет заключенного ГУЛАГа) безо всякой ссылки на источник информации утверждается, что «после смерти Ленина по просьбе Сталина писатель Чуковский послал письмо Толстому и от имени Советского правительства посоветовал ему вернуться на

родину» – и тогда уже Толстой вернулся; кажется, плохо осведомленный мемуарист свел в одну историю скандал с письмом Толстому и слух о письме Репину.

В советские времена ходил слух совершенно противоположного свойства: Чуковский тайком уговаривал Репина не возвращаться. Наконец, есть и третья версия, обобщающая эти две. Короче всех ее изложил Андрей Яхонтов в «Отсебятине» (подзаголовок честно гласит: «Байки»), опубликованной в театральном приложении к «Новым известиям»: «Алексей Толстой ездил уговаривать Бунина, а Корнея Чуковского отправили в Финляндию, чтобы он убедил Илью Репина. Через некоторое время Чуковский вернулся и сокрушенно доложил, что все его попытки воздействовать на живописца разбились, как волна о камень. А вскоре Илья Ефимович скончался. И в Финляндии были напечатаны его дневники. Где были такие строки: „Приезжал Корней. Между прочим, не советовал возвращаться“».

Примерно такую же историю рассказывает со слов Льва Разгона и Владислав Крапивин («Под созвездием Ориона»): «Оказывается, где-то за границей (а не у нас, естественно) вышли полные, без „главлитовских“ купюр мемуары Ильи Ефимовича. И там будто бы Репин вспоминал, как в двадцатых годах у него, в Финляндии, побывал в гостях Чуковский и в ответ на вопрос художника, стоит ли возвращаться в советскую Россию, заявил: „И думать не смейте!“» В этой версии история поездки тесно увязана с историей проданного по ошибке портрета К. И. кисти Репина: портрет, попавший в Третьяковку, Чуковскому, получается, не вернули из-за неуспеха секретной миссии.

В изложении Ачильдиева запись Репина звучит так: «Приезжал Корней. Настоятельно советовал не возвращаться в Россию». Как выглядит запись в оригинале – никто не знает из-за отсутствия оригинала. Ученые и литературоведы, передавая слухи друг другу и потомству, ссылались то на некое письмо Чуковского, то на его записку, то на дневниковую запись Репина, то на мемуары, изданные в Финляндии. Однако ни дневниковых записей, ни писем, ни записок подобного содержания никто в глаза не видел. Никаких мемуаров, помимо отредактированного Чуковским «Далекого – близкого», не имеется. Никаких конкретных документов до сих пор не предъявлено и не опубликовано, хотя слухи, теперь уже в виде исторических анекдотов, до сих пор имеют хождение, и Чуковский предстает в них то антисоветчиком, то красным эмиссаром, то отъявленным хитрецом. Елена Цезаревна Чуковская даже посвятила слуху статью под названием «Почему Репин не приехал в СССР?

История одного вымысла» (кстати, в этой статье процитирован и откомментирован совершенно неправдоподобный фрагмент из мемуаров Леонарда Гендлина, где со слов Сергея Городецкого приведен даже текст записки, которую Чуковский якобы оставил Репину, не застав его дома).

Надо помнить, что Репин и Чуковский находились в постоянной переписке: их связывала тесная дружба. Насильственно разлученные политическими событиями, оказавшиеся по разные стороны государственной границы, они скучали по прежнему общению, обменивались мыслями – и вели дела: Чуковский, как мы помним, занимался изданием воспоминаний Репина. Часть писем Чуковского к Репину сохранилась в архиве художника в «Пенатах». В результате советско-финской войны часть территории Финляндии, и в том числе Куоккала, была занята советскими войсками. В конце 1939 года они вошли в репинскую усадьбу. «С войсками в числе первых, получивших доступ к репинскому архиву, появился в „Пенатах“ Иосиф Анатольевич Бродский, искусствовед, племянник ученика Репина, художника Исаака Бродского», – пишет Елена Цезаревна Чуковская. А уже 15 января 1940 года, когда война еще не закончилась и мир не был заключен, Чуковский пишет такое письмо И. Грабарю:

«…к несчастью, репинский архив попал в руки к каким-то искусствоведам. Которые из всей груды моих писем, адресованных Репину, вырвали произвольно одно или два, относящиеся к давней поре, и теперь повсюду демонстрируют их в целях моей политической дискредитации. Слухи об этих письмах циркулировали сначала в Ленинградской Академии Художеств, потом перекинулись в Москву – и теперь усиленно раздуваются в разных интеллигентских кругах – принимая характер травли».

Слух был запущен (судя по переписке К. И. с сыном Николаем, запущен именно Бродским) в самые кровожадные времена: репрессии были в разгаре, уже был арестован и расстрелян муж дочери К. И. и едва не арестована она сама; теоретически дело могло принять самый скверный оборот. Сам Чуковский к этому времени ни защититься, ни документально опровергнуть что-либо не мог. Он уже не очень хорошо помнил, что и когда писал Репину: копий своих писем он не хранил, а оригиналы пропали. Какую роль сыграл этот слух в судьбе Чуковского – неясно, но из воспоминаний Валерия Кирпотина следует, что именно он стал в 1943–1944 годах причиной ожесточенной травли сказки «Одолеем Бармалея».

В конце концов письма, считавшиеся утраченными, все-таки

нашлись – через четыре года после смерти Корнея Ивановича. И стало ясно: Чуковский не уламывал Репина вернуться в Россию, хотя искренне скучал по нему и считал отрыв художника от родины трагедией и для него, и для нее. И не отговаривал от возвращения в Россию, теперь уже советскую. Лучше, чем кто-либо другой, он понимал: Репин, проживший огромную часть своей жизни в «Пенатах», не должен покидать их на старости лет. К. И. звал Репина в Россию в гости – звал настойчиво и постоянно, убеждая, что это не враждебная страна, что Репина в ней по-прежнему любят и ценят. «Очень грустно, что Вас среди нас нет, – писал он художнику в 1921 году. – Только на „Вечере Репина“ я понял, как Вас любят… Ваше имя произносят с благоговением. Было бы чудесно, если бы Вы приехали сюда хоть на короткий срок… В Академии Художеств, в художественных школах всюду лозунг: „Назад к Репину!“, а Репин где-то в глуши, без друзей, в темноте. Мне это больно до слез». Звал не насовсем – хотя бы на короткое время, считая, что художник должен сам увидеть страну своими глазами, а не черпать сведения о ней из эмигрантской печати или со слов родных – убежденных противников советской власти. Звал и в 1919 году, и в 1924-м, и уже после своего куоккальского визита в январе 1925-го, весной, когда в Ленинграде открылась юбилейная выставка в Русском музее. Репин был согласен приехать, но поездка не состоялась из-за бюрократических проволочек с оформлением виз. А через пять лет он умер, так и не побывав в советской России, где стал считаться Главным Художником (поэт – Пушкин, фрукт – яблоко, художник – Репин; картина Репина «Не ждали», как принято было говорить у советских школьников). Кстати, Чуковский, страстный пропагандист Репина, сыграл в этой советской канонизации немаловажную роль.

Цель поездки была вовсе не в том, чтобы выманить Репина в Россию или отговорить от этого. Чуковский хотел увидеться со старым другом и не ставил перед собой никаких политических задач, хотя, конечно, не мог не страдать оттого, что художник охотно верит слухам и не доверяет его словам, не мог не хотеть открыть старому другу глаза на ту сложную жизнь, которая идет в России, – жизнь, которую все-таки нельзя изобразить одной черной краской.

У К. И. были и чисто деловые вопросы – в первую очередь вопрос с изданием репинской книги воспоминаний. Чуковский вложил в нее бесконечно много труда, хлопот, нервов, времени. Однако инфляция, тяжелое положение издательств, интриги репинской дочери внесли в это простое и благородное дело много путаницы, неразберихи и взаимных обид. Репин то хотел

редактуры, то восставал против нее, утверждая, что Чуковский испортил книгу. Все это жестоко обижало Корнея Ивановича. И потому, что Репин, давний и хороший друг, стал относиться к нему с подозрениями, и потому, что его дочь Вера Ильинична, которой К. И. много помогал в Петрограде, без устали настраивала отца против него. И потому, что он отказался уже и от гонорара за книгу, и от проставления своего имени в качестве редактора, – хотел одного: чтобы читатель получил эти воспоминания, – и единственной наградой за многолетний бескорыстный труд становились обиды. Словом, у Чуковского и Репина накопилось много вопросов друг к другу, и разрешать их надо было при личной встрече. Ничем хорошим обсуждение не закончилось: договориться с Репиным не удалось, художник упрямо повторял: нет, нет, этой книге не быть, ее нужно издать после моей смерти…

К. И. с горечью записывал в дневнике впечатления от встреч с Ильей Ефимовичем: «…в нем к старости усугубились все его темные стороны: самодурство, черствость, упрямство…» Приводится в дневнике и черновик письма Чуковского Репину, где автор в сотый раз пытается объяснить, что не вредил рукописи, что исправлял только ошибки, что опечатки – не его вина и они уже выправлены, что сам он не хочет считаться редактором, не хочет получать гонорара: «Я только не могу понять, почему русское общество должно оставаться без автобиографии Репина, почему Ваши дети должны отказаться от денег, которые Вам немедленно предлагает издатель…» При жизни Репина книга и впрямь так и не вышла: «Далекое – близкое» под редакцией Чуковского увидело свет только в 1937 году.

Наконец, одной из главных причин приезда Чуковского в Куоккалу была его собственная дача, заброшенная и разграбленная. Историю ее разграбления он подробно рассказывает в дневнике.

Даче Чуковских повезло больше, чем даче Анненковых (где, как мы помним, К. И. тоже живал): на анненковской в Гражданскую стояли красноармейцы и испакостили все, что смогли: изрубили, истоптали, завалили и залили нечистотами. У Чуковских побывали случайные грабители, раскидали, растоптали вещи, многое украли, а больше испортили. Но самый большой ущерб даче нанес знакомец с дореволюционных времен, которому К. И. оставил доверенность на распоряжение своим имуществом.

С Николаем Александровичем Перевертанным-Черным Чуковский познакомился летом 1917 года и тогда уже

охарактеризовал его в дневнике: «добр, ничтожен, плюгавая душа, весь в мелочах, в пошлом». Кстати, в Первую мировую К. И. помог ему освободиться от воинской повинности. Остается догадываться, почему именно этому человеку, «ничего не читающему, равнодушному ко всему на свете, – кроме своего автомобиля, ногтей и пробора», К. И. оставил доверенность. Перевертанный-Черный, как можно судить по письмам и дневникам Чуковского, самого его оболгал, объявил большевиком, имущество с дачи продал, а деньги пустил на покрытие своих расходов на лечение и похороны любимой собаки – французского бульдога Торы.

«В то время как в Питере умирали от голоду люди (я, напр., упал на улице, и меня поднял Гумилев), в то самое время Перевертанный готовил для своей Торы завтраки и обеды из яиц и телятины, – изливает в дневнике ярость Чуковский. – …Не знал свящ. Григорий Петров, когда помогал мне покупать в Выборге эту мебель, что мы покупаем ее для украшения собачьей могилы, для расходов на траур Перевертанного-Черного!»

Вещи из опустевших дач, владельцы которых неожиданно оказались по другую сторону заново проведенной границы, крали и продавали не восставшие рабочие или крестьяне, не красноармейцы, а соседи, знакомые, некогда составлявшие куоккальское общество, некогда принадлежавшие к интеллигенции, – это особенно отвратительно и оскорбительно.

Осквернённая дача – самое, наверное, горькое впечатление Чуковского: на полу слой писем, черновиков, книг, на них следы грязных валенок, огромный диван распорот, обивка содрана – «и я вспоминаю, сколько на нем спано, думано, стонато, сижено». Каждая бумага – кусок прошлого, каждая вещь – память: «…все это куски меня самого, все это мои пальцы, мои глаза, мое мясо». Большая часть обстановки украдена, от любимого кабинета остались только стол и две-три полки – но не потеря вещей удручает К. И.: "Я не люблю вещей, мне нисколько не жаль ни украденного комода, ни шкафа, ни лампы, ни зеркала, но я очень люблю *себя, хранящегося в этих вещах"*.

Поездка оказалась очень болезненной, как всегда болезненна встреча с прошлым после многолетнего перерыва. Трудно вновь подниматься по знакомым ступенькам, узнавать когда-то привычное в состарившемся или искалеченном до неузнаваемости, перечитывать старые письма, видеть старые фотографии – смотреть в глаза себе вчерашнему, словно давая ему отчет о прожитом: "Страшно встретиться лицом к лицу с самим собою после такого большого антракта. Делаешь себе как бы смотр: ну что? ну как? *К чему* была вся эта кутерьма, все эти

боли, обиды, работа и радости – которые теперь лежат на полу в виде рваных и грязных бумажек?"

В Гельсингфорсе Чуковский получил от профессора Шайковича часть своего архива, который тот взял на хранение и частично передал в университет. "Я взял у него клад – фотографии своих детей, свои, Репина, Волынского, Брюсова, Леонида Андреева, все забытое, с чем кровно связана вся моя жизнь. Я взял эти реликвии – и домой в *Hospiz* – и просидел над ними часа два, вспоминая, грустя, волнуясь. Вылезло, как из ямы, былое, и зачеркнуло собою все настоящее".

Многие воспоминания по-прежнему мучительны. «Наткнулся на ужасные, забытые вещи, – заносит Чуковский в дневник после того, как разобрал свою переписку, – особенно мучительно читать те письма, которые относятся к одесскому периоду до моей поездки в Лондон. Я порвал все эти письма – уничтожил бы с радостью и самое время». И дальше следует знаменитый и часто цитируемый фрагмент о том, что он всю жизнь ощущал себя незаконнорожденным, и отсюда пошло раздвоение его души, и привычка мешать боль с шутовством…

Наконец архивы разобраны (часть их, правда, так и осела в Скандинавии – и до сих пор хранится в Стокгольме), счета с прошлым сведены. «Нет, нет, дорогой Илья Ефимович, „в Куоккала я больше не ездок!“ – начинается прощальное письмо Репину. – …В Куоккала мне было неуютно. Терпеть не могу шептунов, трусливо клевещущих у меня за спиной. Бабьи дрязги вызывают во мне тошноту».

Дальше К. И. писал Репину, что обрел многие драгоценные документы и фотографии, которые считал утраченными, портреты, дневники, письма – в том числе письма Льва Толстого, Куприна, Мережковского, Блока, Андреева, Брюсова. «Все это я рассортировал, разобрал, уложил в ящики и везу домой. Довезу ли?»

Чуковский возвращается к семье, по которой давно соскучился, и работе, без которой чувствует себя странно, плохо, непривычно: «О, какой труд – ничего не делать!»

«Нельзя делать литературу совсем одиноко»

Казалось, Чуковский снова смог восстать из пепла, воспрянуть после гибели дел, которым отдавал себя целиком. Жизнь оказалась возможна без «Всемирной литературы» – она еще агонизировала, но уже не работала, глава ее, Александр Тихонов, был арестован. Собирались снова выпускать «Современный Запад»; принимать участие в этом проекте К. И.

уже не желал, полагая, что это было бы штрейкбрехерством, но очень советовал туда пойти Тынянову. Закрытие «Русского современника» стало тяжелым ударом, но имело свою положительную сторону: высвободило время, которое он посвятил, наконец, работе над книгой о Некрасове, поскольку впервые за долгое время мог не думать ежеминутно о зарабатывании денег.

Появилась кажущаяся финансовая стабильность. В дневниках стали появляться записи: Мария Борисовна купила новый чернильный прибор, этот год – год новых вещей… После нескольких лет голода и донашивания старых, дореволюционных костюмов люди стали обзаводиться новой одеждой, обувью, предметами обихода, хотя по-прежнему оставались не вполне сытыми и бедно одетыми. Детские книги Чуковского выходили большими тиражами, что давало неплохой доход. Обнаружился и еще один источник материальных благ – переводы английских пьес. К. И. много намучился с первой – «Плейбоем» Синга, но затем оказалось, что она принесла хорошие деньги. "Я как-то мимоходом перевел Синга *«Playboy of the Western World»* и, несмотря на то, что пьеса не имеет успеха, я продолжаю получать сотни и сотни рублей", – писал он Раисе Ломоносовой.

Ломоносова появилась в его жизни в этом году и стала – заочно – близким и дорогим другом. Жена инженера Юрия Ломоносова, постоянно жившая за границей, она создала в Берлине литературное и переводческое бюро и налаживала контакты с советскими писателями: искала подходящие книги для перевода на европейские языки, пересылала в СССР иностранные книги на перевод. Чуковский «сосватал» Ломоносовой знаменитого популяризатора науки Якова Перельмана (брата одесского писателя Осипа Дымова, давнего знакомца К. И.), Юрия Тынянова и Бориса Пастернака, который познакомил с Ломоносовой Цветаеву. Раиса Николаевна сыграла значительную роль в жизни каждого из них – достаточно почитать адресованные ей письма Пастернака; заочная ее дружба с Чуковским была короткой, но чрезвычайно важной. Она посылала ему книги, искала нужные статьи и пьесы, слала кукол для Мурочки, какао, деньги, была добрым литературным ангелом, умным читателем, понимающим слушателем – недаром К. И. на разные лады повторял: «у каждого человека должна быть своя Ломоносова», «тяжело без Ломоносовой» – и в последнем письме, прощаясь, говорил печально: "Вы были всё это время так страшно мне нужны, что, если бы Вас не было, Вас надо было бы выдумать. Нельзя делать литературу совсем одиноко – без читателей, без со-страдателей, без со-понимателей. А Вас как будто сам бог создал

для того, чтобы Вы были *другом* писателей".

У Ломоносовой К. И. просил современных английских пьес «с социальным оттенком» (другие спросом не пользовались, и переводить их было бессмысленно), делился с ней горестями и замыслами новой книги о детском языке, творчестве детей и для детей – той самой, из которой впоследствии вырастет знаменитая «От двух до пяти» (впервые она вышла под названием «Маленькие дети») – и которую он хотел посвятить Раисе Ломоносовой. Переписка эта оборвалась в 1926 году при грустных обстоятельствах. «Жена моя усталый, пожилой человек, которого я мучаю уже 23 года, – писал Корней Иванович в последнем письме. – Когда я уехал в Лугу, она случайно нашла одно мое письмо к Вам (неотосланное) и сделала из него совершенно неверные выводы. Но в этом не ее вина, а ее беда: я своими прежними проступками, лжами, изменами расшатал у нее всякую веру в мое благородство. Мое письмо ударило ее, как обухом; главное – ее поразило то, что я жалуюсь в своем письме на одиночество и поверяю Вам такие мысли, которых не поверял ей. Если бы она была здорова, я спорил бы с ней, но она ужасно больна: после всякого волнения она как мертвая, целыми неделями лежит в постели без сна и пищи – с лютой мигренью – и проч.».

Жену оскорбила не странная любовь по переписке – хотя и в самом деле, письма становились все более поэтичными, влюбленными, пылкими – Чуковский умел пламенно увлекаться людьми; неотправленное письмо он сам называет «безумным»… Ее обидели отчуждение, душевная привязанность мужа к другому человеку, жалобы на одиночество – «ей кажется, что я не имею права быть одиноким, если я окружен семьей», сокрушается Корней Иванович. Переписка оборвалась.

А ведь К. И. и в самом деле был одинок – как одинок любой писатель, за исключением разве что братьев Гонкуров или Ильфа с Петровым. Как ни огромна обида жены, которая была с ним рядом в самые трудные и голодные годы, родила четверых детей, поддерживала, терпела взрывы темперамента, прощала неверность, и которой теперь, почти на пороге 50-летия отказали, как она это видела, в духовной близости – все-таки одиночество Чуковского не ее вина и вообще состояние ей неподвластное. Одиночество – обязательная составляющая всякого писательского труда; понимающий читатель – чудо, литературный друг – подарок судьбы. А чем была Ломоносова для писателей середины 20-х – оторванных от читателя, давимых, отрезанных от мировой культуры – трудно переоценить. «Каждое Ваше письмо для меня как птица, влетевшая в форточку, – большая, дикая, морская, с

„сумасшедшинкой“…»

Да и семья для «окруженного семьей» Чуковского не была источником постоянной радости. У сына Николая была беременна жена, молодые супруги бедствовали: у Коли запретили роман «Танталэна», не принимали новые произведения, были трудности с жильем – переписка отца и сына в это время сплошь сводится к решению денежных и редакционных проблем. Дочь Лидия, чьи жизненные устремления и поиски в этот период не встречали у отца понимания и сочувствия, навлекла на себя первую по-настоящему серьезную неприятность. На общем собрании студентов в институте комсомольская ячейка подтасовала результаты голосования, студенты возмутились, подняли шум. Вскоре «явно по доносу удалой комячейки, в ночь с 26 на 27 мая 1925 года арестовали человек двадцать студентов, наиболее шумно топавших, свистевших, кричавших. В том числе и меня, – писала Лидия Корнеевна в „Прочерке“. – Дня через три нас всех до единого выпустили». Из тюрьмы дочь еще успела прислать матери записку о том, что в камере «довольно благоустроенно» и она там «отдыхает». Просила не волноваться и не хлопотать, потому что «и так все будет хорошо». В этот раз все обошлось, хотя немолодым Чуковским все труднее становилось переносить подобные потрясения. В дневнике, разумеется, о Лидином аресте не сказано ни слова.

По-настоящему счастлив К. И. только с Мурочкой – и тогда, когда снова пишется. Летом периоды счастья становятся длиннее: получается «Федорино горе», он гуляет с Мурой и дочкой Тынянова Инной, придумал им целую страну Иннамурию, играет с Мурой в школу, и в собаку Джэка, ждет ее по вечерам и волнуется, когда она не приходит… Лето – дачная жизнь, всегда придающая ему новых сил. Купание, солнечные ванны, катание на лодке, городки—и вдруг обрыв: «И все же – тоска. Как будто я завтра умру».

В июле у Коли родилась дочь Тата, Наталья… Растерянный Чуковский записывает в дневнике: «Как это странно: внучка. Значит, я уже не тот ребенок, у к-рого все впереди, каким я ощущал себя всегда». А через два дня появляется запись, каких давно не было, молодая и счастливая: «Луна, деревья как заколдованные, изумительный узор облаков, летучая мышь, в лесочке соловей, – и дивные шорохи, шепоты, шелесты, трепет лунной, сумасшедшей, чарующей ночи. И пусть меня черт возьмет – пусть я издыхающий, дряхлеющий дед, а я счастлив, что переживаю эту ночь. Жизнь как-то расширилась до вселенских размеров – не могу передать – вне истории, до истории – и почему-то я представил себе (впрочем, не нужно, стыдно). Пишу,

а птицы поют, как будто что-то кому-то интересное рассказывают».

Тут бы крикнуть: остановись, мгновенье, ты прекрасно! Но мгновения не останавливаются, летят дальше – а дальше осень, запрет детских книг, опись мебели, цензура, фининспектор, безденежье, тьма работы. Жизнь не дает ему опомниться, перебрасывая из котла с ледяной водой в котел с кипятком, словно какая-то вечная молодость должна стать результатом этих процедур, а результат совсем другой – переутомление и болезнь.

Переодетая принцесса

Тем временем без остановки продолжалось ужесточение литературных нравов и политики властей по отношению к писателям и деятелям искусства. Дожимали с разных сторон: и морально, и материально, высокими налогами. В 1925 году появилась на свет, пожалуй, самая страшная в истории русской литературы организация – РАПП, Российская ассоциация пролетарских писателей, передовой отряд ассоциации всесоюзной. РАПП с ходу взялся за проведение «культурной революции» – установление тотального партийного контроля над литературой. В июне 1925 года ЦК ВКП(б) принял резолюцию «О политике партии в области художественной литературы», где призывал проявлять терпимость к «попутчикам» и не одобрял нападки на них. При этом в постановлении говорилось, что классовая борьба не прекращается и на литературном фронте, что «в классовом обществе нет и не может быть нейтрального искусства», и никакие смягчающие оговорки (к примеру: «хотя формы классовой значимости искусства вообще, и литературы в частности, бесконечно более разнообразны, чем, например, формы классовой значимости политики») дела спасти не могли. Ведь постановление утверждало: теперь в руках пролетариата уже «есть безошибочные критерии общественно-политического содержания любого литературного произведения». Следом констатировалось, что у него, правда, «еще нет таких же определенных ответов на все вопросы относительно художественной формы», поскольку он, класс «культурно придавленный», форму выработать еще не мог.

Значимость попутчиков постановление определяло однозначно: они «квалифицированные специалисты литературной техники», и давало «директиву тактичного и бережного отношения к ним, т. е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их перехода на сторону коммунистической идеологии». Все это вместе в упрощенном

толковании приводило к тому, что мастеров культуры призывали быстренько поделиться секретами «литературной техники», потому что с содержанием и так все понятно… а «тактичное и бережное отношение» было очень скоро продемонстрировано со всей яркостью.

Вырванный из контекста ленинский призыв «Долой литераторов беспартийных!» стал последовательно осуществляться на практике. Закручивание гаек, подравнивание, построение в колонны и измерение «марксометром» добрались и до детской литературы, где до сих пор относительно привольно резвились зайчики, белочки, крокодилы и даже мухи. В головы педагогов и воспитателей новой формации, не слишком сведущих в возрастной психологии (которая, добавим, к тому времени сделала уже довольно много важных открытий), закралась мысль о необходимости коммунистического воспитания самых младших. Появился тезис о том, что детей не надо обманывать сказками, надо объяснять им мир, давать не фантастические, а научные сведения о нем, пояснять суть общественных свершений, классовой борьбы и т. п.: ведь в руках пролетариата уже были "безошибочные критерии общественно-политического содержания *любого* (курсив мой. – *И. Л.)* литературного произведения"! И начался дикий период в жизни русской детской литературы – период гонения на сказку. Чудесное изгонялось не только из словесности: из жизни уже ушли религиозные обряды, запретили рождественские елки, теперь настал период охоты на сказочных героев.

Прежде всего, выяснилось, что сказки с их непременными свадьбами в конце, с их царевичами и принцессами – это явная отрыжка прошлого. Кроме того, в них все неправда, все ненаучно, детей воспитывают на небылицах, ерунде, создают в их головах хаос, учат любить и жалеть мышей и зайчиков – сельскохозяйственных вредителей… и т. д., и т. п. Приключения тоже не нужны: пусть дети учатся трудиться, а не ввязываться в авантюры. Все это, разумеется, было сформулировано гораздо более гладко, многословно и обтекаемо. Споры о содержании детской литературы нашли отражение даже в увидевшей свет в 1925 году двухтомной Литературной энциклопедии под редакцией Н. Бродского. В статье «Детская литература» читаем: "Но в разрешении ряда проблем, связанных с детской литературой, педагогическая и художественная мысль не установила единого взгляда. Так, много споров вызывает у педагогов вопрос о пользе или вреде *сказки,* как материала для детского чтения. Многие указывают, что сказка приводит к неправильной оценке жизненных явлений, приучает к излишней

идеализации окружающего, развивает безгранично фантазию, а также загромождает память ненужными фактами".

В 1925 году такого явления, как советская детская литература, еще практически не было, и становление его происходило в обстановке свирепой борьбы. Год был еще относительно вегетарианским, но уже тогда в обиходе критиков, цензоров и педагогов появилось неизвестно кем запущенное слово «антропоморфизм», которое немедленно стало ругательством. Вообще-то антропоморфизм – это человекоподобное поведение героев, людьми не являющихся. Андерсен с его штопальными иглами и колбасными палочками, Крылов с его лягушками, мартышками, слонами и моськами – сплошной антропоморфизм. Но если активных гонений на дедушку Крылова не было, то киплинговская «Книга джунглей», по приводимому в дневнике К. И. свидетельству поэта Николая Тихонова, была полностью запрещена именно потому, что звери в ней разговаривают и вообще ведут себя как люди, чего им делать не положено. И Чуковский, автор сказок, где разгуливали крокодилы, плясали жуки, а комар женился на мухе, довольно скоро оказался вне закона.

Цензурные придирки к детским книгам вообще были анекдотическими, если не шизофреническими; пока найденные страшные недостатки еще не называли вредительством, но причины, по которым тексты и картинки запрещали, напоминают по степени глупости поиски масонской символики в журнальных обложках в первые перестроечные годы. В дневнике К. И., например, приводится рассказ художника Твардовского о том, как в детской азбуке запретили изображение завода, потому что из его трубы не идет дым, и рабочего, потому что он просто сидит, а не работает.

Чуковский в это время работал над новыми сказками: весной 1925 года он задумал «Телефон» и продолжал «Федорино горе». Оба текста шли довольно трудно, хотя при создании «Федорина горя» все-таки были счастливые моменты, когда все получается: «Вдруг раз в месяц выдается блаженный день, когда я легко и почти без помарки пишу пятьдесят строк – звонких, ловких, лаконичных стихов – вполне выражающих мое „жизнечувство“, „жизнебиение“ – и потом опять становлюсь бездарностью». Потом он высчитал, что с учетом всех черновиков и вычеркиваний писал «Горе» по три строчки в день, причем рабочий день этот был не менее семи часов.

К. И. начал сотрудничать с новым издательством при К ˚миссии по улучшению быта ученых, взялся за организацию при нем детского отдела, участвовал в учреждении секции детской

литературы при Союзе писателей. Он до сих пор не оставил мечты дать детям хорошую детскую книгу. Привлек к сотрудничеству Маршака, Тынянова, которого навел на мысль написать роман для юношества о Кюхельбекере, привел в литературу друга детства Житкова, которому предложил записать истории из его богатой впечатлениями и приключениями жизни…

У Чуковского продолжают выходить книги. Он невероятно обрадовался тому, что цензура разрешила печатать его книгу о Некрасове: «Это почти невозможное счастье: напечатать о том, что любишь». Его детские сказки есть почти в каждом читающем доме, они популярны, на них пишут музыку, ставят оперы и балеты… однако к каждому тексту уже предъявляются претензии: зачем крокодил глотал городового, Ляля – девочка буржуазная, зачем у мухи – именины, как не стыдно прославлять стяжательство: денежку нашла, самовар купила, пригласила жуков рогатых – мужиков богатых, что за купеческий праздник? И с какой стати трубочистам «стыд и срам», когда трубочист – это достойная рабочая профессия? Со временем и в «Бармалее» найдут криминал, достаточный для того, чтобы его запретить, – очень страшная сказка, детям нельзя рассказывать о людоедах!

В конце концов «Крокодил» запрещен: «у вас Петроград и городовой». Вслед за ним запретили «Муху-Цокотуху» под тем предлогом, что муха – «переодетая принцесса», что там – «свадьба», «именины», а муха с комариком на картинке стоят непозволительно близко. Едва не запретили «Тараканище», которое издателю Клячко с трудом удалось отстоять.

«Итак, мое наиболее веселое, наиболее музыкальное, наиболее удачное произведение уничтожается только потому, что в нем упомянуты именины!!» – сокрушался Чуковский в дневнике и, пытаясь отстоять «Муху», в письме цензору отчаянно доказывал, что в его сказке «возбуждается ненависть против злодея и деспота и привлекается сочувствие к угнетенным…». Не помогло. В середине августа Чуковский пытался разговаривать с цензором Острецовым о запрете сказки, и цензор сказал: «Да неужели вы не понимаете? Дело не в одной какой-нибудь книжке, не в отдельных ее выражениях. Просто решено в Москве – посократить Чуковского, пусть пишет социально-полезные книги. Так или иначе, не давать вам ходу. В Гублит поступила рецензия обо всех ваших детских книгах – и там указаны все ваши недостатки…»

Примерно с этих пор и на несколько десятилетий судьба литературных произведений определялась никому не ведомыми внутренними рецензиями никому не известных авторов. Иногда

одной такой рецензии было достаточно, чтобы на долгие годы отлучить писателя от литературы. Такая судьба была уготована и Чуковскому. Уже к осени 1925 года он был фактически подвергнут литературному остракизму. «Внезапно с моими детскими книгами стряслось несколько бед – и они перестали давать мне тот (довольно изрядный) доход, на который я привык смотреть, как на постоянную ренту. Ведь их в общей сложности разошлось больше 400 000 экз<емпляров>, – жаловался К. И. осенью в письме к Раисе Ломоносовой. – Между тем все лето я жил барином и писал для души исподволь толстую книгу, которая не даст мне никакого дохода. Вдруг, в один день, пропала вся моя библиотека и вся моя мебель. 10 сентября 1925 года я оказался нищ, как 20 лет назад. Я немедленно взялся за писание романа, который и дал мне прожить до сих пор. Но все надежды – на пьесу. Горько писать такие письма после 20 лет непрерывной литературной работы, но, пожалуйста, не думайте, что я скулю. Напротив. Мне весело писать мой роман, мне будет весело переводить пьесу Кэзи. А лежу я в постели – от переутомления. Не могу сидеть. Голова кружится».

Роман, о котором здесь говорит Чуковский, – «авантюрный роман из советской жизни», как он писал в другом письме, добавляя, что взялся сочинять его на пари. Оказалось, однако, что он один и может принести немолодому литератору хоть какие-то деньги. Кинороман, первоначально названный «К. К. К.», но впоследствии получивший название «Бородуля», печатался в вечернем выпуске «Красной газеты» весной следующего года.

Но почему же в один день пропали вся библиотека и вся мебель? С ними-то что произошло? А вот что.

Весь 1925 год и часть 1926-го были ознаменованы конфликтом советских писателей с налоговыми органами. В литературе даже остался хорошо известный след: «Разговор с фининспектором о поэзии», где Маяковский пытался стихами убеждать советского мытаря, что к поэту нельзя предъявлять те же требования, что и к производственнику, поэзия – та же добыча радия, грамм – добыча, год – труды… Но мытарить добытчиков слов меньше не стали. Фининспекция предъявляла писателям требования совершенно запредельные, относясь к «лицам свободных профессий» как к одиночным предпринимателям. Уже в середине февраля Чуковский записал в дневнике, что фининспектор потребовал у него 400 рублей: «Я написал протест в налоговую комиссию. Теперь боюсь идти – денег нет ниоткуда».

«Все мы, литераторы, художники, деятели науки, в ту пору считали, что наш интеллигентский труд облагается слишком высоким налогом, так как не учитываются именно те

специфические особенности нашего труда, которые указаны в знаменитых стихах Маяковского», – писал К. И. в комментариях к «Чукоккале». К середине года возмущенные писатели собрались протестовать, но долго не могли организоваться. «Нужно хлопотать о том, чтобы нас признали по крайней мере столь же полезными, как сапожников, стекольщиков и пр.», – записывал Чуковский в августе. А в сентябре фининспекция описала его мебель в счет погашения долга и большую часть увезла; «дома остались только три стула да мой письм. стол», – записывал К. И. 6 сентября. К ноябрю мебель еще не вернулась домой. Впрочем, Раиса Ломоносова неожиданно прислала Чуковскому 250 долларов, которые его выручили (как видим, получение денег от эмигрантов еще не считалось криминалом, как в последующие годы).

10 ноября писатели все-таки пришли протестовать в губернскую комиссию по подоходному налогу, просить, чтобы им уменьшили сумму налогооблагаемого дохода вдвое не только за второе, как постановил Наркомфин, но и за первое полугодие. «Корней Чуковский, П. Щеголев, К. Федин, И. Садофьев, М. Шагинян, А. Д'Актиль, В. Князев, О. Мандельштам и другие работники пера пришли вчера жаловаться на неправильное обложение подоходным налогом», – писала на следующий день «Красная газета». К. И. вклеил эту заметку в «Чукоккалу» рядом с автографами ученых и артистов, стоявших вместе с ним в очереди к чиновнику. Просьбу передали в Губфинотдел, поскольку вопрос находился в его ведении. Потянулась бюрократическая волынка, и налоговое бремя облегчили только в следующем году. Впоследствии вопрос о налогообложении писателей поднимался еще несколько раз; уже в тридцатые годы, рассказывает в своих мемуарах Константин Симонов, Мехлис на заседании правительства защищал писателей от налоговиков, требуя не относиться к ним как к кустарям-одиночкам.

Работа в таких условиях снова стала источником страданий, превратилась по трудозатратам в форменную добычу радия. «Я ни одной строки не могу написать сразу, – пишет Чуковский в дневнике. – Никогда я не наблюдал, чтобы кому-нибудь другому с таким трудом давалась сама техника писания. Я перестраиваю каждую фразу семь или восемь раз, прежде чем она принимает сколько-нибудь приличный вид… Оттого-то в течение 100 дней я написал 90 страниц, – т. е. меньше страницы в день в результате целодневного и ежедневного напряженного труда. Ясно, что я болен. У меня вялость мозга. Но как ее лечить, я не знаю».

Денег нет. Чуковский "принял экстраординарные меры: взял доктора Айболита (английского. – *И. Л.)* и перевел оттуда два

рассказа" – но этим положения не спасти. Отчаяние снова усиливается. Он выброшен из литературы; в конце года, мотивируя нежелание подписывать «Бородулю» собственным именем, он замечает: «Сейчас вышла книга Боцяновского о 1905 годе. Там была заметка обо мне. Госиздате кая цензура выбросила: „Не надо рекламировать Чуковского!“ В позапрошлом году вышла моя книга о Горьком. О ней не было ни одной статейки, а ее идеи раскрадывались по мелочам журнальными писунами. Как критик я принужден молчать, ибо критика у нас теперь рапповская, судят не по талантам, а по партбилетам. Сделали меня детским писателем. Но позорные истории с моими детскими книгами – их замалчивание, травля, улюлюкание – запрещения их цензурой – заставили меня сойти и с этой арены. И вот я нашел последний угол: шутовской газетный роман под прикрытием чужой фамилии. Кто же заставит меня – переставшего быть критиком, переставшего быть поэтом – идти в романисты! Да я, Корней Чуковский, вовсе и не романист, я бывший критик, бывший человек и т. д.».

(Заметим, что к 20-летию революции 1905 года было опубликовано несколько книг о сатирических журналах этой эпохи, в том числе подготовленный Чуковским и С. Дрейденом двухтомник революционной сатиры с комментариями и книга Боцяновского и Голлербаха «Русская сатира первой революции 1905–1906». Фрагменты, посвященные Чуковскому, в ней все-таки сохранились.)

В декабре, когда покончил с собой Есенин, Чуковский писал Ломоносовой: «Очень у нас возмущаются страшной судьбой Есенина. Как будто Есенин – единственный! Многие литераторы сейчас – более или менее Есенины».

«Глядите: солнце!»

В сентябре 1925 года Чуковский занес в дневник: «Пишу свой идиотский роман». В ноябре, страдая над тем же романом, жаловался на «вялость мозга». Между тем уж чего-чего, а вялости в романе никак не заметно – заметна, скорее, этакая резвость и прыткость.

«Бородулю» в мае 1926 года начала печатать «Вечерняя Красная газета». Кинороман выходил в ней крохотными выпусками на протяжении нескольких номеров. Уже после смерти К. И. роман разыскала Ирина Андрианова и опубликовала в журнале «Природа и человек» (№ 1, 1987). Во вступительной статье она приводит предисловие Чуковского к «Бородуле». В нем К. И. уверяет, что рукопись принес ему «курчавый брюнет»,

который зарабатывал на жизнь сочинением стихотворных реклам; отмечает, что повесть дикая, но в ней есть вдохновение. Редакция в своем предисловии доказывает, что автор на самом деле – Чуковский: «его стиль, его язык», а Чуковский отвечает, что «имя подлинного автора – Ермолай Натощак». Еще в двух номерах редакция препиралась по этом поводу с Чуковским, а затем началась публикация «Бородули» – но под именем «Аркадий Такисяк»!

Суть киноромана такова: в СССР появляется загадочный волшебник по имени Иван Бородуля, который умеет управлять погодой. Он вызывает дождь в Ленинграде, затем избавляет от затяжного дождя жителей деревни в Новгородской губернии (деревня называется «Перегуды»!), устраивает Ходынку на сестрорецком пляже, заставляя одежду убегать от хозяев (сколько раз Чуковский сетовал в дневнике, как противны сестрорецкие курортники! А уж брюки, удирающие от хозяина, – просто фирменная марка автора), спасает Кубань от саранчи, фруктовые сады Черноморья от урагана, крымский виноград – от северного ветра. При этом сам Бородуля прячется. Его ищут несколько загадочных иностранцев и советский сыщик Лейтес. Тот где-то перехватил письма Бородули, но в них написан полный бред. Затем девушка Екатерина Малявина, чемпионка по гребле, приносит сыщику еще пачку писем, которые выудила из воды, занимаясь спортом. Из писем сыщик заключает, что ученый Бородуля – страшный антисоветчик, и хочет его арестовать. Но чемпионка Малявина собирается спасти гения.

Затем убежище Бородули обнаруживается в склепе на Новодевичьем кладбище, но когда туда приезжает сыщик – Бородули уже и след простыл. Его бумаги конфискуют, но их тут же уничтожает шаровая молния, а потом пожар заливает тучка.

Сам Бородуля скрывается в Лахте, куда к нему приезжают Малявина и загадочные иностранцы, которые чего-то от него хотят. Девушка, вооруженная помойным ведром, и сам ученый с установкой персонального града дают им отпор. Бородуля рассказывает девушке свою биографию: самоучка, в Первую мировую попал в плен, подружился со знаменитым австрийским ученым, стал изобретать. А потом угодил в лапы мерзавца-фашиста. Фашисты подчинили себе Бородулю – и заслали его в Россию, чтобы устроить засуху и уморить всю страну. Однако он, вернувшись на родину, так проникся происходящим в стране, что стал не вредить, а помогать, спрятавшись от иностранцев в склепе, а те взялись его искать, чтобы принудить к злодейству.

Наконец Бородулю арестовали и стали судить. (В декабре 1925 года Чуковский записал в дневнике, что ему осталась

последняя часть романа – суд. Видимо, никак ему эта часть не давалась: 24 января он начал ходить в самый настоящий суд, где слушалось дело о растратчиках. В дневнике написал, что «для преодоления уныний»! Дело растратчиков так взволновало его, что он продолжал ходить на заседания суда даже после того, как сдал роман в «Красную»).

Суд Бородулю оправдал, он передал свои разработки государству, и государство открыло Гутивы – главное и губернские управления туч и ветров. И климат решено было установить такой, чтобы сельское хозяйство процветало: «Погоду – деревне!» Бородулю все чествуют, называют его именем центральный Гутив, академик С. Ф. Ольденбург говорит речь, Бородуле вручают золотую медаль и величают «замбогом» – заместителем Бога, и сам он чувствует себя новым Саваофом. Конец.

В общем, видно, конечно, что повесть писана абы как: в ней герои берутся ниоткуда и пропадают никуда, поступки их часто немотивированны, сюжет кое-как сметан на живую нитку, за любую деталь возьмись – а откуда Малявина узнала адрес Бородули в Лахте? – и нет ответа. Иногда кажется, что с увлечением писалось, а иногда – что со злостью: вот, нате вам, только отстаньте, посмотрите, что вы со мной сделали! Собственно, на примере «Бородули» особенно видна правота Шварца, который писал в дневнике (и на основе этих записей появился «Белый волк»), что в стихах у Чуковского «язык есть», – «а в прозе в его развязанности так в тексте чувствовалась скованность, ограниченность. В прозе выпрямлялась та сила, которая так легко сгибала и выпрямляла длинную его фигуру, играла его высоким голосом, жестикулировала ручищами. Актерская сила, с фейерверками, конфетти и серпантином».

В «Бородуле» фейерверков и серпантина и впрямь хоть отбавляй. Вставлены в текст и опереточные злодеи, и какая-то красавица Матильда в глубоком трауре, которая пропадает из романа, едва появившись. Но куда же настоящий кинематограф двадцатых без злодеев и гордой красавицы в трауре?

И ритм повести тоже кинематографический – как его понимал Чуковский. Как в «Мойдодыре» (который сам К. И. назвал «кинематографом для детей») – «все вертится, все крутится, все несется кувырком», сплошь какие-то сапоги всмятку, не успеешь удивиться, откуда что взялось – а автор нагородил еще семь бочек арестантов.

А вот один эпизод точно написан безо всякой злости, без «вялости мозга» – и совсем не левой ногой. При этом он находится в прямом родстве с детскими сказками Чуковского.

Эпизод такой. На замызганной деревенской улице под дождем появляется человек с яркими разноцветными шариками, которые рвутся в небеса, как живые, а хозяин их урезонивает, «словно малых детей». Он привязывает к шарикам скляночку, отпускает в небо, там раздается взрыв и прочищается маленькая форточка. «И оттуда, из этой форточки, глянуло синее-синее, горячее, давно невиданное милое небо. Через несколько минут форточка превратилась в окно, потом в огромные ворота и – ура! ура! – глядите: солнце! глядите, глядите! – тучи так и пятятся в разные стороны, словно их гонят кнутами».

"Здравствуй, солнце золотое!

Здравствуй, небо голубое!"

Это «Краденое солнце», в том же 1926 году написанное.

«Дождя как не бывало. Солнце! Радуга! Все кинулись к незнакомцу: спасибо! спасибо!» – «Бородуля».

«Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!» – «Краденое солнце».

Можно чуть не из каждой сказки Чуковского подобрать пару строк с изъявлениями общей благодарности и празднованиями. Следовало бы ожидать еще и пира на весь мир, но ему в финале «Бородуле» соответствует обещание больших урожаев.

С самим Бородулей Чуковский даже поделился своей биографией: сделал его самоучкой, чья мать была кухаркой у мадам Кирпиченко, подарил между делом опыт пребывания в тюрьме на Шпалерной, наделил собственной несолидностью, детскостью, непоседливостью. Пожалуй, он и сам хотел бы быть таким волшебником, который радует людей долгожданными дождями, дарит им солнце, может наслать на нехорошего человека персональный град. И конечно, ему жалко было бросать такую прекрасную идею, кое-как реализованную в наспех набросанном киноромане. Одна из дневниковых записей в феврале 1926 года гласит: читал «Бородулю» Тихонову, тот сказал «мелко и жидко» – «и я не мог не согласиться с ним».

В эти же дни Чуковский делился своими погодоуправленческими мыслями с Мейерхольдом. Режиссер загорелся идеей: пусть Чуковский напишет пьесу, и можно будет поставить буффонадное представление! И напоминал при каждой встрече. И в «Чукоккалу» об этом запись сделал. А Чуковский пьесы не написал.

Он постоянно пытался привлечь к работе над книгой (пьесой, романом, сценарием) об управлении погодой кого-то еще, словно боялся, что сам не осилит, не справится с таким многообещающим сюжетом. С самого начала просил Житкова, но тот был занят. Потом, в 1932 году, звал Толстого, советовался с

Горьким (Горький обстоятельно рекомендовал «побеседовать с гелиотехниками – в Слуцке, Самарканде, с полярниками», почитать «Геохимию» Вернадского, поговорить с ленинградскими химиками-электриками). В 1939-м К. И. всерьез сотрудничал с десятилетним Комой Ивановым, часами обсуждая с ним, как разгонять тучи – стреляя по ним или распыляя специальное вещество, вызывающее дождь. Решили распылять. Кстати, сейчас именно так тучи и разгоняют. В 1948-м советовался о «Госутиве» с Михалковым.

Но большая книга так и не была написана. А «Бородуля» остался промежуточными шагом между детской сказкой и взрослым кино, этакой историей о значении фантазии для народного хозяйства – если хотите, экономическим обоснованием необходимости сказки, за которую Чуковский уже начал сражаться.

Мимикрия и антропоморфизм

«Бородуля» уже был окончен, книга «Некрасов: статьи и материалы» подготовлена к публикации в Кубуче (издательстве Комиссии по улучшению быта ученых), детские сказки ждали издания и переиздания, но ничего не происходило! В Ленинграде неожиданно разразился бумажный кризис, «Красной газете» вдвое урезали объем, отчего печатание романа отложилось на неопределенное время, сказки то разрешали, то запрещали, «Некрасова» в последний момент решили не издавать… Чуть ли не единственным занятием Чуковского стало хождение по кафкианским бюрократическим инстанциям, хождение долгое, бессмысленное, безрезультатное. Одну и ту же книгу – скажем, «Крокодила», – разные инстанции то запрещали, то разрешали; то вопрос решился – глядь, уволен человек, принявший решение, или нагрянула комиссия, поглядела – что за непорядки! убрать Чуковского! – и все сначала, все сначала… Даже переводы пьес приносили только лишние хлопоты: обнаружилось, что переведенную Чуковским «Сэди» (она же «Ливень») Моэма и Колтона решила ставить не только Александринка, но и Акдрама – в другом переводе. Театры ввязались в битву за право первой постановки. В условиях отсутствия копирайта и цивилизованных способов разрешения споров каждый перевод делался на свой страх и риск, а публикации осуществлялись по принципу «кто первый встал, того и тапки». Даже за вышедшие книги платили не вовремя, за гонорарами приходилось ходить, выпрашивать, выбивать.

Жизнь была бедной: уже не голодали, но страну с

неустойчивой экономикой из года в год сотрясали кризисы – финансовый, бумажный, продовольственный… Тем не менее газеты были полны оптимизма: социалистическое строительство, ударничество, закупка тракторов, разгром внутрипартийной оппозиции, пуск гидроэлектростанций, ликвидация неграмотности, борьба с пережитками прошлого, планы индустриализации… В этих буднях великих строек писателям отводилось место очень скромное – в лучшем случае пропагандистов, в худшем – врагов; в промежутке еще были буржуазные специалисты, терпимые до тех пор, пока не передадут пролетариату своих технических познаний. Писательское положение резко контрастирует с общим приподнятым тоном, исполненным созидательного пафоса. А вот писателю как раз не до созидания. Дневники К. И. за 1926 год почти сплошь посвящены беготне по пыльным кругам канцелярского ада. Изо дня в день:

17 февраля: «Пять литературных работ было у меня на руках – и каждую постигла катастрофа… Самое ужасное то, что все эти пять неудач неокончательные, что каждая окрашена какой-то надеждой и что, вследствие этого, я обречен, как каторжный, каждый день ходить из „Кубуча“ в Госиздат (по поводу „Крокодила“), из Госиздата в „Красную газету“, из „Красной газеты“ в Главпросвет (по поводу пьесы), и снова в „Кубуч“, и снова в Госиздат. От этих беспросветных хождений тупеешь, мельчаешь, жизнь проходит мимо тебя – и мне вчуже себя жалко: вот писатель, который вообразил, что в России действительно можно писать и печататься. За это он должен ходить с утра до вечера по учреждениям, истечь кровью, лечь на мостовую, умереть».

22 февраля: «Канитель, удушье, а мой роман гниет, и его гниению не видно конца».

26 февраля: «Я сказал, что работаю над этой книгой Некрасовым 8 лет, что это – не халтурная книга, что я согласен не брать за нее никакого гонорара и пр.». Получив ответ, что если он согласен не брать гонорара, то книга выйдет, К. И. «чуть не заплакал от радости».

В тот же день: «Придя домой, я нашел на столе корректуру „Крокодила“, сильно пощипанного цензурой».

4 марта: «С „Некрасовым“ опять было неладно. Я уж был уверен, что все мытарства этой книги кончились, но оказалась новая беда: в Смольном какая-то комиссия установила, что „Кубуч“ имеет право издавать только учебники, и не позволила ему опубликовать мою книгу».

14 марта – «Крокодил» разрешен, 24 марта – «Книга

„Крокодил“ печатается, но нужно же было так случиться, что какая-то контрольная комиссия – уже во время печатания книги – обратила внимание на ее нецензурность, очевидно, по чьему-то доносу. Произошел величайший скандал: книгу вынули из машины, составили протокол и т. д. Были почему-то уверены, что у меня нет разрешения Гублита, а когда обнаружилось, что и от Гублита, и от Главлита разрешение у меня есть, – решили сделать нагоняй этим двум учреждениям».

19 апреля: "«Союз Просвещения» внезапно выкинул всех писателей за борт – и я оказался вне закона. Чтобы быть полноправным гражданином, я должен поступить куда-нибудь на службу. Единственная доступная мне служба – сотрудничество в «Кр. Газ.» (речь идет о вечернем выпуске «Красной газеты», где Чуковский в это время много публиковался. – *И. Л.)*. Служба ненавистная, п. ч. меня тянет писать о детях… Но теперь в «Вечерке» началась полоса экономии… Решено навести экономию, сократив гонорары сотрудникам и уничтожив институт *штатных* писак. И это как раз в ту минуту, когда мне нужно сделаться штатным".

Подобных цитат можно привести еще очень много. И в этом году, и в следующем тянется одно и то же: полная неразбериха в издательских делах, волокита, несогласованность работы разных инстанций. Опять нависает безденежье, тень безработицы, неприкаянности, ненужности; он снова, как в голодной петербургской юности, скачет с льдины на льдину, а они уходят из-под ног, и всякий раз есть опасность свалиться в смертельно холодную реку. Когда что-то вдруг неожиданно делается просто и сразу, Чуковский недоумевает: даже странно, что нет стены, о которую я должен разбивать себе голову…

Наконец, пропадает вера в необходимость делать то, что делаешь: читателя нет, слушателя нет. Студенты задают «дубовые вопросы», состояние педагогической мысли столь плачевно, что читать лекции и писать статьи в защиту сказки кажется делом бессмысленным. А он все равно пишет – в полном соответствии с юношеской теорией бесцельности.

И по-прежнему его спасает вечное. В письме Репину от 14 марта 1926 года говорится: "В тот день у меня случилась большая беда. Я вбежал в музей всклокоченным, чуть не в истерике, и *Серов успокоил меня.* Душевно пригладил. Зачаровал своей гармонией и божественной ясностью… Я ушел из музея просветленный". Что это была за большая беда – трудно предположить: в дневниковых записях что ни день – то новое бедствие: запрещение книг, изъятие их из издательских планов. Позднее, в июле – вынужденное прекращение переписки с Раисой

Ломоносовой, осложнение отношений с женой, арест дочери…

В 1926 году выходит книга «Некрасов: статьи и материалы», плод серьезного многолетнего труда. Пишется книга воспоминаний «Репин в Куоккале» – в марте К. И. даже собирался уехать на зимнюю дачу в Сестрорецк, чтобы спокойно над ней работать. Одна за другой увидели свет хрестоматийные ныне «Закаляка», «Путаница», «Свинки», «Телефон», «Чудо-дерево», «Федорино горе», каждая книга расходилась огромными тиражами. Многие дети в читающих семьях знали их наизусть. А их автор находился на полулегальном положении. «Федорино горе» вышло двумя изданиями, «Телефон» – тремя, при этом его еще много лет печатно и устно бранили за бессодержательность. А «Чудо-дерево» подверглось такой яростной критике, что не переиздавалось еще несколько лет.

Клавдия Свердлова, вдова знаменитого большевика, в журнале «На посту» «прокурорски вопрошала» (по выражению Мирона Петровского): «Помогает подобная книга организовывать детское сознание в желательном направлении? Помогает преодолевать остатки суеверий, религиозных предрассудков? Дает ли правильное представление о труде, о социальных задачах в форме, соответствующей возрасту читателя?.. В рабоче-крестьянском государстве такие книжки не должны иметь места».

Но главную роль в запрещении «Чудо-дерева» сыграла закрытая рецензия Крупской, имевшая хождение в Главсоцвосе (ее приводит Мирон Петровский в примечаниях к «Чудо-дереву» в томе стихотворений Чуковского в серии «Новая библиотека поэта»; сама рецензия опубликована в последнем томе десятитомного собрания «Педагогических сочинений» жены вождя):

«Какой смысл этих „сказочек“ для взрослого? Есть Мурочки, Зиночки и прочие, которым чудо-дерево – государство – дает туфельки с помпончиками, а есть убогие, босоногие ребята, которым чудо-дерево – государство – дает лапти и валенки. „Мурочка“ выращивает из своей туфельки, без труда доставшейся ей, чудо-дерево не ради ребятишек, а ради того, чтобы ее хвалили. Так тешится Чуковский над попыткой обеспечить государственным путем детям бедноты обувь для того, чтобы они могли ходить в школу».

Кончалась рецензия тем, что «Чудо-дерево» и «Туфелька» – «сказки с двойным дном и переиздавать их нет надобности».

Сказки Чуковского считались занимательными, но бесполезными, а то и вредными. В любом случае, они не помогали социалистическому строительству напрямую, а стало быть, не стоило и тратить на них бумагу, типографскую краску и

труд рабочих.

В мае 1926 года запретили даже «Белую мышку», пересказ трогательной сказки Лофтинга из книги о докторе Дулиттле-Айболите, сделанный Чуковским в надежде на заработок. Сюжет сказки прост: несчастная белая мышка была слишком хорошо заметна на улицах во всякое время года, кроме зимы, и решила перекраситься в серый цвет, но по ошибке выкрасилась в ярко-желтый и совсем не могла выходить из дома, пока ее не приютил Айболит. Книга попала на отзыв к Злате Ионовне Лилиной, первой жене Григория Зиновьева и сестре Ильи Ионова, главы Госиздата. Она заведовала губернским Соцвосом (отделом социалистического воспитания), и издание детских книг оказалось у нее под контролем. Лилина написала в своем отзыве следующее:

«„Приключения белой мыши“ очень сомнительная сказочка. Никаких законов мимикрии в ней нет, а антропоморфизма хоть отбавляй. Боюсь, нас будут очень ругать за эту сказочку. Тут как-то все очень очеловечено, вплоть до лошади, которая живет в кабинете».

Чуковский счел необходимым сохранить автограф «подлой Лилиной» для потомства и вклеил его в дневник. И впрямь, автограф ценный: никаких критериев, никакой платформы для запрещения сказок нет, есть только неопределенные сомнения и принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть». А какой второй план встает за этим памятником трусливой глупости! Несчастный Чуковский, эдакая желтая мышь на серой улице, неспособный выполнять законы мимикрии и ежеминутно подвергающийся опасности быть сожранным, антропоморфный писатель, сохранивший человеческий облик – среди лошадей в кабинетах…

В сентябре К. И. написал письмо одному из таких кабинетных обитателей, заведующему Гублитом (это, как мы помним, цензурный орган; Чуковский однажды расшифровал это сокращение как «Губилитературу»). Письмо было попыткой отстоять свое право публиковать детские произведения, доказать, что они созвучны эпохе, революционны: "…именно с моего «Крокодила» началось полное *обновление ее* детской литературы *ритмов, ее образов, ее словаря"*.

К. И. долго и старательно объяснял в этом письме, что книга «Крокодил» не может быть чужой по духу современному ребенку, поскольку написана на городском материале, в ритме уличных детских стихов, имеет героическое содержание и содержит призывы к миру и братству. "Я был уверен, – писал Чуковский, – что если ее сюжет кое в каких местах и не отвечает тем (вполне основательным) требованиям, которые теперь предъявляются к

детским стихам, *то ее стиль, ее форма, ее стиховая структура, ее общее направление вполне гармонируют с тем новым ребенком, которого создала революция".* Ни апелляция к тому, что книгу уже многократно издавали огромным тиражом, а потом вдруг признали вредной, ни очевидная глупость предъявляемых к ней претензий – ничто не могло изменить решения людей, которые запрещают не из строгого принципа, а из страха показаться недостаточно государственно мыслящими, из «как бы чего не вышло». Серьезные идеологические претензии к сказкам Чуковского и политические обвинения самому автору будут предъявлены позже. Борьба со сказкой и борьба за сказку пока еще только начинаются.

«Путь правильный, но только он – не мой»

26 июля 1926 года Чуковских постигла новая беда: снова арестовали дочь Лиду. Впрочем, началась эта история несколько раньше – зимой, когда «неумные и неудачные поиски мировоззрения», по ее собственному определению, привели юную Лидию Чуковскую в подпольный кружок рабочих-печатников; поручилась за нее ходившая в кружок подруга и однокурсница Катя Воронина. На собрании Лиде не понравилось, никакого мировоззрения у рабочих почерпнуть она не смогла, а политика ее не занимала. Больше она к подпольщикам не ходила.

Летом 1926 года семья Чуковских жила на даче, откуда Лида, дачи не любившая, довольно скоро сбежала в город, где стала жить вместе с Катей. В это время подруга перестукала одним пальцем на печатной машинке Корнея Ивановича воззвание подпольного кружка. Деятельностью кружка заинтересовались соответствующие органы, Катя и Лида были арестованы как посещавшие нелегальные собрания. В доме Чуковских прошел обыск, в ходе которого прихватили печатную машинку. Катина листовка была предъявлена Лиде на первом допросе. Кстати, именно печатная машинка и добавила Корнею Ивановичу и Марии Борисовне лишнего беспокойства: писателю, который стремительно становился опальным, вовсе ни к чему было фигурировать в деле подпольной организации, пусть даже и в качестве владельца машинки, на которой переписана листовка. Впрочем, повторюсь: времена еще были относительно вегетарианские – десять лет спустя этого бы хватило для ареста и приговора, а тогда Чуковский отделался сильным испугом.

Корней Иванович, естественно, немедленно взялся хлопотать о дочери. Собственно, и предъявить-то ей было нечего, кроме единственного посещения кружка (в перепечатке листовки

созналась Катя); вскоре Лидию Чуковскую отпустили домой на поруки, но приговорили к трем годам ссылки в Саратове.

«Подействовали мои хлопоты о ней, – записывал К. И. в дневнике. – Я ездил в ГПУ и говорил с Леоновым. Лиду выцарапала Марья Борисовна – привезла вчера вечером в Лугу. Вся эта история вконец измучила меня. Мечтаю об отдыхе, как о фантастическом счастье. Марья Борисовна тоже замучена… Коля показал себя истинным героем. Бегал по всем учреждениям. Устраивал Лиде передачу… Казалось бы, что Лида должна радоваться, что ее отпустили. Так нет: почему не выпустили Катю Воронину, ее подругу, которая и втянула ее во всю эту историю».

Выйдя из тюрьмы, Лида почти сразу тяжело заболела паратифом, поэтому до декабря об отъезде в ссылку не могло быть и речи. Много лет спустя Лидия Корнеевна писала, что отец не принял ее юности: считал напрасной учебу в институте, не понимал увлечения стенографией, вообще полагал, что она занимается не тем, чем нужно. «Еще менее способен был мой любящий отец извинить общение с подпольщиками», – читаем мы в «Прочерке». Не извинял не потому, что был против революционной деятельности: «К самодержавию относился с негодованием и презрением, к революциям 1905 и 1917 годов, свергнувшим самодержавие, – с деятельным сочувствием, но политика в качестве профессии! профессиональная политическая работа! нет, это не работа! не труд!» К. И. считал, что дочь губит себя, выбрала неверную дорогу и неправильных друзей, боялся за нее – и писал ей жесткие письма, и наверняка между отцом и дочерью было немало тяжелых разговоров. «Тем многозначительнее был его напутственный дар в день моего отъезда: третий том стихотворений Александра Блока! – вспоминала Л. К. – Наша общая любовь к Блоку как бы восстанавливала, заново скрепляла нашу дружбу».

Время ссылки было трудным для всей семьи. Лида, понимавшая уже, что политика – не ее стезя, что ей следует заниматься литературой, отстаивала тем не менее свое право на самостоятельный выбор жизненного пути. Объясняла, долго и трудно, почему живет так, а не иначе: "Нет, мой путь – путь правильный, но только не *мой,* а объяснять мне это незачем, я и сама знаю. Он и сам по себе тяжел, а так как он не *мой* – он вдвойне тяжел, каждая секунда мучительна до крика. Но человеку не дано выбирать самому свои пути – приходится менять дорогое, самое дорогое, свое, на чужое и недорогое, приходится идти чужой, не своей, дорогой и, видя и понимая, все-таки идти". Имелось в виду, что раз уж она попала в обстоятельства, при которых считается политической ссыльной, то и вести себя надо

так, как подобает ссыльной. Не идти ни на какие компромиссы с властями, не подавать прошений об амнистии или досрочном освобождении, жить в ладу с товарищами по несчастью, соблюдать принятые у них правила.

Семья считала Лиду упрямой, упорствующей в заблуждениях, попавшей под дурное влияние – сначала Кати Ворониной, затем друзей-ссыльных. В июне 1927 года в Саратов приехал Николай Чуковский – навестил сестру, привез домашних гостинцев и письма. Коля был «снисходительно заботлив, ласков», вспоминала Лидия Корнеевна, – но осуждал ее: «Он объяснял мне, что я живу без всякой пользы для себя, для общества и при этом не щажу ни маму, ни папу, которые круглосуточно беспокоятся, что я натворю еще каких-нибудь глупостей – уже непоправимых. В том же духе было и привезенное им от Корнея Ивановича письмо».

Коля писал домой после этого визита, что к сестре «можно относиться только как к тяжело больной». Отец отвечал раздраженно: «Это именно сумасшедшая, с которой крутыми мерами не сделаешь ничего. Но ты сам понимаешь, что лебезить перед нею мне никак не возможно. Лучше уж подвергнуться ее бойкоту, чем одобрять ее упрямые и тупые безумства». «Безумства» – это прежде всего переезд из съемной квартиры, за которую Лиде было трудно платить самостоятельно, в коммуну ссыльных. Бытовые условия там были гораздо хуже, но это жилье обходилось втрое дешевле. Впрочем, семью беспокоил не быт, а желание дочери непременно жить несвойственной ей жизнью, продолжать дружить с «политическими» – которые уже ввергли ее в бедствия и, как предполагалось, ввергнут в новые. Семья благоразумно считала, что Лиде следует совершенно отойти от этой компании, принимать от семьи денежную помощь, платить за комнату из присылаемых денег и заниматься литературой. Дочь хотела зарабатывать самостоятельно, не быть обузой семье – но работы не было, тем более для ссыльных, не было спроса на уроки стенографии и английского, которые она могла давать, а вместо документов была справка от ГПУ, с которой нельзя было поступить ни на работу, ни на учебу.

"Переезд в коммуну необыкновенно испортил мнение о ней начальства, – писал Николай Чуковский матери. – Сам Юра (Юрий Кочетов, рабочий-анархист и второй ссыльный «коммунар»; третьей была меньшевичка Дина. – *И. Л.)* передавал мне, что начальство говорило: так значит, Чуковская тоже с вами? Да и место для коммуны они выбрали неподходящее: в том же доме коммуна менш., напротив коммуна с-р. Она это все понимает, но Юра ее тянет, и с ним не совладаешь"; «если ее не вытащить хоть на время, можно считать, что несчастья только

начинаются». Хлопотать ли о ней? – спрашивал отец, не уверенный, что дочь не откажется от выпрошенных им послаблений. Сын отвечал – хлопотать непременно, но так, чтобы она не знала. Просить о том, чтобы Лиду отпустили в Ленинград на три месяца подлечиться, а затем уже разговаривать об отсрочке.

К. И. писал Коле: «В Москве я нажму все пружины и уверен, что достигну своего: пойду к Бухарину, к Калинину и проч. Как это ни дико, но мне жалко ее до боли. Сейчас она написала маме глупейшее письмо, что не желает получать наших денег, т. к. у нее теперь „коммуна“. Как это черство по отношению к нам, грубо по отношению ко мне. Она „железная“, именно в том отношении, что у нее нет никакой задушевности. Я написал как-то ей нежное письмо – очень от души – она ответила: „спасибо тебе за выраженные чувства“, что-то в этом роде».

Он хлопотал. Обратился к Маяковскому: тот был знаком с чекистом Аграновым. Разговор приводится в дневнике К. И.:

"– Научите меня, к кому обратиться, чтобы вернуть Лиду в Питер.

– К самой Лиде.

– А не может ли сделать что-нибудь для нее Луначарский?

– Луначарский может дать ей билет в Акоперу. Больше ничего.

– А вы ничего не можете?

– Я послал бы ее в Нарымский край.

Это говорил человек, который за десять лет до того называл меня своим братом".

Отцовское письмо, привезенное Николаем, заставило Лидию плакать. Сначала она решила вовсе прекратить переписку с К. И., затем написала ему длинное пронзительное письмо, это из него – приведенная выше цитата о «мучительных до крика» секундах. Ее терзало нежелание отца считаться с ее выбором, его уверенность в том, что он лучше знает, как ей жить. «Если бы ты зашел к нам в комнату сейчас – ты одобрил бы нашу коммуну, нашу трудовую коммуну, я знаю» – неужели не одобрил бы, он-то, растивший детей в уважении к труду? Ее оскорбляло его недоверие: читая ее открытку, отец сказал Коле: «Она знает, что надо осведомиться о Некрасове, и из приличия осведомляется» – а Коля рассказал об этом сестре. Она даже не пишет, а кричит в письме отцу: «Ты действительно так думаешь, думал хоть одну секунду? Ты действительно не знаешь, что я по-прежнему, по-детски, по-трехлетнему люблю тебя больше всех на свете и по-прежнему живу Пушкиным, Блоком, Некрасовым, Достоевским? Не поверю я этому никогда, потому что ведь ты – ты».

Его ответное письмо ей не сохранилось. Сохранился пересказ в письме Коле, пропитанный едва уловимой горечью и иронией (что тут эта ирония? Стремление спрятать больное или принятый между папой и сыном тон для разговоров о строптивой Лиде?): «С Лидой я примирился. Мы обменялись очень задушевными письмами. Ее письмо все полито слезами, но я убежден, что добровольно она не уедет из своей трудовой коммуны. Ей там мил каждый гвоздик. А что мы можем дать ей взамен? Домашние ссоры? Нашу Чуковскую бестолочь? Уверен, что все это опротивеет ей до тошноты и она затоскует по Саратову».

Корней Иванович и Николай Корнеевич «нажимали на все пружины», а она просила отца из ссылки: «Папа, ты меня знаешь. Когда будешь что-нибудь предпринимать – думай о том, чтобы не доставить лишней муки. „Радость-Страданье одно“, и я знаю, за каждую радость нужно заплатить страданием, но все-таки… будь осторожен. Не делай того, от чего мне придется отказываться, – сил моих нет…»

Она не хотела хлопот о себе, рассказывала в письмах о несгибаемой Кате: когда ей предлагают написать прошение об освобождении, она швыряет стаканом в стену… Возвращение в Ленинград – это радость, но если оно будет дано ценой нравственных страданий, отклонения от той прямой линии, по которой она начала вычерчивать свою жизнь, – то не надо такой радости. Не трать себя на то, что я не смогу принять, – это она пытается сказать отцу. Прими же то, что я тебе с таким трудом добываю, пытается он сказать ей. Пойми же ты меня, пойми меня наконец, заклинают оба в письмах, сжалься надо мной, не мучь меня – и продолжают мучить – не только непониманием, но и заботой, которую оба понимают по-разному.

Если бы они могли спокойно поговорить! Если бы он не хотел так сильно исправить «ее путь» – немедленно, прямо сейчас, настаивая на своей правоте и ее неправоте, не торопился бы так, поверил в то, что все зерна, посеянные им в ее душе, прорастут – уже проросли, уже дают всходы, но не надо торопиться сдувать снег с озимых, он должен сам сойти… Если бы она меньше значения придавала кодексу чести ссыльных, своей безупречности, моральной непогрешимости, меньше требовала от себя по самому суровому счету – счету, который, по человеческому разумению, излишне, ненужно жесток… Тогда обоим было бы легче, конечно.

Но тогда они оба не были бы собою – особенно Лидия Корнеевна. Она уже сейчас предъявляла к себе – но и к другим тоже – беспощадно высокие требования. Потому даже родные считали ее «железной», «твердокаменной»; потому в среде

литераторов ее побаивались; потому она и смогла занять свое, совершенно особое место в истории литературы, что сумела поставить перед собой высочайшую этическую планку и никогда не отступала от нее. Не боялась говорить вслух, когда другие молчали, не склоняла головы, когда другие их склоняли или опускали от стыда.

Они оба – отец и дочь – ясно понимали, что есть вещи важнее материальных благ, здоровья, личной безопасности – важнее жизни, наконец. Это, собственно, и дало им сил выжить и сохранить человеческую душу в годы, когда это, кажется, было едва возможно. Оба истово, почти религиозно служили Литературе. Но Корней Иванович был человек веселый, счастливый, жовиальный, жизнелюбивый; священное слово «литература» означало для него прежде всего красоту – красоту мира, красоту души, красоту созданного этой душой; к идеалу гармонии он подбирался через эстетику. И любимые герои его – жизнелюбцы, живописцы, эстеты, пусть даже и раздираемые сомнениями и нравственными терзаниями. А Лидию Корнеевну сковали из материала, который испокон веков шел на создание великомучеников и подвижников. Она была не эстет, но этик, и не случайно ближе всего в литературе ей оказался Герцен. Если выбирать ключевые слова для описания литературного кредо Лидии Корнеевны – то это будут не отцовские эстетика, бесцельность, самоценный идеал, – но долг, честь, категорический императив; понятия близкие, но не тождественные. Несмотря на продекларированную ею (в письме к Давиду Самойлову) нелюбовь к жизни, Л. К. не была таким уж каменным ангелом, как может показаться. Она умела и радоваться, и быть счастливой – в иную эпоху, может быть, и характер ее, и судьба сложились бы иначе. Но и времена, в которые ей довелось жить, и ее моральный императив, этим временам противостоящий, последовательно, неуклонно требовали от нее железной уверенности, прямоты, несгибаемости… А живая человеческая душа плакала, выбирая между «люблю» и «должна».

В августе Луначарский подписал прошение Чуковского о Лиде во ВЦИК – «и тут же сам вызвался – хлопотать о ней, „если она не совершила каких-нибудь террористических актов“, – записывал К. И. в дневнике. – Я чуть не обнял его». В сентябре 1927 года Лиду вызвали из Саратова в Ленинград – сказали, что на дополнительное доследование, но вместо доследования просто отпустили. Кроме Луначарского, о Лидии Корнеевне хлопотали заместитель наркома иностранных дел Максим Литвинов и математик Яков Шатуновский, с которыми был дружен К. И.

Сотрудник ГПУ потребовал от Лиды подписать бумагу с обязательством «никогда не участвовать ни в какой контрреволюционной организации». Л. К. отказалась подписывать, если освободят ее одну, а не вместе с Катей Ворониной. Катя пока оставалась в ссылке в Ташкенте, ее приговорили не к трем, как Лидию, а к пяти годам. Лида прекрасно понимала: родители сделали возможное и невозможное, чтобы вернуть дочь в Ленинград, и ее отказ – новое горе для них, новые седые волосы. Она знала, что о Кате продолжают усиленно хлопотать. "Маяковский, после неоднократных напоминаний Корнея Ивановича, написал Катюшино имя внутри на крышке той папиросной коробки, из которой угощал чекиста (Якова Агранова, с которым часто играл в бильярд. – *И. Л.)",* – вспоминала Лидия Корнеевна.

И все-таки Лидия Чуковская оставалась непреклонной. "Сознание говорило мне, что мои близкие правы, что снова лишать себя Ленинграда, самой сажать себя в тюрьму – не только глупо, но и жестоко, что никто из любящих меня не заслужил с моей стороны такой жестокости, что, наконец, в предлагаемой мне подписке нет ничего бесчестного… Но что-то, помещающееся не в голове, а где-то – не знаю где! – властно и бесповоротно учило меня: *им* ничего нельзя давать, никаких подписок и расписок, и не потому, что я собираюсь нарушить обещание (я уже тогда сообразила: путь политического деятеля не мой путь), а потому, что они – негодяи, нелюдь, нечисть, насильники, что они преследовали интеллигенцию, высылали ее, расстреливали – расстреляли же Гумилева! и кронштадтцев расстреляли, хотя те поднялись защитить справедливость, – и у *них* в сейфе не должен храниться мой что бы то ни было обещающий почерк", – писала Л. К. в «Прочерке».

Затем Лиду почему-то оставили в покое и перестали вызывать в ГПУ. Вскоре – по неустанным хлопотам К. И. – освободили и Катю Воронину. Катя требуемую подписку дала и даже «выступила в ташкентской газете с покаянным письмом», к удивлению Лидии Корнеевны. На этом пути подруг разошлись, хотя никакой ссоры между ними не было.

Фактор классового воспитания

1927 год был не самым легким для Чуковского. Лида пребывала в ссылке. В этом году Репин предупреждал К. И. в письме: «Кому ведать надлежит, следят за вашей перепиской: вы на счету интересных – еще бы!» Весь конец зимы продолжалась катавасия с изданием подготовленного Чуковским полного собрания стихотворений Некрасова: то шрифт не тот, то требуют приложить к книге «марксистский литературно-критический очерк»…

Он, как обычно, занят работой, и работой нетворческой, самой для него мучительной: корректурами. Держит корректуры воспоминаний Панаевой, занимается составлением и корректурой примечаний к стихотворениям Некрасова, вводной статьей к собранию сочинений, биографическим очерком… Жалуется в дневнике: «А мне хочется писать детскую сказку, и даже звенят какие-то рифмы. А условия, при которых проходит эта работа! Бьют палками, топчут ногами – в Госиздате. А в „Academia“ вежливо и весело не платят».

В июне у Муры случился приступ аппендицита. Девочка болела тяжело – она вообще болела много и почти всегда тяжко, – и в этот раз промучилась почти месяц, с ужасными болями, высокой температурой, в какой-то момент родители почти уверены уже были, что она умирает и скоро умрет. Если в начале ее болезни Чуковский еще досадовал в дневнике, что задумал, как назло, веселые стишки для детей, и ему нужно «безмятежное состояние духа» – то уже через несколько дней записи стали совсем страшными: "Она такая легкая и даже не худая, а *узенькая.* Никогда я не видел таких *узких* детей". Одновременно обострились его отношения с Лидой, находящейся в ссылке. Как раз тогда, когда отец со старшей дочерью обменивались жесткими письмами, как раз в тот день, когда Чуковский говорил с Маяковским и получил отказ, сделана такая запись: «С Мурой ужасно. Температура 39… 10-й день не ест. Самочувствие хуже. Измучена до последних пределов. Бредит: „гони докторов“». И в резкости, в нетерпимости и нетерпеливости, с которым он относится в это время к старшей дочери, явно сквозит отчаянное «ну хоть ты меня не мучай!»…

17 июня – в пять утра – "почему-то у меня нет надежды. Я уже не гоню от себя мыслей об ее смерти. Эти мысли наполняют всего меня день и ночь. Она еще борется, но ее глаза изо дня в день потухают. Сейчас мне страшно войти в спальню. Сердце человеческое не создано для такой жалости, какую испытываю я,

когда гляжу на эту *бывшую* Муру, превращенную в полутрупик". Вопрос об операции решался очень долго. Приступ прошел, в конце июня Мура чувствовала себя хорошо, а прооперировали ее гораздо позже, в октябре, в плановом порядке.

Младший сын Чуковского, Боба, летом поступал в институт. И провалился: подвело непролетарское происхождение. К. И., живший в это время на даче в Сестрорецке с Марией Борисовной и выздоравливающей Мурочкой, мотался в город решать денежные дела с издательствами, хлопотать о Лиде, хлопотать о Бобе… Лида, верная себе, писала отцу из ссылки: «На твоем месте я бы хлопотала, но на Бобином – не приняла бы этих хлопот. Кругом столько, столько, столько несправедливо проваленных!» Хлопоты оказались бесплодными, и в следующем году Борису пришлось снова поступать в вуз.

Летний отдых Чуковскому не удался: постоянные поездки в город отнимали время и изматывали нервы, на даче было шумно, что для него было смерти подобно: работать нельзя, спать нельзя. Рядом был Дом отдыха, где постоянно галдели, в соседней комнате кричал маленький ребенок. «Время бежит, а я не делаю ровно ничего; и не работаю, и не отдыхаю. Теперь я вижу, что отдыхать мне нельзя, мне нужен дурман работы, чтобы не видеть всего ужаса моей жизни. Когда этого дурмана нет, я вижу всю свою оголтелость, неприкаянность», – записывал Чуковский в конце августа.

С дачи, которую он потом обозвал в дневнике «садом пыток», он сбежал в квартиру, где делали ремонт. Сам клеил обои. Писал. «Единственное счастливое время было 10 дней в квартире, в зной, среди страшной пыли, когда я, голодный (т. к. не умел позаботиться о еде), писал свои Экикики» – это сентябрьская запись, подводящая итоги лета, оказавшегося «адом», с жалобой на феноменальную усталость. А упомянутые здесь «Экикики» – это сначала статья, а потом глава из будущей книги «Маленькие дети», счастливая, летящая, скачущая: "Для того, чтобы стать поэтом, ребенку нужно испытывать то, что называется «телячьим восторгом». Ранней весной на зеленой траве, когда дети шалеют от ветра и солнца, им случается по целым часам изливать свою экзальтацию в стихах. Как всякие стихи, порожденные экзальтированной пляской, эти стихи часто бывают бессмысленными, ибо исполняют главным образом функцию музыки:

Уманяу, Уманяу!
Уманяу, Уманя!
Эндендине, бететон!

Эндендине, бететон!
Горбонове реткос!
Горбонове реткос!"

Осенью вернулась Лида. «Как мы ждем ее! Я смотрю, что в доме Мурузи крыши мансард покрашены красной краской – и думаю: „их скоро увидит Лида!“ Гляжу на автобус: „в нем скоро поедет Лида!“ Гляжу на 23-й номер трамвая, который Лида так любила: „скоро Лида увидит, что к этому трамваю прибавили 2-й вагон“, – писал К. И. в дневнике перед ее возвращением. – …Всю ночь не спал. Жду Лиду». Лида приехала – худая, нервная. "Мура покраснела и спряталась от волнения, со мною вместе, потому что я тоже убежал в другой угол… Боба стоит в дверях и безмолвно глядит на нее, а я чувствую, что чужой, чужой, чужой человек.

– Я не знаю ничего, что со мною".

Какая обстановка царила в доме, ожидающем вызова Лиды в ГПУ, можно судить хотя бы по записанному в дневнике К. И. Муркиному сну о том, как ее арестовали: «А он милиционер говорит: ты пойдешь за мной в Г. П. У., ты мне что-то подозрительна. Я говорю: да я ничего не делаю. А он говорит, да нет, не бойся, если плохая погода будет, назад вернемся».

В это время сделана запись о впечатлениях Лиды от ленинградской жизни после долгого отсутствия: у всех стали шикарные квартиры, все заботятся об «обстановочке»… «А между тем – ощущение катастрофы у всех – какой катастрофы – неизвестно – не политической, не военной, а более грандиозной и страшной».

И катастрофа действительно была не за горами.

К осени борьба со сказкой разгорелась не на шутку. В сентябре в цензуре Ленгиза задержали «Айболита». Затем запретили четвертое издание «Бармалея». Чуковский записывает в дневнике, что Соцвос решил, будто «дети не поймут заключающейся здесь иронии», – и восклицает: «Боролся бы с пьянством, с сифилисом, с Лиговкой, со всеми ужасами растления детей, которыми все еще так богата наша нынешняя эпоха, – нет, он воюет с книгами, с картинками Добужинского и стихами Чуковского».

К. И. написал о «Бармалее» письмо цензору, Лебедеву-Полянскому (которого писатели окрестили «Подлянским»), отчего-то рассчитывая на его помощь. Никакой помощи не последовало.

Чем же были вызваны неожиданные нападки на столь

безобидную форму творчества, отчего ее вдруг дружно признали вредной? О происходившей в 20-е годы борьбе со сказкой в наше время писали много и подробно. Однако в отрыве от исторической ситуации, в контексте только литературном, дело выглядит просто неожиданной и случайной кампанией, которая началась на голом месте, ни с того ни с сего: получается, у властей и педагогов вдруг произошел некий странный заворот в мозгах, и сказку объявили вредной. На самом деле у этого заворота были, конечно, свои исторические причины, о которых мы уже говорили, хотя и недостаточно.

Чтобы понять, почему борьба со сказкой вдруг стала первоочередным вопросом педагогики, надо для начала просто представлять себе ситуацию внутри страны – плохо одетой, не вполне обутой, не всегда сытой и не очень грамотной, но уже возводящей Днепрогэс и задумывающейся о планах на первую пятилетку. Планы были огромные, ресурсы для их реализации недостаточные. При таком раскладе поддерживается все, что помогает достичь заявленных великих целей, все, что приносит прямую пользу. Соответственно, все, такой пользы не приносящее, оказывается вредным, ненужным, не заслуживающим поддержки и не имеющим права на существование. Сказка с ее золотыми яблоками, говорящими зверями, скатертями-самобранками уводила детей от повседневности в дали фантазии и безудержной игры, а то и заставляла их смущать взрослых трудными вопросами. Сказка отвлекала от «овладения положительными знаниями»: знаний, как общество понимало, следовало усвоить очень много, ребенку предстояло «учиться, учиться и учиться», чтобы стать по-настоящему полезным членом общества—а он, видите ли, увиливает!

Чуковскому специально пришлось доказывать, что полезны и волшебные сказки, и перевертыши, и песенки, состоящие из одной чепухи… Он снова был в своем амплуа: доказывал приземленным прагматикам великий смысл бессмыслицы, соответствие бесцельного самым грандиозным целям, важнейшую роль неосязаемого, невидимого, неизмеримого в тоннах, километрах и лошадиных силах.

Поколение, запрещающее сказку, уверено было, что его жизнь интереснее всякой небылицы: оно родилось, чтобы сказку сделать былью, и детей надо было растить строителями, работниками, преобразователями, которые смогут воплотить невероятное планов громадье в жизнь. Поколение гордилось своими достижениями: в полудикой, разрушенной стране за несколько лет построено столько-то заводов и фабрик, восстановлено

хозяйство, а будет еще лучше! И если не молочные реки с кисельными берегами они видели в будущем, то уж город-сад – точно. По сравнению с этими городами-садами, с тракторами и каналами, с реками, которые запряжены, как лошади, и вертят турбины, по сравнению с облетом Европы на аэроплане и другими небывалыми достижениями человека труда старая сказка казалась маленькой, обмелевшей, скучной. Чуковский неприязненно цитирует в «От двух до пяти» написанные во времена развенчания сказки стихи о противном мальчишке-скептике, которому фея приносила сказочные дары, а он презрительно отказывался: «Руки / В брюки / Запихал, / Прыснул, / Свистнул / И сказал: / „Очень, тетя, / Вы уж врете! / Ни к чему теперь, гражданка, / Ваша ‘скатерть-самобранка', / Никого не удивите / Этой штукою в Нарпите“».

Чуковский пытался убеждать: сказка и желание сделать сказку былью не противоречат друг другу, «в наше время, в эпоху осуществления самых размашистых научных фантазий, которые еще так недавно казались безумными сказками, нам нужно было во что бы то ни стало создать поколение вдохновенных творцов и мечтателей всюду, во всех областях – в науке, технике, агрономии, архитектуре, политике…». В главе книги «От двух до пяти», посвященной борьбе за сказку (описываемые события относятся к 1929 году), – он уже вооружен до зубов аргументами, выписками, книгами; у него в сумке старая работа Кирпичева «Значение фантазии для инженеров», которую он готов предъявлять оппонентам. Он восклицает: «Откуда взялся у них педагогов этот тупой ультиматум: либо сказка, либо динамо-машина? Как будто для того, чтобы выдумать динамо-машину, не понадобилось самой смелой фантазии!» – и дальше ссылается на Ленина, говорившего о значении фантазии, на Маркса, который рассказывал дочерям волшебные сказки, на Дарвина, который в детстве был фантазером… Начиная с 1925–1926 годов Чуковский постоянно собирает материал, оттачивает аргументацию, ищет способов донести свою мысль до педагогов, не желающих ничего слушать. Он вступает в бой – а враг уходит от честной дискуссии. Его противники в этой битве вообще предпочитали не встречаться с ним лицом к лицу: их оружием был не аргумент, а коллективная жалоба или газетная статья с политическими обвинениями. И последнее. Воспитатели советских детей разделяли общее мнение: надо строить новое и рвать со старым. А сказка – она вся была в прошлом. Соцвосы и гублиты видели в ней пережиток прошлого: цари, короли, женитьба на принцессе как венец представлений о социальной справедливости. А для Чуковского детская сказка означала раннее приобщение детей к

народной культурной традиции, неразрывную связь поколений – а значит, своевременную прививку культуры, профилактику превращения ребенка в обывателя, который не помнит родства, не мыслит самостоятельно, говорит усвоенными лозунгами и насквозь отравлен пошлым практицизмом.

Управлять литературой – теперь уже на уровне не общественной тенденции, а государственной идеологии – продолжали старые противники Чуковского: позитивисты, прагматики, утилитаристы, последователи тех народников и марксистов, которые превратили весь мейнстрим русской дореволюционной литературы в благонамеренный плач о судьбах крестьянства и вине интеллигенции, в прославление рабочих и проклятие буржуазии. Законодателем литературных вкусов оставалась та скучная, скудная, приземленная эстетика, с которой Чуковский воевал еще на заре своей газетной деятельности, в серии публикаций о литературе и революции, в споре с Луначарским. Теперь на борьбу с Чуковским вышел весь Луначарский Наркомпрос – хотя вряд ли сам нарком желал такого поворота событий. (К. И. иронизировал в дневнике, узнав, что дочь жены Луначарского, актрисы Розенель, знает его сказки наизусть: как же, в семье главы ведомства, искореняющего чуковщину, гнездится эта страшная зараза!)

Осложнялось дело, как всегда в России, административным рвением. Чиновники, цензоры, критики, как и весь советский народ, оказались охвачены жаром социалистического созидания – и очень боялись показаться непролетарскими, непартийными, не соответствующими требованиям момента. Не совпасть с генеральной линией партии уже становилось опасно: партию, а вместе с ней и страну, сотрясала внутрипартийная борьба, и каково приходилось несовпавшим – все хорошо видели. А потому старались на все лады засвидетельствовать лояльность, оказаться святее папы римского, стать передовиком по поиску крамолы – гнать самому, а не быть гонимым. В таких условиях было легче запретить, чем разрешить, и запрещали огульно, как бы только чего не вышло.

Арлен Блюм в своей истории советской цензуры – книге «За кулисами министерства правды» – приводит следующую выдержку из «Списков неразрешенных рукописей» Ленгублита за II квартал 1927 года:

Автор	*Название*	*Издательство*	*Мотивы запрещения*
Д'Аннунцио	Наслаждение	Прибой	Идеологические
Конан Дойль	Изгнанники Подвиги бригадира Жерара	Прибой	—
Коллинз	Лунный камень	Прибой	—
Чуковский	Бармалей 4-е издание	Радуга	Неприемлемость с педагогической точки зрения
Лесков	Несмертельный Голован	Прибой	Идеологические

Блюм неоднократно подчеркивает, что в цензурном деле в это время царили произвол и вкусовщина: объективных критериев, по которым произведение признавалось вредным, так и не было выработано. «Бармалея», например, запретили «на основании отзыва Соцвоса ЛГОНО»; на чем основывался Главсоцвос, Губсоцвос и им подобные – мы видели в приведенных выдержках из текстов Крупской, Лилиной, Свердловой.

Дневники пестрят сплошным «разрешили – не разрешили – обещали разрешить – запретили».

11 сентября: Горохов, цензор Госиздата, говорит: «Мне лично „Айболит" понравился. Я прочитал его вслух своему сыну. Очень мило, очень оригинально. Но, как главный редактор, я не могу пропустить эту вещь. Нет, нет, теперь нечего и думать об этом. Теперь такие строгости, теперь у власти ГУС, которому мы должны подчиняться».

7 октября: "Был сегодня у Энгеля (главы Гублита. – *И. Л.).* Очень мягко и как-то не начальственно! «Бармалея» мы вам разрешим".

23 октября: "С «Крокодилом» худо. Нет разрешения ни в Москве, ни здесь. А между тем с 1-го ноября над детскими книгами воцаряется *ГУС,* и начнется многолетняя канитель". ГУС, который упоминается здесь многократно, – это Государственный ученый совет, руководящий методический центр Наркомата просвещения РСФСР. С 1 ноября 1927 года ГУС должен был давать разрешение на издание любой детской книги в государственном издательстве, и многолетняя канитель, предсказанная Чуковским, действительно началась.

27 октября: «Сейчас получил от Воронского письмо: „Крокодил" задержан из-за ГУСа… А здешний Гублит задержал

вчера все представленные „Радугой“ мои книги, в том числе и „Крокодила“… Сейчас мы с Маршаком идем в Гублит воевать с тов. Энгелем. Если он будет кобениться, мы поедем в Смольный – будем головою пробивать стену. И пробьем, но чего нам это будет стоить».

30 октября: "В воскресенье был с Таней Ткаченко (соученицей Лидии Чуковской по Тенишевской гимназии. – *И. Л.)* в цензуре – в Гублите. Ко мне вышел цензор и сказал, что они разрешили все мои детские книги. Верно ли это, я не знаю, но если разрешены «Айболит» и «Крокодил», то денежные мои дела будут значительно лучше".

26 ноября: «В ноябре выяснилось, что мой „Крокодил“ задержан ГУСом надолго и что никто, кроме меня, его не отстоит… Ехать в Москву стало необходимо. Чтобы окупить поездку, я написал разные статейки о Некрасове – к его юбилею».

Чуковский написал письмо Луначарскому, защищая «Крокодила», – объяснял в письме, что это книга полезная, что в ней говорится о «героической борьбе слабого ребенка с огромным чудовищем для спасения целого города», что в ней содержится «протест против заточения вольных зверей в тесные клетки зверинцев» и «против несправедливых войн». Педагоги, пишет он, восставали против слов «Петроград» и «городовой» – «но кому станет легче оттого, что Крокодил будет глотать милиционеров и собак в Ленинграде». Предпринял ли что-то нарком – неизвестно. Он еще летом 1927 года, отдыхая в Сестрорецке, жаловался Чуковскому, что ничего с этой «идиотской политикой» не может сделать, потому что все дело взяла в свои руки Лилина.

Чуковский приехал в Москву и отправился в ГУС. Там выяснилось, что «Крокодил» лежит у Крупской. Именно она, уже уничтожившая «Чудо-дерево», должна была дать отзыв об этой сказке. Отзыв последовал в феврале следующего года – и едва не загубил вместе со сказкой ее автора. О своем визите к Крупской Чуковский рассказывает в дневнике так:

«Приняла любезно и сказала, что сам Ильич улыбался, когда его племяш читал ему моего „Мойдодыра“. Я сказал ей, что педагоги не могут быть судьями лит. произведений, что волокита с „Крок.“ показывает, что у педагогов нет твердо установленного мнения, нет устойчивых твердых критериев, и вот на основании только одних предположений и субъективных вкусов они режут книгу, которая разошлась в полумиллионе экземпляров и благодаря которой в доме кормится 9 человек. Эта речь ужаснула Крупскую. Она так далека от искусства, она такой заядлый „педагог“, что мои слова, слова литератора, показались ей наглыми. Потом я узнал, что она так и написала Венгрову

записку: „Был у меня Чуковский и вел себя нагло“».

Последовавшее через несколько дней выступление Чуковского в Институте детского чтения лишний раз убедило его в том, что у педагогов нет твердой позиции, их мнения «неустойчивы и шатки»: «Вместо своры врагов я увидел перед собою просто добродушных обывательниц, которые не знают, что творят. Они повторяют заученные речи, а чуть выбьются из колеи, сейчас же теряются и несут околесицу». Впрочем, заключает К. И. эту запись раскаянием в том, что был «в тот вечер кроток и сахарно сладок»: «…как я убедился через несколько дней, казенные педагоги гнуснее и тупее, чем они показались мне тогда».

Следующие, январские, записи в дневнике уже совсем ругательные: "Там, в ГУСе, сидят темные невежды, обыватели, присвоившие себе имя *ученых*… Критериев у них нет никаких, и каждую минуту они прикрываются словом «антропоморфизм»… Но что мы в тисках такой цензуры, которой никогда на Руси не бывало, это верно. В каждой редакции, в каждом изд-ве сидит свой собственный цензор, и их идеал казенное славословие, доведенное до ритуала".

В эти годы в дневниках впервые появляется прием, к которому Чуковский в ближайшее десятилетие прибегнет еще не раз: вслед за горьким и точным диагнозом эпохе – короткое послесловие, свидетельствующее о вере автора в советский строй. После вышеприведенных мыслей о цензуре (это запись разговора с Михаилом Слонимским) следует вот такой удивительный пассаж: «Поговорив на эти темы, мы все же решили, что мы советские писатели, т. к. мы легко можем себе представить такой советский строй, где никаких этих тягот нет, и даже больше: мы уверены, что именно при советском строе удастся их преодолеть».

Годом раньше тот же прием использован в записи о Зощенко: «Он очень бранил современность, но потом мы оба пришли к заключению, что с русским человеком иначе нельзя, что ничего лучшего мы и придумать не можем и что виноваты во всем не коммунисты, а те русские человечки, которых они хотят переделать». Написано ли это «для показа властям», как сам К. И. прокомментировал одну из своих позднейших записей? Из нежелания навредить Слонимскому и Зощенко? Чуковский давно уже не испытывает иллюзий, будто в личном дневнике можно писать все, в нем есть и умолчания, и вырезанные строки. Но запись с «марксистским послесловием» – это в его дневнике большое новшество. И правильной разгадки ему нет. Конечно, это написано с учетом попадания дневника в руки заинтересованных органов. Но в самом деле – а не пытались ли все-таки писатели в

своих частных беседах понять смысл происходящего вокруг, а то и найти ему оправдание? Так ли уж сильно кривили душой, рассуждая о преимуществах советского строя?

По крайней мере, Чуковский пока искренне верил в возможность создать в России правильное демократическое государство, основанное на гуманистических принципах. Жестокие тиски цензуры еще кажутся ему не системным признаком советской власти, а извращением, искажением ее правильных принципов – это не власть как таковая виновата, а оказавшиеся у власти неправильные, необразованные, темные люди, мещане и обыватели. Значит, надо воевать, доказывать свою правоту, отстаивать право писателей печататься и право детей читать сказки, надо воспитывать, учить, ставить градусники, свершать каждодневную, остро необходимую интеллигентскую работу.

Частью этой работы стала книга «Маленькие дети», будущая «От двух до пяти» – с ее обширнейшей частью, посвященной защите сказки и фантазии, – а если смотреть глубже, то защите свободы творчества, его права не подчиняться убогому утилитаризму. Это продолжение философского трактата, который он так и не написал в юности, продолжение дискуссии о революции и литературе – только в другой исторической ситуации и на другом материале.

Начавшиеся в первые мирные годы советской власти гонения на сказку все усиливались – и перешли в новую фазу в начале 1928 года, когда ГУ С активно занялся цензурированием детской литературы, да еще в бой активно вступили педологи. В январе 1928 года в Москве прошел Первый педологический съезд, на котором было создано Всесоюзное педологическое общество. Педология претендовала на то, чтобы быть «марксистской наукой о детях», и именно педологи возглавили борьбу со сказкой.

Педология должна была стать синтезированным, полным знанием о ребенке. Предмет ее был не вполне определен: физиология, психология, педагогика – всего понемногу. В области педологии работали выдающиеся отечественные ученые – но вместе с тем в этой науке, как и везде, нашли себе место вульгарные марксисты, навязывавшие обществу свои концепции. В памяти детей 30-х годов педологи остались странными людьми в белых халатах, проводившими бесконечные тесты, которые часто казались детям, не понимавшим их смысла, унизительными и глупыми. На основании тестирования педологи определяли уровень умственного и физического развития детей – и довольно часто не только констатировали дефицит веса (страна по-прежнему недоедала), но и ставили диагноз «умственная

отсталость». Среди умственно отсталых оказывалось довольно много детей рабочих и (особенно) крестьян, меньше детей служащих. Некоторые исследователи впоследствии говорили, что педологи пострадали за правду: отважились показать истинное положение дел в стране. Другие утверждали, что методики были несовершенны, методы интерпретации – тенденциозны и упрощены, что педологи неправильно определяли роль генетических и социальных факторов в воспитании ребенка.

Как бы то ни было, массовые тестирования, по результатам которых огромное количество детей получало ярлык «дефективных» и направлялось в школы для умственно отсталых, не могло не вызвать возмущения партийных лидеров и общественности (Жданов в 1936 году в своем докладе, разоблачавшем педологов, подчеркивал: за два года работы педологов количество трудновоспитуемых детей в Ленинграде увеличилось на 60 %). То, что «дефективными» оказывались по преимуществу дети пролетарские и крестьянские, подливало масла в огонь. В середине 1930-х годов все это привело к кампании борьбы с педологией – как и все сталинские кампании, безжалостной, проходившей под политическими лозунгами. Ее результатом стало постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» 1936 года, которое запретило педологию как науку и потребовало удаления педологов из школ. Вместе с водой, как водится, выплеснули ребенка: объявили ложными, немарксистскими, неправильными многие интересные мысли, теории, работы; вредными оказались труды Л. Выготского, П. Блонского, Г. Россолимо, работавших в русле педологии. В постсоветские времена запретную науку пытались реабилитировать и даже возродить, появились посвященные ей исследования – но это уже безнадежно выходит за рамки нашей темы.

Однако в 1928 году советские педологи представляли собой грозную силу. Особым рвением отличались харьковские – в тогдашней столице советской Украины, как пишет К. И., «подвизалась группа педологов, теоретиков детского чтения, утверждавших, что пролетарским ребятам не надобны ни сказки, ни игрушки, ни песни». Приводит Чуковский и мнение Макаренко, называвшего педологические теории «бредом сумасшедшего, сознательным вредительством, гомерической дьявольской насмешкой над всем нашим обществом или просто биологической тупостью». Убежденным врагом педологов был и Маршак, который вместе с Чуковским защищал от них сказку.

Мирон Петровский в «Книгах нашего детства» так описал тогдашнюю ситуацию в детской литературе:

"Сказка как жанр детской литературы этой (педологической. – *И. Л.)* критикой безусловно отрицалась. На педологических конференциях ораторы заканчивали свои выступления призывом «развернуть широкую антисказочную кампанию». «Сказка отжила свое», «Кто за сказку – тот против современной педагогики» и, совсем коротко и просто, «Долой всякую сказку» – таковы были лозунги педологов. При активном участии руководителей «Харьковской педагогической школы» вышел «основополагающий» сборник статей «Мы против сказки». Вульгаризаторские антисказочные идеи подвигли Э. Яновскую на создание развернутых трактатов: «Сказка как фактор классового воспитания» и «Нужна ли сказка пролетарскому ребенку». Доказать, что сказка является сугубо отрицательным «фактором классового воспитания» и потому вредна «пролетарскому ребенку», – другой цели у этих трактатов не было.

Автор книжки «О вреде сказок», вышедшей в Оренбурге, снабдил свое сочинение подзаголовком: «Настольная книга для работников просвещения трудовой школы» (Чуковский приводит в «От двух до пяти» высказанное автором этой книги В. Булгаковым мнение о том, что волшебная сказка – школа полового разврата: мать Золушки – садистка, принц – фетишист и т. д. – *И. Л.)*. Изданная педологами двухтомная «Педагогическая энциклопедия» утверждала, что «вопрос о сказке для ребенка-дошкольника является не только спорным вопросом, но имеющим тенденцию разрешиться в отрицательном смысле…» Натиск педагогической и рапповской критики на сказку был так сокрушителен, успех врагов сказки выглядел таким прочным, что казалось, будто это уже навсегда. Будущее литературы рисовалось поэту «очищенным» от сказок: «Тут не бродить уже туфельке Золушки, на самобранке не есть», – с меланхолической грустью писал Илья Сельвинский. Вместе с книжками, в подзаголовке которых стояло опасное слово «сказка», из школьных и детских библиотек удалялись книги, где элемент вымысла превышал некую установленную педагогами норму, – «Путешествие Гулливера», «Робинзон Крузо» и в особенности – «Приключения Мюнхаузена»".

«В те дни мрачные противники антропоморфизма и сказки, утверждавшие, что и без сказок ребенок с огромным трудом постигает мир, захватили ключевые позиции педагогики, – вспоминая, записывал в дневнике Евгений Шварц. – Детскую литературу провозгласили они довеском к учебнику. Они отменили табуретки в детских садах, ибо таковые приучают к индивидуализму, и заменили их скамеечками. Изъяли кукол, ибо они гипертрофируют материнское чувство, и заменили их

куклами, имеющими целевое назначение: например, толстыми и страшными попами, которые должны были возбуждать в детях антирелигиозные чувства». Кончилось тем, свидетельствует Шварц, что девочки стали купать и укладывать спать этих самых попов.

В новой фазе борьба со сказкой перешла на личности: силы педагогов сосредочились на самых заметных авторах детской литературы. К этому времени сказки Чуковского выходили многократными переизданиями, многотысячными тиражами, дети знали их наизусть; по мотивам сказок писали оперы и балеты, ставили мультфильмы (правда, далеко не всегда хорошего качества, об одном примере Лидия Корнеевна с ужасом сообщала отцу в письме). Злата Лилина писала в начале 1929 года, что его книги – на втором месте по читаемости. Писатель имел явное, бесспорное влияние на детские умы – и поэтому представлял серьезную опасность для казенной педагогики: сказки Чуковского меньше всего годились на роль воспитателей классового сознания. Другой удобной мишенью для гонителей чуда, игры и фантазии стал Самуил Маршак, к этому времени издавший множество собственных стихов и переводов английских детских песенок. Вскоре Чуковского с Маршаком для удобства битья даже объединили в связку, нечто вроде «троцкистско-зиновьевского блока».

Маршак храбро воевал и за себя, и за Чуковского. В дневниковых записях К. И. довольно много упоминаний об этой борьбе. 1 февраля Маршак вернулся из Москвы, куда ездил добиваться разрешения своих книг и книг Чуковского; однако свои ему отстоять удалось, но едва речь заходила о Чуковском, ответственные лица начинали неприятно вилять. «Особенно повредила вам ваша книга „Поэт и палач“, – рассказывал Маршак. – Они говорят, что вы унизили Некрасова». Чуковский жалуется в дневнике, что его книги еще не рассматривались – «но уже зарезаны „Путаница“, „Свинки“, „Чудо-дерево“, „Туфелька“…». И новости, привезенные Маршаком из Москвы, были неутешительны: «выяснилось, что моя „Муха-Цокотуха“ и мой „Бармалей“ (наиболее любимые мною вещи) будут неизбежно зарезаны». Только через два дня он узнал о новой беде, случившейся в этот день. С 1 февраля 1928 года в жизни Чуковского началась долгая черная полоса.

«Тайный политический смысл»

В этот день в «Правде» вышла статья Крупской «О „Крокодиле“ Чуковского». Статья эта сейчас хорошо известна и

многократно перепечатана. Начинается она безобидно: ребята любят читать о животных, но вместо рассказа о жизни крокодила услышат о нем невероятную смешную галиматью. «Но вместе с забавой дается и другое» – и тут Надежда Константиновна начинает собственные поиски крамолы в детской сказке. И вот что находит:

народ изображен неправильно и злобно;

вторая часть поэмы изображает домашнюю обстановку Крокодила – и смех приучает ребенка не замечать мещанскую пошлость;

речь Крокодила перед царем – пародия на Некрасова (на самом деле – на «Мцыри» Лермонтова);

Чуковский вообще ненавидит Некрасова.

Эту мысль Крупская иллюстрирует рядом выдернутых из контекста цитат вроде «к десятилетнему возрасту из мальчика вышел умелый картежник и меткий стрелок» или «к началу пятидесятых годов благосостояние поэта упрочилось». И резюмирует: «Все это мог писать только идейный враг Некрасова. Мелкими плевками заслоняет он личность „поэта мести и печали“».

Новые обвинения на поверку оказались старыми-престарыми: разве не в том же обвиняли Чуковского в 1909 году, когда он написал о «лысом и пьяном» Шевченко? Разве не упрекали его в ненависти к поэту, не требовали не своевольничать, не святотатствовать, не покушаться на застывший канон? Помните, Чуковский иронизировал – как же я забыл, мол, что «Шевченко это, так сказать, яркий светоч, это, так сказать, путеводная звезда наших идеалов, прогресса и свободы, той свободы, которая…» – как я посмел сказать о поэте что-то небанальное? Двадцать лет прошло, по стране прокатилась мировая война, революция, гражданская война, разруха, голод, сменились эпохи, сместились геологические пласты – но ничего не изменилось в закоснелых мозгах «прогрессивной» русской интеллигенции: Шевченко – «яркий светоч», Некрасов – «поэт мести и печали», и ни слова от себя!

А кончалась статья Крупской, разумеется, политикой: «Что вся эта чепуха обозначает? Какой политический смысл она имеет? Какой-то, разумеется, имеет. Но он так заботливо замаскирован, что угадать его довольно трудновато… Герой, дарующий свободу народу, чтобы выкупить Лялю, – это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдет для ребенка… Такая болтовня – неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником – веселыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я

думаю, „Крокодила“ ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть».

Такое выступление в главной партийной газете – выступление председателя научно-педагогической секции ГУСа, председателя Главполитпросвета, вдовы уже канонизированного вождя – в создавшейся обстановке означало одно: полное запрещение печататься, немедленное и тотальное отлучение от литературы, запрет на профессию.

Чуковский был убит, уничтожен, подавлен. Изгнание из литературы для него было равносильно смертному приговору. «Бедный я, бедный, неужели опять нищета? – писал он в дневнике. – Пишу Крупской ответ, а руки дрожат, не могу сидеть на стуле, должен лечь».

По самому тону ответа видно, какими дрожащими руками, с каким черным отчаянием в душе он написан: «Я пишу эти строки, чтобы показать, как беззащитна у нас детская книга и в каком унижении находится у нас детский писатель, если имеет несчастье быть сказочником. Его трактуют как фальшивомонетчика и в каждой его сказке выискивают тайный политический смысл. Мудрено ли, что я, например, вместо сказок стал в последнее время писать только примечания к стихотворениям Некрасова, да к „Воспоминаниям Авдотьи Панаевой“. Но выгодно ли советским читателям, советской культуре, чтобы квалифицированные детские поэты изменяли своему прямому призванию? Если выгодно, пусть бьют нас и впредь. Бить нас очень легко и удобно, потому что мы вполне беззащитны».

Соперник Чуковского в некрасоведении, давний его недруг Евгеньев-Максимов поспешил предложить Госиздату свои услуги в редактировании некрасовских сочинений; возможность лишиться работы над Некрасовым еще больше выбила Чуковского из колеи. Он взялся за воспоминания о Горьком – «чтобы забыться от того потрясения, которое нанесла мне Крупская». Только Горький сейчас и мог спасти опального литератора – и не потому, что любовная работа над воспоминаниями о нем отвлекала Чуковского от ужаса его положения. К авторитету Горького К. И. апеллировал в ответе Крупской – «давал читать „Крокодила“ Горькому»; позднее появились и утверждения, что сама идея этой сказки была подсказана Алексеем Максимовичем.

Лидия Корнеевна, ошарашенная состоянием отца, решила его спасать – и обратилась именно к Горькому. «Я с детства привыкла верить, что если с писателем случается несчастье – нужно просить защиты у Горького, – писала она в Сорренто. – С моим отцом, писателем К. И. Чуковским, случилось большое несчастье, и я

обращаюсь к Вам, Алексей Максимович, за помощью». В этом письме Л. К. подробно рассказывала о кропотливой работе отца над изданием стихов Некрасова и его некрасоведческой работе, его детских стихах, о несправедливости выдвинутых Крупской обвинений в ненависти к Некрасову – и просила Горького восстановить справедливость.

"Рецензия Крупской равносильна декрету о запрещении книг К. И. Половина его детских книг уже запрещена ГУСом; ходят слухи, что редактура нового издания Некрасова будет поручена *не ему,* – писала Лидия Корнеевна. – С ним происходит очень страшная вещь: впервые в жизни он не в силах работать. Свою работу над книгой о Толстом и Некрасове он бросил – говорит, что ему незачем, ни к чему работать".

Горький, надо отдать ему должное, откликнулся сразу: письмо Лидии Корнеевны ушло из Ленинграда 14 февраля, а уже 25 февраля из Сорренто в Москву отправилось письмо Горького в редакцию «Правды». 14 марта оно увидело свет. Горький писал, что критика Крупской «слишком субъективна, а потому – несправедлива». Объяснил, что не видит проявлений ненависти в приведенных цитатах. Указал, вслед за Лидой, на «Мцыри». И приберег главный козырь под конец: «Помню, что В. И. Ленин, просмотрев первое издание Некрасова под редакцией Чуковского, нашел, что это „хорошая толковая работа“. А ведь Владимиру Ильичу нельзя отказать в уменьи ценить работу».

Это был подарок неоценимый, вроде выдачи охранной грамоты, мандат на занятия некрасоведением, спасение от литературного остракизма. Чуковский записал в этот день в дневнике: «Не то чтобы гора с плеч свалилась, а как будто новая навалилась – гора невыносимого счастья». И чуть ниже о письме Горького: «…очень сдержанное, очень хорошее по тону – но я почему-то воспринял его как несчастье» – ожидал, что будут еще бить, заново?

Упоминание о ленинской оценке могло защитить некрасоведческие штудии К. И. от нападок на много лет. Вспомним: единственное письменное упоминание о К. И. в наследии вождя до сих пор заключалось в словах «лягал марксизм» («Наши упраздните ли»), а ведь даже самые короткие ленинские оценки (как правило, выдернутые из контекста) много десятилетий служили отечественному литературоведению и критике камертоном, по которому отстраивали общую тональность предисловия, послесловия, биографии, – да и вообще отношение к писателю. Впрочем, вырезать несколько фраз из вышедшей в 1930 году книги о Некрасове Чуковскому все-таки пришлось (об этом речь шла выше, в главке о некрасоведении).

Вступились за Чуковского и другие коллеги. Федерация писателей направила протест Луначарскому. Алексей Толстой, Константин Федин, Ольга Форш, Михаил Зощенко, Николай Тихонов, Самуил Маршак, Вячеслав Шишков, Евгений Замятин, Николай Никитин, Лидия Сейфуллина, Юрий Тынянов, Михаил Слонимский, Борис Житков, Сергей Ольденбург, Евгений Тарле, Борис Эйхенбаум и многие другие выразили изумление тем фактом, что мастерские книги Чуковского запрещены без объяснения причин. Причины для такого шага должны быть очень вескими, а если судить по рецензиям «лиц, близких к ГУ Су» – то «эти данные субъективны и шатки, и на основании одних этих данных уничтожать какую бы то ни было книгу, а особенно книгу ценную в литературном отношении, – нельзя». «Под влиянием этого протеста было дано разрешение „издать книгу небольшим тиражом“, но через несколько месяцев разрешение было взято назад, несмотря даже на вмешательство Горького, – пишет К. И. в „От двух до пяти“. – А люди, подписавшие эту бумагу, были названы „группой Чуковского“».

«Группа» – это был термин политический и страшный. На слуху у каждого были газетные штампы, а газеты и радио то и дело рассказывали о борьбе с какими-нибудь группами; в 1928-м актуальна была «группа» Каменева-Зиновьева, в 1929-м – «группа» Бухарина. Группа уже означала организованную оппозицию, сознательное вредительство.

27 марта в ГУСе пересматривалось дело о запрете книг Чуковского. Инициатором пересмотра стал Самуил Маршак, с огромной энергией отстаивавший право писателя писать, переводить и публиковать детские сказки, нелепицы, нескладушки. Чуковский, кажется, иногда был готов опустить руки и сдаться. Маршак был полон воинственного задора. Крупской он, например, заявил по поводу малограмотной травли Чуковского: если человека расстреливают, пусть это хотя бы делает тот, кто владеет винтовкой.

Лидия Корнеевна, поздравляя отца в этот день с наступающим днем рождения, желала ему «легче, легче нести бремя свое»… Чуковский записывал в дневнике: комиссия, собравшаяся к шести часам, «была 1) запугана слухами о протесте писателей, о нажиме Федерации и пр. 2) запугана письмом Горького, 3) запугана тем влиянием, которое приобрел у Крупской мой защитник Маршак, – и судьба моих книжек была решена…». Все разрешили – кроме «Чудо-дерева» («потому, что надо же что-нб. запретить» – ехидничает Чуковский).

А уже в июне отложили печатание «Мухи-Цокотухи». Лида в письме отцу, отдыхавшему на даче, писала из города, что Маршак

решил за «Муху» воевать. Л. К. к тому времени начала работать в Ленинградском отделении редакции Дет-издата под началом Маршака. Самуилу Яковлевичу удалось собрать вокруг себя замечательную команду: с ним сотрудничали Евгений Шварц, Тамара Габбе, Александра Любарская и Зоя Задунайская (последние два имени не очень громкие, но достаточно назвать, например, «Путешествие Нильса с дикими гусями», именно в их пересказе ставшее хрестоматийным чтением), для журналов писали недавно самоорганизовавшиеся обэриуты. «Каждый день, по несколько раз в день, в комнатушки нашей книжной редакции заявлялись из соседних комнат, из редакций журналов „Чиж“ и „Еж“ такие мастера эпиграмм, шуточных стихов, пародий и фарсов, как Ираклий Андроников, Олейников, Хармс, Шварц, Заболоцкий, Мирон Левин», – рассказывала в «Прочерке» Лидия Корнеевна. За несколько лет работы редакции Лендетгиза удалось задать высочайшие стандарты детской литературы и опубликовать множество оригинальных и переводных книг, художественных, документальных, научно-популярных и научных, ставших детской классикой. И все это – в обстановке непрекращающегося давления, глупых требований, смешных придирок и запретов.

Чуковский никогда не сотрудничал в маршаковской редакции – в это время он был автором «Ежа», не более. В «Еже» увидел свет «Айболит», выходили загадки и детские стихи («Наши-то портные», «Черепаха» и др.). Чуковский и Маршак были и соперниками, и соратниками, и друзьями, и – иногда – врагами. Чуковский писал потом в дневнике, что отошел от всего того, чем жил в это время Маршак, – и не в последнюю очередь из-за «всяких злобных наговоров Бианки и отчасти Житкова» (те успели рассориться с Самуилом Яковлевичем). Маршак, заступаясь за Чуковского в печати (потом, в 1929–1930 годах), даже специально подчеркивал: Чуковский – отдельно, а я – отдельно. И все-таки никогда они с Маршаком не могли окончательно обидеться друг на друга и разойтись. И не только общее дело их связывало, не только общие взгляды и совместная борьба. В 1930 году обиженный чем-то Чуковский писал обидчику-Маршаку: "И как было бы чудесно нам обоим уехать куда-нибудь к горячему морю, взять Блейка и Уитмена и прочитать их под небом. У нас обоих то общее, что поэзия дает нам глубочайший – почти невозможный на земле – отдых и сразу обновляет всю нашу телесную ткань. Помните, как мы среди всяких «радужных» (в издательстве «Радуга», где К. И. и Маршак оба сотрудничали. – *И. Л.)* дрязг вдруг брали Тютчева или Шевченка – и до слез прояснялись оба. Ни с кем я так очистительно не читал стихов, как с Вами".

О чем он умолчал

Надо сказать здесь и о том, что к лету 1928 года в стране стало довольно страшно. Сталин уже расправился с троцкистско-зиновьевской оппозицией, выслал Троцкого за границу и в середине того же лета выдвинул тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму; тезис этот стал превосходным обоснованием для избиения неугодных и просто козлов отпущения. За десять послереволюционных лет жизнь так и не наладилась, индустриализация двигалась вперед не слишком хорошо, продовольственный вопрос не решился, все это надо было чем-то оправдывать – и начались поиски вредителей в промышленности и раскулачивание в сельском хозяйстве. Кстати, как и в литературе, никаких критериев – кто кулак, кто нет – не существовало, поэтому конфискации имущества и ссылке подвергались семьи самого разного достатка. В 1928-м грянуло первое дело «вредителей» – Шахтинское; от старых спецов начали избавляться. «Попутчики» в литературе фактически оказались на положении тех же спецов – оставшихся на работе дореволюционных инженеров или офицеров, подозреваемых теперь во вредительстве и постепенно вытесняемых прочь. При этом положение литераторов вроде бы стало лучше: их уравняли с рабочими и крестьянами в оплате квартиры, затем даже решили предоставлять дополнительную жилплощадь. Кнут становился все жестче, но и пряник постепенно увеличивался…

Из Сорренто вернулся Горький. Его сразу взяли в оборот, поселили в особняке Рябушинского, окружили государственной заботой. Поэт Д'Актиль отметил это событие в «Чукоккале» новой «Песней о Буревестнике»: в нем гордую птицу, которая накликала бурю, вопрошают, чем она занималась до 17-го года, какова ее специальность, чем она служить могла бы в обстоятельствах момента… Буревестник отвечает, что умеет реять. Власть отвечает: «Нам сейчас другое нужно. Не могли бы вы, примерно, возглавлять хозучрежденье? Или заняли, быть может, пост второго казначея при президиуме съезда потребительских коопов?» Но Буревестник хочет реять, и его свозят "без особого почета в помещение музея при «Архивах Революций»: отвели большую клетку, предписали норму корму и повесили плакатик:

– Буревестник. Тот, который".

С одной стороны – государственная забота, с другой – государственная немилость. С одной – клетка золотая, с другой – железная.

Куда денется опальный Чуковский? Он ушел с головой в работу, по большей части не связанную с детской литературой:

взялся писать о молодом Льве Толстом и его окружении. Читаем написанную в это время статью «Дружинин и Лев Толстой»:

"Даже у Томаса Гуда, автора скорбных стихов, насыщенных социальным протестом, он Дружинин подслушал слова, знаменующие примирение с действительностью:

«Наш мир хорош, очень хорош… Он далеко не так гадок, как разные люди о том провозглашают… Будем надеяться, что все устроено к лучшему».

Правда, слова эти были сказаны Томасом Гудом почти в беспамятстве, на смертном одре, и нисколько не выражали его литературного credo…"

А несколько страниц спустя он цитирует молодого Толстого: «Возмущение – склонность обращать внимание преимущественно на то, что возмущает, есть большой порок и именно нашего века… умышленно ищи всего хорошего, доброго, отворачивайся от дурного, а право, не притворяясь, ужасно многое можно любить не только в России, но и у самоедов». Чуковский комментирует: это написано под наваждением Дружинина.

Поразительная проговорка: фактически К. И. дважды повторяет похожую мысль, из которой прямо-таки торчит подсознательное: мир кажется хорошим только в беспамятстве, в помешательстве, на смертном одре; отворачиваться от дурного и находить в России достойное любви можно только под наваждением… Для него сейчас мир плох, а страна – тюрьма. Он снял дачу в Сиверской, уехал туда – и там пишет историко-литературоведческие статьи. В Сиверскую Лида и написала ему из города: в Ленинград приехал Дос Пассос.

Джон Дос Пассос, прогрессивный американский писатель, защитник Сакко и Ванцетти, этим летом приехал в советскую Россию – и много позже записал свои воспоминания об этой поездке. Впечатления смешанные, есть удивленные, есть восторженные, осторожные, неприязненные. Увиденные им люди не всегда сыты (из еды упоминаются хлеб, каша, капуста, картошка, да еще икра на Каспии), но ходят в Эрмитаж и проявляют колоссальное любопытство… Ленинградская публика – лучшая в мире, люди – умные, удивительные, эрудированные, интересные… Важно вот что: в воспоминаниях Дос Пассоса мы видим начало сталинизма. Он замечает вездесущие сталинские портреты (его знакомая актриса грозит им кулачком, когда ее никто не видит), замечает, что о Сталине никто не говорит – разве что ярославский извозчик на ломаном немецком объяснил, «что все ужасно», и только Сталин способен навести порядок. Заканчивает американский писатель свои воспоминания минорным аккордом: выехал на территорию некоммунистической

еще Польши и почувствовал, что вырвался из тюрьмы.

Почему в этом повествовании появился Дос Пассос? Да потому, что в июле 1928 года кто-то (по свидетельству Николая Чуковского – Стенич, по словам самого писателя – его и Чуковского общий знакомый Хорсли Гантт) отвез его в Сиверскую к Чуковскому. В воспоминаниях Николая Корнеевича Дос Пассос – нервный, милый интеллигент, который не может додумать до конца некоторые мысли и очень боится милиции. Николай вообще не особенно точен в мемуарах: скажем, он пишет, что отец никогда не слышал о таком писателе – а в дневнике Чуковского есть упоминание о том, как Тынянов расхваливал ему роман Дос Пассоса «Манхэттен», да и стала бы ему Лида писать о прибытии американца… Однако свидетельство Н. К. – самое подробное.

Дождь – третий месяц подряд. «У нас тоже нет лета. Бессовестная туча, наглый дождь!» – писал К. И. Репину. Убогая Сиверская с гнилыми заборами, мокрой травой и мокрыми козами. В доме Чуковских ничего нет, кроме картошки и грибов. Чуковский «не выспался, был раздражен, и приезд незнакомого гостя помешал ему спать и работать». Он не спал ночь, растянулся, наконец, «на столе на застекленной террасе – длинный, костлявый, небритый, босой, прикрытый рыжим демисезонным пальто»… и тут появились гости. Разговор кое-как начал склеиваться. «Отец мой оживился, разговорился, развеселился, но я чувствовал, что он хочет спать и гость ему в тягость», – пишет Николай. Он увел американца кататься на лодке, а потом отвез в Ленинград.

«Мы жили на даче под Петроградом. Жили бедно, – рассказывал К. И. Ольге Грудцовой. – Однажды я лежал на столе и писал „Мойдодыра“. Брюки у меня были рваные и на подошвах ботинок дыры. Вдруг входит человек в тирольских штанах. Оказывается – Дос Пассос. Я был так смущен своей драной одеждой, что не мог даже разговаривать. Пока не увидел, что у него тоже дырявая обувь. Тогда я повеселел. Мы подружились. Вместе гуляли по Питеру». И все-таки у всех участников этой встречи, похоже, осталось впечатление недопонимания, недоговоренности. «Что видел приехавший к нам Дос Пассос, кроме толп нищенски одетых, полуголодных людей? Разве мог я ему рассказать про нашу боль, про нашу мечту, про нашу живую ненависть и такую же живую любовь? Разве мог я ему рассказать про красноармейцев девятнадцатого года, которые босые шли по снегу и побеждали солдат в английских сапогах? Разве мог я ему рассказать, что мы видим и знаем будущее? – вопрошает Николай Корнеевич. – Я мог бы это рассказать Джону Риду, но не Джону Дос Пассосу – при всем его уме, радикализме и прекраснодушии».

Что же увидел Дос Пассос в Сиверской, что ему рассказали, а о чем не стали говорить? Вот он сам пишет: «На пригородном поезде Хорсли отвез меня на убогую окраину, где жил дореволюционный критик Чуковский. Цензура заставила его бросить литературную критику. Теперь он писал детские книги. Его „Крокодил“ завоевал такую популярность среди детей и взрослых, что он уже мог не опасаться режима. Точно так же интерес Ленина к открытиям Павлова уберег последнего от преследований. Я помню, что выглядел Чуковский, высокий, седой, интеллигентный, как европейский писатель прошлого столетия. Он с тоской вспоминал европейские водные курорты, Карлсбад, Висбаден, Канн. Его за границу больше не выпускали. Он намекнул, что ему бояться нечего, но у них много способов добраться до человека. Его дочь пусть и не посадили в тюрьму, но отправили в ссылку. Он тревожился из-за своего младшего сына. Сердце щемило не от сказанного им, а от того, о чем он умолчал».

Оставим на совести автора предположение о том, что Чуковский мог уже не опасаться режима. Этого режима можно было не опасаться только после его крушения. Большое сомнение вызывают и водные курорты – когда же это К. И. успел увидеть Карлсбад и Висбаден, чтобы затосковать по ним? Разве что мельком, на долгом пути в Англию, в первое путешествие? Успел же в Германии сбегать на выставку экспрессионистов? А Канн когда? – мельком при посещении Франции, после Англии в 1916 году? Вряд ли. Нет в его биографии ровно никаких сведений о европейских курортах. А вот состояние невыездного, ссылка дочери и беспокойство за младшего сына – это более реально. Борис этим летом второй раз пытался поступить в институт. Разумеется, К. И. о нем тревожился. К осени выяснилось, что Бориса снова не приняли в вуз, несмотря на хорошо сданные экзамены: в конце двадцатых право на образование полностью зависело от социального происхождения.

6 сентября К. И. писал жене:

"В поезде (Чуковский отправился в Кисловодск. – *И. Л.)* Щеголев посоветовал мне написать письмо по поводу Бобы – тов. Вышинскому, председателю Главпрофобра, – я написал вот такое письмо: «Ленинградские писатели немало смущены тем, обидным для них, обстоятельством, что их дети, выдержавшие экзамены в вузы, забракованы приемными комиссиями наряду с детьми спекулянтов и нэпманов…» Это письмо вызвано тем, что *никто* из писательских детей не попал в вузы. Щеголев перечислял: дочь Ол. Д’Ора, дочь Ал. Толстого и проч.".

Лида писала отцу в середине сентября, что Боба ждет решения своей судьбы, а Мария Борисовна собирается ехать в

Москву, если его не примут. Однако на сей раз хлопоты возымели успех, и вскоре Чуковский получил от жены телеграмму: Боба «ПРИНЯТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕРНО СТРОИТЕЛЬНОЕ». «Я страшно обрадовался – и даже заплакал, – пишет К. И. – Ну вот и перед Бобой открывается новая огромная жизнь. Пропал куда-то мой черноголовый малыш, смешной и картавый ребенок…» Правда, пока вопрос о приеме Бориса в вуз решался, студенты уже учились, и Чуковский-младший отстал от курса на три недели.

Сентябрь и октябрь Чуковский провел в Кисловодске, отдыхая, наконец, после безотрадного рабочего лета в Сиверской. Его дневниковые записи, сделанные на отдыхе, дышат покоем и любопытством к жизни (впрочем, уже к середине месяца он писал, что душа болит от безделья). К. И. пишет «Айболита» (в дневнике наброски строф), встречается с десятками людей, жадно слушает их рассказы. И вот опять характерная запись: сначала рассказ инженера о безобразиях на Днепрострое – «рабочие работают кое-как, хорошие равняются по плохим, уволить плохих нельзя, этого не позволит местком, канцелярская волокита ужасная и проч. и проч. и проч.». А потом – очередное «послесловие», точно уж рассчитанное на чужой недобрый глаз: «Я слушал, но не очень-то верил ему, потому что, как талантливый человек, он чересчур впечатлителен». На следующей странице – рассказ Тихонова, который «только что проехал от Нижнего до Астрахани»: «впечатление от России ужасное: все нищи, темны, подавлены». И еще через несколько страниц: все инженеры в один голос жалуются: «невозможно работать на совесть, а можно только служить и прислуживаться»; «знаменитые спецы, отнюдь не враги сов. власти, – так и сыплют страшными анекдотами о бюрократизации всего нашего строительства, спутывающей нас по рукам и ногам». В начале ноября Чуковский отправился поездом обратно, долго не мог выехать: курортный сезон кончился, билетов было не достать, Мария Борисовна вызывала его телеграммой. И вот после долгих вокзально-билетных мытарств он в поезде, едет обратно через всю страну – а «в окнах нищета и блекота».

Нищета и блекота (блекота – зощенковское выражение) – и в самом деле везде.

Первые же попытки коллективизации и раскулачивания привели к настоящему продовольственному кризису. К зиме были введены хлебные карточки.

Великий перелом

1929 год был объявлен годом великого перелома и стал

таким на деле. И не только в истории страны, но и в писательских судьбах. Партия вновь занялась подравниванием, построением в ряды, нивелировкой и отбраковкой. Группу Бухарина осудили, правый уклон разгромили, полностью искоренить религию постановили, за партийную чистку госаппарата взялись. Утвердили план первой пятилетки и всерьез взялись за колхозы. От коллективизации, кстати, пострадала живущая в Здравневе, бывшем имении Репина в Витебской губернии, дочь художника Татьяна Язева – немолодая глухая учительница с дочерью, тоже учительницей, ее мужем и многочисленными детьми. Половина репинского дома была отдана под школу, где и работали дочь и внучка художника. Из-за того, что им помогала по хозяйству крестьянская девочка-подросток, а в хозяйстве была лошадь, – их причислили к кулакам, грозили раскулачиванием и высылкой. Чуковский заступался за Татьяну Ильиничну и ее семью, писал в разные инстанции, и в августе следующего года вся семья смогла уехать в «Пенаты».

Жернова коллективизации мололи вовсю, перемалывая миллионы судеб: шли высылка кулаков, объединение хозяйств, обобществление скота… Коллективизации подлежали не только крестьяне (причем поголовно; в печати встречались заметки о женских колхозах и детских колхозах) – но и писатели. Как они могли оставаться в стороне от этих великих перемен?

Писатели хотели, чтобы их уравняли с рабочими и крестьянами? Их уравняли, не только в праве на жилплощадь и льготы по ее оплате, но и в статусе. Писатель теперь рассматривался как работник, участник социалистического строительства. Впрочем, это был еще не рабочий, а так – кустарь-одиночка. Этих кустарей следовало объединить общим трудом, собрать в коллектив и подчинить их творчество задачам пятилетнего плана. Отсюда – бесконечные писательские поездки в ближайшие несколько лет: Турксиб и Беломорканал, Магнитка и Днепрогэс, исправительные колонии, колхозы, аулы, деревни, стойбища, фабрики и заводы…

Писателям предстояло делом доказать, что они за социализм. Можно было, конечно, увильнуть от коллективного труда, но с любыми саботажниками, уклонистами, группами и группками разбирались со все нарастающей беспощадностью: переламывали, добивались признания ошибок, покаяния, обещания трудиться на благо социализма. Уже в сентябре 1929 года первой жертвой стал Пильняк: его «антисоветская позиция» подверглась осуждению, и писателю пришлось выступить с заявлением о том, что он хотел бы отдавать свое творчество делу строительства новой жизни. Еще несколько месяцев – и руководители сжимаемых в

государственном кулаке издательств потащат этот типовой текст на подпись своим авторам. Вторым стал Замятин, подвергшийся травле за публикацию романа «Мы» в чешском эмигрантском издании «Воля России». Замятин каяться не стал, вышел из Союза писателей и подал просьбу о выезде за границу.

Тем временем в газетах идет сплошная волна покаяний, заверений в лояльности и отречений. Одни отрекаются от заблуждений, другие от отцов (отнюдь не в тридцать седьмом это началось), третьи от собственных трудов. Комсомольские и партийные собрания вычищают из рядов тех, кто отказался выступить с требуемым текстом. Вся страна торопливо, с великим, но не осознанным пока еще страхом присягает на верность, как ей кажется, социализму.

В борьбу должно было включиться все общество без исключения. Отсиживаться в тихих, идеологически безопасных заводях становилось невозможно. Чуковский, опытом предыдущих нескольких лет наученный, что значит быть детским писателем в эпоху социалистического строительства, может быть, и отдрейфовал бы потихоньку в литературоведение. У него было вполне почтенное занятие: девятнадцатый век, текстология, комментарии и примечания, архивы… Весь 1928 год он без устали публикует в газетах и журналах неизданного Некрасова: очерк, два стихотворения, воспоминания, опять стихотворение, и еще, и еще одно, повесть «Тонкий человек», повесть «Потанин» – плюс вступления, комментарии, некрасоведческие материалы, статьи об окружении поэта… Придраться не к чему, каяться не в чем. В 1928–1929 годах написаны замечательные работы о молодом Толстом и Дружинине, очерк о Николае Успенском… При этом как раз в этих статьях находится место размышлениям о литературной работе в условиях жестокого цензурного гнета (при Николае I), о голоде и беспросветной нищете деревни (при Александре II), о бесконечной темноте и глупости масс, о непонимании писателя обществом… И единственное средство, которое видит Чуковский, – коренная перекройка этой темной и страшной страны, масштабные социальные изменения. Поэтому он столько надежд и возлагает на советскую власть, что она кажется ему союзником, той доброй силой, которая призвана осуществить эти изменения; а возрождение цензуры, а глупость, голод, безмыслие – это не свойства новой системы, а извращения, порождение старого мира, которые рано или поздно будут осуждены и погибнут…

Конечно, ученые тоже не были избавлены от гнета идеологии и периодических избиений – и все же эта ниша позволяла затаиться, дистанцироваться от современности, не предавать

себя, покуда извращения не осуждены и живут-здравствуют. Правда, «Николая Успенского» уже пришлось снабдить жалобно-безнадежным послесловием – специально для твердолобых читателей, которые, прочитавши, непременно закричат: как не стыдно чернить славное имя писателя-разночинца. «Я попытался рассказать без утайки… – заранее оправдывается Чуковский, – мною руководила уверенность, что живой человеческий образ, со всеми его противоречиями, во всей его сложности, вызовет в читателях гораздо больше живого сочувствия…» Наконец, «полностью учитывая социальный момент биографии Николая Успенского, я пытался привести читателей к тому убеждению, что если его жизнь была такой уродливой и страшной, это произошло раньше всего потому, что уродлив и страшен был быт, воздействовавший на нее с первых же дней…».

Возможно, Чуковский пережил бы литературную коллективизацию, занимаясь делами давно минувших дней, но его подвела громкая писательская слава. Его детские книги, хотя уже многажды запрещенные и снова разрешенные, продолжали выходить – и действовали на критиков и педагогов как красная тряпка на быка. У нас пятилетка – а у него заинька-паинька. У нас раскулачивание – а у него жуки рогатые, мужики богатые, шапочками машут, с бабочками пляшут. Запретить!

Но он ведь и сам не унимался, не смолкал, не перестал заниматься детской литературой. Более того – собрал вокруг себя молодых детских поэтов и стал заниматься с ними в студии. Результатом этой работы стала статья «Тринадцать заповедей для детских поэтов», которая увидела свет в журнале «Книга – детям» в январе 1929 года. Заповеди потом вошли в состав книги «От двух до пяти». В них Чуковский сосредоточился именно на формальной стороне детских стихов, по иронии судьбы в точном соответствии с уготованной старым спецам ролью: научите пролетарских поэтов технике – и до свидания! Стихи должны быть графичны, советовал он, в каждой строфе должен быть материал для художника; образы должны меняться быстро; словесная живопись должна быть вместе с тем и лирична; ритм должен быть переменчив и подвижен; поэтическая речь должна быть музыкальна – далее говорилось о рифме, о соотношении строк и предложений, глаголов и прилагательных… все это было тщательно проверено на практике, щедро проиллюстрировано цитатами из стихов для детей и детского творчества… Казалось бы – ценнейший материал, дается безвозмездно, то есть даром, берите и пользуйтесь! Но нет.

С докладом о технике писания детских стихов Чуковский выступил в Москве перед педагогами и после этого выступления

написал своим слушателям – видимо, представителям Наркомпроса – негодующее письмо, сохранившееся только в черновике. Всякому, говорит он, было понятно, что речь пойдет только о технике, но, «чуть я кончил, меня со второго же слова спросили: „А как же тема?“ – „А что же тема?“ – „Почему ты не сказал о теме?“ – „Какая тема должна быть у детских стихов?“ Как будто мы все уже отлично владеем поэтической формой и теперь нам только темы не хватает». Вместо разговора о форме стихов, обвиняет К. И., «вы предпочли дебатировать мало интересный вопрос о том, что такое чуковщина».

Он пытается отстаивать чуковщину, он доказывает: чуковщина – это любовное и пристальное изучение детей, это литературное новаторство, это честная работа над своим материалом… Но прежней крепкой уверенности, убежденности в своей правоте в его словах больше нет. Он затравленно озирается, он будто чувствует себя виноватым и вынужден постоянно оправдываться: новаторство – «правда, очень скромных размеров»; «сознавая свои малые литературные силы, автор „Мойдодыра“ старался восполнить недостаток таланта длительным и кропотливым трудом». Да, мы знаем, что он считал себя бесталанным, – но никогда не заявлял об этом так сокрушенно и, что важнее, публично, не перемежал этих довольно типичных ламентаций замечаниями об исчерпанности своего литературного пути. А тут вдруг: «Я хорошо понимаю, что многие мои приемы и темы исчерпаны, что мне нужно либо замолчать, либо начать какую-то новую литературную линию».

О новой литературной линии он говорит, кажется, с воодушевлением: он общается с детьми ленинградских рабочих. «Записываю их песни, слова, провожу с ними свое свободное время, тщательно изучаю их быт и думаю, что самая атмосфера их жизни даст мне и новые темы и новые литературные приемы». Разве что под конец в нем просыпается прежний Чуковский: учиться я буду – но не у педагогов, а у самих малышей.

В Москве К. И. задержался долго: в начале февраля свалился с гриппом. Болел целый месяц, ослабел, температура спадала и вновь взлетала («превратился в горячечного идиота», писал он о себе) – один в чужом городе. К нему вызвали по телефону из Ленинграда Марию Борисовну – «и она, больная, приехала, три дня и три ночи, не отходя от меня (и заснув только на 2 часа на 3 ночи), – вызволила, кажется, меня из болезни…».

При этом, судя по дневнику, к больному Чуковскому, стоит ему немного прийти в себя, нескончаемым потоком идут посетители, у каждого важные дела: борьба, цензурные передряги и неизбежные во всякое время внутренние издательские распри –

все это требует неотступного внимания.

Едва он выздоровел, встал на ноги, заработал в полную силу – на него снова напали. В апреле родители Кремлевского детсада (все тот же круг старых противников Чуковского, кремлевских жен) призвали в журнале «Дошкольное воспитание» к борьбе с чуковщиной: «Общее собрание родителей Кремлевского детсада в количестве 49 чел. (22 рабочих, 9 красноармейцев, 18 служащих), заслушав и обсудив 7 марта сего года доклад о том „какая книга нужна дошкольнику“, считают необходимым привлечь внимание советской общественности к тому направлению в детской литературе, которое стало известно под общим названием „Чуковщина“». Речь в резолюции идет не об одном Чуковском, а о «Чуковском и его единомышленниках», «его соратниках»: они, дескать, дали много детских книг, «но мы за 11 лет не знаем у них ни одной современной книги, в их книгах не затронуто ни одной советской темы, ни одна их книга не будит в ребенке социальных чувств, коллективных устремлений». Зато «Бармалей» и «Мойдодыр» будят суеверие и страх, «Муха-Цокотуха» восхваляет «мещанство и кулацкое накопление», «Крокодил» и «Тараканище» дают «неправильные представления о мире животных и насекомых»…

Родители рубят грозно: «В переживаемый страной момент обострения классовой борьбы мы должны быть особенно на чеку и отдавать себе ясный отчет в том, что если мы не сумеем оградить нашу смену от враждебных влияний, то ее у нас отвоюют наши враги». Слово «враги» во всем тексте опасно сближается с «Чуковским и его единомышленниками», хотя впрямую их врагами еще не называют, – ходят вокруг да около (кстати, в единомышленники всякий раз записывали совершенно случайных литераторов – тех, кого собирались пропесочить в этот раз; никакого четкого круга «соратников» так никто и не очертил). Резолюция содержала призывы протестовать против издания книг «авторов этого направления», изымать их из продажи, воспитывать пролетарских писателей. Редакция в постскриптуме пригласила читателей высказаться по поднятому вопросу, подкрепив мнения «конкретными материалами, наблюдениями, как реагировали дети на книжки Чуковского». В сдвоенных апрельско-майских номерах по «чуковщине» ударили журнал «На путях к новой школе», где вышла рецензия Крупской на «Маленьких детей», и «Книга – детям». В ее январском номере вышли «Тринадцать заповедей для детских поэтов» Чуковского, а теперь Б. Шатилов давал заповедям отповедь, а Федяевская обрушилась на «Так и не так» в статье с характерно занудным названием «Что в книжке возбуждает смех дошкольников?».

Подобные заголовки становились обычными для наступившей эпохи: что читать детям, какая книга нужна дошкольнику, чего не читать дошкольнику… В августе «Литературная газета» в очередной раз обозвала Чуковского «воспитателем мещанства» и опять по поводу «Цокотухи». Война не прекращалась ни на минуту, а оттого сделалась почти привычным состоянием.

Лида отдохнула в Симеизе, затем поехала на юбилей Шевченко в Киев. К. И. с женой и Мурой уехал на лето в Сестрорецк, откуда отправил Коле такое вот письмо, почти совершенно идиллическое: «Мы живем тихо и вяло – событий, к счастью, никаких… я работаю в четыре руки, здесь холодно, купаемся, едим землянику, лежим нагишом на холодновато-тепленьком пляже, дрессируем Тотошку, гуляем с Зощенкой в дубках, мама принимает ванны в курорте. Мура собирает чернику, от Бобы получаем великолепные красноармейские письма, Мура читает Пушкина, спрашивает, что такое „любовница“ и отчего рождаются дети…» Коля в ответном письме из Нового Афона жалуется на безденежье и просит отпустить Бобу после службы в армии на юг.

Все пока мирно – этакое затишье перед бурей, последние золотые дни перед затяжным ненастьем. В конце сентября К. И. снова отправился в Кисловодск. По дороге придумывает заглавие для детского сборника, перерабатывает Уитмена для нового издания. В санатории неутомимо знакомится с людьми, организует чужие лекции и выступает с собственными. Пишет Коле из Кисловодска: «Ни „Союз“, ни замятиноедство меня не интересуют ни мало. Я даже сам удивляюсь. Хочется работать, а не махать руками. – Пусть мама не волнуется „Радугой“. И вообще ничем не надо волноваться. Все будет очень хорошо». Казалось бы, происходят совсем не радостные события: травят Замятина, давнего его друга, тот выходит из Союза писателей; душат частные издания – в том числе «Радугу», в которой выходили все его послереволюционные сказки. А он уговаривает себя и других: ничем не надо волноваться, все будет очень хорошо, надо работать, просто надо работать.

Где же его прозорливость, почему он не верит сам себе? Почему успокаивает себя, убеждает, оглушает работой, ведь видит же, что хорошо не будет, понимает, что происходит вокруг. Видит, что случилось с Сергеем Городецким, который здесь же, в Кисловодске, читал свои новые стихи: «…чем больше он присягает новому строю, тем дальше он от него, тем чужее ему». И не за горами ведь уже тот день, когда присяги потребуют от него самого – но он уверяет, что все будет хорошо; так он убеждал потом себя и других, что немцы не посмеют бомбить

Ленинград. Так он верил, что культура неистребима, что книга может творить чудеса даже с черствыми и грубыми сердцами, что человеческий дух стремится к высотам. Без этой веры, похоже, ему было совсем трудно жить. А может быть, он просто устал. Весь этот год он болел и воевал, терпел бесконечные нападки – и не мог, не хотел уже больше об этом думать: хватит окололитературной возни, надо работать! Тем более что все получается: стихи пишутся, книги, невзирая на постоянные запреты, переиздаются: «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Бармалей» – пятое переиздание, десятое, пятнадцатое… Выходят новые сборники загадок и потешек – среди них «Кошки в лукошке», «Барабек», «Черепаха», «Наши-то портные храбрые какие»…

Осенью наступление на «Чуковского и единомышленников» продолжается. Клавдия Свердлова выступила в «Красной печати» со статьей «О „чуковщине“», объединив «единомышленников» в мифическую «группу»: «Вокруг Чуковского группируется и часть писательской интеллигенции, солидаризирующаяся с его точкой зрения. Таким образом, перед нами, несомненно, общественная группа с четко сформулированной идеологией». И эту группу надо «взять под обстрел» – «потому, что они проводят идеологию мещанства». Дальше начинается сплошной треск, авторская разрядка абзацами, барабанная дробь: «…подсовывает ребенку свою сладковато-мещанскую идеологию под видом заимствованных народных образцов», «сладковатую филантропию». «Они ни звука не говорят о механизированной игрушке, познавательная ценность которой в том, что она знакомит ребенка с явлениями, с которыми он сталкивается в нашей жизни, при нашей установке на машину». Трескучая галиматья усугублялась от абзаца к абзацу и торжественно разрешилась уже полным бредом: Чуковский, возвышает голос автор, ни словом не упоминает о «детстве, организованном через детский коллектив, где берется установка на умственную и физическую выдержку, на физическую смелость, на здоровую конкуренцию детской энергии, где от встреч детской энергии разного порядка вырастает новый тип ребенка»! Дальше там еще есть о «трагической обреченности и узости его Чуковского миросозерцания и идеологии», о необходимости бороться с этой последней, ибо это «идеология вырождающегося мещанства, культ отмирающей семьи и мещанского детства».

Недаром К. И. со временем поместил и эту статью, и резолюцию кремлевских родителей в рамочках на стену переделкинской дачи.

В ноябре он вернулся в Ленинград, где уже ждали новые

неприятности. Государство было недовольно издательской политикой ГИЗа, он же Госиздат. Претензии предъявлялись те же: недостаточно современных тем, публикуются не те авторы, группу Чуковского под обстрел, прекратить печатать некачественные книги, начать печатать качественные. Надо было принимать меры, иначе за претензиями могли последовать оргвыводы, и хорошо еще, если не громкие общественные процессы о вредительстве. ГИЗ начал спасать себя, принявшись за работу с авторами: от них ждали стандартного покаяния, признания ошибок, присяги на верность и творческого плана в рамках общего плана пятилетки. В бумагах Чуковского сохранился черновик письма главе ГИЗа Артемию Халатову с опровержением обвинений в эстетизме, бессодержательности, отрыве от современности: «Тенденция „Мойдодыра“ – страстный призыв маленьких к чистоте, к умыванию. Думаю, что в стране, где еще так недавно про всякого чистящего зубы говорили „гы, гы, видать, что жид!“, эта тенденция стоит всех остальных… Тенденция моего „Лимпопо“ – это уважение к медицине и докторам – тоже не лишнее в малокультурной стране. Тенденция „Крокодила“ и „Тараканища“ даже слишком подчеркнута. Остальные книги – просто сказки, но, черт возьми, неужели Советская страна уж не может вместить одного единственного сказочника!»

Страна не могла.

4 декабря в Доме печати в Москве состоялось собрание детских писателей и педагогов, где «группа Чуковского» опять служила мишенью. На собрании с докладом выступал заведующий отделом детской и юношеской книги Госиздата Давид Ханин, который значительную часть доклада посвятил изничтожению «чуковщины».

В каком состоянии находился К. И. в эти дни – ясно видно из письма Лидии Корнеевны, которая посетила это собрание:

«Папа. Ты считаешь – судя по твоему тону, – что тебе плохо, а мне наплевать. Это глубоко неверно, и твоим положением я замучена эти дни совсем. Я ничего не могу делать». «Не надо истерики и паники», – увещевает она его. Рассказывает: «… официальные люди высказывались очень резко против тебя», «Ханин заявил, что ты – прошлое детской литературы, что ты упорно антипедагогичен и не хочешь писать на современные темы», а в заключительном слове сказал: «Я не считаю, что с Чуковским нужно бороться путем материального зажима или путем запрещения его книг. Книги должны издаваться, но мы будем в печати и на собраниях их разоблачать».

Короткий период оптимизма – оптимизма самовнушенного,

ненатурального – закончился чернейшим, тяжелым отчаянием, которое нередко посещало Чуковского. Дело было не только в том, что отлучение от литературы вновь стало реальностью. Страшен был даже не призрак голода, вполне реальный в эти годы. Страшна была атмосфера общей враждебности. «Чтобы творить, детский писатель нуждается в атмосфере любви и сочувствия, – писал он в годы травли (набросок не датирован, но по контексту определяется 1929 год). – …Видя же вокруг себя только злые глаза и кулаки, детский писатель заглушает в себе свои сказки и песни. Враги чуковщины добились своего: Чуковский давно уже бросил писать для детей – и за целые три года не писал ни строки. Победить чуковщину оказалось очень легко, так как она беспомощна и вполне беззащитна. Со стороны даже странно смотреть, зачем это враги чуковщины тратят понапрасну столько сил на ее сокрушение. Она и так давно сокрушена».

Он больше не мог писать: несколько лет подряд ему объясняли, что он неправ, не нужен, он отстал от времени, все идут в ногу, а он не в ногу. И сам себе он все чаще казался реликтом ушедшей эпохи. И не педагогам, не Госиздату он доказывает свою полезность и небезнадежность, а себе, себе в первую очередь – и судорожно пытается самоопределиться в мире, где он никому не нужен, где внутренний компас не совпадает с начерченными картами, и он пытается привести эту расстроенную картину мира в согласие, сверяясь по единственной оставшейся у него Полярной звезде – по детям. И себе он повторяет, а не врагам своим, что дети смеются, слушая «Чудо-дерево», – значит, ориентир все-таки задан правильно? Кафкианские мучения – быть единственным здравомыслящим в нерациональном, агрессивном, бездушном мире; так и начинают сомневаться в своей правоте и в собственном рассудке.

Лида пыталась утешать его тем, что Ханина можно поймать на слове: издавать-то все-таки должны! Заключала письмо гордо: «А вообще – поэзия всегда побеждает». Отец должен был понять. Ведь это он всегда ее этому учил. Но он не прислушался, не внял, да и не до того ему было, чтобы ловить Ханина на слове. И этот позиционный бой поэзия с треском проиграла – именно потому, что забыла о том, что всегда побеждает. Отчаяние и потеря ориентиров заставили Чуковского сделать шаг, о котором он сожалел до конца жизни.

За год до смерти Чуковский вспоминал об этом дне бессонной ночью: "Когда в тридцатых годах травили «чуковщину» и запретили мои сказки – и сделали мое имя ругательным, и довели меня до крайней нужды и растерянности, тогда явился

некий искуситель (кажется, его звали Ханин) – и стал уговаривать, чтобы я публично покаялся, написал, так сказать, отречение от своих прежних ошибок и заявил бы, что отныне я буду писать правоверные книги – причем дал мне заглавие для них «Веселой колхозии». У меня в семье были больные, я был разорен, одинок, доведен до отчаяния и подписал составленную этим подлецом бумагу… Казенная сволочь Ханин, торжествуя победу над истерзанным, больным литератором, напечатал мое отречение в газетах, мои истязатели окружили меня и стали требовать от меня «полновесных идейных произведений». В голове у меня толпились чудесные сюжеты новых сказок, но эти изуверы убедили меня, что мои сказки действительно никому не нужны – и я не написал ни одной строки.

И что хуже всего: от меня отшатнулись мои прежние сторонники. Да и сам я чувствовал себя негодяем. И тут меня постигло возмездие: заболела смертельно Мурочка. В моем отречении, написанном Ханиным, я чуть-чуть исправил слог стилистически и подписал своим именем. Выгоды от этого ренегатства я не получил никакой. И с той поры навсегда взял себе за правило: не поддаваться никаким увещаниям омерзительных Ханиных, темных и наглых бандитов, выполняющих волю своих атаманов".

Письмо было подписано 10 декабря 1929 года (это еще не «тридцатые годы», К. И. ошибается) и ждало своего часа.

Тем временем в стране началась широкомасштабная дискуссия о детской книге. Газеты печатали статьи и фельетоны, собрания родителей и педагогов выносили резолюции, Чуковский и Маршак все крепче спаивались в общественном сознании в неразлучную пару оппозиционеров, возглавляющих вражескую группу-группку-группировку. Маршак в январе 1930 года негодующе писал об этом в письме Горькому: «Почти в каждом номере „Литературной газеты“ говорится о писателях, группирующихся вокруг редакции Госиздата и возглавляемых мною и Чуковским. На самом деле Чуковский никогда не имел никакого отношения к редакционной работе Госиздата… Темы и приемы у меня и у Чуковского совершенно различны. Единственное общее у нас – да и то на самый поверхностный взгляд – это пользование словесной игрой…» Маршак и в самом деле не был только сказочником. В печати его бездарно и беспощадно бранили за переводы английских народных песенок – но, помимо песенок, у него было много стихов, посвященных созидательному труду, чего Наркомпрос, ГУС и прочие предпочитали не замечать: им важно было стереть с лица земли враждебное явление – маршаковскую детскую редакцию при

ленинградском ГИЗе.

«Литературная газета» весь декабрь 1929 года и январь 1930-го печатала материалы о детской литературе. Тон в этой дискуссии – тон хамский и безапелляционный – задал критик Д. Кальм. 16 декабря 1929 года он разразился фельетоном «Против халтуры в детской литературе», где критиковал руководство ГИЗа: мол, товарищ Ханин присоединяется к общему мнению о вреде «чуковщины» и даже призывает «отсечь ее в каждом из нас», говорит, что считает задачей Госиздата «воспитание материалистического мировоззрения в молодых авторах», и относит к заслугам издательства «создание, якобы по инициативе Гиза, секций детской литературы при различных писательских объединениях. Но приходится констатировать, что все эти три положения не находят подтверждения в практике Госиздата»; «Гиз не перестает наводнять рынок детской литературы массовыми изданиями Чуковского». ГИЗ защищался как мог. Письмо, подписанное Чуковским, было козырем издательства в борьбе за выживание. Ханин не столько выполнял «волю своих атаманов», сколько спасал собственную шкуру. Опальному детскому писателю предназначалась роль козла отпущения: его ожидало торжественное заклание на глазах рукоплещущей толпы во искупление грехов Госиздата.

Дискуссия в «Литературке» разгоралась. 30 декабря газета опубликовала целую подборку материалов «За действительно советскую детскую книгу!». В ней С. Болотин и В. Смирнова давали выдержанные в духе июньского 1928 года партийного постановления (оно было посвящено детской и юношеской литературе) советы о том, какой должна быть «детская книга в реконструктивный период»:

"Детская книга должна быть четко социально направлена.

Детская книга должна давать ребятам эмоции бодрости.

Следует четко различать целевую установку книги, не обманываясь ее внешними аксессуарами.

Элементы фантастики в детской книге законны и допустимы в двух направлениях:

– фантастика реалистическая – «технологическая утопия»;

– фантастика игровая – не забывая, что все это шутка".

Разобрались, наконец, и с антропоморфизмом: «Антропоморфизм, взятый в шутку, в игре, и при этом отчетливо просвечивающий жизненными, социальными отношениями, законен и допустим. Но антропоморфизм, взятый отвлеченно от социальной обстановки и всерьез, – идеалистическая отрава».

Итак, критерии, наконец, выработаны. Отныне цензору, для того чтобы запрещать, не надо думать: можно просто свериться с

инструкцией. Кстати, к этому времени и «чуковщину» уже определили: «антропоморфизм, аполитичность и уход от вопросов сегодняшнего дня» (автор определения неизвестен, цитата приводится по комментарию к переписке К. И. и Л. К. Чуковских). А товарищ Ханин сразу в двух статьях 1930 года: в «Борьбе за детского писателя», вышедшей в январском номере «Книги – детям», и в «Основных вопросах детской литературы» в третьем номере «Звезды», – определил «чуковщину» еще более грозно: «Это, во-первых, антиобщественность, упорное отрицание современной тематики, это, во-вторых, антипедагогичность, широкое использование приемов, травматически действующих на детей. И, в третьих, формальное закостенение, отказ от поисков таких форм, которые бы соответствовали новому содержанию». Под «травматическими приемами» подразумевается, как следует из текста, людоедство Барабека, за которым дети «следят с испугом».

Председатель комиссии по детской книге Наркомпроса Е. Флерина посвятила главным госиздатовским злодеям Чуковскому и Маршаку следующий фрагмент своей статьи «С ребенком надо говорить всерьез»: «Пожалуй, бесполезно было бы говорить о данных авторах, если бы об'единение их платформ вокруг журнала „Еж“ и Ленгиза не было бы столь организованным и значительным по талантливости авторов данной группы. Мы далеки от того, чтобы ставить знак равенства между К. Чуковским и С. Маршаком, но в основе своих тенденций они солидаризируются. Тенденция позабавить ребенка, дурачество, анекдот, сенсация и трюки даже в серьезных, общественно-политических темах – это есть не что иное, как недоверие к теме и недоверие, неуважение к ребенку, с которым не хотят говорить всерьез о серьезных вещах. В этом легко убедиться, взглянув на бесконечные издания и переиздания 1929 года произведений Чуковского и Маршака: сборники и отдельные книги, отрывки произведений и цельные произведения, оптом и в розницу, и в качестве бесплатного приложения к „Ежу“… Библиотеки протестуют, бракуют эти произведения, педагогическая критика в печати высказывается четко, а товарищи ленинградцы в ответ пачками издают и переиздают бракованную литературу. Что это – сила или слабость?» Маршак в цитированном выше письме Горькому упоминал, что на требование Флериной не приспосабливаться к детям Луначарский на одном из диспутов ответил: «Да, вы предпочитаете приспособляться ко взрослым».

«Товарищи ленинградцы», объединившиеся вокруг «Ежа» и Ленгиза, коллективно выступили в защиту Маршака, Чуковского и ГИЗа. Под возражающей Кальму статьей «Против лжи и

клеветы» в том же номере «Литгазеты» за 30 декабря подписались Федин, М. Козаков, Белых, Пантелеев, Лавренев, Каверин, Слонимский, Бианки, Н. Тихонов, Житков, Зощенко, А. Самохвалов, Тынянов, Пастернак. Они говорили, что статья Кальма «носит явно клеветнический характер и, искажая настоящее положение вещей, только мешает работе над детской книгой». Те же писатели, а вместе с ними Софья и Татьяна Богданович, Бухштаб, Хармс, Заболоцкий, Шварц, Габбе, Задунайская, Эрлих и другие отдельно заступились за Маршака, протестуя против выдергивания цитат из контекста, против поддержки «реакционных тенденций в детской литературе»…

Но Кальм нисколько не был уязвлен: на этой же газетной полосе он пренебрежительно заявил, что во всем письме заслуживают внимания только подписи, «ибо они принадлежат нескольким талантливым попутчикам», да и попутчики эти «работают во взрослой литературе, а в детской нет».

И в этом же номере ГИЗ выложил свой козырь. Процитируем его полностью.

> "К спорам о детской литературе.
>
> Детский писатель Корней Чуковский прислал в Гиз следующее заявление, имеющее большое общественное значение:
>
> "Сейчас я вернулся из продолжительной поездки по СССР и пришел к убеждению, что никогда еще наша планета не видала таких грандиозных событий, какие происходят сейчас в Закавказье, на Украине, в Донбассе.
>
> Я понял, что колхозное строительство в 2–3 года так изменит лицо старорусской деревни, как это лицо не менялось и в тысячу лет.
>
> Я понял, что всякий, кто уклоняется сейчас от участия в коллективной работе по созданию нового быта, есть или преступник, или труп.
>
> Когда я вернулся домой и перечитал свои книги – эти книги показались мне *старинными.* Я понял, что таких книг больше писать нельзя, что самые формы, которые я ввел в литературу, исчерпаны. Эти формы были когда-то изобретены мною, но теперь они усвоены всеми и понемногу становятся достоянием халтурщиков. Нужно отдать все свои силы на создание новых книг, адресованных другому читателю. Этот читатель весь живет завтрашним днем, ему нужны книги о будущем, книги для будущего. Стоит только раз, по настоящему, столкнуться с этим новым читателем, и ты поймешь, что

для тебя обязателен только его социальный заказ.

Поэтому теперь, если бы я даже хотел, я не могу писать ни о каких «крокодилах», мне хочется разрабатывать новые темы, волнующие новых читателей.

В числе книг, которые я наметил для своей «пятилетки», первое место занимает «Детская колхозия» (для детей от 10–12 лет).

Книга нового типа: календарь, энциклопедия, хрестоматия, сборник новых колхозных пословиц, песен, поговорок, прибауток, загадок. Это книга для современной деревни, вернее, для деревни ближайшего будущего. Миллионам детей, населяющих эту деревню, потребуется новый небывалый фольклор. Несомненно этот фольклор будет создан стихийным путем в течение нескольких ближайших десятилетий. Но необходимо предвосхитить этот процесс и по возможности теперь же создать целый ряд таких народных детских песен, которые пропагандировали бы новую жизнь деревни и утверждали бы новый быт.

Одному мне с этой работой, конечно, не справиться. Я привлекаю к ней целую группу молодых даровитых поэтов, с которыми около года занимаюсь в студии советских писателей. До сих пор эти поэты работали вразброд, кустарным способом. Теперь мы хотим подчинить их распыленные силы строгому и стройному плану. Кроме этой группы, мы привлекаем к работе детскую секцию ЛАПП и крестьянских писателей. Уверен, что к осени 1930 г. мы, изучив на практике работу колхозов, соединенными силами создадим насущно-необходимую детскую книгу, которую дети будут знать наизусть, так как статьи и стихи, входящие в эту книгу, будут звонки, лаконичны, легко запоминаемы, веселы. Словом, в них должна быть та же «чуковщина», но конечно, эта «чуковщина» будет применена к новым темам, ибо старые темы для меня умерли.

К. Чуковский

10 декабря 1929 года".

Это заявление имеет прямое отношение к спорам о детской литературе. Оно является победой правильной линии по отношению к детским писателям – линии, которую твердо занял Гиз. Оно является ярким доказательством правильности этой линии.

Конечно, слова Чуковского должны подтвердиться его

делами. О писателе судят не по его декларациям, а по его творческой продукции. Вот почему мы с нетерпением будем ожидать обещанной Чуковским книги. Но самый факт признания Чуковским необходимости новых установок и новых творческих путей показывает, насколько прав был Гиз в своем отношении к детским писателям и насколько неправы те, кто его с этого пути сбить хотят.

Еще недавно, после моего письма пленуму РАПП последний постановил организовать детские секции в своих крупнейших организациях. Тем самым положено начало широкому об'единению пролетарских детских писателей, которым Гизом обеспечена твердая поддержка. Но нельзя упускать из виду и необходимость борьбы за приближение к проблемам сегодняшнего дня старых детских писателей. Результат этой борьбы – заявление Чуковского.

Зав. Госиздатом Арт. Халатов".

Комментировать это письмо согнутого в дугу и завязанного тройным узлом писателя не хочется. Да и не его это мысли, в конце концов, и не сам он сочинил безумные строки о коллективизации распыленных сил писателей-кустарей. Его перу принадлежат в этом письме совсем другие слова. Скорее всего, вот эти:

«Всякий, кто уклоняется сейчас от участия в коллективной работе по созданию нового быта, есть или преступник, или труп».

«Таких книг больше писать нельзя».

«Самые формы, которые я ввел в литературу, исчерпаны».

«Теперь, если бы я даже хотел, я не могу писать ни о каких „крокодилах“».

«Старые темы для меня умерли».

Это не покаяние и не присяга. Это констатация факта своей литературной смерти. Помните: «Все это мертвечина, и сам товарищ Блок – мертвец»… И Блок Чуковскому за занавеской: «Верно, верно. Я – мертвец».

Он задыхается, как Блок. Смерть снова подошла близко-близко. Только он был не Блок и продолжал жить. Смерть, правда, нашла способ подобраться и ударить, и этот удар был сильнее любых других. Но об этом потом.

Совершенно понятно, почему от Чуковского после этого письма «отшатнулись прежние сторонники». Уважаемые им и уважающие его люди, коллеги и личные друзья дружно защищали свое право делать литературу так, как считают нужным, заступались за здравую редакционную политику. И на фоне их сдержанного и благородного выступления дикое, вымученное письмо о «Веселой колхозии» и впрямь выглядит недостойным и

бессмысленным ренегатством. Оно действительно никаких выгод Чуковскому не принесло и от преследований не избавило: почти все сказки на несколько лет оказались под запретом (можно даже проследить по биобиблиографии Д. Берман хорошо заметные разрывы в ежегодных переизданиях в интервале между 1928 и 1932 годами). «Чуковщину» продолжали проклинать со всех трибун устно и письменно. Сам он чувствовал себя негодяем и мертвецом – и в человеческом смысле, и в литературном.

В этом же декабре газеты отмечали пятидесятилетие Сталина. Юбилей вождя затянулся на целую неделю: пресса публиковала приветствия и поздравления, и ни у кого не хватало духу первым прекратить поток славословий – так потом никто не рисковал первым остановиться во время «бурных, продолжительных аплодисментов, переходящих в овацию». В стране окончательно оформился культ личности.

«Лучше не писать о современности»

Дискуссия о детской литературе продолжалась и в 1930 году. Горький выступил в «Правде» со статьей «Человек, уши которого были заткнуты ватой», где возражал Флериной, защищал маршаковскую редакцию, фактически спасал детскую литературу от натиска Наркомпроса. Горькому тут же ответили «Литературная газета» и «Комсомольская правда». В «Литературке» появилось открытое письмо 29 писателей Горькому: они дружно спасали от Чуковского профессиональную честь трубочистов. «Комсомольская правда» с приличествующим названию задором ввязалась в дискуссию о детской литературе – ее литературная страница вышла с шапкой «В плену у „чуковщины“ и зубоскальства: создадим пролетарскую детскую литературу». Авторы «КП» объясняли Алексею Максимовичу, как он неправ, – в свете постановления ЦК ВКП(б) о детской литературе от 1928 года.

В. Искрин пенял Горькому: «Своим заявлением тов. Горький объективно облегчает защиту „чуковщины“» – и сурово пояснял: «…не игра и не забава, а сознательное участие с малых лет в борьбе и труде взрослых является основой коммунистического воспитания». И. Разин в своей статье «Про серого заиньку и пятилетку. Против аполитичности в детской литературе» (естественно: ведь ЦК в постановлении осудил аполитичность) обличал: "Выросла целая плеяда «Чуковских», которые занимаются беспредметным развлекательством. Если Чуковский первыми своими книгами внес кое-что новое в детскую литературу, изучив язык и рост ребенка, то все его творчество за последние годы является недопустимым увлечением детскими нелепицами. Чуковский вреден не только своею аполитичностью, абсолютным пренебрежением к социальной тематике. В книге Чуковского «Мой додыр» (так в тексте. – *И. Л.)* имеются моменты религиозного мировоззрения («Боже, Боже, что случилось». – *И. Л.),* пренебрежение к трубочисту. В его же сборничке «Черепаха» все портные – трусы. В его других книгах господствуют антропоморфизм, чрезмерная динамичность, идущие вразрез со всеми педагогическими установками (опять «установками»! – *И. Л.)*. О народных стишках Чуковского правильно сказано в «Книге и революции», что символы косности, русотяпства, обломовщины цветут на полях детской литературы. Тут и насмешливые стихи про Ваню простого (читай – бедного) или: «Давай-ка мы, женушка, домок наживать»".

Обличительный пафос Разина достигает удивительных высот:

«Разве можно оправдать линию ГИЗ, издавшего в качестве приложения к „Ежу“ (несмотря на своевременные протесты ЦБ ЮП) сочинения Чуковского? Разве допустимо было издание… „Космосом“ сказок Андерсена?» Досталось и другим автором – Андровой за то, что в ее книге «дана явная проповедь семейного счастья» (опять-таки инициированная зловредным Чуковским), Барто – за «явно пацифистскую установку»… В.Яковлев в статье «На новые рельсы» разграничивал Чуковского и Маршака: Чуковский совсем чужой, а Маршак, хотя и является «характерным примером повторения многочисленных ошибок Чуковского» и «еще не поставил свое творчество целиком на службу задачам коммунистического воспитания», – но все-таки «ближе к нам, чем Чуковский».

Полоса в «Комсомолке» была украшена карикатурой Гр. Розе «ЗаСЛОНили»: слон, крокодил с трубкой и бегемот в очках заслоняют от ребенка фабрики и заводы. Газета яростно требовала «решительного перелома на всем фронте детской литературы», чистки всех детских библиотек силами комсомольцев и прикрепления писателей к пионерским организациям и школам «для непосредственной связи и изучения детского читателя».

Многократно упомянутый выше Давид Ханин в «Книге – детям» за январь 1930 года в который раз объяснял читателю вредность Чуковского и его подражателей (к последним, кстати, опять отнесена Барто). Ханин рассказывал, что когда-то Чуковский сыграл положительную роль в детской литературе, поскольку призвал к «пониманию ребенка, пониманию его особенностей и языка…». А дальше шло сплошной грозной разрядкой: «Однако, отказавшись от поисков тематики, близкой и нужной современности, сознательно ограничив себя народными песенками, „Крокодилом“ и „Айболитом“ и излишне увлекшись детскими нелепицами, экикиками и пр., Чуковский сам отстранил себя от детской литературы и к 1929 г. оказался творчески несостоятельным». Но дело не в самом Чуковском, говорил гизовский начальник: в конце концов «его произведения можно запретить или разрешить, мы обладаем для этого достаточной административной властью. Гораздо серьезнее то, что его влияние, незаметно даже для самих авторов, часто сказывается в их творчестве» – и с этим влиянием надо «бороться сейчас, может быть, больше, чем непосредственно с самим Чуковским».

Зиму 1929/30 года К. И. в письме Маршаку назвал «проклятой». Тон этого письма удивляет своей болезненной кротостью, столь нехарактерной для задиристого Чуковского: "Вместе с сим я отправляю Ханину подробное письмо о своих

книжках. Мне было совестно обременять Вас, переутомленного, всеми своими докуками. Пусть они заденут Вас только самым маленьким краюшком. Хлопочу главным образом о «Крокодиле». Прошу разрешить хоть семь тысяч экземпляров. То есть в десять раз меньше, чем требует рынок. Надеюсь, что Вы, Эпштейн (заведующий Главсоцвосом. – *И. Л.),* Луначарский, Ханин можете добиться этой скромной победы… Не слишком порицайте мои «Новые загадки», они выжаты из усталых мозгов. После «Топтыгина и Лисицы» я бросил детскую литературу – и снова взялся за брошенную свою книгу о Толстом".

Сказка «Топтыгин и Лиса» вышла в 1929 году, когда Чуковский утверждал, что уже три года ничего не пишет для детей, – продолжая при этом работать над «Айболитом» (он же «Лимпопо»), сочинять загадки… У него и в самом деле давно не получалось таких ярких, самобытных сказок, как те, что были написаны в первой половине 1920-х. В обстановке травли он работать не мог – и ушел в историю литературы. Это как раз очень подходящее и весьма утешительное занятие для писателя, измордованного историческими условиями, – вглядываться в другие условия другой эпохи и пытаться разглядеть закономерности.

Первая дневниковая запись в 1930 году сделана только 14 апреля: «Это страшный год – 30-й. Я хотел с января начать писание дневника, но не хотелось писать о несчастьях, все ждал счастливого дня, – и вот заболела Мура, сначала нога, потом глаз, – и вот моя мука с Колхозией, и вот запрещены мои детские книги, и вот бешеная волокита с Жактом – так и не выбралось счастливой минуты, а сейчас позвонила Тагер: Маяковский застрелился. Вот и дождался счастья. Один в квартире, хожу и плачу и говорю „Милый Владимир Владимирович“…»

Ходит и плачет, плачет и ходит, изнемогая от душевной боли, – это его способ с ней справляться, он не может сидеть на месте, выхаживает ее, а она все равно не отпускает. Запись о Маяковском – пронзительная, безнадежная, путаная от горя: "…и шел своим путем, плюя на нас, и вместо "милый Владимир Владимирович «я уже говорю, не замечая: „Берегите, сволочи, писателей“, в последний раз он встретил меня в Столешник, переулке, обнял за талию, ходил по переулку, как по коридору, позвал к себе – а потом не захотел (очевидно) со мной видеться – видно, под чьим-то влиянием: я позвонил, что не могу быть у него, он обещал назначить другое число и не назначил, и как я любил его стихи, чуя в них, в глубинах, за внешним, и глубины, и лирику, и вообще большую духовную жизнь… Боже мой, не будет мне счастья, не будет передышки на минуту, казалось, что он у

меня еще впереди, что вот встретимся, поговорим, „возобновим“, и я скажу ему, как он мне свят и почему…»

А ведь Чуковскому в начале 1930 года было ничуть не лучше, чем Маяковскому. И в 1925-м – ничуть не лучше, чем Есенину (помните: «каждый писатель сейчас – Есенин»). И его давили, и его мучили, и ему было необычайно трудно наступать на горло собственной песне и, задрав штаны, бежать за комсомолом… Разве что у него была большая семья, что, с одной стороны, неимоверно осложняло жизнь, с другой – очень крепко к ней привязывало. Чуковский был, если можно так сказать, убежденный, сознательный, последовательный отец. Какую роль в жизни Маяковского и Есенина играли их дети – и какую в жизни Чуковского! Но дело даже не только в ответственности за благополучие детей – это внешнее; детность-бездетность – не решающий аргумент при выборе между бытием и небытием, и если нужны доказательства, то вот вам Цветаева в 1941-м. Это выбор жизненной стратегии; стратегию Маяковского Елена Иваницкая обозначила как саморастрату, постоянное одалживание энергии у будущего. Саморастратчиками были и Есенин, и Цветаева. Чуковский последовательно выбирал самосохранение – не в примитивно-шкурном смысле этого слова, а в самом высоком из всех возможных: он ценил не столько себя, сколько свою миссию – роль, которую должен выполнить он и которую больше выполнить не может никто; единственный сказочник на 150 миллионов человек, «наследник и сомышленник Шевченки», недостойный, как он сам говорил, но несомненный наследник русской классической литературы… Все это он умел в себе ценить и не ставить это себе в заслугу – скорее, воспринимал себя как немощный сосуд, скрывающий зажженный титанами вечный огонь; разбить сосуд в угоду малограмотным устрицам, мещанам, пинкертонам – невозможное неуважение к огню. Наконец, он не был прирожденным трагиком. Он часто отчаивался, его сотрясали тяжелейшие депрессии, но тоска и ужас никогда не были для него источником вдохновения. Есть сумрачные поэты, кому близость смерти придает поэтической силы, кому гибельное отчаяние, душевная боль, горе, тоска диктуют лучшие строки, кто лучше всего пишет, когда ему бесконечно плохо. Таковы ценимые им Маяковский, Блок, таков любимый Корнеем Ивановичем Некрасов. Но сам Чуковский не таков; его дар – совсем другой природы: он солнечный, радостный, игровой. Трагедия не окрыляла его, а лишала творческих сил. Там, где в его поэзию и прозу врывается настоящая трагедия, он терпит неудачи; так случилось с «Солнечной» и с «Одолеем Бармалея». Времена тяжелых

общенародных бедствий скрывают его с головой: в это время он не может сделать ничего ценного. Недаром он сам подчеркивал: детский писатель – в душе ребенок, ему нужна доброжелательная среда. Ему нужны мирная жизнь, благожелательное отношение критики, общение с детьми. Радость была сырьем для его творчества и его продуктом – облагороженная, приумноженная, облеченная в поэтическую форму чистая радость. Мог ли такой человек вообще сколько-нибудь серьезно рассматривать вариант самовольного ухода в небытие?

1930-й был страшным годом, повторим мы за Чуковским. Он принес не только смерть Маяковского, но и партийные чистки, и крестьянские бунты, и окончательную расправу с религией: уничтожение монастырей, снос храмов – и строительство Беломорканала, и дела вредителей. В ведение ОГПУ перешли исправительно-трудовые лагеря: государство не могло содержать растущую армию зэков, и ей предстояло самой зарабатывать на прокорм, занимаясь заодно освоением громадных пространств Севера и Востока.

Страшен год, печальны персонажи, проходящие по страницам дневника Чуковского: усталый, замученный Зощенко, изнуренный тяжелой болезнью Тынянов, искренне-двуличный Шкловский… Но не общественная ситуация гнетет Чуковского: напротив, он даже делает попытки разобраться в природе коллективизации, и ему искренне кажется, что это лучший путь из всех возможных: в самом деле, что предлагали мужику народники – "им мерещилось, что до скончания века у мужика должна быть соха – только лакированная, – да изба, – только с кирпичной трубой, и до скончания века мужик должен остаться мужиком – хоть и в плисовых шароварах… И когда вчитаешься во все это, изучишь от A до Z, только тогда увидишь, что *колхоз* – это единственное спасение России, единственное *разрешение* крестьянского вопроса в стране!.. Через десять лет вся тысячелетняя крестьянская Русь будет совершенно иной, переродится магически – и у нее настанет такая счастливая жизнь, о которой народники даже не смели мечтать, и все это благодаря колхозам". Эта дневниковая запись написана не «для показа властям». Она даже снабжена примечанием «напишу-ка я лучше о том, что сейчас волнует меня больше всего (после болезни Муры)». И с Тыняновым они как раз в это время говорят о своей преданности советской власти:

"Я говорил ему, провожая его, как я люблю произведения Ленина.

– Тише, – говорит он. – Неравно кто услышит!

И смеется.

Это мне понятно. Я очень люблю детей, но когда мне говорят:

«Ах, вы так любите детей», – я говорю: «Нет, так себе едва ли»".

Тут как раз подоспело сталинское «Головокружение от успехов», внушившее всей стране надежду на то, что ужасы коллективизации – это только перегибы на местах, что все идет правильно, что это единственный возможный для России путь в будущее. И Чуковский в самом деле хочет быть полезным этому будущему. Масштабы преобразований глубоко его впечатляют, он и в самом деле ищет свое место в этой новой реальности – но пока не находит его, поскольку все, что он умеет, пока считается ненужным. Довольно скоро в литературе, зажатой в угол, как крестьянство, тоже придет черед своего рода «Головокружению от успехов»: не за горами то время, когда РАПП приструнят, Наркомпросу укажут на его место, писателю позволят вздохнуть, кажется, свободно… прежде чем окончательно его закрепостить.

Впрочем, не так уж он обольщался современностью – скорее, с трудом пытался сводить концы с концами, а они никак не сходились. Не получалось свести огромную, светлую гуманистическую идею с чудовищной повседневной практикой.

В 1930 году (скорее всего, летом) Лидия Гинзбург записала свой телефонный разговор с Чуковским. Больной гриппом писатель был один в пустой городской квартире, разговаривал лежа. Сказал Гинзбург по поводу ее рецензии на Сергеева-Ценского: «Это значит, толкать падающего, в то время как мы принуждены молчать о явлениях более безобразных».

"– Вот это, Корней Иванович, правда, – но если так, то, может быть, лучше совсем не писать.

– Лучше не писать о современности.

– Нет, нестерпимо быть литератором и не иметь права говорить о современном.

– Да, в молодости это трудно".

Гинзбург затем зашла к Чуковскому, провела у него целый день. Впечатления сформулировала так: «Исхудал, обрил голову. Мурочка страшно больна. Мы говорим о Маяковском, о Тынянове, об Уайльде, об изданиях Некрасова, о судьбе современного литератора… Он необыкновенно умен, хитер и обаятелен. Пишет хуже, чем он есть на самом деле. Не то нарочно, для доступности; не то по связи со старыми своими литературными традициями».

Он и впрямь писал хуже, чем он есть на самом деле: читая предисловия к изданиям «Всемирной литературы», например, нельзя не удивиться примитивности лексики и синтаксиса; видно, что тексты сознательно упрощены, что автор хочет быть понятным самому непонятливому, не слишком грамотному читателю. Ему пришлось портить свои книги, чтобы они могли увидеть свет: исключить из книги о Некрасове фрагменты,

которые особенно сильно возмущали твердолобых почитателей «певца горя народного», вставить Плеханова в сцену похорон поэта, запихнуть в «Искусство перевода» безумную главку о «социальной природе переводчика». Чтение это чрезвычайно жалкое: автору совершенно нечего сказать по этому сомнительному поводу, и он подтягивает социальную природу за уши к тому факту, что Бальмонт когда-то плохо перевел Уитмена. «Переводчик, даже самый талантливый, не в силах, при всем желании, нарушить тот эстетический канон, который внушила ему данная литературная (а значит, и социальная) группа, и остается бессознательно верен этому канону даже тогда, когда переводит писателя, принадлежащего к враждебной ему общественной группе». «Борьбу с оригиналом нам приходится наблюдать всякий раз, когда писатель, принадлежащий к одному социальному строю, переводит писателя, принадлежащего к другому социальному строю». Социально обусловленными оказываются даже такие ошибки, как смешение слов *wind* (ветер) и *wing* (крыло), трактуемые как «презрение к оригиналу», «наплевательское отношение к тексту, которое можно объяснить только ненавистью к переводимому автору». «Конечно, это ненависть вполне бессознательная» – и Бальмонт, переводя Уитмена, «сам того не замечая, инстинктивно, искривляет и темнит его облик, проявляя даже в ритмах своего перевода тайную неприязнь к нему».

Чуковский довольно часто применял сильное слово «ненавидеть», обличая плохих переводчиков, редакторов, комментаторов, составителей учебников – как же, мол, надо ненавидеть писателя, чтобы дать о нем такое представление! Эту бальмонтовскую «ненависть» к Уитмену он сохранил даже в самом последнем издании «Высокого искусства» (так книга стала называться позднее): «Перевод превратился в борьбу переводчика с переводимым поэтом, в беспрестанную полемику с ним. Иначе и быть не могло, ибо, в сущности, Бальмонт ненавидит американского барда, не позволяет ему быть таким, каков он есть, старается всячески „исправить“ его, навязывает ему свои бальмонтизмы, свой вычурный стиль модерн».

Разумеется, все, что касалось «социальной природы», Чуковский со временем беспощадно выбросил. Но некоторые соображения о сознательной и бессознательной борьбе переводчика с подлинником – борьбе, обусловленной идейной позицией, – в тексте книги остались (отсылаем интересующихся к первой главе «Высокого искусства»: «Перевод – это автопортрет переводчика»). Речь, правда, уже не о «социальной природе», а о «духовном облике» переводчика и не о том, что «переводчик не в

силах нарушить эстетический канон», – напротив, приводится множество примеров, когда он находит в себе силы «обуздывать свои индивидуальные пристрастия, сочувствия, вкусы ради наиболее рельефного выявления той творческой личности, которую они должны воссоздать в переводе».

Думается, за «социальную природу» Чуковскому всю жизнь было очень стыдно.

Кипарисы шелестят

Мурочка, по свидетельству Марины Чуковской, заболела в конце 1929 года – почти одновременно с публикацией отречения в «Литературке»; недаром К. И. до самой своей кончины считал смертельную болезнь дочери возмездием. Лидия Корнеевна в одном из писем обронила фразу, что в день рождения (а он у Мурочки был в феврале) девочке стало хуже. Болезнь стремительно прогрессировала.

«Всем существом своим противился Корней Иванович мыслям об ее неизбежной гибели, – вспоминала Марина Чуковская. – Не верил. Не желал верить! То ему казалось, что врачи ошиблись. Бывает ведь так? То он понимал, что ребенок гибнет. То, внушив себе, что она больна только временно, что она поправится, заставляя ее учиться, задавал ей уроки, чтобы она не отстала от класса. То в полном отчаянии убегал из дома, не в силах выносить страдания ребенка и горе Марии Борисовны».

В начале мая положение больной резко ухудшилось: «Мне даже дико писать эти строки: у Муры уже пропал левый глаз, а правый – едва ли спасется. Ножка ее, кажется, тоже погибла… Как плачет М. Б. – раздирала на себе платье, хватала себя за волосы». Марина Чуковская рассказывает, как К. И. ворвался к ней вне себя от горя: «Ей будут вылущивать глаз! Боже мой! Пойдем! Нет, поедем!» Повез ее в гости – и в гостях был изысканно любезен, остроумен, весел… «Хозяйка не догадывается, что он инстинктивно ищет забвения от горьких мыслей. Он должен работать. И работать очень много. Он не имеет права сосредоточиться на том, что так мучительно волнует его. Прочь отметает он эти мысли. Думать он обязан только о работе, раз уж ничем не может помочь. Мурочкин глаз не тронули, но глаз стал незрячим», – пишет Марина Николаевна.

Горе его было беспредельным. Мура была, пожалуй, самым близким для него человеком. Чуковский научил ее читать и писать стихи, любить литературу, «пропитал ее стихами», по его собственному выражению. Он вырастил абсолютно понимающее, все чувствующее, тонкое и музыкальное существо, воспитал для

себя идеального читателя, друга и собеседника. Счастливая пляска его сказок, и огромное, радостное удивление миром, на котором построены его загадки, и скачущая ритмика потешек, и бесконечная нежность, сквозящая сквозь иронию, – все это было с ней, для нее, ради нее, при ее участии, сочувствии, понимании. Мура подарила ему не только радость позднего отцовства, но и счастье сугубо писательское – счастье, которое дает только отзывчивая читательская аудитория; Мура стала необходимым катализатором для его творчества. Умная и деликатная, наделенная необузданным воображением и глубокой сентиментальностью, нежная, хрупкая Мура была любимицей всей семьи – но для Чуковского она была большим. В Муре была его жизнь, его душа, его поэзия. Теперь она слепла, не могла ходить, плакала от боли. А он ничем не мог помочь – только отвлекать, только радовать, только забалтывать и смешить… «Мура вчера была в самом веселом настроении: я читал ей Шиллера „Вильгельм Телль“, и ее насмешила ремарка: „барон, умирающий в креслах“. Читали мы еще „Конька-Горбунка“ и начали „Дитя бурь“», – записывает К. И. 25 мая 1930 года.

Не слишком гладко складывалась жизнь и другой дочери К. И. Она была не вполне здорова (одышка, сердцебиение, проблемы с щитовидной железой – и, видимо, туберкулез). В конце весны она собралась замуж за литературоведа Цезаря Вольпе – человека, которого она не любила, о приближающемся браке с которым писала родителям отчаянно-туманно: «с черными мыслями и черной совестью», «если бы не черные мысли о Муре и еще ты знаешь о чем» – это в одном письме. «С тяжелым сердцем и дурной совестью», «ваша радость еще более подчеркнула мне мою не-радость. Никого ниоткуда нельзя вынести на руках» – в другом… В «Прочерке» она пояснила: «Я вышла за него „по расчету“: чтобы нерушимо, навсегда возвести стену между собою и человеком, которого любила. Стену возвела (и гордилась своей прямотой: ни минуты не скрывала горестной правды от Цезаря), но жизнь испортила всем троим: Цезарю, себе и тому, кого любила, – нелюбовь его ко мне была мнимая, кажущаяся…»

Туберкулез еще ничем не умели лечить, кроме солнца, морского воздуха, усиленного питания – всего того, что укрепляет организм и помогает ему справляться с болезнью самостоятельно. К осени Муре стало хуже. В начале сентября ее пришлось увозить к морю, в Алупку, в детский санаторий для костнотуберкулезных больных. К. И., Мария Борисовна, Мура, Борис тронулись в путь – тяжелый и страшный. У Муры в дороге температура поднималась до 39–40 градусов, ноги болели. Семья три с половиной дня ехала поездом до Севастополя, с вокзала в гостиницу линейкой, затем в

аптеке не оказалось нужных лекарств, чтобы приготовить свечи для снижения жара… Трое взрослых беспомощно глядели на мучения ребенка и ничем не могли помочь. На следующий день стало еще хуже: температура, боль, врача нет, Мура хватается за отца, чтобы он что-нибудь рассказывал, и он плетет что-то, вспоминая детство, Житкова, «телефон для безошибочного писания диктовки»… «Она забывалась, иногда улыбалась даже, но стоило мне на минуту задуматься, она кричала: ну! ну! ну! – и казалось, что вся боль из-за моей остановки». Причина ухудшения состояния непонятна, надо ехать машиной из Севастополя в Алупку; семья наперебой ищет хирурга, чтобы снял гипс, или шофера, чтобы ехать; первым отыскался шофер – «и начался ее страдальческий путь», пишет К. И. «Мы трое сели рядом, ее голова у меня на руках, у Бобы – туловище, у М. Б. ее больная ножка. При каждой выбоине, при каждом камушке, при каждом повороте Мура кричала, замирая от боли, – и ее боль отзывалась в нас троих таким страданием, что теперь эта изумительно прекрасная дорога кажется мне самым отвратительным местом, в к-ром я когда-либо был».

В санатории Муру сразу обрили, вымыли и отправили в операционную, где обнаружили свищи с двух сторон. Родители оставаться с ней не могли, им пришлось снять номер в гостинице, Борис уехал обратно. Видеться с ребенком почти не разрешали: порядки в санатории были строгие. «Мы посещаем ее контрабандой, духовной пищи у нее никакой, отношение к ней казарменное, вдобавок у нее болит и вторая нога. М. Б. страдает ужасно», – пишет Чуковский 11 сентября. Сложилась ненавистная для него ситуация: от него ничего не зависит. Даже у Муры он может бывать только потому, что он журналист, писатель, он при исполнении общественно-полезного дела. Он разговаривает с врачами, фельдшерами, медсестрами, ездит в соседний колхоз (едва он вернется, с него начнут требовать «Колхозию»)… Собирает фактуру, тщательно записывая ее в дневник: «Колхоз сконструировался 19 ноября 1929 года. Всех хозяйств вошло в него 107 (из них 58 бедняцких, 49 середняцких, батраков), 3 одиночки: учитель, избач, культурник…», "табаку $21^{l}/i$ га, винограду $35^{!}/2$ га, сад $15^{!}/2$ га, огород 10 га; колхоз завел новую школу, антисейсмическую, оборудовал новую амбулаторию (где еще нет стационара), закрытую столовую – для школы, для очага, для колхозников…".

Он и хотел бы этим заинтересоваться, но не может, его гнетет другое, и именно этим кончается пространная запись о колхозных проблемах Крыма: "Мурочка плачет от боли в *обеих* ногах. Мне больно видеть ее в таком ужасно угнетенном состоянии. Я пробую

ее развлечь, но меня гонят – и мы с М. Б. едем в Алупку, тоскуя".

23 сентября К. И. рассказывал в письме Николаю: "Отрыв от мамы произошел, конечно, болезненно, но главным образом – для мамы. Когда Муру перевели из изолятора в общий барак, маме заявили, что она может посещать Муру три раза в месяц. Тогда мама, конечно, сказала, что она везет ее в Евпаторию, всю ночь мама стонала, кричала, рыдала, но теперь успокоилась, потому что 1) увидела, что Муре очень хорошо в кругу детей, 2) Изергин врач, лечивший Муру. – *И. Л.* разрешил маме посещать Муру раз в пятидневку. Я хожу туда каждый день, и мне это очень трудно, т. к. я должен для этого разыгрывать роль корреспондента и, чтобы повидать Муру, видеть сотни малоинтересных детей".

А вот вспоминает Марина Чуковская: «Корней Иванович с неуемным интересом бегает туда в санаторий, проводит с больными детьми все свободное время. В письме он рисует план санатория, он полон самых оптимистических прогнозов. Дети поправляются там фантастически быстро. Муре лучше, сомнений нет! Его интересуют больные дети, лежащие в гипсовых гробиках, интересует пионерский лагерь в Симеизе, он выступает там на „Костре“. Он полон кипучей энергии. Привычный юг, чудная погода, он бродит босой. Ищет и находит дом для больных литераторов. Дом необходимо купить. Немедленно пишет в Литфонд, убеждая совершить эту покупку. А Муре лучше, лучше! „Паника с глазами вздор, я не падаю духом!“ – пишет он».

Трудность положения еще и в том, что Корнею Ивановичу и Марии Борисовне надо было на что-то жить в Крыму, чтобы оставаться рядом с Мурой. Печатали его в это время мало, денег на гостиницы, питание, разъезды уходило много, а заработков у него, изгнанного из литературы, нет. Дети пишут из Ленинграда о своем безденежье, все члены семьи требуют друг у друга новостей, подробностей, известий. «Не умерла ли моя мама? Просто не знаю, что думать», – читаем в одном из писем Корнея Ивановича Коле.

Он побывал в гостях у Сергеева-Ценского в Алуште – странный визит в далекое прошлое. Они много вспоминали о Репине, и именно в этот день, 29 сентября, Репин умер. О том, как болезненно Чуковский пережил его смерть, косвенно свидетельствует зафиксированное в дневнике раздражение: в день смерти великого художника ученые в санатории, где живет К. И., говорят о консервах, мозолях, гадалке…

В Крыму голодно, дети в лечебнице получают вместо фруктов морковку, на базаре вместо ожидаемого изобилия «сидят торговки с двумя помидорами и ждут, когда их прогонят», у местных детей «тонкие ноги» и «голодные глаза»… Над душой

висит обещанная «Колхозия». Муре то лучше, то хуже. Отчаяние сменяется надеждой, надежда – отчаянием. Туберкулез поразил глаз, одну ногу, за ней вторую, затем почки… А дети в санатории пытаются жить полной жизнью вместе со страной: лежат в гипсе, на растяжках, в корсетах, и проводят собрания, берут социалистические обязательства, готовятся к празднованию Октября… все это найдет потом отражение в повести «Солнечная». 7 ноября Чуковский записывает в дневнике: «…пишу об Изергинском санатории. Тон фальшивый, приподнятый».

Всю осень старшие дети слали родителям печальные реляции о положении в городе: за квартиру надо платить, пени идут, долг растет, издательства не платят. Дров нет. В домах холод, в городе денежный кризис. «На службах перестали платить деньги вовремя», – пишет Лида в конце сентября. И в следующем письме: «Я в полном отчаянье: Гиз не платит денег – ни зарплаты, ни авторских. Мы живем неизвестно как» – а при этом надо разбираться в Финотделе с очередными несправедливостями налогообложения (К. И. поручил это Марине, жене Коли), для этого нужны гербовые марки, которые не на что купить. «Что тебе посоветовать? Чтобы ты прислал деньги из Алупки? А если денежный кризис затянется, – ты оторвешь деньги от Муриных и не хватит потом для Муры?» – безнадежно вопрошает в письме Лидия Корнеевна. Надо добиваться, чтобы ГИЗ оплатил долги за квартиру безналичным чеком, надо добыть дрова к зиме… К. И. отвечает из Алупки, что послал Коле доверенность на получение денег в ГИЗе, добавляя: «Вообще с деньгами у нас катастрофично – и никаких надежд нет», «деньги текут как вода»…

Наконец Корнею Ивановичу пришлось оставить Муру на попечение Марии Борисовны и ехать в Москву – решать финансовые, налоговые и издательские проблемы. Из Москвы К. И. писал Муре в Алупку: «У меня бессонница. Хочу скорее в Ленинград. Но я нашел здесь рукописи Некрасова (с неизданными стихами) и сейчас работаю над ними в музее».

Мурочка тосковала по дому. Полуголодная зима в санатории, где и маму к дочери пускали не каждый день, стала для девочки очень тяжелой. Она привыкала к коллективу (это давалось нелегко, а поначалу какие-то мальчишки и вовсе швырялись в нее картошкой). Писала стихи. Некоторые из них Чуковский приводит в книге «От двух до пяти»:

ВОСПОМИНАНИЕ

Я лежу сейчас в палате
Рядом с тумбой на кровати.
Окна белые блестят,

Кипарисы шелестят,
Ряд кроватей длинный, длинный…
Всюду пахнет медициной.
Сестры в беленьких платках,
Доктор седенький в очках.
А за сотни верст отсюда
Звон трамваев, крики люда.
Дом высоконький стоит,
Прямо в сад окном глядит.
В этом доме я родилась,
В нем играла и училась.
Десять лет там прожила
И счастливая была.

Другое Мурино стихотворение с тем же надрывающим душу воспоминанием о счастье цитирует Лидия Корнеевна в «Прочерке»:

"Когда кто-то из друзей послал ей в Крым большую нарядную куклу, она написала стихи, обращенные к этой златовласой красавице:

Новая кукла, новая кукла,
Я в Ленинграде раньше жила.
Новая кукла, новая кукла,
Там я счастливая была".

Отец относился к стихам больной дочери профессионально. «Мурка! – писал он ей. – Нам всем очень нравятся твои стихи. Они поэтичны и написаны с большим мастерством. Сразу видно, что ты читала „Mother Goose“, и Жуковского, и Блока, и Пушкина. Особенно мне понравились „Солнечный зайчик“, „Новая кукла“ и „Мы лежим“. „Буря“, „Улитки“ – совсем неудачны. В „Новой кукле“ и в „Солнечном зайчике“ – очень музыкальный ритм, весь построенный на паузниках, и я никогда не ожидал, что ты так хорошо им владеешь». Он советует ей подумать о книге про Бобровку – санаторий, где она лечится: «Выдумай какой-нибудь сюжет и свяжи его с Октябрьской площадкой. Когда я приеду, ты мне расскажешь».

Мысли о Мурочке преследовали его и в Москве. Он остановился у друзей – Якова Моисеевича и Генриетты Семеновны Шатуновских. Ночью зацепил одеялом часы, и они остановились. «Я встряхнул их и загадал: если пойдут, Мурочке будет лучше, – писал он жене. – Часы потикали минут восемь – и

остановились. Это страшно меня огорчило. Пришел Шатуновский; он – мастер, возился, возился, часы пошли – и остановились. С тех пор я глядел на них с ненавистью и тоской. Что ни делали с часами – они молчали. Я связывал их молчание с судьбой Муры – и меня сосала печаль. Но – вдруг они пошли! Пошли сами собой!! Тик-так, тик-так! Я слушал их почти безнадежно – мне казалось, что они сейчас остановятся, но они шли и шли – шли час за часом – вдруг, ни с того, ни с сего, совершенно безо всякой починки. И дико: я повеселел в этот день и верил, что Мурино здоровье тоже ни с того, ни с сего вдруг пойдет на поправку. И всякий раз взглядывал на эти часы с удовольствием и даже с благодарностью – старый дурак».

Он привез в Москву очерк о Мурином санатории – «Бобровка на Саре» (тот самый, о котором писал в дневнике, – «тон фальшивый, приподнятый»). Очерк вышел в журнале «Новый мир». Редактор его, Вячеслав Полонский, в это время сделал в дневнике длинную и весьма неприязненную запись о К. И.: "Чуковский, когда его детские вещи оказались под запретом, решил иммунизировать себя от нападок. Он напечатал в «Литературной газете» статью, в которой заявлял, что его прежние детские вещи никуда не годны (далее идет выпущенный нами пересказ письма К. И. в ГИЗ от 10 декабря 1929 года с обещанием «Колхозии». – *И. Л.)*. Чуковский выдал так обер-вексель. Вероятно, он полагал, что векселя этого достаточно. Но не тут-то было. Книжки его все-таки оставались под замком. Он мне говорил, что заведующий в Ленгизе так-таки ему и заявил: «Когда будут обещанные колхозные вещи?» Но колхозных вещей он писать не может. Он ограничился лишь очерком «Бобровка на Саре» – о детском санатории туберкулезном в Крыму. Там он славил коллективизм. Очень надоедал мне, чтобы статья шла в «Новом мире» как можно скорей. Я взял ее, не зная, что она ему необходима как свидетельство о благонадежности. Он сам проговорился: Халатов ждет этой статьи. Статья вышла. Но он и здесь рассчитал понапрасну. Ее недостаточно.

Он ходит к Демьяну, вообще втирается помаленьку. Производит впечатление. Соловьев заметил мне на нашей редколлегии: «Обаятельный человек! Очень интересный!» – Еще бы! – заметил я. – Как его любил Иосиф Гессен. Ведь он был присяжным критиком «Речи». Соловьеву это, очевидно, не было известно. Чуковский отвратителен лестью и ложью. Если бы был менее льстив, его можно терпеть. Но как только раскусишь его – он невыносим. Хвалил мне в глаза мою статью, которой не читал. Да и на кой черт ему читать мои статьи?"

Публикация «Бобровки» действительно была нужна

Чуковскому как свидетельство благонадежности – чтобы отвязались. Но он и в самом деле не мог писать «колхозных вещей». Он действительно был фальшив и неискренен – меньше всего на свете ему сейчас хотелось ходить по кабинетам, беседовать с их обитателями, искать к ним психологически верные подходы и выслушивать упреки в недостаточной лояльности.

Полонский далее бранит Бабеля за то, что тот пообещал прославить колхозы и социализм, «перезаключил договоры, получил в ГИЗе деньги – и „смылся“». Бранит Пришвина, который на Урале видел строительство, рассказывал о нем восторженно, а ничего не пишет. «Вот то-то и оно, – ядовито комментирует Полонский. – На словах они все делаются „большевиками“, как видят успехи наши. А написать об этих успехах – не пишут. Что-то „мешает“. А казалось бы: если восторг у тебя „настоящий“, если это тебя действительно „радует“ – тут-то бы и писать. Ан – нет! не выходит!»

Действительно не выходит, но почему – Полонский искренне не понимает.

Понимал, пожалуй, Горький. В 1931 году он в докладной записке о детской литературе, написанной в связи с постановлением ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе, писал: «Надо отказаться от примитивного утилитаризма, от грубой дидактики и тенденциозности… Надо снова привлечь в детскую литературу тех авторов, которые были осуждены на бездействие или не были использованы в достаточной мере из-за ошибочной политики литературных организаций, критики и издательств (Пришвин, Григорьев, Чуковский и др.)». Впрочем, для того чтобы к Горькому прислушались, в литературе должны были задуть серьезные ветры перемен.

Положение писателей к рубежу 1930 и 1931 годов стало совершенно невыносимым. У Юрия Олеши были некоторые основания утверждать, что литература кончилась в 1931 году. Коллективизация состоялась. Мастера пера, инженеры человеческих душ теперь привлечены в качестве квалифицированных специалистов к общественно полезному труду: ездят по стройкам, создают истории заводов, описывают процесс производства. Завод «Красный пролетарий» взял шефство над Алтаузеном, Безыменским, Жаровым, Катаевым, Олешей, Уткиным и Никифоровым: прикрепил каждого к цеху и выдал заводские расчетные книжки… Николай Чуковский прикреплен к «Светлане»; впереди у него экспедиция в Карелию (и коллективная книга по ее итогам), поездка по Беломорканалу… Пастернак отправлен на Урал – писать о социалистическом

строительстве. Детская редакция под водительством Маршака перестраивается: уходят в прошлое игры и смех до изнеможения, приходит время научно-популярной книги, рассказывающей о величии труда, об истории людей, вещей, научных открытий, о грандиозных планах пятилетки… «Книга – детям» извещала в 1930-м, что печатаются и выйдут в ближайшее время книги серии «Детям о пятилетке»:

Для дошкольников: Введенский – Пионерская пятилетка.

Для младших школьников:

Басманов – Маслозавод.

Савельев и Тамби – Альбом о пятилетке.

Касель – Фабрика-кухня.

Шкловский – Турксиб.

Денисовский – Шахта.

Мирославский – Днепрострой.

Прошин – Хлебозавод.

Кудинов – Трактор 2-й.

Лаптев – Пятилетка.

…И еще столько же для средних и старших, включая труд Бианки «Пушнина»… и все равно еще несколько лет подряд газеты будут твердить: нет книг о пятилетке, больше книг о современности!

Заметим, кстати, как по-разному отнеслись к переменам в жизни маршаковской редакции старшие дети Чуковского. Николай в воспоминаниях о Евгении Шварце с жестокой обидой рассказывает, как из детского отдела были изгнаны обэриуты, Шварц, Андроников, Житков и он сам – и каждый воспринял свое изгнание как предательство со стороны Маршака. Чуковский-младший поясняет: "Просто Маршак, всегда обладавший острейшим чувством времени, тоже ощущал грань, отделявшую двадцатые годы от тридцатых. Он понимал, что пора чудачеств, эксцентриад, дурашливых домашних шуток, неповторимых дарований прошла. В наступающую новую эпоху его могла только компрометировать связь с нестройной бандой шутников и оригиналов, чей едкий ум был не склонен к почтительности и не признавал никакой иерархии… Детиздат (собственно Детиздат появился только в 1933 году. – *И. Л.)* оказался противоположностью детского отдела. В Детиздате было все чинно, как в настоящем учреждении, – ни смеха, ни шуток. В новом его штате не было ни Олейникова, ни Шварца, ни Андроникова. Их место заняли четыре девушки, грамотные, лишенные особых дарований, но набожно влюбленные в Маршака и верившие только в «редактуру»".

Четыре девушки без «особых дарований» – это, само собой,

Тамара Габбе, Александра Любарская, Зоя Задунайская и… Лидия Чуковская. Справедливость требует заметить, что в редакции они работали с 1928 года вместе с перечисленными писателями, причем «девушки» были в штате, а писатели нет; жаль все-таки, что мемуары Н. К. не откомментированы как следует. Хотя К. И., пожалуй, солидаризировался с сыном в отношении к Маршаку и его новой редакционной политике.

А вот что писала отцу в ноябре 1931 года о переменах в редакции Лидия Корнеевна: «Они Детотдел сейчас совсем по-новому работают, наладили связь с заводами, школами и т. д. В Маршака я верю, как никогда. Он человек с чудесным, крупным чувством эпохи, времени. И это чувство помогло ему создать новую систему, школу редакционной работы. Блестящей победой этой системы явился „Рассказ о великом плане“ Ильина, признанный в Америке, Англии, Германии и СССР, а ведь создал эту книгу не Ильин, а Маршак, и вся она является завершением длинного пути создания деловой книги». Заканчивает Л. К. констатацией: «Все мои друзья так страшно, неистово заняты, что им не до меня. Всюду такая масса работы…»

Каждый вынужден работать, и работать до изнеможения много: этого требуют и простое выживание, и личный категорический императив, и общество, идеализирующее и идеологизирующее труд. Но чаще всего работа приносит только многолетнюю усталость, а не удовлетворение. Вся страна работает на износ, выполняя и перевыполняя планы – и труд служит сам себе оправданием, и как будто отменяет необходимость думать. Всюду такая масса работы; всюду «надо» категорически отменяет всякое «хочу» и «люблю».

Лучше всех ключевые наблюдения о писательской участи в это время сформулировала Лидия Гинзбург (вынужденная писать книгу о производстве консервов и оставить мысль о диссертации, посвященной поэзии 1830-х годов): «Я поняла, что то, о чем избегали думать вплотную, – случилось, что за полтора-два года многие из нас и я тоже потеряли специальность. В пору, когда расшатались понятия потери положения и имущества, нам осталось терять специальность и терять человека. Оказалось, что это не временное занятие другими делами, а непоправимое перерождение судьбы».

Гинзбург давала себе труд всерьез осмыслять происходящее, и ее наблюдения часто поражают своей тонкостью и точностью. В начале тридцатых она пишет об ощущении гражданской смерти, связанном с невозможностью публиковать написанное, – и приходящем потом понимании, что «несчастье произошло от попытки продвигаться по главной линии. Что не возбраняется

ходить боковыми линиями, и что за это платят деньги и дают карточки I категории А. Оказалось, что способность писать находит довольно широкое применение, если только она направлена на предметы, которые не волнуют писателя».

Советская литература оттого и нажила такой великолепный капитал на всех боковых путях, что на главной линии навешала запрещающих знаков. Оттого у нас есть и корейская лирика в переводах Ахматовой, и Шекспир, переведенный Пастернаком, и непревзойденная школа перевода, и замечательная детская литература, и полная коллекция национальных эпосов на русском языке, и превосходная традиция научно-популярной книги, и биографический жанр, умело сочетающий научную точность с художественным мастерством… так елка с отрубленной вершиной отращивает густые боковые лапы и поднимает их к небу.

Одна из записей Гинзбург, сделанных в 1930 году, – конспект разговора с Чуковским:

«Основная его мысль: время для нас хорошо тем, что не дает зажиреть. Вот он был изобретателем журнальной манеры. „Русское слово“ и пр. рвали у него каждую строчку из рук; деньги, слава и пр. Оставалось исписаться. В 1917-м с революцией он остался вроде новорожденного. Он выдумал детскую литературу. К 1930 году он почувствовал, что начинает уже писать под Чуковского; тут его как раз и прикрыли. Все правильно совпало. Придется изобретать дальше».

Зиму 1930/31 года Чуковский провел в Москве и Ленинграде, решая дела, создавая и продавая в разные издания новые статьи – в основном посвященные людям некрасовской эпохи: в это время написаны его серьезные, большие, важные статьи о Василии Слепцове – его жизни, его коммуне, его «тайнописи» – системе сложных подцензурных намеков… Он идет по боковой линии. Он пытается «изобретать дальше».

«Конечно, он отчаянно беспокоится, – пишет Марина Чуковская. – Конечно, и совесть угрызает его. Все письма его в Алупку полны мучительной тревоги. Мучительно и читать их. Но он может спокойно работать. Как всегда, он заваливает себя разнообразной работой. В нее входят и „шестидесятники“, и Уитмен, и Некрасов. Уже два помощника неустанно трудятся рядом с ним. А в голове помаленьку зреет „Солнечная“…»

В апреле 1931-го К. И. снова вернулся в Алупку, оставив сыну Борису множество поручений – заплатить за квартиру, решить, как помочь бабушке в Одессе: там голод, а деньги переслать трудно. Перечисляя поручения сыну, он пишет: «…я вижу, по твоим словам, что они голодают. Не послать ли им из Питера

продуктов?» Старшему сыну он пишет из Алупки более уклончивоˆ "Если не поедешь туда (Николай собирался ехать в Нью-Йорк корреспондентом, но не поехал. – *И. Л.),* приезжай непременно в Алупку, но захвати с собой возможно больше пищи. Здесь – может быть, временно – страшная заминка с провиантом".

Весна оказалась трудной. Благодаря коллективизации во всей стране «заминка с провиантом», в больших городах – особенно. Лида беременна и тоже тубинфицирована, болезнь протекает относительно легко, но постоянная высокая температура сильно изматывает. Работать она не может, ее отправили лечиться и «поправляться», как тогда говорили, в Азербайджан, к матери мужа. У Коли нет денег, его новый роман не принимает ни одно издательство, дочь Тата больна коклюшем, у его жены Марины умер отец, а сестра заболела энцефалитом. У самого К. И. в дороге украли кошелек с деньгами и документами. Но все это кажется выносимым, потому что Муре, кажется, стало лучше: «Я, конечно, не обольщаюсь большими надеждами, но радуюсь и временному облегчению». В апреле он пишет: «Весенний воздух тут чудотворен», «Муре стало значительно лучше. Ее ножки под солнцем крепнут. Она повеселела. Температура спала». В мае – опять ухудшение: «Мы пережили страшные дни: показалось, что у нее туберкулез почек и что она при смерти».

Он читает Муре стихи и прозу, из Ленинграда ей шлют книги, открытки, игрушки… Он зовет старших детей приезжать, чтобы порадовать младшую. У старших все не складывается. В мае у Тынянова появился план при содействии Горького отправить Мурочку с семьей на лечение за границу. Но и заграница ничем помочь не могла, кроме, может быть, мягкого климата и усиленного питания. Организм ребенка, рожденного в голодный год недоедавшей матерью, жившего в не самой сытой стране, много болевшего, не мог сам перебороть болезнь. Летом родители забрали Мурочку из санатория к себе в съемную квартиру. В августе ей, казалось, полегчало. Коля приезжал к родителям в гости в Крым. У Лиды в Ленинграде родилась девочка Люша – Елена Цезаревна.

Положение Чуковского в литературе продолжало оставаться шатким, заработки – случайными, статьи, обличающие «чуковщину», по-прежнему регулярно появлялись в прессе. Летом, к примеру, в журнале «На литературном посту» вышла статья Грудской «На полях детских книг»: «Чуковский—писатель буржуазного направления… но почему до сих пор так бесконтрольно, в таком большом количестве издаются и продаются его книги?» В 1931 году появился сборник «Детская литература» под редакцией Луначарского, где несколько авторов

в унисон повторяли, что Чуковский – буржуазный писатель, что книги его пролетарскими и крестьянскими детьми поняты быть не могут – и даже способны нанести детям психическую травму.

Коля, вернувшись домой из Крыма, сообщил отцу письмом, что все детские книжки К. И. запрещены окончательно, а «остатки прежних изданий по складам, магазинам и библиотекам списаны в макулатуру». Тот ответил: «Известие о моих детских книгах меня взволновало, но теперь все это для меня – как луна. Далеко и в тучах». Любое литературное горе кажется ему не заслуживающим внимания – теперь, когда он понял, каким горе бывает по-настоящему.

В сентябре Муре снова стало хуже. «Старается быть веселой – но надежды на выздоровление уже нет никакой. Туберкулез легких растет… Личико стало крошечное, его цвет ужасен – серая земля. И при этом великолепная память, тонкое понимание поэзии» – это дневниковая запись за 2 сентября. 7-го – «Ужас охватывает меня порывами. Это не сплошная полоса, а припадки. Еще третьего дня я мог говорить на посторонние темы – вспоминать – и вдруг рука за сердце. Может быть, потому, что я пропитал ее всю литературой, поэзией… она мне такая родная – всепонимающий друг мой. Может быть, потому, что у нее столько юмора, смеха – она ведь и вчера смеялась – над стихами о генерале и армянине Жуковского… Ну вот были родители, детей которых суды приговаривали к смертной казни. Но они узнавали об этом за несколько дней, потрясение было сильное, но мгновенное, – краткое. А нам выпало присутствовать при ее четвертовании: выкололи глаз, отрезали ногу, другую – дали передышку, и снова за нож: почки, легкие, желудок…»

Он стал писать для нее «Солнечную» – повесть о жизни санатория. Мура читала и улыбалась. Повесть получилась бодрая, юмористическая, нарочито грубоватая – такой особенной мужской грубостью, за которой иногда скрываются слезы, сентиментальность, растерянность. Но о «Солнечной» речь пойдет впереди.

Тем временем обстоятельства ухудшаются с каждым днем. «Боба где-то подхватил брюшной тиф, сорокаградусная температура трепала его, он маялся дома. Едва оправившись от тифа, Боба вынужден был таскаться к фининспектору, улаживая дела Корнея Ивановича», – вспоминала Марина Чуковская. Сама она в это время лежала в больнице после операции на колене (был гнойный бурсит) и долго потом не могла ходить. ЖАКТ грозился отнять излишки жилплощади, поскольку «у Чуковских 3 человека занимают 6 комнат, да и то всегда в отъезде». Лида решила «самоуплотниться» – пригласить жить приятного

человека, пока не вселили неприятного; в конце концов дело почти дошло до суда – Боба успел кого-то вписать в последний день. Екатерине Осиповне надо было послать денег, это тоже постоянно мучило К. И. Он изобретал самые разные способы получения наличности – вплоть до продажи английской пишущей машинки – однако на машинку не нашлось покупателя. Наконец Чуковский обратился к Горькому с жалобой на издательства, не выплачивающие ему гонораров, – дочь умирает, истратил на лечение все, что было, – и гонорары были получены.

К середине октября Мурочке стало совсем плохо. Чуковский мечется в отчаянии, не зная, что делать: плохо здесь, плохо там. В Алупке работать он не может. Помочь Муре не может. Он может только беспомощно наблюдать, как она умирает. «Но ему кажется, что такое все ухудшающееся состояние Мурочки протянется еще месяца три, – пишет Марина Чуковская. – Может быть, недели на две, на три съездить в Москву, в Ленинград? Выправить там все дела, добыть денег?.. Он рвется помочь детям, барахтающимся в бедах. Он отлично понимает, что сейчас, именно сейчас им требуется безотлагательная помощь отца. А как оставить Марию Борисовну – одну, с умирающим ребенком?»

19 октября К. И. написал Коле отчаянное письмо:

"Вот что, Коля: Муре я больше не нужен. В течение суток у нее есть *один* час, когда она хоть немного похожа на прежнюю Муру, – и тогда с ней можно разговаривать. Остальное время – это полутруп, которому больно дышать, больно двигаться, больно жить. Комок боли и ужаса. За врачами бегать уже нет надобности. Так что моя работа здесь заключается в том, что я выношу ведра, кормлю голубей, бегаю в аптеку и, ворочаясь по ночам с боку на бок, слушаю, как мама каждые 15 минут встает с постели и подает Мурочке судно, а Мурочка плачет, потому что у нее болит колено, болит спина, болит почка, болит грудь…"

Он уверяет сына: в Питере я буду полезнее. У него есть план: разобраться с ЖАКТом, помочь Лиде и Бобе, добиться денег от издательств, пристроить куда-то Колин роман, продать книгу «Шестидесятники» (она вышла под названием «Люди и книги шестидесятых годов»)… Поэтому он просит сына – по секрету – вызвать его телеграммой: «Приезжай немедленно: фининспектор, ЖАКТ и ОГИЗ требуют твоего присутствия» – и убеждает: «…ты сам понимаешь, что сидеть здесь безвылазно я не имею права. Если бы была хоть тысячная доля надежды спасти Муру, я плюнул бы на все, как плевал до сих пор. Но отравлять ее морфием могут и без меня».

И заканчивает: «Не пишу тебе подробностей о ней, потому что знаю, что ты будешь реветь, как побитый. Она такая

героически мужественная, такая светлая, такая – ну что говорить? Как она до последней минуты цепляется за литературу – ее единственную радость на земле, – но и литература умерла для нее, как умерли голуби, умерла Виолетта, умер я – умерло все, кроме боли».

Виолетта – знакомая Чуковских, которая приносила Муре зверей: кролика, ежа, голубей – они отвлекали ее ненадолго, но она быстро теряла к ним интерес. Девочка просила отца читать – и он читал ей, читал без конца, по 60 страниц в день, она жадно слушала. Казалось бы, ничего хуже положения Чуковского в эти дни и представить нельзя – дальше уже некуда. Оказалось, есть куда. К. И. упал спиной на каменные ступеньки, разбился, хуже стала действовать одна нога. В Ленинграде Лида и ее грудной ребенок заболели скарлатиной. Каждый, кто читал «Смерть пионерки» Багрицкого, помнит: от скарлатины тогда тоже умирали. «Никогда не забуду, как М. Б. была потрясена этим письмом, – записывал К. И. в дневнике. – Стала посреди кухни – седая, раздавленная, – сгорбилась и протянула руки – как будто за милостыней – и стала спрашивать, как будто умоляя: – „Но что же будет с ребеночком? Но что же будет с ребеночком?“ Действительно, более отчаянного положения, чем наше, даже в книгах никогда не бывает. Здесь мы прикованы к постели умирающей Муры и присуждены глядеть на ее предсмертные боли – и знать, что другая наша дочь находится в смертельной опасности, – и мы за тысячи верст, и ничем не можем помочь ни той, ни другой».

К. И. начал искать выхода, придумывать планы, предлагал Коле поменяться местами – ты в Алупку к маме, я в Питер, помогать всем и добывать деньги… Но Николай был привязан к больной жене, к работе на электроламповом заводе «Светлана» – он ведь был уже не кустарь-одиночка, а коллективизированный писатель, и в качестве такового вместе с Константином Вагановым должен был освещать социалистическое производство, и удрать с этой галеры даже к умирающей сестре не мог. Утешал отца как мог: скарлатина у Лиды нетяжелая, с фининспектором вроде бы разобрались… Письмо это отправилось в Алупку 10 ноября, а 11-го вечером Мурочка умерла.

Дневник Корнея Чуковского:

"Вчера ночью я дежурил у ее постели, и она сказала:

– Лег бы… ведь ты устал… ездил в Ялту…

Сегодня она улыбнулась – странно было видеть ее улыбку на таком измученном лице… Так и не докончила Мура рассказывать мне свой сон. Лежит ровненькая, серьезная и очень чужая. Но руки изящные, благородные, одухотворенные. Никогда ни у кого

я не видел таких".

Ей сделали гроб из кипарисного сундука, и отец сам уложил ее:

«Своими руками. Легонькая».

Сам приколачивал крышку к гробу. Снес вниз. «М. Б. шла за гробом даже не впереди всех и говорила о постороннем, шокируя старух. Она из гордости решила не тешить зевак своими воплями. Придя, мы сейчас же опустили гробик в могилу, и застучала земля. Тут М. Б. крикнула – раз и замолкла. Погребение кончилось. Все разошлись молчаливо, засыпав могилу цветами. Мы постояли и понемногу поняли, что делать нам здесь нечего, что никакое, даже – самое крошечное – общение с Мурой уже невозможно, – и пошли к Гаспре по чудесной дороге – очутились где-то у водопада, присели, стали читать, разговаривать, ощутив всем своим существом, что похороны были не самое страшное: гораздо мучительнее было двухлетнее ее умирание».

«Ни стонов, ни слез»

О санатории, где Мура прожила последний год своей жизни, Чуковский написал дважды: в очерке «Бобровка на Саре» (он вышел в «Новом мире» № 2 за 1930 год) и в повести «Солнечная», которая увидела свет лишь в 1933 году. Детей в Бобровке лечили по особому методу: они весь год лежали на открытой площадке в любую погоду. Раньше так было только летом, но в 1927 году корпус санатория разрушило землетрясение, и дети провели на площадке и зиму тоже – и, к удивлению медперсонала, значительно окрепли. К 1930 году в санатории было несколько площадок, на каждой из которых под тентом в кроватях лежали дети – в гипсе, в корсетах, лангетах, панцирях, на растяжках. Каждая площадка имела свое название. Та, на которой лежала Мура, называлась «Октябрьской», но в повести она названа «Солнечной».

В очерке Чуковский рассказывает о детях на площадке: "У одного туберкулез позвоночника, он лежит уже четыре года, весь замуравленный в гипс. У другого туберкулез глаза, у третьего туберкулез почек. У четвертого (четвертый – это Мура, это ее диагноз. – *И. Л.)* и то, и другое, и вдобавок несколько гнойных свищей в тазобедренном или голеностопном суставе, тот только что перенес трепанацию черепа, у этого парализованы ноги…" При этом дети смеются, участвуют в собраниях, сочиняют обличительные частушки и хором поют в праздники. Они почти не видятся с родителями: встречи с родными сильно волнуют детей, у них поднимается температура, поэтому мамы и папы

могут навещать детей три раза в месяц – «на этой почве происходит много раздирательных сцен», рассказывает Чуковский. Впрочем, в коллективе детям лучше, чем дома, говорит он горячо и убежденно, и за этими словами ясно различим горький опыт его собственной семьи: «В самой любящей, самой дружной семье заболевший костным туберкулезом ребенок подвергается целому ряду страданий, которых не знает в „Бобровке“»: он становится центром внимания, и «это прочно фиксирует его внимание на том, какой он замечательный мученик», «собственное эго разбухает у него до невероятных размеров и заслоняет все остальное», даже сны у него «окрашены страхом перед идущей на него катастрофой». Но стоит попасть в коллектив больных ребят – и он становится равным среди равных, и «в течение первых же дней узнает, что ему нужно волноваться не своей болезнью, а, скажем, судьбами китайских кули и всемирным слетом пионеров, что на свете есть колхозы и трактора и что вся его жизнь связана тысячью нитей с целым рядом таких явлений, которые не существовали для него в родительском доме. И чувство этой связи является для него целебным лекарством». Чуковский рассказывает об играх неподвижных детей (бинтуют кукол, подбрасывают мячик, устраивают гонки улиток), приводит их стихи, говорит о замечательных учителях, о главе санатория докторе Изергине, удивительном бессребренике и прекрасном враче – очень похожем на Айболита, только ворчливого и категоричного. Чуковский обращает внимание на самые больные проблемы санатория – перегруженность санитаров, которые переносят на руках до сотни больных детей в день, отсутствие дома для прибывающих семей – приехали вечером, у ребенка температура под сорок, а их гонят: прием до пяти часов, уезжайте куда хотите… Но главное его внимание сосредоточено на воспитании больных детей – методе, который позволяет педагогам добиваться хорошего настроения пациентов, дисциплины, соблюдения удивительной чистоты и даже тишины в тихий час. Гражданственность, ощущение своего «я» как части большого, общего «мы» так сильно развиты у здешних детей, рассказывает он, «что на этом чувстве зиждется здесь вся педагогика. Коллектив – единственный верховный судья всех правонарушений, учиненных детьми. Только при его постоянном воздействии удается здешним педагогам достигнуть таких чудес дисциплины»; при этом коллективизм оказывается даже не столько средством воспитания, сколько «медицинским средством»: он помогает поддерживать в детях жизнерадостность, не уходить в мрачные размышления о болезни и своем печальном

будущем. «Даже зубами страдать, и то гораздо лучше в коллективе, ибо самую тяжелую боль легче переносить на миру, и лечиться нужно тоже соборно, особенно маленьким детям», – заключает Чуковский.

Примерно о том же – повесть «Солнечная». Только она все то же самое рассказывает для детей – и рассказывает, увы, с учетом социального заказа. «Солнечная» – не самое популярное произведение Чуковского. Она давно не переиздавалась, считается морально устаревшей и не заслуживающей внимания. Именно она написана вместо «колхозных вещей», выдавлена из Чуковского; она, возможно, самое принужденное, самое вымученное его произведение – в ней есть что-то от подмеченного Лидией Гинзбург травестирования важнейшего внутреннего опыта, который подгоняется под социальный заказ эпохи.

Быт площадки здесь описан куда подробнее, чем в очерке. Тут и болезненные перевязки, и воробьи, которых дети кормят недоеденным хлебом, и «мастирки» – ниточки с привязанным предметом, при помощи которых дети достают с пола или соседних кроватей то, что им нужно, и «хвостатое дерево», все увешанное ленточками-"монахами": дети их запускают, а ветер гонит, и они повисают на дереве. Есть и ветер, описанный в дневнике, – рвущий из детских рук газеты, тетради, лоскутки, уносящий прочь.

Главный герой «Солнечной», Сережа, тоже, как и Мура, пишет стихи. Повесть начинается с его приезда в санаторий. Ему страшно и больно. Но, попадая в общество таких же, как он, больных детей, он начинает меняться. «Они родители смотрели на него со слезами, ахали и охали над ним, и, глядя на них, он думал, что он самое несчастное существо на всем свете… Он был уверен, что в той санатории, в которую его привезли, целый день стоит стон и плач прикованных к постели ребят. И вот, оказывается, что здесь не только не вопят и не стонут, но вообще не говорят о болезнях: играют с утра до ночи, работают, учатся, совсем как здоровые дети. Озорничают, пожалуй, даже почище здоровых. И так много и так громко хохочут, что им то и дело кричат, чтобы они перестали бузить. И странное дело: те боли, которые казались Сереже невыносимо-мучительными, когда он лежал один, – здесь, в компании с товарищами, не вызывали ни стонов, ни слез».

Туберкулезные дети перестают быть несчастными страдальцами и собираются стать настоящими гражданами страны: живут ее интересами, устраивают соцсоревнование, даже работают, насколько могут (красят ведра для соседнего колхоза, например). И требуют, чтобы им дали возможность учиться,

овладеть профессией, стать полноправными участниками общего строительства. Коллектив проходит несколько испытаний на прочность: перевоспитывает мрачного хулигана Бубу и мелкого пакостника Илька, переживает кризис, временно оставшись без внимания взрослых, справляется с этим кризисом, не дает превратить налаженную жизнь в хаос, подчиняет общим правилам и дисциплине «диких» новичков… Словом, это маленькая «Педагогическая поэма» на материале костнотуберкулезного санатория – своего рода предвосхищение макаренковской, которая появится несколькими годами позже. Интересна, кстати, дневниковая запись 1932 года о дальнейшей судьбе Бубы: «Он приехал в Ленинград, Боба помог ему устроиться в гидротехнический техникум, я дал ему денег (немного, вернее, давал эпизодически то 30, то 40, то – один раз! – 60 рублей) и теперь он твердо стоит на ногах, хотя, конечно, видно, что он калека».

Оно, конечно, дико и странно сейчас читать про стенгазету, где хулигана Бубу изобразили в виде бешеного пса, а в статье рядом сопричислили к австрийским фашистам; про двухнедельный бойкот Илька, про соцсоревнование на лучшую молчанку и еду, про борьбу за оздоровление быта и сокращение жвачничества (то есть манеры долго сидеть над тарелкой, вяло жуя)… Понятно, конечно, что автор улыбается, сообщая, что жвачничество сократилось на 48 процентов… но сам факт… А вот это вам как: «А когда однажды во время молчанки на Сережу напала икота, все глядели на него с ненавистью, как на вредителя…» Проценты, вредители, фашисты, бешеные псы – все, чем живет страна, собрано здесь на маленькой площадке, где полсотни детей в буквальном смысле слова прикованы, привязаны к постели. И, прикованные, фонтанируют идеями, горят, спорят, торопятся жить, знать, участвовать – вот и Сереже сразу показалось, что кровати на площадке несутся куда-то, словно под парусами…

Книга получилась очень бодрая (вспомним: «детская книга должна быть, во-первых, бодрой»). И вышла она такой не по социальному заказу – а по заказу совсем другому, не сформулированному вслух, но куда более существенному. Повесть была начата при жизни Муры и для нее. «Читает мою „Солнечную“ и улыбается», «Пишем вместе главу „Солнечной“» – эти дневниковые записи сделаны 8 и 9 сентября 1931 года, когда уже ясно было, что состояние девочки безнадежно. Никакой другой и не могла стать повесть, написанная в первую очередь для умирающей дочери, – для того, чтобы вдохнуть в нее надежду, заразить желанием жить, насмешить и отвлечь от

предсмертной тоски.

Чуковский, старательно избегая натужного бодрячества, скрывает сострадание, пишет обо всех этих костылях, гипсовых панцирях и уколах в открытую рану как о вещах совершенно будничных, обыкновенных, составляющих естественный фон жизни. Книга – не о болезни, она – о жизни и воспитании.

Безусловно, принуждение было: необходимость писать о коллективизации дамокловым мечом висела над Чуковским. Но он выбрал ту тему, которая ему была ближе всего: воспитание человека коллективом и воспитание коллектива людей. «Солнечная» – явление того же порядка, что и написанный в годы великого перелома «Кондуит и Швамбрания», и «Республика Шкид», увидевшая свет куда раньше (эту книгу читают в «Солнечной» обитатели санатория). Это история не только и не столько о коллективизме, сколько о возмужании человека, становлении характера, превращении слабого ребенка в сильного человека и гражданина.

Задача не такая уж малопочтенная на сегодняшний взгляд. Острое разочарование в коммунистическом воспитании и тотальное отрицание педагогики коллективизма уже сыграли свою роль. Вместе с мутной водой идеологии эпоха перемен выплеснула и ребенка; разрушила здание советской педагогики, но ничего не построила на его месте – так и осталась гора мусора. Прошло время – и вот в обществе снова зреет понимание: для воспитания человека и гражданина нужна большая идея, нужен прочный фундамент; коллектив (ну хорошо, хорошо, социум) обладает значительным воспитательным потенциалом, и этот потенциал может быть не только отрицательным. И совершенно уж бесспорно, что детям – любым, а не только больным, – очень нужно дать в руки реальное, полезное дело; что труд может помогать выздоровлению, что ребенку-инвалиду важно ощущать себя полноценным членом общества, а не только объектом благотворительности, слезливого попечения… Недаром Чуковский впоследствии так близко сошелся с Макаренко и так горячо поддерживал его: их представления о воспитании человека были довольно близки.

Но вот вопрос: все есть в этой книге для того, чтобы читаться и сегодня, – не такой уж перебор в сторону коммунистической идеологии, и ведь читаются до сих пор и Макаренко, и Пантелеев с Белых, и кассилевская «Швамбрания». Почему же «Солнечная» оставляет такое странное чувство неловкости, почему так сильно ощущение недоговоренности, будто автор творил со связанными руками?

Оттого, что так оно и было. Чуковский, впервые взявшись за

серьезную прозу, впервые же совершил тот самый грех, в котором неустанно обличал других писателей: он позволил себе быть неискренним. Он писал бодрую детскую книгу – может быть, в самом деле сначала веря в выздоровление дочери, в то, что ноги ее окрепнут, она пойдет – как его герои, сначала с костылями, потом без костылей; сначала веря, потом обманывая себя и читателя. Писал, как обычно, оглушая себя этой работой, гипнотизируя, заговаривая, отвлекаясь на нее от дикой душевной боли. В «Солнечной» отсутствует даже то, что есть в очерке, – боль расставания детей с родителями, редкие встречи с родными, плач приходящих в себя после операции под наркозом. Нет в повести и самой, наверное, сильной и жуткой сцены из «Бобровки на Саре»: в октябрьский праздник привязанные широкими ремнями к кроватям, закрепленные с помощью тяжелых мешочков, закованные в гипс дети поют оптимистические песни:

Наши мускулы упруги,
Наши плечи, как скала…

Чуковский поясняет: детское «мы» включает в себя куда больше, чем коллектив санатория – это часть необъятного «мы» всей страны, и для них вполне естественно так петь; больных отвлекают от мыслей о болезни, внушают им «тревоги и радости, которые лежат далеко за пределами их больничного мира», а это позволяет им сохранять оптимизм и бороться с болезнью. И все-таки – "со стороны было невесело слушать, как связанные и замурованные дети поют:

Мы вольные птицы,
Нам чужды оковы!

Но в том-то и дело, что ни один из них не заметил всей скорбной иронии, заключающейся в этих словах".

В «Солнечной» нет никакой скорбной иронии. Там туберкулез побежден. Выздоровление идет трудно, болезненно – но оно идет, и дети крепнут на солнце и ветре, и становятся настоящими людьми, и вливаются в процесс социалистического строительства, и вот они уже движутся на костылях – и скоро спустятся «по отлогой дороге к самому берегу моря, туда, где полуголые каменщики строят для них ФЕЗЕУ, великолепный белоснежный дворец, в котором они будут жить и учиться».

А настоящая Мура уходила безвозвратно. Какое-то время ее еще утешало последнее, что у нее было, – поэзия, Чуковский

эквивалент вечности – но вскоре ушла и она. Кажется, истории о замерзающих сиротках – и те были милосерднее к детям: земная жизнь, в которой не было ничего хорошего, закрывалась для них, но открывались двери в изумительную вечность, где нет ни плача, ни скорби. Хроника умирания Муры – и особенно в сопоставлении с «Солнечной» – тем и страшна больше всего, что ни страна с ее поступательным движением к счастью, ни отец с его огромной любовью к мировой культуре, с его знанием поэзии, ни мать со всей своей нежностью ничем не могут помочь отбывающей детской душе, не снимут с нее тяжести и горечи: все лучшее было в прошлом, друзья вместе со страной движутся к счастью, а для меня ничего не будет – я исчезну. Не может она цепляться за литературу, не держит литература на плаву там, где удержало бы простое обещание вечности. Впрочем, для такой ситуации у страны и у литературы тоже был свой ответ – читайте «Смерть пионерки».

Маршак, выступая несколько лет спустя на Первом съезде советских писателей, очень хвалил «Солнечную» именно за ее бодрый тон. В статье «О большой литературе для маленьких», написанной на основе съездовского доклада, он специально сравнивает повесть Чуковского с дореволюционной литературой – ясно, в чью пользу: «Если бы книга на такую тему была написана кем-нибудь из дореволюционных детских писателей, в ней были бы грустные, лирические размышления, белые розы на могиле всеобщего любимца и счастливый отъезд его краснощекого маленького друга, который нехотя покидает добрых докторов и ангелоподобных сестер милосердия…» А у Чуковского – «даже в повести, где герои лежат прикованные к койкам туберкулезного санатория, и там главная тема – участие ребят в той созидательной жизни, которая идет за стенами санатория».

Если бы К. И. не прятался от себя, если бы он мог просто рассказать то, что думал, преодолев не столько внешний заказ, сколько внутренние преграды; если бы его талант хотя бы временами мог быть менее игровым и веселым – или не боялся таким быть в отрыве от жизнеописаний минувшего века; если бы он мог писать без расчета на непременную публикацию; если бы «Солнечная» не была такой беспощадно солнечной – то, возможно, она могла бы стать чем-то большим, чем короткая, проходная для советской литературы повесть о строительстве социализма в костнотуберкулезном детском санатории. Но судить Чуковского за то, что шедевр не состоялся, никто не вправе, и мы не будем.

Ему казалось, что он уже научился терять. Он лишился возможности заниматься критикой, утратил куоккальский дом,

одного за другим хоронил друзей, его вытеснили из журналистики. С каждой потерей умирал он сам – не весь, только частью души; самую большую до сих пор, кажется, унес с собой Блок. И каждый раз он возрождался, вновь находил себя, и жизнь снова оказывалась возможной. Но 1930-й и 1931-й окончательно сломали ход его биографии. Его с позором выгнали из детской литературы, он впервые пошел на компромисс с собственной совестью; теснимый отовсюду, презирающий сам себя, он остался без дела, друзей, работы, доходов. Умерли Маяковский и Репин – огромная часть его прошлого. Умерла мама, Екатерина Осиповна – в дневнике даже не сказано об этом. Умерла Мура, и с этой последней потерей что-то бесповоротно умерло в нем самом – его вдохновенное отцовство, его молодость, его способность предаваться безоглядному, ничем не замутненному счастью. Он потерял радость. И потому больше уже не мог писать волшебных сказок.

Он снова устоял, но перестал быть тем Чуковским, которых существовал до сих пор. Он преобразился, как Данте, прошедший сквозь круги ада. До сих пор в его жизни открывались новые страницы, завязывались сюжеты, вешались на стены ружья. Отныне страницы будут закрываться, сюжеты – разрешаться развязками, ружья – стрелять. Это подлинный перелом. Но не кульминация, апогей, зенит – нет, перигей, кризис, нижняя точка синусоиды, вечно качающей его жизнь, минус единица, от которой двигаться ниже некуда, – только вверх.

Седой, тощий, полуголодный и безденежный, он вернулся с проклятого юга в новую реальность. И в который раз начал жизнь сначала. На сей раз даже не с нуля – с отрицательной величины.

Часть третья
Подозрительный

Глава восьмая
«Сказочная страна человечьего счастья»

Тоска

«Вчера приехали в Москву – жестким вагоном, нищие, осиротелые, смертельно истерзанные. Ночь не спал – но наркотиков не принимал, п. ч. от понтапона и веронала, принимаемых в поезде, стали дрожать руки и заболела голова. Москва накинулась на нас, как дикий зверь, – беспощадно». Дневник, 22 ноября 1931 года.

В трамвай не влезть, такси нет, с тяжелым чемоданом трудно куда-то добраться. К. И. и его жена ссорятся, расстаются – она идет пешком, он вбивается в трамвай, доезжает до Дома правительства первым, дожидается ее. «Ждать холодно, пальто у меня летнее, перчаток нет, я сажусь на чемодан, прямо на панели, на мосту – и вглядываюсь, вглядываюсь в прохожих. Ее нет. Тоска. Вот я – старик, так тяжко проработавший всю жизнь, сижу, без теплой одежды, на мосту, и все плюют и плюют мне в лицо, а вдали высится домина – неприступно-враждебный, и Мурочки нет – я испытал свирепое чувство тоски».

Первые московские записи переполнены чувством неприятного изумления: «…похоже, что в Москве всех писателей повысили в чине. Все завели себе стильные квартиры, обзавелись шубами, любовницами, полюбили сытую жирную жизнь». После алупкинской убогости, голода, безденежья его шокируют огромные квартиры, дорогая мебель, обилие вкусной еды у собратьев по ремеслу.

Тогдашний редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский возмущенно записывал в дневнике: «Писатели не голодают. Зарабатывают больше, чем писатели в любой стране. Никогда писатель не был в такой чести, как теперь. За ними ухаживают. Выдают пайки. Обеспечивают всем, что надо. Особенно попутчики: эти – постоянные именинники. Недавно выдали 70 писателям, во-первых, – пайки: икра, колбаса, всякая снедь из совнархозного кооператива, все, чего лишены простые смертные. Сверх того по ордеру на покупку вещей на 300 рублей по дешевой цене. Многие получили квартиры в кооперативном доме писателей, то есть выстроенном на деньги правительства». Причина возмущения – в том, что Полонскому кажется, что писатели, особенно попутчики, ничем этого не заслужили и не стараются отплатить за заботу ударным трудом.

И кооперативный писательский дом, и пайки, и закрытые распределители – ярчайшие приметы наступившего нового времени. Сеть распределителей появилась уже в конце 1930 года – для снабжения товарами «руководящих кадров и специалистов, особо ценных для социалистического строительства». Писатели стали одной из категорий «особенно ценных».

Правительство занялось целенаправленным возведением иерархической пирамиды. Революционная романтика с ее равенством и братством была уже неактуальна, на повестке дня стояли строительство новой империи, стабилизация общества, формирование новой элиты. К ней, помимо партийных и государственных работников, были причислены ведущие специалисты в промышленности, ученые, творческие деятели, поделенные на профессиональные союзы вроде средневековых гильдий, прикормленные, переведенные на специальные пайки. Проблема недовольства интеллигенции революционным зажимом была решена, возможное объединение инакомыслящих на идейной платформе предотвращено. Теперь интеллигенция объединялась не по идеологическому, а по профессиональному признаку: писатель переставал быть «совестью» и «мозгом нации», а становился «инженером человеческих душ», поставленным на государственное довольствие. В ближайшие два года номенклатурная система будет отстраиваться и совершенствоваться, тесно увязанная с системой снабжения, всех этих спецунивермагов и спецпайков.

Творческие работники были заняты осмыслением новых задач, которые ставило перед ними правительство. Зимой шло массовое обсуждение письма Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция». Деятели культуры брали на себя обязательства, давали обещания, собирались перестраиваться. В марте ЦК ВКП(б) приняло постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», которое объявляло о роспуске всех группировок и творческих союзов и создании единых союзов представителей разных видов искусства – во избежание отрыва творцов от действительности. Партийное руководство усиливалось, кормушки становились обильнее, уздечки крепче, шпоры острее, седоки тяжелее.

Революция кончилась. Настала реставрация. Кончилась и художественная революция: творческие поиски и формальные изыски оказались неактуальными, бунтари и Прометеи – невостребованными, самозваным глашатаям пролетарской идеологии, носителям революционных идей, прищемили хвосты. Конструктивист Корнелий Зелинский покаялся сам и обличил ошибки соратников; того же требовали от формалистов,

университетских ученых, давних друзей-врагов Чуковского; из уст в уста передавались мужественные реплики упорствующих в заблуждениях – К. И. приводит в дневнике слух об Эйхенбауме, вроде бы сказавшем в ответ на требование самокритики, что он специалист по критике, а не по самокритике; Лидия Гинзбург цитирует великолепный афоризм академика Марра: «Иногда надо иметь мужество не признавать свои ошибки».

И тем не менее появилось странное и нелогичное чувство освобождения: писателям показалось, что к ним прислушиваются. Их, кажется, перестали причислять к пережиткам прошлого, старым спецам, – мол, делитесь секретами мастерства, и сразу на свалку истории! – их признали «особо ценными», дали жилье, пищу, помогли справить новые костюмы. Более того – писатели приветствовали постановление ЦК ВКП(б), потому что оно разгоняло проклятый, всем ненавистный РАПП, самое смертоносное в русской литературе писательское объединение… и мало кто понимал пока, что Союз писателей СССР, рождение которого возвещалось тем же постановлением, будет куда страшнее и мощнее РАППа.

Чуковский, вернувшийся в столицу после долгого отсутствия, оказался на обочине процесса кристаллизации элиты, формирования особого сословия советских писателей – выброшенный из литературы маргинал, раздавленный горем старик, попутчик, буржуй, литератор старой формации. Он чувствовал себя безнадежно чужим в непонятной новой жизни, которая прекрасно обходилась без него. Ему предстояло заново вписаться в литературный процесс, и он попытался эту задачу решить. Пошел по редакциям, предлагая свою «Солнечную», ему, разумеется, тут же предложили внести ряд поправок, он взялся их вносить… Весь конец ноября и начало декабря он бегал по московским начальственным кабинетам, пытаясь устроить судьбу своих книг и книг своего сына (тот писал отцу в одном из писем: «Как писателя меня раскассировали и отменили»), добыть денег, решить проблему с зимним пальто (а проблема была не только в деньгах, но и в постоянном дефиците «потребительских товаров»). Холода пришли, ходить было не в чем, кроме летнего пальто и рваных калош. Московские коллеги тем временем решали важный творческий вопрос о создании биографии Сталина для пионеров.

Неприкаянный писатель ходит из дома в дом, из кабинета в кабинет, записывает разговоры, пытается отвлечься, мается, страдает от неопределенности и ощущения своей чужеродности. Как старик из чеховской «Тоски», он поглощен горем, и ему не с кем поговорить. Может быть, поэтому он всякий раз подробно пишет о любом проявлении сострадания и участия. Собственно,

ему сейчас ничего и не надо, кроме человеческого тепла, и именно оно в писательской Москве оказывается в наибольшем дефиците. Разве что Халатов «нашел какие-то непошлые слова» сострадания, и Мариэтта Шагинян обняла, поцеловала, нежно усадила на диванчик, стала слушать… «Я понял, что эта нежность относится к Мурочке, – и разревелся и стал ей первой рассказывать о Мурочке, какая это была нежная, гордая, светлая, единственная в мире душа. Шагинян поняла меня, у нее у самой только что умерла от рака в страшных мучениях мать. И вообще все, что говорила Шагинян на этом диванчике, было окрашено для меня глубокой человечностью, душевной ясностью…»

Мария Борисовна в Москве задерживаться не стала – сразу уехала в Ленинград помогать выздоравливающей после скарлатины Лидии управляться с грудной дочерью. Возвращение ее оказалось грустным и трудным для всех, возня с маленькой внучкой была тяжела для матери, потерявшей дочь; наконец, Мария Борисовна заболела гриппом. Лидия Корнеевна в письме, написанном в конце ноября 1931 года, извещает отца, что сама выздоравливает, что мама больна и ей надо подлечить легкие. Просит вернуться «не совсем нескоро»…. В этом же письме читаем: "Мама рассказывает, что ты собираешься на Днепрострой. Это чудесно. Судя по «Солнечной», я уверена, что очерки с *материалом* будут удаваться тебе блестяще".

На Днепрострой, правда, К. И. не поехал. Что, может быть, и к лучшему – вряд ли поездка принесла бы ему хоть какую-то творческую удачу. Зато участились его поездки в Москву: книгоиздание все больше сосредоточивалось в столице, присутствие там было необходимо, чтобы решение вопросов не отступало в бесконечность при постоянных кризисах – то бумажном, то денежном, и беспрестанных запретах, требовании доработок, изменений и т. д.

Он пристроил «Солнечную», начал переговоры о том, чтобы сделать на основе сюжета «Бородули» повесть для детей. С этим замыслом он не расставался несколько лет. Повесть (роман, киносценарий) в его письмах и дневниках именуется то «Госпогода», то «Гутив» (Государственное управление туч и ветров). Предполагалось, что повесть будет о том, «как люди наконец научились управлять солнечными лучами, ветрами, дождями и в Москве возникло учреждение „Госпогода“ для рационального распределения тепла и осадков на всем пространстве нашей необъятной страны, – писал К. И. в „Чукоккале“. – При этом мне представлялось, что на первых порах из-за бюрократических склонностей руководящего работника „Госпогоды“ во многих земледельческих районах произойдет

невероятный трагикомический сумбур. К сожалению, мой товарищ Борис Житков, которого я привлек в качестве соавтора, был завален срочной работой, и ему никак не удавалось подойти вплотную к „Госпогоде“. Понемногу и я охладел к своему замыслу. После того как выяснилось, что Житков не имеет возможности быть моим соавтором, я решил пригласить А. Н. Толстого к совместной работе над этим сюжетом». Толстой согласился, замысел обсудил, даже записал в «Чукоккалу» стишок о грозе – но этим его участие и ограничилось.

Чуковский еще долго мечтал о повести. Год спустя предлагал сотрудничество сыну, вернувшемуся с Беломорканала («С „Госпогодой“ мне, конечно, необходимо затронуть север – действие должно происходить раньше всего на Беломорканале», – писал он Николаю в октябре 1933 года, сообщая, что заключил договор на сценарий с киностудией). Еще позднее К. И. даже всерьез звал в соавторы десятилетнего Вячеслава Иванова (тогда его звали просто Кома), сына переделкинского соседа, писателя Всеволода Иванова. Последние следы этого замысла обнаруживаются уже в 1939 году: в статье «Кино для детей» в газете «Вечерняя Москва» Олег Леонидов пишет, что Чуковский принес на ленинградскую кинофабрику сценарий «Госпогода», в котором «была хорошая выдумка, много интересных эпизодов», – но его попросили зайти через месяц, а через месяц объявили, что «сценарий не подходит идеологически».

В декабре 1931 года Чуковский вернулся в Ленинград. В Москве в день его отъезда взрывали храм Христа Спасителя: «сизый – прекрасный на солнце дым», «баба глядит и плачет», мальчишки жадно смотрят, сидя на заборе.

Новый, 1932 год поначалу сулил только тоску, новые проблемы с фининспектором, взыскующим долгов, и нескончаемую работу («Казалось бы, ну много ли нам нужно: ведь всего два человека. А между тем оба работаем каторжно, и вот уже 3-й месяц не могу положить в Сберкассу 300 рублей, и продал книги, и весь в долгах», – записывает К. И. в дневнике 4 марта). В конце февраля Чуковский снова отправился в Москву по издательским делам – теперь он вынужден проводить в столице все больше и больше времени, ночевать у знакомых, жить в гостиницах, страдать от шума и бессонницы – кочевую жизнь он всегда переносил трудно. Собственно, и работать он в таких условиях не мог: скорее, устраивал дела. 3 марта писал Николаю: «Я помаленьку торгую: продаю свои мелочишки в „Огонек“, и в „Гвардию“, и в „Литер. Наследство“, 5-го читаю „Солнечную“ у Халатова, который относится ко мне очень сердечно». Занят он в это время вовсе не «мелочишками»: «мелочишки» – это чаще всего

фрагменты большой работы над комментариями и биографическими очерками к изданиям писателей-шестидесятников, над созданием их литературных портретов (итоговый труд «Люди и книги шестидесятых годов» увидел свет в 1934 году). Но прежде всего эта работа означала тонны корректур – работы долгой, мелкой, кропотливой; после собрания сочинений Николая Успенского (оно было подготовлено еще при жизни Муры и вышло в 1931 году) – двухтомник Слепцова, затем работа над переизданием полного собрания сочинений Некрасова.

Он старается не замыкаться в своем неотступном горе и работе; дневники в этом году особенно богаты заметками о встречах, текущих делах, впечатлениях от общения с людьми. Находит в них отражение и кипучая современность: и возмущение проектом привести Волгу в Москву, чтобы «по-Большевицки изменить лицо земли», и впечатления от визита на завод «АМО», нынешний «ЗИЛ» («У меня два равноценных впечатления: „Волны“ Пастернака и завод „Амо“», пишет он в марте, а впечатление от «Волн» было могучим: месяцем ранее он слушал чтение Пастернака и замечал: «…хочется слушать без конца»). Он даже летал над Москвой на самолете АНТ-14.

Чуковский по-прежнему жадно присматривается к жизни, размышляет, обдумывает – и то находит основания для оптимизма, то погружается в омут отчаяния. В жизни так непонятно перемешано прекрасное и низкое, что их никак не разделить, но он все так же верит в лучшее: «Жарко, пыльно, много гнусного, много прекрасного – и чувствуется, что прекрасное надолго, что у прекрасного прочное будущее, а гнусное – временно, на короткий срок». И желание верить в лучшее настолько сильно, что оно пересиливает даже веру в себя. Самый скверный итог прошедших лет непрестанного давления и пережитого горя – в том, что он больше не доверяет себе, собственной способности судить; он опустошен и растерян. Вот он листает книжку санаторного соседа о лесонасаждении – тема важная, но изложение бездарное. Чуковский совершенно справедливо замечает: «Нынче именно потому-то в упадке литература, что нет никакого спроса на самобытность, изобретательность, словесную прелесть, яркость. Ценят только штампы, требуют только штампов, для каждого явления жизни даны готовые формулы; но эти штампы и формулы так великолепны, что их повторение никому не надоедает». И дальше жалуется на «сплошную» молодежь, их пристрастие к готовым мыслям, отказ от самостоятельной умственной работы… А дальше вдруг добавляет: «И, может быть, это к лучшему, т. к. ни

до чего хорошего мы, „одиночки“, „самобытники“, не додумались».

И рефреном в дневниках повторяется: «думаю о Мурочке», «тоска», «тоска нестерпимая», «сегодня день Муриного рождения», «я хоть и гоню от себя воспоминания о Мурочке—о том, что теперь 4 месяца со дня ее смерти, но вся моя кровь насыщена этим», "теперь только вижу, каким поэтичным, серьезным и светлым я был благодаря *ей.* Все это отлетело, и остался… да в сущности ничего не осталось". Утрата дочери оказалась для него ампутацией половины души – потому он и кажется себе обмелевшим, «пошлым и дрянненьким», обанкротившимся.

Он не может жить одной тоской, пытается освободиться от нее – он не из тех родителей, которые предаются горю по ушедшим детям с полной самоотдачей, живут им, находя в глубине своего страдания даже какие-то гордые силы. Много лет спустя Чуковский написал Ольге Грудцовой, в один день потерявшей сестру и отца: «„Я изучил науку расставанья“ – и понял, что главное в этой науке – не уклонение от горя, не дезертирство, не бегство от милых ушедших, а также не замыкание в горе, которому невозможно помочь, но расширение сердца, любовь – жалость – сострадание к живым. Когда умерла моя Мурочка, я спасался горячим общением с другими людьми. Простите, что я преподаю Вам „науку расставанья“ так грубо и кратко, – но Вы – Вы, и поймете меня».

Все-таки эту тяжелую науку он так и не изучил вполне – хотя письмо было написано уже на склоне лет, когда он потерял не только дочь, но и обоих сыновей, и жену, и бесчисленных друзей и знакомых. Все-таки он бежал от утрат, уходил от них – в работу, в деятельное участие в жизни других людей, в сострадание чужому горю – он не мог думать о своем горе, не мог смотреть ему в глаза. Может быть, оттого ему и казалось после смерти Муры, будто горе не возвысило его, а сделало меньше и хуже, что он не отгоревал его, а заглушил, не выписал, а изгнал из своего творчества, не вычерпал до дна, а обнес черную яму веревками и запретил себе к ней подходить. Путь «Вертера» – не его путь; трагедия – не его материал, катастрофа для него никогда не могла быть естественным фоном жизни, как, скажем, для Пастернака. Катастрофу он воспринимал как нечто не должное, несвойственное жизни, невозможное – а не как ее неотъемлемую часть. Смерть была лишней в его картине мира, он вытеснял ее из сознания – недаром уже в старости, услышав от совсем маленького мальчика дурацкую реплику «А мамка говорит – вы тоже помрете», – не простил ему, отвернулся, сказал Маргарите Алигер: «Какие, однако, бывают противные дети. Вот болван-то!..»

Он, наделенный всеми задатками гения, остался в детской литературе, счастливой, безоблачной литературе, где добро всегда побеждает зло, а в конце праздник и пир горой, никогда не пытался даже писать свое – «для взрослых». Или же это была игра, как «Евгений Онегин» и «Бородуля». Он не прошел до самого конца отчаяния, до края бытия, не заглянул в пропасть – или, скорее, заглянув, отшатнулся, не стал обсуждать с собою этот вопрос, отказался от последней, предельной честности. Потому, может быть, его главной аудиторией и были дети от двух до пяти – это тот блаженный возраст, когда ни один экзистенциальный вопрос еще не может пробиться к сознанию, когда мир прекрасен, а смерти нет.

Он всегда тянется к детям, а сейчас – особенно. Ему как никогда нужны любовь и восхищение; такую бездонную тоску можно исцелить только невероятным объемом любви; таких запасов любви нет нигде в окружающем мире – ими наделены только дети. Иосиф Анатольевич Бродский, который летом 1932 года вместе с Яковом Лещинским приезжал к Чуковскому для совместной работы над публикацией писем Репина, вспоминал: «Обычно после часа занятий он предлагал пойти „продышаться“ в Таврический сад или поехать на Елагин остров, чтобы там продолжить работу на воздухе. Из этого ничего не получалось. Корней Иванович быстро попадал в окружение детворы и забывал о нас. Однажды он посадил нас в лодку и потребовал, чтобы мы изображали пиратов, для чего повязал наши головы носовыми платками. В другой раз взял у дворника шланг и сам стал поливать улицу, а заодно и поддразнивать детей: „Оболью!“ Дети хлопали в ладоши: „Дядя, облей!“»

Критик Вера Смирнова рассказывает в воспоминаниях, как Чуковский, услышав на детском радио, что она отсутствует из-за тяжелой болезни дочери, узнал адрес и пришел навестить ребенка. Девочке только что сделали болезненный укол, она плакала. «Он что-то приговаривал тихонько, поглаживая ее по голове, и через минуту слезы высохли у нее на глазах, она с восторгом смотрела на него и уже улыбалась». А дальше началось феерическое чуковское действо – с кручением стакана и чернильницы в ладони, чтобы жидкость не проливалась, с верчением стула, фокусами, историями… «Одеваясь, он зорко взглянул на меня. „Не говорите мне ничего. Я все понимаю. И не провожайте меня“. И ушел – быстрый, легкий, почти бесшумный. Конечно, он показался тогда нам добрым волшебником; весь тот день моя девочка была весела, не капризничала, послушно принимала лекарства и на все лады поминала Корнея Ивановича». А он, судя по дневнику, от Смирновых отправился на

чествование Алексея Толстого, скучное и казенное, и не жалел, что опоздал.

Летом супруги Чуковские отправились в Кисловодск отдыхать. «Живем в раю, – писал К. И. сыну Николаю. – И кормят, и лечат нас прекрасно, природа здесь не пошлая, как в Крыму, а строгая, бессмертно-спокойная…» Но работать в санатории он не может, пишет: «надо влезать в ярмо поскорее, да и тоскую я от ничегонеделания»; в другом письме – «мучает меня вынужденное безделье…». А уезжает уже в полной тоске, снова достигающей у него – в предотъездной бессоннице, – градуса ледяного отчаяния: «Здоровья не поправил. Время провел праздно. Потерял последние остатки самоуважения и воли. Мне пятьдесят лет, а мысли мои мелки и ничтожны. Горе не возвысило меня, а еще сильнее измельчило. Я неудачник, банкрот. После 30 лет каторжной литер, работы – я без гроша денег, без имени, „начинающий автор“. Не сплю от тоски. Вчера был на детской площадке – единственный радостный момент моей кисловодской жизни. Ребята радушны, доверчивы, обнимали меня, тормошили, представляли мне шарады, дарили мне цветы, провожали меня, и все мне казалось, что они принимают меня за кого-то другого…»

После Кисловодска Чуковские отправились в Алупку, к Мурочке на могилу; дорога оказалась изматывающе-трудной (люди ночуют на вокзале на полу, билеты удалось достать, только прикинувшись иностранцем) – в довершение всего Корней Иванович и Мария Борисовна застряли в Алупке, где все мучительно напоминало им о Мурочкином умирании, на три недели – поскольку нужные для отъезда деньги из «Молодой гвардии» были высланы им не в Алупку, а в Ленинград.

С возвращением в Москву жизнь, кажется, начала несколько налаживаться. В дневниках К. И. появляются удивленные замечания о небывалом либерализме, воцарившемся в литературных кругах: он перестал быть зачумленным, у него берут интервью, интересуются его мнением о детской литературе… Дневник, 16 августа: «В „Литературной газете“ меня встретили как желанного гостя. „Укажите, кто мог бы написать о вас статью“. Я замялся. В это время в комнату вошел Шкловский. „Я напишу – восторженную“… Либерализм сказался и в том, что у меня попросили статью о Мандельштаме. „Пора этого мастера поставить на высокий пьедестал“».

Впрочем, позицию газеты Чуковский называет «трагически беспочвенной», поскольку отмененная рапповщина по-прежнему сильна, и сильна не организационно – просто живет в умах. Однако падение РАППа и смягчение литературных нравов очень помогают Чуковскому выжить: травля закончилась. Борзых

отогнали, дичь смогла перевести дух и оглядеться. Теперь на повестке дня не звук рогов, стук копыт и лай, а день ото дня тучнеющие пастбища и проволочный забор с электрошоком. Но всего этого загнанные еще не видят – они пока пытаются отдышаться и отыскать водопой.

«Я сейчас делаю сразу двадцать литературных дел, и одно мешает другому, – привычно жалуется Чуковский в сентябре. – Нельзя одновременно писать статьи в защиту сказки, и комментарии к рассказам Николая Успенского, и характеристику А. В. Дружинина, и стихи для маленьких детей, и фельетон о редактуре классиков. А я делаю все вместе – и плохо, т. е. хуже, чем мог бы, если бы каждая тема была единственная». Но видно ведь, что он лукавит, он именно так и привык работать, это привычная для него стихия, он наконец нужен, востребован, ему заказывают статьи и печатают его рукописи, и вот «ОГИЗ хочет купить у меня народные песни и загадки» – так вот, нужно и это сделать…

Впервые за пять лет ему разрешили выступить на детском утреннике, цензура пропустила «Маленьких детей», в дневнике возникли знакомые жалобы на редактуру, которая мешает заниматься тем, что нравится, каторгу подневольной работы…

Между тем самая настоящая каторга на удивление близко: вернулся из заключения Давид Ангерт, заведующий редакционным отделом «Ленотгиза». «Своим пребыванием на Медвежьей Горе доволен, – записывает К. И., – говорит, что режим превосходный, „да и дело страшно интересное“ (строят там какой-то канал)». Приехал из ссылки Хармс, рассказывал о ДПЗ, в котором долго сидел, что там «прелестная жизнь». Шкловский повествовал о своей поездке к брату, сосланному на север на принудительные работы… ГУЛАГ отстроен, превращен в огромный хозяйственный механизм, и население его все возрастает, пополняясь «врагами народа»: принят закон «о колосках», не прекращаются процессы по делам вредителей, растратчиков, саботажников хлебозаготовок, осуждена антисталинская группа Рютина… В декабре 1932 года вернулся из ссылки друг Чуковского историк Тарле (тот самый, что сравнивал его с Ипполитом Тэном и называл статью о Пинкертоне «классической»; он же снабжал К. И. историческими справками для работы над статьями о людях и книгах 1860-х годов) – он был осужден в 1930-м как участник «монархического заговора».

Пока еще сроки маленькие, пока еще не обязателен лагерь – есть ссылка или просто высылка из столиц. Пока люди возвращаются из небытия, осуждения, ссылки обратно в жизнь. По всей стране протягивается колючая проволока, постоянно

ужесточаются законы об уголовной ответственности, создаются условия для надвигающегося террора. Однако обществу до сих пор кажется, что исправительно-трудовые лагеря при стройках социализма – это места, где творятся чудеса: общественно полезный труд помогает преступникам стать сознательными гражданами. А если знакомые, отнюдь не будучи уголовниками, попадают туда же – это трагическая случайность или собственная неосторожность…

Повсюду уже вошли в обиход разборы персональных дел – беспощадные многочасовые судилища. Характерна одна из дневниковых записей К. И.: педагогу Сыркиной накануне проработки проломили голову в подъезде, и она, очнувшись на третий день, сказала: «Ну вот и хорошо. Не будет проработки». На Украине и Кубани властвует голод, о котором все испуганно молчат (Чуковский записывает, никак не комментируя, как парикмахер, который его брил, вдруг заговорил об этом – и кричал истерически: «Там истребление человечества!»). В городах трудности с продовольствием, очереди, давка в транспорте, затруднения с выплатой денег. 23 декабря Шкловский записал в «Чукоккалу» несколько «переименований» – писателя Павленко, к примеру, переименовал в Правленко, раскаявшегося конструктивиста Корнелия Зелинского – в Карьерия Вазелинского. Подписал сверху «это не я» и добавил ниже:

> "Эпоха переименована в максимально-горькую
> Тоже не Виктор Шкловский и почерк не мой и не
> *Виктора Шкловского"*.

Тынянов добавил ниже:

> "Если же ты не согласен с эпохой,
> Охай".

Чрезмерность любви

Говорят, после смерти близкого труднее всего пережить первый год, дальше будет легче. Год пережит, хотя и с трудом, и Чуковский начал восставать из пепла.

Шкловский в декабре уговаривал его вернуться к занятиям литературной критикой – но К. И. вполне понимал, что это невозможно. В наступившие новые времена, несмотря на кажущееся смягчение литературной политики (либерализм либерализмом, а контроль над печатным словом в 1933 году еще

сильней ужесточили, объединив военную, иностранную и идейно-политическую цензуру в одном всесоюзном Главлите), Чуковский продолжал заниматься литературоведением и детской литературой. Борьба с «чуковщиной» практически сошла на нет, отчасти по причине отмены РАППа, самого непримиримого врага всего живого в литературе, и Чуковский перестал быть персоной нон грата в издательских планах. После нескольких лет запрета стали постепенно выходить его сказки. Теперь он выступает на радио – читает свои произведения для малышей и книгу «Маленькие дети»; он отвечает на почтительные вопросы журналистов – «Над чем вы работаете?», «Каковы ваши творческие планы?» (29 декабря 1932 года, через три года после шельмования Чуковского, «Литературная газета» вежливо интересуется его работой) – и вновь получает детские письма со всей страны.

Тон газет, когда они пишут о Чуковском, сильно изменился – теперь это уже не воинственное «доколе наши дети будут получать некачественную книгу» или «изгнать „чуковщину“ из детских библиотек», а уважительное «писатели за работой», «писатели помогут юным литераторам»… У него охотно берут в печать статьи – после долгого затишья он вновь начинает активно публиковаться в газетах.

Самое главное – в 1933 году выходит первым изданием книга «От двух до пяти», которая мгновенно принесла автору всесоюзную родительскую любовь и славу. С советскими родителями еще никто не пытался всерьез и по-человечески, без идеологической трескотни, поговорить о их детях – о том, как их надо растить (не с точки зрения коммунистического воспитания, а вообще: чем кормить, о чем разговаривать, какие песни петь, какие сказки рассказывать и рассказывать ли вообще), как их понимать, как им помочь стать хорошими гражданами хорошей страны. Несколько лет спустя Чуковский рассказывал на одном из комсомольских совещаний по детской литературе, что после выхода книги родители завалили его письмами с вопросами, какой давать прикорм, как пеленать, как ухаживать, как освещать половые вопросы в разговорах с подрастающими отпрысками… В государстве, занятом масштабными проблемами промышленности и сельского хозяйства, до маленьких детей ни у кого не доходили руки; что делалось – делалось по старинке, и недаром Чуковский потом так часто подчеркивал, что нужна наука о детях, нужно изучать детство, язык детей, детское творчество, а главное – детскую психологию; нужна вообще научная база, опираясь на которую, родители могли бы растить свое потомство.

Он сдал в печать книгу «Некрасов для детей», договорился об издании Стивенсона и Киплинга в переводе Николая Корнеевича (сам он редактировал переводы сына)… Теперь он загорелся идеей дать детям лучшее, что есть во взрослой поэзии, специально найти у каждого поэта стихи, наиболее подходящие для детей. Сыну он предлагал собрать «Пушкина для детей», но тот отказался. Отзвуки этой идеи слышим в статье «Засекреченный Пушкин», в правдинской статье «Поставщики литературных сухарей» (1935), в одном из фрагментов книги «От двух до пяти»: зачем давать ребенку те стихи Пушкина, которых он не поймет, невзирая на их идеологическую привлекательность, и держать в секрете те, что запоминаются без труда и доставляют огромное удовольствие; зачем непременно ода «Вольность», дайте лучше «Делибаша», и они радостно подхватят: «Делибаш уже на пике – а казак без головы!» – дайте им «Вурдалака», «Бонапарта и черногорцев» – и они полюбят Пушкина…

Сейчас, когда Чуковского уже не гонят от детей и он снова может быть с ними, он словно наверстывает упущенное. В июле 1933 года он уехал в Евпаторию, выступал там перед обитателями детских санаториев – в дневнике говорится: «…дал там 11 концертов». Сыну писал: «Я живу среди актерской богемы; это утомительно и неинтересно – все равно что жить в обезьяннике. Но дынь и абрикос сколько угодно, пляж гениальный, детворы миллионы, и я не ропщу… Я выступал – афиши были большие, а успех, по-моему, средний. Ежедневно посещаю санаторию для костных… Сегодня будет у меня эпизод специально для „Солнечной“: я поеду с костными на катере». В «Солнечную» он этого не вписал; интересно, кстати, что он никогда не считает свои произведения законченными: дорабатывает, дописывает – в этом же году он замечал в дневнике, что «раскачал себя до пьяного ритма» – и сел писать… «Федорино горе»! которое к этому моменту уже вышло шестью изданиями!

Из Евпатории К. И. отправился в долгий путь по югу СССР. Начало тридцатых – вообще время больших писательских разъездов; Николай Корнеевич в это время поехал с другими писателями на Беломорканал (отцу писал: «Путешествие по каналу было необыкновенно интересно». Участия в известном коллективном труде по итогам поездки он по какой-то причине не принял). Корней Иванович поехал сначала в Ялту – Балаклаву – Алупку (снова на могилу к Муре), затем пароходом в Батум, а оттуда поездом в Тифлис. Из дневниковой записи К. И. следует, что в Тифлисе он сразу с вокзала отправился смотреть детский парк и детский бассейн, о которых так шумели советские газеты, и, увидев, что это сплошь надувательство, сразу отправился в

редакцию газеты «Заря Востока» сообщить о непорядках – не тратя даже времени на еду и поиски гостиницы. В Тифлисе в это же время гостил Борис Пильняк, и Чуковский, зайдя к нему, сразу попал в шумное, богатое грузинское застолье с Тицианом Табидзе в роли тамады, – и все закрутилось, понеслось. Поехал в Мцхету смотреть ЗАГЭС и старинный собор, был в музее, побывал в Коджорах, был на творческом вечере, читал свои сказки – «и публика приветствовала меня с такой горячностью, с какой меня не приветствовали нигде никогда». И застолья, обеды, тосты, неизбежное и неумолимое грузинское гостеприимство. Одно из писем Николаю Корнеевичу начинается так: «Милый друг! Пишу тебе это письмо – пьяный!!! А твоя мать до такой степени угостилась вином, что я еле довел ее до кровати в гостинице, где она немедленно заснула. Кроме того, меня, как Хлестакова, всюду приветствуют флагами, тостами, букетами, кахетинским номер пятый, кахетинским номер восемнадцатый – обнимают меня, целуют, подбрасывают на воздух – и все потому, что мы в Грузии! Необыкновенная страна, и мы с тобой дураки, что до сих пор сидели в Ленинграде».

Правда, тосты и банкеты начинают его уже утомлять – ему интересно осмотреть детский дом для беспризорных в Коджорах, поговорить с детьми – а вместо этого приходится сидеть за столом, есть, пить, слушать тосты, отвечать любезностями… В эти годы по Грузии вдоль и поперек носятся, по выражению Шварца, «кавалькады» советских и зарубежных писателей, осматривая, отчитываясь, выпивая литры вина, и местные писатели приветствуют, произносят тосты, сопровождают, и время от времени из-за этого гомерического гостеприимства проглядывает неизбежная усталость от гостей и даже недружелюбие – все это отлично описано у Шварца, но совершенно не испытано и не замечено Чуковским; он сейчас стремительно впитывает всякое проявление любви к нему, заботы о нем, радости от его появления.

Интеллигентские дети и дети рабочих, русские, грузинские, украинские, здоровые и больные («ты лежачий?» – спросил он мальчика в санатории, и тот ответил: «скакачий»), беспризорники, правонарушители, обычные школьники – все они одинаково интересуют Чуковского. В одном из писем он сообщает сыну: «Я здесь вижу много детей, наблюдаю, записываю, но ничего определенного не сделал». Некоторые его наблюдения до изумления актуальны даже сегодня, в иную эпоху. Побывав в декабре на заседании суда, посвященном разбору дел малолетних преступников, он с горечью записывал в дневнике: «…и все это обнаружило, как ужасно заброшены совр. дети в семье: родители

заняты до беспамятства, домой приходят только спать и детей своих почти не видят. Дети приходят в школу натощак, вечерами хулиганят на улице, а отец – „Я ему говорю: читай, развивайся!“ и больше ничего…»

Эти наблюдения легко подтверждаются другими документами эпохи; сравните, например, с этими строками жалобу жены в письме ссыльному мужу (в предисловии к недавней публикации дневника школьницы Нины Луговской «Хочется жить»): «Моего влияния за последние месяцы не было, так как сдельная работа меня совершенно оторвала от дома и детей. А этот возраст особенно требует разумного влияния». Родители работают, мотаются по городу в поисках еды и вещей, часами стоят в очередях; бесконечный труд и бедный быт сжирают все их время… Лидия Гинзбург в записях начала 30-х говорит о переутомлении, о «нищете и том единственном, что может от нее спасти: безостановочной работе для денег, не оставляющей места ни мыслям, ни свежему воздуху…». Лидия Корнеевна Чуковская пишет в это время отцу, как много работы, как много надо сделать. Эпоха поставила колоссальные задачи, обнаружила бескрайние непаханые поля; ресурсы невелики, человеческих сил мало, нужда и нищета по-прежнему ужасающи – время требует работы на износ.

Мучила ли Чуковского повальная детская безнадзорность и заброшенность? Конечно, мучила. И наверняка больше, чем опечатки или непрофессиональные комментарии к поэзии и прозе XIX века. Но опечаткам и комментариям Чуковский посвятил в первой половине тридцатых несколько статей, а жгучей проблеме педагогической запущенности, фактической беспризорности детей – ни одной. Почему – гадать не станем; кажется, это даже понятно.

Из Грузии Чуковский уехал в Кисловодск, затем вернулся—и началась обычная издательская осень с вечными попытками пристроить тексты, получить деньги, выяснить, почему книгу держат в цензуре, надавить, нажать. Тут подоспели большие перемены: реорганизация детского книгоиздания. Она была связана с постановлением ЦК ВКП(б) от 15 сентября 1933 года «Об издательстве детской литературы»: на базе детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора Государственного издательства художественной литературы был создан Детгиз (позднее он стал называться Детиздатом, а еще позднее – издательством «Детская литература»). В дневниках К. И. есть упоминание о том, что это поражение маршаковско-горьковской партии, что Детгиз, согласно планам Горького, Халатова и Маршака, должен был располагаться в Ленинграде –

однако там оставлено только отделение под руководством Маршака. Всю осень шла кадровая перетряска, неизбежным следствием которой стали неразбериха и путаница в делах, затем – заседания, планы, программы…

1933-й – год промежуточный. Исключительно важных событий нет, зато продолжается стремительная изнутри и незаметная извне перестройка государственной системы – в том числе системы государственной элиты, к которой – к великому изумлению Чуковского – его вдруг начали причислять. Неожиданное попадание в классики детской литературы смущает и огорчает его. «Мне кажется, что меня принимают за другого», «Хлестаков» – это постоянный мотив в его дневниках; на его выступления рвутся толпы, желающие попасть в зал стоят на улице… а он тоскует и записывает: «Ни один человек не знает даже, что я не только детский писатель, но и взрослый». Пишет сыну из московской гостиницы: «Я стал вроде как бы знаменитостью (третьесортной), и всякий народ обрывает у меня звонок телефона, который, увы, у меня в комнате…» И в следующем году ему продолжало казаться, что где-то в неизвестных высоких кругах произошло что-то странное, потайное и неправильное – и летом 1934 года он писал в дневнике: "Этот приезд (в Москву. – *И. Л.)* показал мне, что действительно дана откуда-то свыше инструкция любить мои детские стихи. И все любят их даже чрезмерно. Чрезмерность любви главным образом и пугает меня. Я себе цену знаю, и право, тот период, когда меня хаяли, чем-то больше мне по душе, чем этот, когда меня хвалят. Теперь в Москве ко мне относятся так, будто я ничего другого не написал, кроме детских стихов, но зато будто по части детских стихов я классик. Все это, конечно, глубоко обидно".

1933-й – год замирания, оформления подпочвенных процессов, которые вскоре выйдут наружу. В Европе созрел фашизм, который в СССР уже презирают, но которого пока не боятся. Сложился советский тоталитаризм, который еще кажется расцветом демократии. Отлаживается не только система государственной элиты, но и система Госужаса (помните старый питерский анекдот: в этом здании на Литейном Госстрах, а напротив – Госужас)… Страна притихла, еще не понимая, что притихла в ожидании. Люди уже научились жить при страхе, как живут при долгом похолодании или затяжном ненастье; научились не замечать его, как шум водопада рядом. В страшные годы тоже живут, как и в голодные, – любят, работают, слушают концерты, пишут книги, ведут хозяйство, рожают и воспитывают детей. Сложилась привычка не писать всего, что слышишь, не

говорить вслух всего, что понимаешь, не хранить дома компрометирующих документов, не всем доверять. Чуковский, говоря в начале тридцатых о глухоте Мариэтты Шагинян, говорил о том, что с ней невозможны отношения, которые устанавливаются шепотом; культура разговоров шепотом уже оформилась – на очереди была культура разговоров без слов, знаками, шифрами, записями с последующим сожжением бумажки… Мандельштам уже написал: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи на десять шагов не слышны…» Бенедикт Лившиц, которого в начале 1934-го ругательски ругали за «Полутораглазого стрельца» – мол, нигде не осудил свою «близкую к фашистской» идеологию, – писал в январе Зенкевичу: «Обнаружилась пропасть, куда ступить настает уже наш черед».

Понимал ли Чуковский меньше, чем Мандельштам или Лившиц? Или понимал все – но молчал? Или видел, но не смог связать одно с другим, ослепленный или очарованный «невиданными успехами» культурного, индустриального, колхозного строительства, оглушенный прекрасными словами о великих целях, связанный собственной верой в эти великие цели, – и не желал поверить собственному опыту, своим наблюдениям?

Впрочем, и наблюдения ведь были не только печальными. Скажем, в конце 1933 года К. И. ходил знакомиться с работой Института охраны материнства и младенчества – о чем с восторгом писал в «Правде» 16 января 1934 года (статья называется «ОММ»; в дневнике, правда, она в сердцах названа «дурацкой»: сижу над дурацкой статьей, в церкви напротив сбивают колокола, спать не дают). Тут вам и врачи на производстве, и цехи для беременных работниц, и комната для кормящих грудью сотрудниц, и научная работа – за полтора десятка лет прогресс огромный, и даже в мировом масштабе опыт пока еще редкий и интересный. Особенно колоритно описаны Домик малютки и Домик подкидыша на территории института: «Возле какого-то домика на скамейках навалены груды мешков. Заглянули мы в мешки, а там дети – щекастые, надутые матрешки – проветриваются на морозе десятками». Или вот: «Мы не утерпели, заглянули туда на минуту и тотчас захотели быть подкидышами. Сидят этакие тяжеловесы на великолепном ковре и благосклонно переваривают манную кашу. И каждый – словно с картины Кустодиева». Институт изучает детей, создает рекомендации для яслей: меню, стандарты оборудования, методики… в стране действительно ведется масштабная, интересная, новая для человечества работа над созданием нормальной, гуманной социальной системы – и делается это не в

попытках запудрить миру мозги, не ради показухи, это и есть та самая поэзия созидательного труда, которая всегда была так близка сердцу Чуковского. Поэзией этой пропитаны газеты начала тридцатых: все получается, все делается – не быстро, не очень легко, но вот расчистили пустырь, насадили парк, научились выращивать экзотические культуры на севере, придумали новое лекарство, поняли, как справляться с хулиганами, запустили промышленный гигант, изобрели, открыли, рационализировали, поставили рекорд… Изо дня в день страна читает об этих мелких и крупных победах в газетах, слушает о них по радио – и, что важнее, видит их собственными глазами. Как тут не поверить, что хорошее – главное, и оно победит, а плохое – пережиток, который останется в прошлом?

Вот только, как хотите, не мог Чуковский в очерке о материнстве и младенчестве сам написать эдакий пассаж: «Диалектическое изучение ребенка осуществимо лишь тут, в институте, где рост и развитие человеческих особей можно проследить от зародыша, где педиатрия поставлена в тесную связь с морфологией, физиологией, гистологией, педологией, психологией детского возраста, где единство теории и практики осуществляется советско-социалистическими методами». Ладно бы «советско-социалистические методы» вкупе с «диалектическим изучением», не говоря уж о «педологии» и «человеческих особях», – но не мог он, органически не способен был воткнуть в одно предложение сразу «осуществимо» и «осуществляется». А предложение это выписано нами из того же текста, где, сидя на ковре, благосклонно переваривают манную кашу кустодиевские подкидыши.

Новый, 1934 год начался стремительно, с разбега – с выступлений перед детьми, иногда по нескольку в день, совещаний, встреч. Чуковский опять в Москве, где он развлекает детей вместо запрещенного пока Деда Мороза. 19 января он дважды выступает на утренниках в МГУ вместе с Маршаком и Игорем Ильинским. 22-го в «Литературной газете» появится отчет об этом выступлении, сам Чуковский в дневнике записывает: "Что я читал, не помню – был в полном беспамятстве (после бессонной ночи в дороге. – *И. Л.)* – *и* вдруг оказалось, что сегодня в 4 ч предстоит 2-й утренник – по той же программе… В пять часов откуда-то у меня взялись силы – и читал я лучше. Публики было огромное множество оба раза. Я чудесно отдохнул бы сегодня, если бы не оказалось, что я должен читать лекцию перед художниками о Репине".

«Литературка» рассказывает об утреннике так: "Но пора появиться на сцене настоящему живому Чуковскому. Он выходит

седой, высокий, похожий на Крокодила. Страшную сказку читает он. «Бармалей» – называется сказка. Но она оказывается совсем не страшной, а очень веселой. Закончив ее, Чуковский захлопал первым. Весь зал ответил ему криками:

– Ура, еще, ура!

Чуковский читает. Он задает загадки.

– Я сам сочинил их из головы, – говорит он.

Вся аудитория хором разгадывает загадки…

Когда Чуковский читает «Путаницу», ребята со своим дирижером (а дирижирует сам Чуковский) послушно крякают, мяукают и мычат. Последнее стихотворение вызывает огромный восторг. Это «Котаузи и Маузи» (так в тексте. – *И. Л.)*… И, когда кончается утренник, взрослые обступают Чуковского. Каждый сообщает детские слова.

– Половину книжки исписал, – говорит Чуковский, размахивая записной книжкой".

20-го в Теа-клубе он читает детские стихи.

21-го (снова с Маршаком и Ильинским) выступает перед детьми в клубе ОГПУ.

22-го – опять на утреннике в МГУ (в дневнике запись: «… ребят было около тысячи»).

25-го записывает в дневнике: «Вчера выступал в 3-х местах. Читал на радио о Некрасове, в Парке Культуры и Отдыха – и в 5 ч 15 читал свои сказки опять-таки по радио».

О своих выступлениях он пишет с удовольствием, даже восторженно (разве что последнее назвал в дневнике «отвратным» из-за плохой организации). 26 января в «Комсомольской правде» появилась его заметка «Нигде, никогда». В ней Чуковский рассказывал, что нигде и никогда не видел таких замечательных, таких организованных детей, которые, едва писатели закончат читать стихи, – карабкаются на эстраду, поют, танцуют – «и даже не догадываются, что им нужно робеть. Плескаются в коллективе, как в море, счастливые свой гармоничной массовой жизнью».

Текст такой восторженный, что его даже читать как-то неудобно:

«Они словно чувствуют, что это им предназначена сказочная страна человечьего счастья, в которую преобразуется теперь СССР. Именно они, эти вихрастые, милые дети, – такие смешные, что на них невозможно смотреть без улыбки, – именно они станут хозяевами всех этих богатств, которые сейчас создаются в СССР. Именно для них собирается сейчас XVII съезд, для того, чтобы обеспечить им счастье в стране социализма. Все Москаналы, Днепрострои, Магнитогорски, метрополитены – для них, они будут потребителями всех накопленных и созданных нами

сокровищ. И сколько их, этих будущих жителей счастливой страны! Выступая перед ними со своими стихами, я стараюсь не выражать на лице той гордости, того умиления, той нежности, которые они мне внушают, – потому что они не любят никаких сантиментов – эти сильные, мужественные, великолепно организованные внуки и правнуки Ленина. Я навсегда скомпрометировал бы себя в их глазах, если бы вздумал миндальничать с ними».

Общение с детьми – и в самом деле для него невероятное счастье. Сын Николай писал ему три дня спустя: «Шкловский рассказывал мне о невероятных успехах твоих московских выступлений. „Обольщает младенцев“, – сказал он».

Письмо К. И. получил уже в больнице.

Простудившись в Парке культуры, он в тот же день отравился гостиничной едой и, потеряв сознание, упал и повредил ребро. Хлопотами Артемия Халатова его поместили в Кремлевскую больницу, где он и пролежал целый месяц, а затем еще отправился долечиваться в подмосковный дом отдыха «Узкое». Пребывание в больнице подробно отражено в дневнике. Чуковский следил за съездом ВКП(б) – тем самым «съездом победителей», где каялась оппозиция (в том числе лично знакомые ему Бухарин, Зиновьев, Каменев), где Сталин провозгласил, что СССР «преобразился в корне, сбросив с себя обличие отсталости и средневековья». Слушал радио – «передавали Красную площадь», где рабочие собрались приветствовать съезд. Вместе со всей страной горевал о гибели четырех летчиков, поставивших рекорд высоты на стратостате («дрожу от горя», занес он в дневник, и дочь Лидия в эти же дни написала ему: «Пережила падение стратостата так, будто все трое были моими друзьями»). Слушал стихи пришедшего к нему в больницу Мандельштама: "…читает он плохо, певучим *топотом,* но сила огромная, чувство физической сладости слова дано ему, как никому из поэтов". Наблюдал с крыши больницы, куда его выпускали на прогулку, за строительством станции московского метро—и поражался бестолковой организации процесса. В санатории, куда отправился после больницы, увидел, как дети воруют дрова, – и пошел за ними в деревню: «Нищета, неурожай, голод. Нет хлеба, п. ч. колхоз огородный, а картошка сгнила и ягоды не уродились».

В санатории, правда, Чуковский не столько отдыхал, сколько работал, стараясь наверстать упущенное за время болезни. Приехав в «Узкое» с чемоданом книг, он за десять дней «переделал „Крокодила“, написал 3 рецензии и вообще работал больше, чем нужно. Проправил рукопись „Солнечную“; написал

фельетон».

Он, кажется, постепенно вливается в жизнь страны, начинает дышать современностью, задумываться о политике, писать не только о литературе, но и о текущих событиях (именно в 1934-м в газетах начинает появляться его публицистика – взять хоть тех же подкидышей). И по-прежнему бесприютно болтается между двумя столицами, мыкается по гостиницам – и ощущает свирепую тоску. Одна из дневниковых записей целиком посвящена тому, как он ходит по своим московским знакомцам в поисках не участия даже, а человеческого лица, дружеского слова – и никого не находит: один занят, другого нет дома, третьи уезжают… Зато всенародная любовь, тысячные аудитории и дети с букетами; зато полная творческая реабилитация – почти признано право на существование и *неприемлемо жестокого* «Бармалея», и *недопустимо формалистических* «Котауси и Мауси»…

После смерти Муры и матери в жизни К. И. появилась новая горькая забота: обнаружился рак у сестры Марии, Маруси. Она приезжала в 1932-м к Чуковским в Ленинград на операцию, долго болела и умерла в 1934-м. Просила брата не оставить заботой ее осиротевшую 18-летнюю дочь Катю – и он не оставил, всю жизнь пытался помогать племяннице (о том, чем это обернулось, рассказывает Лидия Корнеевна в «Прочерке»).

Но в бесчисленных редакциях он кажется прежним – обаятельным, рассыпающим фейерверки острот, ослепительно любезным с дамами. Он по-прежнему рушится на колени перед редакторами – и, «молитвенно сложив руки или подняв их горе», как вспоминает Елена Благинина, провозглашает:

– Напечатайте слабые вирши мои, а то пропаду с женой и детишками… Ох!

Это уже середина тридцатых, и дело происходит в Детгизе. Это одно из последних мест, где ему легко – где все-таки сохранилась творческая атмосфера, в которой можно и дышать, и шутить. "Конечно, было в нем и природное веселье, но, кроме того, он *требовал от себя* веселья – в особенности на людях; жаловаться он считал невежливым", – писала Лидия Корнеевна Давиду Самойлову.

Между тем в дневниковых записях и воспоминаниях современников уже в начале 1930-х годов неуловимо меняются применяемые к К. И. эпитеты: если раньше говорили о Чуковском увлеченном, веселом, беспощадном, злом, зубастом – то теперь он превращается в Чуковского льстивого и лживого (помните у Полонского: «отвратителен лестью и ложью»). В 1937 году Паустовский писал Эйхлеру: «Рад, что не был на совещании, – и так тошнит от газетных фотографий сладчайшего и хитрейшего

Чуковского, обнимающего прелестных деточек». Потом к «сладчайшему и хитрейшему» добавится и «пристрастный, несправедливый, даже вероломный» (а ведь это сказала искренне любящая его Благинина); о «лукавстве, граничащем с коварством», «разящей иронии» скажет и Маргарита Алигер. Александра Любарская, подруга Лидии Корнеевны и сотрудник маршаковской редакции, тоже когда-то побывавшая в роли литературного секретаря К. И., как раз в начале тридцатых ехидно пародировала статью Чуковского о Николае Успенском: «С людьми он разговаривал так, что казалось, будто он очарован ими. „Я, – вспоминает его секретарь, – с пятого слова уже чувствовал страх, что из уст его потечет мед. Вот какая это ужаснейшая личность“».

Собственно, этот отравленный мед – совсем не новость. О «сладком яде» Чуковского еще в 1919 году писал в своей эпиграмме Вячеслав Иванов (К. И. эту эпиграмму очень ценил и словами из нее «Зоилиады и занозы» даже назвал в 1934 году одну из своих статей). Патока, мед, сироп, нестерпимая сладость – это запомнилось многим; весело и неискренне выпевает Чуковский слова льстивых похвал, за которыми часто следует «удар ножичком в спину», по выражению Шварца. Кстати, Слонимский и Шварц, в разное время бывшие у К. И. литературными секретарями, оба вспоминают (хотя и в разной тональности) об умении шефа попусту наживать себе мелких врагов, молниеносно брызгать ядом.

Нет, «великий перелом» тут ни при чем, Чуковский всегда был таким – и Шварц замечал в нем это сочетание меда с ядом задолго до тридцатых годов, предполагал даже, что и в эпоху знакомства с Короленко К. И. был таков же; Лидия Гинзбург подметила эту манеру петь хвалу и тут же поносить, и не скрывать этого двойного отношения – еще в двадцатых. Что же нового привнесли тридцатые? Нет, он не переродился, конечно, не стал более коварным – но время вывело на поверхность качество, которое в нем всегда присутствовало: склонность к лицедейству, постоянному ношению маски. Время заставило тщательнее прятать под этой маской себя настоящего. Именно в тридцатые годы, с началом громкой всесоюзной славы начал складываться и хрестоматийный облик «дедушки Корнея», «доброго сказочника», «благостного старичка со скрипучим голосом», как его недавно обозвал один рецензент. Именно в это время за маской стал совсем исчезать другой, сложный, настоящий Чуковский.

Впрочем, и на других лицах тоже появлялись маски – один казался городским сумасшедшим, другой – небожителем, третий

ушел с головой в прошлый век… Чуковский – друг Блока, Чуковский – создатель умных и тонких литературных журналов, проницательный исследователь массовой культуры, – этот Чуковский совершенно спрятался за другим. Новый Чуковский – всенародный дедушка, всегда окруженный детьми и заваленный письмами родителей. Вдумчивый и внимательный аналитик, критик скрылся в глубине, залег на дно; спрятался даже историк литературы; на поверхности остался борец за качественную детскую книгу, хороший учебник и красивую грамотную речь; враг Отдельных Негативных Явлений, непримиримый оппонент «сухарей» из Наркомпроса и дремучих редакторов. Это ядовитый дед-буквоед, со вкусным хрустом грызущий небрежных комментаторов и издателей классики: «Что такое фрак? Это сюртук до колен с отрезанными спереди полами. Так утверждает Черняк, и он совершенно прав, ибо что такое, скажем, жилетка, как не сюртук до колен, у которого оторваны рукава, воротник и отрезана вся нижняя часть?»

Чуковский тридцатых – гроза редакторов, комментаторов и типографов; последним посвящена вдохновенно-смешная статья «Шпилом бы легалов» с озорным, по-дореволюционному ошарашивающим зачином.

"Прочтите, пожалуйста, такие стихи:

> Лушé уманность появ,
> Те шпилом нелегала дьяв!"

Это он собрал самые идиотские опечатки из нового издания стихов Некрасова, сделал из них стихи – и припечатал виновников в духе времени: «Эта форма книжного вредительства стала у нас совершенно легальной. И никто не пытается, отбросив гнилую „уманность“, „пояять“ злокозненных „легалов“ каким-нибудь энергическим „шпилом“».

Нет слов, опечатки безобразные, и ошибки в комментариях дурацкие и многочисленные, и, может быть, и нужен был незаурядный талант Чуковского, чтобы внушить книжным издателям представление о том, что можно и чего нельзя… Нет слов, очень плохо, что учебники литературы скучны и бездарны, что по ним невозможно научить школьника любить и понимать литературу, связывать друг с другом исторические явления. И нужна кипучая энергия Чуковского, нужны незаурядный ум и талант, его умение насмешить и ошарашить (опять же характерен ошеломляющий зачин статьи: «Сейчас все шестиклассники испытывают великую скорбь, и причина их скорби – Пушкин»), чтобы донести до общества представления о необходимости

перемен в педагогике… Но все-таки не оставляет скребущее чувство, что это все – забивание гвоздей фотоаппаратом, игры деда-буквоеда… Как, в самом деле, можно всерьез заниматься опечатками, когда голод, и лагеря, и дела вредителей, и проработки…

А чем можно заниматься, когда тем, что хочется, – нельзя? Когда написать то, чего настоятельно требует душа, – акт самоубийства, сродни прыжку под мчащийся поезд современности? Творчество становится несовместимым с жизнью; можно восхищаться теми, кто не смог сделать выбор в пользу молчания и жизни – и погиб. Но вряд ли человечно предъявлять счет тем, кто не смог сделать выбор в пользу творчества.

Кстати, нет и ответа на вопрос, а так ли уж сильно Чуковский наступал на горло собственной песне, так ли уж ему хотелось петь. Самуил Лурье в предисловии к переписке К. И. с дочерью довольно однозначно толкует события жизни Чуковского на рубеже 20-х и 30-х годов: печатное отречение от детских стихов и обещание написать «Колхозию» было «катастрофой чести, чем-то наподобие сделки с дьяволом»: вот и тот факт, что «Корней Иванович уцелел при тирании, репрессиям не подвергался, даже сподобился мелких милостей», тут служит косвенным доказательством упомянутой сделки. И, как следствие катастрофы – «стихи с тех пор сделались бездыханны».

Правда, после такой полосы бедствий, какую только что пережил Чуковский, удивительно, как сам он не сделался бездыханен, а не только его стихи. И катастрофа чести, она же «сделка с дьяволом», сыграла отнюдь не главную роль в том, что творчество его и в самом деле лишилось какого-то живого огня. И уж конечно, в конце тридцатых решительно никому не было дела до каких-то давнишних отречений и покаяний: скажем, аналогичное покаяние Пильняка отнюдь не застраховало его от репрессий (впрочем, Лурье и сам замечает: "…отречения тогда никого не спасали, «веселые колхозии» тоже). Погибли в этой волне не только жертвы гонений, но и гонители, которых мы встречали в предыдущих главах: «искуситель» Ханин, напостовец Лелевич, цензор Быстрова, гизовский глава Халатов и многие, многие другие. Искать логику, хоть историческую, хоть метафизическую, в действиях как механизма репрессий, так и дьявола – путь тупиковый.

«Его дочь в книге „Прочерк“ задавалась вопросом: почему? ответила: не знаю, – стало быть, у Корнея Ивановича спросить не решилась», – говорит Лурье. Думается, не знал и Чуковский, вокруг которого кольцо сжималось-сжималось – и вдруг разжалось; чудовище насытилось кровью и неожиданно

отвалилось… но разговору о тридцать седьмом и логике репрессий придет свой черед.

Да, «гений этот пресловутый кончился», как говорит Самуил Лурье. Дыхания этого гения не чувствуется уже в «Солнечной». И «Госпогода» Чуковскому никак не удается, и стихов для детей он не пишет. В апреле 1933 года «Вечерняя красная газета», рассказывая, над чем работают детские писатели, упоминала: «К. Чуковский пишет повесть об иностранной школе в Ленинграде. В повести будет освещена биография детей английского рабочего Мартона, приехавшего в Советский Союз по вызову леди Астор». Но и эта повесть не была написана.

Он не мог писать своего: нечем – иссяк, онемел, пересох; какое уж тут пение. Не мог заниматься критикой, поскольку и современная литература, и критика уже омертвели. Оставалась детская литература, где еще было возможно что-то живое, оставалось верное служение классике: в ней-то все сохранилось – и гуманизм, и благородство, и ясные представления о том, где верх и низ, что хорошо и что плохо, в ней уцелела система координат – значит, надо сберечь ее для читателя и читателя для нее. И начинать с детей, разумеется.

К этому времени – должно быть, и впрямь невидимый дирижер наверху взмахнул палочкой – Чуковского стали постепенно восстанавливать в правах детского писателя. Хор запел совсем иные песни. В апреле 1933 года «Вечерняя красная газета» писала: «Совершенно закономерно, что такой квалифицированный детский писатель, как К. Чуковский, выпустил в этом году повесть „Солнечная“, свидетельствующую о перестройке писателя и большом его идейно-художественном движении вперед». Через год, в апреле 1934-го, большую статью посвятила Корнею Ивановичу «Литературная газета». Газета, непримиримо боровшаяся с чуковщиной, словно чувствует необходимость оправдаться—и автор статьи Борис Бегак так и начинает с объяснений: «С тех пор как мы твердо признали право детей на сказку, перестало быть одиозным для строгих ценителей и имя Корнея Чуковского». Бегак пытается сохранять видимость объективности – не обелять бывшего опальным автора сразу, а выявить ошибки и отметить заслуги. К заслугам причисляются внимательное изучение детской психологии, создание заповедей для детских поэтов, стремление этим заповедям следовать в собственном творчестве. Смешнее с ошибками: людоед Бармалей по-прежнему кажется неприемлемым, загадки, по мнению критика, хороши только те, которые про первомайский трамвай, биплан и пароход, то есть современные. А вот загадка про «Машеньку, Марусеньку, Марьюшку и Манечку» не годится как

«стилистически воскрешающая сентиментальную слащавость доброй бабушки…». Ну и кто сейчас отгадает загадку про первомайский трамвай? А про Машеньку-Марусеньку, захотевшую сладкого пряничка, помнят по-прежнему.

Но надо отдать должное автору статьи: он уже не рубит сплеча, а пытается всерьез рассуждать о творчестве Чуковского, говоря и о своеобразии создаваемого им мира, и о законности фантастики в детской литературе, и о динамизме стихов К. И., и о сочетании графичности с лиричностью… Словом, Чуковский реабилитирован. Он больше не враг. Он – «наш», невзирая на пресловутых Бармалеев. «В последнее время Чуковский увидел, каким богатым источником для детского писателя может послужить жизнь коллективов малых ребят Советской страны. Эти коллективы создают иной тип ребенка, чем был ребенок-индивидуалист, к бытию которого применялся ранее в своих стихах Чуковский. В те годы, когда стараниями недальновидных воспитателей сказка была изгнана из детского обихода, Чуковский, как детский писатель, временно прекратил работу. Однако именно для него такой перерыв сыграл скорее положительную, чем отрицательную роль. Изучение коллективов малых ребят помогло ему приблизиться к советской действительности. Была написана „Солнечная“…» Дальше раздаются стандартные похвалы этой повести.

Теперь имя Чуковского регулярно появляется на страницах прессы: страну продолжает волновать вопрос о детской литературе, и дискуссия на эту тему, то разгораясь, то затухая, не сходит с полос газет и журналов. Дети желают читать и требуют дать им хорошую книгу. Горький еще летом 1933 года спросил читателей «Пионерской правды», какие книги им нужны, – предложил присылать письма прямо ему на домашний адрес. Письма внимательно читал и анализировал Маршак. Часть их опубликовали «Правда», «Пионерская правда» и некоторые другие издания; иногда их корреспонденты и сами обращались к детям с тем же вопросом. Откликнулось около двух тысяч детей. Некоторые наивно предполагали, что книгу им просто вышлют по почте, – и присылали подробные заказы. Многие жаловались, что у них ничего нет в школьных библиотеках. Некоторые даже предлагали сюжеты, один такой «социальный заказ» с готовым сюжетом приводит американский исследователь Глен Уорти в «Еженедельном журнале»:

«Мы пионеры 34 образцовой школы просим вас написать книгу чтоб там описывалась жизнь пионера его работа и учеба, сначала чтоб он был безпризорником, но его взяли с улицы и отдали в детдом и под руководством комсомольской ячейки он

становится пионером в дальнейшем он учится в университете. Так под руководством партии и ее вождя И. Сталина стал полезным человеком социалистической родины. Имя безпризорника мы хотим чтоб было „Васька“ по кличке „Клещ“. Это мы постановили на общешкольном литературном собрании».

В целом, как выяснилось, дети хотели всего и сразу: и про пятилетку, и про Ленина, и про Сталина, и вообще подробного рассказа обо всем, о чем писали взрослые газеты, – о Беломорканале, о Магнитке, стахановцах, героях, строительстве метро… "О работе академиков, об экспедициях, о полярных подвигах Эпрона (организации, занимавшейся водолазными работами и подъемом затонувших судов. – *И. Л.),* о новых заводах и фабриках, о новых людях и городах, о теперешней школе", – подытожила «Правда» 16 августа 1934 года. В ленинградских «Ленинских искрах» пионеры требовали дать им «такую книжку, чтобы можно было нахохотаться в часы отдыха и веселья». Дети спрашивали, как живут их ровесники в других странах, требовали книг о природе, экзотических странах, хотели приключений, просили переиздать «Айвенго», а некоторые несознательные – так даже и Чарскую; желали сказок («Синюю бороду, да где ее возьмешь!» – буркнула одна девочка корреспондентке «Комсомолки»). Требовали книг *толстых,* потому что тонкие прочитывались слишком быстро. При этом, как замечали многие, детские книги читали не только дети, но и взрослые – большинству не хватало простого, ясного, художественно изложенного рассказа об интересующих их событиях.

Чуковский в статье 1935 года «Дайте детям книгу» писал, что к нему нескончаемой чередой приходят соседские дети и берут почитать книги. Он пошел навестить дома некоторых читателей своей домашней библиотеки – и увидел, что детские книги «обслуживают всю семью»: например, мать учится читать, а отец видит только крупный шрифт… Бедность школьных библиотек, описанная в этой статье, и в самом деле ужасна: в одной всего 44 книги для маленьких на 400 человек, в другой – одна «микроскопическая полочка», на которой «ютится какая-то скудная рвань». В третьей формуляры составлены столь неграмотно, что книга Маршака «Пудель» с иллюстрациями Лебедева зарегистрирована так: «Маршак. Лебедев – пудель»! И во всех библиотеках «книг для первых двух классов до такой степени мало, что на дом их не дают никому, и в лучшем случае читают в школе, а между тем именно к домашнему чтению и должны приучать эти книги…» и ведь это уже 1935 год, когда прошло общественное обсуждение проблемы, когда съезд писателей признал вопрос о детской книге одним из первоочередных…

Ситуация с детской книгой в начале тридцатых оставалась тяжелой. Книг издавалось недостаточно для того, чтобы насытить информационный голод первого почти поголовно грамотного поколения (отсюда, кстати, – бешеная, лихорадочная, почти круглосуточная работа маршаковской редакции). Издательства, находящиеся под постоянным критическим обстрелом и цензурным гнетом, бесконечно реформируемые, к тому же в условиях бумажных, финансовых и прочих кризисов справиться с дефицитом книги не могли; цензурные запреты конца двадцатых, рапповское истребление всякого живого слова довели ситуацию в детской литературе до состояния, близкого к критическому. Книги по месяцам мариновались в издательствах и цензуре, иногда вовсе не выходили или выходили в безобразном состоянии, с массой опечаток, плохой редактурой, спутанными тетрадями. Школьные библиотеки пустовали – не в последнюю очередь благодаря комсомольским чисткам. Ассортимент книжных магазинов был мизерным, при этом книги стоили довольно дорого и, как правило, оказывались не по карману населению, которое едва сводило концы с концами. И вполне закономерно, что вопрос о детской литературе стал одним из двух центральных вопросов, которые рассматривал Первый съезд советских писателей.

Административное благополучие

Евгений Шварц назвал этот съезд «праздничным, слишком праздничным».

Он и в самом деле открылся в высшей степени торжественно.

"Оркестры играли туши, площадь была засыпана розами, астрами, георгинами. У входа в Колонный зал толпились люди, стремившиеся посмотреть на «живых писателей», – писала в «Независимой газете» Виктория Шохина к 65-летнему юбилею съезда; это одно из самых емких описаний события. – «Необычайный карнавал», «большой диковинный праздник», вспоминал Илья Эренбург в годы оттепели. "Стены Колонного зала были украшены портретами великих предшественников – Шекспира, Мольера, Толстого, Гоголя, Сервантеса, Гейне, Пушкина, Бальзака и других… я машинально повторял: «Расписаны были кулисы пестро, я так декламировал страстно. И мантии блеск, и на шляпе перо, и чувства – все было прекрасно»… Красочны декоративные делегации. Шли пионеры из «Базы курносых», метростроевцы, работницы «Трехгорки», колхозники Узбекистана. Шли старые политкаторжане и кустари промысловой артели. Представители саамской народности

Кольского полуострова рассказывали об отельной кампании: "К отелу было 449 важенок (самок северного оленя. – *В.Ш.),* отелилось 441". От имени ударников-колхозников т. Чабан призывал т. Шолохова, чтобы в следующей книге «Поднятой целины» «Лукерья, которая все время ласкается к мужу, стала ударницей колхозного производства». Под звуки фанфар и оркестра стройным маршем входили пионеры и читали хором приветствие, больше, впрочем, напоминающее наставление: «Есть много книг с отметкой 'хорошо', / Но книг отличных требует читатель…»"

Потом-то эти торжественные выходы-проходы, приветствия съезду и пионерские выступления были узаконены, стандартизованы, отрепетированы до автоматизма, но пока у всех живо было неподдельное ощущение праздника – и трепыхалось «смутное ощущение неловкости», как сформулировал Евгений Шварц: «Еще вчера все было органичней. РАПП был РАППом, попутчики попутчиками. Первый пользовался административными приемами в борьбе, вторые возмущались. И вот всем предложили помириться и усадили за один стол, и всем от этого административного благополучия неловко».

Газета «Правда», рассказывая о съезде, заявила: «Важно то, что подавляющее большинство писателей, творцов духовных ценностей, безраздельно и безоговорочно идет с партией Ленина – Сталина, с пролетариатом, с народом трудовой страны… Одним из ярких выражений побед культурной революции в Советском Союзе является завершение поворота подавляющего большинства беспартийных писателей к советской власти, к социализму… Лишь одиночки, не сумевшие порвать пут буржуазного прошлого, не зажглись вдохновенным огнем нашей эпохи».

С основным докладом выступал Горький, содокладчиком стал Маршак, говоривший о детской литературе, хотя детских писателей на съезде было мало: 1,8 % делегатов. Наш современник, писатель Юрий Петраков, приводя в одной из статей эту цифру, удивлялся, почему именно Маршак стал содокладчиком Горького, а не какой-нибудь взрослый писатель – и «разве тот же К. И. Чуковский был менее известным литератором, пишущим для детей?». Ну, прежде всего, Маршак был куда ближе к Горькому, чем Чуковский, несмотря на совместную работу во «Всемирной литературе». И, что не менее важно, Маршак, в отличие от Чуковского, был не только писателем, но и организатором, редактором, определяющим политику издательства. Наконец, даже в годы самых жестоких гонений на сказку, небывальщину и нелепицы он не был полностью изгнан из литературы; речь о «маршаковщине» все-

таки никогда не шла; автор стихов о Днепрострое, о рубанке, о почтальоне – он все-таки был куда больше «своим», чем только что воскресший из литературного небытия Чуковский. Строительство иерархической пирамиды в каждой сфере деятельности требовало и Детского писателя номер один. Главным писателем вообще стал, разумеется, Горький, на роль Главного поэта прочили Пастернака, а Главным детским литератором стал Маршак.

Самуил Яковлевич доложил писателям о детских наказах рассказать обо всем, от Микен до Беломорстроя, «начиная с межпланетных сообщений и кончая кормушкой для кроликов». Доклад был огромный, серьезный, подробный. В нем говорилось, какими должны быть художественные, научные, документальные книги для детей, как писать для них о героях и приключениях, – весь свой огромный опыт издательской работы он обобщил в докладе. Читая этот текст, понимаешь, почему Чуковский, слушая один из предыдущих маршаковских докладов на заседании Детиздата (кстати, тот доклад ему готовили его редакторы, в том числе Лидия Корнеевна), замечал: «Видно, какие великие задатки у нашей системы воспитания ребят!» И в самом деле, Маршак умел заразить своим энтузиазмом; удивительно, как все присутствующие не помчались после его доклада по гостиницам – строчить, двигать вперед детскую литературу.

Кстати, говоря об истории детской книги в России, Маршак отвел почетное место в этой истории Чуковскому: «Пожалуй, первым или, во всяком случае, одним из первых предреволюционных писателей, сочетавших в своих стихах для маленьких эти обе борющиеся линии – литературную и лубочную, – был Корней Чуковский. Стихи его, связанные с литературными традициями и в то же время проникнутые задором школьной „дразнилки“, считалки или скороговорки, появились вслед за яростными критическими атаками, которые он вел на слащавую и ядовитую романтику Чарской и ей подобных» (цитируется статья «Большая литература для маленьких», созданная на основе доклада).

Окончательно была реабилитирована и сказка. Интересно, кстати, что Маршак говорил о кризисе сказки во всем мире – и о вторичности, цинизме, скепсисе как главных причинах, убивающих ее волшебство; достаточно посмотреть на прилавки детских отделов в книжных магазинах, чтобы убедиться, до какой степени сказанное Маршаком в 1934 году сохраняет свою актуальность по сей день.

Писатели потихоньку жаловались друг другу: скучно, изнурительно слушать длинные доклады. Пастернак писал о

своих впечатлениях жене: «Открытье съезда (первые дни) отпугнуло нас своей скукой – было слишком торжественно и официально. А теперь один день интереснее другого: начались пренья. Вчера, например, с громадным успехом и очень интересно говорили Корн. Чуковский и Эренбург». Чуковский тоже выступал на съезде с докладом – выступал даже дважды, говоря о детской литературе и о переводах. Доклад его строился на противопоставлении советской детской литературы литературе буржуазной – иностранной и дореволюционной. Он рассказывал, что газеты «Дейли мейл» и «Дейли экспресс» «пичкают в своих детских отделах миллионы читателей рассказами о чудесах Христа и похождениях пиратов, промышляющих грабежом дикарей», – и констатировал: «На фоне этой откровенно хищнической, убогой западной литературы для детей и подростков особенно ярко выступают достижения нашей советской детской словесности». Впрочем, как бы это ни было сформулировано, Маршак, Хармс, Заболоцкий, Пантелеев, которых несомненно имел в виду К. И., – они не только на фоне комиксов или Чарской, но и на фоне более серьезной современной литературы выглядят замечательными достижениями детской словесности, пусть даже она называется советской.

Чуковский говорил о продажности дореволюционной детской литературы – о правительственных субсидиях, которые получало «Задушевное слово» для «пропаганды милитаризма среди юных читателей». Ругал современное книгоиздание для детей за ошибки, ляпы, неудачные иллюстрации, за «полное и безнадежное отсутствие критики» – но заканчивал оптимистично: «Главное же в том, что у нас, советских писателей, есть животворная сила, которой нет ни у кого из наших европейских коллег. Детские писатели крепко спаяны с коллективом советских детей».

У него пока еще были основания для оптимизма: общество после стольких лет гонений признало, что детские писатели заняты делом, их перестали травить, им предоставили слово, их дело признали одной из важнейших государственных задач. Недаром после съезда Чуковский, рассказывая о нем «Ленинградской правде», говорил о том, «каким одиноким, бесприютным, заброшенным чувствовал себя детский писатель – ну, хотя бы лет пятнадцать назад», о том, как «многие педагоги, бывшие тогда во власти левацких загибов, смотрели на него как на врага и не подпускали на пушечный выстрел к ребятам», а «обыватели – а тогда были еще обыватели – видели в детских стихах лишь одну балаганщину и третировали меня почти как

шута». Понятно, что теперь он испытывал счастье и надежду: «И всякий раз, когда, говоря о детской литературе, я взглядывал на слушателей, я видел, как они страшно взволнованы теми вопросами, о которых прежде нам, детским писателям, приходилось волноваться в одиночку».

Для детской литературы это и впрямь был съезд надежд. Со взрослой все обстояло далеко не так просто. Доклады и выступления были настолько разные, что блаженный Августин мирно соседствовал с отелившимися важенками, попытки серьезного разговора перемежались лозунгами, вдумчивый анализ пресекался, перетекая в славословия Сталину… Пастернак писал, что съезд «бросал из жара в холод и сменял какую-нибудь радостную неожиданность давно знакомым и все уничтожающим заключением. Это был тот, уже привычный нам музыкальный строй, в котором к трем правильным знакам приписывают два фальшивых, но на этот раз и в этом ключе была исполнена целая симфония, и это было, конечно, ново…».

Самую большую популярность на съезде получила дурацкая фраза писателя Соболева – мол, партия дала писателю все права, кроме права писать плохо. Евгений Шварц вспоминал потом: «И все стали повторять эти слова со значительным видом. И знакомый страх, страх одиночества, охватил меня. Или я сумасшедший, а все нормальные, либо я нормален, а все сумасшедшие, и неизвестно, что страшнее». Но и другие говорили не менее страшные вещи, разве что менее афористически: Сурков, скажем, призвал держать лирический порох сухим, готовясь к войне, и упрекнул поэтов за то, что они говорят только о любви, гордости, радости—и обходят сторонкой «четвертую сторону гуманизма, выраженную в суровом и прекрасном слове „ненависть“…».

Чуковский писал на склоне лет: «Я помню, какую тоску во мне вызвал этот съезд».

В кулуарах съезда бранили Олешу – тот, мол, в своей откровенной речи «снял подштанники». Изумлялись Бабелю, сказавшему (дословно!): «Я испытываю к читателю такое беспредельное уважение, что немею от него и умолкаю. Вот и молчу». Мелочно подсчитывали «упоминания»: кого отметили в докладе, кого нет, и в каком контексте. Пытались разобраться в сложившейся табели о рангах, обращая внимание, кого в какую гостиницу поселили, в какой номер, где поставили на довольствие. Завидовали друг другу. Вслух или про себя сочувствовали словам Эренбурга: «Нельзя допустить, чтобы литературный разбор произведений автора тотчас же влиял на его социальное положение. Вопрос о распределении благ не

должен находиться в зависимости от литературной критики». Смеялись. Много и вкусно ели: кормили делегатов съезда на убой (простите за двусмысленность). Очень много пили. Передавали слухи. Писали эпиграммы. Была удивительная, слегка истерическая приподнятость, нервозное ожидание больших перемен… И перемены не заставили себя ждать.

Непрощаемый грех

Почти сразу после съезда, в начале сентября Чуковский снова уехал на отдых в Кисловодск. «Хочу писать о переводах Шекспира для Лит. Газеты», – гласит дневниковая запись. Похоже, что на желание вернуться к теории и практике перевода повлияла дискуссия на съезде: именно после него Чуковский начал публиковать одну за другой статьи, посвященные переводу. Потом они вошли в «Искусство перевода» (книга была издана в 1936 году, вобрав в себя сильно переработанные и дополненные «Переводы прозаические» из давнего сборника «Принципы перевода» и «Искусство перевода» 1930 года). Чуковский продолжал перерабатывать книгу и далее, и с 1941-го она переиздавалась под названием «Высокое искусство».

Итак, Чуковский начал писать о переводах Шекспира. Страна, недавно научившаяся читать, приобщалась к мировой классике, Шекспира много ставили в театрах, а это сразу поставило вопрос о качестве переводов английского гения; поднимался в том числе и более практический вопрос: какие переводы наиболее пригодны для театральных постановок? Вопрос этот оказался на удивление животрепещущим, дискуссия то разгоралась, то затихала, но длилась в целом около пяти лет, страсти кипели нешуточные. Достаточно сказать, что одна из опубликованных «Известиями» в 1936 году статей еще не посаженного Карла Радека называлась «На шекспировском фронте».

Первое имя, которое всплывало практически в любом выступлении, посвященном шекспировским переводам, было имя Анны Радловой. Радлова в последние годы до революции и первые годы после нее писала довольно гладкие, темные, насыщенные мистикой стихи, где рифмовала кровь с любовью (и того и другого в стихах было предостаточно), а после революции занялась переводами – сначала Мопассана, потом Шекспира. Переводы ее почти сразу ставились на сцене – отчасти потому, что ее муж, Сергей Радлов, был театральным режиссером, отчасти потому, что театру требовались переводы, сделанные современным языком. К началу тридцатых почти по всей стране Шекспира стали ставить почти исключительно в ее переводах.

К этому времени в советской науке и культуре уже вовсю формировались табели о рангах, и Радлова, верная «научным принципам перевода» и поддержанная театральными кругами, оказалась на самом верху неписаной иерархии переводчиков со всеми вытекающими отсюда последствиями – прежде всего безудержным прославлением. В статье IX тома Литературной энциклопедии, вышедшего в 1935 году, переводы Радловой даже были названы шедеврами. «С каким-то подозрительным единодушием прозвучал в печати многоголосый хор восторженных рецензентов и критиков. Эти переводы шекспировских пьес были объявлены высшим достижением искусства», – писал К. И. в «Высоком искусстве», комментируя вошедшую в текст этой книги (с неизбежными позднейшими правками, разумеется) давнюю статью о переводах Анны Радловой. Радек годом позже спрашивал в своей статье: "Знает ли наш театр лучшую постановку Шекспира, чем радловская (сделанная Сергеем Радловым. – *И. Л.)* постановка «Отелло» в Малом театре и постановка «Короля Лира» в Еврейском театре?.. Обе постановки потрясли зрителя. Они – культурное завоевание". В обоих случаях театры пользовались переводами Анны Радловой.

Вполне естественно, что Чуковский, взявшись за тему шекспировских переводов, начал изучать и труды Радловой – и стал горячим их противником. В цитированном выше комментарии К. И. говорит, что стал принимать участие в дискуссии о радловских переводах только в 1939 году. В действительности он обратился к теме уже на рубеже 1934–1935 годов. Надо заметить, что, рассказывая о своей жизни – даже о сравнительно недавних событиях, – Чуковский довольно часто путал даты, годы, даже последовательность, излагал одно и то же по-разному. Пытаться выяснить, аберрацией памяти это было вызвано или какими-то особыми соображениями, уже бессмысленно: совершенно непонятно, например, почему он, повествуя в «Ленинградской правде» о положении детского писателя до Первого съезда писателей, отнес совсем недавнюю (1928–1930) борьбу с «чуковщиной» лет на пятнадцать назад, то есть аж к 1919 году; почему заметил, что она продолжалась «года три», а потом «появился Маршак»… И таких неувязок в автобиографических материалах К. И. очень много.

Юлиан Оксман, прочитав последнее издание «Высокого искусства», писал Чуковскому: «Мне, как и другим моим сверстникам и младшим товарищам, никогда не забыть того исключительного мужества, с которым Вы выступили впервые в 1934—35 гг. против принципов переводов Шекспира, которые насаждались и в литературе, и в театре Анной Радловой, – совсем

так, как кукуруза в Приполярье после Рождества Хрущева». «Незадачливая, но в свое время всесильная переводчица» – так характеризует Радлову Оксман и напоминает Чуковскому: «Ведь первое Ваше выступление против диктатуры А. Радловой относится не то к концу 1934, не то к началу 1935 г. в Пушкинском Доме. Именно этот доклад вызвал тогда же специальное дознание, произведенное не то Заковским, не то одним из Коганов».

Почему Радлова была «всесильной» и что это за принципы, которые насаждались, как кукуруза, Чуковский отчасти рассказывает в вышеупомянутой книге. В свое время он был пионером в области теории перевода, написав по заказу Горького тоненькую брошюру о «принципах» вместе с Гумилевым и Батюшковым. Чем больше в стране издавалось переводной литературы, тем более очевидной становилась необходимость серьезной научной работы в этой области. И ей пришел свой черед: принципы перевода стали широко обсуждаться научными кругами, стали выдвигаться требования формального соответствия перевода оригиналу (одинаковый ритм, размер, соблюдение внутренних и кольцевых рифм, воспроизведение аллитераций, одинаковое число строчек). Переводы Радловой выполнялись в полном согласии с современными, строго научными требованиями. Театрам они тоже нравились, поскольку язык их был современным, без обилия архаизмов, иногда подчеркнуто грубым – Шекспира слишком долго пытались причесать и облагородить, поэтому грубость воспринималась как достоинство.

Однако Чуковский, взявшись анализировать работы Радловой, обнаружил в них интонационные сбои и бессмыслицу: Дездемона, к примеру, перед смертью вместо значащегося в оригинале «Я не знаю, почему бы мне испытывать страх, так как никакой вины я за собой не чувствую» – у Радловой говорит отрывисто:

"Боюсь…

Чего же, – без вины?"

Чуковский резюмирует: «Словно у Дездемоны астма, грудная жаба, и она задыхается после каждого слова». О задыханиях у него говорится так компетентно, трудная речь астматика передана так живо, будто автор пользовался обширными жизненными наблюдениями. Пожалуй, да: астматиком был Маршак; его задыхающаяся речь памятна многим современникам. Тяжелые запинки Маршака живо вспоминаются всякий раз, как Чуковский пишет об «обрывчатости астматической речи», «одышке»… Кстати, сам Маршак, как и Радлова, – один из героев

«Высокого искусства», но он-то здесь присутствует безо всякой астмы: напротив, у него живая, свободная поэтическая речь; переводческим удачам Маршака посвящены многие страницы книги.

Такие же астматические задыхания К. И. обнаружил и у многих других персонажей радловских переводов и пояснил: это произошло потому, что переводчица, выполняя требования равнострочности-равносложности и так далее, выбросила из текста 75 % связующих, вспомогательных слов, соединительной ткани предложений. И вместо крылатого «она меня за муки полюбила, а я ее – за состраданье к ним» выходит нелепое «она за бранный труд мой полюбила, а я за жалость полюбил ее»; вместо «но скоро ли это случится?» – невообразимое «но срок?».

Такое обращение с шекспировским текстом не могло не выводить Чуковского из себя. Он ввязался в многолетнюю полемику, из которой вышел-таки победителем. Его статьи, посвященные переводам Радловой, сердиты и язвительны. Названия говорят сами за себя: «Единоборство с Шекспиром» (она же «Искаженный Шекспир»), «Искалеченный Шекспир»… Одна, написанная в 1940-м, так и называется: «Астма у Дездемоны». Вообще драка в печати началась нешуточная; в «Высоком искусстве» можно прочитать очень краткое изложение ситуации: Чуковский вспоминает, к примеру, как одного из оппонентов Радловой, Юзовского, печатно обозвали «бараном», «свистуном» и «невежей». Продолжалось это несколько лет; сам К. И. выступил с критикой переводов Анны Радловой в 1939 году на Шекспировской конференции во Всесоюзном театральном обществе. «Думаю, кое-кто из московских старожилов не забыл тех неистовых прений, которые вызвал мой обстоятельный и беспристрастный доклад», – писал он.

И беспощадный, добавим мы. В борьбе за высокое литературное качество он не жалел ни чужих, ни своих. Что Анна Радлова! В 1938 году сын Николай прислал К. И. свой перевод «Улялюм» Эдгара По – и отец, похвалив некоторые строки, не преминул язвительно заметить: «Дико называть Психею, волочащую крылья по камням, – сестрёнкой. Это все равно, что Прометея назвать: „братишечка“».

Николай внял. Немедленно прислал исправления и попросил перенести их на свой экземпляр – но отец уже классифицировал ошибку, уже знал, что ею проиллюстрировать, уже взял ее в оборот… и вот сначала в одной из статей об искусстве перевода («Глухонемые в опере»), а затем и в следующих одно за другим переизданиях книги «Искусство перевода» («Высокое искусство») мы читаем: "В одном из недавних переводов мистической элегии

Эдгара По «Улялюм», насыщенной таинственно жуткими образами, есть такое обращение к Психее:

Что за надпись, – спросил я, – сестренка,
Здесь на склепе, который угрюм?

В подлиннике, конечно, сестра".

А дальше – да, угадали, дальше говорится о Прометее-братишечке.

20 ноября Корней Иванович указал Николаю Корнеевичу на промах. 24 ноября Николай Корнеевич выслал Корнею Ивановичу новый вариант:

"Что за надпись, сестра дорогая,
Здесь, на склепе?" – спросил я, угрюм.

Четыре дня! Стилистическая небрежность сына даже в печать не попала, но К. И. навеки законсервировал ее в своей книге в назидание слишком торопливым переводчикам. «Литература – абсолютна!» – писал он еще в 1906 году. Тридцать лет спустя она оставалась для него столь же абсолютной. Даже немножко чересчур.

21 января 1935 года К. И. поссорился с женой. Возможно, они ссорились немало, но эта ссора, видимо, была не рядовой. «Я сказал М. Б., что еду в Москву, и она два дня в исступлении проклинала меня», – записывал К. И. в дневнике. И чуть ниже писал потрясенным курсивом: "Из-за ссоры с Марией Борисовной *я не кончил статьи о Репине* и не привел в окончательный вид своей книжки". Отвлечься на житейское, пренебречь литературным – это уже тянуло на настоящее преступление.

В последующие дни он мало спал, поездка оказалась неудачной, изобиловала бытовыми неурядицами и бюрократическими неудобствами, понятно и раздражение, которое он испытывал в это время, и злость на жену, которая не дала ему закончить работу, изводила и проклинала… И все-таки.

Вот он пишет сыну 25 января: «У меня душа болит: ничего не знаю, что с мамой. И как это дело решится, не имею понятия». Дальше излагает, как трудно ему добиваться печатания своих книг, сколько препон приходится преодолеть. "И вот в то самое время, когда я готовлюсь к Репинскому докладу, хлопочу о гостинице (номеров нет) и воюю за «Искусство перевода», получаю от мамы телеграмму: «Приезжай сейчас же или не возвращайся никогда». Что это такое? Во имя чего это делается?

Ведь мы с тобою оба – писатели, и ты хорошо знаешь, сколько душевной силы приходится нам тратить на каждую свою книгу. Не знаю, как ты, но я 9/10 всех своих мыслей отдаю своим писаниям. Утром в постели я думаю не о политике, не о здоровье моих близких, не о квартирных делах, не о моих отношениях к Лиде, а только о том, *что я сегодня буду писать.* И в Москве меня интересуют не театры, не психология моих знакомых, не Третьяковская галерея, а то, что я пишу, и борьба за напечатание моих вещей. Сейчас мне важно сдать «Репина» в журнал или Горькому, протащить «Искусство перевода», сделать из «Искусства перевода» статью и поместить ее где-нибудь в журнале, продержать корректуру моих сказок в «Academia» и т. д. *Других забот и мыслей у меня нет".*

В это время в Ленинграде не находит себе места пожираемая душевной болью после не завершившейся примирением ссоры Мария Борисовна. И странная ее телеграмма продиктована хоть и неизвестными обстоятельствами, но совершенно очевидным отчаянием. Судя по обмолвкам в переписке К. И. с сыном, по обстоятельствам, ранее оборвавшим общение К. И. с Раисой Ломоносовой, – можно предположить, что причина кризисов в семье Чуковских могла отчасти заключаться в неразумной, мучительной ревности Марии Борисовны. И очень может быть, что это была ревность не бытовая, бабья, собственническая (хотя и для этого Чуковский, по его же собственным словам, давал основания), – возможно, это была и ревность к другой стороне его жизни – московской, литературной, внутренней – какой угодно; важно то, что жена не чувствовала прежней человеческой близости. Возможно, ей казалось, что ее не пускали в этот внутренний мир. Возможно, совместно пережитая смерть ребенка не сблизила, а отдалила их. Это нам неизвестно – видно только, что был кризис, был отъезд Корнея Ивановича, была телеграмма, посланная вдогонку.

Марии Борисовне уже перевалило за пятьдесят, она много болела, не оправилась еще от утраты Муры, бесконечно боялась за других детей, тревожилась, могла всполошить родных телеграммой с запросом о их здоровье после какого-нибудь страшного сна… Трудно сказать, почему она так не хотела отъезда К. И. в Москву – подозревала ли что-то, чувствовала ли себя брошенной в каких-то трудных обстоятельствах. Обстоятельства, впрочем, никогда не были легкими: большая семья – всегда много тревог; может быть, одной из причин тревоги именно в это время стал недавний уход Лидии Корнеевны от мужа. Она с маленькой дочерью переселилась к знакомым, тогда как муж, Цезарь Вольпе, оставался в квартире

Чуковских. Надо добавить еще, что в это время в ее жизни уже появился Матвей Петрович Бронштейн, талантливый молодой физик – ее главная любовь; человек, заслуживающий куда большего, чем краткое упоминание в скобках. Но о Лидии Корнеевне и Матвее Петровиче – потом; очень может быть, что к семейной драме Чуковских-старших уход дочери из дома никакого отношения не имел.

Телеграмма – вопль отчаяния, адресованный мужу, призыв срочно разобраться, покончить с этим делом, вернуться, если любит, не бросать одну с тяжелыми мыслями – или поставить точку в отношениях, поскольку продолжать их так невыносимо. Но вот как он реагирует в письме к сыну: «Во мне вся кровь закипает, я прихожу в бешенство, если свой человек, ближайший свидетель моих усилий, может, по своей воле, – все мои планы разбивать и калечить – и в то время, когда моя голова занята моими писаниями, вбивать в мою голову какие-то другие мысли, навязывать посторонние заботы – и напоминать мне какие-то старые мои (может быть, и большие) грехи. Таким образом, вся моя рабочая программа полетела к чертям… Прошу тебя как-нибудь урезонить маму, иначе жизнь моя станет сплошным терзанием». И ладно бы страдания жены (пусть неразумные и неправильные) казались ему навязанными «посторонними заботами» по сравнению с каким-то великим трудом, чем-то вроде «Войны и мира», от которого ничто не должно его отвлекать… Но его великий труд сейчас – это бесконечный беличий бег в колесе: «Искусство перевода» вычеркнули из плана издательства «Academia», надо принять меры, надо выступить с докладом, надо сдать «Репина», сделать статью, поместить в журнале, продержать корректуру сказок… *«Других забот и мыслей у меня нет».* Ей, скорей всего, кажется, что он глух к ее переживаниям, ему – что она глуха к его важным заботам.

Если даже близким не прощался грех весьма скромный – попытка затмить собой литературную текучку – что уж говорить тогда об Анне Радловой, согрешившей, по меркам Чуковского, куда хуже: против самой литературы! А вот, кстати, и цитата для иллюстрации: «Формальные установки стали для нее Радловой самоцелью, а в искусстве это – непрощаемый грех».

Заметим главное: сражался К. И. не столько против Радловой, сколько за важные для него принципы: за художественность перевода, а не только научность, за верность качеству, а не только количеству, за живую душу поэзии – в противовес нужным, но напрасно возводимым в ранг абсолюта требованиям эквиритмии и эквилинеарности. «Научные приемы и методы в качестве руководящих тенденций – если они сочетаются с талантом,

вдохновением, чутьем – могут творить чудеса, – подводил Чуковский в „Высоком искусстве“ черту под давней дискуссией. – Без этого непременного условия научность превращается в обузу: механическое, неодухотворенное применение в искусстве каких бы то ни было готовых рецептов – будь они архинаучны – неизменно приводит к банкротству. Нельзя делать себе фетиши из каких бы то ни было служебных теорий и принципов, нельзя приносить в жертву этим фетишам и свой вкус, и свое дарование».

Он сокрушал нового врага так же безжалостно, как когда-то Чарскую. Пастернак даже сердито писал Лозинскому в 1939 году – как раз по следам нашумевшего диспута:

"Вы легко поймете, какую радость доставил мне этот труд (работа над переводами Шекспира. – *И. Л.),* не только не омраченный ничем полемическим по адресу товарищей по призванью, но наоборот, только-то и открывший мне по-настоящему глаза на истинную силу их заслуг. Эту радость отравили мне нападки Корнея Ивановича на Радлову. Конечно, они несправедливы. Мне нравится ее Гамлет, живость и естественность ее речи, особенно в прозаических местах, в некоторых случаях мастерских. Я не знаю адреса Анны Дмитриевны, а то бы написал ей сейчас и ее утешил. По-видимому, К. И. собирается теперь разнести меня и Вас. Он только недавно прочел ее Гамлета (он знал другие ее переводы) и, к моей радости, хвалит его. Значит, нам придется пострадать ей во славу, здесь ведь совсем особая система мышленья, в этом отношении он и Р<адлова> явленья близкие и законные партнеры".

Однако надо отдать должное К. И.: он умел замечать удачу – даже у человека, чью работу он только что разнес в пух и прах, – и у Радловой он нашел немало ценного, и тут Борис Леонидович не слишком справедлив. Однако Пастернак предугадал довольно точно: его собственный перевод «Гамлета» Корнею Ивановичу не особенно понравился. Но печатно выступать против него Чуковский не стал: просто обошел вниманием в своей книге – как бы нет его, и всё. А «Гамлета» Лозинского он даже похвалил в своей излюбленной манере – похвалил-обругал: «Этот перевод можно читать рядом с подлинником, как идеальный подстрочник». И уточнил дальше: в нем есть «ряд недостатков, вызванных почти исключительно тем, что переводчик с чрезмерной, я бы сказал, с фанатической ревностью служит фетишу эквилинеарности».

Остается добавить, что, как и в случае с Чарской, непрошеным союзником Чуковского в борьбе с Анной Радловой

стала история, вмешательство которой и в этот раз омрачило его торжество. Через несколько лет Радлова была арестована и впоследствии скончалась в лагере. Может даже показаться, что резкие выступления Чуковского и спровоцировали власть на репрессивные меры и в том, и в другом случае. Однако судьба Чарской сложилась после революции не лучшим образом отнюдь не по вине Чуковского. И Радлову арестовали не как плохую переводчицу Шекспира, а как жену Сергея Радлова, руководителя театра, который остался в Пятигорске во время оккупации и продолжал ставить спектакли при фашистах. Но, конечно, если не вдаваться в детали, руководствуясь логикой «после того – значит, вследствие того», – то Чуковский получается фигурой зловещей, даже демонической – вопреки исторической правде. Однако все не так просто: иные, в том числе Шостакович, например, так и не могли простить Чуковскому другого: нападок на переводчицу в те времена, когда семья Радловых уже подверглась репрессиям.

Впрочем, это мы уже забежали далеко вперед. Возвращаемся в 1934 год.

Самый крупный подкуп

1 декабря Чуковский записывал в дневнике: «Писал „Искусство перевода“. Очень горячо писал. Принял брому, вижу, что не заснуть, пошел к Щепкиной-Куперник». Вернувшись от нее, лег, стал читать на ночь – вдруг позвонили из «Правды»: Кирова убили! "Все у меня завертелось, – записывает Чуковский. – О сне, конечно, не могло быть и речи. Какой демонстративно подлый провокационный поступок – и *кто* мог его совершить?"

Кирова любили. Киров был «наш Киров», «наш ленинградский». «Кирова жалеют все, говорят о нем нежно, – записывает К. И. – Я не спал снова – и, не находя себе места, уехал в Москву». В это же время Сталин выехал в Ленинград – лично разбираться в убийстве Кирова. Гамма чувств, владеющих людьми в эти дни, – растерянность, недоумение, страх, ожидание, гнев… «Не находя себе места» – очень точная характеристика жуткого, подвешенного состояния человека, которого уже зацепил и поволок исторический поток, хотя он еще и не осознает этого.

В Москве он несколько дней провел в обществе Каменева и Зиновьева, которые вскоре, 16 декабря, были арестованы. И того и другого Чуковский знал еще с первых послереволюционных лет и не питал к обоим вождям большой симпатии. Судя по дневниковой записи, 4 декабря он весь день работал в гостиничном номере, а потом позвонил Каменеву (тот в это время был директором издательства «Academia», в котором как раз готовились к печати «Сказки» Чуковского с иллюстрациями Конашевича). Каменев пригласил его ужинать, затем вместе с Зиновьевым они пошли в Колонный зал Дома союзов, где стоял гроб с телом Кирова. В довольно пространной записи говорится об очереди к гробу, красноармейском оцеплении, траурном убранстве зала. Затем Каменев, желавший встать в почетный караул, записал в него и Чуковского – и К. И. встал у гроба, а потом записывал, что лицо Кирова было «ужасающе зелено», «как будто его покрасили в зеленую краску»…

Дальше в дневнике дыра, нет в эти дни и газетных публикаций. Наверняка пробел заполнен обычной редакционно-издательской текучкой. В это же время незаметно начинает крутиться мясорубка репрессий: по сталинскому приказу упростили процедуру судебного разбирательства дел о террористических организациях, начались массовые аресты…

20 декабря Чуковский ошарашенно записывает в дневнике: «В „Academia“ носятся слухи, что уже 4 дня как арестован Каменев. Никто ничего определенного не говорит, но по умолчаниям

можно заключить, что это так. Неужели он такой негодяй? Неужели он имел какое-нб. отношение к убийству Кирова? В таком случае он лицемер сверхъестественный, т. к. к гробу Кирова он шел вместе со мной в глубоком горе, негодуя против гнусного убийцы. И притворялся, что занят исключительно литературой. С утра до ночи сидел с профессорами, с академиками – с Оксманом, с Азадовским, толкуя о делах Пушкинского Дома, будущего журнала и проч. Взял у меня статью о Шекспире, которая ему очень понравилась, звонил мне об этой статье ночью – указывал, как переделать ее, спрашивал о радловском переводе „Отелло“ – и казалось, весь поглощен своей литературной работой. А между тем…»

Запись чрезвычайно важная тем, что именно так начиналась «Софья Петровна» во всенародном масштабе: так выбирали между верой собственному опыту, своей памяти, своим чувствам – и верой печатному слову, партии, историческому опыту, наконец. Раздвоение это почти непереносимо для нормального сознания – это даже не столкновение нормы с абсурдом, как у Кафки или Набокова в «Приглашении на казнь», – это, скорее, выбор между двумя реальностями, одинаково очевидными, дорогими и равноценными; абсурд еще не обнаружил себя. В перестройку часто спрашивали, как же люди могли «во все это верить», почему партии доверяли больше, чем себе, а логике истории верили больше, чем здравому смыслу и близким людям.

Потому ли, что исторический опыт был столь поразительно огромен, нов и прекрасен? Потому ли, что в масштабах бескрайней страны восторжествовала, кажется, «поэзия созидательного труда»? Потому ли, что – кажется – закончилась война всех со всеми, взаимное бессмысленное истребление, и начался мирный, честный, умный труд на благо всех и каждого, и каждый мог в нем участвовать всеми своими силами, всей душой?

Смысл великого обмана хорошо сформулирован в «Прочерке» Лидии Корнеевны, которая с болью вспоминала, какими наивными и советскими были тогда и люди, окружавшие ее, и она сама. Почему поверили, как могли, спрашивала она себя и подругу Тамару Габбе: «Мы трудились от души. Что же слепило нам глаза, что заставляло сочувствовать пятилетке, индустриализации, стахановскому движению, челюскинцам и пр. и т. д. и т. п.?» – «Подкуп», – бесстрашно отвечала Тамара. «Да какой же подкуп? Талоны в привилегированную столовую, где мы никогда не успевали пообедать, угорелые от сверхсильного труда? Мы жизнь свою жертвовали труду, а получали выговоры с занесением в личное дело». – «Мы были подкуплены самым крупным подкупом, какой существует в мире, – отвечала

Тамара. – Свыше десяти лет нам хоть и со стеснениями, с ограничениями, а все-таки позволяли трудиться осмысленно, делать так и то, что мы полагали необходимым. Сократи нам зарплату вдвое, мы работали бы с неменьшим усердием. Индустриализация там или коллективизация, а грамоте и любви к литературе подрастающее поколение учить надо. Отстаивать культуру языка, культуру издания, художничество, прививать вкус – надо».

Самый крупный подкуп был – возможность жить осмысленно, участвовать в общем созидательном труде ради великой и прекрасной цели. Человеку, вкусившему радости творческого труда («со всеми сообща и заодно с правопорядком»), и впрямь легче было усомниться в собственной правоте, чем в правильности происходящего.

Реальность не сразу сделалась абсурдной, она искривлялась постепенно и незаметно. Те же Каменев и Зиновьев уже каялись когда-то в антипартийных деяниях, уже были в ссылке; на них лежали уже какие-то сомнительные пятна; они не были безупречны и с человеческой точки зрения – Зиновьева, к примеру, многие не любили еще во времена его градоначальства в Петрограде. Поверить в виновность неприятного и неблизкого человека легко, даже если обвинения невозможны по своей чудовищности; так выбор незаметно делается не в пользу собственного опыта. Вот, например, в 1937 году Паустовский писал Эйхлеру: «Получается дико – самого честного из поэтов Пастернака травят, а прожженные мерзавцы десятки лет пользуются неограниченным доверием и предают свою страну, как это делали Радек и другие. Дело настолько чудовищное, что с трудом укладывается в сознании, – сегодня мы слышали по радио отрывки обвинительного акта».

Так, с трудом, невообразимое все-таки укладывалось в сознании, находило себе в нем место; так живой человеческий разум, сталкиваясь с логикой абсолютного зла, не узнавал ее и искал зло там, где привычнее. Что-то было в ситуации несомненно дьявольское. Но разглядеть абсолютное зло в радостном движении масс ко всемирному, общечеловеческому счастью – это как для верующего усомниться в существовании Бога, поверить в то, что в мире нет добра (а ведь непосредственный опыт говорит, что оно есть!). Легче увидеть дьявола в ближнем своем, чем во главе позитивного исторического процесса, коего ты сам участник; легче поверить в собственную близорукость, чем во вселенскую ложь. «Неужели он такой негодяй?», «и притворялся, что занят исключительно литературой»… Так появляется вера в то, что рядом есть

«сверхъестественные лицемеры» и «прожженные мерзавцы», представители абсолютного зла, люди из преисподней, глубоко законспирированные, закамуфлированные, легко притворяющиеся своими враги, вредители, шпионы…

«Очень волнует меня дело Зиновьева, Каменева и других, – пишет К. И. в дневнике 18 января 1935 года. – Вчера читал обвинительный акт. Оказывается, для этих людей литература была дымовая завеса, которой они прикрывали свои убогие политические цели. А я-то верил, что Каменев и вправду волнуется по поводу переводов Шекспира, озабочен юбилеем Пушкина, хлопочет о журнале Пушкинского Дома и вся его жизнь у нас на ладони… По его словам, Зиновьев до такой степени вошел в л-ру, что даже стал детские сказки писать, и он даже показывал мне детскую сказку Зиновьева с картинками… очень неумелую, но трогательную… Понемногу он Каменев стал пользоваться в литер, среде некоторым моральным авторитетом – и все это, оказывается, было ширмой для него, как для политического авантюриста, который пытался захватить культурные высоты в стране, дабы вернуть себе утраченный политический капитал. Так ли это? Не знаю. Похоже, что так».

Он еще сомневается: «Так ли это? Не знаю». В его уме еще не вполне уложилось неукладываемое. Он соотносит преступление со своей системой ценностей – культурной; пытается обосновать прочитанное в газете своими доводами: они прикрывались литературой ради своих политических целей… Это в его глазах – куда большее преступление, чем создание подпольной контрреволюционной организации – «о его политической карьере я не знаю ничего», говорит он о Каменеве.

Скоро процессы пойдут один за другим, образ вредителя станет привычным, чудовищное начнет укрепляться в правах нормы. А когда феномен притаившегося рядом врага уже конституирован, когда он прижился в массовом сознании, стал привычным – тут Софья Петровна уже будет готова поверить в то, что ее сын – шпион.

Все это пока далеко, не заполняет размышлений, не составляет содержание дней: сейчас они целиком заняты текучкой, повседневным трудом. Снова начались цензурные мучения с «Крокодилом» – а казалось, они прекратились раз и навсегда. «Неужто кончился либерализм 1932 года?» – недоумевает Чуковский. В сказке снова начали искать тайный смысл, второе дно: городового нельзя, но милиционера тоже нельзя, где это видано, чтобы советские милиционеры запрещали говорить по-немецки? И «бедный, бедный Ленинград» – политический намек, а уж «там наши братья, как в аду, в

Зоологическом саду», «там под бичами палачей немало мучится зверей» – в дни судебного процесса по делу «Ленинградского центра» тоже как-то сомнительно… «Все это еще месяц назад казалось невинной шуткой, а теперь после смерти Кирова звучит иносказательно. И потому Семашко, даже не уведомив меня, распорядился вырезать из Сборника моих сказок „Крокодила“», – негодует в дневнике Чуковский.

Почти сразу после убийства Кирова в Ленинграде начались аресты и высылка из города интеллигенции и людей дворянского происхождения. Количество репрессированных исчислялось десятками тысяч и близко коснулось практически каждого творческого работника: уезжали друзья и знакомые.

В феврале 1935-го в Большой дом вызвали Лидию Корнеевну: требовали сотрудничества – «помогать органам разоблачать еще недоразоблаченных врагов». Только этим, сказали, она может искупить свою вину. Под виной подразумевалась давняя история с арестом и высылкой в Саратов. Следователи кричали. Потом стреляли – не то холостыми, не то в воздух. Стреляли, пугали. «Привыкла, что тебя по голове гладят? Мы тебя отучим!»

Она вернулась домой и пыталась объяснить мужу Матвею (по-домашнему – Мите): "Я хочу, чтобы ты понял про них… Там что-то случилось… Новое… Я ведь видала их и раньше… Я тебе рассказывала… Нет, ты не понимаешь!.. Они всегда одинаковые, *они* – это всегда *они,* но они меняют обличье". Но он не понимал – про «новый оскал звериных зубов», про «послекировское», «откровенное» – он ее жалел. Сначала Лидия Корнеевна и Матвей Петрович ждали ареста каждую ночь, потом перестали. «Дни требовали безотрывного труда и от меня, и от Мити и поисков квартиры для обмена, для обретения наконец нового общего дома».

Новый дом появился при неожиданных обстоятельствах. Из Ленинграда по причине все того же дворянского происхождения выслали чету Пыпиных. «Специалист по шестидесятым годам, Николай Александрович Пыпин, и жена его Екатерина Николаевна, скромные, тихие люди», как пишет о них Лидия Корнеевна, были давними знакомцами К. И.: он еще в самом начале своей петербургской жизни работал у Евгения Ляцкого, женатого на Вере Александровне Пыпиной. И, конечно, изучая Некрасова, постоянно общался с историками и филологами, изучающими шестидесятые годы. Пыпины были родственниками Чернышевского. «Когда Чернышевский был сослан в Сибирь, Пыпины воспитали его детей, приютили у себя его жену, двадцать лет оказывали ему денежную помощь, – и вот теперь единственный член этой семьи Николай Александрович Пыпин

ссылается из Ленинграда на Восток», – писал Корней Иванович Горькому. Объяснял, что Н. А. – прекрасный ученый, что без библиотек он работать не может. Приложил к письму газетную вырезку с сообщением о даре Пыпина Литературному музею: ученый передал туда три книги, принадлежавшие Чернышевскому. Наконец, К. И. прибавлял: «Ему 60 лет. Никаких преступлений за ним нет. Сейчас я прочитал в газетах прилагаемую при сем заметку, и мне стало больно, что по недоразумению этот ближайший родственник Чернышевского может так жестоко пострадать».

Пыпиных вернули с дороги в Ленинград. Однако они не желали больше оставаться в своей квартире (не ладили с управдомом, объясняет Лидия Корнеевна в «Прочерке» – а не ладить с управдомом, особенно для людей в их положении, было опасно). Лидия Корнеевна, пока жившая с дочерью у своей подруги Александры Любарской, обменяла свои две комнаты в большой квартире Чуковских на Кирочной на квартиру Пыпиных. "С моим и Цезаревым уходом (бывший муж Л. К., поняв, что жена не вернется, тоже съехал с квартиры. – *И. Л.)* в квартире Корнея Ивановича образовались жилищные излишки. Законы насчет излишков были в ту пору строги, и Корнею Ивановичу необходимо было срочно две комнаты по собственному выбору заселить – иначе власти вселят туда кого угодно". Так квартира Чуковских превратилась в коммунальную. "Пыпины заняли ту часть нашей квартиры, где родилась Мурочка, где я написал «Мойдодыра», «Книгу о Некрасове», «Ахматова и Маяковск.», «Муху-Цокотуху», – писал К. И. в дневнике в мае 1935 года.

В том же мае 1935-го ЦК ВКП(б) в закрытом письме, разосланном в первичные партийные организации, требовал выявлять врагов партии и рабочего класса. Пока еще казалось, что аресты и высылка – это не система, а недоразумение, случайное извращение; предыдущие годы всех приучили к тому, что могут схватить по ошибке, что по хлопотам могут выпустить. Хлопотать приходилось много.

В сентябре Лидия Корнеевна в письме отцу просила совета и хлопот о талантливой писательнице Раисе Васильевой – одной из первых арестованных в редакции Маршака – и о Жене – фамилия не указана, но, возможно, это Женя Курчавова, одноклассница Л. К. («ходят слухи, что ей и матери придется выехать. А между тем мать ее почти при смерти. Напиши, что делать, если слухи подтвердятся. Сможешь ли ты что-нибудь предпринять на расстоянии?»). В октябре – снова просит в письме: «Очень жду известий о Васе. Дело это необходимо сделать. Напиши мне о результатах твоего визита. Авось удалось! Ведь у тебя легкая рука

и большой стаж». Стаж хлопот у К. И. и впрямь был огромный. И рука легкая – многих он спас. Но помочь Васильевой не получилось: она так и не вышла на свободу и была расстреляна в 1938-м.

Совершенно разрываясь между Москвой и Ленинградом, Чуковский в 1935 году живет на ходу, пишет в гостиницах и санаториях, пристраивает написанное в печать, вычитывает, дерется за опубликование. Как в дореволюционной юности, он много выступает, много публикуется в периодике, мало и плохо спит.

16 января 1936 года он так отвечал «Комсомольской правде», которая спрашивала писателей, что они пишут для детей:

«Нехватка людей заставляет нас, творческих работников, в частности меня, много времени уделять редакторской работе. Готовлю сейчас к печати избранные произведения Некрасова (для детей). Работу провожу так: читаю стихи Некрасова с группой ребят, учащихся 11-й школы Смольнинского района, и выясняю, что именно доходит до сознания ребят, что им понятно. В эту книгу думаю включить и произведения поэта, которые будут одобрены этой детской группой. Готовлю еще и первое издание Шекспира для детей. Пишу биографию Шекспира, вступительные статьи и комментарии. С большим интересом редактирую книгу стихов для детей еврейского поэта Квитко. Прошлым летом постарался специально изучить еврейский язык, чтобы иметь возможность перевести на русский язык несколько стихотворений. Сегодня закончил перевод „Принц и нищий“. Это совершенно новый перевод, решительно отличающийся от всех предыдущих. Выйдет книга в 1936 году. В этом году надеюсь найти время, чтобы осуществить свою давнишнюю мечту – закончить повесть „Госпогода“, которую начал еще 10 лет назад… Кроме того, рассчитываю в этом году написать одну детскую поэму вроде „Крокодила“».

В другой тональности описаны его трудовые будни в дневниковой записи от 1 января:

"Лег вчера спать в 7 часов. Встал в три и корплю над ненавистным мне «Принцем и нищим»… Иная страница отнимает у меня полтора часа и даже больше. А во имя чего я работаю? Сам не знаю. Хочется писать *свое,* голова так и рвется от мыслей, а приходится тратить все дни на черную батрацкую работу. И такой работы очень много. Чуть я кончу «Принца и нищего», придется погрузиться в редактуру Некрасова, в редактуру Шекспира, в редактуру Репина, а когда же писать, черт возьми! Почему из писателя я превратился в поденщика? Вот даю себе зарок на новый год – больше до самой смерти не брать никаких

окололитературных работ, а только писать повести, статьи, стихи. Ведь это смешно сказать: сказки мои имеют огромный успех, а у меня уже 5 лет нет ни секунды свободной, чтобы написать новую сказку, и я завидую каждому, кто имеет возможность хоть и бездарно писать свое".

Помимо статей, посвященных переводу, в 1935 году он много пишет о детях: детской литературе, ее преподавании в школе, о детских библиотеках, о детском творчестве.

В «Правде» и «Вечерней красной газете» он публикует в этом году три одинаково озаглавленные статьи «Великое в малом» – о том, как эпоха отражается в детских словечках: «Мамочка, я тебя люблю – до стратосферы!» Лошадь остановилась – «току нет». Швейцар парикмахерской не пошел на работу – внучка испугалась: «Что же будет с нашей пятилеткой?» «Детское слово зачастую характеризует не только среду, где формируется мышление ребенка, но и те огромные сдвиги, которые происходят в стране», – пишет Чуковский. «Мы должны возможно скорее приступить к собиранию и всестороннему исследованию этих речений. Это займет не последнее место в ряду документов о двух великих десятилетиях нашей исторической эпохи».

Он в этом году много встречается со школьниками, ходит на уроки литературы. Даже в Кисловодске, куда он по обыкновению уехал в сентябре на отдых, он не столько блаженствует в нарзанных ваннах, сколько продолжает заниматься волнующей его проблемой. Разговаривает с учителями, читает учебники – и подвергает резкой критике всю систему преподавания литературы в школе, основанную на вульгарно-социологическом подходе и зубрежке.

Статья «Литература и школа», опубликованная в «Правде» 30 октября 1935 года: «Школяры доведены до такой степени дрессировки, что, даже не дослушав вопроса, лихо барабанят ответ».

«На днях на Юге я вошел в пятый класс одной образцовой, показательной школы и подумал, что у детей болят зубы: такая тоска была на всех лицах».

«В некоторых (особенно московских показательных) школах учителя щеголяют формальным анализом каждого произведения поэзии: „Перечисли эпитеты“, „укажи приемы контраста“. Этот анализ хорош лишь тогда, когда он сопряжен с эмоциональным отношением к поэзии. А сам по себе он окончательно убивает в ребенке всякий живой интерес к произведениям словесности».

Статья «Разговор с шестиклассником», 13 декабря, тоже «Правда»:

«И как могут они, эти люди, анализировать форму того или

иного произведения словесности, если они так нечувствительны к форме своих собственных писаний: говорят о гениальных мастерах и художниках слова, а у самих все слова стоеросовые».

«Порой департаментский стиль сочетается в книге со стилем бухгалтерским: „Поэт в начале четвертой строфы дает итоговое заключение: ‘Все хорошо под сиянием лунным‘“. Таким образом детей с самого раннего возраста приучают к дешевым, штампованным фразам при оценке литературных явлений».

«Впрочем, и худшие и лучшие статьи учебника литературы тут почти одинаковы: их объединяет тот корявый, бюрократический стиль, который я бы назвал наркомпросовским».

Его мишень в каждой статье – Наркомпрос. Он от всей души ненавидит созданную наркоматом систему преподавания литературы в школе. С Наркомпросом он борется бескомпромиссно и систематически, еще с конца 1920-х, – фактически борется с государственной машиной, пытается повернуть ее в другую сторону.

Еще десять дней спустя, и опять в «Правде», выходят «Поставщики литературных сухарей»:

«Я не говорю, что советские школьники при их понятливости и упрямом трудолюбии, не могут в конце концов одолеть эти дремучие строки. Могут. Но не требуйте, чтобы с именем Пушкина после этой тяжелой работы была у них связана радость».

«Если же Наркомпросу не терпится заявить малышам о либеральных симпатиях юноши-Пушкина, пусть даст им четыре стиха из „Деревни“ (ровно четыре – не больше!)».

«Вообще, если составители программ нарочно стремились представить нашу словесность в самом невкусном, неудобоваримом и непривлекательном виде, они достигли своей цели».

«Скажут: учебники должны изощрять классовую зоркость ребенка. Так. Но неужели нельзя сочетать социальный анализ с любовным и живым восприятием гениального творчества классиков?!»

И в январе 1936-го в правдинской статье «Поэзия по-Наркомпросовски»:

«…Наши учебники, хрестоматии, методические пособия, программы – все страдают стихофобией, дурно скрываемой враждою к поэзии и никакого стихового воспитания даже не пытаются дать нашим школьникам».

Надо хорошо понимать, что представляли собой учебники литературы в 1930-е годы. Они и сейчас-то, через 70 с лишним лет критики, борьбы со штампами, «типичными

представителями», «сравнительными характеристиками» и «раскрытием образа», после двух десятилетий работы над очеловечиванием учебного курса, – по-прежнему предлагают ученикам задумываться над «основным пафосом поэзии Пушкина» и «раскрытием исторической характерности и своеобразия поздней, зрелой поэзии Лермонтова в критике Белинского». Даже теперь строки Чуковского, посвященные преподаванию литературы в школе, звучат актуально. Еще четверть века назад чеховского «Ионыча» на уроках литературы разбирали, записывая «план показа гибели личности», – того самого «показа», который и Чуковского возмущал в далеком 1935 году. Вот он приводит цитату из учебника: «Ценность Шевченко для нашего времени – в его революционных стихах и в правдивом показе тяжести крепостной эпохи». А уж в тридцатые годы школьные учебники литературы были совсем невыносимы: сплошной социальный анализ (юмористы издевались: «Татьяна? – так себе, мелкопоместная»), классовая точка зрения, да все это еще в якобы научном изложении – то есть как можно более тяжелом и канцелярском. Добавим вечную беду школьной программы – фрагментарность, отрывочность сведений; украсим анализом формы (завязка-кульминация, гипербола-метафора, анапест-амфибрахий)… преподнесем этот коктейль ребенку – и получим тоску, ненависть и отторжение. Ничего другого и не могло в нем пробудить преподавание по этому образцу. Отчего и кричал Чуковский в главном партийном печатном органе на всю страну:

«Только люди, не любящие и Пушкина, и наших детей, могут предлагать двенадцатилетнему школьнику архаический текст, полный славянизмов и непостижимых метафор».

«И какое упрощенчество во всей этой лжи: дворяне обиделись на какие-то (совсем необидные!) четыре строки, и вот „сформировались два лагеря“. К таким ли методам мышления о процессах литературной истории должны мы приучать наших школьников».

«Развитие эстетического вкуса детей – об этом в наркомпросовских программах ни слова. О Шевченко детям говорят исключительно как о революционном бойце, и вся изумительная красота его творчества проходит мимо детей».

«Казалось бы, если хочешь вселить в их сердца горячие чувства к литературному творчеству братских народов, научи их восхищаться стихами Тычины, Чаренца, Маркиша, Лахути, Табидзе. А если дашь им зубрить скверные переводы каких-то случайных отрывков, это будет для них только лишней нагрузкой и вряд ли внушит им большие симпатии к литературному

творчеству братских народов».

«Сплошная социологизация и ни одного грамма любви!»

Чуковский пытается поставить на место перевернутое с ног на голову: литература – это не надстройка, не иллюстрация к учебнику истории, где описана борьба классов. Это радость и красота. Ее надо не зубрить, а любить. Любовь важнее, чем классовый подход, нужнее, чем формальный анализ. Любовь – главное в педагогике по-чуковски: собственно, и культура здесь не самоцель, а средство формирования и оттачивания умной, гибкой, сострадающей, любящей, творческой души.

Пожалуй, его ужасало, какие люди могут вырасти при таком воспитании: чужие, мыслящие заданными схемами, безрассудно верящие пропаганде – ненавистные ему еще с дореволюционных времен люди массы. Признавался ли он себе, что напророчил верно – и под красным знаменем пришел тот же Пинкертон?

Нет, не хотел он в это верить, и, может быть, правильно. Потому что многое внушало радостную надежду: общество, кажется, все-таки повернулось лицом к ребенку, стало внимательнее относиться к детской душе, вдумчивее подходить к воспитанию. Книга «От двух до пяти», написанная просто и понятно, с заразительной любовью, разлеталась как горячие пирожки, и родители со всей страны, заново открывшие для себя детство, заваливали Чуковского письмами с вопросами, рассуждениями, рассказами, детскими словечками. Главная газета страны поддержала его в борьбе с наркомпросовской черствостью и сухостью. И, кажется, не только главная газета: таков в этот исторический период был основной вектор культурного развития. Называлось это «борьба с левацким загибом».

Необыкновенно чуткое ухо Чуковского легко ловило новые словечки, выражавшие сам дух эпохи, – отсюда в его статьях середины тридцатых встречаются и «вредители», и «левацкий», и «сухари». «Сухарями» воспитателей детей назвал Александр Косарев, молодой вожак комсомола. Комсомол тоже перестраивался в духе общих перемен: пытался очеловечиться. Многие, кстати, связывали эти попытки очеловечивания с харизматичным вождем – до такой степени, что в комсомоле появился свой маленький культ личности Косарева.

У литераторов, и Чуковского в том числе, вспыхнула новая надежда: значит, это все-таки не государство, а искажения, извращения, значит, можно еще биться за действительно художественную литературу, высококачественное книгоиздание, хорошую критику, компетентное и любовное преподавание в школе.

Страна немножко отдышалась после голода коллективизации и непосильного рывка индустриализации. Она истосковалась по нормальной жизни. И вот Сталин провозгласил в ноябре 1935 года: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Стране разрешили отойти от вынужденной аскезы, в жизни появилось место празднику. Не идеологически выдержанному, а просто празднику. Началось с письма Постышева в «Правде» в конце 1935 года о необходимости разрешить новогодние елки: «Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как „левые“, загибщики ославили это детское развлечение, как буржуазную затею». И вот уже в стране началась счастливая новогодняя кутерьма, лихорадочная закупка елок, целлулоидных игрушек и шоколадных бонбоньерок. Комсомол получил партийное поручение устроить елки для детей. И вот уже ЦК ВЛКСМ в своем постановлении наставлял школы, как организовать елки: «Вечера эти должны пройти весело и организованно: на них ни в коем случае не допускаются доклады о деятельности школы, о задачах наступающего года и т. п.». Косарев настаивал: «Комсомольцы первые должны осудить этих „сухарей“, уже немало навредивших делу воспитания здорового, веселого и жизнерадостного поколения. Обязанность каждой комсомольской организации – приготовить детворе подшефной школы такую яркую и веселую елку, которая затмила бы все новогодние елки былого, которая надолго осталась бы в памяти ребенка».

И вот уже на открытии первого детского фестиваля искусств, приуроченного к новогодним празднествам, секретарь ЦК и МК ВЛКСМ тов. Лукьянов говорил: «Такой замечательный отдых ребятам способна дать только наша страна, наша партия, ее мудрый вождь Сталин, окружающий неограниченной теплотой и заботой воспитание юной смены». Зал аплодировал стоя.

Вот уже в «Комсомолке» появился святочный рассказ Сергея Крушинского (спустя десятилетие это имя еще появится в нашем повествовании), выдержанный в полном соответствии с линией партии: в нем некий «поборник идеологически выдержанных агит-елок» пытался «подвергнуть погашению» вредную елку, а Дед Мороз, внезапно оказавшийся секретарем райкома, констатировал: «Мы зря доверили такому сухарю работу с детьми».

«Сухари» побеждены. Жизнь, кажется, возвращается в нормальное, человеческое состояние, где есть место не только подвигу, но и человеческому теплу. Страна, соскучившаяся по нему, исступленно, со слезами на глазах, благодарит руководство

за «неограниченную теплоту и заботу». Овации гремят по пять, десять, пятнадцать минут, и никто не останавливается – пока еще от счастья, а не от страха. 1935–1936 годы – это апофеоз народной любви: никогда раньше и никогда позже народ не любил власть так искренне, так нежно. И никогда в ней так горько не обманывался.

То же счастье взаимной любви, то же ощущение распахнувшихся бескрайних перспектив для творчества испытывают и писатели. Как секретарь райкома в глупом рассказе стал Дедом Морозом, так партия и комсомол неожиданно оказались союзниками детских писателей в борьбе против схемы, догмы, вульгарного социологизма наркомпросовских деятелей. Через несколько месяцев партия станет инициатором огромных перемен в системе образования, окончательно уничтожив педологов, давних врагов Чуковского и его литературных соратников, своим постановлением «О педологических извращениях в системе Наркомпросов».

В начале 1936 года Чуковский продолжает активно выступать в печати со статьями о преподавании литературы в школе. Участвует во многочисленных совещаниях, которые созывают комсомол и писательские организации. Неустанно обличает Наркомпрос и призывает других к борьбе. 18 января он в «Правде» выступил со статьей «Литература в школе», где, среди прочего, возмущался стишками из одобренного Наркомпросом и изданного большим тиражом букваря Фортунатовой. Стишки историко-революционного содержания кроились, как «Гаврилиада» Ляписа-Трубецкого, по одному и тому же лекалу:

Был хозяин на заводе.
Он нас в голоде держал.
За станком отец Володи
У него весь день стоял.

Уж давно с того завода
Богатей тот убежал.
И теперь отец Володи
Управлять заводом стал.

Далее следовал аналогичный стишок про отца Евгеши, трудившегося в деревне на барина, а потом барин тоже убежал, и «теперь отец Евгеши управлять колхозом стал»…

"Одни только не убежали: невежды-педологи, которые гнездятся в Наркомпросе, – сердился Чуковский. – И, к сожалению, мы не можем написать:

Уж давно из Наркомпроса
Тот педолог убежал".

Здесь в тексте более поздних изданий (статья прилагается к книге «От двух до пяти») стоит сноска: «Стихи пророческие. Написаны в январе 1936 года. Теперь, после постановления ЦК (от 4 июля), педологам, к счастью, пришлось „убежать“ не только из Наркомпроса, но и из всех советских учреждений».

10 февраля, в канун Поэтического пленума в Минске Чуковский в статье «Поэты, защищайте поэзию!» снова цитировал те же стишки и призывал участников, советских поэтов, «поднять голос в защиту советского школьника от тех колченогих, шершавых, бездарных стихов, которыми питают его буквари, хрестоматии, учебники, утвержденные бюрократами школьного ведомства».

9 января 1936 года Чуковский записывал в дневнике: "Третьего дня Желдин (директор Ленинградского отделения Детиздата. – *И. Л.)* мне сказал, что 15/1 в Москве совещание по детской книге. Большое совещание, созываемое по инициативе ЦК, и что я должен поехать. Когда же писать! Только что было совещание с Косаревым, потом Кино-Совещание, потом – по детской книге. Всякая поездка в Москву стоит мне года жизни, и, узнав о предстоящей поездке, я уже перестал спать за 5 дней до нее". В апреле записывал: «Третьего дня получил приглашение, подписанное Бубновым, явиться в Кремль для обсуждения предстоящих пушкинских торжеств. Это ударило меня как обухом: был занят Репиным, отделывал своего „Медведя“, составлял „Лирику“, редактировал 2-й том Некрасова – все это к спеху – и вдруг на тебе».

Спать перестал, писать некогда, все это к спеху – но от участия в совещаниях К. И. не отказывается: появилась, наконец, долгожданная возможность делать хорошее дело легально и в режиме наибольшего благоприятствования со стороны властей. Последний раз он испытывал такие надежды в 1918 году: «…мне так весело думать, что я могу дать читателям хорошего Стивенсона, ОТенри, Сэмюэля Бетлера, Карле ила, что я работаю с утра до ночи – а иногда и ночи напролет…»

Кажется, наконец-то достигнуто взаимопонимание между писателями и властью: кажется, добиваются они одного, стремятся к одному. На этом коротком историческом этапе их векторы неожиданно совпали. Партия и комсомол советуются с писателями. Вопрос о детской книге рассматривается на многочисленных мероприятиях, и Чуковский неизменно на них

присутствует. В январе проходила конференция детских писателей при ЦК ВЛКСМ.

Чуковский выступил с большой речью, которую вместе с другими материалами совещания напечатала «Литературная газета» (речь К. И. названа «Дела детские»). Интересно, что почти все участники совещания говорили о разногласиях между московским и ленинградским отделениями Детиздата. Паустовский назвал их гоголевской ссорой из-за гусака, Щербаков, тогда секретарь Союза писателей, даже покритиковал Лидию Корнеевну Чуковскую, «хорошую, нужную, деловую речь» которой, по его мнению, совершенно испортила концовка, где она процитировала ляп из книжки, выпущенной москвичами. Корней Иванович в своей речи говорил о том, что между московской и ленинградской редакциями «всегда была бездна», о том, что в Москве «под эгидой тогдашнего ГУС» до недавнего времени «процветала фаланга бракоделов-небрежников». «Мы, ленинградцы, – говорил он, – фанатики высокого литературного качества. Мы за классически-четкую форму, за железную дисциплину стиха, за строго выдержанный, нерасхлябанный стиль. Мы ненавидим дилетантщину, хотя бы она сопрягалась с талантливостью». Оратор выражал далее надежду, что теперь, когда ЦК комсомола «внес в детскую литературу столько света и воздуха, сделав ее нужды достоянием общественности», именно по этому пути будут идти и москвичи, и ленинградцы.

Кстати, о «железной дисциплине стиха», противопоставляемой «неряшливости в детской литературе», Чуковский тогда же написал и в «Красную новь» (№ 2, 1936), требуя объявить «смертный бой» «всем поэтическим заикам, неряхам, губошлепам и путаникам… какими бы лозунгами они ни прикрывали свое бракоделие». И снова требовал биться за «классически точные рифмы, за классически точную и правильную ритмику, за классически правильное развитие сюжета» и в детской, и во взрослой литературе, поскольку только «железная дисциплина стиха выведет нашу поэзию из состояния расхлябанности, в котором она сейчас находится». Эти строки вызвали осторожное недоумение Николая Тихонова, который возражал в «Литературке»: «Можем ли мы принять эти положения без обсуждения всей полноты поэзии, всех форм поэтического хозяйства?» Опасение, скорей всего, было вызвано тем, что призыв Чуковского мог быть истолкован как «назад к классике» и совпал по времени с началом кампании борьбы с формализом; Тихонов вежливо пытался отстоять стих, не слишком классический по форме.

На совещание кто-то (газетные отчеты умалчивают, кто)

принес «Альбом любви и страдания», безграмотный песенник школьницы Нины Чичильевой с пошлыми жестокими романсами, записанными со слуха. Украинская делегатка тов. Барун предложила, чтобы школьники не увлекались пошлятиной, дать им хорошую книгу о любви и страдании: издать качественный сборник любовных лирических песен. Предложение это не приводится в газетном тексте ее речи, но на Барун ссылается Чуковский, с жаром поддержавший эту смелую по тогдашним временам мысль. К. И. в это время фонтанирует идеями – и многие из них осуществляются: через несколько месяцев он сам получил заказ от Детиздата на формирование именно такого сборника. В этой же речи он предлагает комсомолу создать литературную студию для начинающих детских писателей, говоря о том, что уже десять лет носится с этой мыслью, что «приходил с этим замыслом ко всем директорам Детиздата поочередно…». К его предложениям готовы прислушаться – и он неустанно рассказывает о том, как правильно преподавать литературу, как издавать книги, как наполнять школьные библиотеки, как насытить книжный голод – сейчас, когда спрос на книги необычайно вырос.

Записи, сделанные Корнеем Ивановичем во время и после совещания в ЦК ВЛКСМ, – совершенно эйфорические. Он пишет о появившейся у него новой идее детской книги, где должна вылиться его «жаркая любовь к советскому ребенку»; причем тему эту он осмыслил до конца только сейчас, под влиянием беседы с Косаревым, обаятельный комсомольский вожак кажется ему искренним и естественным: «Ничего фальшивого, казенного, банального он не выносит. Какое счастье, что детская л-ра наконец-то попала в его руки. И вообще в руки Комсомола. Сразу почувствовалось дуновение свежего ветра, словно дверь распахнули. Прежде она была в каком-то зловонном подвале, и ВЛКСМ вытащил ее оттуда на сквозняк».

Он действительно верит в перемены к лучшему. В феврале он выступает в журнале «Большевик» со статьей «Хорошая, яркая детская книжка будет создана». Он совершенно куплен самым большим подкупом – возможностью делать хорошее дело, дать детям хорошую книгу, поставить на новый лад преподавание литературы в школе – и все изменится, и люди станут другими. «Книги перерождают самый организм человека, изменяют его кровь, его наружность», как он много лет назад писал библиотекарю Гребенщикову.

А вот дневниковая запись: "Хочется делать в десять раз больше для детской литературы, чем делали до сих пор. Я взял на себя задание – дать Детиздату 14 книг, и я их дам, хоть издохну.

О совещании не записываю, так как и без записи помню каждое слово. То, за что я бился в течение всех этих лет, теперь осуществилось. У советских детей *будут превосходные книги.* И будут скоро".

Детская литература обсуждалась и на X съезде ВЛКСМ в апреле 1936 года. К. И. тоже выступал на нем с докладом, созданным на основе правдинских выступлений о преподавании литературы в школе. «Пишу доклад для съезда. Волнуюсь», – записывал он в дневнике. Речь Чуковского на съезде приводят «Известия». Почти после каждой фразы следуют ремарки: «смех в зале», «оживление и смех в зале», «аплодисменты». В своем выступлении он снова нападал на Наркомпрос, критикуя одобренные им учебники, созданные им программы, где каждого писателя разбирают с точки зрения его классовой принадлежности и социальной позиции. Рассказывая об уроке, где о Брюсове говорили, «как о конокраде», Чуковский сказал: «Учителя винить невозможно, такова программа Наркомпроса» – и в зале раздались смех и бурные аплодисменты. Читаем дальше: «Я надеюсь, что когда ленинский комсомол возьмется по-настоящему за школьное дело, он камня на камне не оставит от таких методов преподавания словесности (смех). Тут нужно переделать решительно все: начиная от букваря до учебника десятого класса».

И дальше Чуковский делится предложениями: чтобы писатели не оставались в стороне, общались с педагогами, чтобы Детгиз, ЦК ВЛКСМ и писатели вместе начали выпускать детскую литературную газету, чтобы создан был институт изучения детей. Этот фрагмент его речи, пожалуй, стоит процитировать. После выхода книги «От двух до пяти», рассказывает он, "едва люди узнали, что есть где-то в Ленинграде какой-то человек, который не совсем равнодушен к ребенку, со всех концов Союза ко мне посыпалось множество писем и отнюдь не о том, о чем я говорил в своей книжке, а о самых разнообразных вещах, не имеющих никакого касательства к той теме, которая была мною затронута. Меня спрашивали: как кормить? Как пеленать? Как укачивать? Какие петь колыбельные песни? Как лечить от рахита? И что делать, если ребенок заика, и полезны ли детям игрушки, а если да, то какие? И как объяснить детям половую проблему? И есть ли в огурцах витамины? И могут ли ученые заранее узнать, кто родится, мальчик или девочка, и как сделать, чтобы родился мальчик.

Обращаются за советом к писателю. Почему к писателю, а не к авторитетному научному учреждению? Потому что такого учреждения нет. Потому что существующие в системе

Наркомпроса и Наркомздрава научные институты до сих пор не взялись как следует за организацию подлинно научной помощи юным родителям в деле воспитания детей". Он снова выражает надежду, что комсомол заполнит и этот «вопиющий пробел», призывает Детиздат выпустить серию книг о ребенке, где воплотилась бы, наконец, вся существующая уже, но неписаная мудрость советской педагогики. И заканчивает такой фиоритурой, каких от него еще никто никогда не слышал: «У нас нет еще таких педагогических книг, которые хотя бы в малой степени отражали мудрую работу всей партии, проделанную под руководством величайшего педагога всего человечества в самом высоком значении этого слова, – Иосифа Виссарионовича Сталина (шумные аплодисменты), обеспечившего всем нашим детям такое счастливое детство».

Его впечатления от съезда – самые счастливые. Именно тогда была сделана многажды цитированная и комментированная запись о том, как Пастернак и Чуковский видели Сталина:

"Что сделалось с залом! А *ОН* стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для нас всех было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства… Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!» (на минуту).

Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью".

Может быть, это специально вписано «для показа властям» – как приписано к одной из записей о том же Пастернаке, сделанной во время скандала из-за его Нобелевской премии? Возможно? Возможно. Но в 1936 году у Чуковского еще не было никакой необходимости заявлять в дневнике о своей лояльности. К тому же и нелояльных записей, видимо, было немало – если судить по тому, что в этом году вновь появляются вырванные страницы, вырезанные строчки, оторванные куски страниц.

Чем же продиктованы эти поразительные строки? Почему в съездовской речи Чуковского возник «величайший педагог»? Только ли потому, что это славословия вождю были обязательны в каждой речи, была ли эти «марочка», как позже говорила Лидия Корнеевна об обязательных цитатах из вождей, – марочка, без которой письмо не дойдет?

Был ли это чистый конформизм, расчет, хитрость, игра по установленным правилам? Многим легче думать, что именно хитрость, – уж очень не хочется верить, что Чуковский и Пастернак и в самом деле «упивались радостью» при виде тирана. Отношения Пастернака и Сталина – отдельный вопрос, которого мы здесь касаться не будем. А Чуковский сам признавался, уже в 1956 году, когда культ личности был развенчан: «…я, несмотря ни на что, очень любил Сталина, но писал о нем меньше, чем другие» – это он сказал Казакевичу и записал разговор в дневник. Почему писал меньше, чем другие, – понятно, об этом они еще в 1930 году говорили с Тыняновым. «Столько прохвостов хвалят его Сталина теперь для самозащиты, что, если мы слишком громко начнем восхвалять его, и нас причислят к той же бессовестной группе», – сказал Тынянов, который, по словам Чуковского, из чувства уважения к советской власти не хотел афишировать свою ей преданность.

В те годы всякое появление Сталина на общественном мероприятии вызывало волны счастья, общую эйфорию, необыкновенное воодушевление – так радовались бы появлению божества. Вот, к примеру, шапка «Правды» в конце 1936 года – красным цветом набрано в верхнем правом углу: «На трибуну чрезвычайного VII Всесоюзного Съезда Советов взойдет товарищ Сталин. Гений нового мира, мудрейший человек эпохи, великий вождь коммунизма доложит хозяину земли советский кодекс завоеваний, хартию свобод и прав трудового народа» (то есть выступит перед народом с докладом о конституции). На фоне нескончаемых потоков подобного треска «величайший педагог» выглядит очень и очень умеренно; заметим при этом, что речь идет не о заслугах Сталина в деле воспитания детей, а о великих уроках, которые страна, считал Чуковский (и не он один), преподнесла всему миру.

Приливы всеобщей любви омывали вождя на съездах, слетах и пленумах, демонстрациях и парадах. И Чуковский, и Пастернак, оба люди чрезвычайно тонкой нервной организации, не могли не уловить эту мощнейшую волну энтузиазма, счастья, обожания. И очень может быть, что собственные эмоции, вполне совпадавшие с общим настроением, вошли в резонанс и были многократно усилены; отсюда и «никогда я даже не считал себя способным на такие чувства».

Это и в самом деле новое для Чуковского ощущение: он всегда был индивидуумом, человеком отдельным, никогда не растворявшимся ни в каком «мы». Это был для него первый и, пожалуй, единственный опыт коллективного чувствования – общего морока, наваждения толпы, когда самый здравый человек

оказывается способен на неожиданные чувства и поступки.

«Формалистическое кривляние»

В 1936 году государство снова взялось за искусство и литературу. Борьба с левыми загибщиками велась и здесь – но мишенью ее стал отнюдь не вульгарный социологизм, наркомпросовский вариант которого Чуковский громил со страниц «Правды». В те же дни в той же «Правде» – фактически одновременно со статьями Чуковского о преподавании литературы в школе – появилась целая серия редакционных статей, громящих «левацкое искусство» и требующих «простоты, реализма, понятности образа, естественного звучания слова». Так началась кампания борьбы с формализмом. В конце января газета предавала анафеме оперу Шостаковича в статье «Сумбур вместо музыки», в феврале – его же балет (статья «Балетная фальшь»). Затем пришла очередь архитектуры («Какофония в архитектуре»), а также изобразительного искусства и книгоиздания («О художниках-пачкунах»). Предметом расправы были выбраны наиболее яркие и талантливые книжные иллюстраторы – Татьяна Маврина, Юрий Васнецов, Владимир Лебедев, Владимир Конашевич. Лебедева бранили за иллюстрации к «Сказкам, песням, загадкам» Маршака (после чего практически весь тираж книги был уничтожен или изъят из библиотек), а Конашевича – за картинки к «Сказкам» Чуковского. Надо добавить, что с Конашевичем, первыми иллюстрациями которого К. И. был недоволен – настолько, что поехал к художнику знакомиться и разговаривать, – к 1936 году у него уже сложилось крепкое и плодотворное сотрудничество, продолжавшееся много лет.

Ленинградские писатели явились на общегородское собрание 16 февраля. С докладом «Политическая лирика» выступил Николай Асеев. Доклад его был превосходно выдержан в стилистике политического доноса. Корнею Чуковскому посвящался обширный фрагмент. Асеев жаловался: написал стихотворение «Двое неизвестных» – о выходном дне общественного работника, – встретил Чуковского на бульваре и решил показать стихи ему. Дальнейший текст заслуживает обширного цитирования:

"Медоточивая фигура Корнея Ивановича мне кланяется. Должен сказать, что вообще Корней Иванович мне не нравится, но все-таки этот человек переводил Уитмена, написал «Мойдодыра». Я считал, что такой человек может быть судьей. И вот я, встретясь с ним, с бухту-барахту прочитал этих «Двое неизвестных». По мере чтения я завядал и подумал: какой я дурак!

Корней Иванович смотрел по сторонам, смотрел на трамваи, наконец порылся в портфеле, вынул листочек и сказал: вот послушайте, я вам стихи прочту. И начал читать стихотворение – высокое парнасское стихотворение, очень благородное, вроде розового ногтя на мизинце, очень отшлифованного и не очень нужного на руке.

Когда я спросил его, чьи же стихи, он мне сказал: вот теперь так не умеют писать, Николай Николаевич, а написал это Осип Эмильевич.

Я, конечно, не мог спорить и ушел от него не с пощечиной, а с подзатыльником".

Кажется, правда, никаких оргвыводов из этого замечательного выступления все-таки не последовало – по крайней мере, в отношении Чуковского.

А Мандельштам и так уже был в ссылке.

Отзвуки кампании борьбы с формализмом слышатся в дневниковой записи К. И. от 21 февраля 1936 года, посвященной удачным рисункам художницы Сафоновой к «Айболиту»: "Но Цыпину (директор издательства «Детская литература». – *И. Л.)* главным обр. понравился модный теперь реализм. «Вот что нам надо!» – закричал он (т. к. ЦК требует у него теперь реализма)". В этой же записи говорится о решении «ликвидировать ленинградскую редакцию и очень скоро», «отстранить Маршака от редакционной работы».

Разгром начался повсюду: формалистов шельмовали в издательствах, научных институтах, музыкальных школах, театрах, музеях, учебных заведениях. «Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке», – заявляла «Правда» в статье, поносящей Шостаковича.

В марте Чуковский выступал в Союзе художников – рассказывал о Репине. От его записи об этом выступлении оторвано несколько строк, сохранившиеся дышат недовольством: "И в этом нынешнем походе на Лебедева, на Тырсу и проч. все дело вовсе не в линии ЦК, а в том, что вся основная масса середняков-художников, в сущности, бездарные мазилки —

Без божества, без вдохновенья".

Казалось бы, вектор усилий К. И. и государства и здесь совпадал, как и в случае с педологами и вообще в борьбе против сухой наркомпросовской системы. Вроде бы, государство выступало за ясность, красоту, естественность – те же требования на первый взгляд предъявлял к литературе и Чуковский. И там

государство уничтожило под корень неприятелей Чуковского, и здесь взялось за направление, давним и принципиальным противником которого он был. Но К. И. не радовался – совсем наоборот, именно в это время он писал одному из своих коллег, что сейчас неуместно предъявлять счеты формалистам: «…у них тоже „дети есть“. Им тоже невесело». (Кстати, у Лидии Корнеевны в «Прочерке» встречается сходный по смыслу сюжет, относящийся к 1937 году: идет разгром редакции Маршака, и Л. К. просит пушкиниста Александра Слонимского не выступать на собрании с текстологическими претензиями к Александре Любарской: "Сегодня пойдут здесь дела совсем не литературного свойства. Не выступайте, советую вам, на *этом* собрании".)

Формалистам и тем, кого к ним причисляли, и впрямь было невесело. Леонид Рахманов сохранил для истории печальную шутку Юрия Тынянова: «Называть каждого, кто заботится о форме, формалистом – все равно, что каждого, кто заботится о содержании, – содержанкой». (Е. Ц. Чуковская со слов Каверина приводит еще одну реплику Тынянова: услышав «ваше поколение» – Тынянов отреагировал: «Наше околение – а вы по колено».) Формалистами и в самом деле объявляли тех, кто просто заботился о форме: время по-прежнему предписывало задумываться исключительно о содержании. Лозунги выдвигались новые, а смысл кампании оставался старым как мир: бездарное против талантливого, шаблонное против нестандартного.

В апреле выступить в кампании против формализма решил Горький, тоже давний участник споров о форме и содержании. Но пролетарский писатель занял совсем другую позицию, нежели Чуковский: в его статье художественный спор между формалистами и реалистами был переведен, наконец, в политическую плоскость: «Некоторые авторы пользуются формализмом как средством одеть свои мысли так, чтоб не сразу было ясно их уродливо-враждебное отношение к действительности, их намерение исказить смысл фактов и явлений». И хотя дальше Горький говорил уже не о формализме, а «о формах нашего поведения», о том, что писатели должны осудить фашизм, что до сих пор не создана книга, «которая изобразила бы грандиозный процесс преображения страны с той силой и красотой, которую этот процесс вносит в жизнь мира», – слово против формализма им было сказано и расценено обществом как руководство к действию.

К этому времени борьба шла уж полным ходом: осуждали Таирова и Мейерхольда, требовали покаяний от литературоведов… В Москве травили как формалистов Пильняка, Федина, Всеволода Иванова и Леонова. Ленинградские писатели

собирались в течение последней мартовской недели раз пять – искали, где в их среде угнездился враг.

Первой жертвой стал талантливый прозаик Леонид Добычин. Его рукопись, присланную когда-то в «Русский современник», Чуковский нашел в самотеке и опубликовал. Затем помогал ему печататься – да, собственно, просто помогал жить тем, что верил в его писательскую судьбу и проявлял участие. Добычин дружил и с младшими Чуковскими – Николаем и Мариной, Марина Николаевна оставила о нем воспоминания. На собрании ленинградских писателей «Город Эн» Добычина был назван «концентратом формалистических явлений в литературе». «Любование прошлым и горечь от того, что оно потеряно, – квинтэссенция этого произведения, которое смело можно назвать произведением глубоко враждебным нам…» – припечатал с размаху критик Ефим Добин, редактор «Литературного Ленинграда».

Истязали автора долго и со вкусом. Советские собрания с разбором персональных дел вообще обладали удивительным по силе воздействием: подвергнутый остракизму по окончании процедуры ясно понимал, что дальнейшее его существование в этом обществе, а то и на этом свете, лишено всякого смысла. Известен, например, случай, когда пожилой педолог умер на улице от инфаркта сразу после собрания, где разбирали постановление «О педологических извращениях в системе Наркомпросов»… Другие писали письма Сталину, третьи сходили с ума. Добычин выдержал обструкцию, взял слово, произнес: «С тем, что здесь говорилось, я не согласен».

И ушел.

Отправил матери свои вещи, написал письма, оставил на столе чужие книги с записками, кому их вернуть. Написал Николаю Чуковскому письмо с просьбой отдать его долги, когда будет получен его гонорар. Ночью говорил с Чуковскими по телефону. После этого – пропал. Считается, что он утопился. Через некоторое время мать Добычина, встревоженная присланными вещами, послала Чуковским письмо с просьбой сообщить о судьбе ее сына; так, собственно, и обнаружилось его исчезновение.

Утром в газете – вечером на собрании; отстранение от должности, исключение книг из редакционного плана, объявление вредным, ненужным, врагом, вредителем… где грань возможного в этом коллективном упоении собственной бдительностью, – никто не знал; мудрено ли, что в феврале, когда «Комсомолка» обругала «Барабека», Чуковский ночь не спал? У него уже был опыт загнанного зверя, за которым несется свора

борзых – «Ату его! Ату!».

Борьба с формализмом задела его самым краешком: как мы помним, обвинения в этом грехе уже много раз предъявлялись к маленькому стихотворению «Котауси и Мау си». На этот раз сборник английских песенок с иллюстрациями Конашевича обругал в «Известиях» Т. Чугуев: «Это формалистическое кривлянье и рифмованное сюсюканье Чуковского, закрепляя неправильности языка, встречающиеся у детей, мешает развитию их речи». «Что за наркомпросовская отрыжка!» – негодовала в письме отцу Лидия Корнеевна. Правда, на сей раз к борьбе с чуковщиной не призывали – скорее, мягко укоряли автора: статья называлась «Плохая книжка хорошего писателя». Автор заодно ругнул все того же «Барабека» и стишок «Наши-то портные» – опять-таки защищая честь портняжного цеха… «Человеческая глупость / Безысходна, бесконечна, величава», – заключала Лидия Корнеевна цитатой из Блока.

Формалистов изводили на корню весь 1936 год, всякий раз клеймя издательства, театры, редакции за «грубые политические ошибки». Однако уже к концу года нашлись другие объекты охоты: один за другим идут процессы вредителей, страшнее и трескучее делается риторика газет. В ноябре, освещая процесс троцкистов-вредителей-диверсантов на рудниках Кузбасса, «Правда» уже блистала вот такими стилистическими красотами: «уничтожая без пощады троцкистскую озверевшую сволочь, советский суд выкорчевывает самые подлые остатки капиталистических классов в советской стране»; «подлые двурушники и лицемеры, презренные выученики Троцкого», «наймиты фашизма», «троцкистские гады», «самые оголтелые и зверские агенты капитализма»… Кончались газетные отчеты неизменным требованием «Смерть врагам народа!».

Страна тем временем жила своими буднями великих строек, арктическими подвигами, беспосадочными перелетами. Обсуждала сталинскую конституцию, обучалась политграмоте и задумывалась об усложняющейся международной обстановке: над миром собирались тучи, готовились большие войны.

Жизнь продолжала расслаиваться на поверхностный, видимый слой и слой потайной, глубинный, о котором не говорят вслух (разве что шепотом) и в письмах (разве что намеками); зазор между этими двумя слоями все ширился. Из воронежской ссылки Чуковскому писал отчаянные письма Мандельштам. К письмам прилагались переписанные Надеждой Яковлевной стихи – смутные, бесконечно усталые, неясные: в густом воздухе гудят поезда, висит ожидание беды… Иногда появлялся он сам – нелегальными набегами. «И весь его смятенный облик стал как

бы воплощением невыносимого горя», – писал К. И. в комментарии к записям поэта в «Чукоккале». Зачем вы приезжали в Ленинград, спрашивал потом следователь у арестованного Мандельштама. «В Ленинград я ездил, чтобы получить материальную поддержку от литераторов, – отвечал тот. – Эту поддержку мне оказали Тынянов, Чуковский, Зощенко и Стенич».

Хлопоты о высланных и арестованных, денежная поддержка нуждающихся, утешение подвергнутых остракизму – тихая, незаметная, тайная жизнь; попытка собственными силами справиться с тем, что все еще кажется издержками, случайным и наносным явлением.

Внешний слой – счастье востребованности, поэзия труда и труды на благо поэзии. В этом году Чуковский получил от Детиздата замечательный заказ на вымечтанную им книгу: «… собрать любовные песни, романсового типа – для подростков, чтобы отбить у них охоту от цыганской пошлятины». Он охотно взялся за дело: «Я с радостью выбираю у Фета, у Полонского, у Анны Ахматовой, у Бориса Корнилова. У каждого лирика. Ничего нет у Мея, хотя я перелистал его из строки в строку».

В июне он отправился в Сестрорецк на курорт, где, разумеется, тосковал в обществе взрослых и возился с местными детьми. В Сестрорецке сделана запись: «Только что узнал, что умер Горький. Ночь. Хожу по саду и плачу… и ни строки написать не могу. Бросил работу… Начал было стихи—о докторе Айболите – и ни строчки. Как часто я не понимал А. М-ча, сколько было в нем поэтичного, мягкого – как человек он был выше всех своих писаний».

Ходит и плачет, снова осиротевший. Их связывали двадцать лет знакомства и совместной работы. Они то сближались, то отдалялись, – в последние годы вообще мало общались друг с другом, но Горький всегда был где-то рядом. Это не о «великом пролетарском писателе», не о буревестнике, не о коллеге или знакомом плач – а об огромной, неповторимой человеческой душе.

«Литературный Ленинград» 22 июня опубликовал отчет о поездке ленинградских писателей на похороны Горького. Среди них – Чуковский.

С уходом Горького открылся сезон смертей. Пока Алексей Максимович был жив, у интеллигенции была надежда на его заступничество, к которому столь многие прибегали. В том числе и Чуковский, и Лидия Корнеевна, и работавшая под крылом Горького маршаковская редакция. «Не раз, в ответ на призыв Маршака, Горький вступался за выпускаемые нами книги и за вовлеченных нами в работу литераторов, – писала Лидия

Корнеевна в „Прочерке“. – Вступался в „Правде“, в „Литературной газете“, личным обращением к власть имущим… И вот – Горького нет. Звать на помощь некого».

Шепотом поползли слухи: Горького убили.

Уже через несколько месяцев замахала беспощадная коса: обвинения в терроризме, шпионаже, вредительстве, первые громкие расстрелы – Зиновьев, Каменев. Что думал Чуковский, следя за газетными отчетами? Ни дневников, ни писем, ни устных свидетельств, ни письменных.

«Летом 36-го, – пишет Лидия Корнеевна в „Прочерке“, – когда разгром редакции только еще намечался, побывали они оба, Маршак и Чуковский, на каком-то нудном совещании в Союзе. Жара. Духота. Скука. Самуил Яковлевич Корнею Ивановичу или Корней Иванович Самуилу Яковлевичу, не помню, – отправил через стол записку: „Когда кончится эта скука, удерем на Невский. Выпьем холодной газированной воды и потолкуем по душам“. Тот, кто записку получил, кивнул тому, кто ее написал, и, скомкав и разорвав, бросил в пепельницу. Так вот, Борис Андреевич Лавренев, участвовавший в заседании, не поленился тогда же подобрать обрывки, склеил, сфотографировал, сохранил до времени – а когда разразился погром, предъявил в президиум Союза. „Поговорим по душам!“ Сговор! Организационная сходка! Конспирация! И Чуковский, значит, входил во вражескую группу – разоблаченную ныне вредительскую группу Маршака, которая столько лет орудовала и протаскивала!»

Лето и раннюю осень Чуковский провел в разъездах. Уехал в Киев, затем ездил по Украине, снова возвращался в Киев: пионерлагеря, детские дома, встречи с писателями. Заезжал в Ирпень, где в это время в Доме творчества отдыхал Николай Корнеевич. Неподалеку от Дома творчества, как оказалось, жил Антон Семенович Макаренко, с которым К. И. довольно быстро свел дружбу. Чуковскому чрезвычайно понравились воспитанники Макаренко, учтивые юноши, похожие на оксфордских студентов (бывшие воры, сказал Антон Семенович). Понравились главным образом изысканной воспитанностью: «мне… больше всего бросилась в глаза деликатность, привитая им Антоном Семеновичем: было ясно, что он требовал от них не только трудовой дисциплины, но и тонкой, задушевной учтивости». Понравился и сам Макаренко – его целеустремленность, душевная сила, железная воля, мягкий юмор. Общие интересы обозначились быстро: борьба с Наркомпросом, литературные дела, педагогика. Макаренко и Чуковский нашли друг в друге союзников.

В воспоминаниях о Макаренко Чуковский пишет и о своей

внезапной болезни:

«Дело происходило в Киеве на экстренном заседании Союза писателей. Лето было знойное. От духоты, от табачного дыму, от непривычки к запальчивым прениям я вдруг потерял сознание, – как говорится, „сомлел“ – и очнулся лишь через час или два в гостинице „Континенталь“ у себя в номере. Я лежал в постели, и первый, кого я увидел, был нахмуренный и молчаливый Макаренко. Оказывается, он присутствовал на том же заседании союза и, заметив, что мне стало дурно, отвез меня в гостиницу и вот уже столько времени сидит у моего одра, как сиделка».

Чуковский болел довольно долго – в чужом городе, в гостинице; после этого еще долго страдал «лютыми бессонницами». Выходили его Макаренко с воспитанниками и семья поэта Льва Квитко, к которому он вскоре переехал.

С Квитко К. И. познакомился в начале этого года – и чрезвычайно увлекся и стихами его, и самим поэтом. Стихи так очаровали Чуковского, что он даже взялся разбирать идиш, пытаясь понять, как полюбившиеся ему строки должны звучать в оригинале. К. И. написал о Квитко для «Красной газеты». Занялся изданием его книги: подыскивал переводчиков, обсуждал с Маршаком компоновку книги, просил заменить неудачные строки в отдельных стихах… И в дневниках, и в воспоминаниях, и в газетной статье К. И. неизменно отзывается о поэте с любовью: «ясный душою, нежный, спокойный и абсолютно здоровый человек», «за всю свою жизнь я не встречал человека, который был бы в такой полной гармонии с самим собою, с природой, с людьми. От него так и веяло счастьем». Гармония и счастье – вообще ключевые понятия в эстетике Чуковского; Квитко был «его» поэт, абсолютно родственная душа – родственная именно своей детскостью, готовностью играть, радоваться, любить. Чуковский, естественно, стал читать стихи Квитко Антону Макаренко, и тот чрезвычайно их полюбил.

Интересно, насколько совпадают комплиментарные оценки – то, чем больше всего восхищается Чуковский в своих новых друзьях: душевная ясность, гармония, задушевность, деликатность – и железная дисциплина (именно у Квитко он находит ту самую «железную дисциплину стиха», которую неустанно проповедовал в печати). «Ни малейшей расхлябанности» – о стихах поэта. «Ни одной развинченной гайки» – об облике педагога. Мажорный, жизнеутверждающий – это о Квитко; лиризм, энергия – о Макаренко… Перелистать страницы «Современников», где соседствуют очерки об этих людях, долистать до Чехова – и мы увидим, что Чуковский и в нем выделяет, ценит, подчеркивает именно эти черты: ясность,

гармоничность, жизнелюбие, энергию, тонкость и сложность душевной организации…

А между строк читается, до какой степени он устал от людей мутных и грубых, находящихся в вечном разладе с собой и другими.

Лев Моисеевич вписал в «Чукоккалу» посвященные К. И. стихи на идише:

Вы заплываете в море далеко и быстро,
И там, где вы проплыли, сверкают волны.
А достигнув берега, вы пускаетесь в пляс,
Потому что там, где вы, – весело.
И всех нас вы увлекаете за собой.
…
Вот подул свежий ветер.
Вы поднимаетесь во весь рост.
И голова ваша упирается в небо.
Над вами встает радуга мыслей,
А на нас опускается фруктовый дождь желаний.

(Перевод С. М. Левиной-Кульневой)

В начале сентября Чуковский впервые за много лет выбрался в Одессу. Писал в дневнике: «…приехал сюда стариком и вспоминаю, вспоминаю…» Обошел памятные места: увидел дом, где жил в детстве, вторую прогимназию и «подлую пятую гимназию», дом Марии Борисовны… Зашел в местную школу, поговорил с учениками. Возможно, именно здесь он задумал писать повесть о детстве – о прошлом, о гимназии, о маме, о себе.

Из Одессы в Севастополь, из Севастополя кораблем в Крым, в Алупку, на могилу Мурочки. Заржавела и стерлась надпись на ее могиле – пишет он в дневнике 15 сентября. «А я все еще притворяюсь, что жив. Все те же колючки окружают страдалицу. Те же две дурацкие трубы – и обглоданные козами деревья… Я все не могу взяться за повесть. Жизнь моя дика и суетлива. Очень хочется писать воспоминания—для детей. Пробую. Ничего не выходит… Благосостояние мое за эти пять лет увеличилось вчетверо».

Дикая и суетливая жизнь продолжается. 8 сентября он публикует в «Правде» письмо из Киева «Унылые педагоги» – снова о преподавании словесности в духе «мрачной социологизации»; это впечатления от посещения конференции учителей о планах преподавания русской словесности в новом школьном году. 22 сентября он отправляет письмо Николаю Корнеевичу из Кореиза. Пишет, что был в Артеке, – «…и пришел в неистовый восторг. Это

самое счастливое место на земном шаре». Затем из Ялты – в Сочи, оттуда – в Кисловодск; везде он посещает школы. В ноябре в «Правде» выходит очередная статья «Библиотека и школа», где Чуковский рассказывает о том, что положение с библиотеками печальное и в Кореизе, и в Алупке, и в Новороссийске, и в других городах, что книг в них мало, да и те – «Что нужно знать пропагандисту в деревне» и «Спутник агитатора». «Брошюры отличные, – присовокупляет Чуковский, страхуясь от обвинений в политической близорукости, – но вряд ли ими приохотишь девятилетних детей к чтению».

Наконец, он предлагает решение: Детиздат и Наркомпрос должны вместе создать «стандартные, типовые библиотечки, хотя бы в двести или триста томов» и «снабжать ими школы Союза». Детиздат приступил к созданию серии немедленно. Через год, в сентябре 1937 года в статье «Библиотека при школе» К. И. говорит о том, что двадцать книг задуманной серии вышло, что книги поступают в школы, но этого недостаточно. Так было положено начало здравствующей и по сей день серии «Школьная библиотека».

Одновременно К. И. на расстоянии улаживает со своими детьми срочные хозяйственные и издательские вопросы, волнуется о Бобе, которого должны были взять в армию, жалуется в письмах Николаю на Маршака, тоже отдыхающего в Кисловодске: «интригует», «отравляет мне воздух», «за последние 3–4 месяца он только и делает, что предает меня оптом и в розницу».

Вместе с Маршаком Чуковский ездил в Кабардино-Балкарию, в Нальчик: «Видел целодневное празднество, был на банкете с Буденным и Постышевым и очень жалел, что мне не 32 года: все это так баснословно, легендарно, изумительно, радостно». В «Чукоккалу» вклеены написанные на бланке местного Дворца пионеров стихи Маршака, озаглавленные «Пьяный Маршак под лезгинку»: «Чуковскому Корнею пишу я ахинею…» В конце помечено: «Дворец пионеров. Стол. Бутылки».

Чуковский полон энергии, весел и счастлив: поправилась жена, страдавшая аритмией, сам он пришел в себя после мучительной киевской болезни, «побывал в лагерях в школах, в библиотеках четырех республик» – и ясно представляет себе, сколько всего нужно сделать, – и в области детской литературы, и в области книгоиздания, и для наполнения школьных библиотек, и для воспитания советских детей вообще. Он в эти годы будто работает чрезвычайным и полномочным послом всех детей СССР – представляет их интересы, требует изучения связанных с детством вопросов, решения связанных с правильным

воспитанием детей проблем.

Отдых кончается. Чуковский едет в Москву, затем в Ленинград. Снова пишет о литературе в школе, о чудесных советских детях и недостаточно чудесных советских педагогах. Первая дневниковая запись, сделанная в Ленинграде, гласит: «Вчера слушал в Москве по радио речь Сталина. Это речь на века». Речь посвящалась новой советской Конституции – «самой демократической в мире». Между тем НКВД возглавил Ежов. Уже начались первые аресты новой, самой страшной волны террора.

«Сокрушим, раздавим, уничтожим, растопчем…»

Новый, 1937 год начался торжественно и радостно – с первой елки в Колонном зале Дома союзов. Детей встречали гигантские куклы героев Михалкова и Чуковского. Впервые на всю страну со сцены прогремело «Елочка, зажгись!» – казалось, так славно начавшийся год сулил сплошное счастье.

Главные общественные заботы этого года – война в Испании, зреющий в Германии фашизм. И очередной процесс вредителей: Радек, Сокольников, Пятаков и другие каются в чудовищных преступлениях – шпионаже, вредительстве, диверсиях – недаром Паустовский писал, что все это «не укладывается в сознании». Покончил с собой Орджоникидзе, – так и не уложив в своем сознании происходящее. В медицинском заключении в «Правде» было написано, что смерть наступила от паралича сердца после приступа стенокардии. Чуковский откликнулся на эту смерть статьей «Любимый герой советских детей».

Главное культурное событие начала 1937-го – тоже мрачное: столетие со дня смерти Пушкина. К нему долго готовились и отмечали с колоссальным размахом, как праздник, как юбилейные торжества. Газеты выходили с целыми разворотами пушкинских материалов. Чуковский 10 февраля, в день смерти поэта, выступил в «Рабочей Москве» со статьей о том, как образ Пушкина искажали в 40—50-е годы XIX века; 13 февраля в «Правде» – со статьей «Племя младое». В нем К. И. рассказывает, как школьники любят Пушкина, жалеют его, видят в нем своего. Считают, что он «ненавидел бы фашистов так же пламенно, как ненавидят они». Изображают на рисунках Дантеса в фашистском мундире, а юного Пушкина в пионерском галстуке. Пишут стихи, в которых «стремятся обрадовать Пушкина тем, что борьба его была не напрасна». Чуковский видит не только курьезы, но живую любовь детей к поэту. «Вообще поэзия Пушкина впервые явилась советскому школьнику как прекраснейшее достижение искусства. За все годы существования наркомпросовских школ педагоги как

будто впервые постигли, что в литературе есть поэзия, красота, музыкальность, художественность. В этом неоценимая заслуга нынешнего Пушкинского года». А значит, «возможно надеяться, что вульгарному социологизму действительно близок конец». Чуковский видит в общей детской любви к Пушкину подтверждение своих мыслей о том, что человек, соприкоснувшийся с поэзией, становится лучше: дети прикоснулись к чуду стиха, поняли – в сравнении с ним – «всю лживость метода вульгарных социологов», «Пушкин в значительной степени помог нашей школе в ее перестройке».

А в газетах пушкинские строки самым мирным образом соседствуют с чудовищной лексикой политических процессов: «подлецы, посягнувшие на счастье всего трудового человечества, воплощенное в нашей родине», «троцкисты на службе фашистских разведок», «кровавые псы»…

В конце февраля на пленуме ЦК ВКП(б) с самой высокой трибуны заговорили о вредителях с партийными билетами, на ответственных постах; об иностранных шпионах и диверсантах, двурушниках, врагах народа. Мы их выявим и «сокрушим, раздавим, уничтожим, растопчем», – обещала «Правда» еще в 1936 году. Теперь поиски и сокрушение пошли полным ходом. Сигнал был дан, планы спущены. Оказалось, что диверсанты – это не какие-то далекие кровавые псы фашизма, а повседневная реальность, они всюду, они рядом с тобой. В мае заговорили о «военно-фашистском заговоре Тухачевского». С этих пор в газетах спокойные социалистические новости (подписка на заем, открытие канала Москва—Волга, награждение пионеров-передовиков, строительство новой очереди московского метро, внедрение какой-то вырубной машины, парад физкультурников, на котором фигурировал сделанный из цветов танк) ежедневно перемежаются поисками шпионов, разоблачением подрывных замыслов японской и германской разведки, выявлением троцкистов в руководстве то автономной республики, то газеты (особенно много угнездилось вредителей в «Комсомольской правде»), то предприятия, то колхоза. Аресты уже идут, но для большинства это пока чужая жизнь, это происходит где-то и с кем-то: был человек – и вдруг исчез; иногда несчастье случается с близкими, но это случайность, единичное несчастье… Печальная, шепотная, хлопотная частная жизнь и громкая, полная энтузиазма и труда жизнь общественная расходятся все дальше.

К лету враги, диверсанты, двурушники обнаружились практически во всех слоях общества. В том числе и в самых близких к Чуковскому: уже дышала на ладан редакция Маршака. 31 июля нарком внутренних дел Ежов подписал приказ, в котором

требовал с 5 августа провести «операцию по изъятию и репрессированию социально опасных элементов» и определил две категории мер наказания: расстрел и заключение в лагеря на восемь или десять лет. Был спущен и план репрессий: по первой категории – 75 950 человек, по второй – 193 тысячи человек. Формулировка расстрельного приговора так и звучала: «оформить по первой категории». Мясорубка заработала на полную мощность.

В этом году Чуковский наконец взялся за давно задуманную большую прозаическую вещь – повесть о своем одесском детстве, гимназии, исключении из нее (будущий «Серебряный герб»). При этом он много публиковался в периодике и продолжал корпеть над Некрасовым: поэта издавали как никогда много. Закончилась публикация полного собрания стихотворений (с редактурой и примечаниями Чуковского), за ним последовали «Сочинения» (редактура, биографический очерк, примечания Чуковского – и неизбежные корректуры). В следующем году вышли детиздатовские «Стихотворения» (опять-таки под редакцией К. И., с его примечаниями и биографическим очерком) в двух вариантах, большом и в серии «Школьная библиотека», потом двухтомные «Стихотворения» малой серии «Библиотеки поэта» и шеститомный Некрасов в Детиздате. И за всем этим – литературоведческие баталии, натиск профессиональных некрасоведов, текстологические штудии, редакционные переговоры, волнения – и корректуры, корректуры, корректуры…

1 апреля 1937 года, в день своего 55-летия, К. И. записывал в дневнике: «Загруженность работой небывалая. Всю зиму хворал и бессонничал. Но настроение ясное, праздничное… Повесть моя застряла. Не могу писать ее из-за того, что надо писать о Некрасове. А не пишу о Н-ве оттого, что надо писать повесть. На столе корректура Некрасова, которую не хочется держать».

В конце апреля он снова поехал в Одессу – «нахватать впечатлений для повести». Впечатления оказались не лучшими. 6 мая Чуковский писал в дневнике: «Завтра уезжаю из Одессы, почти ничего не сделав… Какой удивительно благородной и плодотворной кажется мне наша жизнь в Л-де по сравнению с этим моим дурацким мотанием здесь в этом омерзительном городе! Как он мне гадок, я понял лишь теперь, когда могу уехать из него. Хороши только дети. Но… что с ними делают».

Судя по дневникам, в начале лета Чуковский жил в Петергофе – в санатории, вместе с Тыняновым. Как всегда – общался с детьми из окрестных пионерлагерей. В июне и июле – организовывал с петергофскими «жактовскими детьми» библиотеку (о ней тем же летом написала «Пионерская правда»,

статья носила самодостаточное заглавие «Другой управдом сам организовал бы библиотеку, а этот и шкафа не дает»).

Дневниковые записи редки, писем нет, публикаций в периодике мало. Летом в «Смене» и «Правде» появляются статьи К. И., приуроченные к пятидесятилетию выхода указа министра Делянова о «кухаркиных детях». Чуковский опубликовал любопытный исторический материал, собранный в процессе работы над повестью, но непосредственно в повесть не включенный, – в основном о том, чем был продиктован и чем обернулся закон «о кухаркиных детях», тот самый, который когда-то помешал получить образование самому К. И. В правдинской статье он приводит цифры: до реформы Делянова в гимназиях России учились 70 921 человек, после – 58 794, а в СССР школьников – 30 миллионов. Рассказывает, что подружился с замечательными школьниками, отдыхающими в детском санатории МСУ, и они все до единого «кухаркины дети». Говорит, что 121-я статья Сталинской конституции дала им право на образование. Но дети не понимают, «что здесь удивительного, они пользуются этим правом как солнцем, как воздухом, и оно кажется им совершенно естественным». В «Смене» о деляновской реформе говорится менее публицистически, более художественно: материал предназначен для молодых. Здесь есть и Делянов, жирный сплетник с улыбочкой, и Победоносцев, «похожий на тощую жабу в очках», и царь Александр III, у которого в комнате живут четыре собаки, стоит вонища…

Газетный и журнальный контекст этих материалов уже вполне шизофренический: в «Правде» уживаются «сталинские богатыри», «геологический конгресс», «тундра и культура» и «прыжок с парашютом с высоты 9800 метров», с одной стороны, и с другой – «враги и чужаки», призывы к заводским многотиражкам не выдавать государственных тайн – не упоминать о характере производимой продукции; на газетной фотографии артековцев мило беседуют Барасби Хамгоков, награжденный за отличное шефство над молодняком, и Лена Петренко, премированная за задержку шпиона-диверсанта…

В «Смене» этим летом публиковались и Зощенко, и Слонимский, и Макаренко… но все это тонуло в сплошном месиве историй о врагах, лазутчиках, подрывниках. В августе «Смена» уже подробно рассказывала юным читателям о шпионах: «Шпионы используют малейшую неосмотрительность»; «шпион часто цепляется за обрывки случайных бесед, сопоставляя и обобщая слышанное. Поэтому болтливый человек легко может стать его пособником»; «шпион втирается в доверие, проникает в компанию молодежи, возит ее по ресторанам, спаивает,

одалживает деньги». В этом же журнале выступил Андрей Вышинский, рассказывая юношеству о «некоторых методах вредительско-диверсионной работы троцкистско-фашистских разведчиков»: «Разведчики шныряют взад и вперед, в трамваях, в театре, в кино, в пивнушке…»

Статьи Чуковского уже кажутся небольшими островками в море оголтелого безумия. Времена вновь наступили такие, что скрывают нашего героя с головой: в иные годы по письмам, дневникам и публикациям можно восстановить чуть не каждый день его жизни; в 1937-м опять начинаются дыры, пробелы, прочерки, догадки.

В июле «Правда» писала в статье «Дела издательства „Молодая гвардия“»: «Известно, что враги народа стараются пролезть в издательства, выпускающие книги для молодежи. Здесь немалое поле деятельности для вредителей. Отсюда можно распространять духовный яд, отравлять сознание молодых людей советской страны»; автор заметки особо обращал внимание на работу в редакции «ныне разоблаченных врагов народа» и «перерожденцев». За лето будет разгромлен ленинградский Детиздат (процесс уничтожения редакции Маршака подробно описан в «Прочерке» Лидии Корнеевны), к осени возьмутся за московский, где «подкармливают врагов народа, халтурщиков». Будут лягать детиздатовский журнал «Сверчок» («пошленький журнальчик буржуазного толка»), который редактировал «разоблаченный враг народа» Николай Олейников (арестован в начале июня).

В июле «Правда» несколько номеров подряд печатала с продолжением кошмарную статью Н. Рубина и Я. Сереброва, посвященную необходимости более тесной смычки граждан с органами госбезопасности. Авторы убеждали: «Советский гражданин должен следить за тем, чтобы враг не проник через щели личного быта», должен быть внимателен к знакомым, обязан сообщать о подозрительных людях, не смущаясь тем, что это донос: «С этими ложными понятиями о „выдаче“ и „доносе“ надо покончить раз и навсегда. Не сообщать органам ГБ о замеченных преступлениях, о подозрительном человеке – значит, совершать преступление против советского государства, против советского народа».

Этим периодом датированы несколько отчаянных писем Мандельштама к Чуковскому: поэт просит прислать денег, умоляет о помощи: «Дорогой Корней Иванович! То, что со мной делается, дальше продолжаться не может. Ни у меня, ни у моей жены нет больше сил длить этот ужас. Больше того, созрело твердое решение все это любыми средствами прекратить…

Человек, прошедший через тягчайший психоз (точнее, изнурительное и мрачное сумасшествие), сразу же после этой болезни, после покушений на самоубийство, физически искалеченный стал на работу. Я сказал – правы меня осудившие. Нашел во всем исторический смысл… Я работал очертя голову. Меня за это били. Отталкивали. Создали нравственную пытку. Я все-таки работал. Отказался от самолюбия. Считал чудом, что меня допускают работать. Считал чудом всю нашу жизнь… Я поставлен в положение собаки, пса… Я тень. Меня нет. У меня есть только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство. В Союз писателей обращаться бесполезно. Они умоют руки. Есть один только человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться. Ему пишут только тогда, когда считают своим долгом это сделать. Я за себя не поручитель, себе не оценщик. Не о моем письме речь. Если Вы хотите спасти меня от неотвратимой гибели – спасти двух человек, – помогите, уговорите других написать…»

Часть мандельштамовских писем к Чуковскому (да и к Тынянову, и к другим) Надежда Яковлевна снабдила при публикации комментариями «не ответил», «денег не прислал» и т. п. Но именно Чуковского и Тынянова Мандельштам называл в числе тех, кто оказывал ему денежную помощь. К. И. в эти годы помогал очень многим – письмами, хлопотами, попытками что-то о ком-то узнать, деньгами, позднее – посылками. Елена Цезаревна Чуковская вспоминает рассказ посетительницы переделкинского музея, которая в 1937 году недолго работала у К. И. секретарем: «Родители ее были уже посажены. К. И. предложил о них похлопотать и сказал, что запишет о них в записной книжке на букву „и“. Она удивилась – почему на „и“. Он ответил как-то так: так ведь Ироды же те, кто их преследует».

В конце августа в дневниковой записи К. И. появляются два слова: «Лидина трагедия». И все. Писать дневник становилось опасно, да и нельзя этого было описать никакими словами. Репрессии добрались до его семьи: арестовали мужа Лидии Корнеевны Матвея Бронштейна.

Матвей Петрович, по-домашнему Митя, был молодым доктором наук (докторскую он защитил в 29 лет), физиком той самой советской школы, которая дала миру нескольких нобелевских лауреатов. С одним из них, Львом Ландау, он дружил и сотрудничал, и даже начал писать в соавторстве учебник теоретической физики. «Статическая физика» Ландау—Бронштейна сохранилась в конспектах. Бронштейн был расстрелян, Ландау выжил, хотя тоже прошел круги тюремного ада. Классический курс физики, по которому училось много

поколений советских студентов, был написан им в соавторстве с Евгением Лифшицем.

Трудно сказать, чего лишилась мировая наука: от наследия Бронштейна осталось очень немного. Его диссертация была уничтожена следователями, сохранились несколько опубликованных фрагментов, да еще наброски, конспекты лекций, которые он читал студентам. Физик Геннадий Горелик, автор книги о Матвее Бронштейне, пытался установить, что могло бы стать его вкладом в физику. Бронштейн, пишет он, первым обнаружил несовместимость двух фундаментальных теорий – квантовой и гравитационной, говорил о необходимости их синтеза и заключал: квантование гравитации *«требует радикальной перестройки теории… – а может быть, и отказа от обычных представлений о пространстве и времени и замены их какими-то гораздо более глубокими и лишенными наглядности понятиями».* Лишь через два десятилетия этот вывод был осознан, комментирует Горелик.

Физика Бронштейна была увлекательна, как приключенческая литература, и насыщена страстями, как классический роман. Он мог объяснить ее кому угодно: школьнику, гуманитарию; даже в тюрьме потом умудрился на пальцах растолковать сокамерникам теорию относительности. Знал он изумительно много, причем не только в области теоретической физики, и непрерывно учился новому, чем неизменно восхищал Чуковского. «С Корнеем Ивановичем, – писала Л. К., – у него сложились особые, взаимно-заинтересованные и взаимно-уважительные отношения. (К формально-родственным оба они были мало склонны.) Митя был человек, как бы выделанный природой и культурой специально по его, Чуковского, заказу. В юности Корней Иванович прошел путь самоучки, а потом совершил нелегкий шаг: из мещанства в интеллигенцию. Он невысоко ценил официальные университетские дипломы, но способность человека до всего доходить собственным трудом, но волю к неустанному умственному труду, но уменье, вопреки любой обязательной нагрузке, распределять время так, чтобы успевать делать свое, – ценил превыше всего на свете. Бронштейн вызывал в моем отце уважительное изумление… Однажды Корней Иванович сказал о Мите так: „Если бы вся наша цивилизация погибла – Бронштейн один, собственными силами, мог бы восстановить энциклопедию от 'А' до 'Я'“… Корней Иванович не раз прочитывал Мите свои, только что написанные, страницы. Он любил его».

Матвей Петрович знал несколько языков, любил и ценил поэзию – это, собственно, их впервые по-настоящему и сблизило с

Лидией Корнеевной. Он и сам обладал незаурядным литературным даром: созданная им и выпущенная маршаковской редакцией книга об открытии гелия «Солнечное вещество» стала примером по-настоящему художественной книги о научном открытии; нобелевский лауреат Жорес Алферов говорил, что именно с этой книги начался его интерес к физике.

В «Известиях» за 4 апреля 1936 года опубликована небольшая рецензия Матвея Бронштейна на научно-популярный фильм «В недрах вещества» – обстоятельная, спокойная, логичная. Интересно, что даже из нее видно, насколько этого физика-теоретика волновали те же вопросы, что и Чуковского, и Маршака, и Лидию Корнеевну: один из главных недостатков, которые он видит в фильме – «бледный, деревянный, „профессорский“ язык текста». Он требует логичной подачи материала, требует большей научной точности, но и большей художественности, большей увлекательности, настаивает на необходимости относиться к науке не как к мертвому своду знаний, а как к истории мысли, истории поиска… На общем фоне критических статей эпохи заметка Бронштейна особенно радует тем, что автор никого не громит, не ищет «политических ошибок» – просто советует исправить ошибки в следующей работе и заканчивает: «научно-художественному фильму должно существовать». Научно-художественный – это их с Маршаком термин. И требования, которые Матвей Петрович предъявлял к чужой работе, он в первую очередь предъявлял к себе самому.

Он был обаятельным, ответственным, добрым, порядочным человеком – многие говорили, что сам он был весь сделан из солнечного вещества. Вряд ли будет ошибкой сказать, что рядом с ним Лидия Корнеевна – с ее непростым характером, с ее трагическим восприятием жизни – впервые почувствовала себя по-настоящему счастливой. Тем тяжелее была насильственная разлука, тем непоправимее горе, тем окончательнее разрыв с иллюзиями. Тамара Габбе назвала ее однажды «Немезидой» – имея в виду всего лишь привычку всегда приходить вовремя; в этой шутке доля правды огромна. После утраты Мити Лидия Корнеевна превратилась в человека, которого мало что пугает, мало что держит на земле, которому не так уж много осталось терять; ковка стального характера завершилась – она и впрямь стала Немезидой, свободной от страха перед режимом. Что давало ей силы противостоять огромной государственной машине? Кажется, последняя мера пережитого отчаяния.

Она считала, что Митю взяли по линии редакции, – тогда арестовывали «по линиям». Сейчас известно уже, что взяли его все-таки по линии физиков, получив под пытками показания на

него у одного из коллег; впоследствии подобные показания на других выбили и из самого Мити. В 1937 году органы безопасности обезглавили немало научных учреждений. Раздавили Пулковскую обсерваторию, обнаружив «вредительство в деле изучения солнечного затмения». Кажется, истреблялось все талантливое, все нестандартное, неравнодушное, думающее – все, что мешало воцарению Гос-ужаса. Впрочем, нет: уничтожали всех подряд, без логики и смысла, – не лучших, а всех пассажиров трамвая № 9 или № 23, как формулировала Лидия Корнеевна. Разгром Лендетгиза и в детской литературе навел полный сталинский порядок: в ней стало пусто, скучно и благонамеренно, как в провинциальном доме культуры.

Чуковского и Маршака многое объединяло – прежде всего общая культура, любовь к литературе, умение жить стихами; у них были схожие критерии и задачи – недаром Чуковский говорил на совещании в ЦК ВЛКСМ: «Мы, ленинградцы, – фанатики высокого литературного качества». Однако К. И. никогда не разделял увлеченность дочери редакторской работой по-маршаковски, недолюбливал и самого Маршака, и порядки, которые царили в его вотчине. Чуковский был индивидуалист, сторонник самостоятельного, одинокого труда за письменным столом, Маршак же был не только поэт с потрясающим лирическим дарованием и умением идеально гранить строку, но и прирожденным организатором, сейчас бы сказали – менеджером. Ленинградская детская редакция под его началом превратилась в отлаженное предприятие, бесперебойно работающее над книгой. Правда, стандарты качества, которых придерживался Маршак, и планы, которые навязывались сверху, исключали друг друга, поэтому работа становилась авральной, нескончаемой, без выходных и ночного сна. Во главу угла были поставлены воспитание авторов и редактура, которой самозабвенно в полном смысле слова отдавала себя Лидия Корнеевна, ставшая для Маршака идеальной помощницей. В сотрудничестве с ним проявились не только ее чувство слова и любовь к литературе, но и дотошность, точность, четкость, организованность. Корней Иванович считал, что этот труд не дает дочери самостоятельно заявить о себе в литературе; сама организация редакционно-издательского процесса, само вмешательство редактора в творческий процесс, его соучастие в рождении книги вызывали у него отторжение.

После перестройки редакции, после того как из нее ушли обэриуты и Николай Корнеевич, ушел Житков, ушла стихия романтики, веселья, абсурда, игры, – маршаковский Детгиз стал совсем чужим Чуковскому. Теперь здесь издавались серьезные

положительные книги для любознательных, повышающие эрудицию; этот подход Чуковский еще до революции критиковал в брошюре «Матерям о детских журналах», издеваясь над желанием издателей вдолбить в голову юношеству массу положительных знаний об ипомеях и сомалийских ослах. М. Ильин, брат Маршака, с его рассказами о Великом плане и об истории вещей, задавал тон деловитого разговора с ребенком о нужном и полезном – и это, по-видимому, несколько претило Чуковскому, который самым нужным и полезным считал неутилитарное, практически бесполезное: игру, сказку, фантазию, творчество.

Обида сына, отстраненного от детгизовских дел; погруженность дочери в беспрестанное, почти круглосуточное редактирование чужих произведений в ущерб своей литературной работе; отчасти фанатичная ненависть Житкова, который после разрыва отношений с Маршаком не мог спокойно слышать его имени; собственные литературные интересы Чуковского, часто пересекавшиеся со сферой интересов Маршака, – все это не могло не повлиять на отношение К. И. к маршаковскому предприятию. К. И. держался отстраненно – да, собственно, они отмежевывались друг от друга еще со времен «группировки Чуковского—Маршака». В «Чукоккале» можно найти ядовитую запись об обилии в редакции родственников Маршака Ильиных; в дневниках и письмах – многочисленные свидетельства разногласий и обид, вплоть до выражения «эгоцентрическая хавронья», как К. И. в сердцах обозвал С. Я. в одном из писем сыну Николаю.

Позднее, когда разгром Лендетгиза был завершен, Чуковский записывал в дневнике о дочери: «Хотя я с ней несогласен ни в одном пункте, хотя я считаю, что она даже в интересах сов. детей, в интересах детской книги должна бы делать не то, что она делает (т. е. должна бы писать, а не редактировать), все же я любуюсь ее благородством, ее энергией, ее прямотой»; обратим внимание на несогласие «ни в одном пункте».

Осенью 1937-го К. И. писал Николаю Корнеевичу: «Я всю жизнь ненавидел маршаковщину, считал всю редакцию Ленинградского детиздата бессмысленной и нелепой, но сейчас мне жалко бедную Лиду до слез».

Гибель маршаковской редакции началось с собрания актива в апреле: новое начальство, партийные активисты, обиженные отказами авторы и несколько редакционных сотрудников взялись разоблачать вредителей. Уже весной арестовали редактора Шаврова и юкагирского писателя Тэки Одулока (Николая Спиридонова); еще раньше взяли Григория Белых, одного из

авторов «Республики Шкид». Кругом уже пропадали люди, но еще не было понятно, что происходит; взятые не возвращались, не подавали вестей. В конторах переговаривались: такого-то взяли, надо же, кем он на поверку оказался. Родные сознавшихся в бессмысленных преступлениях и осужденных горевали и недоумевали: зачем сознался? почему? как мог? Ответов еще не было.

Некоторые уже понимали: это новый страшный поворот государственной политики, хватают ни в чем не повинных. Но зачем? О том, как пытались разумом объять глубины нечеловеческого, как не давалось осмысление бездны нормальным умам – «Софья Петровна» и «Прочерк» Лидии Корнеевны. В последнем она приводит слова физика Герша Егудина, коллеги ее мужа: это государственная плановая машина по выработке страха.

Они еще не боялись: отважно парировали обвинения на собраниях, бились за свое доброе имя, пророчили гонителям скорое поражение – все это подробно описано в том же «Прочерке», и нет необходимости пересказывать. Митя Бронштейн отказался от сотрудничества с редакцией, где у него вышла одна книга («Солнечное вещество»), готовилась к выходу вторая (о Попове и Маркони) и был взят аванс за третью (о Галилее). Начальство потребовало «патриотических» переделок в уже готовой книге, утверждения приоритета Попова вопреки историческим фактам, гласящим, что открытие радио было сделано Поповым и Маркони одновременно. Бронштейн заявил: «Участвовать в фашистских подделках мне не подобает. Занимайтесь фальшивками без меня» – решил разорвать отношения с редакцией и несколько месяцев пытался вернуть ей аванс за «Галилея». Поведение для 1937 года, кажется, совсем безрассудное.

Маршак пытался удержать Матвея Петровича, но и голос Маршака (по официальной должности – консультанта редакции, а вовсе не ее руководителя, директора или главреда) уже перестал быть в Лендетгизе решающим. В нем появились новые сотрудники, проводящие новую политику, часть старых была выведена за штат или уволена; летом начались отпуска, литераторы и редакционные сотрудники разъехались кто куда. Маршак отправился в Крым. Лидия Корнеевна была в Сестрорецке на даче, Корней Иванович – тоже где-то в пригороде, с периодическими наездами в город. Летом и начались аресты.

За Матвеем Петровичем пришли на ленинградскую квартиру 31 июля – точно в день, когда была спущена ежовская разнарядка по репрессиям. Сначала явился дворник. Через некоторое время

еще двое. Л. К. вызвала по телефону друга, Исидора Гликина, попросила забрать нелегальные стихи Мандельштама. Он забрал и вскоре вернулся, чтобы не оставлять ее одну. Л. К. позвонила матери еще одного друга, больного туберкулезом поэта Мирона Левина, с которым на следующий день должна была идти к врачу, – боялась, что ее арестуют, и сказала, чтобы шел один. В это время в дверь позвонили. Встревоженная непонятным разговором и ночным звонком в дверь, слышным в телефонной трубке, мать Левина позвонила Корнею Ивановичу, который был в городе. Когда Чуковский пришел, в доме дочери шел обыск – скорее, разорение: ничего не искали, рвали фотографии и письма, перетряхивали книги.

«Он вошел, задыхаясь, хотя третий этаж не составлял для него никогда никаких затруднений. Он сразу увидел все: меня, солдат, начальников и изнасилованную Митину комнату, – пишет Лидия Корнеевна. – …Я так хорошо помню его лицо. Это было лицо страдания. Не „лицо страдающего человека“, не „страдающее лицо“, а лицо самого страдания. Если бы на экране кинорежиссер захотел показать символ, эмблему страдания – он не мог бы выбрать модель более выразительную… Корней Иванович сел на Люшину кровать, особенно маленькую под его длиною и весом, оперся о стену—и не только лицо и сплетенные на поднятых коленях пальцы, но и косо прижавшиеся к стене плечи просились на холст или в скульптурное изображение страдальчества».

С этой ночи обычная жизнь кончилась. Еще почти целую неделю Лидия Корнеевна пыталась сообщить Мите в Киев, что за ним приходили, и потом всю жизнь упрекала себя, что зря теряла время на попытки предупредить: надо было узнавать, какая инстанция выдала ордер на арест, искать рычаги в вышестоящих инстанциях и добиваться отмены ордера. Но откуда же им было это знать? Предупредить Матвея Петровича не удалось, 6 августа его арестовали в Киеве и вскоре привезли в Ленинград. Его делом, как потом выяснилось, занимался следователь Лупандин; впоследствии он вел дело Николая Заболоцкого.

Для Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны начались многомесячные страшные будни родственников арестованного. Они искали Митю: где он, в какой тюрьме, куда ему можно передать вещи и деньги; они еще надеялись доказать, что все ложь, искали адвоката. Нашли и узнали, что он ничем не может помочь: 58-я статья из ведения адвокатуры изъята. Адвокат Киселев посоветовал искать пути на самый верх – обращаться лично к Вышинскому, Поскребышеву, Ульриху с письмом, подписанным влиятельными людьми, где говорилось бы, что

Бронштейн – крупный ученый.

Ходов наверх у Корнея Ивановича не было. Недавно избавленный от опалы, он хотя и стал официально одним из лучших детских писателей (во всяком случае, газетные перечисления часто начинались с него: Чуковский, Маршак, Барто и другие), но не входил в писательскую номенклатуру, предпочитая одинокую работу за письменным столом заседаниям, приемам и банкетам; от власти же просто держался на расстоянии.

Письма в защиту Мити были написаны. Пересмотра дела Бронштейна просили физики и писатели. Пытались объяснить власти, что арест талантливого ученого ошибочен, давали превосходные характеристики.

«Достаточно было провести в его обществе полчаса, чтобы почувствовать, что это человек необыкновенный, – писал Чуковский. – Он был блистательный собеседник, эрудиция его казалась необъятной. Английскую, древнегреческую, французскую литературу он знал так же хорошо, как русскую. В нем было что-то от пушкинского Моцарта – кипучий, жизнерадостный, чарующий ум». Дальше К. И. говорил о благоговении, которое испытывают к Бронштейну студенты, о его замечательных детских книгах, о том, что «вдохновенные популяризаторы точных наук столь же редки, как и художники слова». «Было», «был» – почему прошедшее время? Что за предательские проговорки? Следствие ли это чувства безвозвратной отделейности арестованного от остающихся на свободе? О пропавших в застенках часто начинали говорить в прошедшем времени. Или уже утраченная надежда? Впрочем, проговорка не единична – рассказывая в 1943 году о смертельно больном Тынянове (лекцию записывал Леонард Гендлин), Чуковский тоже говорил в прошедшем времени.

К. И. заканчивал письмо так: «Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, лично ознакомиться с его делом и, если Вы найдете это возможным, вмешаться в него». Видные физики Мандельштам, Вавилов и Тамм уверяли в характеристике, приложенной к письму Сталину, что Бронштейн «является крупным ученым, работы которого содействовали развитию теоретической физики в СССР». Маршак обращался к Вышинскому, убеждая, что Матвей Петрович «своими научно-популярными работами может принести много пользы подрастающему поколению».

Эти письма приводит Лидия Корнеевна в «Прочерке». Она продолжала хлопотать, просить академиков о помощи; по ее просьбе академик Фок просил Вышинского «при пересмотре дела

М. П. Бронштейна учесть большую ценность его как научного работника». Чуковская долго ничего не знала о судьбе мужа: это письмо написано в 1939 году, когда ценный работник уже давно покоился в безымянной общей могиле. Горелик приводит еще одно письмо физиков Френкеля и Фока: Бронштейн – «один из наиболее талантливых представителей младшего поколения физиков-теоретиков в СССР», «обладает совершенно исключительной эрудицией по всем вопросам теоретической физики», «его сильный критический ум и способность быстро разбираться в сложных вопросах делают его исключительно ценным научным работником».

Кому они рассказывали о «чарующем уме»? – вопрошал Горелик.

И Корней Иванович, и Лидия Корнеевна были достаточно умны, чтобы не верить в виновность близких (трудно сказать, где для них пролегала эта черта: понимали, что невиновны свои, знакомые, родные – а верили ли в виновность Тухачевского, в дела диверсантов в промышленности, в армии, в верхних эшелонах власти?). Не верили? Не впускали в сознание? Они были достаточно зрячи, чтобы понимать: в стране случилось что-то непоправимо страшное – и диверсанты ни при чем, хватают всех подряд, это просто террор, имеющий цель запугать население… Но даже им не хватило проницательности (или информации? или способности сопоставить и проанализировать факты? или просто необходимой временной дистанции? – легко нам быть такими всепонимающими спустя 70 лет), чтобы осознать: массовый террор – это свойство сложившейся государственной системы, а не случайное ее искажение. Казалось, не могла система, поставившая целью общее счастье всего человечества, оказаться обманом, не мог вождь, осуществивший гигантские преобразования, одобрять вопиющее беззаконие. Ведь только что принята самая прогрессивная конституция, ведь построена прекрасная система законов, провозглашены и осуществляются великие цели. Потому и доказывали в письмах Сталину и Ежову, что арестованные – советские люди, а вовсе не диверсанты. Потому и надеялись, что если письмо дойдет до адресата, ошибка разъяснится, Сталин во всем разберется и примет меры. Произошла чудовищная ошибка, кричали они, не осознавая, что это не ошибка, даже не сбой в системе, а сама система.

Письма были переданы Чуковским через какого-то чиновника Поскребышеву уже осенью 1937 года. Какое-то время отец и дочь ждали и надеялись. Какова судьба этих писем – неизвестно до сих пор. Ответа не было, нужно было начинать сначала, искать другие

пути, писать новые письма.

Впрочем, хлопоты начались сразу по горячим следам: уже в августе К. И. и Л. К. поехали в Москву: он – искать пути наверх, она – стучаться в разные кабинеты и выяснять, где муж. В дневниках и письмах Корнея Ивановича отражаются только спокойные литераторские будни: в Москве Макаренко зовет Чуковского в Америку; тот «согласился немедленно»; по-видимому, заходил в Детиздат… Его жизнь еще продолжается, хотя и разделилась окончательно на не связанные друг с другом два слоя, внешний и потайной. В потайном – хлопоты об арестованных, боязнь за дочь и сына, страх ареста, потом – денежная помощь высланным. Внешний слой – Корней Иванович и Мария Борисовна снова проводят сентябрьский отпуск в Кисловодске; принимают нарзанные ванны, смеются анекдотам Утесова… В воспоминаниях советского литературоведа Валерия Кирпотина, который отдыхал в Кисловодске в то же время, рассказывается, что Чуковский водил его в кисловодскую школу. «Чуковский – пустой гаер, – пишет Кирпотин жене. – Говорит он с ребятами весело, занятно, но по сути дела бездушно и даже безобразно». И чуть дальше: «За нашим „литераторским столом“ смеемся и острим. Не скучно, но избыток острот, как всегда, надоедает».

«Кисловодск в этом году как-то особенно прелестен, – пишет К. И. сыну Николаю 10 сентября. – Днем синева и жара, вечера прохладны, иногда дожди, грозы». Рассказывает про академиков, отдыхающих вместе с ними. Легко намекает на обстоятельства: «Ужасно волнуют провокации фашистов, пытающиеся вызвать войну. Но не сомневаюсь, что в другой обстановке это волновало бы еще сильнее». И дальше: «Пролетел кометой Стенич». (Стенича арестовали 14 ноября, почти сразу после возвращения из Кисловодска, и расстреляли в 1938-м.) «Интересно, кого назначат вместо Цыпина. Я видел Цыпина накануне его падения. Он был придавлен и готов ко всему». (Статья в «Правде» «Как хозяйничают в Детиздате», посвященная вредительской деятельности Цыпина, директора издательства, который «подкармливает врагов народа и халтурщиков», вышла 2 сентября; Цыпина сразу же сняли и расстреляли следующей весной.)

Из Кисловодска Чуковские поехали в Крым. «Погода здесь жаркая, воздух сладок и ясен, какие цветы, какие горы!» – пишет он сыну. Строчкой выше благодарит его за письмо: «…мы узнали из него все детиздатовские новости». Новости между тем были душераздирающие – недаром после традиционно-курортного «мама поправляется» К. И. добавляет: «Я же как-то сразу постарел,

и это, очевидно, надолго». О том, почему постарел – остается читать между строк и в позднейших воспоминаниях тех, кого близко касались эти новости. На поверхности – воздух сладок и ясен.

В Москве сместили руководство Детиздата, назначили новое, еще ничего толком не понимающее. В Ленинградском отделении все было еще хуже: в начале сентября арестовали нескольких сотрудников и авторов редакции – друзей и коллег Лидии Корнеевны. Ее близкая подруга Александра Любарская вспоминала:

«…в ночь с 4-го на 5 сентября 1937 года были сразу арестованы писатели С. Безбородов, Н. Константинов, директор Дома детской литературы при Детиздате А. Серебрянников, редакторы Т. Габбе и я. Немного позже арестовали писателя И. Мильчика и бывшего редактора „Чижа“ М. Майслера, еще позже – поэтов Н. Заболоцкого, А. Введенского и Д. Хармса. Редакторов, наиболее тесно связанных с арестованными – З. Задунайскую, А. Освенскую и Р. Брауде, – уволили „по собственному желанию“ в тот же день, 5 сентября, едва они пришли в издательство. Редакция была разгромлена. Маршака в те дни в Ленинграде не было. Он вернулся из отпуска к страшной беде – гибель редакции, его любимого дела; гибель его учеников и друзей, доверивших ему – как он сам потом писал, – свою судьбу; предательство и клевета других, тоже его учеников. Самого Маршака „не тронули“, но никто не мог бы сказать, что за этим кроется».

Материалы о «вредительской группе Маршака» продолжали копиться в папках Большого дома. Постепенно сжималось кольцо и вокруг семьи Чуковских. 13 сентября в Детгизе прошло собрание писательского и редакторского актива, на котором «вся многолетняя деятельность Ленинградского отделения Детгиза была объявлена диверсионной и вредительской», писала Л. К. в «Прочерке». Кто-то с места спрашивал, почему еще не арестованы Чуковская и Задунайская (возможно, потому, что Чуковскую уже вывели за штат, предполагала Любарская). 4 октября в редакции появилась стензета «За детскую книгу»: «Чуковская протаскивала контрреволюционные высказывания в однотомнике Маяковского»; «Шпион Спиридонов, Потулов, Белых, Бронштейн, Безбородов, Колбасьев, Васильева – вот далеко не полный список врагов, которые объединялись вокруг Габбе, Любарской, Чуковской»; «контрреволюционная вредительская шайка врагов народа»; «шпионы фашистов»; «троцкистеко-бухаринские бандиты»…

Лидии Корнеевне грозил неминуемый арест: жен врагов народа обычно арестовывали вслед за ними. Уехать она не могла: ей казалось немыслимым оставить тюремные очереди – попытки

узнать, хлопотать, передавать посылки. Между Кисловодском и Ленинградом носились письма, в которых нельзя было написать и сотой доли того, что нужно, отчего возникали недомолвки и недопонимание. Лидия Корнеевна втолковывала отцу и матери: «Я, к сожалению, жить сейчас вне Ленинграда не могу ни одного дня, п. ч. у меня в Ленинграде есть дела, которыми нельзя пренебречь и которые никому нельзя препоручить». Она пыталась понять, возьмут ли родители Люшу – «которую, повторяю, сейчас оставлять в Ленинграде крайне легкомысленно»: Л. К. не хотела, чтобы ее арестовали на глазах у дочери; к тому же детей арестованных часто не отдавали родственникам, а отправляли в детдом.

Ее бывший муж, Цезарь Вольпе, повидал Чуковских-старших в Кисловодске, но «о вас сообщил очень невразумительно», жаловалась Лидия Корнеевна в письме: «М. Б. хорошо выглядит, а К. И. живет в номере люкс. Ну, сейчас вы, по-видимому, в море…» Для нее обычная жизнь кончилась, и места морю и номерам люкс в ней уже не было. Наконец Мария Борисовна уехала в Гаспру, Лидия Корнеевна, «улучив два дня между буквами Б, Г и Л», отвезла Люшу с няней в Крым и вернулась в темный осенний Ленинград, в пустую квартиру с опечатанной комнатой. «Жизнь моя превратилась в сплошную тюремную очередь, изредка прерываемую мутными часами сна», – писала она.

Осень 1937 года, в которую праздновалась двадцатая годовщина советской власти, оказалась страшнее самых кошмарных снов. Сталин требовал показательных процессов, и следователи не покладая рук выбивали из арестованных признания. Газеты печатали в столбик списки репрессированных. Многие друзья дочери Чуковского уже сидели, теперь стали хватать друзей старшего сына и друзей его друзей. «Борис Корнилов, Бенедикт Лившиц, Николай Заболоцкий, Николай Олейников, Дмитрий Жуков, Елена Тагер, Вольф Эрлих», – перечисляет Николай Корнеевич в воспоминаниях о Стениче. Добавим еще Берггольц, Берзина, Зоргенфрея, Юркуна…

«Тогда он уже догадывался, что его арестуют. Он ни в чем не был виноват, но одного за другим арестовали его друзей», – писал Н. К. о Стениче. Друзья у них были общие, и пропадали один за другим, и сам Николай тоже не был ни в чем виноват, и тоже наверняка ждал ареста. Но мог ли представить, что из друзей выколотят показания на него самого, что Стенич подпишет протокол следующего содержания: «Я говорю о той антисоветской группе, которая сложилась среди московских и ленинградских писателей в период 1932–1935 г. вокруг меня и Олеши. Эта группа объединяла наиболее реакционную часть литературных

работников, враждебно настроенных к советской власти. В нее входили Олеша, Никулин, Дикий, Бенедикт Лившиц, Николай Чуковский и я». Актер и режиссер Дикий (бывший мхатовец, а к этому времени главный режиссер ленинградского БДТ, впоследствии исполнитель роли Сталина) тоже был арестован – и некоторое время сидел в одной камере с Митей Бронштейном, как рассказывал их сокамерник Борис Великий.

Эдуард Шнейдерман в «Звезде» (№ 1 за 1996 год) опубликовал обширное исследование, основанное на деле Бенедикта Лившица из архивов НКВД; он-то и цитирует вышеприведенные показания Стенича. Документы свидетельствуют: Николай Чуковский был одним из следующих в очереди на арест. Так же, как Олеша, Ахматова, Зощенко, Николай Тихонов… Тихонова следователи прочили в главари ленинградской писательской группировки.

Пытки позволяли получить любые доказательства «преступной деятельности» писателей. Шнейдерман, правда, цитирует Заболоцкого, уверявшего, что Стенич быстро нашел общий язык со следователем и за пачку папирос подписывал что угодно; так это или нет – не нам решать; на очных ставках и суде Стенич от своих показаний полностью отказался. В протоколах говорилось, будто он рассказывал Лившицу и Николаю Чуковскому о намерении Олеши убить Сталина и говорил, что только физическое устранение вождя сможет изменить политическую обстановку и создать условия для расцвета культуры… Лившиц и Чуковский якобы соглашались, однако говорили, что сами «не смогли бы быть непосредственными исполнителями такого террористического акта». Юркун сообщил следователям, что вовлек в преступную группу художника Милашевского и поэта Введенского. Митю Бронштейна доломали за неделю. Выжали показания на физика Френкеля ("думает, что если назвать Френкеля, его! такого знаменитого! – все равно не возьмут? – пыталась догадаться Лидия Корнеевна, читая дело Бронштейна. – …Мы, с воли, *не знаем ничего")*. Александра Любарская на третьи сутки беспрерывных побоев подписала одну страницу протокола: «…думала только об одном: нет ли на этой бредовой странице чьих-нибудь имен, кроме моего. Нет, как будто нет. Я одна сама себе и шпион, и террорист». Бен Лившиц не давал показаний полтора месяца – держался. Потом сломали и его: «Квартиры Тагер и Чуковского стали местом нелегальных сборищ»… «одиозная контрреволюционная фигура Заболоцкого»… «контрреволюционная сущность Тихонова»… На очной ставке с Еленой Тагер седой, безумный Лившиц просто не узнал ее, нес ахинею, говоря в пространство. Сама Тагер после

нескольких дней пыток подписала протокол, где говорилось о враждебной деятельности «контрреволюционного поэта правотроцкистского блока» Заболоцкого. У Заболоцкого первые же допросы с пристрастием вызвали такое помрачение сознания, что он угодил в тюремную психиатрическую больницу.

Протокол допроса Лившица: «Тихонов, используя троцкистское руководство Союза писателей в лице Беспамятного… загружал членов союза никчемными совещаниями, бесплодными дискуссиями, секционными заседаниями, чем отрывал их от творческой работы… Опираясь на бухаринский доклад, работа советских поэтов вредительски ориентировалась на творчество Пастернака как на вершину советской поэзии… Наряду с этим нами было отодвинуто на задний план творчество Маяковского как, якобы, технически несовершенное и устарелое. Замалчивалось его имя в журналах, в публицистических выступлениях его имя предано забвению. Мы старались создать разрыв между Маяковским и массовым советским читателем».

Особенно зловеще в этом контексте звучит выступление Николая Асеева в «Комсомольской правде» 24 сентября 1937 года: он называет стихи К. И. Чуковского «отвлеченно-заумной болтовней», которая «пользовалась покровительством недавно смененного руководства Детиздата». «Линии Чуковского», которая «чуть было не стала наиболее влиятельной в детской поэтической литературе», Асеев противопоставлял «линию Маяковского», которая «мало поддерживалась любителями крокодильских ужимок в детской поэзии». При желании из всего этого можно было состряпать неплохое дело по 58-й статье: линию Маяковского замалчивал, сын соглашался с необходимостью устранить Сталина, дочь – жена ныне разоблаченного врага народа и вредитель; а уж сколько вреда сам Чуковский нанес советским детям… Немудрено, что вышедшую несколько позже книгу Шкловского, где тот обвинял К. И. в недооценке Маяковского и напоминал о сотрудничестве в кадетской газете «Речь», Чуковский расценил как донос.

Э. Шнейдерман приводит в «Звезде» потрясающий документ: перечень лиц, проходящих по следственному делу № 35610, – о так называемом писательском подполье в Ленинграде. Следователи выявили 75 участников.

"Осужден: Мандельштам, Заболоцкий, Берзин, Корнилов, Беспамятнов, Майзель, Гумилев (разумеется, Лев Николаевич. – *И. Л.),* Горелов;

арестован: Иван Лихачев, Юркун, Тагер, Куклин, Губер, Стенич, Дагаев;

устанавливается: Никитин, Ахматова, Федин, Казаков, Чуковский Н., Оксман, Эйхенбаум, Маргулис, Тихонов, Степанов, Франковский, Выгодский, Крайский, Пастернак, Дмитроченко, Малин".

«Птичками» (означающими, что нужен арест) в следовательских документах были помечены Ахматова, Федин, Козаков, Николай Чуковский, Тихонов, Пастернак, Эйхенбаум, Эренбург.

Некоторых упомянутых в этой бумаге людей (Оксмана, к примеру) успели арестовать в рамках текущего плана. На остальных уже собрали достаточно компромата, чтобы выполнить план в будущем. Однако разработки на врагов народа больше не понадобились. Члены «группировки Тихонова» оказались кто в лагерях на десять лет, кто в могиле с пулей в черепе. Сам Тихонов остался на свободе, а в 1939 году даже получил орден.

Такая же странность приключилась и с Маршаком. 11 ноября прошло собрание в Союзе писателей: рассматривали вопрос о вредительской деятельности Детиздата. Однако имя Маршака как руководителя группы врагов уже почему-то не упоминалось – «ни как главы, ни как даже рядового члена, – писала Лидия Корнеевна. – Никто не понимал, чем следует объяснить такую несуразицу. (Я не понимаю и сейчас.) На каком-то этапе – на каком? кем-то – кем? имя Маршака было вычеркнуто из черного списка. Когда? Чьим пером?.. И Зоино Зои Задунайской. И Корнея Ивановича… А писатели на своем сборище, как мы узнали потом, единогласно приняли резолюцию, осуждающую вредительскую деятельность ленинградской редакции Детгиза. Маршак упомянут не был, но кто же, спрашивается, руководил нашими злодеяниями, если не он?».

Доказательства преступной деятельности Маршака и Чуковского тоже не понадобились. Не пригодилась и когда-то склеенная Лавреневым из клочков записка. «Почему? Не знаю», – писала Лидия Корнеевна. В ее дневнике есть запись: «С какого-то дня его Маршака из Детиздатовского дела изъяли (по слухам, он или кто-то мощный написал о нем Молотову, а Светлана Молотова любила его стихи)».

А может быть, разгадка этой мучительной загадки кроется всего-навсего в том, что 5 ноября закончилась трехмесячная кампания по посадке, объявленная Ежовым 31 июля? И где-то в недрах аппарата НКВД прозвучал сигнал отбоя, и дела тех, кого успели арестовать, были оформлены, а тех, кого не успели, оказались уже не нужны. И 11 ноября Маршак уже никого не интересовал в качестве жертвы. Может, поэтому лопасти адской машины внезапно замерли в нескольких метрах от Тихонова,

Маршака, Ахматовой, от отца и сына Чуковских? Может быть, те, кто сажал, подсчитали улов и поняли: план выполнен – и по первой категории, и по второй. Чудовище насосалось крови и отвалилось, как гигантская пиявка. Тюрьмы были переполнены, дальше предстояло расстрелять первую категорию, переправить в лагеря вторую и подготовиться к приему следующей порции кровавой пищи. Очень может быть, что оставшихся на свободе ленинградских литераторов спасла не таинственная логика сажающих, не заступничество неведомых покровителей (хотя что мы об этом знаем?), а просто счастливый случай, попадание в зазор, в небольшой промежуток переваривания поглощенного.

Чуковский в этом году надолго задержался на юге – до ноябрьских праздников, «из-за Люши», писал он Николаю Корнеевичу (Люша, как следует из переписки К. И. и Л. К., чего-то объелась и была больна). Сюжеты обширной переписки отца с детьми – в основном семейные хлопоты, издание книг и попытки найти решение самой тяжелой и неназываемой проблемы: что делать Лиде, где ей нужно быть, что еще нужно сделать.

В это время в переписке встречаются первые упоминания о жене младшего Чуковского, Бориса; в этом году у него родился сын Женя – новый внук К. И. Нина, жена Бобы, очень скоро снискала общую нелюбовь всей семьи; пока, однако, отношения были мирными, К. И. писал Н. К.: «…мама купила для нее какую-то накидку, но еще не послала…» Говорил, что сам ничего не пишет: устал, болен… Лидия Корнеевна извещала отца письмом, что пытается работать над книгой, подрабатывать машинописью и стенографией (она осталась без работы, и ее как жену врага народа никуда уже не брали). Подрабатывала урывками, но больше бегала по инстанциям: «Толку от беготни нет, а устаю очень. И не бегать тоже нельзя – боюсь упустить».

Статьи Чуковского, опубликованные осенью 1937 года, вполне обычные: о детях. 1 сентября в «Правде» выходит статья «Библиотека при школе» – Чуковский радуется тому, что начала выходить серия «Школьная библиотека», но говорит, что этого недостаточно, приводя подробнейшую информацию о состоянии дел в школьных читальнях по районам Ленинграда и Ленинградской области. Почти вся «Правда» за 23 сентября посвящена «счастливым детям сталинской эпохи». Заметка К. И. названа «Трехлетние». Из нее многое вошло потом в книгу «От двух до пяти». Примечательны в ней два высказывания трехлеток. Первое – дочери пианиста, который был занят репетицией и дал ей холодную манную кашу, оставшуюся от завтрака. Дочь принесла отцу газету: «На, читай, что пишут: нельзя два раза в день давать детям манную кашу!» «Разве не знаменательна эта

твердая уверенность ребенка, что советская власть охраняет его от малейших невзгод», – комментирует Чуковский.

Вторая реплика принадлежит девочке Ире, которая хотела взять к себе домой испанских детей, вывезенных из воюющей страны. Девочке сказали, что у ее мамы не хватит денег.

«– Ничего. Я схожу в Кремль. Я знаю, там помогут».

Разве не знаменательна эта твердая уверенность уже давно поседевшего и много претерпевшего от власти писателя, что в Кремле помогут? В том же сентябре 1937 года та же рука, что написала «Трехлетних», выводила: «Теперь Бронштейн арестован. Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, лично ознакомиться с его делом и, если Вы найдете это возможным, вмешаться в него».

«Вот какие мы были глупые, – писала потом Лидия Корнеевна. – И какие советские».

Осенью полоса массовых арестов сменилась полосой не менее массовых расстрелов. В Ленинграде убивают по несколько сотен человек в день. 30 октября расстреляли писателя-мариниста Сергея Колбасьева. «24 ноября 1937 года, в один и тот же день, были расстреляны Сергей Константинович Безбородов, Николай Макарович Олейников, Н. Константинов (его настоящее имя Константин Николаевич Боголюбов), Абрам Борисович Серебрянников», – писала Александра Любарская. В октябре под Томском расстреляли поэта Клюева. 16 ноября – философа Шпета. 8 декабря на Соловках – Павла Флоренского. Писатели, поэты, философы, агрономы, астрономы, историки, лингвисты… 20 декабря, в День чекиста, сотрудники ленинградского НКВД особенно постарались – убили 832 человека.

Чуковский вспоминал потом: «Шло поголовное уничтожение интеллигенции. Среди моих близких были арестованы писатели, переводчики, физики, художники, артисты. Каждую ночь я ждал своей очереди». Уничтожали, впрочем, не только интеллигенцию: в списке граждан, расстрелянных в ноябре 1937 года в Ленинграде и впоследствии реабилитированных (есть там и упомянутые Любарской имена Безбородова, Олейникова и Константинова), большую часть составляет вовсе не интеллигенция: уборщица, буфетчица, проводница, кондуктор, дорожный рабочий, начальник планового участка, крестьянин-единоличник, токарь, шофер института прикладной химии, колхозник, путевой надсмотрщик, оперуполномоченный, медсестра комнаты матери и ребенка, священник, бригадир полеводческой бригады, сплавщик леса, конюх, дезинфектор трамвайного парка, мотовильщица – и так десятки страниц. Своей очереди мог ждать каждый.

В один из дней 1937 года посыльный из гостиницы «Астория»

принес Чуковскому письмо и пакет, судя по всему – от иностранца; К. И. писал: «Даже не взглянул на конверт, не попытался узнать, от кого посылка, а завернул все вещи в тот же пакет, в каком они были, и отдал рассыльному вместе с нераспечатанным письмом». Контакт с иностранцем сам по себе уже мог служить доказательством шпионской деятельности.

Лидия Корнеевна простаивала днями в очередях к тюремным окошечкам – по много часов, чтобы снова услышать отрывистое «не значится», «нет в списках, следующий». Корней Иванович пытался задействовать все свои связи и связи своих друзей, дергал за все ниточки, чтобы передать просьбы о пересмотре дела Бронштейна руководству страны. Хлопотал о Любарской и Габбе и, может быть, еще о ком-то – нам неизвестно.

В ноябре он писал в дневнике: «Тревожит меня моя позиция в детской литературе. Выйдут ли „Сказки“, выйдет ли лирика? И что Некрасов? И что „Воспоминания“ Репина? Повесть моя движется медленно. Я еще не кончил главы Дракондиди. Впереди – самое трудное. В душе страшное недовольство собою».

Казалось бы, нашел о чем думать, когда люди гибнут. Но в обезглавленных издательствах переставали выходить запланированные книги, заработки становились нестабильными. Он не мог уйти от будничных мыслей, сосредоточиться на той одной, которая всецело занимала Лидию Корнеевну, – он не так был устроен, уходил от этой темы. Он не мог, не умел, не хотел писать и думать о смерти, не справлялся с этой темой ни в мыслях, ни в творчестве. Он продолжал жить и работать, пытался и дочери внушить необходимость жить и заниматься литературным трудом; у нее эта мысль вызывала негодование.

Зимой 1937/38 года он опять много занимался Некрасовым: в январе-феврале, к 60-летию смерти поэта, одна за другой посыпались его публикации в разных газетах и журналах: «Некрасов до революции и после», «Некрасов и наша эпоха», «Сквозь время» (к годовщине смерти), «Жизнь Некрасова», «Пушкин и Некрасов»…

Повесть о детстве давалась тяжело, Чуковский постоянно ее переделывал. Под названием «Секрет» она впервые вышла в журнале «Пионер» в 1938 году, затем, исправленная и дополненная, под названием «Гимназия» – отдельным изданием в том же году (эпиграфом к повести стала статья 121 сталинской конституции, гарантирующая право на образование, в конце была приложена статья «Министр, царь и кухаркины дети»). Переиздание вышло в 1940-м. Современным читателям повесть известна как «Серебряный герб» – так стал называться ее последний, в который уже раз переделанный вариант. Многие

читали эту смешную, грустную, поучительную историю незаконнорожденного сына прачки, изгнанного из гимназии по закону о «кухаркиных детях», хотя она и не входит в круг обязательного детского чтения.

В первом варианте меньше говорилось о «кухаркиных детях», чем в последнем, а больше внимания уделялось «маминому секрету», незаконнорожденности героя, и унижениям, которым он от этого подвергался. Вариант в «Пионере» кончался обыкновенной для Чуковского сталинских времен хвалой самой гуманной советской конституции: в послесловии говорилось, что даже слезы выступили у автора на глазах, когда он услышал по радио текст основного закона. И дальше были полностью процитированы две статьи – о праве на образование и равноправии женщины.

Впереди – самое трудное, обмолвился Чуковский; самое трудное было – сцена лунной ночью, когда мать рассказывает сыну, что он «незаконный». Уходом из гимназии повесть кончалась во всех вариантах конца 1930-х. Готовя издание «Серебряного герба», вышедшее в 1961 году, Чуковский вставил в повесть несколько новых глав, отмеченных совершенно явной печатью 1937-го. Может быть, потому, что возвращался мыслями не только к детским годам, но и ко времени написания повести.

Сюжет новых глав такой. Один из героев повести, бывший вор по прозвищу Циндилиндер, стал честным тружеником. Но однажды, когда по соседству случилось ограбление, у Циндилиндера нашли несколько краденых предметов. Его арестовали.

«Циндилиндер в тюрьме? Что за чушь! Я протискиваюсь сквозь обступившую меня густую толпу и спускаюсь к Маланке в подвал. Она рассказывает странные, невероятные вещи: мой милый Циндилиндер, которого и мама, и я, да и все в нашем доме – даже полицейский усач Симоненко, – считали таким честным, таким благородным, которому все мы поверили, что он давно уже отошел от своей уголовной „профессии“, оказался дерзким и бесстыдным грабителем», – рассказывает герой Чуковского. Он недоумевает: да возможно ли такое? «Неужели, – говорю я себе по дороге, – они оба, и Циндилиндер, и Циля жена Циндилиндера, такие гениальные актеры, что могли столько лет притворяться, разыгрывая из себя благородных людей?»

Сравним с дневниковой записью 1934 года о Каменеве: «Неужели он такой негодяй? Неужели он имел какое-нб. отношение к убийству Кирова? В таком случае он лицемер сверхъестественный, т. к. к гробу Кирова он шел вместе со мной в глубоком горе, негодуя против гнусного убийцы. И притворялся,

что занят исключительно литературой». В повести слышны отзвуки разговоров 1937-го о законспирированных, гениально притворявшихся шпионах: да зачем же им было так притворяться, да не может такого быть. Зачем бы жена Циндилиндера Циля стала жить в нищете и работать на конфетной фабрике, если он все это время мог обеспечивать ей безбедное существование? И в ответ обязательное «у нас зря не посадят» и «нет дыма без огня»…

Вот сестра героя, Маруся, говорит: «Ведь это абсолютно прямые улики, и сомневаться никак невозможно». Так и слышатся шепотные обсуждения 1937 года: диверсанты, да, сомневаться никак невозможно, сами признались, в газете даже фотография была: поезд пущен под откос… Вот Циля плачет на суде: «Убейте, зарежьте меня… А я не…» – и герой говорит: «Позже я узнал, что ее сильно избили в участке».

А вот из «Прочерка»: Митя Бронштейн вдруг осознал, почему его коллега Юрий Крутков признался в изготовлении бомб для терактов. «А-а… Теперь понимаю! – закричал Митя, озираясь вокруг. – Там просто пытают. Там просто бьют. Бьют, пока человек не сознается…»

В конце концов в повести правда восторжествовала, Циндилиндера и его жену оправдали и отпустили на свободу, но герой, поверивший в вину своего друга, не смел разделить общую радость: «Один я стоял в стороне от всех, как отверженный, не решаясь подойти к моим бывшим друзьям. Мне было совестно смотреть им обоим в глаза. Как я мог поверить клевете их врагов!»

Конечно, все это стоило написать и опубликовать в 1938-м, когда никто не смел сказать детям ничего подобного, когда им приходилось делать недетский выбор между родителями и родиной, когда даже осужденные родители могли самоотверженно сказать детям, что виноваты, – пусть ненавидит меня, а не страну, легче будет жить… Дети отказывались от родителей, жены от мужей, «ныне разоблаченных врагов народа», люди сходили с ума, не в силах свести концы с концами, примирить в своем сознании две противоречащие друг другу реальности. Повесть Чуковского осторожно ставила свихнувшуюся реальность с головы на ноги: если вам сказали, что любимый вами человек – преступник, – не верьте. Если он сам в этом признался – не верьте: его заставили. Не спешите отречься от него, вам потом будет очень стыдно. Это и для 1961-го довольно актуальный урок, а уж в 1938-м цены б ему не было. Но нет: оба варианта 1938 года не идут дальше радости по поводу права на образование в СССР.

В конце главы Чуковский пишет в характерной для последних

лет его жизни назидательной стилистике: «И все же я до сих пор с горьким чувством вспоминаю о тогдашнем своем поведении – и не прощаю себя. Вся эта история с Циндилиндером дала мне суровый урок: я понял, что не следует верить никаким обвинениям, которыми бесчестные люди ради своих низменных целей так часто пытаются оболгать, очернить, опорочить доброе имя беззащитных людей…»

«И не прощаю себя» – это, пожалуй, не только о Циндилиндере.

«Уехать от тамошнего климата»

Дневниковых записей К. И. за 1938 год нет. Писем единицы. Зато много событий.

Еще зимой Корней Иванович решил перебираться в Москву. Примерно в то же время уехал в столицу и Маршак. В Ленинграде климат неподходящий, обмолвился Чуковский где-то. Климат и в самом деле стал совсем скверным: в Ленинграде репрессии были еще страшнее и масштабнее, чем в Москве. С выполнением ежовского трехмесячного плана они не прекратились, а лишь ненадолго притормозили и сократили размах; чувствовать себя в безопасности не мог никто, ареста ждал каждый. Были, конечно, и другие причины: печатался Чуковский теперь почти исключительно в Москве, издательские дела требовали постоянного присутствия, хлопотать об арестованных тоже приходилось в столице. Он уже несколько лет жил между двумя городами, подолгу останавливался в гостиницах, где не мог спать и страшно уставал. Наконец, в Москве строилось писательское жилье, можно было рассчитывать на дачу. Но ни с домом, ни с дачей ничего пока не выходило. 18 февраля К. И. писал сыну Николаю из дома отдыха ученых в Узком, где жил вместе с женой в ожидании решения квартирного вопроса: «Квартира висит в воздухе, но авось чего-нибудь добьемся. С дачей большая возня, ну ее! Гораздо лучше снимать у хозяев и платить вчетверо дороже – да не заботиться о каждом гвозде».

Климат климатом, а в Москве жизнь тоже была невеселая. В январе закрыли за формалистические извращения театр Мейерхольда, потом арестовали и самого режиссера. В марте начался широко освещаемый в газетах процесс право-троцкистского блока – расстреляли Бухарина, Рыкова и других. В апреле были расстреляны писатели Артем Веселый и Борис Пильняк. В мае взялись за уничтожение генетики. Летом началась вторая волна арестов в армии. Смерть, как в голодные годы военного коммунизма, ежедневно собирала обильный урожай. А в стране по-прежнему снимали фильмы, ставили рекорды производительности труда, совершали новые и новые беспосадочные перелеты, переживали за четверку папанинцев на льдине. Писатели заселяли переделкинские дачи – иногда те, что освободились в связи с безвременной смертью жильцов, тоже совсем недавно туда заселившихся.

Корней Иванович выступил в Академии наук с докладом, посвященным 60-летию смерти Некрасова. Заключил договор на публикацию повести о детстве. Жаловался сыну, что повесть, хотя

ее уже и собрались печатать, движется вяло. Сын сообщал в ответ: «Роман, кажется, получается, хотя я к нему совершенно холоден и пишу механически. С переизданиями „Славы“ и „Княжьего угла“, видимо, ничего не выходит, но и это меня мало трогает – душа одеревенела».

Они сохраняют видимость прежней жизни, но она сломана непоправимо. Заставляют себя писать, но не пишется. Автоматически хлопочут о переизданиях, но не это их волнует.

В начале 1938 года людям, которые были арестованы в ходе летне-осенней кампании, начали выносить приговоры и тут же приводить их в исполнение. По данным, которые приводит Шнейдерман, из проходящих по делу ленинградских писателей 4 января был расстрелян Зоргенфрей, 10 января – Дагаев, 3 или 4 февраля – Юркун. 5-го приговорен к восьми годам Куклин, 11-го – Берзин (один впоследствии умер в тюремной больнице, другой в лагере). 14 февраля пять лет получил Выгодский (умер в лагере), 15-го – Шадрин, 16 марта на десять лет осудили Елену Тагер, 19-го пять лет дали Заболоцкому, который фактически отсидел восемь…

Матвея Петровича Бронштейна расстреляли 18 февраля 1938 года. Дату его смерти Лидия Корнеевна узнала только в начале девяностых, когда открылись архивы; еще долго она считала его живым и хлопотала о нем. Корней Иванович уже в Москве продолжал с кем-то встречаться, кого-то просить о пересмотре дела Бронштейна. Лидия Корнеевна в один из наездов в Москву зимой 1938/39 года добралась до Михаила Кольцова, прославленного журналиста, автора взахлеб читавшихся всей страной правдинских репортажей из Испании. Отдала ему прошение. Тот обещал помочь чем может – и через день сам сгинул в застенках.

В конце февраля 1938 года в ленинградской тюрьме на улице Воинова у Чуковской не приняли деньги для мужа и сказали: «Выбыл». Предстояло его искать. В Крестах Мити не оказалось, в прокуратуре сообщили: приговор вынесен выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР, там и справляйтесь. Лидия Корнеевна отправилась в Москву за приговором. В военной прокуратуре сообщили: десять лет лагерей без права переписки с полной конфискацией имущества. В тот же день Герш Егудин передал для нее из Ленинграда: «Ида и Люшенька переехали на Кирочную. А тебе не советую сейчас приезжать в Ленинград: погода мокрая, для твоих легких опасная». Это означало, что ночью, сразу после отъезда Лидии Корнеевны в Москву, за ней приходили с ордером на арест, а Люшу няня сразу отвезла к бабушке и дедушке. Л. К. знала: как только мужу выносили

приговор, жену арестовывали. Но за теми, кто бежал, не гнались, поэтому можно было спастись.

Здесь возникают какие-то непонятные расхождения: вроде бы только что Чуковский был в Москве, а оказывается уже в Ленинграде, и к нему привозят Люшу, а в Москве оказывается совсем даже Лидия Корнеевна. Вроде бы она пишет в «Прочерке», что из Москвы, куда умчалась в конце февраля, все-таки приехала на два дня в Ленинград, жила у знакомых, встречалась с К. И. и Люшей в Летнем саду; договорилась об условном языке для переписки – и уехала в Киев к родителям Бронштейна. Но 8 марта она пишет из Ленинграда Корнею Ивановичу в Москву, что 15 марта – «Митин день» в тюрьме, можно будет что-то узнать, догнать, передать вещи; до 15-го она никак не хочет уезжать… Спрашивает, когда папа приедет в Ленинград… То ли дни слились в памяти, то ли даты перепутались; в письме от 30 апреля она говорит, что отсутствует в Ленинграде около полутора месяцев; стало быть, и впрямь уехала числа пятнадцатого марта… Разобраться в их перемещениях очень трудно, Чуковские постоянно ездят то в Москву, то обратно: судьбы вершились именно в столице, в Ленинграде оставались превращенные в коммуналки квартиры, растерзанный Детгиз, арестованные близкие. Они мечутся, как муравьи из раздавленного муравейника, – весь 1938 год постоянно перемещаются, переезжают, перевозят вещи, детей, кочуют из города в город, спасают, собирают, склеивают воедино фрагменты разбитой жизни, налаживают существование после катастрофы.

Он уговаривал дочь уехать, это точно. Она отправилась в Киев – но его беспокоило, что ее и там слишком легко найти. Негодовал, что она получает там слишком много писем: это опасно. «Если я не буду получать писем из Ленинграда, я сяду в поезд и вернусь», – жестко отвечала она в письме; уведомляла: «Сегодня вечером я уезжаю. Делаю это только для того, чтобы умерить твое беспокойство». И дальше: «К чему, зачем эти жертвы? Ради какого-то бабьего мистического трепета?» Ей казалось, он зря волнуется. Волновался-то он, конечно, не зря. В 1998 году в архивах НКВД обнаружился датированный 25 марта 1938 года документ, где говорилось, что арест Л. К. Чуковской оформляется и она должна быть арестована к 1 апреля.

Перед отъездом из Киева оставалось решить еще одну проблему: предстояла полная конфискация имущества Матвея Петровича и его жены. Лидия Корнеевна переслала отцу доверенность – сама она не могла присутствовать при последнем разорении ее дома; просила отстоять хоть часть книг и сказать, что пианино – мамино… Пианино удалось спасти. Книги, одежду,

даже детские игрушки – увезли, разграбили, растащили. При конфискации присутствовали К. И. и Люшина няня, Ида Петровна. «Корней Иванович смотрел на совершавшееся молча, с отвращением, с гадливостью, – пишет Лидия Корнеевна. – Он, никогда ничего не копивший, уважал вещи, как запечатленный человеческий разум и труд – будь то стул или тарелка, – а уж книги! Он, сдерживаясь, молча наблюдал разбой: вот треснула дверца шкафа, вот рухнули полки. Только один раз, когда грабители уронили на пол стопку книг и принялись подгребать их в кучу сапожищами, он закричал: „Что вы делаете! Ведь это книги!“ – „Не стеклянные, не разобьются“, – отвечали ему».

Весну К. И. провел в Ленинграде, Лида – на юге; там она ненадолго пересеклась с братом. Он с семьей тоже уехал в Крым – ради отдыха или ради *смены климата!* Вместе ехали из Ялты в Одессу, затем она вернулась в Киев. Отец писал ей: «Тебе нужно будет на 2 дня съездить в Ленинград, побывать на квартире и уехать от тамошнего климата куда-нибудь под Москву». Она храбро отвечала, что волноваться за нее не надо, все тревоги надуманные… Затем вернулась домой и обнаружила, что в их с Митей квартире, в опечатанной прежде комнате, уже поселился сотрудник НКВД.

Климат в Ленинграде и впрямь стал непригоден для жизни. 20 мая К. И. писал сыну: «Внешне дела у меня неплохие: вышел „Айболит“ – увеличенное издание, довольно толстая книга, 21-го выходят мои „Сказки“. Я написал неплохие воспоминания о Горьком (говоря по секрету, я получил письмо от заведующего Мосжилотделом: мне дают квартиру в Москве, я поэтому и еду), – но я так ужасно недоволен своей повестушкой, так устал, меня так мучает мамино нездоровье, что я тоскую как никогда».

На следующий день К. И. уехал в Москву – впрочем, квартиры ему пока не дали, жизнь в гостинице Мария Борисовна переносила плохо, к тому же с ними была внучка; семейство поселилось в доме отдыха Детиздата под Тулой. «Мы в настоящем раю, – писал он дочери. – Я прожил всю жизнь и не видел такой прекрасной природы. Какие травы, какие леса!» Осторожные письма К. И. именно из-за их осторожности кажутся совершенно дикими в контексте эпохи: ни слова о главном, ни намека на основное содержание дней. Осенью сыну: «Какие цветы, какие горы!», весной дочери: «Какие травы, какие леса!»

Может быть, он нарочно, демонстративно умалчивает о главном. Показывает пример осмотрительности. Может быть, напоминает о вечности: все еще есть чем жить, мир еще не окончательно перевернулся, еще существуют горы, травы, леса, еще возможно человеческое существование, еще есть красота и

гармония. Можно, конечно, трактовать это и иначе. Вот, например, как это делает Самуил Лурье в предисловии к переписке отца и дочери Чуковских: "Он как будто вообще не желал ничего знать про то, что и другим бывает больно, – чужое отчаяние его раздражало.

Дочь пишет (7.10.1939):

«Жить мне очень скучно. Каждое утро просыпаюсь и думаю: для чего мне вставать? В конце концов, воспитывать Люшку можно и лежа. Самые дурные часы: утром перед вставанием и вечером перед сном. Днем занят повседневностью, а утром и вечером думаешь о жизни. Ах, я прекрасно знаю, что человек должен трудиться. И тружусь. Но плохо, когда живешь только из чувства долга. Такая жизнь утомляет».

Отец – в ответ:

«Читаю Хемингвея, Колдвелла, получаю наслаждение. Здесь познакомился с замечательной личностью: с бывшей пулеметчицей Чапаевской дивизии Марией Поповой. Необычайно талантлива, самобытна, из неграмотной батрачки стала интеллигентной женщиной, знающей шведский и немецкий языки. В ней есть и величавость, и скромность. Говорит она чудесным русским языком – вкусным, богато окрашенным…»

Какая-то колкая точка пляшет в этом пассаже – лучезарном, бредовом.

Быть может – обычная презумпция перлюстрации".

А может быть, это его способ по-своему, не очень умело, поддерживать в отчаявшихся людях угасающий интерес к жизни, делиться радостью, делиться лесом, цветами, радугами, счастьем человеческого общения. Может быть, это не презумпция перлюстрации, а единственная хорошая новость в череде безнадежно плохих: я сегодня встретил человека! Для живущих в царстве теней, для проводивших близких в небытие встреча с живым, сложным, прекрасным человеком – разве не событие?

Поздняя весна и лето 1938 года были наполнены хлопотами: об арестованных Мите Бронштейне, Шурочке Любарской и других; о безнадежно больном Мироне Левине, которому Литфонд не хотел выделять денег… Это время напрасных надежд. "Есть признаки, что положение Лиды и Катеньки Л (жены Бенедикта Лившица. – *И. Л.),* и тысяч других Лид и Катенек стало тверже, прочнее", – писал К. И. сыну в начале мая. «Счастье, что хоть с Лидой как будто обошлось. Есть много косвенных данных, что она будет безмятежно проживать в Ленинграде» – это сыну в конце мая. «То, о чем ты пишешь, очень похоже на правду. Я тоже слыхал кое-что в этом роде» – дочери в июне. В июле она ему писала: "Итак, ничего, ничего! И годовщину (6 августа – и день

рождения Люши, и день ареста Матвея Петровича. – *И. Л.)* мы будем праздновать безо всякой надежды".

Много и обычных житейских дел: переезд из Ленинграда в Москву (который Лида считала ошибкой), вселение на новую дачу в Переделкине, обзаведение всем нужным для жизни. «Прибыла мебель. Мама в хлопотах», – писал К. И. дочери в середине июня. Эту мебель из карельской березы и сейчас можно увидеть в переделкинском музее; «гостиная обставлена по вкусу Марии Борисовны», говорят экскурсоводы.

«На нашей даче я уже провел сутки – и она мне очень нравится, – сказано в том же письме. – Тишина абсолютная. Лес. Можно не видеть ни одного человека неделями… Хватит ли у меня средств завести в ней все необходимое, не знаю, но если хватит, для вас для всех будет отличная база». Чуть позже в письме Николаю Корнеевичу: «Дача изумительная. Будто специально для меня приспособлена. Две террасы – на восток и на запад – дают мне возможность работать на воздухе целые дни. Тишина полная». (Как он подчеркивает тишину!)

Чуковский весь погружен в новые заботы – и в кои-то веки эти заботы не связаны с горем: наконец появилась возможность жить за городом в своем доме, чего он был лишен со времени утраты куоккальской дачи. «Зимою она будет холодновата, но я весь август употреблю на ее отепление. Обобью полы, исправлю печи… Каждый день я хожу босиком под жгучим солнцем по степи, ложусь рано, много работаю. Бессонницы не было ни одной, а этого со мною не бывало лет 30: чтобы целый месяц спать каждую ночь подряд. Правда, я очень постарел, но чувствую себя очень неплохо».

Хлопоты печальные, хлопоты хозяйственные; в промежутках между ними он еще умудрялся работать: опубликованы воспоминания о Горьком, к концу лета выходят несколько публикаций в «Правде» и «Крокодиле», посвященных ошибкам в детских книгах: он с прежней страстью грызет халтурщиков и бракоделов.

Лидия Корнеевна, забрав Люшу у своих родителей, живет теперь на даче в Тарховке под Ленинградом, пишет повесть «История одного восстания» – о бунте украинских крестьян в XVIII веке. К. И. зовет ее жить к себе на дачу. Зовет и сына. Собирается, как обычно, в сентябре ехать в Кисловодск. Судя по переписке с Лидией Корнеевной и ее воспоминаниям, Чуковский успел (видимо, в конце лета, перед отъездом на юг) специально съездить в Ленинград – хлопотать о Шуре Любарской. Хлопоты оказались неудачными, и, вернувшись в Москву, он даже не зашел к ожидавшей его Шуриной тетке: он любил радовать, но

ненавидел приносить дурные вести. Близких это неизменно обижало.

Лидия Корнеевна рассказывает в «Прочерке», как он, приехав к ней в дом отдыха в 1939-м с неутешительными новостями, задерживался в коридоре, как мог, оттягивал встречу. «Он не любил встречаться с болью лицом к лицу, если помочь нечем». «Привези он хорошую весть, он не говорил бы ни с кем, а шагал бы без задержек прямо ко мне своими веселыми аршинными шагами. Это было детское в нем – жажда веселья, радости, ребячья жажда».

«„Я привык приносить людям счастье“, – сказал он мне однажды. И каким это ни может показаться странным – это правда. Он, по разным поводам, выручал людей и в дореволюционное время, а после революции, когда самые разнообразные беды сделались вокруг и у него самого повседневностью, пытался вытаскивать людей из пучины бедствий—повседневно… И – легкая рука! – хлопоты его за разных людей в самых разных обстоятельствах нередко приводили к успеху. Известность, слава, личное обаяние давали иногда результаты совершенно неожиданные и нежданно счастливые. О, как он тогда торопился известить пострадавших (или их близких!). Как ликовал вместе с ними! И как не любил сообщать о горестях, неудачах и горевать бесплодно! Сказки, сочиняемые им, уж во что бы то ни стало кончались победным весельем. И не только потому, что хорошего конца требовал малолетний читатель. В хорошем конце испытывал потребность он сам в неменьшей степени, чем дети от двух до пяти».

Летом ходят слухи о войне («как странно и страшно в августе 1938 года читать стихи об августе 1914», пишет К. И. сыну; он помнит лето 1914-го – тоже август, дача, писатели и журналисты в гостях). Осенью Чехословакия просит у СССР защиты, но вскоре подвергается разделу по Мюнхенскому сговору, влияние фашистов в Европе становится огромным. Письмо К. И. Николаю Корнеевичу из Кисловодска 10 октября: «Здесь был Тарле… Мы с мамой попросили его осветить нам современные события, и он прочитал нам замечательную лекцию о Даладье, Гитлере, Чемберлене и прочих бандитах» (имеются в виду главы правительств, подписавшие Мюнхенское соглашение). Должно быть, и дочери он писал о своих тревогах по поводу европейского фашизма, судя по страстной, блестящей отповеди в ее письме от 12 октября: «Если хотите знать, что такое фашизм, пойдите посмотреть фильм „Профессор Мамлок“… В фильме показана травля профессора-еврея; фашистский комиссар, который заставляет врачей подписывать требования о его увольнении;

провокационный поджог рейхстага, который дал возможность Гитлеру расправиться со своими политическими врагами; пытки, применяемые к коммунистам на допросах; очереди матерей и жен к окошку Гестапо и ответы, которые они получают: „О вашем сыне ничего не известно“, „Сведений нет“; законы, печатаемые в газетах, о которых фашистские молодчики откровенно говорят, что это законы лишь для „мирового общественного мнения“…»

Письмо написано, кажется, не только для отца, но и для цензора – это и ему адресованы жалобы на соседа, вечно пьяного и не платящего за квартиру сотрудника НКВД, и пожелание, чтобы органы провели «чистку рядов в общегосударственном масштабе», и совсем уж не характерные для семейной переписки фразы: «Фильм несомненно имеет огромное политическое значение – боевой фильм против фашизма».

Осенью Лидия Корнеевна закончила свой исторический труд о восстании украинских крестьян. Корней Иванович советовал ей «после этой книги написать другую – по душе». «Адский хохот! – отреагировала она. – Когда ты приедешь, я тебе расскажу, о чем мне хотелось бы написать. По душе. И совершенно художественно. Если нельзя писать о том, о чем хочется, – то не все ли равно, о чем? Тогда вот и начинаешь заниматься теоретическими экспериментами».

Повесть «Софья Петровна» вызревала и рвалась на бумагу.

В Кисловодске в этот раз оказалось суетно и шумно. Чуковский по-прежнему много ходил по урокам в местных школах; на этот раз ему компанию стал составлять Антон Семенович Макаренко, прибывший лечиться в этот же санаторий, прибыл туда же и Лев Квитко. «Первым, кого я встретил, был, конечно, Чуковский, – писал Макаренко жене 30 октября. – Он заорал на весь вестибюль, что это замечательно, это очаровательно, что хотя и трудно, и мест никаких нет, но он все устроит». А несколькими строчками ниже: «Чуковский на днях уезжает, и мне никто мешать не будет». Ничего личного – ему мешали все: он работал над книгой и очень торопился ее закончить.

«Но вот как-то за обедом он спросил меня, куда это я исчезаю так часто? – рассказывает Чуковский в воспоминаниях о Макаренко. – Я признался, что тайком от врачей убегаю в кисловодские школы, где у меня еще в прошлые годы наладилось живое общение с детьми. Антон Семенович мгновенно воспламенился желанием тоже побывать в этих школах. Ради них он даже готов был пожертвовать часами работы над романом».

«Только что возвратились с Чуковским из 12 школы – это из письма Макаренко жене от 5 ноября. – Были там на уроках,

разговаривали с ребятами. С Чуковским это можно делать спокойно, он человек веселый и дурашливый».

Походы эти были довольно трудны для обоих: при возвращении надо было пешком подниматься в гору. Тем не менее они приносили удовольствие: по дороге спутники разговаривали о литературе, «с упоением читали друг другу стихи», спорили о Достоевском, говорили о детях (Макаренко советовал усилить педагогическую направленность книги «От двух до пяти»).

«Веселый и дурашливый» Корней Иванович тосковал в санатории, скучал по детям и внукам, чувствовал себя больным, работал с трудом. Получив в Кисловодске известие о смерти Бориса Житкова, писал дочери: «Смерть Житкова это отчасти моя смерть». Раньше, в конце августа, умер Куприн, тоже часть одесской и петербургской юности К. И. В ноябре в заключении погиб Борис Корнилов, чьи стихи Чуковский прежде отобрал для детиздатовского тома лирики. Жизнь – а точнее, смерть – вносила свои коррективы и в эту работу: никаких «ныне разоблаченных врагов народа» в этой книге быть не могло. Еще позже, в декабре, не стало Мандельштама. Стоит ли говорить, что и его лирика, высоко ценимая Чуковским, тоже не вошла в этот том?

Смерть и тоска, тоска и смерть. А погода (из письма дочери) – «дивная, нежная, солнечная», «в октябре тебе здесь понравилось бы до слез: такая нежность и ясность».

В начале ноября Чуковские вернулись в Москву. В Ленинграде тем временем начались неприятности у дочери: Райжилсоюз решил отобрать у нее одну комнату из оставшихся двух. "Прошу тебя написать письмо т. Успенскому, председателю Райжилотдела (пр. 25 Октября, 68)… Проси угомонить управдома, который *противозаконно* (это так) утесняет… и кого же? Твою родную дочь, которая пописывает, которая больна и пр.", – писала она отцу. «Надеюсь, что до декабря ты можешь сопротивляться своеволию и насилию управдома. А в декабре мы приструним его окончательно», – отвечал он ей. Лурье усматривает в этом конкретном пассаже нарочитое стремление Чуковского не замечать неприятных реплик в письмах дочери (о «Профессоре Мамлоке» и гестапо) и манеру поддерживать диалог «в рассеянно-бодрой манере Порфирия Головлева»: «уж мы ключницу за бока!» Между тем письмо-то как раз написано по делу и по тональности вполне соответствует Лидиному предыдущему: «Спеши подпереть своим могучим плечом наше хилое законодательство!» И, что гораздо важнее, председатель райжилотдела действительно получил послание К. И., и вопрос с ЖАКТом и управдомом был решен окончательно.

Осень поставила перед Чуковскими и другие бытовые вопросы, и главный – где, собственно, жить. "Анна Георгиевна (помощница К. И., приехавшая в Ленинград с известиями от него. – *И. Л.)* говорит, что на даче у вас холодно, полы не в порядке и пр.", – писала отцу Лидия Корнеевна. Волновался и Николай Корнеевич: «Какие у вас житейские планы? Где вы собираетесь провести зиму? Как с квартирой в Москве? Можно ли зимовать в Переделкине? Когда собираетесь в Ленинград?» В октябре К. И. писал сыну: «Очень хочется в Ленинград. О Москве думаю с тошнотой». И дочери: «Я хвораю, не сплю, тоскую по Питеру». Дочь подливала масла в огонь: "А в Ленинграде сейчас – как и всегда, впрочем, – течет удивительно достойная, благородная, скорбная, сосредоточенная и культурная жизнь. Я все поверить не могу, что вы будете жить в Москве. Неужели вам не ясно, что в Москву надо ездить *по делам* или летом на дачу, но жить и работать нужно в провинциальном Ленинграде?"

Но он остался в столице, где у него были дела, и продолжал жить в гостинице «Москва»: зимовать на даче было нельзя. Впрочем, довольно скоро оказалось, что квартиру уже выделили и будет даже машина, и в письме Николаю К. И. весьма иронически описывает перипетии с квартирой и споры с женой, какого цвета должна быть машина: "Я предпочитаю цвет *кофе с молоком,* а мама желает *зеленый.* Оказывается, это важный вопрос. Решено – выкрасить машину в две краски: правая сторона будет зеленая, левая – кофейная".

Пока бытовые вопросы ожидали решения, он взялся за работу. Закончил том лирики и погрузился в редактуру «Избранных переводов» Шевченко; эта работа породила другую – серию статей о переводах украинского классика (в «Правде», «Литературной газете», «Красной нови»). Затем – воспоминания о Репине, Горьком и Маяковском. В ноябре он выступал на вечере Шевченко; понервничал из-за Асеева, которого возмутило количество редакторских претензий к его переводу; писал ему ответ, но затем забрал его из газеты по совету Квитко… В цитированном письме к Н. К. дед Корней просит передать внуку Гульке (Николаю Николаевичу), что пишет книжку под названием «Вдилижанстулежанс» (еще один нереализованный замысел?). Письма почитаешь: вроде бы все нормально, жизнь идет, книги издаются, переводы делаются; переезд, новая квартира, много работы. Пока работаю – живу; значит, живет.

А в Ленинграде тоскует дочь: «Нет никакого фронта, никакой идейной борьбы вокруг детской книги; не против кого и, главное, не за кого бороться; и, кроме того, – не все ли равно теперь: хорошие ли выходят книги, плохие ли? Пустяки все это…» А он

ей пишет, что в Шевченко уложил работы бездну, «но результаты будут как будто солидные», что в «Детскую литературу» надо писать непременно: «…если бы ты видела, как читают этот журнал педагоги в провинции…» Переписка отца с дочерью похожа на бесконечный диалог молодого родителя и семилетнего почемучки: «Почему?» – «Потому что потому». «Зачем?» – «Потому что так надо». Зачем жить, зачем учить и лечить, зачем издавать детскую литературу, когда смерть победила, спрашивает она. Потому что так надо, отвечает он. Это его теория самоцельной бесцельности, его категорический императив, его опыт жизни сквозь российскую историю.

Он, оказывается, вполне способен жить среди смерти, спорить о цвете машины, огорчаться из-за интриг Асеева, задумываться о том, что читают школьные учителя словесности. В этой способности можно увидеть мудрость и понимание того, что «и это тоже пройдет», а литература останется и все расставит по местам; можно – черствость и нежелание задумываться: сохранившиеся письма можно толковать и так, и так. Пожалуй, вряд ли будет ошибкой сказать, что сам-то он, рассказывая о своих героях, обычно подчеркивал наиболее благородные мотивы из всех возможных.

Победившая ночь

Осенью 1938 года государство будто и впрямь услышало требование Лидии Чуковской провести чистку рядов НКВД. В октябре Политбюро создало комиссию, которая должна была выработать новые правила ведения следствия. 17 ноября вышло постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», осуждающее перегибы в работе органов. "Вопрос: «за что взяли такого-то?» – люди задавали – не властям, конечно, а друг другу – беспрестанно. Власти не могли не расслышать этот вопрос и во всеобщем молчании. (Воздух набухал им.) И вот в 39-м году воспоследовал ответ: оказывается, насчет *отдельных* людей *отдельными* клеветниками Большой Дом был введен в заблуждение", – писала Л. К.

Постановление от 17 ноября гласило, что «упрощенное ведение следствия и суда» привело «к ряду крупнейших недостатков и извращений в работе органов НКВД и Прокуратуры». Теперь запретили «тройки», массовые аресты и выселения, от прокуратуры потребовали тщательной проверки обоснованности выдачи ордеров на аресты. Появилась надежда. К. И. писал дочери в ноябре: «Тут ходят очень благоприятные

сведения, которым боюсь верить». Уже 25 ноября был снят с должности нарком внутренних дел Ежов, и его место занял Берия. Это сразу добавило отзывчивости прежде непробиваемым судам и прокуратуре. По словам Лидии Корнеевны, Чуковский и Маршак давно уже добивались личного приема у Генерального прокурора СССР Вышинского, тот их «не принимал, не принимал, и вдруг, в декабре 38-го принял».

«И Самуил Яковлевич, и Корней Иванович понимали, что настало время, и, наверное, недолгое, когда можно хлопотать за кого-то, доказывать, объяснять. И путь у них был один – к Генеральному прокурору Советского Союза, то есть к Вышинскому, – вспоминала Александра Любарская. – До сих пор Вышинский с успехом ставил судебные спектакли, в последнем действии которых был расстрел. Теперь, зимой 1939 года, – на какое-то недолгое время – он разыгрывал спектакли, где справедливость торжествовала. Маршак и Чуковский добились приема у него. И вот два замечательных писателя, два интеллигента, ничего не знающие ни про какой шпионаж, пришли к Вышинскому. Они даже не очень представляли себе, о чем говорить. Маршак рассказывал, какой у меня замечательный отец, Чуковский рассказывал, как прекрасно я выступала на совещании по детской литературе в ЦК Комсомола, оба расхваливали трехтомник Пушкина, который я редактировала. Вышинский выслушал их, потом снял телефонную трубку – очевидно, это была прямая связь с Большим домом в Ленинграде – и произнес странные слова: „У вас там находится Любарская, Александра Иосифовна. Примените к ней статью 161-ю“».

Маршак и Чуковский были в отчаянии – что же это, одну статью сняли, а другую дали? Но Вышинский снисходительно сказал: «Не беспокойтесь, на нашем языке это означает, что она должна быть освобождена». Лидия Корнеевна в «Прочерке» дополняет эту историю еще одной подробностью: «Он обещал „разобраться“ и, прощаясь, обнял обоих со словами: „Нам не впервой бороться за правду!“ (Выгрался в новую роль!)». Через несколько дней Вышинский, собственной персоной, позвонил в санаторий, где был Корней Иванович, и сказал: «Мы вашу Любарскую освободили».

Январь 1939 года, когда начали выпускать *отдельных* осужденных, воскресил угасшие было надежды на справедливость государства, на восстановление нормальной жизни. Письмо, написанное Корнеем Ивановичем после освобождения Шурочки, – чудовищно советское: «Оказалось, что Вышинский не знал моего адреса, звонил в Союз, узнал адрес и сам позвонил в ту самую секунду, когда это дело дошло до него. Я горячо благодарен ему

за такое участие. Меня страшно интересует, как здоровье Шурочки… Должно быть, она очень слаба. Когда она окрепнет немного, надо будет взяться за тех негодяев, которые, спасая свою шкуру, клеветали на нее – и на вас всех, – при полном потворстве ныне разоблаченных – и еще не разоблаченных врагов. Сейчас и мне нездоровится, но, когда я окрепну, я думаю, что мы с С. Я. Маршаком еще раз посетим А. Я. Вышинского—и сообщим ему о вредительских действиях всей этой…»

Провокация удалась. Поверили.

Узнав, что Шуру Любарскую выпустили, Чуковский обезумел от радости. «Что я говорил ему Вышинскому, я не помню. Мне было стыдно выйти к маме в вестибюль, т. к. я чувствовал, что сейчас разревусь, – писал он дочери. – И тут вышло чудо: когда я успокоился и стал говорить с мамой о других делах, оказалось, что я все забыл: все фамилии, все имена-отчества, все адреса». («Он как будто вообще не желал ничего знать про то, что и другим бывает больно», – говорит Лурье; способен ли так радоваться чужой радости не желающий знать чужой боли?) «Мне даже странно было весь день носить в душе такую непривычную радость». «Я все еще не могу охватить все это большое событие. Неужели в самом деле на лице у Шуриной мамы появилась улыбка?» Дочь отвечает: «Я, кажется, впервые понимаю слова Блока: „Радость-Страданье одно“. Ее Шуры Любарской приход – какая это радость и какое страдание!»

Шура была вестником из иного мира. Она подтвердила: там ад. Там истязают, там вымогают показания. «И первый клад мой честь была, клад этот пытка отняла», – цитировала она пушкинского Мазепу. Ужас вселяли рассказы выпущенных из тюрьмы – словно говорили вернувшиеся с того света. Ужас, но и надежду: казалось, теперь хлопоты о Мите Бронштейне должны были дать результат.

К началу 1939 года государство в полной мере преуспело в наведении ужаса на своих граждан; однако, как писал много позже Зощенко, писатель с перепуганной душой – уже потеря квалификации. А режим тем не менее нуждался в писателях. Может быть, поэтому перепуганных, спрятавшихся по дачам, ожидавших ареста художников слова решено было подбодрить. 31 января на свет появился указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами 172 советских писателей. НКВД, правда, проверял по своим каналам кандидатуры на награждение и давал справки об имеющихся в его распоряжении «компрометирующих в той или иной мере материалах» на писателей, подлежащих награждению. В некоторых случаях руководство Союза писателей и само торопилось проявить

бдительность: так, к наградам не были представлены Эренбург, Пастернак, Олеша, Бабель. Другие, невзирая на наличие «компрометирующих документов», были награждены – в их числе Николай Тихонов, едва не ставший вождем террористической организации, «руководитель вредительской группы в Детиздате» Самуил Маршак и многие другие. А члены этих небывалых групп и организаций лежали в безымянных братских могилах или сидели в лагерях.

По свидетельству Д. Н. Чуковского, Ираклий Андроников слышал от Фадеева и рассказывал, как кандидатуры писателей обсуждали со Сталиным. Список был поделен на три группы: орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Сталин полулежа читал список и всякий раз кивал головой, одобряя кандидатуру. Однако на фамилии «Чуковский» Сталин не кивнул. «Ленину нравилась работа Чуковского о Некрасове», – быстро вставил Фадеев. «А он что, все еще кадет?» – перебил Сталин. Фадееву пришлось сдвинуть Чуковского в группу награжденных орденом Трудового Красного Знамени. Маршак и Михалков получили ордена Ленина. Чуковский не стал мериться достоинством орденов, высчитывая, кому чего недодали, – и немедленно сердечно поздравил обоих.

Писатели вообще очень серьезно отнеслись к этому мероприятию. Асеев писал о полученном ордене:

> Вколото
> эмаль и золото
> Не только в мой пиджачный лацкан, —
> Пыланьем ордена,
> вниманьем родины
> Весь труд писательский возвышен и обласкан.

Возможно, возвышенным и обласканным чувствовал себя и Чуковский: и орден, и участие Вышинского совпали по времени. Казалось, можно было на что-то надеяться.

К весне Лида и Шура уехали в подмосковный дом отдыха «Узкое»: лечиться. Ни с кем не общались, жили замкнуто. «У нас обеих нет никакого аппетита видеть людей», – читаем в одном из писем Л. К. отцу. В «Узкое» К. И. и привез скверные новости от председателя Верховного суда Голякова: «Наши юристы подвергли дело Бронштейна самой строгой проверке и никаких нарушений не обнаружили. Для пересмотра оснований нет».

Выйдя из кабинета, рассказывает в «Прочерке» Лидия Корнеевна, К. И. задумался: куда идти дальше? Давней мечтой Чуковских было попасть на прием к Ульриху, председателю

Военной коллегии Верховного суда – органа, осудившего Митю. Чуковский встал в самую короткую очередь к окошку справочной, читал срочную корректуру. Узнав, что приема у Ульриха нет, попросил его домашний телефон. Телефон не дали.

Л. К. рассказывает: "Корней Иванович отступил и сел на подоконник. Дочитывал свою корректуру и додумывал, куда ткнуться еще. Внезапно о его колено ударился бумажный шарик. Он развернул бумажку: «Товарищ Чуковский! Я вас узнала. Телефон товарища Ульриха…» и – номер желанного телефона!

Ну не фантастика ли?

Далее еще фантастичнее. Несколько дней Корней Иванович истратил на то, чтобы узнать имя и отчество Ульриха. Узнав, собрался с духом и позвонил. Женский голос: «Василия Васильевича дома нет. Кто его спрашивает?» – «Чуковский». – «Корней Иванович? Это вы? Какое счастье! Я всю жизнь пишу стишки для советских ребятишек и мечтаю показать их вам!»"

Корнея Ивановича пригласили домой к Ульрихам. Показали детские стишки. Сам Ульрих прочел все документы и письма с просьбами о пересмотре дела Бронштейна. Велел перезвонить дня через два. Через два дня сказал, что Бронштейн, по-видимому, погиб. Просил перезвонить через месяц – узнает точнее.

Надежда таяла на глазах. Ульриху пришлось звонить через месяц, и еще потом, и еще. Весной 1939-го Л. К. составляет список вопросов для визита К. И. к Ульриху: раздобыть точный адрес, просить о разрешении слать посылки, просить использовать Митю по специальности… В июле Чуковский снова посетил Ульриха: «Мой милый, ищем! Там, где мы думали его найти, его нет!» Секретарь говорит, Бронштейн числится в без вести пропавших. Ульрих советует прийти после 17 июля, когда будет летняя сводка… Потом до 20-го, лучше – 22-го… 23-го получен ответ: ждите, мы вас сами известим. В конце августа известий нет. В сентябре К. И. снова собирается ехать в Москву и сделать «то, что нужно»… В ноябре пишет дочери: «10-го или, вернее, 13-го пойду к В. В.». Попутно он пытается что-то узнать об арестованном сыне Ахматовой. Анна Андреевна дает Лидии Корнеевне прочитать новые стихи, которые сразу сжигает на свечке; сходит с ума, закладывает волоски в книги и обнаруживает их сдвинутыми с места – чего в этом больше, бдительности или безумия, сказать невозможно.

Надежды уже никакой не осталось. Лидия Корнеевна требует от Большого дома только подтверждения смерти мужа.

Жизнь тем временем делает вид, что идет.

Чуковские пишут друг другу о своей работе над новыми повестями, о здоровье, об издательских делах, мелких радостях и

мелких неприятностях, семейных проблемах и решениях. Чуковский поссорился со Шкловским: тот наговорил ему грубостей на публичном выступлении о Маяковском. Потом извинялся. (А в следующем году, заметим в скобках, издал книгу с новыми нападками на Чуковского.) В мае К. И. ездил в Киев на Шевченковские торжества, выступал с речами и лекциями. Главная работа в 1939 году – теория перевода: готовится переиздание «Искусство перевода», и Чуковский весь погружен в Шевченко, Уитмена, По, Шекспира… Зовет Николая Корнеевича в Москву – надолго, а то и насовсем. Лидия Корнеевна закончила повесть «История одного восстания». Борис Корнеевич порвал с первой женой, Ниной Станиславовной, которую в семье очень не любили. Воспитывать сына Женю она отказалась, Борис Корнеевич взял его к себе (впрочем, судя по письмам, он настаивал на том, чтобы ребенок остался с ним, указывает Елена Цезаревна Чуковская). Борис женился вторично, переехал в Москву и некоторое время вместе с женой Лидией Рогожиной и сыном жил у родителей.

Чуковский правит перевод «Хижины дяди Тома», сделанный Мариной Чуковской. В семье идет горячее обсуждение совместной работы над учебниками для начальной школы: Учпедгиз внял страстным речам К. И. на многочисленных совещаниях и поручил ему, Маршаку, Лидии Корнеевне, Тамаре Габбе (тоже недавно освобожденной) и Зое Задунайской составить новые учебники для младших классов. Началась кропотливая работа над прочтением, пересмотром, составлением новых учебников.

Тем временем ощутимо меняется климат в обществе. Газеты 1939 года резко отличаются от газет предыдущих лет: пионеров-передовиков, ударников, стахановцев на первополосных фотографиях сменили военные: призывники, еще призывники, и еще, выпускники аэроклуба, мастера воздушного боя, военное воспитание в средней школе, мобилизация призывников на учебные сборы. Уже не пишут о кровавых псах фашизма: на повестке дня договор о германо-советской дружбе.

Чуковский публикуется в этом году не так уж много: всю первую половину года пишет о Шевченко, осенью вновь берется за радловские переводы Шекспира. Все это старые темы, он повторяется, да и нет в его публикациях прежнего огня – все уже отработанное, автоматическое, разве что Радлову чехвостит все так же страстно.

В начале сентября в «Правде» (на первых полосах – обсуждение пакта Молотова—Риббентропа) выходит статья о первоклассниках «Новички»: Чуковский рассказывает о первом школьном дне в деревне Измалково Московской области и

вспоминает некрасовские строки о школьнике: «Ноги босы, грязно тело и едва прикрыта грудь». Пафос статьи прежний, привычный: до революции было плохо, учиться дети возможности не имели, а сейчас имеют и воспринимают это как должное: школьники «говорили о будущих профессиях, как о самой твердой реальности, и право на образование казалось им естественным и общедоступным, как воздух». Все это уже много раз было им написано.

В декабрьской статье «Вредная любовь» К. И. доказывает, что любовь к ребенку состоит не в потакании всякой его прихоти, и снова призывает издать «Книгу о здоровом советском ребенке» – а то что это, «Книга о вкусной и здоровой пище» есть, а о воспитании детей для матерей – нет. В декабре в «Правде» печатается его речь на X пленуме ЦК ВЛКСМ, снова озаглавленная «Литература в школе»: сплошь дежавю, «учительница связана по рукам и ногам черствой наркомпросовской программой», «хоть ковшик поэзии», «мертвая регистрация случайных и внешних приемов». «Восхищение, взволнованность, эмоциональное отношение к изучаемым авторам» – вот чем отличаются лучшие учителя. А худшие говорят: «У меня и без эмоций большая нагрузка. Куда же еще мне заниматься эмоциями».

Страшно, что самому Чуковскому невмоготу уже «заниматься эмоциями». Не хватает душевных сил на то, чтобы с прежним жаром требовать качественной литературы для детей.

В сентябре одновременно с началом учебного года полыхнула мировая война. Страна учится воевать, мобилизуется, готовится к войне, но не верит, что она начнется. Газеты пишут об освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии от польских панов, на фотографиях счастливое население встречает советских воинов.

Чуковский в сентябре пишет сыну, что военные действия его не интересуют, ибо он уверен в скорой и победоносной кампании, а Лиде сообщает: «О болезнях скучно рассказывать, но я еще никогда в жизни не чувствовал себя так плохо, как сейчас». Всю осень одна болезнь сменяет другую: желудочный грипп, бессонница, пневмония; врачи обнаружили проблемы с щитовидной железой. Он изнемог от постоянно плохого самочувствия, от работы, от бесплодных хлопот, от неожиданных неприятностей («в самый разгар болезни Литфондом было предписано мне в 24 часа очистить дачу. Вскоре это распоряжение было отменено, но ты можешь себе представить, какой удар это нанесло мне и маме, которая тоже лежала больная» – из письма дочери). В октябре К. И. отправился

лечиться в Барвиху.

Наконец, ему крайне тяжело дается общение с дочерью, пребывающей в глубокой, непроходящей, смертной тоске: жизнь сломана бесповоротно. Еще весной в письмах Николаю Корнеевичу периодически мелькают жалобы: М. Б. больна, «и свалившаяся на ее плечи Лида, сама того не замечая, еще до гриппа изнурила ее»; «мне в новой квартире очень нравится. Омрачает ее только больная Лида, которую мне до смерти жалко».

Лидии Корнеевне было 33, и она уже почти полностью поседела. Осенью дочь отвечает отцу на какое-то не сохранившееся «письмо с выговором»: «Итак, повинуюсь и отныне буду трактовать только идиллические предметы». И в этом же письме – уже цитированное нами выше: «Самые дурные часы: утром перед вставанием и вечером перед сном. Днем занят повседневностью, а утром и вечером думаешь о жизни».

О том же писала в это время Лидия Гинзбург: «Представим себе человека в одиночке. Представим себе: он просыпается; сначала он ничего не помнит. У него пустое сознание, в которое может войти что угодно, – что он у себя дома, например. Потом вместе с каким-нибудь табуретом или углом стола в него входит действительность. Это момент за весь день самый ужасный. В этот момент расторгнута связь привычки, которая здесь единственная связь жизни. Это возвращение. Все в нем сопротивляется, кричит против этого невозможного возвращения к зажавшим его стенам. Он просто уверен, что невозможно, психологически невозможно встать и начать жить (побудка уже началась). Потом он вспоминает, что оденется, будет мыться, потом подметать свою камеру, потом ему принесут кипяток и хлеб. И от ряда привычных предстоящих действий возвращение становится возможным».

В эту действительность не хотелось просыпаться. В нее трудно было возвращаться от работы – все эти занятия переводами, Чернышевским, восемнадцатым веком, Шевченко, все это чтение Хемингуэя и Колдуэлла, о котором они пишут друг другу, – все это давало возможность отвести глаза от повседневного ужаса – отвлечься от него, чтобы сохранить здравый рассудок. Разница между отцом и дочерью была в том, что он мог отвлечься, уйти в работу, обнести черную яму забором и запретить себе и окружающим лишние мысли и разговоры о наступившем ужасе. Она – не могла. Она должна была исследовать черноту до самого предела, дойти до конца, проговорить все, что мучит и ищет выхода. «Не превозмочь / Желанья смерти», – проговорилась она в стихах. И дальше: «И

строго / Глядит победившая ночь». Он не желал смотреть в бездну – для него это было гибельно. Она не желала от бездны отрываться: для нее единственный путь наверх проходил через самое дно бездны.

Это время для обоих – время экзистенциального осмысления, слома, кризиса. Переосмыслению подвергаются основы, на которых строилась вся жизнь и вся работа: многое оказалось несостоятельным. Светский гуманизм, вера в величие человека – самая жалкая позиция во времена антропогенных катаклизмов. Самая уязвимая, самая чреватая полным мировоззренческим крахом. Куда легче верующему, который различает в происходящем признаки великой борьбы в иных сферах, или даже цинику, который никогда не обольщался и не ждал ничего хорошего.

Что им остается, на что они уповают в наступившей ночи?

Еще в 1907 году Чуковский писал: «Культура тем уже хорошая вещь, что много она дает разных развлечений, когда тебя свяжут и сядут тебе на голову во всю ширину своего седалища. Займитесь же культурой!» Они и занимаются. Пишут книги для детей. Издают. Работают над созданием учебников. Но уже без вдохновения, без энтузиазма, без прежнего жара. Чуковский вновь начинает писать дневник. Записи состоят из коротеньких констатации: читал литкружковцам лекцию, начинаю работу с юными дарованиями, читал на Шаболовке сказки для телевидения.

Конец ноября ознаменован новым, последним всплеском надежд: освободили мужа Сони Богданович, одной из четверых детей Татьяны Богданович, куоккальской соседки К. И. По-прежнему не было вестей об арестованной Шуре Богданович: ее забили в тюрьме до смерти, но этого пока никто не знал, хлопоты продолжались. В ноябре же появились сведения, что жив Сергей Безбородов, арестованный вместе с большинством сотрудников редакции Маршака (Безбородов уже давно был расстрелян, но они этого тоже не знали). Снова собирали характеристики, Лида просила отца обратиться к Ульриху, собирались писать Молотову… продолжались бесцельные хождения и вопрошания Ульриха. «Относительно М<атвея> П<етровича> я получу точное известие 1-го в 4 часа», – писал К. И. дочери в конце ноября. Известия не получил.

30 ноября началась война с Финляндией. «Из-за радио не сплю уже пятую ночь», – писала Л. К. отцу. Опять «презумпция перлюстрации»: из-за тех новостей, что звучат по радио (ночного вещания в СССР как такового не было). В Ленинграде начались затемнения: опасались бомбежек. 5 декабря Чуковский записал в

дневнике: «Третьего дня мы получили от Марины письмо. Самое обыкновенное – о разных мелочах. И внизу Колина приписка о том, что он уходит завтра во флот – командиром».

В письмах дочери и сыну речь постоянно идет о нездоровье, необходимости лечь в больницу на операцию. Еще одна постоянно присутствующая тема – возобновление борьбы с Анной Радловой. 12 декабря Чуковский записывал в дневнике: "3-го дня читал свою книгу в «Библиотеке Иностр. Л-ры» «Высокое искусство» в присутствии Анны Радловой и ее мужа, специально приехавшими (так в тексте. – *И. Л.)* в Москву – мутить воду вокруг моей статьи о ее переводах «Отелло». Это им вполне удалось, и вчера Фадеев вырезал из «Красной Нови» мою статью (статья «Астма у Дездемоны» вышла в 1940 году в журнале «Театр». – *И. Л.)*. Сегодня Лида пишет, что Радловы начали в десять рук бешеную травлю против меня, полную клеветы". Добавим еще, что Ахматова просила Лидию Корнеевну передать отцу, что Радлова, по ее мнению, связана с Большим домом.

Дневниковая запись К. И. за 12 декабря удивляет косноязычием, совершенно нехарактерными для К. И. грамматическими нестыковками. Объясняет их следующее предложение: «Сегодня я написал Лиде о Матвее Петровиче».

Адвокат Киселев доставил записку Лидии Корнеевне в Ленинград.

"Дорогая Лидочка.

Мне больно писать тебе об этом, но я теперь узнал наверняка, что Матвея Петровича нет в живых. Значит, хлопотать уже не о чем.

У меня дрожат руки, и больше я ничего писать не могу".

«Плакала ли я – не помню, – пишет Лидия Корнеевна. – Кажется, да: несколько раз бегала в ванную и подставляла лицо под холодную струю».

Больше не о чем хлопотать, нечего ждать, не на что надеяться, не о чем говорить. Смерть снова победила. Снова начинается посмертное существование – с пустыми, через силу, письмами, с повседневной работой, потому что так надо, – мучительное, полуавтоматическое, на одних инстинктах и рефлексах, существование души, у которой снова оторвали огромный кусок – и которая пытается теперь регенерировать, заращивать рану, вернуться к жизни.

Глава девятая
Партийная литература

Посмертная усталость

«С Новым годом! С новым горем!» – написала в начале 1940-го Ахматова.

Так он и начался, этот год: с нового горя, с провала наступления на Финляндию, с новых жестокостей, с новых смертей: 17 января расстрелян Бабель, 2 февраля – Кольцов и Мейерхольд… (Ирина Бутыльская в статье «Шпага для Бибигона» приводит полученное Чуковским письмо курской девочки по имени Эсфирь Лурье: «Наступил 1940 год. Третий год третьей сталинской пятилетки и одиннадцатый год моей жизни. Много мыслей за это время… В 1939 году был заключен мирный договор с Германией, Эстонией, Латвией и Литвой. 1939 год был веселым, а 1940-й будет еще веселей».)

Жизнь остановилась на точке замерзания, притихла, притаилась. Наступила последняя беспощадная ясность, темная и глухая зима, которую надо было пережить, сбившись в кучу, делясь оставшимся теплом.

Оставались работа, тоска, рутина. Оставались привычные заботы и хлопоты о тех, кто пережил следствие и суд или еще числился живым: о Николае Заболоцком, о Шуре Богданович (потом, узнав, что ее нет в живых, Чуковский и Тарле все думали, как сообщить эту новость ее немолодой и больной матери), о многих других…

В биографии Заболоцкого, написанной его сыном, Чуковский постоянно упоминается среди тех, кто пытался вызволить поэта из заключения. Он присоединился к заявлению, написанному Зощенко (писатели, узнав, что основанием для обвинений в контрреволюционной деятельности стала тенденциозная творческая характеристика, которую дал критик Лесючевский, стремились доказать, что эти обвинения ложны, и писали свои, «положительные» характеристики). Он вместе со Шкловским помогал составить заявление на имя начальника спецотдела Прокуратуры СССР Осипенко, лично передал ему в руки это заявление и составленные писателями литературные характеристики. Никита Заболоцкий в своей книге об отце приводит несколько писем К. И. Вот он пишет другу поэта Степанову: «Вчера я узнал из достоверных источников, что дело ее мужа близко к благоприятной развязке. Вчера я говорил с т.

Езерской, которая показала мне сильно раздувшуюся папку – дело Заболоцкого. Оно вернулось из Ленинграда и будет вскоре рассмотрено вновь». Это в феврале 1940 года. В начале марта Чуковский пишет: «Сегодня мне сообщили очень приятные известия, но они требуют проверки. 7-го я вновь пойду в Прокуратуру и узнаю наверное о результатах – и сейчас же сообщу». Но ожидаемое постановление об отмене приговора так и не появлялось. В конце мая или начале июня Чуковский писал Екатерине Заболоцкой: «Я говорил о Н. А. с прокурором Пугачевым и с Фадеевым. Пугачев утверждает, что он сделал все возможное, – теперь дело за другим учреждением, которое медлит… Потерпите еще немножечко, я знаю, как Вам тягостно. Верьте, что я ни на один день не забываю о Н. А. и рад в дальнейшем будоражить и Пугачева и Фадеева». Помочь поэту не удалось: он оставался в колымском лагере еще несколько лет.

Леонард Гендлин в своих воспоминаниях рассказывает: «К. И. всегда помнил о людях, с которыми связывала его судьба. Обремененный большой семьей, он на протяжении всего десятилетия отправлял посылки моему отцу в лагерь». Отец Гендлина, издательский работник, не входил даже в число близких друзей К. И.

Елизавета Веллер-Гуревич, жена расстрелянного в 1937 году Александра Гуревича, который занимал руководящую должность в машиностроении, писала Лидии Корнеевне Чуковской в 1970 году: «В 1937 году нас обоих забрали. От дочки (9-ти лет) отвернулись все (родственники, друзья, жившие у нас годами, знакомые и пр.). Не отвернулся лишь Корней Иванович. Разыскал Валюшу. В 1939—40 г. ходил с ней в Прокуратуру. В 1940 г. ходил один в ЦК… Писал мне в лагерь, обнадеживал». Лидия Корнеевна пишет, что посылала по поручению К. И. деньги его временной секретарше, высланной после ареста мужа в Казахстан.

В одном из писем Чуковский справляется у сына, получила ли сестра арестованного писателя Юлия Берзина сведения о нем: «Если не прислали, я пойду снова». Куда пойдет – в письмах не писали. Верховный суд, прокуратура, Военная прокуратура, НКВД – мало ли было этих инстанций, кабинетов, захлопывающихся окошек, важных людей: достать телефон, узнать имя-отчество, найти подходы, добиться аудиенции через общих знакомых, принести в подарок новую книжку с доброжелательной надписью, подать прошение, потом полгода ходить и спрашивать, нет ли ответа… Сколько было еще хлопот о других людях, не оставивших письменных свидетельств, – остается только догадываться. Вот куда уходили время и силы – и очень часто

совершенно безрезультатно.

Лидия Корнеевна продолжала добиваться от государственной машины официальной справки о смерти Матвея Петровича. Николай Корнеевич зимой еще был на фронте.

В письмах Чуковского детям и детей отцу царит зимняя, мертвая тишина, которую, как хруст веток под ногами, разрывают намеки на то, о чем в письмах писать не следует. Дела житейские тянутся своим чередом: у Марии Борисовны камни в почках, затем оказывается, что не камни, а песок, Боба с новой женой и сыном Женей отселился от родителей, внучка Тата болеет, в Москве и Ленинграде морозы… «Я кончил книжку: „Горький, Репин, Маяковский, Брюсов“, – пишет К. И. сыну Николаю. – В феврале начнет печататься моя книга „Высокое искусство“». «Я много печатаю статей в „Учительской газете“, в „Русском языке в школе“ – но все это 3-й сорт».

Это не жизнь даже, а какой-то эрзац жизни: вроде бы все на месте, внуки растут, книги выходят, деньги вроде платят, а чего-то главного нет. «Здоровье – предсмертное», – жалуется Чуковский в одном письме. В другом говорит: «Состояние мое душевное таково, что даже предстоящая мне операция кажется отдыхом и счастьем».

В Ленинграде каждый вечер затемнение: опасались воздушных налетов. Налетов не было, но в кромешной темноте лишенных освещения улиц начались грабежи. Лидия Корнеевна в конце декабря 1939 года уехала в Детское Село и там в одиночестве и тишине смогла, наконец, закончить свою повесть: на свет появилась «Софья Петровна», единственное, пожалуй, произведение о Большом терроре, созданное в те годы. Она задумывала новую книгу – о гибели поэта Михайлова на каторге – но писать ее не стала. Отцу сообщала письмом, с оглядкой на почтмейстерские штучки: "Что ни говори, чужое время потемки. Не то что свое. И теперь, когда я хлебнула настоящего писания, от всего сердца (я написала повесть в духе социалистического реализма), – теперь

…вымысла пить головизну
Тошнит, как от рыбы гнилой".

К. И. отвечает дочери: «Ты точно определила содержание своей повести: разложение личности под влиянием нелепости сущего. Личность была неказистая, но – нормативная, цельная. В повести мне больше всего понравился тон, вскрывающий в тебе матерого, подлинного беллетриста».

Ахматова показывала Лидии Корнеевне «Реквием», та

запоминала; прочитанные странички сжигались над пепельницей. Л. К. читала ей «Софью Петровну». Об этом – осторожные намеки в «Записках об Анне Ахматовой»: «Сегодня у меня большой день. Я читала Анне Андреевне свои исторические изыскания о Михайлове». «Это очень хорошо, – сказала Ахматова. – Каждое слово – правда».

Записывая свои впечатления от ахматовских стихов, Л. К. заметила:

"Какая там усталость – уже даже не предсмертная, а посмертная. И освобождение:

Мне ничего на земле не надо…
Скоро я выйду на берег счастливый…

И та мечта, которая гложет и меня, и не одну меня, конечно: если бы не случилось то, что случилось, – проснуться утром:

…и Троя не пала, и жив Эабани…"

Эта «посмертная усталость» и несбыточная мечта, чтобы вся реальность последних лет оказалась дурным сном, – вот лейтмотив 1940 года.

В цитированном выше письме от 12 февраля Л. К. намекает отцу на какие-то неясные обстоятельства: «Только что я узнала, что ты собираешься предпринимать некие шаги по поводу своей старой повести. По-моему, следует спокойно сидеть и ждать запроса из издательства. Если тебя запросят – о той повести – ты ответишь. Ты ответишь, что 1920 год не 1940… А так как это всякому ясно, то, по-моему, имеются все основания предполагать, что тебя и не запросят…»

Никакой повести в 1920 году Чуковский не писал. Скорее всего, имеется в виду распространенный как раз в это время слух о том, что К. И. отговаривал Репина возвращаться в Советскую Россию (об этом уже рассказывалось выше). Куоккала только что перешла в руки советской армии, слух, запущенный искусствоведом Иосифом Анатольевичем Бродским, пополз неудержимо. 15 января Чуковский отправил Игорю Грабарю уже цитировавшееся письмо: «Искусствовед, разбиравший репинский архив, заявляет повсюду, что, пользуясь найденными письмами, он „уничтожит“ Чуковского. Эти оскорбительные угрозы мне нисколько не страшны. Но я хотел бы, чтобы Вы о них знали».

Советов Репину не возвращаться в Россию в письмах не было. Зато были редкие печальные проговорки: «революция почти меня

раздавила», «кроме прошлого, у меня ничего нет», «мудро вы сделали, что провели эти годы в Куоккала». Истолковать эти фразы в отрыве от контекста можно было самым неблагоприятным образом. В следственных протоколах тех времен фигурировали цитаты и куда более безобидные. Методы создания критического доноса ничуть не изменились со времен закрытия «Русского современника», какой-нибудь Лесючевский по заказу НКВД истолковывал Заболоцкого или Бориса Корнилова точно так же, как Розенталь, Горбачев и Лелевич когда-то – стихи, опубликованные в «Русском современнике»: путем шизофренических ассоциаций с политическими реалиями. Но теперь результатом становились уже не цензурные запреты, а приговоры по первой или второй категории.

А тут человек сам пишет, что у него осталось только прошлое, революция его чуть не раздавила – и лучше было сидеть все эти годы в Финляндии.

Клевета распространилась довольно широко и попортила Чуковскому немало крови. Бороться со слухом – дело безнадежное, и непонятно даже, что лучше: оправдываться, предпринимать какие-то упреждающие шаги – или, как советовала Лидия Корнеевна, «спокойно сидеть и ждать запроса». Неожиданно история с письмом Чуковского Репину, якобы найденным в «Пенатах», оказалась увязанной с вопросом о куоккальской даче самого К. И. До сих пор дача находилась на финской территории, где ее как частную собственность охранял закон. После 12 марта, когда был подписан мирный договор между СССР и Финляндией, территория стала советской и встал вопрос о том, кому должны принадлежать дачи. Намечался передел собственности. Вполне естественно было попытаться сохранить за собой брошенную дачу, которая вновь стала доступной. За это и взялся Николай Корнеевич. И дело, пожалуй, не в том, что он был озабочен летним отдыхом своей большой семьи или получением дополнительных благ, – а скорее, в том, что куоккальский дом все любили, что с ним были связаны лучшие воспоминания всех Чуковских; это была живая, светлая, нежная память детства Коли, Лиды и Бобы. И казалось так естественно – вернуть писателю-орденоносцу и его семье, включавшей писателя-фронтовика, их собственный дом.

Но не тут-то было. И право собственности на дачу, и право Чуковского обладать ею сейчас, при советской власти, надо было доказывать. Нужно было разговаривать с литературными начальниками, которые вовсе не горели желанием отстаивать чужие права на недвижимость: имущественных споров, дрязг из-за дач, машин, гонораров, санаториев и курортов хватало и в

Союзе писателей, и в Литфонде.

В марте К. И. отправил сыну телеграмму следующего содержания: «Фадеев согласен поддержать ходатайство Ленлитфонда всех дач, но отказался хлопотать отдельно моей даче». В принципе, мысль Фадеева понятна: пока не решено, чьи будут дачи, Ленлитфонд мог попробовать закрепить их за ленинградскими писателями. Понятно и то, почему Фадеев не хотел хлопотать о даче Чуковского и почему К. И. сам за нее не боролся так, как она того заслуживала.

Он уже жил в Москве, где два года назад получил от государства и квартиру, и дачу, и машину – полный набор советских благ. Попытка отвоевать еще одну дачу, пусть даже для сына, могла показаться проявлением жадности. Слишком сильно высовываться сейчас, когда творческая интеллигенция шепталась о его нелояльности, при полной невозможности опровергнуть слухи или остановить их распространение, – тоже было излишне. Чиновники, от которых зависело решение вопроса, прав Чуковского на куоккальский дом не признавали, на документы смотреть не желали и вообще утверждали, что дача подлежит национализации, поскольку оценивается более чем в 50 тысяч рублей. «Почему исполком отказал? – спрашивал К. И. сына. – Потому, что документы – очень слабы и недоказательны, или потому, что подействовала клевета Бродского? Черкни, пожалуйста. В первом случае я могу достать документы – письма Репина ко мне, свидетельство Ал. Толстого и Шкловского, которые были на моей даче, и проч. Во втором случае я, конечно, ничего делать не буду».

«Клевета Бродского безусловно ни в чем никакой роли не сыграла, – успокаивал его сын. – Решительно никто о ней не знает». В апреле сообщал: «К даче я сегодня прикнопил лист бумаги, на котором написал: „Дача советского писателя-орденоносца К. И. Чуковского“». По его словам, дача была почти цела: «Не хватает только двух стекол (в кухне и в твоей комнате), да плита попорчена, да у печки в гостиной сорвана заслонка». Однако отвоевать дачу так и не удалось. «Мне отказали грубо, нравоучительно („сейчас, мол, не время обзаводиться собственностью“) и без каких бы то ни было мотивировок», – писал Н. К. отцу 24 апреля. «Дело, конечно, не в купчей. Дело в том, что это имущество, за обладание которым борется множество могущественных учреждений и лиц. И так, за здорово живешь, получить ничего невозможно».

Сын просил отца хлопотать в верхах – идти к Жданову, в Совнарком, в Президиум Верховного Совета… Но К. И. опасался слишком активных действий.

«1) Мне страшно не хочется именно сейчас, в связи с Бродским, напоминать о себе, привлекать к себе внимание именно по линии Куоккала, Илья Ефимович и проч., – писал он сыну. – 2) Мне вообще не нужна эта дача. Я хлопочу о ней исключительно ради тебя – вернее, Вас. Мне было бы бесконечно приятно, если бы у тебя, у Марины, у Гульки, у Таты был бы летний приют – именно в том месте, где протекло твое детство, такое поэтичное, в сущности, радостное… Но уже по тому, как отнесся к этому Фадеев, я вижу, что пускаться во все тяжкие, нажимать на все пружины для получения куоккальской дачи при наличии Переделкина, это страшно компрометантно, несвоевременно».

В мае он снова пишет сыну о слухе: «Конечно, клеветники сильно лгут: в 1932 году я не мог писать Репину каких бы то ни было писем, т. к. он умер в 1930 году». Еще одно упоминание находим в письме Бориса Чуковского, написанном Николаю Корнеевичу и его жене в июне 1940 года (опубликовано Е. Ц. Чуковской в «Истории одного вымысла»): «Дорогие Коля и Марина! Письмо, привезенное Лидочкой от Коли, произвело на папу ужасное впечатление. Странное дело! Третий раз из Ленинграда папе пишут об этом репинском деле и третий раз папа совершенно выбивается на неделю или две из работы. Он так взволновался, что не в состоянии был написать несколько слов Фадееву с просьбой принять его и поговорить, – руки дрожали, и мне пришлось напечатать записку эту на машинке».

После этого и Бродский, и письмо Репину, и куоккальская дача начисто исчезают из переписки К. И. с детьми. Дом Чуковским не отдали, он стал обкомовской дачей, никогда официально не считался чем-то особенно ценным для российской культуры – и сгорел дотла в 1986 году. Как ни пытались сотрудники музея в репинских «Пенатах» сохранить хоть что-то от этой дачи (в ней хотели создать филиал музея, посвященный русским литераторам на Карельском перешейке), ничего не получилось: к сегодняшнему дню от нее не осталось вообще никаких следов. Евгений Борисович Чуковский отыскал в Финляндии копию купчей, списался с Собчаком, тот распорядился участок вернуть семье… но и тут ничего не вышло.

В июне 1940 года К. И. подстерегал новый удар: вышла книга Шкловского «О Маяковском», где автор вспоминал, что Чуковский был критиком кадетской газеты «Речь», что он не ценил Маяковского (напомним: это к 1940 году само по себе уже почти тянуло на преступление, в следственных протоколах ленинградских писателей фигурировало, что они пытались замалчивать Маяковского), что «уважал Корней Иванович только

переведенное с английского», что «мимо Корнея Чуковского прошел и Блок, и Белый, и Горький, и все акмеисты, и Есенин, и Багрицкий, прошла великая русская литература в величайший свой период». Это была неправда, и неправда непорядочная, злонамеренная, обидная для автора книг «Александр Блок как человек и поэт», «Ахматова и Маяковский», «Две души Максима Горького» – обидная еще и потому, что именно русской литературе верно, истово, неукоснительно служил Чуковский.

«О Шкловском скажу – неожиданный мерзавец, – писал Чуковский дочери. – Читая его доносы, я испытывал жалость к нему. То, что напечатано, есть малая доля того, что он написал обо мне. По требованию Союза выброшено несколько страниц. Шкл<овский> знает, что я не стану „вспоминать“ о его прошлом, и потому безбоязненно „вспоминает“ о моем». Разумеется, Шкловскому можно было предъявить и его эсерство, и его эмиграцию, и его формализм – грехов, с советской точки зрения, набегало побольше и потяжеловеснее, чем у Чуковского, но К. И. в жанре политического доноса не работал.

Дети Чуковского, чудом спасшиеся от сталинско-ежовской мясорубки, пытаются хоть чем-то зарабатывать на жизнь, отец подбрасывает им денег, предлагает устроить их статьи в печать, дать книги для пересказа. Николай, вернувшись домой после финской войны, от безденежья даже взялся писать пьесу вдвоем со Слонимским. Мария Борисовна часто болеет, только и читаешь в письмах: «маме лучше», «маме опять плохо», «кончился ли уже мамин грипп?». Не слишком хорошо чувствует себя и сам Чуковский. Весной он в доме отдыха в Узком, летом в Переделкине; в письмах – жалобы на здоровье: грипп, колит, радикулит, бессонница…

Все прежние занятия вроде бы сохранились: статьи, редактура, выступления; темы – прежние: библиотеки, школы, перевод, воспоминания о великих. В январе 1940 года Чуковский выступает на Президиуме Союза советских писателей, где обсуждается вопрос о детской литературе; его содокладчик – Маршак. «Хотим мы этого или не хотим, но именно воспитателей видит в нас советский читатель, и этим он воспитывает нас», – говорит Чуковский, и дальше вся его речь – о воспитательном значении литературы, о том, что именно писатель Макаренко создал такую педагогику, какую «не создал ни один Наркомпрос», и именно писатель Горький ее оценил. Он говорит о необходимости комплексного воспитательного воздействия на ребенка – а поэтому «нельзя воспринимать Детиздат как нечто изолированное от Наркомпроса, от Учпедгиза, от школьной библиотеки, от школы»; поэтому надо работать над «книгами для

чтения» – первыми книгами, которые берет в руки научившийся читать ребенок, и срочно создавать новую «первую книгу для чтения». В «Литературной газете» рядом с отчетом о заседании президиума опубликована статья К. И. «По заветам Горького»: автор рассказывает, каким видел будущее детской литературы Горький, и замечает: «Только теперь, освободившись от педологических и других заблуждений, Детиздат выполняет программу Горького». Жуткое время просматривается разве что сквозь крохотную проговорку: мол, поэты чувствуют детскую любовь даже сквозь стены, она поддерживает «в самые трудные дни нашей жизни»…

В феврале К. И. выступает на вечере Брюсова, рисуя, по газетному отчету, «его облик как человека, одержимого литературой». В марте публикует в «Правде» статью «Советский стиль художественного перевода» – хвалит переводы с языков братских народов, воспроизводящие экзотическую, трудную форму оригинала, говорит о «беспримерной любви к национальным культурам братских народов, которой проникнуты взращенные нашей эпохой поэты».

Все это он уже не раз говорил.

Кажется, Чуковский подводит какие-то итоги, заново ищет свое место в литературном процессе. Дело это трудное: мест нет; все способные к живому творчеству вышли из текущего потока литературы, удалились как можно дальше: в прошлое, в воспоминания, в переводы. Переводит Ахматова, не рискующая даже записывать свой «Реквием» (у нее, правда, в этом году неожиданно после долгих лет замалчивания вышел сборник «Из шести книг» – но тоже полный умолчаний и к тому же немедленно запрещенный). С головой погружен в переводы бывший акмеист Лозинский, только что закончил перевод «Гамлета» Пастернак, с трудом пишет «Пушкина» медленно умирающий от рассеянного склероза Тынянов. Последняя любовь и ученица Брюсова Аделина Адалис, поздний осколок Серебряного века, переводит среднеазиатских поэтов:

Сталин и Молотов —
Два драгоценных слова.
Будто граненые, светятся эти слова.
…
У провокаторов, у дипломатов прожженных
Признаки буйства нынче обострены.
Виден насквозь этот замысел умалишенных
Светлому разуму юной страны.

(М. Рахими «Слово к товарищу Молотову»)

Переводятся поэты братских республик, переводятся Шекспир и Байрон, переводится киргизский, бурятский, калмыцкий эпос. Дело поставлено превосходно, на переводы брошены лучшие литературные силы. Несколько позже, в 1943 году, Чуковский писал о «необычайном расцвете советского переводческого искусства, который наблюдается в нашей стране». Переводить – это не только перекладывать с одного языка на другой; это еще и тратить понапрасну. Переводчики растрачивают себя в скромных ежедневных подвигах; переводится бумага на дежурные славословия в восточных завитушках; одна надежда, что прорвутся между завитушками живые человеческие слова – и что не перевелся еще читатель, способный этот переводческий подвиг оценить…

Сам Чуковский снова взялся за любимого поэта и в июле писал сыну: «Я перевожу запоем Уитмана, выйдет в Гослитиздате большая книга». Плюс редактура и корректура «Хижины дяди Тома», радиопостановка по книге, воспоминания о Репине, воспоминания о сборнике «Елка». Еще весной он писал сыну, что хочет заняться серьезной многолетней работой, «не печататься ни в газетах, ни в журналах, не выступать ни на каких трибунах». Он мечтал переиздать свои старые дореволюционные сочинения, полностью оставшиеся вне поля зрения современной критики и литературоведения: их как бы не было; а если кто и помнил о существовании забытых и давно не переиздававшихся работ – тот их беззастенчиво грабил. «Конечно, мне очень больно, что вся моя огромная 15-летняя работа до революции пошла насмарку; мне хотелось бы так реставрировать мои старые книги об Уайльде, об Уитмане, о десятках писателей, чтобы составилось хотя бы два тома моих сочинений, но где найдешь издателя для таких „беззаконных комет“?» – писал он сыну.

В октябрьском письме Чуковского сыну мы читаем победную реляцию: «Знаешь ли ты о моих успехах? Я написал сценарий „Айболит на севере“, имеющий успех; я продал Детиздату полный том своих стихов и сказок, я очень много перевел Уолта Уитмана, составил „Чтеца-Декламатора“; печатается моя „Репин – Горький – Маяковский – Брюсов“, сильно „исправленная“ в разных местах. Верстается „Высокое искусство“…»

А между тем это все воспоминания, составительская работа, переделка когда-то сделанного; оригинального творчества совсем немного – вот разве что переводил Уитмена. Свои статьи о школе К. И. сам называет «третьим сортом»; большие труды уже печатаются, теперь он сдает в печать оставшиеся при их подготовке обрезки и остатки: в «Мурзилке» выходит рассказик

«Бранделяк» – воспоминание, всплывшее при написании «Секрета» – «Гимназии», в «Правде» – «Советский стиль художественного перевода», а в «Литературной учебе» – статья «Социальная природа переводчика», развивающая не самые мудрые мысли из соответствующей главы «Искусства перевода», вымученной еще в 1930 году; все это – побочный продукт переработки «Искусства перевода» в «Высокое искусство».

«Социальная природа переводчика» – серьезная неудача Чуковского: он пытается нащупать что-то верное, и ему даже кажется, что мысль выстраивается правильно, а выстраивается-то чепуха. Вроде бы правильный посыл: «возлюби переводимого автора больше самого себя» – а выходит совсем нехорошо: мол, социальная природа переводчика неминуемо отражается на том, что он делает. Вроде бы давняя мысль Чуковского: стиль – это человек, творчество – отражение личности… но стоило вместо души появиться социальной природе, как вышло из рук вон плохо. Приводимые в начале статьи примеры наверняка взяты из советских газет. Чуковский очень тщательно собирал фактуру, как сказали бы сегодняшние журналисты; анализировал десятки примеров, подыскивал самые показательные… но сам уровень этой прессы был чудовищен, направление анализа было задано внешними условиями, а не внутренними убеждениями автора, а потому и получилось нечто неудобоваримое:

«В русско-марийском словаре слово „большевик“ было переведено словом „зазнавшийся“».

«Казахские националисты переводили слово „революция“ безобидным словом „изменение“, то есть маленькая перемена, т. к. их затаенным желанием было, чтобы революция выродилась в постепеновщину, мирный реформизм либерального толка».

Даже в переводе выражения «социалистическое соревнование» на мордовский словами «работа вперегонку» и то обнаруживается крамола: мол, вперегонку – это капитализм, конкуренция, выражение не передает товарищеского смысла соцсоревнования… Наверняка газеты, откуда взяты эти примеры, отыскивали в неудачных переводах вредительство; Чуковский о вредительстве не говорит – нет, он рассуждает о том, что на переводе лежит печать социальной природы переводчика (его политических убеждений, его мировоззрения, его личности; говорить-то стоило только о «личности», а не о высосанной из пальца «социальной природе»). Он рассуждает о Жуковском, который переводил гомеровский эпос в своем сентиментальном духе, находя в нем мирное чтение для отдохновения; о поэте П. Я. (Петре Якубовиче), который навязывал свои литературные народнические штампы вовсе не склонному к народолюбию

Бодлеру; о Сологубе, который шевченковское "бо немае Господа на небЬ перевел «потому что Бог нам не ограда» – то есть как бы утверждал существование Бога вместо отрицания, как в оригинале…

Вывод из этого всего был вполне умеренный: «Если переводчик и автор, как это часто бывает, принадлежат к диаметрально противоположным общественным группам, для обеспечения точности перевода требуется со стороны переводчика значительно больше усилий, чем при переводе идеологически близких ему произведений поэзии». Но и в этом случае – как и в случае с «Солнечной» – стоило Чуковскому совсем чуть-чуть проявить неискренность, невольно, незаметно для себя, чуть-чуть отклониться от внутреннего ориентира, от давным-давно выработанного эстетического мерила, от дихотомии «талантливо – бездарно» в пользу «полезно – не полезно», «правильно – неправильно» – и тут же выходило плохо. Что замутило его зрение? Пережитые ужас и горе – или, наоборот, жизнь в тоталитарном государстве, где даже самые лучшие люди помимо собственной воли впитывают из воздуха идеи, образы, концепции? Время было кривое, и не искривиться вместе с ним было очень трудно.

Неудача Чуковского не прошла незамеченной: А. Штейн в «Правде» задался вопросом: «Чему учит „Литературная учеба“?» В статье с таким заглавием он обвинял Чуковского в вульгарном социологизме и закончил констатацией «крайне низкого теоретического и литературного уровня авторского коллектива журнала, призванного обучать молодых литераторов». Впрочем, статья Штейна довольно неубедительна, Чуковского он бранит скорее походя, заодно со всей редакцией. Уровень полемики такой: цитируется фраза Чуковского, что Жуковский – «гениально-сладкозвучный квакер, выспренний, тишайший, благолепный» – проецировал в переводах свое я, и Штейн восклицает: «И это говорится о переводах Жуковского, которыми восхищался Белинский!»

Чуть позже, в начале 1941 года, «Литературная газета» ругнула К. И. за составленный им сборник «Чтец-декламатор для детей». «Раз в месяц – спасибо, что не чаще», – коротко записал он в дневнике. Зато он доволен единственной своей статьей – «Невидимки», о книгах, не замеченных критикой.

Затишье – не то в самом деле посмертное, не то предгрозовое – царит в частной жизни и литературе, где и сказать-то что-то страшно. Удивительно, как весь литературный официоз в это время жаловался на отсутствие литературной критики и нежелание писателей обсуждать произведения коллег. В самом

деле, с чего бы это такая внезапная молчаливость?

В политике, напротив, 1940-й – это чрезвычайно оживленный, богатый событиями год. К СССР присоединяются новые республики: Прибалтика и Молдавия. Работают невидимые рычаги геополитики, идут секретные переговоры, строятся и рушатся планы, делятся сферы влияния. Все самое главное происходит за кулисами, где вершатся судьбы мира. Неосведомленному наблюдателю же виден сплошной театр военных действий. Жители СССР в нем пока только зрители, пока они только пробуют понять, как мировая война повлияет на их собственную судьбу. Чуковский приводит в дневнике высказывание заехавшей к нему летом в Переделкино Ахматовой: «Каждый день война работает на нас». Чуть раньше, в мае, он и сам написал сыну в письме нечто на сегодняшний взгляд несусветное: «Странно, но я очень радуюсь, когда немцы колотят англичан. А ведь как когда-то любил Томми Аткинсов!»… Англичане, французы, немцы – общее одичание культурных европейцев… Эту тему затронула в разговоре Ахматова; о, творческая интеллигенция помнила совсем другую Европу, мирную, не опоганенную еще даже Первой мировой… Сейчас для них Европа далеко. О мировой войне они еще рассуждают как «пикейные жилеты» – с точки зрения своего инобытия, где вопросы культуры и геополитики, массовые бомбардировки европейских городов и смещения правительств не задевают души, а только отвлекают от повседневного ужаса собственного существования в непоправимо свихнувшейся реальности.

В стране уже поют «Если завтра война, если завтра в поход», но в реальность огромной войны не очень верят – верят скорее в быструю победу «малой кровью, могучим ударом»; в театрах ставят современные пьесы о стремительных победоносных кампаниях… Веру в непобедимость Красной армии отчасти пошатнула финская война, закончившаяся вовсе не той роскошной победой, которой все ожидали, – но вера эта почти восстановилась при триумфальном входе советских войск в Западную Украину и Белоруссию. Тем не менее происходящее в Европе показало, какой может быть современная война, как отстала ослабленная репрессиями РККА от мирового уровня. Началась судорожная мобилизация всех ресурсов: нужны танки, нужны самолеты, нужны летчики. Летчики до такой степени стали героями дня, что даже Чуковский счел необходимым посвятить одну из своих статей в этом году авиации.

Стране нужна была мощная, подготовленная к войне промышленность. Начался новый рывок, новое ужесточение трудовой дисциплины, закручивание гаек – вплоть до

буквальнейшего уголовного преследования несовершеннолетних за раскручивание гаек на железной дороге. Детские журналы уже несколько лет как рассказывают о пограничниках, парашютистах, летчиках, просвещают, какие пушки называют зенитками, а какие – гаубицами… Идет стремительная – насколько она может быть стремительной в истерзанной репрессиями стране – милитаризация экономики и культуры. Но все свято уверены, что войны не будет. А если будет, то мы всех победим.

Правительство, впрочем, понимает, что все не так радужно: страна к войне не готова, а война более чем возможна. Газеты славят мудрость власти, благодаря которой СССР еще не втянут во всемирную бойню. В конце июня подписан беспрецедентный указ Президиума Верховного Совета «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Количество выходных уменьшилось. Прогул отныне карается не увольнением, а шестимесячными исправительными работами по месту работы с удержанием четверти зарплаты. Писатели должны помочь народу справиться с шоком от этой меры. В «Литературной газете» 30 июня почти целая полоса посвящена горячему писательскому одобрению новых мер.

«Мы готовы на жертвы, гораздо более дорогие, ради счастья и славы нашей великой страны», – пишет Федин. Первенцев говорит: «Борьба с расхлябанностью необходима». «Работать, так работать», – призывает Вирта. Чуковский красочно изображает европейских беженцев с полуголодными детьми и уверяет, что каждый европейский рабочий сейчас хотел бы оказаться в СССР: небо нашей страны показалось бы ему сказочным, потому что с него не сыплются бомбы. И работать надо для того, чтобы навсегда обезопасить страну от унижений и мук, которым подвергаются сейчас другие страны: ведь «от нас требуется в сущности очень малая жертва. Любой рабочий в Западной Европе – с каким восторгом принял бы эти наши новые условия работы, и какими легкими показались бы ему эти условия по сравнению с той каторгой, на которую его обрекает война!».

Осенью 1940-го Маршак и Чуковские, отец и дочь, работают над подготовкой нового учебника – о чем речь шла еще в начале года на совещании. Работа идет тяжело, кое-как, в октябре К. И. уговаривает Л. К. в письме: "Я верю, что *мы его сделаем"*. Маршак и Чуковский в Москве, Лидия Корнеевна и ее подруги, подписавшиеся на эту работу, – в Ленинграде, нужна встреча, а она никак не получается, а время уходит.

Отец и дочь обмениваются письмами, где обсуждается план

работы. Он дает ей подробный список поручений, излагает программу: фольклор, классика, советский материал, каждая десятая страница – юмор, ребусы и загадки. Дочь жалуется, что совсем нет хороших рассказов о деревне, о колхозах «и неизвестно даже, кому их заказать». Из письма тут и там вырезано по нескольку слов:

"О Ленине материала довольно много вырезано несколько слов.

О перелете «Родины» – есть.

О героических летчиках – Чкалове, Водопьянове – будет…"

«К вашему приезду будет ясно, что можем редактировать и пересказывать мы, а что должны пересказать вы вырезано несколько слов и что необходимо заказывать в Москве».

Из других писем, из дневников тоже вырезаны – где слово-другое, где строчка, где оторван, отрезан конец страницы. Трудно представить себе, как они сидели и крошили документы, которые – они понимали! – следовало сохранить. Чуковским свойственно было бережное отношение к письмам, альбомным записям, свидетельствам времени. К. И. старался сберечь все, что можно (дочь в юности даже негодовала – мол, ты ведь и это письмо в архиве сохранишь!). Потому письма и дневники не уничтожали целиком, а лишь вырезали опасные фрагменты.

Впрочем, в недавно опубликованном дневнике есть сердитый комментарий К. И. к вырезанным строчкам 1928 года, и касается он вовсе не политики, а просто отношений с женой. Полстраницы вырезано, подклеен другой листок, на нем приписано: «Что за безобразие, – резать чужой дневник – даже читать его и то ты не имеешь права! Неужели я должен прятать от тебя свои записи? Или ничего не писать о наших отношениях?»

Однако вырезанные строки 1940-го – совсем другая история. Какая – неясно. Умолчания, сокращения, намеки – это все понятно. Но зачем, к примеру, было вырезать строки письма Л. К., где речь шла о книге Уитмена? Нет ответа, и спросить уже некого.

Летом Лидия Корнеевна добилась приема у Гоглидзе, начальника УНКВД Ленинградской области, и потребовала у него ответа на вопрос, жив Матвей Петрович или нет, как сказал Корнею Ивановичу Ульрих в Москве. «Идите домой, – сказал Гоглидзе, – вам ответят». Через несколько дней ей и в самом деле позвонили из канцелярии Гоглидзе и сказали: ваши московские сведения о Бронштейне верны. На вопрос, где можно получить официальную бумагу о смерти мужа, ничего не ответили: повесили трубку. Хождения по инстанциям продолжались.

В конце октября К. И. пишет дочери: «Сейчас иду говорить о Бр.». Дело еще не закончено, документ о смерти Мити так и не

получен, официального подверждения смерти нет. «Насчет Бр., – читаем в следующем письме. – Эти бумаги перешли к тов. Горкину, которого я вчера посетил. Он сказал, что может принять меня лишь после праздников». Снова хождения, снова просьбы, снова «ждите ответа», «придите позже».

Погибельная, могильная тишина царит в стране. Ахматова написала в этом году – вроде бы о Франции, захваченной фашистами, – «так вот, над погибшим Парижем такая теперь тишина». Оккупация Парижа не могла не стать новым горем для Ахматовой, юность которой была связана с этим городом. И Лидии Чуковской она с глубоким сочувствием говорила: «Сколько там теперь разлук!» Но в стихах-то не об одном Париже речь – если вообще о Париже:

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.

И Лидия Корнеевна прислала Корнею Ивановичу новые стихи, где царит все та знакомая мертвая тишина:

Из зеркала смотрит, немея и тая,
И мутью безликой глядит из окна,
И дразнит далеким звоночком трамвая
Души отравительница, тишина.

«Интересно, тянет ли тебя писать стихи не о себе, не о своем душевном состоянии, а, например, на какую-нб эпическую тему, далекую от тебя. Могла бы ты переводить стихи?» – спрашивает К. И. В ответ льется страстная отповедь, которая кончается так: «Полезно, я думаю, расширять свою тему, но для этого нету другого способа, как расширить свою жизнь. Но ведь наша биография не в нашей власти. А писать о разном, не переживая разного, – этого не только я – этого и гений не может».

Нет, она не приемлет его способ жить при беде. А он не может жить иначе как отыскивая в жизни иное, не ограничиваясь бедой.

Книги и бомбы

В декабре 1940 года старшие Чуковские уехали в Кисловодск. К. И. писал детям, что делает это ради Марии Борисовны, которая там расцветает, что самому ему ехать не так уж и хочется. Он проводит много времени вместе с отдыхающим в санатории Папаниным, много пишет детям о делах – в основном о переводах, которые они готовят к печати. Переводами сына Николая и его жены Марины Корней Иванович редко был доволен: часто ловил младшее поколение на невозможных ляпах, непонимании языка, ругался в письмах, жаловался дочери Лиде – даже когда говорил ей комплименты как писателю: «Вижу же я все скверные стороны Колиного писательства, ведь меня доводят до бешенства его халтурные переводы». Отмечал и любую удачу (а удачи были), учил, советовал, помогал, правил. Заметим, что почти все рассказы о Шерлоке Холмсе известны русскому читателю в переводах Николая и Марины Чуковских под редакцией Корнея Чуковского, и переводах совсем неплохих – не в последнюю очередь благодаря редактуре.

Взялся за переводы и сам Корней Иванович: к апрелю закончил переложение для детей «Робинзона Крузо». Вышло «Высокое искусство». В очередной раз готовились к печати сказки. Начали выходить переводы Уитмена (которые сразу ему разонравились). Все это не доставляло ему большой радости. Снова писал дочери: «До сих пор чувствовал себя так худо (психически), что операция представляется мне счастьем». И сыну в те же дни: «У меня все время такая душевная боль, что о боли физической думаю с удовольствием. Беда только в том, что операция совсем не нужна. Грыжа не беспокоит меня, это такая уютная, милая, изящная, микроскопическая грыжа, что любо». Его должны были оперировать в апреле, но операцию перенесли на май из-за гриппа, Чуковский лечился в Барвихе, в мае операцию снова отложили. В мае же приехала в Москву для операции на щитовидной железе Лидия Корнеевна. Операция действительно давно назрела, но основной причиной отъезда, писала она впоследствии, стало пристальное внимание Большого дома, которому стало известно о «Софье Петровне»: Л. К. читала однажды ее друзьям, на чтение пришел кто-то незваный – и сболтнул. Люшину няню, Иду Петровну, вызывал следователь и спрашивал о «документе о 37-м». Документ был отдан на хранение давнему другу Лидии Корнеевны Исидору Гликину – тому самому, что присутствовал при первом обыске в ее квартире, когда в первый раз приходили за Митей. Однако внимание следователя становилось все более невыносимым, и из

Ленинграда Чуковской пришлось уехать. Как оказалось – навсегда.

Корнея Ивановича прооперировали во второй половине мая. Он писал дочери в больницу о своих операционных впечатлениях: "Хирург сказал мне: «Вы чудесно переносите боль; видно, что вы волевая натура». Я спокойно рассматривал всю операцию в зеркальный рефлектор, висевший надо мной. Но *1*… (семь) суток подряд я не мог уснуть, и разговоры за дверью доводили меня до слез". Лидию Корнеевну оперировали в Москве 21 июня, и она еще не успела вернуться в Ленинград. И тут началась война. Страна давно готовилась к ней: спешно обучала летчиков и танкистов, проводила учения, разрабатывала планы наступления. Даже елочные игрушки теперь изображали парашютистов и пограничников. Даже загадки, которые дед Корней посылал внуку Гульке в письме (9 февраля 1941 года), были военные:

Железная рыба плывет под водой,
Врагам угрожая огнем и бедой.

И другая:

Между черными тучами рыщут
Неустанные наши лучи
И без отдыха на небе ищут
Злого недруга в темной ночи.

И все равно к тому, что произошло на рассвете 22 июня, никто не был готов.

Первые дни войны: бомбят города, немецкие войска сминают плохо организованную оборону. Как всегда во время больших перемен, дневника Чуковский не пишет, писем мало, сведений почти нет. Уже в первые дни войны оба сына Корнея Ивановича ушли на фронт. Николай – интендантом третьего ранга (позднее он участвовал в боевых действиях, стал старшим лейтенантом береговой обороны, имел награды), Борис, у которого была броня (как у инженера-гидротехника), – добровольцем в ополчение, фактически на верную гибель.

К. И. жил в Переделкине с женой и внуком Женей. Елена Цезаревна Чуковская вспоминала, что в первые месяцы было много разговоров о том, что война – это ненадолго, что она скоро кончится. Потом такие разговоры кончились. В «Записках об Анне Ахматовой» Лидия Корнеевна упомянула, что К. И. в самом начале войны уверял родных, «что Ленинград может не бояться

бомбежек, потому что у кого же поднимется рука бросить бомбу в Адмиралтейство или на улицу Росси?».

Он ведь видел уже Первую мировую в Европе, побывал на развалинах разбомбленных бельгийских городов и деревень, помнил страшное чувство тошноты и ужаса, ощущение, что мир сошел с ума и может только жечь, ломать, разрушать. Он много раз пережил кошмар столкновения с современными готтентотами – пудовые кулаки и воображение новорожденной устрицы. Он должен был уже понимать, с чем имеет дело мир на этот раз. Откуда же эта святая уверенность в том, что не тронут, не поднимется рука, не смогут? Пожалуй, от огромной веры в целебную силу искусства, в колоссальную духовную радиацию культуры, надежда на то, что она надежно защищена своим сиянием, своей вечной красотой: достаточно увидеть – и рука уже не поднимется, а если и поднимется, то отсохнет. Последующие месяцы и годы войны ясно показали несостоятельность этих надежд: музей Чайковского в Клину, Ясная Поляна, Михайловское, Царское Село, и далее, и далее…

Осенью он написал статью «Книги и бомбы», где рассказывал, как живет под бомбежками Библиотека иностранной литературы, одним из первых читателей которой он стал еще в начале 1920-х годов. Здесь уже видно: автор не испытывает иллюзий, что у фашиста не поднимется рука на Адмиралтейство. Но кредо прежнее – и изложено четко, ясно и достойно: «Все эти книги каждой своей строкой, каждой буквой отвергают, разоблачают и клеймят ту философию насилия и расовой ненависти, по внушению которой одичалые нацисты сейчас заливают Европу океанами человеческой крови. И хотя любой солдафон, прорвавшийся сюда на каком-нибудь „Юнкерсе“, может двумя-тремя бомбами уничтожить это благородное хранилище книг, – дух, который дышит в этих книгах, победоносен, несокрушим, бессмертен, ибо это дух свободы и правды».

Это вечное его противопоставление: одичалый солдафон с бомбами против бессмертной культуры. Он еще на заре века видел наступление дикаря, заметил тенденцию к расчеловечиванию, говорил о наступлении дикарей – не только в России, но и во всем мире. Нет, говорили ему, это все маргинальная ерунда, на это не следует обращать внимание, все это последняя полоса газеты, раздел объявлений. Настоящая жизнь – это первые полосы, не преувеличивайте значения Пинкертона, истинный герой наших дней не он… Вторая мировая показала ясно и хорошо, какая сила вышла на мировую арену. Чуковский писал еще в 1908 году: «Может быть, через четыре года, когда над нашими головами будет черно от аэропланов, мы

с успехом займемся людоедством» – но вряд ли мог вообразить, пророча пришествие троглодита, каннибала, готтентота, что метафора реализуется так буквально, что прогресс, который дал людоеду аэропланы и танки, принесет такие плоды, как мыло из человеческого жира и матрасы, набитые женскими волосами.

Интересно, что Хосе Ортега-и-Гассет, задумавшись в конце 1920-х о вышедших на арену истории человеческих массах, точно так же пророчил: «Если этот человеческий тип будет по-прежнему хозяйничать в Европе и право решать останется за ним, то не пройдет и тридцати лет, как наш континент одичает». Кстати, испанский философ – так же, как и Чуковский, – указывает на угасание культуры (составной частью которой он считает нравственность) как на причину этого одичания и надвигающегося кризиса.

«Теперь, через столько лет, умудренные горьким историческим опытом, мы, к сожалению, хорошо понимаем, что в тогдашнем тяготении мирового мещанства к кровавым револьверным сюжетам таились ранние предпосылки фашизма», – замечал К. И. в послесловии 1968 года к своему «Пинкертону». Часто приходилось читать в военных дневниках и мемуарах, как удивлялись советские солдаты, разбирая трофеи после боя, разглядывая картинки на стенах немецких блиндажей, смотря трофейное кино: какая пошлость! какое дремучее, непроходимое, самодовольное мещанство! какие мерзкие сентиментальные письма, открыточки, котики с бантиками! Ожидали, видимо, чего-то необыкновенно-страшного—а оказалось, ничего и нет совсем, тьфу и растереть.

«Нет, это даже не дикари. Они даже недостойны носовых колец и раскрашенных перьев. Дикари – визионеры, мечтатели, у них есть шаманы, фетиши и заклятия, а здесь какая-то дыра небытия. Нет решительно ничего, и нечем заполнить это ничто!» – писал Чуковский в «Нате Пинкертоне». Удивительно, что и здесь Ортега-и-Гассет совпадает с ним почти текстуально: «Эта совокупность психологических качеств массового человека заставляет вспомнить такие ущербные человеческие особи, как избалованный ребенок и взбесившийся дикарь, то есть варвар (нормальный дикарь, напротив, как никто другой, следует заветам и обычаям)». Испанец опубликовал свое «Восстание масс», когда в России уже произошла революция, а в Европе появился фашизм; оба этих социальных явления для него служат иллюстрациями идеи одичания, невнимания к историческому и культурному опыту, самодовольного творчества масс, ощутивших себя самодостаточными.

История подтвердила даже выдвинутую в «Пинкертоне»

гипотезу о том, какой вождь нужен «многомиллионному дикарю»: «Он, который смеется, когда видит кастрюлю, надетую вместо шляпы, и плачет, когда теряет серебряный рубль, – в самом деле, не взять же ему себе в герои Брута, Перикла или богоравного Геракла. Нет, самим богом предназначено, чтобы он своим идолом и идеалом избрал Гороховое Пальто, сыщика Ната Пинкертона». «Пусть эти книжки, где печатается его Одиссея, беспомощны и беспросветно безграмотны, пусть они даже не литература, а бормотня дикаря, – вдумайтесь в них внимательно, ибо эта бормотня для миллионов людей чуть ли не единственная духовная пища» – это ведь прямо о «Майн кампф»; «вглядитесь же в этого полубога современных людей, не брезгайте им, не вздумайте отвернуться от него. Миллионы человеческих сердец пылают к нему пылкой любовью…».

Теперь дыра небытия разверзлась на полмира, поглотила всю Европу и неумолимо подбиралась к Москве. Эта «дыра» – не случайная проговорка; небытие, отсутствие качеств – вот единственное свойство дьявола; фашизм – самое неприкрытое проявление абсолютного зла в человеческой истории. В начале войны Чуковский, размышляя о природе фашизма, сделал коротенькую запись на листке бумаги: «Убить фашиста в самом себе».

Многие пишут, что с началом войны наступило, как ни странно, освобождение. Страна жила в путах липкого страха, во всеобъемлющем вранье, в путанице понятий – и вдруг все стало с головы на ноги, зло оказалось понятным, идентифицируемым и, что немаловажно, – внешним.

> Господи, вступися за Советы,
> Защити страну от высших рас,
> Потому что все Твои заветы
> Нарушает Гитлер чаще нас, —

писал Николай Глазков в 1942 году.

Ослаб идеологический контроль, неусыпное око партийного руководства сосредоточилось на спасении страны от внешней угрозы; организация обороны, мобилизация, вооружение армии, эвакуация промышленности и населения, снабжение армии и населения едой, одеждой и всем необходимым – за этими настоящими, срочными, требующими немедленного и стопроцентного внимания заботами никому особого и дела больше не было до выполнения очередных задач, поставленных ВКП(б) перед советской литературой. Ею более никто не руководил. Советские мастера пера, как сотрудники журнала,

которому вдруг не продлили финансирование, ходили в Союз писателей каждый день – чуть ли не с вопросом: «А нам-то теперь что делать?» – а по большей части, конечно, за более подробной информацией, фрагменты которой слабо стекались отовсюду: новости о мобилизованных и уходящих на фронт, от родственников в других городах, скудные новости «сверху», доходящие от руководства ССП, – все это дополняло официальную информацию и позволяло из мозаики создать хоть какое-то подобие общей картины.

24 июня было создано Совинформбюро – информационное агентство, задачу которого правительство сформулировало так: «Освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны». Агентство руководило работой советских средств массовой информации и готовило материалы об армии и работе в тылу для иностранных изданий и радио. «В составе Советского Информбюро была образована литературная группа. В ее работе участвовали многие известные советские писатели и журналисты. Среди них Н. Вирта, Вс. Иванов, В. Инбер, В. Катаев, Б. Лавренев, Л. Леонов, Н. Никитин, А. Новиков-Прибой, П. Павленко, Е. Петров, Б. Полевой, О. Савич, Л. Сейфуллина, С. Сергеев-Ценский, К. Симонов, В. Ставский, Н. Тихонов, А. Толстой, К. Тренев, П. Тычина, А. Фадеев, К. Федин, К. Финн, К. Чуковский, М. Шагинян, М. Шолохов, И. Эренбург и многие другие. В Совинформбюро также сотрудничали немецкие писатели-антифашисты В. Бредель, Ф. Вольф», – пишет С. Красильщик в статье «Летопись огненных лет. Писатели в Совинформбюро (1941–1945)». Чуковский стал сотрудничать в Совинформбюро с начала войны – писал статьи, выступал на радио, делал переводы для англо-американской редакции.

Жили Чуковские пока в Переделкине. В июле началась эвакуация писательских детей. Лидия Корнеевна, еще слабая после недавней операции, с почти десятилетней дочерью Люшей и четырехлетним племянником Женей, с Люшиной няней Идой Куппонен 28 июля отправилась пароходом в Чистополь (К. И. писал невестке Марине: «На чудесном пароходе»; Лидия Корнеевна вспоминала потом бомбежку ТЭЦ, возле которой плыл пароход: бомбы падали рядом, а она в темноте читала детям пушкинского «Гусара», и маленький Женя хохотал). Дети Николая Корнеевича уехали с матерью из Ленинграда, какое-то время неясно даже было куда. В конце июля К. И. отправил дочери короткую весточку, в которой всей информации о себе было – «у нас все по-прежнему».

Сведения о повседневной жизни К. И. в это время можно почерпнуть только из его кратких писем дочери и редко –

старшему сыну: «Сейчас пришло письмо от Бобы… Я и мама здоровы. Живем в Москве. Я сочинил о Гитлере стихи. Сдал в Детиздат. Печатаются. Пишу еще». Это 5 августа.

Еще одно августовское письмо: «Как это ни странно, несмотря ни на что, я не падаю духом, стараюсь работать, пишу стихи, сценарии, статьи для англ. и америк. газет, говорю по радио, хлопочу о Бобе, о Коле. Сам не знаю, откуда берутся у меня силы; ведь мне 60 л. И я почти не сплю». И третье, в середине августа: «В Переделкине мы почти не бываем: там очень большая пальба. В Москве по ночам – тяжко. Немцы появляются с наступлением темноты и бросают бомбы до рассвета… Во всем этом для меня самое тягостное – не спать. Во мне нет никакого страха, смерть меня не страшит, но сердце устало от бессонниц. Впрочем, случается, что после бомбежки я сплю часа 2 или 3. Мама совсем извелась. Она только и думает о тебе, о Люше, о Марине, о Гуле, о Коле, о Бобе». Пишет, что сдал свои бумаги на хранение в Центральный архив, что работы для радио – «непочатый край», но «как одиночка я очень непроизводителен». А вот совсем странная на сегодняшний взгляд запись: «Денег у меня нет, несмотря на все старания добыть оные. Я кое-что зарабатываю, но мало, притом я взял себе секретаршу, мама взяла себе кухарку; моих заработков хватает на жизнь, но и только». И это – в ответ на письма дочери с непрестанным «денег нет», «работы нет», «итак: деньги! иначе не прожить зиму». В первые дни войны арестовали все вклады. Писатели, не получавшие зарплаты, оказались без денег. Потом уже им позволили снимать с книжки по 200 рублей в месяц. А М. Б. никогда не умела хозяйничать. Он все равно посылал деньги – и Лидии Корнеевне, и Марине Чуковской, когда стало известно, куда она уехала, и – как прежде, еще каким-то людям, нуждающимся в помощи.

Что скрывается за словами одного из писем «несмотря ни на что» – понятно: общий ужас этих дней. Москву бомбят, введены продуктовые талоны, дочь пишет из Чистополя, что живет с детьми в невозможных условиях, без нужных лекарств и денег, рассказывает: просила работы в гороно – ответили: «Езжайте в колхоз вязать снопы». Писательские жены и дети наперебой умоляют оставшихся в Москве близких срочно выслать хинин и бактериофаг: в городе свирепствуют малярия и дизентерия. Куда уехала Марина Чуковская, так пока и неизвестно, К. И. передает детям с чужих слов, что в Молотов с детским лагерем. Письма не доходят. Дети спрашивают отца, почему он не пишет. Он пишет, но куда деваются письма, неясно; оттого в одном письме К. И. есть гневный пассаж о «каких-то вредителях, разлагателях тыла», которые «нарочно задерживают письма, идущие на Москву» – уж

не полагал ли он, что вредители прочтут и устыдятся? В следующем письме он поучает дочь: «Чтобы письмо дошло, нужно начинать его словами „Мы живем отлично, радуемся счастливой жизни, но“ и дальнейшее любого содержания. Так делает Боба, все его письма доходят».

Информации нет. «„Последние известия“, объявляемые в газетах и по радио, не всегда бывали истинно последними: власти с нарочитой замедленностью объявляли гражданам о сдаче очередных городов, и граждане, как это повелось издавна, питались преимущественно слухами – это из „Предсмертия“ Лидии Чуковской. – К тому же радиотарелки вещали только в некоторых учреждениях, только на главных улицах или площадях. Да и газеты запаздывали». «Мы здесь живем только слухами, и никто ни о ком ничего не знает. Это хуже и опаснее всего», – писала Лидия Корнеевна родителям из Чистополя. Какие ходили слухи – можно судить хоть по тому, что уже 6 июля в стране была введена уголовная ответственность за «распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения». Сводки Совинформбюро были кратки и ужасны: сдали один город, другой, после тяжелых и продолжительных боев отступили там-то, авиация противника бомбила то-то. Письма не доходили. Информация, привозимая знакомыми, переезжающими с места на место, была скудна, отрывочна и тоже не внушала оптимизма.

Фашисты осаждали Киев, обступили Ленинград, подбирались к Москве. А в Киеве оставались родители Мити Бронштейна, в Ленинграде был Николай Корнеевич, там жили друзья, там был дом Лиды и Коли, и душа у всех Чуковских болела не только за брата, сына, дом, но и за сам этот город, с которым столько у каждого было связано. В Ленинграде начались перебои с продовольствием, город бомбили.

На смоленском направлении, куда попал Борис Корнеевич, был сосредоточен основной удар немецких сил, там шли тяжелейшие бои. «Боба на фронте под Смоленском. Мы получаем от него бодрые письма, но, конечно, будет чудо, если он вернется», – писал К. И. дочери. «От Бобы получаем известия – бодрые», – писал К. И. старшему сыну 1 сентября. И через несколько дней: «У Бобы сделалась грыжа, и надо вызволить его в Москву для операции». В это время ополченцев, имевших высшее образование, стали учить на офицеров и переводить в действующую армию. Семья надеялась, что Боба после операции сможет поступить в училище младших лейтенантов. Но вызвать сына в Москву не удалось.

Середина августа, дочери: "Мы живем в Переделкине. К

бомбежке совершенно привыкли. В убежище давно не ходим. Я научился спать после бомбежки, а это главное. Работаю на радио. Это дает средства на жизнь – приблизительно тысячу в месяц, да тысячу я получаю, вот и все. Но на отъезд *денег нет"*. «Я почти ничего не работаю. Потерял аппетит к работе». «Но, конечно, я должен бодриться, так как случилось так, что я еще могу пригодиться вам всем».

В одном из писем Чуковский писал, что подружился с ранеными из госпиталя, который расположился в здании детского санатория по соседству. В написанной для Совинформбюро статье «Госпиталь № 11» он рассказывает, какие это чудесные, сильные, скромные люди, как не любят они говорить о своих подвигах, как играют в детские игры, хохочут, – а между тем один вынес командира из-под огня, другой под ураганным обстрелом добыл мины для миномета… «Если бы нужно было определить одним словом то чувство, которое выносишь из этого госпиталя, я сказал бы: чувство оптимизма. У этих людей нет ни тени сомнения в том, что они победят. Залечив раны, они, в огромном своем большинстве, снова уйдут на фронт – мужественные, простодушные, несокрушимо-спокойные, сплоченные люди, готовые отдать свою жизнь, чтобы спасти родину и все человечество от тирании озверелого врага».

Видно все-таки, что работа ему дается тяжело. Пока он говорит о людях и книгах, предметах ему близких и дорогих, он ясен и убедителен, но как только приходится говорить о национальной трагедии, о враге, о судьбах мира – начинаются вялые газетные штампы: «тирания озверелого врага», «одичалые нацисты»… А слов-то и в самом деле нет: как выразить ужас, боль и негодование, когда в распоряжении только несколько слов – действительно озверелые, действительно одичалые. «Нелюди», сказал кто-то, и это слово тоже быстро стало газетным штампом. Советской литературе еще предстояло найти язык, научиться рассказывать о нечеловеческом кошмаре, о запредельном горе, о неимоверных страданиях – обо всем том, что уже было прожито в предшествующие годы, но прожито в страхе и молчании – теперь надо было учиться об этом говорить. Кафкианская, выморочная реальность последних лет уступила место настоящей жизни – но жизни очень страшной.

«Окровавленная тишь сменилась кровавым грохотом. Немые слезы – рыданиями вслух», – писала Лидия Корнеевна в «Прочерке». Большая беда вернула писателям право писать о человеческом по-человечески, но этот новый язык еще предстояло освоить. Найти новые слова, не потеряться в штампах, не наврать выспренностью: на фоне войны любая ложь колола глаз. И с этой

новой задачей Чуковскому было справиться очень трудно: не потому, что отвык от искренности, – не отвык. Не потому, что не мог писать о человеческом, – мог. Нет, потому, что беда иссушала его талант, лишала его выразительной силы. Потому, что талант этот, праздничный и счастливый, был сродни радуге – мог сиять волшебными красками только при ярком солнце. А за окном было затяжное ненастье. Шторм, шквал, всемирный потоп, горе, ужас и ненависть.

Два письма старшему сыну, написанные в сентябре, начинаются совершенно одинаково, по Бобиному рецепту: «Живем в Переделкине, где сейчас чудесно: много малины, солнца». «Мы живем хорошо. В Переделкине чудесная погода. Много малины, земляники». Земляники – в сентябре! Правда, Пастернак тоже говорил, что клубника была до самой осени. Погода в это лето и осень вообще выдалась редкостно ясная, и особенно дико в этой золотой дачной истоме с ее травяным духом и ягодным изобилием звучал грохот ночных бомбежек. «Я работаю в Информбюро, но мало и вяло. Не вошел еще в ритм». «Мы никуда не собираемся, т. к. здесь мы полезнее всем Вам – и детям и внукам».

Они действительно были всем полезнее, находясь в Москве: разбросанные по стране, потерявшие друг друга дети и внуки только через них держали связь. Наконец, их могли просить о хлопотах: вступиться за эвакуированных детей, которым интернатское начальство не дает видеться с родными, добиться более благоприятных условий для детского лагеря Литфонда, где пребывала Марина Николаевна с детьми. Чуковские-старшие посылали эвакуированным детям и внукам деньги, вещи, книги, пересылали заблудившиеся письма.

В конце августа К. И. получил телеграмму со станции Мирская (Краснодарский край) от Исидора Бронштейна, брата-близнеца погибшего Мити. Исидор просил о помощи. Он вместе с родителями выехал из осажденного Киева, направляясь в Сибирь к Михалине, сестре Матвея и Исидора. Все трое заболели в пути тифом. «Фанни Моисеевна и Петр Осипович – умерли от сыпняка на одной из железнодорожных станций: многие сутки они тщетно пытались пересесть в другой эшелон. Они умерли в привокзальной грязи. Когда туда явились санитары, все трое были еще живы, хотя и без сознания. Стариков оставили умирать на платформе, а Изю, человека молодого, перевезли в тифозный барак. Он выздоровел. Своих на вокзале уже не нашел», – писала Лидия Корнеевна в «Прочерке».

Наступила осень 1941-го. В Елабуге повесилась Цветаева. 8 сентября сомкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда, где

оставался Николай Корнеевич. В конце сентября К. И. рассказывал дочери в письме, что к ним в переделкинский дом приходил с женой «поплакать» сосед, драматург Иван Попов, узнавший о гибели сына на фронте. И у самого Чуковского душа не на месте: «Не знаю, жив ли Боба. Он очень аккуратный корреспондент, а между тем от него уже десять дней нет вестей. Боюсь, что выйдет так же, как с Митей; впрочем, гоню от себя эту мысль и хлопочу о нем с неослабной энергией. Дело в том, что теперь в соответствующих ведомствах наконец-то созрела мысль, что нелепо посылать инженеров, искусствоведов, адвокатов, профессоров копать ямы и решено по мере сил дать интеллигенции применить на войне интеллект. Поэтому я надеюсь, что мое ходатайство будет уважено».

Положение на фронтах становилось с каждым днем тяжелее и хуже: сдали Чернигов, Кременчуг, Киев, за ними Брянск и Орел, затем Калугу и Калинин. На оккупированных территориях творились немыслимые зверства: в Бабьем Яре были расстреляны 30 тысяч человек. Фашисты подходили все ближе к Москве, в городе бродили самые страшные слухи. Непонятно было, уезжать или оставаться: уехать – скажут, «струсил», остаться – скажут, «ждет фашистов». В одном из писем, написанных в конце сентября, К. И. говорил, что «вообще обстановка сильно напоминает 1917 год».

14 октября Государственный Комитет Обороны принял решение о вывозе из Москвы дипломатических корпусов, партийных и правительственных учреждений, заводов, научных и культурных учреждений. 15 октября Сталин подписал приказ об эвакуации столицы. В городе началась паника. Руководство многих учреждений бежало, забирая из касс деньги и бросая хозяйство на произвол судьбы. Над столицей носились пепел и черные хрупкие хлопья истлевших документов. Вывозили заводы, минировали пустые корпуса. Жители уходили пешком, уезжали машинами. Дороги были забиты – теперь это уже напоминало не столько 1917 год, сколько 1905-й, некоторые очевидцы упоминали даже попытку еврейского погрома и мародерство. Впрочем, уже 19-го объявление осадного положения и введение комендантского часа принесли свои плоды, контроль над ситуацией был взят, относительный порядок восстановлен.

Все эти дни эвакуируемых увозили на восток не только пассажирскими поездами, но и товарными, и неотапливаемыми электричками, и даже поездами метро. Люди приезжали на вокзалы (основной удар принял на себя Казанский) с полными машинами скарба, трельяжами и пианино, железнодорожное начальство не позволяло грузить все, пытаясь посадить в первую

очередь людей; пассажиры, обвешанные узлами и чемоданами, не могли даже забраться в вагоны.

Александр Фадеев получил директиву от ЦК партии «вывезти писателей, имеющих какую-нибудь литературную ценность, вывезти под личную ответственность». В списке «имеющих ценность» было 120 человек, но отправлять, как докладывал Фадеев в ЦК, ему пришлось 271. Поэт Лебедев-Кумач, сообщал Фадеев, «еще 14 октября привез на вокзал два пикапа вещей, не смог их погрузить в течение двух суток и психически помешался». Помешаться в такой каше было отчего и без двух пикапов.

Чуковские-старшие попали в самую людскую гущу. Первая дневниковая запись за все время с начала войны сделана в поезде 19 октября (впервые появился досуг?): «15 окт. мы сдали вещи в багаж и приехали на вокзал, как вдруг за три минуты до намеченного отхода поезда (на самом деле поезд отошел позднее) прибыл на вокзал Афиногенов, страшно взволнованный: „велено всем собраться к пяти часам в ЦК. Немцы прорвали фронт. Мы, писатели, уезжаем с правительством“. Я помещен в списке тех литераторов, которые должны эвакуироваться с правительством, но двинуться к ЦК не было у меня никакой возможности: вся площадь вокруг вокзала была запружена народом – на вокзал напирало не меньше 15 тысяч человек, и было невозможно не то, что выбраться к зданию ЦК, но и пробраться к своему вагону».

Выручил Чуковских писатель Николай Вирта. «Надев орден, он пошел к начальнику вокзала и сказал, что сопровождает члена правительства, имя к-рого не имеет права назвать, и что он требует, чтобы нас пропустили правительственным ходом. Ничего этого я не знал (за „члена правительства“ он выдал меня) и с изумлением увидел, как передо мною и моими носильщиками раскрываются все двери», – повествует Чуковский в дневнике. Людмила Московская, член семьи писателя Павла Безруких – тогда еще 10-летняя девочка, – ехала в эвакуацию в одном вагоне с Чуковскими: «В вагоне были дети Вирты, еще чьи-то. Я и еще две девочки очень полюбили Корнея Ивановича и не отходили от него ни на шаг, бежали к нему сразу после завтрака – он что-то рассказывал нам, иногда мы вместе с ним выходили на станции, если это разрешалось. Он, конечно, уставал от нас. Говорил: „Девочки, вас мамы зовут“. Мы бежали к мамам – и оказывалось, что они нас не звали. Возвращаемся к его купе – а там висит тетрадный листочек: „Дети! Бедненький, седенький Корне йчик устал. Спит“. Мы садились под дверью купе и ждали, пока он выспится». В это самое время он пишет в дневнике: «Эти дни для меня страшные. Не знаю, где Боба. 90 процентов вероятия, что он убит. Где Коля? Что будет с Лидой? Как спасется от голода и

холода Марина?» Путевые заметки – мрачные: «По дороге мы почти нигде не видели убранного хлеба. Хлеб гниет в скирдах на тысячеверстном пространстве». «Изредка на станциях появляется кое-какая еда… На эту еду набрасываются сотни пассажиров, давя друг друга, давя торговок, – обезумевшие от голода. Поезд стоит на станциях по 2, по 3 часа. Запасы, взятые в Москве, истощаются». "Потолкался я в очередях, ничего не достал. Пошел к коменданту просить у него талончик на право покупки хлеба.

Комендант сказал:

– Прошу оставить помещение!"

Ташкент

О Ташкенте Корнею Ивановичу рассказывал еще Павел Нилин, побывавший там в самом начале войны. Уже тогда К. И. задумался о том, чтобы уехать в Ташкент, забрать в этот теплый и сытый город дочь и внуков. И он действительно туда отправился с писательским поездом, и чуть позже туда же выехала из Чистополя Лидия Корнеевна с детьми. С ней вместе ехала Ахматова, которую вывезли из блокадного Ленинграда.

Наталья Громова, автор книги «Все в чужое глядят окно», посвященной ташкентской жизни советских писателей, говорит: «К концу 1941 года, в результате стремительного прохода немцев к Москве, стала очевидна уязвимость Поволжья. Прорыв немцев к Волге означал, что для них не составит труда захватить Казань, а вслед и Чистополь, стоящий на Каме. Как и в Москве, здесь в конце октября началась паника». Эвакуированные в Поволжье тоже стали собираться в путь. Многие оказались в Ташкенте, где осели большинство писателей и писательских семей. В Ташкент приехали первая жена Пастернака Евгения Пастернак с сыном, Алексей Толстой с красавицей-женой Людмилой Ильиничной, первая жена Горького Екатерина Пешкова, жена Всеволода Иванова Тамара, семья функционера Союза писателей Валерия Кирпотина (приезжал и он сам), только что осиротевший сын Цветаевой Георгий Эфрон… "Драматург И. Шток, Ф. Раневская, Н. Мандельштам, семья Луговского (поэт, его мать и сестра), Елена Булгакова, писатель В. Лидии, поэт С. Городецкий с семьей, литературоведы М. и Т. Цявловские, Д. Благой, Л. Бродский, В. Жирмунский, драматург Н. Погодин, писатели Н. Вирта, И. Лежнев, критик К. Зелинский, Мария Белкина (жена критика Анатолия Тарасенкова с грудным сыном. – *И. Л.)* и многие другие", – перечисляет Н. Громова.

Ташкент поражал эвакуированных восточной экзотикой – цветением садов, иной архитектурой, иными одеждами горожан,

небывалым изобилием и такой же небывалой дороговизной огромного рынка. Это был совсем другой мир, иная цивилизация, и война в нем ощущалась совсем иначе, издалека. Ходили даже слухи, что при поражении СССР в войне Узбекистан отойдет к англичанам, станет британской колонией… Наталья Громова напоминает, что Алексей Толстой, повидавший послереволюционную эмиграцию, называл Ташкент «Стамбулом для бедных»: этот колоритный восточный город, как некогда Константинополь, подвергся нашествию все потерявших, растерянных европейцев.

Вот первые ташкентские впечатления Чуковского: «У парикмахера – веер. Попрыскает одеколоном – и веет. У чистильщика сапог – колокольчик. Почистил сапог и зазвенит, чтобы ты подставил ему другой. Тополя – необыкновенной высоты – придают городу особую поэтичность, музыкальность. Я брожу по улицам, словно слушаю музыку, – так хороши эти аллеи тополей. Арыки и тысячи разнообразных мостиков через арыки, и перспективы одноэтажных домов, к-рые кажутся еще ниже оттого, что так высоки тополя, – и южная жизнь на улице и милые учтивые узбеки, – и базары, где изюм и орехи, – благодатное солнце – отчего я не был здесь прежде – отчего я не попал сюда до войны?» И вдруг: «Самое здесь странное, неожиданное: это смеющиеся дети»… Совсем иным казался этот город Татьяне Луговской, сестре поэта, – город, где, по ее словам, «даже вода пахнет пылью и дезинфекцией, где летом закипает на солнце вода, а зимой грязь, которой нет подобной в мире (это, скорее, похоже на быстро стынущий столярный клей)… где собрались дамы-фифы и собралось горе со всего Союза, где по улицам вместе с трамваями ходят верблюды и ослы, где вас почему-то называют „ага“, где про ваши родные ленинградские и московские края говорят – Россия (!), где гроб – один из самых дефицитных товаров…».

Поезд, в котором ехали Чуковские-старшие, шел до Ташкента девять дней, на десятый приехали. По меркам того времени – очень хорошая скорость: другие ехали по месяцу, со стариками и грудными детьми, на нарах в холодных телячьих вагонах, без денег, еды и теплых вещей, пропуская вперед другие эшелоны – промышленные, правительственные, с ранеными… Писатели все-таки и сейчас оставались привилегированным меньшинством; ехали в «международном вагоне». Тем не менее и этому меньшинству приходилось несладко: денег нет, еды в дороге не добыть, привычный уклад жизни разрушен, сниматься с места и тащиться поездом через всю страну на пороге 60-летия очень трудно. Да и привычный ли уклад? – Чуковские едва успели

обжиться в Москве, как снова пришлось бросать все, снова начинать жизнь с нуля, уже в который раз. Еще в дороге К. И. дал телеграмму дочери в Чистополь, что попросил Совнарком Татреспублики помочь ей выехать в Ташкент – «воспользуйся». Л. К. с детьми и Ахматова выехали пароходом в Казань, оттуда поездом в Ташкент, ехали две недели.

«Я весь больной, – пишет К. И. в первой дневниковой записи, сделанной в Узбекистане. – У меня и грипп, и дизентерия, и выпало три вставных зуба, и на губе волдырь от лихорадки, – и тоска по Бобе – и полная неустроенность жизни – и одиночество». Весной он рассказывал Николаю Корнеевичу в письме печальные подробности, о которых не хотел писать по горячим следам: «Я в первый месяц перенес сразу все ташкентские болезни – и даже провел дней пятнадцать в больнице. Хотя правительство отнеслось к нам, писателям, очень радушно, но все же устройство было очень трудно. Покуда я лежал в больнице, писатели оттяпали данную мне квартиру».

И такой трогательной радостью отзывается он на любые проявления человеческой доброты: банка керосина, принесенная незнакомым человеком, предложение недорого снять комнату в удобном месте. «Чудо, редкость! – радуется он. – Мне не пришлось кланяться Коваленке, не пришлось отнимать кров у братьев-писателей, я избавлен от всяких дрязг, живу с женой уединенно – в стороне!»

Жить «в стороне» и в самом деле было очень важно, и добытые комнаты в разных концах двора не зря казались чудом. Прибывающих селили не только в гостинице, как Чуковских, но и в общежитиях, и в неприспособленных для проживания зданиях учреждений, для размещения эвакуированных выселили местных жителей из целого дома. Начались свары, захват квартир побольше и получше, уплотнения. Затем, как обычно, писатели стали ревниво и неприязненно присматриваться друг к другу: как живут, во что одеты, где получают паек… Жить подальше от «братьев-писателей», не участвовать в коммунальных битвах, не быть объектом пристального наблюдения – это было чудо и редкость.

Адрес К. И. в Ташкенте – улица Гоголя, 56. «Белый двухэтажный дом. Шумный, пыльный двор. В углу дверь в комнату, где живет семья Чуковских. В другом конце дома вход в кабинет Корнея Чуковского, – вспоминал Валентин Берестов. – Пустая комната, где был обжит только один угол у окна: стол, тахта, полка со старыми книгами и новыми папками». Чуковский угощал своего юного гостя супом из кормовой свеклы.

«Живу в комнате, где, кроме двух гео-карт, нет ничего.

Сломанный умывальник, расшатанная кровать, на подоконнике книги – рвань случайная – вот и все – и тоска по детям. Окна во двор – во дворе около сотни ребят, с утра до ночи кричащих по-южному» – это дневник К. И. 1942 года. «Детей около 50, кричат под окнами, визжат с утра до ночи. Никакой возможности заниматься. А между тем я работаю, как никогда» – это из письма сыну. В 1943 году, уже уезжая, он описывал свое жилье так: «Моя комната с нелепыми зелеными занавесками, с шатучим шкафом; со сломанной печкой, с перержавелым кривобоким умывальником, с двумя картами, заслоняющими дыры в стене, с раздребежженной дверью, которую даже не надо взламывать, с детским рисуночком между окнами, выбитым стеклом в левом окне, с диковинной форточкой – немыслимый кабинет летом, когда под окнами галдели с утра до ночи десятка три одесситов».

«В начале ноября приехала Лида, – гласит последняя дневниковая запись К. И. за 1941 год. – Мы с М. Б. встретили ее на вокзале. Она ехала с Маршаком, Ильиным, Анной Ахматовой, академиком Штерн, Журбиной. Привезла Женю и Люшу. Маршак и Ильин остались в Алма-Ата». Жить одним домом со взрослой дочерью, недавно пережившей трагедию, было трудно. «Конечно, я полон всякого уважения к Лиде, это действительно большой человек, здесь она работает много в детских домах (в порядке шефства), пишет статьи, выступает на собраниях общественниц, все ее любят, но какой это жесткий, трудный, несгибаемый человек», – пожаловался К. И. однажды сыну.

Эвакуированные продолжали прибывать и с трудом расселяться. Они привозили новости, иногда письма – и множество слухов. Новости были разные, но чаще плохие. В конце года немцев отбили под Москвой, отодвинули линию фронта от столицы – но наступление в Крыму не удалось, под Вязьмой захлебнулось, армии не хватало сил. Самые страшные вести приходили из Ленинграда, где умирали от голода близкие люди. Лидия Корнеевна еще в Чистополе, в октябре 1941-го спросила приехавшую из Ленинграда Ахматову, боятся ли в городе прихода немцев. «Что вы, Л. К., какие немцы, – отвечала та. – О немцах никто и не думает. В городе голод, уже едят собак и кошек. Там будет мор, город вымрет. Никому не до немцев».

Осенью 1941 года при эвакуации из осажденного города погиб Цезарь Вольпе – Люшин отец: приехал в Ленинград, чтобы вывезти сына, разминулся с ним, нанял грузовик, выехал из города на Ладогу – и погиб где-то в пути при невыясненных обстоятельствах. В Ленинграде голод свел в могилу родителей Мирона Левина, а сам Мирон еще раньше, до прихода фашистов, умер в Крыму от туберкулеза. Был арестован и умер в тюремной

психбольнице в начале 1942 года Даниил Хармс. Умер Исидор Гликин, взявший на хранение «Софью Петровну». Потом узнали, что он незадолго до смерти – пешком, истощенный, на другой конец ледяного города – отнес тетрадь с повестью своей сестре. О ком, кажется, ни спросишь – умер, погиб, умирает от голода, тяжело болен, пропал без вести, похоронил мать или ребенка – как это все можно было вместить? Чуковский в январе 1941 года записал в дневнике слух, оказавшийся потом ложным: говорят, что убит Шостакович! Немудрено, что на фоне таких новостей любые ташкентские красоты казались неуместными. «Но я на красивое больше смотреть не могу: / Кощунственна эта лазурь, лепестки и ресницы», – писала Лидия Корнеевна.

В декабре Пастернак написал Чуковскому письмо, где благодарил за помощь, которую К. И. оказал его бывшей жене и сыну в поисках жилья: «Она мне писала, как много Вы для нее сделали». В письме рассказывалось дальше, что в Переделкине стоит зенитная часть и солдаты совершенно не щадят домов и того, что находится в них: «Новые обитатели городка писателей привели все в совершенное разрушенье и загадили, переносили вещи из дачи в дачу, раскурили Павленковскую библиотеку, трижды загорались дачи Сейфуллиной, Кассиля и Ивановых. Первые удалось отстоять, а Ивановская сгорела». Незадолго перед тем Пастернак отнес на дачу Всеволода Иванова для сохранности работы своего отца, знаменитого художника, которые отказалась принять на хранение Третьяковская галерея. «Мне жалко только папиных работ, но ведь я ко всему был готов и все предвидел. Не правда ли, умилительно? А Вы говорите – Ясная Поляна. Помните, Вы мне рассказывали про Куоккалу?» Почему Ясная Поляна? Потому, что среди вывезенного немцами из разоренной Ясной Поляны была копия рисунка Наташи Ростовой работы Леонида Пастернака, а среди погибших в Переделкине работ Пастернака-старшего – оригиналы… Сам Чуковский перед отъездом в Ташкент закопал «Чукоккалу» на даче, случайно вернулся в Переделкино через несколько дней и нашел свой драгоценный альбом у соседа, уже предназначенный для растопки: тот решил, что К. И. закапывает сокровища, – и сразу же выкопал.

«Помните, Вы мне рассказывали про Куоккалу?» Дача Чуковского в Куоккале с толстым слоем редких книг и рукописей на полу. Дача Репина, разоренная во время Финской кампании 1939 года – отнюдь не белофиннами, – и сгоревшая дотла… «Вся моя библиотека разграблена» – Чуковский, 1943 год. «А у меня / Библиотеку сожгли в усадьбе» – Блок в 1917-м в поэме Маяковского. Как одинаково достается писательским домам во

времена великих перемен, и как одинаково печалят писателей главные утраты: наплевать на мебель и вещи, – но гибнет семейная история, гибнет память собственной жизни, гибнут бережно сохраняемые до сих пор культурные ценности, которые могли служить еще многим поколениям. Но даже и это отступает на второй, третий, десятый план. И библиотека в конечном итоге неважна – когда революция, война, голод, смерть; когда история катит, лязгая гусеницами, по человеческим судьбам.

В канун нового года Чуковский выступал в школе, где учился Валентин Берестов, тогда еще подросток Валя. «Мыто ждали его как какого-то Деда-Мороза, веселого и таинственного», – вспоминал Берестов. Но Чуковский пришел и стал рассказывать об издательстве «Всемирная литература» – о том, как весело, «с праздничным воодушевлением» голодные писатели, жертвуя собственным творчеством, отбирали, переводили и комментировали «для только что возникшей, небывалой страны… лучшие книги всех времен и народов».

Школьники пошли провожать гостя на трамвайную остановку. «Приближалась новогодняя ночь без елок, угощений и даже без снега. Возле каждого фонаря мы обгоняли Корнея Ивановича и заглядывали ему в лицо. Я ухитрился даже дотронуться до рукава его пальто. Мы почему-то ждали, что писатель сейчас пошутит, – пишет Берестов. – Но лицо Чуковского было усталым и скорбным».

В письме Маршаку Корней Иванович сообщал: «Здесь я живу хорошо, хотя и бедствую, ибо никаких денег у меня нет. Приходится зарабатывать тяжелым трудом: лекциями, выступлениями. Но хорошо хоть то, что лекции мои собирают народ и что у меня есть еще силы читать их. Я бросил все мое имущество на произвол судьбы, т. к. уехал внезапно». «Я заболел. Был в стационаре дней десять, – записывал Чуковский в дневнике той зимой. – Потом взвалил на себя кучу работы. Прочитал курс лекций о детских поэтах в Педагогическом институте. Стал печататься в „Правде Востока“. И провел множество выступлений на подмостках театров и в школе. Первых пяти выступлений не зарегистрировал, но вот последующие». После этого записаны даты, места и темы тридцати трех выступлений в школах и клубах за два месяца – декабрь 1941-го и январь 1942 года.

К началу 1942 года семья Чуковских уже освоилась на новом месте. Марина Николаевна в Ташкент не поехала, осталась с детьми в Молотовской (ныне Пермской) области. Дом, где до войны жил Н. К. с семьей, разбомбили, поэтому старший сын просил в письмах отца, когда тот поедет обратно в Москву, забрать его жену и детей с собой: жить им было негде.

Николай Корнеевич попал в состав оперативной группы при политуправлении Балтфлота, был сначала в Ленинграде, затем под Вологдой, потом снова вернулся в Ленинград. Группой руководил Всеволод Вишневский, в ее состав входили писатели, задачей которых было «поддерживать дух блокадного Ленинграда патриотическими стихами и статьями в газете», пишет Наталья Громова. Николай постоянно спрашивал отца: «Где Боба?» – но ответа на этот вопрос не было. Письма от Бобы не приходили уже несколько месяцев – ни родителям, ни брату, ни жене, последнее было датировано 4 октября. Семья все яснее понимала, что Бориса Корнеевича, скорее всего, нет в живых. К. И. в одном из осенних писем обмолвился, что боится – не получилось бы как с Митей. Но так и получилось: сначала хлопоты о погибшем, которого еще считают живым, затем попытки добиться ясности, официального извещения о смерти.

«Мы живем здесь неплохо – сытно и безбедно – Люша учится в школе – я читаю лекции, работаю в Комитете помощи эвакуированным детям – печатаюсь в газетах – Ташкент мне очень нравится – поэтичный самобытный город – весь в тополях —… узбеки чудесный народ, деликатный, учтивый, – мы сошлись с семьей Горького, – …Лида работает в Академии наук… и если бы мы не томились мрачными мыслями о Бобе, жизнь нашу можно было бы признать неплохой», – писал К. И. Николаю Корнеевичу в январе 1942 года. "В Ташкенте мы сперва жили на улице Гоголя в квартире некоего совнаркомовского чиновника (кажется, его фамилия была Трофименко), который уехал на время, – вспоминает Е. Ц. Чуковская. – Там было две комнаты в разных концах дома с разными входами. В одной жили Мария Борисовна, Женя, мы с мамой и домашняя работница. В другой была комната Корнея Ивановича. Жизнь вся шла во дворе. В этом доме жили многие эвакуированные. Спали часто тоже во дворе. Помню, что у меня ночью украли одеяло.

Потом мы с мамой переехали в крошечную комнатенку на улице Жуковского. Там жили писатели и их семьи. Там был главный дом и флигель. Мы жили во флигеле. Над нами жила Елена Сергеевна Булгакова, а в соседней комнате – брат Надежды Яковлевны Мандельштам. В главном корпусе жили Всеволод Иванов, Уткин, Погодин, Вирта и их семьи. Бытовых трудностей было много, я именно там начала одна ходить в очереди за продуктами, на рынок и вообще что-то делать по хозяйству. Помню, что ели затируху – такой суп из муки".

Лидия Корнеевна описывала ташкентскую жизнь как непрерывную борьбу с тяжелым бытом: «Служба; очереди в магазине за гнилыми дынями; попытки обменять на базаре какое-

нибудь полотенце на горсть риса или свой паек хлеба – на сахар для Люши, или попытки обзавестись керосином – быт попросту валил меня с ног».

Ташкентский базар сводил с ума недоступным изобилием еды по сумасшедшим ценам. В писательской столовой давали пшенную кашу на воде и все ту же затируху, и хорошо еще, что хоть это давали. В Ташкенте грабили на улицах, воровали, голодали. Многие – в особенности писатели – беспробудно пили. Литработники получали карточки, на которые нельзя было прокормиться, прикреплялись к магазинам – опять-таки по категориям, кому больше, кому меньше. Под окнами эвакуированных ходили оборванные истощенные люди и просили хлеба – одни нищие у других, полунищих.

Переписываясь с сыном о том, стоит ли ехать Марине Чуковской в Ташкент или нет, К. И. писал весной 1942 года: «Не знаю. Советовать боюсь. Для 9/10 населения Ташкента этот город (в бытовом отношении) не лучше Ленинграда. Многие ленинградцы, только что приехавшие из Ленинграда, говорят, что в Ленинграде им было лучше, что суп там гуще и дешевле. Наступают летние жары, о которых говорят с ужасом даже закоренелые ташкентцы».

Повседневная писательская жизнь не сводилась к работе и борьбе с бытом: оставалась еще объединявшая (и разделявшая) их литература, были литературные разговоры (и неизбежные сплетни). Появилось подобие литературной жизни—с чтениями и обсуждениями. У тех, кто был на привилегированном положении – у Алексея Толстого, у Екатерины Пешковой, – были свои литературные салоны; у Толстого однажды читала Ахматова. Она в Ташкенте продолжала работать над «Поэмой без героя», фрагменты из нее читала Корнею Ивановичу, многое из только что написанного показывала Лидии Корнеевне. Переводчик Вильгельм Левик в феврале 1942 года оставил в «Чукоккале» запись, посвященную одному из литераторских сборов:

И вот, настал такой момент,
Когда загнали нас в Ташкент,
И право, сей Ташкент – кудесник:
Едва в одну попали грязь,
Тотчас же обрели мы связь,
То было в первый же воскресник.

И Репин, Горький, Брюсов, Блок, —
О, всех желаний потолок! —
Те, кто бессмертны и велики,

Те гении недавних лет,
Чей не сотрется гордый след,
Они пред нами – в Вашем лике.
Вы снова дар явили свой.
Рассказ то грустный, то живой,
То саркастичный, то фривольный,
Ваш острый ум, лукавый взгляд,
Слегка опасной речи яд —
Все будит в нас восторг невольный.

К. И., комментируя эту запись, писал, что ташкентских писательских записей в Чукоккале мало: «было не до того». Все душевные силы отнимала тревога о судьбе сыновей и работа. «Я работал тогда в правительственной комиссии по устройству эвакуированных детей, встречал на вокзале каждый эшелон, привозивший десятки и сотни военных сирот, писал статьи для Советского Информбюро и для местной газеты, сочинял антивоенную сказку „Одолеем Бармалея“ – и совсем забыл, что на дне чемодана у меня лежит истрепанная „Чукоккала“. Но случилось так, что в феврале 1942 года группа московских писателей по инициативе Иосифа Уткина решила собираться по воскресеньям в том доме, где он проживал (вместе со своим другом Погодиным). В первое воскресенье Погодин должен был читать свою новую драму, но тут заболел – и нужно было спешно его заменить. Тут я вспомнил о „Чукоккале“ и продемонстрировал ее перед собравшимися».

Очарованный Левик тут же написал в «Чукоккалу» экспромт – едва ли не единственное свидетельство ташкентской жизни на ее страницах. Такие встречи происходили не раз, и на некоторых он и сам читал свои переводы из Ронсара и других поэтов, чрезвычайно нравившиеся Чуковскому. В комментарии к «Чукоккале» приводится фрагмент воспоминаний Левика о Корнее Ивановиче: «Здесь, в Ташкенте, я впервые увидел, какое множество добрых дел, не прекращая ни на один день углубленной творческой работы, успевал сделать этот удивительный человек. Тут позаботиться о ребенке, потерявшем родителей, там выхлопотать пособие вдове погибшего на войне или просто умершего незнакомца, устроить эвакуированному какую-нибудь работу или обыкновенный кров над головой… Все в нем было отмечено яркой индивидуальностью, выражавшейся, конечно, и в том, что никогда нельзя было предугадать, что он скажет или сделает».

О такой спокойной и вдумчивой заботе Чуковского

вспоминает и Валентин Берестов: Корней Иванович не только говорил с ним о стихах, но и интересовался тем, сыт ли молодой поэт. Осенью 1942 года он надолго уезжал в Москву—и перед отъездом, завершая многочисленные собственные дела, хлопотал об устройстве судьбы талантливого мальчика. Сам Берестов, больной пеллагрой, в это время был на прополке хлопка, откуда его вызвали в Ташкент: «Твои стихи читали по радио!» Оказалось, рассказывает он, Чуковский «побывал во Дворце пионеров и посоветовал, чтобы меня непременно вовлекли в литературный кружок, где я мог бы подружиться с пишущими ровесниками. Был в Наркомпросе, в Комиссии помощи эвакуированным детям, у энтузиасток, воспетых им в газетных статьях и в книжке „Дети и война“, и просил, чтобы они заинтересовались моей семьей. Был на радио и сказал, что у одного мальчика из Калуги есть стихи о войне, которые должны услышать дети и взрослые. Был у Алексея Толстого и вместе с ним добился, чтобы мне дали путевку в санаторий. И научил, как меня найти, чтобы я мог воспользоваться этой путевкой: меня отыскали по адресу на библиотечном формуляре. После санатория меня долечивали в больнице… Таким образом, я обязан Чуковскому еще и жизнью».

По рассказу Бенедикта Сарнова, Чуковский опекал и друга Вали Берестова Эдуарда Бабаева, тоже еще совсем мальчика, который тоже писал стихи. «Вам надо записаться в настоящую большую библиотеку», – сказал ему Корней Иванович. И сейчас, как в голодные времена «Всемирной литературы», он заботится о том, чтобы поэты, даже если (или особенно если?) они еще только начинающие поэты, были сыты, здоровы – и обеспечены духовной пищей. Да, путевка в санаторий, помощь семье, братская тарелка супа из кормовой свеклы – но вместе с тем и устройство в литературный кружок, и стихи по радио, и «вам надо записаться в настоящую большую библиотеку».

При этом собственных забот о большой семье, собственной работы у него было бесконечно много: и Совинформбюро, и газета «Правда Востока», и лекции, и комиссия помощи детям, и его «Сказки», пошедшие в печать в узбекском книжном издательстве. «Но, конечно, если бы я заболел или помер, – писал он в феврале 1942 года сыну Николаю, – семье пришлось бы очень тяжело, так как Лида, например, за четыре месяца не может заработать ни гроша».

Лидию Корнеевну Наркомпрос привлек к работе в Комиссии помощи эвакуированным детям. Комиссия занималась судьбой детей, прибывающих из европейской части страны. Их распределяли по детдомам, отдавали осиротевших на воспитание в семьи. Некоторые были даже не осиротевшими, а просто

потерявшимися при бомбежках, хаотических пересадках и переездах. «Матери блуждали по всей стране: детские дома раскиданы были тогда и по Сибири и по всему Узбекистану. Первая забота Комиссии: составить списки детей и их детдомовские адреса, – писала Л. К. в „Прочерке“. – Случалось, трехлетние, двухлетние, четырехлетние ребятишки знали только свои имена – не фамилии. „Коля, как зовут твою маму?“ Молчит. „А папу?“ После долгого молчания: „Папа“. „А где ты раньше жил?“ Рев. „У мамы, папы и бабушки“».

Говорят, именно Корнею Ивановичу первым пришло в голову записывать воспоминания потерявшихся детей, которые не могли вспомнить свое имя и фамилию, город, откуда приехали, но помнили какие-то мелкие детали – цвет дома, сад, какую-нибудь скрипучую калитку, – по которым, возможно, родители потом смогли бы их найти. Позднее Агния Барто несколько лет вела на радио передачу, где читали такие истории, и это позволяло разлученным семьям воссоединиться. Работы оказалось здесь – на годы. Между делом Лидия Корнеевна стала записывать детские свидетельства о войне. Некоторые говорили о пережитом неохотно, другие – взахлеб. Таких свидетельств накопилось на целую книгу «Слово предоставляется детям» – книгу простых и оттого особенно жутких детских рассказов о пережитом нечеловечески страшном опыте.

Чуковский тоже писал о детях: в январе 1942 года уже закончил книгу «Дети и война», которая вскоре вышла в Ташкенте. Книжка совсем маленькая, чуть больше ладони. Она снабжена авторским примечанием: «Это вариант книжки, написанной для американских читателей». К теме «Дети и война» К. И. обращался уже не раз. Точно так же называлась его большая статья, опубликованная в 1915 году в «Ниве», где говорилось о том, что война может не только отравить детские души ядом ненависти, но и стать «воспитательницей», – если взрослые направят душевную энергию ребенка в нужное русло. В книге «Англия накануне победы» он целую главу отвел рассказу о той колоссальной помощи, которую дети оказывают взрослым. Английские примеры в Первую мировую были более убедительны: у российских детей не было ни той убежденности, ни той организованности. Во Вторую мировую Чуковский уже с гордостью пишет о настоящей детской армии помощников, которая стала огромной и серьезной силой. Это и тимуровцы, помогающие семьям солдат и офицеров, и сборщики металлолома, и дети на сборе урожая – «никогда еще на нашей планете слабые, казалось бы, и неумелые руки детей не осуществляли в таких громадных масштабах, – так планомерно,

организованно, с такой целеустремленностью, с такой энергией таких насущных государственных задач». «Дети никогда еще не проявляли такого усердия, никогда еще не обуздывали себя такой дисциплиной, – хотя, конечно, было бы противоестественным чудом, если бы кое-где не наблюдалось распада установленных школьных навыков».

Чуковский рассказывает о детях, совершающих подвиги на войне, – детях, которые стали «боевыми товарищами», о мудрых учителях, которые даже в неподходящих условиях полевых работ умудряются на практике изобретательно и умно преподносить своим детям физику или геометрию, о семьях, усыновляющих сирот, о кружке девочек-рукодельниц, перешивающих старое рванье на новые детские вещи, о девочке, спасавшей раненых из горящего поезда… Это – мобилизованная, сплоченная детская армия, которая действительно оказывает «нашему тылу и фронту такую могучую помощь, какой в былые эпохи на всем протяжении всей истории никто никогда не ждал от детей».

И, конечно, к созданию книг для таких детей нужно было относиться особенно внимательно и серьезно. Одно из выступлений Чуковского в печати – статья в газете «Литература и искусство» (8 мая 1943 года), озаглавленная «О пользе творчества», – посвящается ненавистному явлению: халтурной детской книге. «Есть простое и легкое средство изготовить военную книгу: возьми ножницы, вырежь из разных книг и журналов десятка полтора стишков из очерков, озаглавь эту окрошку возможно звонче, например: „Вперед!“ или „Слава героям!“ – и военная книга готова». Чуковский обличал Детиздат, который работает «при помощи ножниц» и создает целые планы книгоиздания, где указаны еще ненаписанные книги с готовым названием и готовой темой: «Повесть должна показать, как советская школа сплотила ребят».

«Нам нужны вдохновенные, горячие, мускулистые книги, способные влиять на целые поколения детей, а такие книги еще никогда не писались для заполнения рубрики в ранее составленном издательском плане», – негодовал Чуковский. «Кто заказывал Антону Макаренко „Педагогическую поэму“?» Особенно его возмущают книжки, где с фашистами легко и весело, играючи, воюют малые дети, где война – это «цепь побед над дурачишками-гитлеровцами», где враги с идиотским терпением ждут, пока доблестные двухлетки их прикончат. Нельзя так писать о войне, это дискредитирует литературу в глазах детей, которые прекрасно понимают, что это за война – и какова цена таким книжкам. «Это просто канцелярские отписки от важной и ответственной темы».

И вновь, как в Первую мировую, его огорчает то, что авторы детских произведений предпочитают рассказывать об исключительных боевых подвигах детей, хотя на фронте ребенку совсем не место, и совершенно обходят вниманием куда более важную тему: «не показное, не эффектное геройство повседневной работы, геройство внутренней дисциплины, терпения, нравственной стойкости, словом, то геройство, которое в настоящее время требуется от ребенка в тылу».

«Одолеем Бармалея!»

3 марта 1942 года в дневнике Чуковского появляется запись: «Ночь. Совершенно не сплю. Пишу новую сказку. Начал ее 1-го февраля. Сперва совсем не писалось… Но в ночь на 1-е и 2-е марта – писал прямо набело десятки строк – как сомнамбула. Никогда со мной этого не бывало. Я писал стихами скорей, чем обычно пишу прозой; перо еле поспевало за мыслями. А теперь застопорилось». 31 марта он пишет, что сказка пишется трудно, – то ни строки не получается, то вдруг опять десятки строк сразу.

1 апреля, в день своего 60-летия, К. И. заносит в дневник: «Подарки у меня ко дню рождения такие. Боба пропал без вести. Последнее письмо от него – от 4 октября прошлого года из-под Вязьмы. Коля – в Л-де. С поврежденной ногой, на самом опасном фронте. Коля – стал бездомным: его квартиру разбомбили. У меня, очевидно, сгорела в Переделкине вся моя дача – со всей библиотекой, которую я собирал всю жизнь. И с такими картами на руках я должен писать веселую победную сказку».

К этому времени он давно уже сказок не писал. Читал их на утренниках, да, они выходили многочисленными переизданиями – но, кажется, сама способность писать радостные стихотворные сказки покинула К. И. в последнее предвоенное десятилетие. «… Никогда не думал, что мне придется писать произведение в стихах по той простой причине, что, во-первых, я очень увлекался писанием для взрослых и меня к сказкам, отнюдь, не тянуло, а во-вторых, не хотелось перепевать самого себя», – писал он в дневнике.

Евгений Ефимов пишет: «Однако в Ташкенте, работая в Республиканской комиссии помощи эвакуированным детям, ежедневно встречаясь с десятками и сотнями малышей и подростков, переживших ужасы войны и искалеченных душевно, а потом и телесно, Чуковский всем сердцем почувствовал общественную потребность в новой сказке, максимально приближенной к происходящим событиям». Далее приводится обширная цитата из публикации Чуковского в «Ташкентском альманахе», который вышел в 1942 году: «Мне хотелось бы внушить даже маленьким детям, что в этой Священной войне бой идет за высокие ценности мировой культуры, гуманизма, демократизма, социальной свободы, что этими идеалами вполне оправданы огромные жертвы, которые приносят свободолюбивые страны для сокрушения гитлеровщины. О нравственной борьбе с осатанелым фашизмом мы слишком мало говорим нашим детям. В этой грандиозной эпопее их зачастую прельщает лишь

эффектный задор молодечества. Идейные цели войны слишком часто ускользают от них. Чтобы рельефнее представить эти цели, я и вывел знакомого им Айболита, который издавна является в их глазах воплощением доброты, самоотверженности, верности долгу и мужества, и противопоставил ему разрушительную и подлую силу фашизма».

Если воплощением гуманизма и самопожертвования в его сказках был доктор Айболит, то воплощением тупой разрушительной силы конечно же стал дикарь, людоед Бармалей. И новая сказка получила название «Одолеем Бармалея!». Вот как в ней впервые появляется Айболит: «И там на балконе сидит / Добрый седой Айболит! / Он галке крыло перевязывает /И кролику сказку рассказывает». А вот одно из явлений Бармалея:

Он стоит, Бармалей, и позевывает,
На цветы луговые поплевывает.
…
Он стоит над веселыми селами,
Над полями стоит он веселыми
И бормочет бессмысленным голосом:
"Истребить! Погубить!
Уничтожить! Убить!
Погубить! Разбомбить!
Ни людей,
Ни детей —
Никого не щадить!"

За Айболитом стоят любовь и милосердие, вся выработанная веками страданий гуманистическая этика; за ним – поэтичный мир природы и созидательного труда (недаром в конце сказки в общем плясе изначально участвовали не только деревья, звери и люди, но и орудия производства). Бармалей – это тот самый кафр и готтентот, которому ничего не дорого. Он ничего не любит, ничем не дорожит, кроме примитивного комфорта, и войско у него такое же: «вкруг него павианы поганые на траве развалилися пьяные», «а за ними крокодилы с гориллами, с кабанами его тупорылыми».

Исходные предпосылки были ясны: уютному, доброму миру, где в ночи горят светлячки, где звери мирно живут и трудятся, противостоит грубая, злая сила. Задачи были ясны тоже: надо было показать, что нравственная правота добрых зверей – сила куда более могучая, чем все клыки, рога и копыта злых. Надо было рассказать об этом на понятном ребенку языке, связать эти сказочные реалии с тем, что они ежедневно слышат по радио.

«Считаю необходимым построить всю сказку на терминах Совинформбюро, в этом ее литературная оригинальность, – писал Чуковский. – Я заметил, что дети пользуются этими терминами, это их слова в нынешней войне». В архиве писателя сохранились огромные списки таких терминов («саперная лопатка, чтобы бить наверняка, сокрушительный удар, фугас, ни пяди земли, воздушный патруль, логово, боевое снаряжение и многие другие», цитирует Ефимов в комментарии к сказке). Чуковский считал, что именно они лучше всего донесут до ребенка нравственный смысл сказки. Но именно это ее и погубило.

Стихия Чуковского – фантастическая, условная, не имеющая никакого отношения к действительности: звери говорят, муха носит сапожки и выходит замуж за комара, туфельки растут на дереве, посуда сбегает от хозяйки; стихия эта – игровая и танцевальная. Когда в нее вторгаются тяжелые военные реалии, сказка трещит по швам. Смешение зайчиков и гиен со всеми этими «приговор приведен в исполнение», «ураганный огонь», «залпы орудий» оказалось невозможным:

А когда врага мы гнали
До исходных рубежей,
К нам тайком перебежали
Триста семьдесят моржей.

Текст рассыпается, он похож на центон – из таких, что сам Чуковский придумывал бессчетно, получал в письмах от друзей, давал студийцам на отгадку в качестве пособия по истории четырехстопного хорея в русском стихосложении:

Лысый с белой бородою
Старый русский великан
С догарессой молодою
Упадает на диван.

Когда-то ему прислал эти строки Жаботинский, это потом уже он включил их в свои «Ходы русского хорея». Заканчивался центон Жаботинского так:

…И с каким-то армянином (Некрасов)
Он загладил свой позор! (Пушкин).

Осталось добавить только советскую песню: «И на Тихом

океане свой закончили поход». Вот такой же эклектичной и получилась сказка.

Перенос трагического военного эпоса в мир малых зверей издавна, еще со времен древнегреческой «Батрахомиомахии», служил целям пародийным. «Война мышей и лягушек» откровенно высмеивала «Илиаду». И, естественно, сказка Чуковского, построенная на том же принципе, тоже стала выглядеть не эпосом, а пародией на эпос, травестированием темы, чего автор ни в коей мере не желал. Хотя как он – с его колоссальной эрудицией, с его знанием мировой культуры – упустил из виду такой предсказуемый комический эффект такого древнего и популярного приема – совершенно непонятно. Кстати, ведь и упомянутую «Батрахомиомахию» он прекрасно знал и любил цитировать перевод Жуковского: «И был надолго край наш обезмышен…»

Сказка не давалась Чуковскому. Материал сопротивлялся. Два стилистически чужеродных пласта не смешивались, как вода и масло. Не выстраивалась – не вытанцовывалась композиция (в буквальном смысле слова – прежние сказки у Чуковского именно что вытанцовывались), не держал сюжет. Даже сам нравственный смысл сказки оказался не так уж очевиден: война зверей с Айболитом началась из-за того, что старый гуманист отказался лечить «злых» зверей, агрессоров:

"Нет, не пойду я
Лечить бегемота.
Мне бегемота
Лечить неохота:
Ваш бегемот —
Кровожадный злодей,
Он задушил
Четырех лебедей".

Так же он отказал и горилле, проглотившей осу, и волчице, сожравшей двенадцать козлят:

"Ступай себе, злая!
Лишь добрых лечу я,
Тебя, кровопийцу,
Лечить не хочу я!"

Правда, лечить он не стал тех, кому стало плохо от их собственных злодеяний, да и полемизировать на темы

медицинской этики можно долго – и это вовсе не входит в наши задачи; заметим однако, что вопрос о том, кто заслуживает, а кто не заслуживает лечения, – очень непростой и совсем не детский.

Судя по многочисленным текстуальным и сюжетным совпадениям, в основу сказки «Одолеем Бармалея!» легла одна из первых редакций «Доктора Айболита» – запрещенная в 1928 году Соцвосом «Лимпопо» (текст ее опубликован в том же томе «Новой библиотеки поэта» среди черновиков и вариантов). Правда, там такого избирательного лечения еще не было, там злые звери не пускали «бедную серую лесную мелкоту» лечиться к доктору, а тот их стыдил: «Я летел и день и ночь / Вашим деточкам помочь, / Я ухаживал за ними, / Как за милыми родными, / Вы же от моих ворот / Отгоняете сирот». Злые звери собирались его съесть, Айболит спокойно встречал эти угрозы: «Ну что же, я в вашей власти, / Рвите меня на части, / Хватайте меня / И глотайте меня, / Но знайте, злодеи, несметная рать / Будет меня защищать. / Она не простит, отомстит, / Она за меня постоит». В конечном итоге лесная беднота и мелкота победила страшных зверей (кулаков и буржуев, судя по всему), и они клялись, что больше не будут, но доктор им не поверил, их прогнал и с тех пор… да-да, лечил «только зайчиков и белочек, да ежиков, да чижиков, да ужиков – да своих добрых домашних друзей – коров, уток, петухов, поросят и лошадок».

В этой же сказке уже тогда имелось описание большой звериной войны с акулой:

Впереди бегут мартышки
И в нее бросают шишки,
Сзади белочки летят
И орешками палят,
А лягушки на опушке
Желудями как из пушки
Пу, пу, пу и пу, пу, пу.

Это не самые лучшие стихи Чуковского, однако шишки, орешки и желуди в качестве звериного оружия смотрятся вполне органично. Но, когда вместо шишек и орешков все эти мартышки и белочки вооружились минометами и сели в тяжелые бомбардировщики, – эффект оказался не тем, на который рассчитывал автор.

Тогда, в конце 1920-х, К. И. не напечатал этот вариант – и к лучшему: в историю вошел хрестоматийный доктор Айболит с его нормальным врачебным подвигом – бежал, стремился, торопился к больным, лечил днями и ночами – и всех вылечил. И сказка

только выиграла оттого, что обошлась без сусальных ежиков-чижиков-лошадок («не лошадка, а лошада», сам же сочувственно указывал в «От двух до пяти»). И оттого, что в ее состав не вошла история коллективной победы организованной лесной бедноты над большими и страшными угнетателями – причем история, изложенная вялыми, слабыми стихами: «сзади белочки летят и орешками палят», «о да, злодеи, да, да, да, вам не укрыться никуда». В классическом «Айболите» стихи крепкие, звонкие, мгновенно запоминающиеся и лишенные всех этих оперных «о да» и сопливых зверячьих стенаний: «…мы малые, мы слабые, мы тихие зверушки, мы зайчики, мы белочки, мышки и лягушки…»

Остается только догадываться почему, когда у К. И. появилась мысль написать военную сказку, он не начал совершенно новую историю с чистого листа, а решил довести до ума старый текст, когда-то уже отвергнутый. Отчасти потому, что дорожил каждой удачной строчкой: если чем-то из неопубликованного можно было воспользоваться для новой работы – он пользовался. Слишком трудно давались ему эти строчки, чтобы ими разбрасываться. Может быть, он считал, что сказка и так уже достаточно продумана, хорошо сконструирована, основана на правильных принципах, надо только сесть и написать. А может быть, просто не до того ему было в это трудное время – и он пошел по пути наименьшего сопротивления.

Плохо удался даже сюжет сказки. Доктор лечил добрых зверей и отказал злым, из-за этого на мирную Айболитию напала страшная Свирепия, Айболития страдает, дает отпор из последних сил, теряет позиции из-за предательства, изнемогает – и тут вдруг, как *Deus ex machina,* объявляется на самолете Ваня Васильчиков из какой-то загадочной Чудославии, сплошь населенной героями, и чуть не в одиночку расправляется со всем вражеским войском. Маленький читатель полагает, что так и надо: сказка же, почему бы и нет? А читатель взрослый начинает задумываться: а что, собственно, автор имел в виду? Пока были две враждующие стороны – все было понятно, а откуда взялась Чудославия? И что это за аллегории? Айболития – это что, малые страны Европы, а Чудославия – Советский Союз? Или Айболития – СССР, а на помощь приходят союзники? Нехороший какой-то политический смысл… (Критик Заславский, ознакомившись со сказкой, всерьез недоумевал: почему из Чудославии прилетел один Ваня Васильчиков? «Как будто это наша страна, советская. Но в таком разе, почему же она не воюет с Бармалеем? А отождествлять Айболитию с нами неудобно по многим причинам».)

Как бы то ни было, наконец Бармалея одолели и

справедливость восторжествовала так, что даже тошно. У современных читателей сказки этот фрагмент вызывает, пожалуй, тоскливое недоумение и чувство неловкости:

И перед Ваней упал Бармалей:
"Не губи ты меня!
Не руби ты меня!
Пожалей ты меня, пожалей!"

Ваня спросил у зверей, пощадить ли Бармалея, на что они ему сурово ответили, что мародеру и живодеру нет пощады – и заключили: «Ненавистного пирата / Расстрелять из автомата / Немедленно!»

И сразу же в тихое утро осеннее,
В восемь часов в воскресение,
Был приговор приведен в исполнение.

И столько зловонного
Хлынуло яда
Из черного сердца
Убитого гада,
Что даже гиены поганые
И те зашатались, как пьяные,
Упали в траву,
Заболели
И все до одной
Околели!

Похоже, кто-то спросил Чуковского, как при этом не околели добрые звери, потому что глава завершается совсем уже запредельной припиской в скобках:

(А добрые звери
Спаслись от заразы:
Спасли их чудесные
Противогазы.)

В первом варианте Ваня Васильчиков самолично заколол Бармалея штыком.

К. И. читал свою поэму разным детям – в том числе и тем, которых фашисты лишили всего: дома, родителей, братьев и

сестер. Лидия Корнеевна записывала страшные истории этих детей – чего стоит один рассказ девочки о том, как немец бросил в колодец ее грудную сестренку: «У нас что ни двор – во всех колодцах грудняшки валялись». Или история мальчика, которого мама послала во двор – «а потом шипение, грохот, а потом я подбежал – одни камни и черный дым, и нет ни мамы, ни братишек, ни сестренки. Папу я нашел под камнями. Но только у него не было головы и одной руки». Или свидетельство другой девочки, которая спряталась в поле от бомбежки поезда: «Гляжу из-под хлеба – поезд горит и тот вагон, где была мама». Дети, пережившие такое, разумеется, вполне отождествляли сказочного Бармалея с реальным Гитлером, и «расстрелять из автомата» наверняка не казалось им чрезмерной карой – скорее уж, слишком слабой.

Таких чтений было много – не раз и не два Чуковский проверял на детской и подростковой аудитории, как сказка воспринимается, как переживают сказочные события юные слушатели. Вместе с ними придумывал названия глав (с этими названиями поэма и вышла потом в «Пионерской правде»). Одно из таких выступлений – перед читательским активом библиотеки Ташкентского дома пионеров в мае 1942 года – описал Валентин Берестов. Чуковский в этом рассказе уже не тот скорбный и усталый человек, которого мальчик Валя видел в канун нового года, – в читальню входит, отвешивая пылкие комплименты библиотекаршам, «веселый гигант в белой рубахе, с канцелярской папкой под мышкой, беловолосый, розоволицый, большеносый, громогласный. Он кланяется, он машет папкой, ему здесь нравится». Он предлагает собравшимся 13—14-летним подросткам придумать название для новой сказки, и читательский актив, прослушав сказку, наперебой предлагает названия; наконец Чуковский собирается уходить, «убедившись, что все счастливы и совершенно покорены».

Дети воспринимали сказку хорошо (ну разве что литературно одаренный Берестов мимоходом назвал ее «длинной, даже громоздкой» – но тут же заметил: «с легким, радостным финалом»). И в общем-то понятно, почему эта аудитория оказалась такой благодарной. Всем было настолько плохо и трудно, что дети как-то отодвинулись далеко на второй план. Жизнь поставила перед взрослыми такие вопросы, что заботиться о правильном воспитании и развитии детей, о их духовном росте у них просто не было возможности: сил едва хватало (если вообще хватало) на то, чтобы обеспечить безопасность, крышу, еду, лечение. От детей в войну требовалось главное: кушать то, что удалось добыть, не терзать родительское сердце просьбами,

если еды нет, по возможности не болеть, вести себя тихо, не задавать вопросов, на которые нельзя ответить, – и не отвлекать взрослых от их трудного дела. А еще лучше – помогать. Дети Великой Отечественной – неисчерпаемая тема. Здесь и всенародная забота о детях – осиротевших, истощенных, бездомных, раненых, психически травмированных. И раннее взросление. И огромная помощь, которую дети оказывали взрослым, – и на поле, и у станка, и в разведке. Но и колоссальная детская запущенность, безнадзорность, бесприютность.

Конечно, когда к детям приходил настоящий живой писатель, которого те, что постарше, помнили по довоенным книжкам, когда он читал сказки, когда пытался объяснять происходящее на доступном детскому пониманию языке, – разве могли дети не сочувствовать Айболиту, не радоваться подвигу воробушка, сбившего вражеский самолет, не сострадать убитому оленю? Разве могли не приговаривать «так ему и надо», услышав о расстреле Бармалея, – поскольку видели за этим конец войны и справедливый приговор Гитлеру? И радость в последней, девятой части тоже была общая. И только эта часть по-настоящему удалась автору, только она напоминает о прежнем Чуковском:

И вороны над полями
Вдруг запели соловьями.
И ручьи из-под земли
Сладким медом потекли.

Куры стали павами,
Лысые – кудрявыми.
Даже мельница и та
Заплясала у моста.

Рады, рады, рады
Светлые березы,
И на них от радости
Расцветают розы.

Рады, рады, рады
Темные осины
И на них от радости
Зреют апельсины.

И дальше виноград сыплется из облаков, и пряники, и яблоки, и дети едят-едят, три недели едят, и потом сначала—и,

только отъевшись как следует, бегут кататься на салазках по радуге… «Целительная, духоподъемная, нравственная сила общей радости, которая так близка малым детям и большим поэтам!» – говорит об этих строках Берестов.

Радость и пир на весь мир – это нормальная стихия Чуковского, и здесь все как надо: и пляшущая мельница, и катание по радуге, и пряники из облаков, все на своем месте в этом мире, и стихи сразу получились хорошие, и не торчат из них никакие неуместные среди радуги и облаков современные железки. Можно, конечно, считать, что такая неуместность – это неуместность войны как таковой, что она так же чужеродна нормальной жизни, как чужеродны штурмовики и динамит сказочному тексту, – но ведь не менее чужды ему и такие сугубо мирные понятия, как «перевыполнение плана», «социалистическое соревнование» или «фаб-завуч»; и никогда до сих пор Корнею Ивановичу не приходило в голову писать для детей *этим* – безусловно, привычным для них – языком. Правда, он и здесь попытался. В нескольких опубликованных вариантах антивоенной сказки даже в заключительной радостной главе есть и такие приметы современности:

И над дальними колхозами
Громко грянуло «ура».
И глядите: с паровозами
Заплясали трактора:

"Будет-будет нам работа
До седьмого пота".

Потом он эти строки из текста выбросил и правильно сделал.

Неудача сказки заключалась даже не в стремлении автора сочетать несочетаемое. Пожалуй, дело в том, что война до такой степени была чужда всей его натуре, что при одном соприкосновении с этой темой по-настоящему его стихи теряли и силу, и легкость, и особенную свою воздушность и становились натужными, вымученными. Внятно объяснить трех-пятилетнему ребенку, что такое фашизм, – задача практически невыполнимая, это совершенно разные миры и разный язык. На некоторых изданиях сказки, правда, написано «для среднего возраста», а читал свою сказку Чуковский и подросткам, и взрослым, хотя, конечно, все эти зайчики и лягушки – для малышей не старше семи-восьми лет. Но в любом случае – как перевести Бабий Яр и блокаду Ленинграда на язык детской? Как растолковать непостижимый и для взрослого-то сознания ужас человеческой

душе, до недавних пор пребывавшей в уютном мире пряников, цветов, игрушек и зверюшек, – душе, не вполне еще освоившей понятие «смерть»?

Да и сам Чуковский всю жизнь занимался тем, что расширял для взрослеющих людей эту прекрасную Айболитию до всемирного масштаба, добавляя все новые черты и краски к складывающейся картине многообразного и чудесного мира человеческого творчества. Он служил проводником по этому миру, где поэты и сказочники осваивают далекие рубежи фантазии, ученые открывают пути их достижения, вдохновенные инженеры планируют чудо, умные руки рабочих его воплощают ради общего счастья. И в сказках его постоянно рисуются дивные образы волшебной страны, где вдоволь еды, где на березах цветут розы, ребятишки катаются на радуге, летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут, и все едут и смеются, пряники жуют. И «взрослые» его книги и статьи, в сущности, говорят о том, как воспитывать сильных, гармоничных, духовно богатых людей, которые смогут построить такой мир.

Недаром он так по-детски радовался научным открытиям и техническому прогрессу, обдумывал способы воздействия на погоду, восхищался самолетами, стратостатами и полетами в космос – вот как расширились границы его Айболитии, «сказочной страны человечьего счастья», с которой он так долго и ошибочно отождествлял СССР. Эта страна его книг и статей – такое Царство Божие на земле, где все плохое победимо, все трудное преодолимо силой воли, разума и творчества. Должно быть, он надеялся, что человек и от смерти когда-нибудь найдет лекарство. И конечно, те, кто угрожал этому миру, кто пытался его разрушить, уничтожить, подчинить, – те были для Чуковского уэллсовскими инопланетянами, существами страшной, иной, нечеловеческой природы: ошалелые, озверелые гиены, макаки, бегемоты, шакалы…

Чуковский работал над сопротивляющейся сказкой до изнеможения. Переделывал текст. Страшно сомневался, хорошо ли получается, правильно ли он делает. Несколько раз вычеркивал и возвращал обратно первую, мирную часть поэмы – где Айболиту приносят лечить воробья, и светлячок светит в ночи, и доктор сидит на балкончике, как сам Чуковский в Переделкине… «Он то оценивал ее как игрушечную, „слезливый гуманизм“ и писал на полях рукописи „Не надо“, то публично доказывал ее необходимость, ибо нельзя на детей с ходу обрушивать войну, не объяснив, почему она началась, то вновь (так же публично) заявлял, что дети слушают ее „не особенно внимательно“ и потому он вынужден ее отбросить», – пишет

Евгений Ефимов.

Читал Корней Иванович свою поэму не только детям, но и взрослым: другим писателям, эвакуированным в Ташкент, и в Союзе писателей Узбекистана. Прием везде был благожелательный. «Все понимающие люди – Анна Ахматова, Толстой, А. Н. Тихонов, Лежнев – говорят, что это будет лучшая моя сказка», – сообщал К. И. сыну весной. И летом: "Сказка имеет необыкновенный успех (в моем чтении) в частях Красной Армии – но будет ли она иметь успех у Фадеева и К⁰ – не знаю". И Маршаку сообщал: «Я написал лучшую свою сказку».

Возможно, в авторском исполнении сказка выигрывала. Возможно, сыграла свою роль новизна – самым маленьким действительно было очень нужно художественное произведение, объясняющее войну и то, за что Советский Союз в ней сражается. Возможно, казалось, что это художественный прорыв, новый жанр, новое слово в детской литературе. А может быть, писатели просто проявили вежливость. «В начале лета 1942 года, – повествует Ефимов, – Чуковский передал „Сказку“, еще не озаглавленную, для публикации в Ташкентское отделение издательства „Советский писатель“. Уже знакомые с ней А. Н. Толстой, председатель редакционного совета, М. Н. Зозовский, директор, и А. Н. Тихонов, главный редактор, одобрили ее и включили в план выпуска 1942 г. Над рисунками к будущей книге начал работать известный театральный художник Виктор Басов. Сказку приветствовал тогдашний второй секретарь (по идеологии) ЦК компартии Узбекистана Н. А. Ломакин, он распорядился выделить для ее издания хорошую литографскую бумагу. Напечатать сказку выразил желание и республиканский Госиздат. Новая сказка Чуковского, еще до опубликования, стала своего рода ташкентской литературной сенсацией. Никого не смутила негативная внутренняя рецензия влиятельного критика К. Зелинского, усмотревшего в сказке „ложные обертоны и ненужные ассоциации“, пародийное звучание „стихотворного переложения сводок Совинформбюро“, неуместный „плясовой ритм“: „Все это, конечно, выглядит смешно, смягчает в глазах ребенка драматизм войны. Но в данном случае это смягчение не требуется и эта веселость коробит“».

Плясовые ритмы и вправду были – в радостных сводках звериного радио о первых победах, например в заключительной части, где и в самом деле пляшет всё. Но на страницах, где говорится о бомбежках, предательстве, поражении, гибели, – никаких плясок не было.

В июле сказку взяла «Пионерская правда», где она и выходила в нескольких августовских и сентябрьских номерах. Газета

предварительно посоветовалась с комсомольским и партийным руководством: по сообщению Е. Ефимова, она «заручилась устным одобрением сказки у первого секретаря ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлова, заместителя начальника Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) А. А. Лузина и письменным – у ведущего сотрудника „Правды“ Д. И. Заславского».

«Пионерская правда» напечатала сказку, выбросив из нее возглас Айболита: «Ура! Мы идем в наступление», проходивший рефреном через несколько строф. Он и в самом деле звучал издевательски в те дни, когда германские войска продвинулись по территории СССР максимально далеко за всю историю Великой Отечественной. Недаром в ташкентском издании сказки в главе были такие строки, впоследствии тоже вычеркнутые:

И, горько вздыхая,
Седой Айболит
Героям своим
Отдает повеление:
"Ни шагу вперед!
Прекратить наступление!"

Герои вздохнули
И в тяжкой тоске
Назад повернули
К родимой реке.

Сказка писалась, когда положение на фронтах было чрезвычайно тяжелым. Провалилось наступление под Харьковом, советские войска были разбиты и группами выбирались из окружения. Отступление продолжалось – пал героически оборонявшийся Севастополь, угроза нависла над Поволжьем и Северным Кавказом. В июле началась Сталинградская битва.

Внезапное явление спасительного Вани Васильчикова в «Одолеем Бармалея!» – это, пожалуй, сказочный ответ на общие чаяния чуда, которое одно, казалось временами, было способно переломить ход войны. Вроде бы уже была достигнута договоренность об открытии второго фронта, который оттянул бы на себя часть фашистских войск, но ждали этого долго и напрасно, и рассчитывать приходилось только на собственные силы – а сил не хватало! В конце июля Сталин подписал приказ «Ни шагу назад!», создающий штрафбаты для нарушителей дисциплины и заградотряды, которые должны были «расстреливать на месте паникеров и трусов». Казалось, судьба страны держится на волоске.

Сказка увидела свет в дни Сталинградской битвы – в самое трудное время большой войны. И тем, наверное, она и была ценна для детей и взрослых, что давала надежду на победу, не скрывая ни трудностей, ни горя, ни ужаса поражения, через которое прошло войско Айболита, – и виден был свет в конце тоннеля, и вставал рассвет после черных, глухих часов военной ночи.

«Сказка имела большой успех: в редакцию пришли благодарственные письма из разных уголков страны, Чуковский получил приглашения прочитать ее в различных аудиториях; напечатать эту „превосходную вещь“ вознамерился журнал „Огонек“, директор Гослитиздата П. И. Чагин попросил отрывок для подготовлявшейся к 25-летию Октябрьской революции антологии советской поэзии», – рассказывает Евгений Ефимов. Чуковский был недоволен публикацией сказки, которая, как он писал, вышла в «сильно искаженном виде по моей вине и оплошности» – он все-таки решил выбросить из текста первую, мирную часть и «наступление». «Исправленный вариант Чуковский передал на рассмотрение в Детгиз; тогда же познакомил с наиболее существенными отрывками из него главу Союза писателей А. А. Фадеева и начальника УПА ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрова, которые, по его свидетельству, не нашли в сказке „ничего одиозного“», – сообщает Ефимов. Пока все складывалось хорошо.

«Подумай и помоги»

Весной 1942 года все Чуковские уже понимали, что долгое отсутствие вестей от Бориса означает самое худшее. «К сожалению, от Бобы нет вестей, – писал К. И. в феврале Николаю Корнеевичу. – Боюсь, что и не будет». Но мириться с этим пониманием не хотелось. «У меня все же есть упрямая уверенность, что мой Боба не погиб», – говорится в письме Чуковского Маршаку в марте.

Читателям куда меньше известно о Борисе Корнеевиче, чем о его старших брате и сестре: он не был литератором, его переписка с отцом – дело семейное, а не литературное, в дневниках и письмах членов семьи он неизменно присутствует, но редко становится центром внимания. Но и тех немногих сведений, которые можно извлечь из писем и дневников, достаточно, чтобы понимать, каким он был. Наделенный той же литературной одаренностью, что и другие дети Чуковских (чего стоит его превосходная былина о «пружинках», записанная в «Чукоккалу» и приведенная в книге «От двух до пяти»!), он не стал писателем: хотя литературу он любил и понимал, верх

одержала инженерная жилка, которая проявилась еще в детстве, – в дневниках К. И., к примеру, сохранилась история о том, как Боба и его друг вдохновенно возились с изготовлением буера; он что-то мастерил, возился с железками и деревяшками… В дневниках и письмах членов семьи повсюду рассеяны упоминания о поручениях для Бобы и благодарности за помощь – на него всегда можно было положиться. Бобу любили все. «Бориса Корнеевича я хорошо помню, – говорит Елена Цезаревна Чуковская. – О нем все члены семьи всегда вспоминали как о чудесном человеке – мужественном, прямом, надежном. В его честь был назван один из правнуков К. И. – Борис (Боба) Костюков». «Мой младший – мой любимый и прекрасный брат», – писала о нем Лидия Корнеевна Давиду Самойлову.

Писатель Казакевич воевал там же, в ополчении. Бориса Чуковского убили у него на глазах. Самого его контузило – и может быть, только поэтому он уцелел. После войны он рассказывал Чуковскому, как ополченцев поднимали в атаку, вооружив винтовками и патронами, которые к ним не подходили.

В 1962 году Корней Иванович получил очень сердечное письмо от однополчанина Бориса Корнеевича. Тот не слишком многое помнил: служил вместе с Б. К. недолго, вскоре был переведен в другую часть, – но от всей души хотел рассказать все, что сохранила его память об этом милом, «веселом, а вместе с тем и серьезном молодом симпатичном человеке»: ему с другом, тоже инженером-гидротехником, «было поручено восстановить плотину в одной из деревень, где мы сооружали оборонительные укрепления. Они с этой задачей справились успешно. К нам приходили представители общественности деревни и объявили благодарность Вашему сыну и его товарищу». Собственно, рассказчик почти ничего больше и сообщить не мог, и все-таки это была единственная весть о Борисе за два десятилетия. «Поверьте, все, кто соприкасался с ним, а тем более ел из одного котелка, никогда его не забудут», – говорилось в письме. Корней Иванович вклеил его в дневник.

Официальных известий о гибели Бобы семья долго не получала. Корней Иванович продолжал добиваться ясности. В начале марта написал лично заместителю наркома обороны Ефиму Щаденко. В ответ получил телеграмму, что фронтовое командование запрошено, как только будет ответ – сообщат. Наконец выяснилось, что Борис Корнеевич погиб еще в октябре, возвращаясь из разведки, возле деревни Уваровка под Можайском. «Неужели из нас четверых осталось только двое – я и Лида?» – писал Николай Корнеевич в одном из писем.

Потеряв одного сына на фронте, родители страшно

беспокоились о другом. Он оставался в блокадном Ленинграде, о себе сообщал лаконично: «Я здоров, только похудел немного». «Я пробую писать, да времени нет, ничего не получается. И обстановка неподходящая, и мысли не те». «На адрес Марьи Николавны матери Марины Чуковской писать больше не надо – я отправил ее, еле живую, вместе с Ириной второй дочерью к Марине – и теперь туда не хожу». «Имущество мое пропало окончательно – разграбили. Пропала библиотека, пропали твои милые умные письма, которые ты мне писал всю жизнь».

Корней Иванович сообщал сыну, что добивается его перевода в другое место, отпуска, свидания с женой. «Здесь у меня много друзей среди высшего комсостава, они обещали установить с тобой связь». Хлопотал о переводе в Ташкент всего лагеря ленинградских литераторских детей, которым приходилось не слишком сладко под городом Молотовом. Узнав, что у сына застужена нога, написал сразу двум генералам авиации (Н. К. был прикомандирован к летчикам) и главному редактору «Правды» Мехлису; письма получили, когда нога уже прошла, командование пожурило Н. К., что тот не сообщает родным о состоянии своего здоровья, вышло глупо. Писал Маршаку с просьбой похлопотать о Николае.

Письма короткие, всего в них не выскажешь, но видно, что в Ленинграде Николаю Корнеевичу было крайне тяжело. В его весенних письмах из города сквозит отчаянная тоска. «Я хотел бы, чтобы Марина подыскала в Москве или под Москвой для нас какое-нибудь жилье. Здесь я больше не хочу жить. Да и негде». «Ты написал, что хочешь мне помочь. Вероятно, сделать это ты можешь, но не знаешь как. А суть вот в чем. Я работаю на Балтике в газете. Я хотел бы работать в какой-нибудь другой военной фронтовой газете, в другом месте. Здесь мной руководит Пубалт. Мной мог бы руководить и кто-нибудь другой. Решить это может только высшее командование. Подумай и помоги».

Весной Николая Корнеевича перевели служить из города на Ладогу: «Здесь очень хорошо – словно попал на дачу – весна, прелесть, пески – конечно, с дачей кое-какая разница есть, но уж одно то хорошо, что я не в городе».

Наталья Громова («Все в чужое глядят окно») рассказывает: критик Анатолий Тарасенков, служивший вместе с Николаем Чуковским, часто и помногу писал жене Маше Белкиной. Она приходила к Корнею Ивановичу и Марии Борисовне, находившейся «в тяжелом душевном состоянии», с новостями о их сыне: «Николай писал редко, и Чуковские просили сообщать Марию Белкину любые подробности из жизни на Ладоге. Письма с Ленинградского фронта шли очень плохо, а слухи были просто

невероятными. Кто-то в отчаянии говорил, что Ленинград давно занят немцами, – просто от всех скрывают истинное положение вещей, широко обсуждались и случаи каннибализма в голодном городе». Состояние Марии Борисовны, потерявшей второго ребенка, и впрямь было тяжелейшим. «Что касается мамы – конечно, ей очень трудно. Ее тоска по Бобе дошла до физической боли, – писал К. И. Николаю. – Она страшно волнуется о тебе. Много хлопот доставляет ей Женя, которого мы отдали теперь в чудесный детский сад (Совнаркома). Ей очень трудно жить в одной комнате с Лидой и Идой, трудно одолевать большие пространства Ташкента, но держится она молодцом».

Тарасенков сообщал жене в письмах:

24 мая 1942 года: «Передай Чуковскому, что я видел сегодня его сына. Будем с ним встречаться частенько. Сегодня были с ним вместе у наших друзей-летчиков в гостях».

27 мая: «Эти несколько раз встретился с Николаем Чуковским. (Это теперь единственное лит. „общество“.) Он бодр, здоров. Передай это его отцу. Николай жалуется – отец его пишет ходатайства в разные учреждения, чтобы сына отправили к нему в Ташкент, и делает страшно неудобно сыну, ибо ведь все равно все бумаги приходят к непосредственному начальству. Этого старому Корнею, конечно, не передавай».

3 августа: «Вчера вечером встретились с Чуковским. Пошли на берег, выкупались, а потом сидели на плотах у берега и несколько часов подряд читали друг другу стихи Ходасевича, Мандельштама, Блока, Ахматовой…»

25 августа: «О Чуковском. Все, что просят родные, завтра же ему передам… Чуковский очень славный, по-настоящему тонкий культурный человек, бесконечно любящий и понимающий поэзию… Психика его абсолютно здорова – это все заботливые родственники мудрят».

Разумеется, заботливые родственники хотели знать, что происходит с психикой сына, который пережил первую блокадную зиму (хотя, конечно, положение военного журналиста, получающего пусть и скудное довольствие в военной части, нельзя сравнить с положением простого ленинградца с мизерным пайком), который видел умирание города, гибель друзей, уничтожение своего дома. «Психика его абсолютно здорова» – просто после всего увиденного он больше не хотел жить в Ленинграде, куда так рвалась душой Лидия Корнеевна. В каждом письме он просит отца забрать к себе в Москву его жену и детей. Дочь закончила школу, ей нужно поступать в институт. «Марина, Тата, Гуля пропадают, им необходимо попасть в Москву, а я беспомощен сейчас, бессилен, и мне не к кому обратиться, кроме

как к тебе. Ведь у тебя в Москве квартира и дом – неужели их никак нельзя туда устроить. Ну, сделай это ради меня, пока я не уехал вслед за Бобой».

Сын недоумевал, почему родители остаются еще и на лето в двух комнатках в жарком и полуголодном Ташкенте, когда Москва уже почти сыта, там есть работа и жилье. Отец отвечал в июле: «Я подал заявление, что хочу вернуться в Москву. Бомбежки я нисколько не боюсь… Я бы поехал сейчас, но прихворнул – и ослаб. За последние 2 месяца я потерял 22 кило и хочу сперва поправиться чуть-чуть в каком-нибудь доме отдыха. Путевки есть, но не могу оставить маму, которая превратилась почти в инвалида. У нее было что-то вроде слабого удара». На отчаянное письмо с просьбой о помощи ответил телеграммой: «Рвусь домой момента отсутствия вестей Бобы, тормозила Лида, квартира, дом твоем распоряжении». В тот же день, 18 августа, телеграмму отправила и Мария Борисовна: «Папа стационаре, Лиды брюшной тиф, поправляется, приедем домой первой возможности».

А вот письмо Марии Белкиной Тарасенкову, видимо, отправленное в те же дни: «Позвонила мне сегодня М. Б. Чуковская – была у нее, говорила весь вечер. К. И. очень нездоров… и дочь их больна брюшным тифом, из-за этого поездка в Москву откладывается, хотя мать сходит с ума и мечтает узнать что-либо там о погибшем сыне и узнать про Н. К. и его семью».

Евгений Шварц вспоминал, что привез Корнею Ивановичу во время войны письмо Марины Чуковской: «Она узнала случайно, что Коля находится в месте, где газеты нет, где сидит он без работы под огнем, рискуя жизнью без всякой пользы. Она просила Корнея Ивановича срочно через Союз добиваться Колиного перевода». Шварц передал письмо по назначению и вечером увидел К. И. в столовой Дома писателей. «Я спросил Корнея Ивановича о письме, и лицо его исказилось от ненависти. Прищурив один глаз, он возопил своим тенором, обращаясь к сидящему за нашим столом какому-то старику. Забыл – чуть ли не к Гладкову. „Вот они, герои. Мой Николай напел супруге, что находится на волосок от смерти, – и она пишет: 'Спасите его, помогите ему'. А он там в тылу наслаждается жизнью!“» «Вот как ответил Корней Иванович на письмо о первенце, находящемся в смертельной опасности», – резюмирует Шварц.

Но из дневников и переписки ясно: о первенце Чуковский страшно тревожился и беспрестанно хлопотал, рассылая письма во все инстанции: от руководства Союза писателей до командования авиации и флота. Он продолжал добиваться вызова сына в Москву, куда вскоре сам вылетел из Ташкента на восьмиместном бомбардировщике «Дуглас».

Дмитрий Чуковский, сын Николая Корнеевича, рассказывает: лететь К. И. должен был вместе с летчиком Спириным, который долго откладывал вылет, отговариваясь нелетной погодой – а погода была на редкость ясная. Наконец вылетели. В районе Сталинграда самолет подвергся обстрелу – тогда Чуковский понял, насколько реальной была опасность и почему Спирин не хотел лететь по ясному небу. В Москве летчик дал К. И. чей-то телефон – звонить и узнавать, когда можно вылететь обратно.

Приехав домой, Чуковский обнаружил, что в его квартире живут чужие. Беспорядок, пустые бутылки на кухне, грязь, а посреди всего этого молодая баба – деревенская, бестолковая. И на письменном столе хозяина в холодной квартире – новорожденный младенец в мокрых пеленках, неухоженный и грязный. «Вы погубите его!» – закричал Чуковский и стал учить незваную гостью перепеленывать ребенка.

Выяснилось, что в квартиру вселился сотрудник НКВД с новой женой – старую жену бросил с квартирой, сам занял жилье эвакуированных: очень удобно, Лубянка рядом. Вечером явился хозяин в фуражке с голубым околышком, вел себя нагло: у меня есть предписание, имею право. Думая, куда на него пожаловаться, Чуковский вынул данный ему Спириным листочек с телефоном. Номер этот оказал на непрошеного гостя чудесное действие: «Не погуби, отец родной!» – квартиру освободили стремительно. Правда, Чуковский долго еще наводил в ней порядок.

В Москве он главным образом занимался редакционными делами – отдавал в печать сказку, хлопотал о публикации своей книги, книг сына и дочери. И добивался вызова сына, ради свидания с которым приехал. Телеграмма отца о приезде в Москву нашла Николая в Молотове, куда его отпустили на свидание к жене; говорить о втором отпуске подряд было почти невозможно. В конце сентября К. И. писал дочери: «Коля едет сюда. Я добился этого с неимоверным трудом. Теперь предстоит добиться его оставления в Москве. Удастся ли? Я устал до последнего изнеможения».

Лидия Либединская встретила К. И. в один из этих дней в Центральном доме литераторов; он увел ее с собой в пустую, затхлую квартиру, куда не хотел возвращаться один. Прибрали, открыли окна. Гостья варит на кухне ташкентский рис, в комнате опускают маскировочные шторы… Чуковский достает с полок книги, листает – словно здоровается, пишет Либединская.

А затем хозяин вдруг устроил гостье экзамен на знание литературы! – в каком году родился Некрасов? а Толстой? – и говорил, что «литературу надо любить по-умному». И ставил в пример Тынянова, и велел прочитать письма Тургенева, а на

следующий день познакомил ее с Вильгельмом Левиком, и Левик читал свои переводы из Ронсара… «Как передать ощущение чуда, охватившее нас, когда в военной Москве, где плыли за окнами безмолвные аэростаты, а улицы и площади топорщились противотанковыми ежами, вдруг зазвучали великолепные стихи о вечности и любви!» – пишет Либединская.

А затем все трое поехали в Переделкино, где стояла воинская часть. Чуковский разволновался, понесся по аллее огромными скачками, напевая: «Вот лягушка по дорожке скачет, вытянувши ножки» – и подзадоривал: «Ну, молодежь, можете так?» Оба гостя вспоминали еще, что он забрал из библиотеки часть старых книг – Левик пишет, подарил ему английских поэтов: у меня, мол, они ничего не делают, а вы приведете их в русскую литературу. В один из этих сентябрьских дней он долго рассказывал Либединской о Блоке, вспоминая их совместный приезд в Москву незадолго до смерти поэта, – и «говорил с такой любовью и болью, словно хотел вложить в мою душу эту свою любовь и свою боль. И вложил. На всю жизнь вложил».

Наконец до Москвы добрался Николай Корнеевич, отец и сын встретились. «Счастлив до слез, что повидался с тобой – и что ты такой», – набросано в записке, оставленной где-то в доме торопящимся Корнеем Ивановичем.

Переезд семьи в Москву и общий сбор были решены отцом и сыном, осталось их подготовить – но уже 20 октября Чуковский пишет сыну из Ташкента: «Женя болен скарлатиной. У мамы аритмия сердца. Оба лежат».

Тем временем отступление прекратилось. Ход войны переломился, советские войска окружили немецкую группировку под Сталинградом.

«Ура! мы идем в наступление!»

Изменение положения на фронтах немедленно сказалось и на внутреннем политическом климате: былая растерянность ушла, и власть, временно отпустившая рычаги управления культурой, схватилась за них с новой энергией.

«Приехав в конце октября в Ташкент, Чуковский обнаружил, что книга, об издании которой „в ближайшее время“ сообщалось еще в августе, даже не уходила в производство, – рассказывает Евгений Ефимов. – Это обстоятельство, которое он объяснял задержкой рисунков В. Басовым, имело роковые последствия. Если в 1942 г. для выпуска книги достаточно было разрешения местных властей (и оно уже было), то с начала 1943 г. утверждение всех планов и книг (тем более публикуемых отделениями центральных издательств) взяло на себя непосредственно УПА ЦК ВКП(б)».

В Москву Корней Иванович и Мария Борисовна выехали только в январе, и тут Корнею Ивановичу пришлось начинать хлопоты о публикации сказки с самого начала. Заново начались и привычные уже хлопоты о вызове сына в Москву, об устройстве на новом месте его семьи, приезжающей из эвакуации.

«Сказка моя печататься не будет…»

За недолгое время отсутствия Чуковского в Москве с его сказкой, которая готовилась к печати в Детгизе, произошло что-то непонятное: ее больше никто не называл антифашистской и «превосходной» – напротив, стали именовать вредной. Борьба за ее опубликование обернулась такой же унизительной, мутной, мучительной позиционной войной, как и борьба за публикацию сказок в памятные времена изничтожения «чуковщины».

«Прежние положительные отзывы о сказке потеряли всякую силу; Чуковскому запретили читать ее по радио; Детгиз уже без недомолвок отверг ее, как политически двусмысленную, полную вредных параллелей, намеков, карикатур на любимых вождей, опошляющую борьбу советского народа», – пишет Ефимов. Сказку еще продолжали готовить к печати на периферии – в Ташкенте, в Армении, в Пензе, – однако в верхах участь ее уже была решена.

Некоторый свет на природу постигшей сказку опалы проливают опубликованные недавно воспоминания Валерия Кирпотина (впрочем, не слишком внятные и достоверные): он полагает, что причиной разноса сказки стали дошедшие до слуха Сталина сплетни. Одна – уже известная нам: Чуковский-де отговаривал Репина возвращаться в Россию. А вторая – такая потрясающе нелепая, что стоит привести ее целиком:

"Рассказывали также: Чуковский во время Первой мировой войны посетил Англию. В делегации был и Алексей Толстой. Их принимал король Георг V. Там Чуковский познакомился с премьер-министром Австралии Фишером. Чуковский сумел понравиться премьер-министру, и Фишер пригласил его с собой – посетить Австралию. Поколебавшись, Чуковский якобы сказал:

– Если бы я поехал, я бы уже не вернулся бы в Россию. Кто же возвращается в страну, где произошла революция?"

Стоит ли напоминать, что в Англии Корней Иванович был в 1916 году?

По словам Кирпотина, дело еще и в том, что «Чуковский принадлежал к переделкинской элите и потому счел само собой разумеющимся, что он должен получить Сталинскую премию за новую сказку. Он поговорил с кем надо, и детская секция, и Президиум ССП выдвинули ее в рекомендованный список…

Сталинские премии присуждались в итоге лично Сталиным. Узнав, что Чуковский выдвинут, вождь рассердился. Он дал соответствующий сигнал, и сказочника всенародно начали топтать за ремесленную сказку, но не по литературным причинам, а по политическим: за то, что так отзывался о революции, за то, что отговаривал Репина вернуться в Россию».

Оставим на совести Кирпотина предоположения о том, как Чуковский добивался Сталинской премии: если чего и добивался он в это время, то не премии, а просто опубликования сказки в должном виде. Однако, судя по всему, личное участие Сталина в судьбе этого произведения несомненно. И Кирпотин, один из главных литературных функционеров в те времена и один из составителей антологии советской поэзии, для которого была отобрана сказка «Одолеем Бармалея!», безусловно, мог об этом знать.

В его воспоминаниях, опубликованных в 1997 году «Литературной газетой», говорилось, что (цитируется по комментарию Ефимова к сказке) «антологию по выходе из печати (очевидно, в феврале-марте 1943 г.) прочитал И. В. Сталин и велел выкинуть из нее несколько стихотворений разных авторов, в том числе и отрывок из последней части „Одолеем Бармалея“… Книга была уничтожена, вместо нее вышел „Сборник стихов“, где выброшенные стихи Чуковского были заменены сказками „Краденое солнце“ и „Муха-Цокотуха“».

С этого момента издательства, где Чуковский уже десять лет считался классиком, стали разговаривать с ним так же грубо и неприязненно, как и в памятные времена гонений на сказку. К. И., правда, пока полагал, что это случайность, признаков надвигающейся травли еще не видел и полагал, что ситуацию вполне возможно переломить к лучшему. "Сказка моя в Детгизе печататься *будет",* – кратко сообщал он дочери в Ташкент в феврале 1943 года. Дневниковая запись от 10 марта рассказывает о телефонном звонке из Детгиза: «К. И., я должна вам сообщить, что мы получили указание не издавать вашей сказки». 11 марта приехал из Ташкента председатель Союза писателей Узбекистана Хамид Алимджан – и Чуковский заносит в дневник паническую мысль: «Едет на фронт! К Рокоссовскому! Значит, узнает, что Бармалей запрещен! Значит, Бармалей и в Узбекистане не выйдет. Решил идти к Тарле – за советом».

1 апреля Чуковский пишет дочери в Ташкент: «Вообще, что с моей сказкой?» В конце апреля он читал свое полузапретное произведение в больших аудиториях: в зале Чайковского и Доме архитектора. 15 мая, судя по дневниковой записи, пришла телеграмма из Ташкента: «Печатание сказки приостановлено.

Примите меры. Тихонов».

21 мая в Детгизе устроили обсуждение сказки, где участвовали литературные критики и сотрудники Наркомпроса. «После этого „обсуждения“ оскорбленный Чуковский решился на открытое объяснение с властями: он пожаловался в отдел печати УПА на учиненную над ним расправу, возмутительное бесчинство наследников РАППа и ГУСа (в черновике письма даже потребовал расстрелять себя, если все выдвинутые против него обвинения действительны) и впрямую спросил: кто и почему хочет отнять у детей его новую, антифашистскую сказку?» – пишет Евгений Ефимов.

Видя, что дело приняло нешуточный оборот, Корней Иванович решил заручиться поддержкой литераторов. 2 июня он сообщал сыну: "Видел вчера Шолохова, читал ему свою сказку. Сказку он одобрил, подписал бумагу в Детгиз с требованием напечатать ее. Подписал и Толстой. Подпишут и Федин, и Фадеев, и Зощенко, и Слонимский, и, кажется, даже Асеев. Результатов это иметь не будет. Тогда я плюну. *Basta cosi*".[14] В дневнике он записывал в этот день: «Маршак вновь открылся предо мною, как великий лицемер и лукавец. Дело идет не о том, чтобы расхвалить мою сказку, а о том, чтобы защитить ее от подлых интриг Детгиза. Но он стал „откровенно и дружески“, „из любви ко мне“ утверждать, что сказка вышла у меня неудачная, что лучше мне не печатать ее, и не подписал бумаги, которую подписали Толстой и Шолохов. Сказка действительно слабовата, но ведь речь шла о солидарности моего товарища со мною».

Должно быть, Маршаку сказка не понравилась совсем. И письмо он, скорее всего, не подписал именно поэтому. Удивительно не то, что он не подписал письма, – это как раз понятно; удивительно, что он один пытался отговорить К. И. от публикации злополучной сказки! Совещание президиума, впрочем, прошло благоприятно. «Не пришли обещавшие прийти Федин и Зощенко. Таким образом из членов президиума были только Асеев и Анна Караваева. Хорош бы я был, если бы вчера не получил подписей Толстого и Шолохова!» – писал Чуковский в дневнике. За сказку высказались все, даже Асеев, сказавший: «Что ж, прекрасная сказка!» Г. Ф. Александров, глава Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), сказку разрешил. «Так зачем же злые вороны очи выклевали мне?» – возмущался в дневнике Чуковский.

После этого сказка вышла сначала в Ереване, затем в Ташкенте; сигнальный экземпляр К. И. получил оттуда в июле, но по-настоящему она увидела свет в сентябре, причем двумя изданиями подряд. Книгой автор остался недоволен: насчитал в

ней больше сорока опечаток. Евгений Ефимов комментирует: «В объяснительной записке редактор книги А. Н. Тихонов оправдывался тем, что автор так много и часто правил текст, что издательство и художник не поспевали за ним, да и не всегда знали об этих поправках, что невозможно было переделывать рисунки, переведенные на литографский камень». В августе и декабре сказка вышла в Пензе, причем в декабре – в подарочном варианте, том самом, который показался Кирпотину «роскошным для военных лет». К. И. был недоволен всем: бумагой, опечатками, самим собой. Ташкентское и пензенское (неподарочное) издания действительно отличаются плохой бумагой и неудачными иллюстрациями, в ташкентской книжке еще и шрифт подслеповатый. Чуковский продолжал сокращать сказку, переделывать, пытался даже переименовать – и угнаться за его правками ни одно издательство в самом деле не успевало.

Социально опасные дети

17 мая 1943 года в Общий сектор ЦК ВКП(б) поступило письмо Чуковского, адресованное Сталину. Письмо это было опубликовано безо всяких комментариев журналом «Источник» в 1997 году, затем очень выборочно процитировано и весьма своеобразно прокомментировано Вадимом Кожиновым и Леоном Балаяном. С их подачи это письмо в усеченном виде разошлось по российскому Интернету и продолжает кочевать из одного «живого журнала» в другой, собирая обильный урожай комментариев о кровожадности Чуковского и его ненависти к детям. Никто из распространяющих и комментирующих письмо даже не пытается найти первоисточник, хотя он вполне доступен.

Так что придется процитировать это большое послание целиком.

> "Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
>
> После долгих колебаний я наконец-то решился написать Вам это письмо. Его тема – советские дети.
>
> Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что в огромном своем большинстве они благородны и мужественны. Уже одно движение тимуровцев, подобного которому не существует нигде на земле, является великим триумфом всей нашей воспитательной системы.
>
> Но именно потому, что я всей душой восхищаюсь невиданной в истории сплоченностью и нравственной силой наших детей, я считаю своим долгом советского

писателя сказать Вам, что в условиях военного времени образовалась обширная группа детей, моральное разложение которых внушает мне большую тревогу.

Хуже всего то, что эти разложившиеся дети являются опасной заразой для своих товарищей по школе. Между тем школьные коллективы далеко не всегда имеют возможность избавиться от этих социально опасных детей.

Около месяца назад в Машковом переулке у меня на глазах был задержан карманный вор. Его привели в 66-е отделение милиции, и там оказалось, что этот вор-профессионал, прошедший уголовную выучку, до сих пор как ни в чем не бывало учится в 613-й школе.

Он учится в школе, хотя милиции отлично известно, что он не только вор, но и насильник: еще недавно он ударил стулом по голове свою мать за то, что она не купила ему какой-то еды. Фамилия этого школьника Шагай. Я беседовал о нем с директором 613-й школы В. Н. Скрипиченко, и она сообщила мне, что он уже четвертый год находится во втором классе, попрошайничает, ворует, не хочет учиться, но она бессильна исключить его, так как РайОНО возражает против его исключения.

Я не осмелился бы писать Вам об этом случае, если бы он был единичным. Но, к сожалению, мне известно большое количество школ, где имеются социально опасные дети, которых необходимо оттуда изъять, чтобы не губить остальных.

Вот, например, 135-я школа Советского района. Школа неплохая. Большинство ее учеников – нравственно здоровые дети. Но в классе 3 «В» есть четверка – Валя Царицын, Юра Хромов, Миша Шаковцев, Апрелов, – представляющая резкий контраст со всем остальным коллективом. Самый безобидный из них Юра Хромов (с обманчивой наружностью тихони и паиньки) принес недавно в класс украденную им женскую сумочку.

В протоколах 83-го отделения милиции ученики этой школы фигурируют много раз. Сережа Королев, ученик 1 класса «В», занимался карманными кражами в кинотеатре «Новости дня». Алеша Саликов, ученик 2-го класса «А», украл у кого-то продуктовые карточки. И т. д. и т. д.

Стоит провести один час в детской комнате любого

отделения милиции, чтобы убедиться, как мало эффективны те меры, которые находятся в распоряжении милицейских сержантов, – большей частью комсомолок 17-летнего возраста.

Комсомолки работают очень старательно, с большим педагогическим тактом, но вряд ли хоть один вор перестал воровать оттого, что ему в милиции прочитал наставление благородный и красноречивый сержант.

Особенно меня смущают проявления детской жестокости, которые я наблюдаю все чаще.

В Ташкентском зоологическом саду я видел 10-летних мальчишек, которые бросали пригоршни пыли в глаза обезьянкам, чтобы обезьянки ослепли. И одна из них действительно ослепла. Мне рассказывали достоверные люди о школьниках, которые во время детского спектакля, воспользовавшись темнотою зрительного зала, стали стрелять из рогаток в актеров, – так что спектакль пришлось отменить.

Но как бы я ни возмущался проступками этих детей, я никогда не забываю, что в основе своей большинство из них – талантливые, смышленые, подлинно-советские дети, которых нельзя не любить.

Они временно сбились с пути, но еще не поздно вернуть их к полезной созидательной работе.

Для их перевоспитания необходимо раньше всего основать возможно больше трудколоний с суровым военным режимом типа колонии Антона Макаренко.

Режим в этих колониях должен быть гораздо более строг, чем в ремесленных училищах. Основное занятие колоний – земледельческий труд.

Во главе каждой колонии нужно поставить военного. Для управления трудколониями должно быть создано особое ведомство – нечто вроде Наркомата Безнадзорных детей. В качестве педагогов должны быть привлечены лучшие мастера этого дела, в том числе бывшие воспитанники колонии Макаренко.

При наличии этих колоний можно произвести тщательную чистку каждой школы: изъять оттуда всех социально опасных детей и тем спасти от заразы основные кадры учащихся. А хулиганов – в колонии, чтобы по прошествии определенного срока сделать из них добросовестных, дисциплинированных и трудолюбивых советских людей!

Может быть, мой проект непрактичен. Дело не в

проекте, а в том, чтобы сигнализировать Вам об опасности морального загнивания, которая грозит нашим детям в тяжелых условиях войны.

Прежде чем я позволил себе обратиться к Вам с этим письмом, я обращался в разные инстанции, но решительно ничего не добился. Зная, как близко к сердцу принимаете Вы судьбы детей и подростков, я не сомневаюсь, что Вы, при всех Ваших титанически-огромных трудах, незамедлительно примете мудрые меры для коренного разрешения этой грозной проблемы.

С глубоким почитанием писатель К. ЧУКОВСКИЙ".

Интересно, что письмо цитировали и комментировали литераторы с довольно одинаковой и ярко выраженной общественной позицией; Чуковский для них – не более чем повод для разговора об общей аморальности и непоследовательности людей «оттепели», о мудрости и человечности вождя народов, в том числе на фоне «людоеда» Чуковского. Леон Балаян, например, пишет, что письмо К. И. «поражает своей черствостью, жестокостью и бездушием»; что "Чуковский впоследствии стал активным «человеком оттепели» и убежденным антисталинистом только потому, что И. В. Сталин *не посчитал нужным ответить на его страшное в своей бесчеловечности письмо"* (выделено автором).

Вадим Кожинов в своем труде «Россия: век XX» убеждает читателя:

«Во многих нынешних сочинениях о сталинских временах с предельным негодованием говорится о том, что имел место указ, допускавший изоляцию „социально опасных“ детей, начиная с 12-летнего возраста. Но „друг детей“ Чуковский не мог примириться с тем, что на свободе остаются „социально опасные“ первоклассники – то есть 7—8-летние!.. Цитируемое послание лишний раз свидетельствует, что разграничение людей 1930—1940-х годов на „сталинских опричников“ и „гуманных интеллигентов“ не столь легко провести. Ведь Сталин не оправдал выраженных в письме надежд Чуковского, не предпринял предложенных „мер“ по созданию детского ГУЛАГа… Ясно, что для сочинения подобного письма необходимо было вытравить в себе духовные основы русской литературы. И Чуковского, и других авторов этого круга нельзя считать русскими писателями; речь может идти о „революционных“, „интернациональных“, в конце концов, „нигилистических“, но только не о писателях, порожденных тысячелетней Россией».

Любопытна в этих построениях разве что преднамеренная

выборочность цитирования: из большого письма оба автора выбирают несколько фактов, обструганных до полной стерильности: Сережа Королев совершал карманные кражи в кинотеатре; в переулке был задержан карманный вор, фамилия его Шагай, он продолжает учиться в школе; дети стреляли из рогатки в артистов; дети кидали песком в обезьянок. Отсюда сразу переход к лагерям: надо провести чистку школ, изъять этих социально опасных школьников, занять принудительным трудом, всех в лагеря, под начало военных! Доверчивый читатель недоумевает: в самом деле, неужели этот кошмарный текст написал добрый дедушка Корней? Да он, простите, Бармалей какой-то: хочет детей посылать в ГУЛаг за обычные шалости!

Надо заметить, что текст письма – нервный, взволнованный, наверняка десять раз исправленный и переписанный – и в самом деле малоудачен. Примеры детской жестокости на сегодняшний взгляд кажутся неубедительными; имена-фамилии, записанные с журналистской дотошностью, хорошо смотрелись бы на страницах газеты, но в письме вождю выглядят едва ли не доносом пожилого писателя на нехороших мальчишек; идея «лагерей» в сознании сегодняшнего человека пробуждает только одну ассоциацию – и странно, пожалуй, что она не пробудилась в сознании Чуковского, регулярно отправлявшего в упомянутые лагеря посылки друзьям и знакомым… Не слишком хорошее впечатление производят и невообразимые у Чуковского газетные штампы: моральное разложение, социально опасные… И вместе с тем письмо заслуживает внимания, потому что поднимает серьезную и важную проблему.

Сорок третий год. Только что наметился перелом в войне, завоеванный неимоверными усилиями, с колоссальными человеческими и материальными потерями. Выиграна Сталинградская битва, едва-едва начали отвоевывать сданные врагу территории. Взрослые сражаются на фронте и на износ работают в тылу. Многие «талантливые, смышленые, подлинно-советские дети, которых нельзя не любить» оказались совершенно заброшенными, предоставленными сами себе. Осиротевшие, беспризорные или отбившиеся от рук, они стали неуправляемыми: матери заняты; школа и «благородные сержанты» семнадцати лет (а где было взять других? старшие, которые могли бы иметь больше влияния на детей, ушли на войну) не имели в их глазах ровно никакого авторитета. И, конечно, Чуковскому страшно было видеть, что в стране, из последних сил противостоящей фашизму, вызревает и множится тот самый человеческий тип, который только что привел мир к небывалой катастрофе. (В дневнике запись за 5 марта 1943 года:

«На улице столкновение с 11-летним бандитом».)

Ребенок, оставаясь без целенаправленного внимания взрослого, дичает. Как бы ни противно было словосочетание «моральное разложение», суть процесса оно описывает точно: все, что ребенку успели внушить о нравственных основах поведения, без постоянной подпитки и закрепления нетвердо усвоенных навыков ветшает, разваливается, разлагается; остается первобытный человек, дикарь, биологическое существо, руководимое биологическими законами, – и ничуть не менее страшное оттого, что это еще детеныш. Детеныш, не знающий этических норм, даже страшнее взрослого – оттого, что ты распространяешь на него законы гуманизма и милосердия, а он на тебя нет. Взрослые часто оказываются беспомощны перед расчеловеченным ребенком – обнаруживается, что у них нет реальных рычагов воздействия на него. Недаром всплеск послевоенного бандитизма многие связывали не только с амнистией уголовников после смерти Сталина, но и в первую очередь с безотцовщиной, с массовым уходом в криминальный мир повзрослевших детей войны, которых истерзанное репрессиями и мировой бойней общество не смогло воспитать и сделать нормальными гражданами.

Письмо Чуковского Сталину было продиктовано именно тем, что на третьем году войны писатель стал замечать быстро увеличивающееся число детей, начисто лишенных элементарных этических представлений: нельзя брать чужое, нельзя сознательно причинять боль живому существу (а ведь заповеди «не убий» и «не укради» лежат в основе практически любого этического кодекса в любой культуре). Особенно больно Чуковскому видеть, что дети получают удовольствие от своей жестокости: обратите внимание на ключевые, специально выпущенные при выборочном цитировании фразы: «чтобы они ослепли»; «одна обезьянка ослепла». Все-таки сознательно ослепить живое существо – совсем не то, что кидаться из шалости песком.

Дети на глазах превращаются в самый страшный человеческий тип – в современного дикаря, в городского хищника, живущего по законам стаи: кто сильный – тот и прав, лох – законная жертва, сумочка – законная добыча. Здесь уже беспомощны культура и искусство, которые Чуковский всегда считал главным воспитательным средством: они все-таки должны ложиться на подготовленную почву, а здесь – голый камень. Одичавший ребенок не приемлет культуру, ему не нужны книги, он может воспринимать только примитив. Приведи его в театр – он стреляет в актеров из рогатки (несмешно; тот, в кого стреляли из рогатки, знает, как это больно). Сознательная жестокость,

ощущение безнаказанности, невосприимчивость к культуре, равнодушие к общечеловеческим этическим нормам – все это неотъемлемые признаки фашизма, в схватке с которым изнемогает страна, – и потому особенно страшно видеть, что такими растут ее дети. Страшно наблюдать, во что превращается детский коллектив под влиянием такого ребенка. Можно, конечно, придерживаться идиллического взгляда на «детские шалости» (мол, все мальчишки шалят, что ж их за это – в тюрьму?), но любой педагог, долго работающий с детьми, на собственном опыте знает, насколько тяжелое положение создается в классе, где есть хотя бы один-два подобных ребенка, и понимает, каких чудовищных проявлений может достигать детская жестокость.

Чаще всего это и не вина таких детей, а их беда: их никто не научил быть другими. В любом случае, их надо срочно спасать, возвращать к людям, «к полезной созидательной работе». Их нужно выводить из животного состояния, пробуждать в них человеческие души, возвышать до звания человека. Нужен комплекс мер, который нынче называют социальной реабилитацией. И надо хорошо понимать смысл предложения Чуковского – не изолировать «неисправимых» в концлагерях в качестве наказания, а применить к сбившимся с пути детям накопленный к этому моменту уникальный опыт социальной реабилитации. В том, что общество может с этим справиться, Чуковский не сомневался. Он лично знал Алексея Пантелеева, прошедшего путь от профессионального вора до профессионального писателя; он был хорошо знаком с опытом Антона Макаренко и возглавляемой им колонии имени Дзержинского; он видел реальную возможность вернуть детям человеческий облик.

Надо понимать и то, что жуткие эти «лагеря», «трудколонии», «военные» не обросли еще толстым слоем обертонов, которые мы сейчас воспринимаем в первую очередь. И «военные» в 1943 году совсем не те, что в 1990-х, и понятие «колония» не утратило еще (как и слово «пионер») своего первопоселенческого, первооткрывательского пафоса трудовой жизни на земле, не срослось еще намертво с представлением о зоне для «малолеток». И слово «исправительный» не потеряло окончательно своего первоначального смысла, не превратилось в «тюремный». Говоря о колонии, Чуковский имел в виду построенную на гуманистических принципах макаренковскую систему; под лагерями понимал не ГУЛаг с овчарками и колючей проволокой, а место, где дети учатся жить и трудиться по человеческим законам – при строгой дисциплине, под руководством

высокопрофессиональных воспитателей.

Однако, может быть, и хорошо, что Сталин ему не внял. Почему не внял – кто знает? Примерно в это время, если верить Кирпотину, как раз происходила история с изъятием сказки «Одолеем Бармалея!» из сборника вследствие слуха о нелояльности Чуковского советской власти; может быть, поэтому. Может быть, и не до того было Сталину: у него только что погиб в немецком концлагере сын Яков. Можно задуматься о положении на фронтах и выстроить еще несколько беспочвенных догадок. Хорошо, что не внял, – потому что работа над преображением изначально гуманных слов, понятий, идей, инициатив в бесчеловечно-страшные к этому времени шла полным ходом уже несколько лет. Предлагать системе любые гуманистические идеи было опасно (лучший образ, пожалуй, нашли Стругацкие в «Трудно быть богом»: отец Кабани изобрел машину для мирной перемолки мяса в фарш, а власть стала молоть в ней еретиков). «Что бы мы ни делали – получается НКВД», – обмолвился однажды Путин. Страшно подумать, во что превратилась бы мысль Чуковского, возьми адресат письма ее на вооружение.

Впрочем, возможно, система как-то отреагировала на это письмо: легкий его след обнаруживается в воспоминаниях лингвиста Эрика Ханпиры, который общался с Корнеем Ивановичем в 1960-е годы: «Он рассказал про свое письмо в одну высокую инстанцию, посвященное воспитанию детей. Это было во время войны. Корнея Ивановича пригласили к официальному лицу. Пригласивший сначала подробно изложил меры, долженствующие улучшить воспитание детей и подростков, а после неофициальным тоном произнес: „Корней Иванович, моему сыну шестнадцатый год. Как мне его воспитывать?“»

По разным данным, в СССР в годы войны было около 600 тысяч сирот и около 700 тысяч беспризорных детей (другие оценки говорят о миллионах). Цифры эти обычно приводятся для сравнения с нынешним положением дел в стране, где сирот и беспризорников оказалось больше, чем в годы войны. И обеспокоенность тем, что в эпоху тотальной утраты фундаментальных этических ценностей дети быстро расчеловечиваются, сейчас высказывают самые разные люди, от священников до писателей. И предложения по исправлению ситуации иногда звучат на удивление похожие на то, что высказал Чуковский в письме Сталину. Вот, например, фрагмент из недавнего интервью детского писателя, председателя Детского фонда Альберта Лиханова «Комсомольской правде». «Сегодняшним беспризорникам, увы, не нужны чистая постель, школа, воспитатели, лечение, – считает Лиханов. – Потому что

эти дети или токсикоманы, или наркоманы. Теперешнему беспризорничеству нужна система типа макаренковской – слегка военизированная, слегка „призакрытая“, под эгидой военного ведомства или ведомства Шойгу».

В июле 1943 года К. И. поехал на свою дачу в Переделкине. В этот или один из предыдущих приездов он совершил «политическое преступление», о котором вспомнил в 1967 году. В углу комнаты Чуковского солдаты, стоявшие на даче, бросили, уходя на фронт, книгу Сталина «Вопросы ленинизма». Было экземпляров 60, контора городка писателей не взяла этих книг, тогда Чуковский побросал их ночью в ров в лесу и засыпал глиной.

Похожая участь постигла и куда более драгоценные тома, хранившиеся в переделкинском доме. «С невыразимым ужасом увидел, что вся моя библиотека разграблена», – писал он в дневнике 24 июля. Снова, как в двадцатые годы на куоккальской даче, – книги, письма, рукописи «составляют наст на полу, по которому ходят». А дальше – еще хуже: "Уже уезжая, я увидел в лесу костер. Меня потянуло к детям, которые сидели у костра. – Постойте, куда же вы? Но они разбежались. Я подошел и увидел: горят английские книги и между прочим любимая моя американская детская «Think of it»[15] и номера «Детской литературы». И я подумал, какой это гротеск, что *дети,* те, которым я отдал столько любви, жгут у меня на глазах те книги, которыми я хотел служить бы им". "Недавно видел *своими глазами,* как мальчишки в Переделкине жгли в нашем лесу мою библиотеку – письма ко мне Луначарского, – английские редкие книги XVII века, Стерна и Свифта – Некрасова – и даже не огорчился", – писал он в тот же день сыну.

Не жалко любимых книг. Не жалко имущества. Их утрата – не самая горькая из потерь последних лет. Что делать детскому писателю в мире, где дети жгут книги, – вот что непонятно.

«Как побили – так салют!»

Чуковский начал писать о Чехове и погрузился в эту работу с головой. Весной, когда издание сказки было под угрозой, писал Лидии Корнеевне: «Я так захвачен работой о Чехове, что совсем не думаю о сказке, и мне неприятно, что сказка выходит. Из этого я вижу, что по природе я – критик, а совсем не детский писатель». Сыну сообщал летом 1943-го: «О Чехове пишу упрямо и радостно. Только бы дожить, чтобы кончить!» И в следующем письме: "Я полон *необыкновенной* энергии (очевидно, перед самым концом!), – хожу каждый вечер в Публичную библиотеку – и сам себе завидую, так хорошо и санаторно там".

В Москву приехала бездомная семья Николая Корнеевича – Марина, беременная третьим ребенком, и дети, Тата и Гулька. К. И. занялся хлопотами о предоставлении сыну отдельной квартиры, и хлопоты эти оказались, как обычно, долгими и трудными. Все семейство пока поселилось у Чуковских-старших (с ними, кстати, продолжал жить внук Женя). В начале сентября К. И. писал сыну: «Раньше всего выбрось из головы, что твоя семья стесняет нас. Напротив. Я рад, что ближе узнал и Тату, и Колю, и Марину. Все это – первоклассный человеческий материал, и быть с ними в общении приятно. Мама иногда нервничает, но не вообще, а по разным конкретным случаям. Но ведь, живя под одной крышей, нельзя иногда не понервничать». В одном из следующих писем вновь: «Когда две женщины – в такое трудное время – находятся в одной квартире у одной плиты – нельзя ожидать, что все у них будет гладко и стройно»; говорится о «мелких вспышках» Марии Борисовны, ее усталости, тоске по Бобе, заботе о Лидиных делах…

Лидия Корнеевна с дочерью вернулись из Ташкента в ноябре, тоже бездомные и тоже в Москву: хотя их квартира в Ленинграде и не пострадала от бомбежки, за право жить в родном городе предстояло бороться. Поселились тоже у Корнея Ивановича и Марии Борисовны. Чуковский вновь оказался в роли патриарха, главы большого рода.

Настроение в обществе резко переменилось: перелом в войне был закреплен летней победой на Курской дуге, в сентябре форсировали Днепр, в ноябре освободили Киев. По вечерам в Москве гремели салюты в честь изгнания оккупантов из советских городов. «Вечерние салюты необыкновенно красивы. Гулька и Женя неотрывно глядят на них». "Москва прекрасна, поэтична, салюты радуют нас как детей. Москву чистят, украшают, мостят, а кое-где и отстраивают. Вести с фронта *необыкновенны",* –

говорится в письмах К. И. Николаю Корнеевичу. В январе была снята блокада Ленинграда, и Лидия Корнеевна сразу задумалась о возвращении в любимый город.

Сказка «Одолеем Бармалея!» была благополучно опубликована, у Николая Корнеевича вышла повесть «Девять братьев», довольно хорошо принятая критикой и читателями, у Лидии Корнеевны литературные дела шли хуже: книги буксовали в печати. В декабре 1943-го умер давно страдавший рассеянным склерозом Тынянов – один из немногих оставшихся друзей К. И.

Положение на фронтах становилось лучше, положение в литературе – хуже. Недолгое время творческой свободы кончилось. Горький свежий воздух первых военных лет сменился новым удушьем. Начались новые персональные дела литераторов.

Казалось, история с запрещением сказки Чуковского осталась позади, однако в конце зимы 1943/44 года над писателем неожиданно снова собрались тучи. В соседнем подъезде дома на Тверской, где жили Чуковские, обитал художник Васильев, автор картины «Ленин и Сталин в Разливе» (на доме и сейчас есть мемориальная доска: «Здесь жил Павел Васильев»). Он зашел к К. И. по какому-то делу. На столе лежала газета с репродукцией этой картины – ее часто печатали в газетах. Чуковский спросил, зачем Васильев рисует рядом с Лениным Сталина, хотя все знают, что в Разливе Ленин скрывался у Зиновьева. Васильев обиделся. И очень скоро донес о состоявшемся разговоре в ЦК ВКП(б) Щербакову.

"Это мне понятно, – писал Чуковский в дневнике по горячим следам, – человек с навязчивой идеей предстал впервые перед тем, к кому стремился все эти годы, – обалдел – и человек патологически обидчивый, свое подозрение, свою обиду, свою уязвленность излил как сущее. Гнуснее он был *после доноса.* Вернувшись от Щербакова, он заявил мне, что он покончит жизнь самоубийством, что он не может жить с таким пятном, что он сейчас же заявит т. Щ-ву о своей лжи. Потом начал врать, путаться, притворяться то глухим, то мертвецки пьяным…" Щербаков очень скоро вызвал Чуковского к себе в Кремль. «Топая ногами, ругал меня матерно, – вспоминал Чуковский много лет спустя. – Это потрясло меня. Я и не знал, что при каком бы то ни было строе всякая малограмотная сволочь имеет право кричать на седого писателя».

Последствия не заставили себя ждать. Уже 1 марта 1944 года в «Правде» появилась статья П. Юдина с характерным для той эпохи названием «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского». Надо заметить, что само это словосочетание «пошлая и вредная» – отнюдь не изобретение Юдина. К этому времени в печати уже

существовало несколько таких устоявшихся ругательных определений, которые обязательно состояли из двух прилагательных с союзом «и». Газеты конца сороковых пестрят этими двучленами: «вредная и безыдейная», «халтурная и вредная книжка», «безыдейная и пошлая», «путаная и безграмотная книга». Как правило, кончаются такие статьи оргвыводом о деятельности редакции: «Остается недоумевать, как этого не поняли редакторы солидного литературного журнала, поспешившие напечатать это пошлое и вредное произведение» (это в «Литературке» 1943 года о повести Зощенко «Перед восходом солнца»); «Не понимает редакция своих обязанностей, популяризуя безыдейные, пошлые сочинения отдельных литераторов» (это Борис Лавренев об «Огоньке» в 1946-м).

Павел Юдин, глава Объединения государственных издательств РСФСР, директор Института философии АН СССР – это было орудие весьма крупного калибра. Он обвинял Чуковского в том, что при перенесении социальных явлений в животный мир у него получилась только пошлость и чепуха, «причем чепуха политически вредная». Юдин заканчивал статью так: «„Военная сказка“ К. Чуковского характеризует автора как человека, или не понимающего долг писателя в Отечественной войне, или сознательно опошляющего великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма». И, естественно, оргвывод: «Ташкентское издательство сделало ошибку, выпустив плохую и вредную книжку К. Чуковского».

После такой статьи сезон охоты на писателя уже считался открытым. 4 марта эстафету приняла газета «Литература и искусство», где писатель Сергей Бородин (автор вышедшего перед самой войной популярного и премированного романа о Дмитрии Донском, гонитель Мандельштама в 1933 году – тогда он еще подписывался «Амир Саргиджан») доказывал, что Чуковский «осквернил и опоганил» великую тему. Статья называлась «Быль и зоология». «Зоологии» Чуковского автор противопоставлял «Быль для детей» Сергея Михалкова (Михалков только что стал автором нового государственного гимна, и литературная табель о рангах немедленно подверглась пересмотру).

«Быль для детей» до сих пор пользуется популярностью на школьных утренниках ко Дню Победы: стихи легко запоминаются, их просто разбить на кусочки для «пионерского монтажа». Много десятилетий подряд школьники страны учили к празднику наизусть:

Нет, сказали мы фашистам,
Не потерпит наш народ,

Чтобы русский хлеб душистый
Назывался словом «брот».

Интересно, что автор воспользовался тем же самым четырехстопным хореем, который мы уже видели у Чуковского, но его-то никто не укорял за плясовые ритмы. В поэме Михалкова нет ужаса бомбежек, нет горечи предательства, нет отчаяния отступления, нет ощущения той неимоверной цены, которой оплачена победа, – нет всего того, что придает настоящую ценность сказке Чуковского, где – невзирая на явную неудачу с «зоологией» – есть ощущение прорыва, катарсиса, настоящей победы. В михалковской «Были» гладкий стих знай себе несется вскачь:

Дни бежали и недели,
Шел войне не первый год.
Показал себя на деле
Богатырский наш народ.

Не расскажешь даже в сказке,
Ни словами, ни пером,
Как с врагов летели каски
Под Москвой и под Орлом.

Это очень политически правильный текст: здесь есть все, что надо, – и национальная гордость, и советский интернационализм, и память о победах дедов и отцов, и руководящая роль партии («И от моря и до моря поднялись большевики»), по строфе на каждый идеологически важный компонент: упомянуть партизан, не забыть тружеников тыла… а бои – так про это не расскажешь ни словами, ни пером, зачем и утруждаться:

Не опишешь в этой были
Всех боев, какие были.
Немцев били там и тут,
Как побили – так салют!

Текст сам себя датирует сорок четвертым годом: немца гонят на запад, гремят салюты, литературу больше не мучат экзистенциальные вопросы, зато крепнет ослабнувшее было партийное руководство. Один из доносов, подготовленных НКВД (о нем речь пойдет ниже), сохранил сказанные в этом году слова

Ильи Эренбурга: «Нам придали большое значение и за нами бдительно следят. Вряд ли сейчас возможна правдивая литература, она вся построена в стиле салютов, а правда – это кровь и слезы».

В 1944-м не увидела света уже подготовленная к печати книга детских рассказов о войне, собранных Лидией Чуковской. «Книжка очень пессимистична. Она отражает настроения 1941 года», – сказали Корнею Ивановичу при заключении договора. В книге были кровь и слезы, а салютов не было. Дело пытались поправить более оптимистичными рисунками, которые очень не нравились Л. К., но и это не помогло.

В русской словесности началось восстановление рухнувшего было мертвого порядка: писателям, хлебнувшим правды, следовало напомнить, кто в доме хозяин. Нужно припугнуть кого-нибудь для острастки – и в писательский быт опять возвращаются поиски вредителей и многочасовые собрания с обсуждением и осуждением. Критики готовят политические обвинения, которые станут поводом для расправы. «Пошлые выверты К. Чуковского возбуждают чувство отвращения, они вызывают недоуменный вопрос: что же такое его „поэма“ – плод чудовищного недомыслия или сознательный пасквиль на великий подвиг нашего народа, карикатура на участников войны, прикрытая формой детской сказки?» – вопрошал в своей статье Бородин.

Чуковский, уже привычный к гонениям, заранее знает, чем кончаются процессы, которые начинаются с подобных вопросов: отлучением от литературы, отказом в публикации статей, уничтожением тиражей готовых книг и рассыпанным набором тех, что должны быть напечатаны. Замалчиванием имени в печати. Запретом на профессию. Безденежьем. А оказаться без дела и денег ему сейчас никак нельзя. В декабре 1943 года родился новый внук Митя, семья сына с тремя детьми еще толком не устроена, дочь с ребенком находится в подвешенном состоянии между Москвой и Ленинградом, на иждивении у К. И. больная жена и внук Женя… Он – глава семьи, патриарх, он сильный человек, он привык помогать детям и внукам и быть им опорой. Но теперь его положение оказалось чрезвычайно шатким: прозвучавшие обвинения могли кончиться не только изгнанием из литературы. «Сознательный пасквиль на великий подвиг нашего народа» и «сознательно опошляющий великие задачи» – это уже тянуло на уголовную статью. Чуковский совершенно утратил душевное равновесие. «Я никогда, пожалуй, не видела его таким невменяемым, как сейчас», – записала в дневнике Лидия Корнеевна.

«Единственным возможным и естественным в ту пору

выходом из создавшегося положения, когда на кону оказались не просто судьба отдельной сказки, а весь многолетний труд, писательская и гражданская репутация, самая жизнь, наконец… было покаяние, – пишет Евгений Ефимов. – 13 марта Чуковский отправил письмо „В редакцию газеты ‘Правда'“, в котором признал, что его сказка „оказалась объективно плохой“, но при этом решительно отверг всякое предположение о том, что он мог „сознательно опошлить великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма“… Письмо напечатано не было, его копию редактор „Правды“ П. Н. Поспелов переправил в УПА, Г. Ф. Александрову, а тот, в свою очередь, новые копии – И. В. Сталину, А. С. Щербакову и Г. М. Маленкову».

Возможно, покаяние здесь – не самый подходящий выбор слова. Покаяние – признание грехов; в советском понимании – политических ошибок, а не творческой неудачи. Чуковский политические ошибки и злой умысел отрицал. Творческую неудачу признавал – но ведь, положа руку на сердце, в том, что сказка объективно хороша, он и не был уверен. Здесь имело место не вынужденное покаяние, как в 1929 году, а обыкновенная самозащита.

Но и письмо его не спасло. Уже 18 марта (согласно дневниковой записи Валерия Кирпотина) состоялось заседание Президиума Союза советских писателей. "Поливанов, Юдин, Сейфуллина, Барто, Финк, Тихонов – все с удивительным единодушием говорили о политической опытности, расчетливости Чуковского и его двоедушии.

Катаев: Ваша сказка «Одолеем Бармалея» – дрянь!"

В 1966 году, вспоминая события 1944-го, Кирпотин записывал: "Был созван специальный Президиум Союза писателей, и Фадеев в большом докладе разносил «Бармалея» по всем направлениям. Чуковскому было сказано много слов, совершенно лишних, и о нем самом и о его поэме. Критика вышла за пределы необходимого и возможного, и – выдвижение (гипотетическое выдвижение на Сталинскую премию, о котором говорилось выше. – *И. Л.)* было взято назад".

Стало ясно: Чуковский – официальная жертва. Одна из немногих, но не единственная. Одни знакомые утешали К. И. тем, что за одного битого двух небитых дают, другие переставали здороваться при встрече. Редакции предсказуемо начали отказываться публиковать уже принятые работы. В июне К. И. писал в дневнике: «После ударов, которые мне нанесены из-за моей сказки, – на меня посыпались сотни других – шесть месяцев считалось, что „Искусство“ печатает мою книгу о Репине, и вдруг дней пять назад – печатать не будем – Вы измельчили образ

Репина!!! Я перенес эту муку, уверенный, что у меня есть Чехов. Но оказалось, что рукопись моего Чехова попала в руки к румяному Ермилову, который, фабрикуя о Чехове юбилейную брошюру, обокрал меня… Если бы я умел пить, то я бы запил. Так как пить я не умею, я читаю без разбора, что придется».

К. И. много выступал в это лето с лекциями о Чехове (по поводу сорокалетия со дня смерти) и с воспоминаниями о Репине (по поводу столетнего юбилея). 29 июня он записывал в дневнике, что на его лекцию о Чехове в Доме ученых не пришел никто из приглашенных им друзей, кроме Бориса Збарского (ученый, который бальзамировал тело Ленина). 17 августа в ужасе записал, что прибежал на выступление в зале Чайковского в шлепанцах и без носков, так что директор зала одолжил ему свои носки…

Лето принесло хорошие новости исторического масштаба: фашистов изгнали со всей территории СССР. И плохие семейные новости: Лидия Корнеевна пыталась вернуться в Ленинград, однако столкнулась с противодействием Большого дома. Ее друзей начали таскать на допросы, выясняя, зачем она вернулась; квартиру не возвращали под предлогом того, что Л. К. не эвакуированная, а сама переехала в Москву еще до войны… Стало ясно: жить в родном городе ей не позволят. Стало ясно и то, что никакой новой свободы не предвидится; что у власти те же палачи, что и в годы репрессий. Лидии Корнеевне пришлось обустраиваться в Москве, которую она никогда не любила. Из Ленинграда она писала отцу: "Тут многие о тебе спрашивают, и отношение такое, как *до,* – и по существу, и по форме. 10 раз в день мне говорят: «Ну, у Вас-то все выйдет, ведь стоит Вам назвать свою фамилию»". Однако не случайно в письме стоит это курсивное *«до»:* теперь, *после* Чуковский уже ошельмован, и фамилия ничем не поможет; просто в медленно возвращающемся к жизни Ленинграде еще жили старыми понятиями.

Все, на что не хватало сил в дни отступления и сбора сил для отпора врагу, – шпионаж, поиски внутреннего врага, закручивание гаек в области культуры – все возобновилось уже к концу 1943 года. Уже тогда «в докладной за подписью начальника управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрова, его заместителя А, А. Лузина и заведующего отделом художественной литературы А. М. Еголина прозвучала идея „принятия специального решения ЦК ВКП(б) о литературно-художественных журналах“», – писал Денис Бабиченко в статье «Жданов, Маленков и дело ленинградских журналов» (Вопросы литературы. 1993. № 3).

В следующие месяцы было подвергнуто уничтожающей критике несколько произведений разных авторов, некоторые

книги запрещены. Запретили сборник Асеева «Годы грома», причем Асеева, как и Чуковского, вызывали в ЦК и объясняли, что его книга вредная. Вызывали в ЦК ВКП(б) и Сельвинского, стихам которого посвятили специальное постановление Секретариата ЦК. Зощенко поносили за повесть «Перед восходом солнца», Федина – за книгу «Горький среди нас», якобы искажающую облик великого писателя. Отдельно травили Довженко – за «националистическую» киноповесть «Украина в огне». «2 декабря 1943 года секретариат ЦК принял закрытое постановление „О контроле над литературно-художественными журналами“, обвинив управление пропаганды и агитации ЦК в „слабом контроле“ за выпускаемой в стране литературой», – пишет Бабиченко. В феврале 1944 года на IX пленуме Союза писателей Фадеева отправили в отставку с поста председателя правления союза, а «вредных» писателей публично раскритиковали. В августе отдельного разноса удостоился журнал «Знамя».

В 1992 году журнал «Родина» опубликовал «Информацию наркома государственной безопасности СССР В. Н. Меркулова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову о политических настроениях и высказываниях писателей». Политические настроения и высказывания зафиксированы подробно, обильно – и, кажется, со стенографической точностью. Доклад—точнее, донос – датирован 31 октября 1944 года и посвящен реакции литературной среды на «общественное обсуждение и критику политически вредных произведений писателей Сельвинского, Асеева, Зощенко, Довженко, Чуковского и Федина». Агентура доносила, что критика эта вызвала «резкую, в основном враждебную, реакцию со стороны указанных лиц».

В агентурных донесениях отмечались мрачные настроения литературных деятелей: «Сейчас невыносимо душно стало» (Голубов). «Вся литература у нас – литература казенная». «Почва не та. Не плодородная, не родящая почва» (Асеев). «Советская литература сейчас представляет жалкое зрелище. В литературе господствует шаблон», «все по указке, по заданию, под давлением» (Зощенко). «Современные писатели превратились в патефоны. Пластинки, изготовленные на потребу дня, крутятся на этих патефонах, и все они хрипят совершенно одинаково» (Федин). «На особое улучшение (в смысле свободы творчества) после войны для себя я не надеюсь, так как видел тех людей, которые направляют искусство, и мне ясно, что они могут и захотят направлять только искусство сугубой простоты» (Сельвинский). «Вырождение литературы дошло до предела» (Кассиль). «Я не могу и не хочу быть участником прикладной литературы, а только такая литература сейчас легальна»,

«бедственно положение писателя, очевидца и участника грандиозных событий, у которого, тем не менее, запечатан рот, и он не может высказать об этих событиях своей писательской правды» (Гладков).

Писатели бранили практику партийного управления литературой, тупость и ограниченность людей, поставленных ею управлять. Резче всего высказался поэт Шпанов, автор «вредной» пьесы «Медальон»: «Литературой управляют кретины». Писатели и поэты говорили о желании руководства сделать из литературы «аракчеевские поселения» (Уткин), «подсобное хозяйство в политике» (Гладков). Даже верноподданный критик Лежнев сердился: «Произносятся патетические речи на собраниях, писателей зовут писать, но ведь над этими речами смеются, потому что знают – в ЦК всякое свежее слово задержат. В результате люди устают от битья, перестают писать и разлагаются. В этом я вижу главную причину того, что наша литература не развивается. Она и не может развиваться в этом узком круге, который ее душит. Люди боятся писать, потому что их могут „проработать“».

Писатель Лидин страстно говорил о малочисленности пишущих, о том, что нужно беречь этот «крохотный золотой фонд» – а вместо этого им распоряжаются бездарно: «А сколько за годы войны выведено писателей из строя, сколько совершено моральных убийств! Я не говорю о Чуковском, за которым, возможно, водятся политические грехи. Но вот Зощенко, написавший одну плохую повесть… Достаточная ли это причина, чтобы человеку переломить хребет, похоронить его морально, ославить на весь мир?.. Нет, литературу у нас не любят. С писателями обращаются как с принципиальными врагами или поденщиками, казня их лютой казнью за всякую вольную или невольную ошибку».

А вот Эренбург, что интересно, политических грехов за Чуковским не видел – «другое дело Асеев, он написал во время войны антивоенные вещи, и ему за это влетело». Но в проработках, которым подверглись коллеги, он ясно различал «административный произвол» и возмущался тем, что одна статья в «Правде» или «Большевике» (именно «Большевик» бранил Зощенко) перекрывает писателю дорогу к публикации, – «и это ставит писателей в страшное положение общественного остракизма без видимой вины». Шкловский говорил: «Проработки, запугивания, запрещения так приелись, что уже перестали запугивать, и люди по молчаливому уговору решили не обращать внимания, не реагировать и не участвовать в этом спектакле. От ударов все настолько притупилось, что уже не

чувствительны к ударам. И, в конце концов, чего бояться? Хуже того положения, в котором очутилась литература, уже не будет». И он, и Уткин упоминали, что после Асеева, Зощенко, Чуковского, Сельвинского – попытка уничтожить Федина уже не состоялась, всем просто надоело.

Обширная часть доклада наркома посвящена Чуковскому. Запись агентов удалась: со страниц доноса звучит живой, сердитый тенор писателя.

"Положение в советской литературе Чуковский определяет с враждебных позиций: «…В литературе хотят навести порядок. В ЦК прямо признаются, что им ясно положение во всех областях жизни, кроме литературы. Нас, писателей, хотят заставить нести службу, как и всех остальных людей. Для этого назначен тупой и ограниченный человек, фельдфебель Поликарпов. Он и будет наводить порядок, взыскивать, ругать и т. д. Тихонов будет чисто декоративной фигурой… В журналах и издательствах царят пустота и мрак. Ни одна рукопись не может быть принята самостоятельно. Все идет на утверждение в ЦК, и поэтому редакции превратились в мертвые, чисто регистрационные инстанции. Происходит страшнейшая централизация литературы, ее приспособление к задачам советской империи».

«В демократических странах, опирающихся на свободную волю народа, естественно, свободно расцветают искусства. Меня не удивляет то, что сейчас произошло со мной. Что такое деспотизм? Это воля одного человека, передоверенная приближенным. Одному из приближенных я не понравился. Я живу в антидемократической стране, в стране деспотизма, и поэтому должен быть готовым ко всему, что несет деспотия».

«По причинам, о которых я уже говорил, т. е. в условиях деспотической власти, русская литература заглохла и почти погибла. Минувший праздник Чехова, в котором я, неожиданно для себя, принимал самое активное участие, красноречиво показал, какая пропасть лежит между литературой досоветской и литературой наших дней. Тогда художник работал во всю меру своего таланта, теперь он работает, насилуя и унижая свой талант. Зависимость теперешней печати привела к молчанию талантов и визгу приспособленцев – позору нашей литературной деятельности перед лицом всего цивилизованного мира… Всей душой желаю гибели Гитлера и крушения его бредовых идей. С падением нацистской деспотии мир демократии встанет лицом к лицу с советской деспотией. Будем ждать…»

Узнав о том, что в журнале «Новый мир» не пойдут его «Воспоминания о Репине», Чуковский возмущенно заявил: «Я испытываю садистическое удовольствие, слушая, как редакции

изворачиваются передо мной, сообщая, почему не идут мои статьи. За последнее время мне вернули в разных местах 11 принятых, набранных или уже заверстанных статей. Это – коллекция, которую я буду хранить. Когда будет хорошая погода, коллекция эта пригодится как живой памятник изощренной травли… Писатель Корней Чуковский под бойкотом… Всюду ложь, издевательство и гнусность»".

Интересно, что в докладе была сделана попытка посмотреть и на перспективу: писатели говорили о том, что нужно переждать, пересидеть «реакцию, которая разлилась по всей стране», дождаться времени, когда «придут демобилизованные с новой мерой вещей» (Асеев), когда «после войны литературная обстановка изменится» (Зощенко), когда «все эти люди, которым сейчас Управление пропаганды ЦК доверило руководство литературой и печатью, будут сметены, – следа от них не останется». Писатели верили: этим чиновникам «придут на смену новые люди, талантливые, смелые, понимающие, политически твердые» (Эрлих), «народ в массе своей, при открытых дверях за границу, станет культурным», а «чиновники будут изгнаны с командных постов» (Гладков – правда, он осторожно считал, что это случится лет через 20–30).

Пожалуй, донос зафиксировал свойственные последним месяцам войны надежды и иллюзии, очень родственные тем, что общество испытывало в войну 1812 года, – надежды на пробуждение самосознания в народе, на большую открытость, на приобщение к мировой культуре, на либерализацию, на крушение деспотизма… Разумеется, власть (в том числе и из подобных доносов) знала об этих надеждах и готовила новый заморозок.

Последняя сказка

"Новый год встретил с М. Б. – много говорили, – писал К. И. в начале 1945-го. – Она вся измученная и отношением с Лидой, и бедностью, и бессонницей, и мрачными мыслями. Мне легче. Я каждое утро оболваниваю себя переводом Шекспира *(Love's Labours Lost)*[16] – уже перевел почти весь IV акт рифмованными стихами – так что мое утро свободно от углубления в печали, неудачи и боли. Ей же очень трудно".

Война близится к концу. Осенью 1944-го достигнуто перемирие с Румынией, заключено соглашение с Финляндией, советские войска вошли в Болгарию, Словакию, Венгрию. Зимой подписан договор с Францией, освобождена Польша, состоялась Ялтинская конференция. Весной – бои в Чехии, Югославии, Австрии. Встреча на Эльбе. Впереди Берлин.

Чуковский снова скрылся в захлестывающих его волнах истории: дневниковых записей почти нет, писем мало, газеты и журналы его не печатают. Книг в 1945 году тоже вышло мало: «Репин: из воспоминаний» и два-три переиздания старых сказок. Ни колоссальные события эпохи – знамя над рейхстагом, капитуляция Германии, Парад Победы, ни смерть давно ему знакомых Алексея Толстого, Демьяна Бедного, Викентия Вересаева не оставили в его дневниках никакого следа. О чем он писал, о чем думал, чем жил в эти дни? Пожалуй, как и все – бурной весной, близкой победой, общей пронзительной и горькой радостью.

Поэт и переводчица Елена Благинина вспоминала: «Помню, уже после Победы я шла от площади Дзержинского вниз по Кузнецкому мосту – домой. И вдруг увидела Корнея Ивановича – он шел навстречу. Он шел в страшном одиночестве среди толпы. Глаза его, как бы налитые свинцом, глядели не глядя – куда-то вперед, руки засунуты в карманы, спина сгорблена – весь отрешенный и весь страдание. Я не окликнула его…»

В июле 1945 года Чуковские переехали из города на дачу. 6 июля К. И. записал в дневник: «Начал писать сказку о Карагоне – последнюю сказку моей жизни». Позднее он зачеркнул «Карагоне» и вписал сверху «Бибигоне». Сказка о Бибигоне действительно стала последней. Ее многие считают неудачей К. И. Например, М. Строганов – о его исследовании речь пойдет ниже – так и пишет: «Сказка эта не принадлежит к числу лучших произведений Чуковского для детей». «Бибигон» наполовину написан прозой – как будто автору дыхания не хватило на стихи. В нем уже нет фирменного Чуковского «кинематографа», вихревого, сумасшедшего танца… Наконец, он может и просто не нравиться.

Но главные стихотворные открытия были уже сделаны в ранних сказках, и штамповать однажды найденное Чуковскому, пожалуй, уже было скучно. Он, кажется, поставил перед собой другую задачу – дать детям нового героя. Герой этот придуман удачно: он крохотный, так что дети могут любить его и жалеть; он храбрый, так что дети могут им восхищаться; он не лишен забавных недостатков, так что есть над чем посмеяться (хотя К. И., читая детям эту сказку, обращал внимание на то, что дети игнорируют комическую сторону и обращают внимание на героическую, – так что Бибигон по мере того, как автор правил сказку, становился все больше героем и все меньше комиком).

Сказка эта – совершенно мирная и счастливая. На ней никак не отразилась отгремевшая война – разве что есть упоминание, что Бибигон промчался по двору в жестянке, как в танке. Все приключения происходят в уютном дачном мире, населенном

стрекозами, улитками, воронами, белками, курицами, лягушками, утятами. На даче живет автор со своими внучками Татой и Леной, которые сделали Бибигону кукольный домик и шьют ему камзолы и треуголки. Внучки очень убедительные – визжат от радости, плачут от тоски и тревоги, глядя на Луну, куда улетел Бибигон, так, что «от слез их бинокли промокли», спасают Бибигона, когда он попадает в дурацкое положение… И неважно, что настоящие внучки уже были совсем большие: в 1945-м Тате исполнилось 20 лет, а Лене 14, маленькими были мальчишки, младшие внуки (а может быть, это воспоминание о довоенном лете 1939 года, когда – по свидетельству Таты, Натальи Николаевны Костюковой – и был вместе с внуками придуман Бибигон). Это вневременной дачный мир с его вечными лужами, где кишат головастики, с пауками и мышатами. Этот мир всегда населен дедами и внуками, полон незаметных маленьких чудес (мышата играют в футбол!) и страшных шепотных тайн («Вот погляди, стоит Федот и гонит жабу от ворот, а между тем еще весной она была его женой»). И носитель самого ужасного зла здесь – индюк (надутый Брундуляк-Бранделяк из незапамятного детства Чуковского).

Первое мирное лето. Лето – его любимое время, самое живое, самое полное волшебства. «Чудесно. Люша приладила новый гамак», – пишет он в дневнике. На самом деле он умеет быть счастливым. «Легкомыслие – главное мое спасение», – записал он в дневнике чуть позже. Без спасительного легкомыслия – его давно бы задушила атмосфера, утянули на дно обиды, иссушили бы все эти постановления и докладные записки в ЦК партии. А он оставляет это все за дверью, садится за стол, впускает в открытое окно шорохи, тени, ветер – и пишет что-то волшебно-необязательное:

Катит, катит кибиточка,
И прямо на крыльцо
Веселая улиточка
Бросает письмецо.

И сами собой придумываются чернильное Черное море и лунный «чудесный сад, где звезды, словно виноград, такими гроздьями висят, что поневоле на ходу нет-нет да и сорвешь звезду», и полеты на стрекозе, и скачки верхом на утенке, и споры с петухом под лопухом, и сидение на одуванчике, как на маленьком диванчике. И прелестная лунная сестра с неземным именем Цинцинелла… Цинциннеллу Чуковский то выбрасывал из текста, то возвращал обратно; а ведь после опустошительной войны всей стране так хотелось мира, сказки, уюта, бальных

платьев – всего того, что война надолго отменила; недаром самым любимым послевоенным фильмом стала чудесная, радостная, нарядная «Золушка» – и, уж конечно, все читательницы «Бибигона» сразу захотели нарисовать Цинцинеллу в принцессном одеянии.

«Бибигон» – это первая в советской послевоенной литературе попытка разговора с детьми на почти забытом, нормальном мирном языке. В детскую жизнь возвращаются гамаки, шитье крохотных нарядов из шелковых лоскутков, битвы на игрушечных мечах, чай с медом, стрельба горохом, пляски в лужах. А потом зима и елки в Колонном зале, и в Доме пионеров, и детский театр, и обычное, уютное, легкомысленное детство. И Чуковский готов вести малышню по этому миру, открывать его вечные радости – и вместе ими наслаждаться.

Дети немедленно поняли и оценили.

Елена Благинина, летом 1945 года отдыхавшая в переделкинском Доме творчества, ходила вместе с К. И. в туберкулезный детский санаторий: «Там я могла оценить всю мощь его обаяния, всю артистичность, которой он прямо-таки блистал в общении с детьми. – Они тянулись к нему из кроваток, трогали края его одежды, очарованно глядели ему вслед».

То же очарованное обожание досталось и герою Чуковского.

Первую часть своей новой сказки автор уже летом прочитал по Всесоюзному радио – и в редакцию хлынул вал детских писем, адресованных лично Бибигону. Дети нимало не сомневались в его существовании. Делились с ним своими заботами. Присылали подарки, заливая маленького человечка волнами нерастраченной, щедрой, безоглядной детской любви. Письма с подарками прибывали и в Переделкино.

К. И. рассказывал в журнале «Семья и школа»: «Нина Мельникова прислала ему Бибигону вязаный теплый костюм – очень нарядную куртку и отлично сшитые штаны, которые не без труда я мог натянуть на два пальца». «Восьмилетняя Наташа Орловская сшила для его сестры платье из белого платка. А Боря Сальников прислал ему в самодельном конверте мяч из конфектной бумаги». Бибигона наперебой звали в гости, предлагали подарить ему щенят, рыбок, соловья, белочку, сотни котят, слали в письмах стихи, поздравляли с праздником Октября. Один докладывал об успехах в изучении французского, другой жаловался, что сломал ногу, третий рассказывал про свои коньки или коллекцию открыток.

В сентябре Лев Кассиль вписал в «Чукоккалу» длинное ироническое стихотворение о Бибигоне с такой речью Чуковского:

Как вам понравился мой Бибигон?
Оригинален он иль эпигон?
Что вы скажете о Цинцинелле?
Нет ли тут в сказке какой параллели?
Новый путь?.. Или та же аллея,
Где казнили мово Бармалея?
Но я верю, о верю, за мной Рубикон!
Бибигон! Бибигон!
Бибигон! Бибигон!
Ах, когда б Детиздат
За него дал деньжат,
Я б купил для внучат
И цыплят и зайчат,
Мармелад, шоколад…
И хоть мой Бибигон
И большой хулиган,
Но купил бы флакон
Я духов «Убиган»
И отдал бы их Марье Борисовне!

В октябре К. И. записывал в дневнике: «Вчера – в Колонном зале. Ужас. Жду 10 часов: будет ли передаваться „Бибигон“? Боюсь, что не будет».

В ноябре сказку начал печатать журнал «Мурзилка» и печатал крохотными кусочками до середины следующего года. В начале 1946 года Чуковский опубликовал часть детских писем Бибигону в журнале «Семья и школа», затем начал готовить большую выставку в Политехническом музее, где решил выставить детские письма, рисунки, подарки Бибигону: не для того, чтобы похвастаться той лавиной любви, которая обрушилась на его персонажа, а для того, чтобы показать взрослым, какими удивительными – взрослыми, нежными, умелыми, тонко чувствующими выросли дети войны.

«Не забудем, какие дети и в какую эпоху написали нам эти тысячи писем», – подчеркивал К. И., цитируя детские послания.

«Мой отец был командир танкового взвода, – пишет, например, Слава Шлыков. – Он был награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалью „За отвагу“ и посмертно орденом Ленина».

«Милый Бибигон! У меня нет папы. Он погиб героем в боях за Харьков. И мне неоткуда ждать писем, и я решила написать вам» – это Нина Сдвигова из деревни Коротково Орехово-Зуевского района.

«Если тебе понравится у меня, будешь у меня жить. Не бойся, тебя здесь никто обижать не будет. Папа тебя покатает в самолете. Я спрятала для тебя плитку шоколада», – пишет Галочка Соцкая.

Чуковский замечал: «Видно, что война не прошла бесследно, что и семья, и школа сыграли большую роль за время войны в моральном воспитании детей». И рассказывал: дети восхищаются прежде всего храбростью Бибигона; видят в нем «воевателя», освободителя заколдованных людей от коварного Брундуляка; дети обещают Бибигону защищать своих сестер, как он защищает свою Цинцинеллу. Чуковский радовался тому, что дети стали учтивы, пишут лучше, чем в прежние годы, и делают меньше ошибок. Огорчают его, как всегда, штампы вроде «Жду ответа, как соловей лета» во многих детских письмах.

И вот еще что он замечает: дети с удовольствием, с азартом ученых расспрашивают Бибигона о Луне: «А лунатики там на луне – не кусаются?» Интересуются, есть ли там школы, кино, театры, люди, – и безо всякой романтики просят рассказать о природе, географии Луны и т. п. Один жалуется: я бы тоже полетел, да мама не пустит. Другие даже не сомневаются, что полетят. «И можно не сомневаться, что их желание исполнится, что чуть только через 10 или 11 лет людям предоставится случай побывать на Луне – эти бесстрашные дети „воевателей“ первые долетят до Луны». Интересно, что здесь его пророчество оказалось почти безупречным: хотя до Луны первыми не долетели, но именно через 11 лет был сделан первый шаг в космос – запущен спутник; и первым поколением космонавтов действительно стали ровесники его корреспондентов, дети «воевателей».

Между тем отношения со взрослыми складывались вовсе не так безоблачно. «Заглянем в одну из обзорных докладных о состоянии художественной литературы, которую А. Еголин 3 августа 1945 года подготовил для Г. Маленкова в связи с обсуждением работы издательства „Советский писатель“ на оргбюро ЦК, – пишет Денис Бабиченко. – В ней – знакомые имена: Асеев, Зощенко, Сельвинский, К. Чуковский, которые „усугубляли и без того тяжелые переживания советских людей“ в годы войны».

У взрослых Чуковский по-прежнему числится вредителем. Дневниковые записи К. И. за начало 1946 года далеки от оптимизма. Он говорит о своем «великом предсмертном кануне». Пишет о «тоске и полном упадке сил». Его снова изводит бессонница, и лекарства не помогают. В апреле он жалуется в дневнике: "Вчера М. Б. привезла моего Григория Толстого, побывавшего в редакции Лит. наследства. Исковеркано до последней степени. Редакторы не оставили живого места, причем

выправляли главным образом *слог*. Всякая живая мысль объявлена *«фельетонной»"*. (Очерк о Григории Толстом впоследствии вошел в сборник «Люди и книги шестидесятых годов».) Очередной виток спирали – и опять повторяется одно и то же. Опять отлучение от литературы, как на рубеже 1920—1930-х. Опять обвинения в фельетонности, как на рубеже 1900—1910-х. Опять реакция. Опять удушье. Как страшно и скучно наблюдать заход времени на новый виток!

М. В. Строганов в своем исследовании «К. Чуковский и С. Михалков в литературной полемике» рассказал о любопытном факте, которого Чуковский, поглощенный сначала «Бибигоном», а потом новыми несчастьями, кажется, даже совсем не заметил. Однако сам по себе факт настолько примечательный, что его стоит упомянуть. 8 мая 1946 года в московском Центральном детском театре (Москва) состоялась премьера спектакля по пьесе Михалкова «Смех и слезы». Пьеса эта известна большинству зрителей по популярному в советское время фильму-сказке «Веселое сновидение, или Смех и слезы» режиссера Игоря Усова (1976); еще раньше фрагмент из нее вошел в киносказку Александра Роу «Новые приключения Кота в сапогах». Любимое место всякого юного зрителя – страшные «рассказки», которыми валет Кривелло пугает принца Чихалью. Спрятавшийся в спальне принца пионер Андрюша заканчивает каждую стихотворную строфу чем-нибудь смешным, резко снижающим пафос ужасного:

Валет: Чудовища вида ужасного
Схватили ребенка несчастного
И стали безжалостно бить его,
И стали душить и топить его,
В болото толкать комариное,
На кучу сажать муравьиную,
Травить его злыми собаками…

(Тут Андрюша громко шепчет:
«Кормить его тухлыми раками».)

Валет: Тут ночь опустилась холодная,
Завыли шакалы голодные,
И крыльями совы захлопали,
И волки ногами затопали, —
И жабы в болоте заквакали…

(Тут Андрюша шепчет:
«И глупые дети заплакали».)

Стихи эти большинству читателей знакомы с детства; однако если приглядеться к ним внимательно, то можно вслед за Строгановым обнаружить недвусмысленные аллюзии на тексты Чуковского. Первым делом вспоминается «Путаница» – не потому даже, что «лягушата квакают», сколько по известной всем детям рифме: «Ушками захлопали, ножками затопали». Рифмы и образы Чуковского торчат здесь из каждой строчки ужасных сказок валета – тут вам и раки-собаки, и старое, из «Тараканища» – «и сидят и дрожат под кусточками, под болотными прячутся кочками…». Не говоря уже о фирменных некрасовско-чуковских дактилических рифмах.

На строчку валета «запуганный страшными масками» Андрюша отвечает «и глупыми детскими сказками». А веселит юный герой несчастного Чихалью, читая ему стихи самого Михалкова: «За сценой раздается веселый голос Андрюши: „В этой речке утром рано утонули два барана!..“ Слышится взрыв смеха. Голос Андрюши: „Сорок пятого размера покупал он сапоги!“ Слышен новый взрыв смеха».

«Победоносные стихи самого Михалкова противопоставлены, таким образом, каким-то страшным рассказкам, определить авторство которых тоже не составляет никакого труда, – комментирует Строганов и поясняет: – Чуковский в 1946 году вместе со всей „старой“ литературой представлял собой весьма удобный объект для полемики. Не назвать его стихи для детей „глупыми детскими сказками“ мог только ленивый».

Чуковский или не знал об этом, или не соотнес «рассказки» Кривелло со своими сказками, или его реакция нам неизвестна; дневниковые записи о Михалкове, сделанные до и после этого события, совершенно доброжелательны. Собственно, и печатные высказывания Михалкова о собрате по перу тоже вполне сердечны: в 1943 году он рассказывал в «Литературе и искусстве», как облегчали жизнь страдающих детей сказки советских писателей, помогая им «хоть на время забыть о перенесенных ими ужасах войны», – и приводил пример: семилетняя калужанка Люся с обожженными, забинтованными руками слушала «Доктора Айболита», «который так хорошо и весело лечил зверей», что «она могла забыть на время о своих ранах». Позднее, на совещании по вопросам детской литературы, в 1952 году, Михалков упомянул еще опального Чуковского в числе замечательных детских писателей.

Пьеса Михалкова была написана на рубеже годов и с успехом прочитана собратьям-литераторам в январе 1946-го. Никаких

официальных директив по поводу Чуковского в это время сверху не спускалось, но мишенью он, безусловно, был очень удобной. Очень скоро начались новые серьезные гонения, по-прежнему связанные с давним намерением партийной верхушки навести порядок в литературе, и в первую очередь в литературных журналах. Тучи собирались давно и долго.

Денис Бабиченко пишет: 13 апреля 1946 года Политбюро ЦК под председательством Сталина рассматривало вопросы литературы. 18 апреля Жданов доложил о новых установках в этой области сотрудникам аппарата ЦК на совещании по вопросам пропаганды и агитации. Там выступил новый начальник отдела художественной литературы Г. И. Владыкин, который говорил о том, что хороших произведений мало из-за недостаточной работы с литераторами. Жданов в своем выступлении пересказывал речь Сталина: говорил, что вождь резко критиковал толстые журналы, говорил, что их слишком много, а произведений для них мало, указывал на отсутствие критики – и «поставил вопрос о том, что эту критику мы должны организовать отсюда – из Управления пропаганды… ибо товарищ Сталин говорил о том, что нам нужна объективная, независимая от писателя критика».

Мнение товарища Сталина было немедленно транслировано дальше. Как в кампанию борьбы с формализмом в каждой области искусства надо было обнаружить своего формалиста, как в кампанию борьбы с врагами народа в каждом учреждении следовало найти своего шпиона и вредителя, так сейчас все властные структуры озадачились вопросом повышения качества подведомственных им журналов и организацией «независимой от писателя критики». «В помощь работникам печати, пропаганды, культуры и их деятельности по коммунистическому воспитанию трудящихся» была создана кошмарная газета «Культура и жизнь», орган Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Ее первый номер вышел 28 июня; к августу газета уже совершенно не стеснялась в выражениях. Августовские постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» легко предсказать по нагнетанию страстей на страницах партийного органа. Каждый заголовок газеты резко щелкает, как удар хлыста: «Фальшивый фильм», «Неудачное разрешение современной темы», «Безликий журнал» (это «Ленинград»). В одном только номере за 10 августа заголовки начальственно рыкают: «ЦК КП(б) Киргизии не руководит своей газетой», «Журнал, отстающий от жизни» (а это уже «Новый мир»), «В Туле не заботятся об идейном росте коммунистов», «Серьезный недостаток в работе лекторской группы», «Безответственные обозреватели», «О недостатках

научной работы Института экономики», «Странная позиция редколлегии журнала „Крокодил“» (его разнесли в прошлом номере, а редколлегия не вняла), «Отраслевая газета, оторванная от производства», «Вредный рассказ Михаила Зощенко» (имеются в виду «Приключения обезьяны»), «Почему в „Московском большевике“ расхвалили отстающий колхоз», «О литературном журнале „Звезда“»…

Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) через этот свой рупор требовало: «Все формы и средства идеологической и культурной деятельности партии и государства – печать, пропаганда и агитация, наука, художественная литература и искусство, кино, радио, музеи, культурно-просветительские учреждения – должны быть поставлены на службу коммунистическому воспитанию трудящихся».

Уже в конце июня 1946 года, судя по дневнику К. И., издатель Алянский предупредил, что ведется большая кампания против «Бибигона». «Будто бы Маршак всюду заявляет, что это бездарная вещь, и будто бы завтра (т. е. 24-го) в ЦК ВЛКСМ будет его ругательный доклад о „Мурзилке“, главной темой доклада будет – ничтожество „Бибигона“, – пишет Чуковский. – Меня это как кипятком обварило: „Бибигон“ вполне беззащитен». Справедливости ради заметим, что в октябре К. И. писал дочери: «Меня очень радует, что все шепоты о злопыхательстве Самуила Яковлевича оказались клеветою и ложью».

Инициатором июньской «антибибигоновской» кампании был ЦК ВЛКСМ, поскольку детская литература находилась в его непосредственном ведении. Чуковского немедленно вызвали в ЦК разбираться. Сначала было предварительное заседание, о чем Чуковский писал в дневнике: "В ЦК ВЛКСМ собрались все подсудимые: Бабушкина, Халтурин, я, Алянский. В качестве судей прибыли библиотекарши, два-три педагога, Лидия Кон – и Каверин (Каверин пришел защищать Чуковского по его просьбе и собственному желанию. – *И. Л.)*. К «Бибигону» предъявлены были идиотские обвинения: «внучки мои завизжали», что это за выражение «завизжали»; и т. д… В общем, обошлось все благополучно, но главный бой отложен на четверг. Мишакова секретарь ЦК ВЛКСМ…сказала, что это совещание собирается по случаю того, что И. В. Сталин выразил свое неодобрение издающимся в СССР журналам и потребовал, чтобы они повысили свое качество. ЦК ВЛКСМ решил рассмотреть все журналы и каждому сделать свои предложения. Рассматривается каждый журнал дважды – сначала у Мишаковой, потом на основе первого рассмотрения у Михайлова (это еще один секретарь ЦК ВЛКСМ. – *И. Л.)"*.

Этот самый Михайлов, выступая на совещании редакторов, работников детских и молодежных журналов, газет, издательств (отчет о нем был опубликован в «Комсомольской правде» 15 сентября 1946 года), рассказывал: «В свое время ЦК ВЛКСМ обращался к группе писателей и редколлегий журналов с предложением высказать свои критические замечания по поводу сказки Чуковского „Бибигон“. Однако редколлегия, писатели не откликнулись на это предложение». Михайлов полагал, что «видно, они решили не портить приятельские отношения с автором». Примерно так организовывалась «объективная, независимая от писателя критика». Стоит добавить, пожалуй, что цену этим ритуальным камланиям знали и выступающие, и объекты критики. По свидетельству Д. Н. Чуковского, К. И. сохранял добрые отношения с Михайловым и после этого выступления, а тот по возможности старался ему помогать.

Почему мишенью комсомольцев стал именно «Бибигон»? Сказка Чуковского печаталась в «Мурзилке», наряду с «Пионером», самом популярном журнале для школьников. Печаталась больше полугода, с одиннадцатого номера 1945 года по седьмой номер 1946-го. Это было одно из самых больших и заметных произведений для детей, опубликованных в это время. Сказка была совершенно вневременной, внеидеологической, не прикладной, лишенной назойливой дидактичности – а значит, не учитывающей задач коммунистического воспитания. К тому же с автора не были сняты предъявленные ранее обвинения – значит, можно было травить дальше; другой такой удобной жертвой был Зощенко. Наконец, в любые времена находятся читатели, предъявляющие Чуковскому два стандартных обвинения: в бессмыслице и в слишком страшных страшилках. В период гонений на сказку его бранили за чепуху и травмирующие детей стихи о людоедах. И сейчас интернет-обсуждения на форумах и в блогах полны стандартных читательских глупостей в духе «хорошую траву курил старик Чуковский», «зайчики в трамвайчике, жаба на метле, наверное, Чуковский сидел на конопле», «совершенно никакого смысла» – это с одной стороны… А с другой – «это же сценарий к фильму ужасов!», «„Муха-Цокотуха“ – это вообще не для детских нервов. Достаточно устрашающие моменты там описываются». По «ужасам» в 1946 году уже прошелся Михалков; оставалась «чепуха». По ней и был выпущен следующий залп «объективной критики».

Кампания по повышению уровня советской литературы, в том числе толстых журналов, достигла полного размаха к концу лета. 21 августа в «Правде» появилось историческое постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», сокрушающее

Ахматову и Зощенко (как раз в этот день Чуковский писал в дневнике: «Есть признаки, что против моего „Бибигона“ ведется яростная кампания»). От литераторов во всеуслышание потребовали «идейно воспитывать поколения советских людей в духе преданности нашей партии, делу народа», «деятельно помогать движению нашего советского общества вперед – отразить лучшие черты характера нашего современника, его преданность социалистической родине, его борьбу с пережитками прошлого» (так писала «Литературная газета» в передовице 24 августа).

Началась вакханалия покаяний и принятия мер. Литераторы признавали ошибки, обещали исправиться и клялись, что «найдут в себе силы и возможность для создания произведений, достойных великой сталинской эпохи». Сурков сокрушался о том, что опубликовал Ахматову: «Я себя спрашиваю теперь, когда все стало ясно: как, отчего это произошло?» – и отвечал: оттого, что он «потерял остроту идейной оценки литературных явлений». Михалков указывал на ошибки всего Союза советских писателей. Вишневский выражал недовольство тем, что Ахматова не кается: «Почему она не отвечает на мнение народа, на мнение партии? Неправильно ведет себя, сугубо индивидуалистически, враждебно» – и предлагал рассмотреть вопрос об исключении Ахматовой и Зощенко из союза. Катаев говорил, что постановление ЦК «как бы наполнило нашу жизнь свежим воздухом». Леонов искренне раскаивался: «За время нашего пребывания в литературе нам никогда не приходилось чувствовать столь глубокого стыда, как теперь… Нас справедливо упрекают в том, что мы работаем плохо».

Леонов требовал от писателей спросить себя: все ли ты сделал, что от тебя требовал народ? Но ведь совестливый писатель никогда не ответит на этот вопрос «да». И к деятелям искусства предъявили суровые претензии: где современный эпос, достойный эпохи? Где изображение великого подвига советского человека? Где проза о деревне в годы войны? Где кинофильмы, отражающие его величие? Где опера, где театральные постановки? И так далее, по всем сферам искусств; вы в долгу перед народом, объясняли художникам при всяком удобном случае. Тем ничего не оставалось, кроме как согласиться: да, конечно, в долгу.

26 августа К. И. писал в дневнике: "Неделя об Ахматовой и Зощенко (отсылка к православной терминологии – «неделя о мытаре и фарисее», например. – *И. Л.).* Дело, конечно, не в них, а в правильном воспитании молодежи. Здесь мы все виноваты, но гл. обр. по неведению. Почему наши руководители Фадеев,

Тихонов – не указали нам, что настроения мирного времени теперь неуместны, что послевоенный период – не есть передышка, что вся литература без изъятия должна быть боевой и воспитывающей?"

Снова появился страх писать в дневнике открытым текстом: запись совершенно очевидно сделана с учетом возможности попадания дневника куда не надо. Снова стало понятно: никогда не дадут писать как хотелось бы. Не нужно веселое дачное волшебство. Нужно прямолинейное, прикладное, настырное коммунистическое воспитание.

Вождю отрапортовали, что меры по «взрослым» журналам приняты. Неохваченными оставались детские, и через неделю, 29 августа, в той же «Правде» вышла статья Сергея Крушинского «Серьезные недостатки детских журналов». Крушинский до войны работал в «Комсомольской правде», был фронтовым корреспондентом, дружил с Борисом Полевым; на фронте вступил в партию; освещал Нюрнбергский процесс. После войны работал в «Правде», издал книгу об алтайских хлеборобах… Что заставило его взяться за критику детских журналов – непостижимо; должно быть, партийная дисциплина. Нам, кстати, попадался уже газетный опус Крушинского времен «борьбы с сухарями» – тот, где в Дедушке Морозе обнаружился секретарь райкома; возможно, автора и впрямь волновали вопросы то ли детства, то ли партийного им руководства. «Нельзя допускать, – гремел Крушинский, – чтобы под видом сказки в детский журнал досужие сочинители тащили явный бред. С подобным бредом под видом сказки выступает в детском журнале „Мурзилка“ писатель Корней Чуковский». Дальше он бранил качество текста, ругался словами «натурализм», «примитивизм», «выкрутасы» – и заканчивал часть, посвященную Корнею Ивановичу, словами: «Чернильница у писателя большая, а редакция журнала „Мурзилка“ неразборчива». Немного далее следовал ругательный пассаж, посвященный новой повести Николая Чуковского «Серебряный остров». «Нельзя, – заканчивал автор, – печатать в журнале стихотворение ли, рассказ ли, очерк ли, если это произведение не отвечает целям и методам коммунистического воспитания детей».

Узнав о публикации в «Правде», К. И. записал в дневнике: «Значит, опять мне на старости голодный год – и как страшно положение Коли: трое детей, строится квартира и после каторжных трудов – ни копейки денег… сейчас сердце болит до колик – и ничего взять в рот не могу».

Редакция Всесоюзного радио уничтожила мешок детских писем Бибигону и его автору. Из всего мешка уцелели только

двадцать писем. Выставка детского рисунка, задуманная Чуковским, естественно, не состоялась. «Не вижу никаких просветов в своей стариковской жизни: ни одного друга, ни одного вдохновения. В сущности, я всю жизнь провел за бумагой – и единственный у меня был душевный отдых: дети. Теперь меня ошельмовали перед детьми, а все, что я знаю, никому не нужно», – писал он в дневнике 5 сентября 1946 года. «Меня мало смущают судьбы отдельных литераторов – и моя в том числе, – но неужели мне перед самой могилой увидеть судьбу всего мира? Надо взять мою тоску измором – задушить ее непосильной работой. Берусь за мою рукопись о Некрасове, которая так же клочковата, как и все в моей жизни сейчас».

В сентябре на заседании Детгиза, посвященном обсуждению постановления ЦК ВКП(б) говорили (отчет в "Литературной газете помещен 14 сентября): «В результате снижения требований к идейно-художественному качеству выпускаемой литературы появилось несколько слабых книг, была принята к печати безыдейная и пошлая сказка К. Чуковского „Бибигон“». В этот же день вышло постановление о второй серии фильма «Большая жизнь» по сценарию Павла Нилина – начало нового зажима в кинематографе.

21 сентября в той же газете появилась редакционная статья «Могучее средство воспитания советской молодежи», где редакции детских журналов (в том числе «Мурзилки») обвиняли в том, что они «забыли, что они являются могучим средством воспитания подрастающего поколения» и «перестали руководствоваться незыблемыми принципами партийной литературы, тем, что составляет жизненную основу советского строя – его политикой». И конечно же, «мало заботясь об идейной целеустремленности, о четкой политической линии, о смысле публикации произведений, редакция „Мурзилки“ из номера в номер печатала безыдейное обывательское произведение Корнея Чуковского».

Детские книги Чуковского почти перестали выходить, как и в конце двадцатых. Остановились переиздания, до сих пор почти ежегодные. Имя его вновь на несколько лет было вычеркнуто из детской литературы.

Наваждение страха

Наступило самое противное время советской истории – время послевоенного зажима, мертвого заморозка, изоляции, параноидальной подозрительности. Сама повседневная жизнь становилась возможна только на условии постоянной сделки с

дьяволом. Или вписываешь в статьи цитаты из классиков марксизма-ленинизма, участвуешь в собраниях, позволяешь редакторам превращать всякую свою живую мысль в полено, которым, возможно, кого-то будут бить по лбу… выполняешь заказы, забываешь человеческий язык и начинаешь мыслить на партийном волапюке… Или – добро пожаловать в ад: травля, безработица, остракизм, а часто и подступающее безумие. Душевная настройка у писателей и поэтов особо тонкая, гонения и горе ее сбивают напрочь: вспомним сумасшествие ссыльного Мандельштама, ахматовские волоски, заложенные в книги в конце тридцатых, – чтобы проверить, рылись ли в книгах незваные гости; зацикленность Зощенко на самолечении…

Наступило гадкое время всеобщего молчания – говорить нельзя; время уверток, время отказа – такого, чтобы он не выглядел отказом; приступы болезней, чтобы не позорить себя участием в разборе персональных дел; время шепота; время крушения надежд; время торжествующего фельдфебеля.

Дневниковые записи Чуковского в это время – хроника морального уничтожения и финансового удушения неугодных писателей: "Коле возвратили в «Советском писателе» уже принятую книгу «Рассказов» – у него в кармане 6 рублей вместо ожидаемых тысяч (причем тысячи эти скудные, дореформенные – а на шесть рублей можно было купить максимум две буханки хлеба. – *И. Л.)*… В «Правде» вчера изничтожают Василия Гроссмана". «Был сейчас Нилин. У него ни гроша. Изъятие „Большой жизни“ лишило его гонорара 440 000 р.». "В «Правде» напечатана резолюция Президиума ССП, где Пастернака объявляют «безидейным, далеким от советской действительности автором» (примечательно, что «Правда» постоянно путается в написании популярного слова «безыдейный»: в одном и том же номере пишет его то так, то эдак. – *И. Л.)*. Писатели обещают загладить ошибки".

Удивительно, что Чуковский, ни на секунду не признающий правоты гонителей, все же считает наиболее разумной тактикой именно обещание загладить ошибки – «невольные ошибки», пишет он. «Здесь мы все виноваты, но главным образом по неведению». Надо было сразу, мол, предупредить, что окончание войны – не повод расслабляться, мы бы и вели себя иначе с самого начала. Побывав на первом чтении «Доктора Живаго» у только что обруганного «Правдой» Пастернака, он счел чтение неуместной бравадой и писал в дневнике: «Я считаю гораздо более правильным поведение Зощенко: говорят, что он признал многие обвинения правильными и дал обещание в течение ближайших двух лет написать такое произведение, которое

загладит его невольную вину».

Экий, однако, конформист.

Покаяниям и обещаниям загладить вину в сороковых-пятидесятых годах уже тоже знали цену. С истовыми присягами на верность времен коллективизации и с признаниями в шпионаже и вредительстве в тридцатых эти покаяния роднила только их явная недобровольность. Все выродилось, все измельчало. Такие признания давно уже из переворачивающего душу покаяния превратились в обычную констатацию факта: «Вы сильнее, всё, отвяжитесь». Так мальчик, которого всем скопом бьют во дворе, на вопрос: «Еще поддать или хватит?» – отвечает: «Хватит». Так безоружный человек при виде льва прикидывается мертвым, чтобы остаться в живых. Так заключенный в лагере не вступает в споры о правах человека с охраной, ибо лучшим исходом подобного спора будет карцер, – именно о таком опыте самосохранения был написан позднее «Один день Ивана Денисовича». Так Ахматова, отвечая на вопрос английских студентов, что она думает о роковом постановлении, не моргнув глазом, ровно ответила, что считает его «совершенно правильным» (а Зощенко, не выдержав очередного мучительства, попытался защитить себя – и за этим последовали новые гонения). Можно, конечно, гордо распрямиться и дернуть льва за усы, обозвать сатрапом начлага, броситься под пули вохровцев. «Безумству храбрых поем мы песню», да. Грань между подвигом и бессмысленным риском пролегает где-то здесь и оказывается чрезвычайно размытой: не предать своего Бога, спасти человека – ради этого стоит жертвовать собой; но стоит ли – ради попытки объяснить голодному хищнику гуманистические ценности? Вопрос открытый.

Еще вовсю гремит борьба с журналами, а в недрах МГБ уже зреют новые инициативы: уже написан донос на Еврейский антифашистский комитет, уже готовятся варфоломеевские ночи в кинематографе, театре и музыке. Жить в СССР плохо и трудно: хозяйство разрушено, бедность повальная, после летней засухи начался голод, продукты по карточкам, преступность растет. Отсутствие порядка и эффективности компенсируется наращиванием жесткости. Разговоры стихли до шепота. Каждый ищет для себя форму неучастия – или форму выживания. И ведь, что страшно, они не были трусами – прошедшие две мировые войны, награжденные Георгиями за храбрость, орденами Славы и медалями «За отвагу», повидавшие такого, что иным поколениям на пять жизней с лихвой хватило бы. Но тихо произнести, как Добычин когда-то: «С тем, что здесь говорилось, я не согласен» – стало актом куда большего мужества, чем перейти линию фронта,

взять голыми руками «языка» и привести его к своим.

Для таких лет, когда жить литературой невозможно (не только в материальном смысле), у Чуковского уже был отработан вариант ухода, погружения в материи, которые позволяют сохранить себя, не потеряв лица и рассудка: перевод, теория перевода, литературоведение, проблемы преподавания литературы в школе. Все это вновь вышло на первый план и стало его основным занятием на ближайшие годы.

Снова он погружается в 1860-е, в текстологию, комментарии и примечания, в тонны и тонны корректур. И страшно боится, что у него отберут и это занятие. Получив повестку на заседание редакционного совета Гослитиздата, где первым пунктом значится обсуждение постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», а третьим – план Полного собрания сочинений Некрасова под редакцией Чуковского, – впадает в панику, понимая, что на собрании его будут «шельмовать и клеймить», отнимут редактуру: "И мне уже заранее слышалось злорадное эхо десятка газет: «Ай да горе-редактор, испоганивший поэзию Некрасова». Это была вполне возможная награда за 35-летний мой труд, и мне представлялось, что именно такова должна быть подготовка к юбилею Некрасова. Бессонница моя дошла до предела. Не только спать, но и лежать я не могу, я бегал по комнате и *выл* часами. Написал отчаянное письмо Фадееву и помертвелый, больной, постаревший лет на 10 пришел в Гослитиздат – под шпицрутены".

И все это оказалось «наваждением страха». Заседание прошло благополучно. Редактуру не отобрали. В один из этих дней К. И. писал дочери: «Даже я – на что уж железный, а и то не могу в последнее время писать. Денег никаких – ниоткуда!» Надо, кстати, отдать должное Фадееву: он понимал, в каком положении находится Чуковский и как сильно нуждается в помощи. Прочитав рукопись книги о Некрасове «Великий новатор», он тут же написал Константину Симонову: у Чуковского есть рукопись, из которой одну-две главы можно опубликовать как самостоятельный текст. И добавил: «Написано это необыкновенно просто, талантливо и очень убедительно… Ты сделал бы благое дело, если бы напечатал какую-либо из глав. Вызови его».

В двенадцатом, декабрьском номере «Нового мира» за 1946 год увидела свет эта глава. В том же декабре злобная газета «Культура и жизнь» разбранила только что переизданную сказку Чуковского «Собачье царство» – наверное, самую старую из всех его сказок – точнее, пересказ чьего-то сюжета. Руководитель детских учреждений Министерства сельхозмашиностроения Ватова в статье «Пошлость под флагом детской литературы»

напоминала: Чуковский «не раз подвергался критике на страницах нашей печати за серьезнейшие срывы и ошибки». Называла сказку «вопиющим примером пошлости». Утверждала, что книжка «оскорбляет чувства детей, их представление о человеке», что Чуковский «издевательски относится к большим целям воспитания наших детей». История о том, как дети обидели собаку, та подалась в собачье царство, дети туда попали тоже и там перевоспитались, была представлена в статье как пасквиль на современность (в сказке властвует пес-самодержец, а детей, чтобы они исправились, сажают на цепь и запрягают в тележку. Ватова именует это «исправительно-трудовой политикой». «То обстоятельство, что сказка впервые печаталась в 1912 году и по одному этому не могла быть пасквилем на обстоятельства 1946 года, никого не смутило», – пишет Е. Ц. Чуковская в комментарии к дневнику К. И. «Нужно оградить детей от сочинений, в которых проповедуется зоологическая мораль», – заключала Ватова. Сказка была внесена в «Список книг, не подлежащих распространению в книготорговой сети».

А в «Огоньке» у К. И. не приняли к публикации стихотворение Некрасова – аж 1867 года! – из опасения, что возникнут нежелательные ассоциации с современностью!

Но, в общем, конечно, Чуковский не был бы Чуковским, если бы среди этой безвоздушной тоски не пытался искать радость – недаром он так стремится похвалить всякую хорошую, живую работу, сказать доброе слово о людях, которые дарят окружающим тепло своей души. Так он пишет о художниках из кукольного театра Образцова: они придумали делать детские маски, которые ребенок может сложить сам без клея, на «остроумных скрепах», очень талантливые, сложные и интересные; отмечает даже хорошее качество брошюры, сопровождающей набор юного фокусника: «Здесь тоже приятное новшество, ибо обычно такие брошюры пишутся стоеросовым слогом» – и замечает, конечно, фамилию автора, который так хорошо написал эту брошюру. С удовольствием рассказывает в «Советской женщине» об ученом-экономисте Вере Арнольд (это сестра Бориса Житкова), редакторе «Статистического обозрения», которая нашла свое призвание в создании фотосказок, полных «убедительной, неотразимо художественной экспрессии». Хвалит в печати книжные иллюстрации Б. Дехтерева. В следующем году – вдумчиво пишет о детском поэте Елизавете Тараховской, считая необходимым напомнить читателю, что крылатое выражение «лестница-чудесница» придумано именно ею, что она автор знаменитой пьесы «По щучьему веленью», которая идет в Театре кукол. Произносит добрые слова о вышедшей на Украине книжке

М. Познаньской «Мш квитник». Говорит «Читательское спасибо» (так называется статья) литературоведу Борщевскому, который открыл на удивление актуальную критику Салтыкова-Щедрина, и Максимовичу, публикатору и комментатору некрасовской критики. Хвалит редакцию «Литературного наследства» за крепкий научный фундамент, за «истинный демократизм науки», «отсутствие узко-кастовой замкнутости».

Чуковский считает необходимым напомнить читателю о «невидимках» – рядовых литературы, чьи имена часто даже не упоминают в афишах, – о переводчиках, авторах сценариев и сопроводительных брошюр, о комментаторах, редакторах и корректорах, которых он может, оказывается, не только «поиять энергическим шпилом». Чужая творческая удача, своеобразие, выразительный язык бесконечно радуют его. Он по себе знает, как нужны литератору в такие скверные времена моральная поддержка, доброе слово; он не только старается сказать его сам, но и требует того же от критики, которой ставит в пример Белинского: уж он-то не проигнорировал бы такой огромной творческой удачи, как перевод «Божественной комедии», сделанный Лозинским!

И уж конечно, Чуковский не был бы Чуковским, если бы не прорывались у него в дневнике такие записи: «Был у меня Ал. Ив. Пантелеев, и мы пошли с ним на Неясную поляну. За нами увязались веселые дети: Леночка Тренева, Варя Арбузова, Леня Пастернак и еще какие-то – шестилетние, пятилетние, восьмилетние веселой гирляндой – тут драка не драка, игра не игра. Барахтаются, визжат, цепляются – в каком-то широком ритме, который всегда дается детям осенью, в солнечный день, – подарили мне подсолнухов, оборвали для меня всю рябину – и мне вдруг после тяжелой похоронной тоски стало так весело, так по-детски безбрежно и размашисто весело, что, должно быть, Алексей Иванович с изумлением смотрел на этот припадок стариковской резвости».

Той же осенью 1946-го Чуковский написал одно из последних своих серьезных стихотворений:

Никогда я не знал, что так весело быть стариком.
С каждым днем мои мысли светлей и светлей.
Возле милого Пушкина, здесь, на осеннем Тверском,
Я с прощальною жадностью долго смотрю на детей.
И усталого, старого, тешит меня
Вековечная их беготня и возня.
Да к чему бы и жить нам
На этой планете,

В круговороте кровавых столетий,
Когда б не они, не вот эти
Глазастые звонкие дети,
Которые здесь, на моем
Грустном, осеннем Тверском,
Бездумно летят от веселья к веселью,
Кружась разноцветной своей каруселью,
В беспамятстве счастья, навстречу векам,
Каких никогда не видать старикам!

Осенью 1946 года началась подготовка к 125-летию Некрасова; публикация в «Новом мире» тоже была к ней приурочена. Вообще если Чуковский и мог что-то опубликовать сейчас – то только как историк литературы, и юбилей в этом смысле оказался очень кстати.

Кажется, Чуковский-некрасовед и Чуковский-сказочник были в восприятии литературного начальства даже не разными ипостасями одного автора, а совсем разными людьми. Сказочник Чуковский был презираем и гоним. Некрасовед Чуковский все время опасался, что с ним произойдет то же, что и со сказочником, – вокруг было немало низринутых кумиров, во мгновение ока уничтоженных научных биографий, исковерканных человеческих судеб. Но будто его всю жизнь хранило горьковское письмо – Ленин, мол, признал работу Чуковского дельной. Некрасоведа не трогали. Он всю жизнь издавал и переиздавал любимого поэта, практически неизменно возглавляя работу над Полным собранием сочинений. Разумеется, у него были конфликты с другими некрасоведами и начальством – вплоть до требований исключить его из авторского коллектива или поставить еще одного соредактора, – не говоря уже о таких мелочах, как споры о последнем прижизненном варианте той или иной строки, атрибуции того или иного стихотворения, комментарии к тому или иному событию. Битвы были жестокие, споры нешуточные, обиды смертельные. Однако позиция Чуковского в литературоведении была на удивление прочной. Не в последнюю очередь благодаря его действительно огромным заслугам в этой области.

К юбилею, разумеется, нужно было писать статьи и выступать, и он писал и выступал. И жалел себя, когда выступления оказывались безобразно организованы и неудачны: «Я и вправду – страдалец – банкрот – раздавленный сапогом неудачник. Абсолютно ни в чем не виновный. Я вспомнил свою жизнь – труженическую, вспомнил свою любовь – к детям, к

книгам, к поэзии, к людям… – и увидел себя одинокого, жалкого, старого на эстраде безлюдного клуба… оклеветанного неизвестно за что…» (Нехорошо, конечно, но так и вспоминается из знаменитой сказки Туве Янссон: «Вы только представьте себе, какая она одинокая, эта Морра, никто ее не любит, а она так всех любит… Одна-одинешенька в ночи, – тут голос Сниффа задрожал, – обманутая, обобранная тофслами и вифслами… – Он всхлипнул и не мог продолжать».) Так плохо ему было, что иногда и чувство меры отказывало – и жалел, жалел себя, впустую теряющего силы, время и талант.

Дневниковые записи и письма конца сороковых – механическая регистрация встреч, разговоров, газетных нападок, денежных и издательских дел. И безысходная тоска, и постоянное сокрушение о бездарно, безнадежно, непоправимо уходящей жизни.

"Вдруг, внезапно, – пишет Самуил Лурье, – посреди низких подробностей так называемого литературного быта (увлекательнейших! битва бактерий под микроскопом! какие жалкие примеры негодяйства!) – мелькнут несколько слов будто другого измерения:

«У нас был еж. Он умер. Мы похоронили его. А он ушел из могилы через два часа»".

В конце 1946 года врачи заподозрили у Чуковского рак. Он давно уже встречал каждый Новый год и каждый свой день рождения как последний, писал о себе, как о глубоком старике; теперь он и в самом деле подводит итоги. Итоги кажутся ему неутешительными, а жизнь, похоже, ему всерьез опротивела. «Никаких возражений не вызывает такая короткая запись: К. И. Ч. (1882–1947)», – пишет он в дневнике, готовясь к операции. «Лучше 10 операций, лучше смерть, чем одна заметка в „Литературе и жизни“, написанная лжецом и прохвостом, пятнающая твое доброе имя». (Здесь явная ошибка: газеты «Литература и жизнь» в это время еще не было, издание с таким названием появилось 12 лет спустя; наверняка имеется в виду «Культура и жизнь», только что опубликовавшая безобразную статью Е. Ватовой о «Собачьем царстве».)

На операции оказалось, что опухоль доброкачественная.

Он – как упомянутый еж – ушел из могилы. И вновь потянулась небогатая событиями жизнь, полная издательских хлопот и повседневных огорчений.

Весной 1947-го он сделал в дневнике часто цитируемую запись: раньше писали «Чуковский, Маршак и другие», потом «Маршак, Чуковский и другие» – и, наконец, «Маршак, Михалков, Кассиль и другие» – "причем под этим последним словом

разумеют меня, и все это не имеет для меня никакого значения. Но горько, горько, что я уже не чувствую в себе никакого таланта, что та власть над стихом, которая дала мне возможность шутя написать «Муху-Цокотуху», «Мойдодыра» и т. д., совершенно покинула меня, и я действительно стал "и *другие*"".

После «Бибигона» он больше не писал сказок. И власть над стихом действительно стала иссякать – как и радость, и вера в человека, и надежда на лучшее. Ему снова стало скучно жить. И стихов он тоже почти уже не писал – если вычесть экспромты, надписи на книгах, поздравительные стихи и стихи по случаю, – останется не более двух десятков строк за все последующие двадцать с лишним лет.

Осенью 1947-го, наблюдая за проснувшейся в жарко натопленной комнате бабочкой, К. И. писал: «Ползает по книгам, по стенам, по портретам – неприкаянная. Все для нее враждебно-чужое. Я смотрю на нее с жалостью, потому что она – это я. Я в нынешней литературной среде». А ведь предшествующие строки – вполне себе благополучные, только больно уж какие-то неживые: «Здесь мне было чудесно, в Переделкине. Я написал о Феофиле Толстом, двинул свою книгу о Некрасове, закончил работу над двумя первыми томами, сделал книгу Некрасова для Детгиза – работал с легкостью по 8 и 10 час. в сутки. Был абсолютно здоров. Денег хватало. Проредактировал вновь воспоминания Авдотьи Панаевой».

Летняя бабочка, поздняя осень. А между тем надвигалась новая зима.

17 декабря 1947 года газеты извещали о «новой могучей победе Советского государства»: отмене карточек и денежной реформе, которая должна была ударить по спекулянту. Как водится, на страницах печати новое постановление приветствовали деятели искусства. Под заголовком «Торжество простого человека» Чуковский рассказывал в «Литературной газете», что во всем мире экономический закон нехорош: богатые богатеют, а бедные беднеют – и на этом фоне новый правительственный декрет поражает своей «новаторской смелостью». «Когда этот декрет оглашался впервые, я находился в библиотеке и видел, как слушали его рядовые читатели – студенты, врачи, профессора, педагоги – слушали празднично, благодарно, с искренним восторгом, и, глядя на них, я с особенной силой почувствовал единение народа и правительства, народа и партии в нашей великой стране».

Замечательно, что у Чуковского, яростного противника всякого штампа и шаблона, на такие случаи (звонят из редакции, просят срочно высказать мнение?) уже давным-давно был

заготовлен и опробован собственный шаблон. Примерно такой: раньше, в царской России, было плохо. (Вариант: за рубежом плохо и сейчас.) Но сейчас, в Советской стране, придумали, как сделать хорошо, и сделали. И это – удивительное достижение нашего народа (в этом предложении используется много слов вроде «поразительный», «небывалый», «неслыханный»). И я, слушая декрет (сталинскую Конституцию, новое постановление), видя детей, которые идут в школу и даже не понимают, какое это счастье, подумал (или почувствовал) то-то и то-то. В заключение произносится дежурное славословие советскому строю.

При этом ведь наверняка он действительно считал Конституцию прогрессивной, новый закон – существенно облегчающим положение жителей страны, а всеобщее право на образование – важным социальным завоеванием. А текст недвусмысленно показывает, как сильно автору не хотелось его писать. Хотелось бы – не было бы шаблона.

Денежная реформа, по иронии судьбы, ударила по самому Чуковскому: издательство не успело перечислить ему большую сумму денег до начала реформы, и выплаченная сумма оказалась значительно меньше той, на которую К. И. рассчитывал. «Так как Детиздат разорил меня, я согласился ежедневно выступать на детских елках, чтобы хоть немного подработать. А мне 66 лет, и я имею право отдохнуть. Боже, как опостылела мне эта скорбная, безысходная жизнь», – писал он в дневнике в январе 1948 года.

Впрочем, уже 10 января он пишет, что купил «москвич» – по тем временам роскошь, доступная немногим. А вот следующая запись сделана уже 20 декабря. В промежутке между январем и декабрем 1948-го – ледяная пустыня нового и страшного заморозка. Писем в этом году не пишут. Дневников тоже. Жизнь сжалась, замерла, зажмурилась.

13 января в Минске убит Соломон Михоэлс, замечательный актер и глава Еврейского антифашистского комитета. Его устранение стало началом борьбы с космополитизмом. В этом же месяце Андрей Жданов на совещании деятелей советской музыки в ЦК КПСС заявил: «Интернационализм рождается там, где расцветает национальное искусство. Забыть эту истину означает… потерять своё лицо, стать безродным космополитом».

Поразительное дело! Власть взялась развивать тезис, до изумления похожий на старый, еще времен работы в «Свободных мыслях» тезис Чуковского – о национальной природе искусства, о необходимости хорошо знать родную культуру, родной язык. В 1914 году, заканчивая статью «Шевченко», он прямым текстом заявлял: «Гениальность есть явление национальное, и на эсперанто еще не творил ни один великий поэт». И вспоминал,

как плохи оказывались русские стихи украинца Шевченко и английские стихи шотландца Бернса – при великолепном знании языка! О том же он писал и раньше, в полемической статье 1908 года «Евреи и русская литература»…

Вроде бы снова, в который раз уже, вектор совпадает, власть говорит о том же и почти теми же словами – но, честное слово, лучше было никогда не говорить этих слов, чем видеть, во что они теперь складываются! За что ни возьмемся – получается НКВД: из прекрасной идеи любви к родной культуре выросла кровавая, шовинистическая, губительная для этой культуры кампания борьбы с «антипатриотизмом». Место громоздкого «антипатриотизма» скоро занял «космополитизм», а из-под него полез совсем уж пещерный, дремучий антисемитизм…

В общем-то, борьба с космополитизмом и низкопоклонством, под которыми очень скоро стали понимать вообще всякое уважение к чужому, началась еще раньше: уже в октябре 1947 года в передовице «Величие советской науки» «Литературная газета» провозглашала, что «Ломоносов умел глубже Ньютона проникнуть в тайны космоса», что «на ниве, вспаханной Яблочковым и Лодыгиным, десятилетиями собирали богатый урожай их американские и западноевропейские эпигоны». Битвы с низкопоклонниками закипели всюду, во всех сферах, от философии до генетики.

В январе парторганизация московских писателей взялась истреблять «низкопоклонство в литературоведении»: в нем уже несколько месяцев обвиняли нескольких филологов, говоривших о духовной и идейной связи российских писателей и поэтов с европейскими, об их принадлежности к европейской культурной традиции. Вредный Нусинов, вредные идеи Эйхенбаума, вредный Томашевский, нехорошая школа Веселовского, ошибочные идеи братьев Гримм в фольклористике. Большая буря бушевала в языкознании: «подлинно-марксистские» идеи академика Марра, «низкопоклонничество» Виноградова, «порочный и вредный учебник Реформатского» и т. п. В феврале с постановления ЦК «Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели» началась новая кампания борьбы с «антинародным формализмом» в музыке, из Московской консерватории уволили Шостаковича. В августе 1948 года состоялась печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ, на долгие годы остановившая развитие генетики в стране.

В «Чукоккалу» в это время была вклеена полоса из газеты «Британский союзник». Газета издавалась на русском языке и рассылалась посольством (скорее всего, К. И. начал ее получать, когда работал в Совинформбюро). «Номер газеты со статьей сэра Генри Дейла, доставленный в 1948 году обычной почтой,

произвел огромное и потрясающее впечатление», – пишет Е. Ц. Чуковская в комментарии к этим страницам «Чукоккалы». Письмо сэра Дейла, президента Королевского научного общества Великобритании, было адресовано президенту Академии наук СССР Сергею Вавилову. Ученый спрашивал о судьбе исчезнувшего и умершего «неизвестно когда» директора Института генетики Николая Вавилова (брата Сергея Вавилова); резко критиковал доктрину Лысенко и принудительное насаждение ее в науке при помощи политического давления; говорил о том, что постановление Президиума Академии наук СССР от 27 августа является «ясным выражением этой политической тирании». Ученый выражал сочувствие Сергею Вавилову и его коллегам, действующим «под политическим принуждением», и обращался с требованием о своем исключении из числа почетных членов АН СССР, поскольку считал, что академия ответственна «за тот ужасный вред, нанесенный свободе и целостности науки, под каким бы давлением это ни было сделано».

После этого номера газета «Британский союзник» была закрыта.

Так прямо и недвусмысленно о происходящем никто вокруг не говорил, и прочитать что-то подобное, да еще в газете, доставленной «обычной почтой», было невозможно. Слова застывали, окостеневая и превращаясь в рубленые формулы, отойти от которых все страшнее, шаг влево, шаг вправо – моральный расстрел. Искусство, одержавшее «окончательную победу над формализмом», формализовалось до предела. Установилась та жесткая система жанровых, стилистических и содержательных требований, которую Андрей Синявский десятилетием позже назвал «социалистическим классицизмом». Коченела сама жизнь, вогнанная в узкие, жесткие и скудные рамки.

На собраниях произносились ритуальные заклинания, в печать попадали только тексты, сконструированные из готовых выражений по готовым шаблонам. Пропагандистская машина вырабатывала блоки слов и указания по их сборке—и требовала от строителей, чтобы из этого конструктора получались не бараки, а дворцы. Впрочем, попытки по собственному усмотрению строить дворцы, храмы, избушки и кукольные домики пресекались на корню.

Культурная и политическая изоляция, конфронтация с Западом, печальный анекдот «СССР – родина слонов», не менее анекдотичный лозунг «генетика – продажная девка империализма», афористические «поджигатели войны» и «воротилы с Уолл-стрит», амбициозный «сталинский план

преобразования природы», отказ советской делегации проголосовать в ООН за проект Декларации прав человека – это все реалии наступившего времени.

Комментируя присуждение Сталинских премий (среди произведений, получивших первые премии, – нетленные труды Бубеннова «Белая береза» и Павленко «Счастье», поэмы Недогонова «Флаг над сельсоветом» и Грибачева «Колхоз „Большевик“»), «Литературная газета» констатировала, что «исторические постановления Центрального Комитета ВКП(б) по вопросам литературы и искусства идейно вооружили советских художников, помогли им освободиться от всяческого балласта, тормозившего движение вперед, и выйти на широкую, прямую дорогу служения народу». Чуковский в том же номере газеты (3 апреля 1948 года) приветствовал одно из немногих живых произведений, отмеченных премией, – книгу историка М. В. Нечкиной «Грибоедов и декабристы». Особенно радовался «обаятельному» стилю книги – «пластичному, гибкому, богатому оттенками и предельно простому»: так писать уже почти разучились. Хвалил работу исследователя за боевитость, за бескомпромиссную борьбу против «современных пороков нашей литературоведческой практики». И заключал: «У нас еще немало равнодушных литературных ремесленников. Может быть, хоть после этой книги им будет совестно рассматривать наших величайших писателей пустыми рыбьими глазами и говорить о них псевдонаучным языком, лишенным всяческих интонаций». (Статьи о его любимом Некрасове, например, коллеги писали вот таким слогом: «Творческая традиция Некрасова – это поэзия, стоящая на уровне передовых идей своего времени, основанная на знании действительности в ее изменениях и развитии, черпающая свое художественное богатство в народной жизни».)

В конце 1948-го Чуковский вдруг вспомнил – как и в другие годы удушья – о своем давнем нереализованном плане. Госпогода, Гутив, а теперь Госутив снова извлечены из Леты – как в разгул рапповщины в 1925–1926 годах, как в разгар репрессий в 1938-м. Он пишет в дневнике о том, как советовался с Михалковым, предлагая ему совместную работу над романом. И опять из этой работы ничего не получилось. Да и не столько ему хочется писать этот роман, сколько спастись от тоски и безнадежности: сказать что-то небанальное невозможно – изобьют, истопчут, чтобы навсегда отбить охоту, а если говорить нельзя – то все бессмысленно. Да и охота уже почти отбита. «А я – стал убого бездарным, – и кажется, это стало всякому ясно. И мне совестно показываться в люди, как голому». «На 1948 год лучше не оглядываться. Это был год самого ремесленного, убивающего

душу кропанья всевозможных (очень тупых!) примечаний к трем томам огизовского „Некрасова“, к двум томам детгизовского, к двум томам „Библиотеки поэта“, к однотомнику „Московского рабочего“, к однотомнику Огиза, к Авдотье Панаевой, к Слепцову, и проч., и проч., и проч. Ни одной собственной строчки, ни одного самобытного слова, будто я не Чуковский, а Борщевский, Козьмин или Ашукин». Каков финал! этого самого Борщевского он только что искренне, безо всякого принуждения хвалил в печати за добросовестную, умную работу…

Он и сам себе противен, и люди ему противны. Можно считать это проявлением природной мизантропии, а можно – признаком новой депрессии.

Преодоление Диснея

Впрочем, несколько самобытных слов Чуковский все-таки произнес, и они до безобразия хорошо улеглись в контекст эпохи. Пользуясь спросом на негативные публикации о странах Запада, он опубликовал несколько статей, посвященных своей давней любимой теме – массовой культуре. 28 июля в «Литературке» вышел «Полный карман пошлости», 22 сентября в ней же – «Растление детских душ» (о комиксах и журналах для детей), через год в том же издании – «Растление американских детей» и, наконец, в восьмом номере «Знамени» за 1949 год – «Воспитание гангстеров».

Названия, как видим, вполне характерные для этого неизобретательного времени.

В «Полном кармане пошлости» речь идет о журналах, издаваемых для американских солдат: похоть, криминальные истории, юмор на тему «жена бьет мужа скалкой» (поход против жен – армии выгодны холостые солдаты), девочки на любой вкус. («Так и кажется, что этот журнал издается каким-нибудь всеамериканским трестом домов терпимости, заинтересованным в расширении клиентуры. С упорным постоянством рекламирует он свой однообразный „товар“ – своих блондинок, брюнеток, шатенок, в которых, судя по его зарисовкам, атрофировано все, кроме пола».) В общем, это все рассказывается в продолжение начатой еще в 1903 году темы о литературной продукции, услаждающей «жеребцов в образе человеческом». Но сейчас речь идет об огромной журнальной индустрии, с помощью которой «из недели в неделю, из месяца в месяц дружно оглупляют, развращают, испакощивают рядового гражданина США».

Точно так же развращают и испакощивают детей, а уж это для Чуковского совершенно невыносимо: за американских детей он

болеет душой ничуть не меньше, чем за советских. Сюжеты «Чуковский против Диснея» и «Чуковский против Бэтмена», кажется, еще не освещались в печати сколько-нибудь внимательно, так что остановимся на этом поподробнее.

Впервые К. И. написал о творчестве Диснея в 1940 году в небольшой заметочке для газеты «Кино», которая называлась «Мульти». Вот о чем в ней шла речь:

> «Долгое время мультипликация была у нас на ложном пути. Особенно сбил ее с толку американец Дисней. Дисней гениален, но он пользуется вульгарным и антипоэтичным стилем. И только талантливость спасает его от краха. Эти окарикатуренные звери, это нагромождение эксцентрических трюков, это бешеное мелькание событий – здесь советскому детскому фильму решительно нечему учиться. А между тем в течение нескольких лет наша детская мультипликация шла за Диснеем, и „Микки-дирижер“ был ее вдохновителем, ее идеалом… Самое грустное то, что маленькие дети, для которых были предназначены эти суетливые, подражательные фильмы, в большинстве случаев не могли даже уловить их сюжета: кавардак происходящих на экране событий рассеивал и утомлял их внимание… С недавнего времени все изменилось. Мультипликационное советское искусство наконец-то обрело свой стиль, который, я не сомневаюсь, обеспечит ему много побед. Стиль этот раньше всего – в полном преодолении Диснея. Сказка моя „Лимпопо“ оттого-то так и удалась художникам Амальрику и Полковникеву, что они начисто отказались от ненужной карикатурности, от трюкачества, от черствой и бездушной американской балаганщины, а взяли курс на задушевность и поэтичность, на тихий и нежный лиризм… В этом и должен заключаться советский стиль детского мультфильма».

Здесь Чуковский оказался хорошим пророком: именно в поэтичности, в лиризме и заключается главная сила горячо любимых многими советских мультфильмов – совершенно самобытного культурного явления. И задача «преодоления Диснея» им поставлена очень четко и правильно – и очень показательно, что спустя полвека она опять встала перед отечественной мультипликацией, хотя и на ином уровне (и содержательном, и технологическом, и идейном). Обратим внимание, что Чуковский говорит здесь главным образом о

Диснее – авторе стремительных и бестолковых приключений Микки-Мауса и Дональда Дака; знаменитые его полнометражки («Бемби» или «Белоснежка») появились позже, да и успех их в значительной степени связан именно с «преодолением Диснея». В этих фильмах появились как раз те самые нежность и поэтичность, которые Чуковский считал лучшим путем развития мультипликации. Как соблазнительно представить себе, что Дисней прочитал советскую газету «Кино» и сделал выводы! (Впрочем, с советской мультипликацией он, говорят, был неплохо знаком.)

В статье «Воспитание гангстеров» Чуковский вновь обрушивается на Диснея – но на этот раз не на самого мультипликатора, а на его журнал *Walt Disney's Comics and Stories.* Журнал публиковал комиксы для детей. «Все без исключения сюжеты здесь излагаются кинематографическим методом – непрерывной цепью картин – с минимальным количеством стихов или прозы. А так как этот метод вполне приспособлен к психике малых детей, доходчивость киносказок Диснея огромна», – поясняет Чуковский читателю. Возмущают его сами сюжеты, в основе которых всякий раз лежит «всевозможный подвох и жульничество». Дональд Дак хочет ограбить копилку своих племянников, те, в свою очередь, стремятся обвести его вокруг пальца. Люди и звери идут на низости, подлости, хитрости, унижают других и делают им больно – чаще всего ради того, чтобы заработать доллары. Дети на одной картинке лежат на долларах, перебирают их: «Мы хотим, мы хотим быть банкирами». Жадность и жестокость – вот что возмущает Чуковского в диснеевских комиксах: дети взрывают дядю, льют ему в ванну кипяток, разводят под ним, спящим в гамаке, костер…

Сейчас мы ко всему уже притерпелись, и нас уже не удивляют персонажи американских мультиков, которые лупят друг друга молотком по лбу, раскатывают асфальтовым катком, взрывают динамитом. «Уродливые, жестокие и бессмысленные отношения, присущие среде, где он живет и работает», приводят к тому, что «чудовищные отношения между людьми» кажутся Диснею совершенно нормальными, комментирует Чуковский. Нынешним жителям России, пожалуй, тоже – хотя некоторые, должно быть, еще помнят тот неприятный эффект, который производили на неподготовленного зрителя именно своей бессмысленной веселой жестокостью первые пришедшие на видео американские мультфильмы, и не только диснеевские: «Том и Джерри», например.

Главное, пожалуй, на что обращает внимание Чуковский, – это коммерческая, индустриальная составляющая диснеевских

комиксов, «полная шаблонизация всех изобразительных приемов и методов, употребляемых этим коллективом художников», – «для живого творчества здесь нет ни малейшей лазейки. Искусство, превращенное в фабричный товар, безжалостно мстит за себя. Что-то машинное, дюжинное, гуртовое, штампованное чудится теперь в каждом штрихе этого заживо умершего мастера… И тематика, и форма его киносказок, и методы его производства, обусловленные свирепой эксплуатацией лучших дарований, и уничтожение творческой личности каждого автора – все это в совокупности называется американизацией искусства».

Американизация мирового искусства, кстати, стала серьезным вопросом именно в конце сороковых. Летом 1948 года, выступая на Всемирном конгрессе деятелей науки и культуры в защиту мира, Александр Фадеев говорил: «Пошлые, развращающие зрителя фильмы заполняют экраны», приводил цифру: 65 процентов мирового кинопроката составляют американские картины – и рассказывал, как недовольны этим европейцы. (Кстати, сейчас, по некоторым данным, цифра эта достигает 80 процентов.)

Чуковского, впрочем, занимает не столько «идеологическая экспансия американского империализма», которую клеймил Фадеев, сколько давно занимающие и ужасающие его способы превращения человека в безмысленное и бессмысленное существо – «устрицу», «паюсную икру», «жеребца», «дикаря». В новых явлениях культуры он видит опостылевших старых знакомцев. Тех же персонажей. Те же погони. Ту же охоту одних людей на других. То же пристрастие к леденящим душу ужасам и как можно более изысканным убийствам, потому что неизысканные уже набили оскомину. Ново разве только то, что теперь «в этот хищнический, звериный азарт взрослые усердно вовлекают детей».

«И вот нынешние сочинители кровавых новелл для детей тратят всю свою мозговую энергию, чтобы выдумать новые, свежие, еще никем не использованные приемы убийств, грабежей и мошенничеств», – пишет К. И. в статье «Развращение детских душ» (она во многом перекликается с «Воспитанием гангстеров»). Преступники пользуются лучшими достижениями науки и техники, преступления становятся исключительно изобретательными, дерзкими – и все более страшными: «гитлеровское сочетание науки и подлости». И старый добрый Пинкертон начеку. Теперь, правда, «из героя он сделался богом». Чуковский поясняет в «Воспитании гангстеров»: «Полицейские агенты предстают в виде богов, обладающих мифическими, чудотворными силами». Один так и зовется: *Superman.* К. И.

подробно рассказывает, какими поразительными качествами он обладает, и заключает: это «бог уголовного розыска». Еще одного такого героя зовут *Batman,* и он тоже борется с «бандитами-футуристами». В статье «Растление детских душ» Чуковский пишет: «Судя по этим журналам, бандитизм в заокеанской республике принял такие размеры, что только чудотворцы, сошедшие с неба, могут вести с ним борьбу».

Передовые американские педагоги, рассказывает Чуковский, «с тоскою указывают, что американские школьники нынче читают не Марка Твэна, не Диккенса, а „Приключения женщины-кошки“, ворующей бриллианты при помощи снотворного газа, и похождения Пингвина, знаменитого вора, совершающего свои налеты и кражи исключительно при помощи птиц» («Растление детских душ»). «Все прочие книги кажутся им пресными, постными, невыносимо унылыми» («Воспитание гангстеров»).

«Конечно, это только малая часть той гигантской системы оглупления, оболванивания, развращения масс, которая такими небывалыми темпами осуществляется в современной Америке при помощи радио, кино и печатного слова». Раньше американские дети под влиянием прочитанного хотели стать индейцами или средневековыми рыцарями, теперь они «всей душой стремятся в бандиты», «им по сердцу одни только триллеры» – сокрушается Чуковский. Позднее он жаловался в дневнике: «Я написал большую статью, где указывал, что наряду с величайшими достижениями англоамериканской детской литературы есть и ужасные „комиксы“, и мне в последнюю минуту вычеркнули все о положительных чертах этой литературы и оставили только о комиксах. Вышла дезориентация читателей».

В финале «Воспитания гангстеров» раздается трескучая брань по адресу американского империализма, «ненавистного трудящимся массам всех стран, которые справедливо видят в нем источник всего самого низкого, преступного, злого, что происходит в настоящее время на нашей планете». Интересно, пожалуй, авторство этих строк: сам Чуковский «наклеил марочку» или опять редакторы постарались?

Впрочем, дискутировать об американском империализме не будем; остановимся на том, что явление массовой культуры для детей распознано в зародыше и описано достаточно точно. Да, сейчас индустрия развлечений для детей уже не так откровенно кровожадна, а глуповатые комиксы сменились вполне себе благородными и высокотехнологичными фильмами, где действуют все те же персонажи… но суть все та же, и она все так же противна всем тем ценностям, которые утверждал своей жизнью и своим творчеством Чуковский.

Разумеется, написаны эти статьи были вовсе не для того, чтобы лишний раз лягнуть идеологического противника СССР, – это газетами они публиковались как злободневные. На деле это следующая часть обширного исследования массовой культуры, охватившего несколько десятилетий двадцатого века, – от зарождения до победного шествия по всему миру, от «Ната Пинкертона» и «Тещиных бегов» до Бэтмена, Супермена и Эллери Куина, от первых английских корреспонденции в «Одесских новостях» до «Триллеров и чиллеров», последней печатной работы Чуковского.

«Да-да, это национальное бедствие!»

Рядом с «низкопоклонством перед Западом» очень скоро возник «сионизм». В прессе все чаще стали появляться статьи о сионистском заговоре в интересах американского империализма. Роль заговорщиков, которые занимаются подрывной деятельностью в СССР, отводилась членам Еврейского антифашистского комитета: его члены среди других дел занимались сбором денег в США для помощи Красной армии, так что они как никто другой годились на роль шпионов империализма. В декабре 1948 года среди членов Еврейского антифашистского комитета начались аресты. Арестован был и близкий друг Чуковского Лев Квитко – еврейский детский поэт, открытый им для русского читателя.

Атмосфера становилась все сквернее и мерзее. 24 января Оргбюро ЦК ВКП(б) решило развернуть широкую пропагандистскую кампанию против «безродного космополитизма и антипатриотических сил». 28 января 1949 года «Правда» опубликовала редакционную статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Статья призывала к борьбе с безродными космополитами, «эстетствующими ничтожествами», «антипатриотическими обывателями», которые пытаются «дискредитировать передовые явления нашей литературы и искусства, яростно обрушиваясь именно на патриотические, политически целеустремленные произведения под предлогом их якобы художественного несовершенства». Начались поиски космополитов – как обычно, каждая организация должна была выявить в своих рядах хотя бы одного. Новой волной хлынули уничтожающие газетные статьи с раскрытием псевдонимов в скобочках, постановления собраний, извергающих космополитов из рядов. Снова потребовались покаяния. Несколько таких волн только что прокатилось, вроде бы все были к ним привычны – но эта отличалась особенно дурным запахом: место идеологии заняла, наконец, неприкрытая физиология. В дневниках Чуковского в этом году снова появляются вырезанные места и вырванные страницы. «И декабрьским террором пахнуло на людей, переживших террор».

Но главная боль и забота Чуковского сейчас – Мария Борисовна. 7 января у нее случился инсульт, парализовало правую часть тела, нарушилась речь; реабилитация была долгой и трудной. В феврале К. И. пишет: «Все как будто в прежнем положении. Читать она не может, говорит косноязычно, правая рука окоченела, раздражительность очень большая – и все же ей

лучше. Она требует, чтобы ей читали газеты, интересуется международным положением, много и охотно говорит». В мае: «Холодная погода. Тучи. Боюсь, что М. Б. простудится» (они вместе в санатории в Узком). В июне – был врач, «констатировал, что Марии Борисовне хуже». У Чуковского на попечении еще внук, школьник Женя, отношения с которым, кажется, далеки от идеала: внук проказничает, дед ворчит, взывает к совести и надеется на пробуждение в ребенке ума и добрых чувств.

Работа большой радости не приносит: корректуры, примечания, сверка ссылок и мучительные споры с редакцией Гослитиздата о статье «Пушкин и Некрасов»: слишком живо оказалась написана. Чуковский, сохранивший выразительность и подвижность лица, телодвижений, речи, – вдруг оказался странно неуместным в период нового оледенения. Он заметил это еще в 1946 году и записал в дневнике, что у руководителей Союза писателей – застывшие, неподвижные, ничего не выражающие лица: "Должно быть, это от привычки председательствовать. Впрочем, я заметил, что в нынешнюю волевую эпоху лица русских людей менее склонны к мимике, чем в прежнее время. Мое, например, лицо во всяком нынешнем общественном собрании кажется чересчур подвижное, ежеминутно меняющимся (так в тексте. – *И. Л.),* и это отчуждает от меня, делает меня несолидным".

Так же несолидны и его писания – слишком красочные и легкие, как бабочка в ноябре, слишком личные, индивидуальные, не поддающиеся формализации. Об этом он и спорил в Гослитиздате, воюя за свое право сохранять свой стиль, и писал в дневнике об издательских сотрудниках: «Все они с утра до вечера перекраивают чужие рукописи на свой лад, с тем, чтобы никакой авторской индивидуальности не осталось, не осталось никаких личных мнений, своих чувств и т. д. Все, что выходит из этой мастерской, – совершенно однородно по мыслям, по стилю, по идейной направленности». Юлиан Оксман в письме Чуковскому назвал подобную операцию, проделанную над книгой Н. Л. Степанова о Крылове, «варварской стерилизацией замечательной работы», а сотрудников Гослитиздата – «евнухами», которые «заменяли своей жвачкой авторские листы». Леонид Леонов несколько позже сострил:

> И проехались, как тракторы,
> По Чуковскому редакторы.

И Корней Иванович не выдерживает единоборства с этой машиной: «Моих мыслей мне не жалко – ибо всякому читателю

ясно, в чем дело, но мне очень жаль моего „слога“, от которого ни пера не осталось. Если бы не болезнь М. Б. и не нужда в деньгах, ни за что не согласился бы я на такую „обработку“ статьи». Статья сверстана – «два дня я просидел в типографии, оберегая ее от дальнейших искажений, но все же она так искажена, что мне больно держать ее в руках». «Книга о Некрасове не пишется. Тянет писать детскую сказку, но… Меня сковывает воспоминание о судьбе „Бибигона“».

В мае 1949 года, в чудесное весеннее утро – в четыре часа – так и не заснув или уже проснувшись – любуясь с балкона цветущими вишнями и восходом, Чуковский записал в дневнике, рассказывая о том, как обрадовался пошлому, предсказуемому хеппи-энду в книге Филдинга: «Может быть, мы, старые и очень несчастные люди, обманутые и ограбленные жизнью, так любим счастливые развязки в книгах, что развязки их собственной биографии так жестоки, так плачевны и трагичны».

С июня по декабрь 1949 года никаких записей в дневнике больше нет. В этот период уместились такие события, как испытание советской атомной бомбы, очередная кампания борьбы за приближение искусства к современности (на этот раз в театре), образование ГДР и безумное многодневное празднование 70-летия Сталина. Измученная обструкцией Ахматова, у которой снова арестовали сына, выдавила из себя подневольный цикл «Слава миру» со славословиями Сталину – бесстрастный, бездарный, жуткий.

В письмах Чуковский сообщает своим корреспондентам, что работа идет плохо, туго. В ноябре пишет Юлиану Оксману: «… проклятая старость дает себя знать. Я кропаю свою книгу о Некрасове, заметок у меня множество, мыслей полна голова, а на бумагу ничего не ложится… Я готов кулаками избивать свою голову, чтобы выбить из нее хоть искру былого огня. Пора, очевидно, кончать литературную проходимость». В декабре жалуется дочери: "Мои делишки плоховаты (между нами). Здоровье стариковское, голова вялая, хочется отдохнуть, да нельзя, впрягся в проклятую книгу, которая не пишется. Не сплю уже которые сутки, редактирую XII том Полного собрания сочинений и писем Некрасова. Сдаю однотомник Некрасов. Сочинения. Но—

Хочь солдатам чижало,
Между прочим ничего".

Это двустишие они с Лидией Корнеевной часто повторяют в письмах друг другу, встречается оно и в дневнике – и однажды

появляется в таком варианте:

Хочь солдатам ничего,
Между прочим чижало.

Своей работой он постоянно недоволен – и, может быть, поэтому все вокруг тоже кажется безрадостным. А может быть, наоборот: настолько все безрадостно вокруг, что и работа не клеится. Весь 1950 год в дневнике тянутся тоскливые записи: «Мне 68 лет сегодня. Ощущение жертвы, которую тянут веревками на виселицу». «На старости лет я оказался нищим, у меня нет ни копейки. Машина и Переделкино выпивают из меня всю кровь. Завтра придется начать добывать себе средства – на 69-м году труженической жизни». «Главная моя беда – в полном крахе моей книги о Некрасове. Не дается она мне, сколько я ни бьюсь над ней. Все выходит плюгаво, мелко, банально и вяло. Сказывается отсутствие философского образования – и старость. Вожусь, клею – и все не то». «Я пишу со скрежетом зубовным свою презренную книгу».

Ему, как воздух, необходимы одобрение и поддержка. В несохранившемся письме историку Тарле он назвал «злополучным» свой доклад «Некрасов о Пушкине», прочитанный в июне во Всесоюзном обществе по распространению политических и научных знаний и затем опубликованный отдельной брошюрой, – видимо, жаловался на то, что критики молчат, ни одного доброго слова в печати. Тарле утешает его: «Это был и по содержанию и по форме – яркий, истинно блестящий анализ революционной стихии в творчестве Некрасова. Слушатели сидели как зачарованные, полтора часа пролетели как 5 минут. Ну, если пресса не упомянула о нем, то, может быть, именно затем, чтобы Вы вследствие очевиднейшего успеха – не очень зазнались».

Публичные выступления Чуковского действительно имеют большой успех. "На прошлой неделе прочитал два доклада: один в Конференц-зале Академии наук СССР 17 января—о переводе *Love's Labours Lost* – и 19 января в Союзе писателей – об англо-американской детской литературе. Успех и там, и здесь очень большой, но и там и здесь удивление: как будто не ждали, что какой-то К. Ч. может сделать дельные доклады" (запись, сделанная 21 января 1949 года). «Выступал вчера вечером в Педагогическом институте имени Потемкина – читал о Маяковском вместе с его сестрой Людмилой Владимировной. Имел „бешеный“ успех – аплодировали полчаса». Это записано 24 июня 1950 года. Лекции – это и способ заработать, которым

пользуются многие севшие на мель литераторы: одна из дневниковых записей рассказывает об Андроникове, который в безденежье «перебивался лекциями – по 300 р.», в письме дочери есть фраза: «От отчаянья и безденежья я предложил Бюро пропаганды литературы ряд лекций о Репине» (сентябрь 1950 года). Спустя полгода он писал Лидии Корнеевне: «„Одолеем Бармалея“ окончательно разорила меня. „Бибигон“ заставил меня распродать по дешевке хранившиеся у меня некрасовские рукописи. „Книга о Чехове“ довела меня до того, что я в 65 лет должен был читать по клубам лекции» (книга «Чехов» долго не издавалась и вышла в свет только в 1958 году).

Впрочем, есть у лекций и другая сторона: они дают редкую в это мертвое время возможность говорить со слушателем о важном и волнующем своими неказенными словами, проверять свои догадки, оттачивать аргументацию. Кстати, несколько позже, в 1954 году, Б. Стальбаум в «Литературной газете» жаловался, что советских писателей, большинство из которых являются членами Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, «уговорить выступить с докладом или лекцией почти невозможно»; с публичными лекциями в этом году выступали всего три писателя – Лев Никулин, Ионас Шимкус и Чуковский.

В 1950 году литературу и искусство продолжают топтать, науку – укрощать. Очередные области науки, подвергшиеся идеологическому выпрямлению, – физиология и филология. В центральной печати развернулась масштабная дискуссия о языкознании. Случайно или закономерно та страшная слепая сила, которая уже столько сделала для уничтожения науки, которая поставила с ног на голову генетику и заклеймила ведущих физиологов «антипавловцами», – теперь неожиданно помогла языкознанию перевернуться с головы на ноги. Наука о языке при непосредственном вмешательстве Сталина смогла освободиться от идей давно покойного академика Марра, развитых его последователями до абсурда и навязываемых как единственно верное с марксистской точки зрения учение.

Чуковский внимательно следил за развитием дискуссии. Записал в дневнике: «Статья Виноградова умна до гениальности». Сам он, впрочем, ни в чем не участвует, молчит, не выступает в печати иначе как по юбилейным поводам. Работает над одиннадцатым и двенадцатым томами сочинения Некрасова – а это масса скучной, чрезвычайно кропотливой работы. («12-й том – самое трудное, что я когда-либо делал, – писал К. И. Оксману. – Это – собрание деловых бумаг Некрасова, его обращений в цензуру, его заметок на полях и т. д… я сдуру согласился

погрузиться в него. Вот и барахтаюсь в нем больше года, а конца моим мучениям не видно. X и XI тома тоже на мне».) Это занятие поглощает все его время.

Денег нет, чувствует он себя плохо. Марии Борисовне еще хуже (в декабре 1950-го он записывает в дневнике: «Вчера привез М. Б-ну из больницы. Едва жива»). Ее тоже терзают бессонницы, жить с ней трудно – и при этом ее мучительно жалко. Лидия Корнеевна в письме Давиду Самойлову обмолвилась, что Мария Борисовна последние двадцать лет своей жизни была психически больна. Со смертью Мурочки в ней что-то надломилось; сломалось – со смертью Бобы; довершил дело инсульт. Некоторые фразы в письмах (постоянное «маме лучше» – «маме хуже», упоминания о ее ревности, раздражительности, вспышках гнева, тревожности, стычках то с дочерью, то с невесткой) заставляют предположить, что и самой ей было нехорошо, и окружающим плохо. Жизнь в идиллическом Переделкине среди малины, флоксов и лауреатов Сталинских премий была довольно грустной. В марте 1951 года К. И. пишет сыну (видимо, после тяжелой семейной сцены) длинное письмо, где защищает и оправдывает жену: "У всей семьи складывается такое впечатление, будто я – ни в чем не повинный страдалец, замученный деспотизмом жены. Я сам виноват в этом лестном для меня заблуждении, ибо в минуты семейных бурь я жаловался, хныкал и т. д. Между тем это – заблуждение. Никто из вас не знает, какую роль здесь сыграли мои тяжкие вины перед нею. Какие травмы я наносил ей своей неверностью, своими увлечениями, сколько раз бывал неправ перед нею! Теперь она – разрушенный больной человек – не по моей ли вине? Нет ли у меня *обязанности* заботиться о ее светлом настроении, о том, чтобы ее не томила бессонница, не должен ли я (и мы все) уступать ей – соглашаться с нею, – памятуя, что это – больной человек, инвалид?" Чуть позже – в другом письме: не спал уже суток восемь, но стал спокойнее, "я опять нахожу в себе силы – заботиться о маме до последней возможности, жалеть ее, думать о ней. Говорил с психиатрами: оказывается, у них *нет* средств снять ее гневливость; есть только полумеры, паллиативы". Дочери он как о большом достижении рассказывает в одном из писем, что за последние две недели у него не было «ни одного столкновения» с женой, «ни одного слова неприязни или досады».

«Мастерство Некрасова», над которым он продолжает трудиться, ему категорически не нравится. Едва он успел написать дочери из санатория, что «очень поправился душевно» и к нему «вернулась веселость», – как отчаяние нахлынуло снова с удвоенной силой. Книга не удается. «Мало-помалу я пришел к

убеждению, что „Мастерство Некрасова“ печатать нельзя. Это полный крах – и на этот раз окончательный». Отчасти его укрепила в этой мысли Наталья Роскина, его очередной литературный секретарь, которая, пишет К. И. дочери, «отнеслась к моим главам с суровой насмешливостью, разрушила во мне последние остатки веры в себя», «по-молодому фыркала над моими потугами»… Она доказывала необходимость большего наукообразия, что Чуковский считал ложной дорогой… в конце концов с секретарем пришлось расстаться.

Эта история больно задела Чуковского, и без того не уверенного в качестве своей новой работы: недаром он написал об этом и дочери, и сыну. Письмо сыну не сохранилось – о нем можно судить по реплике из письма К. И. Лидии Корнеевне: «Коля пишет мне: „Не слушайся дур“. Я вообще никогда никого не слушался, ни дур, ни умных, иначе я не написал бы даже „Крокодила“. Я знаю одного судью, и этот судья – я сам». Этот судья судит «Мастерство Некрасова» и его автора беспощадно: «старость, умственная немощь, неумение мыслить широкими планами, которые нужны для этой книги»; «с этим ничего не поделаешь, никто в этом не виноват, и в 70 лет я имею право на духовную смерть» (это из писем, адресованных дочери); «писать я стал бесцветно и бездарно» (это из письма сыну).

В 1963-м, когда «Мастерство Некрасова» уже вышло многими изданиями и получило Ленинскую премию, К. И. писал в дневнике: «Я вполне равнодушен к этой книге. Она – худшая из всех моих книг. Писана во время проклятого культа, когда я старался писать незаметные вещи, потому что быть заметным – опасно. Стараясь оставаться в тени, я писал к юбилею Пушкина статейку „Пушкин и Некрасов“, к юбилею Гоголя „Гоголь и Некрасов“ и т. д. Перед этим (или в это время) я несколько лет писал комментарии к стихотворениям Некрасова – тоже ради пребывания на литературных задворках, не привлекающих внимания сталинской полицейщины. Человек я громкий и бросающийся в глаза, избрал себе тихую заводь, где и писал вполголоса. Если вспомнить, с каким волнением я писал „Поэт и палач“, „Жизнь и судьба Николая Успенского“, „Нат Пинкертон“, будет ясно, что книга моя „Мастерство“ – не творчество, а рукоделие».

И в 1964 году он признавался в письме к Соне Гордон: «Своей книги „О мастерстве Некрасова“ я не люблю, потому что в ней не мой голос. У меня есть другая книга „Некрасов“ (1930), там я – я. Книга эта не выходит теперь, но, повторяю, в ней я – я». И «Гоголь и Некрасов» ему не нравится: «В ней нет воздуха, нет свободы интонаций и жестов». И где их взять, когда воздуха нет нигде, не

говоря уже о свободе, дышать нечем, потому он так и мучается над своими некрасовскими трудами.

«Комсомольской правде» он в марте 1950 года сообщил, отвечая на традиционный вопрос о творческих планах: «Хочу написать сюжетную повесть – воспоминания, которые откроются рассказом о восстании на броненосце „Потемкин“. В повесть войдут воспоминания о встречах с А. М. Горьким, В. В. Маяковским, И. Е. Репиным и другими замечательными людьми».

Из детской литературы он словно вычеркнут: о нем, когдатошнем классике, детском писателе номер один, почти не вспоминают. В апреле 1951 года в «Правде» вышла большая, программная статья М. Белаховой «Детям – хорошие книги! О литературе для детей младших возрастов». В ней Чуковский даже не упоминался. «Надежды на Детгиз – отпадают», – горько прокомментировал он статью в письме дочери. Сыну написал иначе: "Думал ли я когда-нибудь, что меня обрадует обзор детской литературы (в сегодняшней «Правде»), где *не упомянуто мое имя.* А я, действительно, рад. Спасибо, что не ругают".

Летом ему вроде бы немного полегчало, сыну он писал: «Работается мне очень неплохо – вообще это лето было не бесплодно. Могло быть гораздо хуже». Правда, много времени и сил съели хлопоты о восстановлении в вузе внука Николая, отчисленного за две двойки. Осенью К. И. заболел, лежал в больнице, снова собирался умирать. «Был уверен, что в тех редкостных случаях, когда имя мое будет упоминаться в печати, при нем утвердятся две цифры: 1882–1951; – цифры неплохие, дай бог всякому», – писал он Оксману.

Он постоянно говорит о своем одиночестве – и человеческом, и литературном. «На душе спокойно, как в могиле. Позади каторжная, очень неумелая, неудачливая жизнь, 50-летняя лямка, тысячи провалов, ошибок и промахов. Очень мало стяжал я любви: ни одного друга, ни одного близкого… Были у меня друзья? Были. Т.А.Богданович, Ю. Н. Тынянов, еще двое-трое. Но сейчас нет ни одного человека, чье приветствие было бы мне нужно и дорого. Я как на другой планете – и мне даже странно, что я еще живу», – пишет он в дневнике ночью в канун 70-летия. Ночью, в бессонницу, он остается наедине с собой – и пишет сухими, беспощадными словами. Утром тени отползают, глубина черноты пропадает, беспощадные слова делаются плоскими, одиночество – не таким пронзительным. Все оказывается другим.

«Днем все повернулось иначе – и опровергло всю мою предыдущую запись». Днем приехали внуки, привезли подарки, картину, приехали друзья, пришли письма и телеграммы, принесли подарки, прибыло поздравление от Союза писателей…

«похороны по третьему разряду», комментировал ядовито именинник, добавляя, что лучших он «по совести не заслужил»… Между тем Оксман писал ему: "Из всех наших больших мастеров литературы вы, конечно, самый молодой, самый острый, самый осведомленный, самый блестящий. И все это налицо к Вашему 70-летию, и все это в каждой новой Вашей работе *очевиднее,* чем прежде" – и надо знать нелицеприятность Оксмана, чтобы понимать цену этих слов.

Существует апокрифический рассказ – возможно, об этом самом юбилее; говорят, он передается из уст в уста со слов Валентина Берестова. Рассказ таков: где-то в начале пятидесятых к Чуковскому никто не пришел на день рождения, как к депутату Балтики в старом фильме. Никто не прислал поздравлений. И Чуковский, гласит предание, вышел на балкон переделкинской дачи и – глядя в сторону Кремля – произнес слова проклятия: погодите, мол, будет вам еще и пятьдесят третий год, и шестьдесят четвертый, и восемьдесят второй, и две тыщи одиннадцатый!

Si non è vero, è ben trovato,[17] гласит старая пословица. Подождем две тыщи одиннадцатого и убедимся.

Времена эти каждому хотелось пересидеть, переждать в тихой гавани. Газеты сурово спрашивали: где ваши произведения, товарищи писатели? где критика, товарищи критики? Где товарищеские обсуждения, товарищи товарищи? Но все отмалчивались, отводили взгляды в сторону, заболевали, отсиживались. Пресса с улюлюканьем травит космополитов, повторники отправляются по этапу в лагеря.

Начало 1950-х: что ни день, то новый поворот гаечного ключа. Казалось, некуда уже – оказывается, есть куда. Осенью 1950-го – опять «Ленинградское дело», аресты, суд, смертные приговоры; летом 1951-го – война против «идеологических извращений в литературе»: поэта Сосюру поучают, как правильно родину любить: воспевать просто Украину нельзя, надо воспевать Советскую Украину. Наступает 1952-й, и вот вам кибернетика – «реакционная лженаука».

Вслед за Германией разделилась надвое Корея; мир расколот холодной войной. На полигонах взрываются атомные бомбы. Чуковский озабоченно пишет в дневнике: «Газетные известия о бактериологической войне мучают меня до исступления: вот во что переродилась та культура, которая началась Шиллером и кончилась Чеховым». Он одинок не в семье, не в литературе, не в стране даже – он одинок в мире, где чувствует себя последним тающим айсбергом, осколком ушедшей на дно колоссальной сложной культуры – уже непонятной, уже ненужной ни на том, ни

на другом полюсе. Там – воспитание гангстеров, здесь – воспитание винтиков; там – индивидуализм до полного «человек человеку волк», здесь коллективизм до полного обесчеловечивания. Там оболванивание и здесь оболванивание. Куда деваться апологету мастерского ручного труда в мире победившего машинного производства? Кажется, весь твой багаж знаний, все твое умение видеть красоту и наслаждаться ею – это никому не нужно; недаром он писал в дневнике, что его и своя-то судьба мало волнует – но неужто ему доведется увидеть перед своим концом судьбу всего мира? Деваться некуда, бежать некуда, разве что к детям: они еще не потеряли индивидуального выражения лица, остроты реакции, любопытства, непосредственности… Впрочем, к детям уже тоже нельзя: пошлый и вредный! И Чуковский стоит в стороне, не высовывается, молчит; он сейчас – «и другие».

Пишет небольшие статьи в газеты: в «Литературке», например, в статье «Здесь ребята крепко спят» цитирует три стихотворения, написанные одним и тем же размером, с одинаковыми рифмами, и везде «ребята спят». И предупреждает: в детской поэзии «начинают вырабатываться дюжинные, шаблонные приемы и формы, за которыми уже не чувствуешь индивидуальности автора»; в стихах нет динамики, авторы уводят детей «к самой неинтересной, самой статичной, бездейственной, бесфабульной теме – к тихому созерцанию всевозможных кроваток, в которых недвижно покоятся спящие». Хороший портрет русской литературы 1952 года.

В апреле того же года состоялось Всесоюзное совещание по вопросам детской литературы. Ничего особенно интересного о нем сказать нельзя: опять выдвигались требования повысить идейный и художественный уровень детской литературы, приложить все усилия к делу коммунистического воспитания подрастающего поколения. Докладчиком был Сурков. Маршак говорил о необходимости хороших учебников, Барто – о том, что нужна сатира и юмор для детей. Разумеется, как и во взрослой литературе, особо подчеркивали, что нужна критика («Крайне мало сделано за последние два года для выполнения указаний XIII пленума в отношении активизации критики детской литературы», – сказал Сурков), – в общем, ничего революционного.

"…Слушая доклад Суркова на совещании по детской литературе, я оглянулся и увидел стоящего позади седого, стройного Корнея Ивановича, – пишет Евгений Шварц в «Белом волке». – Ему только что исполнилось семьдесят лет, но лицо его казалось тем же свежим, топорным, и неясным, особенным.

Конечно, он постарел, но и я тоже, дистанция между нами сохранилась прежняя. Все теми же нарочито широкими движениями своих длинных рук приветствовал он знакомых, сидящих в разных концах зала, пожимая правую левой, прижимая обе к сердцу. Я пробрался к нему. Сурков в это время, почувствовав, что зал гудит сдержанно, не слушает, чтобы освежить внимание, оторвался от печатного текста доклада и, обратившись к сидящим в президиуме Маршаку и Михалкову, воскликнул:

– А вас, товарищи, я обвиняю в том, что вы перестали писать сатиры о детях!

И немедленно, сделав томные глаза, Чуковский пробормотал в ответ:

– Да, да, да… Это национальное бедствие.

На несколько мгновений словно окно открылось, и на меня пахнуло веселым воздухом двадцатых годов. Но не прошло и пяти минут, как Корней Иванович перестал слушать, перестал замечать знакомых, и я почувствовал себя в старой, неизменной полосе отчуждения. Прищурив один глаз, ступил он в сторону за занавеску к выходу и пропал, как будто его и не было. Удалился в свою пустыню обреченный на одиночество старый белый волк".

Сам Чуковский говорил на совещании о необходимости написать историю детской литературы и ругал редактора, выпустившего в свет неперепроверенную и незаконченную работу рано умершей исследовательницы русской детской литературы А. Бабушкиной. (Идею такой книги он вынашивал давно, еще с военных лет, и тогда же писал о ней Маршаку; пытался что-то сделать сам, но до конца труд не довел, хотя и опубликовал отдельно свои заметки о военных сатирах Маршака.)

Сурков в докладе среди мастеров детской книги упомянул Чуковского. Михалков тоже. Во времена, когда присутствием в таких «поминальниках» прямо определялось место в литературе и, соответственно, возможность печататься, это значило довольно много. Многие писатели на совещаниях и съездах сидели и ждали: упомянут их или не упомянут. И кого упомянут больше, а кого меньше. Но эти игры Чуковского занимали очень мало.

Время это тянется и тянется, как плохой триллер с нагромождением бессмысленных ужасов; уже нет душевных сил бояться, уже и не страшно даже, а бесконечно тошно.

В июле вынесен приговор членам Еврейского антифашистского комитета, 12 августа он приведен в исполнение. Среди расстрелянных – еврейские поэты Фефер, Маркиш, Гофштейн и Лев Квитко, не самый близкий, может быть, но добрый и надежный друг Чуковского, автор не только

хрестоматийного «наш отряд хочет видеть поросят», но и нежных, ясных, зорких стихов о повседневных детских чудесах: о смеющейся рыбке, о молодых елочках, похожих на медвежат, о землянике, о ручье, о солнечном одуванчике:

Одуванчик серебристый,
Как чудесно создан он:
Круглый-круглый и пушистый,
Солнцем теплым напоен…

(Перевод Е. Благининой)

И – молчание.

Об этом не говорят, не пишут друг другу, это носят в себе и с этим живут.

На публике Чуковский, как всегда, подтянут, изысканно вежлив, остроумен. Дамам говорит комплименты, с литературными врагами изящно пикируется, метко посылая отравленные стрелы. Как обычно, он тащит гору скучной, убийственной, надоевшей работы – в которую, правда, можно спрятаться от себя и от времени. А ночью, в бессонницу, предается тоске.

Осенью у Марии Борисовны был второй инсульт, парализовало правую руку; «речь ее становилась невнятной, настроение – ужасным, отчаянным», – сообщал К. И. в письме дочери. «При ней я состою неотлучно, читаю ей вслух, развлекаю ее и не могу оставить ни на сутки», – писал он Оксману в октябре 1952 года.

В том же письме К. И. перечисляет, чем занят: меняет в своем переводе шекспировских «Бесплодных усилий любви» «некоторые слишком скоромные стихи – по требованию театральной дирекции», публикует несколько статей к очередному юбилею Некрасова (статью «Ленин о Некрасове» в «Октябре» «обкарнали, сократили вдвое, вытравили основную мою мысль, исказили слог»; в «Новом мире» печатается «Щедрая дань», тоже подвергшаяся «вивисекции», пишет он в дневнике 4 декабря). Выпускает в свет опостылевший двенадцатый том Некрасова, редактирует трехтомник поэта, издает его книгу для детей младшего возраста; в письме Лидии Корнеевне упоминается еще доклад для Академии наук по текстологии Некрасова, правка переводов Уитмена для нового издания, правка перевода «Принца и нищего»…

Выходит в свет «Мастерство Некрасова» – «хаотическая, беспомощная книга, которую я не довел до конца» (так Чуковский характеризует ее в письме), «сырой, рыхлый, недопеченный

пирог» (так бранится в дневнике). Дочери в ноябре пишет, что книга «сырая, недоделанная», – но с радостью рассказывает, что показал некоторые фрагменты Маршаку, «и он, человек гениального вкуса, – одобрил их безо всяких оговорок».

И при этом всем – безденежье. «Как это ни смешно, денег нет ниоткуда, и у меня кризис – уже 2-й месяц. Никто ничего не платит. Все платежи впереди».

Сдавленное племя

Самуил Лурье в своем предисловии к переписке Чуковского с дочерью писал, что К. И. «в последней трети жизни… при помощи преданного секретаря тщательно, усердно, с душой и талантом, со вкусом вытравлял из сочинений первой трети несоветские слова – вставлял советские, – и выпрямлял прежние мысли – перековывал, так сказать, крючки на гвозди. (Наиболее потрясающий памятник этого нечеловеческого труда – „Мастерство Некрасова“: незабываемо яркие давнишние догадки сделались невидимы в „свете работ товарища И. В. Сталина по вопросам языкознания“ – текст матовый, как потолок палаты в клинике ЦК КПСС.)».

А вот что пишет Юлиан Оксман про тот же «потрясающий памятник нечеловеческого труда» – по горячим следам, едва книга только вышла: «Имел неосторожность принести Вашу книгу на скучное заседание Ученого совета – книга пошла по рукам, все ахали, охали, листали, перелистывали и умоляли меня хоть на денек, хоть на ночь, хоть на несколько часов позволить им почитать книгу о „Мастерстве Некрасова“… Вопросы именно „мастерства“ сейчас всех так кровно интересуют, что, конечно, в ближайшие недели Вы станете самым читаемым литературоведом не только в столицах, но и во всей нашей стране. Вы дали не только очень нужную книгу, не только блестяще сделанную книгу, но и первую научную монографию о Некрасове. И сделали это на самом высоком теоретическом уровне, недоступном, конечно, никому из наших современников (я имею в виду литературоведов). Значит ли это, что все в вашей книжке одинаково хорошо, что в ней нет ошибочных утверждений и спорных заключений? Конечно, нет! Но обобщений такого масштаба и такой глубины у нас в области поэтики Некрасова не было, а самые методы изучения поэтического мастерства, выношенные Вами и демонстрируемые с таким блеском и такою силою в Вашей книге, открывают широчайшие перспективы для десятков исследователей предшественников Некрасова, для сотен работников в области изучения советской литературы».

Сейчас ровные, выдержанные строчки «Мастерства Некрасова» кажутся чуть ли не бесстрастными («потолок палаты в клинике ЦК КПСС»); сейчас мы невольно спотыкаемся на всяком упоминании социализма-коммунизма. А сколько еще цитат-марочек, вставленных ради прохождения цензуры, Чуковский потом исключил, сколько насиловали его книгу редакторы, пытаясь заставить вольные строки стоять по стойке смирно… Почему же эту подневольную, скучную книгу, которую сам он так не любил, выхватывали друг у друга, брали почитать на ночь?

Некоторый ключ к «Мастерству Некрасова» мы находим в статье Чуковского «От дилетантизма к науке», посвященной самому далекому от злобы дня вопросу – некрасовской текстологии. Статья вышла позже «Мастерства», в 1954 году, но крепко связана с книгой. Оксман и эту статью очень хвалил в письме: «Читается всеми филологами – и старыми и молодыми – как давно уже ничто в этом роде не читалось». Юлиан Григорьевич особенно подчеркивает ценность «важных наблюдений над спецификой журнальных текстов Некрасова, как политического поэта, приспособлявшего свою работу к условиям легальной печати».

Все они – писатели, поэты, критики, литературоведы, объединенные качествами, которые трудно обозначить одним словом (принадлежность к культурной традиции, опыт свободной речи, талант, несовместимость с казенной советской стилистикой?), в этом были большие мастера: нутром, шестым чувством угадывали всякую несвободу, всякое насилие над текстом, мучения самоцензуры, вынужденные купюры, тупой редакторский карандаш, приспособление к условиям. «В точно таких условиях, как лирика Некрасова, была в пору 50—80-х гг. лирика любого политического поэта, приспособлявшего свои рукописные тексты к нормам легальной печати. Да и не только лирика!» – пишет Оксман, и совершенно ясно, что он имеет в виду.

И ясно, что имел в виду Чуковский, который писал о вариантах стихотворения Некрасова, посвященного Белинскому: "Во втором варианте вина с этого поколения как бы снималась и сильнее подчеркивалось, что виноват тот жестокий режим, который душил в нем все живое и доброе. Поколение было названо сдавленным. Несомненно, этот эпитет более отвечал исторической правде, так как имя великого критика замалчивалось по распоряжению властей. Но впоследствии Некрасов вполне осознал, что все же правительственный гнет не снимает вины с поколения Дружининых, Галаховых, Кавелиных, Боткиных, все более забывавших заветы Белинского.

Отсюда третий эпитет: «сдержанное племя». И хотя мне эпитет «сдавленное племя» кажется более метким, мое мнение не имеет здесь ни малейшей цены, и я обязан исполнить отчетливо выраженную волю поэта".

И еще: "Некрасов и сам говорил об одной из своих поэм: «Кончивши, начну ее портить; может быть, и пройдет, если вставить несколько верноподданнических стихов…» И о другой: "Думаю, что в таком испакощенном виде (какой он придал законченному тексту поэмы, чтобы сделать его наиболее «легальным». – *К. Ч.)* цензура к ней придраться не могла бы", то есть сам указывал, что беловые рукописи этих поэм, искаженных им под давлением цензуры, не выражают его авторской воли и что, значит, те рукописи, которые непосредственно предшествуют им, выражают эту волю гораздо полнее, точнее и правильнее – поскольку дело касается политического их содержания".

То-то и читались эти серьезные литературоведческие статьи, как актуальнейшие политические памфлеты, то-то и производили они впечатление рвущихся бомб, что все нужное в них было сказано прямым текстом, хотя и отнесено на столетие назад:

> Переносится действие в Пизу —
> И спасен многотомный роман.

Это Чуковский цитирует Некрасова в главе «Мастерства», которая так и называется: «Эзопова речь». Среди приемов эзоповой речи фигурирует и такой: «Пятый прием эзоповой речи заключался в том, что сатире, направленной против современных порядков, придавалась внешняя форма сатиры, обличавшей порядки далекого прошлого».

Нет, конечно, «Мастерство Некрасова» – никакая не политическая сатира, а серьезное литературоведческое исследование, однако характеристика эпохи, в которую создавалась эта книга, в ней приводится самая яркая:

«Началось „мрачное семилетие“ доносов, арестов и ссылок. „Террор внутри, – записал современник, отнюдь не принадлежавший к оппозиционному лагерю, – преследование печати, усиление полиции, подозрительность, репрессивные меры… На сцену выступает Бутурлин с ненавистью к слову, мысли и свободе, проповедью безграничного послушания и молчания… Доносы развиваются до сумасшествия“. То, что еще месяц назад беспрепятственно разрешалось цензурой, теперь было объявлено преступной крамолой, направленной к потрясению основ государства. В официальном языке того времени – в языке доносов и казенных реляций – зазвучало слово

„коммунист“, которое применялось огулом ко всякому, кого подозревали в недовольстве властями».

Условия жизни «мрачного семилетия» 1848–1855 годов, закончившегося со смертью Николая I, легко проецируются на условия мрачного семилетия 1946–1953 годов. Ну еще можно вместо «Бутурлина» подставить любую подходящую фамилию, а вместо «коммуниста» – «антипатриота», «космополита», «низкопоклонника»…

Исследования «приспособления к условиям легальной печати» давали возможность понимать, как могли дышать люди, которыми искренне восхищаешься, в условиях безвоздушного пространства. Как выживали, как могли писать. И конечно, эта работа помогала правильно расставить акценты, верно выстроить историческую перспективу – и поэтому давала надежду в это совершенно безнадежное время: они выжили, и мы выживем, они смогли, и мы сможем. Они не потеряли себя в цензурных гонениях и ссылках – и у нас получится. Можно было соразмерять свою жизнь с жизнью Некрасова, Белинского, Чернышевского; на их примере постигать истинную цену мучительных компромиссов, учиться говорить с зажатым ртом и добиваться того, чтобы тебя услышали.

Чуковский цитирует Герцена: «Николай в последние годы своего царствования достиг того, что заставил замолчать всю Россию, но он не мог заставить ее говорить так, как ему хотелось». Сталин, конечно, добился большего – но сравним эти строки с постоянными газетными попреками второго мрачного семилетия: где современные темы, где отражение действительности в ее революционном развитии, где настоящая критика, почему все молчат?

Но, конечно, сводить все «Мастерство Некрасова» к фиге в кармане, к политическому памфлету было бы в высшей степени неправильно. Автор не делал никаких специальных политических намеков, и если строки столетней давности звучали с пугающей актуальностью, – то не потому, что автор под одеялом подкусывал режим, а потому, что системные признаки тирании неизменны, и в иные времена Салтыков-Щедрин или Герцен автоматически становятся самыми злободневными писателями.

В любом случае, заслуга Чуковского отнюдь не в том, что он описал скверные общественные условия, в которых приходилось жить и работать Некрасову, так, что каждый мог спроецировать эти условия на современность: режим Николая I и без него было кому обличить, разве что с иной расстановкой акцентов. Перед автором стояла куда более важная и серьезная задача: освободить образ Некрасова от бездарной ретуши. Избавить любимого поэта

от репутации не очень даровитого, но идейно правильного – репутации, которая возникла еще до революции и всячески поддерживалась в советское время.

В книгу была полностью включена статья «Пушкин и Некрасов». Некрасов, рассказывал в ней Чуковский, «поставил себе боевую задачу: наперекор фальсификаторским бредням отвоевать Пушкина у его мнимых союзников, выдвинув и прославив в поэзии подлинные черты его личности». Ту же цель – отвоевать Некрасова у его мнимых союзников – ставил себе и Чуковский. Он доказывал всеми сотнями страниц своего «нечеловеческого труда», что Некрасов – не просто «певец горя народного», «поэт-гражданин», «светоч революционной журналистики» – а прежде всего поэт, и поэт истинный, мастер своего дела, исключительный по своей смелости новатор, реформатор поэтического языка—и что уважения, любви и внимания он заслуживает именно как поразительный художник слова.

К. И. цитировал многочисленных «почитателей», считавших, что Некрасова можно любить только за его направление, и горячо доказывал: «Если бы форма этих революционных стихов была действительно слаба и ничтожна, стихи были бы мертвым литературным балластом и только губили бы великую тему… Будь Некрасов равнодушен к художественной форме стихов, их агитационная сила была бы равна нулю».

Сам Чуковский без устали обличал авторов подобного балласта – особенно в детской поэзии. Например, в 1960 году на пленуме Союза писателей РСФСР он говорил о «сонном равнодушии ремесленников», сочиняющих такие «геморроидальные строки» – например, о комнате Ленина в музее:

> Простые вещи в комнате стоят,
> Но как они о многом говорят.

«Литературная техника не знает приемов, при помощи которых департаментскую, чиновничью скуку можно было бы выдать за горячее чувство сердечной любви», – негодует Чуковский. Его занимает творческий путь Некрасова-мастера – от подражания Пушкину – через преодоление Пушкина – через сближение с Гоголем – через родство с фольклором и преодоление фольклора – под направляющим влиянием Белинского – к уникальной собственной форме. Он с упоением рассказывает об остроте художнического взора Некрасова, о великом мастерстве, с которым он способен передать «нервный

подъем при бессоннице, когда все внешние чувства обострены до предела, до восприятия „тончайших сетей паутины, что как иней к земле прилегли“». О его жадности к жизни, о неумолчной радости, с которой он любуется красотой весны, деревенского пруда, сельской ярмарки. О виртуозном владении ритмом, размером, рифмой, звукописью, о точности выбора выразительных средств, о строгой и внимательной работе над словом.

Книга была попыткой Чуковского пройти по собственному пути между Сциллой формализма и Харибдой вульгарного социологизма. Путь был особенно нелегким, потому что Сцилла требовала большего наукообразия, терминологической строгости и сухости – а Чуковский даже о таких сугубо специальных вещах, как силлаботоническая метрика и «трехстопный ямб с двумя концевыми неударными, образующими дактилические окончания стихов», ухитрялся говорить просто и взволнованно; терпеть это в науке, пожалуй, было никак нельзя. Харибда тоже не дремала, полагая, что единственно достойные предметы для освещения – «идейное своеобразие», «отражение действительности в ее революционном развитии» и т. п.; для исследователей Некрасова было заготовлено довольно большое количество штампов, и отказ от них был сродни бунту… Чуковский умудрился создать полноценное исследование, аккуратнейшим образом проложив маршрут ровно посередине. Впрочем – эзопова речь, чудо лавирования, необходимость взвешивать каждое слово – «текст матовый, как потолок в палате», – чудо, что книгу, созданную в таких условиях, вообще можно читать. А читать «Мастерство Некрасова», безусловно, можно. И что еще важнее – из этой книги читатель выносит убеждение, что Некрасов был прежде всего гениальный поэт. А не только певец горя народного и представитель критического реализма, предтеча реализма социалистического.

Впрочем, читатель, может быть, эти представления и выносит, но на критиков эта закономерность не распространяется. 7 мая 1953 года в «Литературной газете» вышла обширная рецензия Анатолия Тарасенкова на «Мастерство Некрасова». Рецензия поражает своей глухотой к рецензируемому тексту. Начиналась она – безо всякой иронии! – с обширной коллекции штампов, борьбе с которыми была посвящена вся книга Чуковского: «Некрасов – великий революционный демократ в поэзии, певец народа, его передовых чаяний и устремлений, поэт, с гневом изображавший бар-крепостников и их прислужников – либералов». Далее следовала цитата из Сталина, и автор продолжал: «Поэтика Некрасова – поэтика критического

реализма в одной из высших точек своего развития, поэтика беспощадно правдивого изображения жизни такой, какой она была в ту историческую эпоху». Именно так в «ту историческую эпоху» и полагалось писать о Некрасове. Чуковский со своими – некрасовскими – тончайшими паутинками был не ко двору. Хуже всего, что после этого Тарасенков (по возрасту годящийся Чуковскому в сыновья, однополчанин его сына) еще и занялся анализом книги, усвоив снисходительный тон многомудрого оппонента, разбирающего дипломную работу даровитого, но неопытного юнца.

«Поэтику Некрасова часто толковали то в духе вульгарного социологизма, то с точки зрения откровенного формализма… Несостоятельной была и предпринятая когда-то К. Чуковским попытка свести особенности поэтики Некрасова к заунывным, плачущим, мучительно рыдающим интонациям (К.Чуковский „Некрасов, как художник“. П., 1922)… Перед нами исследование, в котором автор решительно пересмотрел свои прежние взгляды… В книге „Мастерство Некрасова“ нет прямой полемики с К. Чуковским, автором книг о Некрасове, выходивших в двадцатые и тридцатые годы. Нет в ней и самокритики – ясной, прямой. Об этом следует пожалеть, в этом следует упрекнуть автора. Хотя бы коротко о своих прошлых ошибках Чуковский должен был сказать, раз он их понял и от них отказался… Прежнее стремление к нарочитой оригинальности сменилось теперь углубленным историзмом, добросовестным изучением материала».

Тарасенков искренне старался дать образец товарищеской, нелицеприятной, объективной критики. С одной стороны, «книга Чуковского хороша своей конкретной предметностью, осведомленностью автора, тем, что его выводы не произвольны, что они всякий раз опираются на серьезную фактическую основу», книга «принесет большую пользу нашим поэтам». С другой стороны, «нужно предостеречь исследователя», ибо он увлекается и делает неправомерные выводы. «Не удержался в пределах подлинной научности», «здесь, опять-таки, как это бывает с К. Чуковским, он импрессионистичен, он покидает почву научного исследования». «Конкретных совпадений и подражаний у Некрасова меньше, чем это кажется увлекающемуся и увлеченному Чуковскому».

К. И. записал в дневнике: «Статейка Тарасенкова в „Лит-газете“ глубоко оскорбила меня – не знаю, чем, – должно быть, своим хлестаковством. Хотя намерения у него были самые добрые». Пожалуй, еще больше оскорблял язык статьи – статьи, посвященной мастерству! «Чуковский убедительно раскрывает»…

«Чуковский разоблачает»… «убедительно разбирает автор»… «Чуковский показал»… «автор показал»… «книга со всей очевидностью показывает»… Люди разучились говорить своими, неизбитыми словами, и это было страшнее всего.

В июле книгу Чуковского похвалила «Правда» – газета, которая несколько лет назад отправила его в литературное небытие. «Люди поздравляют меня, а статья кособокая и мутная», – мрачно занес К. И. в дневник. Затем вышло еще несколько рецензий, в основном хвалебных – но и это его не радует: «Но я ни с кем не согласен – ни с Твардовским, ни с Ермиловым, ни с Ждановым. Книга моя плохая, в десять раз хуже, чем была бы, если бы меня не заставили работать одновременно над XII томом!»

«О, как не нравится мне эта книга – педантская, без широких масштабов, невдохновенная», – писал он, держа корректуру второго издания.

Наступает весна

Начало 1953-го – опять дыра в дневниках, письмах, публикациях, Чуковский снова пропадает. Снова вздымается девятый вал истории: новый приступ государственного садизма – дело врачей-убийц. Страной овладевает паранойя, поликлиники и больницы пустеют, из уст в уста передаются слухи – один другого страшнее. Темнота, теснота, духота такая – не продохнешь.

И вдруг – смерть Сталина, казавшегося бессмертным, траур, скорбная музыка, слезы, похороны, всенародное горе… «Скорбь простого народа», гласят газетные заголовки, «плечо к плечу, сердце к сердцу», «сплотимся еще теснее», «скорбь превращается в силу». И почти сразу, как только чуть схлынула волна всенародной скорби и просохли слезы, – сразу обозначился поворот к весне, пока неявный и малозаметный. В «Литературной газете», к примеру, вышел ничем не примечательный очерк Николая Вирты «Весна идет» – обличительная история о плохом колхозном руководстве в селе Горелое на Тамбовщине: «Да, плохо поработала в этом году МТС»… «разваливая овощеводство». Но даже в этом дежурном тексте чувствуется: весна, весна идет…

И тональность дневниковых записей К. И. меняется. Сначала чуть-чуть. Ничего особенного – записи о дне памяти Горького. Между строк сквозит отчетливая радость встречи, и Маршак обнимает друзей, и Чуковский перечисляет старых знакомых – и те здесь, и те, и эти… Федину, у которого дома умирает жена, никак не дается казенная речь о том, какой потерей стала смерть Сталина для *литературы* («литературу» сам Чуковский выделяет

курсивом). Пел Козловский – и К. И. пишет: «Я не столько слушал, сколько глядел на публику: какая она молодая, горячая, впечатлительная, как нигде, ни в одной стране».

28 марта газеты опубликовали указ нового правительства, объявляющий амнистию, сокращающий долгие сроки отсидки, возвращающий из ссылки, требующий пересмотра уголовного законодательства в сторону смягчения! Люди, навсегда, казалось, исчезнувшие из жизни, стали возвращаться. И вот тут уже стало ясно: весна пришла. Дождались.

1 апреля, день рождения Чуковского, – «яркий, солнечный, бодрый», записывает К. И. в дневнике. Дни пронизаны солнцем и лучатся счастьем. 13 апреля он пишет: «Дивные апрельские события! Указ об амнистии, пересмотр дела врачей-отравителей окрасили все мои дни радостью». Дневниковые записи К. И. отмечают эту новую вспышку совсем было погибших и почти уже похороненных надежд. Вот зашедший в гости литературовед Сергей Бонди рассказывает, что готовится защищать свой курс лекций от нападок, – надеется, что заседание, посвященное обсуждению этого курса, будет «пробным камнем всего, совершившегося в эти апрельские дни», и с восторгом говорит о новом правительстве. Вот Чуковский пишет об общей вере в то, что «новое правительство будет давать народу новые и новые облегчения и льготы» – «все уверенно ждут к 1-му мая введения 7-часового рабочего дня, увеличения пенсий, повышения заработной платы, и т. д., и т. д., и т. д.». Газеты сообщают о неуклонном росте благосостояния советского народа, снижении цен и росте дороговизны в странах капитала. «С удвоенной энергией»… «хочется работать еще лучше»… «в ответ на заботу партии и правительства шире развернуть социалистическое соревнование»…

Чуковский не особенно обольщается слухами о том, как скоро все станет хорошо. Он достаточно долго прожил на свете и достаточно часто бывал обманут в лучших ожиданиях—и потому иронически цитирует слухи о «новых порядках»: «„Кремль будет открыт для всей публики“, „Сталинские премии отменяются“, „займа не будет“, „колхозникам будут даны облегчения“, и т. д., и т. д., и т. д… Все, чего хочется обывателям, – они выдают за программу правительства». И записывает слова Катаева, который не верит в возможность оздоровления литературы: «Слишком много к ней присосалось бездарностей, которым никакие реформы не выгодны». (Кремль для публики, кстати, открыли, Сталинские премии отменили немного погодя, чуть позже дождались облегчения и колхозники – им выдали паспорта, отменив необъявленное крепостное право.)

И все-таки в самом деле: хочется работать. Как только появляется радость – у Чуковского немедленно появляется желание писать, работать, освободиться от редактур, корректур, предисловий и примечаний. Но их слишком много, и освободиться от них не так просто: «У меня так много работы, что я… ничего не делаю». Он возится с внучкой Федина, радуется погоде, упрекает себя за то, что убивает свое время на никому не нужные мелочи, нерасчетливо тратит оставшееся ему время жизни. Приводит укоризненную реплику жены: «Писал бы сказки – вообще писал бы что-нибудь свое» и прибавляет: «Очень хочется писать свое, а я убиваю день за днем механической работой». «Хочется сделать что-нибудь „достойное нашей эпохи“». «Всегда у меня была тяга к событийной, напряженной, клокочущей жизни. В 21 год я уехал в Лондон – был на „Потемкине“ – писал бурные статьи – жил наперекор обстоятельствам, – а теперь точно в вате – только и могу жить в санаторных условиях, как и подобает старику».

И жить торопится, и чувствовать спешит. Но – большие впечатления, и в юности-то губительные для него, сейчас уже совсем неподъемны: он быстро устает, спит со снотворным. Он настолько погряз в своих редактурах и корректурах, так загрузил себя ими, что не может выпутаться из них, не в состоянии освободиться – он и хотел бы делать что-то, а сил и возможностей нет. И опять сыплются в дневнике жалобы на старость и болезнь, и изо дня в день повторяется: старым быть – стыдно. "Умирать *стыдно*. Другие живут, а ты умираешь. Если быть стариком совестно (это я знаю по себе), то насколько же стыднее умирать". «Убогая и монотонная старость». «Старость это всегда уединение, и всегда глупость, и всегда стыд. Стыдно седых волос, как позора. Вчера приезжал человек из телевизора… просит выступить, а я отказался, стыдно показываться таким стариком!» «Тоска, одиночество, отрешенность от живых».

Апрель: «Продержал корректуру двух томов Некрасова для Гослита и одного для Детиздата. Нужно для Аветовны писать о Маяковском. Для Треневской семьи – рецензию о романе Тренева. Что-то такое для телевизора. А для себя? Чего бы я хотел для себя? Чтобы М. Б. выздоровела, а я лежал бы на диване и читал бы Агату Кристи».

Майская запись: «Свалил с себя 60 печатных листов корректуры, и словно из меня вынули все мозги – не оставили ни сердца, ни крови. Пустой, безличный, отвратительно несчастный старик». И уже в июле он опять берется за общее руководство очередным Полным собранием сочинений Некрасова – на сей раз издаваемого «Огоньком». И опять, и опять: «корплю над

текстологией». «Корректуры: школьного Некрасова, III том Гослитского (2-я корректура), II том Гослитского (3-я корректура), всего около 70 листов (больше тысячи страниц!). Переутомление, тошнота, рвота от мозгового напряжения. Работал часов 20 подряд, именно потому, что эта работа мне так ненавистна, и я хочу поскорее от нее отделаться».

Секретарь его, Клара Лозовская, вспоминает: встретились в редакции «Огонька» Чуковский и Ираклий Андроников. Андроников бухнулся на колени и провозгласил: «Здравствуйте, свет вы наш, батюшка Корней Иванович!» Чуковский немедленно встал на колени тоже – «и, отбивая поклоны, они двинулись навстречу друг другу…». Затем помогли друг другу встать – и, как ни в чем не бывало, заговорили о своей работе над Лермонтовым и Некрасовым…

Поток истории бурлит и пузырится. Страну трясет от слухов о предстоящей денежной реформе: в сберкассах очереди, товары разлетаются с прилавков во мгновение ока; «потный, с выпученными глазами, с портфелем, набитым сотняшками, с перекошенным от ужаса лицом, – делает Чуковский в дневнике зарисовки сограждан, толпящихся в сберкассе. – И рядом с ним такие же маньяки. Женщина: „я стою уже 16 часов“… Все магазины уже опустели совсем. Видели человека, закупившего штук восемь ночных горшков». При этом никакой денежной реформы не последовало.

26 июня был арестован Берия, в июле его «преступные антигосударственные и антипартийные действия, направленные на подрыв Советского государства в интересах иностранного капитала», обсуждались на пленуме ЦК КПСС. Кругом говорят о Берии – Чуковский пишет, что ему «стало скучно, как ребенку в церкви». Он думает о семье Горького, внучка которого была замужем за сыном Берии; каково-то им сейчас, знакомым женщинам, которые – непонятно почему – связали свою жизнь с «гепеушниками самого растленного образца».

Начинаются литературные перемены – не слишком большие, но все-таки заметные: в Союз писателей заново принят Зощенко, собираются публиковать Ахматову. В Детгизе вновь выходят сказки Чуковского. «Как жаль, что там нет наиболее оригинальной моей сказки – „Бибигон“… За что истребили ее, неизвестно. Если бы ее написал иностранец и ее перевели бы на русский язык, все печатали бы ее с удовольствием», – пишет К. И. в дневнике; а вот «Одолеем Бармалея!» он перечитал, и сказка ему «ужасно не понравилась».

Федин «говорит, что в литературе опять наступает весна». Пастернак кричит Чуковскому из-за забора: "Начинается новая

эра, хотят издавать *меня!.."* "Кажется, язвительней некуда, – комментирует Самуил Лурье, – этот возглас войдет в пословицу – местоимение даже подчеркнуто: как близоруко себялюбивы наши литераторы! Но тут же Корней Чуковский обозначает масштаб своих политических упований:

"О, если бы издали *моего* «Крокодила» и «Бибигона»!"

Должно быть, ему следовало немедленно выразить горячее желание увидеть крушение советского строя, тогда бы в глазах потомков он выглядел бы героем. А так – «близоруко себялюбивы наши литераторы».

Частная жизнь идет своим чередом: внучки радуют победами (одна защитила диссертацию, вторая хорошо сдала госэкзамены), внуки огорчают неожиданными выходками. Дочь пишет воспоминания о Житкове, сын закончил военный роман «Балтийское небо» и пытается его издать. Марии Борисовне, кажется, полегчало. У Корнея Ивановича новый литературный секретарь – Клара Израилевна Лозовская, единственная из секретарей, которая удержалась у него надолго – на целых 16 лет.

Чуковский опять погружен во множество литературных и нелитературных дел: в результате «новых веяний» стало возможно не только понемногу издаваться, но и добиваться нужных административных решений; в переписке с Лидией Корнеевной обсуждаются вопросы помощи адвокату Киселеву, изгнанному из профессии (это тот самый адвокат, который пытался помогать им, когда арестовали Митю Бронштейна), хлопоты о предоставлении новой квартиры Тамаре Габбе, которая жила со стариками-родителями в коммуналке, где не было даже ванной комнаты (хлопоты эти оказались безуспешными). В дневнике записан разговор с новым «либеральным» министром культуры Пономаренко – Федин и Чуковский говорили с ним о необходимости переиздать «Воспоминания» А. Н. Тихонова.

«Новые веяния» сказались и в том, что в конце года – в декабре – вышли две серьезные программные статьи, посвященные одному и тому же явлению: литературной фальши, безудержной лакировке действительности. «Новый мир» опубликовал статью Владимира Померанцева «Об искренности в литературе», а «Литературная газета» – статью Л. К. Чуковской «Гнилой зуб» (правда, редакция дала ей заголовок в более привычном стиле – «О чувстве жизненной правды»). Оба критиковали эстетику «заливных поросят и жареных гусей» (Померанцев), «оперных колхозов» и «оперных председателей» (Чуковская), оба предъявляли к литературе (взрослой – Померанцев, детской – Чуковская) требования быть достоверной; к литераторам – не врать в большом и малом, избегать штампов и

бесконфликтности. Все-таки есть ощущение, что повсюду открываются форточки и в эти форточки влетает свежий воздух. Появляется возможность писать своими словами, говорить своим голосом. Хотя, конечно, нельзя еще сказать и малой части того, что нужно.

В конце года, как водится, Чуковский перечисляет и нумерует ту гору работы, которая у него скопилась, – переводы, пересказы, переделки когда-то сделанного для новой публикации, статьи и редактура, общим числом 11 работ—и комментирует: «„Все это мура и блекота“, как любил выражаться Зощенко. Это – самоубийство. С 1-го января, если буду жив, возьмусь за большое: переработаю на основе учения Павлова свою книгу „От двух до пяти“, переработаю в корне „Воспоминания о Репине“».

Как же сместились за годы сидения в литературной неволе его представления о большом, если большим ему сейчас кажутся пусть и радикальные, но все-таки переработки когда-то уже написанного!

«Линия усиления показа трагизма судьбы»

«Хочется писать воспоминания о „Потемкине“, о „Сигнале“, о Репине. Урву ли свободное время?» – спрашивал Чуковский себя в дневнике 1 января 1954 года. Однако времени на то, чтобы писать свое, – опять нет: он снова занят изданием Некрасова в библиотеке «Огонька»; он сдал в печать статью «От дилетантизма к науке»; начал править «Мастерство Некрасова» для второго издания – внес больше тысячи поправок! Снова борьба с редакторами, снова попытки отстоять право на собственный стиль, ожидание, когда сданная в печать работа пройдет цензуру и вынырнет неузнаваемо искалеченной.

Ленинградские критики выдвинули «Мастерство» на Сталинскую премию – единогласно. Чуковский, пожалуй, не столько обрадовался, сколько удивился.

Летом отмечали 50-летие смерти Чехова. К. И. вновь пишет юбилейные статьи и выступает с лекциями. «Я одновременно читаю биографию О. Генри, готовлю статейку о Пантелееве, работаю над „От двух до пяти“, стряпаю передачи о Чехове для радио – о боже! как надоела мне эта пестрота», – пишет он в дневнике осенью.

Корректуры. Тоска. Переутомление.

Дневники полны литературных новостей и пересудов: обсуждаются новые статьи, разносы, перемены, газетные нападки – литература, кажется, слегка зашевелилась и ожила. Расцвета нет – есть шевеление, ожидание, выжидание.

Мария Борисовна болеет. Внуки взрослеют: Колин сын Николай (Гуля) женился. Чуковский тоже много болеет: весной лежит в больнице, летом так болен, что опять собирается умирать, осень проводит в санатории в Узком, затем в Барвихе. В этом году он впервые затеял в Переделкине костер – огромный детский праздник, где выступали поэты и артисты. Затем эти праздники стали ежегодными, иногда проводились и по нескольку раз за лето. Он снова читает свои стихи, сказки, загадки детям, выступает перед большими детскими группами. В дневник вклеена заметочка из «Правды», где Чуковский впервые за последние десять лет упомянут как детский поэт.

Чуковского-сказочника постепенно реабилитируют. В журнале «Дошкольное воспитание» о нем шла речь целых два раза в течение 1954 года; в одном номере кандидат педагогических наук Федяевская просто упомянула его «Мойдодыра» среди «любимых веселых книжек», в другом З. Г. Любина посвятила ему обширный фрагмент статьи «О советской сказке». Она хвалила его «Айболита» и «Мойдодыра» (почему-то «Мойдодыра» – за «жизненную правду»), но бранила «Муху-Цокотуху» и «Тараканище» за то, что не воспитывают в детях коллективизм: никто не противостоит злу, все прячутся, пока не появится герой, – и автор никак не наказывает трусов, а «добродушно описывает всеобщий праздник по случаю блистательного освобождения». «Такие сказки, – уверяла Любина, – не содействуют воспитанию у детей духа коллективизма, храбрости, единства действий. Надежда на заоблачного героя – плохая надежда».

Интересно, кстати, что как ни воспитывали в Чуковском коллективизм, как ни отстаивал он сам достоинства коллективного воспитания, – а в сказке его всегда действует одинокий герой: Ваня Васильчиков, Айболит, комарик, воробей, медведь… и Бибигон совершает подвиги сам, без коллектива. Только в «Одолеем Бармалея!» коллектив что-то делал, но все равно без личного героизма Вани Васильчикова не обошлось. Все-таки Корней Иванович был убежденным индивидуалистом, и никакой коллектив его не перевоспитал; может быть, дело в том, что он так много значения придавал именно самовоспитанию, внутренней работе человека над собой.

«Бармалей» для строгой Любиной, конечно, оказался неприемлем: «Метод запугивания не есть метод советской педагогики». Впрочем, хорошо уже и то, что о К. И. вспомнили как о детском писателе.

Возвращение из небытия – вот главное в этом году. Чуковский впервые с 1946 года увидел Ахматову, пережившую

травлю и почти гражданскую смерть: она переводит китайских поэтов и начинает печататься. Стали появляться первые люди, вернувшиеся из лагерей. В январе 1954 года вернулся арестованный ранее Борис Збарский – и уже в октябре умер. В ноябре из лагеря освободилась Лидина подруга юности Катя Воронина – состарившаяся, изможденная, бессильная. Лидия Корнеевна вспоминала, что Катя была так слаба, что обычную порцию еды беспрерывно ела понемножку весь день. «Второй раз в жизни мне случается выхлопатывать освобождение для нее», – записывал Чуковский в дневнике. Встретившись с Катей, писал: «Такое впечатление, будто ее только что переехал грузовик». Воронина тоже умерла очень скоро после освобождения – через несколько месяцев. Начались долгие хлопоты о реабилитации умерших и живых.

В печати первыми осмелевшими после зимы воробьями проскальзывают вольные слова – и тех, кто посмел их произнести, тут же одергивают. «Литературная газета» в мае опубликовала статью Сергея Михалкова, Николая Томана и Юрия Яковлева «По поводу критики: в порядке обсуждения». Авторы возражали Лидии Корнеевне на ее статью «О чувстве жизненной правды»: мол, жизненная правда состоит не только в изображении темных сторон жизни. Л. К. ответила новой статьей, снова переименованной в редакции (называлась «Истина рождается в спорах» – стала называться «Во имя главной цели»). Корней Иванович писал дочери об этой публикации горько и скептически: «Ты приходишь к растленным писакам и заклинаешь их Чеховым быть благородными. Это „трогательно“, потому что безумно».

В той же «Литературке» идет общественное обсуждение повести «Оттепель» Эренбурга. Какой-то севастопольский механик Хабаров выражает сомнение: не толкает ли новая повесть уважаемого автора «некоторых на неверный путь пассивного копания в человеческих душах, в частных фактах жизни, без ясного выражения отношения к ней?».

Слово произнесено: «оттепель». Литераторы давно хотят – о душе, о частных фактах жизни, о человеческом. А от них по-прежнему требуют типического, в революционном развитии, с ясным выражением отношения, всемерно и неуклонно способствуя дальнейшему процветанию социалистического государства и содействуя коммунистическому воспитанию масс. От треска штампованных фраз особо чуткие изнемогают. Осмелевшие воробьи, может, уже и летают – но все, что напечатано в государственной типографии на государственной бумаге, еще несет на себе тяжелый след штамповки. Готовыми рублеными фразами говорят даже о том, о чем нельзя такими

словами, – о литературе, о любви, о детях.

Осуществление задач. Щедрая забота. Безграничная любовь. Закаленная в боях. Ведущая, руководящая и направляющая сила советского общества, проводник социалистической идеологии в трудящиеся массы. Достигнуто дальнейшее улучшение и повышение. Это не из передовицы «Правды» выписано, даже не из «Литературной газеты» – это редакционная статья из того самого третьего номера «Дошкольного воспитания», где Чуковского вскользь похвалили как автора «любимых веселых книжек», где сразу за «закаленной в боях коммунистической партией» речь идет о воспитании в детях «культурно-гигиенических навыков» и – «Устроим кукле комнату»! Педагог перебивает рассуждения о чтении дошкольникам ритуальным треском: «В свете трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания мы осознали нашу ответственность за развитие речи ребенка».

Невозможно жить, невозможно говорить, когда речь и сознание засоряют тонны накопившегося идеологического хлама. Сбросить, скинуть, как шубу и валенки после зимы, освободиться от ненужного – именно об этом Чуковский и стал говорить на Втором съезде Союза писателей, который состоялся в декабре.

На съезд возлагали большие надежды. Обсуждение выносимых на него вопросов началось за несколько месяцев и шло не только на заседаниях секций, групп, правлений и президиумов, но и в частных разговорах, и в переписке. Чуковский и Оксман горячо обсуждали друг с другом возможность изменить сложившееся в литературоведении положение. Чуковский строил планы: насколько светлее и чище станет в литературе, если он на съезде «выйдет на кафедру и выведет на чистую воду редактуру сочинений Белинского—и перечислит поименно всех паразитов, облепляющих нас». Оксман писал об «обмене мертвых душ на живые по линии представительства в Академии наук и литературных институтах настоящей литературы», об «организации литературоведческого журнала». Все надеялись, что съезд не ограничится маленькой форточкой, а распахнет огромное окно в весенний мир, и в затхлом зале русской литературы, где воздух сперт до обморока, станет легко дышать.

Вообще процитированное письмо Оксману написано настолько странно, что не оставляет ощущение, будто оно предназначалось еще для одного читателя – того, что передаст его содержание куда следует. «Ведь действительно в Советском Союзе творятся огромные дела, каких никогда не было на нашей планете. Поэтична и величественна борьба за мир, за сказочно-быстрое освоение залежных земель. Работа и воля миллионов

людей направлена теперь к тому, чтобы исчезла Кривда и воцарилась бы Правда, – почему же, почему же, почему же в наших литературных отношениях столько криводушия и фальши?» Почему, спрашивал он дальше (невидимого читателя?), работы замечательного ученого Оксмана бойкотирует критика, почему до сих пор не публикуется книга Чуковского о Чехове? «Почему такое раздолье бездарным прохвостам?» Примите меры, мол, а не то как выскочу, как выпрыгну, как расскажу обо всем с трибуны съезда – полетят клочки по заулочкам!

Надежды на воцарение Правды поспешили не оправдаться. «Впечатление – ужасное. Это не литературный съезд, но антилитературный съезд», – в тоске записывал К. И. после первого заседания. Длиннейшие скучные речи, полные опостылевшей риторики. «Толчея, казенная канитель, длинно, холодно и шумно». «Не сплю много ночей – из-за Съезда». Отвратительно, постыдно выступал Шолохов, нападавший на Симонова и Эренбурга.

Чуковский превратил делегатский блокнот в филиал «Чукоккалы». Блокнот быстро наполнился многочисленными ироническими записями: «сурковая масса», «я помню чудное мгновенье, когда он кончил выступленье», «спор о самовыражении был достоин уважения. Вызывали возражения только сами выражения».

Сергей Михалков записал:

Те, кого упомянули —
Те ушли или уснули.
Те ж, кого тут не назвали —
Терпеливо преют в зале.
Те, кого докладчик ест —
В кулуарах кроют съезд.

Шварц, тоже бывший делегатом на съезде, писал в дневнике: «Говорил Корней Иванович, как всегда, – на публику. Говорил на языке критиков». «Встречали аплодисментами, горячо», – писал К. И. в дневнике. Слушали внимательно, хотя он говорил долго, и прерывали аплодисментами. Речь ему пришлось сильно сократить, да и то, что прозвучало, было еще раз сокращено при публикации в «Литературной газете»; от всей предполагаемой речи в защиту литературоведения от прохвостов уцелело упоминание Оксмана в ряду других имен ученых, чьи работы отличаются «высоким качеством литературного мастерства». В том же ряду по каким-то соображениям упоминался и Ермилов.

Начал Чуковский с рассказа о том, как попросил у

редакционного работника клей и услышал в ответ: «Я не в курсе этих деталей». Собственно, вся речь была не о порядках в литературоведении – а о том, как испорчен русский язык канцелярскими штампами, которыми изъясняются решительно все, не исключая литературоведов. Чуковский прошелся по бездарным, казенным школьным учебникам и диссертационным работам, которых ему приходилось читать очень много; цитировал, каким языком все это пишется: «Линия усиления показа трагизма судьбы»… Выступал против наукообразия в литературоведении: «Литературоведение – не только наука, но и искусство. Единственное средство этого искусства – язык, щедрый, изощренный и гибкий». Радовался признакам того, «что скуке приходит конец», – и выражал надежду, «что будет вытеснен тот импотентный, унылый, удручающий своей беспросветной серостью псевдонаучный стиль, которым все еще характеризуются многие литературоведческие наши работы и за которым, конечно, скрывается такое же тусклое, унылое мышление». Чем быстрее мы расчистим этот хлам, закончил он, – «тем более расчистится место для подлинно марксистских, т. е. строго научных и в то же время эмоциональных, взволнованных, по-настоящему партийных литературоведческих книг. Народ требует от нас этих книг. Работы здесь по горло, рабочие руки нужны до зарезу, но это должны быть сильные, талантливые руки мастеров, влюбленных в свое дело».

Ну, что «марксистское» на языке 1950-х годов значит «хорошее, доброкачественное» – это ни для кого не секрет, придираться не будем. Самое смешное – что сразу после К. И. на съезде выступал министр культуры Александров и говорил тем самым «импотентным, унылым, удручающим своей беспросветной серостью» языком, будто нарочно задался целью проиллюстрировать речь Чуковского. В зале хохотали, выписывали перлы на бумажку и слали К. И. Борис Полевой в своей речи непонятно зачем вдруг припомнил «Одолеем Бармалея!» – «когда-то эта сказка сильно огорчила меня на фронте». Правда, тут же выразил сочувствие Чуковскому: «Критики наши так огрели его по темени, что он вообще перестал писать для детей».

Душно. Скучно. Трудно. Спертая, надышанная атмосфера; очистительной грозы не случилось. Кончилось все это торжество Правды над Кривдой тем, что Чуковский потерял сознание прямо на съезде.

Настроение у него к концу года мрачное. Весь год он записывает: один умер, другой, третий. Этот умер, и этот, и этот тоже. Вот я в санатории, и сколько людей я здесь видел в разные

времена – и все они умерли! Вот пришел человек, рассказывает, что в Госиздате один за другим умерли три сотрудника. «Почему же я, их ближайший собрат по могиле, сейчас 1) сдаю Гослиту новое издание „Трудного времени“; 2) новое издание Авдотьи; 3) готовлю к выпуску „От двух до пяти“; 4) правлю корректуру „Телефона“ (с новыми рисунками Конашевича); 5) жду чистых листов 2-го изд. „Мастерства Некрасова“? Зачем мне все это, невозможно понять».

«Литературной газете» он рассказывал на рубеже 1954–1955 годов: «Закончил вчерне первый том своих „Воспоминаний“ – о Репине, Горьком, Короленко, Шаляпине, Маяковском, Куприне, Бунине, Брюсове, Кропоткине, Макаренко и других. Подготовил десятое издание книги о маленьких детях „От двух до пяти“, дополненное и сильно исправленное. Пользуюсь случаем, чтобы обратиться к читателям с просьбой сообщить мне свои наблюдения за ребятами этого возраста, над их поведением и речью. В 1955 году надеюсь закончить книгу „Чехов и его мастерство“».

В 1955 году его дневниковые записи продолжают кричать: умер, умер, умер! Из жизни один за другим уходят ровесники, современники, знакомые – как будто вместе пересекли какую-то грань, за которой их на земле уже ничего не держит.

4 января умер Владимир Евгеньев-Максимов, «мой закадычный враг», писал Чуковский. «Ненавидел он меня люто, но затаенно, похищал у меня целые страницы; в те времена, когда я был беззащитен (после катастрофы с „Одолеем Бармалея“), он в своих книжках о Некрасове смешивал меня с грязью, и все же мне жаль – до тоски – этого собрата по работе, по любви к Некрасову, по многолетним ленинградским связям».

5 января от кровоизлияния в мозг умер Евгений Тарле, давний друг Чуковского, считавший его критические работы «классическими».

21 января стало резко хуже Марии Борисовне. «У нее совершенно перестало действовать сердце, сильно болит левая рука, аппетита никакого нет, губы синие», – писал встревоженный Корней Иванович. И на следующий день – «щемящее чувство к родному гибнущему человеку душит меня слезами».

В один из этих дней Чуковский пишет сыну: «Маме все хуже и хуже. Сегодня я позвал чудесного врача… он сказал мне, что есть угроза нового инсульта… Кровяное давление у нее опять поднялось; явления склероза стали угрожающими».

1 февраля умер Михаил Лозинский, и, узнав об этом, отравилась его жена.

Марии Борисовне в феврале ненадолго полегчало – но уже 16

февраля из Переделкина в Москву летит телеграмма Николаю Корнеевичу: "Мама умирает, приезжай скорее, хочет тебя видеть – *дед".*

18 февраля Чуковский пишет в дневнике: "Лида зачитывает меня «Спутниками» Пановой. М. Б. в сознании. Не могу вынести ее взгляда. Она *плачет…"*

21 февраля Мария Борисовна умерла. "Лида, Марина, Люша зачитывают меня «Деньгами» Золя, а я мечусь в постели и говорю себе снова и снова, что я ее палач, которого все считали ее жертвой. Ухожу к ней на террасу и веду *с ней* надрывный разговор. Она лежит с подвязанной челюстью в гробу – суровая, спокойная, непрощающая, пронзительно милая, как в юности". К нему приходят люди, о чем-то с ним говорят – «но я всем существом был там с нею в нашем общем гробу».

И ночью пошел к ней на холодную террасу – и никак не может насмотреться на ее спокойное, величавое, отмучившееся, любимое лицо. И – видевший столько смертей, переживший стольких друзей и двоих детей – он пишет: «в первый раз понимаю, что такое смерть» – и идет на кладбище, «как на эшафот», и терпит долгую пытку: заколачивают гроб, закапывают могилу…

В последние годы он жалел ее. Стал мягче с ней, стал защищать ее перед детьми: отношения у них с мамой, быстрой на гнев, кажется, были довольно напряженными. За годы не самых безоблачных супружеских отношений он почти привык к мысли об одиночестве, о том, что его не понимают, – а на склоне лет, когда оказалось, что иных уж нет, а те далече, – она в самом деле оказалась самым близким человеком, самым знающим его, самым помнящим. Она одна была рядом с ним так давно, что казалось – всегда: с ранней юности. Она была такая же, той же породы, того же времени, того же поколения.

Ее не стало – и не стало половины жизни, и рядом образовалась огромная пустота: хочешь слово сказать – и некому. Он и разговаривал с ней после смерти: «Знаешь, Машенька, в моей комнате делают паркет… Видишь, у нас в московском доме другая система лифтов… Знаешь, вернулся из лагеря Сима Дрейден, тебе было бы интересно на него взглянуть…» Изумлялся странной и новой жизни без нее – после 53 лет вместе: странно, что кто-то ночует в ее комнате, что кто-то трогает ее вещи… Эта смерть – самый тяжелый удар для него за трудные последние годы. «Это горе совсем раздавило меня. Ничего не пишу (первый раз в жизни!), слоняюсь неприкаянный», – писал он Оксману через несколько месяцев после смерти жены. В первые дни – бродил по дому, по Переделкину, не зная, куда себя девать.

Перебирал, перечитывал многочисленные телеграммы и письма с выражениями соболезнований… фиксирует в дневнике: четыре месяца со дня ее смерти… пять месяцев… Он безысходно, безутешно скучал по ней. И писал, что торопится к ней на могилу, как на любовное свидание.

Между тем дни приносят новые смерти. Умерла вдова Тарле. Умерли двое знакомых, приславших соболезнования по случаю смерти Марии Борисовны. Чуковский терзает себя мыслями о том, зачем он-то остался жить, когда его место – в общей могиле под тремя соснами на переделкинском кладбище. «Когда теряешь друга и спутника всей твоей жизни, начинаешь с изумлением думать о себе – впервые задаешься вопросом: „кто же я таков?“ – и приходишь к очень неутешительным выводам».

Он снова задает себе вопросы, на которые не знает ответов… Он столько раз за последние несколько лет собирался умирать, столько раз подводил итоги; он почти совсем свыкся с мыслью о том, что жизнь кончилась, он не имеет ничего против цифр 1882–1955 на табличке… И это была бы состоявшаяся, долгая и хорошая жизнь. Но табличка с цифрами «1880–1955» теперь стоит в изголовье Марии Борисовны, а он по-прежнему жив, и жизнь непоправимо изменилась, и в этой новой чужой жизни нужно заново определять свое место.

«И еще одно: когда умирает жена, с которой прожил нераздельно полвека, вдруг забываются последние годы, и она возникает перед тобою во всем цвету молодости, женственности – невестой, молодой матерью – забываются седые волосы, и видишь, какая чепуха – время, какая это бессильная чушь».

Часть четвертая
Патриарх

Глава десятая
Оттепель

«Тянет в могилу»

Ему кажется, что и сам он умер вместе с женой. «Тянет в могилу», – пишет он изо дня в день. «Я наэлектризованный труп». «Хожу каждый день на могилу». "Меня тянет не только на могилу к М. Б., но и в могилу. Как будто высунулась из могилы рука и тянет меня, тянет с каждым днем все сильнее, и я не сопротивляюсь, *не хочу* сопротивляться, не имею воли к жизни, и вместо всех книжонок, которые я хотел написать, мне по-настоящему хочется писать *завещание*".

Он сочувственно цитирует в дневнике слова, которые врач Георгий Сперанский сказал своей жене: «Ты ли умрешь раньше меня или я раньше тебя, это не имеет значения, потому что тот, кто останется в живых, тотчас же последует за умершим».

И добавляет: «И я знаю это по себе».

Снова, в который раз он начинает новую жизнь – уже, кажется, седьмую. Если считать, что первая кончилась в потемкинские дни, вторая в 1917-м, третья закончилась со смертью Блока, четвертая – со смертью Муры, пятую жизнь унесли сталинские репрессии и гибель сына Бориса, то шестая завершилась смертью жены. Чуковскому не впервой уже восставать из пепла, но каждый раз возвращение к жизни дается ему все тяжелее.

И тем не менее оказалось, что впереди у него еще долгое и почти счастливое время – единственное за все послеоктябрьские десятилетия (за вычетом, может быть, краткого периода в 1933–1936 годах), когда его не запрещали, не травили, не подвергали проработкам. В печати часто цитируют его слова: «В России надо жить долго – тогда до всего доживешь». Да, в этом смысле последние годы Корнея Ивановича довольно благополучны. Нервный, впечатлительный, легко отчаивающийся Чуковский оказался на удивление жизнестойким – крепче многих других, казавшихся более основательными и устойчивыми; чудом избежал мясорубки репрессий, не спился, не сошел с ума, не покончил с собой, не стал жертвой инфаркта… И всенародная слава, которая обычно достается русским писателям посмертно, обрушилась на него еще при жизни.

Заслуги Чуковского перед русской литературой общество начало осознавать только к середине 1950-х – когда он впервые в

жизни перестал писать. В 1954–1955 годах имя Чуковского как детского писателя впервые появилось в диссертациях. Литературоведы взялись за исследование истории русской детской литературы, о необходимости которого К. И. постоянно говорил в последние десять лет, – и вписали, наконец, его имя в эту историю.

Книгу Чуковского выдвинули на премию – сначала Сталинскую, затем Ленинскую. Его приветствовали бурными аплодисментами на Втором съезде писателей. Началась новая волна переизданий его детских книг. Он возвращается в литературу – когда ему кажется, что возвращаться незачем и не с чем. Его уже мало занимает, перечислили его или не перечислили, назвали или не назвали, обругали или похвалили, – ничего вся эта возня не значит на фоне свежей могилы.

Сейчас его занимает острый и жуткий вопрос: зачем я остался на земле, кто я таков? Пожалуй, иногда ему кажется, что все уже сделано и закончено, что можно провести черту и подвести итог трудной долгой жизни, что происходящее сейчас – это уже не жизнь, а эпилог к ней. В день рождения, 1 апреля 1955 года, он вдруг впервые спрашивает себя: а зачем я, собственно, пишу дневник? «До сих пор я писал дневник для себя, то есть для того неведомого мне Корнея Чуковского, каким я буду в более поздние годы. Теперь более поздних лет для меня уже нет. Для кого же я пишу это? Для потомства? Если бы я писал его для потомства, я бы писал иначе, наряднее, писал бы о другом, и не ставил бы порою двух слов, вместо 25 или 30, – как поступил бы, если бы не мнил себя единственным будущим читателем этих заметок. Выходит, что писать дневник уже незачем, ибо всякий, кто знает, что такое могила, не думает о дневниках для потомства». И годом позже: «Я окончательно понял, что писал эти заметки в никуда, что они, так сказать, заключительные, – и потому торжественно прекращаю их. Но так как я еще не умер, меня интересует практически, кто когда был у меня (ибо я забываю о всяком, чуть только он уйдет от меня), и потому превращаю дневник в книгу о посетителях и практических делах».

Он по привычке записывает разговоры, которые его мало волнуют, говорит о новых разоблачениях в писательской среде (в среде литераторов обнаружились «бытовые разложенцы», которых громко осуждали и «разбирали») – с тоской, с усталым бессилием от тупой боли: да почему же только сейчас их осудили и сняли со всех постов – не за бездарность и невежество, а за «блудодейство»… Скучно это все.

По-настоящему волнует его немногое. Он по-прежнему радуется детям, талантливым книгам и неординарным людям, с

прежней жадностью слушает их рассказы. Он доволен, что роман Николая Корнеевича «Балтийское небо» имеет шумный успех. Он хлопочет о реабилитации писательницы Елены Тагер, помогает ей устроиться в новой жизни после возвращения из лагеря. Он чрезвычайно озабочен судьбой Зощенко, на которого обрушились новые гонения после злополучной встречи с английскими студентами. На фотографиях 1955 года опальный писатель худ и страшен – череп, обтянутый кожей, горе в глазах и вежливая попытка улыбки. «Он похож на Гоголя перед смертью», – писала отцу Лидия Корнеевна, встретившись с Зощенко. «Они меня уморят», – написал тот Корнею Ивановичу. Чуковский разговаривал с одним важным лицом, другим, третьим, добивался помощи Литфонда, послал Зощенко 500 рублей и пригласил в Переделкино; тот предложение с благодарностью отклонил.

Дневниковые записи 1955 года: «Тагер рассказывала ужасы». «Был у Федина, хлопотал о квартире для Габбе и о продлении авторского права для дочери Бальмонта». "Сутуги-на-Кюнер из Сенгилея (когда-то – секретарь «Всемирной литературы», ныне ссыльная. – *И. Л.)* просила меня достать для нее лекарство Theophedrin. Я достал. Набил ящик сахаром, конфетами, положил туда лекарство…" Это его способ справиться с горем – живая, деятельная помощь другим. Горячее сострадание тем, кто пережил лагеря, гонения, травлю, смерть близких. Летом 1955-го утонул, катаясь на лодке, сын друзей Чуковских – Ивана Халтурина и Веры Смирновой – Вова Смирнов, умный и талантливый мальчик, которого К. И. когда-то на даче учил английскому языку по своей излюбленной методе; горе это было особенно горьким для матери, которая когда-то уже похоронила дочь. К. И. столько и стольких потерял за свою долгую жизнь, что теперь точно знал, что можно и нужно сказать тем, у кого умер любимый человек. Каждый, пожалуй, рано или поздно осознает, насколько трудно выразить свое сочувствие пережившему утрату, каждый видел, как горе сковывает, как люди смолкают и почтительно (или испуганно) отступают перед лицом трагедии: ну что здесь можно сказать? А у Чуковского для каждого находились небанальные слова поддержки и утешения. Многие из тех, кто оставил воспоминания о К. И., приводят в них его умные, печальные, полные искренней любви и заботы письма. «Я, потерявший сына, дочь, нежно любимую Марию Борисовну и ежедневно теряющий себя самого – необыкновенно быстрыми темпами, – понимаю Вас и Вашу тоску лучше многих», – писал он в 1958 году Ольге Грудцовой, потерявшей отца и сестру, – и убеждал: пережить горе помогают «расширение сердца, любовь –

жалость – сострадание к живым».

И рассказывает в дневнике, как к нему пришли Халтурин и Смирнова, как он хотел отвлечь их от гнетущей тоски – и просил третьего гостя, Валентина Берестова, читать свои стихи. Поэзия для Чуковского – не только «вкусная и здоровая духовная пища», как сформулировал тот же Берестов, но и лекарство: от монотонной скуки помогает одно, от страха другое; лирика Берестова выбрана в качестве лекарства от смертной тоски не просто так. Он – археолог, и стихи его смотрят на жизнь с большой исторической и философской дистанции, с точки зрения вечности. Лирика эта помнит о трагизме бытия, но не замыкается в нем – напротив, в ней есть чрезвычайно близкое Чуковскому ощущение включенности человека в бытие, взаимосвязанности с природой, почти пантеистической радости. Может быть, такие стихи и в самом деле могут если не помочь в тоске, то отвлечь или смягчить ее.

Новых хлопот требуют внуки: одного (Николая) исключили из института и забрали в армию, другой (Женя) поступает в институт. В конце лета случилась беда с Женей. Вечно изобретавший способы борьбы с досаждавшими обитателям дома осами, он в этот раз решил их взорвать – снять гнездо и утопить в ведре ему казалось слишком просто и неинтересно. Силы взрыва он не рассчитал: ему чуть не оторвало руку, раздробило плечевую кость. Сам Евгений Чуковский вспоминал, как Дед («Деда» вся семья всегда писала с большой буквы), разбуженный взрывом, прибежал и, услышав от окровавленного внука «прости меня, пожалуйста», – принял это за последнее «прости» и, «обезножев, опустился на стул». В город, в больницу с ними поехала переделкинская соседка: плохо было не только внуку, но и деду. «Его трясло. Все боялись, как бы ему по дороге не стало худо», – вспоминал внук. «Одна из величайших мук моей жизни – тот вечер, когда я его, обескровленного, с торчащей наружу костью, с висящими жилами вез к Склифосовскому», – писал Чуковский в дневнике.

Александр Раскин рассказывает:

"– Но как же вы разрешили этот взрыв? – спросил я.

– А что мне было делать? Ведь он все равно бы это устроил. По крайней мере, я уменьшил заряд вдвое. И теперь я уверен, что взрывов больше не будет, – сказал Чуковский".

Рука у Жени не срасталась очень долго, потом был второй перелом… А кроме того – семью постоянно лихорадило из-за его юношеской любви к лихачеству, мотоциклу, машинам…

Чуковский-дед – вообще большая и интересная тема. Женя Чуковский жил с бабушкой и дедушкой со своих четырех лет и

постоянно ставил перед ними сложные педагогические задачи (К. И. не раз писал в дневнике, что с этими задачами не справляется: и Женя не такой, какими были все его дети, и сам он плохой воспитатель, и вообще все плохо). Женя и впрямь был не таким, как дети К. И., – скорее этаким Томом Сойером, искателем приключений. Он страстно увлекался стрельбой, скоростью, взрывами, техникой, учился не блестяще, читал избирательно – и вовсе не желал помогать деду с садово-огородными работами. В воспоминаниях внука есть несколько поразительных эпизодов, рассказывающих, как спокойно и мудро, без излишней назидательности, дед воспитывал его. Особенно хорош, конечно, случай со «слюнявчиками», крохотными огородными вредителями, которые собирают вокруг себя комок пузыристой жидкости. К этому времени Женя, увлеченный охотой, перестрелял из винтовки чуть не всех птиц в округе, и побороть его страсть никак не удавалось. Дед отправил внука собирать и давить руками «слюнявчиков». А потом принес увеличительное стекло: посмотри, какие у него глаза. "Сквозь стекло на меня смотрели две черненькие бусинки, – вспоминал Евгений Чуковский. – Там был и рот, и усы, и ножки. И вообще из отвратительного зеленоватого кусочка слюнявчик превратился в животное, у которого есть свои желания, свои враги, своя защита, да мало ли что еще!..

Это всегда так, – сказал Дед. – Как только присмотришься поближе, так и думаешь: как же я его теперь убивать буду? Поэтому так просто убивать издали.

Он не сказал ни слова про винтовку.

Но почему-то стало очень трудно стрелять по птицам".

История замечательна еще и тем, что ведь сам Чуковский по птицам никогда не стрелял. «Как же я его теперь убивать буду?» – ощущение чисто литературное. Это ужас критика, осознающего, что грозный враг, олицетворяющий само мировое зло, – это какой-нибудь печальный пожилой человек с радикулитом, больной женой и милой пухленькой внучкой.

Александр Раскин в своих воспоминаниях рассказывал со слов очевидца, что Женя Чуковский мог управлять машиной «одной ногой, положив ее на руль», да еще на страшной скорости; на мотороллере гонял так же бесшабашно – а К. И. ездил с ним на заднем сиденье («на облучке», вспоминал другой мемуарист). Сам Чуковский рассказывал Раскину, как однажды, отъезжая с внуком на мотороллере, бросил Катаеву: «Прогулка перед сном…» – а тот немедля откликнулся: «Перед вечным сном!»

Раскин пишет: "Помню, я спросил Чуковского:

– Корней Иванович, а зачем вам ездить на мотороллере? Ведь

эта штука не очень-то надежна.

– Вот поэтому я и езжу с Женей, – ответил Чуковский, – с дедом он все же не ставит рекордов".

Говоря о сюрпризах, которые внук преподносил деду, стоит привести здесь историю, которую рассказал сам Евгений Борисович в одном из своих интервью. Речь идет об одном из летних праздников-"костров":

«Мне было лет 13. „Дед, – сказал я, – давай сделаем чудо! Пусть костер загорится сам“. – „А ты точно так сделаешь?“ – „Точно“, – клятвенно пообещал я. Что я сделал? Взял плитку с открытой спиралью, насыпал на нее полкило охотничьего пороха, прикрутил к плитке провода и всунул все под хворост. В середину костра вылил 11 литров (!) бензина. Выходит к гостям Корней Иванович в военном головном уборе индейца, который ему привезли в подарок из США, и сообщает, что сегодня костер будет волшебный, который зажжется, лишь только он скомандует. „Костер, зажгись!“ – говорит Корней Иванович, и я нажимаю на кнопку. Дальше произошло невероятное. Вся огромная куча хвороста поднялась на высоту двух метров и зависла. А из-под нее хлынуло оранжевое бензиновое пламя… Нас всех спасло чудо. В ту же секунду костер сел на место, подмяв под себя и огненный смерч. Увидев „атомный гриб“ над лесом, тут же примчался пожарный обоз. „Как в следующий раз будем зажигать костер?“ – осмеливаюсь спросить у деда. „Спичкой, только спичкой!“»

После смерти Марии Борисовны деду и внуку стало трудно: подростку нужна повседневная бытовая забота, с которой дед справиться не мог. Женя некоторое время жил у Лидии Корнеевны, затем в семье Николая Корнеевича.

Чуковский стал понемногу осваиваться в новой жизни. В дневниках и письмах он – немолодой и очень усталый человек. В жизни – совсем иной. Да, на публике он требовал от себя веселья и считал неприличным жаловаться – как неприлично явиться на люди в нижнем белье. Да и времена отучили его от излишней открытости. И вместе с тем его недневниковая, солнечная ипостась – отнюдь не только маска, под которой прячется лукавец и мизантроп, не только способ скрыть себя настоящего. Его по-прежнему, как в детстве, опьяняет воздух, волнуют запахи, звуки, краски; по-прежнему он способен очаровываться книгами и людьми и испытывать беспричинное счастье в ясный день. Не так уж сильно он изменился. Наталья Ильина, которая познакомилась с К. И. в этом самом 1955 году, рассказывает в своих воспоминаниях, что ожидала увидеть старичка – все-таки Чуковскому уже исполнилось 73 года. Но старичка не было: «Был длинный, худощавый веселый человек с белой прядью на лбу, с

острым, смеющимся взглядом, с большими смуглыми руками, без единой приметы старости… С той минуты, как я попала в орбиту веселого седовласого человека, меня завертело, как щепку… Вот я схвачена за руку и повлечена в глубь участка, где много скамеек, – каждое лето здесь устраивается костер для детей… Тут же, отпустив мою руку, Корней Иванович прыгнул на скамейку, пробежался по ней, засмеялся, спрыгнул, опять куда-то потащил меня, не помню уж, что показывая на участке, затем мы побежали к дому, именно побежали, и он, одним духом перешагивая длинными ногами через ступеньки, взлетел по лестнице, я – за ним…»

И так же он бегал и прыгал с детьми на своих «кострах» (есть кадры кинохроники, запечатлевшие Чуковского, который с удовольствием куда-то скачет во главе цепочки детей; ему там уже под 80, а то и больше – но подпрыгивает он легко и непринужденно). Так же очаровывал обитателей переделкинского костно-туберкулезного санатория, писательских чад, детей местных рабочих, дворников, садовников… Показывал фокусы, жонглировал стульями и тарелками…

У того же Раскина в воспоминаниях есть история о том, как К. И. пытался обаять четырехлетнюю дочку писателя А. по имени Груня: юная особа на все его фокусы, к восторгу родителей, реагировала словом «подумаешь!». Чуковский почти признал поражение – но вскоре обнаружилось, что Груня в одиночестве попыталась крутить тарелку, уронила—и разбила мамин флакон французских духов. Корней Иванович ликовал: проняло все-таки. Кстати, единственной, кажется, Груней среди писательских детей была дочь писателя Аркадия Васильева – нынешняя Дарья Донцова. В 1961 году Чуковский писал в дневнике о ходе подготовки детского спектакля «Ореховый прутик»: «Девочка Марина Костоправкина играет роль героини, идущей освободить своего брата от чар ведьмы. Ведьма – Груня Васильева». В недавнем телефильме о Корнее Ивановиче Донцова рассказывала, что ее всегда привечали у Чуковских – невзирая на то, что ее отец был функционером Союза писателей, правоверным коммунистом (впоследствии общественным обвинителем на процессе Синявского и Даниэля), – а в этом доме «имелась Лидия Корнеевна…».

Политическая весна вступила в свои права. Появился неподдельный энтузиазм, о котором уже почти успели забыть, неподвижные лица обрели выразительность. Начал выходить журнал «Юность» (название-то какое!). Вагоны с энтузиастами ехали на целину, геологи мерили шагами тайгу, поля засевали кукурузой, в казахстанской степи строили Байконур – и по всей

стране начинали возводить миллионы одинаковых домов (тут же подоспела и кампания против излишеств в архитектуре). Появились первые признаки вывихов, которые позже стали называть «волюнтаризмом».

Государственный шовинизм стал сходить на нет, о заграницe уже позволялось говорить не только в духе «обнищавшая американская семья выставила на продажу своих четверых детей». Началась эпоха великих дружб: предложения о разоружении, хинди-руси, бхай-бхай, визит Неру, восстановление отношений с Югославией, Варшавский договор… В Москве идет Неделя французского кино! Издают современную зарубежную прозу! «Гениальная наша дипломатическая победа чувствуется даже в Гослите: печатают Колдуэлла, Хемингуэя, подумывают о Дос Пассосе, – пишет К. И. сыну. – Из нового издания стихотворений Уитмена выбросили лживую статейку Мендельсона, написанную для холодной войны».

Чуковский после некоторого перерыва все-таки заставил себя работать. «Вожусь со Слепцовым, с Репиным, с „От двух до пяти“, с воспоминаниями о девятьсот пятом годе. Но изо всех работ меня по-настоящему занимает только от „От двух до пяти“, хотя у меня нет уверенности, что новое, исправленное мною издание выйдет при моей жизни. Но тянет, как водка – пьяницу», – записывал он в октябре. Чуть раньше – печалился, что новое, десятое издание вышло обезображенным и урезанным. Сейчас он решил переработать книгу как следует: сделать ее настоящим исследованием детской психологии, детского языка, детского творчества, а не коллекцией милых детских выражений. «До твоего письма я так и не знал, – писал К. И. сыну, – испортил ли я книгу, внеся в нее столько мозгологии, – или улучшил ее. По Лидиному ощущению – испортил, а мне было скучно ориентироваться на толстомясых мамаш, которые во всей этой книжке видят одно сплошное „намакаронился“. Твое письмо так окрылило меня, что я отбросил все остальные дела (Уитмен, Слепцов, Бибигон, мемуары) и стал дополнять эту книжку новыми главами, новыми материалами». В декабре, сдав книгу в печать, он уже радовался: «Это избавит меня от нее. Мне хотелось работать над Чеховым, над Блоком, над Буниным, над Слепцовым – а тянуло к этой незаконной книжонке, как, судя по романам, тянет от жены к любовнице». (Особенно хорошо, заметим в скобках, здесь это «судя по романам»: все-таки, несмотря на «лжи и измены», о которых он сам писал сыну, – Мария Борисовна, кажется, так и была для него всю жизнь единственной настоящей любовью.) И только сдал, только бы браться уже за серьезные дела—а увлекся подготовкой «Бибигона» к переизданию.

Издают его «Крокодила». Издают опального «Бибигона». Он получил предложение выпустить четырехтомник «Избранного». Есть чем заняться, есть над чем работать. А он тоскует.

В ноябре Лидия Корнеевна поехала отдыхать в санаторий, куда он иногда приезжал ее навестить. Она уставала от людей и умоляла отца: «Если приедешь – то приезжай, пожалуйста, один!» Он отвечал: «Приехать к тебе не могу, т. к. не могу подчиниться твоему суровому требованию: непременно приехать без спутников. Ехать в машине около 50 километров в одиночестве для меня невыносимо: заедает тоска. Мне очень приятно было видеться с тобою в Малеевке, но сделать двести километров в одиночестве – это такой ужас, такое томление, что хоть черта возьмешь себе в спутники, лишь бы не реветь всю дорогу. Прежде я не знал такого мучительного сиротства, а теперь я каждый день хожу в Дом Творчества и якшаюсь там с любым обитателем, потому что горше всего для меня оголтелая скука (особенно в вечернее время!)».

Отравленная радость

14 февраля открылся исторический XX съезд партии. «Замечателен, мажорен, оптимистичен, очень умен XX съезд – хотя говорят на нем большей частью длинно, банально и нудно. Впервые всякому стало отчетливо ясно, что воля истории – за нас», – пишет Чуковский в дневнике.

Дождались. Поворота к жизни дождались – уже не оттепели, а весенней грозы, воздух очистился; кажется, можно ждать яркости красок и свежести запахов, кажется, можно ждать новой литературы, которая до сих пор где-то таилась под спудом. Выходят первые книги с первыми попытками сказать хотя бы полслова правды вместо опостылевшего треска.

Радость и ужас. Радость и шок.

«А на душе, вместе с радостью, какая-то ядовитая муть, – записывала Лидия Корнеевна в дневнике. – Стыд перед ними, что их судьба миновала меня? Стыд за молчание, свое и наше общее, когда они подвергались мучениям? Но ведь заговорить тогда – это значило вырыть себе своими руками могилу и лечь в нее. Живьем. И рядом с собой положить своих близких. Погибнуть и не принести ни малейшего облегчения мученикам. (Логически это может служить оправданием, но почему-то не служит. Стыд, хоть и не дым, а ест глаза.)».

Отвратительно и другое – общество осознало то, что с ним произошло, только по команде сверху. «Отравленная радость», – пишет Лидия Корнеевна.

К. И. опубликовал в этом году отдельным стихотворением (озаглавленным «Радость») последнюю часть ошельмованной, нелюбимой сказки «Одолеем Бармалея!»:

Рады, рады, рады
Светлые березы,
И на них от радости
Расцветают розы…

Кажется, в строках все-таки незримо присутствуют незарифмованные здесь «слезы». Чуковский несколько отстранение наблюдает за общим энтузиазмом, с которым в стране сносят памятники, из библиотек и редакционных планов изымают книги о Сталине, а писатели из числа верных сталинцев объясняют, что они *не знали*… И – хотя никто его не тянет за язык – вместо дежурных слов обличения говорит Казакевичу, что «несмотря ни на что, очень любил Сталина, но писал о нем меньше, чем другие».

Общество потрясено; Чуковский же, скорее, переживает тихое разочарование: надежды на лучшее мироустройство обернулись кровавой тиранией, мудрый вождь – скучным злодеем. Лидия Либединская оканчивала крылатую фразу Чуковского иначе, чем все: «В России надо жить долго: интересно». Но в свой день рождения в 1956 году К. И. сам себя опровергает однострочной записью: *"Мне 74 года.* Неинтересно".

Неинтересно. Чувство очистительного потрясения оказалось накрепко увязано с другим чувством: тошнотворной тоской от окончательного, ясного понимания, в какой трясине увяз, в какой грязи оказался вымазан, как ничтожно и подло обманут в лучших своих надеждах и устремлениях. Чуковский никогда не подходил близко к этой власти, очень скоро поняв ее природу, хотя и верил, что кровавый и безмолвный ужас последних двух десятилетий – не обязательный признак системы, не заданность, а искажение, злая воля пробившихся к руководству и окруживших вождя подлых и мелких людей. Разочарование тотально: не особенно он обольщается теперь и относительно природы новой власти и видит прежнюю скуку, прежнюю бездарность и прежний произвол.

Другие подошли к власти неосторожно близко и не смогли пережить крушения. 13 мая застрелился Фадеев, оставив грозное письмо руководству страны, которое назвал «нуворишами от великого ленинского учения». «Мне очень жаль милого Александра Александровича – в нем – под всеми наслоениями – чувствовался русский самородок, большой человек, но боже, что

это были за наслоения! Вся брехня Сталинской эпохи, все ее идиотские зверства, весь ее страшный бюрократизм, вся ее растленность и казенность находили в нем послушное орудие», – записывал Чуковский в дневнике. «Он – по существу добрый, человечный, любящий литературу „до слез умиления“, должен был вести литературный корабль самым гибельным и позорным путем – и пытался совместить человечность с гепеушничеством. Отсюда зигзаги его поведения, отсюда его замученная СОВЕСТЬ в последние годы». Елена Цезаревна Чуковская в комментариях к дневнику справедливо замечает: «Нельзя не заметить, что некоторые мысли Чуковского из его дневника совпадают с тем, что пишет о себе Фадеев в своем предсмертном письме».

И в самом деле: вот что писал Фадеев: «Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, рабочими и крестьянами, наделенный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеалами коммунизма. Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел… Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни».

После самоубийства Фадеева Чуковского, пожалуй, больше всего заботит состояние тех людей, кому был близок и дорог покойный: писатель Либединский, бывший у Фадеева в гостях накануне самоубийства, лежит в предынфарктном состоянии, Маргарита Алигер, «одна из вдов» Фадеева (по выражению Чуковского), окаменела от горя. «Я взял Алигер в машину и отвез ее домой, потом поехал к Назым Хикмету, за врачихой» – отправил врача к Либединскому, затем к Алигер. Несколько дней спустя он разговаривает с Маргаритой Иосифовной о Фадееве, ведет ее гулять… судя по частоте упоминаний об ее посещениях в дневнике, ее в это время очень тянуло к умному и понимающему Корнею Ивановичу.

Начинаются первые посмертные реабилитации: Квитко, Мейерхольд. Вернулся из лагеря Лев Гумилев. В переделкинском доме у К. И. гостит вернувшаяся из лагеря Елена Тагер, Чуковский помогает ей с литературной работой. Лидия Корнеевна начала хлопоты о реабилитации Матвея Петровича Бронштейна. «Увы, без нее невозможно воскресить его книги», – заметила она в «Записках об Анне Ахматовой».

Полное разочарование в новой власти наступило у К. И. совсем скоро: не успев открыть шлюзы для правды и критики, власть испугалась и затрубила отбой – чтобы разбуженным потоком не снесло и ее самое. В ближайшие годы начинается игра власти с народом и интеллигенцией: шаг вперед – два шага назад, открутили – прикрутили, разрешили – запретили, позволили – одернули: не позволить нельзя, жить так больше невозможно; позволить – тоже нельзя, сметет. И борьба с культом личности увязла в бесконечных оговорках и напоминаниях: нельзя, мол, искать источник этого культа в природе советского общественного строя, нельзя требовать свобод, потому что коммунизм и есть свобода, нельзя позволять себе клеветнические высказывания, нельзя очернять, нельзя сводить только к, писать только о… И уж конечно, ни в коем случае непозволительно требовать отмены партийного руководства литературой и искусством (о губительности которого, кстати, и писал в своем последнем письме Фадеев). В братских странах, вообще усомнившихся в необходимости партийного руководства, коммунистические ценности восстанавливаются при помощи советских танков.

Уже в октябре 1956 года отец и дочь Чуковские обмениваются печальными письмами. «Мое здоровье тоже как будто улучшилось, но вся история с Венгрией болит у меня, как зуб, и мне страшно читать свежие газеты. Надежных друзей русскому народу приобрели мы и в Польше, и в Венгрии», – пишет он ей. Она в ответ: «У меня тоже мучительно болела Венгрия, теперь полегче. Зато теперь болит Египет» (в это время разгорелся международный конфликт из-за Суэцкого канала).

Публикации литературных произведений, где авторы позволяли себе признать наличие в повседневной жизни неприятностей и проблем, казались ошеломительно, непозволительно новыми на фоне тотальной благостной картины соцреализма начала пятидесятых, и каждая такая публикация вызывала лавины читательских писем в редакцию: не позволим мазать грязью! След одной из подобных баталий сохранился в письме Лидии Корнеевны отцу: она посылает ему свою «бременериану», статью в защиту Макса Бременера, тогда 30-летнего писателя, только что опубликовавшего в «Юности» повесть «Пусть не сошлось с ответом!» – о жизни школы. Педагоги завалили редакцию журнала негодующими письмами, а вскоре и «Учительская газета» вышла с подборкой таких посланий: какое автор имеет право очернять советскую школу и дискредитировать доблестный труд советского учителя?! Статья Лидии Корнеевны, предназначенная для журнала «Москва», в свет не вышла.

С журналом «Москва», кстати, связан не самый приятный эпизод в биографии Чуковского. Собственно, началось все раньше – с появления альманаха «Литературная Москва» – слабого намека на литературную свободу; он, кажется, был даже раскованнее «Юности» и «Нового мира». К. И. радовался неказенности опубликованных в нем произведений – и писал в дневнике, что неожиданно расплакался, читая стихи Твардовского о встрече со старым другом, вернувшимся после 17 лет заключения. (А Лидию Корнеевну и Ахматову стихи возмутили – своей неполнотой правды.)

Чуковский с удовольствием взялся за сотрудничество с альманахом – может быть, он соскучился по серьезной работе в периодике, отлученный от нее со времен «Русского современника» и «Современного Запада». Летом 1956 года К. И. передал альманаху рукопись своего «Чехова». Маргарита Алигер, одна из сотрудниц редакции, специально прибежала на дачу Чуковского, чтобы сообщить ему (телефона не было), как ей понравилась «эта талантливая вещь». Однако оказалось, что в тот же альманах дали свои работы и Николай Корнеевич, и Лидия Корнеевна, и, чтобы «Литературная Москва» не стала «Чуковской Москвой», – редакция попросила перенести «Чехова» из второго номера в третий. (Та же редакция в эти же дни отказалась публиковать «Доктора Живаго»; отверг его и «Новый мир», после чего роман отправился в Италию.)

Однако второй номер альманаха долго держала цензура, поэтому он вышел с опозданием, и третий номер тоже задерживался с выходом. Чуковский нервничал, терзал редакцию альманаха вопросами, когда же он выйдет; писал в дневнике, что узнал в Гослите – это будет не раньше, чем через полгода. В это время открылся журнал «Москва», членом редколлегии которого стал К. И., и статью свою он отдал туда. И сразу почувствовал, как ошибся, как неправильно себя повел. Мучился совестью: Алигер и Казакевич из «Литературной Москвы» в его глазах воплощали (вместе с Твардовским) «лучшую, благороднейшую линию советской литературы»; альманах был "единственным *благородным* литературным органом в это пошлое, страшное время" (журнал «Москва» несколько дней спустя он назвал «отвратительно глупым»).

В итоге статья вышла в «Москве», редакция альманаха была глубоко обижена, и Чуковский с огорчением и раскаянием писал Алигер: «Мне очень больно, что со статьей о Чехове я поступил не по-чеховски. Знаю, сколько сердца (и труда) вы отдали этой злополучной статье, и могу оправдаться только той болью, которую испытываю теперь». И обличая себя, писал в дневнике:

«И почему я ухожу от этой группы лучших писателей, наиболее честных и чистых, – и связываю себя с чужаками, – неизвестно. Всякая подлость раньше всего непрактична».

Альманах «Литературная Москва» очень скоро был разгромлен, и его третий номер так и не увидел свет.

«Строю свою библиотеку»

«Весь прошлый год я жил в идиотских трудах, – ругает Чуковский сам себя в дневнике в первый день наступившего 1957 года. – Зачем-то два месяца истратил на редактирование Конан-Дойла, месяц переводил „Тома Сойера“ – зачем? зачем? – и для Блока, Слепцова, мемуаров не осталось времени. Идиот. Душегуб».

5 января К. И. рассказывает «Литературной газете» о творческих планах: «Весь год буду работать над мемуарами». Говорит, что закончил большой труд «Люди и книги», редактирует для Гослитздата Уайльда и пишет статью о нем. В феврале 1957 года Чуковский уехал в санаторий в Барвихе. Зверски переутомлен, врачи запрещают работать, писал он в дневнике. 28 февраля «Литературная газета» известила, что из выдвинутых на соискание Ленинской премии кандидатур в области литературы отобраны для дальнейшего обсуждения следующие: Леонов «Русский лес»; Джалиль «Моабитская тетрадь»; Овечкин «Районные будни» и др.; Чуковский «Мастерство Некрасова» (дали премию, забегая вперед, Леонову и Джалилю).

В том же номере газеты помещен радостный рассказ об успехах в строительстве крупнопанельного жилья: скоро вся страна покроется одинаковыми «хрущобами» – начнется великое расселение из бараков и коммуналок. Героями дня становились ученые: построены Байконур и Плесецк, открыт первый синхрофазотрон, принято решение о строительстве новосибирского Академгородка. Взлетают баллистические ракеты, спускается на воду атомная подводная лодка, СССР наращивает мускулы и предлагает новые мирные инициативы. На повестке дня – задача догнать и перегнать Америку по уровню жизни.

Жизнь в самом деле становится иной. А литература топчется на месте…

Нет, материально у Чуковского в кои-то веки все хорошо: книги издаются и продаются, журналы с удовольствием принимают статьи и просят еще. «Неожиданно – нисколько о том не заботясь, – я стал зажиточным стариком», – заметил он в

дневнике. Употребление для своего нежданного богатства он вскоре придумал. Уже два года подряд он выдавал переделкинским детям книги из личной библиотеки – и теперь решил построить для нее отдельное помещение. Как Чехов.

В апреле Корнею Ивановичу исполнилось 75 лет. О Чуковском вдруг вспомнили и заговорили все, словно бы только что с удивлением обнаружили, какого масштаба человек живет рядом с ними. Всесоюзные, республиканские, городские и областные газеты, педагогические и литературные, молодежные и детские издания дружно поздравили Корнея Ивановича и рассказали о нем читателям: перечисление юбилейных публикаций занимает в биобиблиографическом словаре Берман полторы страницы. «Многогранный талант» и «Жизнелюбивый талант», и «Труд, мастерство, талант». И «Друг детей», и «Большой друг детей», и «Кумир ребят». И просто «Любимый писатель», и «Любимый детский писатель», и «Веселый сказочник», и «Всесоюзный сказочник». И «дядя Чукоша», и «дедушка Корней».

«Только с 1957 года, когда впервые на официальном уровне пышно отпраздновали 75-летний юбилей Чуковского, когда в прессе было очень много и поздравлений, и шуточных стихов, и рисунков, снова начали переиздаваться его книги, и он стал эдаким патриархом от литературы, – говорила Е. Ц. Чуковская в одном из своих интервью. – Таким он всем и запомнился, надо сказать. Последние десять-пятнадцать лет его жизни были уже очень благополучными». В этом году, кстати, ему – самоучке, исключенному из гимназии, никогда не защищавшему никаких дипломов и диссертаций, – присвоили звание доктора филологических наук.

"Юбилей мой удивил меня нежностью и лаской – количеством и качеством приветствий, – писал К. И. в дневнике. – Поздравляли меня – меня!!! – и Университет, и Институт Горького, и Академия Наук, и «Крокодил», и «Знамя», и «Новый Мир», и «Пушкинский Дом», и *сотни* детских домов, школ, детских садов, – и я казался себе жуликом, не имеющим права на такую любовь. Конечно, я понимал, что это – похороны, но слишком уж пышные, по 1-му разряду".

Юбилей отмечался и в Союзе писателей. «Нового здания тогда еще не существовало – юбиляра чествовали в старом зале, где нынче ресторан, – вспоминала Наталья Ильина. – Сцены там не было, вместо эстрады маленькое возвышение, и юбиляр, и те, кто сидел в президиуме, находились близко от первого ряда, рукой подать, и это, конечно, было одной из причин того, что празднование не носило характера помпезной официальности. Но

главной причиной уютной, непринужденно-домашней атмосферы была личность юбиляра. Толком я не помню ни речей поздравителей, ни ответов Чуковского, помню лишь, что в публике много смеялись и совершенно отсутствовала та чопорная скованность, та боязнь улыбки и острого слова, которая так, увы, характерна для выступающих на наших юбилейных и прочих торжествах… Если кто и пытался по привычке накрахмалиться и говорить мертвыми шаблонами, то веселое лицо Чуковского и его реплики заставляли говорившего опомниться и вновь принять человеческий облик. Юбиляр был прекрасен. Яркая седина его тогда еще мало поредевших волос не старила Корнея Ивановича, – напротив, молодила. Ничего обрюзгшего, усталого не было в этом смуглом лице с веселым носом и жизнелюбивым, мягким ртом». «В качестве честолюбивого покойника, я был очень счастлив и рад», – заметил сам юбиляр.

Второе событие, запавшее в душу «честолюбивого покойника» весной 1957-го, – вручение ему в Кремле ордена Ленина. Хрущев сказал ему: наконец-то я вижу злодея, из-за которого терплю столько мук (имелось в виду чтение сказок внукам). Поздравил и Ворошилов – в ту пору номинальный глава государства. «На их приветы я ответил глупой речью, которая сразу показала им, что я идиот», – комментирует награжденный, и реакция вполне понятна: именно об этом и думают люди, заново обдумывая и переживая в памяти миг неожиданного и высокого торжества. А что торжество было неожиданным – безусловно: ничего хорошего он давно уже научился не ждать и был обрадован и растроган такими бурными изъявлениями любви и внимания. И радует его, пожалуй, не столько внезапно обнаружившаяся пламенная любовь народа и руководства к нему самому, сколько тот поворот истории, при котором стало (или показалось, что стало) возможно хорошо делать свое дело и считаться при этом не изгоем и преступником, а ценным работником.

Третье важное событие, о котором он упоминает в дневнике 27 мая 1957 года, – "я был приглашен правительством вместе с писателями, художниками, композиторами – на банкет под открытым небом. Ездил на правительственную дачу – заповедник – слушал речь Хрущева, длившуюся 4½ часа". О содержании речи ничего не пишет: затерял, мол, тетрадь и ничего не писал в ней. Содержание между тем не внушало никакого оптимизма.

Литература оставалась подневольной. Надежды, проснувшиеся было с началом «оттепели» и окрепшие с XX съездом, оправдываться не спешили. Ахматова еще годом раньше сказала Лидии Корнеевне: «По-видимому, граница дозволенного очерчена на новой идеологической карте с большой точностью.

Охраняется зорко. Но мы ее еще не изучили». Банкет, о котором говорит Чуковский, – это, по-видимому, большой обед, состоявшийся 19 мая. Руководители партии и правительства специально собрали творческую интеллигенцию для того, чтобы объяснить им, как они неправы, вообразив, что теперь можно говорить о наболевшем вслух, – и указать на границы дозволенного.

«К сожалению, среди работников литературы и искусства встречаются такие люди, поборники „свободы творчества“, которые хотят, чтобы мы проходили мимо, не замечали, не давали своей принципиальной оценки и не критиковали подобные произведения, которые в извращенном виде рисуют жизнь советского общества. Этих людей, оказывается, тяготит руководство и искусством со стороны партии и государства. Они выступают против этого руководства иногда прямо, а чаще всего прикрывают эти свои настроения и желания разговорами об излишней опеке, о сковывании инициативы и т. п.», – говорил Хрущев. Нападал на «Литературную Москву»: в ней, мол, опубликованы «порочные в идейном отношении произведения и статьи», и бранил Маргариту Алигер за поддержку альманаха. Официальный текст речи этого не содержит, но очевидцы (например, Владимир Тендряков) вспоминали, что вождь назвал поэтессу, лауреата Сталинской премии, «идеологическим диверсантом» и «отрыжкой капиталистического Запада». Зато вождь защищал тех, кого прозвали «лакировщиками»: «Люди, не участвовавшие активно в борьбе за наше дело… придумали и пустили в обиход такое бранное словечко, как „лакировщик“, наклеивая этот ярлык на каждого, кто правдиво писал о нашей действительности, о созидательном труде народа и его великих победах, кто создавал положительные образы советских людей в произведениях литературы и искусства». Все содержание речи крутилось вокруг старых-престарых положений: народность, партийное руководство, социалистический реализм, коммунистическое воспитание трудящихся, «положительное, новое и прогрессивное в жизни и составляет главное в бурно развивающейся действительности социалистического общества», и очернять не позволим. Твардовский после этой встречи сказал, что произошло «рассеяние последних иллюзий».

Чуковский, однако, литературным процессом занят очень мало. Он вообще предпочитает стоять от него несколько в стороне – а сейчас и вовсе всецело занят другим. Он строит библиотеку. И его дневники в это лето (а строительству библиотеки посвящена отдельная тетрадь) сплошь полны возмущенных записей, проклинающих бюрократов, и строителей,

и рабочих, и Литфонд, ничем не желающий «помочь писателю, который уже третий год ведет активную просветительскую работу среди детей рабочих и колхозников». «Более того, – сердится Чуковский, – Литфонд не только не дает кирпичей, но и намерен запретить строительство библиотеки, ибо „арендатор не имеет права строить что бы то ни было на арендуемой земле“».

Вот что его сейчас заботит: волокита, хождение по инстанциям, разрешение райисполкома, разрешение Литфонда, грузчики, бухгалтеры, взяточники, плохие доски… «Это, конечно, верно; по сравнению с немецкими и финскими домиками наш домик позорно сучковат, кое-какист, сработан с полным неуважением к делу, хамски и наплевательски, – гласит одна из дневниковых записей, сделанных уже после того, как домик был найден, куплен и привезен на участок. – Но ведь для того, чтобы не было в России таких бесстыжих и бесчестных работников, я и строю свою библиотеку».

В дневник вложена жалоба на Литфонд: пока он не дает разрешения на строительство, разобранный домик, купленный на личные деньги Чуковского, мокнет под дождем, а у библиотеки, которая уже два года работает у К. И. дома и обслуживает по 40–50 детей в день, по-прежнему нет пристанища. Писатели обещают хлопотать, помогает заведующая гороно Кунцева – но Литфонд безмолвствует! Июль кончился, на дворе уже август, уже собирается костер «Прощай, лето!» – а библиотеки нет. 22 августа Макс Поляновский впервые рассказал о кострах Чуковского в «Литературной газете», вспомнив славную традицию детских праздников в Ясной Поляне и рождественских елок, которые устраивал Горький, – и упомянул о детской библиотеке, которую Чуковский устроил в одной из комнат своего дома. Чуковский написал в газету письмо «с просьбой не печатать этюдов о моей личной жизни. Особенно не нужно о библиотеке. Скажут – устроил для саморекламы».

На праздник пришло 400 детей, выступали Барто, Михалков, Кассиль, приехал индийский посол с семьей. Выступали семилетний Костя Райкин и его отец, Аркадий Райкин, и фокусники, и кончилось это действо тем, что девочка преподнесла Чуковскому белого голубя – и голубь был выпущен в небо.

Отступим в сторону: белый голубь тут совсем не случаен. Советский Союз не только активно вооружается межконтинентальными ракетами, атомными подлодками, новыми торпедами и боевыми самолетами, но и борется за мир, выдвигая все новые и новые инициативы по разоружению. Летом 1957 года вся Москва бушевала счастьем: в страну пришел Всемирный

фестиваль молодежи и студентов. Всемирная любовь переполняет газеты. В «Литературке» опубликована небольшая заметочка Чуковского о фестивальных встречах под названием «Литература сближает»: он рассказывает, как беседовал с индийскими друзьями о Бхагавадгите, а с болгарскими писателями о Чехове; как бенгальский поэт читал стихи на своем непонятном языке; как молодой англичанин подарил ему опубликованную в Лондоне книгу о русской поэзии; как из разговоров с французскими, португальскими, бельгийскими авторами Чуковский вынес убеждение, что недостаточно знает современную поэзию их стран… В конце автор выражал сожаление, что ему не довелось встретиться с китайцами (китайцы здесь тоже не случайны: эпоха великой дружбы еще не закончилась).

Софронов в одном из следующих номеров «ЛГ» рассказывал, как советские писатели повезли иностранных собратьев по ремеслу кататься на пароходе, – и упоминает среди присутствующих Чуковского.

Праздник. Счастье. Свобода.

После долгих лет политической и культурной изоляции у советских граждан появилась возможность общаться с другими народами, встречаться и разговаривать с иностранцами, не опасаясь ареста. Мир снова открыт. К Чуковскому стали приезжать гости из-за границы: сын Леонида Андреева Вадим, английский литературовед Исайя Берлин, постаревший футурист Давид Бурлюк, который по возвращении в Нью-Йорк написал в газете о своем посещении переделкинских писателей полную чепуху… Потекли новости о старых друзьях и знакомых, о которых он не слышал несколько десятилетий: что пишет сейчас Ремизов… что делает Юрий Анненков…

Немаловажно: в этом году Лидия Корнеевна получила справку о реабилитации Мити Бронштейна.

Александра Бруштейн, вспоминая 75-летнего Чуковского, пишет: стоило ему выйти на улицу, как к нему радостно бросались, кажется, все переделкинские собаки, а за ними все переделкинские дети, и начиналась сумасшедшая, оглушительная возня. А потом К. И. шел в Дом творчества писателей – «и во всех сорока комнатах этого дома писатели радуются приходу Корнея Ивановича, его беседе, сверкающей умом, знаниями, чудесным юмором».

Кажется, Чуковский вполне отвоеван у смерти и в могилу его больше не тянет. И жизнь вновь приобрела утраченную глубину и многомерность, перестала быть однообразной и предсказуемой. И особенно нестерпимо, конечно, на этом фоне плоское и унылое

головотяпство Литфонда: приходите завтра… ждите… нет… нельзя…

В конце августа, однако, Литфонд, прежде отказывавший в кирпиче, стройматериалах, разрешении на строительство, установке электричества, – вдруг решил принять участие в деле и поставить забор за свой счет. Дом для библиотеки был отстроен; в дневнике 29 августа записано: "Нужно оформлять дом: нужна краска, олифа, нужны обои, нужна *мебель*. Нет, я и вправду разорюсь с этой затеей".

30 сентября газета «Московский литератор» опубликовала письмо К. И. о библиотеке: Чуковский говорил о том, что в ней сейчас 280 абонентов – преимущественно дети «шоферов, дворников, маляров, землекопов». Что ему «удалось привлечь опытного ленинградского библиотекаря с 20-летним стажем Екатерину Елевферьевну Лури» (это его племянница, дочь сестры Маруси). Что постройка дома оказалась делом канительным, что хлопоты о финском домике не увенчались успехом, что сделать надо еще многое, а на носу октябрь… и заканчивал: «Так как мне 75 лет, мне нужна твердая уверенность, что после моей смерти библиотека будет развиваться и впредь, что устроенное мною помещение для книг не будет использоваться в качестве жилплощади и что писательская общественность не даст этому делу захиреть».

30 октября он писал Михаилу Слонимскому и его жене: «Библиотека действительно вышла на славу. Это лучшее мое произведение. Три уютные комнаты, теплые, светлые, нарядные, множество детей (в день не меньше 40 человек!), которые читают запоем – тут же, в библиотеке – за всеми столами – и делают уроки, и радуются каждой новой книге, которую я привожу из Москвы. Но трех комнат маловато. Если б я не разорился в лоск (б-ка обошлась мне вчетверо дороже, чем я думал), я сейчас же пристроил бы еще одну комнату – побольше. Праздные мечты! Я вылетел в трубу: уголь для отопления, сторожиха, новые стеллажи, абажуры, занавески, линолеум, графины для воды, рамки для портретов, доска для выставки новых книг, цветы, пальмы, кактусы – все это высасывает мои скудные средства, но сказать себе „довольно!“ я не могу и с азартом продолжаю разоряться…»

А 31 октября в «Литературной газете» появилось письмо в редакцию:

«В честь сорокалетия Великой Октябрьской социалистической революции писатель Корней Иванович Чуковский безвозмездно передал государству выстроенную им в городке писателей „Переделкино“ детскую библиотеку с инвентарем и книжным

фондом». Авторы письма, председатель исполкома Кунцевского райсовета Казин и заведующая районным отделом культуры Нагорная, передавали писателю благодарность и добрые пожелания.

«Библиотека становится все красивее», – удовлетворенно отмечал Чуковский в дневнике. Его волнует все: табуретки, полочки, цвет стен, картины для их украшения, портреты писателей… С этих пор он всех гостей первым делом ведет в библиотеку, писателей просит давать книги, присылать свои портреты, приходить читать детям стихи; художники дарят свои картины…

Библиотеку Кунцевский райисполком с благодарностью принял – а фактически все хлопоты и расходы по ее содержанию еще полгода лежали на Чуковском.

Год, начавшийся так хорошо, вроде бы и завершиться должен на мажорной ноте. И ноты эти звучат. 4 октября запущен первый искусственный спутник Земли! 3 ноября в полет отправилась собака Лайка! Мир ахнул. Чуковский, следя за тем, как эпоха отражается в языке – и взрослом, и детском, записывает наблюдения: слово «спутник» в его первоначальном значении окончательно погибло. Чуть позднее в новое издание «От двух до пяти» попадут и детские стихи на современную тему: «Отправили собачку / Летать вокруг Земли. / Ей разных бутербродов / На месяц запасли. / Собачка громко лает / В кабиночке своей, / А спутник все летает / Вокруг Земли моей».

И в это же время в Италии вышел в свет «Доктор Живаго», и началось шествие опального романа по миру, а власти опять начали наводить в литературе мертвый порядок. «Литературка» опубликовала три подряд разгромные статьи Софронова. Автор громил журнал «Театр», порицал Дудинцева (его еще 19 мая на встрече бранил Хрущев и много раз потом возвращался к его вредному и очернительскому роману «Не хлебом единым»), разносил Алигер… Та весь год пыталась защищать «Литературную Москву», но теперь, не выдержав, выступила с вынужденным покаянием: «Все правильно, я действительно совершила те ошибки, о которых говорит тов. Хрущев», «…мне подчас свойственна подмена политических категорий категориями морально-этическими. Мне не хватало разностороннего политического чутья, умения охватить широкий круг явлений, имеющих непосредственное и прямое отношение к нашей работе…».

Чуковский, уже не раз переживший травлю, хорошо знал, что чувствует писатель, когда его топчут ногами и вымогают из него это «сдаюсь, сдаюсь». Одна из дневниковых записей говорит о его

«парадоксальной дружбе с Алигер»: «все ее горести последнего года, обиды, нанесенные ей, я пережил с мучительной болью».

Писательские дела вызывают у него ощущение тошной скуки: писательские разговоры бессмысленны, редактор «Людей и книг» требует дурацкой правки, предвыборное собрание писателей – «скучно, я ушел. Хотят выбирать меня – тоска! Я буду последний идиот, если соглашусь». Доклад Федина – «заячье трусливый, о секциях, подсекциях, группах, подгруппах и т. д. Я десяти минут не мог пробыть в этой обстановке – выбежал на воздух».

«Никто из нас не уцелел»

«Я начал писать о Брюсове и бросил. Начал об Алексее Толстом и бросил. Начал об Оскаре Уайльде и бросил. Сейчас нужно: Чехов, Чехов, Чехов. Вчера стал изучать его записные книжки», – пишет Чуковский 1 января 1958 года, как обычно, давая себе новое задание на год. Год, впрочем, принес совсем другие заботы.

В январе умер Евгений Львович Шварц, замечательный сказочник. В 1920-х он был литературным секретарем К. И. Совсем недавно Чуковские поздравляли его с 60-летием, совсем недавно он написал к юбилею К. И. статью «Некомнатный человек». А еще раньше он в дневнике записал свои воспоминания о Чуковском, из которых сложился очерк «Белый волк», опубликованный после смерти и автора, и героя. Стоит все-таки добавить, что и друзья, которым Шварц читал эти воспоминания, считали, что Чуковский в них не похож на себя, и сам автор беспокоился, что невольно оклеветал своего героя. Хотел написать иначе – об этом свидетельствует в своих воспоминаниях Симон Дрейден – получилась юбилейная статья, а больше он не успел. Возражал Шварцу и его друг Л. Пантелеев – в альманахе «Память». Л. К. Чуковская писала: «Я располагаю документальными свидетельствами того… обстоятельства, что „Белый Волк“ был, по прошествии лет, забракован самим автором, Евгением Шварцем». А потомки судят о Шварце и Чуковском по «Белому волку».

В апреле постановление ЦК «Об издании книг иностранных авторов» осудило издание большим тиражом книг Дюма, Жюля Верна и «Записок о Шерлоке Холмсе» Конан Дойля (именно над Холмсом К. И. много работал в последние годы). Опять заговорили о «серьезных ошибках в издательской политике». Но сейчас у Чуковского и беды были побольше, и дела сейчас были поважнее.

В феврале заболел Пастернак. Начались хлопоты об

устройстве поэта в хорошую больницу – а для этого нужно содействие властей, а власти сердиты на публикацию романа за границей… «И вот лежит знаменитый поэт, – и никакой помощи ниоткуда», – пишет К. И. в дневнике; сам Пастернак сказал Чуковскому, что все уже сделал в жизни и хотел бы умереть.

Чуковский звонит секретарю Микояна Власову, едет в Москву, объезжает больницы: «В „7-м корпусе“ Боткинской все забито, лежат даже в коридорах, в Кремлевке – нужно ждать очереди, я три раза ездил к Мих. Фед. Власову (в Совет министров РСФСР), куда меня не пустили без пропуска…» В 75 лет не так-то легко это все ему дается. «Дед бился дней пять, писал и звонил в Союз, в Литфонд, пытаясь устроить Пастернака в хорошую больницу, в отдельную палату», – пишет Лидия Корнеевна в «Записках об Анне Ахматовой». Наконец Власов «добыл ему Пастернаку путевку в клинику ЦК – самую лучшую, какая только есть в Москве», – с облегчением пишет Чуковский.

Изданный за границей «Доктор Живаго» добрался до Москвы. Роман читают, перечитывают, обсуждают; некоторые, впрочем, слышали его раньше в чтении автора. В тех же «Записках» сохранен разговор о романе: Лидия Корнеевна говорит Ахматовой – пейзажи гениальны, многие страницы ослепительны… «Но вы правы: главные действующие лица неживые, они из картона, особенно картонен сам Живаго. И язык автора иногда скороговорочностью доведен до безобразия». Чуковский записывает в дневник чужие отзывы о романе: Федина, дочери… «Я романа „Доктор Живаго“ не читал (целиком), но Лида говорит, что в нем много плохих мест. Но сам он Пастернак производит впечатление гения: обнаженные нервы, неблагополучный и гибельный».

«Живаго», которого Чуковский не прочитал толком, не дочитал, забыл, не хотел читать заново (чтобы не волноваться? чтобы не разочаровываться в авторе? или это, сказанное Зинаиде Николаевне Пастернак: «Нет, я не читаю сенсационных книг») – не нравился ему и не мог понравиться – кроме, конечно, пресловутых гениальных пейзажей. Не близок ему был условный, странный роман Пастернака, построенный на допущениях, совпадениях, приближениях, хаотичный и громадный; это была не точная, емкая, пушкинская «проза поэта», а совсем другая. Недаром Лидия Корнеевна сравнивала сам поток речи Пастернака со стихией – водопадом, облаками: «Словесные шедевры, рождаемые в кипении и грохоте, шли вереницей, один за другим, один уничтожая другой; зрительное сравнение здесь, пожалуй, более уместно: они шли, подобные облакам, которые только что напоминали глазу гряду скал, а через секунду превращались в

слона или змею».

«Живаго» не нравился и Ахматовой, воспитанной на тех же представлениях о литературе, что и К. И. «Борис провалился в себя. От того и роман плох, кроме пейзажей. По совести говоря, ведь это гоголевская неудача – второй том „Мертвых душ“!.. оттого же в такое жестоко-трудное положение он поставил своих близких и своих товарищей», – приводит в своих «Записках» ее слова Лидия Корнеевна. Аналогия Ахматовой точна: по жанру «Доктор» приближался именно к поэме, и судить ее по традиционным романным канонам было бессмысленно, – но и Ахматова, и Чуковский выросли на классической русской реалистической прозе, в которой гоголевская традиция надолго осталась невостребованной. У Гоголя научились надрыву и социальной сатире «Петербургских повестей» – но эпическая поэзия «Мертвых душ» обрела продолжателей лишь в XX веке, и имена Пастернака и Андрея Платонова тут, безусловно, первые. Эта проза требовала другого восприятия – Чуковский почти никак не отреагировал на своего великого современника Платонова и не оценил новаторское письмо Пастернака.

«У меня с Пастернаком – отношения неловкие: я люблю некоторые его стихотворения, но не люблю иных его переводов и не люблю его романа „Доктор Живаго“, который знаю лишь по первой части, читанной давно. Он же говорит со мной так, будто бы я безусловный поклонник всего его творчества, и я из какой-то глупой вежливости не говорю ему своего отношения», – огорченно пишет Чуковский в дневнике.

«Доктор Живаго» вопиюще не соответствовал требованиям, которые Чуковский предъявлял к литературе: «вяло, эгоцентрично», сыро, неорганизованно, сенсационно, с политическими намеками – зачем, зачем он, автор божественного «Августа» и прекрасной «Больницы» – зачем написал, зачем опубликовал на Западе, зачем не остерегается, зачем специально лезет на рожон? Убьют, затопчут, растерзают, – зачем приносить себя в жертву, бессмысленную, очередную, ненужную?

Он волнуется за Пастернака, предвидя трагедию: тучи стягиваются над головой поэта, а тому, кажется, и дела нет. В июне, узнав от Кассиля, что Пастернак собирается выступать в Доме творчества, – бежит предупредить Бориса Леонидовича: Дом кишит «шушерой», из чтения получится только скандал!

У Чуковского (и не у него одного, конечно) обостренно – как интуиция, как художественное чутье – было развито и оттренировано за долгие годы некое шестое чувство, которое мы позволим себе условно назвать «чувством власти» – то самое чувство, которое позволяет в любом тексте безошибочно

угадывать фальшь и признаки редакторского и цензурного насилия; чувство, которое дает возможность легко читать между строк, расшифровывать авторские полунамеки, которое помогает различить обещания новых бедствий в корявых казенных формулах, заключенных в злобные кавычки. Шестым этим чувством он легко уловил надвигающуюся катастрофу – и пытался уберечь Пастернака от уничтожения.

Только что Чуковский несколько раз встретился с Зощенко, который произвел на него тягостное впечатление: не слышит собеседника, говорит невпопад, не то, не так, – страшен, замучен, «заколоченный в гроб». В дневнике появилась запись:

"Зощенко седенький, с жидкими волосами, виски сдавлены внутрь, – и этот потухший взгляд!

Очень знакомая российская картина: задушенный, убитый талант. Полежаев, Николай Полевой, Рылеев, Мих. Михайлов, Есенин, Мандельштам, Стенич, Бабель, Мирский, Цветаева, Митя Бронштейн, Квитко, Бруно Ясенский, Ник. Бестужев – все раздавлены одним и тем же сапогом".

22 июля 1958 года Зощенко умер.

Чуковский сам трижды попадал под этот сапог – в 1929-м с «чуковщиной», в 1944-м – с «Одолеем Бармалея!», в 1946-м – с «Бибигоном». Он видел, что в этом смысле времена переменились очень мало: сам только что утешал Маргариту Алигер, пережившую столь знакомые ему слезы, бессонницы, покаяния. Он по себе знал, как невыносимо проходить через полосу гонений; но и это не главное – не слезы, не бессонницы, не сердечные приступы. Даже не сама по себе катастрофическая необходимость замолчать или выступить с формальным признанием своих мифических ошибок. Самое страшное для писателя, попавшего под сапог, – это почти неминуемая утрата способности писать – способности хрупкой, редкой, трудно восстановимой; утрата дара, исчезновение власти над словом, потеря себя. И не только потому, что «писатель с перепуганной душой – потеря квалификации», или «гений и злодейство несовместны», и нельзя безнаказанно предавать себя, – все правильно, да, и это-то как раз уже сто раз сказано было… Самая страшная писательская катастрофа не в том состоит, что талант загоняют в клетку, запрещают, не дают прорваться наружу, вынуждают изменить себе. А в том, что огонь угасает. Живая душа превращается в бесплодное пепелище, не способное ничего родить. Музыка исчезает. И писатель молчит не потому, что нельзя говорить, не дают – а потому, что говорить не может. Можно сломать клетку, можно осыпать писателя розами, дать Ленинскую премию и всесоюзную пенсию, квартиру, дачу,

машину, путевку в Барвиху, палату в кремлевской больнице – но все это уже поздно, поздно, поздно.

И сам Чуковский сидит за письменным столом – и проклинает себя за литературное бессилие, за то, что не реализовался, погубил – или позволил погубить свой дар. Пишет и вычеркивает. Пишет и бракует. Только что вышла «Из воспоминаний»: «Книжка мне очень не нравится. О „Потемкине“ – плохая беллетристика. О Репине растянуто и слащаво. Хуже всего, что Репин уже не вызывает во мне того восторга, с которым я относился к нему, когда писал эту книжку. О Горьком – вяло, много недоговоренного. Вообще что-то есть в этой книжке фальшивое. Пишу о Блоке – очень туго, без воодушевления. Чехов опять отложен».

«Вот уже 4-я ночь, как я не сплю. Стыдно показаться людям: такой я невыспанный, растрепанный, жалкий. Пробую писать, ничего не выходит. Совсем разучился. Что делать? Иногда думается: как хорошо умереть». «Вообще, без писания я не понимаю жизни. Глядя назад, думаю: какой я был счастливец. Сколько раз я знал вдохновение! Когда рука сама пишет, словно под чью-то диктовку, а ты только торопись – записывай. Пусть из этого выходит такая мизерня, как „Муха-Цокотуха“ или фельетон о Вербицкой, но те минуты – наивысшего счастья, какое доступно человеку».

Бессонница без Гомера и парусов. Сухость. Пустыня. Обступают тени и говорят о страшном – он сказал Ольге Грудцовой: «Я ночи не сплю, вспоминаю все дурное, что делал людям»; секретарю Кларе Израилевне говорил: "Если бы еще я был безгрешен!.. Вы ведь не знаете, «Что думает старуха, когда ей не спится» (так называется одно из некрасовских стихотворений. – *И. Л.)"*.

Как после смерти Муры он говорил о своей вине перед нею, своей черствости к ней, о том, что недостоин ее памяти, – так сейчас вспоминает о Марии Борисовне: она была правдивой и строгой, она никогда не давала советов, которые бы уводили в сторону от прямой дороги… а я – выдерживаю ли я эту ответственность перед ее памятью? Ночью мучится совестью – и задает себе жуткие вопросы: а так ли я распорядился своей жизнью?

Он постоянно исследует собственное пепелище: способна ли родить эта выжженная земля? Может ли он еще разговаривать с читателем? Иногда кричит: «Ничего, ничего я не сделал со своими потенциями!» Иногда, глядя на бешеные тиражи последних книг (350-тысячный тираж «От двух до пяти» был раскуплен в один день! За три года 660 тысяч экземпляров! 30-

тысячный тираж литературоведческого труда «Люди и книги» тоже весь разошелся!), – задумывается: "Значит, я нашел-таки путь к сердцу советского читателя – хоть и перед смертью, а нашел. Вся штука в том, что я ничего ниоткуда не списываю, никому не подражаю, ничего не подгоняю под чужие теории и не *придерживаюсь казенных форм* выражения".

Жизни без труда он не мыслит, а труд после бессонных ночей безрадостен, снотворные отупляют, слова не даются, ему кажется, что он конченый человек, ему больше нечего здесь делать. К нему приносят правнуков – и он пишет в дневнике: «Так как я не могу кричать от ужаса, что у меня правнуки и значит, завтра меня выбросят на свалку в могилу, я улыбался и говорил: „Какие милые“. Они и в самом деле милые».

А затем – прелестная запись: прадед рано утром пытается занять правнука, чтобы он не кричал на весь дом, – ключи, книга, надавливание пальцем на нос, бусы на палке… «Это было первое утро за много лет, когда я отвлекся от бумаг, от стола, от ненавистных статей и от страданий от своей литимпотенции…»

Тем ли я занимаюсь, думает он, зачем вообще всё? «Библиотека приводит меня в отчаяние. Я отдал ей столько души, убрал ее, как игрушку, отдал огромные деньги, которых в то время было у меня не так уж много, – но дети кажутся мне грубыми, тупыми, тусклыми – не лучше родителей». «…И по-настоящему мне следовало бы бросить всю литературу – и заняться детьми – читать им, рассказывать, развивать их, звать их к достойной человеческой жизни, а без этого – одна раздача книг – бесполезна».

Здесь, кстати, корень его принципиальных расхождений с дочерью, причина его нежелания участвовать в диссидентской деятельности, его скептическая оценка ее страстных выступлений против лжи – для него это «безумие»: «Ты пришла в публичный дом и чудесно, красноречиво, убедительно доказываешь девкам, как хорошо быть благородными девицами и не продаваться солдатне по полтиннику. Девки только захохочут визгливо – и запустят в тебя кто туфлей, кто рюмкой. А хозяйка публичного дома прикажет спустить тебя с лестницы».

Позднее он называл безумием демонстрацию на Красной площади против вторжения в Чехословакию, хотя и защищал ее участников. И в дневнике писал в 1968-м: "Теперь, когда происходит хунвейбинская расправа с интеллигенцией, когда слово интеллигент стало словом ругательным, – важно оставаться в рядах интеллигенции, а не уходить из ее рядов – в тюрьму. Интеллигенция нужна нам здесь для повседневного интеллигентского дела. Неужели было бы лучше, если бы Чехова

или Констанс Гарнетт (переводчицу русской классики на английский. – *И. Л.)* посадили в тюрьму".

Бармалеев много, Айболитов мало; можно выбирать: выступить ли против Бармалея и погибнуть – или помогать обиженным, лечить, учить. Он выбирает второй путь, она, кажется, предпочла бы первый: нельзя строить на фундаменте лжи; зачем делать «повседневное интеллигентское дело» в мире, где людоеду нельзя сказать, что он людоед, и где процветает каннибализм?

Он, пожалуй, неправ, сравнивая ее с народником, который раздает в публичном доме «молитвенники с бантиками»: в ближайшие годы проявилась совсем другая сила ее таланта – уже не заклинание Чеховым, а грозное, ненавидящее обличение – с силой и безнадежностью библейского пророка. Он предпочитает другой путь – пожалуй, путь, избранный в том же Ветхом Завете не пророками, а самим Богом: этих – уже не исправить; проповедовать им благодать – бессмысленно, они надругаются над истиной и над ее вестниками; эти обречены огню и мраку; надо собрать тех, кого еще можно спасти, вывести из Содома, из египетского плена, из мерзости разлагающегося мира – и воспитать иначе.

Самуил Лурье пишет: «Он, конечно, боялся за дочь – и, я думаю, побаивался дочери, и страха этого ради нередко вел себя великодушно: чтобы она не переставала им гордиться (на похороны Бориса Пастернака все же не пошел). Но про себя, как страстный мизантроп, считал ее вечную борьбу с Глупостью занятием, недостойным ума. Лидия Корнеевна, наоборот, верила в ценность правды. И за себя не боялась никого и ничего. Жила и писала, как свидетель обвинения на суде, так и не состоявшемся».

Строки эти, безусловно, продиктованы горячей любовью к Лидии Корнеевне – и в чем-то обидой за нее – но признать их верными никак не получается. Похороны Пастернака еще впереди, и не будем их пока касаться.

Чуковский не любил себя и не дорожил собой, – и нарисованный здесь портрет мелкого трусишки, человеконенавистника, только из страха перед благородной дочерью способного на какие-то приличные поступки, – мягко говоря, непохож. Причина, по которой он выбирал этот путь, а не другой, – пожалуй, в его отношении к себе и к собратьям-писателям. Он писал о себе несколько лет спустя: «Я микроскопический, недостойный, но несомненный наследник Чеховых, Тургеневых, Куприна, Бунина…» И себя, и Зощенко, и Ахматову, и Пастернака, и дочь свою Лидию Корнеевну он воспринимал как людей, исполняющих важную и серьезную

миссию, – как скудельные сосуды, в которых заключен священный огонь (а вот под ним можно понимать и этику, и культуру, и традицию, и талант – кому что ближе). Сохранить его и передать другим поколениям – вот что он считал самой важной задачей. И с негодованием смотрел на растрату этого дара: носителей его так мало, тьма так велика, работы так много – зачем бросать свой светильник под гусеницы танковой бригады, зачем его гасить, кому нужна эта бессмысленная жертва. Наша задача – освещать, обогревать, передавать огонь дальше.

Нет, все-таки нет здесь непримиримого противоречия между отцом и дочерью: огнем можно ведь не только освещать и обогревать ростки доброго, но и дотла истреблять мерзостное. И одно без другого немыслимо.

14 октября умер Николай Заболоцкий.

Через неделю с небольшим, 23 октября – в день, когда пришло известие о присуждении Пастернаку Нобелевской премии, – разразилась давно ожидаемая Чуковским катастрофа. Все предшествующие этой дате страницы дневника К. И. с мая по сентябрь – выдраны; возможно, по следам случившегося.

«В тот день, когда сделалось известно, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, К. И., взяв с собой Люшу, отправился поздравить нового лауреата, – пишет Лидия Корнеевна, комментируя нобелевскую историю в примечаниях к „Запискам“. – Во дворе стояли машины иностранных корреспондентов. Когда К. И. целовал руку Зинаиде Николаевне, а Борис Леонидович обнимал Люшу, когда потом все четверо подняли бокалы в честь премии – корреспонденты защелкали аппаратами. В ближайшие дни фотографии оказались напечатанными во многих иностранных журналах».

Из дневника К. И. следует: пришел Федин, сказал, что Поликарпов сидит у него дома и требует, чтобы Пастернак отказался от премии. Федин в растерянности: «его проведут сквозь строй», он руководитель, должен что-то делать… собирается публиковать письмо «Нового мира» Пастернаку, объясняющее отказ напечатать роман…

Чуковский зашел к Федину и стал его уговаривать: «Ведь у вас же есть литературное имя, не пятнайте его, ставя свою подпись под таким документом». (Федин сообщил ему, что завтра Пастернака в 12 часов дня будут исключать из Союза писателей за нарушение устава и опубликование своих произведений за рубежом.) «Федин сказал, что уже ничего нельзя сделать», – писала Е. Ц. Чуковская в дневнике по горячим следам.

Поразительно, пожалуй, и для Чуковского, и для Пастернака это невообразимое перерождение хорошего прозаика, настоящего

писателя, серапионова брата – ученика Чуковского в Студии! – в безликого и безвольного функционера. Всякий раз как Чуковский рассказывает о Федине-руководителе, в его тоне нет ни осуждения, ни возмущения, – но отчетливо различима нотка мистического ужаса: как писатель может подписать такой документ? как он может сочинять и читать с трибуны такие речи? что он с собой сделал?

К. И. получил повестку из Союза писателей, приглашающую на экстренное заседание. Разволновался, отправился к Пастернаку, чтобы предупредить: готовится поход против него. «Как раз в эту минуту, – пишет К. И. в дневнике, – приехал к нему тот же посыльный и принес такую же повестку. (Я видел посыльного также у дачи Всеволода Иванова.) Лицо у него потемнело, он схватился за сердце и с трудом поднялся на лестницу к себе в кабинет. Мне стало ясно, что пощады ему не будет, что ему готовится гражданская казнь, что его будут топтать ногами, пока не убьют, как убили Зощенку, Мандельштама, Заболоцкого, Мирского, Бенедикта Лившица, и мне пришла безумная мысль, что надо спасти его от этих шпицрутенов».

(Страх? Да, пожалуй, страх; похожий на тот, о котором говорила Ахматова Лидии Корнеевне, – страх повторения, «нельзя перенести второй раз». Чуковский испугался – но не за себя, а за Пастернака, которого сейчас будут уничтожать на его глазах, как уничтожали его самого.)

Он предложил свой план спасения – вместе ехать к Фурцевой и объяснить ей, что публикация произошла помимо воли Пастернака, что он не согласен с политической шумихой вокруг романа… Пастернак решил не ехать, а написать письмо Фурцевой – и написал – «как будто нарочно рассчитанное, чтобы ухудшить положение», жаловался Чуковский в дневнике. «Как сказал Дед – гениально, но совершенно противоположно тому, что нужно. Дед сказал, что этого отправлять нельзя, и ушел», – писала Елена Цезаревна.

Это попытка увести поэта с *Via Dolorosa,* на которую он вступает, уберечь от публичной расправы. Чуковский предлагает компромиссное решение: не то чтобы сделка с совестью, но и не прямой шаг навстречу готовой сокрушить государственной машине. Надо сказать, убеждает он: да, роман напечатан против воли, премия присуждена за все творчество, политическая шумиха вокруг романа мне неприятна… Нет, кажется, ничего постыдного в том, чтобы это произнести и уклониться от линчевания: ведь политическая шумиха неприятна Пастернаку? ведь и премию можно расценивать как присужденную за все творчество? – но все-таки предполагается некоторая уступка

властям, отклонение от идеально прямой линии. Чуковскому Пастернак стократ дороже идеальной прямизны линии поведения: К. И. не из тех, кто с чувством выполненного долга сопровождает близких на Голгофу, – напротив, старается уберечь от казни, и это понятно. Но Пастернак не из тех, кто бросает свой крест и уклоняется от своей чаши. Он не считает нужным оправдываться, и это тоже понятно.

Дома Чуковского потеряли: «Шесть часов, семь, восемь, девять – Деда нет. Так как еще ни разу за последние годы не было случая, чтобы он лег спать позже 9-ти часов и пришел домой позже 8-ми, то у нас дома страшное волнение. Катя племянница К. И. звонит в разные места, разыскивая Деда, мы с Сашей идем к Федину. Там все заперто со всех сторон, и Деда, по-видимому, нет, – гласит запись в дневнике Е. Ц. Чуковской. – Приходим домой в смятении. Наконец около десяти он приходит страшно возбужденный и сразу начинает рассказывать».

Уже у Пастернака он почувствовал себя плохо. Домой пришел почти больной.

Страсти между тем продолжают накаляться.

25 октября «Литературная газета» опубликовала статью «Провокационная вылазка международной реакции», с которой началась травля поэта; к ней прилагалось упомянутое письмо из «Нового мира». («Как можно сейчас выступать с порицанием романа – хорош он или дурен – на тех же страницах, где „Провокационная вылазка“?» – недоумевала в дневнике Лидия Корнеевна.) 26-го в «Правде» вышла статья Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Союз писателей решил исключить Пастернака из числа своих членов.

Интересно, кстати, что в том же году Нобелевскую премию получили советские физики Черенков, Франк и Тамм, и никто это не расценил как провокационную вылазку международной реакции.

«Звонила в Переделкино, – записывала Лидия Корнеевна в этот день. – Дед заболел. Спазм сосудов мозга. Давление сильно повышено. Его уложили в постель, запретили ему работать – самое для него трудное». Работать он не мог – лежал и в который раз обдумывал невеселые мысли. Союз писателей призвал его к ответу: почему посмел поздравить преступника? Телефонные звонки. Повестки.

«Звонила в Переделкино, – пишет Л. К. на следующий день. – Деду хуже. Давление не снижается. Сна нет. Не потому ли, что там побывал Коля и заразил его общим страхом, царящим в Союзе Писателей? И своим собственным в придачу – за то неловкое положение, в которое попал Дед?»

Николай Корнеевич, упрочивший свое положение в литературе после успеха «Балтийского неба», стал вполне советским писателем – из числа тех, кто заседает на «секциях и подсекциях», ездит в творческие командировки за границу… И, конечно, общий страх – что он сделал, что с нами всеми теперь будет, теперь вообще рта никому не дадут раскрыть! – сильно угнетал его.

27-го Чуковский сделал в дневнике запись, подробно рассказывающую о дне объявления Нобелевской премии. Начинается с заявления: «История с Пастернаком стоит мне трех лет жизни. Мне так хотелось ему помочь!!! Я предложил ему поехать со мною к Фурцевой – и пусть он расскажет ей все: спокойно, искренне. Пусть скажет, что возмущен такими статейками, как те, которые печатают о нем антисоветские люди, но что он верит (а он действительно верит!!), что премия присуждена ему за всю его литературную деятельность. Пусть скажет, что он стал жертвой аферистов, издавших его роман против его воли, как он говорит».

Ниже позднейшая приписка: «Это написано для показа властям». Зачем? Готовил ли он стратегию самозащиты, припертый к стене бесконечными вопросами: зачем ходил поздравлять преступника? Полагал ли, что и в дневник залезут? Ахматова и в эти годы регулярно показывала Лидии Корнеевне взрезанные бритвой корешки книг и папок: кто и что в них искал?

Чуковский объясняет в дневнике, зачем ходил поздравлять Пастернака. «Уверенный, что советское правительство ничего не имеет против его премии, не догадываясь, что в „Докторе Живаго“ есть выпады против советских порядков, – я с Люшей бросился к нему и поздравил его». Запись, начатая «для показа властям», уже к середине обретает силу гневного протеста: «его будут топтать ногами, пока не убьют»… и мысль поехать к Фурцевой он сам характеризует как «безумную»…

Уже к вечеру этого дня стало известно, что на заседании Президиума Союза писателей Пастернак исключен из союза.

28 октября Л. К. записывает в дневнике:

"С утра, встревоженная состоянием Деда, я поехала в Переделкино.

Он лежал у себя на диване, укутанный одеялом по самое горло: балконная дверь полуоткрыта. Глаза несчастные, потому что работать нельзя, и три ночи не спал, и, конечно, Пастернак, Пастернак, Пастернак.

Думает он, разумеется, только о том, что случилось. Эти мысли подняли давление, лишили его сна, уложили в постель. Не знаю, известно ли ему уже, что Пастернак вчера исключен из

Союза?.. Спросить, узнать, посоветоваться, утешить нельзя. Для меня, когда приходит несчастье, одно спасение – погрузиться в него, тогда я скорее вынырну. Для него наоборот: делать вид перед собой и другими, будто ничего не случилось, и, главное, чтобы его «отвлекали». Для меня в такие часы всякое отвлечение – оскорбительно, для него – единственный способ излечиться".

Из Союза писателей Чуковскому продолжают настойчиво звонить на дачу.

29 октября Пастернак отказался от премии.

31-го общее собрание московских писателей утвердило решение президиума об исключении Пастернака из Союза писателей и решило просить правительство, чтобы оно лишило поэта гражданства. Большинство писателей, искренне любивших Пастернака, на собрание не пошли. У каждого были уязвимые места, за которые можно было схватить, и любимые люди, которых хотелось уберечь. Лидия Корнеевна мучительно колебалась: идти или не идти. Пойти и молчать – значит участвовать. Не пойти – значит попустительствовать. Пойти и крикнуть что-то смелое – подвергнуться исключению. «А Деду я нанесу рану. Ему 76 лет. Каждая рана сейчас для него может оказаться смертельною».

«Выкрикивать бывает очень приятно, не спорю, – увещевала Лидию Корнеевну Ахматова, – но если мы способны шагать ради этого собственного удовольствия через горе и даже болезнь другого человека, то чем, спрашивается, мы лучше т е х?» – и показала глазами на потолок: это у нее обычно обозначало НКВД-МГБ-КГБ.

«Весь ноябрь „я был болен Пастернаком“, – писал Чуковский в дневнике в начале декабря. – Меня принудили написать письмо с объяснениями – как это я осмелился поздравить „преступника“! Колино выступление в Союзе». Последнее, пожалуй, даже мучительнее, чем письмо с объяснениями. Николай Корнеевич, с юности любивший стихи Пастернака, знавший множество наизусть, – произнес слова осуждения: не должен советский писатель издаваться за границей!

Сейчас уже трудно понять, что сподвигло Н. К. на этот шаг: страх ли за себя, свое благополучие, свою семью, за секцию переводчиков московского СП, которой он руководил и от имени которой должен был выступить. Сын Н. К. Дмитрий Чуковский рассказывает, что вечером накануне собрания у них дома сошлись писатели – в их числе Панова, Бек, Казакевич, Гроссман, Алигер: опасались, что Пастернака будут изгонять из страны – и всерьез полагали, что лучше исключить из Союза писателей, а дважды уж за одно и то же не накажут… И все-таки. Участие Николая

Корнеевича в травле – это было самое больное для семьи Чуковских. Лидия Корнеевна в комментарии к «Запискам об Анне Ахматовой» приводит фразу брата: «Пастернак – гений, его поэзии суждено бессмертие, он это знает, а мы обыкновенные смертные люди, и не нам позволять себе вольничать. Мы должны вести себя так, как требует власть». Пастернак потом просил передать Николаю Корнеевичу, что на него не сердится; даже написал ему об этом письмо. Чуковский к зиме стал чувствовать себя лучше, но бессонница осталась на несколько месяцев. Он вновь взялся за работу – пытался писать воспоминания о работе в журнале «Сигнал»; сам их характеризовал как «склеротические».

Лидия Корнеевна говорит в «Записках»:

«Дед, незадолго до болезни бродя со мной по Переделкину, сказал: „Хорошо бы написать роман о судьбах здешних писателей под названием: ‘Разложение'. Одних расстреливали или загоняли в гроб, других разлагали. Никто из нас не уцелел“».

Один с тоской

Зимой 1958/59 года Чуковский долго жил в санатории в Барвихе. На Новый год приехал в Переделкино «навестить своих» в больничной пижаме и халате. Дневниковые записи: он встречается с Маршаком, Катаев не взял в «Юность» его воспоминания о журнале «Сигнал» да еще назвал их дрянными. Виделся с Пастернаком, тот просил совета – «какой совет могу дать ему я – больной, изможденный, измочаленный бессонницами?».

Пастернак опасался, что на новом, XXI съезде КПСС поставят вопрос о лишении его гражданства. Чуковский предлагал: не противопоставляйте себя советской власти, «напишите длинное письмо, заявите о своих симпатиях к тому, что делает Советская власть для народа, о том, как вам дорога семилетка, – и т. д.»; иными словами – пришлите им дежурную отписку, которая будет свидетельствовать, что вы им не опасны. «Нет, я этого не напишу», – сказал Пастернак.

«Расскажите, почему и зачем вы отдали роман за границу, осудите этот свой поступок», – предложил Чуковский.

"Ни за что. Скорее пойду *на распятье",* – сказал Пастернак.

Несколько позже, узнав, что Пастернак опубликовал за границей стихи о том, что он «загнанный зверь», – Чуковский негодующе восклицает: «Так поступить мог только сумасшедший!» Несколько позже Пастернак сказал Чуковскому, что хочет его совета, тот возразил: да вы же никогда моих советов не слушали. Да, да, правда, засмеялся Пастернак.

Впрочем, на XXI съезде поэта не трогали: обсуждали вопросы социалистического строительства и соревнования со странами Запада. В мае прошел Третий съезд советских писателей: заслушали Суркова, с очередной программной речью выступил Хрущев: «Произведения могут быть написаны, так сказать, на невысоком уровне. Ну и что ж, читатель даст свою оценку плохому произведению. Другое дело, если произведение написано неверно, то есть в произведении взяты неверные исходные позиции. Этого никак нельзя допустить». Опять защищал лакировщиков и говорил, что на одном отрицательном далеко не уедешь.

Чуковский выступал с речью на иностранные темы: об эпидемии кровавых сюжетов в западной литературе, о высоких образцах человечности в стихах Уитмена… Все это уже было.

Разразился новый литературный скандал: за публикацию слишком домашних писем Маяковского к Лиле Брик (грубая политическая ошибка!) власти решили закрыть серию «Литературное наследство», которую Чуковский высоко ценил, хвалил печатно, в которой сотрудничал. В дневнике К. И. приводит разговор с Фединым, который сменил Суркова на посту руководителя Союза писателей. «Неужели вы подпишете постановление о закрытии серии?» – спрашивает Чуковский. И Федин отвечает: «А что же мне остается делать?» – и тут же хвалит редактора серии: замечательный работник, прекрасный организатор.

– И все же вы подпишете? – переспрашивает Чуковский.

– А что же остается мне делать? – снова отвечает Федин. Прямо евангельские какие-то интонации сквозят в этом диалоге: так и надеешься услышать крик петуха и прочитать, что Федин, шед вон, плакася горько. Но нет.

Хотя «Литературное наследство» удалось отстоять.

«Для меня во всем этом печально, что тот литературоведческий метод, которым до сих пор пользовался я, – метод литературного портрета без лакировки – теперь осужден и провален, – размышляет в дневнике Чуковский. – Требуется хрестоматийный глянец – об этом громко заявлено в постановлении Ц. К. Мои „Люди и книги“ вряд ли будут переизданы вновь. Сволочи. Опять у меня нет пристанища. Из детской литературы вышибли, из критики вышибли, из литературоведения вышибли».

Недаром Ольга Канунникова назвала его «разочарованным странником». Ему надоели люди; он чаще всего заранее знает, что они скажут. Отсюда – а не от внутренней злости – его мизантропия. Отсюда желание общения – и немедленное,

страстное стремление это общение оборвать. Помешали работать, отняли время, преступники. Впрочем, преступникам это не говорилось: их ждал вежливый прием… пока и это не надоело.

Во многих воспоминаниях – он морочит своих гостей, дурачит, водит за нос, подстраивает недобрые шутки – иногда будто мстя за отнятое от работы время. А иногда эти шутки и совсем непонятны, абсурдны. Может быть, он просто испытывает посетителей? проверяет их? пробует на зуб, как монету, – не фальшивая ли? Читаем у Натальи Ильиной, как Чуковский увел непрошеных гостей на долгую прогулку, измотал их и даже не пригласил в дом; у Натальи Долининой – как он, услышав ее историю про детскую игру в «замри-отомри», велел ей, снимающей сапог: «Замри» – и ушел наверх, и потом принес книгу с надписью, начинающейся с «Отомри»; у нескольких человек – как он учинял им экзамены на знание дат рождения писателей; у Райкина – как он и Чуковский один другому уступали право войти первым, и оба валились на колени, падали ниц – и провалялись так битых сорок минут, и Райкин все-таки вошел первым, а Чуковский тут же сказал, что на его месте все-таки пропустил бы старшего вперед… Таких воспоминаний много-много – читая их, трудно отделаться от ощущения, что такие замашки прекрасно знакомы нам с детства по народным сказкам.

Это леший так водит и путает, это домовой так расправляется с нежеланными гостями, это Морозко так испытывает посетительниц на прочность, это он Чуковским ехидным тенором спрашивает: «Тепло ль тебе, девица, тепло ль тебе, милая?» – и девица должна собрать все свое мужество, и показать всю свою эрудицию, и ум, и доброту, и трудолюбие, и любовь к литературе. И если не получится, то загремят вон из Переделкина ее косточки, облитые ледяным презрением, а если сдюжит, то ей в награду достанется сундучок с драгоценностями: и дружба, и совместная работа, и ощущение сопричастности к жизни титанов, полубогов, иному миру, осколком которого остался этот не ангел («не ангел» – это в унисон повторяют сразу несколько мемуаристов) и не бес, а хитрый, умный и страшно усталый гриб-боровик, старик-лесовик, человек с древесным именем «Корней».

В последние годы жизни, много времени проводя в санаториях и больницах, он особенно сердито писал о медперсонале и соседях: смотрят телевизор! ходят в кино! играют в домино! режутся в карты! как можно тратить на это жизнь?

«Кино, телевизор и радио вытеснили всю гуманитарную культуру. Мед. „сестра“ это типичная низовая интеллигенция, сплошной массовый продукт – все они знают историю партии, но

не знают истории своей страны, знают Суркова, но не знают Тютчева – словом, не просто дикари, а недочеловеки. Сколько ни говори о будущем поколении, но это поколение будет оголтелым, обездушенным, темным. И у меня такое чувство, что, в сущности, не для кого писать…» Катаев дал прочесть ему привезенную из Америки книгу о молодежи, не желающей жить по законам, на которых построено общество в США, – и Чуковский скупо замечает в дневнике: "Капитализм должен был создать своих битников – протестантов против удушливого американизма – но как уродлив и *скучен* их протест".

Самое противное – ему все понятно. Все скучно, предсказуемо, одинаково, бездарно. Вот разве что о Чехове (близится 100-летний юбилей писателя, готовится новая волна публикаций) он думает с интересом – и так напряженно, так постоянно, что Чехов, в который раз уже, отчетливо ему снится.

И костер свой Чуковский устраивает с прежним интересом и радостью. И с детьми в Переделкине – носится, возится, стучит палкой, шалит от всей души, и дети визжат от счастья. И есть, конечно, в этих проделках что-то неуловимое, хитрое, карлсоновское: вот как раз с Карлсона бы сталось прийти в тихий дом к философу Асмусу, заставить детей, мирно игравших в углу, соревноваться, кто громче заорет… А потом гордо удалиться со словами: «Пошли скорее из этого сумасшедшего дома».

Ольга Грудцова вспоминала: на одном из «костров» Агния Барто спросила: ну-ка, дети, кто лучше всех знает «Мойдодыра»?

– Я!!! – завопил Чуковский.

Тем временем мир меняет очертания. Советские аппараты долетают до Луны. Впервые за много лет отношения между СССР и США налаживаются, возникает подобие диалога, Хрущев едет с визитом в Штаты, страны обмениваются выставками достижений. Прошел первый Московский международный кинофестиваль. В приоткрытую страну врывается мир – и хотя идеологические скрепы еще держат литературу, но чувствуется: прорыв неминуем. В конце 1950-х начинаются вечера в Политехническом, где читают стихи молодые поэты: Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко. Поэзия собирает залы, и кажется – ее языком, пока не слишком внятно, заговорило новое поколение.

А старое поколение уходит.

Летом 1959 года умер Виталий Бианки. В феврале 1960-го в Париже скончался Александр Бенуа, когда-то в очередь с Чуковским писавший «подвалы» в газете «Речь» и яростно споривший с Репиным… 2 марта умерла Тамара Габбе, подруга Лидии Корнеевны, близкий друг и соратник Маршака.

Весной 1960-го сам Чуковский долго болел. 10 апреля в

дневнике записано: «Вот уже почти месяц я в постели» – сердце, грипп; весь май тоже отдан болезни. «Я весь отравлен снотворными. Писать не могу. Ни одной мысли не могу додумать до конца. Вообще полная деградация личности». Он снова собирался умирать. Зная мнительность Чуковского и его склонность готовиться к смерти всякий раз, как заболеет, можно понять: был болен сильно, но не смертельно. В мае же в больницу почти одновременно попали Маршак (с подозрением на рак) и Ахматова (с предполагаемым инфарктом – оказалось, его не было). Они уже все немолоды и до предела измотаны жизнью и историей.

10 мая умер Юрий Олеша.

30 мая умер Пастернак.

О том, что у Пастернака рак и спасти его почти невозможно, Чуковский знал. Однако о смерти поэта ему сказали не сразу: вызвали из города Лидию Корнеевну.

"Дед впервые решился встать с постели и переселиться работать на балкон, – писала она. – Сидит в кресле, укутанный по пояс пледом, и пишет на дощечке. Когда я вошла, он не сразу услышал – сидел, опустив бумагу на колено и вглядываясь в любимую березу со скворечником. Он всегда выискивает на ее стволе следующую свою строку. Поморщился с досадой: я прервала строку.

– Ну, что ты?

Я взяла стул, села напротив.

– Несчастье, Дед.

И выговорила.

Совершая эту жестокую операцию, я видела ясно, при ярком свете солнца, какой он старый, как отекло лицо, какие синие губы, как он горбится в кресле. Маленький старичок. Только руки прежние, молодые, куоккальские. Но руки дрожат.

Он всхлипнул – без слез – и попросил принести из кабинета бумагу и конверт: письмо Зинаиде Николаевне".

Дневниковая запись Чуковского о смерти Пастернака – захлебывающаяся, нежная, горестная: «Стоит прелестная, невероятная погода – жаркая, ровная, – яблони и вишни в цвету. Кажется, никогда еще не было столько бабочек, птиц, пчел, цветов, песен. Я целые дни на балконе: каждый час – чудо, каждый час что-нибудь новое, и он, певец всех этих облаков, деревьев, тропинок (даже в его „Рождестве“ изображено Переделкино) – он лежит сейчас – на дрянной раскладушке, глухой и слепой, обокраденный – и мы никогда не услышим его порывистого, взрывчатого баса, не увидим его триумфального… (очень болит голова, не могу писать)».

С трудом продолжает: "Он был создан для триумфов, он расцветал среди восторженных приветствий аудиторий, на эстраде он был счастливейшим человеком… – тогда он был добр, находчив, радостен, немного кокетлив – в своей стихии! Когда же его сделали пугалом, изгоем, мрачным преступником – он переродился, стал чуждаться людей – я помню, как уязвило его, что он – первый поэт СССР, неизвестен никому в той больничной палате, куда положили его, —

И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь.

(Нет, не могу писать, голова болит.)".

«Дед снова слег, – пишет Лидия Корнеевна. – Опять вызывали врачей, терзаясь телефоном. Я думаю, новый спазм, потому что головокружение и тошнота. Кляну себя».

Похороны Пастернака в мемуаристике описаны многократно, и повторять, каким событием они стали для русской литературы, пожалуй, не надо. На эти похороны Чуковский не пошел. Он был болен – уже долгое время, – склонен к мозговым спазмам, каждый из которых был чреват инсультом, слаб – и, не надо забывать, очень стар. И нужна редкостная пристрастность, чтобы укорять его за неприсутствие и предполагать малодушие. Была на похоронах не только Лидия Корнеевна, но и Николай Корнеевич, куда меньше отца склонный к нонконформизму, обремененный памятью о своем выступлении на писательском собрании, и его жена Марина, и еще десятки знакомых и друзей – ну неужели же К. И. побоялся бы?

Кстати, безо всякого сочувствия Чуковский цитирует в дневнике ответ драматурга Штейна на вопрос, отчего тот не пришел хоронить Пастернака: «Я вообще не участвую в антиправительственных демонстрациях». Надо полагать, его самого тоже спрашивали, уже тогда, почему он не явился. Хотя тогда-то, пожалуй, видели все-таки: и дрожащие руки, и посиневшие губы, и пузырьки с лекарствами.

Дневниковые записи К. И. этим летом вообще – о Пастернаке, о Пастернаке, о Пастернаке. А потом вдруг одна—о рождении нового правнука.

Но, пожалуй, здесь надо дополнить пропущенные этапы семейной хроники. За последние несколько лет в жизни внука К. И. Евгения произошло несколько важных событий: он поступил в Государственный институт кинематографии, был оттуда исключен, поступил вновь, женился на Гале, дочери Шостаковича, – и вот теперь она родила сына Андрея.

Ольга Грудцова приводит в своих воспоминаниях такую сцену:

"В семь часов утра над перилами балкона (на втором этаже) появилась голова внука Жени.

Женя. Дед, у меня родился сын.

Корней Иванович. Поздравляю. Сколько?

Женя. Пятьдесят. На пеленки.

Корней Иванович. Хорошо. Получишь. Только моей крови там меньший процент, чем Дмитрия Дмитриевича. Я – прадед, а он – дед. Скажи ему, чтобы он взял на себя большую часть забот.

Женя. Хорошо.

Корней Иванович. Надо послать розы Гале.

Женя. Старик Нилин еще спит, пойду нарву у него в саду.

Голова исчезла.

Через некоторое время привезли младенца. Корней Иванович долго, с удивлением рассматривал его. А когда все уехали, с грустью сказал:

– Рождаются, чтобы умереть, умирают, чтобы рождаться… В этой комнате умерла Мария Борисовна, и сюда же принесли новорожденного…"

В тех же воспоминаниях есть и такие фрагменты: "Тяжелый приступ стенокардии. Несколько месяцев лежал больной. Много говорил о смерти.

– Куда это все девается?.. Куда ушла Мария Борисовна?.. Куда ушла ваша сестра?.. Вы только не думайте, что я боюсь. Я отношусь к этому совершенно спокойно. Я помню все биографии писателей, смерти… Только не уходите из комнаты… Не оставляйте меня одного.

А через час сочинял шуточные стихи".

Ирина Петрова пишет: «Однажды он сказал со страстной силой, со слезами: „Рождение плоти, ее расцвет, ее умирание, ее неизбежный распад… Ужасно, ужасно!“… Внутренний протест, отвращение, ужас вызывала в нем эта предопределенная неизбежность конца, к которой он не мог и не хотел относиться с пушкинским спокойствием».

И он читал ей «Осень» Баратынского, величественную и мрачную:

Ты так же ли, как земледел, богат?
И ты, как он, с надеждой сеял;
И ты, как он, о дальнем дне наград
Сны позлащенные лелеял…
Любуйся же, гордись восставшим им!
Считай свои приобретенья!..

Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским
Тобой скопленные презренья,
Язвительный, неотразимый стыд
Души твоей обманов и обид!

Твой день взошел, и для тебя ясна
Вся дерзость юных легковерии;
Испытана тобою глубина
Людских безумств и лицемерии.
Ты, некогда всех увлечений друг,
Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь – и вдруг
Бесплодных дебрей созерцатель,
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней задушен.

Он болеет, и опять болеет, и опять. В августе 1960-го пишет Оксману: «Опять заболел и был обречен на бездейственное лежание в постели». Уехал в Барвиху. Пробовал работать над «Гимназией», которую стал переделывать и дополнять. «Свою „Гимназию“ видеть не могу, – писал из Барвихи. – Все, написанное нынче летом, кажется мне написанным в состоянии маразма». В дневнике – та же картина: «Я вожусь со своей „Гимназией“ и вижу свою плачевную бездарность: бессонницы и старчество». В октябре записывал о приезде школьников: «У меня болела голова, я лежал в тоске – и вдруг столько чудесных – веселых, неугомонных детей. Я провел с ними 4 часа и выздоровел. Даже усталости не чувствовал ни малейшей. Они собирали ветки для костра, бегали наперегонки, наполнили наш лес гомоном, смехом, перекличками – и мне кажется, я ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей. Во всех сразу».

И несколькими днями позже писал, рассказывая, что был на могиле Марии Борисовны, где оставлено место для его могилы: «Сегодня сидел у своей могилы – вместе с Лидой – и думал, что я, в сущности, прожил отличную жизнь, даже могила у меня превосходная».

В конце года он пишет о Квитко, хотя ему и не хочется этого делать, – и выступает на вечере, посвященном памяти поэта: «Все понимали, что совершается великий акт воскрешения Квитко, и радовались этому воскрешению».

Он не поддается смерти, не хочет ей уступать.

«Пенять на зеркало»

Еще в конце 1958 года был принят закон о школьной реформе, который был призван ликвидировать «пропасть между физическим и умственным трудом». В школе вводилось трудовое воспитание, образование после школы соединялось с производственным обучением, критериями приема в вуз становились, помимо результатов экзаменов, производственный стаж и общественная активность абитуриента.

В июле 1960-го, перед Всероссийским съездом учителей, Чуковский писал в «Учительской газете» (статья называлась «Детские руки тянутся к труду»): «Детские руки уже с самого раннего возраста так и тянутся к физической работе, жаждут всяких инструментов и машин, и нельзя не жалеть о том, что до недавнего времени школа не давала утоления этой естественной жажде детей и подростков и ограничивала их воспитание почти исключительно книгами. Теперь эта педагогическая ошибка исправлена законом о коренной перестройке обучения в советских школах, и я горячо приветствую делегатов Всероссийского учительского съезда, которые обсудят, как лучше в дальнейшем выполнять этот великий закон». На следующий день открылся съезд. Дети приветствовали делегатов следующими словами:

А мальчишки любят сами
Мастерами быть, творцами.
Просим вспомнить факты эти,
Проявить сознательность.
Не опеку любят дети,
А самостоятельность.

В ближайшие годы стало ясно, что хотели как лучше, а получилось, как всегда: выпускники школ стремились в вузы, а не на производство; студенты, зачисленные в вузы по стажу и общественной активности, оказались хуже подготовленными; производству большой пользы тоже не было: те, кто хотел получить высшее образование, в цехах не задерживались… Сама идея трудового воспитания, хотя и сохранилась в советской школе на долгое время, оказалась уже с самого начала скомпрометированной – непродуманностью, принудительностью, отрывом всех этих обтачиваемых болваночек и пошиваемых шапочек-фартуков от жизни, к которой труд должен был по идее

приближать….

Собственно говоря, все это имеет очень мало отношения к тому, что говорил Чуковский, – к воспитанию ребенка настоящим делом, а не только книгами и играми. Как ни странно, сейчас, когда никакого трудового воспитания в подавляющем большинстве школ нет, родители все чаще задумываются о том, как детям не хватает прикосновения к настоящему труду, как мало дети понимают его цену, как оторваны их знания от действительности. Очень может быть, что вопрос о трудовом воспитании снова всплывет на поверхность общественного сознания – и вновь приведет к каким-нибудь интересным перекосам.

В декабре 1960-го открылся Пленум по детской литературе. «Было от чего прийти в отчаяние, – писал Чуковский. – …Вместо того, чтобы прямо сказать: „Писателишки, хвалите нас, воспевайте нас“, начальство заводит чиновничьи речи о соцреализме и пр. Но все понимают, в чем дело». Маршаку он писал незадолго до открытия этого мероприятия: «Зачем-то устраивается Пленум по детской литературе. Он кажется мне почему-то совершенно ненужным. Выступать я не буду. Если бы я выступил, я обратился бы к юным поэтам с единственным вопросом: отчего вы так бездарны? так черствы? так банальны? Отчего у вас нет лица, нет индивидуальности? Отчего ни в одной вашей строке нет вдохновения? Эта речь была бы очень короткая – но больше мне нечего сказать».

Само собой, он выступил. И сказал именно то, что собирался. Он обвинял детских писателей в том, что они пишут скучно и казенно:

Работает Горка зимою и летом,
От горки, что строят ребята зимой,
Она отличается именно этим
И тем, что на ней путь уложен стальной.

«Так и написали! – поражается Чуковский: – „Она отличается именно этим!“»

Все это ему так надоело, что он не стесняется в выражениях: зевота и скука, сонное равнодушие ремесленника, геморроидальные строки, вялая канитель канцелярской бумаги. «И мне хочется обратиться к редакторам – особенно к периферийным, областным, – чтобы они были беспощадно свирепы и требовательны к авторам дошкольных стихов».

В заключение К. И. прочитал прелестное стихотворение школьницы Лены Гулыги «Мимоза», которое включил потом в

новую редакцию книги «От двух до пяти»:

…Еду я в троллейбусе,
Еду я в метро.
Люди удивляются,
Люди расступаются,
Люди улыбаются радостно, тепло:
«Мимоза! Мимоза! Мимоза в январе?!»
«Повыше подымите – не смяли б у дверей!»
«Да где ж это мимозу покупали вы?»
Мартовская веточка на улицах Москвы…

Процитировал целиком, до последнего радостного: «Пушистый огонек мой, / Гори, гори, гори!» – и предложил сравнить эти стихи со строчками профессионального поэта:

Мы дружные ребята,
Не ссоримся совсем.
Мы дружные ребята,
Скажите это всем.

«Так дети учат нас писать», – закончил он. Об этом он говорит на больших писательских сборищах уже который год: для детей надо писать ярко, небанально, надо уметь вкладывать в свои строки горячее чувство, избегать шаблона… Его слушают, ему хлопают, затем выходит следующий оратор и – отвечая на неустанную заботу партии и правительства, в свете новых масштабных и ответственных задач, выдвинутых в последнем постановлении, призывает обратить особое внимание на идейное содержание произведений художественной литературы и делом участвовать в великой работе по коммунистическому воспитанию масс… Надо полагать, до конца Чуковский на этих заседаниях недосиживал.

Убогую штампованность разговоров, книг, научных статей, окружающих людей уже больше невозможно выносить. В конце 1960 года Чуковский начинает свою масштабную операцию по спасению русского языка. Начиная с вышедшей в ноябре известинской статьи «Сыпь», посвященной канцеляризмам, он одну за другой публикует свои работы о проблемах языка. Может быть, потому, что слух оскорблен до крайней степени. А может быть, – потому, что занятия литературой кажутся уже вполне безнадежным делом.

4 января 1961 года Чуковский писал: "Год начался для

литературы ужасно. Из «Октября» вырезали роман Казакевича. Из «Знамени» изъяли роман Василия Гроссмана; из «Нового мира» вырезали Воспоминания Эренбурга о Цветаевой, о Пастернаке и проч. (воспоминания эти все-таки были напечатаны. – *И. Л.)*. Неохота писать о языке. Какой тут язык! Недавно одна женщина написала мне: «вы все пишете, как плохо мы говорим, а почему не напишете, как плохо мы живем»".

В общем-то для Чуковского ответ был очевиден: для него и плохой язык, и плохая жизнь были явлениями одного порядка: и то и другое обусловлено душевным оскудением. Если человек внутри пуст, если не связан крепко-накрепко путами любви ни с родной культурой, ни с людьми, ни с обществом, если он воспитан на культурных отбросах, на штамповке (и неважно, идейная это штамповка или безыдейная), – он скверно мыслит, скверно говорит и скверно относится к людям. Если не разбужена в нем творческая фантазия, не привита любовь к созиданию, не воспитано уважение к работе и сознательное, хозяйское, вдумчивое отношение ко всякому делу, – то и работа его будет халтурной и подневольной, и руководить он будет бестолково и жестоко, и всякое благо обратит во зло. Бедные, бедные, обокраденные души.

Странное дело: литература пробуксовывает на одном месте, подвергаясь постоянным разносам, одергиваниям и напоминаниям. А жизнь несется вперед семимильными шагами— и вот первый полет человека в космос, и вот еще один, и еще. Космические полеты искренне восхищали Чуковского, подкрепляя его веру в исключительные возможности человека – и нравственные, и творческие, и технические.

Надо сказать, к желанию человека летать он относился с горячим сочувствием еще со времен полетов Уточкина на первых «этажерках». Сам в первый раз пролетел на аэроплане в 1916 году, затем летал на одном из первых советских пассажирских самолетов. В двадцатых заговорил о глухоте русской литературы к мечте о полете – в книге «Две души Максима Горького»; в 1940-м опубликовал статью «Авиация и литература», куда включил целый фрагмент из этой книги. В этой статье говорилось, как много стихов в СССР пишут о летчиках, – даже дети в литературной студии пионерского лагеря, которую К. И. вел в Петергофе, в дни полета Чкалова, Белякова и Байдукова, не сговариваясь, притащили ему 32 стихотворения об этих летчиках. До революции, рассказывает Чуковский, в литературе царило «гробовое равнодушие и к авиации, и к самолетам, и к летчикам». Поэты с презрением относились к аэропланам, сравнивая их полет «с полетом религиозной души в бесконечность». Авиация,

разумеется, проигрывала метафизике. «Им дали новую радость, вооружили их новым могучим оружием, они же залопотали, как толстовский Аким: „А бог? А душа?“»

Для Чуковского успехи авиации были радостью, новым свидетельством величия человеческого гения, новым достижением творческой фантазии, сбывшейся мечтой, потому даже Блока он укоряет за строчки «О стальная, бесстрастная птица, / Чем ты можешь прославить Творца?». «В нашей литературе о летчиках, несмотря на ее богатство, – заключал Чуковский, – все еще нет ни одной эпопеи, которая по своему качеству могла бы сравниться с деяниями воспеваемых ею людей». И, конечно, каждый из первых полетов космонавтов он приветствовал радостными газетными статьями: «Вровень со звездами», «Это колоссально!», «Сказка стала былью», «Нельзя привыкнуть»… И позднее негодовал на сограждан, которые в 1969-м восприняли полет американцев на Луну с завистливой злобой. Домработница дочери ворчит: «Эх, подохли бы они по дороге!» «Бедные сектанты не желают чувствовать себя частью человечества», – комментирует Чуковский.

6 августа 1961 года К. И. записывал в дневнике, размышляя о полете космонавта номер 2: "Сейчас, когда я сижу в комнате и пишу эти строки, его, Германа Степановича, мотает в безвоздушном пространстве вокруг этой трагической нелепой планетки – с ее Шекспирами, Львами Толстыми, Чеховыми, Блоками, Шиллерами – и Эйхманами (это нацистский преступник, которого судили в Израиле в те же дни. – *И. Л.)*. Что он чувствует в эту минуту? Меня почему-то томит такая тревога, что я буквально не нахожу себе места. Нашел ли он там, в пустоте, бессмертье или смерть?"

Некоторые из статей К. И., посвященных первым космическим полетам, были опубликованы в органе Союза писателей, газете «Литература и жизнь», которая очень скоро напала на Чуковского по самому неожиданному поводу.

Все началось из-за одной из статей Корнея Ивановича о языке. Опубликованная «Литературной газетой» 12 августа 1961 года, она называлась «Нечто о лабуде». Чуковский в ней бранил отвратительный жаргон, на котором изъясняется юношество («фуфло, потрясно, шмакодявка, хахатура, шикара»), и говорил о том, что жаргон этот является свидетельством душевной скудости. Но затем удивлял читателя, неожиданно поворачивая чуть не на 180 градусов и защищая тех, кто говорит этим варварским языком: «Изрядная доля людоедских словечек создана, так сказать, в противовес той лакированной, слащаво-фальшивой, ханжески-благонамеренной речи, которую разные

человеки в футлярах все еще продолжают культивировать в школе». Школьники говорят на этом безобразном языке, убеждал Чуковский, потому, что не могут уже слышать обо всех этих «типичных представителях» и «наличии реалистических черт». И далеко не всегда вульгарность выражений свидетельствует о душевной грубости. В качестве примера К. И. приводил героев недавно опубликованного в «Юности» и сильно нашумевшего романа Василия Аксенова «Звездный билет», которые изъясняются на самом свирепом жаргоне, но при этом оказываются «милыми, жизнестойкими и, пожалуй, одухотворенными юношами».

Надо сказать, что именно жаргонизмы в этом романе вызвали самую бешеную волну критики. Станислав Рассадин писал в статье «Искусство быть собой»: «Несметное число статей было посвящено злосчастному „Звездному билету“ В. Аксенова, и почти все критики яростно протестовали против жаргонизмов, даже не пытаясь разобраться, имели ли они в романе художественную функцию, а заградительно выставляя вперед жесткие критические ладони. Кажется, только один голос прозвучал тогда спокойно и трезво – голос восьмидесятилетнего Чуковского».

Чуковский – один из всех – не обличал, а защищал школьников, которые «в огромном своем большинстве… благороднее, лучше, умнее тех людоедских словечек, которыми они щеголяют теперь, подчиняясь всемогущему стадному чувству». Но обвинял школу в том, что она не воспитывает в детях любви к языку и литературе, а кормит их несъедобными, картонными «планами показа».

Пожалуй, ничего особенного бы в этом выступлении не было: хранить чистоту русского языка кто только ни призывал. Но Чуковский защищал «Звездный билет» – произведение отнюдь не враждебное советской власти, а просто несоветское. И нападал на школу: вроде бы за канцелярский способ преподавания литературы – но каждому было понятно, что мишень его – вовсе не только «человеки в футлярах» и «типичные представители», а вся система понимания и преподавания литературы только как «способа отображения действительности в ее революционном развитии» и «фактора идейного воспитания». А это уже было сродни святотатству.

Поэтому уже 23 августа газета «Литература и жизнь», называемая среди литераторов «ЛиЖи» за свою специфическую общественную позицию, вышла с целой полосой откликов на статью Чуковского. Отклики были очень грозные – настолько, насколько авторы могли себе позволить лягать Чуковского – уже не всегдашнего литературного изгоя, а «старейшего писателя»,

орденоносца и признанного классика; к тому же – своего недавнего автора!

Больше всего обиделись учителя (или за них обиделись нужные люди и обеспечили подписи). И. Моцарев, заслуженный учитель школы РСФСР, в статье с характерным названием «Никакого оправдания» писал: "Не будем спорить: может быть, К. Чуковский и встречал таких педагогов, которые культивируют (даже на уроках литературы!) «лакированную, слащаво-фальшивую, ханжески-благонамеренную речь» (какая, однако, убийственная характеристика!). В огромной семье наших советских учителей, возможно, найдутся и такие. Но подавляющая масса наших учителей-словесников (далее автор постепенно возвышает голос, пока не доходит до уровня первомайского радиовещания. – *И. Л.),* сознавая свою величайшую ответственность за дело воспитания и образования будущих граждан коммунистического общества, старается научить их тому языку, на котором разговаривал Ленин, – языку, образцы которого дают наши лучшие писатели, классические и современные… Наша художественная литература, изучаемая на уроках в школе под руководством настоящих учителей («человекам в футляре» не место в советской школе), является для молодежи подлинным «учебником жизни»; в руках учителя она – могучее средство коммунистического воспитания. Воспитание коммунистической морали – вот что пронизывает работу школы".

Вот на что, оказывается, покусился Чуковский! Недаром он записал в дневнике с брезгливым изумлением: «Две статьи с доносом о моей неблагонадежности. Эта газета какое-то „Ежедневное ура“… Теперь объявляют чуть ли не врагом народа того, кто осмелится сказать, что среди учителей у нас есть человеки в футлярах, хотя сами же плодят таковых».

Автором второй статьи, укоризненно называвшейся «Не по-горьковски», был И. Астахов. «Школа может вести и во многих случаях ведет весьма успешную борьбу за культуру речи, – убеждал он, – несмотря на то, что иные весьма уважаемые писатели своими не всегда продуманными советами в какой-то мере дезориентируют педагогов в этом важном и нелегком деле». Почему же Чуковский вдруг стал защищать жаргон, хотя еще в июле призывал обрушиться на языковую вульгарщину «всей громадой»? – задается вопросом Астахов и находит корень зла: «Звездный билет!» Его герои – совсем не милые, их отличает «развязность, разухабистость и самонадеянность», что еще ужаснее – «комсомол для них даже не существует». А Чуковский мимо этого прошел. Не по-горьковски.

25 августа к этим авторам присоединился В. Панков, выступивший с довольно умеренной – на фоне предыдущих реплик газеты – статьей «Право на звездный билет», где указывал на бедность «идейной основы романа» и осторожно указывал Чуковскому на его неправоту. В тот же день «Литературная газета» – все-таки «оттепель» еще продолжалась, – выпустила подборку статей в защиту позиции Чуковского и повести Аксенова. Учительница и писатель Наталья Долинина откликнулась на публикации «Литературы и жизни» статьей «Легкий способ спорить»; П. Куриленко предостерегал: «Внимание! Языковая полиция!», Петр Ш. рассказывал, как сам прошел через увлечение жаргоном, О. Губина призывала: «Надо помочь» – и учителям, и ученикам.

«Литература и жизнь» не стерпела и уже 30 августа выпустила новую подборку откликов, куда более свирепых. Ашот Гарнакерьян из Ростова-на-Дону в большой статье указывал, что «Чуковский недостаточно точно разобрался в причинах, порождающих жаргон», «не высказал своих интересных предложений, которые помогли бы педагогам в их дальнейшей работе»… Молодой и немаститой Наталье Долининой досталось от него куда больше: «Развязная, претенциозная статья учительницы Н. Долининой из Ленинграда»; «никакого „молодежного жаргона“ не существует. Ей, учительнице, это надо бы знать»; «неуважение к собственной профессии»… «Смотри, как они учтивы с тобой (и в каждом номере все учтивее, ибо ты защищен славой и возрастом) и как грубы с Долининой», – писала отцу Лидия Корнеевна.

Учительница И. Котова обвиняла в распространении жаргона литературу: «„Шмакодявка“, размноженная стотысячным тиражом, может оказаться „принятой на вооружение“ прочитавшими книгу». Василий Бирюков из Рязанской области выражал опасение, что сельская молодежь, таких слов не знающая, им научится. Учитель Воронин из Владимира упрекал редакцию «Юности» в том, что она «мало поработала с Аксеновым». Художник Судаков выражал надежду, что «„Нечто о лабуде“ – случайное выступление старейшего писателя и литературоведа, досадное недоразумение, ни в коей мере не характеризует подлинного отношения Корнея Чуковского к проблеме современного русского языка». Патетичнее всех выступила библиограф И. Козловская из Чувашии: «Именно никакого оправдания нет и не может быть для советского писателя, если он отображает и унижает нашу гордость, нашу великую драгоценность, нашу красоту и силу…»

«Литературная газета» 31 августа вышла с упреком: «Лишь бы

поспорить». А 1 сентября «Литература и жизнь» так и продолжала с того же места, с той же фальцетной ноты: «…оберегать от засорения… нашу гордость и славу… язык нашей родной, прекрасной русской литературы…» Последнее слово осталось за «Литературной газетой», но дальше уже даже цитировать неинтересно. Лидия Корнеевна сообщала отцу по горячим следам первых публикаций: «Отовсюду слышу восторги по поводу твоих статей. Мне говорят и пишут о твоем „героическом подвиге“… Ты знаешь, я „Литературку“ не люблю, но при теперешнем отчетливом расслоении (в „ЛиЖи“, „Октябре“, „Москве“ – черная сотня) – „Литературка“ кажется верхом благородства, потому что противопоставлена им».

Судя по ярости полемистов с обеих сторон, Чуковский попал точно в нерв: начавшаяся дискуссия выходила далеко за рамки вопросов чистоты языка. Речь шла, скорее, о возможностях выразительных свойств языка, о раскрепощении формы и содержания, о внимательном и чутком отношении к молодежи, о пригодных и непригодных методах воспитания, о профессионализме педагогов – но главное, о новой степени свободы – и в литературе, и в жизни, как ни излишен тут каламбур.

9 и 16 сентября К. И. снова выступил в «Литературной газете» со статьями, посвященными «канцеляриту». Эти статьи вошли в книгу «Живой как жизнь» – собственно говоря, он по мере работы над книгой публиковал в газетах некоторые ее фрагменты. Упоминание «Звездного билета» автор из окончательного текста изъял, но взамен вставил такой абзац:

"Чтобы добиться чистоты языка, нужно биться за чистоту человеческих мыслей и чувств. Этого упрямо не желают понять многие из наших пуристов. Вместо того чтобы объединенными силами восстать против тех уродливых сторон нашего быта, которые породили уродливую речь, они в негодовании нападают на современных писателей, изображающих некоторые круги молодежи и правдиво передающих в своих повестях и рассказах их подлинную – «людоедскую» – речь.

Они забыли мудрую пословицу:

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

Оттого-то так много у нас чудаков, которые пеняют на зеркало, едва только они обнаружат, что в нем отражаются их низкие лбы и вульгарные челюсти!

И не только пеняют на зеркало, но и набрасываются на него с кулаками".

С учетом всего, что говорил на всевозможных съездах и пленумах Никита Сергеевич в защиту «лакировщиков» и против

«отрицательного изображения», – картина получается довольно любопытная.

Книга была закончена в начале августа 1961 года. Чуковский писал в дневнике: «Закончил (даже не верится) свою книгу „Живой как жизнь“, над которой корпел день и ночь весь этот год, – и как я боюсь, что в ней сказались мой старческий склероз, мои бессонницы, моя предсмертная тоска. Книжка вышла свежая и, пожалуй, не вредная». Общество восприняло книгу как очень нужную и своевременную, а к Чуковскому, как и после публикаций его прославленной «От двух до пяти», посыпались читательские письма – с предложениями, благодарностью, негодованием, вопросами (он сам писал, что получил около двухсот писем).

Успех книги объяснялся просто: с читателем говорили уважительно, заинтересованно и ясно. Говорили не только и не столько о языке, сколько о самом обществе, которое этим языком говорит, и о болезнях, которыми оно болеет: понятно ведь, что канцелярит, которому посвящены самые язвительные и страстные страницы книги, – болезнь не столько языковая, сколько душевная, и не из Африки ее знойным ветром принесло, а породили ее местные условия… Во время работы К. И. сам одергивал себя в дневнике: «Слишком большую главу занимают в моей книжке канцеляризмы. Между тем дело не только в них, пропала самая элементарная грамотность». Однако именно борьбой с канцеляритом книга больше всего и запомнилась читателю – потому, что восставал Чуковский не против оборотов речи как таковых, а против трусости, скудости, зашоренности сознания, против перестраховки и боязни говорить прямо, просто, открыто и ярко – против того образа жизни и образа речи, который выработался в обществе за годы зажима и страха.

О душевной скудости и душевном богатстве говорил Чуковский – и о том, как много возможностей для саморазвития дает язык, если относиться к нему с уважением. И, конечно, для тех, кто хотел начать работать над собой сразу, он давал практическое руководство: в левом столбике – как говорить нельзя, в правом – как говорить нужно. Список этот отдельно публиковался в газете и выходил приложением к некоторым изданиям «Живого как жизнь» – и до сих пор хорош для самопроверки: а так ли я говорю; примеры есть довольно заковыристые. А ведь первый такой список Чуковский составил более полувека назад для собственного пользования – когда Городецкий насчитал в его лекции 92 случая неправильного ударения. Значит, уверен был, что этот способ работает, что помогает, что с помощью такого списка можно отучиться делать

ошибки и заговорить правильно.

Но не это, конечно, так привлекло к книге читателей. К этому времени о языке писали много – с точки зрения сталинской работы о языкознании и с точки зрения науки, писали с пафосом, призывали беречь и уважать – но все это было рассчитано либо на специалиста, либо вообще непонятно на кого. А Чуковский доверительно разговаривал с читателем и увлеченно рассказывал ему, какая это сложная, интересная, саморегулирующаяся система – русский язык; что действительно опасно для него, а с чем он справится сам, как новые времена обогащают и развивают его. С читателем редко беседовали так спокойно и свободно, без набивших оскомину обличений и пафосных воззваний, неназойливо пробуждая интерес и любовь к русской филологии. Книга вышла в 1962 году, и уже на следующий год Чуковский ее переработал, дополнил, расширил и выпустил вторым изданием.

Не парадокс ли это?

В конце 1961 года маятник нерешительных хрущевских реформ вновь качнуло в сторону либерализации. В октябре на XXII съезде КПСС снова прозвучала резкая критика сталинизма, было принято решение вынести тело Сталина из мавзолея и захоронить (что и произошло 31 октября). Имя вождя пропало из названий городов, не снесенные еще его статуи подверглись сносу. Вновь стало казаться, что реформы идут неостановимо; вновь появилась надежда на перемены в литературе. Одним из свидетельств таких перемен стало присуждение Чуковскому Ленинской премии.

11 ноября 1961 года газета «Московский литератор» извещала, что Чуковский снова выдвинут на соискание главной премии страны – вместе с Николаем Асеевым, Даниилом Даниным и Валентином Катаевым. Выдвижение кандидатуры Чуковского обосновали филолог Николай Гудзий и поэт Борис Слуцкий. Гудзий напоминал: Чуковский – «один из наиболее блестящих критиков и литературоведов», «никто не сделал так много для изучения Некрасова», но упор делал на общую характеристику творчества Чуковского: «Мы формально не упоминаем о совокупности всех его работ, но каждый из нас, представляя кандидата на соискание Ленинской премии, думает об этом. То обстоятельство, что книга выдвигалась на соискание Ленинской премии в первом издании, не может служить препятствием для выдвижения этой работы снова. У К. И. Чуковского вышла за это время и вторая работа – „Люди и книги“, в которой много ценных историко-литературных изысканий,

нового материала, до сих пор неизвестного».

Борис Слуцкий назвал К. И. «одним из основателей современной критики»; более того: говорил о том, что в большинстве своем его критические оценки оказались верными. «Он – один из наших лучших детских поэтов, – говорил Слуцкий, – один из наших лучших переводчиков. Он создал теорию поэтического перевода в нашей стране. Словом, за К. И. Чуковским такие заслуги, которые делают его кандидатуру чрезвычайно убедительной для комитета по Ленинским премиям».

Коллективное мнение членов секции критиков и литературоведов московского писательского союза было тем же: за плечами Чуковского – «громада труда»; «книги его всегда написаны великолепным языком, эмоциональным, остроумным, читаются с интересом и в то же время основаны на точном исследовании фактов, историчны и могут служить образцом марксистского понимания литературоведческих задач…».

Однако с тем, что книги Чуковского дают «образец марксистского понимания», многие были резко не согласны. 14 марта идею присудить премию «Мастерству Некрасова» осудили в газете «Литература и жизнь» четыре молодых ярославца – В. Московкин, В. Рымашевский, Г. Мурашев и К. Яковлев. Статья их называлась «Если говорить по существу». Смысл ее был довольно просто: все хвалят «Мастерство Некрасова», а мы считаем, что эта книга Ленинской премии недостойна. Авторы статьи порицали Чуковского за то, что он долго держал рукописи Некрасова «в единоличном пользовании», за то, что в его книге «нет полного охвата некрасовского мастерства», что он «допускает крен в сторону фольклора, недооценивает народно-разговорную стилистическую основу»… Возражать этим чрезвычайно неконкретным, размытым доводам было очень нелегко, но это попытался сделать Сергей Баруздин, который 21 марта «не без труда», по его собственному свидетельству, опубликовал в той же газете заметку «Нужна ли такая критика?», где упрекал авторов в необъективности, бестактности и неуважении к писателю.

Через несколько дней Чуковскому исполнилось 80 лет. Этот юбилей был отмечен с еще большим размахом, чем 75-летие. 28 марта Президиум Верховного Совета СССР наградил Чуковского орденом Трудового Красного Знамени. В эти же дни (шли школьные каникулы, когда традиционно отмечается Праздник детской книги) юбиляра чествовали в Доме пионеров и в Доме детской книги. Юбиляр, сделав об этом запись в дневнике, тут же добавлял, разумеется: «Все эти заботы, хлопоты, речи, приветы, письма, телеграммы (коих пуды) созданы специально для того,

чтобы я не очнулся и ни разу не вспомнил, что жизнь моя прожита, что завтра я в могиле, что мне предстоит очень скоро убедиться в своем полном ничтожестве, полном бессильи…»

Впрочем, для 80-летнего старца, стоящего на краю могилы, о которой он все время говорит, – Чуковский слишком жив, активен, ироничен; слишком многим волнуется; везде выступает, встречается, печатается – и собирается ехать в Оксфорд, откуда только что получил приглашение принять почетную докторскую степень!

В биобиблиографическом словаре Берман зарегистрировано около 90 публикаций, поздравляющих К. И. с юбилеем. Среди изданий, написавших о нем, – не только центральные, детские, учительские издания, но и такие неожиданные органы печати, как «Московский водник», «Туркменская искра», бакинская газета «Вышка», «Советская Абхазия» и «Советская Каракалпакия»… Прошлый юбилей отчасти выработал канон, которому публикации следуют в этот раз: добрый, щедрый, нестареющий, многогранный, неиссякаемый, кипучий талант («нестареющий» – как минимум три раза); друг детей, любимец детворы, любимый писатель, добрый волшебник, сказочник, веселый сказочник, кудесник слова, друг больших и маленьких, чудеса Корнея Чуковского… В этом году к канону добавились еще указания на вечную молодость и разностороннюю деятельность: «поэт, критик, ученый», «поэт, литературовед, переводчик», «ученый, писатель, друг детей»… Ну и, конечно, – «дедушка Корней».

Дедушка тем временем поражается тому, сколько народу собралось в Политехническом его чествовать, какие дифирамбы ему поются: «Зал переполнен, все проходы забиты людьми. И все, сколько есть, смотрят на меня влюбленными глазами… Я чувствовал себя каким-то мазуриком. Ведь, боже мой, сколько дряни я написал в своей жизни, постыдной ерунды, как гадки мои статьи у Ильи Василевского в „Понедельнике“. Чтобы загладить их, не хватит и 90 лет работы. Сколько пошлостей – вроде „Англия накануне победы“, „Заговорили молчавшие“. Ничего этого нельзя оправдать тем, что все это писалось искренне. Мало утешения мне, что я был искренний идиот…»

Посылая Маршаку, который в это время был сильно болен, благодарность за стихи к юбилею, К. И. писал ему: «Я с ума сошел от радости, когда услыхал Ваши стихи. И радовался я не только за себя, но и за Вас: ведь если Вы можете ковать такие стихи, значит, Ваша чудотворная сила не иссякла, значит – Вы прежний Маршак, один из самых мускулистых поэтов эпохи. А уж за себя я рад безмерно. Ваше дружеское отношение ко мне услаждает мои стариковские дни. Эти дни, конечно, мрачноваты. Сколько бы ни

гремели юбилейные литавры, все же старость есть старость, 80 лет – 80 лет, и здесь ничего не поделаешь».

Поток праздничных публикаций растянулся на целый месяц, плавно перетек в поздравления по поводу присуждения Ленинской премии – и затем докторской степени в Оксфорде; окончательно стихло волнение прессы только к лету.

Тем временем в ЦК КПСС отправилось негодующее письмо по поводу выдвижения Чуковского на Ленинскую премию. Сейчас документы, связанные с присуждением премии, неоднократно опубликованы (например, в «Вопросах литературы» (1995. № 3) или в приложении к десятому тому Полного собрания сочинений), поэтому ограничимся самыми яркими цитатами.

Авторами письма, направленного 18 марта секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичеву и в Комитет по Ленинским премиям, были старые большевики: бывший секретарь ЦК, почти 90-летняя Елена Стасова, Н. Растопчин, А. Карпова, С. Уралов, Е. Шаров и Н. Поздняков. Персональные пенсионеры, участники революции и члены партии с незапамятных времен, резко возражали против премирования Чуковского. Они убеждали ЦК и премиальный комитет, что в книге «Мастерство Некрасова» содержатся «серьезные ошибки», что автор изображает «в кривом зеркале славную эпоху революционных демократов-шестидесятников прошлого века», что его книга «принесла не пользу, а вред общественности, создала много путаницы и неразберихи в оценке творчества Великого поэта». Называя Чуковского «хамелеоном и путаником», группа товарищей доказывала вредительскую сущность его работ: "Он немало навредил как редактор и комментатор сочинений В. А. Слепцова,

А. Я. Панаевой и других писателей, выпущенных в свет в 30-е годы издательством «Академия»", он «политически изобразил творчество» Некрасова (вот прямо так и сказано: «политически изобразил творчество»!)…

Система аргументации в письме довольно интересна: старые большевики цитируют покойного критика Ольминского (не забывая заметить, что «его высоко ценил покойный В. И. Ленин»), который фактически называл Чуковского белогвардейцем, говорил, что он служит «и революции, и контрреволюции», – и предлагал изъять из продажи отредактированное им издание Некрасова 1920 года. Цитируют и ругань Крупской 1928 года. Фактически – доказывают политическую неблагонадежность Чуковского, опираясь на мнения основоположников или приближенных к ним лиц. Затем товарищи добавляют свои воспоминания: Чуковский «до революции был литературным роботом кадетствующих Рябушинских», печатал «пасквильные

фельетоны» о Некрасове «в обывательской газете „Русское слово“», «лез всюду, где только возможно, со своими обывательскими сказками»… «А разве перестал вредить советской литературе еще и сейчас этот К. Чуковский? – вопрошали большевики. – Стоит только вспомнить его последние статьи в „Литературной газете“ – о „Звездном билете“ Аксенова и к памятным добролюбовским дням напечатанную „Историю одного пасквиля“, где хитрым эзоповским языком он не преминул лягнуть Добролюбова». (Надо сказать, что «История одного пасквиля», напротив, рассказывала о том, как в давнюю пору недоброжелатель пытался опорочить Добролюбова.) Наконец, авторы письма вопрошали: выдвижение Чуковского, «который многие годы сознательно работал против дела Ленина», на Ленинскую премию – «не парадокс ли это, очень обидный и издевательский?!».

В заключение возмущенные пенсионеры требовали отвергнуть «кандидатуру Чуковского, приспособленца, во имя корыстных целей готового пойти на любую сделку с совестью. Именно таким он остается в памяти старшего поколения советских людей».

К этому торжественному посланию в ЦК КПСС отнеслись очень серьезно. С ним срочно ознакомили заведующего отделом культуры ЦК Дмитрия Поликарпова и направили рекомендации в Комитет по Ленинским премиям. Смысл рекомендаций изложен в подписанной Поликарповым «Записке отдела культуры ЦК КПСС» от 6 апреля 1962 года.

В записке рассматривались негативные отзывы, полученные ЦК о памятнике Марксу работы скульптора Кербеля (ему рекомендовали премию дать), – и о Чуковском. Цитировалось письмо старых большевиков и упоминалось еще одно письмо – не найденное в архивах послание персонального пенсионера А. Попова, который бранил Чуковского, опираясь на цитаты из Ленина (их немного: в «Наших упразднителях» он мельком назвал Чуковского «чужим» и припомнил, что тот «лягал марксизм», отсюда и образ лягающегося писателя в письме старых большевиков).

Записка, кроме того, указывала на трудности, с которыми может быть сопряжено решение не присуждать премию Чуковскому: влиятельные члены Комитета по присуждению Ленинских премий поддерживают его, а «резкое, но недостаточно аргументированное критическое выступление против книги Чуковского, опубликованное в газете „Литература и жизнь“… вызвало повышенно сочувственное отношение к нему в литературной среде. Исключительно высокая оценка всей

деятельности Чуковского была дана в материалах, опубликованных в нашей печати за последние дни в связи с 80-летним юбилеем писателя».

Собственная аргументация Поликарпова сводилась к следующему. До революции Чуковский был вреден: «активно сотрудничал в желтой кадетской прессе, выступал против марксизма, прогрессивных традиций русской литературы, творчества М. Горького, В. Короленко», его деятельность резко оценивали Ленин и Горький. Однако «впоследствии К. Чуковский стал одним из видных деятелей советской культуры, заслужив широкую известность как детский писатель, литературовед и исследователь литературы». Приводимые аргументы Крупской побиваются более крупным козырем – письмом Горького со ссылкой на Ленина; перед нами опять типичный партийный анализ творчества: жонглирование цитатами из Ленина и Горького, из которых выводятся оценочные суждения идеологического свойства.

«Заслуги К. Чуковского в развитии советской литературы общеизвестны: к 70-летию со дня рождения он награжден орденом Ленина, а к 80-летию – орденом Трудового Красного Знамени. Считаем возможным ограничиться этими наградами» – таков был вывод из всего вышеизложенного. Поликарпов запросил у ЦК разрешения «выслать руководству Комитета, а также коммунистам – членам Комитета предложение поддержать линию старых большевиков о нежелательности присуждения К. И. Чуковскому Ленинской премии». "Как партийное руководство отреагировало на «предложение» Д. А. Поликарпова, установить не удалось, – писала Р. Романова, публикатор документов, связанных с присуждением Чуковскому премии. – В архиве сохранилась, однако, записка Комитета по Ленинским премиям в области литературы при Совете Министров СССР в ЦК КПСС от 14 апреля 1962 года с информацией о том, «как проходила заключительная сессия Комитета… в итоге работы которой были присуждены Ленинские премии 1962 года». Там, в частности, сообщается, что «при обсуждении кандидатуры К. Чуковского Пленум Комитета был ознакомлен (вместе с другими материалами, поступившими по этой кандидатуре) с письмом группы старых коммунистов… Но „члены Комитета, как противники книги Чуковского (Вл. Ермилов, считающий, что Чуковскому не удалось добиться анализа творчества Некрасова в целостности его идейно-образных структур), так и ее сторонники (А. Сурков, Р. Гамзатов, А. Каринян, В. Орлов, С. Смирнов, Л. Новиченко, В. Солоухин), не согласились с доводами Е. Д. Стасовой и ее товарищей. Выступавшие, – говорится в записке, –

указывали, что Чуковский, как и многие интеллигенты, стоявшие до революции на враждебных марксизму позициях, проделал огромную идейно-творческую эволюцию, и это свидетельствует о силе нашей идеологии“, отмечали „большой вклад Чуковского в советскую культуру“, высказывали мнение, что „увенчание“ его книги Ленинской премией „будет справедливо не только за ее литературные достоинства, но и важно сегодня в борьбе за идейное искусство, потому что в ней утверждается Некрасов – боевой революционный поэт-реалист“. По итогам тайного голосования, состоявшегося 11 апреля 1962 года, Ленинская премия за книгу „Мастерство Некрасова“ К. И. Чуковскому была присуждена (70 голосов „за“, 23 „против“)».

Разумеется, то, что комитет не прислушался к мнению ЦК, не могло остаться без последствий. Поликарпов, рассказывает Романова, довольно скоро поставил вопрос об истечении срока полномочий ряда членов комитета; заговорили о том, что работа комитета была недостаточно хорошо подготовлена, но это уже другая история.

Чуковскому о присуждении Ленинской премии в тот же день сообщил Твардовский. Рассказал и о ходе обсуждения. К. И. записывал в дневнике: «Очень против меня ораторствовала Елена Стасова, с которой у меня было столкновение в Барвихе».

Чудные дела! За идейной ненавистью старых большевиков к «белогвардейцу» и «приспособленцу» неожиданно обнаружился банальный бытовой конфликт! В дневнике К. И. за 1959 год обнаруживаются две записи о Стасовой. Первая: «Душевная чистота, благородство. Но видно, что вся истрачена. Без остатка». И вторая, через десять дней: "Стасова оказалась самовлюбленной, деспотичной, черствой старухой. Все няни и сестры ненавидят ее, так понукает она этой «челядью». Я попросил ее, чтобы она не так громко гремела по вечерам своим *радио.* Она стала греметь еще громче, мучая меня этим до слез".

Весть о премии Чуковский, по его собственному выражению, «воспринял как радость и как тяжкое горе»: государственную любовь он переносил, пожалуй, так же тяжело, как и государственную ненависть.

22 апреля известие о присуждении Ленинских премий было опубликовано в «Правде» и «Известиях». Другими лауреатами стали белорусский поэт Петрусь Бровка, пианист Эмиль Гилельс, скульптор Лев Кербель, литовский поэт Эдуардас Межелайтис и художник, книжный график Владимир Фаворский. К Чуковскому пошел новый поток поздравлений, потянулись корреспонденты, теле– и радиожурналисты.

«Хотел ли я этого? – писал он в дневнике в день объявления о

награде. – Ей-богу, нет! Мне вовсе не нужно, чтобы меня, старого, замученного бессонницами, показывали в телевизорах, чтобы ко мне доходили письма всяких никчемных людей с таким адресом: „Москва или Ленинград. Корнелю Чуйковскому“, чтобы меня тормошили репортеры. Я потому и мог писать мою книгу, что жил в уединении, вдали от толчеи, пренебрегаемый и „Правдой“, и „Известиями“. Но моя победа знаменательна, т. к. это победа интеллигенции над Кочетовыми, Архиповыми, Юговым, Лидией Феликсовной Кон и другими сплоченными черносотенцами».

Это и в самом деле была победа литературы над идеологией. И хотя формально премией было отмечено «Мастерство Некрасова», книга, написанная скованно, с оглядкой на цензуру, – все понимали, что награда дается по литературному, а не идейному признаку, по совокупности заслуг, причем заслуг именно перед словесностью, а не партией и правительством.

В феврале 1962 года Валерий Кирпотин сделал в дневнике большую запись о Корнее Чуковском. Нарисовал, кажется, убедительный портрет:

"80 лет, работоспособен, подвижен, великолепный слух, не пользуется очками. У него отличная память, он интересный, занимательный, забавный рассказчик. В бытовом смысле – полное благополучие: дача, как у банкира, 4 или 5 человек обслуживающего персонала. Богат очень, может быть, и в новых деньгах миллионер. Кругом атмосфера поклонения, удивления. Писатели, с которым он поговорил, чувствуют себя отмеченными, гордятся знакомством с ним. Лишь несколько переделкинцев постарше, «пофамилистее», шарахаются в сторону, завидев его, не хотят участвовать в этой специфической «Чуковской» куртуазности.

Корней Иванович построил на свои средства детскую библиотеку в Переделкине, посадил библиотекаршей свою родственницу, но уже по государственному штату. Он ходит к детям, и дети знают его в лицо. Получает много писем, в том числе из-за границы…

В пять часов вечера ежедневно приходит в Дом творчества писателей пить чай. Его окружают, ищут внимания, считают за честь посидеть с ним за одним столом. А он жестикулирует, вскрикивает, делает театральные жесты и говорит об интересном, преимущественно вспоминает. Он всегда в центре и всегда в общении с главными людьми в литературе. Но и сам ходит гоголем.

Встретится на прогулке с литераторами у Дома творчества—и опять машет руками, отступает, идет задом наперед, что-то увлеченно рассказывая, разыгрывая. Дирижирует и опять

рассказывает. В его воспоминаниях он около Горького, он около Андреева. И в Оксфорде его ждут. И все правда, почти правда. И как-то само собой оказывается, что с редактором, с членом редколлегии, с влиятельным человеком он внимательнее и комплиментарнее. И книжечку свою преподнесет, и все в такой форме, что «нужный» человек восхищается и тает. И даже сейчас, когда у него все есть, что можно себе вообразить, всегда комбинирует, интригует, ищет выгоду, хотя бы формальную".

Все это можно принять за чистую монету: да, да, так и есть, и родственница в библиотеке на государственной зарплате, и в Дом творчества заходит и там что-то увлеченно рассказывает, и сам ходит гоголем (неожиданный каламбур – ходит Гоголем? Пожалуй, есть в этом какая-то точная проговорка). И шофер у него есть, и литературный секретарь, и домработница – по советским меркам настоящее барство; по человеческим – для много работающего пожилого вдовца, который живет далеко за городом и сам не водит машину, – условие нормальной жизни.

«Состояние» Чуковского вообще очень живо волновало окружающих: вот и Кирпотин пишет об «обслуживающем персонале» и «даче, как у банкира» (дача, к счастью, стоит и по сей день, банкирских дач для сравнения тоже хоть отбавляй; желающие могут сопоставить). "Уровень жизни богатого буржуа, – негодует Кирпотин, – считает для себя нормой жизни. Убеждает всех, что советская власть обязана ему обеспечить все его потребности. Хвастает своим уровнем жизни, негодует на снижение гонорарных сборов по новому закону:

– Я всегда жил хорошо, почему я должен стеснять себя?"

Это он-то всегда жил хорошо – он, еще несколько лет назад вынужденный зарабатывать чтением случайных лекций из-за невозможности печататься? Кажется, ему просто удовольствие доставляло эпатировать Кирпотина.

Собственно, весь этот портрет кисти советского литературоведа был бы очень убедительным, если бы не одна небольшая деталь. Автор рассказывает дальше: «Федора Михайловича Достоевского он ценит. А вот с Некрасовым совсем плохо. Он не любит Некрасова, пожалуй, даже ненавидит, как и Щедрина, Чернышевского, Добролюбова, на которых в своих теперешних статьях поминутно ссылается. Не любит за плебейство, за демократизм. И всегда с удовольствием пересказывает все сплетни о Некрасове: корыстен, нечист в картах, скверно болен, неблагороден с женщинами и т. д., как будто Некрасов один из теперешних его переделкинских соседей…» И как только начинается это, от Крупской, от дореволюционных социал-демократов еще идущее «Чуковский

ненавидит Некрасова», не троньте наш светоч – так сразу и становится все понятно. Чуковский столько времени провел наедине с Некрасовым, что тот для него и впрямь стал ближе иного переделкинского соседа, – а близкие отношения исключают коленопреклоненность; двойственность таких отношений трудно понять со стороны, как это – вот говорит о нем как о великом поэте и тут же бранит за бытовые привычки?

А ведь точно так же он писал в дневниках о Маршаке, например, – о его эгоизме, его страшном напоре, да мало ли о чем еще – и в то же время с искренним восхищением отзывался о его безупречных, крепких, сильных стихах, о редкостном понимании поэзии, о том, что с Маршаком – как ни с кем другим – можно «очистительно» почитать друг другу стихи. И совершенно искренне писал Маршаку осенью 1962 года: «Как-то даже неловко говорить в лицо человеку, особенно другу, такие слова, но ничего не поделаешь, – ведь то, что я хочу Вам сказать, это сущая, – а не юбилейная – правда: Вы, Самуил Яковлевич, истинный классик. Я считаю это определение наиболее точным. Вы – классик не только потому, что Вы всю жизнь оставались верны классическим традициям русской поэзии, не только потому, что Вы ведете свою родословную от Крылова, Грибоедова, Жуковского, Пушкина, но и потому главным образом, что лучшие Ваши стихи хрустально-прозрачны, гармоничны, исполнены того дивного лаконизма, той пластики, которые доступны лишь классикам. В них нет ни одной строки, которая была бы расхлябанной, путаной, туманной и вялой». И, конечно, для советского читателя он писал о Маршаке именно как о классике, авторе «хрустально-прозрачных» стихов и переводов. И потому, что это было в нем главное. И потому, увы, что читатель был такой.

Дневниковые записи Чуковского в сопоставлении с его опубликованными материалами и впрямь иногда дают поразительный контраст: в дневнике – жалкий человечишко, раздираемый пороками и страстями, талантливый, смешной, самолюбивый, удивительный, мелкий, жестокий… В публикациях – уже очищенный от сора, уже немножко бронзовый, уже памятник. Сам он упомянул однажды, зачем взялся писать о Луначарском, которого считал легковесным, несерьезным человеком: он-то хоть образованный был, а нынешние руководители культуры совсем невежды!

«Чуковский пишет не как думает, а как надо, чтобы издали, чтобы были хорошие рецензии, большой гонорар. И он уже сам не может разобрать, где граница между тем, что он думает, и тем, что написал», – говорит Кирпотин.

Бог с ним, с Кирпотиным и с большим гонораром; обвинение вроде и верно, а в то же время и ложно; вроде бы и поймал он тень чего-то важного – а все не то. Кирпотин ставит в вину Чуковскому то, что тот думает не так, как пишет: пишет все гладенько, а думает гаденько… А настоящая-то беда была не в том, что Чуковский не может думать так прямо, смело, правдиво и по-марксистски, как Кирпотин, – тут уже драматическое несовпадение представлений о добре и зле. Беда была в том, что он не мог написать, как Чуковский, потому что понимали его – так, как Кирпотин… «Сколько-нибудь сложного – не понимают», «я люблю его сквозь иронию, но это уже недоступно», – жаловался он еще в двадцатых. И сам же упрекал критика Веру Смирнову: вам мешает недоверие к читателю. «Вы ориентируетесь не на понимающего, тонкого, проницательного читателя, а на среднего слушателя Литинститута». И тут же добавлял: «Но, может быть, так и нужно».

Безоглядная свобода страстного рассказа о человеческой душе, – свобода, которой отмечены его критические работы 1920-х годов, – действительно ушла. Оксман писал Чуковскому в 1958 году, прочитав его книгу воспоминаний: "В Ваших замечательных портретах больших людей и зарисовках таких событий, как «Потемкин» в Одессе, больно ранят некоторые лирико-политические отступления, врывающиеся в Ваши музыкальные (да, именно музыкальные по своему высокому строю) композиции как ложные ноты. Я нисколько не сомневаюсь в глубокой искренности некоторых из этих ламентаций, но звучат они *фальшиво,* помимо Вашей воли, и нельзя, чтобы они остались *на века,* которые будут жить Ваши мемуары".

И прилагал к следующему письму листочек с замечаниями: «Нынешняя концовка… главы о Житкове несколько нарушает прежнюю тональность рассказа, надумана и претенциозно-дидактична, какое-то маршаковское моралитэ („Я же считал своим долгом…“, „для каждого поколения советских детей…“, „явил собою прообраз типичного советского ребенка“!!!)…В абзаце „Но эта ложь уже никого не обманывала“ от слов „Потемкинские дни“ до „Чуть только кончилась забастовка“ я бы исключил из воспоминаний, как жанрово-чуждую политграмоту».

Оксман безошибочно уловил фальшь: действительно, отмеченные им фрагменты больно режут читательский глаз – именно своей назидательностью, дидактичностью; они, кажется, и рассчитаны-то были не на читателя, а на туповатого редактора с глупо-каверзными вопросами: а почему вы не пишете, что Житков – советский писатель, почему вы говорите только о его дореволюционном детстве? Потому, с тоской отвечает ему

заблаговременно Чуковский, что о более позднем его творчестве знали все, а детство Житкова имеет большое воспитательное значение для советских детей, ибо он был, можно сказать, прообразом советского ребенка (впрочем, спортивность советских детей и увлечение наукой и техникой К. И. действительно считал важной заслугой советской педагогики). Хорошо, а почему вы не показали роль большевиков в подготовке восстания, зачем так подробно рассказываете об этом трагическом эпизоде революционной борьбы? Очень просто, барабанит Чуковский, этот день «сыграл такую важную роль в моей жизни, что стоил по своему значению нескольких лет. То же самое, конечно, могли бы сказать о себе и многие тысячи моих современников». Все, хватит, я отчитался, пропустите книгу!

Оксман фактически убеждает его убрать «марочки», отказаться от перестраховки, мягко увещевает: ваша книга – не на сегодняшний день рассчитана, а на будущее, в будущем эти реверансы никому не нужны. Но марочки эти, моралите, дидактизмы, поучения и самообъяснения в последние годы нередко встречаются в писаниях Чуковского: все меньше он верит и редакторам, и читателям, и коллегам (судя по записи Кирпотина – правильно не верит), и себе самому: я стар, я бездарен, все фальшиво, у меня склероз, ничего не получается, пора на покой…

А встретит коллегу из числа ортодоксов – и задирается, едко шутит, целует женщин, шокирует выражением пылкой страсти… (а те принимают за чистую монету цитаты из начатой им когда-то в тех же двадцатых годах и тогда же брошенной оперетты «Чертецца»: «Дорогая, дорогая, приходи ко мне нагая, наставлю ему рога я, мужу твоему»).

Кирпотин недоумевает:

"Утешает полуослепшую Пароковекую, и хорошо утешает, и вдруг ей, старухе:

– Расскажите про свою первую брачную ночь.

Гаер, шут – что это маска? (Так в тексте. – *И. Л.)* Но боюсь, под маской уже лица не осталось. Есть фигура бодрого старика, общительного, сохранившего все силы, но за фигурой уже нет личности. Над всем довлеет устойчиво: денег, имени, почета. Все удается, но талантливость стареющей личности какая-то суетливая. При таком большом даровании никакого влияния на литературный процесс".

Вот странная судьба сложного человека: каждый проецирует его в свою плоскость и плоскостную эту проекцию интерпретирует по-своему, невидимое глазу содержание толкует как пустоту.

Пушкина тоже называли пустым человеком.

Auctor Crocodilii

Первое приглашение в Оксфорд пришло в марте 1962 года. Корнея Ивановича приглашали принять звание доктора литературы *Honoris Causa* – то есть без защиты диссертации. Чуковский изумился: «Неужели я и в самом деле достоин такой чести? Кроме удивления, никаких чувств это во мне не вызывает». Стал добиваться разрешения властей (и литературных, и государственных) на поездку. Разрешение было дано в конце марта, одновременно с объявлением о награждении Чуковского орденом. К. И. собирался, решал, что едет, потом вдруг менял решение. Следы внутренних борений остались в дневнике (запись от 5 мая): «Вдруг мне расхотелось ехать в Англию. Тянет к усидчивой работе над новым изданием „Живого как жизнь“. К тому же Марианна Шаскольская нарисовала мне такую мрачную картину шпионажа, шантажа, провокаторства английской полиции, что поездка показалась мне опасной, ненужной, бессмысленной. Скорее в Переделкино, за письменный стол!! Но приехал Коля и уверил меня, что все это вздор, что в Оксфорде я буду чувствовать себя спокойнее, чем в Переделкине, что ждет меня уют и тишина, что Марина будет охранять меня от всяких опасностей, – и я решил ехать». Марина Чуковская вспоминала: «Естественно, что отпустить его одного в восемьдесят лет немыслимо. Необходим спутник, знакомый и с его образом жизни, и с привычками, и с постоянной изменчивостью его натуры. Выбор пал на меня».

18 мая К. И. писал в дневнике: «Дождь. У меня на губе выросла лихорадка. Я охрип. Завтра утром – даже дико сказать! – я в Англии. С этакой-то мордой – 80-летний. Совестно. Марина совершила чудеса. У нее в сумочке – билеты на самолет и деньги – 1500 фунтов стерлингов. У нас с Марией Борисовной никогда не было больше 15-ти».

Конечно, он волнуется, возвращаясь в страну своей юности.

Марина Николаевна вспоминает, как К. И. потерял, поднимаясь в самолет, на трапе калошу, она поскакала вниз, ее подняли и вернули на место – но прыгающая калоша как-то сама собой задала тон поездке – веселый, неофициальный. Чуковский «был оживлен, чувствовал себя превосходно и все время обращал мое внимание на те города и страны, над которыми мы летели». В аэропорту российских гостей встречал Питер Норман, преподаватель русского языка в Лондонском университете, – человек, которого однажды К. И. встретил в Переделкине,

догадался, что он англичанин, остановил, повел к себе читать стихи.

И вот Оксфорд, и Чуковский упивается им: "Был в Бодлейн *Library*[18] – чудо! *Letters of Swinburn*,[19] собр. соч. Троллопа. Чудесное издание Газзлита – и красота дивная, гармоничность всего архитектурного ансамбля подействовала на меня как музыка". Следующая запись начинается со слов «Счастливейший день».

Рассказывать про Оксфорд очень трудно – разве что описывать и перечислять: сероватые, побуревшие, старые стены из желтого песчаника, башни и шпили. Рынок, кондитерская, книжный магазин, мягкая зелень, велосипеды, могильные плиты со стертыми буквами, утопающие в траве. Ласковый, тихий, поэтичный город, заросший старыми деревьями, увитый плющом, населенный не только студентами и профессорами, но и белками, оленями, лебедями, он умиротворяет и останавливает разбег. Величие может позволить себе улыбку: каменные монархи на ограде вокруг Шелдонского театра строят смешные рожи, современные студенты нахлобучивают им на головы полосатые колпаки, отмечающие дорожные работы. Между соборами, учебными корпусами, библиотеками деловито снуют аспиранты, монахини, туристы, родители с детьми, молодые пары, официальные делегации, идет несуетная жизнь на фоне вечности. Город сам по себе очень подходит Чуковскому: он хранит невообразимые богатства, крепко стоит на традиции – и непринужденно вбирает всю свою колоссальную историю в сегодняшний день, насыщает ею свою повседневность; история не отменяет, а обогащает ее.

Университет живет по законам, которые не менялись с какого-нибудь XIV века, и чуть не каждая вещь в нем имеет свою исключительную, долгую историю – вот этот квадратный камень на стене? – это ассирийский барельеф; эта книга с библиотечной полки? – «Манфред» Байрона, из его личной библиотеки, с автографом; это кресло в церковном хоре? – здесь сидел Клайв Льюис; это окно? – здесь комната, где жил Оскар Уайльд; это дерево? – под ним сиживал Чарльз Доджсон, он же Льюис Кэрролл, и здесь же бегала его Алиса, дочь декана-математика… Чуковского катали в лодке по реке Айзис, где Кэрролл "ровно сто лет назад рассказывал девочкам Лиддел *Alice in Wonderland*,[20] пишет он; затем состоялся обед в его честь в одном из оксфордских колледжей. Но это – уже после церемонии.

«Еще несколько дней оставалось до вручения Корнею Ивановичу почетной степени Доктора литературы, – пишет Марина Чуковская. – Конечно, работать Корнею Ивановичу было

трудно – приходили посетители, гости, студенты. Корней Иванович знакомился с Оксфордом – ходил в колледжи, в музеи, в библиотеки. Бродили по городу. Ему нравилось общение с молодежью, и он много рассказывал студентам о русских писателях. „Если бы вы говорили четыре часа подряд, мы слушали бы не отрываясь“, – сказал один студент после встречи с Корнеем Ивановичем».

Саму процедуру превращения писателя в почетного доктора описал и сам К. И. в дневнике, и Марина Чуковская в воспоминаниях. «Процедура величественная», заметил К. И. «Церемония вручения степени похожа на театральное представление, – пишет его невестка. – Переряженные в средневековые мантии, с квадратными шапочками на головах, участники, словно актеры, бережно доносят до нашего времени древнее действо, сохраняя торжественные и серьезные лица».

Чуковского облачили в серо-красную мантию, которую и сегодня можно увидеть в его рабочем переделкинском кабинете. "По обеим моим сторонам встали *bedels* (наши педели?) с жезлами, в мантиях, ввели меня в зал, наполненный публикой, а передо мною на возвышении, к которому вели четыре ступеньки, сидел с каменным, но очень симпатичным лицом *Vice Chancellor of Oxford University*[21] проф. А. Л. П. Норрингтон", – пишет К. И. в дневнике.

Он должен был сделать десять шагов к своему месту – однако, оценив длину его ног, число шагов сократили до восьми. Оксфордский профессор прочел по-латыни похвалу новому доктору, из которой К. И. и Марина Николаевна разобрали разве что «Kornelius, filius Jogannius»[22] и «auctor Crocodilii».[23] «Крокодилиусу» очень обрадовались. Речь эту присутствующие слушали стоя. «После чего я поднялся на 4 ступеньки и пожал Vice Chancellor'y руку. Vice Chancellor посадил меня рядом с собою, после чего я пошел читать лекцию о Некрасове. Читал я легко, непринужденно, почти без подготовки – и, к своему удивлению, имел громадный успех. Перед этим проф. Obolensky огласил мою краткую биографию», – пишет К. И. в дневнике.

Марина Николаевна вспоминает, что К. И. расписался в книге почетных докторов и затем отправился в другую аудиторию, битком набитую студентами, где сначала произнес на английском языке речь, начинавшуюся словами «В молодости я был маляром». Но опубликованная речь начинается с того, что у соседки, вдовы моряка, улетел попугай, Чуковский нашел его и получил в награду серебряный рубль и четыре английские книги, с которых началось его знакомство с английской литературой: язык он уже начал учить по самоучителю. Рассказывал о том, как

– книга за книгой – продолжалось его знакомство с этой страной, как начиналась любовь к ней.

«Для меня Англия была и осталась страною великих писателей, – говорил он. – Хорошо понимаю, что это наивно, но здесь уж ничего не поделаешь: видеть Англию исключительно в литературном аспекте и значит для меня видеть ее подлинную суть». Он говорил о значении труда переводчиков, о настоящем подвиге Татьяны Гнедич, переводившей Байрона в тюремной камере. Говорил о новой английской и новой советской поэзии – называл имена Светланы Евсеевой, Беллы Ахмадулиной, Новеллы Матвеевой, Владимира Корнилова, Евгения Винокурова, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Наума Коржавина. Говорил о своих собственных переводческих опытах, о своем восприятии Англии – восприятии в том числе и литературном, через Суинберна, Кэрролла, Уайльда… «Мне, старику-литератору, служившему литературе всю жизнь, очень хотелось бы верить, что литература важнее и ценнее всего и что она обладает магической властью сближать разъединенных людей и примирять непримиримые народы. Иногда мне чудится, что эта вера – безумие, но бывают минуты, когда я всей душой отдаюсь этой вере», – сказал он и закончил речь призывом «крепить, насколько это зависит от нас, наши дружеские литературные связи». Оксфордскую речь Чуковского в России не публиковали почти тридцать лет: в ней были упомянуты ставшие очень скоро запретными имена Владимира Корнилова и Наума Коржавина.

Лекцию о Некрасове Чуковский читал по-русски. Вначале удивил: «Я продемонстрирую вам одно очень плохое стихотворение». «Естественно, что у аудитории ушки на макушке, – рассказывает Марина Николаевна. – И он наглядно поясняет, как после многих переработок стихотворение „Буря“ через три года из плохого превращается в отличное». Чуковский показал – на примерах, записями на черной доске, убедительно и непреложно, как из мусора рождаются гениальные стихи, как виртуозно владеет Некрасов техникой стиха. «Никто никогда не читал такой увлекательной лекции, – говорили слушатели. – На подобных лекциях обычно просто спят»".

«Я… прославил нашу советскую науку, наше литературоведение, назвав имена акад. Алексеева, Макашина, Машинского, Скафтымова, Вл. Орлова, Оксмана, Зильберштейна и многих других русских исследователей литературы», – писал К. И. в дневнике. Дневниковый рассказ о торжественном дне продолжается: «Вернувшись, я предложил Марине пройтись переулками перед сном. Тихие средневековые стогны – и вдруг из одного домика выбегает возбужденная женщина и прямо ко мне:

„Мы воспитались на ваших книгах, ах, Мойдодыр, ах, Муха-Цокотуха, ах, мой сын, который в Алжире, знает с детства наизусть ваше ‘Тараканище‘“, – вовлекла меня в дом и подарила мне многоцветный карандаш». Ночью он так и не заснул, пишет Марина Николаевна, хотя она долго-долго читала ему Диккенса.

Чуковский ходит в гости, встречается с профессорами, делает официальные визиты – и не спит, не спит, не спит. «Такое времяпрепровождение не может кончиться добром для восьмидесятилетнего Корнея Ивановича – я это отлично понимаю, – пишет Марина Чуковская. – На каком-то приеме он простудился, как я и боялась. Кашель, горло, температура». Простуженный Чуковский поехал в Лондон – а там новые встречи, новые люди, лица, разговоры; к нему, «напичканному лекарствами», по выражению спутницы, пришли студенты русского отделения университета – он лежал под одеялом, они сидели повсюду: «на ковре, на стульях, на подоконнике». Не вполне поправившись, он едет в Лондонский университет: прием, затем лекция; профессор Кембриджа сравнила его с дедушкой Крыловым; "потом два часа я с упоением читал свои стихи под *гром* аплодисментов, потом импровизированная лекция о стиле Некрасова, потом – воспоминания о Маяковском. *Success*[24] небывалый, неожиданный". Затем еще одна лекция, и еще выступления, и встречи, и запись для Би-би-си…

В один из этих дней он вечером подошел к закрытому уже Британскому музею. Разговорился со сторожем. Рассказал ему, что шестьдесят лет назад работал в библиотеке. Сторож впустил его. «Растроганный вернулся он назад». Таких неожиданных экскурсий в прошлое за эту поездку было немало. Чуковские стали свидетелями парада ветеранов Первой мировой: старики шли с трубами и барабанами почтить память погибших товарищей.

"Корней Иванович снял шляпу…

– Мои ровесники, – проговорил он. – Остатки моего поколения…"

На той же прогулке они увидели памятник Георгу V – королю, на приеме у которого молодой Чуковский был в 1916 году. Заходила с визитом Мария Будберг – «роковая женщина» Горького и Герберта Уэллса, знакомая с Чуковским по «Всемирной литературе». Он поехал в Эдинбург – тосковал там, скучал, лекции не удалось организовать как следует… но вдруг там встретился человек, помнящий дореволюционную Куоккалу, – и они наперебой вспоминали и вспоминали.

Прошлое, отрезанное ножом революции, отделенное государственной границей и железным занавесом, вдруг

вернулось щедро и неожиданно; больше того – жизнь будто преподнесла ему реализовавшийся альтернативный вариант судьбы. Оксфордская степень, чинные беседы с умницами-профессорами о Россетти, Суинберне и Уайльде; встречи с удивительными интеллигентными детьми, знающими латинские склонения; неторопливые прогулки по старинным улицам, где цветут розы, а жители по вечерам выставляют к дверям пустые бутылки для молочника; где «божественные лужайки, сверхъестественной красоты деревья», «вкуснейшая еда, молчаливые лакеи», «чопорные доны» в средневековых одеяниях; голуби на Трафальгарской площади, «арабы в бурнусах, индийцы в чалмах, негритянки, негритята и негры»… Это – вариант судьбы, какой она могла быть: без вечного идеологического пресса, без преследований и издевательств; искушение несостоявшейся альтернативой: подумай, переоцени, признай, что ты был неправ; здесь – другой мир, цивилизация, разговоры о Гомере и Сафо… Жизнь возвращает его к началу, к поворотным точкам, закольцовывает судьбу, как стихотворение: подумай, подумай.

Рассматривал ли он этот вариант судьбы? – наверняка. «Выступал вчера в Пушкинском клубе, который как будто для того и существует, чтобы доказать, что в эмиграции люди гниют и мельчают. Принимали меня хорошо, но атмосфера гнилости, запустения, бездарности, страшной опустошенности угнетала меня все время… И, уезжая от них, я чувствовал ту же жалость, какую чувствуешь ко всякому покойнику». Разговаривал с оксфордским профессором, славистом Коноваловым, сыном министра Временного правительства: «В откровенной беседе он жаловался мне, как ему тесно в Оксфорде, как тяготит его отрыв от Родины».

Нет – такого варианта судьбы быть не могло. Он рад, что увидел этот иной мир; он легко и просто в него вписался: нашел общий язык с людьми разных взглядов, возрастов и социального положения – от горничной в отеле до университетского ректора, от юных английских студентов до престарелых русских эмигрантов; его, когда-то добиравшегося до Англии поездом и пароходом, совершенно не удивляют короткие перелеты между странами: обычное дело, слетать в Англию и обратно… Он прожил бы и здесь и, может быть, любил бы эту жизнь. Но он возвращается из воспоминаний в реальность, из Англии на родину, от счастливой перемены обстоятельств к работе.

«Все же Англия сильно помешала мне работать. Целых два месяца выпали из жизни», – подытоживает он.

Как писал в самом знаменитом своем стихотворении Роберт

Фрост (который очень скоро посетил Россию и был гостем Чуковского):

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep[25]…

«Сильное, сильное негодование»

Возвращаться домой после двух месяцев иной жизни в ином мире – трудно: родина и сейчас встречает неприветливо. Хмурость, общая неприбранность, бедность и сегодня составляют тяжелый контраст с улыбчивой и благополучной заграницей – в шестидесятых это, пожалуй, был хороший шок.

Дома Чуковского ждут горы неразобранных писем и работы: принято решение о издании Собрания сочинений – и надо начинать формировать том за томом; в первый он решил включить детские сказки, «От двух до пяти» и «Серебряный герб»; он переделывает книгу «Живой как жизнь» с помощью молодых лингвистов.

К нему день за днем приезжают гости. Многолетний распорядок переделкинской жизни, когда все подчинялось сну и работе хозяина, совершенно нарушен, люди идут и идут «нескончаемым потоком», как принято было говорить о первомайских демонстрациях и очереди в мавзолей… Приходят тонны писем – после его публикаций в периодике, после выступлений по радио, после выхода новых книг. Поэты, писатели и литературоведы присылают новые книги, родители шлют новые словечки детей, дети пишут письма любимому писателю. Пишут нуждающиеся в помощи и просто наглецы, «стрелки», вымогатели. Иностранцев везут знакомить с русской литературой, роль которой уже чуть не официально исполняет Чуковский, к тому же еще и говорящий по-английски…

Клара Лозовская писала: «Для гостей были отведены предвечерние часы, главным образом около пяти или шести вечера. Но гости в доме Корнея Ивановича не были гостями праздными. Кто-нибудь приезжал почитать свою рукопись, новые стихи, художники привозили иллюстрации к сказкам Корнея Ивановича, редакторы доставляли корректуру со своими вопросами, а иностранные литературоведы и переводчики привозили свои книги и расспрашивали Корнея Ивановича о Некрасове или Зощенко, о Лескове и Паустовском, о Короленко

или о людях шестидесятых годов прошлого века. Корней Иванович давал книги, советовал, где отыскать нужные материалы, правил статьи, критиковал стихи, выслушивал рассказы о горестях и невзгодах, свалившихся на какого-нибудь из пришедших к нему гостей. Я видела входивших к Корнею Ивановичу усталых, удрученных людей, но даже недолгий разговор с ним умиротворял их души, и, я уверена, от участливого сочувствия Корнея Ивановича им было легче переносить свои неприятности и беды».

Чуковский, кажется, всем рад, всех встречает, со всеми беседует – и в тоске пишет в дневнике, что ему нужен «человек, охраняющий входы», и почти кричит: «О, если бы меня заперли в тюрьму или больницу, я наделал бы там делов – а здесь, в суете, в бестолочи…»

Он пытается обороняться от этого потока. На дверях висит табличка: «Прошу даже самых близких друзей приходить только по воскресеньям»; в доме – другая: «Дорогие гости! Если бы хозяин этого дома даже умолял вас остаться дольше девяти часов вечера – не соглашайтесь!»

На родине Чуковского ждали не только письма и работа, но и новые хлопоты, и неприятные новости. Он хлопочет о пенсии для Зинаиды Николаевны Пастернак, фактически оставшейся без средств к существованию, – и к тому же после инфаркта.

К. И. читает жуткую работу Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки»; чуть позже ему передают книгу Жореса Медведева «Очерки истории генетики», которая, пишет Чуковский, «взволновала меня до истерики»: общая картина того, что советская власть сделала и продолжает делать со страной, для него окончательно проясняется, превращаясь в масштабное, детально прописанное полотно. Места для давнишних счастливых иллюзий уже не остается.

Люди шепотом передают друг другу слухи о расстреле демонстрации в Новочеркасске.

1 июля Чуковский пишет в дневнике: «Отовсюду мрачнейшие сведения об экономическом положении страны: 40 лет кричать, что страна идет к счастью – даже к блаженству, – и привести ее к голоду; утверждать, что вступаешь в соревнование с капиталистич. странами, и провалиться на первом же туре – да так, что приходится прекратить всякое соревнование».

Погода хмурая, костер «Здравствуй, лето!» погублен проливным дождем, тысяча детей ушла не солоно хлебавши, сам Чуковский, объявляя им под ливнем об отмене костра, вновь простудился. Удался за все лето только один костер, прощальный, 19 августа.

Дневники К. И. фиксируют бесконечные встречи и разговоры с людьми, от которых он все больше устает: при таком наплыве посетителей уже ни жить, ни работать становится невозможно. Весь этот год у него в гостях и по делу – лингвисты, слависты, дипломаты, иностранцы, писатели… Один из наиболее частых гостей – американский славист и писатель Франклин Рив, который приезжал к Чуковскому вместе с женой и тремя детьми; дети довольно быстро научились говорить по-русски (стоит заметить, пожалуй: сын Франклина Рива от первого брака, Кристофер Рив, стал актером и прославился исполнением роли Супермена – неожиданный поворот сюжета «Чуковский и Супермен»).

В последний день лета 1962 года Франклин Рив привез к Чуковскому в Переделкино поэта Роберта Фроста. Дивный рассказ об этом дне оставила в «Записках об Анне Ахматовой» Лидия Корнеевна:

"Я не сильна в английском, но мне его стихи нравятся – он не только знает природу, он и сам как бы часть ее. Фрост побывал в Переделкине у Корнея Ивановича. Приемом занималась Марина, я никаких обязанностей не несла, но увидеть Фроста мне хотелось. Однако, накануне его приезда, наш лесной участок оккупировали, поближе к даче, шпики и репортеры, а когда Фрост, в сопровождении милого Рива, приехал, – дом оккупировали «переводчики» (в которых вообще не было нужды). Мне сделалось так противно, что я укрылась у себя в лесной норе (в небольшом домике, построенном специально для Л. К. в глубине участка; домик носил ироническое название «Пиво—Воды». – *И. Л.)*… Я села работать, радуясь, что могу не принимать участия в комедии. Но скоро я промерзла, продрогла; взяла термос и по узенькой своей тропиночке, раздвигая ветви, отправилась за кипятком в дом. Шпики были несколько огорошены: ничьего появления из чащи они не ждали. В доме, внизу, пусто: Корней Иванович и гости наверху. Я благополучно согрела чайник, наполнила термос и уже выходила на крыльцо, когда меня вдруг окликнула бурно сбежавшая вниз с Дедовой лестницы дама – лицо полузнакомое, по-видимому, переводчица из Союза. Она разлетелась ко мне весьма любезно:

– Ах, Лидия Корнеевна, здравствуйте! Вы уходите? Не уходите, я могу провести вас наверх!

– Благодарю вас, – ответила я. – Вы забываете, что я у себя дома и ни в чьем пропуске к отцу не нуждаюсь".

Франклин Рив в своей книге о визите американского поэта в Россию оставил подробное описание встречи Чуковского и Фроста. Фросту было 88 лет, Чуковскому – 80. Оба получили

звания почетных докторов в Оксфорде; делясь оксфордскими воспоминаниями, Фрост заметил, что поскупился на мантию. Чуковский, разумеется, мантию тут же надел (она да еще привезенный из Америки роскошный перьевой убор индийского вождя были его излюбленными нарядами, которые он охотно демонстрировал и гостям, и детям на праздниках) – и, «по его собственному выражению, пустился в пляс, как скоморох». С гостем Чуковский беседовал на «сложном и богатом английском», и Фрост, уставший уже от непривычной русской речи и постоянного перевода, при котором не улавливал часть происходящего, был очень этому рад.

Гости заглянули в библиотеку и пошли в дом; стол ломился от яств, на обеде присутствовали писатель Макс Поляновский, поэт Степан Щипачев, литературовед Юлий Оксман – и «распорядительницы», или переводчицы, которые, собственно, никому там особенно не были нужны; чувствовалось, что они приставлены к Фросту.

«Проницательность Чуковского, его яркий стиль поведения, эрудиция и дар выразительного слова и жеста задали тон вечеру. Мне было очень хорошо с этими людьми, чья широкая образованность и гражданское неравнодушие позволяли мне на подмосковной даче в лесу чувствовать себя оказавшимся в средоточии мировых жизненных сил, – рассказывает Рив. – За ужином Чуковский был и радушным хозяином, и переводчиком, и высокообразованным собеседником. Он посадил Фроста во главе стола, Щипачева по левую руку от него, а сам сел по правую. Они стали разговаривать втроем о русской кухне и лирической поэзии; Чуковский переводил и комментировал. Все остальные слушали».

Однако одна из распорядительниц вдруг «начала, к общему смущению, повторять то, что говорил Чуковский. Ее голос звучал громче и громче; Фрост, который был туговат на ухо, слышал все меньше и меньше. Вдруг она вскочила, желая подбежать к нему и прокричать прямо в ухо. Фрост отпрянул и загородился ладонью. „Уйдите, сядьте, – сказал он, замахав рукой, – нет, нет, нет, нет, нет, нет“. Он понятия не имел, зачем она вскочила, и решил, что ей вздумалось его поцеловать. Она села, несколько поостыв, и Чуковский снова взял застолье в свои руки».

И тем не менее атмосфера, невзирая на непрошеное вторжение сначала распорядительницы, затем неожиданно нагрянувшего корреспондента ТАСС, была праздничной, Чуковский и Фрост очень подружились – «впоследствии Фрост неоднократно с восторгом говорил об этом вечере, вспоминал, как Чуковский танцевал в оксфордской мантии и как они вместе

осматривали его библиотеку… Корреспонденты, распорядительницы, доброхоты, патриоты – все они мешали Фросту знакомиться с Россией, и тем не менее много раз он чувствовал, что дотрагивается до России как она есть, – особенно в этот вечер…».

Через несколько дней Фрост встречался в Комарове с Ахматовой, но эта встреча была не бурной и праздничной, а скорее печальной: собеседники больше угадывали, чем ясно осознавали значение друг друга; недопонимали друг друга; скорее проявляли вежливость, чем живой интерес…

Ахматова вскоре попросила К. И. написать предисловие к ее «Поэме без героя», к просьбе присоединился «Новый мир», собиравшийся публиковать поэму. Чуковский работал над статьей весь сентябрь, Ахматова ждала с нетерпением. Лидия Корнеевна передавала ей вопросы отца, ему приносила ответы. Записывала: «С тех пор как Дед пишет эту статью, она меня всегда ждет». «Редакции Дед ответил „да, да, конечно, для меня это большая честь“; мне же стал жаловаться на бессонницу, склероз: „Я и так увяз в статьях о языке“, „Я превратился в полную бездарность“».

Он и сам пишет в дневнике: «Больше всего на свете я хотел бы написать об Анне Ахматовой. Но мозги у меня такие вялые, что выходит какой-то тусклый и бессмысленный набор слов». Это обычная его требовательность к себе: выходило как раз хорошо и дельно.

Пожалуй, Чуковский остался сейчас единственным, кто мог написать об Ахматовой как следует. Не так уж много оставалось в 1962 году людей, помнящих 1913 год, способных проанализировать поэму так, как она этого заслуживала, и внятно рассказать об этом читателю. В первые послереволюционные годы Ахматова, узнав, что Чуковский собирается о ней писать, по ее собственному свидетельству, задрожала: «Пронеси, Господи!» Теперь сама просила об этом, ждала статьи, обрадовалась ей. Лидия Корнеевна вспоминает, что когда-то Ахматова была недовольна статьей «Ахматова и Маяковский» и говорила: «Корней Иванович так хорошо им все объяснил, что даже тупицы поняли все», «имея в виду, – поясняет Лидия Корнеевна, – что он своею статьей сделал и для начальства явной ее религиозность, ее приверженность к старой России и пр., и что это с его стороны было неосторожно. А сейчас она, наверное, изголодалась по толковому литературному разбору».

Присланная статья Ахматовой очень понравилась: «Первоклассно, по-европейски, точно; опровергает общераспространенное мнение о моих стихах без задора, но несокрушимо». В письме отцу Л. К. передавала и такую похвалу:

«Это первозданно и основополагающе… Этого еще никто не писал…» Ахматова написала Корнею Ивановичу письмо (от него, правда, сохранилось только начало), где говорится: «Вы сказали о поэме самое нужное, самое главное». И еще одна похвала Ахматовой, сохраненная в «Записках» Лидии Корнеевны: «Это – шедевр К. Ч. Вот увидите, как его работа будет оценена. Статья написана г р о м к о. У нас совсем утрачено это искусство».

Однако в ноябре «Новый мир» решил не печатать ни Ахматову, ни предисловия, над которым К. И. так долго трудился. С этой новостью ему позвонили из «Нового мира». Лидия Корнеевна пишет: "Я ждала взрыва, но Дед, с несвойственным ему спокойствием, сказал:

– Какая у вас, однако, глупая редколлегия!"

«Глупая редколлегия» вскоре отвергла и «Софью Петровну» Лидии Корнеевны; Твардовский лично написал жестокую, уничижительную рецензию, в которой прошелся по «идейно-художественной несостоятельности повести». Однако «Софью Петровну» оценил Эренбург, сказавший автору, что не только написать это, но даже задуматься об этом в 1939 году – уже было мужество.

В одиннадцатом номере «Нового мира» все-таки вышел солженицынский «Один день Ивана Денисовича», и этому боялись верить: невозможное случилось, в литературе зазвучал голос заключенного, одного из миллионов, и отменить этого уже было нельзя.

Но маятник уже качнулся обратно. Ахматова говорила: щель на глазах сужается. 1962 год, такой счастливый и оптимистичный вначале, к концу своему увяз в тоскливом безобразии. Осенью разразился тяжелейший Карибский кризис, едва не спаливший мир в огне ядерной войны. Пленум ЦК КПСС принял серию новых бездарных решений о реорганизации хозяйства. 1 декабря грянул «Манежный скандал».

«Н. С. Хрущев пришел на выставку в Манеж и матерно изругал скульптора Неизвестного и группу молодых мастеров. Метал громы и молнии против Фалька, – записывает К. И. в дневнике. – Пришла ко мне Тамара Вл. Иванова с Мишей (выставившим в Манеже свои пейзажи), принесли бумагу, сочиненную и подписанную Всеволодом Ивановым, – протест против выступления вождя. Я подписал», – говорится в дневнике Чуковского.

16 декабря он пишет в дневнике, что приглашен вместе с другими писателями на встречу с Хрущевым. Ничего хорошего они от этой встречи не ждали, полагая, что она может положить конец всякому либерализму. «Очень печален конец 1962 года. Я

подписал письмо с протестом против нападок Н. С. Хрущева на молодежь художественную, и мне на вчерашнем собрании очень влетело от самого Н. С. Х. Хотя мои вкусы определялись картинами Репина и поэзией Некрасова, я никак не могу примириться с нынешним Серовым, Александром Герасимовым и Лактионовым, кои мнят себя продолжателями Репина. Ненавижу я деспотизм в области искусства». И дальше по-английски: «Я не питаю нежных чувств к Неизвестному, но то, как они поступили с ним, внушает мне сильное, сильное негодование».

У Лидии Корнеевны в «Записках» изложено содержание одного из множества разговоров, которые велись тогда во многих интеллигентских домах: «Кто отвечал Хрущеву в Манеже, есть ли основания ожидать разгрома не только живописи, рисунка, скульптуры, но и литературы». Основания, кажется, были.

Оксман писал К. И., поздравляя его с наступающим праздником: «К новому году опять похолодало, но не в пример прежним заморозкам настроение остается хорошим, – никто не верит ни в Ильичева, ни в Пономарева, ни в нео-ермиловых, ни в старо-анисимовых и самариных». Чуковский отвечал: «Названные вами двуногие – даже не тени, а тени теней, и все же нет никакого сомнения, что вскоре они развернутся во всю и повторят панораму 1863 года» – подразумевая под «панорамой» реакцию, подавление польского восстания, политические заморозки…

Солженицын

Еще до поездки в Англию, в апреле 1962 года, Корней Иванович получил от Твардовского, редактора «Нового мира», на рецензию «рукопись некоего беллетриста о сталинских лагерях». Рукопись была озаглавлена «Щ-854» и подписана псевдонимом «А. Рязанский». Чуковский прочитал – и загорелся. Рецензия была написана немедленно и называлась «Литературное чудо».

К. И. хвалил неизвестного автора за колоритный русский язык, за «живую органическую речь, свободную, как дыхание», за чувство меры и такта, с которым он берется за такую трудную тему: «Другой более слабый автор непременно ударился бы в публицистику, стал бы проклинать и вопить. Но А. Рязанский – и в этом его величайшая сила – ничем не выражает своего страстного гнева. Он не публицист, а летописец». Чуковский говорил о «гениально-злоупорном» характере героя, его выносливости, его мастерстве… «Словом: с этим рассказом в литературу вошел очень сильный, оригинальный и зрелый писатель… В каждой сцене автор идет по линии наибольшего сопротивления и всюду одерживает победу». Отвечая на

невысказанный вопрос вечного своего невидимого оппонента с карандашиком, Чуковский добавляет назидательно: «Мне даже страшно подумать, что такой чудесный рассказ может остаться под спудом. Ничего нецензурного в нем нет. Он осуждает прошлое, которого, к счастью, уже нет. И весь написан во славу русского человека».

Это был первый критический отклик на прозу Солженицына.

Твардовский показывал рассказ многим. Солженицын писал в книге «Бодался теленок с дубом»: «Он, не торопясь, давал читать его Чуковскому, Маршаку – и не только, чтоб их именами подкрепить будущее движение рукописи, но чтоб отзывами этими и самому понаслаждаться, почитать их вслух и членам редакции и повезти хорошим знакомым (только мне не показал, боясь меня испортить). И Федину давал рукопись (тот никак не отнёсся), и не мешал дать прочесть Паустовскому и Эренбургу (недолюбливая, сам им не предложил). Он долго подгонял к повести предисловие (а собственно, его могло и не быть: зачем еще оправдываться?) Так вёл он неторопливую подготовку, еще не определив, как же продвигаться выше… А месяцы шли – и остывал, и совсем уже миновал пыл XXII съезда».

Рукопись, которую Твардовский давал почитать одним и другим, уже была скопирована, с копии сняты новые копии, и «десятки, если не сотни перепечатков и отпечатков расползлись по Москве, по Ленинграду, проникли в Киев, Одессу, Харьков, Нижний Новгород», пишет Солженицын. Появилась опасность, что рукопись попадет за границу. Твардовский передал рукопись секретарю Хрущева Лебедеву, тот прочитал ее вождю на отдыхе в Пицунде вслух; Хрущеву понравилось; на ЦК было принято решение – печатать.

Повесть вышла – выстрелила – была роздана делегатам ноябрьского пленума по промышленности – прочитана всеми.

«Издание „Одного дня…“, вызвавшее восторженные отклики прессы, стало литературной и политической сенсацией, – рассказывала Е. Ц. Чуковская в интервью Елене Константиновой, озаглавленном „Солженицын и Чуковские“. – Рассказ тут же взялись переводить на иностранные языки. Только на один английский – шесть издательств. Но переводили – лишь бы скорей! В большинстве переводов погасли все краски, смешались все языковые пласты… И Корней Иванович – известно, что проблемы художественного перевода – одно из направлений его литературной деятельности, – отозвался об этих переводах как о достаточно небрежных, скороспелых, не передающих своеобразия языка оригинала. Солженицын, будучи в Пушкинских горах, услышал чтение этой статьи по радио и – приехал к Чуковскому в

Переделкино. Так в начале июня 1963 года состоялось личное знакомство двух очень разных по характеру и темпераменту писателей».

«Получил письмо от Солженицына!!!» – записал К. И. в дневнике в марте 1963 года. Запись эта соседствует в дневнике с упоминанием о собирающейся в Кремле встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства: «Послезавтра в четверг 7-го марта назначен разгром литературы, живописи и кино в Ц. К.». К. И. разговаривает с Паустовским, записывает: «Ему и мне звонят из ЦК, чтобы мы были непременно».

7 марта он пишет:

"Жаль, что я болен и не могу поехать на сегодняшнее собрание в Кремле. Что будет на этом собрании, не знаю – и не будь мне *81 года,* я бы принял там «живейшее участие». Но разговоров много. Говорят, будто Шолохов приготовил доклад, где будут уничтожены «Новый мир» с Твардовским, будет уничтожен Солженицын, будет прославлен Ермилов, будет разгромлена интеллигенция и т. д.".

В общем, встреча прошла не совсем по этому сценарию, но тем не менее стала, по выражению Солженицына, «одной из самых позорных страниц хрущевского правления»; на ней произошел «разгром всего, что хоть чуть отдавало свободой».

Хрущев начал с грозного окрика: «Всем холуям западных хозяев – выйти вон!» – в этом тоне и была выдержана вся дискуссия. Дважды выступал главный идеолог СССР Ильичев, еще зимой призвавший интеллигенцию к «выполнению ее обязанностей», под которыми понималось опять-таки коммунистическое воспитание масс. Ильичев нападал на Эренбурга за его недавно опубликованные мемуары, возвращавшие из забвения множество запретных, замалчиваемых имен. Сам Хрущев провозгласил, что «народу нужно боевое революционное искусство», велел деятелям культуры руководствоваться принципом партийности. Призывал к порядку писателей и кинематографистов: нечего помойные ямы описывать, они и при коммунизме будут. Шолохов вместо разносного доклада сказал только: вот Эренбург говорил, что у него со Сталиным была любовь без взаимности, а у нас с нынешним руководством «любовь со взаимностью».

В первый день призывали к порядку старших, на второй – молодых; это было совсем уж безобразно. С молодыми не церемонились, а просто орали. Солженицын записывал в блокнотик выкрики Хрущева: «Хотите завтра получить паспорт – и езжайте к чертовой бабушке!» «Эренбург сидел со сжатым ртом,

а как Сталин умер, так он разболтался!» «Никакой оттепели! Или лето, или мороз!» «Наша молодежь принадлежит партии! Не трогайте ее, иначе попадете под жернова партии!» «Судьей будет партия!»

«Ивана Денисовича» не тронули, похоже, только потому, что была дана установка: не задевать личных вкусов Хрущева. Однако «наплыв рукописей о тюрьмах и лагерях» осудили: поговорили, мол, и хватит, опасная тема закрыта. Свободы не будет, будет партийное руководство, свои ошибки партия сама осудила и никому больше не даст, кто не согласен – получайте паспорта и уматывайте. «Этими встречами откатил нас Хрущев не только позадь XXII съезда, но и позадь XX, – писал Солженицын. – Он откатил биллиардный шар своей собственной головы к лузе сталинистов. Оставался маленький толчок».

Встреча произвела мрачнейшее впечатление на творческую интеллигенцию. Чуковский писал в дневнике 14 марта, что Сельвинский пробовал с ним заговорить о совещании, – «но я сказал ему, что так как я занят „Искусством перевода“ и подготовкой собрания сочинений, и кроме того нездоров, я запрещаю своим домашним разговаривать со мной на эту тему, сообщать мне какие бы то ни было сведения по этому поводу и не видел за все это время ни одной газеты».

Так же он запрещал разговаривать с ним о травле Пастернака, которую переживал мучительно и долго. Работать и не думать о том, что случилось, – пожалуй, так он защищал свою подвижную нервную систему от перегрузки. Какие бывают следствия такой перегрузки – он знал по опыту: отчаяние, бессонницы, сердечные боли, мозговые спазмы, почти полная утрата работоспособности…

26 марта сердитая запись в дневнике рассказывает: 20 дней назад Чуковский дал интервью Наталье Роскиной о «детской неделе» (вероятно, традиционной Неделе детской книги, которая всегда проходила в последнюю, каникулярную неделю марта). Роскина позвонила с сообщением, «что она внесла туда несколько строк – откликов на речь т. Хрущева о литературе» – «несколько абзацев о том, что я не вижу ни малейшей розни между (сталинистами) – отцами и детьми». Как раз о том, что в СССР проблемы отцов и детей не существует, Хрущев тоже говорил на памятном совещании. Чуковский вышел из себя: "Словно кто ударил меня по голове. Я пришел в ужас. Послал за Наташей – она приехала, я требовал, чтобы эта позорная отсебятина была выброшена, а потом сообразил, что в это траурное время всякое выступление с каким-то *тру-ля-ля* отвратительно, и потребовал, чтобы все интервью было аннулировано".

Чуковский не успокоился. Не спал две ночи. Над его статьями уже не раз проделывали такую операцию, редакционные вписки и приписки на злобу дня без уведомления автора были совершенно обычной практикой советской журналистики, поэтому рассчитывать на удачу Чуковский не стал – поехал в редакцию сам. «Прошел в кабинет редактора и сказал ему: „Вы сами понимаете, что я, старый интеллигент, не могу сочувствовать тому, что происходит сейчас в литературе. Я радуюсь тому, что 'дети' ненавидят ‘отцов', и, если вы напечатаете слова, не принадлежащие мне, я заявлю вслух о своих убеждениях, которых ни от кого не скрываю“. И еще много безумных слов».

«Все разговоры о литературе страшны», – записывает он через несколько дней, приводя слух о самоубийстве Евтушенко. «А почему бы и нет? Система, убившая Мандельштама, Гумилева, Короленко, Добычина, Маяковского, Мирского, Марину Цветаеву, Бенедикта Лившица, – замучившая Белинкова и т. д., и т. д., очень легко может довести Евтушенко до самоубийства». С Евтушенко все обошлось; интересно в этой записи то постоянство, с которым в дневнике Чуковского в начале шестидесятых возникают списки-мартирологи: он постоянно вспоминает растоптанные судьбы: Зощенко, Заболоцкий, Есенин, Кольцов… Постоянно возвращается мыслями к мученическим судьбам литераторов: Введенский, Хармс, Раиса Васильева, Пильняк… Мысли эти не дают ему покоя, не дают спать, отвлекают от теории перевода, в которую он пытается увильнуть, перегружают душу отчаянием: мечта об общечеловеческом счастье вновь породила систему, которая, как и встарь, продолжает убивать талантливых людей.

Летом 1963-го К. И. получил от Ирины Петровой письмо, где она говорила «о том, что есть у него не только всем известные книги, всем известное имя, но и, так сказать, официально известное лицо. На этом лице только бодрые краски, стопроцентный оптимизм, а иной раз и некоторая сусальность». Чуковский ответил: «Вон как ловко в трех строках изобразили Вы мою 100 % репутацию… Я, конечно, был бы шутом-идиотом, если бы в такое строгое и трагическое время реагировал на все улыбкой Гуинплена „L’homme qui rit“».[26]

Кажется, главным итогом всех этих хрущевских подмораживаний и потеплений для Чуковского стало одно: он окончательно перестал чего бы то ни было бояться. Место цепкого страха (затопчут, убьют) теперь занимают раздражение, ненависть и презрение.

6 июня К. И. писал в дневнике: «Сегодня был у меня Солженицын. Взбежал по лестнице легко, как юноша. В легком летнем костюме, лицо розовое, глаза молодые, смеющиеся». К. И.

показывал Солженицыну «Чукоккалу» (тот вписал в нее свои лагерные стихотворения 1952 года), слушал его рассказы, водил его на кладбище, отвез на станцию – и сохранил самое счастливое впечатление о своем госте: «легкий, жизнерадостный, любящий». Глава о переводах Солженицына на Западе вошла в «Высокое искусство», над очередной редакцией которого К. И. работал в 1963 году. Оно, в свою очередь, вошло в состав третьего тома Собрания сочинений. Во время выхода тома Александр Исаевич еще не успел впасть в опалу; его хвалил Хрущев, вышла даже газетная статья с заголовком «Солженицын – верный сын партии», к нему ездили корреспонденты с почтительными вопросами (Чуковский в дневнике еще до личного знакомства с Александром Исаевичем пересказал с чьих-то слов, как тот выставил корреспондентов вон: мол, я работаю, а вы мне мешаете).

К. И. видел в новом писателе, не опубликовавшем пока ничего, кроме двух небольших произведений (в «Новом мире» в январе 1963-го вышел новый рассказ Солженицына – «Матрёнин двор»), огромную литературную силу; прочитав эти два рассказа – уже ставил его на второе место после Толстого. Характерна одна из дневниковых записей: маршал Соколовский в Барвихе стал говорить, что «Иван Денисович» – это «проповедь блатного языка». «Я с визгом возражал ему», – не без самоиронии пишет Чуковский.

Ничему не научились

1963 год прошел в мрачных раздумьях. Поводов печалиться было достаточно и помимо Хрущева. Еще минувшей осенью умер Казакевич; в январе умер художник Конашевич, многолетний иллюстратор книг Чуковского и его постоянный корреспондент; в июне скончался Назым Хикмет, в августе – Всеволод Иванов. В июле настала очередь Николая Асеева, никогда, правда, другом Чуковского не бывшего, – но все же современника. Тяжело – смертельно – болен Маршак. Все они младше Корнея Ивановича.

Чуковский писал о переводах, возмущался в газете плохими переводами своих детских книг на английский язык (в «Известиях» вышла статья, так и озаглавленная: «Записки пострадавшего») – а в дневнике писал: «Все это свыше моих сил, но я рад, что голова набита у меня этой соломой, и я благодаря этому отвлекаюсь от своей единственной мысли—о Смерти».

Отвлекаться есть на что: постоянно находятся дела, требующие хлопот, заступничества, писем. Клара Лозовская писала: «Корней Иванович хлопотал о квартирах, о пенсиях, о прописках, об устройстве в больницу, в детский сад или в

санаторию (так произносил он это слово). Я могу рассказать о том, как Корней Иванович устроил семейное счастье одной бельгийской студентки, которая приехала в Москву для изучения Чехова, как хлопотал о больнице для рабочего Ипатова, как устраивал переделкинских мальчиков в нахимовские и суворовские училища, как беспокоился о ленинградских студентах, несправедливо отчисленных из института, как на несколько дней поселил у себя на даче друга моей дочери, у которого родители попали в автомобильную катастрофу, как он умел помочь каждому, кто обращался к нему за помощью, а тем, кто не обращался, он предлагал ее сам».

В начале 1964 года он вместе с Паустовским заступается за северные деревянные церкви, которые вознамерились сносить в ходе антирелигиозной кампании. Весь год хлопочет о пенсии для вдовы Бориса Збарского и для Зинаиды Николаевны Пастернак; рассказывает Громыко, тоже отдыхающему в Барвихе, о пропадающих за рубежом огромных гонорарах за «Доктора Живаго» – возьмите их, но дайте пенсию вдове! Хлопочет вместе с Солженицыным о находящемся в заключении скульпторе Недове (в марте Лидия Корнеевна сообщает ему: скульптора выпустили!).

Главной темой 1964 года тоже стали хлопоты – о поэте Бродском, судимом за тунеядство. Лидию Корнеевну познакомила с Бродским Ахматова, к которой Л. К. пришла в сопровождении Владимира Корнилова. Павел Крючков пишет об этой встрече (в статье «Все есть», посвященной отношениям поэта с Чуковскими): "После обмена приветствиями «высокий, рыжеватый, крупного сложения молодой человек» тут же наговорил Лидии Корнеевне немало «дерзостей», непочтительно отозвавшись о ранней критике Корнеем Чуковским переводческих трудов Бальмонта; о переводах из Уитмена – самого К. И., и, в конце концов, вывел, что поэтического дарования у знаменитого отца гостьи нет и в помине. Воспитанная Лидия Корнеевна смиренно отзывалась репликами «очень может быть», «весьма вероятно» и прочими в том же духе. В конце этого октябрьского дня Лидии Корнеевне пришлось даже успокаивать Владимира Корнилова, испытавшего, мягко говоря, неловкость за молодого поэта: "Я сказала… что рано ему (Бродскому. – *П. К.)* еще иметь характер, а это просто мальчишество, юность… ему не нравятся переводы Корнея Ивановича (он, наверное, только что их прочел и статью о Бальмонте) и вот, как услышал мою фамилию – так из него, как пробка, мгновенно и выскочило суждение…""

Стихи Бродского ей понравились: «Голос у него новый, странный и сильный…» Впрочем, когда молодого поэта стали бранить в газетах за тунеядство и бытовое разложение, а потом и

судить, – Чуковских, отца и дочь, волновало уже не то, хорошие или плохие стихи пишет Бродский. Эта семья принципиально отделяла вопросы литературы от вопросов взаимоотношений с государством; уголовное преследование поэта как тунеядца было непозволительно – независимо от того, нравятся его стихи или не нравятся.

В борьбу за Бродского Лидия Корнеевна вступила еще в конце 1963-го, написав вместе с Фридой Вигдоровой письмо заместителю заведующего отделом культуры ЦК КПСС Черноуцану в защиту поэта от газетных нападок: в ноябре «Вечерний Ленинград» обозвал Бродского «окололитературным трутнем». «Мне не нравится Бродский, – признавалась в дневнике Л. К., – но он поэт, и надо спасти его, защитить». Защищать не получается. Организаторы травли создают видимость общественного негодования, в январе в той же газете «трудящиеся» требуют выслать Бродского из города… «Все очень плохо, – пишет Лидия Корнеевна. – Они его домучают».

Собирается суд, и нужно доказать на заседании, что Бродский – поэт, а не тунеядец. Доказать это могут свидетельства уважаемых поэтов и других деятелей искусства. Ахматова пишет Суркову, обращается к Шостаковичу (он депутат района, где живет Бродский), Л. К. собирается говорить с Расулом Гамзатовым – и, конечно, обращается к отцу и к Маршаку.

Первые упоминания о Бродском в дневнике К. И. мы находим в феврале 1964-го. 2 февраля Маршак рассказывает Чуковскому, как сказал директору Гослита, расторгшему с Бродским договор: «Вы поступили как трус!» 17-го К. И. пишет:

«Лида и Фрида Вигдорова сейчас хлопочут о судьбе ленинградского поэта Иосифа Бродского, которого в Ленинграде травит группа бездарных поэтов, именующих себя „Русистами“. Его должны завтра судить за бытовое разложение. Лида и Фрида выработали целый ряд мер, которые должны быть приняты нами, Маршаком и Чуковским, чтобы приостановить этот суд. Маршак охотно включился в эту борьбу за несчастного поэта. Звонит по телефонам, хлопочет». Маршаку стало плохо, очнулся, первые слова – о Бродском; «есть в этом характере черты величия», замечает К. И. Через несколько дней Маршак и Чуковский отправили телеграмму в суд (в дневнике Чуковского запись: «Ничего не знаю об Иосифе Бродском. Интересно, что Маршак возложил на меня не только составление телеграмм, но и оплату их»).

Телеграмма, отправленная в народный суд Дзержинского района Ленинграда, гласила: «Иосиф Бродский – талантливый поэт, умелый и трудолюбивый переводчик… Мы просим суд…

учесть наше мнение о несомненной литературной одаренности этого молодого человека». Однако телеграмма не была заверена нотариально, и на этом основании судья отказалась приобщить ее к делу; писателям пришлось написать от руки записку с требованием приобщить телеграмму к материалам дела и заверить ее в Союзе писателей.

13 марта Лидия Корнеевна отметила в дневнике: «Вчера К. И. звонил Миронову (в ЦК зав. Судами и Адм.), которому они с С. Я. писали письмо. Звонок ничем не помог, Миронов заявил: „Вы не знаете, за кого хлопочете… Он писал у себя в дневнике: 'Мне наплевать на Советскую власть'… Он кутит в ресторанах…“ – абсурдные обвинения все нарастали, вплоть до „он не знает языков, стихи за него пишут другие“…»

Дело Бродского давалось всем участникам его спасения нелегко; Л. К. записывала: «Вообще-то вполне естественно, что, если где-то убивают человека, окружающие отравлены – каждый на свой манер. Одни слепнут, другие не спят, четвертые получают спазмы и инфаркты – и лишь немногие силачи – вроде С. Я. и К. И., заступаясь, могут продолжать работать». У самой Л. К. было кровоизлияние в сетчатку здорового глаза; она продолжала слепнуть.

14 марта суд приговорил Бродского к пяти годам ссылки. Фрида Вигдорова сделала полную запись процесса и стала распространять ее среди литераторов. Чуковский пытался разговаривать о Бродском, уже отбывающем ссылку, со Смирновым, председателем Верховного суда РСФСР (они вместе должны были работать над изданием Собрания сочинений Анатолия Кони). Из разговора ничего не вышло: Смирнов только повторял, что получил от какого-то студента «смешное письмо» о Бродском – на тетрадном листочке, по-английски, «такое смешное письмо»…

"Я стал говорить о злобном Прокофьеве, который из темных побуждений решил загубить поэта, о невежественном судье… но Смирнов отошел в угол балкона (покурить) и все говорил:

– Такое письмо… И по-английски".

Лидия Корнеевна и Фрида Вигдорова продолжали бороться. Писали письма, говорили с писателями, теребили разные инстанции – опять говорили с Черноуцаном, отправили материалы по делу Генеральному прокурору СССР Руденко; посылали Бродскому нужные вещи… «Фрида все время хочет, чтобы я на что-то сдвигала С. Я. и К. И., – сетовала Лидия Корнеевна в дневнике. – А я этого не хочу – раз они сами не рвутся в бой».

Они делали, что могли. Маршак умирал. А для Чуковского

Бродский был всего лишь одним из молодых поэтов, одним из многочисленных обиженных, униженных и оскорбленных, о которых он хлопотал; дело это, конечно, мучило его и волновало, он продолжал разговаривать, встречаться, хлопотать – но не жил делом Бродского, как жили им в это время Л. К. и Фрида Вигдорова.

В это время Чуковский долго и трудно писал о Зощенко, стараясь убедительно рассказать о нем читателям – не только тем, которые знали и любили писателя, но и тем, кого сбило с толку ждановское постановление. Мучился отношениями с критиком Аркадием Белинковым: жалел его самого, человека с искалеченной судьбой и подорванным здоровьем, жалел его жену – но никак не мог принять его творческого метода: «при помощи литературоведческих книг привести читателя к лозунгу: долой советскую власть». Претензия не идеологическая: это неприемлемо для К. И. по единственной причине, неизменной со времен дореволюционных публикаций о самоцельности: литература абсолютна! нельзя делать ее служанкой человеческих потреб! Литература – не для того, чтобы свергать одну власть и устанавливать другую. Она – зеркало души, а не русской революции.

В мае в журнале «Москва» увидела свет статья «Читая Ахматову: (На полях ее „Поэмы без героя“)». Началась долгая, многолетняя работа над подготовкой Собрания сочинений.

2 июля Лидия Корнеевна на переделкинской дороге, отбегая от автомобиля, не заметила ехавшего на нее велосипедиста. В результате столкновения с ним получила множественные ушибы и сотрясение мозга. 5 июля умер Маршак. «Я боюсь подойти к телефону. Каждый звонок о беде», – писал К. И. в дневнике. И через несколько дней: «Все страшнее для меня мысль о Маршаке. Больной, весь в когтях смерти, он держался здесь на земле только силой духа, только творчеством».

Смерть Маршака потрясла Чуковского: друзья-враги, соперники и соратники, они с двадцатых годов срослись в общественном сознании в неразлучную пару авторов-близнецов, доисторических титанов литературы. За много лет работы бок о бок, то вместе, то порознь, у них накопилось много личных счетов друг к другу. Однако в последние годы все эти счеты как-то вдруг утратили смысл и перестали что-то значить, и стало ясно, что любовь к стихам, любовь к детям, общая память связывают их гораздо крепче, чем казалось когда-то.

В последнее время, работая над переизданием «Высокого искусства», Чуковский постоянно обращался к переводам Маршака, к опыту Маршака, к работам учеников Маршака,

советовался с ним, показывал готовые фрагменты работы… Среди этой деловой переписки в одном из последних писем Маршаку Чуковский привел вдруг «немного жестяное», по его собственному определению, анонимное английское стихотворение:

Fame is a food that dead men eat, —
I have no stomach for such meat.
But Friendship is a nobler thing, —
Of Friendship it is good to sing.
For truly, when a man shall end,
He lives in memory of his friend,
Who does his better part recall
And of his fault make funeral.[27]

Он опять имел в виду собственные похороны – в том же письме говорил: смотрю на все прощальным взглядом – и благодарил Маршака за дружбу… А «жить в памяти друга» остался Маршак, и Чуковский вспоминал «его лучшие свойства», и рассказывал газетам о горе, постигшем русскую поэзию, о блистательном таланте ушедшего мастера…

Смерть Маршака стала для него серьезным ударом. Он снова заболел. В конце августа завел в дневнике «Протокол моего умирания»: «Сердечные спазмы, феноменальная слабость. Уже сорок дней я лежу в постели, почти не работаю, меня колют, пичкают лекарствами…» Сорок дней – почти со времени похорон Маршака. Обещания он не сдержал, протокол, начатый всерьез, с описания сердцебиений, вскоре прекратил. «Все это пустяки, – писал 10 сентября. – Умирать вовсе не так страшно, как думают. Из-за того, что я всю жизнь изучал биографии писателей и знаю, как умирали Некрасов, Тургенев, Щедрин, Вас. Боткин, Леонид Андреев, Фонвизин, Зощенко, Уолт Уитмен, Уайльд, Сологуб, Гейне, Мицкевич, Гете, Байрон и множество других, в том числе Куприн, Бунин, Кони, Лев Толстой, я изучил методику умирания, знаю, что говорят и делают умирающие и что делается после их похорон». И пророчил: что будет в 1970 году, в 1975-м: «Вдруг откроют, что я был ничтожный, сильно раздутый писатель (как оно и есть на самом деле) – и меня поставят на полочку».

А в сентябре умер Гроссман, и через две недели – Светлов.

10 сентября Чуковского навестил Солженицын, только что окончивший книгу «В круге первом»; ее судьба была совершенно неясна, как и судьба самого автора. Неожиданная да и не нужная ему благосклонность власти подходила к концу, уже в апреле «Правда» потребовала не давать Солженицыну Ленинской премии, на которую он был выдвинут. Давнишнее расположение

Хрущева больше не охраняло писателя от нападок – больше того, дни самого Хрущева на руководящем посту были сочтены.

Однако Никита Сергеевич еще успел принять участие в деле Бродского. Чуковский ходил к Федину (тот читал начало его работы о Зощенко) и узнал: Хрущеву лично доложили о ходе дела – и тот «якобы сказал, что суд велся безобразно, но пусть Бродский будет счастлив, что его судили за тунеядство, а не за политику, п. ч. за стихи ему причиталось бы 10 лет» (дневниковая запись Лидии Корнеевны).

В октябре за переписку с американским славистом Струве (касавшуюся исключительно профессиональных вопросов) из Союза писателей единогласно исключили Юлиана Оксмана, в ноябре его уволили с работы. Окончательно решилась судьба повести «Софья Петровна»: сначала издательство «Советский писатель» приняло ее к публикации, но затем печатать книгу запретили.

К. И. подписал вместе с другими представителями интеллигенции поручительство за Бродского – и к нему на дачу тут же лично явился Поликарпов, заведующий отделом культуры ЦК КПСС, – требовать, чтобы Чуковский снял подпись. Клара Израилевна Лозовская, секретарь Корнея Ивановича, вспоминала (цитируется по статье П. Крючкова «Все есть»): "Поликарпов приезжал к Корнею Ивановичу при мне. И Корней Иванович очень волновался и боялся, как пройдет их встреча. Поэтому он оделся, как следует, а потом сказал: «Пожалуй, я буду больным». Я его укрыла одеялом, он лежал и ждал прихода Поликарпова. Я Поликарпова встретила внизу, он мне показался очень невзрачным… При этом мы с Корнеем Ивановичем договорились, чтобы я раза два вошла к нему в кабинет с рюмкой, чтобы там была вода, как будто он принимает лекарство. «А если он что-нибудь заставит меня подписывать, Кларочка, я просто упаду в обморок…»

Да, а когда Поликарпов позвонил, я сказала: «Вы знаете, Корней Иванович очень нездоров». – «Ну, Вы не беспокойтесь, волновать Корнея Ивановича я не буду». И он взошел наверх, и минуточек через пять я туда вошла с рюмочкой, сказала: «Корней Иванович, примите лекарство». Корней Иванович подмигнул мне, выпил эту воду… Я еще раз так вошла, они мирно беседовали. Потом, когда ушел Поликарпов, я спросила Корнея Ивановича: «Ну как прошла встреча?» – «Прекрасно. Я его боялся, а он боялся меня»…"

В день визита Поликарпова, 14 октября, пленум ЦК КПСС отправил в отставку Хрущева за «волюнтаризм». Чуковский – не без демонстративности – написал в дневнике через неделю: «За

это время сняли Хрущева, запустили в небо трех космонавтов, в Англии воцарились лейбористы, но обо всем этом пусть пишут другие. – Я же запишу, что вчера приехал в Москву Апдайк». Вся запись посвящена тому, как у него гостил американский писатель Чивер.

Чуковский не хочет больше слушать о политике, подковерной возне, чиновных играх, новом курсе. Отзывы о начальниках искусства – устало-брезгливые: «Ничему не научились – полицаи – по-прежнему верят лишь в удушение и заушение». Когда Елизар Мальцев горячо и взволнованно рассказывал ему о выступлениях писателей на заседании горкома партии – К. И. вознегодовал: «Я слушал и думал: при чем же здесь литература? Дело литераторов – не знать этих чиновников, забыть об их существовании – только тогда можно оставаться наследниками Белинского, Тютчева, Герцена, Чехова».

Не бояться горкомов и президиумов, не придавать им значения действительно можно, когда соблюдаешь правильную литературную перспективу и живешь в присутствии гениев.

В деле Бродского к концу года наметился сдвиг: Прокуратура СССР опротестовала приговор и отправила дело в Ленинградский городской суд; тот отказал. Чуковский снова взялся писать письма в Верховный суд РСФСР – тому самому Смирнову («смешное письмо»). Сдвинувшееся вроде бы с мертвой точки дело постоянно пробуксовывало. Главный мотор его, душа всей кампании за освобождение Бродского, Фрида Абрамовна Вигдорова, попала в больницу с неоперабельным раком. Большая часть хлопот по делу Бродского легла на плечи Лидии Корнеевны.

Главная литературная радость этого года – неожиданный триумф Ахматовой, получившей итальянскую премию «Эт-на-Таормина» и приглашение в Оксфорд, где ей, как и Чуковскому, присудили степень почетного доктора.

К. И. погружен в текущие дела. Заботится о публикации нескольких статей о Зощенко (берут неохотно, «Литературная газета» отказалась их печатать, и Чуковский сказал: «Вы просто трусите»). Печатает воспоминания («Что вспомнилось») и еще одну статью об Ахматовой. Обсуждает с редактором своего Собрания сочинений Софьей Красновой необходимые правки. Негодует на всегдашние претензии к цензурности материала и мелкие придирки к стилистике – «лучше бы пилили меня деревянной пилой». Одно из требований – выбросить из второго тома, из статьи о Тынянове, имя впавшего в немилость Оксмана. Чуковский пишет письмо директору Гослитиздата, выпускающего собрание: «Мне казалось, что во времена культа подобная система насильственного замалчивания тех или иных литературных имен

уже обнаружила свою несостоятельность… Оксман замечательный советский ученый, и Вы знаете так же хорошо, как и я, как велики его научные заслуги… Моя статья о Тынянове выходит не в первый раз. В каждом издании упоминается Оксман. Если в новом издании это имя будет изъято, читатели заметят его отсутствие и сделают неблагоприятные умозаключения о Вас – и обо мне». Редакция не вняла, запретное имя было выброшено из текста. Чуковский обнаружил это случайно, следующим летом, в корректуре готового тома. Писал, что его обожгло, как кипятком. «Будь они прокляты, бездарные душители русской культуры!»

Зимой Чуковский вновь разболелся. Больной поехал на вечер памяти Зощенко – первый за двадцать лет. Публика аплодировала и кричала «спасибо». Лев Славин, председатель, сказал во вступительном слове, что есть целый ряд замечательных писателей, чьи имена вычеркнуты из русской литературы, и надо за них бороться. Конец года: в Союзе писателей идут перевыборы; в Ленинграде сняли с руководящей должности Прокофьева, выбрали людей порядочных, к тому же «бродскистов» – но Чуковский относится к волнующим всех страстям скептически: «Целый день тысячи писателей провели в духоте, в ерунде, воображая, что дело литературы изменится, если вместо А в правлении будет Б или В, при том непременном условии, что вся власть распоряжаться писателями останется в руках у тех людей, которые сгубили Бабеля, Зощенко…» – и К. И. снова приводит полтора десятка имен – свой личный литературный мартиролог, один из многих в его дневнике.

Вышло его «Высокое искусство», которое понимающие люди сразу оценили как безусловный шедевр, «Евангелие для переводчиков», «подвиг», «классическую работу». Пишут слависты, пишут филологи, пишут читатели: делятся мыслями, замечаниями, восторгами, предложениями: а может быть, пойти дальше и для следующего издания сделать то-то?

В Переделкине зима, у Чуковского опять бессонница, ночью он отвечает на письма. У него появилась новая корреспондентка – загадочная американка Соня Гордон, которая забрасывает его десятками острых и интересных вопросов. Он отвечает неторопливо, с той усталой искренностью, какая, наверное, только и бывает у старого человека в часы бессонницы. Он так никогда и не узнал, что за маской сорокалетней американской модистки, знающей пять языков и всю русскую литературу, прячется почти такой же немолодой и усталый человек, редактор и издатель нью-йоркского альманаха «Воздушные пути» Роман Гринберг, знакомец Набокова. Писать письма от имени Сони Гордон он стал из опасения, что с редактором альманаха

Чуковский переписываться бы не стал…

Очень может быть.

Необязательная переписка на произвольные темы – хоть с той же Соней Гордон, в существовании которой Чуковский временами сомневается, – для него отдушина, каких мало. Надоело иметь дело с начальством, письмами, цензурой. У него мало осталось времени, и его жалко тратить на перестраховщиков, запретителей, гонителей. «Сейчас у нас в Переделкине чудесный мороз, лес под снегом, солнце. Я гуляю по лесу в валенках, и белка, прыгая над моей головой, сыплет мне на шляпу мелкую снежную пыль», – пишет он Соне – и зовет: приезжайте, поговорим об Ахматовой, Дикинсон, Уитмене, Генри Джеймсе, придут молодые писатели, придет Паустовский – «а потом мы вместе пойдем гулять по Городку Писателей, по Неясной поляне, по берегам реки Сетунь, знаменитой в наших древних летописях, и, перебивая друг друга, будем читать стихи… Я поведу Вас в построенную мною библиотеку для детей, в двух шагах от моего дома, и там вы увидите, как талантливы и хороши наши деревенские, колхозные дети, увидите их рисунки, услышите их песни».

Счастье по-чуковски.

«Наследство отцов моих»

Весной на празднике детской книги в Колонном зале Корнею Ивановичу стало плохо. Укол сосудорасширяющего, Переделкино, постель; снова запрет читать и принимать гостей, снова лекарства… В апреле его положили в больницу.

"Была у Деда в Кунцевской больнице, – писала Л. К. в дневнике 18 апреля. – Условия идеальные: отдельная комната, с отдельным входом, отдельной ванной. Парк.

Спросил о деле Бродского.

Предложил, что в новое издание «Искусства перевода» вставит отрывки из его переводов (я сейчас отбираю).

Проводил до ворот. И пошел назад – я поглядела вслед – на слабых ногах. На слабых, на старых".

Он взялся за новую работу и обсуждал ее с редактором уже в больнице – пересказ Библии для детей. В дневнике писал:

«Я жалею, что согласился составить эту книгу. Нападут на меня за нее и верующие, и неверующие. Верующие – за то, что Священное писание представлено здесь как ряд занимательных мифов. Неверующие – за то, что я пропагандирую Библию».

К этому времени весь огромный культурный пласт, связанный с Библией, совершенно исчез из сознания рядового советского

человека. Не читались библейские аллюзии в прозе. Не понимались образы классических стихов. Молчали картины старых мастеров: что это за бородатые мужчины, чьи отрезанные головы, что и кому возвещают эти ангелы – все ушло, как Атлантида. Вернуть эту – необходимую – часть общечеловеческой культуры в активную память поколений и была призвана эта книга.

Однако работа над ней была обставлена целым рядом запретов – сначала потребовали не употреблять слов «евреи», «Бог» (и даже «бог» с маленькой буквы), затем запретили упоминать «Иерусалим». Пересказать на таких условиях книгу, по большей части посвященную взаимоотношениям еврейского народа с Богом, было довольно затруднительно. Чуковский писал, что все эти запреты он нарушил. Впрочем, задача сделать безрелигиозную, «культурную» Библию для детей оказалась практически выполнимой.

К работе привлекли людей грамотных, хорошо пишущих, по большей части нерелигиозных. Они и рассказали о библейских событиях для детей так, как только и возможно было в середине шестидесятых, – исключительно с точки зрения мировой культуры. Книга получила название «Вавилонская башня». Возможно, выйди она в шестидесятых – могла бы стать литературной сенсацией: она действительно воскрешала вычеркнутые из памяти имена библейских героев и события, она увлекательно, ярко, хорошим языком рассказывала о совершенно неизвестной новому русскому читателю древней культуре – солнечной, экзотической, суровой и прекрасной… Книга, однако, застряла в издательстве и в свет вышла через много лет, уже после перестройки. И совершенно потерялась на фоне громких разоблачений эпохи—и бесцензурной уже публикации религиозной литературы для взрослых и детей, когда и сама Библия, и многочисленные ее пересказы для детей (менее яркие и художественные, часто нравоучительные, но более верные первоисточнику) стали легко доступны.

На человека верующего «Вавилонская башня» действительно производит довольно неприятное впечатление – даже не потому, что «Священное писание представлено здесь как ряд занимательных мифов», а именно из-за умолчаний и недоговоренностей, которые иногда обращаются ложью. Выхолащивание религиозного содержания приводит к утрате смысла: получается, к примеру, что три отрока иудейских, Седрах, Мисах и Авденаго (из Книги пророка Даниила), не желали поклоняться золотому истукану царя Навуходоносора не из убежденного следования заповеди «Да не будет у тебя других

богов пред лицем Моим», а не то из самолюбия, не то из гордости, не то и вовсе из атеистических соображений…

Правда, и с этой книгой оказалось не все так просто: Чуковский, занимавшийся общим редактированием, даже не знал, что одну из историй, вошедших в книгу, – «Виноградник Навуфея» – пересказал под псевдонимом отец Александр Мень (сообщено сотрудниками музея Чуковского). История, кстати, простая и вечная: злой царь Ахав возжелал отобрать у Навуфея доставшийся ему по наследству виноградник, чтобы сделать там огород. Обещал золото и серебро, но Навуфей на каждое предложение отвечал одним: «Не отдам тебе наследства отцов моих». И Навуфея оклеветали и забили камнями, и Ахав вознамерился вступить в наследство, но пришел к нему пророк Илия и сказал: «На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, будут псы лизать твою кровь», и убоялся Ахав, и смирился.

Судьба эту книгу ждала довольно странная. Она уже готовилась к выходу в свет, тираж был отпечатан, и Чуковский рассказал о готовящейся публикации газете «Труд». Валентин Берестов писал в статье «Об этой книге», сопровождавшей издание «Вавилонской башни» в 1990 и 1992 годах. «Был самый разгар великой культурной революции в Китае. Хунвейбины, заметив публикацию, громогласно потребовали размозжить голову старому ревизионисту Чуковскому, засоряющему сознание советских детей религиозными бреднями. Запад откликнулся заголовком „Новое открытие хунвейбинов“, а наши инстанции отреагировали привычным образом». Книга не вышла.

Заграничные публикации неожиданно стали играть большую роль в жизни отечественных авторов. За границей – в сборнике статей из литературного приложения к «Тайме» отрецензировали книгу «Живой как жизнь» (на родине – ни одной рецензии, негодовал Чуковский). «Тамиздат» с удовольствием подхватывал и публиковал произведения, ходившие по рукам в СССР. В страну стали попадать заграничные публикации российских эмигрантов; наладился – пусть неполно, с препятствиями – диалог с зарубежной литературой и литературоведением. Чуковский взялся за большую статью о переводах «Онегина» на английский язык, вдохновленный прежде всего переводом и комментариями Владимира Набокова. Набокова, кстати, он читал внимательно и вдумчиво, иногда – с большой симпатией, иногда – с негодованием; всегда – с уважением. В комментариях к «Онегину» замечал и бесспорную любовь к поэту, и огромную эрудицию Набокова – и желание этой эрудицией похвалиться в ущерб серьезному делу. Соне Гордон писал: "Есть очень интересные замечания, кое-какие остроумные догадки, но перевод плохой, –

хотя бы уже потому, что он прозаический. И кроме того автор – слишком уж презрителен, высокомерен, язвителен. Не знаю, что за радость быть таким колючим. Мне нравится и *«Lolita»* и *«Pnin»,* но если бы он отнесся к Пнину добродушнее, мягче, уважительнее, – повесть была бы гораздо художественнее. Я знал этого автора, когда ему было 14 лет, знал его семью, его отца, его дядю, – и уже тогда меня огорчала его надменность. А талант большой – и каково трудолюбие!"

В переводах и комментариях Чуковский не признавал никакой самоценности: убери свое «я» с дороги читателя, слейся с переводимым автором; не мешай, а помогай читателю понять его; перевод и комментарий – место не для самоутверждения, а для бескорыстного, самоотверженного в прямом смысле слова литературного служения. И другая претензия, предъявляемая к Набокову, – тоже очень характерна для Чуковского: талант должен быть великодушен; чуткое сердце для писателя так же важно, как и художественное мастерство (недаром он еще в давней своей статье писал о Бунине: мастерства ему хватит, хватило бы сердца… ту же сердечную недостаточность видит он и в великолепной Набокове кой прозе… Оттого же, возможно, и Набоков, и Бунин не стали хорошими поэтами: сердца не хватило).

Соня Гордон спрашивала К. И. о печально известном фрагменте из «Других берегов», где автор издевается над английским произношением Корнея Ивановича. Чуковский отвечает сначала гневно: «Действительно, у меня не было гувернеров, какие были у него, и английский язык я знаю самоучкой. Он был барин, я был маляр, сын прачки, и если я в юности читал Суинберна, Карлейла, Маколея, Сэм. Джонсона, Хенри Джеймса, мне это счастье далось в тысячу раз труднее, чем ему. Над чем же здесь смеяться?» – но в следующем письме на удивление спокойно добавляет: "Но я вскоре поостыл и думаю, что *в то время* – в 1915—16 гг. – во мне было очевидно что-то, что дало пищу его анекдоту. Самый анекдот – выдумка, но возможно, что он верно отразил то неуважительное чувство, которое я внушал окружающим. Я был очень нескладен: в дырявых перчатках, неумеющий держаться в высшем обществе, – и притом невежда, как все газетные работники, – невежда-поневоле, самоучка, вынужденный кормить огромную семью своим неумелым писанием. Отец же Вл. Вл. был человек очень высокой культуры…" И самое главное – это Чуковский еще в первом письме написал: набоковская клевета «не мешает мне относиться ко многим его произведениям с любовью, радоваться его литературным успехам – 65 лет литературной работы

приучили меня не вносить личных отношений в оценку произведений искусства».

Весь этот год К. И. плохо себя чувствует: в июне мозговой криз, в июле болел, в августе опять лег в больницу. Но продолжает работать – и переписывается со всем миром: с японцами (писательница Томико Инуи, вдохновленная его примером, даже построила у себя под Токио детскую библиотеку), с американцами, с англичанами… Из Израиля Рахель Марголина прислала биографию Жаботинского. Отовсюду прибывают книги и письма. Продолжается дело Бродского: оно получило шумную огласку за границей, за молодого поэта вступились Сартр, Луи Арагон, Пабло Неруда.

Вячеслав (Кома) Иванов предложил К. И. подписаться под телеграммой Микояну в защиту Бродского. «Я с удовольствием подписал – и дал Коме десять рублей на посылку телеграммы. Там сказано, будто Бродский замечательный поэт. Я этого не думаю. Он развязный». Да и не читал он толком Бродского. А если и читал совсем немногое – то не мог, не успел, не готов был оценить его своеобразную поэтику. Тем удивительнее настойчивость, постоянство, последовательность, с которыми он отстаивал право совсем не близкого ему поэта (и не слишком приятного ему человека) заниматься своим делом.

В августе умерла Фрида Вигдорова, человек огромной души, правдоискатель, заступница, писатель со своеобразным, сильным, чутким талантом. Чуковского в этот день увезли в больницу – ему никто даже не сказал, чтобы не волновать; послали от его имени венок. «Фрида – большое сердце, самая лучшая женщина, какую я знал за последние 30 лет», – писал К. И. в дневнике, узнав о ее смерти.

Тем временем в ЦК партии прошло очередное идеологическое совещание, о котором Солженицын писал: «Готовился крутой возврат к сталинизму». На совещании обругали и Солженицына, и Бродского (Семичастный, вписавший, как Герострат, свое имя в историю тем, что сравнил Пастернака со свиньей, теперь занялся анализом творчества Бродского—и обозначил его как «антисоветское явление»). Интересовались журналом «Новый мир»: почему это буржуазия проявляет к нему такое внимание? «Словом, мы снова переживаем весну – весну 63 года», – горько обобщала в дневнике Лидия Корнеевна. Стихотворение с эпиграфом из Бродского срочно стали выбрасывать из нового сборника Ахматовой, переводы – из сборника «Голоса друзей»… Однако нажим общественности и возмущение за рубежом сыграли свою роль: в сентябре Бродского освободили, ограничившись «сроком отбытого наказания».

Зато в начале осени арестовали Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

В это же время сгустились тучи над Солженицыным: жить в Рязани совсем невозможно, его новый незаконченный роман изъяли при обыске у друга. «Враги клевещут на него: распространяют о нем слухи, будто он власовец, изменил родине, не был в боях, был в плену, – писал К. И. в дневнике. – Он бесприютен, растерян, ждет каких-то грозных событий – ждет, что его куда-то вызовут, готов даже к тюрьме».

«В Рязани житье ему плохое. Квартира в старом, развалившемся деревянном доме, напротив – база или склад, где бывает 40–50 грузовиков в день. Жить нельзя», – записывала Лидия Корнеевна. Солженицын хотел переехать в Обнинск, жена нашла там работу – но и там ей работать не дали.

Сам Александр Исаевич писал об этом времени так:

«Я не знал, не понимал, как мне жить и что делать, и с большим трудом сосредотачивался поработать в день часа два-три. В эту пору К. И. Чуковский предложил мне (бесстрашие для того было нужно) свой кров, что очень помогло мне и ободрило. В Рязани я жить боялся: оттуда легко было пресечь мой выезд, там можно было взять меня совсем беззвучно и даже безответственно: всегда можно свалить на произвол, на „ошибку“ местных гебистов. На переделкинской даче Чуковского такая „ошибка исполнителей“ была невозможна. Я гулял под темными сводами хвойных на участке К. И. – многими часами, с безнадежным сердцем, и бесплодно пытался осмыслить свое положение, а еще главней – обнаружить высший смысл обвалившейся на меня беды».

«Неприкаянность, бездомность А. И. не дает мне ни жить, ни работать», – писал Чуковский в дневнике. Он кратко записывал суть разговоров с Солженицыным и огорчался: «Он глубоко поглощен своей темой и не слишком интересуется, напр., Пушкиным, Леонидом Андреевым, Квитко. Я читал ему любимые стихи. Ему они никак не понравились. Зато о лагере может говорить без конца». «Он не интересуется литературой как литературой, он видит в ней только средство протеста против вражьих сил». Солженицын читал ему свою поэму о русском наступлении на Германию – «стихийная вещь, огромная мощь таланта», пишет К. И.

С этого времени Солженицын «прижился», по выражению Елены Цезаревны, в переделкинском доме Чуковских. «Здесь, – рассказывала она, – в Переделкине, в мае 1967 года Солженицын находился в дни IV съезда писателей. Как известно, он обратился к съезду с письмом, в котором требовал упразднения цензуры над

художественными произведениями. Здесь же написаны некоторые главы „Ракового корпуса“, рассказ „Пасхальный крестный ход“».

«Чуковский никогда не терял чувства литературного наследства и общелитературного масштаба, – писал Солженицын в „Невидимках“, дополнении к книге „Бодался теленок с дубом“. – В моем понурены, когда я со дня на день ждал ареста и с ним – конца всей моей работы, он убежденно возражал мне: „Не понимаю, о чем вам беспокоиться, когда вы уже поставили себя на второе место, после Толстого“. Вел меня к отдаленному помосту на своем участке – и давал идею, как подкинуть туда и спрятать тайные рукописи».

Октябрь К. И. провел в санатории в Барвихе. К началу октября почувствовал себя лучше, собирался выписываться. А 5 ноября в его дневнике появилась такая запись: "Пришла Клара. С нею Митя и Люша. Я дико обрадовался. Кларочка обняла меня сзади и вдруг, покуда я болтал чепуху, сказала: Вчера днем умер Николай Корнеевич.

Мне эти слова показались невероятными, словно на чужом языке. Оказывается, Коля, который был у меня три дня назад, вполне уравновешенный, спокойный, прошелся со мною над озером, – вчера после обеда уснул и не проснулся. Тихо умер без страданий… Потом пришла Облонская, мы редактировали Уолта Уитмена, и это меня спасло".

«И сколько раз, вспоминая потом об этом тяжелом для него дне, он с любовью вспоминал и Раису Ефимовну, которая его спасла (как он говорил) от невыносимой тоски», – пишет Клара Лозовская.

Эта новая смерть – как удар кулаком, написал он потом Соне Гордон. Он привык думать, что скоро покинет мир, а дети останутся в нем. Совсем недавно вспоминал, как сын в детстве говорил: когда ты умрешь, я вот эти книги выброшу, а эти отдам в переплет – и думал, что это время уже не за горами… Он острым глазом подмечал у сына стариковские привычки – говорить на какую-то тему одно и то же, одними и теми же словами… но предположить, что переживет Николая Корнеевича, – никак не мог.

«Прости меня, Колечка, не думал я тебя пережить. В голову не приходило, что я буду видеть облака, деревья, клумбы, книги, когда все это для тебя тлен и прах».

"Мариночка, родная, любимая, – писал он жене сына. – Вот мы и осиротели.

Для меня это так непривычно, так противоестественно, так странно, что кажется, будто и небо надо мною стало другое, и вид из окна другой. Как поразительно закручена его жизнь, сколько в

ней было творческих радостей, сколько титанической работы – что, наряду с БОЛЬЮ, есть какое-то восхищение, какая-то радость о гармоническом человеке. Будьте, друг мой, спокойнее, чувствуйте, что мы все любим и любили Вас обоих неотделимо, что любовь наша, общая, должна облегчить Вам Ваше лютое страдание. Я пишу чепуху, но я сам – стал идиотом – и целую Вас – целую еще раз, целую и плачу, плачу и целую. Ваш дед".

15 ноября 1965 года Корнея Ивановича перевезли в Кунцевскую больницу с сердечным приступом.

Глава одиннадцатая
Трудное прощание

Вечерняя радуга

Смерть сына, такая неожиданная и нелепая, надолго выбила Чуковского из колеи. Иногда кажется, что смерть ведет с ним самим затяжной поединок, и каждая новая смерть близкого человека обессиливает, отправляет в нокаут. И каждый раз он опять встает и находит силы жить, но удары наносятся все чаще, а подниматься все труднее.

Он непрестанно думает о сыне. О том, как переживет горе его семья. О том, что делать теперь с его литературным наследием – воспоминаниями, над которыми работал Николай Корнеевич, его последними рассказами. Заглушая горе, пытается работать. И всю зиму, и всю весну не находит себе места, и вспоминает сына – не взрослым мужчиной, уже дедом, не маститым автором знаменитого романа – а мальчиком, который «мечтал» на берегу Балтийского моря и сочинял фантастические истории, и смешно вскрикивал, купаясь в холодной воде… «И не верится, что именно сейчас он лежит в гробу под землей и весенние ручьи протекают к нему, к его черепу! А сегодня начали петь соловьи, и это такое проклятие!» – невозможно, дико и странно в 83 года пережить своего 60-летнего сына.

И Чуковский уходит с головой в работу. Потому, что она позволяет не думать о горе, разрывающем душу. И потому, что времени осталось мало. Последние годы Чуковский прожил как будто при включенном таймере обратного отсчета – таймере, напоминающем с каждой новой смертью: время истекает, осталось немного… осталось еще меньше… еще меньше…

Сроки человеку знать не дано, поэтому он сам ставит себе сроки, контрольные точки; современники вспоминают, что К. И. часто назначал дату своей смерти: умру тогда-то. Может быть, к этому сроку следовало закончить какое-то дело – дело заканчивалось, и таймер снова заводили, дату отодвигали дальше, и снова начинался обратный отсчет, снова он торопился написать, сделать, закончить. И похлопотать, помочь, добиться… И приговаривал, как вспоминала Клара Лозовская: «Поторопимся споспешествовать благим намерениям».

Тратил себя щедро, помогал много, слушал, сочувствовал, писал письма, звонил по телефону в нужные инстанции (звонить не любил, писал на бумажке текст, который нужно произнести).

И, не экономя времени, потраченного на заботу о других, – старался расходовать оставшееся время как можно бережнее: это последняя, единственная его драгоценность.

Лозовская пишет: «Он всегда все понимал и мог простить. Не прощал одного – зря отнятого у него времени. Он часто с грустью повторял, что не успеет сделать всего, что задумал. И до исступления жалел свои утренние часы. А когда кто-нибудь отрывал его от работы, доходил до неистовства, до криков: „Негодяи, как смели помешать мне!“»

В постоянной борьбе со временем, со смертью, с самим собой он пишет свои последние статьи. Пишет, как обычно, тяжело, браня себя за немочь, превращая черновики в замысловатые коллажи с перечеркнутыми строками, вписками, добавлениями, подклейками, добиваясь полновесности и емкости каждой фразы. Так, с огромным трудом, в это время было написано предисловие для томика Пастернака в «Библиотеке поэта». Получилось оно, как обычно, крепким, легким, звучным, – и, самое важное, адекватным содержанию тома.

Чуковского-критика часто упрекали в том, что он «не открыл ни одного нового таланта». Читая позднюю критику К. И., невольно вспоминаешь его ответ на предложение некой вузовской преподавательницы почитать ее студентам неопубликованного Блока: да они и опубликованного-то не читали…

Последние статьи Чуковского – о Зощенко, об Ахматовой, о Пастернаке открывают для общества не новые таланты, а неоцененное классическое наследие, которым это общество не сумело распорядиться; они расставляют нужные акценты и ставят на место сдвинутую историческую и литературную перспективу.

Издательство, конечно, не могло согласиться на то, чтобы вот прямо так сразу и заявить читателю безоговорочно, что Пастернак гениальный поэт. Оно сочло необходимым вставить в предисловие несколько слов о «сложном и противоречивом пути» Пастернака; Чуковский сам совсем недавно издевался в «Живом как жизнь» над этим стандартным биографическим клише: "Если биографу какого-нибудь большого писателя почему-либо нравятся его позднейшие вещи и не нравятся ранние, биограф непременно напишет, что этот писатель *«проделал сложный и противоречивый путь»*. Идет ли речь о Роберте Фросте, или о Томасе Манне, или об Уолте Уитмене, или об Александре Блоке, или об Илье Эренбурге, или о Валерии Брюсове, или об Иване Шмелеве, или о Викторе Шкловском, можно предсказать, не боясь ошибиться, что на первой же странице вы непременно найдете эту убогую формулу, словно фиолетовый штамп, поставленный милицией в паспорте:

«сложный и противоречивый путь»".

«Предисловие правлено кем-то, и в него введено даже ненавистное мне слово „показ“», – сердился К. И. Он, разумеется, отказался принять требования издательства: сейчас заставить его делать то, чего делать не хочется, было уже очень трудно. Тогда томик снабдили послесловием Николая Банникова: тот повествовал о «заблуждениях и горестных ошибках» Пастернака, его «общественной отгороженности и обособленности». Чуковский в дневнике пишет о Банникове без злости, замечая даже, что тот обожает Пастернака – «он написал несколько хороших страниц – но потом все же ругнул „Доктора Живаго“, упомянул о порочных идейных позициях Пастернака <…>. И чуть он, Банников, стал брехуном, ему изменил даже стиль».

Литературные дела по-прежнему решаются в ЦК КПСС, и в эту последнюю инстанцию, к председателю идеологической комиссии приходится обращаться регулярно. Чуковский писал туда и по поводу публикации предисловия к тому Пастернака, и о предоставлении квартиры Солженицыну (под просьбой дать писателю жилье в Москве подписались, кроме К. И., Паустовский, Шостакович, Петр Капица и Сергей Смирнов; через две недели Солженицыну дали квартиру в Рязани, о чем, собственно, никто и не просил).

Ударил новый заморозок, это все понимали. Но после оттепели смириться с необходимостью молчать и терпеть было уже невозможно; более того – появилось немыслимое для предыдущих десятилетий ощущение, что от власти можно чего-то добиться; что твой голос что-то значит, твое письмо может что-то изменить. Чуковский, однако, не был борцом с режимом; он вмешивался, когда нужно было пустить в ход авторитет и влияние, он заступался, он требовал, просил, убеждал… но не политика занимала его. «Идеологически он сочувствовал всем, но не рвался в бой, – говорит Анна Дмитриева, жена Дмитрия Чуковского. – Его привлекали в критических случаях – Лидия Корнеевна, Татьяна Максимовна Литвинова… Он сам говорил: „Я шляпка гвоздя, который вбивают в эту доску“». Письма Лидии Корнеевны к отцу в 60-х изобилуют вежливыми, но настойчивыми просьбами и напоминаниями: «я так понимаю, что было бы хорошо, если бы ты что-нибудь ответил»; «делом этим активно занимаются человек 7 – и все-таки опять нужен будешь ты (когда встанешь)»; «А Фридочку ты не видел еще?» (речь о дневниках Фриды Вигдоровой); "и все эти прелести при условии, что ты *сейчас* пришлешь им маленькую записочку"…

В новый год Оксман поздравил Чуковского и послал ему стихи Гёте в тютчевском переводе («Два голоса»):

"Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!"

А Чуковский ему на это отвечал: да, мол, я всегда знал, что «Роза и Крест» написана для пропаганды строки "Хоть бой и неравен, борьба *безнадежна",* и сам об этом писал в книге о Блоке… А ниже добавляет радостно: «Литературные новости крайне утешительны. Читали ли Вы великолепные страницы Булгакова? Вот какие могучие таланты создает наша страна. И стихи Заболоцкого – чистейшая классика. Горжусь, что в моем народе могут создаться такие шедевры». «Театральный роман» Булгакова только что опубликовал журнал «Москва», Заболоцкий выходил в «Библиотеке поэта» – значит, литература жива, значит, отчаиваться не стоит, значит, дело не безнадежно?

В начале января 1966 года Лидия Корнеевна привела к отцу Иосифа Бродского. «И вот Дед сидит на диване, а Иосиф ходит, и Дед встает и подводит его к полкам англичан и американцев; и они перекидываются именами и оценками. Иосиф учтив, добр, внимателен, – и я вижу: не спорит, даже когда не согласен». К. И. просит читать стихи, Бродский читает «Новые стансы к Августе», Чуковский слушает – внимательно! – ему нравится – хвалит… Но Бродский, заведенный собственным чтением, начинает злиться. «Вам это не понравилось, я прочту другое», читает другое, бросает, встреча не клеится, контакта не получается… «Кончив, Бродский был весь в поту. Я видела, что он мучительно хочет курить. Я его увела. У меня мучительно разрывалось сердце», – записывала Лидия Корнеевна.

И Бродский, пожалуй, выбрал не те стихи… И Чуковский не понял, что Бродский – не один из многих, а единственный. И не принял, не оценил, не полюбил.

Корней Иванович писал в дневнике: «Был Иосиф Бродский. Производит впечатление очень самоуверенного и даже самодовольного человека, пишущего сумбурные, но не бездарные стихи. Меня за мои хлопоты о нем он не поблагодарил. Его любовь к английской поэзии напускная, ибо язык он знает еле-еле. Но человек он в общем приятный. Говорит очень почтительно об Анне Ахматовой…»

Стихи Бродского, пожалуй, не могли найти отклика у нынешнего Чуковского, как не нашел отклика «Доктор Живаго»; поэтика юношеского отчаяния, дисгармоничная музыка души, изнемогающей в поиске путей, оставляли его равнодушным:

Друг Полидевк, тут все слилось в пятно.
Из уст моих не вырвется стенанье.

Вот я стою в распахнутом пальто,
и мир течет в глаза сквозь решето,
сквозь решето непониманья.
Я глуховат. Я, Боже, слеповат.
Не слышу слов, и ровно в двадцать ватт
горит луна. Пусть так. По небесам
я курс не проложу меж звезд и капель.
Пусть эхо тут разносит по лесам
не песнь, а кашель.

Хаотичные, невзирая на жесткость структуры, «Новые стансы к Августе», полные глухой осенней безысходности, сырости, гнили, распутицы, растерянности и тоски – не песнь, а кашель – показались К. И. «сумбурными, но не бездарными»; отчаянно-наглая поза молодого поэта, приведенного к литературному патриарху, была воспринята как простая самоуверенность. Да и просто – ранний еще был Бродский, еще не тот даже, которого читатели и любят-то…

Лидия Корнеевна писала потом – уже после смерти отца, читая новые стихи Бродского: "Многое мощно и берет за душу, а многое мне не по силам. И как грустно, что К. И., встречаясь, не встретился с ним, и так и не понял, *кого* он помогал спасать".

Чуковского сейчас берет за душу совсем иная лирика. Прозрачная, осенняя поэзия ухода, последней ясности, прощальной улыбки. Недаром он придумал для последнего сборника своих критических статей заглавие «Вечерняя радуга» – и щедро отдал его статье о стихах сельского поэта Семена Воскресенского, чей «ясный и простосердечный талант» оказался ему неожиданно созвучен. Чуковскому особенно близок сейчас Пастернак, о поздней лирике которого он говорил в статье с таким уважением. И недаром он подчеркивает способность Пастернака встречать «мрачную пору» поздней осени «как незаслуженный подарок судьбы», его «веселую благодарность природе за то, что она существует», и со знанием дела говорит, рассуждая о стихотворении «Сосны»:

"Здесь, под соснами, его осеняют высокие мысли о победе духа над пространством и временем. Он переживает одну из тех редких минут растворения человека в природе, когда у него исчезает ощущение своего отдельного "я":

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий,
И смерти освобождены.

«Бессмертные на время» – превосходная формула иллюзорного освобождения от оков времени, освобождения, которое испытывает каждый из тех, кому дано хоть на миг раствориться в природе".

Это не только о Пастернаке написано – это и о себе. И чрезвычайно сочувственно он говорит о «стремлении поэта к предельной простоте, к хрустальности, к преодолению хаоса, которым бывали до тех пор затуманены даже лучшие его произведения», о подчинении этого хаоса его творческой воле, о классичности и «пушкинской ясности», к которым пришел в конце жизни Пастернак, о его отношении к творчеству как к самоотдаче, о его любви к людям и «ненасытной жадности души, страстно жаждущей по-новому понять и осмыслить непостижимые радости, противоречия и трагедии жизни»… Это – и путь самого Чуковского, и его собственное стремление к гармонии, ясности и глубокой, мудрой простоте.

Мирон Петровский вспоминал, как на Чуковского в буквальном смысле слова «находил стих» – и он читал строфы за строфами, наизусть – Толстого, Тютчева, Баратынского, Федора Сологуба – «и когда утомленный стиховым сопереживанием слушатель, понемногу приходя в себя, припоминал, какие же стихи услыхал он сегодня, то оказывалось, что выбор и последовательность произведений не вполне случайны, но особым образом свидетельствуют о нынешнем умонастроении Корнея Ивановича. Это была как бы лирика Чуковского, положенная на голоса поэтов всего мира».

В его личной лирике слышались не только счастливые ноты пастернаковских говорящих ручьев, но и величавая торжественность поздней Ахматовой, и мрачная, могучая тютчевская метафизика… Клара Лозовская вспоминает: он все чаще читал Тютчева – вот это, например:

Как ни тяжел последний час —
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья, —
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья…

«Последние годы Корней Иванович тщетно надеялся, что отыщется собеседник, с которым он душевно и (по его выражению) аппетитно поговорит о смерти. Но такого

собеседника не находилось», – пишет Лозовская. Одни пытались утешать: вы такой молодой, сто лет еще проживете, другие повторяли избитую истину – все, мол, там будем… «Он грустил, что никто не поддерживал с ним такой беседы и все отделывались банальными фразами. А это была его настоятельная потребность, и никто не мог утолить ее».

«Стыдно за вас»

Весной у Лидии Корнеевны был тяжелый приступ сердечной аритмии; в это время, 5 марта, от пятого инфаркта умерла Ахматова.

«Изумительно не то, что она умерла, – написал Чуковский в телеграмме в Союз писателей, – а то, что она так долго могла жить после всех испытаний – светлая, величавая, гордая. Нужно теперь же начать составление ее монументальной биографии».

«Наши слабоумные устроили тайный вынос ее тела, – негодовал он в дневнике, – ни в одной газете не сообщили ни звука о ее похоронах». Гроб с телом Ахматовой привезли из санатория, где она скончалась, и поставили в морге больницы имени Склифосовского; прощания в Доме литераторов не было – официальным предлогом было празднование 8 Марта и юбилея Агнии Барто.

Чуковский только что работал над статьей о Николае Гумилеве для «Чукоккалы» (альманах решено издавать, К. И. начал комментировать старые записи для нового, не помнящего, не знающего читателя). И пока работал, вспоминал Ахматову – молодую, большеглазую, робкую. Такой он описывает ее в дневнике, о такой Ахматовой пишет Соне Гордон, с такого портрета начинает свою статью для предисловия к ее однотомнику в Лениздате. А дальше он рассказывает, как постепенно под ногами Ахматовой сам собою вырос пьедестал, как достойна она этого пьедестала – замечательный мастер, вдумчивый ученый, тонкий лирик, великий поэт.

Последние статьи Чуковского – об Ахматовой, Гумилеве, Зощенко, Пастернаке – хотя и не свободны от умолчаний (в статье о Зощенко на месте, где хронологически должна идти речь о Жданове ком постановлении, стоит ряд отточий; в статье об Ахматовой – ни слова о нем, ни намека на репрессии и трагедии; ни слова о гибели Гумилева, о травле Пастернака – все это не могло быть напечатано и оставалось за скобками) – но это были первые публикации о литераторах, чьи имена годами, а то и десятилетиями оставались под запретом, первые по-настоящему грамотные, умные, взвешенные статьи, где о творчестве и жизни

великих людей говорилось с точки зрения литературы, а не последнего идеологического совещания ЦК КПСС. Статьи эти и сейчас остаются живыми и настоящими.

Сравнение их с раскованными, свободными критическими работами Чуковского начала двадцатых годов показывает: он не утратил критической остроты, не потерял квалификации, а склероз и бессилие, на которые он постоянно жалуется в дневнике, – это не его склероз и бессилие, а эпохи. Скидка на эпоху – вот худшее, что случилось с его критикой: в ней мало лжи, но много белых пятен. Правда, как ни странно, и это обстоятельство до конца не испортило его статей: будь в них написано черным по белому «расстреляли» или «преступное постановление» – все прочитали бы только это, передавали бы из рук в руки, распространяли бы в самиздате как нелегальный, политический документ – и не заметили бы чудесных строк об ахматовской ранней осени и шуршании юбок, и упустили бы из виду «лепесток серо-бурого, глиноподобного хлеба» на лазурно-золотом блюде – обед у Гумилева в голодный год, и прелестный «лаконизм глумления» в воспоминаниях о Зощенко; литература вообще имеет свойство уступать политической актуальности. Умолчания скорее разъедали совесть автора, чем ткань его статей. Куда больше статьям повредило другое – необходимость делать поправки на беспамятство, непонимание, неподготовленность читателя, объяснять ему и разжевывать.

Впрочем, о многом до сих пор приходилось просто молчать. Готовя к печати фрагменты «Чукоккалы», К. И. грустно замечал: «По нынешним временам Чукоккала – сплошная нелегальщина. Она воскрешает Евреинова, Сологуба, Гумилева, Анненкова, Вячеслава Иванова и других замечательных людей, которых начальство предпочитает замалчивать. Что делать?»

Он пытается найти способ что-то сделать. И в комментариях к «Чукоккале» рассказывает о неизвестном читателю Мандельштаме, и старается процитировать как можно больше его стихов. И в статье об Ахматовой игнорирует всем памятный ждановский образ «взбесившейся барыньки» – и вместо него рисует свой, новый и прекрасный образ могучего национального поэта. И пишет воспоминания, воскрешая для потерявшей память литературы имена Сологуба и Гумилева. Но так ни разу он и не воспользовался последней возможностью: написать обо всем, чем хочется, так, как хочется – без скидок на читательскую неподготовленность, редакторскую трусость, цензурную глупость и политическую невозможность – пусть в стол, но договорить все, что надо. Так и остались его воспоминания отфильтрованными, осторожными – искусством возможного. Привык ли он работать

только на публикацию, не верил ли в негорючесть рукописей или в необходимость что-то договорить… или уже не ощущал в себе сил написать о том же Мандельштаме так же свободно, как в двадцатых писал о Блоке и Некрасове – даже неважно.

Об убитых поэтах еще какое-то время еще можно было что-то сказать, если умолчать о их палачах: позволительны обтекаемые слова о «трагической судьбе», но не более. Но благороднее ли было бы промолчать совсем, если всю правду сказать не дают? Промолчать и закрыть тему еще на два десятка лет, еще для одного поколения, до полного торжества правды? Нет ответа.

Лидия Корнеевна очень сердилась позднее на литературоведа Дымшица, который в предисловии к сборнику Мандельштама в «Библиотеке поэта» просто указал, что тот «умер». А написал бы правду, возражали ей, – не было бы сборника, читатель не получил бы стихов поэта. Что предпочесть – гордое молчание, самиздат и тамиздат? Или компромиссы, полуразрешенные полумеры, полуговорение полуправды – в надежде расширить диапазон легального, не дать закрыться схлопывающемуся просвету, и хотя бы так донести обреченную властями на забвение поэзию до тех, кто не читает самиздата и тамиздата? Выбор мучительный, какой вариант ответа ни предпочти. Корнею Ивановичу, кажется, ближе было второе. Его дочери, пожалуй, первое. Впрочем, вряд ли можно здесь говорить о сознательном выборе: жизнь сама направляла и подталкивала в определенном направлении. Для Лидии Корнеевны решающими стали два обстоятельства: злобная речь Шолохова на XXIII съезде партии и публикация «Софьи Петровны» на Западе без разрешения автора.

Хрущевская политика маятника совершенно очевидно сменилась брежневским откатом назад. Упоминания о репрессиях постепенно исчезали из литературы, вымарывались из памяти народа, вычеркивались из энциклопедий. Были «нарушения социалистической законности», все, одна официальная строка, и хватит об этом. Дело шло уже к реабилитации Сталина – и 14 февраля 1966 года несколько ученых и деятелей культуры, включая Чуковского, отправили Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу письмо с требованием этого не делать.

Еще одно письмо в те же дни было отправлено в президиум XXIII съезда КПСС и президиумы Верховных советов СССР и РСФСР. 62 писателя, в том числе Чуковский, Эренбург, Шкловский, Антокольский, Каверин, просили передать на поруки только что осужденных (суд шел с 10 по 14 февраля) писателей Синявского и Даниэля, получивших 7 и 5 лет исправительно-трудовых работ.

XXIII съезд КПСС открылся 23 марта и почти сразу дал

внятный ответ на все письма. Брежнев грозно бряцал оружием, убеждая весь мир, что СССР даст отпор любому агрессору; во внешней политике – холодная война, во внутренней – реставрация тотального партийного контроля над всеми сторонами жизни. В докладе ЦК КПСС речь шла об опостылевшем за последние годы сталинизма «коммунистическом воспитании трудящихся», повышении «политической и организаторской роли партии в советском обществе». Тем, кто научился извлекать смысл из этих устойчивых словосочетаний, было ясно: партия сигнализировала народу, что никуда он от нее не денется; творческой интеллигенции – что она будет воспитывать массы, как партия велит – и ни-ни!

Хуже того: съезд обосновал причины для нового зажима очередным «обострением классовой борьбы», на сей раз между социализмом и империализмом. Именно таким обострением один раз в истории страны уже обосновывали кровавые репрессии, и наблюдать рецидив той же болезни было невыносимо. Резолюция съезда требовала «повышения революционной бдительности коммунистов, всех советских людей, разоблачения идеологических диверсий империализма против Советского Союза и других социалистических стран».

На съезде выступил Михаил Шолохов с новой позорной и страшной речью. «Стыдно за тех, кто предлагает взять на поруки отщепенцев», – гремел он.

«Подлая речь Шолохова в ответ на наше ходатайство взять на поруки Синявского так взволновала меня, что я, приняв утроенную порцию снотворного, не мог заснуть, – писал К. И. – Черная сотня сплотилась и выработала программу удушения и избиения интеллигенции. Я представил себе, что после этой речи жизнь Синявского станет на каторге еще тяжелее».

На речь Шолохова Лидия Корнеевна откликнулась открытым письмом, копии которого направила в Ростовское отделение Союза писателей, в правления Союза писателей СССР и РСФСР, в редакции центральных и литературных газет.

В письме она обвинила Шолохова в забвении традиций русской литературы: вы единственный писатель, говорила она, который возмутился приговором как слишком мягким, а не слишком суровым, процедурой суда – как слишком педантичной и строго законной, а не наоборот. Вы сказали, что вам стыдно за тех, кто предложил взять осужденных на поруки? – а мне, советской писательнице, стыдно за вас: «Они просьбой своей продолжили славную традицию советской и досоветской русской литературы, а Вы своей речью навеки отлучили себя от этой традиции». Лидия Корнеевна напоминала Шолохову о Горьком,

спасавшем писателей из тюрем и ссылок, об участии Золя в деле Дрейфуса, о Достоевском и Толстом, которые писали о тюрьме и каторге, – о собственном его романе «Тихий Дон», наконец, где автор не судит своего героя за проступки и ошибки. В письме этом было вслух сказано главное, о чем люди только шептались друг с другом: «Сама отдача под уголовный суд Синявского и Даниэля была противозаконной. Потому что книга – беллетристика, повесть, роман, рассказ, словом – литературное произведение, слабое или сильное, лживое или правдивое, талантливое или бездарное, есть явление общественной мысли и никакому суду, кроме общественного, литературного, ни уголовному, ни военно-полевому не подлежит. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок – только не за его книги. Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря».

Письмо это советские газеты конечно же не опубликовали, а вот по иностранному радио оно было прочитано довольно скоро.

В конце мая Соня Гордон написала Чуковскому: "Сегодня я получила здешний русский журнал это был «Новый журнал», издающийся в Нью-Йорке. – *И. Л,* в котором напечатан рассказ Вашей дочери Лидии (впервые напечатан) «Софья Петровна». Редакция указывает в примечании, что печатает его без ведома и согласия автора".

Очевидно, пока рукопись лежала в «Советском писателе», кто-то скопировал ее, копии разошлись по рукам и попали за границу.

Корней Иванович был сильно встревожен возможными последствиями этого события: «Доктор Живаго» в политическом смысле был куда менее взрывоопасен, чем «Софья Петровна», а скандал последовал за его публикацией на Западе – чудовищный. "Дед, мне говорили, что ты огорчаешься, – писала дочь отцу в ноябре. – Пожалуйста, не огорчайся, ибо – *нечем.* Все пустяки, и все будет отлично".

Дело, впрочем, оказалось отнюдь не пустячное. Лидия Корнеевна открыто выступила против системы – и система начала войну против нее. Из уважаемого советского писателя, только что выпустившего книгу о «Былом и думах» Герцена, она превратилась в диссидента, головную боль режима. У этого режима была своя тактика борьбы с неприятными словами: он делал вид, что их не слышал. Сталина не было. Репрессий не было. Не было и тех, кто о них говорил. Лидии Корнеевны тоже как бы не стало: ее имя вычеркнули потом даже из сборника воспоминаний о Корнее Ивановиче: не было у Чуковского такой

дочери. Неугодных не печатали, не упоминали, обрекая на забвение и тишину. Мягкая расправа по-брежневски: удушение подушкой, тихо и эффективно.

Ту же казнь применили и к Юлиану Оксману: его перестали печатать, он ждал, что со дня на день ему запретят преподавать. В архиве Чуковского сохранилось письмо в защиту Оксмана (куда, кому было адресовано письмо и какие имело последствия – неизвестно): «Вместо того, чтобы патриотически гордиться тем, что в нашей стране есть такой ученый, нам предлагают считать это имя постыдным и скрывать его от советских читателей». Разве вы не знаете, убеждал своего адресата Чуковский, что замалчивание всегда приводит не к меньшей, а к большей популярности? «Вычеркнуть такого крупного ученого из истории советской науки невозможно». И из каждой строчки письма снова сквозит: стыдно за вас.

Из других событий этого года стоит назвать, пожалуй, отказ Твардовского печатать в «Новом мире» «Раковый корпус». Начало публикации «Мастера и Маргариты» в журнале «Москва». Приезд Галича в Переделкино. Воспоминания о том, как Галич пел, а Чуковский слушал, оставили Лев Копелев и Раиса Орлова в своей книге «Мы жили в Москве»:

"Переделкино. Дом творчества. У нас в комнате поет Александр Галич. Внезапно входит Корней Иванович. Мы испугались. Ведь песни Галича – их язык, стиль, страсти прямо противоположны всему, что он любит. Но слушал он благодарно, увлеченно. Галич пел «Аве Мария», «Караганда» – тогда только сочиненные. Корней Иванович стал заказывать. Оказалось, что раньше он уже слышал пленки. Весело повторял:

Как про Гану, все в буфет за сардельками…

И пригласил Галича петь у него в доме. Концерт состоялся через несколько дней.

<…> Удивительно: ведь у Галича современный, сверхсовременный язык. Сиюминутный. Чуковский живет на земле девятый десяток лет. Как за это время изменились слова, лексика, интонация. Казалось бы, все это должно быть чужим. Отчасти и раздражающим. И реалии неведомые: можно поручиться, что К. И. и не видел никогда, как «соображают на троих»…

Но он воспринимает каждое слово, выделяет то, единственное, избранное из сотен тысяч, найденное. Он схватывает полифонию галичевских песен, оттенки значений сразу, мгновенно.

И еще – для К. И. слово Галича вкусно. Он его смакует, пробует на зуб, воспринимает чувственно, не только головой, душой, сердцем, даже пальцами. Своими удивительными, длинными пальцами как бы ощупывает, проводит по буграм, по извилинам, по всем многозначьям слова… Вскакивает. Вскрикивает. Смеется. Темнеет.

Чуковский подарил Галичу свою книгу и надписал: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь…»

Вскоре после этого тот под хмельком пришел к Чуковскому просить коньячку – и был попросту выставлен.

– Не смейте приходить ко мне пьяным".

Опиум для народа

В шестидесятых Чуковский весной и осенью ложился в больницу или отдыхал в санатории. Обычный его образ жизни и круг общения резко отличались от больничного и санаторского – и всякий раз он испытывал культурный шок от общения с народом и его вельможными слугами.

Здесь он впервые в жизни столкнулся с массовой системой обработки сознания. В переделкинском доме почти не включали телевизор, не слушали советское радио (Би-би-си слушали часто). А в больнице он из года в год наблюдает за разными способами оболванивания человека – как по воле вышестоящих, так и по личному желанию.

«Впервые в жизни слушаю радио и вижу, что радио – „опиум для народа“, – писал Чуковский однажды. – В стране с отчаянно плохой экономикой, с системой абсолютного рабства так вкусно подаются отдельные крошечные светлые явления, причем раритеты выдаются за общие факты – рабскими именуются все режимы за исключением нашего. С таким же правом можно сказать: газета – опиум для народа. Футбол – опиум для народа. А какие песни – всё бодрящие – прикрывающие собою общее уныние».

Он с тоской слушает разговоры отдыхающих. Отдыхающие бездельничают, скучают, получают «сверхпитание, сверхлечение» – которые К. И. может себе позволить потому, что он лауреат, орденоносец и автор самых покупаемых в стране детских книг – но в памяти свежо, в каких больницах лежали Ахматова и Пастернак, гордость страны! Тоску вызывает у Чуковского и общение с представителями братских стран, строящих социализм: упертые, ограниченные, они свято верят в революцию и, к примеру, принципиально не желают ничего знать о культуре Англии, потому что это – страна – ко лонизатор.

"Упрощенчество страшное, – пишет Чуковский после опыта такого общения. – Подлинно культурные люди окажутся вскоре в такой изоляции, что, напр., Герцен или Тютчев – и все, что они несут с собой, будет задушено массовой полукультурой. Новые шестидесятые годы имеется в виду повторение 60-х годов XIX века. – *И. Л.,* но еще круче, еще осатанелее. Для них даже «Pop literature» слишком большая вершина. Две-три готовых мыслишки, и хватит на всю жизнь".

Обилие таких людей, их полная глухота к культуре его ужасают. Новая порода людей выведена. Страна человечьего счастья, строительству которой так много было отдано душевных сил, обернулась жуткой фантазией Гойи: насильственный сон разума породил миллионы чудовищ разных мастей.

Чудовищно руководство, «бюрократический Олимп»: «Раньше всего все это недумающие люди. Все продумали за них Маркс – Энгельс – Ленин – а у них никакой пытливости, никаких запросов, никаких сомнений. Осталось – жить на казенный счет, получать в Кремлевской столовой обеды – и проводить время в Барвихе, слушая казенное радио, играя в домино, глядя на футбол (в телевизоре). Очень любят лечиться. Принимают десятки процедур».

Чудовищно население, которое по воле этого обитателей этого Олимпа обрабатывают средства массовой информации до полного одурения: "Здесь мне особенно ясно стало, что начальство при помощи радио, и теле и газет распространяет среди миллионов разухабистые гнусные песни – дабы население не знало ни Ахматовой, ни Блока, ни Мандельштама. И массажистки, и сестры в разговоре цитируют самые вульгарные песни, и никто не знает Пушкина, Боратынского, Жуковского, Фета, никто.

В этом океане пошлости купается вся полуинтеллигентная Русь, и те, кто знают и любят поэзию, – это крошечный пруд".

И даже лучшие люди, которых он встречает среди своих санаторских соседей, – даже они ограблены, насильно лишены тех единственных сокровищ, которые только и кажутся ему ценными. В последний год своей жизни он с горечью писал об одной из своих больничных соседок:

"Разговаривать с ней одно удовольствие – живой, деятельный, скептический ум.

Но… она даже не предполагает, что в России были Мандельштам, Заболоцкий, Гумилев, Замятин, Сомов, Борис Григорьев, в ее жизни пастернаковское «Рождество» не было событием, она не подозревала, что «Мастер и Маргарита» и «Театральный роман» – наша национальная гордость. «Матренин

двор», «В круге первом» – так и не дошли до ее сознания. Она свободно обходится без них.

Так как я давно подозревал, что такие люди существуют, я стал внимательнее приглядываться к ней и понял, что это результат специальной обработки при помощи газет, радио, журналов «Неделя» и «Огонек», которые не только навязывают своим потребителям дурное искусство, но скрывают от них хорошее <…>. Словом, в ее лице я вижу обокраденную большую душу".

К телевидению, газетам и радио у него свои претензии. В «Живом как жизнь» он сочувственно цитировал статью Натальи Долининой, где говорились, что самая бедная, самая штампованная речь – у тех учеников, которые больше всего смотрят телевизор и слушают радио. Чуковский издавна исследует тайну превращения уникальной человеческой души в единицу человеческой массы, «паюсной икры». Раньше в центре его внимания были рыночные механизмы, приводившие к вырождению культуры, – об этом его «Нат Пинкертон», об этом его статьи об американских детских комиксах, об этом – последняя статья «Триллеры и чиллеры». Раньше его занимали вопросы индивидуальных качеств, благодаря которым человек позволяет себе превратиться в потребителя выродившейся культуры. Теперь его глазам открылся новый культурный феномен: плановое, централизованное производство обездушенных. А ведь когда о подобном поточном производстве одинаковых людей писал Замятин, Чуковский гневно реагировал: это, мол, не социализм, а фурьеризм, он ничего не понимает… Но к сегодняшнему дню жизнь обеспечила его обильнейшим материалом для наблюдений, подтверждающих, что и этот, новый и верный способ приносить всеобщее благо – принес старое знакомое зло: «Не люди, а мебель – гарнитур кресел, стульев и т. д. Когда-то Щедрин и Козьма Прутков смеялись над проектом о введении в России единомыслия – теперь этот проект осуществлен; у всех одинаковый казенный метод мышления, яркие индивидуальности – стали величайшей редкостью».

Сейчас Чуковский действительно разочаровался в людях. Очень немногие способны быть ему интересны. Лидия Корнеевна и некоторые авторы воспоминаний о К. И. замечали, что он увлекался новыми людьми – как ребенок новой игрушкой, все стремился понять: что у нее внутри, что заставляет ее ехать, жужжать, крутиться. Разобрав и разобравшись – бросал. Иногда бросал так резко, что люди удивлялись. Зиновий Паперный рассказывает: Чуковский встретил живущую в Доме творчества компанию литераторов, поговорил с ними немного – и так ему

они опротивели, что он на полуслове оборвал разговор и убежал от них в самом прямом смысле слова: «Какие унылые люди… Я сперва начал было им что-то рассказывать, а потом думаю – к чему этот бисер? Взял и убежал – прямо по полю, по бороздам. Ну, невмоготу!»

Он играл с людьми: разыгрывал, дурачил, приближал к себе и отвергал. Очаровывал и очаровывался, превозносил достоинства до небес – а потом резко спускал с небес на землю – «меня нет дома, я умер» – и вот домашние держат оборону от какой-нибудь дамы, убежденной в том, что хозяин будет счастлив ее видеть… Как долго человек удерживался в его орбите – зависело только от внутреннего содержания человека, от его одаренности, неординарности, цельности, порядочности. И при этом даже к близким, давно знакомым людям предъявлялись высокие и жесткие требования – в общем, те же, что и к себе. И грехи против главных Чуковских правил: не халтурить, не отлынивать от работы, любить литературу, не фальшивить, не обманывать детей – не прощались никому. Страницы, посвященные горьким урокам Чуковского, – тоже не редкость в воспоминаниях о К. И. Люди стоящие надолго запоминали эти уроки.

Лидия Либединская вспоминала, как Чуковский отстранил ее от себя, когда она забыла об обещании прийти послушать конкурс на лучшее исполнение детьми стихов Пушкина в его библиотеке. «Как вы могли обмануть детей! – строго, чужим голосом сказал он. – Я очень жалею, что верил вам и считал вас человеком ответственным…»

Маргарита Алигер рассказывала, как отчитал ее Чуковский, услышав от нее «не было настроения работать» – «Нет настроения, и вы не работаете? Можете себе это позволить? Богато живете! <…> А ведь я, признаться, думал, что вы уже настоящий профессионал, работающий прежде всего и независимо ни от чего. И разговаривал с вами как с истинным профессионалом, доверительно и надеясь на полное понимание. Как я ошибся! Как я жестоко ошибся! Ах, я, старый дурак!»

В. Непомнящий пишет о сложной ситуации, в которой оказался, просрочив договор с издательством – и об уроке, который Чуковский ему преподал: «Вы рассказываете мне о своих обстоятельствах. Я понимаю, всякие бывают обстоятельства. Но я не могу сказать, что мои обстоятельства намного лучше ваших. Мне восемьдесят шесть лет, я больной старик, я пережил три голодовки, я полтора года сидел у постели умирающей дочери, я похоронил двух сыновей. И все это время я работал. Я работал каждый день, каждое утро, что бы ни случилось. <…> И когда я должен был что-то написать к сроку, я писал и сдавал это в срок».

И добавил, наконец: «Поймите, мой дорогой: мы с вами созданы для того, чтобы писать. И мы все время должны писать. Ведь мы как артисты: с нами может происходить все, что угодно, у нас могут случаться катастрофы, а мы все равно должны выходить на сцену, улыбаться и делать всякие пируэты, и никто не должен видеть, что нам больно, что у нас разрывается сердце. Мы обязаны это делать, это наша судьба, и грешно от нее уклоняться»…

Психическая атака

«Арест Даниэля и Синявского вызвал цепную реакцию: судят Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Дашкову, составивших и передавших на Запад Белую книгу в их защиту; затем судят Кузнецова и Бурмистровича за распространение произведений Даниэля и Синявского; затем Хаустова, Буковского, Кушева, Габая и демонстрации против процесса над Гинзбургом; потом Григоренко – за протест против судов над Хаустовым и Буковским (конечно, Григоренко судят не только за это); потом Борисова – за протест против заключения в спецпсихбольницу Григоренко и т. д. Одновременно потянулся и длинный ряд внесудебных репрессий – исключения из партии, комсомола, увольнения с работы людей, подписавших коллективные письма в ЦК КПСС в защиту арестованных по политическим мотивам и с протестами против ресталинизации», – пишет Е. Печуро в книге «Реквием по ушедшей эпохе».

В мае 1967 года КГБ возглавил Андропов; ведомство окрепло, завязалась нешуточная борьба с диссидентами, «демагогами и болтунами»: аресты, приговоры, затем – принудительное психиатрическое лечение, затем – высылка из страны… Диссиденты не остались в долгу. Интеллигенция не желала мириться с новым заморозком и на репрессии реагировала новыми демонстрациями, письмами, выступлениями, протестами; за протестами следуют аресты, за арестами протесты… Навести на страну ледяной ужас уже не удается.

Чуковский вмешиваться в политику не хочет: он стар, у него мало времени, он занимается литературой… Но политика сама находит его. Пока был жив Николай Корнеевич, не одобрявший всяческой нелояльности, политика обычно оставалась за дверями переделкинского дома; теперь, однако, и время изменилось. Ветхая идеологическая плотина дала течь – одну, другую, уже видно, что поток не остановить. Родные и близкие Чуковского оказались участниками происходящих перемен. Лидия Корнеевна выступает с открытыми письмами, ее «Софью Петровну» печатают

и перепечатывают за границей. Елена Цезаревна много и серьезно помогает Солженицыну; Солженицын и сам бывает в Переделкине. Одна из ближайших друзей К. И., Татьяна Литвинова, посещает суды над диссидентами – и подробно рассказывает Чуковскому об этих процессах; вскоре на скамье подсудимых окажется и один из членов семьи Литвиновых.

В 1967 году К. И. записывает в дневнике, что Литвинова читала ему стенограмму суда над Хаустовым, одним из четырех участников демонстрации на Пушкинской площади 5 января: «<…> юношу, чистого душою, прямо исповедующего свои убеждения, после замечательной речи адвоката, доказавшего его невиновность, приговорили к трем годам каторги». Затем Литвинова читала ему записи с процесса Буковского. Потом Кома Иванов привел Ларису Богораз, жену отбывающего срок Даниэля… Да и сам Чуковский, верный добрым традициям русской литературы, чувствовал, что не может оставаться в стороне, должен помогать: должен помочь Бродскому, должен выступить в защиту Синявского и Даниэля, должен купить сыну Даниэля пальто…

Чуковский продолжает работу над собранием сочинений. Мучается над пятым томом, где собраны статьи, написанные в последние годы сталинского правления: «Очень скучные статьи, в которых нет меня. На всех отпечаток той скуки, к которой вынуждала нас эпоха культа. Помню тоску, с которой я писал эти статьи – без улыбки». Еще одна дневниковая запись рассказывает, как он вместе с Мироном Петровским портил старую работу «Поэт и палач», чтобы она могла пройти цензуру. Цензурные требования на глазах ужесточаются: что можно было вчера, сегодня уже вызывает нарекания.

Портить свои старые работы ему трудно. Перечитывать себя – иной раз тоже. «Особенно омерзительны мне статьи о Слепцове, – пишет К. И. – Причем я исхожу в этих статьях из мне опостылевшей формулировки, что революция – это хорошо, а мирный прогресс – плохо. Теперь последние сорок лет окончательно убедили меня, что революционные идеи – были пагубны»; «Угнетает меня включение статейки „Ленин и Некрасов“. Все это мои старые мысли, с коими я сейчас не согласен».

То, что ему нравится, редакция отказывается публиковать. То, что устраивает редакцию, публиковать не хочет он сам. В утешение себе Чуковский создает планы седьмого тома – не случившейся «Вечерней радуги». Туда должно было войти все, что издательство запретило включать в шеститомное собрание сочинений: «Книга о Блоке», «Две души Максима Горького»,

«Жена поэта», «Кнутом иссеченная муза» – лучшие, любимые работы 1920-х годов. «Формалист о Некрасове», «Достоевский в кругу „Современника“», «Л. Пантелеев», «Литература в школе», перечислял он в письме дочери.

В дневниковой записи подбор статей для седьмого тома несколько иной: все обзоры 1909–1917, «Мы и они»… В собрании сочинений вышли только «Пантелеев» и «Литература в школе», да еще «Мы и они», осторожно переименованные в «Темный просветитель». Остальные увидели свет только в 1990 году, когда вышло двухтомное собрание сочинений Чуковского: в его второй том и вошло то, что сам К. И. мечтал издать при жизни и не мог.

Интенсивная, требующая нервного напряжения работа дается ему трудно. В канун своего 85-летия он слег с мозговым спазмом; снова – читать нельзя, гостей нельзя. Газеты снова выходят с шапками, прославляющими «дедушку Корнея», телеграмм столько, что он не может разобрать их, «даже прочитать немыслимо»; «странно и совестно быть объектом такой горячей любви», пишет в дневнике. «Ираклий Андроников напечатал обо мне очерк „Корней Иванович“ – гиперболический, я назвал этот очерк Шиллер Шекспирович Гете и поместил в папке, на которой Сима Дрейден написал: „Быть знаменитым некрасиво“». На другой юбилейный очерк, Станислава Рассадина, вышедший спустя некоторое время, Чуковский отреагировал: «Я и не подозревал, что я такой симпатичный. Он делает меня крупнее, чем я есть».

Затянувшееся воспаление легких привело к тому, что в мае он снова попал в больницу. В конце месяца открылся Четвертый съезд Союза писателей – но К. И. пишет дочери: «О съезде я не слушаю и не читаю, чтобы зря не волноваться. Чуть только подумаю о нем, у меня делаются спазмы (мозговые)». Но, конечно, он, как всегда, и думает, и волнуется, и размышляет о письме, которое Солженицын написал съезду, письмо – с «безумными требованиями – полной свободы печати (отмена цензуры)». И рассудительно замечает: «Но ведь государство не всегда имеет шансы просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду». И снова приводит свою старую мысль, впервые высказанную еще тогда, когда закрывали «Русский современник»: свобода слова нужна очень ограниченному числу людей. Большинство ее просто не замечает.

Солженицын в своем письме требовал, чтобы съезд обсудил нетерпимый более гнет цензуры. Указывал на неконституционность Главлита и требовал полного упразднения необходимости для издателей получать разрешение на каждый печатный лист.

Чуковский волнуется, записывает в дневнике новости: «Съезд еще продолжается. Говорят, что около ста человек подписалось под письмом Солженицына. Или, кажется, составили свое письмо, еще более сильное». Под письмом действительно подписались 85 человек, еще 15 выразили сочувствие в личных письмах и телеграммах; впрочем, на резолюциях съезда и газетных отчетах о нем это никак не сказалось.

31 августа умер Эренбург. Как раз в это время шел суд над Буковским. Власти, видимо, испугались, что похороны превратятся в демонстрацию, и решили не допускать скопления народа. Официальных объявлений о похоронах и гражданской панихиде не было – но прощаться с писателем пришли 15 тысяч человек.

Главная работа Чуковского в эти дни – предисловие к тому стихов Ахматовой для Лениздата. Работу над этим томом начали сразу после смерти Ахматовой, Лидия Корнеевна редактировала и комментировала стихи, Эмма Герштейн – прозу. Л. К. передавала отцу порциями «Записки об Анне Ахматовой», тот читал, использовал их в работе; в свою очередь, показывал дочери статью в процессе работы. Л. К. недовольна, отец с нею соглашается: «мемуарная часть жидковата», «это ощущаю и я сам». Всю осень К. И. переписывается с дочерью, шлифуя свою статью; она сообщает ему новые факты и подробности, расшифровывает намеки, уточняет мысли и выражения, присылает замечания; вообще ее участие в этой статье – огромно.

К Новому году К. И. ехидно прислал Лидии Корнеевне открытку с портретом Шолохова. Написал на ней простенько: с новым годом, с новым счастьем. Кстати, о содержании своего письма советскому классику дочь отцу не сообщила, щадя его нервы и здоровье; он жаловался потом, что узнает о поступках дочери из передач иностранного радио.

Характерна одна из дневниковых записей К. И., сделанных в этом году. Татьяна Литвинова прочитала его дневники и сказала: «Боже мой, какой вы были несчастный человек. Очень жалко читать». «А я и не знал, что я несчастный, – замечает Чуковский. – Я все время чувствую приливы счастья – безумные».

И с радостью он пишет о прилетевших к кормушке синицах, и даже об очумевшей осе, которая откуда-то взялась в конце октября и укусила его – а ей «давно бы пора на зимние квартиры». Он радуется отремонтированной, выкрашенной, светлой библиотеке, новым письмам от 11-летней девочки из Кембриджа. В дневниках описаны чудесные пейзажи: «Мороз мягкий, не больше 7° – вся дорога в снегу – в серебре – красота фантастическая».

Приливы счастья – безумные: ручьи, дети, стихи, сосны радуют его до слез; он и в последние годы жизни оставался таким же непосредственным, сохранял ту же парадоксальную свежесть реакции – чего стоит один рассказ Зиновия Паперного о принесенной им циновке для библиотеки: подаренную циновку расстелили по полу, и Чуковский улегся на нее и стал в восторге кататься!

Маргарита Алигер в воспоминаниях пишет об удивительной отзывчивости Чуковского «на все живое и талантливое, с чем его сталкивала жизнь, острой потребности во встрече с талантом, неуемной радости его всякий раз, когда такая встреча случалась»… Говорят, услышав в первый раз песни Новеллы Матвеевой, он от радости перепрыгнул через стул… «Тут он становился неистов, шумел, хлопотал, что было сил вокруг того, что привлекло его интерес, втягивая окружающих, заражая их своим увлечением, своим ликованием», – пишет Алигер. С восторгом встречал всякую литературную удачу посетителей. С безупречной аккуратностью отвечал на письма – не все, это было невозможно, но на заинтересовавшие – всегда, подробно и обстоятельно.

И при этом – как всегда – медово-ядовит; как всегда – способен с ледяной вежливостью высечь точно подобранными словами за преступления против литературы и человеческой порядочности.

Детскость Чуковского – не странную, не досадную, – естественную – вспоминают многие. Он обиженно спрашивает, принесли ли ему подарки или только библиотеке; он любит «мойдодырские» дары – мыло, одеколоны (и смешно жалуется в дневнике, как несколько человек подряд подарили ему мыло) – и новые ручки, хорошую бумагу, конверты… Он с удовольствием демонстрирует гостям индейский убор из перьев и оксфордскую мантию. Устраивает веселые розыгрыши, целые представления, мистификации, зрителями которых становятся гости, обитатели Дома творчества, переделкинские дети и соседи. Игра была ему жизненно необходима – она не давала жизни окостенеть. Когда что-то шло слишком гладко – он сознательно создавал конфликт, неловкость, проблему – чтобы жизнь не замыкалась в будничное кольцо ритуалов, клишированных фраз и стереотипных движений, высекал улыбки, добивался непосредственной реакции, человеческого, небанального движения души. Устал, ушел к себе, велел никого не пускать, вспоминает Анна Дмитриева – и тут является учительница с детьми, а я их, как и было велено, не пускаю… И тут сверху обрушивается Чуковский: ктоооооо эта злая женщина, которая не пускает ко мне детей?

Иногда игры эти были вовсе не так забавны, и обиженные долго еще пытались понять – ну зачем, зачем он это сделал?

Он по-прежнему подвижен, и так же ловко вертит в руках свою массивную палку, и вскакивает, и выписывает пируэты – хотя послушное ловкое тело уже иногда подводит: однажды поскользнулся на таком пируэте, упал, ударился головой…

Он бешено волнуется, готовя свои «костры», и с годами все хуже выдерживает этот накал страстей. «Он заболевал от ожидания, от мелочных неувязок, от невозможности прекратить дождь, который всякий раз начинал заливать сложенный пирамидой хворост, и эстраду, и скамейки, и собравшихся зрителей, – пишет Клара Лозовская. – Однажды, сильно простуженный, решил не присутствовать на костре. Он устроился на балконе с бумагами и книгами, надеясь продолжить свою работу. Но не мог сосредоточиться, вставал, пересекал свой кабинет, выходил на террасу, обращенную окнами в сад, и смотрел, как идут на костровую площадку маленькие дети с родителями»… Наконец не выдержал – решил сбежать: внук сел за руль, дед уселся в машину, поехали… На полпути К. И. закричал: «Назад!» – и начал на ходу открывать дверь. Вернулись. «Дети встретили Корнея Ивановича приветственным визгом».

Мемуаристами подробно описаны его привычки и его распорядок дня в эти последние годы: утром он рано встает, часов в пять – если вообще смог заснуть. Работает: старается как можно лучше использовать те отрезки времени, когда голова ясная. Встречает приходящего секретаря. В хорошую погоду работает на открытом балконе, в плохую – на застекленном, который в доме звали «кукушкой»: сидит, укрывшись пледом, и пишет, положив на колени дощечку-планшет. Ближе к полудню ложится отдохнуть. Н. Чернышевская вспоминала, что даже сестра-хозяйка в переделкинском Доме творчества с важностью рассказывала ей о распорядке дня Чуковского: «Перед обедом (в два часа) заканчиваются все литературные занятия, в девять часов вечера он ложится спать. В промежутке между двумя и десятью часами у него бесконечные посетители». В девять вечера начинается изнурительная борьба с бессонницей: ему читают вслух, он принимает снотворные, иногда, так и не уснув, садится за стол и снова пишет…

Иногда он сам шел в Дом творчества или гулял по Переделкину, взяв с собой гостей. С некоторыми шел на кладбище (там он бывал каждый месяц 21-го числа – в «день Марии Борисовны»). Провожал на станцию. Предлагал спутникам погадать по поездам: четное число вагонов – хорошо, желание сбудется. А нечетное – плохо. И по электричкам гадать нельзя.

Почему же нельзя, спросил его Александр Раскин. «Паровоз очень важен, – серьезно ответил Чуковский. – Если число вагонов нечетное, то я прибавляю к ним паровоз. Я же вам говорил, что такое гаданье верное дело! В моем возрасте, знаете ли, рисковать не хочется… Уж гадать, так наверняка!»

Домашние вспоминают его элегантность, умение красиво одеваться – особенно заметное на фоне мешковатых сограждан; Чуковский даже после восьмидесяти лет не выглядел стариком – и всегда был корректен даже в одежде: никаких мятых пижам, расстегнутых рубашек, как у братьев-писателей: пиджак или жилет, даже дома к обеду.

Маргарита Алигер писала: однажды летним вечером они уже попрощались с К. И. у калитки, она оглянулась на какую-то его реплику… "Он стоял, прямой, стройный, седой, в светло-сером костюме, освещенный закатом, и это выглядело удивительно живописно.

– Господи, Корней Иванович, какой вы красивый! – невольно воскликнула я.

Двумя-тремя гигантскими прыжками преодолев несколько метров, отделяющие нас, Чуковский схватил мою руку и начал целовать ее, приговаривая при этом:

– Говорите, говорите, всегда говорите мне такие слова!"

«Обмозолился»

1968 год во всем мире был неспокойным: в Америке громкие убийства и молодежные протесты, во Франции студенческие волнения… В СССР политический год начался с суда над диссидентами Галансковым, Добровольским, Дашковой и Гинзбургом; интеллигенция протестовала. Чуковский пишет в дневнике: «Таня Литвинова опять: написала негодующее письмо в „Известия“ по поводу суда над четырьмя и опять стремилась прорваться в судебную залу вместе со своим племянником Павлом. Мне кажется, это – преддекабристское движение, начало жертвенных подвигов русской интеллигенции, которые превратят русскую историю в расширяющийся кровавый поток. Это только начало, только ручеек».

Павел Литвинов и Лариса Богораз обратились к обществу с воззванием: «Граждане нашей страны! Этот процесс – пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас».

В новосибирском Академгородке с концертами выступил Галич, и пленки с его песнями разошлись по всей стране. Солженицын закончил «Архипелаг ГУЛАГ». Каверин написал Федину резкое письмо по поводу непечатания «Ракового корпуса».

Начала выходить «Хроника текущих событий». Мелкие ручейки постепенно сливались друг с другом в общий поток.

Весной К. И. написал одну из своих последних критических работ – «К спорам о „дамской повести“». В статье он защищал повесть И. Грековой (псевдоним Елены Вентцель) «На испытаниях» от нападок филолога Льва Скворцова. Скворцов, когда-то помогавший Корнею Ивановичу работать над «Живым как жизнь», неожиданно обрушился на И. Грекову с критикой, назвав ее повесть «На испытаниях» «дамской». Надо заметить, что повесть эта сразу после выхода удостоилась шести отрицательных рецензий в центральной прессе. Главные предъявляемые к ней претензии были идеологическими: «клевета на советских воинов», «нарушение сложившихся национальных отношений» и так далее; рецензия Скворцова фактически помогала обвинителям: раз художественный уровень низкий – значит, это не литература, а пасквиль.

Согласно воспоминаниям И. Гутчина «Жизнь – вкратце», партийное руководство Академии имени Жуковского, где работала Елена Вентцель, созвало партсобрание (хотя Вентцель была беспартийной), «на котором приняло решение: считать произведение идейно порочным и находящимся на низком художественном уровне». Вентцель, член Союза писателей, обратилась туда с просьбой рассмотреть это дело; в союзе ей дали десять билетов на заседание – пригласить друзей. Начальство Академии «объявило, что всякий, кто пойдет на обсуждение в ССП, будет исключен из партии и уволен в запас». На собрание в Центральный дом литераторов явились начальники политических кафедр Академии и заместитель начальника политуправления ВВС Чугунов; длилось оно шесть часов и посвящалось отнюдь не вопросам литературного мастерства: военные идеологи резко осуждали повесть.

Чуковский на собрание приехать не мог, но выступление в защиту повести и ее автора продумал заранее и наговорил его на пленку. Наталья Ильина привезла магнитофон на заседание и включила запись. «Был ли Гомер мужчиной? – ехидно вопросил голос Чуковского собравшихся. – Нет, Гомер, несомненно, был женщиной»… И дальше доказывал, что все, что Скворцов счел признаками «дамской» повести, – вообще применимо к хорошей литературе, вот хоть к Гомеру. Эффект личного присутствия был разительный. В защиту Грековой высказался не один Чуковский, выступали многие. Собрание постановило: «Полагать, что произведение И. Грековой „На испытаниях“ находится на высоком художественном и идейно-политическом уровне. Опубликовать это решение в печати», – пишет Гутчин.

В феврале 1968 года Чуковский держит корректуру «Высокого искусства», которое ему совсем уже не нравится: «устарелая и чуждая книга». Но и с ней тоже начинаются неизбежные цензурные неприятности: к этому времени опальным стал Солженицын. Теперь он для советских издательств не существует, и Корнея Ивановича уговаривают выбросить из текста фрагмент, посвященный переводам «Одного дня Ивана Денисовича» на английский. При этом в совсем недавно вышедшем третьем томе Собрания сочинений – все упоминания на месте! Выдирать их теперь из текста – бессмысленно и глупо: тексты эти еще свежи в памяти читателя. К. И. отказался уродовать книгу.

Он хочет все успеть, у него свои планы на оставшееся время жизни – а в них постоянно и бесцеремонно вмешивается эпоха. Отправляет под нож тиражи, рассыпает наборы. Отнимает сон и провоцирует сердечные приступы. В марте Чуковский снова попал в больницу. Снова думал, что умирает. Из больницы послал дочери завещание.

В апреле состоялся пленум ЦК КПСС, посвященный международному положению. После него партийное руководство всех уровней официально заявляло, что крайне нежелательно постоянно эксплуатировать тему сталинских лагерей, которая подливает масла в огонь антисоветской пропаганды.

На XIX конференции Московской городской организации КПСС выступил Сергей Михалков. Говорил о «политических клеветниках» и «двурушниках» Синявском и Даниэле. «Как ни странно, нашлись среди наших литераторов добровольные адвокаты, выступившие на защиту пособников враждебного нам лагеря», – говорил он. Замечал, что «большинство подписавших эти письма ничем не прославили нашу литературу»; говорил о «подлинном гуманизме» по-горьковски: «гуманизме непримиримой борьбы против лицемерия и фальши тех, кто заботится о спасении старого мира».

Корней Иванович очень просил дочь не поддаваться на провокацию – и не выступать с новым обличительным памфлетом.

Дочь отвечала: «Я думаю, это не провокация, а психическая атака. Они хотят испугать. А наше дело маленькое – не пугаться. Быть такими, как всегда, быть самими собой. Вот и все. Они хотят, чтобы люди начали отрекаться, каяться, клепать друг на друга и пр.».

В июне «Литературная газета» обрушилась на Солженицына: клевещет, мол, в угоду западным голосам. С этой публикации началась оголтелая травля писателя в печати. Издательство «Советский писатель» продолжало бомбардировать Чуковского

требованиями выбросить из текста имя Солженицына. Тот не соглашался: требование хунвейбинское, если настаиваете – пришлите письменное предписание.

В дневнике К. И. записывал: "Итак, у меня в плане 1968 г. три книги, которые задержаны цензурой:

– «Чукоккала».

– «Вавилонская башня».

– «Высокое искусство».

Не слишком ли много для одного человека?" «Чукоккалу» не выпускали: слишком много в ней было несоветских, несносных для идеологического начальства имен. «Вавилонскую башню» держали из-за упоминаний о Боге и Иерусалиме (все-таки Чуковский запреты нарушил). В издательский план забыли включить Уитмена.

«Ничего не делаю из – за смертельной тоски, которую стараюсь никому не показывать», – пишет Чуковский. Он – профессионал; он должен работать, а о душевном его состоянии знать никому не надо. Зиновий Паперный, рассказывая о том, как умел Чуковский звать к радости других людей, замечал: «Корней Иванович старается все, что он пе-ре-дает знакомым, недо-давать себе. <…> Его приглашение к радости – верх душевного гостеприимства, извечная формула истинного благородства, рыцарское: пусть плохое и печальное остается при мне, возьми себе доброе и веселое».

Может быть, поэтому так солнечны и поэтичные воспоминания других людей о последних годах жизни Чуковского —и так печальны, отчаянны, желчны и безнадежны его дневники этого времени.

Отпечатанный тираж «Вавилонской башни» собираются уничтожать – собственно, его и уничтожили впоследствии. В «Огоньке» А. Колосков написал, что Маяковского никогда не понимали критики, в том числе Чуковский; из текста следовало, что понимали поэта только Ленин, Куйбышев и Луначарский. «Выпад не очень обеспокоил меня, – гласит дневниковая запись К. И. – Но я боюсь, что это начало той планомерной кампании, какую начали эти бандиты против меня в отместку за мою дружбу с Солженицыным, за „подписантство“»…

Лидии Корнеевне, которая готовила к публикации ахматовскую «Поэму без героя», издательство предъявило требование убрать из текста строчку со словами «двадцать лет я проходила под наганом» – в связи с новыми веяниями: нежелательна ведь постоянная эксплуатация темы репрессий! Л. К. отказалась наотрез. «Некрасов смотрел на такие вещи иначе, понимая, что изуверство цензуры не вечно», – прокомментировал

Чуковский.

И сам же горестно сообщал ей в письме: «Шестой том – это моя рана, которая кровоточит день и ночь. Выбросили даже статью о Короленко, даже „Жену поэта“, даже обзоры за 1907, 1908 и 1911 годы». Требовали заменить чем-нибудь. Том был тщательно и любовно скомпонован, и выбрасывать из него лучшие статьи, заменяя их в последнюю минуту чем придется, – это было совсем не по-чуковски.

24 июля он писал в дневнике: "Пришла Софа Краснова редактор Собрания сочинений. Заявила, что мои обзоры, предназначенные для VI тома, тоже изъяты. У меня сделался сердечный припадок. Убежал в лес. Руки, ноги дрожат. Чувствую себя стариком, которого топчут ногами.

Очень жаль бедную русскую литературу, которой разрешают только восхвалять начальство – и больше ничего".

Бедная русская литература продолжает беднеть на глазах. Умер писатель Яшин, автор честной прозы о деревне. Умер Паустовский. Чуковский написал о нем в «Литературную газету», но поставил условие ничего не менять в тексте. Редакция пообещала, но несколько слов из некролога все-таки выбросила.

В августе представитель Гослитиздата вымогал у Чуковского предисловие к Собранию сочинений, в котором значилось бы, что автор шел «сложным и противоречивым путем» к марксизму-ленинизму. Потом, правда, предисловие, которое подготовил сам К. И., вполне устроило издательство; оставили даже обзоры – с единственной просьбой убрать фрагмент про горьковскую «Мать». Но нервы 86-летнему писателю истрепали.

Атмосфера сгущалась, и ясно было уже, что скоро что-то грянет. Гроза разразилась в августе: Советский Союз ввел войска в Чехословакию. Эта страна решила начать все те реформы, которых долго и напрасно ждали в СССР: отмена цензуры, восстановление экономики, реабилитация жертв репрессий, демократизация общества… Бороться с контрреволюцией и восстанавливать конституционный порядок снова отправились советские танки. Массированное вторжение войск стран Варшавского договора в суверенную страну, самостоятельно определившую свой путь развития, многие советские интеллигенты пережили как личную трагедию. Это не умещалось в голове. Это был национальный позор, катастрофа.

Анна Дмитриева, которая в это время жила в переделкинском доме, рассказывает: «Был удивительной красоты день – солнце еще не село, на сосны ложился яркий рыжий свет. Я пошла гулять. Подходя к дому, увидела на балконе Корнея Ивановича и помахала ему рукой. А он даже не ответил – посмотрел на меня с

презрением, будто я сделала что-то ужасное, нижняя губа оттопырена – когда он обижался, у него было такое выражение лица. Я побежала в дом – и он сказал с глубокой личной обидой: „Мы вошли в Чехословакию“ – и перестал разговаривать вообще. Вечером ушел из дома, не хотел, чтобы ему читали на ночь – вообще воспринял это как свое личное горе». Обсуждать это он ни с кем не хотел – а на столе у него лежал номер журнала *New Yorker,* который ему присылали из США – номер с чуть не поминутной хроникой вторжения; вся статья, рассказывает Е. Ц. Чуковская, была испещрена пометками Корнея Ивановича.

«Говорят, что в Союзе Писателей Межелайтис, Симонов, Леонов и Твардовский отказались выразить сочувствие нашей Чехословацкой афере», – записывал К. И. в дневнике.

25 августа восемь человек вышли на демонстрацию на Красной площади, семеро тут же были арестованы, в том числе Павел Литвинов, племянник Татьяны Литвиновой, и Вадим Делоне, внук академика Делоне. «Ночью к Корнею Ивановичу пришел академик, – вспоминает Анна Дмитриева. – И два старика, ненавидя все это в душе, сидели и думали, как унизить себя, не унижаясь, чтобы спасти мальчика—и понимая, что все обречено».

«Я оравнодушел, – писал К. И. в сентябре 1968 года, – хотя больно к концу жизни видеть, что все мечты Белинских, Герценов, Чернышевских, Некрасовых, бесчисленных народовольцев, социал-демократов и т. д., и т. д. обмануты, – и тот социальный рай, ради которого они готовы были умереть, – оказался разгулом бесправия и полицейщины».

Открутившиеся было гайки стремительно закручивались: ужесточалась внешняя политика, усиливалась цензура. Мучительство с шестым томом продолжается: Чуковский пишет дочери, что издательство пообещало подписчикам 35 авторских листов, но выбросило из них 8 и потребовало чем-нибудь заменить. «Потребовали „Чукоккалу“, причем отказались от моих статей о Мандельштаме, Гумилеве, Евреинове, Замятине, входящих в эту книгу, а требуют все того же Горького, Куприна, Маяковского»; жонглировать все тем же набором дозволенных имен и воспоминаний ему уже невмоготу.

На ультиматум о Солженицыне он не откликнулся, и издательство известило, что собирается рассыпать набор. Дочь написала отцу, что пытается об этом думать – «но от бешенства не в силах». Книгу Ахматовой, которую она готовила к печати, запретили.

В конце сентября Чуковский впервые подумал о том, чтобы сдаться: «Пришел к убеждению, что моя шестимесячная

забастовка из-за требований Совписа, чтобы я вычеркнул имя Солженицына из своей книги „Высокое искусство“, бесплодна и что нужно убрать это имя. Сознание этого так мучит меня, что я не мог заснуть, несмотря на снотворные».

7 октября он делает в дневнике печальную запись: "Сегодня, увы, я совершил постыдное предательство: вычеркнул из своей книги «Высокое искусство» – строки о Солженицыне. Этих строк много. Пришлось искалечить четыре страницы, но ведь я семь месяцев не сдавался, семь месяцев не разрешал издательству печатать мою книгу – семь месяцев страдал оттого, что она лежит где-то под спудом, сверстанная, готовая к тому, чтобы лечь на прилавок, и теперь, когда издательство заявило мне, что оно рассыпет набор, если я оставлю одиозное имя, я увидел, что я не герой, а всего лишь литератор, и разрешил наносить книге любые увечья, ибо книга все же – плод многолетних усилий, огромного, хотя и безуспешного труда.

Мне предсказывали, что, сделав эту уступку цензурному террору, я почувствую большие мучения, но нет: я ничего не чувствую, кроме тоски, – обмозолился".

9—11 октября судили участников демонстрации против вторжения в Чехословакию. «Чувствую это весь день, – писал Чуковский. – Из-за рассказов о судилище не сплю, и самые сильные снотворные не действуют». Он много думает о демонстрантах – и всякий раз называет их поступок «безумием»: «безумная жена Даниэля»: у нее сидит муж, она оставила дома ребенка – и «сама напросилась в тюрьму». Безумие – идти на каторгу, когда силы нужны «для повседневного интеллигентского дела». Безумие – дезертировать именно сейчас, когда культура снова под угрозой.

Новое литературное горе – разгром серии «Библиотека поэта». Редколлегии предъявляется претензия в одностороннем выборе авторов: Цветаева, Заболоцкий, Мандельштам, переводы Гумилева. Автора одного из предисловий, Ефима Эткинда, отстранили от преподавания в вузе: он осмелился написать, что «между XVII и XX съездами русские поэты не могли выразить себя в оригинальном творчестве» и потому занимались переводами. Сняли с поста председателя серии Орлова. Лидия Корнеевна пишет: «Одним словом, снова наступила ночь средневековья – надолго ли? Кто знает! И, как всегда, в Ленинграде – страшнее всего».

Оказалось – надолго. В начале 1969-го, последнего года жизни Чуковского, было принято новое – секретное – постановление партии о повышении идейно-политического уровня публикуемых произведений литературы и репертуара

театров и кино, выдержанное в лучших традициях позднего сталинизма, и идеологический контроль, который ослабел было ненадолго, возобновился в полном объеме. Возродилась мертвящая казенность, ушла даже спонтанность и произвольность хрущевских речей, ушла ненадолго привнесенная им в политическую жизнь непосредственность эмоций, возобновилась сонная, чинная, благонамеренная скука.

Лидия Корнеевна в одном из писем спрашивает отца, правда ли, что он написал в ЦК с просьбой снять из сборника Ахматовой и его имя, и имя его дочери, если это нужно для выхода книги. Нет, Лидочка, отвечает отец, «никаких я заявлений никуда не делал, ибо понимал, что самум есть самум, и с ним не разговаривают. Бурю не утихомиришь словами. Если бы книга А. А. благополучно прошла, я изумился бы. Это было бы ненормально».

«Какая там стихия, какая буря! Бюрократическая мертвечина, идиотские выдумки, высосанные из пальца от нечего делать», – сердито отвечает она.

Его опять одолевает тоска, и ничего не хочется делать, и единственную отраду он находит, кажется, в играх с маленькой правнучкой Мариной.

«Надо многое успеть»

1969 год начался с новых разочарований и проблем.

Искусствовед и историк литературы Николай Харджиев, уважаемый Чуковским человек, повторил печатно, в сборнике «День поэзии», старую, давно опровергнутую клевету, будто «Гимн критику» Маяковского посвящен Чуковскому. К. И. разволновался: «Летом Н. И. был у меня – и ни словом не сказал, что он готовит такую злую передержку – выдаст 1920 г. за 1915 г. <…> Ведь если в 1920 г. под живым впечатлением моей статьи „Ахматова и Маяковский“ – В. В. все же написал, что считает меня искренним и прямым человеком и что „Гимн критику“ не имеет отношения ко мне, нужна особая звериная злоба, чтобы выступать в печати с такой дикой напраслиной».

«Зачем же он задевает такую щекотливую тему, – негодует К. И. – именно сейчас, – играя на руку подонкам и зная, что у меня нет возможности ссылаться на мою статью „Ахматова и Маяковский“?»

Статья, опубликованная в журнале «Дом искусств», была заперта в спецхране, и апеллировать к ней было невозможно – ни чтобы возразить на публикацию Колоскова в «Огоньке» (где выдранные из контекста цитаты и перевранные факты

доказывали, как Чуковский не понимал и принижал значение великого поэта), ни чтобы доказать неправоту Харджиева. В. Катанян (как указано в комментарии к переписке К. И. с дочерью) попросил у Чуковского комментария к утверждениям об адресате «Гимна». К. И. ответил письмом: указал на подтасовку фактов, привел опровержение Маяковского («если бы это было – отношение, я бы посвятил давно и печатно»). Заметил, что расхождения во взглядах были, его критические работы могли и не нравиться поэту, – и тут же добавил: «Я вообще ни разу в жизни не писал критических отзывов, чтобы понравиться тому, кого критикую. Как литературный критик я всегда превыше всего ценил и ценю свободу литературных суждений. Только в рабьем обществе могут слагаться фальшивые мнения, будто репутация критика зависит от его отношений к официально признанным литературным кумирам». За честь отца и честь Маяковского в письме к Харджиеву вступилась и Лидия Корнеевна.

К. И. снова разболелся, снова ему запретили читать и писать – он, однако, тайком продолжал работать (потихоньку, с трудом) над статьей «Триллеры и чиллеры». Именно для нее он читал в бессонницу десятки детективов и коллекционировал причудливые способы убийства: «Если вам захочется пристрелить музыканта, вставьте заряженное ружье в пианино, на котором он будет играть». Так начинается статья. Речь в ней идет – в который раз – об одичании человечества, симптомом которого становится любовь к детективам. Детективов Чуковский прочитал множество и пришел к выводам неутешительным: изобилие триллеров и чиллеров, в которых людей изводят самыми экзотическими, яркими, ошеломительными способами, а злодеев изобличают «мудрейшие, светозарные, всевидящие, безупречно благородные и в то же время всенепременно чудаковатые сыщики», доводит читателя «до полной ошалелости», до неспособности «питать свой отравленный мозг какой-нибудь духовной пищей». Человек может воспринимать только оглушительное, только леденящее, может испытывать только самые простые, примитивные эмоции. Страшно еще и то, что вся эта кровавая словесность «куда больше интересуется техникой истребления людей, чем теми, кого ей приходится истреблять», и сеет в читателе недоверие к человеку: подозревать приходится всех, верить нельзя никому. Все это, констатирует Чуковский, – симптомы тяжелой общественной болезни: «мрачной и злой подозрительности, <…> мании преследования, <…> патологического недоверия к жизни».

Интересно вот что: мысль Чуковского движется в том же русле, что и научные поиски западных психологов в 1950– 1960-х годах. Именно в это время начали появляться работы,

посвященные психологии и социологии доверия, принципам, на которых должны строиться взаимоотношения человека в обществе; появились само понятие «базисное (или базовое) доверие к миру» и представления о том, что нарушенное доверие становится причиной тревожности, неврозов, агрессии, психических расстройств.

«Не очевидно ли, что подобные массовые литературные опусы могут зарождаться лишь в социальной среде, где царит такое же неверие в людей, в бескорыстие их побуждений и чувств? – спрашивал Чуковский. – Подозрительность, страх, неуверенность в завтрашнем дне, ненависть, „косматая, как зверь“, неверие в искренность, в доброту человеческую – все это отразилось, как в зеркале, в этих изящно оформленных, с виду таких безобидных, развлекательных книжках». Примерно о тех же симптомах социальных болезней писал, к примеру, в некоторых своих работах Эрих Фромм; Чуковский говорит обо всем коротко и просто, не прибегая к научной терминологии, – но поднимает в крошечном фрагменте неоконченной статьи важные и серьезные проблемы, занимавшие и продолжающие занимать умы социологов, социальных психологов, культурологов. Насколько справедливы его выводы в статье «Триллеры и чиллеры», легко убедиться, почитав сегодняшние работы российских социальных психологов.

«Болезнь эта, к счастью, излечима, – писал Чуковский. – Духовное здоровье великих народов превозмогло и не такие болезни, но не нужно скрывать от себя, что болезнь ужасно запущена. Причем мы не должны забывать, что особенно большая ответственность ложится на нас, на писателей».

Статью эту он не дописал и рецепта излечения великого народа не оставил. Очевидно, что смену социального строя он больше не считал лекарством от общественных болезней. Ему было вполне ясно: и социалистическое общество больно, и капиталистическое, и у каждого свой букет диагнозов, порожденных общей причиной – душевной бедностью, неразвитостью чувств, инерцией и шаблонностью мышления.

Судя по всему, единственное средство спасения мира, в которое он по-настоящему верил, – это последовательная, постоянная воспитательная работа, тихий интеллигентский труд. Воспитательные усилия должны охватить всех, не оставить в стороне ни одного ребенка: каждого надо окружить любовью и заботой, каждого надо приобщить к творчеству, спорту, труду, внушить ему этические и эстетические представления, научить его слушать музыку, любить поэзию, мечтать, помогать ближним… И когда эти дети вырастут – общество, может быть,

станет иным.

И конечно, «особенно большая ответственность ложится на нас, писателей»: именно гуманитарная интеллигенция и призвана заниматься воспитанием.

Пример такого негромкого и постоянного служения обществу он находит в биографии Чехова – да, собственно, и его собственная жизнь может служить примером такого одинокого, самоценного, самоцельного служения литературе и людям. Книга «О Чехове», подводящая черту под многолетним изучением жизни и творчества любимого писателя, – своего рода литературное и человеческое завещание Чуковского, его «Повесть о настоящем человеке», рассказ о состоявшейся личности творца и гуманиста.

К. И. рассказывает о своем Чехове – не унылом певце печали, меланхоличном лирике, которого в нем предпочитали видеть другие (недаром Кирпотин говорил, что Чехов у Чуковского не похож, что он получился «бодрячком»), а человеке, наделенном железной волей, неуемной жаждой жизни, любопытством, юмором, свежестью восприятия – и величайшей любовью к людям, совестью, страстностью сопереживания. К. И. рассказывает о человеке чрезвычайно сложного и интересного душевного устройства, о писателе, умевшем внушить читателю жалость, любовь и сострадание даже к тем людям, которых совершенно невозможно жалеть и любить, кому не хочется сострадать.

Чехов Чуковского – вечный труженик. Он всю жизнь строит школы, открывает библиотеку, сажает сады, исследует жизнь заключенных, изучает людей, помогает им. И всю жизнь работает над собой. «Уже к середине восьмидесятых годов, – пишет Чуковский, – Чехов окончательно сбрасывает с себя рабье ярмо и путем самовоспитания, путем неустанной борьбы с инстинктами, мыслями, чувствами, внушенными ему темной средой с самого раннего детства, облагораживает и себя, и свой стиль. Здесь он снова встает перед нами, как героически-волевой человек, направлявший все силы души на усовершенствование своей нравственной личности».

Выход из тупика, в который постоянно заходит человечество, есть: воспитывать себя и воспитывать детей. Дело писателя – еще и помочь читателю найти правильные пути. Вдохновить его, заразить его стремлением к красоте, увлечь желанием творческого преображения себя, своей жизни и жизни вокруг; освободиться от рабства, выдавить из себя по капле рабьи привычки, избавиться от рабьего языка.

Сама жизнь Чуковского – лучшая иллюстрация к его трудам, из которых складывается полный, развернутый теоретико-

практический курс воспитания богатой и счастливой человеческой души.

В апреле он пишет дочери из больницы: «Мне опять муторно: температура, слабость, безумная борьба с бессонницей. Держу корректуру своего шестого тома с зубовным скрежетом, ибо здесь собраны мои худшие статьи и тщательно выброшены лучшие».

По ощущениям окружающих – и по самоощущению – именно сейчас, в этот год, он сдал: потерял легкость и подвижность, стал тяжелее двигаться, с трудом вставать.

Из больницы он продолжает хлопотать (по просьбам дочери) о Зое Задунайской и Любови Эммануиловне Любарской, тете Александры Любарской, которые – сначала одна, потом другая – попали в больницы и оказались там в скверных условиях: в коридоре, без помощи, без ухода… Он звонит, пишет, подписывает книжки для тех, от кого зависит решение вопроса.

Апрель кончается: «насморк, грипп, воспаление легких», сообщает К. И. дочери.

Июнь: «Так переутомился, что не имел силы (в самом деле не имел) взять в руки перо. Замучила меня корректура 47 печатных листов VI тома и другие работы».

Летом 1969 года Чуковского навестили в Переделкине Софья Богданович и ее сестра, двое из куоккальской четверки детей, с которыми он был дружен в незапамятные времена. Софья Богданович вспоминает:

"Волосы его поседели, лицо пополнело, несколько сгладилась резкость черт, отчего он утратил кое-что от своей прежней обаятельной некрасивости, но зато приобрел соответственное возрасту благообразие. А глаза и совсем не изменились. Тот же внимательный, чуть иронический взгляд.

К. И. смотрит на нас с сестрой испытующе:

– Ну, а теперь, девочки, скажите, зачем я вам нужен? Мы смеемся.

– К. И., нам просто очень захотелось вас повидать. К. И. явно доволен.

– Вы не обижайтесь, – говорит он, – я привык, что ко мне почти все приходят с разными просьбами, и я всегда стараюсь помочь, чем могу".

Стал рассказывать, чем занят, – и вдруг, «говоря о наиболее значительных начатых им работах, он напомнил: „Мне ведь восемьдесят семь лет“, – и это прозвучало как-то очень по-деловому, как говорят: „Уже восемь часов, а надо до девяти многое успеть“».

Августовское письмо к дочери опять повествует о неприятностях: «Из моей книги, из 21-го издания, выбросили

большие куски (глава „Борьба за сказку“). Словом, изгадили даже „От двух до пяти“, чтобы не оставить ни одной книги без своего отпечатка».

Ему тошно и скучно сражаться с истуканами – особенно теперь, когда он все чаще повторяет: «У меня осталось мало времени». Он ищет общества людей понимающих, умных, способных к тонкому разговору – может быть, старается уйти от почти незаметной, но постоянно присутствующей – как тень – тихой тоски.

В некоторых мемуарах сохранились печальные интонации последних писем Чуковского: зачем вы сказали, что придете, а не пришли? Я вас ждал, нехорошо обманывать старика… приезжайте же скорее, я буду ждать… Ждал с нетерпением, волновался – и чтобы не волновался, секретарь однажды даже перевела назад часы в его комнате… И пронзительная фраза в письме Валентину Непомнящему: «Спасибо за письмо и за то, что оно – длинное»…

Наталья Ильина, вспоминая свои последние посещения Чуковского, рассказывает, как он читал ей свою старую пьесу для детей, и свои «Триллеры и чиллеры», как они вместе ходили гулять: «Он сдал, дорогой мой Корней Иванович, не было больше этого быстрого, молодого шага. Походка стала старческой, с шарканьем, и ростом он стал ниже. Этому давно бы пора случиться, но случилось это лишь теперь, на пороге девяностолетия… Быть может, услышав мои мысли, он сказал: „Ходить стал хуже. В больнице залежался. Ничего, расхожусь, пройдет!“ Бодрился. Но вдруг упрекнул маленькую Марину, которая отправилась с нами на велосипеде и требовала, чтобы прадед за нею поспевал и подталкивал велосипед палкой: „Я так не могу. Я же старенький“. И опять во мне дрогнула жалость».

В следующий раз они пошли под дождем к Дому писателей, и К. И. сказал вдруг: «А в сущности, я очень одинок». И добавил: «Когда-то, поселившись здесь, я думал: буду жить среди писателей, будем ходить друг к другу в гости, читать друг другу… И ничего из этого не вышло!»

Не получилось в Переделкине куоккальского братства, ругани, споров, единомыслия, резвости, не сложилась своя «Чукоккала», где великие, по выражению Андрея Вознесенского, резвились и пускали пузыри – хотя и записывали что-то переделкинские обитатели и гости в этот альбом. Ушли друзья, ушли единомышленники, ушли люди, которых он уважал и ценил, хотя они и не были его близкими друзьями; осталось литературное одиночество.

Ильина пишет: ездили вместе на кладбище к могиле Марии Борисовны. Правнучка бегала у ограды, Чуковский «стоял,

склонившись над могилой, обеими руками опираясь о палку, лицо у него было грустно-молящее, никогда прежде я не видела этого выражения на лице Корнея Ивановича»…

Моментальные зарисовки в воспоминаниях его посетителей в последние годы жизни: вот Чуковский-патриарх в окружении семьи: внук, жена внука, маленькие правнуки; в окна бьет солнце; вот ему читают в кабинете, а он внимательнейшим образом слушает – не отвлекается, как другие старики, не засыпает на полуслове; острым слухом выхватывает шероховатости, дает советы… Вот сам читает свое – и требует совета, оценки, комментария: хорошо ли получилось, воспринимается ли на слух.

Вот гуляет со Слонимским в Кунцевском санатории – «Я устал, просил присесть хоть бы ненадолго, а Корней Иванович, отгуляв полтора часа, готов был гулять еще и еще»…

Вот разбирает письма от читателей и радиослушателей, наговаривает на магнитофонную ленту воспоминания.

Пишет – много пишет, одновременно работает над несколькими статьями, словно подводя итоги и оставляя литературные завещания. Рассказывает, как стал писателем: сам, как критик и ученый, пытается анализировать себя как поэта и сказочника: кому-то этот опыт пригодится, кто-то прочитает, возьмет на заметку эти правила и заповеди. Пишет о малоизвестных поэтах, которые оказались ему чем-то созвучны, верный своему принципу замечать и поддерживать достойное похвалы, живое, талантливое.

Сердится, когда не получается текст, обрушивается на окружающих. Бьется, шлифуя свою последнюю загадку – о ковре:

Лежу я у вас под ногами,
Топчите меня сапогами,
А завтра во двор унесите меня
И бейте меня, колотите меня,
Чтоб дети могли поваляться на мне,
Барахтаться и кувыркаться на мне.

Вот Чуковский разговаривает с Раскиным о сходстве собак с хозяевами.

– А если бы у вас была собака, какая бы она была? – спрашивает гость.

"Корней Иванович остановился и с улыбкой посмотрел на меня.

– Какая? – переспросил он. – Самая обыкновенная. Вечно возилась бы с чужими щенками. Страдала бы бессонницей… Ненавидела бы радио, телевизор и телефон… Перед директором

издательства виляла бы хвостом… Рычала бы на графоманов… Писала бы мемуары… Очень любила бы Блока и Чехова.

– А звали бы ее Каштанка?

– Конечно, – очень серьезно сказал Чуковский".

В сентябре 1969 года произошел случай прямо-таки вопиющий. Чуковский давно дружил с семьей Франклина Рива, американского профессора-слависта. Жена его писала диссертацию о Некрасове и давно хотела проконсультироваться с К. И.; они долго переписывались, наконец, Ривы прибыли в Россию и направились в Переделкино вместе с тремя детьми, мал мала меньше. Не успело семейство сесть и завести с хозяином обоюдоинтересную филологическую дискуссию, как на дачу явился наряд милиции и заявил, что американцы не имеют права там находиться. Предлогом стало то, что семья должна была ехать в Новгород и отклонилась от маршрута.

Чуковский был возмущен грубым, безобразным и беспрецедентным вторжением в частную жизнь и его собственный дом. Он написал министру внутренних дел, вскоре к нему приехал извиняться заместитель министра Сумцов, который взял с собой генерала Червонцева – генерал просто хотел познакомиться с Чуковским. К. И. показывал ему библиотеку, читал «Энеиду» Котляревского, читал Шевченко – и оба упивались звучанием украинских стихов; генерал предложил помощь в ремонте библиотеки и расчистке сада возле нее – и вскоре прислал солдат.

Вскоре солдаты прибыли, сад расчистили, несколько человек остались ремонтировать помещение; на кухне для них варили огромные кастрюли супа… Чуковский, кажется, даже наслаждался всей этой невообразимой ситуацией: игра, конфликт, путаница.

А 5 октября его забрали в больницу. Врачи, госпитализация, войска в доме; здесь же случилась австралийская журналистка, которая, не разобравшись, настрочила в свое издание что-то несусветное…

К. И. еще летом чувствовал себя плохо; сейчас у него заподозрили гепатит, который вскоре подтвердился. В больницу он отправлялся еще почти веселый: любимый бокс, знакомая медсестра… Шутил с врачами. Казалось, это обычная, плановая госпитализация, каких в последние годы было множество. Но болезнь развивалась быстро, а он был уже стар. Похоже, смерть отчаялась уже выиграть у него по-честному и прибегнула к запрещенному приему – подножке, подсечке; умереть в 87 лет от гепатита – нелепо и странно. В его смертность окружающим так не верилось, что из всех версий, откуда взялась инфекция, шире всего разошлась одна: укол нестерилизованным шприцом. Между

тем у него уже была желтуха год назад; печень его была в плохом состоянии из-за многолетнего приема тяжелых, несовершенных снотворных; грешили, наконец, и на крыс, которые обгрызли весь порог переделкинского дома…

Октябрь 1969 года. Слабость нарастает, есть ему не хочется, анализы плохие. «Пишу 3-й этюд о сказке, – заносит он в дневник. – Тороплюсь, потому что знаю, что завтра голова моя будет слабей, чем сегодня».

И не оставляет работы, и в больнице работает над собранием сочинений Кони и держит неизбежные, даже здесь преследующие его корректуры – держит из последних сил. В самом буквальном смысле слова – последних: «Слабость такая, что трудно стоять и зубы чистить».

"Ему шел уже восемьдесят восьмой год, а умирал он как молодой – в мучениях и долго, – пишет Валентин Непомнящий. – Он очень не хотел умирать.

В больнице он работал. Последнее, чем он занимался, была статья об Уитмене, для энциклопедии. Писать рукой он не мог. Ему читал гранки, а он на ходу диктовал правку. Потом начали читать длинный список библиографии – зарубежной и нашей. Он прослушал все, подумал и попросил вставить еще одну английскую книгу, и тут же продиктовал имя автора, заглавие и выходные данные".

Чуковский понимает: время вышло. Надо подводить черту. В дневнике он перечисляет все свои книги: зримый итог жизни. «Первый день без рвоты», – гласят записи рядом. «Я не просто не могу стоять на ногах, а я просто перестаю существовать, чуть сделаю попытку приподняться».

Он дополняет список сделанного за всю жизнь пересказанными и переведенными книгами. Кажется, смотрит и оценивает: все сделал, что нужно, или не все? Можно ли это считать достойным итогом жизни? И думает, кому из членов семьи оставить архив – огромный труд и колоссальную ответственность. Решает: «Авторские права на все эти книги я завещаю дочери моей Л. К. и внучке моей Елене Цезаревне Чуковской. Кроме того, Елене Цезаревне Чуковской я вверяю судьбу своего архива, своих дневников и Чукоккалы».

Пишет дочери: «Я не просто не могу стоять на ногах, а я просто перестаю существовать, чуть сделаю попытку приподняться. Желудок у меня так же отравлен, как и почки, почки – как печень. Две недели назад я вдруг потерял способность писать, на следующий день – читать, потом – есть. Самое слово „еда“ вызывает во мне тошноту».

20 октября ему привезли вышедший в свет шестой том

Собрания сочинений. «Нет ни возможности, ни охоты взглянуть на это долгожданное исчадие цензурного произвола», – записал он.

24 октября в дневнике Чуковского появилась последняя запись: «Ужасная ночь».

"Он страдал от ужасающих болей в печени, – пишет Непомнящий. – И странно: обычно хныкавший от пустяковой температуры, эти боли он выносил со стоическим мужеством и ни разу не пожаловался. Только однажды вечером, за два дня до смерти – это было рассказано мне на следующий же день, – он сказал навестившим его:

– Пожелайте мне, чтобы завтрашнего дня не было".

И еще: "В какой-то из самых последних дней он впал в беспамятство, стал бредить, говорил что-то совсем непонятное, а потом вдруг стал звать – настойчиво, громко, требовательно: «Клара! Клара!» – но вдруг очнулся, открыл совершенно ясные глаза и внятно сказал:

– Боже мой, что я тут кричал?.. Просто мне показалось, что я сижу за своим письменным столом…"

Дмитрий Чуковский рассказывает: «Он понимал, что умрет. С каждым из членов семьи он поговорил, для каждого нашел нужные слова, свой подход, свой ключ».

Михаил Слонимский пишет: "Мне рассказывали, что, умирая, он произнес:

– Вот и нету Корнея Чуковского…"

Это было 28 октября 1969 года.

Валентин Непомнящий пишет, что видел Чуковского в последний раз в окно палаты: «Он лежал под длинной-длинной белой простыней. Над подушкой были видны седые волосы, лоб и большой нос. И еще я увидел руку, торчавшую из-под откинувшегося края простыни и до повеления стиснутую в кулак».

Упоительная свобода

«Умер последний человек, которого еще сколько-нибудь стеснялись», – начинает рассказ о похоронах Чуковского Юлиан Оксман. Те же слова произнес над открытой могилой Павел Нилин.

"Когда Дед умер, нужно было ехать в Союз писателей: обсуждать организацию похорон с Михалковым и генералом Ильиным, секретарем московского отделения СП по оргвопросам. Ильин – человек из «органов», приставленный следить за писателями, – рассказывает Дмитрий Николаевич Чуковский. –

Мы поехали туда с Натальей Ильиной. У Михалкова все время звонила «вертушка»: кто-то пристально следил за процессом. «Да, обсуждаем», – коротко отвечал Михалков. «Да, хорошо». «Как Маршака».

Власти, как мы поняли, очень боялись, что на похороны приедет Солженицын, за ним толпа, что он будет выступать и похороны превратятся в демонстрацию. Поэтому решили очень четко, по регламенту, по секундомеру расписать, кто будет говорить. Они хотели, чтобы выступил Алексин, мы требовали дать слово Пантелееву. Затем поехали с Ильиным по маршруту, по которому повезут гроб – от ЦДЛ до переделкинского кладбища. Ильин смотрел, чтобы не было остановок на открытых местах, где может собраться толпа, чтобы люди были рассредоточены. Подъехали к дому – остановились – стоять три минуты – сразу на кладбище, чтобы не возникало спонтанного накопления людей. Когда К. И. везли на кладбище, по ритуалу надо было остановиться возле дома. Эта остановка выводила Ильина из себя: ведь во дворе будут собираться люди!..Во время панихиды я стоял у входа и следил, чтобы в зал пропускали близких людей, которые не были членами Союза писателей. Открытого доступа не было. На улице собрались люди, но им отвечали, что вход только по членским билетам".

«В комнате почетного президиума за сценой в ЦДЛ – многолюдная очередь, – свидетельствует Юлиан Оксман. – Стоим в ожидании, когда нас выведут в почетный караул к стоящему на сцене гробу. В основном тут – незнатные. Лишь незадолго до конца прощания появляются те, кто по традиции завершает ритуал, кто попадает потом на ленты кино– и фотохроники: Полевой, Федин. Говорят, Лидия Корнеевна Чуковская заранее передала в Правление московского отделения Союза писателей список тех, кого ее отец просил не приглашать на похороны. Вероятно, поэтому не видно Арк. Васильева и других черносотенцев от литературы. Прощаться пришло очень мало москвичей: в газетах не было ни строки о предстоящей панихиде. Людей мало, но, как на похоронах Эренбурга, – Паустовского, милиции – тьма. Кроме мундирных, множество „мальчиков“ в штатском, с угрюмыми, презрительными физиономиями. Мальчики начали с того, что оцепили кресла в зале, не дают никому задержаться, присесть. Пришел тяжело больной Шостакович. В вестибюле ему не позволили снять пальто. В зале запретили садиться в кресло. Дошло до скандала». Только когда прислали венок от Косыгина, рассказывает Д. Н. Чуковский, распорядители похорон открыли двери и начали пускать людей.

На панихиде что-то официальное говорил Михалков, потом

Барто, потом Кассиль – «и только Л. Пантелеев, прорвав блокаду официозности, неумело и горестно сказал несколько слов о гражданском лике Чуковского», пишет Оксман. Справедливости ради заметим, что Кассиль был не только литературным функционером, но и другом Чуковского.

Татьяну Литвинову К. И. когда-то попросил: «Если кто-то скажет на моих похоронах, что у меня был сложный и противоречивый путь, дай ему в морду». «Я бы дала, – говорила потом Литвинова. – Это отвлекало меня от горя на похоронах, я все время следила, скажет кто-нибудь или нет».

Родственники К. И. просили выступить писательницу, журналиста и педагога Любовь Кабо, но ей не позволили: генерал КГБ Ильин, пишет Оксман, сказал: «Записалось на выступление много народу, а время не ждет. К. И. надо похоронить засветло». Родственникам сказали, что Кабо сама отказалась.

> Поэты, побочные дети России,
> Вас с черного входа всегда выносили, —

говорилось в стихах Германа Плисецкого памяти Пастернака; стихи долго ходили в списках по рукам. «Наши слабоумные устроили тайный вынос тела», – писал сам Чуковский о похоронах Ахматовой. Торопились похоронить Паустовского и Эренбурга, теперь в такой же спешке стремились зарыть Корнея Ивановича.

«Откуда этот страх перед покойниками? – спрашивает Оксман. – Да ведь традиция! Уже двести лет без малого вот так хоронят русских литераторов. <…> Литературные охранники всегда остро чувствуют опасность прорыва подлинных человеческих чувств, прорыва, вызванного острой болью утраты. У гроба большого писателя неизменно возникает электрическое поле общественного протеста. Интеллигенты, в обычные дни рассеянные, задавленные трудностями жизни, возле дорогих могил вдруг видят себя сообществом единомышленников, единоверцами. В такие часы для них особенно невыносима официальная ложь. Люди хотят правдивого слова. Даже молчальники становятся ораторами. Власти – прежние и нынешние – от века не утруждали себя диалогом: они просто высылали к Литературным мосткам дополнительные наряды полиции».

Мариэтта Чудакова вспоминала: «В Переделкино, заметим, было нагнано заранее много милицейских машин, и, когда появился катафалк, начальствующий провозгласил в рупор: „Приготовиться ко всему!“».

«По всему шоссе, огибавшему кладбище, стояло впритык

один к другому множество самых странных рафиков и фургонов, – вспоминала Любовь Кабо. – Зачем? Чего они ждали, о господи, – что люди прямо с похорон ринутся занимать почтамт и телеграф и надо будет пресекать, не пущать, затаскивать?»

День был слякотный, холодный: под ногами разъезжалась глинистая грязь, шел мокрый снег. Над могилой писателя произносились вялые, скучные, избитые речи по бумажке – сначала что-то говорил Михалков, потом председатель райисполкома: «Родина не забудет… Встречи с ним всегда радовали…» «В двух шагах от трибуны – сосны, под которыми лежит гений российской словесности Борис Пастернак, – негодовал Оксман. – Хороним великолепного знатока русского языка Корнея Чуковского. В толпе десятки русских писателей, мастеров слова. А чиновники на трибуне бубнят своим скудным и нищим языком многотиражки».

Выступил Нилин – его сначала не хотели пускать на трибуну. «Над грязным косогором впервые зазвучала человеческая речь. Нилин вспоминает: всего месяц назад они с Корнеем Ивановичем гуляли вот тут по полям, и К. И. мечтательно говорил, что только бы ему перетянуть эту осень, а там уж видно будет. Нилин отвечал ему, что перетянет К. И. и эту, и много других осеней и весен: при бодрости духа его и тела еще закроет он глаза многим нынешним молодым. Чуковский смеялся», – писал Оксман. Д. Н. Чуковский говорит, что Михалков торопил Нилина: заканчивай. Тот ответил: «Отойди, Сережа». «Мы сейчас еще до конца не понимаем, кого потеряли, – сказал Нилин. – Должно пройти какое-то время, чтобы те, кого пока так мало в стране, те, кто составляет ничтожно тонкий слой народа – интеллигенция, – поняли, кого оставили они на переделкинском погосте в этот хмурый осенний день».

Корнея Ивановича похоронили рядом с Марией Борисовной, на холме под тремя соснами.

"Был момент, когда обнажили головы все несмотря на погоду – и старые, и больные, – писала Кабо. – И тогда оказалось, что вся эта скорбно затихшая толпа людей, не отрывающих глаз от заколачиваемого гроба, – эта толпа окружена кольцом все тех же дюжих молодцов в плотно надвинутых на уши одинаковых шляпах. Чем не кинокадр: кольцо шляп вокруг обнажившей головы толпы! Вот и у трибуны теснились – шляпы. И между прочим, думалось: правильно. Правильно, что боятся, должны бояться. Правильно, что стерегут, только не устеречь ведь! Детские это забавы; почтамт, телеграф… Разве в этом дело!..

Жил человек – вроде бы играючи, вроде бы легко. Волочил за собой по аллеям Переделкина влюбленные толпы. Разжигал

костры у себя на даче – самый юный из всех своих несовершеннолетних гостей и самый довольный. Человек, переживший многое и многих. Все видевший. Ничего уже, кажется, не боящийся потерять. Давно измеривший вершины человеческого благородства и провалы человеческого ничтожества. Жил, несмотря на это, со вкусом, жил с неиссякаемым любопытством. И в каждую минуту своей жизни – и в мало кому видимом титаническом труде, и в видимой всеми игре и веселости, – каждую минуту своей жизни торжественно, ликующе утверждал единственную на свете ценность: упоительную свободу ничему, никому не подвластной человеческой души. Легко уклоняющийся – от тех, кто хотел бы подмять эту душу. Посмеивающийся потихоньку – над теми, кто изловчался ее поработить… Вот они откуда, фургоны и шляпы, это стремление хотя бы сейчас, запоздало, – держать, не пущать! Все правильно. Потому что опасная это вещь, – соблазнительная, а потому и опасная, – истинная-то свобода. Счастливые мы, как подумаешь, люди: мимо нас она прошла, может, и в нас – осталась…"

«Когда гроб зарыли и на могильный холм положили венки – казенные люди с облегчением, бегом бросились к машинам», – рассказывает Д. Н. Чуковский.

Через несколько дней после похорон Корнея Ивановича из Союза писателей исключили Солженицына.

А в декабре 1969 года в Колонном зале собралась творческая интеллигенция – на объединенный пленум творческих союзов. «Учась у партии, следуя в фарватере ее художественной политики, писатели помогают нашему народу осуществить историческую задачу строительства коммунистического общества», – говорил секретарь правления Союза писателей Марков. Сергей Михалков, занявший после смерти Маршака и Чуковского вакантное место детского поэта номер один, заявил: «В среде советских писателей не должно быть места прекраснодушию и всепрощающему либерализму».

Старая, унаследованная еще от прошлого века гуманитарная, гуманистическая культура кончалась.

Мариэтта Чудакова писала, что в 1969–1970 годах появилось страшное чувство обвала поколения: один за другим ушли прекрасные филологи, серьезные ученые, интеллигенты, мыслители – Скафтымов, Виноградов, почти сразу за ним – Чуковский; в 1970 году умер фольклорист Пропп; за ним – Оксман; потом – академик Конрад; вслед за ним – Жирмунский. Осталось ощущение пустыни. «Рвется связь времен», – повторяли люди на похоронах Корнея Ивановича.

Начались новые, длинные, скучные годы радиоголосов и глушилок, диссидентства и кухонных разговоров; годы арестов и высылок; салата оливье по праздникам и программы «Время» в девять вечера; долгих, продолжительных аплодисментов; чувства глубокого удовлетворения. В этом времени Чуковскому делать было нечего.

А тем, кто остается жить в нем – и в других временах, пришедших ему на смену, он оставил все, что нужно, чтобы выжить и сохранить живую душу.

Любить, когда некого любить, верить, когда не во что верить, идти, когда некуда идти, – полемически сформулированные заветы эти из книги о Блоке оказались на удивление пригодными во всякую эпоху, как и строчки Гёте в тютчевском переводе: «Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, хоть бой и неравен, борьба безнадежна».

Бороться – надо, работать надо – потому что надо. Надо помнить о том, что самая полезная полезность совершается при личном ощущении ее бесполезности; надо каждое утро поднимать над собой кнут; надо любить то, что ты делаешь, и не думать о гонораре (потому что за бескорыстие больше платят, добавлял он ехидно). Надо быть честным с собой; не врать детям; избегать шаблона.

Все очень просто – но аскетические эти правила были бы невыполнимы, если бы не заразительное обаяние внутренней свободы, без которой немыслимы ни борьба, ни полезность, ни честность, ни повседневный, каторжный, любимый труд в полном осознании его бессмысленности.

Если бы не чувство литературной и исторической перспективы, дающее вздохнуть, когда нельзя дышать. И спасительная самоирония, и умение жить стихами, и неуемное любопытство.

И самый главный, самый ценный дар Чуковского – ощущение волшебной легкости, безмятежного счастья, беспричинного праздника жизни. Чувство летнего дня на старой даче, где зреет клубника и носятся бабочки, и облака плывут к станции, где поезда с грохотом уносятся вдаль. И осы ныряют в компот, и вечные внуки допекают вечных дедов вечными детскими вопросами. И все можно, и ничего не нужно, и по пыльной, усыпанной сосновыми иглами дороге в пятнах солнечных зайцев колесят соседские дети на великах, едут и смеются, и пряники жуют.

Послесловие

Автор выражает искреннюю признательность людям, без которых эта книга не могла бы появиться на свет:

Н. Н. Соболевской, Н. Л. Трауберг, Д. С. Авдеевой, Ю. Б. Сычевой;

Д. Л. Быкову, в соавторстве с которым написана главка «Некрасов» в шестой главе;

сотрудникам музея И. Е. Репина «Пенаты»;

сотрудникам музея К. И. Чуковского в Переделкине С. В. Агапову, Н. В. Продольновой и особенно П. М. Крючкову – за постоянную помощь в работе и подбор иллюстраций;

Е. В. Ивановой, О. Л. Канунниковой, С. А. Лурье, Н. Н. Панасенко, М. С. Петровскому и другим исследователям, вложившим немало сил в изучение биографии К. И. Чуковского и его творческого наследия. Автор приносит извинения М. С. Петровскому и Е. Б. Ефимову за неверную атрибуцию комментария к сказке «Одолеем Бармалея!» в первом издании этой книги;

Д. Н. Чуковскому, А. В. Дмитриевой, Н. Н. Костюковой (Чуковской) – за дополнения и замечания;

С. В. Букчину, Н. Н. Панасенко, Е. В. и Е. Б. Пастернакам – за поправки ко второму изданию книги;

работникам издательства «Молодая гвардия» – за оперативное и качественное издание книги.

Особую благодарность хочется выразить Елене Цезаревне Чуковской за ее неизменную поддержку, ценные замечания и предоставление документов из семейного архива.

Основные даты жизни и творчества К. И. Чуковского

1882, 19 (31) марта – в Санкт-Петербурге родился Корней Иванович Чуковский (настоящие имя и фамилия Николай Васильевич Корнейчуков), внебрачный сын крестьянки Екатерины Осиповны Корнейчуковой и студента Эммануила Соломоновича Левенсона.

1885 – семья переехала в Одессу.

1898 – Чуковский исключен из гимназии.

1901, 27 ноября – первая статья в «Одесских новостях» под названием «К вечно юному вопросу».

1903, весна – поездка в Москву и Петербург и статьи об этом в «Одесских новостях».

25 мая – венчание с Марией Борисовной Гольдфельд в Одессе.

Июнь – отъезд с женой в Лондон через Берлин, работа лондонским корреспондентом «Одесских новостей».

1904, 2 июня – рождение в Одессе сына Николая.

Сентябрь – отъезд из Лондона в Одессу.

1905, март – приезд в Петербург и начало публикаций в петербургской печати.

Июнь – восстание на броненосце «Потемкин», поездка Чуковского на корабль.

Осень – отъезд в Петербург, редактирование сатирического журнала «Сигнал».

Декабрь – арест и освобождение под залог, внесенный М. К. Куприной.

1906, февраль – бегство от следователя в местечко Меддум Двинской губернии.

Март – возвращение в Петербург, суд, закрытие журнала «Сигнал».

Осень – семья Чуковских поселилась в Куоккале под Петербургом (ныне поселок Репино).

1907, 11 марта – рождение дочери Лидии.

9 сентября – знакомство с И. Е. Репиным.

1908 – вышел и был трижды переиздан сборник критических статей «От Чехова до наших дней», вышли книги «Нат Пинкертон и современная литература» и «Леонид Андреев, большой и маленький».

1910, 30 июня – рождение сына Бориса.

1911 – выходят в свет сборник «Критические рассказы»,

брошюра «Матерям о детских журналах», книга «О Леониде Андрееве».

1912 – Чуковский редактирует для «Нивы» Собрание сочинений О. Уайльда; поездка в Киев, Минск, Гомель, Витебск с лекцией об Оскаре Уайльде.

1913 – поездка в Минск, Витебск, Смоленск, Двинск, Либаву, Гомель, Бобруйск с лекцией о футуристах.

1914 – выходят сборник «Лица и маски», «Книга о современных писателях» (второе издание «Критических рассказов»), «Эгофутуристы и кубофутуристы: Образцы футуристических произведений: Опыт хрестоматии».

1915 – выходит книга «Заговорили молчавшие: Томми Аткинс на войне».

1916, февраль-март – вторая поездка в Англию в составе делегации русских журналистов по приглашению британского правительства.

21 сентября – знакомство с А. М. Горьким.

1917, январь – лекции о Горьком и Уитмене в Петрограде.

Июнь – сказка «Царь Пузан» для детского спектакля в Куоккале. Выходит книга «Англия накануне победы».

Осень – редактирует журнал «Для детей» – приложение к «Ниве», в котором печатается сказка «Крокодил».

1918 – Комиссия по изданию русских классиков при Наркомпросе поручает Чуковскому редактировать Некрасова. Начинается работа в издательстве «Всемирная литература».

1919, январь – лекция «Принципы художественного перевода»; открытие Студии художественного перевода при издательстве «Всемирная литература».

Июнь – поездка в Москву с чтением лекций в московском Доме искусств.

19 ноября – открытие Дома искусств в Петрограде.

1920, 24 февраля – рождение дочери Марии (Муры).

Сентябрь – приезд Г. Уэллса в Россию. Лекции в Доме искусств, работа в Студии художественного перевода, издательстве «Всемирная литература».

1921, апрель-май – выступления на вечерах Блока, поездка с Блоком в Москву.

Июнь – переезд в Псковскую губернию «спасать свою семью и себя от голода».

1922 – выходят книги «Поэт и палач (Некрасов и Муравьев)», «Жена поэта», «Книга об Александре Блоке», «Некрасов как художник», «Оскар Уайльд», «Футуристы».

4 июня – Алексей Толстой публикует в берлинской газете «Накануне» частное письмо Чуковского, вызвавшее громкий

скандал в литературных кругах.

1923 – выходят сказки «Мойдодыр» и «Тараканище».

Сентябрь – поездка с Е. Замятиным в Коктебель к Волошину; работа в журнале «Современный Запад».

1924 – работа в журнале «Русский современник»; выходят книги «Александр Блок как человек и поэт», «Две души Максима Горького».

Декабрь – закрытие издательства «Всемирная литература».

1925 – закрытие журнала «Русский современник».

Январь-февраль – поездка в Куоккалу, встреча с Репиным; публикация «Бармалея».

1926 – выходят «Телефон», «Федорино горе», сборник «Некрасов. Статьи и материалы».

Май – публикация киноромана «Бородуля» под псевдонимом «Аркадий Такисяк» в «Вечерней Красной газете».

Июль – арест Л. К. Чуковской и ее ссылка в Саратов.

1927, сентябрь – возвращение Л. К. Чуковской из ссылки.

Октябрь – все детские книги К. И. Чуковского, представленные издательством «Радуга», задержаны Гублитом.

Ноябрь – поездка в Москву за разрешением на печать «Крокодила», встреча с Крупской.

1928, 1 февраля – статья Н. К. Крупской «О „Крокодиле“ К. Чуковского» в «Правде».

14 марта – в «Правде» опубликовано «Письмо в редакцию» А. М. Горького в защиту Чуковского.

Март – хлопоты о разрешении публикации сказок, запрет «Чудо-дерева»; выходит первое издание книги «Маленькие дети» (начиная с третьего издания выходит под заглавием «От двух до пяти»).

1929, декабрь – в «Литературной газете» публикуется письмо Чуковского с отречением от сказок и обещанием создать сборник «Веселая колхозия».

1930, начало года – тяжело заболела туберкулезом младшая дочь Мура.

Апрель – напечатаны «Рассказы о Некрасове».

Сентябрь – поездка с Мурой в Крым для лечения.

Ноябрь – возвращение в Москву.

1931, 10 ноября – смерть Муры.

6 декабря – возвращение К. И. Чуковского в Ленинград.

1932 – участие в работе Пленума ВЛКСМ, речь в защиту сказки.

1933 – поездка в Евпаторию, Алупку, Тифлис и Кисловодск; выходят книги «От двух до пяти», «Солнечная», статьи о Н. Успенском и В. Слепцове.

1934 – два выступления на Первом съезде советских писателей; выходит «Люди и книги шестидесятых годов».

1935 – выступления в Москве с лекциями и чтением сказок.

1936 – участие в совещании по детской литературе при ЦК ВЛКСМ, в подготовке к 100-летней годовщине со дня смерти А. С. Пушкина, в работе X съезда ВЛКСМ.

Август – поездка в Киев, пребывание у Л. Квитко, знакомство с А. С. Макаренко.

Сентябрь – поездка в Одессу для сбора материалов к повести «Гимназия» и в Алупку – на могилу Муры.

1937 – новая поездка в Одессу.

6 августа – арестован второй муж Л. К. Чуковской, физик М. П. Бронштейн.

1938 – переезд в Москву, где получены квартира и дача; издана «Гимназия».

1939, май – поездка в Киев на юбилей Т. Г. Шевченко.

Декабрь – получено известие о смерти М. П. Бронштейна.

1940 – вышли воспоминания «Репин. Горький. Маяковский. Брюсов».

1941 – вышла книга «Высокое искусство» (второе издание «Искусства перевода»).

Июнь – начало войны, работа в Совинформбюро; оба сына уходят на фронт.

Октябрь – эвакуация в Ташкент; выступления в ташкентских школах и клубах.

1942 – работа в Комиссии помощи эвакуированным детям; на фронте пропал без вести сын Борис; вышла книга «Узбекистан и дети».

Сентябрь-октябрь – поездка в Москву; публикация сказки «Одолеем Бармалея!».

1943 – возвращение из эвакуации в Москву, выступления с лекциями.

1944, 1 марта – статья П. Юдина в «Правде» «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского»; кампания травли из-за сказки «Одолеем Бармалея».

1945 – работа над новой сказкой «Бибигон».

1946, 29 августа – в «Правде» напечатана статья С. Крушинского «Серьезные недостатки детских журналов» с критикой «Бибигона». Печатание сказки в журнале «Мурзилка» прекращено.

1947–1948 – работа над редактированием и комментированием сочинений Н. А. Некрасова.

1949 – первый инсульт у М. Б. Чуковской; вышла брошюра «Пушкин и Некрасов».

1952 – вышла брошюра «Гоголь и Некрасов».

1953 – вышла книга «Мастерство Некрасова».

1954 – выдвижение «Мастерства Некрасова» на Сталинскую премию; выступление К. И. Чуковского на Втором съезде советских писателей.

1955, 21 февраля – смерть М. Б. Чуковской.

1956 – выходят сокращенный «Бибигон» и сборник «Сказки».

1957, апрель – широко отмечен 75-летний юбилей Чуковского; он награжден орденом Ленина; начал строительство детской библиотеки в Переделкине.

Октябрь – библиотека открылась и передана в дар государству.

1958 – вышли книги «Люди и книги», «Чехов», «Из воспоминаний».

1960–1961 – работа над книгами «Современники» и «Живой как жизнь»; вышла повесть «Серебряный герб».

1962, март – вышла книга «Живой как жизнь».

Апрель – празднование 80-летнего юбилея; присуждение Ленинской премии за книгу «Мастерство Некрасова».

Май-июнь – поездка в Великобританию в связи с присуждением Оксфордским университетом степени доктора литературы *honoris causa;* опубликована книга воспоминаний «Современники».

1963 – знакомство с А. И. Солженицыным.

1964 – хлопоты в защиту поэта И. А. Бродского, отданного под суд за «тунеядство»; подготовка к изданию первого Собрания сочинений.

1965, 4 ноября – внезапная смерть Н. К. Чуковского.

Осень – вышли в свет два первых тома Собрания сочинений.

1966 – вышли два следующих тома Собрания сочинений.

1967 – вышел пятый том Собрания сочинений; издана книга «О Чехове».

1968 – подготовка шестого тома Собрания сочинений, участие в съемках фильма по «Чукоккале».

1969 – работа над статьями «Триллеры и чиллеры», «Признание старого сказочника»; вышел в свет шестой том Собрания сочинений.

5 октября – К. И. Чуковский госпитализирован с подозрением на болезнь Боткина.

28 октября – скончался в Кунцевской больнице под Москвой.

Библиография

Объем написанного самим Чуковским и о Чуковском чрезвычайно велик. Полный список его публикаций, критических отзывов на его работы, научных исследований его творчества, воспоминаний и т. п. до 1994 года содержится в издании:

Корней Иванович Чуковский: Биобиблиографический указатель / Сост. Д. А. Берман. М.: Русское библиографическое общество «Восточная литература» РАН, 1999.

В этом разделе приводятся основные издания произведений К. И. Чуковского, монографии, освещающие его творчество, и самые важные публикации после 1994 года.

Основные издания произведений К. И. Чуковского

Собрание сочинений. В 6 т. М.: Художественная литература, 1965–1969.

Сочинения. В 2 т. / Сост. и общая редакция Е. Ц. Чуковской; Послесл. В. Берестова. М.: Правда, 1990.

Полное собрание сочинений. В 15 т. М.: Терра – Книжный клуб, 2001 – наст. вр.

Стихотворения / Вступ. ст., сост., прим. М. С. Петровского при уч. О. Л. Канунниковой, Е. Б. Ефимова. СПб.: Гуманитарное агентство «Новый академический проект», 2001 («Новая библиотека поэта»).

Дневник. В 2 т. / Подгот. текста и коммент. Е. Ц. Чуковской; Вступ. ст. В.А.Каверина. М.: Современный писатель, 1994, 1997.

Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского / Сост., подг. текста, прим. Е.Ц.Чуковской. М.: Премьера, 1999.

Переписка

«Ах, у каждого человека должна быть своя Ломоносова…» Избранные письма К.И.Чуковского к Р.Н.Ломоносовой. 1925–1926 гг. / Публ. Р. Дэвиса; Предисл. Е. Ц. Чуковской, Р. Дэвиса // In Memoriam, Исторический сборник памяти А. И. Добкина, Феникс-Atheneum. СПб.; Париж, 2000.

Е. В. Тарле и К. И. Чуковский. Переписка / Вступ. ст., подг. текста и коммент. Е. Н. Никитина // Вопросы истории. 2006. № 1.

Загадочная корреспондентка Корнея Чуковского Переписка К. Чуковского с Соней Гордон / Вступ. ст. и послесл. Л. Ржевского / The New Review (Новый журнал). Кн. 123. 1976. С. 98—164.

Корней Чуковский. Из переписки с женой (1904–1916) // Культура и время. 2002. № 3. С. 112–125.

Корней Чуковский – Лидия Чуковская. Переписка: 1912–1969 / Сост. Е. Чуковская, Ж. Хавкина. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

Письма К. Чуковского к С. Маршаку / Подг. текста, вступ. и коммент. М. С. Петровского // Альманах «Егупец». Киев: Институт иудаики. 2002. № 12.

И. Е. Репин, К. И. Чуковский. Переписка. 1906–1929 / Вступ. ст. Г. С. Чурак; Подг. текста и публ. Е. Ц. Чуковской, Г. С. Чурак; Коммент. Е. Г. Левенфиш, Г. С. Чурак. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

Ю. Г. Оксман – К. И. Чуковский. Переписка. 1949–1969 / Предисл. и коммент. А. Л. Гришунина. М.: Языки славянской культуры, 2001.

Исследования

Иванова Е. В. Чуковский и Жаботинский. История взаимоотношений в текстах и комментариях. М.; Иерусалим: Мосты культуры / Гешарим, 2004.

Карлова Т. К. Чуковский – журналист и литературный критик. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1988.

Панасенко Н. Н. Чуковский в Одессе //Альманах «Егупец». Киев: Институт иудаики. 2003. № 11.

Панасенко Н. Н. Чуковский в Одессе: литературно-краеведческий справочник. Одесса: Оптимум, 2002.

Петровский М. С. Книга о Корнее Чуковском. М.: Советский писатель, 1966.

Сивоконь С. Чуковский и дети. М.: Знание, 1983.

Воспоминания

Воспоминания о Корнее Чуковском: Сборник. М.: Советский писатель, 1977 (2-е изд. – М., 1983).

Жизнь и творчество Корнея Чуковского / Сост. и авт. предисл. В. Д. Берестов. М., 1978.

Чуковская Л. К. Памяти детства: Воспоминания о К. Чуковском. – М.: Московский рабочий, 1989.

Чуковская Л. К. Сочинения. В 2 т. М.: Арт-Флекс, 2001.

Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. М.: Согласие, 1997.

Чуковский Н. К. О том, что видел. Воспоминания. Письма / Вступ. ст. и коммент. Е. Н. Никитина. М.: Молодая гвардия, 2005 (Библиотека мемуаров «Близкое прошлое». Вып. 13).

Большое количество статей К. И. Чуковского, в том числе не вошедших в 15-томное Собрание сочинений, и материалов, посвященных жизни и творчеству писателя и его близких, находится на сайте «Отдав искусству жизнь без сдачи…» (www.chukfamilv.ru).

notes

Примечания

1

Без которых нельзя (лат.).

2

Третье сословие (фр.).

3

Анатолий Михайлович Стессель (1845–1915) – российский военачальник, сдавший Порт-Артур противнику в Русско-японскую войну.

4

Франк Ведекинд (1864–1918) – немецкий писатель.

5

Аш Шолом (1880–1957) – еврейский писатель.

6

Имеется в виду святой Иоанн Кронштадтский (1829–1908), бывший духовником «черной сотни» и почетным членом Союза русского народа, известных своим участием в погромах.

7

Возможно, намек на случайное спасение великого князя Кирилла Владимировича при гибели броненосца «Петропавловск» в 1904 году.

8

Настоящее совершенное время (англ.).

9

Лови день (лат.).

10

Μέλος (греч.) – напев, мелодия, предназначенные для пения лирического стихотворения.

11

Честно (англ.).

12

И подал в отставку (англ.).

13

Живчеловек (англ.).

14

Делу конец (ит.).

15

«Подумай об этом» (англ.).

16

Бесплодные усилия любви (англ.).

17

Если это и неправда, то хорошо выдумано (ит.).

18

Бодлеянская библиотека (англ.) – крупнейшее книжное собрание Оксфордского университета.

19

Письма Суинберна (англ.).

«Алиса в Стране чудес» (англ.).

21

Ректор Оксфордского университета (англ.).

22

Корней, сын Ивана (лат.).

23

Автор «Крокодила» (лат.); об этом сообщают Е. В. и Е. Б. Пастернаки со слов Чуковского; встречающийся вариант «atque Crocodilius», по-видимому, записан кем-то на слух и не вполне верен.

24

Успех (англ.).

Как лес манящ, глубок, хорош!
Но сам себя не проведешь:
Пройдешь весь путь – тогда уснешь.
Пройдешь весь путь – тогда уснешь…

(Пер. с англ. Н. Голя)

26

Человек, который смеется (фр.).

27

Слава – пища для мертвых, —
Мне не переварить это мясо.
Но дружба – вещь более благородная, —
О дружбе приятно петь.
Поистине, когда человек умирает,
Он живет в памяти своего друга,
Который вспоминает его лучшие свойства,
Стирая все его недостатки.

(Пер. с англ.)